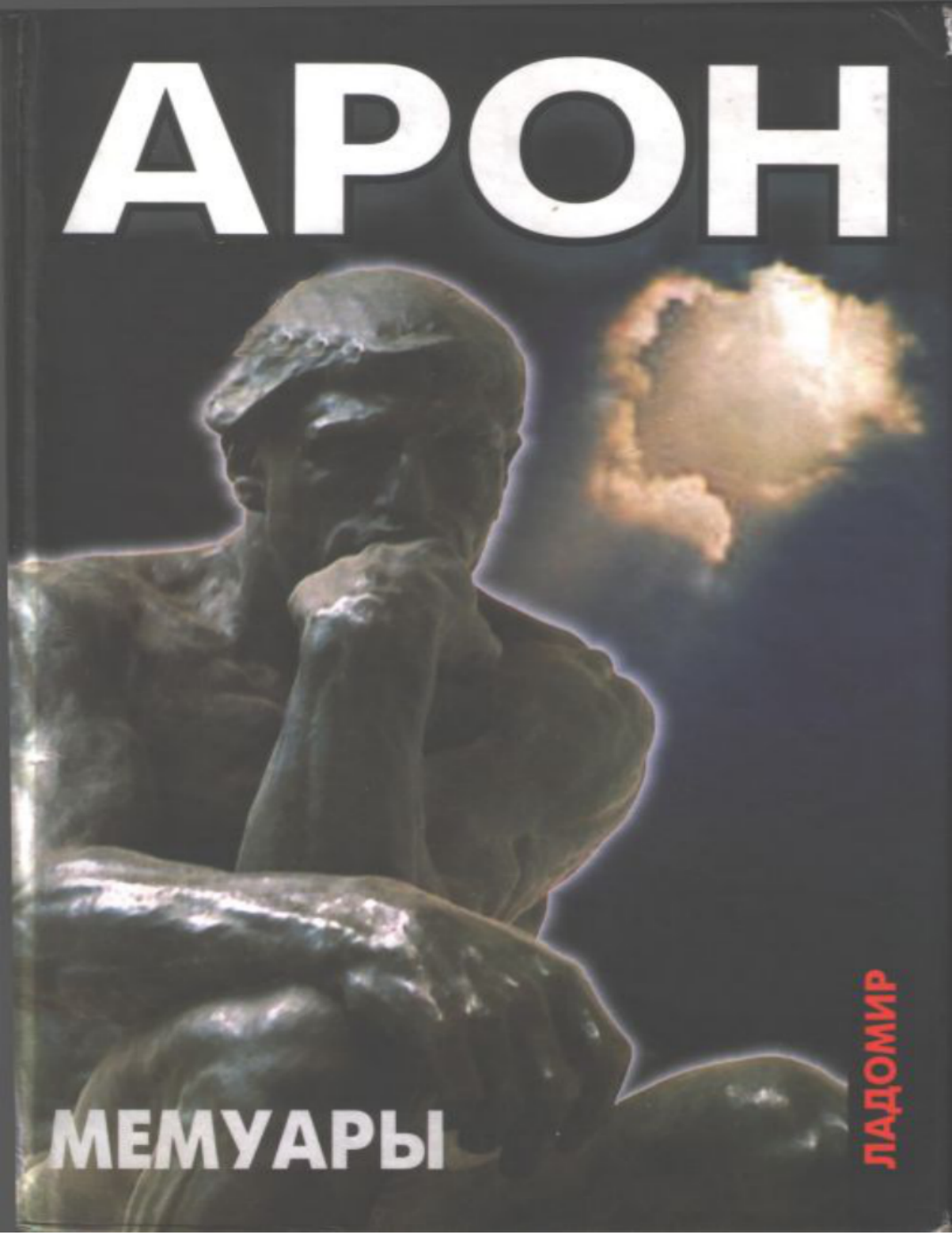
АРОН



МЕМУАРЫ

ЛАДОМИР

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Эта книга — повествование о встрече, встрече жестокого Века и могучего Ума, жаждавшего познать его. Ее автор, французский философ и журналист-политолог, живя в 30-е годы в Германии, одним из первых разглядел в социально-политических процессах этой страны надвигающуюся всемирную катастрофу. С тех пор стремление понять политическую жизнь людей стало смыслом его существования.

Тем, кто откроет книгу, предстоит насладиться «роскошью общения» с Ш. де Голлем, Ж.-П. Сартром и другими великими личностями, которых хорошо знал автор, этот «Монтень XX века», как его окрестили соотечественники.

- Раймон Арон
  - Раймон Арон — философ многоликой свободы
  - Часть первая
    - I
    - II
    - III
    - IV
    - V
    - VI
  - Часть вторая
    - VII
    - VIII
    - IX
    - X
    - XI
    - XII
  - Часть третья
    - XIII
    - XIV
    - XV
    - XVI
    - XVII
    - XVIII
    - XIX
  - Часть четвертая
    - XX
    - XXI
    - XXII
    - XXIII

        - XXIV
        - XXV
    - Часть пятая
        - XXVI
        - XXVII
        - XXVIII
    - ЭПИЛОГ
    - Комментарии
    - Избранная библиография
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19
    - 20
    - 21
    - 22
    - 23
    - 24
    - 25
    - 26
    - 27
    - 28
    - 29
    - 30
    - 31
    - 32
    - 33
    - 34

- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78

- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122

- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166

- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210

- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225
- ○ 226
- ○ 227
- ○ 228
- ○ 229
- ○ 230
- ○ 231
- ○ 232
- ○ 233
- ○ 234
- ○ 235
- ○ 236
- ○ 237
- ○ 238
- ○ 239
- ○ 240
- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243
- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246
- ○ 247
- ○ 248
- ○ 249
- ○ 250
- ○ 251
- ○ 252
- ○ 253
- ○ 254

- ○ 255
- ○ 256
- ○ 257
- ○ 258
- ○ 259
- ○ 260
- ○ 261
- ○ 262
- ○ 263
- ○ 264
- ○ 265
- ○ 266
- ○ 267
- ○ 268
- ○ 269
- ○ 270
- ○ 271
- ○ 272
- ○ 273
- ○ 274
- ○ 275
- ○ 276
- ○ 277
- ○ 278
- ○ 279
- ○ 280
- ○ 281
- ○ 282
- ○ 283
- ○ 284
- ○ 285
- ○ 286
- ○ 287
- ○ 288
- ○ 289
- ○ 290

Раймон Арон
МЕМУАРЫ
50 лет размышлений о политике

Раймон Арон — философ многоликой свободы

11/09/2000

Почти двадцать лет прошло со времени появления книги французского философа Раймона Арона (1905–1983) «Мемуары: 50 лет размышлений о политике», но интерес к ней у «вовлеченного читателя» не ослабевает. Свидетельство тому — переиздание во Франции (1993) и многочисленные переводы по всему миру. На страницах «Мемуаров» запечатлены события ушедшего столетия глазами одного из самых неутомимых мыслителей. Эта книга — итог целой жизни.

Детство Раймона Арона пришлось на годы Первой мировой войны. Сдержанно и деликатно описывает он школьные годы, свою семью, друзей. События частной жизни перемежаются с важнейшими событиями XX века. В поле зрения философа — предвоенная политика европейских стран, приведшая мир к чудовищной катастрофе, зарождение фашистского Рейха в Германии 30-х годов и гражданская война в Испании, Вторая мировая война, поражение и оккупация Франции, вишистский режим и Сопротивление, послевоенное возрождение Европы и разделение мира «железным занавесом», алжирская трагедия и войны в Корее и Вьетнаме, подавление венгерского восстания и «пражская весна», майская революция в Париже 1968-го и нефтяной кризис 70-х, пиночетовский переворот в Чили и арабо-израильские конфликты. И все это — глазами философа, журналиста, социолога, публициста, университетского преподавателя в одном лице.

«Мемуары» Раймон Арон закончил незадолго до смерти, наступившей в октябре 1983 г., ему не довелось стать свидетелем событий, происшедших в конце 80-х и в 90-е годы XX в. — падения берлинской стены и распада социалистического лагеря, объединения Германии, отмены режима апартеида в Южной Африке, всепроникновения сети Интернет, — но некоторые из них он предвидел.

Известность автор снискал прежде всего как социолог и политический обозреватель, меньше — как философ, хотя по праву занимает заметное место среди самых глубоких французских мыслителей XX в. Проблематика Арона сформировалась именно в философском контексте. В философии его мысль обрела свои корни, и в философии же она находит свое значение, раскрывая смысл метаморфоз его карьеры. Новизна для

Франции некоторых взглядов и концептов Арона, почерпнутых им из немецкой философии, иногда скрывала от читателя и критика более глубинные стороны мысли автора: исследование бытия человека, разрываемого между ограниченной, но эффективной рациональностью и непременной уникальностью каждого; уникальностью, порождающей необходимость уважения различий, и «растворяющей» объективность рациональности.

Идеи и факты всегда схвачены Ароном в их многообразии, но концепты, точно и тщательно изученные, иногда удивляют своей неуловимостью: рассчитывая на эрудированного и заинтересованного читателя, Арон с легкостью оперирует историческими реалиями, философскими и литературными цитатами, не колеблясь вводит собственную терминологию. Патетический пассаж, в котором автор ставит под вопрос самого себя перед лицом *другого,* облечен в холодную форму аналитического изложения. Это и есть, по мнению Арона, стиль, рассчитанный на «вовлеченного читателя» и осуществленный в парадоксальной фигуре. Но Арон ни в коем случае не навязывает своих убеждений, а лишь подсказывает, как сделать свой выбор. Так, в известной нашему читателю книге «Демократия и тоталитаризм»[1] внешне бесстрастные размышления Раймона Арона подводят читателя к тревожному вопросу: так что же вы выбираете? Демократию или тоталитаризм?

Раймон Арон не скрывает от нас источников своего философского призвания. Его первый учитель философии Айэ в версальском лицее не был великим ученым, однако, в отличие от других преподавателей, не предлагал ученикам готовых истин, а рассуждал вслух. Такая работа мысли представляла собой не назидательный спектакль, но была подлинным, иногда трудным, человеческим опытом, свидетелями и участниками которого становились два десятка юношей. Для Раймона Арона это обрело совершенно уникальную и неповторимую ценность. Он осознал, что человеческую жизнь можно постичь разумом, обогатить мыслью и общением с великими умами. Привлеченный, таким образом, философией с первых уроков выпускного класса, он позже поступает в Высшую педагогическую школу, в которой учится с 1924 по 1928 г. В прославленном учебном заведении Раймон Арон знакомится с Жан-Полем Сартром, отношения с которым с течением жизни претерпели все возможные изменения — от горячей дружбы и философского интереса до политической вражды.

Директором Школы был Селестен Бугле, по шутливому выражению Арона, «дюркгеймьянец строгого послушания», философ, который, несмотря на теплые личные отношения с

Ароном, ничего не дал ему в научном плане, хотя помог начать успешную карьеру. Напротив, Леон Брюнсвик, научный руководитель дипломной работы Раймона Арона по философии Э. Канта (1927), оказал большое влияние на молодого ученого. Брюнсвик исповедовал и преподавал критицизм, отмеченный позитивизмом и обогащенный его собственной теорией мобильного разума. Ученик не переставал восхищаться учителем, даже когда заметил, что тот абсолютно не интересуется историей (это была неожиданная критика, которую сам Арон на страницах «Мемуаров» называет бунтом). В определенном смысле Брюнсвик всегда размышлял как историк философии и науки, но его критическая линия никогда не пересекала границы ни, собственно говоря, науки, ни позитивистской методологии. Арон отверг такую методику, отрывающую исследование от реальности настолько, что оно полностью подчиняется тому, что Жильбер Отуа назвал «языковой инфляцией современной философии». Мысль Арона обратилась к человеческому поведению. В своей теории он обозначает границы и относительность объективности, которая при этом сохраняет для него свое содержание. Он говорит о бытии *другого* или скорее о бытии людей в их взаимодействии.

В «Мемуарах» Арон рассказывает о прозрении, открывшем ему цели, которые на протяжении своей жизни он последовательно воплощал в собственном творчестве. Под впечатлением событий в Германии, знаменовавших зарождение нацизма, Арон ставит вопрос об условиях, частных и, одновременно, предопределенных обстоятельствами и социальными структурами, при которых философ мог бы достигнуть эффективного понимания истории. Эту проблему Арон выдвигает в манере, близкой к Кантовой. Но помимо замены чистого разума умом личным, определенным во времени и пространстве, он вносит новый вопрос, содержащий росток его будущей философии: как я могу быть самим собой среди других, как я могу быть самим собой и понять других и как я могу быть самим собой, то есть *другим* для всех других? Этот тройной вопрос перекликается с «Персидскими письмами» Монтескьё: «Как можно быть персом?» Раймон Арон, вероятно, не сразу увидел все возможности применения такой постановки вопроса, обновившей его антропологию и философию, и, казалось бы, начал с конца. Большую роль в этом сыграло его пребывание в Германии, где он преподавал в 1930/31 г. в Кёльнском университете, а в 1933/34 г. — в Берлинском, не упуская возможности активно изучать богатства немецких библиотек и аудиторий, знакомиться с немецкой философией, но также и

наблюдать бурное развитие политических событий. По его признанию, уже тогда, интуитивно, он лучше, чем основная масса французов, чувствовал, какая буря надвигается на мир.

В это время Раймон Арон занимается неокантианскими теоретиками истории, совершенно неизвестными тогда во Франции: это стало предметом его «малой диссертации»: «Очерк теории истории в современной Германии: критическая философия истории»[2]. Своей «большой диссертации» он даст заголовок: «Введение в философию истории: очерк о границах исторической объективности»[3]. Но что особенно значимо — это неожиданная глава «О познании *другого*».

Оригинальность автора была совершенно не понята. Тем не менее диссертация потрясла весь интеллектуальный Париж: ее содержание было изложено в «Revue de Métaphysique et de Morale». На защите из членов жюри наиболее враждебен был Альберт Рибо, ученик и продолжатель линии Анри Бергсона, вообще высказавший удивление по поводу возвращения к философии истории. Леон Брюнсвик восхищался своим блестящим учеником, не замечая, что его новый исторический критицизм заключает в себе и тот, почти контовский критицизм, который он, Брюнсвик, сам же преподавал. Социологи в жюри были представлены Селестеном Бугле и Полем Фоконе, зятем Эмиля Дюркгейма. Оба заняли благоприятную для Раймона Арона позицию. К несчастью, их замечания превратились в своего рода шаблон, по которому в дальнейшем часто оценивали диссертацию Раймона Арона, и стали в некотором смысле помехой для правильного понимания философского смысла работы. Действительно, методы социологического анализа, введенные Ароном под влиянием Макса Вебера, нашли свое место в социологии, однако не был замечен поставленный в работе вопрос о присутствии *другого* и о взаимоотношениях с *другим,* до того времени неизвестный во Франции.

Раймон Арон посвятил этой проблематике целую главу в «Введении в философию истории». Как же случилось, что эти аспекты не разделялись, были вне поля зрения исследователей до тех пор, пока Арон в «Мемуарах» сам не показал его центральное место в своей философской концепции?

В Германии такой вопрос был привычен для философов начиная с размышлений Гегеля о господине и рабе: как можно сказать о человеке, что он действительно является субъектом? В Англии сторонники аналитической философии уже штурмовали эту проблему, с настойчивостью двигаясь в направлении коммуникации научной истины. Во Франции же данный вопрос вообще не рассматривался. Арон одним из первых французских

ученых познакомился с немецкой феноменологией и, кстати, указал на нее Жан-Полю Сартру, возбудив в том лихорадочный интерес. На страницах «Мемуаров» Арон приходит к выводу, что причина этого упущения в том, что проблематика взаимоотношений с *другим* оказалась на линии фронта между двумя французскими школами — контовской и школой Виктора Кузена. Последователи первой отсылали сложность к сентиментальной практике позитивной политики (о которой они уже не хотели слышать). Согласно традиции второй школы, которая составляла основу программы лицейского и университетского курсов философии, психология и онтология не разделялись, были единой наукой. Впрочем, тогда даже посткантианцы и Гегель не входили в программу французских университетов из-за отсутствия переводов.

Когда Раймон Арон утверждает, что история создается индивидами, он не удаляется от положений Макса Вебера, но терминологическая ориентация у него иная. Для Арона множественность намерений и действий не относится к обществу в историческом или классовом смысле, а преображается во множество точек зрения.

Тезис Раймона Арона совершенно парадоксален. С одной стороны, он сохраняет эпистемическую[4] модель, основанную на отношениях субъекта и объекта — правда, рассматривая ее с позиций, близких к феноменологии, — и ограничивает применение концепции объективности. С другой стороны, если каждый определяет себя по своим отношениям с *другим,* появляется некоторый привилегированный субъект, своего рода трансцендентальное «Я»? Отсюда вытекает новая сложность в понимании мотиваций и намерений действующих лиц событий, относящаяся прежде всего к области историка, который не может отбросить их личное свидетельство, но должен принять его как элемент информации, подлежащий критике и оценке. Под вопросом остается уже не характер абсолютного субъекта, который определяется тем, что он говорит (и, особенно, тем, что он делает), но только перспектива самого историка, субъективность которого состоит не столько в возможности сказать свое слово в исследовании, сколько в определении своего положения, как «другой *другого*».

Невозможно каким-либо образом устранить историческое измерение: именно в нем строится рассказ. История предстает как собрание документов, свидетельств и высказываний, анализируемых в рассказе. Человек и его творения отодвигаются в недостижимое прошлое, доступным оказывается лишь опосредованное отображение — рассказ — и те представления,

которые, являясь его составными частями, придают ему смысл.

Проблема чисто философская: что понимать под другим? Раймон Арон предлагает решение в духе брюнсвикского критицизма или веберовского расколдования мира и, одновременно, достаточно близкое к радикальной агностике: изучение взаимоотношений, т. е. мыслящая история, история интерактивная.

Отсюда постоянный интерес Арона к мыслителям, которые занимались философией рассказа. В этом ключе написана его работа «Фукидид и исторический рассказ», изданная в сборнике «Измерения исторического сознания». Также не раз он высказывал свое восхищение Макиавелли. Критики и исследователи Арона на удивление мало комментировали его «Фукидида». А многочисленные статьи и выступления философа на конференциях о Макиавелли были отнесены исключительно на счет Арона как политического обозревателя. Но для Арона политический обозреватель — и очень известный — лишь метаморфоза философа.

Раймона Арона часто упрекают в разрозненности его трудов. Но не будем ограничиваться внешней стороной: единство вдохновения работ ученого таково, что следует избегать какой бы то ни было периодизации его творчества, даже несмотря на признание самого автора[5]. В определенном смысле труд Раймона Арона похож на дерево, ствол которого прочно закреплен в почве корнями, а ветви постоянно и одновременно свободно развиваются.

Хронологическая последовательность исследования тоже довольно относительна. Это хорошо заметно на страницах «Мемуаров». Начав рассуждение, Арон развивает его, доводя до логического завершения, при этом не боится «забегать вперед», отрываясь от описываемого периода. Так же легко он возвращается к уже обсужденным фактам, что подчеркивает взаимосвязанность слагаемых его мысли.

Программа исследования никогда не изменялась с момента прогулки по берегу Рейна: его интересовала, напишет он в «Мемуарах», «…историчность бытия гражданина и вообще человека. Каким образом я, Раймон Арон, француз, еврей, находящийся в определенный момент истории, могу понять целое, атомом которого я являюсь среди миллионов других? Как я могу охватить целое, иначе как с одной из неисчислимого множества точек зрения». Отсюда вытекает двойной поиск: с одной стороны — почти кантианский, выраженный вопросом: «Возможно ли историческое познание?», с другой — касающийся конкретных межличностных отношений, ведущий к

коллективным общностям и обычно разделенный между социологией и политологией. Арон неоднократно утверждает, что такое разделение предмета исследования между науками, полезное для анализа его отдельных характеристик, должно быть ограничено при изучении целого. Это логически вытекает из его принципа: всегда учитывать точки зрения в их взаимосвязи.

Раймон Арон использовал «смешение наук» во многих книгах. Так, в работе «Политические исследования» (1972) введение — «Наука и общественное сознание» — касается социологии; первая часть — «Идеи», сосредоточивается на философии; вторая — «Внутри государства» — относится сначала к политической философии, а затем переходит к вопросам политологии в целом и к ее частному приложению — Франции; и наконец, третья часть — «Между государствами» — разбирает вопросы мировой стратегии. Единство этой книги могло показаться искусственным, если бы ее не пронизывала общность научного поиска и проблематики. Автор не прекращает задавать себе один и тот же вопрос — от определений, приведенных на первых страницах, до выводов на последней: что же разделяет, одновременно объединяя, граждан в государства и государства между собой?

В статье «Последний из либералов» Ален Блоом пишет, что «либерализм Арона того же рода, что и у Локка, Монтеня, Джона Стюарта Милля и, в определенной мере, Токвилля»[6]. Осторожное сравнение с Токвиллем объясняется молчанием Арона по поводу исчезновения (по крайней мере с французской политической сцены) аристократии, хотя Арон неоднократно высказывался в защиту элитарных слоев общества, подчеркивая их значение. Как заметил Ассан Ажерар в 1984 г., учение Арона должно пониматься как радикальный плюрализм: историчность в нем достигает определенной объективности лишь в полицентрическом мире.

Раймон Арон много и разнообразно высказывался на тему свободы. На страницах «Мемуаров» мы находим анализ его критического исследования «Либеральное определение свободы»[7], посвященное книге Ф. Хайека «Конституция свободы»[8]. Ф. Хайек видел в свободе отсутствие принуждения, способное породить права и выраженное через общность законов, равных для управляющих и управляемых, которые должны быть членами одного и того же политического сообщества. Арон соглашается с такой позицией, но, говоря о критериях свободы, дополняет: «…ни один (из критериев), сам по себе не может быть решающим, но все вместе предполагают идеал общества, где государство оставило бы индивидуальным инициативам наибольшее из возможных полей действия…» Арон усиливает

значимость своих замечаний, опасаясь, что в процессе мондиализации из желания преодолеть сразу же или, по крайней мере, быстро суверенность государств-наций возникнет опасность тирании — ограничение свободы одним мировым лидером.

Выбор в пользу либерализма неотделим от эпистемологического анализа, так как анализ познания и ценностный выбор происходят из одного источника. Вовлеченность слушателя уже филигранно вписывается в ароновскую критику, ограничивающую объективность какой-либо точки зрения. Наверно, в этом и заключается объяснение его удивительной карьеры, в продолжение которой на свет появились теоретические труды, социологические исследования, работы по современной истории: их связывает и одухотворяет одна цель. И как бы ни складывалась жизнь философа, он продолжает свое исследование.

Во время оккупации Франции нацистскими войсками Арон работает в Лондоне, занимаясь изданием ежемесячного патриотического журнала «France libre» («Свободная Франция»), близкого к генералу де Голлю; публикует обозрения событий, пишет статьи, позднее вошедшие в сборник «Человек против тиранов» (1944; 1945). В «Мемуарах» он подробно рассказывает о событиях, которые наблюдал, находясь в эмиграции, размышляет о противостоянии двух лагерей, на которые раскололось французское общество во время войны: с одной стороны, законное, но предавшее национальные интересы, правительство Виши во главе с легендарным героем Первой мировой войны маршалом Петеном; с другой — генерал де Голль и его сторонники. Впрочем, политический выбор в сложившейся ситуации не представлял для Арона никакой трудности. Тем не менее он тщательно анализирует причины, приведшие Францию к такой ситуации.

Раймон Арон решительно выступил против нацизма, не столько как еврей, представитель преследуемого меньшинства, но прежде всего из-за неприятия режима, стремящегося стереть индивидуальные различия в поведении и мышлении. В 1933 г. Арон с горечью и удивлением отмечал, что в Германии, стране высокой культуры, старый правящий класс с нацистами связывал надежды на возрождение независимости и могущества страны. Костры из книг, горевшие на Унтер-ден-Линден, отражались в сердце Арона отблесками пожара Александрийской библиотеки, символизируя варварство, пришедшее к власти. В годы «холодной войны» он по той же причине сделал ясный выбор против режимов, царящих в странах Восточного блока. Идеократия — этот термин, обозначающий правление доктрины, появится из-

под его пера гораздо позже — представляется Арону основной движущей силой тирании. Немногих тревожных свидетельств, просачивающихся из-за «железного занавеса», ему было достаточно, чтобы догадаться об ужасах ГУЛАГа, пришедших на смену нацистским лагерям уничтожения. Арон с большим вниманием отнесся к выступлениям и статьям А. Солженицына и, позже, А. Зиновьева.

Раймон Арон убедительно доказывает, что всякая доктрина, стремящаяся унифицировать общественные представления, основывается на принуждении и насилии. Свобода предполагает игру отдельных элементов общества, которую идеология стремится если не уничтожить, то ограничить. Поэтому свободное — и либеральное — общество должно уважать широкий спектр различных мнений и приспособиться к многообразию своих элитарных, иногда антагонистических, слоев.

Из начального рассуждения о плюрализме естественным образом вытекает критика секулярных религий. Арон беспощаден и к мнимому рационализму марксизма-ленинизма, и к бурно ликующему иррационализму нацизма. Для него неприемлемы тоталитарные системы с их исключительными доктринами, определяющими единственный тип человека, вне которого нет ни человечности, ни человечества, неприемлемы, потому что во имя идеологии они заковывают живые взаимоотношения разделенных субъектов в искусственно утвержденные формы. В обеих системах существует насилие, карающее социальную спонтанность и провоцирующее преследование отдельных лиц. Не случайно первый сборник статей, опубликованных во «France libre», называется «Человек против тиранов».

Из критики Арона тоталитарных систем и рассуждений о плюрализме рождаются две серии (а точнее одна двойная серия) произведений. В одних автор выступает в роли наблюдателя; на основании очень тонкой социологической, экономической, военно-стратегической и политической информации анализирует факты, не скрывая ни своего выбора, ни своих убеждений. Эти работы довольно высокого уровня обобщения, например «Великий Раскол» (1948), посвященный изучению с либеральных позиций распада планеты на два идеологических лагеря. В других книгах рассматриваются вопросы, затрагивающие интересы Франции и французов. Раймон Арон не побоялся в них делать выводы, в то время мало кому понятные и мало кем разделяемые из современников. Так, в работах «Алжирская трагедия» (1957) и «Алжир и Республика» (1958) Арон защищает идеи алжирской независимости, рискуя разонравиться читателям «Figaro» и вызвав бурную ненависть «патриотов», но при этом не ищет симпатий

левых, поскольку отвергает их мотивации классовой борьбы с эксплуататорами. В «Мемуарах» мы находим отзвуки дебатов тех лет, а также аргументы, которые Арон приводит в доказательство правильности своих тогдашних выводов.

В стойкости философа легко обнаружить исходный принцип, которым Арон руководствуется в своей работе: лучше иметь заинтересованного, «вовлеченного», не всегда согласного собеседника, чем преданного слушателя. Это утверждение характерно для либерал-плюрализма. Таким же принципом Арон руководствовался и в политике. Ветеран РПФ, Арон не был правоверным, преданным голлистом, он следовал прежде всего своим убеждениям. Ему случалось защищать генерала де Голля от страстных клеветнических нападок, когда он как журналист оказывал президенту скупую поддержку, впрочем отнесенную общественным мнением скорее к высокомерному суждению автора, чем к высоте его взглядов, а потому плохо принятую. Вместе с тем он публиковал критический анализ действий властей, когда считал, что ситуация этого требует. Арон не удовлетворялся «чистой критикой», но старался подсказать те или иные действия для разрешения ситуации, хотя и осознавал, что его советы вряд ли будут применены в ближайшей перспективе. В названии «Незыблемая и изменяющаяся, от IV к V Республике» (1959) чувствуется ирония. Следует отметить сдержанность книги «Генерал де Голль, Израиль и евреи» (1968). Почти одновременно с ней появляется «Бесподобная революция» (1968), в которой еще слышатся раскаты «Да здравствует де Голль!» парижской толпы 30 мая 1968 г. Позднее Арон отнесет ее к книгам момента. Она написана очень живым языком.

Интерес Арона к французской политике не остывает, но он ею не ограничивается. Среди наиболее важных работ этого периода безусловно исследования мировой политики, иногда написанные на весьма обобщенном уровне: «Великий спор, введение в анатомию стратегии» (1963); «Очерк о свободах» (1965; 1967); «Разочарование в прогрессе» (1969). Многие из его книг посвящены конкретным проблемам: «Мир и война между нациями» (1962); «Имперская республика США в мире» (1972). Даже самые общие его работы всегда опираются на анализ реальных фактов и событий, побуждая читателя к «вовлеченному» размышлению.

В послевоенные годы материал для книг Арон черпал из своей активной деятельности журналиста в ежедневной и периодической печати, как позже источником их будут его лекции. Перед войной Раймон Арон сотрудничал в «Libres Propos» и «Europe», после войны писал в «Point de Vue» (1945), «Combat»

(1946–1947), «Figaro» (1947–1977), «Express» (1977–1983). Кроме того, публиковал статьи в «Liberté d'esprit», а затем в «Preuve» и «Commentaire».

Деятельность Арона сопровождалась горячей полемикой, не обошлось и без тяжелых разрывов с соратниками и друзьями. Одна из наиболее важных работ Арона — «Опиум интеллектуалов» (1955), написана не столько против марксизма, сколько против тех интеллектуалов — прогрессистов, католиков, экзистенциалистов, которые, не принимая коммунизма, сопутствовали ему. Что же сделало их слепыми по отношению к преступным действиям режима, чьими союзниками они себя считали? В «Мемуарах» Раймон Арон дает оценку и этой книге, и тем реакциям, которые вызвало ее появление.

«Опиум интеллектуалов» состоит из трех частей. В первой части Арон рассуждает о таких понятиях, как левое движение, пролетариат, революция, определяя их действительную роль в истории и лишая некоего священного романтического ореола, который они приобрели в публицистике и общественном сознании: нет единого левого движения, а есть левые партии и группы, разделенные в своих политических взглядах значительными противоречиями и соперничающие между собой; пролетариат не может быть единственным и определяющим творцом истории; а революция — не абсолют, ради которого можно пожертвовать истиной. Марксизм, в частности, не был той непревзойденной философией, как это полагал Сартр, которая смогла бы заменить напрасно отброшенную метафизику. В советском тоталитаризме Сартр, по словам Арона, не распознал раковой болезни столетия. Кстати, те, кто не разделял заблуждений Сартра, становились объектом его лютой ненависти, и Арону довелось ощутить это на себе. Вторая часть книги посвящена анализу отношений между ортодоксальными коммунистами и их попутчиками. В третьей части, содержащей наиболее новые и рискованные идеи, обрисована в общих чертах социология группы интеллектуалов, трудно поддающейся определению, не сохраняющей ни постоянного очертания, ни постоянного значения в истории. Анализ Арона вызвал бурную полемику, как, впрочем, и многие другие его книги, тем более что на этот раз он больно задел за живое и «нейтральных», тех, кто поверил докладу Н. С. Хрущева на XX съезде КПСС, кто поверил, что советский режим можно «исправить». Публикация книги «Опиум интеллектуалов» завершала пятнадцатилетний период деятельности Арона вне университета.

В 1955 г. Раймон Арон возвращается в стены университета. Он преподает в Сорбонне (до 1967 г.), затем в Высшей

практической школе. С 1970 г. читает лекции в Коллеж де Франс.

В «Мемуарах» Арон уделяет внимание проблеме французского высшего образования, система которого была заложена в XIX в., а принципы восходили к средневековью. Раймон Арон одним из первых предвидел трудности, с которыми оно должно столкнуться в недалеком будущем, и прежде всего — это неспособность обеспечить преподавание возросшему числу студентов. Его прогноз подтвердился в 1968 (и… в 1998) г. Считая необходимость реформ очевидной, Арон не соглашается с предложениями лаксистски понятой свободы, предполагающей снижение уровня университетских требований. Он предпочитает систему отбора лучших кандидатов. В 1968 г. это выглядело недемократичным и безусловно способствовало вынужденному уходу Арона из университета.

Раймон Арон участвует в создании Европейского центра исторической социологии, исполнительным директором которого был Пьер Бордиё, до разрыва, последовавшего за публикацией Ароном книги «Бесподобная революция». Кроме личного противостояния, как отмечает в «Мемуарах» автор, в этом конфликте сыграли роль расхождения методологического характера: в отличие от своих последователей, Арон питал некоторое пренебрежение к полевым социологическим исследованиям, считая достаточной философскую перспективу.

Многие книги Арона родились из университетских лекций, например, знакомая нашему читателю работа «Этапы развития социологической мысли»[9]. В ней представлены не только портреты основателей социологии, но также анализ системы принципов, на которых основывается интерпретация социальных фактов.

На суровую критику Жоржа Дави, выступившего в роли верного эпигона учения Дюркгейма и упрекавшего Арона в том, что, включив в книгу очерки о Монтескьё и Токвилле, автор якобы смешал политические науки и социологию, Арон отвечает, что «постулат превосходства общественного над политическим не более обоснован, чем противоположное мнение». Вместе с тем Арон задается вопросом, всегда ли, если оставить в стороне университетские традиции, имеет смысл строгое размежевание двух дисциплин для исследования общественных взаимоотношений?

Книгу часто считают словом в защиту либерализма, но ее значение этим не ограничивается. Выводы, вытекающие из противопоставления точек зрения Дюркгейма, Парето и Вебера, мыслителей, современных друг другу, объясняют их различия культурными и национальными проблемами и убедительно

доказывают, что цель, преследуемая автором — прежде всего в провозглашении основного эпистемологического принципа множественности, утвержденного разными точками зрения. Особое место в творчестве философа занимают экономическо-политические труды, посвященные анализу современной эпохи и опубликованные в 1955–1968 гг.: «18 лекций об индустриальном обществе» (1962), «Борьба классов» (1964), «Демократия и тоталитаризм» (1968). В этот список можно включить «Войну и индустриальное общество» (1958), «Три очерка об индустриальной эре» (1966; 1968), «Разочарование в прогрессе» (1969). В «Мемуарах» Арон уделяет анализу этих работ должное место.

Раймону Арону принадлежит главная роль в разработке теории «единого индустриального общества». Еще в середине 50-х годов он пришел к выводу, что происходит постепенное объединение индустриально развитых стран, т. е. «мондиализация». По его утверждению, нельзя больше говорить о двух (или трех, если учитывать развивающиеся страны) мирах, двух блоках, двух противоположных общественно-экономических системах: существует только один мир, который нужно исследовать. «Я не задаюсь вопросом, — пишет Арон, — есть ли противоречие между социализмом и капитализмом, я рассматриваю капитализм и социализм как две разновидности одного и того же индустриального общества»[10].

Он моделирует идеальный тип индустриального общества, что позволяет интерпретировать факты. Введение идеального типа в социологическое исследование было предложено еще Максом Вебером. Оригинальность Арона заключается в применении этого метода. Вебер рассматривал некоторые способы организации — экономические, например капитализм, основанный на частной собственности на средства производства; или религиозные, например протестантизм, сформировавшийся на основе веры в двойное предопределение; или же политические, например принципы законности — бюрократический и харизматический. Затем он сопоставлял их, чтобы найти элементы для понимания.

Согласно Арону, индустриальное общество обнаруживает единство вне своих капиталистических или социалистических черт, но прежде всего во взгляде, устремляемом на это общество странами третьего мира. Поэтому для *другого* (в данном рассуждении — это представитель третьего мира) тип индустриального общества определяется двумя чисто социальными чертами: семейная группа теряет свою роль в производстве, а рабочая сила стремится сконцентрироваться в

массы; и двумя чертами экономического характера: интенсивным увеличением капитала и рациональным экономическим расчетом. Только внутри типа индустриального общества легко выделяются два вида: западное, характеризующееся свободной конкуренцией, и восточное, где царит планирование.

Интересно заметить, что Арон не был сторонником теории конвергенции, предполагающей в будущем слияние в единое общество социализма и капитализма в результате взаимных уступок. Он считал, что речь должна идти не о слиянии, а о поглощении социализма капитализмом, так как западные страны обнаруживали большую эффективность экономики, чем восточные[11], хотя и указывал на их слабые стороны: оторванность от сырьевых месторождений и, как следствие, зависимость от экспорта сырья и энергии.

Арон одним из первых увидел взаимосвязанность и взаимозависимость, установившиеся в социальном мире во второй половине XX в. «Впервые, — писал он, — человечество переживает одну и ту же историю. Сейчас это стало совершенно очевидным и банальным. С одной стороны, ООН, с другой — олимпийские игры символизируют единство мира»[12]. Сегодня мы добавили бы к признакам мондиализации растущую роль средств массовой информации, укрепление культурного и научного сотрудничества и мировую экономическую систему.

В 1970 г. Раймон Арон читает свою вступительную лекцию в Коллеж де Франс, ставшую для него практически прощанием с социологией. Арон провозглашает крах «социодицеи», под которой понимает псевдонаучные идеологические попытки оправдать существующую политическую и социальную ситуацию. Вместе с тем отмечает парадокс, состоящий в том, что современные общества кажутся нам менее справедливыми, чем прежние общества казались людям, в них жившим. Арон объясняет это тем, что современные демократические общества ставят перед собой идеалы, которые по разным причинам в основном недостижимы, но добавляет, что, по современным понятиям о справедливости, все известные нам общества были несправедливы. Характерно утверждение Арона, что в исторически обоснованной политике рациональный выбор не может быть только результатом нравственных принципов или идеологии, он должен основываться в первую очередь на аналитическом, максимально научном исследовании. Сам Раймон Арон постоянно подтверждает это правило в своей работе, не полагаясь на эмоции и нравственные максимы, но тщательно подвергая анализу факты и взаимосвязи.

В 1972 г. Раймон Арон публикует чисто историческую книгу

«Имперская республика США в мире, 1945–1972», в которой вводит во французскую мысль англосаксонский концепт *Острова-Континента* и где, во второй части, с разочарованием размышляет о неразумности конфликтов, которыми сменяющие друг друга президенты не могут управлять и которые они не в силах прекратить.

Продолжение этих размышлений привело Арона к написанию двухтомной книги «Осмысление войны: Клаузевиц» (1976). Сам Арон удивлялся: почему не о «неоднозначном и неисчерпаемом» Марксе? Он долгое время размышлял о Марксе и его учении, обличал подделки его философии в блестящей работе «От одного святого семейства к другому: очерки о вымышленных марксизмах» (1969). Но проблематика, связанная с Марксом, не была близка автору. Напротив, Клаузевиц, военный, идущий гораздо дальше узкоспециальных вопросов стратегии и тактики, всегда интересовавшийся человеческим опытом, обязательно должен был привлечь внимание Арона.

Бернард Гийемен с полным основанием назвал Арона Монтенем двадцатого века[13], защищавшим терпимость и свободу. Но если Мишель Монтень скрывал свой политический выбор под маской скептицизма, окрашенного в тона стоицизма, Раймон Арон облек свое философское кредо в форму политического и социологического анализа. Отсюда неоднозначное отношение к нему современников, которые то превозносят его в любезном почитании, то обрушиваются с обвинениями, не всегда обоснованными, в полемике, следующей практически за каждой публикацией его многочисленных работ.

В глубине души Раймон Арон моралист. Это все более и более ясно проявляется в размышлениях философа о своей жизни — особенно сильно в книге «Вовлеченный *очевидец*» (1981) — и на страницах «Мемуаров». Не стремясь угодить читателю, но действуя заодно с ним, Арон смело высказывает и убедительно аргументирует свои взгляды, часто неожиданные, но, как правило, подтверждающиеся на практике. Явно восхищаясь такими «опасными» авторами, как Фукидид, Макиавелли, Клаузевиц, Маркс, Арон остается кантианцем и учеником Леона Брюнсвика. В своей неповторимой манере Раймон Арон добавил к теории познания модель, ставящую *другого* во главу угла, не отбрасывая при этом ни *cogito*[14], ни отношений объект — субъект. Отсюда общая многозначность философии Арона, далеко превосходящая колкую шутку генерала де Голля: «Арон, профессор из „Фигаро“ и журналист из Коллеж де Франс». Не столько *«одержимый или отчаявшийся»,* сколько сам *«неоднозначный и неисчерпаемый»*, Арон продолжает удивлять

прозорливостью и глубиной ума, которые сегодня можно оценить лучше, чем они были поняты вчера.

С. Трофимов

Часть первая
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ (1905–1939)

I
ЗАВЕЩАНИЕ МОЕГО ОТЦА

Я родился на улице Нотр-Дам-де-Шан в квартире, о которой не сохранил никакого воспоминания. Но вот зато квартира на бульваре Монпарнас, куда родители переехали вскоре после моего рождения, не совсем стерлась из памяти: вижу или воображаю просторную прихожую-коридор, служившую братьям и мне для катания «на коньках»; одну из ее стен занимали три книжных шкафа, верх которых заполняли книги, а низ — бумаги и брошюры, скрытые за дверцами. Когда мне шел десятый год, я обнаружил там собранную отцом и сложенную в кучу литературу о деле Дрейфуса 1.

Нас было трое «каштанчиков»[15] — почти одного возраста: апрель 1902 года, декабрь 1903-го и март 1905-го. Адриен был во всех отношениях старший, он раньше всех ушел из семьи или, скорее, взбунтовался против нее. С самого начала он был, вероятно, предметом особенно нежной любви моей матери. (За год до его рождения у нее были трудные роды, и первый сын умер; по словам матери, он мог бы жить — она обвиняла врача.) Правда, Адриена не баловали больше других, но, возможно, юноша пошел бы по иному пути, если бы родители — мать со слезами, а отец, пытаясь оправдаться перед самим собой в собственной слабости — не предоставляли ему в течение долгого времени средств, чтобы по своему вкусу вести жизнь с комфортом, не работая.

Перед тем как мне родиться, мать объявила, что я буду девочкой — она страстно желала дочь. Итак, я стал ее младшеньким. Страдая порой от суровости старших Аронов, она брала мою руку, и мне нравилось разделять ее одиночество, тайно отвечая на ее нежность. Отец же доверил мне другую миссию, которая повлияла на всю мою жизнь еще сильнее, чем едва осознанная в детстве близость к матери.

Я пишу без какого-либо плана о том, что вспоминается, и вот на первой же странице передо мной властно встает образ Адриена. А между тем он не занимал никакого места в моей жизни ни между окончанием учебы и войной, ни после возвращения из Англии в 1944 году, вплоть до 1969 года, года своей смерти. Один из моих кузенов говорил, примерно в году 1950-м: «Когда раньше, до 1940-го, меня спрашивали: „Вы родственник Арона?“ — речь шла о теннисисте или игроке в бридж; теперь же собеседников интересует мое родство с тобой».

Действительно, Адриен был довольно знаменит или, по крайней мере, пользовался известностью в мире спорта, особенно в Париже. В конце 20-х годов, в эпоху четырех мушкетеров [2], он стал девятым в таблице теннисистов и одновременно числился среди четырех или пяти лучших игроков в бридж Франции, возможно, лучшим наряду с П. Альбарраном. Он участвовал в нашумевшем в свое время состязании между командами Калбертсона и Франции. Не будучи профессионалом ни в одной из этих игр, он сделал их, в особенности бридж, источником средств существования. После 1945 года он оставил ракетку и карты, занявшись покупкой и продажей почтовых марок — также в качестве любителя. До своего последнего дня он оставался на обочине общества, чье лицемерие презирал, скатываясь понемногу к цинизму.

В 60-е годы мы почти не виделись. После операции (ущемленная грыжа) он выразил желание жить у нас, на авеню Президента Кеннеди; колебания, мои и моих домашних, рассердили его, и наши встречи стали редкими. Вспоминаю о коротком разговоре в мае 1968 года; его реакция на тогдашние события была, как всегда, окрашена презрением к людям и отсутствием интереса к ним. В ноябре 1969-го он позвонил мне по телефону и сказал, скорее насмешливо, чем с беспокойством или печалью: «На этот раз я, кажется, попался. Ощущаю твердый ком в животе — видимо, рак». Он не ошибался. Рак, давший многочисленные метастазы, унес его за какой-то десяток дней. Он курил по две-три пачки сигарет в день и кашлял, как истый курильщик, — даже профану было ясно, в чем тут дело.

Я навещал его в американской больнице ежедневно, за исключением последнего дня его сознательной жизни. Я совершал тогда визиты, положенные кандидату на профессорский пост в Коллеж де Франс [3], и они мне казались тем нелепее, что смерть Адриена контрастировала с общественной комедией, в которой он никогда не участвовал и о чьем суетном блеске не сожалел. Он не боялся конца, которого ждал в обычной для него манере, видимой тени страха, скорее нетерпеливо; однако страшился страданий и умолял меня избавить его от них. Попросил у врача упаковку аспирина, но не воспользовался им. Он не ускорил свой конец — болезнь распространилась молниеносно — и смотрел в лицо развязке, верный себе, ни в чем не раскаиваясь, но подведя объективный, отстраненный итог своих шестидесяти восьми лет.

Он удовлетворенно вспоминал о первом периоде своей жизни — до 1940 года. Это не было удовлетворение от исполненного долга или совершенного дела, оно касалось только его самого: у

него было все, что ему хотелось иметь, — женщины, деньги, спортивные успехи. Он ездил в те годы на «ланче» [4] (которую я много раз брал у него); всегда элегантно одетый, вращался среди богатых завсегдатаев теннисных и игорных клубов. Он идеально воплощал тип человека, посвятившего себя наслаждениям жизни, тип, который презирало мое философское «я», в то время как другая, полубессознательная, часть моего «я» была, пожалуй, унижена его блистательной легкостью и восхищалась, а то и завидовала ей.

Поражение Франции подвело черту [5] под его молодостью. Он вдруг тоже оказался евреем. Нельзя сказать, чтобы в своем окружении он столкнулся с антисемитами, из тех, что при первой возможности дали волю загнанным внутрь чувствам. Насколько его слова на больничной койке позволяют восстановить пережитое им, его удивило и оскорбило безразличие к судьбе евреев (безразличие — в лучшем случае), выказанное товарищами по спорту и развлечениям. (Несколько настоящих друзей, которые, я знал, у него были, остались ему верны.)

Он бросил теннис из-за грыжи, а бридж оставил в тот день, когда заметил, что игра начинает его утомлять. Во время оккупации он жил сначала в Канне, затем перебрался в Швейцарию, где открыл для себя марки. Его послевоенные годы не стали, признавался он мне, столь же прекрасными, как довоенные. Действительно, этот лентяй трудился теперь по нескольку часов в день над своей коллекцией или — надо ли упоминать об этом — над своим новым ремеслом, которым владел с тем же талантом, что и бриджем. Если бы не война, говорил он мне, он нашел бы себе «положение» благодаря содействию того или иного из своих «друзей». Друзей, с которыми имел общие дела и которые исчезли в водовороте событий.

Накануне смерти он ни о чем или почти ни о чем не сожалел, разве только о том, что не зависящие от его воли обстоятельства лишили его в последнее время некоторых удовольствий (впрочем, он считал, что и так прожил слишком долго). В конечном счете он сам выбрал свою «сверхчувственную натуру». Для него — такого, каким он пожелал стать, — старость не имела смысла. Нельзя сказать, что он был так равнодушен к людям, как старался это показать. С семьей он был в каком-то смысле связан накрепко. Когда в 1934 году умер отец и мы все трое плакали над его трупом (кажется, первым, который я видел в жизни), он спрашивал Робера и меня: «Я виноват перед ним?» Мой отец потерял все свое состояние в 1929 году, после падения курса ценных бумаг на бирже. Из нас троих один Адриен имел

достаточно денег, чтобы помочь родителям. Я намекнул на это; он ответил, что его образ жизни требует демонстрации роскоши. Впрочем, не знаю, как наш отец встретил бы предложение такого рода. Робер и я постарались успокоить угрызения совести старшего брата.

Я опускаю одну деталь или, быть может, главное: Адриен был одарен исключительным умом, который поставил на службу бриджу и маркам. Окончив лицей Гоша (Hoche), он поступил на подготовительный курс Высшей политехнической школы, но необходимость много работать отпугнула его уже через несколько недель. Отец предложил альтернативу: юридический диплом или математический. И он в самом деле получил степень лиценциата права. За три предэкзаменационные недели выучил учебники почти наизусть и таким образом сдал экзамены за все три курса. Он махнул рукой на математический диплом после того, как провалился на экзамене по общей математике. Занятиям этой наукой он предпочел уроки тенниса. Он продолжал жить в семье до начала 30-х годов, потом поселился на улице Мариньян, в маленькой квартире на первом этаже, отделку которой взял на себя один из его друзей. Там брат и умер. К тому времени стиль Всемирной выставки 1924 года, приданный квартире, растворился в беспорядке, замызганности, в изношенности ковров и обоев — что было результатом небрежности, а не нужды.

Бридж и теннис. В саду дома, построенного для моих родителей в Версале в 1913–1915 годах, имелся теннисный корт. Мы состязались там по нескольку раз в неделю. Адриен был самым одаренным из нас, Робер, средний по возрасту, оказался наименее способным. Бридж я также освоил на десятом году жизни, в течение многих лет мы — отец и трое его сыновей — играли в бридж каждый или почти каждый вечер. Наши родители считали, что после ужина не следует «работать». Эта вечерние партии продолжались до тех пор, пока Адриен не стал искать вне дома других развлечений. Моя же страсть как к теннису, так и к бриджу покинула меня, едва я открыл для себя философию и мир идей.

Воспоминания, первыми пришедшие на ум — Адриен и его «экзистенциальный выбор», — могут, пожалуй, создать у читателя превратный образ моей семьи. Она представляется мне сегодня банальной, классической. Мы принадлежали к средней буржуазии французского еврейства. Дедушка по отцу, которого я не застал, основал дело по оптовой торговле текстилем в Рамбервилье, лотарингской деревне, где его предки обосновались, как мне рассказывали, с конца XVIII века. Торговое предприятие, которое он возглавлял вместе со своим братом Полем (отцом Макса

Арона, биолога из Страсбурга), процветало и было переведено в Нанси.

Я ничего не знаю о деде, кроме двух фраз, одну из которых передали мне родители, а другую — когда-то служивший у него уроженец Лотарингии, затем обосновавшийся в Мексике. Дедушка Фердинанд будто бы предсказал мне, младенцу, получившему его имя[16], выдающуюся карьеру. В 1961 году я встретил в Мехико человека восьмидесяти с лишним лет, который когда-то служил в фирме «Братья Арон». Он рассказал мне, какой урок получил однажды от своего патрона: «Как-то вечером, ближе к полуночи, Фердинанд подал сигнал расходиться. Идем спать, сказал он, еще не поздно, завтра встанем пораньше». Родители моих родителей, евреи из Восточной Франции, были непоколебимыми патриотами. Не думаю, чтобы они когда-либо задавались модным нынче вопросом: кто мы прежде всего — евреи или французы? Даже отец, по моим воспоминаниям, хотя и был потрясен делом Дрейфуса сильнее, чем любым другим историческим событием, тем не менее ни на шаг не сошел со своих позиций. В молодости масон, свободный от религиозных исканий, совсем или почти не связанный с обрядовой стороной иудаизма, он, казалось, ничем не отличался от своих университетских друзей, католиков или неверующих, слегка «левых».

Мои дедушки и бабушки с обеих сторон были, как говорится, «с деньгами», но не обладали крупным состоянием. Мать, чей отец имел небольшую текстильную фабрику на севере страны, принесла мужу приданое. Бабушка по отцу ездила, до 1914 года, на большом автомобиле, который водил шофер в форменной фуражке, — эти внешние знаки не обманывают. Таким образом, родители получили с той и другой стороны по нескольку тысяч франков. Вступив в наследство после смерти моей бабушки по отцу, родители решили покинуть Париж и поселиться в Версале. Сначала они снимали дом на улице Мей, а затем обосновались в доме, построенном из песчаника по плану их друга архитектора; в то время наш особняк стоял последним в аллее парка Глатиньи. По другую сторону стены, окружавшей сад, расстилалось футбольное поле.

Отец, как часто случается в еврейских семьях, смолоду принял решение не входить в семейное дело. Он блестяще учился в Лионе и был первым в классе, соперничая с одним из своих товарищей, позднее преподававшим французскую литературу в Сорбонне. Отец сохранил некоторые свои сочинения по философии, упражнения по риторике и латинской поэзии, которые я прочел спустя много времени. На первом курсе

юридического факультета он получил первую премию на конкурсе, в котором участвовали лучшие студенты Парижа (или Франции). По каким-то причинам, которые мне с трудом удается восстановить, он не сделал карьеры. Его специальностью стало римское право и история права. Конкурс на замещение должностей преподавателя высшего учебного заведения проводился каждые два года. Он занял второе место в конкурсе, предлагавшем только один пост. В подготовке — за сутки — большой лекции ему помогал (что было и законно, и общепринято) известный историк Исидор Леви. Сначала отец согласился на место внештатного преподавателя на юридическом факультете в Канне, потом отказался от конкурсов, вернулся в Париж и получил на парижском юридическом факультете место ниже штатного преподавателя; этот пост через несколько лет ликвидировали. Отец навсегда остался преподавателем: читал курс права в Высшей коммерческой школе [6] и в Высшей нормальной технической школе [7]. С его честолюбием и его заслугами это нельзя считать удавшейся карьерой. Он мог бы поступить в магистратуру, но сам убедил себя в том, что преподавание — его призвание, прекраснейшая в мире профессия.

Был ли он искренен? Вплоть до 1929 года и Великой депрессии я вспоминаю его счастливым, экспансивным, довольным жизнью. Позже я постепенно стал задумываться. Готовясь к конкурсам на замещение преподавательской должности, он опубликовал работы по вопросам права. Женившись и став отцом троих детей, он покончил со своими «трудами», выпустив еще лишь маленькую книжку «Война и преподавание права», довольно незначительную. Он оставил Париж, чтобы избавиться от «светской жизни», от парижских обедов (по крайней мере, такой была «официальная» версия), но свои версальские досуги использовал немногим лучше. Временами ощущение жизненной неудачи, несмотря на любовь к жизни и добровольное смирение, вырывалось на поверхность. Но чаще он говорил себе и другим, что посвятил себя всецело детям. Мало-помалу, взрослея и начиная видеть в нем уже не всемогущего отца, а отца униженного, я почувствовал, что он перенес на меня надежды своей молодости, что я должен в некотором роде вознаградить его и своими успехами загладить его разочарования. Он умер через несколько недель после рождения моей дочери Доминики: это была его последняя радость.

И снова воспоминания переносят меня в черные годы, между 1929-м и кончиной отца, то есть в ту эпоху, когда он потерял все

— и свое состояние, и приданое моей матери. В шестьдесят лет ему пришлось, впервые после женитьбы, зарабатывать на жизнь, рассчитывать исключительно на свое жалованье. Прежде, как истый буржуа на стыке двух веков, он тратил больше, чем зарабатывал, — что еще не говорило о его легкомыслии. Почему бы не тратить доходы со своего капитала? Но, боюсь, он привык тратить больше, чем его жалованье и его доходы, вместе взятые. Мне вспоминается разговор между отцом и матерью в Версале, а стало быть, много раньше катастрофы. «Я думала, что наши траты не больше, чем наши доходы», — сказала мать. А отец ответил: «Нет, мы тратим больше».

Мать не была транжирой; возможно, образ жизни, к которому привыкли мои родители — кухарка, горничная, — стал чересчур обременительным в 20-е годы, когда трое сыновей еще зависели от семейного кошелька. После войны, в годы инфляции, отец стал спекулировать на бирже. «Спекулировать» — это громко сказано; он покупал в кредит акции и складывал их в свой портфель, если курс падал. Так, вероятно, он делал вначале, но постепенно опасно вовлекся в это занятие. Крах 1929 года на всех рынках ценных бумаг поразил его, как и многих. Но поразил тяжелее, чем других, потому что он винил лишь себя и потому что вот уже тридцать лет не имел иных стремлений, кроме счастья семьи и будущего детей.

Отец оставался отцом, и я его ни о чем не расспрашивал. Однажды на мой полувопрос он ответил: «Если я продам, значит, я разорен». Он и был разорен, но не хотел этого признать; он отсрочивал свои акции, отчего его убытки только росли. Робер, уже поступивший на службу в Парижско-Нидерландский банк, должен был бы дать ему совет, но не сделал этого: они не смогли поменяться ролями.

Я вспоминаю последние годы его жизни с чувством своей вины и безграничной печали. Отец не заслуживал участи, которую навлекли на него собственные ошибки. Он поддавался уговорам любого мелкого биржевого игрока (помню, один из таких горе-спекулянтов втянул его в операцию, которая лишила его нескольких тысяч франков). Но он был выше своего несчастья. Не теряя мужества, бегал по частным урокам, участвовал в приеме экзаменов и жюри конкурсов. Когда я однажды рискнул заговорить об этом, отец сказал: «Я зарабатываю на жизнь».

Уже в детстве я испытывал чувство вины. Во время войны мать коллекционировала оловянных солдатиков — если память мне не изменяет, предметом собирательства были главным образом головные уборы всех союзных армий, — и меня волновало, что на это тратятся деньги. В 1922 году родители

вернулись жить в Париж, отчасти из-за меня; потом они возвратились в Версаль, а в конце концов продали дом (стоивший тогда полмиллиона франков), что было величайшим безумием. Конечно, решали родители, а не я. Но я не могу считать себя невиновным, поскольку желания детей — в частности, мои — влияли сильнейшим образом на их решения. И Робер, и я соглашались жить на средства родителей, когда учились. Как-то раз отец сказал мне: «Этот вид спорта дорого обходится» — это случилось, когда я попросил у него чек для уплаты взноса в клуб тенниса на закрытом корте.

Слово «буржуазный» я употребляю так же часто, как слово «еврей». Была ли моя семья в большей степени типично буржуазной, чем еврейской? Не знаю, да и вопрос, вероятно, бессмысленный. Моя мать была очень близка со своими двумя сестрами; с одной из них, старшей, отец плохо ладил (и не без причины), и в конце концов денежные ссоры привели к разрыву — камнем преткновения стала маленькая текстильная фабрика, принадлежавшая моему дедушке с материнской стороны. Отношения с сестрой отца прерывались время от времени «размолвками», в которых, по всей видимости, был виноват не отец, по природе великодушный.

Если бы я разыгрывал из себя социолога, я бы сказал, что мои родители застали еще «неразделенную семью»: в поколении моих дедушек и бабушек шестеро детей в семье не были редкостью; братья и сестры, когда им приходилось расставаться, испытывали настоящее горе, взаимная привязанность не позволяла им жить, не общаясь друг с другом. Им случалось «повздорить», что подразумевает близость. В моем поколении многое изменилось: конечно, родители остаются родителями, но среди наших двоюродных братьев и сестер, да даже среди родных, мы выбираем тех, с кем хотим дружить.

Несколько слов о деньгах, чтобы после к этому не возвращаться. Большую часть своей жизни, после того как кончил учиться, я не владел никаким капиталом и жил на свое жалованье. Как-то в разговоре с Аленом [8] я упомянул о контрасте между буржуазным детством на старинный лад и моим теперешним положением буржуа «без запасов», как выразился бы Зигфрид; [9] я признался, что доволен таким положением дел или, лучше сказать, чувствую облегчение: мне не нужно заниматься денежными вопросами, я, подобно наемному рабочему, трачу то, что зарабатываю; но, при всем том, пользуюсь интеллектуальным капиталом, накопленным за годы учения. Ален ответил, что мне повезло дважды: я вырос в безопасности, какую дает обеспеченная семья, и я получил впоследствии лишь то наследство, какое

достается каждому от его отца и матери, обозначаемое словом «быть», а не словом «иметь». Вероятно, мне не придется испытать страх впасть в нужду, который никогда не покидает тех, кто знал настоящую бедность; в то же время я не одержим навязчивым стремлением «не отстать от Джонсов», как говорят американцы.

Ален был прав. Когда я вернулся из Англии в 1944 году, у меня не было отложено ни единого су; но я без долгих размышлений отказался от кафедры социологии в университете Бордо, предложенной мне деканом, который обещал, что его коллеги примут меня единодушно. Позже я пожалел о своем отказе, задержавшем на десять лет мое возвращение в университет, но здесь проявились и мое легкомыслие (а значит, я поистине сын своего отца), и известная самоуверенность. Ведь, в конце концов, какая профессия, кроме преподавательской, открывалась передо мной? Журналистика, конечно. Но я не написал до войны ни одной газетной статьи, а в моих трудных для восприятия темных философских книгах отнюдь не обнаруживался особый дар автора передовиц.

Быть может, своим двусмысленным отношением к деньгам я обязан отцу. Но у меня есть перед ним еще один долг, по которому буду рассчитываться всю свою жизнь. Став кандидатом на пост преподавателя Эколь Нормаль [10], я знал, что обязан оправдать надежды отца, вознаградить его за прошлое. И всякий раз, как я сознавал или опасался, что моя жизнь не удалась, что я не совершу того, на что способен, я думал об отце. Казалось, жизнь наносила ему новое поражение: сын, который должен был исправить несправедливость, которому он доверил миссию, выбрал, подобно ему и из-за тех же недостатков характера, легкий путь неудачника. Причем мне это было менее простительно: если отец долго был счастлив, несмотря на жизненный крах, то я не был на это способен.

Несколько лет тому назад я получал в Иерусалиме звание доктора *honoris causa* [11] университета. Я забыл, что мне придется отвечать на похвальную речь израильского профессора. Накануне я читал лекцию в Институте Вейцмана. Утром, прежде чем сесть в машину и отправиться в Иерусалим, я наскоро набросал ответ. Одно из самых моих неподготовленных выступлений имело тем не менее исключительно теплый прием. Мои последние слова были посвящены отцу, для которого стали бы высшим счастьем мое избрание в Коллеж де Франс и докторская степень, присужденная Иерусалимским университетом. Мой друг Дан Авни, которого не забыли парижские журналисты, написал мне, что я преподал урок еврейства, отдав дань признательности отцу за полученные почести. Еврейства? Пожалуй, психоаналитику

пришло бы в голову другое объяснение. В этом месте и в это мгновение я вспомнил о долге, обременявшем меня пятьдесят лет, — видимо, для того, чтобы увериться самому, что я наконец расплатился.

Я был типичным хорошим учеником. В версальский лицей я поступил сразу на второй год обучения, а до этого учительница мадемуазель Лаланд учила меня читать и писать; я ее помню только по письму, которое она мне прислала после моего избрания во Французскую академию. Частные уроки не подготовили меня до нужного уровня. Однако я довольно быстро нагнал других и с тех пор, особенно начиная с четвертого года, всегда претендовал на первое место, как будто оно принадлежало мне по праву. Короче говоря, я страдал повышенным самолюбием, о чем вспоминаю со стыдом.

Мне нравилось узнавать новое, и я учился с удовольствием. И все же, прежде чем я поступил в класс философии, не думаю, чтобы занятия очень увлекали меня. Латынь, греческий, математика, история, география — ничто не затрагивало мою внутреннюю жизнь, мои собственные интересы, не доставляло наслаждения. Велосипед (я мечтал стать чемпионом), ракетка (почему бы и не чемпионом по теннису?) больше грели мою душу, чем латынь или история. В театры, музеи, на концерты мы ходили реже, чем следовало, — вероятно, из-за того, что жили в Версале. Не обошлось без неизбежных уроков фортепиано; однако в целом я был — на пятнадцатом году жизни — первым в классе в лицее, уступающем парижским, с меньшим внешкольным культурным багажом, чем будущие студенты Эколь Нормаль. Я смог измерить свое отставание и пробелы в знаниях, когда поступил в дополнительный класс лицея Кондорсе (Condorcet).

Много ли я читал, помимо обязательных книг? Лет в одиннадцать — двенадцать, пожалуй. Вспоминаю «Войну и мир», князя Андрея, лежащего на земле, устремив глаза к небу. Не раз потом я надеялся снова пережить волнение, испытанное при первом чтении, но меня постигало разочарование. Я ждал слишком многого от этого места в книге, и поэтому оно теряло свою колдовскую силу. Впрочем, со мной это бывало часто: тревожное ожидание всегда оставалось неудовлетворенным Так, диалоги Горация и Куриация [12], которые я декламировал наедине с собой, уносили меня в некий возвышенный мир. За несколько дней до представления трагедии в Комеди Франсез (Comédie-Française) [13] я предвкушал радость, которой меня переполнят голоса актеров. Я увижу, услышу героев, чьи реплики не уставал повторять: «…Ты — отныне мне чужой». — «А мне ты все же

свой…» [14]. Чуда не произошло. Виновата ли в этом режиссура или актеры (помнится, играли Поль Муне и Эсканд [15])?.. Не думаю. Значительно позже я прочел Пруста и понял, как банально мое разочарование: совершенные мгновения нельзя пережить по заказу. Некоторые из них мне подарило «В поисках утраченного времени», но я не решаюсь перечитать любимые места, боясь не обрести вновь эти совершенные мгновения или, хуже того, испортить воспоминание о них.

Помимо романов — от «Трех мушкетеров» до «Войны и мира», — которые я проглотил еще ребенком, я обнаружил в отцовской библиотеке или, вернее, в закрытых шкафах под книжными полками книги, листовки, газеты, посвященные делу Дрейфуса, «Я обвиняю» («J'accuse»), брошюру Жореса [16]. Я погрузился в Дело, не замечая, что речь идет о пересмотре отношения к евреям и их статуса во Франции. Тогда шла война, и мои родные разделяли общую патриотическую страсть. Говоря «страсть», я не преувеличиваю. Родители, дядья и тетки отдали государству свое золото. Отец, которому к моменту объявления войны исполнилось сорок три, был мобилизован в территориальные войска и пробыл несколько месяцев в казармах Туля. Зимой 1914/15 года его демобилизовали, и он вернулся к своей обычной деятельности. Я вспоминаю с некоторым чувством стыда о своем равнодушии к несчастьям других, к ужасу окопов. Было ли это в самом деле равнодушием? Да, в том смысле, что моя учеба и мои спортивные развлечения — катание на коньках на канале Версальского парка — трогали меня больше официальных коммюнике или того, о чем рассказывали газеты. Я записался в Колониальную морскую лигу [17], потому что нас к этому призывали учителя. Это был абсолютно естественный патриотический поступок. Я не задавал себе вопросов по поводу колоний и цивилизаторской миссии Франции и в сочинении, которое каждый школьник должен был написать о предпочитаемой профессии, воспел величие «маленького капитана» [18].

Дело Дрейфуса не смутило моих чувств юного француза. Я удивился, когда отец провел параллель между делом Дрейфуса и войной: Дело в еще большей степени, чем война, послужило оселком, позволило судить о людях и их характере. Безусловно, я знал, что я еврей, и нередко слышал из уст еврейских буржуа такую фразу: «Вот эти-то люди и порождают антисемитизм». Что за люди? Те, кого называют вульгарными, кто громко говорит в обществе, смеется во все горло, обращает на себя внимание. Одна из тетушек обнаруживала «виновников» антисемитизма главным образом среди друзей моих родителей или в одной родственной

нам семье. Такие разговоры вызывали у меня неловкость и глухое раздражение. Они стали для меня невыносимыми, когда я достиг сознательного возраста. Реакция многих французских евреев на прибытие немецких евреев после 1933 года возмутила, но не удивила меня. В конце концов, те действительно были «бошами», жили вместе со своим народом — народом, который считали своим, — и так же повторяли *Gott strafe England*[17]. Французские евреи не испытывали, как правило, никакого чувства солидарности с немецкими евреями. Они не знали — не хотели знать, — что придет и их час; ассимилировавшись, они отказались от свободы выбора самих себя.

Возможно, я склонен представлять себя слишком наивным в эпоху, предшествующую моему соприкосновению с догитлеровской Германией: я будто бы едва сознавал, что принадлежу к еврейству, и в полной безмятежности пребывал французским гражданином. А между тем… Учитель истории, человек правых убеждений, близкий к «Аксьон франсез» («Action française») 19, рассказывал нам, то ли в первом (старшем) классе, то ли в классе философии, о Третьей республике. Он сообщил, что даже и теперь, по прошествии времени, неизвестно, был ли Дрейфус виновен, а впрочем, это не так уж и важно; дело Дрейфуса развязало политические страсти и дало повод к выступлениям врагов армии и религии. Вслед за этим пришел «гнусный» режим радикалов и «фишек» 19а. Я, как мог, спорил с учителем 19б — ко всему прочему, раненным на войне, — припомнив все: и телеграмму, и патриотическую фальшивку 20, и процесс в Ренне, и окончательное решение Кассационного суда. Учитель отвечал классическими формулами типа «Это сложнее, чем вы думаете» и даже прямо погрешил против истины: «Кассационный суд не был уполномочен решать вопрос по существу; он вынес свое решение, чтобы положить конец полемике, раздиравшей нацию». Ни тот, ни другой из споривших не упомянул, насколько я помню, или, во всяком случае, не подчеркнул, что Дрейфус был евреем и что я тоже еврей. В 1920 или 1921 году еще что-то сохранялось от священного единения 21.

Моим одноклассникам было, разумеется, известно, что я еврей. Что они по этому поводу чувствовали? Тогда я этого не знал и, возможно, не стремился узнать. Однажды, когда мне было одиннадцать или двенадцать, при выходе из лицея мне вдогонку раздались крики «грязный еврей», «жид». Пораженный и испуганный, я рассказал о происшествии родителям. На другой день мой «большой» брат Адриен разогнал мелюзгу.

В момент подписания Версальского договора 22 мне было четырнадцать лет, и, по всей вероятности, я горячо спорил в

кругу семьи о мировых событиях, о революции в России, об оккупации Рейнской области. Родители позволяли нам участвовать во всех разговорах, даже со знаменитыми профессорами. Они считали правильным, что я обращаюсь к взрослым как к равным, и наивно полагали, что таким способом «освобождают» сыновей. На самом деле они только затруднили наше освобождение. Друзья родителей прозвали меня адвокатом за легкость аргументации. Что именно я защищал в 1918–1920 годах тринадцати-, шестнадцатилетним подростком, сказать не могу. Уже давно я представлял свою интеллектуальную биографию следующим образом: до класса философии — ночь, начиная с класса философии — свет. Я поступил в этот класс в октябре 1921-го. Патриотическое воодушевление шло на убыль; левые собирали свои силы, возвращались к своим идеям. На бледно-голубой, цвета военных мундиров, Палате депутатов рикошетом отзывалось разочарование в результатах победы. Мой отец вернулся к своим умеренно-левым убеждениям. Он голосовал, насколько я знаю, за Национальный фронт [23] в 1919 году и, безусловно, за объединенных левых [24] — в 1924-м. В промежутке был неизменным читателем и подписчиком «Прогрес сивик» («Progrès civique»), еженедельника, который вел избирательную кампанию за левый блок на выборах 1924-го. Отец снова стал дрейфусаром своей молодости; он никогда не был приверженцем Р. Пуанкаре [25], который с таким запозданием «освободил свое сознание», понемногу и осторожно перейдя от пропаганды войны к примирению с врагом.

Учебный 1921/22 год, который я считаю решающим в своей жизни, отмечен в историческом плане последними судорогами великого военного и революционного кризиса. Я не узнал ничего о политике, экономике, большевизме и Карле Марксе, зато впервые открыл для себя зачарованный мир философской спекуляции, или попросту мысли. Я выбрал отделение «А» не столько из любви к древним языкам, сколько из страха перед математикой. В четвертом классе меня травмировал и мне накрепко запомнился тягостный случай: я не сумел найти правильный ответ задачи. Преподаватель написал на моей работе красными чернилами: «Как вы могли не решить такую простую задачу?» Я спасовал перед трудностью, и это, похоже, повторилось со мной при совсем иных обстоятельствах. Писать эссе, подписывать договоры на незначительные книги — разве это не стало для меня другой формой отступления перед препятствиями?

Родители предоставили мне свободу выбора, даже не споря. (Я не лучше повел себя потом со своей дочерью.) Братья пошли по

нормальному пути — «латинский язык и точные науки» (отделение «С»), что открывало доступ как в класс философии, так и в класс элементарной математики. Успевающие ученики получали степень бакалавра по обеим специальностям в одном и том же году. Отделение «А» (латынь и древнегреческий) готовило только к получению степени бакалавра по философии и давало минимум математических знаний. Среди гуманитариев мне обычно удавалось быть первым по математике. Я легко усвоил начальные курсы геометрии и алгебры, полагавшиеся по программе. Над задачами порой приходилось поломать голову. Мне легче было рассуждать с помощью понятий, чем знаков, цифр или символов.

Откуда взялось во мне это чувство перелома при переходе из классов французского языка и литературы в класс философии? Я еще и сегодня задаю себе этот вопрос. В конце концов, добрую часть курса занимала психология — довольно странная, вобравшая в себя, с одной стороны, традицию рациональной, наполовину метафизической психологии, и, с другой — начатки психологии научной, эмпирической. Программа не изменилась со времен моего отца, который учился лет за тридцать до меня. И тем не менее этой двусмысленной психологии и фрагментов классической философии, к тому же донесенных до меня не гениальным преподавателем, оказалось достаточно, чтобы раскрыть мне мое призвание и строгие наслаждения мысли.

Наш преподаватель Айе писал всю жизнь диссертацию по философии права, которую так никогда и не закончил, — он потерял к ней интерес, узнав о защите диссертации на смежную тему. Из статьи, опубликованной в «Ревю де Метафизик э де Мораль» («Revue de Métaphysique et de Morale»), можно узнать, что он ставил целью интерпретировать практику судов в свете философии суждения, а не концепта;[18] следовательно, был учеником — не в точном смысле слова — Леона Брюнсвика 26. Впрочем, какой философией он вдохновлялся, было не важно. Айе размышлял перед своей аудиторией; не защищенный доспехами какой-либо системы, он вслух, с трудом искал истину. Его не всегда гладкая речь была способна отвадить юных слушателей. Мне случалось «переводить» объяснения преподавателя для моих друзей Леонарда Риста, Жака Эппа (ставшего впоследствии замечательным хирургом); но работа мысли, в свидетели которой приглашались два десятка семнадцати-, восемнадцатилетних юношей, работа подлинная, безо всякой инсценировки, являвшая собой не спектакль, а человеческий опыт, имела для некоторых из нас единственную, неповторимую ценность. Впервые учитель чего-то не знал, искал ответ на свои вопросы, стремился не

внушить нам истину, а подсказать способ мыслить. Несомненно, подлинные ученые преподают не столько готовую истину, сколько искусство или метод ее обретения. Но в лицеях и колледжах учителям редко представляется случай касаться пограничных областей знания, находящегося в становлении, либо воскрешать перипетии прошлых открытий.

Возвеличение мысли как таковой таит в себе известную опасность. Философы часто усваивают скверную привычку приписывать одному мышлению, без опоры на информацию или доказательство, способность постигать истину; другие исключают из процесса анализ или научное доказательство. Как бы там ни было, но несколько месяцев, проведенных с настоящим преподавателем философии, который знакомит молодых людей с идеями Платона и силлогизмом Аристотеля, с «Размышлениями» («Méditations») Декарта и трансцендентальной дедукцией Канта, накладывают глубокий отпечаток на умы и вносят в них нечто незаменимое. Может быть, я забегаю вперед, путаю год в лицее с четырьмя годами Эколь. Решение готовиться в Эколь Нормаль родилось само собой в классе философии. Можно ли, впрочем, говорить о решении? Школы точных наук были для меня закрыты выбором отделения «А». Я не знал о возможности сочетать подготовку на степень лиценциата права со свободной школой политических наук. Хотя во мне пробудился интерес к общественным вопросам, я не думал о политической карьере. Позже, в Эколь, думал о ней не раз, но скорее как о подстерегающем меня искушении, о риске падения. Журналистика в такой же или в еще большей степени, чем ремесло политика, казалась мне признанием своего провала, прибежищем неудачников.

Жизненный опыт уже умерил мое ребяческое самолюбие, и оно сублимировалось, очистилось. В дополнительном классе Кондорсе, готовящем к поступлению в Эколь Нормаль, я решил не претендовать на первые места среди поступающих, мне было достаточно стать студентом прославленного учебного заведения. Когда четыре года спустя я участвовал в конкурсе на звание агреже [27], мне, наряду с Жан-Полем Сартром [28], прочили первое место. Когда я действительно оказался первым в списке (впереди Эмманюэля Мунье [29] и Даниеля Лагаша [30]), я с грустной прозорливостью отнес этот успех на счет школярских заслуг. Ни в одной из письменных работ, ни в одном из устных докладов я не проявил какой-либо оригинальности. Конкурс будущих агреже был в то время тем же, чем и остался; кандидаты выказывают свою философскую культуру и риторический дар.

Можно ли сказать, что класс философии потому привел меня

в Эколь Нормаль и к преподавательской деятельности, что эта дорога естественно открывалась передо мной? Я посвятил себя тому виду интеллектуального труда, к которому у меня было, по всей видимости, больше данных. Все же я думаю, что это слишком строгое суждение. Класс философии открыл мне, что мы можем постичь разумом нашу жизнь, а не просто пассивно прожить ее; обогатить ее мыслью, общаться с великими умами. Один год знакомства с творчеством Канта раз и навсегда излечил меня от тщеславия (по крайней мере, глубинного). В этом отношении я и сегодня чувствую свою близость к Леону Брюнсвику. В его записной книжке 1892 года, под 22 сентября, есть фраза: «Я мечтаю о чистом храме, от которого сам бы себя отлучил». Пятьюдесятью годами позже он перекликается сам с собой: «Быть может, я не слишком часто изменял двойному девизу: „Ставить себе цель как можно выше, о себе судить как можно строже“». В письме к дочери Адриенне он цитирует эту поэтическую строку и комментирует ее: «Мне показалось, что приведенные слова определяют меня всего целиком — лишенного иллюзий относительно себя самого, но приверженного обдумыванию и толкованию умственных высот величайших гениев человечества». Я не могу сослаться в собственную защиту на такую же верность своему идеалу, но я тоже посвятил много времени «защите и прославлению» более значительных, нежели я, умов; я охотно предполагал у них мысли, которыми не был им обязан, если мне казалось, что они у них подразумеваются.

Почему класс философии повлек за собой мою левую ориентацию? Год 1921/22 совпал с возрождением буржуазного, «академического» левого течения, подавленного в предшествующие годы национальным пылом. Я полагаю, однако, что философия сама по себе дает урок универсализма. Люди думают, все они способны думать. Следовательно, нужно обучать их, убеждать их. Война отрицает человеческое в людях, ибо победитель ничего не доказывает, кроме своего превосходства в силе или в хитрости. Климат философского класса, независимо от убеждений преподавателя, как правило, благоприятствует левому мироощущению.

Этот класс открыл передо мной мир мысли; вопреки Декарту, он не преподал мне метод, в котором так нуждаются «философы» Эколь Нормаль. Думать — да, но также вначале учиться, набираться знания. Башляр [31] пишет где-то, что только философы думают прежде, чем обучатся. В течение десяти лет я исповедовал определенные политические убеждения, в действительности же предпочитал одних людей другим; я симпатизировал обездоленным и угнетенным, ненавидел тех, в чьих руках сила и

власть и кто чересчур уверен в своих правах; но между философией и моими чувствами зияла пустота — незнание общества, каково оно есть, каким оно может быть и каким не может быть. Большинство людей моего поколения не заполнили и даже не попытались заполнить эту пустоту.

Мне казалось, что я помню, как написал первую «макиавеллистическую»[19] статью[20], подписанную *Landhaus,* по названию улицы, на которой находился *Französisches Akademiker Haus*[21]. Реакция Ж.-П. Сартра, которую мне передал один из наших общих друзей, была простой: «Итак, мой дружок стал негодяем?» В то время я открыл для себя автономию политического, говоря философским языком. Политика как таковая по сути своей отличается от нравственности. Хорошенькое открытие, скажет читатель. Да, конечно, это известно всем, однако школьное и университетское образование, каким я его получил и усвоил, не подготовило меня к пониманию политики, Европы и мира. Академический идеализм склонял меня к осуждению Версальского договора, оккупации Рура, к поддержке требований Германии, к левым партиям, чьи язык и цели отвечают чувствам, которые питала, а может быть, и породила любовь к философии. Изменилась ли с тех пор моя способность чувствовать? Я не уверен в этом, хотя мой разум — или то, что я считаю таковым, — понемногу возобладал над чувством.

Что в этой реконструкции былого почерпнуто из воспоминаний и что — из моего представления о собственном прошлом, которое я, возможно, на них накладываю? Обращение в философию и приход к левому мировоззрению на семнадцатом году жизни; четко определившиеся убеждения, политические страсти (радость при победе Левого блока в 1924 году), эмоциональное участие во всех событиях, будь то во французском парламенте или во всемирной истории… Не думаю, что интеллектуальная память деформирует или искажает подлинный опыт подобного рода. Но я забегаю вперед; пока я еще в классе философии лицея Гоша, я выбрал жизненную стезю; мой выбор продиктован простотой и легкостью, моими вкусами, школьными успехами и откровением, каким стала для меня философия. Представлял ли я себя преподавателем лицея на протяжении всей жизни? Мечтал ли я уже о «творчестве»? Или о диссертации, обычном этапе после получения звания агреже? Не знаю и, вероятно, не знал этого в семнадцать лет. В своем Версале я был похож на провинциалов, на тех отличников, которые являются в Париж, не заглядывая дальше своих экзаменов, Высшей педагогической школы и конкурса. Только соревнование с

другими на подготовительном курсе и позже должно было показать мои шансы на будущее. Во всяком случае, вопреки представлению, которое сложилось у многих моих товарищей, конкурсы меня пугали, а победы не внушали настоящей веры в себя; я хочу сказать, такой веры, которая нужна, чтобы посвятить себя творчеству. Я завидовал уверенности в себе, какой обладал Ж.-П. Сартр, и в душе считал, что он прав, так же как я прав в своих сомнениях, подлинность которых он с трудом допускал.

Я почти ничего не сказал о моей матери и брате Робере. Как говорить о матери, не восстанавливая смутных воспоминаний своих первых лет — чего я не сумел бы и не хочу делать?

Родители всю жизнь казались мне очень дружными, несмотря на то, что брак был «устроен» их семьями. Моя мать нигде не училась (она охотно упоминала об одной девушке, сдавшей экзамен на степень бакалавра, которую прозвали «вогезской бакалавршей»). С трудом пережив разлуку с матерью и сестрами, она всецело посвятила себя мужу и детям. Но она не могла помогать отцу ни в его карьере, ни в делах. Как я слышал, она плохо перенесла отъезд в Канн, ей не терпелось вернуться в Париж, и она побудила отца удовольствоваться маргинальным (тогда в большей степени, чем теперь) преподаванием 32.

Мать стала жертвой судьбы, уготованной ей обычаями той эпохи. Была ребенком вплоть до своего замужества, плакала в день свадьбы с человеком, которого мало знала. Пока ее дети оставались в семейном коконе, была счастлива. Бунт и черствость Адриена причиняли ей боль; она страдала из-за нашего разорения. И ни разу не упрекнула отца, отдала ему все, что у нее было, — несколько драгоценностей, кольца. После его смерти в 1934 году осталась без средств к существованию и зависела от сыновей, которых ей бы хотелось «баловать» до конца жизни. Единственная внучка принесла ей меньше радости, чем она надеялась. Она стремилась полностью войти в роль бабушки — к этой роли ее предназначало понимание жизни, пришедшее из мира, который канул в Лету. Она не могла подарить нам семейное тепло, потому что теперь была одинока. В июне 1940 года она умерла в городке Ванн, где жила одна.

Я часто размышлял над судьбой трех «каштанчиков». Насколько могу судить, гены наделили обоих братьев способностями, вполне сопоставимыми с моими. Адриен мог бы, вероятно, поступить в Высшую политехническую школу. Робер хорошо и легко писал. Первый посвятил бриджу и маркам весь свой ум, неизменно поражавший меня остротой. Я считал, что он всуе расточает редкий дар. Я не мог запретить себе судить с нравственной точки зрения образ жизни, который он вел до

войны. Он не нарушал никакого закона; те, кто регулярно играл с ним, не могли не знать о его превосходстве — ясно, что рано или поздно они должны были потерять свои деньги. При всем том Адриен, который шокировал и огорчал меня отсутствием нравственного чувства, оставался мне братом — любящим братом, всегда готовым оказать услугу. Свои последние дни он провел со мной, ожидая смерти без тоски и страха.

Робер, оказавшийся между двумя крайностями — один брат блистал в спорте, другой в учебе, — никогда полностью не преодолел свое невыигрышное положение на старте. Он стал одновременно лиценциатом права и философии. В тот момент ему необходимо было принять решение: либо готовиться к конкурсу на звание агреже по философии, либо оставить университетскую стезю и, отслужив в армии, найти себе работу. У него не хватило мужества сделать выбор, и он еще год посвятил диплому по философии. Эта работа была, кстати, превосходна: классическое сопоставление Декарта и Паскаля завершалось оригинальным толкованием пари [33]. Работу, опубликованную за подписью Робера Арона в «Ревю де Метафизик э де Мораль», приписывали то автору «Истории Виши», то мне: третьего автора с этой фамилией никто не знал.

После окончания военной службы он поступил в Парижско-Нидерландский банк; его взял на работу сам директор, с которым я играл в теннис в клубе банка. Робер провел в этом учреждении всю жизнь, за исключением лет оккупации, когда его оттуда уволили. Он вернулся на работу в первый же день Освобождения и прошел там все ступени иерархии вплоть до директора исследовательского отдела. В этом смысле карьера ему удалась. Он не женился, и мне неизвестно, чтобы у него были прочные привязанности. Не знаю, был ли он удовлетворен своей судьбой, которую сначала выбрал и которая потом вела его за собой. Коллеги уважали его, восхищались им; некоторые говорили мне, что сохранили благодарность брату. Он был одним из первых финансовых аналитиков во Франции, настоящим профессионалом.

Однако я сомневаюсь, чтобы Робер обладал всеми козырями, необходимыми для успеха в бюрократическом соперничестве внутри крупного учреждения. Ценя его компетентность, Эмманюэль Мон*и*к много раз поручал ему составление годового отчета для Общего собрания акционеров. Но у Робера было чувство, что дирекция использует, эксплуатирует его, что он не получает должного вознаграждения — его интересовали не столько деньги, сколько статус. Он рассказывал, чаще Адриену, чем мне, о своих стычках с начальством. В каком-то отношении

он, типичный кабинетный работник, был *the right man at the right place*[22], но задвинутый в тень. Президентство в филиалах банка, на которое, как брат считал, он имел право, поручалось другим. У него не было психологических данных президента административного совета. Робер мог бы стать незаурядным преподавателем и со своими товарищами по отделу держал себя как педагог.

После ухода Эмманюэля Моника и с первыми признаками болезни, постепенно парализовавшей тело, а затем и мозг Робера, его положение в банке ухудшилось, характер испортился; мы виделись с ним все реже. Кто знает, может быть, брат отказался от конкурса на звание агреже по философии из-за того, что стал бы кандидатом одновременно со мной. Выдержи он конкурс с первой попытки, Робер обогнал бы меня на год, однако устные экзамены включали в себя перевод и комментарий древнегреческого текста — а греческий он никогда не учил. Возможно, я уже с юных лет затруднил брату жизнь. У него не меньше заслуг в финансовом анализе, чем у меня в моих профессиях. Различие кроется не в безвестности одного и известности другого. Он продирался сквозь джунгли, для которых не был должным образом снаряжен, и чаще оказывался побежденным, чем выигрывал.

Последние годы жизни Робера несколько омрачают его портрет. Долгое время, лет десять — пятнадцать после войны, он, насколько я знаю, сохранял друзей своей юности; полюбил Доминику, единственного ребенка троих Аронов; однако постепенно отдалился ото всех и, подобно Адриену, но на свой лад, ушел в одиночество. Он писал детективные романы, которых я не обнаружил после его смерти; предпринял историю высадки союзников в 1944 году, чтобы исправить ошибки официальных версий. Характер и разум брата пострадали от травм, нанесенных разочарованиями в профессиональной жизни, которая сливалась с жизнью в целом. Настали годы упадка, потеря способности двигаться, потом потеря памяти и, наконец, сознания.

Отец умер в январе 1934 года от сердечного приступа — первый припадок случился за несколько месяцев до того; его убили больная совесть и перегрузка работой. Плача без слез в комнате умершего, я повторял про себя: «Он умер от нищеты», что было почти правдой. Робер погрузился во тьму задолго до смерти; свои денежные дела он, кажется, вел нормально. Изнанка же декорации была, вероятно, похожа на видимую сторону отцовской.

Адриен умер так, как желал. Когда для него исчерпались все наслаждения жизни, он, одинокий, сам избрав свое одиночество

эгоиста, ждал конца не со стоицизмом, а с нетерпением; его единственным обществом был младший братишка, к которому этот циник, не раз искушаемый злом, питал, несмотря ни на что, самую теплую привязанность с оттенком уважения; я тоже очень любил его.

II
ГОДЫ УЧЕНИЯ И ДРУЗЬЯ

Я поступил в дополнительный класс лицея Кондорсе в октябре 1922 года; я был застенчив и честолюбив, как провинциал, приехавший в столицу. Почему именно Кондорсе, а не лицеи Людовика Великого или Генриха IV, из которых выходило большинство студентов Эколь Нормаль? Выбор сделал отец по совету своих университетских друзей. Возможно, решающим доводом стала близость к вокзалу Сен-Лазар: семья жила пока еще в Версале, а перспектива интерната пугала и родителей, и меня.

Первые месяцы явились для меня серьезной проверкой, тягостной для самолюбия, но чрезвычайно полезной. В то время как в прославленных лицеях на левом берегу Сены первый и второй дополнительные классы были уже разделены, в Кондорсе имелся единый класс, где занимались вместе и выпускники класса философии, и поступившие в прошлом году — всего человек двадцать пять. Естественно, новички должны были отдать первые места «второклашкам», уже готовившимся держать экзамены в Эколь Нормаль в конце года. Как бы то ни было, мне представился случай измерить свои пробелы в культуре, невежество в латинском и греческом. В философии я сразу же оказался на приличном уровне.

Из преподавателей я вспоминаю с искренней признательностью Ипполита Париго. Он вел рубрику «Образование» в газете «Тан» («Temps») и пылко защищал реформу Леона Берара [34], усиливавшую позиции гуманитарных наук в средней школе. Он часто скрещивал шпаги с левыми журналистами. В гуманитарном образовании замечался крен вправо, даже к реакции, хотя Эдуар Эррио [35] был чистейшим гуманитарием.

Мои симпатии были, конечно, не на стороне такого учителя риторики — как выражались поколением раньше, — чьи политические убеждения совпадали с решениями министра об организации и программах экзаменов на степень бакалавра. Однако в ту эпоху лицеи отнюдь не распахивали свои двери навстречу бурям, бушевавшим за их стенами. Впрочем, когда оглядываешься на эти бури 1922–1924 годов, они кажутся легким ветерком в сравнении с другими, разразившимися на моей памяти в 1936, 1940, 1944, 1968 и прочих годах.

И. Париго преподал мне урок, о котором я слишком часто

забывал, но который снова и снова вспоминается мне как предупреждение или укор: «Учитесь писать, относитесь с уважением к языку, ищите точное выражение, остерегайтесь небрежностей, ежедневно прочитывайте с пером в руке страницу настоящего писателя». До встречи с ним я в своих письменных работах мало заботился о стиле, а легкостью пера не обладал. Я слишком загонял внутрь свои чувства, чтобы фраза рождалась сама. Впоследствии я продолжал подавлять свои чувства, оправдывая холодность моего стиля тем, что намеренно обращаюсь только к разуму читателей.

Два эпизода моего общения с И. Париго не стерлись из памяти: один, в первом триместре первого года обучения, — это чтение в классе отрывка из моего сочинения, сопровождаемое ироническими замечаниями по поводу отдельных слов, повторений, неловких оборотов, нелогичных переходов и уж не знаю чего еще. Жертва молча терпела унижение. Другой эпизод относится к третьему триместру второго года: я должен был прочесть перед классом, с кафедры, отрывок из письменной работы (о Лабрюйере) 36, получившей ритуальную похвалу, надписанную сверху: «Задатки таланта». Добавлю к этому, что Париго бросал чтение работы после второй орфографической ошибки. Это орфографическое суеверие кажется мне сегодня довольно нелепым. Пьер Гаксот ответил бы мне, что при такой муштровке кандидаты в студенты не делали орфографических ошибок.

Более глубокое впечатление на меня произвел — и недаром — другой преподаватель, латинист Шарль Саломон. Его жена возглавляла Школу Севинье, где читал курс Ален; сам он дружил с Жаном Жоресом. Он принадлежал к тому типу, ныне все более редкому, выпускников высших нормальных школ, которые без горечи преподают всю жизнь в лицеях и находят в этой, по общему мнению, неблагодарной профессии суровое удовлетворение. Его высочайшая культура преображала школьные упражнения в увлекательное и обогащающее занятие. Одаренный редкостно тонким умом, Шарль Саломон превращал перевод с латинского в праздник разума. Так же, как Париго, но в еще большей степени, он умел различать перевод и парафраз и терпеливо искал точное слово или, за неимением такового, эквивалент латинского выражения. У меня состоялась только одна беседа с учителем летом того года, когда я добился успеха в Школе. Он никогда не показывал, что верит в меня (я узнал об этом от товарищей). Мы говорили тогда о литературе, в частности о Поле Валери 37. Когда Марсель Мосс 38 спрашивал меня о моих преподавателях, он высказал свое мнение лишь об

одном из них, Шарле Саломоне: «Этот человек даст вам почувствовать, что такое талант». Он умер через несколько месяцев после того, как вышел на пенсию.

Среди моих товарищей по лицею Кондорсе, которых я не забыл — возможно, по причине их последующих достижений, — назову Жака Эргона, Даниеля Лагаша, Жана Могюэ, Оливье Лакомба, Жака Велерса, Эдмона Ланье. Последний получил степень лиценциата литературы в Сорбонне, поступил очень молодым в «Трансатлантическую компанию» и лет через тридцать пять стал ее президентом и генеральным директором. С двумя из упомянутых соучеников я завязал дружеские отношения, которые не смогли разорвать ни время, ни превратности карьеры, ни расстояние. Даниель Лагаш шел на год впереди меня; его изысканность, непринужденность со светскими знакомыми импонировали мне, я боялся его разочаровать или вызвать иронию своей неловкостью или невежеством. Он не поступил в Эколь Нормаль в 1923 году, окончил дополнительный класс лицея Людовика Великого и стал студентом Эколь в том же, 1924 году, что и я. Мы вместе стали агреже в 1928-м. На первом курсе мы четверо — Сартр, Низан 39, Лагаш и я — регулярно слушали лекции профессора Дюма в «Сент-Анн» 40. Лагашу там открылось его призвание, и он начал изучать медицину одновременно с философией. Много позже, после долгих лет, в течение которых мы не виделись, я встретил его в Сорбонне. Но никогда не забуду первого года моей восхищенной дружбы — дружбы, думаю, взаимной; и все же инициатива, горячность шли, во всяком случае вначале, с моей стороны.

Жана Могюэ сейчас знают немногие. Ф. Бродель так вспоминает его: высокий, элегантный, с королевской осанкой и манерами, ничем не уступавший самым блестящим профессорам университета Сан-Паулу в Бразилии. Ему понадобилось на несколько лет больше, чем ровесникам, чтобы, после окончания Эколь Нормаль, пройти конкурс на звание агреже философии. Никому не пришло в голову приписать его неудачи иным причинам, нежели самобытность ума и бунт против школярского конформизма. Свой путь преподавателя он закончил в лицее Карно. До этого участвовал в военных действиях 1944–1945 годов (в момент начала войны работал в Бразилии), после войны поступил на дипломатическую службу и занимал консульские посты в разных странах. По неизвестным мне причинам вернулся во Францию, в класс философии лицея Карно (Carnot). Если эти строки попадутся ему на глаза, пусть он услышит в них отзвук дружбы, которая началась в лицее Кондорсе и сохранилась, невзирая на годы и расстояния[23].

Изо всех лет учебы два года дополнительного класса оставили у меня наилучшее воспоминание; они были не самыми приятными, но самыми обогащающими. Хотя, пожалуй, это неточное определение. Ведь речь идет не столько об обогащении, сколько об обучении. Учить латынь, греческий, историю; тренироваться в упражнениях, путем которых совершается во Франции отбор, начиная с экзаменов на степень бакалавра и кончая конкурсом на звание агреже. Говоря так, я косвенно обвиняю предшествующее обучение в лицее Гоша. Справедлив ли я? Все наши преподаватели, насколько мне известно, имели звание агреже. Если у меня есть ощущение, что до лицея Кондорсе я сравнительно немногому выучился, то виноват в этом, возможно, я сам больше, чем преподаватели. Вероятно, я соизмерял свои усилия с требованиями соревнования, а оно приняло совершенно другой характер с момента поступления в дополнительный класс. Когда меня не подстегивал страх поражения, другие интересы, в частности спортивные, отвлекали меня от занятий.

Большинство версальских преподавателей кажутся мне сегодня выше своей профессии. Перед ними были почти исключительно сыновья буржуа. Стиль лицейской жизни сохранял следы наполеоновской эпохи. Школьники выходили строем во двор на перемену; в классе они должны были много часов подряд сохранять неподвижность и напрягать внимание. Помню, однажды учитель немецкого поставил хорошую отметку всему классу в награду за безупречное поведение: когда он вошел, все сидели, сложив руки на парте. Из лицея выходили в семнадцать лет; редкостью были девятнадцатилетние кандидаты на степень бакалавра.

Оглядываясь назад, я пытаюсь оценить полученное мной образование, которое для нынешних поколений, для моих внуков, уже дело прошлого. Ограничение математики в отделении «А» доводилось до абсурда. А между тем это отделение привлекало многих «примерных учеников», которые были вполне способны понять доказательство теоремы или решить задачу. В наше время маятник слишком далеко качнулся в противоположную сторону. То, что осталось от отделения «А», превратилось в тупик. Безраздельно царствует отделение «С», через которое проходит почти вся будущая элита. Математика служит пробным камнем, главным инструментом отбора. Традиционное гуманитарное образование сохраняется где-то на обочине, а может быть, умирает.

Если исключить историю — да и то с большими оговорками — и довольно поверхностное гражданское образование, мы почти

ничего не узнавали о мире, в котором жили. Изучаемые дисциплины и программы восходили в основном прямехонько к традиции иезуитских коллежей. Знаменитая реформа Леона Берара имела целью перевести стрелки часов назад, возродить — для избранных — лицеи прошлого века. Надо ли безоговорочно осуждать классический лицей моей юности и юности моей дочери? За последние двадцать лет совершилась «культурная революция»; математика, классическая и современная, сменила на троне латынь и риторику. Революция отчасти законная: математика — это язык, начатки которого важно усвоить в раннем возрасте. Но тот язык, те языки, на которых мы говорим, остаются средством выражения и общения для всех людей, даже для математиков. Между двумя языками — символов и слов — не нужно выбирать, они оба содействуют воспитанию мышления. Порой я спрашиваю себя, не заключалось ли столько же преимуществ, сколько и недостатков, в закрытости лицеев от внешних бурь. Преподаватель должен подавать пример отстраненности, быть беспристрастным свидетелем и третейским судьей. Споря о политике, он с трудом поднимается — даже если пытается подняться — до той ясности духа, которая так естественна, когда он переводит или толкует записки Цезаря о Галльской войне.

Две крайние доктрины все еще сталкиваются по этому поводу. Следует ли беседовать с учениками о вопросах, которыми они сами интересуются, или, напротив, давать им читать тексты, которых они не прочли бы по собственному почину, побуждать их к культурной аскезе, если позволено так выразиться? У каждого из нас найдется множество доводов в пользу и той и другой доктрины. Возможно, вторая неприменима в коллежах, во всяком случае, в большинстве из них. Эмманюэль Берль как-то сказал мне, что в Биянкуре в программу включили Малларме [41]. Если, напротив, преподаватель класса философии посвятит большую часть годового курса сексуальным проблемам или марксизму, он должен обладать исключительными качествами, иначе занятия выродятся в болтовню и не дадут ни знаний, ни навыка мыслить и составлять суждение.

Какой предстала передо мной Школа середины 20-х годов (с 1924 по 1928 год)? Ютясь в старом монастырском здании, она пользовалась еще ни с чем не сравнимым престижем. ЭНА тогда не существовала [42]. Кое-кто из нас — Гийом Генде, Доминик Лека — поглядывали уже в сторону государственной финансовой службы; Арман Берар, готовясь к конкурсу на звание агреже по истории, одновременно подумывал о дипломатической карьере. Но большинство исповедовало патриотизм Эколь Нормаль (а

может быть, это было корпоративное тщеславие). Мы не смотрели на предстоящие годы преподавания в средней школе, до получения университетской кафедры, как на тягостное испытание или неудачу. После — Сорбонна; ее уже будет достаточно, чтобы выполнить задачу, завещанную мне отцом. Еще тридцать лет тому назад я не мог вообразить крушение Школы.

Моим первым впечатлением от дома на улице Ульм — признаюсь в этом, рискуя показаться смешным, — было восхищение. Даже сегодня, если бы меня спросили: «Почему?», я ответил бы со всей искренностью и простодушием: «Я никогда не встречал столько умных людей на такой маленькой площади». Пусть не все из этих хороших учеников, обладателей первых мест, казались мне предназначенными для подвигов мысли — даже те, кого мы порой строго судили, оживляли свою культуру свежестью ума. Едва ли она всегда сохранялась при соприкосновении с рутиной лицейского преподавания, с проверкой тетрадей. Я избегаю встреч с бывшими сокурсниками, чтобы они остались в памяти такими, какими были. Они не обязательно уступали тем, кто сделал потом карьеру.

Оставим товарищей, имена которых мне не удается вспомнить, когда я смотрю на фотографии тех лет. Перейдем к двум студентам нашего курса, от которых мы все ждали многого и которые не обманули своих почитателей; один не успел завершить свои труды, другой, погруженный во тьму, продолжал свой путь — скорее нравственный, чем политический, — когда я писал эти строки. Я отдаю себе отчет в том, какие ловушки подстерегают меня. Разные образы Сартра неизбежно накладываются один на другой: студент, преподаватель, которым он был по окончании Эколь Нормаль и до своего успеха, пророк экзистенциализма и попутчик коммунистов, защитник левых и, наконец, старик, поддерживаемый Глюксманом, стоявший в Елисейском дворце рядом со мной.

Сартр и Низан оба пришли из лицея Генриха IV; их связывала дружба, редкая даже среди юношей. Оба предназначали себя одновременно литературе и философии; обоих товарищи признали незаурядными личностями; сами они сознавали свой дар и уже вступили на избранный путь (Сартру были чужды сомнения, Низану, может быть, и нет). При всем том они весело участвовали в студенческой жизни, нисколько не обособляясь. Сартр часто бывал заводилой в издевательстве над новичками, иногда довольно жестоком, что коробило меня; будучи автором и актером в ежегодных студенческих капустниках, он однажды сыграл роль Мевре, агреже-репетитора, на которого все шишки валятся. Ни Сартр, ни Низан не выделялись из массы своими

школьными успехами. Но мы догадывались, что тот и другой несли в себе семена творчества или судьбы.

Помню, как было польщено мое самолюбие, когда я узнал от третьего лица, что оба поместили меня по свою сторону баррикады[24], среди тех, кого они не отбрасывали «во тьму внешнюю». Время от времени они устраивали своим товарищам новый экзамен и сверяли свое суждение о них. У меня осталось впечатление, что дружба Низана и Сартра была исключительной, ее нельзя сравнить с отношениями между Сартром и мной или Гием, между Низаном и мной. Но, проучившись два года в Эколь Нормаль, Низан уехал в Аден (откуда потом привез книгу) в качестве воспитателя в семье богатого англичанина. Еще до того как закончил учебу, он женился на Генриетте Альфан. Таким образом, на четвертом курсе, готовясь к конкурсу, я оказался в одной комнате с Сартром и Гием. Именно в этот последний год мы особенно сблизились с Сартром; самая тесная дружба с Низаном была раньше, на третьем курсе.

Уже написана не одна биография Поль-Ива Низана. Не думаю, что смог бы сказать о нем что-то новое, за исключением нескромностей, которые не стоит публиковать. Я позволю себе лишь несколько отрывочных воспоминаний.

Я вместе с другими был свидетелем его «мучительных размышлений»: стоит ли принять предложение английского бизнесмена пожить в Адене воспитателем его сына? Низан, видимо, колебался; прервать учебу, отложить на год участие в конкурсе на звание агреже — такое решение могло показаться его родителям, а может быть и ему самому, неразумным. Низан послал письма некоторым более или менее известным писателям и нанес им визиты, желая получить совет. Однако он не принимал всерьез слов старших. Насмешливо цитировал Жоржа Дюамеля: «Если вы спрашиваете у меня как у отца семейства, что вам делать, я скажу: „Закончите сначала учебу“. Но если вы обращаетесь к мужчине, он ответит: „Уезжайте, юноша, откройте для себя большой мир. Вы узнаете больше, чем из книг“». В глубине души Низан принял решение самостоятельно и сразу.

В этих визитах к писателям еще чувствовался студент Эколь Нормаль и уже проглядывал будущий писатель. Беседы, в которых юноша представлял на суд зрелого человека не столько свои нравственные колебания, сколько личный выбор, содержали долю розыгрыша. Но удовольствие, которое получал от розыгрыша студент, было литературного свойства. Я уже тогда не сомневался, что Низан станет писателем. В отношении интеллектуальной силы, философской мощи я ставил его ниже Сартра, но зато предполагал в нем литературный талант, который

у Сартра мне не казался очевидным.

По его просьбе я провел летом 1927 года несколько недель в Киброне, чтобы облегчить встречу двух семейств — Низанов и Альфанов. Мы отправились туда вместе в автомобиле (если не ошибаюсь, принадлежащем ему). Он много раз действовал мне на нервы своим нежеланием заправить машину бензином раньше, чем стрелка упадет почти до нуля. Я все ждал, что мотор заглохнет, но этого ни разу не произошло. В Киброне я оказался ненужным и одиноким; Полю и Риретте (Генриетте), Низанам и Альфанам я был совсем ни к чему.

Две семьи принадлежали к очень разным социальным кругам. Отец Риретты — то ли банкир, то ли служащий, занимавший высокий пост в банке, — по своим вкусам, по страстному увлечению был музыкантом, больше всего на свете любил Моцарта. После того как он потерял на войне несколько пальцев, ему пришлось заняться финансами, и, по всей видимости, успешно; притом он никогда не пользовался никаким счетным инструментом, а лишь тройным правилом арифметики (и охотно хвастался этим). Мать излучала ту же жизненную энергию, ту же веру в жизнь и людей, что и Риретта. Едва ли у Альфанов было много общих тем для разговора с Низанами, но они приняли их, сдружились с ними, потому что приняли как своего их сына.

Был ли отец Поль-Ива похож на Антуана Блуайе?[25] Мне трудно ответить определенно. Не могу утверждать, что несколько разговоров дали мне возможность проникнуть в душу этого человека, в котором внешне не замечалось никакого бунта и никакой ностальгии. Он был техническим специалистом среднего уровня на железной дороге, то есть принадлежал к мелкой буржуазии, вероятно, плохо обеспеченной, близкой во многих отношениях к рабочему классу, тем не менее вполне способной общаться с еврейской буржуазной семьей на отдыхе.

Через год или два после этого у Поля возникло впечатление, что его отца преследуют за экстремистские взгляды сына. Мои родители были знакомы с одним высокопоставленным служащим компании и обратились к нему. Тот ответил, что техник допустил ошибку в работе и был наказан. Разумеется, мне неизвестно, какая из двух версий соответствовала истине.

В Поль-Иве привлекала тайна его личности. Прежде чем связать свою судьбу с коммунизмом, он испытал притяжение «Аксьон франсез», синерубашечников Жоржа Валуа 43. Но политика не занимала никакого места в наших отношениях в 1926–1927 годах. Тайна обитала по другую сторону его естественного изящества, юмора и на редкость быстрого ума. Вопреки частой веселости, за которой он прятался, в нем

угадывались тревога и решимость превозмочь ее действием или серьезным размышлением.

Неожиданный приступ аппендицита в самый день его свадьбы чуть не свел Поль-Ива в могилу. В то время не существовало антибиотиков. Начался перитонит. Это были дни невыносимых волнений, которые я разделял с Риреттой. Потом наши пути разошлись. Он стал безоговорочным сторонником коммунизма. В 30-е годы я редко встречался с ним. Меня восхитил роман «Аден, Аравия» («Aden Arabie»); что же касается «Сторожевых псов» («Les Chiens de garde»), то эта книга (не уверен, что дочитал ее до конца) не понравилась мне или, вернее, меня покоробила. Наши профессора не заслуживали подобных оскорблений только за то, что не были революционерами. Да и почему они должны были стать ими?

Я часто спрашиваю себя теперь, почему мы выделяли из всех Сартра и Низана, тогда как ни тот, ни другой еще ничего не написали или, точнее, не опубликовали. Я не нахожу лучшего ответа, чем тот, который давал себе позже, когда задумывался о шансах на успех какого-нибудь студента. Правы мы или нет, но наш «нюхометр» подсказывает нам, насколько способен молодой человек, сможет ли он легко победить в конкурсе или ему придется попотеть. Мы верим или не верим, что однажды в будущем у него найдется что сказать. Так что, какой бы теории о взаимовлиянии врожденного и приобретенного мы ни придерживались, мы признаем за генотипом по меньшей мере отрицательную причинность; несмотря на все усилия, никто не может перешагнуть своих возможностей, запрограммированных генами. Мне говорили, что математики четко устанавливают собственные границы.

Было ли у меня убеждение, что Сартр станет тем, кем он стал, — философом, романистом, драматургом, пророком экзистенциализма, лауреатом Нобелевской премии по литературе? На вопрос, заданный в такой форме, я без колебаний отвечу: «Нет». Даже на вопрос, заданный иначе: «Будет ли он выдающимся философом, большим писателем?» — я всегда отвечал себе по-разному и никогда категорично. С одной стороны, я восхищался и восхищаюсь необычайной плодовитостью его ума и пера. Мы подшучивали над тем, как легко Жан-Поль пишет: «Как, всего-навсего триста пятьдесят страниц рукописи, начатой три недели тому назад, — да что это с тобой?» (Сам я тогда писал трудно и испытывал страх перед листом белой бумаги и неподвижно лежащим пером.) Помимо легкости письма, в Сартре меня ослепляла (и ослепляет доныне)

щедрость воображения, конструирования в мире идей. Правда, мне случалось и сомневаться. Иногда он долго развивал — устно или на бумаге — какую-нибудь мысль только потому, что ему не удавалось уточнить ее и найти ей адекватное выражение. Он нагромождал теории, в которых нетрудно было заметить слабые места.

Я завидовал его вере в себя. Мне вспоминается наш разговор на бульваре Сен-Жермен, недалеко от Военного министерства. Без тщеславия и лицемерия Жан-Поль говорил о том, каким представляет самого себя, о своей гениальности. Подняться до уровня Гегеля? Это само собой разумеется, и подъем не будет чересчур тяжелым и долгим. Затем придется, может быть, потрудиться. По его словам, честолюбие для него выражалось в двух образах: один — юноша в белых фланелевых панталонах и с расстегнутым воротом рубашки, который на пляже скользит с кошачьей грацией от одной группы к другой, среди девушек в цвету. Другой — писатель, поднявший бокал, чтобы ответить на тост мужчин в смокингах, стоящих вокруг стола.

Сартр хотел стать большим писателем и стал им. Однако по пути он растерял интерес к смокингам, банкетам и всем внешним признакам славы. Уже в те годы, если ему изредка случалось говорить о политике, он выказывал презрение к привилегированным и от души ненавидел тех, кто кичился своими правами, полученными благодаря знаниям или положению, — словом, «негодяев». Он считал, что столкнулся с таковыми в лице буржуазии Гавра, с которой я тоже познакомился, когда в течение года (1933/34) заменял его там; в теннисном клубе два корта были отведены для этих «господ с биржи».

Образ эфеба[26] соприкасался с одной из тем наших бесед: как примириться с собственной некрасивостью? Сартр охотно говорил о своем безобразии (а я о своем), но на самом деле его некрасивость исчезала, как только он начинал говорить: его ум заставлял забыть о прыщах и одутловатости лица. Впрочем, он — маленький, плотно сбитый, сильный, — вскарабкивался по веревке, держа ноги под прямым углом, с быстротой и легкостью, которые всех ошарашивали.

В недавнем интервью Сартр заявил, что не испытал ничьего влияния, разве что отчасти Низана, но никак не Арона. В общих чертах он прав. В течение двух или трех лет ему нравилось подвергать свои идеи моей критике. Возможно, он извлекал пользу из наших диалогов, но это не имеет ничего общего с влиянием. Вот пример: психоанализ долго был темой наших споров. Сартр отвергал его категорически, ибо психоанализ

связан с бессознательным, а это понятие было равнозначно в его глазах квадратному кругу; психика и сознание для него нераздельны. В конце концов я отказался от безнадежного спора по концептуальной проблеме, но посоветовал ему взять на заметку материалы к психоанализу, выбросив за борт, так уж и быть, бессознательное. Понятие «двойничности» стало для него решением вопроса. Открыл его именно Сартр, и, вероятно, он в любом случае признал бы необходимость интегрировать часть психоанализа в свой мир, вместо того чтобы отбросить его полностью, раз и навсегда.

Еще одна сартровская концепция связана некоторым образом с нашими беседами. Моя дипломная работа была посвящена *вневременному в философии Канта.* Эта тема содержала в себе как выбор характера сверхчувствительности, так и возможность «обращения» в любой момент, что оставляет индивиду свободу самоискупления или, лучше сказать, внезапного преображения своей предыдущей жизни. Смерть уничтожает свободу и превращает жизнь в судьбу, завершенную и отныне застывшую. Что-то от этих тем есть в книге «Бытие и ничто» («L'Être et le Néant»), в пьесах Сартра. По правде говоря, он комбинирует две идеи — выбор характера сверхчувствительности и свободу обращения — на свой лад. Вопреки экзистенциальному выбору самого себя, Сартр гордится тем, что начинает все заново в каждое мгновение, как будто отказываясь быть пленником даже собственного прошлого, как будто снимая с себя ответственность за свои поступки и свои тексты, едва они совершены или написаны.

Я охотно подтвердил бы еще и другим воспоминанием его тезис о том, что он ничем никому не обязан, внеся, однако, в него некоторые нюансы. Наброском к его будущему в*и*дению мира (*Weltanschauung)* стал доклад на семинаре Леона Брюнсвика. Вопрос, который был ему задан, касался Ницше. Наш преподаватель работал над «Прогрессом сознания в западной мысли», и глава, посвященная Ницше, беспокоила его. Нужно ли рассматривать Ницше как философа в строгом, почти техническом, смысле слова или как литератора? Сартр выбрал первую возможность, и уж не знаю, какой поворот мысли вывел его на противопоставление, эскизно намеченное, бытия-в-себе и бытия-для-себя: вещи — вот эти деревья или столы — ничего не означают, они находятся здесь без причины и цели, сознание же ежесекундно наделяет значением эту слепую, тупую реальность, которая его отрицает и, однако, существует только через него.

В*и*дение мира Сартра принадлежит лишь ему. Но очевидно, что он многим обязан Гуссерлю [44], Хайдеггеру [45]. Первый дал ему

гораздо больше, чем только словарь; феноменология помогла ему анализировать жизненный опыт, открытость сознания объекту, трансценденцию эго; субъектом становится на мгновение бытие-для-себя, а не *я*. Немало позаимствовал он и из Хайдеггеровой интерпретации времени, тревоги, предметного мира. Возможно, он ознакомился через посредство Мерло-Понти с некоторыми размышлениями Гегеля в толковании Александра Кожева: например, о любви, тщетно стремящейся завладеть свободой другого человека, или о желании господина добиться благодарности от раба — благодарности, которая не может быть подлинной, потому что раб лишен свободы. Несомненно, он схватывал идеи на лету. Мерло-Понти признался мне году в 1945-м, что остерегается делиться с ним своими мыслями.

В «Словах» («Les Mots») Сартр рисует себя лишенным отца (один из моих друзей по Школе добавил с улыбкой: «Отца нет, рожден от девственницы, сам — Логос»), но утверждая, что не испытал ничьего влияния, он не думал отрицать свой долг по отношению к Гуссерлю и Хайдеггеру: он заимствовал, впитал, сделал своими множество понятий, тем, подходов прошлой и современной ему философии. Если он отвергает само понятие влияния, то лишь потому, что последнее подразумевает пассивность, пусть даже частичную или временную, того, кто его испытывает.

Провал на конкурсе на звание агреже в 1928 году нисколько не опечалил его, так же как мой успех не побудил меня пересмотреть свои суждения о нем или о себе. Я занял первое место со значительным отрывом от второго победителя, Эмманюэля Мунье (десяток очков из общей суммы 110 за семь упражнений, письменных и устных). Разумеется, я не остался равнодушным к этому успеху, я бы солгал, утверждая сегодня обратное; во мне сохранялось еще что-то от отличника. Но я понимал, что своей победой обязан чисто школярским (или, чтобы быть более снисходительным, университетским) качествам. Лучшей из трех письменных работ была третья, по истории философии (Аристотель и Огюст Конт). Ни в одной из двух первых не проглядывало ни малейшей оригинальности. На устном экзамене мне достался текст из Аристотелевой «Физики», который я раньше объяснял на семинаре Леона Робена. Комментируя латинский текст Спинозы, я погрешил против смысла и стал осознавать это по мере того, как обосновывал свою мысль. Я защищал свою ошибку так убежденно, что экзаменаторы в тот момент поддались моим доводам. На другой день они опомнились, вернулись к здравому смыслу и отняли у меня один балл (мне рассказал об этом Андре Крессон, мой преподаватель в

дополнительном классе лицея, который был членом комиссии).

Пусть читатель поймет меня правильно: в качестве инструмента отбора конкурс на звание агреже по философии был в конечном счете не лучше и не хуже какого-либо другого. Большинство кандидатов, заслуживающих диплома, получало его. Провал Сартра был исправлен на следующий год: он получил первое место с общей суммой очков, превышавшей мою. В 1928 году он не захотел подлаживаться под общие требования и изложил свою собственную философию, какой она сложилась к тому времени. В следующем году он дал себя убедить[27] в том, что сначала экзаменатор должен получить ожидаемое. А уж затем каждый волен развиваться в свое удовольствие.

Успех на конкурсе не пробудил во мне никакого тщеславия. Уже через несколько недель, а в еще большей степени спустя полтора года, после военной службы, итог лет, проведенных в Школе, разочаровал меня; чему я научился в свои двадцать три года в 1928-м и в двадцать пять весной 1930-го? На что я был способен? Первые два года в Школе я работал мало. Так как я не записался в Сорбонну до поступления в Эколь Нормаль, мне пришлось посвятить два года подготовке на степень лиценциата 46, что оставляло мне достаточно досуга. Я играл в теннис, читал романы — и великие, и просто модные, — посещал Лувр. Я начал ходить на лекции по анализу, которые Э. Леруа 47 читал в Коллеж де Франс (Collège de France), но у меня не хватило упорства. Взялся за толстые тома по гражданскому праву и бросил их через несколько недель. Принялся изучать книги по математике и тоже отступился. Впрочем, когда я оглядываюсь назад, то два последних студенческих года кажутся мне не такими уж бесплодными, какими представлялись в 1928 или 1930 году. Тема моего диплома обязывала меня изучать творчество Канта, начиная с трудов, предшествующих «Критике чистого разума» и кончая «Религией в границах чистого разума». Каждый день, по восемь — десять часов, я читал одну из его «Критик». Не знаю, чему я научился и чего стоило мое понимание кантианства. Экземпляр дипломной работы, который я дал Сартру и Низану (Кант фигурировал в программе конкурсных экзаменов следующего года), затерялся. Я жалею об этом только из любопытства. Нет сомнения, что работа заслуживала яростной критики мышей[28].

Я храню воспоминание об аскетической восторженности того года, прожитого в общении с философом. Я по-прежнему считаю, что извлек из него намного больше, чем из книги Дельбоса 48 (в то время классической) или из курсов лекций, прочитанных тем-то и тем-то. Конечно, если речь идет только о том, чтобы

выдержать экзамены или конкурсы, посредники сберегают студентам много времени и сил, снабжая их неким резюме, пригодным для любой цели, этаким философским прет-а-порте. Однако даже для тех, кто не предназначает себя к философскому труду, нет ничего полезнее, чем расшифровывать сложный текст. Еще долго после моего кантианского года все книги казались мне легкими. Я оценивал уровень книги по тому умственному напряжению, которого она от меня требовала.

В год конкурса я должен был серьезно изучать Аристотеля, Ж.-Ж. Руссо и Огюста Конта [49]. Лет тридцать спустя я перечитал почти всего Конта, чтобы помочь кандидатам на звание агреже, в программу которых снова входил Конт. История философии занимала главное место в наших занятиях, и иначе быть не могло, по крайней мере в ту пору.

Из четырех аттестатов по философии один — *логика и общая философия* — требовал осведомленности в современных дискуссиях. Еще два — *психология, этика и социология* — смыкались с гуманитарными или общественными науками; таким образом, именно история философии, в еще большей степени, чем логика и общая философия, была для нас связью с вечной философией, *philosophia perennis.* Надо ли добавлять, что тогда не существовало эквивалента «новым философам»; [50] что даже лучшие профессора (за исключением Бергсона) редко удостаивались чести быть упомянутыми в большой прессе, что они были предметом серии сатирических статей Рене Бенжамена? Если мы хотели вдохновиться творчеством учителя, сдать его в архив или же продолжить его дело, мы имели выбор только между Леоном Брюнсвиком, Аленом и Бергсоном (последний уже не преподавал). В Сорбонне Леон Брюнсвик был самым что ни на есть «китайским мандарином» [51]. Не то чтобы он был отмечен недостатками, которые общее мнение приписывает влиятельным интеллектуалам, но он «философствовал» больше, чем другие, и его произведения — «Этапы математической мысли» («Les Etapes de la pensée mathématique»), «Человеческий опыт и физическая причинность» («L'Expérience humaine et la causalité physique»), «Прогресс сознания в западной мысли» («Le Progrès de la conscience dans la pensée occidentale») — не могли не внушать нам некоторого почтения. Мы не могли судить о его компетентности в математике и физике, но он производил на нас — точнее сказать, на меня — впечатление человека, обнявшего естественнонаучную и философскую культуру. Те или иные положения западной философии он освещал примерами из математики и физики. Брюнсвик не порывал с традицией; не впадал в пошлости академического идеализма или спиритуализма. Он не

поднимался до уровня великих, но наполнял свою жизнь общением с ними.

При всем том что же Брюнсвик преподавал? Сегодня я сказал бы, не злоупотребляя профессиональным жаргоном, что его толкование кантианства стремилось свести философию к теории познания. «Критика чистого разума» окончательно доказала, что мы познаем действительность через формы чувственного восприятия и категории мышления. Нам известен только мир, построенный нашим разумом, и не существует способа восприятия, который позволил бы пойти дальше физики. В этом смысле метафизики просто нет; наука не оставляет философии никакого собственного предмета, кроме самой науки. Сторонники аналитической философии излагают другими словами сходный тезис: философия размышляет над наукой или языком, над всей человеческой деятельностью. Она не дает никакого знания о действительности, которое ускользнуло бы от науки или было ей недоступно.

Представленная таким образом, философия Брюнсвика может показаться позитивистской в своей основе. Но я опустил другой аспект его неокантианства: идеализм, последователем которого он себя объявляет, нравственная позиция, к которой он приходит. Брюнсвик не берет из кантианской «Критики» таблицу категорий; не соглашается также с решением третьей антиномии (имманентный детерминизм, свобода в трансцендентном). Платоник и противник Аристотеля, он хочет уничтожить все помехи прогрессу науки, фикцию незыблемых концептов. Обновление Эйнштейном понятий пространства и времени, отнюдь не противореча кантианской концепции форм чувственного восприятия, подтверждает ее дух: разум выстраивает действительность посредством науки; наука, по своей сути, состоит не в том, чтобы вырабатывать концепты и делать из них выводы, а в том, чтобы выносить суждения.

Это мое грубое резюме имеет единственную цель: показать, что у начинающих философов создавалось впечатление чуть ли не тупика, в который они попадали. Мой версальский преподаватель философии опирался на Брюнсвика, чтобы умалить значение юридических формулировок и возвысить роль самостоятельного суждения. В других областях ученики Брюнсвика должны были почти неизбежно размышлять о связи между прогрессом науки и философскими направлениями или подниматься до самых фундаментальных проблем теории познания.

Хотя Леон Брюнсвик отвергал традиционную метафизику, он часто прибегал к языку религии, например, в одной из своих

последних книг — «Об истинном и ложном обращении» («De la vraie et de la fausse conversion»). По этому поводу неоднократно ставился вопрос: был ли он атеистом или религиозным человеком? На первую часть вопроса я отвечу без тени сомнения: он не верил ни в Бога Авраама, Исаака и Иакова, ни в христианского Бога и Троицу. Спасение душ после смерти его не заботило. Догмы католицизма были ему чужды, точно так же, как завет народа Израиля со своим Богом.

Зачем же в таком случае употреблять слова «истинное обращение»? Рискуя упростить или вульгаризировать мысль Леона Брюнсвика, я сказал бы, что он не хотел оставить никакой из Церквей монополию на религию и на обращение. Истинное обращение для любого человека характеризуется отрешением разума от эгоизма и эгоцентризма. Религия тоже проповедует такое обращение, вот почему Брюнсвик был неутомимым читателем Паскаля и Спинозы; но истинное обращение не зависит от решения Бога, оно совершается усилием личности, стремящейся подняться над самой собой, в некоторой степени обезличиться. Разве сознание вечности у Спинозы не является в конечном счете сознанием обретения истины? Подлинное обращение не надеется на спасение, оно само *есть* спасение.

Человечество в конце концов узнало, что Земля не находится в центре солнечной системы; оно отказалось от представления об абсолютном, нереальном наблюдателе, который измеряет время и расстояние, абстрагируясь от собственного положения. Точно так же нравственный прогресс выражается в самоотстранении и подлинном диалоге: каждый ставит себя на место другого. Духовное обращение берет себе за образец добродетель ученого. Если бы люди придерживались жизненной позиции приверженца чистой науки, это привело бы к справедливости.

Эта суровая, почти стоическая философия, сказал мне однажды Александр Койре [52], была бы даже не лишена величия, если бы ее выразить другим языком. Когда Леон Брюнсвик во Французском философском обществе ответил Габриелю Марселю: [53] «Я меньше интересуюсь судьбой моей личности, чем господин Марсель — своей», это в некотором роде предвещало «Антимемуары» («Antimémoires»). Будучи в известном смысле религиозным, но чуждым всем официальным религиям, отрицателем метафизики, он воплощал определенную манеру философствования, вопреки доведенному до крайности отказу от всякой системы. Мысль есть суждение, понятия — всего лишь преходящие этапы завоевания истины или построения действительности. Одинаковая мысль создает связь между индивидами, которые отдают должное друг другу. Для тех, кто

усмотрел бы упрощенство в этом колоссальном труде, добавим, что в его книгах и лекциях оживала вся философия прошлого.

Когда, между двумя войнами, Леон Брюнсвик господствовал в Сорбонне, феноменология Гуссерля, мысль Хайдеггера «перегнали» или оттеснили германские разновидности неокантианства. Как ни странно это покажется ныне, французские и немецкие философы почти не знали друг друга. Книга Жоржа Гурвича «Направления современной немецкой философии» («Les Tenolances de la philosophie allemande contemporaine») с предисловием Л. Брюнсвика предшествовала знаменитым лекциям Гуссерля во Франции, озаглавленным «Картезианские размышления» («Méditations cartésiennes»). Впрочем, французы, исключая Жана Валя [54], едва ли лучше знали современную англо-американскую философию; да и лучше ли они знакомы с ней сегодня? Отчего у профессоров философии такая корпоративная замкнутость, такое неведение того, что происходит за границей?

Режи Дебре в книге «Власть интеллектуалов» («Le Pouvoir intellectuel») одобрительно отозвался о ведущих философах недавнего прошлого, похвалив вместе с тем Поль-Ива Низана, который сначала их грубо оскорбил, а затем, в период антифашистского Сопротивления, примирился с ними. Университетские профессора, пишет Дебре, вели себя достойно во времена дела Дрейфуса, антифашистского движения, оккупации, защищая универсальные ценности; правда, они прошли мимо марксизма, но хотя бы не впадали в иррационализм, не писали истерических памфлетов и эзотерических сочинений. Говоря о философском образовании в лицеях и университетах, какое получило мое поколение, приходится делать немало оговорок. Посткантианцы, Фихте, Гегель были нам в какой-то степени известны, но никогда не фигурировали в программе подготовки к конкурсу на звание агреже — под тем предлогом, что их основные произведения не переведены на французский язык. Полубоги послевоенной эпохи — Маркс, Ницше, Фрейд — не принадлежали к пантеону, в котором покоились авторы, изучаемые в классе философии или в Эколь Нормаль. По крайней мере, рядовой преподаватель философии того времени сохранял уважение к текстам, требовал от себя и от учеников строгой добросовестности. Три же полубога, все гениальные, говорили сами и разрешали говорить едва ли не что попало. Легко заинтересовать учащихся, комментируя понятия идеологии, вечного возвращения, инстинкта смерти. Но подобные сомнительные понятия не поддаются точному определению; они подсказывают идеи, которые не поддаются опровержению, тому, что адепты

аналитической философии называют на нынешнем английском *falsification* (то есть доказательству своей ложности). Комментарий к аналитике «Критики чистого разума» сохраняет свое воспитательное значение, способствует формированию ума. Комментарий к афоризмам «Воли к власти» подстегивает ум, но не помогает молодым людям хорошо использовать свой разум.

Помимо Леона Брюнсвика, я общался в студенческие годы с другим философом — Аленом. Я не раз ждал его при выходе из лицея Генриха IV и провожал до квартиры на улице Ренн. Каким образом я завязал с ним личные отношения? Вероятно, через его учеников.

Помнится, мне импонировала не столько философия, сколько личность Алена. Уйдя добровольцем на фронт в первый день войны, он ненавидел войну и мог ее вынести, только живя одной жизнью с солдатами. Он не предал свои идеи, остался непричастным к неистовой пропаганде антигерманизма (тогда как сам Бергсон не устоял перед безумием). Между тем мы, как правило, восставали против войны и старшего поколения. Среди студентов Эколь насчитывалось мало коммунистов: те, кто хотел быть левыми, становились социалистами, хотя бы в душе. Католики представляли правое крыло. Ален и его ученики стояли особняком — не коммунисты и не социалисты, а вечно левые, те, кто никогда не приходит к власти, потому что, по определению, сопротивляется власти — которая по своей сути склонна к злоупотреблению и развращает обладающих ею.

Не думаю, чтобы меня когда-либо полностью убедил его образ мыслей или, точнее, его политическая позиция, например, отказ от офицерских нашивок. Вероятно, я мог бы выдержать экзамен в конце военной подготовки, не будь у меня колебаний по этому поводу. В то время я восхищался книгой «Марс, или Война под судом» («Mars ou la guerre jugée»), местами прекрасной, но в конечном счете глубоко несправедливой или по меньшей мере пристрастной: возможно, некоторые офицеры и находят в отдаче приказов компенсацию за опасности и тяготы боев, однако младшие лейтенанты, пехотные капитаны жили в тех же окопах, что и их подчиненные, и выходили с ними из укрытия. Судить войну, исходя из опьянения командирской властью, сегодня кажется неразумным или даже, говоря откровенно, низким. Простые солдаты иногда любят войну. Некоторые офицеры, не любя ее, добросовестно выполняют свой долг. Расстояние — пространственное и нравственное — между фронтом и штабами никогда не было так велико, как в позиционной войне с сентября 1914 по 1918 год. Эта особенность операций не должна была послужить основанием для философии войны, сведенной,

собственно говоря, к психологии военного сословия.

Почему мы до такой степени подчинились авторитету воина, который, в отличие от всех других наших преподавателей, отверг и священное единство, и бунт? В 20-е годы в Школе мы подвергали пересмотру недавнее прошлое. Были еретики, которые ставили под сомнение исключительную или преобладающую ответственность Германии за возникновение войны[29]. Левые осуждали оккупацию Рура и призывали к примирению. Молодежь уже не могла понять того, что некоторые из самых уважаемых людей старшего поколения говорили о Германии и немцах несколько лет тому назад. Ален, по крайней мере, хранил молчание среди коллективного сумасшествия.

«Человек против власти» («L'homme contre les pouvoirs») — политическая доктрина Алена, которую я позднее резко критиковал и никогда в глубине души не принимал, не отвечала моему мыслительному темпераменту; я использовал ее в то время, когда ничего не знал об обществах и об экономике, когда более или менее скверно обосновывал доводами свои чувства: пацифизм, ненависть к войне, согласие с левыми идеями, универсализм как ответ на национализм старших, враждебность к обладающим властью и силой, смутный социализм (радикальная партия становилась все менее пристойной); да ведь интеллектуал, к тому же еврей, не может не сочувствовать несчастью или попранному достоинству обездоленных. Политическая доктрина Алена прельщала меня тем, что избавляла от труда познавать действительность, ставить себя на место руководителей и искать решение поставленных проблем. Гражданин, восстающий против всякой власти, заявляет тем самым свое право на безответственность. Как только мне удалось преодолеть колебания своей юности и ограниченность своего академического образования, я занял крайнюю позицию с противоположной стороны: хотел быть ответственным почти в каждую минуту, постоянно готов был спрашивать себя: «Что я смог бы сделать на месте того, кто правит?»

После войны из чувства протеста не столько против Алена, сколько против моего собственного прошлого, я написал две журнальные статьи о его политической доктрине, одну — в «Нувель ревю франсез» («Nouvelle revue française»), другую — в «Ревю де Метафизик э де Мораль». Моя вина заключалась в том, что я не напомнил о пребывании Алена на фронте. Судьба юношей, которые хотели жить и знали, что приговорены к смерти, не давала ему жить спокойно, вызывала у него бессильную ярость. На своей шпаге академика я поручил выгравировать по-гречески фразу Геродота: «Никакой разумный человек не может

предпочесть войну миру, ибо во время войны отцы хоронят своих сыновей, тогда как в мирное время сыновья хоронят своих отцов». Никогда трагедия поколений не проявлялась так ярко, как в войне 1914–1918 годов, и никто не прочувствовал этой трагедии с таким душевным благородством и состраданием, как Ален. Еще и сегодня, перечитывая его последние слова перед добровольным уходом на фронт или призыв к враждующим сторонам в 1917 году, я испытываю потрясение и глубочайшее уважение к его духовному величию.

Что давал нам Ален, помимо своего взгляда на политику? Сартр, уже размышлявший о восприятии, образе, воображаемом, подхватил тезис Алена о существенном различии между чувственно воспринимаемым и воображаемым. Он охотно повторял вопрос Алена к тем, кто утверждал, что *видит* Пантеон, не имея его перед глазами: «Сколько вы видите колонн на фасаде Пантеона?» Тема коренного различия между восприятием и воображением была развита позже в книгах «Воображение» («L'Image»)[30] и «Воображаемое» («L'Imaginaire»).

Что я получил от Алена? Он помог мне в прочтении великих авторов, хотя я не соглашался ни с его методом, ни с результатами применения оного. Послушать его учеников, если не его самого, так подлинные философы, Платон или Декарт, никогда не ошибались и все говорили примерно одно и то же. Между Кантом, снимавшим шляпу перед светской властью, не склоняясь перед ней нравственно, и Огюстом Контом, принимавшим владычество силы, умеряя его духовной властью (общественное мнение, женщины), он устанавливал прямую связь, обнаруживал глубинное родство. То, что один и другой думали, проповедовали, чему учили, оказывалось в итоге философией самого Алена.

Леон Брюнсвик пересказал мне однажды, скорее раздраженно, чем с иронией, рассуждения учеников Алена на экзамене, где им предлагали прокомментировать текст Декарта: «Снимем, говорят они, толстый слой комментариев и толкований, отделяющий нас от самого текста, возьмем текст таким, как он был написан, во всей его чистоте и истинности. И затем они повторяют то, чему их научил Ален». Из презрения к истории, которое демонстрировал Ален и которое восприняли не наделенные гением ученики, вырастал своего рода обскурантизм.

Сам он не обманывался относительно своих острот, преувеличений и отлучений. Когда году в 1931-м или 1932-м я признался ему, что намереваюсь посвятить себя размышлениям над политикой, он сказал: «Не принимайте слишком всерьез мои слова о политике. Есть люди, которых я не люблю. Я употребил

свое время на то, чтобы они об этом узнали». Ален понимал, что ему недоставало исторического измерения: он ссылался всегда на постоянную, неизменную в своих основных чертах человеческую природу. Он отверг Эйнштейна и теорию относительности, так же как психоанализ. Из неосведомленности? Или непонимания? Не думаю. В том, что касается теории относительности, неприятие шло главным образом от некомпетентности, но отчасти и от умственной гигиены Алена: он считал, что не следует расшатывать фундамент храма разума. Он называл психоанализ «обезьяньей психологией» — выражение по меньшей мере не вполне удачное. Он не хотел постигать людей снизу. Он отнесся бы сочувственно к идее «Антимемуаров» Андре Мальро (не разделяя, конечно, с автором культ героев). Ален тоже презрительно отмел бы «жалкую кучку» тайн, которые каждый носит глубоко в себе. Будучи моралистом, он обращался к тому человеку, для которого писали французские моралисты всех веков. Но этот моралист преподавал также философию в классах, готовящих будущих студентов Эколь Нормаль, он был профессионалом философии и властителем дум Третьей республики.

«Софист» — так охарактеризовал Алена в частной беседе Марсель Мосс, не вложив в это слово ни враждебности, ни страсти, ни презрения: софист в противоположность ученым и, быть может, даже философам. Он размышляет, кажется, обо всем; отрицает социологию, чтобы рассуждать на свой лад об общественных делах; обучает молодежь и дает ей знания о мире. Д. Броган отнесся к нему более сурово, написав около 1940 года фразу, которую я взял эпиграфом к статье об Алене во «Франс либр» («France libre»): «Влияние софиста, подобного Алену, предвещает гибель государства». Однако его друзья и коллеги, например Эли Алеви [56], и ученики, такие как Андре Моруа [57], находили в нем искру гения. Если не ошибаюсь, Эли Алеви говорил: «В нем есть проблеск гениальности, но я не уверен, что он использует его наилучшим образом». Многие другие, знавшие Алена или слышавшие о нем от его учеников, твердо стоят на своем: он, несомненно, был гениален. «Преподаватель дополнительного класса лицея, возведенный в ранг чуть ли не гения», — сказал я экспромтом во время посвященной Алену телепередачи. Правоверные аленисты обиделись на меня за эти слова; они также поставили мне в упрек мое замечание, что Алена относительно мало переводили и читали за границей. А я и сегодня еще колеблюсь, не зная, какое же вынести заключение.

Верно, что он не пожелал знать некоторых интеллектуальных завоеваний своей эпохи, оставшись внутри «вечной философии»,

как ее понимала корпорация преподавателей философии в лицеях и университетах Франции. Но разве такая философская литература, как «Система изящных искусств» («Système des Beaux-Arts»), «Идеи и эпохи» («Les Idées et les âges»), «Высказывания» («Propos») (о воспитании, о счастье), книги о его любимых романистах, не свидетельствуют о том, что Ален был писателем, пусть даже его стиль со временем начинает вас раздражать? Слишком близкий к синкретизму, чтобы его можно было признать оригинальным философом, не является ли он, скорее, моралистом и писателем, тема которого — идеи?

Насколько я помню, посредником между Аленом и мной стал Жорж Кангилем. Нас связывала крепкая дружба, иная, чем та, что объединяла меня с группой Низана и Сартра, но не менее прочная. Он учился раньше у Алена в лицее Генриха IV и разделял в то время убеждения учителя, в частности его пацифизм. Через Кангилема я сблизился с другими учениками Алена, в которых влияние преподавателя чувствовалось гораздо сильнее, чем в прочих студентах. Мы снова встретились в Тулузе в 1939 году; он окружил мою жену, оставшуюся во время моего отсутствия в одиночестве, добротой и теплом, так ему свойственными, хотя нередко глубоко запрятанными под грубоватостью генерального инспектора. И новая встреча в 1955 году — уже в Сорбонне. Своим студентам он порой внушал страх, но всегда пользовался у них уважением. Доктор медицины, историк медицинской и биологической мысли, Кангилем работал, учил, писал (все его лекции были записаны и отредактированы) гораздо больше, чем можно представить по его публикациям. Настоящих читателей не обманула его скромность: они ставят его высоко, как он того и заслуживает. Здесь я умолкаю — он бы рассердился, если бы я отважился на литературный портрет, ведь это плохо согласуется с полувековой дружбой.

Я упомянул Пьера Г*ия*, но ничего не сказал о нем — не потому, что он прожил жизнь чиновника, секретаря в Палате депутатов и в Национальной ассамблее. Его имя встречается в книге Симоны де Бовуар, ведь именно он стал посредником в близком знакомстве Сартра с госпожой Морель[31]. Не будучи ни философом, ни политиком, Гий пленил нас всех, потому что был пленителен, мы все любили его, потому что он был любезен. В другие времена он, гуманитарий до кончиков ногтей, сделался бы незаурядным преподавателем лицейских классов, готовящих в Эколь Нормаль. Со временем наша дружба сама собой зачахла; после того как мы оба женились, нам оказалось трудно встречаться вчетвером. После войны мы виделись несколько раз в Латинском квартале и однажды — на юге. Но атмосфера была

уже не та. Письмо, которое он как-то прислал мне в ответ на приглашение, содержало такие строки: «Пообедаем вместе, если хочешь, но нам уже почти нечего сказать друг другу». В тоне письма не было ничего агрессивного: он просто констатировал пропасть, возникшую между нами. К моменту его кончины я не виделся с ним уже много лет.

В политическом отношении в Эколь Нормаль существовали две четко обозначенные группировки: с одной стороны, социалисты или сочувствующие им, с другой стороны, католики. Люсьен Эр 58 (царивший в библиотеке два первых моих года в Школе) был идейным вдохновителем первой группы, среди активистов которой числились Жорж Лефран[32], сыгравший потом видную роль в некоммунистической ВКТ (CGT) 59, в Институте подготовки активистов и написавший ряд книг о рабочем движении и о Народном фронте, и Лебай, ставший депутатом в период Четвертой республики. Пьер-Анри Симон 60 принадлежал к группировке католиков, которые тогда склонялись вправо, — быть может, просто в том смысле, что не восставали против доблестей и образа мыслей, одушевлявших французов во время войны.

В те годы я был более политизирован, чем Сартр или Гий. Меня порой страстно увлекали события парламентской жизни. Я участвовал в семейных диспутах об Эррио и о кризисе франка; однажды мой дядя, доверенное лицо биржевого маклера, заткнул мне рот: «Я послушаю тебя, когда ты станешь говорить о философии; в финансах ты ничего не смыслишь, так что помолчи». Это воспоминание и некоторые другие в том же роде играют для меня роль пирожного «мадлен» у Пруста; я заново переживаю унижение или, возможно, симпатизирую своему исчезнувшему «я». Никогда я не переживаю с такой силой воспоминания о приятных моментах.

О моем интересе к политике есть несколько разрозненных свидетельств. В 1925 или 1926 году благодаря Ассоциации друзей Лиги Наций, куда я записался, я провел две недели в Женеве во время ежегодного заседания Генеральной ассамблеи. Я услышал Ж. Поль-Бонкура; он считался выдающимся оратором, и я восхищался им. Его речь была посвящена защите неделимого мира. В Женеве я впервые встретил Бертрана де Жувенеля. Он был всего несколькими годами старше меня, но уже прославился как журналист.

Я присутствовал на знаменитом заседании Палаты депутатов в 1926 году, в тот день, когда Эдуар Эррио, спустившись с возвышения председателя Собрания, чтобы спровоцировать падение кабинета Бриана с Жозефом Кайо в роли министра

финансов, представил свое правительство, которое немедленно оказалось низвергнутым. В зале кипели страсти; между тем курс фунта стерлингов подскочил выше 200 франков, а толпа на улице выкрикивала антипарламентские лозунги.

Бриан говорил несколько минут; обратившись к здравому смыслу депутатов, он напомнил, что причиной девальвации франка на валютном рынке был, в частности, министерский кризис, а не только пагубные манипуляции финансовых кругов. Меня поразила его реплика министру финансов Анатолю де Монзи. Поразил не столько знаменитый голос виолончельного тембра, сколько словесное обволакивание факта или мысли — стиль, вероятно, необходимый для политика, но столь противоположный моему темпераменту. Эдгар Фор, чей голос, конечно, не похож на голос Аристида Бриана, тоже владеет искусством окутывать, когда нужно, свою мысль словесным туманом.

Некоторые политики и писатели приходили к нам в Эколь Нормаль читать лекции. Вспоминаю Леона Блюма на кафедре. Он развивал одну из своих излюбленных тем — исправление властных полномочий и приход к власти. Тема, характерная для II Интернационала. Он не был сторонником политики, основанной на принципе «чем хуже, тем лучше», и в то же время не отказывался от идеи революции. По его мнению, когда-нибудь в будущем старое, отжившее свой срок, подгнившее дерево капитализма рухнет — и тогда пробьет час Революции, прихода к власти. В манере говорить Леона Блюма было обаяние, которое мы все оценили. Уже тогда я задал себе вопрос: почему, собственно, исправление кем-то властных функций должно ускорить движение капитализма к своему концу? Даже уже после войны, в предисловии к «Революции управляющих» («The managerial Revolution») Бёрнхема Блюм признается, что потрясен гипотезой, согласно которой гуманный социализм, каким он его себе вообразил, не придет на смену выдохшемуся капитализму.

Эдуар Эррио провел с нами вечер в 1925 году; это случилось во время студенческих волнений, вызванных назначением Ж. Селя, члена кабинета Франсуа Альбера, министром народного образования вместо Лефюра, выдвинутого голосованием на юридическом факультете. Эррио шутил, пел вместе с нами, держался просто и по-товарищески. (Жорж Лефран уверяет, что посещение Эррио не имело отношения к делу Франсуа Альбера: он будто бы пришел по случаю студенческого капустника.)

Запомнился также доклад Альфреда Фабр-Люса о Лиге Наций, которую он защищал перед аудиторией, в большинстве своем скептичной, но нисколько не враждебной. Жюльен Бенда

был приглашен после выхода в свет его «Предательства интеллектуалов» («La Trahison des clercs»). Я выступил против него со статьей в «Либр пропо» («Libres Propos») — это моя первая публикация, если верить юному агреже, изучающему историю одного из поколений лицеистов, поступавших в Эколь Нормаль. Насколько я помню, моя критика Бенда сводилась к следующему возражению: не все исторические споры предстают в такой схематичной форме, как дело Дрейфуса: с одной стороны невиновный человек, с другой — репутация Генерального штаба армии. Интеллигенция имеет право ввязываться в бой и в том случае, когда не все выглядит так однозначно. Я говорил иными словами, но мысль была именно такова[33].

Среди приглашенных я не помню больших писателей той эпохи. Нельзя сказать, что студентов политика волновала больше, чем литература, но, может быть, так обстояло дело с устроителями встреч.

Какое место занимала политика в моих мыслях о будущем? В день, когда я присутствовал при низвержении Эррио, мечтал ли я тоже подняться когда-нибудь на трибуну? Не думаю. Но волнение, которое вызывали во мне состязания ораторов, помогло мне понять активистов различных движений, толпу и людей, вступающих в партии. Красноречие Поль-Бонкура, Эдуара Эррио, позднее Деа доводило меня до дрожи, я чувствовал вместе с ними негодование против их политических противников; Э. Эррио представлялся мне невинной жертвой, брошенной в ров со львами. Спустя несколько лет я достаточно разобрался в финансовых механизмах, чтобы судить совершенно иначе об Эдуаре Эррио, тех событиях и моих тогдашних взглядах.

В 1925 или 1926 году я записался[34] в СФИО (SFIO) 61, в секцию Пятого округа 62. Зачем я примкнул к партии? Мне приходится дать ответ, который вызовет у читателя улыбку: необходимо было что-то делать для народа, для рабочего класса. Вступление в партию я счел обязательным для себя, поскольку желал содействовать делу улучшения положения обездоленных классов. Я отчетливо помню, что написал письмо одному из своих товарищей — Бланше (я познакомился с ним в Женеве и сразу почувствовал к нему симпатию). Я описал ему свои колебания, признался, что сознаю некий долг — теперь сказали бы «долг вовлеченности», — и в заключение сообщил о вступлении в СФИО.

В первом номере «Тан модерн» («Temps modernes») я (в весьма бедной содержанием статье) рассуждал о шансах социализма на успех. Еврейский интеллектуал доброй воли, избравший гуманитарную профессию, чуждый тем из своих, кто остался в

торговле текстилем или банковском деле, не может не ощущать себя левым, не стремиться в ряды левых. Я почти готов сказать, перефразируя моего коллегу Эскарпи, что «родился слева» — и это было обусловлено психо-социальными детерминантами. Там я и оставался, по крайней мере пока не выработал собственное, автономное мышление. Остался ли я там до конца?

Я мало общаюсь с сильными мира сего — людьми из власти, руководителями национальных или международных компаний; иногда я наношу визит одному из них или один из них навещает меня (смотря по тому, от кого исходит инициатива). Они не отличаются от простых смертных, не кажутся мне ни более человечными, ни более бесчеловечными, чем другие люди. Крупным капиталистам обычно не нравится, если вы защищаете капитализм, одновременно критикуя некоторые из их действий. Конечно, среди предпринимательской верхушки и в правительствах есть немало людей, поздравляющих себя и меня с тем влиянием, какое имеют мои книги и статьи. Но между ними и мной сохраняется неизбежная, непреодолимая дистанция, отделяющая свободного интеллектуала от людей власти — государственной и экономической.

В одном — очень важном — пункте мое мироощущение совпадает с мироощущением «настоящих» левых. Я больше всего на свете ненавижу тех, кто считает, что сделан из иного теста. Вспоминаю о двух ссорах, которые чуть было не вылились в уличные драки; одну с главой банка, другую с дипломатом в стиле Норпуа. Оба раза во время алжирской войны. «Я бы сам взялся за охотничье ружье, чтобы заставить этих алжирцев повиноваться», — говорил один из них; «Но вы ведь не станете утверждать, что алжирцы такие же люди, как мы», — восклицал посол в присутствии П.-А. Спаака, на дружеском обеде; я не уверен, что в банке и в гостиной сохранил тон парижских бесед.

Любовь к спорту не изменила мне. Меня влекла футбольная команда, но я быстро понял, что должен всему учиться с азов, не имея никаких шансов достичь желаемого. Зато вновь пробудилась моя страсть к теннису, и в течение всех четырех лет на улице Ульм я играл регулярно, поднявшись до отметки две шестые в верхней половине списка второй категории. Все игроки Франции, участвовавшие в турнирах, стремились попасть в этот национальный список, надеясь подняться со временем на первые места. Однако успехи моего брата Адриена подавляли меня и не позволяли строить воздушные замки. С самого начала более одаренный, он отрабатывал свой удар, постоянно тренировался, чего я никогда не делал. В тесном кругу парижского тенниса

говорили «хороший Арон» и «плохой Арон». И это было справедливо; моя игра, в некотором роде повторяя его игру, сильно до нее не дотягивала.

Сегодня, оглядываясь назад, я строго сужу себя: теннис занимал слишком много места в моей жизни. Я мог бы использовать каникулы, чтобы открывать для себя Францию и другие страны, а вместо этого снова и снова возвращался на пляжи Нормандии, чтобы участвовать в летних турнирах. Жорж Глассе, выпускник Политехнической школы, бывший президент и генеральный директор «Альстома», в течение нескольких лет играл в паре со мной — это говорит о его добром характере, потому что подача и удар с воздуха были моими слабыми местами и это очень вредило мне в парной игре. Но что значат все эти сожаления! Теннис доставлял мне сильнейшее удовольствие; не был я равнодушен и к своему месту в турнирной таблице. Мне рассказывали, что Шабан-Дельмаса волновали его спортивные успехи, когда он был уже мэром Бордо.

III
ОТКРЫТИЕ ГЕРМАНИИ

Я пропущу полтора года (с октября 1928 года по март 1930-го), во время которых нес воинскую обязанность — в основном в форте Сен-Сир, приспособленном для нужд метеослужбы Военно-воздушных сил. После нескольких недель в пехотном полку в Меце меня перевели в Сен-Сир, где я ознакомился с начатками метеорологии, которые инструктора преподавали новобранцам, по большей части из «хороших» семей. Благодаря моей протекции Сартр тоже прошел там военную службу. Недовольный своей работой телефониста в государственном агентстве на улице Université, я вернулся в форт, где передал двум потокам юнцов то немногое, что узнал об облаках — искусство различать кучевые, перистые и прочие облачные разновидности.

Это время между годами учения и вступлением в жизнь осталось в моей памяти как пустое в полном смысле слова. Я засыпался на экзамене, который следовало сдать в конце военной подготовки, — успех открывал перед выпускниками Эколь Нормаль двери офицерского училища и сокращал на полгода срок военной службы. Находясь под влиянием Алена, хотя и не убежденный до конца, я не мог решиться ни выдержать экзамен, ни провалиться. Мои ошибки в чтении штабных карт и неловкость в командовании взводом довершили остальное.

Не помню, случилось ли это после конкурса на звание агреже или уже после военной службы: я вдруг почувствовал — в первый, но не в последний раз, — что даром растрачиваю свою жизнь. Неужели я не исполню задачи, которую поставил перед собой в своих внутренних диалогах: создать себя самого в процессе деятельности? (Кажется, это выражение какого-то философа.) Правда, когда я был студентом, в летние месяцы жил, не размышляя, от одного теннисного турнира до другого, но едва кончались каникулы, как чувство вины вытесняло приятные воспоминания. Во всяком случае, осенью 1928 или весной 1930 года я серьезно задумался.

Если бы мое честолюбие не шло дальше пожизненного преподавания философии в лицее, то передо мной уже не оставалось препятствий. Первые годы я был бы хорошим, возможно, даже очень хорошим преподавателем; философия страстно меня увлекла, я легко выражал свои мысли — устно лучше, чем письменно; в те годы мне удавалось сделать понятными даже для обычно равнодушных и скучающих

слушателей самые темные ученые споры философов. Между тем мои учителя, товарищи и родители прочили мне другой путь — университетского профессора или даже философа. Но чем я обладал в свои двадцать три или двадцать пять лет, что, кроме степени бакалавра, дали мне шесть лет учения? Пожалуй, способность узнавать новое, учиться; в этом отношении время, посвященное чтению великих мыслителей, не было бесплодным. Но на что направить собственное размышление? Какую выбрать тему диссертации? Ведь этот выбор мог повлиять на всю дальнейшую жизнь.

Почему я выбрал сначала биологию, а затем понятие особи? Мне не хотелось следовать примеру многих моих товарищей, даже самых блестящих, таких как Владимир Янкелевич, и писать диссертацию по истории философии, предоставлявшую минимум опасностей. Возможно, я написал бы хорошую книгу о Канге или Фихте. Но мой единственный учитель в Сорбонне, Леон Брюнсвик, не оставлял места метафизике, вечной философии. Если философия стремится найти собственную истину, последняя не совпадет с той истиной, условия, методы и границы которой обнаружила точная наука. Какой же чудесной способностью должна обладать философия, чтобы достичь метафизической истины, по сути своей иной, чем научное знание, и превосходящей его?

Психология традиционно занимала главное место в программах лицеев. При том что психология еще не достигла и, вероятно, никогда не достигнет точности физики, должна ли философия ограничить свою задачу заполнением временных пробелов научного знания?

Бергсон тоже не открывал никакого пути начинающим философам. И он тоже ссылался на научную истину, выявляя своего рода метафизику в критике некоторых выводов науки. В то время мы не знали ни феноменологии, ни аналитической философии. По всей вероятности, ход мыслей «аналитиков» меня бы подкупил. Но этой философии, так сказать, не существовало на нашем небосклоне.

Поскольку предметом философского размышления должна была стать научная дисциплина, я выбрал биологию, о которой очень мало знал, но которая не требовала математического образования (всю свою жизнь я страдал от своего невежества в этой области). Начал ли я заниматься этим предметом до или после прохождения военной службы? Думаю, что до, но не уверен. Все мои довоенные бумаги погибли во время войны, и сейчас я больше рассчитываю на свою память, когда речь идет об идеях или даже людях, но только не о фактах.

Я ходил иногда в лабораторию Эколь Нормаль; прочел множество книг и напал на генетику. Этьен Рабо еще занимал кафедру общей биологии в Сорбонне и объявил раз и навсегда войну менделизму, генетике и опытам с мушкой-дрозофилой, позволившим установить карту генов на четырех хромосомах. Откуда это упрямое, чисто французское неприятие, тогда как во всем мире менделизм был включен в свод накопленных человечеством знаний, а некоторые французские ученые, среди них Люсьен Кено, содействовали вторичному открытию законов наследственности? Не будем искать слишком низменного объяснения; ответ подсказывает знаменитая теория Т.-С. Куна: структура хромосом, наследственной материи, атомы наследственности — гены — не согласовывались с представлением Э. Рабо о живом целом «организм — среда». Марсель Мосс, гордившийся своей научной образованностью, признался мне однажды на площадке автобуса, между кассами Лувра и Сеной: «В менделизм я не верю». Ш. Блондель и С. Бугле, со своей стороны, не «верили» в психоанализ; они его не оспаривали, а просто отвергали.

Не нужно было обладать особым даром предвидения, чтобы заметить в 1930 году, что генетика открывает широкий путь для анализа живой материи, а также для манипуляций — к добру или к худу — генотипами растений, животных и людей. Но по мере того как я приходил в восторг от перспектив биологии, я совершенно разуверился в своем предприятии. Все, что я могу сказать о работе генетика, он сам скажет лучше меня, когда ему захочется поразмышлять над своей работой. И что сказать о биологической особи помимо того, чему нас учит и еще научит в будущем биология? Я мог бы пойти тем путем, на котором Жорж Кангилем одержал блистательную победу: история биологической мысли, выработка концептов, преобразование парадигм. Я отказался от этого проекта, прежде чем серьезно попытался его осуществить, по двум причинам, очень различным, но в чем-то совпадающим.

Весной 1930 года при посредстве Департамента французской культурной деятельности за границей, которым руководил Жан Маркс на Кэ д’Орсе (Quai d’Orsay) [63], я получил место ассистента французского языка в Кёльнском университете, при известном профессоре Лео Шпицере. Мои довольно трудные обязанности на лекциях и семинарах оставляли слишком мало свободного времени для усиленного поглощения знаний, которых требовал мой проект. Другая, решающая, причина оказалась связана с моим экзистенциальным выбором, если употребить выражение, вошедшее в моду после 1945 года. Уже начиная с класса

философии, мои занятия не сводились к школьным упражнениям; трансцендентальная дедукция не похожа на перевод с латинского и требует совершенно иного умственного усилия. И все-таки чтение великих произведений, диалоги об идеализме и реализме затрагивали только ум, но не сердце. Бунт против Леона Брюнсвика сыграл свою роль в моем втором, на этот раз решающем, выборе. Мораль Брюнсвика — то есть мораль Сократа, как ее интерпретировали он и Эли Алеви, — с ее требованиями всеобщности и взаимности я принимал без труда и принимаю еще и теперь. Но брать за образец и за основу человеческой жизни позицию ученого в его лаборатории — это меня не удовлетворяло. Ученый практикует свою мораль ученого только в своей лаборатории (да и то с большими оговорками: социологи демистифицировали этот чересчур лестный образ ученого). И уж тем более человек в каждом из нас — не ученый; «истинное обращение» принадлежит к миру лубочных картинок. Итак, я искал предмет размышления, который затронул бы и сердце и ум, потребовал бы от меня воли к научной точности и вместе с тем всецело увлек меня. И вот однажды на берегах Рейна решение было принято.

Я так часто вспоминал впоследствии об этом событии, что уже боюсь спутать действительно пережитое и его позднейшую реконструкцию. Но хорошо помню, как, охваченный радостью открытия, написал восторженное и маловразумительное письмо своему брату Роберу. То, что я простодушно воображал своим открытием, состояло, в общих чертах, в историчности бытия гражданина и человека. Каким образом я, француз, еврей, находящийся в определенном моменте эволюции, могу познать целое, одним из сотен миллионов атомов которого являюсь? Как могу я охватить целое иначе, чем с одной из бесчисленных *точек зрения*? Отсюда вытекала почти кантианская проблематика: до какой степени я способен объективно познать историю — народы, партии и идеи, конфликты между которыми заполняют хронику веков, — и *мое* время? На этот вопрос должна была ответить критика исторического или политического знания. Эта проблематика содержала и другое измерение: субъект в поисках объективной истины погружен в материю, которую хочет исследовать и которая пронизывает его, погружен в реальность, из которой он, историк или экономист, извлекает научный объект. Постепенно я догадывался, какие две задачи стоят передо мной: понять или познать свою эпоху со всей возможной честностью, никогда не теряя из виду границ своего знания; отстраниться от актуальности, не довольствуясь при этом ролью зрителя. Когда позднее я сделался комментатором в ежедневной

прессе, мое стремление взглянуть на события со стороны, показать мир, каков он есть, а не способы его изменения, вызвало, как и следовало ожидать, раздражение многих моих читателей. Я еще вернусь к своей профессии журналиста. Пока же я был от нее очень далек. Весной 1931 года я объяснял немецким студенткам и студентам «Пустыню любви», «Поцелуй, подаренный прокаженному», «Дневник Салавена» («Le Désert de l'amour», «Le Baiser au lépreux», «Le Journal de Salavin») 64.

Отделению романских языков Кёльнского университета, во главе которого стоял Лео Шпицер (окруженный целым букетом девушек в цвету), нельзя было отказать в том 1930/31 году ни в сердечном тепле, ни в блеске. Ассистент итальянского языка и тоже философ по образованию Энрико де Негри, оставшийся, несмотря на время и расстояние, моим дорогим другом, каждое утро вставал пораньше, чтобы переводить «Феноменологию» Гегеля. У меня бывали ссоры с Лео Шпицером исключительно по моей вине (в раннем детстве я был холериком, и до сих пор мне иногда случается вспылить), но в целом климат университета оказался мне по душе; слушатели лекций и особенно участники семинаров производили на меня впечатление людей более горячих, открытых, менее сдержанных, чем французские студенты. Не могу вспомнить ни одного неприятного инцидента, связанного с моим еврейством. Впрочем, Лео Шпицер тоже был евреем, что называется ассимилированным. После прихода к власти Гитлера он похвалил меня за умеренность моей статьи в «Эроп» («Europe»), но упрекнул за то, что я недостаточно подчеркнул факт «новой цивилизации», которую несет в себе национал-социализм.

В течение 1930/31 академического года я прочел курс лекций о французских контрреволюционерах — Жозефе де Местре и Луи де Бональде; читал со студентами Клоделя и Мориака, и они чаще всего разделяли со мной чувства, порождаемые этими текстами. Вопреки националистическим страстям того времени, я вынес из общения с этой молодежью прочную дружескую симпатию к немцам; подавленная нацизмом, она возродилась во мне после 1945 года. В 1953 году в Тюбинге, где я был *Gastprofessor'ом*[35] в течение нескольких недель, я снова встретился с немецкими студентами, совсем иными и вместе с тем столь похожими на тех, кого я знал прежде. Ни в малейшей степени не зараженные гитлеризмом и национализмом, они шумно выразили свое согласие, когда я экспромтом дал такое определение всемирной истории: *die Weltgeschichte, diese Mischung von Heldentum und Blödsinn* (всемирная история, эта смесь героизма и глупости).

Именно в том году в Кёльне я впервые прочел «Капитал». В Сорбонне я однажды сделал доклад об *историческом материализме.* С. Бугле упрекнул меня, вероятно справедливо, в том, что я смягчил мысль Маркса; я использовал сочинения Энгельса и его понятие «в конечном счете». Я изучил также итальянцев — Мондольфо, обоих Лабриола; [65] у меня не поднималась рука признать за Марксом детерминистское объяснение *всей* истории человечества; я не был в то время достаточно знаком с его юношескими работами и с *Grundrisse*[36], чтобы воссоздать марксизм Маркса, как я попытался сделать это в Коллеж де Франс почти полвека спустя, в 1976–1977 годах.

В 1931 году я не обладал достаточной экономической культурой для того, чтобы как следует понять «Капитал» и судить о нем. Но передо мной вставали два вопроса, ради ответа на которые я читал. Первый — скорее экономический: помогает ли нам марксистская мысль объяснить великий кризис? Другой — более философский: освобождает ли нас марксизм Маркса в качестве философии истории от трудной задачи, которая тем не менее является составляющей нашей человеческой сути — *выбирать* между разными партиями? Если будущее уже начертано, придет неотвратимо и если оно спасительно, то отвергнуть его могут только слепцы или пленники своего частного интереса. В расхожей интерпретации марксизма меня манила и вместе с тем отталкивала философия истории. Неизбежно ли ведут противоречия капитализма к социализму, будь то через революцию или постепенные преобразования? Подтверждает ли прогнозы Маркса Великая депрессия, свирепствующая в мире и ставшая трагедией Германии? Оправдывает ли она заодно коммунистическое движение, даже Советский Союз? Не хочу, чтобы читатель подумал, будто я искал в «Капитале» подтверждение моего неприятия советской реальности; совсем напротив, я надеялся найти в нем подтверждение социализма как ближайшей и неизбежной фазы Истории.

Сегодняшний читатель будет прав, сочтя эти вопросы примитивными. Но я только еще приступал к изучению социальных наук. Профессиональные экономисты, или те, кого мы понимали как таковых, не соглашались между собой ни в вопросе о диагнозе, ни в отношении терапии кризиса. Все современные историки считают неразумной попытку ответить на дефляцию и депрессию восстановлением сбалансированного бюджета; но тогдашние наблюдатели вовсе не единодушно осуждали ее. Литература о кризисе, прочитанная мною в Германии, — скорее эссеистика, чем труды специалистов, —

ставила под вопрос «структуру» германской экономики, «сверхиндустриализацию», восточногерманское сельское хозяйство. Мое невежество в экономике проявилось в статьях о Германии, опубликованных в 1931–1932 годах в «Либр пропо» и «Эроп». Перечитав их, чтобы написать эту главу, я не испытал удовольствия, но и не был пристыжен. Чтобы стать комментатором текущей истории, мне оставалось еще многому научиться.

Не знаю, насколько точно эти статьи отражают мои тогдашние мысли и настроения. Когда я писал для «Либр пропо», я склонялся к идеологии «аленистов», в частности Мишеля и Жанны Александр, восхищаясь их верой, бескорыстием и безоговорочной преданностью учителю и его идеям. Как бы то ни было, эти политические статьи не свидетельствуют о большой прозорливости; нравственные суждения в них на каждом шагу примешиваются к анализу.

Во всех этих текстах проглядывает навязчивое состояние, которое нельзя назвать неоправданным: страх перед национализмом, неодолимый подъем которого я предощущал и в Кёльне, и в Берлине, предчувствие войны как результата победы националистической партии, куда войдут и традиционные правые, и национал-социалисты. Как я уже однажды писал, приехав в Кёльн весной 1930 года, я испытал потрясение, которое лучше всего выражает фраза Тойнби: «History is again on the move»[37]. В 1930 или 1931 году я интуитивно знал лучше, чем основная масса французов, какая буря скоро пронесется над миром. Эта верная интуиция не привела меня к поискам дипломатии, способной предотвратить грозящую катастрофу, но побудила меня написать ряд статей о войне и пацифизме, которые свидетельствуют о прогрессе моей мысли; политическое размышление постепенно приходит на смену эмоциональному неприятию.

Одна из моих первых статей, написанная в Германии и вышедшая в «Либр пропо» (февральский номер 1931 года), содержит полный набор тех качеств и тех ошибок, которые мне несносны сегодня, — а возненавидел я их после прихода Гитлера к власти. Название статьи: «Простые предложения пацифизма». Возьмем предложение восьмое: «Немецкий пацифист имеет право, быть может, иногда обязан проповедовать побежденным терпение и смирение; у французского пацифиста этого права нет никогда». Похвальное чувство, но что можно извлечь из подобных заповедей? Я был прав, когда старался отвергнуть пропагандистские лозунги. Франция и Германия противостояли друг другу не как цивилизация и варварство, а как победитель и

побежденный. Победитель стремится сохранить преимущества, которые дала ему победа; побежденный — смыть клеймо поражения. До этого пункта мой принципиальный пацифизм еще не становится глупостью. Но когда я переходил к вопросам репараций и разоружения, мне следовало бы аргументировать, взвешивать желаемое и возможное по каждой из этих проблем, а не постулировать, будто германские требования, требования угнетенного к имущему, оправданы уже тем, что исходят от временно слабейшего.

Точно так же и в отношении Версальского договора я придерживался общих формулировок, возможно правильных, но не очень уместных. «Дальнейшее неукоснительное соблюдение договоров тоже не может быть для французской политики разумным и необходимым методом. Говорить „пересмотр договоров — это война“, „еще никогда договоры не пересматривались без войны“ — значит допустить фатальность войны. Без перемен нет жизни, но мы хотим теперь перемен без войны». Какой пересмотр мог быть произведен без войны в 1931 году, за два года до прихода к власти Гитлера? Никакое изменение границ не было возможно. Обсуждался вопрос репараций и снятия ограничений, означавший для Германии право на перевооружение; пожалуй, лучше было бы не раздумывая отказаться от репараций или согласиться на приостановку платежей, вместо того чтобы волей-неволей согласиться с американскими предложениями. Проявив инициативу, мы могли бы получить моральную компенсацию за свои уступки. Историки ретроспективно выражают сомнение в том, что иная французская политика спасла бы Веймарскую республику и помешала победе национал-социализма. Как бы то ни было, руководители Третьей республики в те решающие годы — 1930–1933-е — не попытались ничего предпринять и шли на поводу у событий. Впрочем, трибуна «Либр пропо» не была настолько влиятельной, чтобы мои выступления получили какой-либо отклик. Я вспоминаю свои первые журналистские пробы, чтобы обозначить этапы своего политического воспитания.

В феврале 1933 года я опубликовал в том же журнале «Размышления о всеобъемлющем пацифизме» («Réflexions sur le pacifisme intégral»), написанные по поводу брошюры «Безоговорочный мир» («La Paix sans aucune reserve») — диссертации Фелисьена Шаллея. В том же номере печатались материалы дискуссии между Т. Рюиссеном, Ф. Шаллеем, Ж. Кангилемом, Жаном Лематафом, а также тексты Бертрана Рассела и Алена. Я проводил различие между *пацифизмом верующего, пацифизмом философа* и *пацифизмом революционера.*

Первый совпадает с отказом от несения военной службы по религиозно-нравственным мотивам. Христианин, кантианец повинуется категорическому императиву: не убий; он не укрывается от опасности, а отказывается нарушить высшую заповедь своей этики. Второй — *пацифизм философа: истинное и ложное сопротивление*; я резюмировал его словами Бертрана Рассела: «Любое из зол, которые люди думают избегнуть благодаря войне, меньше, чем сама война». Сегодня мне кажется любопытным, что я не опроверг это положение при помощи той продиктованной здравым смыслом истины, о которой нам напомнил опыт Второй мировой войны, а именно: беды, обрушивающиеся на побежденного, порой нестерпимее самой войны. Я тогда ответил абстрактным доводом: «Нужно ли напоминать слишком банальную истину, что такие блага, как честь или свобода, не поддаются ни оценке, ни измерению? Таким образом, пришлось бы доказывать людям, что конфликт между народами не затрагивает никакой подлинной ценности». И добавлял: «…Мы так же плохо представляем себе бедствия войны, как и бедствия, приносимые вторжением врага…» Я постарался не возражать Алену прямо, но дал понять, что его мудрость витает между небом и землей. В его позиции я видел нечто вроде «отказа от военной службы по соображениям разума». Я признавал за ним совершенную логику (здесь я ошибался) и полнейшую практическую бесполезность (тут я был прав).

Что касается *пацифизма революционеров* (защищаемого Фелисьеном Шаллеем и Жоржем Кангилемом), то мое первое возражение состояло в том, что метафизический аргумент — «война есть абсолютное зло» — осуждает гражданскую войну точно так же, как и войну с внешним врагом. «Пацифист-революционер» противоречит сам себе, если отвергает насилие как таковое. Чтобы быть последовательным, он должен заняться историко-политическим анализом и сказать, что гражданская война, в отличие от войны между государствами, может быть допустимой, если направлена к справедливым целям. Всякая война с внешним врагом защищает какой-либо социальный порядок, какую-то иерархию, так что законная коллективная оборона никогда не смешивается с законной индивидуальной самозащитой. Впрочем, кто же в джунглях межгосударственных конфликтов может решить, не рискуя ошибиться, что одна сторона виновата, а другая права и что война с какой-то стороны носит строго оборонительный характер? В конечном счете каждая война может быть истолкована как оборонительная (разве обеспечить себе укрепленные позиции за счет сопредельного государства не значит принять меры предосторожности?).

«Возможно, существовали эпохи, когда политическая общность была достаточно близка к индивиду, чтобы самооборона группы слилась в одно целое с личной самозащитой; во всяком случае, в наше время это не так. Спрашивая себя, ради каких коллективных ценностей мы еще готовы пойти на смертельный риск, принести себя в жертву, мы колеблемся. Колеблемся вдвойне, когда нужно выбирать: родина или класс, справедливость для всех или национальная независимость. В какой стороне открываются перед людьми перспективы справедливости? Какая общность выполняет сегодня историческую миссию? Политическая проблема — это не нравственная проблема. Таким образом, и Рюиссен и Кангилем, встретившись с трудностями, совершают с самого начала ошибку: один в конце концов соглашается на несправедливые войны, ибо все войны окажутся оборонительными; другой, охарактеризовав военную бойню как абсолютное зло, допускает гражданскую войну». Ж. Кангилем стал героем Сопротивления. Только один Шаллей не отказался от своего пацифизма, к тому же с опасным уклоном.

Эта статья, появившаяся в печати в феврале 1933 года (написанная до 30 января), представляет собой набросок некоторых идей, которые я вскоре выразил с большей ясностью в статье «Размышления об отказе от военной службы по нравственным мотивам» («Réflexions sur l'objection de conscience»), впервые опубликованной в «Ревю де Метафизик э де Мораль» и переизданной в сборнике 1972 года «Политические этюды» («Etudes politiques»). Это старание привести в порядок мои мысли о войне может показаться наивным сегодняшним читателям. Оно рождалось из духа времени — *Zeitgeist* — и размышлений об этике Алена, соединявшей повиновение власти с внутренним отказом от уважения к ней.

Какая еще война была такой длительной, жестокой и бесплодной, как война 1914–1918 годов? Страсти, придавшие ей легитимность, были чужды и порой почти непонятны двадцатилетним юношам в 1925 году. Большинство из нас пережило эту войну издалека, не страдая от нее. Те же, кто воевал сам или осиротел в этой войне, ненавидели ее тем сильнее, что считали выгоды победы несоизмеримыми с принесенными жертвами. Возмущение выливалось в антимилитаризм, который преображала философия Алена. Этот антимилитаризм содействовал в известном смысле деморализации армии.

Такие чувства толкали или к коммунизму, к революционной воле, или к политике примирения с Германией (враждебное отношение к оккупации Рура, облегчение груза репараций, затем,

в начале 30-х годов, преждевременный уход из Рейнской области), или, наконец, к отказу от военной службы то в форме религиозно-нравственного протеста, то в форме, которую избрал для себя Ален (отказ от офицерских нашивок), то на анархический лад. Моя натура влекла меня ко второму варианту, к позиции Аристида Бриана; позиция Алена внушала мне уважение, но не убеждала. Мои тексты свидетельствовали о сумятице мыслей и чувств, которая стала рассеиваться начиная со статьи о разновидностях пацифизма, напечатанной в феврале 1933 года. Одна фраза в этой статье останавливает мое внимание: «Политическая проблема — это не нравственная проблема». Я бы и сейчас подписался под ней.

Разумеется, и в этой фразе есть упрощенство, только противоположно направленное. С точки зрения философии, политика — как проблема, суждение, действие — составляет специфичную область. Может быть, в конечном счете политическое действие приобретает смысл только по отношению к морали в широком смысле этого слова. Если мне ненавистны все виды тоталитаризма, то это потому, что они способствуют расцвету пороков, таящихся в зародыше в глубинах человеческой природы. Цель всякой политики, а тем более всякой войны, должна быть нравственной или, если угодно, определяться некими ценностями. Но ни средства, ни цель не выводятся из нравственных или исключительно нравственных соображений. Равенство в правах означало перевооружение Германии. При нормальных условиях отсутствие дискриминации в межгосударственных отношениях отвечает требованиям справедливости, однако если Германия, жаждущая реванша и не признающая версальского территориального статуса, вновь обретет свое военное могущество, укрепит ли это мир или поставит его под угрозу?

Мне навсегда врезался в память забавный случай, произошедший со мной полвека тому назад — в 1932 году, после возвращения Эдуара Эррио на Кэ д'Орсе. Эммануэль Араго, лучший друг моего брата Адриена, вхожий в политические круги, познакомил меня с заместителем министра иностранных дел Жозефом Паганоном. Я много говорил с Араго о тревоге, которую вызывало у меня развитие германской политики, о национальном неистовстве, охватившем весь немецкий народ, об угрозе войны, которой подвергнется Европа в случае прихода к власти Адольфа Гитлера. Заместитель министра предложил мне высказаться, и я произнес перед ним речь, вероятно блестящую, в чистейшем стиле Эколь Нормаль. Он слушал меня внимательно и с видимым интересом. Когда я кончил, вот что он мне ответил, полушутливо,

но по существу: «Размышление — очень важная вещь. Как только мне выпадает несколько минут досуга, я предаюсь этому занятию. Поэтому я чрезвычайно обязан вам за то, что вы дали мне столько предметов для размышлений. Председатель Совета министров, он же министр иностранных дел, пользуется исключительным авторитетом, это выдающийся человек. Сейчас благоприятный момент для всевозможных инициатив. Но что же вы, так складно говоривший о Германии и о надвигающейся опасности, сделали бы на его месте?» Не помню уж, что я ответил, но не сомневаюсь, что оказался в затруднении, если вообще не проглотил язык. А что мне было говорить?

Этот урок заместителя министра будущему обозревателю принес свои плоды. Пятнадцать лет спустя, в редакции «Комба» («Combat»), я спросил однажды Альбера Оливье, который в передовой статье раскритиковал правительство: «Что бы вы сделали на их месте?» Он ответил мне примерно так: «Это не мое дело; они должны найти, что делать, а мое ремесло — критика». Я, как правило, старался выполнять свою задачу комментатора в совершенно ином духе, подсказывая властям, что они должны или могут сделать. Иногда я знал, что мои советы неприменимы в ближайшей перспективе. Но, влияя на общественное мнение, я хотя бы облегчал совершение желательного, на мой взгляд, действия (так было, например, во время войны в Алжире).

Если статьи 1931 года еще несли на себе печать моей внутренней неуверенности, колебаний между идеалами и анализом обстановки, то статьи 1932 года, последнего года Веймарской республики, я перечитываю без чувства неловкости. Во многих существенных пунктах я не ошибся, и мои статьи бросали свет не только на настоящее, но и на близкое будущее.

Германия, травмированная экономическим кризисом, жила в «национальной атмосфере»: канцлер Брюнинг управлял, опираясь на социал-демократическую партию, но искал поддержки справа; он начал переговоры с Гитлером в надежде, что тот удовольствуется вхождением в правительство нескольких своих соратников. Первая же беседа лишила канцлера иллюзий: Гитлер стремился к власти, все остальное его не интересовало. В номере «Эроп» за февраль 1932 года я, прокомментировав секретные переговоры между канцлером и фюрером, добавлял: «Одно несомненно: Гитлер помнит о своем поражении 1923 года и не повторит попытку путча (если только ему не удастся предварительно заключить союз с армией). Он слишком хорошо знает, что рейхсвер и полиция легко справятся с его отрядами. Социал-демократия напрасно будет ждать попытки государственного переворота, которая бы спасла ее и оправдала.

Пока ситуация не изменится, Гитлер не нарушит своего обещания соблюдать законность». Несколько ниже, по поводу отношений между центром и нацистами, я в заключение охарактеризовал Гитлера как «достаточно хорошего тактика, чтобы он решился пожертвовать единством партии ради немедленного раздела власти. Если он войдет в правительство, то не с тем, чтобы отказаться от своей свободы действий — я имею в виду, от права на нетерпимость и насилие».

В той же статье начала 1932 года я отмечал упадок левых партий — социал-демократов и коммунистов — и подъем так называемых национальных партий, среди которых гитлеровская была и самой многочисленной, и самой агрессивной, и самой опасной: «Прежде всего, крепость уже наполовину взята: нынешним правителям не терпится разорвать союз, по крайней мере видимый, с социал-демократами, подозреваемыми в интернационализме (впрочем, весьма умеренном)…» Я приводил ряд примеров господствующего национализма: «Студенты, которые сорвали лекцию профессора, обвиненного в пацифизме, проникнуты, если верить руководству университета в Галле, национальным чувством… Революционеров, пацифистов преследуют по суду. Судьи же — национал-социалисты». Может быть, в начале 1932 года это было несколько преувеличено, но факт остается неоспоримым: в Веймарской республике недоставало республиканцев в правящих классах: она неудержимо скатывалась к «национальной коалиции», которая в конце концов распахнула двери власти перед массовой партией, собиравшейся нанести удар по партиям пролетарских масс.

Когда президент Гинденбург отправил в отставку канцлера Брюнинга, я не ошибся относительно значения этого события. «Избранный социал-демократами, католиками и умеренной буржуазией для противостояния фашизму, маршал фон Гинденбург только что грубо отстранил Брюнинга и призвал фон Папена, обеспечив таким образом нацистам почти несомненный успех…» («Либр пропо», июнь 1932 года). На этот раз я дал волю своему гневу: «Клика вчерашней знати, почувствовавшей в деле государственного масштаба угрозу своему достоянию, банда генералов, жаждущих сыграть роль Наполеона, воспользовались своим влиянием, чтобы уничтожить последнюю преграду, еще сдерживавшую натиск национал-социализма. Во имя национального сознания эти себялюбивые, бесполезные и анахроничные обладатели привилегий, слепцы, пережившие свое время и общество, берут в свои руки власть в Германской республике. Они весьма рискуют стать жертвами сил, которые выпускают на свободу. Повернутся ли завтра нацисты против этих

недалеких реакционеров? В этом нет ничего невозможного, хотя мы вправе и сомневаться в этом. Одно несомненно: если нацисты не разделаются с ними, это сделает будущее…»

В июльском номере «Эроп» за тот же 1932 год я менее пылким слогом констатировал, что «Германией уже стало почти невозможно управлять демократическим путем», и заявлял о неизбежности «авторитарного строя», еще необязательно национал-социалистического. Тогда еще сохранялась альтернатива: Шлейхер или Гитлер, националисты или национал-социалисты.

Поражение национал-социалистов (потерявших два миллиона голосов) на выборах в ноябре 1932 года, по мнению Леона Блюма, отнимало у Гитлера всякую надежду прийти к власти; мне, однако, оно внушило куда более сдержанные оценки. «„Папен и Гитлер побеждены“, — пишет крупным шрифтом „Берлинер тагблат“ („Berliner Tagblatt“). Действительно, Папен тщетно стремится сколотить большинство, а Гитлер потерял два миллиона голосов. И все же мы вынуждены добавить: побежденные, они продолжают властвовать над Германией. А коммунизм, теоретически победивший, все так же далек от власти, то есть от революции». Выборы ноября 1932 года не меняли существа сложившейся обстановки. Поскольку Германией суждено было управлять правым, единственный и подлинный вопрос ставился просто: кто из двух одержит верх — националисты или национал-социалисты, Папен (Шлейхер) или Гитлер? Нетрудно было предвидеть именно национал-социалистический исход событий.

При всем том в моих статьях содержался ряд недостатков. Мне следовало бы проанализировать веймарскую конституцию. До 1930 года, до наступления кризиса, эта конституция, родственная в некоторых отношениях конституции Пятой республики, интерпретировалась в парламентском смысле. Канцлер, опираясь на парламентское большинство, управлял страной. Когда же он лишился поддержки этого большинства, то попал в полную зависимость от президента, который, согласно некоторым пунктам конституции, мог, в случае необходимости, издавать декреты (*Notverordnungen*), равнозначные чрезвычайным законам. Тем самым президент становился подлинным главой исполнительной власти, так сказать, арбитром схватки. Старый маршал долго сопротивлялся требованиям Гитлера, в котором видел капрала минувшей войны и опасного революционера. Он не хотел нарушить своей клятвы защищать конституцию. Окружение, сын президента и Ф. фон Папен убедили его сначала, весной, отправить в отставку Брюнинга, затем, осенью, Шлейхера.

С этого часа «национальная коалиция» с национал-социалистами стала единственным выходом, даже в конституционных рамках.

Итак, во главе государства — старый маршал, монархист по убеждениям; справа — «националы», которым принадлежат симпатии большей части правящего класса (в государственной администрации, в экономике); на заднем плане — национал-социалисты, народное движение невиданного типа, организующее охранные отряды, чаще всего невооруженные, и поддержанное миллионами голосов. Если коммунистическая партия не присоединится к защитникам конституции, то есть к центру и социал-демократии, то веймарскому большинству придет конец. В июле 1932 года правительство Папена ликвидировало последний оплот социал-демократии — правительство Брауна в Пруссии. Какой выход могли предвидеть действующие лица и наблюдатели? Либо победу традиционных правых с помощью рейхсвера: в этом случае армия захватит власть и распустит как веймарские партии, так и национал-социалистов (если предположить возможность подобного упразднения всех партий); либо приход к власти так называемой «национальной» коалиции, включающей национал-социалистов, что будет иметь непредсказуемые последствия. Кто возьмет верх в этой коалиции? Едва ли можно было сомневаться в ответе. Тем не менее еще в 1933 году, после того как Гитлер стал канцлером, и французы, и немцы в Берлине спрашивали себя, что означает январский компромисс. Вспоминаю беседу с журналистами в посольстве Франции; один из них, опытный профессионал, всерьез утверждал: «Муссолини никогда бы не согласился на подобное ограничение своих полномочий». Думаю, после 31 января 1933 года я не грешил ни слепотой, ни оптимизмом.

Но вот что мы все, пансионеры Akademiker Haus, не понимали или понимали не вполне ясно — это ошибки экономической политики Брюнинга[38], дефляцию, усилия по сбалансированию бюджета. Не обладая экономической культурой, как мог я уловить то, что ускользало от понимания большинства министров и руководителей промышленности? Когда позже я вернулся во Францию, я уже знал достаточно, чтобы сожалеть о дефляции без девальвации, осуществленной Лавалем и обеспечившей победу Народного фронта 66.

Вероятно, почти все мы совершали и другую ошибку: недооценивали Гитлера. Разумеется, я ненавидел этого человека всем своим существом. Потому что он был антисемитом, а я еврей? Отчасти мое еврейство было этому причиной, но в меньшей степени, чем можно подумать. Как оратор, он вызывал мое неприятие; голос, действовавший на некоторых

гипнотически, мне был почти невыносим; вульгарность, грубость отвращали; я не в силах был понять энтузиазма миллионов немцев. Гитлер дышал ненавистью, он воплощал зло, он означал для меня войну.

Кто, однако, мог представить себе, что менее чем за три года он даст работу шести миллионам безработных? Еще в июне 1934 года кризис, кульминацией которого стала «ночь длинных ножей» [67], заставил многих очень умных людей усомниться в длительности правления Гитлера. Разница между Муссолини и Гитлером, сказал мне мой друг Эрик Вейль на другой день после кровавой бани 30 июня, заключается в том, что Гитлер — глупец *(Dummkopf)*. Мы тогда еще не привыкли к чередованию апатии и лихорадочной активности, отличавшему фюрера. Весной того (1934) года многие из его правых союзников были обеспокоены; они рассчитывали на Гитлера, чтобы установить консервативный, националистический режим, который вырвал бы у англо-французов согласие на равенство в правах, а следовательно, на перевооружение Германии. В Тысячелетний рейх они не верили или боялись его.

Статья, которую я поместил в «Эроп» осенью 1933 года, вызывает у меня сейчас некоторую неловкость, хотя она меньше, чем предыдущие, контрастирует с моей манерой после 1945 года. Я правильно анализировал временный исход германского кризиса: «С момента падения Брюнинга национальная революция была неизбежной. Оставалось только узнать, кто — гитлеровцы или германские националисты — возглавит ее и извлечет из нее пользу для себя». И дальше: «Дворец спорта и Вильгельмштрассе стали средоточием двух враждебных миров — с одной стороны разнузданные массы, с другой — представители старого порядка. Решающее событие произошло, когда оратора, выступавшего во Дворце спорта, позвали на Вильгельмштрассе; вечером 31 января ликующие гитлеровцы проходили строем перед своим вождем и перед неподвижным призраком, представителем старой Германии, уступавшим дорогу Германии завтрашней».

Соображения о роли Ф. фон Папена, об иллюзиях «националов» уже неинтересны сегодня. Кажется, я верил, что национальная коалиция могла бы и не привести ко всемогуществу Гитлера. Нынешние историки в этом сомневаются; во всяком случае, я не проглядел разницы между националистами (или «консервативной революцией») и национал-социализмом (революцией против всех современных ценностей). Я упоминал о костре, в который Геббельс бросил — собственноручно или руками студентов — провинившиеся книги, хотя не описывал

сцену, при которой присутствовал 10 мая 1933 года с моим другом Голо Манном (одним из сыновей Томаса Манна, ныне блестящим историком). Сцена, которую я наблюдал — находясь не среди СА, а с расстояния в несколько метров, со стороны университета, — была лишена какого-либо величия. Ни толпы, ни энтузиазма, какая-нибудь сотня гитлеровцев в форме, декламация Геббельса: «Ich übergebe dem Feuer» («Я предаю огню»)… — и далее перечисление произведений Фрейда, обвиненных в «Übertreibung der Sexualität» (преувеличении роли сексуальности), Томаса Манна, Музиля, многих других авторов, евреев и неевреев. Голо Манн и я не проронили ни слова, но наше молчание нас объединяло — мы думали об одном и том же. В стране высокой культуры старый правящий класс доверил этим хамам миссию возродить независимость и могущество Германии. Книги горели на Унтер-ден-Линден так же, как когда-то горела Александрийская библиотека; костер символизировал варварство, пришедшее к власти.

Я не внес изменений в свой рассказ об этом аутодафе после того, как прочел в приложении к «Монд» («Monde») от 10 мая 1982 года статью Александра Сомбати, посвященную этому событию. Верно, что приговоры декадентским или «негерманским» книгам, составленные Геббельсом, зачитывались студентами — сейчас я припоминаю точную картину. Я спутал декламацию студентов с речью, произнесенной Геббельсом. Среди авторов, чьи произведения были выброшены в ту ночь, фигурировал Генрих, а не Томас Манн. В отношении этих подробностей А. Сомбати, безусловно, прав. Что же касается церемонии в целом, тут я стою на своем: она не имела ни размаха, ни величия, которые этот автор ей приписывает.

Возможно, были сожжены пятьдесят тысяч томов и некоторые рукописи проклятых писателей, но огонь не уничтожил всех экземпляров книг, оставшихся в публичных и частных библиотеках. Не исключено, что студенты, маршировавшие при свете факелов, — черно-красный спектакль, не лишенный красоты (мы с Голо Манном не видели его). Но сам костер, декламация студентов, напыщенное красноречие Геббельса — все это проходило без публики. Берлинцы не теснились перед зданием Оперы. Мы стояли поблизости от костра и уходили среди малочисленных прохожих. Мне часто доводилось слышать — и до, и после прихода Гитлера к власти — вой фанатичной толпы. Но в этот раз толпа не собралась или ее не позвали. Этот пожар без публики вызывал у нас содрогание своим символическим значением и смешил убожеством театральной режиссуры.

Перейдя затем, в моей статье, к установлению

тоталитаризма, *Gleichschaltung,* я перечислил основные меры, предпринятые режимом, с объективностью, местами чрезмерной. Антисемитизму я посвятил пять страниц. Странный текст, который мне сегодня так и хочется подвергнуть психоанализу. Я, еврей, излагал суть гитлеровского антисемитизма французским читателям, евреям и неевреям. Почти с начала и до конца я выдержал тон наблюдателя, и даже когда наблюдатель занимал определенную позицию, он оставался почти так же холоден: «Не может быть и речи о том, чтобы не осудить бесполезную жестокость. Но не может быть речи и о том, чтобы дать втянуть себя в „нравственный“ (и патриотический) крестовый поход против немецкого варварства». Даже Гитлер и антисемитизм не заглушили полностью моего германофильства; бессознательно я стремился писать не как еврей, а как француз. Я ограничился лишь намеками на совершаемые жестокости, на концентрационные лагеря. Я был не прав и в другом пункте, все еще говоря о желании гитлеровцев «пролетаризировать» евреев, исключить их из сообщества, а не о твердой решимости изгнать их из страны. Я спрашивал себя, возможно ли остановить ликвидацию еврейской общины. Опубликованная в сентябре 1933 года, статья была написана, вероятно, в конце моего пребывания в Берлине, через полгода после прихода Гитлера к власти. Я разоблачал «легальное насилие», «холодную жестокость, столь же гнусную, как погромы».

Некоторые места в статье, посвященные антисемитизму, мне теперь не нравятся. Я искал объяснений, если не извинений, пассивности немцев: «Привыкшие к социальным бедствиям, многие утратили чувство нравственного протеста…» Дальнейшее развитие истории показало, что потеря чувства протеста не является особенностью немцев. Мне неловко также за свой рационализм — он был не ко времени. «Гитлеровцы, несомненно, остро ощутят потери, которые германская наука понесет с отъездом евреев». Я недооценил природу гитлеровского антисемитизма, нечувствительного к аргументам такого рода. По крайней мере, я ошибался меньше многих других. Всем моим друзьям-евреям я советовал немедленно уезжать: в национал-социалистской Германии для них больше не было достойной жизни. В то время я не предвидел «окончательного решения» (*Endlösung*) — кто же мог вообразить его в 1933 году?

Смущает меня также противопоставление Германии и Франции в еврейском вопросе: «Проблема расового состава народа нормальна для немца; ее не существует для француза. То, что можно стать французом, ассимилировав французскую культуру, представляется естественным. Диань[39] говорит о

защите „нашей цивилизации“. Для многих немцев, возможно для большинства из них, немцем рождаются, а не становятся». Вероятно, в этих обобщениях есть крупица истины, но все же я шел на поводу у модных идеологий. И наконец, мне странно сейчас мое тогдашнее старание не возмущаться ненавистной мне реальностью, мое колебание между теми, кто хочет «все понять», и теми, кто не хочет «все простить».

В своей книге «Превратности истины» («Les Infortunes de la vérité»), вышедшей в 1981 году, Серж Кадрюппани нападает на эту мою статью. Его нарекания вызваны моими комментариями по поводу гитлеровского антисемитизма *весной 1933 года,* задолго до нюрнбергских законов [68]. Но если я в то время и не предсказывал «окончательного решения», я все же утверждал, что Третий рейх не оставляет никакого места евреям: «Воля национал-социализма ясна: он собирается не только уничтожить экономическое и политическое могущество евреев, не только убрать их с официальных постов, из свободных профессий, из прессы, но и пролетаризировать их». С большого расстояния такая интерпретация гитлеровского проекта — «пролетаризация евреев» — кажется наивно оптимистической, но в ту пору подобная перспектива вызывала дрожь у большинства евреев; они обвинили бы меня в пессимизме.

С. Кадрюппани упрекает меня в «никуда не годной защите» евреев и в том, что я написал: «Несомненно, евреи проявили недостаточную осторожность». В наши дни историки германской еврейской общины, в том числе еврейские историки, например З. Фридлендер, заходят гораздо дальше меня, доискиваясь, почему евреи стали козлами отпущения, мишенью немецкого озлобления. Должны ли были обстоятельства запретить мне «объективность», раздумья о причинах взрыва антисемитизма? Если следовать этой логике, всякий анализ современных событий требует манихейства, ожесточенной критики, а не попытки понять. А между тем я сам обозначил границы понимания: «Не станем пытаться предвидеть события — моя цель в том, чтобы помочь понять. И все же читатель, возможно, откажется понимать некоторые меры… Стремление к объективности не должно помешать естественному возмущению».

Некоторых других строк, которые мне ставит в укор автор, я, разумеется, теперь бы не написал. Я констатировал, что Гитлер нашел «решение политической проблемы». В ту эпоху, до 1933 года, все или почти все обозреватели, немецкие и французские, отмечали раскол немецкого общества; поэтому они ставили в заслугу Гитлеру «национальное объединение». Между тем, если читать текст целиком, а не одну выхваченную фразу, то мои

чувства не оставляют сомнения. «Соединенным употреблением силы и идеологии их снова научили повиноваться: в этой покорности порядку смешаны энтузиазм и отупение, сознание долга и чувство бессилия». И немного ниже: «„Верноподданный“ возродился к жизни». *Wiedergeburt des deutschen Untertanen* (возрождение немецкого верноподданного). «Он расцветает под липами. Его бутоньерка теперь украшена свастикой. Его комната оклеена изображениями нового пророка. Усики а-ля Чарли Чаплин пришли на смену закрученным кверху императорским усам».

Единственное место в статье, которое мне кажется уязвимым, связано с уступкой духу времени: «Протест здорового жизнелюбия против утонченности и скептицизма не заслуживает ни презрения, ни иронии. Коллективная вера всегда груба, легко показать ее абсурдность, но История не признает правоты резонерствующего ума». К несчастью, история действительно не всегда признает правоту «резонерствующего ума», а коллективная вера, по крайней мере в XX веке, по большей части груба. Я не одобрял — я только наблюдал. В более поздней статье, написанной в 1935 году, я уже выносил суждение, и суждение суровое, относительно видимого объединения германского народа под крики «Хайль Гитлер!».

Наконец, уже в 1933 году я не обманывался по поводу пацифистских заявлений Гитлера. Я писал: «Вопреки пацифизму, шумно объявленному несколько месяцев тому назад, вожди не отказались от своих амбиций. Я считаю правильным толкование, которое дает нацистской политике Троцкий, но с одной оговоркой: не думаю, что планы диктатора настолько точны и продуманны. Во всяком случае, наша задача ясна: каковы бы ни были наши личные чувства, необходимо помочь национал-социализму (и фашизму) предпочесть мирное решение или подтолкнуть его к этому». Статья Троцкого содержала анализ речи Гитлера в рейхстаге 17 мая 1933 года. За пацифистскими заверениями автор различал решимость нового режима восстановить военную мощь Германии. Стремление к перевооружению не могло не вызвать конфликта с Францией. Как только на стороне Гитлера будет сила, он обнаружит свою цель: продвижение на восток. «Нацисты против ассимиляции, но не против аннексии, они предпочитают уничтожить низшие народы, побежденные германизмом».

Таким образом, я подписался под тезисом Троцкого: империализм, направленный одновременно против Запада и против Востока. Гитлер, говорил создатель Красной Армии, рассчитывает получить согласие Великобритании на

восстановление вооруженных сил рейха. Я не сомневался в гитлеровских амбициях, я сомневался, что фюрер уже разработал в деталях этапы «master plan»'а.

После этой статьи в «Эроп» я до самой войны ничего не писал о Гитлере, Германии и международной политике, за тремя исключениями: текст в «Инвентарии» («Inventaire»), сборнике статей, воспроизводящих лекции, прочитанные в Центре социальной документации Эколь Нормаль, руководимом С. Бугле, статья в «Ревю де Метафизик э де Мораль» о книге Эли Алеви «Эра тираний» («L'Ère de tyrannies») и доклад во Французском философском обществе на тему «Демократические и тоталитарные режимы».

Вначале я назвал эту главу «Открытие Германии и политики». Эти два открытия совершились для меня одновременно. Моя пацифистская и моралистическая одержимость, восходящая к Алену, питалась также историческим убеждением: «Интерес, проявляемый нашей страной к германскому кризису, порожден… глубокой интуицией: хотим мы этого или не хотим, но судьба Германии — это также судьба Европы». Я продолжил эту тему на другой же день после поражения Третьего рейха, в 1945 году: судьбы Германии и Европы неразделимы. Не напрасно Ральф Дарендорф в своей похвальной речи по случаю присуждения мне премии имени Гёте[40] сказал, что Германия стала моей судьбой.

Я пытаюсь восстановить чувства, испытанные мной в первые месяцы и годы моей встречи с немецкой культурой. По приезде в Кёльн весной 1930 года я кое-как разбирал газетные тексты, не вполне понимал немецкий язык Шпицера, ассистента и студентов, читал не без труда книги по философии. В течение 1930/31 академического года в Кёльне я достиг достаточных успехов в языке, чтобы он перестал воздвигать барьер между моими собеседниками и мной. Меня тронуло смятение немецкой молодежи, тепло в отношениях между людьми; даже студенты, более или менее склонявшиеся к национал-социализму, не отказывались от диалога. Те, с кем я общался в Кёльне и Берлине, не походили на чудовищ, которых рисуют теперь. Мы пили вместе на берегах Рейна или Шпрее, и вдруг рождался порыв любви или дружбы, преображавший вечер. Но больше, чем немецкая молодежь, меня пленила немецкая культура. И навсегда.

В этом потрясении с первого взгляда было что-то удивительное. До того я прожил целый год в общении с Кантом. Хотя мое недостаточное знание Юма ограничило понимание трех «Критик», все же я впитал, может быть, самое ценное, что есть в немецкой философии. Категорический императив как сущность

нравственности, религия в рамках разума стали частью моего сознания. Однако я «переводил» кантианство на неокантианский язык Леона Брюнсвика. Кант легко вписывался во внеисторичный универсализм французской мысли, по крайней мере той, которая заявляла о себе в Сорбонне.

Мое чтение, не слишком продуманное, тяготело к двум полюсам; с одной стороны, Гуссерль и Хайдеггер, с другой — социологи, неокантианская школа юго-запада Германии, Г. Риккерт, Макс Вебер. Те и другие вызывали во мне чувство необычайного богатства, рядом с которым французские авторы сразу показались посредственными, почти бедными смыслом. По прошествии полувека я сужу об этом гораздо более сдержанно. Концептуальное богатство языка и немецкой философской традиции легко создает иллюзию. *Sinnhafte Zusammenhänge* несколько теряют свое очарование, становясь «комплексами значений» или «пересечениями смыслов»; в то время Карл Мангейм внушал мне восхищение, которое сейчас меня самого удивляет. Несколько лет тому назад я посвятил одно из занятий семинара его «Идеологии и утопии» и перечитал по этому случаю книгу: я не смог понять, почему она снискала некогда такую славу. Но вернемся в давнее прошлое.

Симона де Бовуар рассказала о том, как я заговорил однажды с Сартром о Гуссерле и возбудил в нем лихорадочное любопытство. Я сам, изучая феноменологию, испытал некое освобождение от своего неокантианского воспитания. В ту пору я уже, так сказать, подавил свои метафизические влечения; трансцендентальная феноменология, или *epokhé,* на меня произвела меньшее впечатление, чем метод, я почти готов сказать «взгляд» феноменолога. Я размышлял об Истории и имманентности значений человеческой действительности — действительности, поддающейся расшифровке. Мне показалось, что Дильтею недостало философии, подобной философии Гуссерля, чтобы прояснить свои интуитивные прозрения. Уразумение значений в современной мне истории привело — или вернуло — меня к Максу Веберу, величие которого я начал понимать; и в то же время нас с ним связало избирательное сродство, *Wahlverwandschaft.*

Почему мое знакомство с немцами, в частности с Максом Вебером, побудило меня заинтересоваться социологией, тогда как Эмиль Дюркгейм [69] оттолкнул? Чтобы ответить на этот вопрос, мне нужно, повторяя выражение, которое я уже употребил в другом месте, отправиться на поиски своего прошлого — почти столь же чужого для меня, столь же объективированного, как прошлое другого человека.

В Сорбонне в 1924–1928 годах социологию преподавали Поль Фоконне и Селестен Бугле, один — правоверный ученик Дюркгейма, другой — тоже его ученик, но «вольнодумец», менее «социологичный»; ни тот, ни другой не пробуждали в студентах призвания. Ни у того, ни у другого профессора не было ассистентов. Студенты Эколь Нормаль, полные чувства собственного превосходства, не посещали лекций в Сорбонне. Мне же приходилось время от времени ходить на лекции С. Бугле, ибо, как я уже говорил, мне предстояло сделать доклад об историческом материализме.

Разумеется, я прочел великие книги Дюркгейма и его учеников, но они не высекли искру из моей души. В студенческие годы меня приводил в восторг то Кант (на худой конец Декарт), то Пруст (или, может быть, Достоевский — но не уверен). В одном случае я избавлялся от себя самого, от своих сомнений, от чужого мнения, полностью совпадал со своим разумом или интеллектом. В другом случае, читая «В поисках утраченного времени» («A la recherche du temps perolu»), я снова открывал сложность жизни, рабство, в котором нас держит чужое мнение, неизбежность разочарований. Я сохранил культ Пруста, хотя не перечитывал его роман много лет. Кант или Пруст, трансцендентальная дедукция или салон госпожи Вердюрен, категорический императив или Шарлюс, сверхчувственное или Альбертина. Ни «Общественное разделение труда» («La Division du Travail»), ни «Самоубийство» («Le Suicide»), ни «Элементарные формы религиозной жизни» («Les Formes élémentaires de la vie religieuse») не трогали мое сердце. Всего лишь предметы изучения, о которых я рассуждал в случае необходимости. Хороший агреже философии в мое время рассуждал о чем угодно.

Боюсь, что опять упрощаю. Кроме Канта и Пруста, была еще политика. Я почти никогда не говорил о ней с Сартром, Низаном, Лагашем или даже Кангилемом, немного чаще с менее близкими приятелями, скорее с друзьями Робера, с которыми иногда виделся, чем со своими. Политика пробуждала во мне пылкие чувства; еще долго после моего германского опыта меня захватывали страсти толпы в публичных собраниях. Вспоминаю об одном митинге в начале правления Левого блока в 1924 году: сначала говорит Ж. Поль-Бонкур — овации. За ним вступает Э. Эррио: «Он смолк, но все еще слушают» — новые овации. Признаюсь, к своему стыду, что уже много позже меня ослепило красноречие Марселя Деа, совсем не похожее на манеру Поль-Бонкура или Эдуара Эррио, более аргументированное, менее эмоциональное, при том что его речь лилась необыкновенно легко[41]. Однако увлечение политикой в моих глазах было

равнозначно слабости, склонности Аронов к легким решениям.

Социология Дюркгейма не затрагивала во мне ни метафизика, каковым я желал быть, ни читателя Пруста, стремящегося осознать комедию и трагедию людей в обществе. Формула Дюркгейма «Бог или общество» коробила или возмущала меня. Объяснение самоубийств статистическими соотношениями оставляло меня неудовлетворенным. Нравственное воспитание, которое исходит из потребностей общества, казалось мне возражением католическому воспитанию, и возражением неубедительным по той простой причине, что общество не представляет собой сегодня связного целого.

В настоящее время к неодюркгеймизму примешивается некий марксизм: на место общества в качестве высшей инстанции ставится господствующая идеология. Такого рода социология подсказывает интерпретацию коллективной жизни, в некоторых отношениях близкую дюркгеймовской. Дюркгейм предполагал общество настолько единое, что одни и те же ценности могли иметь значение для всех классов. Те, кто употребляет понятие «господствующая идеология», описывают классовое общество; они подчеркивают всесилие господствующей идеологии и тем самым принижают авторитет морали, приписывая его привилегированным или стоящим у власти слоям. Дюркгейм, напротив, надеялся вернуть морали утраченное ею влияние на умы. Разоблачение господствующей идеологии точно так же заставляет меня призадуматься, как и обожествление общества. Одна и та же теория не годится для тоталитарных и либеральных режимов.

Почему Макс Вебер в отличие от Эмиля Дюркгейма пробудил во мне интерес, порой доходивший до страсти? В 1931 или 1932 году я был более готов к восприятию нового, чем между 1924-м и 1928-м. Тогда я был студентом, я еще не ушел в свободное плавание от семьи, французского пространства и университетских банальностей. Макс Вебер также объективировал действительность, которую переживают люди в обществе, объективировал людей, но не «овеществлял» их, не игнорировал ради верности методу рациональность, которую люди придают своей деятельности и своим учреждениям (Дюркгейму на самом деле лучше известны побудительные мотивы действующих лиц, чем можно предположить из его методологии). Что меня покоряло у Макса Вебера, так это его в*и*дение всемирной истории, освещение оригинальности современной науки и размышления об историческом и политическом бытии человека.

Его исследования, посвященные великим религиям, захватили меня; понятая таким образом социология сохраняла

лучшее из своего философского происхождения. Она ставит себе задачу воссоздать смыслы, которыми люди наделяли свое существование, и институты, благодаря которым сохранились, перешли к новым поколениям и воплотились в ритуалах религиозные послания, прежде чем их потрясли, обновили и внесли в них свежую струю пророки. Возможно, социология религий Макса Вебера не противостоит Дюркгеймовой в такой степени, как мне представлялось полвека тому назад. Но, читая Макса Вебера, я слышал гул и ощущал подземные толчки нашей цивилизации, различал голоса иудейских пророков и их комическое эхо — завывания фюрера. Либо бюрократия, либо харизматический авторитет демагога — эта альтернатива повторяется из века в век. В 1932–1933 годах я впервые нашел в размышлениях социолога, который был также и философом, свои собственные сомнения и надежды.

Дюркгейм не помог мне философствовать в свете социологии. Гражданская миссия, которую он взял на себя, — противопоставить светскую мораль пришедшей в упадок морали католической — оставляла меня равнодушным, чтобы не сказать больше. Человек дисциплины, строгой нравственности, кантианец в жизни и в книгах, Дюркгейм, несомненно, вызывает уважение. Возможно, он был прав, полагая, что революции не приводят к глубокому изменению общества и скорее производят много шума, чем приносят благо. В 30-х годах меня волновали марксизм и Советский Союз; национал-социализм угрожал Франции и еврейству во всем мире. Социология, безразличная к трагизму революций, парила в облаках над нашей действительностью. Макс Вебер не игнорировал ни общественные системы, ни фатальные и непоправимые решения, которые принимают люди, олицетворяющие судьбу. Его философское сознание помогло объединить значение длительности и значение мгновения, социолога и человека действия. Благодаря ему мой замысел, смутно забрезживший на берегах Рейна, облекался в плоть.

К двум причинам моей привязанности к Максу Веберу, какими являются признание им имманентности смысла общественной реальности и близость его к политической сфере, нужно прибавить третью: стремление разработать эпистемологию для социальных и гуманитарных наук. Вебер тоже вышел из неокантианства. Он искал универсальную истину, иначе говоря, знание, пригодное для всех людей, ищущих такую истину. Одновременно он остро сознавал двусмысленность человеческой действительности, множественность вопросов, которые историк вправе задать другим людям — современникам или предшественникам. Эта множественность вопросов объясняет

постоянное обновление исторических толкований; Макс Вебер пытается ограничить ее. Отсюда двойственность *Sinnadäquation* и *Causaladäquation* (смысловой и причинной адекватности): недостаточно, чтобы какое-либо смысловое отношение удовлетворяло ум, нужно еще доказать его истинность. Из всех мотивов, побудивших немцев (каких именно немцев?) голосовать за национал-социализм, какие стали определяющими? Какими причинами порождены эти мотивы? Из этого колебания между множественностью вероятных толкований и стремлением к правдивому объяснению — колебания, которое, как я угадывал, находилось в самой сердцевине Веберовой мысли, — родился мой собственный труд, заключенный в двух диссертациях.

Так я объясняю самому себе мою аллергию к социологии Дюркгейма и мое восхищение при открытии немецкой социологии на фоне смуты, переживаемой немецким народом, и подъема нацизма. Какой же несвоевременной казалась мне социология, обосновывавшая гражданское образование в педагогических институтах, перед лицом катастрофы, зреющей в немецких пивных или во Дворце спорта! Какая трагическая ирония — признанная самим Марселем Моссом, — в том, что Дюркгеймова мысль о зарождении религиозной веры в коллективном трансе и при пылающих факелах воплотилась в Нюрнберге[42] и что многие тысячи молодых немцев пришли к обожествлению своего сообщества и своего фюрера!

Макс Вебер создал понятие харизматического вождя и, ради ценностной нейтральности, употреблял его как по отношению к иудейским пророкам, так и по отношению к американским демагогам вроде Хью Лонга. Отказался ли бы он причислить Гитлера к той же категории, что и Будду? Протестовал ли бы я тогда против нежелания дифференцировать ценности или личности? Не уверен. Мое временное восхищение Карлом Мангеймом увлекло меня к некой разновидности социологизма. После того как я, вслед за Леоном Брюнсвиком, смешивал мыслящего субъекта с трансцендентальным «я», мне не терпелось интерпретировать мысли того или иного человека исходя из социальных условий его жизни. Чтобы окончательно освободиться от Леона Брюнсвика, я написал статью страниц в сто, которую ему показал; там упоминались и еврейское происхождение, и французская среда, и буржуазный образ жизни. Он предоставил мне самому решать, публиковать или нет мою работу, составленную из изложения его мысли, которое он одобрил, и критики, которую он нашел отчасти слабой, отчасти обидной. Я не отдал текст в печать, а во время войны он пропал. В Лондоне, во Французском институте, я произнес речь на другой

день после смерти Леона Брюнсвика, в которой воздал ему должное. Она была напечатана в «Ревю де Метафизик э де Мораль».

Я не посещал ни лекций, ни семинаров в Берлинском университете. Через своего приятеля Герберта Розински, который первым говорил со мной о Клаузевице, я познакомился с философски мыслящим экономистом — Готт-Оттлилиенфельдом, чей огромный двухтомный труд «Wirtschaft und Wissenschaft»[43] я мужественно прочитал, но не много извлек оттуда для себя.

Я часто спрашивал себя в течение 1931–1932 годов, не распыляюсь ли я, но, когда вернулся во Францию, вдруг почувствовал, что много узнал.

Я присутствовал при агонии Веймарской республики. В Кёльне я жил в немецкой бюргерской семье, сдававшей мне комнату. Смутно припоминаю отца семейства, который охотно говорил о том, как Германию в конце концов победила всемирная коалиция; его жена была знакома с *so anständig* (такими приличными) еврейскими семьями. Во время второго моего пребывания, после первого неудачного выбора (хозяин имел обыкновение возвращаться ночью, слегка навеселе, о чем меня предупредила его жена), я нашел две удобные комнаты; обедал отдельно от хозяев. Приятельские отношения я завязал не с ними, а со студентами и другими ассистентами.

В Кёльне я познакомился с очень славным, обаятельным юношей, студентом Руди Шрёдером. Его отец торговал непромокаемыми плащами и зонтами. Во время моего пребывания нас связала нежная дружба. Руди ненавидел национал-социализм. Двумя годами позже он перебрался в Париж, где трудно жил до самого объявления войны. Завербовался в Иностранный легион; после войны я узнал от его жены, с которой он уже давно расстался, что Руди перешел во Вьетнаме в лагерь Хо Ши Мина. Однажды я прочел в «Фигаро» («Figaro») статью за подписью Доминик Оклер, озаглавленную «Полковник СС Руди Шрёдер» (конец заголовка я забыл). Руди стал близким другом и фаворитом Хо Ши Мина. Я попытался связаться с ним письмом, которого он, видимо, так и не получил. В 1946 году его родители спрашивали у меня, что мне о нем известно; около 1960 года я слышал от немцев, что он преподает в Лейпцигском университете. Если он еще живет в Восточной Германии, я бы хотел увидеться с ним. Сомневаюсь, что жизнь превратила его в правоверного коммуниста. То, что он дезертировал из Иностранного легиона и распростился с французским порядком в Сайгоне или Ханое, меня не удивляет; и

во имя чего стал бы я его осуждать? Я достаточно наивен, чтобы верить, что мы могли бы снова встретиться как друзья.

В Кёльне я делил свое время между лекциями и их подготовкой, чтением «Капитала», беседами со студентами, посещением теннисного клуба (где занимал второе или третье место) и богатым музеем живописи рейнской школы, так что мне оставалось мало досуга, чтобы наблюдать безработных и нищету. В Берлине я проводил значительную часть времени в *Staatsbibliothek*[44]. Тем не менее я близко познакомился с веймарской культурой последних двух лет перед катастрофой. В том, что касается мысли, я узнал самое существенное. С одной стороны, Гуссерль и Хайдеггер, с другой — последние из могикан II Интернационала, Франкфуртская школа, К. Мангейм представляли два полюса философско-политического размышления. После 1945 года французская мысль продолжила традицию феноменологии, *Existenzphilosophie* и гегельянизированного марксизма, господствовавших в немецкой философии 30-х годов. Книга Д. Лукача «Geschichte und Klassenbewusstsein» («История и классовое сознание») 1923 года издания, основополагающая для марксистов в поисках Гегеля, была заново открыта в 50-е годы Морисом Мерло-Понти, который присвоил ей любопытное определение «западного марксизма».

Мы присутствовали также при последних вспышках кинематографического и театрального искусства той эпохи. Я давал уроки французского языка знаменитому театральному режиссеру Рейнхардту. Нас восхитила «Die Dreigroschen Oper»[45], взволновала «Die Mädchen in Uniform»[46]. *Kultur Bolchevismus* еще цвел пышным цветом, и, помимо замков и музеев классической живописи, нашей любознательности предлагались творения Клее и Кокошки. Атмосфера конца века? Угроза смерти витала над этой республикой без республиканцев, над левой, марксиствующей интеллигенцией, которая слишком ненавидела капитализм и недостаточно боялась нацизма, чтобы встать на защиту веймарского режима. Несколькими годами позже знак смерти пометил и Францию.

Мы очень часто собирались по вечерам во *Französisches Akademiker Haus; я* познакомился там с Паскалем Копо, Жаном Арно, который сделал карьеру в качестве атташе, а затем советника по культуре в различных посольствах, Пьером Бертраном, которого я снова встретил в 1943 году в Лондоне, где он и остался до своего выхода на пенсию, Андре Мартине, чьим редким даром к усвоению иностранного языка я восхищался, Жаном Лере, выдающимся математиком, Роже Эро, одним из лучших германистов своего поколения, Ш. Саломоном, связанным

узами дружбы с семьей Ланжевенов.

Разумеется, все мы были антинацистами и в вечер выборов молча слушали цифры. Мы посещали большие публичные собрания; я не раз слушал Геббельса, Гитлера. Для моих учеников, для многих моих друзей мои воспоминания стали уже частью исторического прошлого. Могу ли я рассказать им больше, чем повествуют кадры старой хроники? Кто были эти немцы, собиравшиеся во Дворце спорта и устраивавшие овации фюреру? По внешнему виду это были люди из всех классов. Многие из них, судя по одежде и по лицу, принадлежали к состоятельной буржуазии, иногда даже к интеллигентской среде. Они одобрительно кивали головой при выпадах Гитлера против евреев, французов или капиталистов. Однажды я был на таком собрании вместе с исключительно одаренным студентом по фамилии Шюле, чрезвычайно враждебно настроенным против Гитлера. Он отказался встать, когда знаменосцы пересекали зал, чтобы сгруппироваться у подножия трибуны. Вокруг него раздавались брань и приказания встать; Шюле не двинулся с места, никто его не ударил. В 1941 году он находился в Москве в качестве атташе при посольстве Рейха в Советском Союзе. Он был убит на Восточном фронте. Один дипломат рассказал мне, что Шюле не утратил своего обыкновения говорить откровенно, что думал. Около 1958 или 1959 года немецкий студент подошел ко мне после моей лекции в Сорбонне: это был сын Шюле. Его мать сохранила мои письма. Я тоже случайно обнаружил его письма, относящиеся к периоду после 1933 года. Таким образом, Шюле служил Рейху, как миллионы других, приговоренных к участи, которой они не заслужили.

Я регулярно посещал *Гумбольдт Хаус,* место встречи студентов. Именно там я в первый и последний раз играл в комедии. Мы поставили один акт из «Кнока» («Knock»); [70] я играл заглавную роль и получил от этого величайшее удовольствие. Театр принадлежит к тем моим мечтам, которые я никогда не принимал всерьез. В Институте Гумбольдта я познакомился с Гербертом Розински; там я дискутировал со студентами всех национальностей.

Январь 1933 года не изменил течение жизни пансионеров *Französisches Akademiker Haus.* Проявления антисемитизма ни разу не затронули меня лично. Мои белокурые волосы и голубые глаза не соответствовали представлению нацистов о еврее. Моего друга корсиканца Сузини, брюнета средиземноморского типа, порой оскорбляли на улице, меня — никогда. Зато однажды женщина в поезде призналась мне, что мы с ней в одном лагере: ей не нравится гитлеровский лозунг *Kirche, Küche, Kinder* (церковь,

кухня, дети), а я — еврей. Самым поразительным для меня в первые недели существования режима был почти невидимый глазу характер великих событий истории. Миллионы берлинцев не заметили ничего нового. Единственный знак или символ: не прошло и трех дней, как нацистская униформа кишела на улицах столицы. В общежитии я без удивления наблюдал за тем, как форму надели мои товарищи, ранее проявлявшие сдержанность. Многие из этих студентов примкнули к движению с первой же недели. Один из них, всегда бывший в стороне от национал-социалистической партии и настроенный скорее враждебно до ее прихода к власти, решился *mitmachen* (участвовать). «Вы, — говорил он мне, — всегда будете зрителем, и зрителем критическим, вы не найдете в себе храбрости ввязаться в действие, влиться в поток, несущий народные толпы и историю». Он был прав, но необходимо было говорить «нет» Гитлеру и Сталину. Моя натура спасла меня от писаний или поступков, которым запятнали себя некоторые люди моего поколения, зачарованные историей или попавшие в ее ловушку.

Меня поразило также быстрое распространение страха, хотя в тюрьмы и концентрационные лагеря еще не бросали сотни тысяч противников или подозрительных. Конечно, новые хозяева совершали жестокости и в течение первых шести месяцев режима. Концлагеря ознаменовали собой начало Тысячелетней империи; в них содержалось не более шестидесяти или семидесяти тысяч коммунистов, либералов, евреев и уголовников — достаточно для того, чтобы создать атмосферу террора. В политических кругах бывшей республики и, само собой разумеется, среди евреев, но также и в народной массе разлилось чувство вездесущей смертельной опасности, угрозы ареста. Мы уже дышали другим воздухом. Весной 1933 года мои друзья, евреи или либералы, говорили, глядя, как солнце освещает террасы кафе на Курфюрстендамм: «Den Frühling werden sie uns nicht nehmen» («Весну они у нас не отнимут»).

Мой друг Манес Спербер, еще входивший тогда в коммунистическую партию, вопреки всему ожидал, как он пишет в своих «Воспоминаниях», что рабочие партии и немецкий пролетариат, вчерашняя гордость II Интернационала, окажут сопротивление. Среди нас, в нашей маленькой французской колонии, в посольских кругах, никто не мог вообразить народного бунта. Первого мая, через три месяца после того, как Гитлер стал канцлером, рабочие и служащие прошли колоннами под знаменами со свастикой; это были те же самые люди, которые несколькими месяцами раньше шли под красными флагами, с серпом и молотом или без них, с тремя стрелами Стального

фронта (Чакотин в «Изнасиловании толп» рассказывал о некоторых его успехах) или без них. Почему произошел крах немецкого пролетариата? Куда исчезли миллионы избирателей, которые до последнего момента голосовали за социал-демократов или коммунистов?

Задним числом ответы напрашиваются сами собой: коммунисты, по приказу Сталина, боролись с «социал-предателями» еще более упорно, чем с нацистами; каким образом этим двум потокам марксистского движения удалось бы объединиться в условиях подполья и выступить с оружием, когда они не сумели этого сделать раньше, чтобы помешать победе человека, уготовившего и тем и другим одни и те же концлагеря? Утрата активности масс, сознающих свое бессилие, чувство судьбы, неодолимого морского вала: время сопротивления прошло. Помимо этих бесспорных классических аргументов, существовало очевидное обстоятельство: ни руководители, ни рядовые члены социалистической и коммунистической партий не думали о вооруженном бунте против полиции и рейхсвера. Не думали потому, что не располагали средствами для этого, то есть оружием, но также и потому, что социалистические, а может быть и коммунистические, избиратели как добропорядочные граждане, уважающие власть, подчинились новому порядку. Вероятно, некоторые из них ожидали провала нацистского эксперимента, чтобы начать действовать. Факт остается фактом, и он поражал нас: немецкий народ принял победу нацистов, хотя большинство избирателей никогда не высказывалось за Гитлера до пожара рейхстага и запрещения коммунистической партии.

Сегодня многие немцы, особенно молодые, не понимают и тем более не прощают эту коллективную капитуляцию. Тогда, после 31 января, а еще больше после пожара рейхстага, я испытал чувство неизбежности, фатального хода истории, в ближайшей перспективе неодолимого. Разумеется, обилие коричневых униформ, скрытый терроризм, разжигание ненависти против еврейской общины, высокомерие победителей были мне отвратительны; увиденная вблизи, революция редко учит добродетели; здесь к тому же был Гитлер, сатанизм которого я предчувствовал. Многие немцы питали иллюзии. Для правящих классов, как юнкеров, так и руководителей экономики, капрал минувшей войны представлялся всего лишь орудием или временным выходом. Но состояние умов огромной массы немцев выражалось формулой: *besser ein schreckliches Ende als Schrecken ohne Ende* (лучше ужасный конец, чем ужас без конца).

Правомерно ли сказать, что в 1933 году немецкий народ в некотором роде ратифицировал антисемитизм? Я сомневаюсь,

что на него так уж сильно подействовали проклятия в адрес евреев и что он воспринимал буквально оскорбительную декламацию нацистских ораторов. Я слышал из уст умных людей доводы, которые тогда не казались абсурдными. «Он не бросит вызов мировому еврейству… Он навлек бы на Третий рейх гнев Соединенных Штатов… Он не отправит в изгнание химиков и физиков-евреев, без которых империя Вильгельма не протянула бы четырех лет в условиях блокады со стороны Антанты». Эти аргументы представляются нам задним числом ребяческими, но тогда никто не мог их категорически опровергнуть. В том, что антисемитизм — нечто большее, чем оружие пропаганды, чем предвыборная идеология, должны были убедиться все наблюдатели. Но никто, думается мне, не заподозрил сразу же радикальности антисемитизма, выразившейся начиная с 1942 года в «окончательном решении». Да и как можно поверить в невероятное!

За годы, проведенные в Германии, я познакомился с писателями, сблизился с «Нувель ревю франсез», с Левым берегом Сены [71]. Статьи, опубликованные в «Эроп», стали поводом для встречи с Жаном Геенно, близким другом моих друзей Дювалей. В Кёльн Лео Шпицер приглашал в качестве лекторов Жоржа Дюамеля, Андре Шамсона, Андре Мальро. Первый пленил публику и даже крупную городскую газету, заявив, скорее серьезно, чем с юмором, что трагичнее для языка потерять одно из глагольных наклонений, чем для страны — провинцию. Лекция Андре Мальро, тему которой я не могу в точности вспомнить (она была связана с культурами и их судьбой), произвела на публику сильное впечатление. Когда я сказал ему, что, быть может, его слова не дошли до сознания слушателей, он ответил — и был прав, — что аудитория следила за ним до самого конца. И в самом деле, Мальро захватил ее, покорил, околдовал. В последней фразе ветер проносился над пустынями, где, занесенные песком, хранились священные изваяния мертвых богов.

Андре сопровождала Клара; ей нравилось провоцировать собеседников. В самом начале беседы она сказала Лео Шпицеру: *«Er hat sich eine kleine Jüdin geheiratet»*. Без притяжательного местоимения *sich* фраза означала бы просто-напросто: «Он женился на маленькой еврейке». С *sich* она стала вульгарной, приобретя другой смысловой оттенок: «Он позволил себе маленькую еврейку в качестве жены». Лео Шпицер передал мне эту фразу, которая его скорее удивила, чем шокировала. Из этих слов Клары следует, что в то время она с некоторой долей иронии

отступала на задний план, уступая первенство Андре, отчего ее ум и очарование становились только заметнее.

Но еще больше, чем на лекциях в Кёльне, мне посчастливилось познакомиться с верхним слоем интеллигенции той эпохи на декадах в Понтиньи. Поль Дежарден пригласил меня на декаду 1928 года, сразу после того, как я стал агреже. Я сделал там сообщение о Прусте, которое удостоилось одобрения Анны Эргон. Я полюбил эти декады; дискуссии не были лишены интереса, да и занимали всего несколько часов в день. Вокруг них расцветала общественная жизнь, состоявшая из бесконечных разговоров, в которых не обходилось без сплетен: в самом деле, полсотни интеллектуалов, более или менее значительных, пребывали, можно сказать, взаперти; естественно, они наблюдали, хвалили и критиковали друг друга, подобно придворным монарха, — с той разницей, что здесь никто не занимал трона. Поль Дежарден, даже в последние годы жизни, находился в центре общества. Все остальные не уставали поражаться искусству, которое он вносил в отношения с людьми и с самим собой и в котором искренность была неотделима от игры.

Если бы не Понтиньи, то как я смог бы провести десять дней с Андре Мальро и завязать с ним долгую, сердечную дружбу? Роже Мартен дю Гар неизменно посещал декады, никогда не участвуя в дискуссиях («Какие „они“ все умные…»). Зато его великодушие и простота покоряли как не очень юных выпускниц Севра [72], так и молодых, беспокойных и честолюбивых агреже. У меня сохранилось также яркое воспоминание об Артюре Фонтене, крупном чиновнике, друге Альбера Том*а* и Поля Дежардена, государственных деятелей и поэтов. Положение рабочих интересовало его не меньше, чем сводный счет доходов и расходов предприятия. Диалог между ним и Андре Филипом, кажется в 1928 году, запечатлелся в моей памяти — не в подробностях, но по существу: Артюр Фонтен сравнивал завод эпохи своей молодости и современный.

В дни блестящей декады 1932 года я встретился с Сюзанной Гошон, ставшей моей подругой жизни. Единственным, что связывало ее с этой обителью интеллектуалов, были ее занятия в лицее Виктор-Дюрюи. Ее отец, сын крестьянина, державшего между делом деревенскую гостиницу, получил образование, хотя довольно бессистемное. Поступив во флот в качестве механика с офицерским званием, он оставил его с окончанием войны и занял довольно заметный пост в промышленной компании (принадлежавшей к группе «Эр Ликид» («Air Liquide»)). В лицее Сюзанна дружила с Кристианой Мартен дю Гар и с Эди Копо,

которую нежно любила и которая, став монахиней, живет на Мадагаскаре. Роже Мартен дю Гар выказывал однокашнице своей дочери дружескую привязанность, которая не ослабла с годами. Он согласился быть свидетелем на нашей свадьбе в сентябре 1933 года.

Сюзанна была также очень дружна с Симоной Вейль; три последних года в лицее они учились в одном классе. Я едва решаюсь что-либо написать о Симоне Вейль, настолько эта исключительная женщина стала предметом культа; любое замечание, не внушенное восхищением — а восхищения она, безусловно, заслуживает, — рискует показаться неуместным и иконоборческим. Впервые я встретил Симону на улице Ульм, видимо, в 1928 году, когда участвовал в конкурсе на звание агреже, а она держала вступительные экзамены в Эколь Нормаль. Если мы и обменялись несколькими фразами, то это был обычный студенческий разговор. Не помню, чтобы у нас с ней завязались какие-либо личные отношения вплоть до момента, когда Сюзанна объявила ей, что мы собираемся пожениться. Симона приняла эту новость без восторга; не зная меня, она тем не менее поместила меня в категорию людей, которую отвергала: первый на конкурсе агреже, наверняка склонный к светским и легким путям в мышлении. Такой образ сложился у нее на основе мимолетных впечатлений. Она обещала Сюзанне отказаться от своего предубеждения, раз ее подруга выбрала меня.

Рождению нашей дочери Доминики она обрадовалась, как будто это был ее собственный ребенок. Мы много раз встречались; Симона и Сюзанна остались верны дружбе юных лет. Мне чрезвычайно понравилась в свое время ее большая статья о положении рабочих и другая — о римском империализме, хотя историки находят в ней поводы для критики. И все же интеллектуальное общение с Симоной показалось мне почти невозможным. По всей видимости, ей было неведомо сомнение, и если ее взгляды порой менялись, они оставались все такими же категоричными. Она одобрила Мюнхенское соглашение [73], и не потому, что оно было продиктовано соотношением сил, а потому, что сопротивление германской гегемонии в Европе не стоило, считала она, того, чтобы пожертвовать целым поколением. После вступления немецких войск в Прагу Симона заняла другую позицию, столь же твердую: поскольку нацисты не довольствовались гегемонией традиционного типа в Европе, а склонялись к колонизации, подобной той, что европейцы практиковали в Африке, сопротивление становилось необходимым, невзирая на цену, которую придется заплатить. Возможно, она была права и в 1938, и в 1939 году, но тут было о

чем поспорить. Разве нельзя было предвидеть уже в 1938 году тех гитлеровцев, какими они открылись ей в 1939-м?

В то время она таила от всех свою религиозную жизнь, свою веру. Лично у меня однажды, в Люксембургском саду, возникло предчувствие ее призвания. Мы то ли гуляли с Сюзанной вдвоем, то ли прогуливали Доминику; светило великолепное солнце. Сад был так прекрасен, что все, казалось, дышало счастьем. К нам подошла Симона с потрясенным лицом, почти со слезами. На наш вопрос она ответила: «В Шанхае[47] забастовка, войска стреляли в рабочих». Я сказал Сюзанне, что Симона, вероятно, стремится к святости; брать на себя все страдания мира имеет смысл только для верующего, даже точнее — для христианина.

Я снова увиделся с ней в Лондоне, когда она приехала туда в 1943 году. Впервые наша беседа, на этот раз настоящая, продлилась два часа. Симона показалась мне мало изменившейся; говорили мы о войне, об оккупации, о Лондоне, о привилегированном положении французов за границей. Некоторые идеи «Укоренения» («L'Enracinement») 74 просвечивали в ее словах.

Вернемся в 1933 год. Сюзанна приехала ко мне в Берлин в июле 1932-го, и мы не спеша вернулись во Францию — посетив по дороге Бамберг, Вюрцбург. Гиды объясняли нам красоты памятников, рассказывали о прошлом, часто поглядывая на Сюзанну, которая смотрела на них и не понимала ни слова по-немецки. Один гид, которому я сказал об этом, заметил: *«Schöne Mädchen gibt es überall»* («Красивые девушки есть везде»).

На взгляд человека, находившегося в Германии, Франция до июля 1932 года казалась способной влиять на события. Начиная с февраля 1934-го 75 ситуация радикально изменилась. В Германии правительство было, бесспорно, отвратительное, но стабильное и сильное. Для Франции же с запозданием наступила очередь войти в инфернальный цикл: экономический кризис, обострение социальных конфликтов, усиление революционных партий, как правых, так и левых, размывание умеренных партий, паралич власти. 6 февраля вернулся из изгнания бывший президент Республики 76, спаситель, в котором время от времени нуждалась парламентская республика, чтобы справиться с трудностями, возникавшими по вине ее внутренних разногласий.

Что касается меня, то я завершил этап в своем политическом воспитании — воспитании, которое продлится столько же, сколько сама моя жизнь. Я понял и принял политику как она есть, не сводимую к морали; отныне я никогда уже не стану ни на словах, ни подписью под воззваниями стараться доказать свои добрые чувства. Размышлять над политикой — значит

размышлять над действующими лицами, следовательно, анализировать их решения, цели, средства, которыми они располагают, их духовный мир. Национал-социализм показал мне могущество иррациональных сил, Макс Вебер — ответственность каждого человека не столько за его намерения, сколько за последствия сделанного им выбора.

Я мечтал участвовать во франко-германском примирении. Время для него прошло, но оно еще вернется. Пока что Франции необходимо было держать порох сухим, чтобы сдержать потенциального агрессора. Французский еврей, предупреждавший соотечественников о гитлеровской опасности, не мог избегнуть подозрения. О чьем благе он думает — своих единоверцев или своей родины? С 1933 по 1939 год Третий рейх, наш ближайший сосед, сильнейшим образом влиял на атмосферу в нашей стране. Усиливался поток беженцев. И именно в это время я наконец отринул свои сомнения, избавился от страха перед белым листом бумаги. Шесть лет, с августа 1933 по август 1939 года, прожитые в тени ожидаемой и пугающей войны, были, пожалуй, самыми плодотворными в моей жизни. Годы человеческого счастья и отчаяния гражданина.

IV
В СЕРДЦЕ ЛАТИНСКОГО КВАРТАЛА

До моего первого путешествия в Германию я жил в послевоенной эпохе. Между 14 сентября 1930 года, датой первого успеха национал-социалистической партии на выборах в парламент, и 30 января 1933 года я медленно перешел от бунта против прошлого к предчувствию будущего. Из послевоенной эпохи я попал в предвоенную. В сущности, я вдохновлялся теми же ценностями, но отныне речь шла не только о левых взглядах или об антифашизме, но о Франции и ее спасении.

В октябре 1933 года, когда мы обосновались в Гавре, переворот в моем сознании почти совершился. Патриотизм моего детства, моей семьи, всех моих предков брал верх над пацифизмом и смутным социализмом, к которым меня склоняли философия и послевоенная атмосфера. Я по-прежнему хотел быть «левым», опасался компромисса с правыми, чтобы не оказаться игрушкой в руках оппозиции. Эта робость происходила от еще сохранявшегося во мне сопротивления — скорее социального, чем интеллектуального, — логике политики. Позже, гораздо позже, я часто отвечал тем, кто попрекал меня моими сомнительными попутчиками: мы выбираем наших противников, но не наших союзников. Впрочем, я довольно быстро освободился от суеверия, которое Сартр защищал до своего последнего часа: «Правые — это негодяи», или, выражаясь более академическим языком, от суеверия, согласно которому партии различаются между собой нравственными или человеческими качествами своих рядовых членов и вождей. Возможно, в левые партии вступает больше идеалистов (в расхожем смысле слова). Но когда революционеры переходят на другую сторону баррикады, долго ли они сохраняют свое нравственное превосходство? Добродетельные люди есть в каждом лагере; много ли их в том и в другом?

Гавр, который Жан-Поль Сартр описывает в «Тошноте» («La Nausée») и который я, в свою очередь, открыл для себя, жестоко страдал от кризиса. Протестантская буржуазия, заправлявшая на хлопковой и кофейной биржах, занимала первенствующее положение в городе; ее прозвали «косогором», потому что она построила себе виллы на возвышенности. Городская социальная иерархия проникала даже в лицей, в кабинет директора. И учителя, и администрация были хорошо осведомлены о семье каждого ученика. Я был принят в теннисный клуб как ровня этих «господ с биржи» не потому, что преподавал философию в лицее,

а потому, что принадлежал к элите игроков. В этой среде место во второй национальной лиге ценилось выше университетского диплома.

Вдобавок меня поразила бесчеловечность собственно преподавательской иерархии. Не все преподаватели лицея имели звание агреже, и некоторые страдали из-за своего пожизненно низшего статуса в сравнении с теми, кто преодолел последнее препятствие — конкурс. Коллега, у которого мы бывали дома, преподаватель истории, дважды допускавшийся к конкурсу, ежегодно переживал унижение, не участвуя в комиссии по приему экзаменов на степень бакалавра. Мы отправлялись в Канн без него. До приезда в Гавр я не испытывал никаких особенных чувств по поводу своего звания агреже; я сохранил приятное воспоминание о годе подготовки, о внимательном чтении почти всех сочинений Жан-Жака Руссо и Огюста Конта. В Гавре я стал сочувствовать «исключенным из сообщества», тем, кто по той или иной причине никогда не станет агреже, хотя не меньше, чем другие, заслуживает звания и даваемых им преимуществ. Почти тридцатью годами позже эти гаврские воспоминания отчасти подтолкнули меня к написанию статей в «Фигаро», сделавших меня на какое-то время врагом номер один «Общества агреже». Ныне колесо повернулось; агреже философии рискуют отправиться в «изгнание» в отдаленный коллеж. Неравенство преподавателей из-за успеха или неуспеха в молодые годы на экзаменах и конкурсах остается, но во многих отношениях смягченно. Вердикт, выносимый на конкурсах, не окончателен. Преподавателя могут произвести в звание агреже за профессиональные заслуги или по выслуге лет.

В течение 1933/34 года я работал усиленнее, чем когда-либо раньше или позже, написав большую часть «Современной немецкой социологии» («La Sociologie allemande contemporaine: Essai sur une théorie allemande de l'Histoire») и другой, дополнительной, диссертации, посвященной немецким философам, на тему «Критика исторического разума». Поскольку одновременно я впервые вел курс философии, рассматривающий традиционные проблемы, о которых я не размышлял уже несколько лет, мне пришлось готовиться к занятиям, качество которых оказывалось по меньшей мере разным. Я проглядел дарование Бернара Гиймена, ныне преподавателя философии, автора хороших учебников и в особенности интересной работы «Макиавелли» (докторская диссертация; я был одним из членов аттестационной комиссии). Зато трое одноклассников — Жак-Лоран Бост, Альбер Палль и Жан Пуйон — часто собирались дома у своего преподавателя. Первый из них стал в следующем году

другом Сартра, а еще через несколько лет написал мне оскорбительное послание по поводу статьи о чилийском государственном перевороте. Второй, с которым я поддерживаю дружеские отношения по сей день, стал романистом; одно из его сочинений получило премию Ренодо. Третий, чиновник в Национальном собрании, занялся этнологией под влиянием Леви-Стросса, оставшись, однако, верным последователем Сартра.

Я преподавал в лицее всего год. Мне не было скучно, я даже получал удовольствие от диалогов с учениками. Нужно было читать курс по всей программе; противоречие между исследовательской работой по четко очерченным темам и энциклопедическими знаниями, которых требует или которые предполагает курс, уже тогда мне было в тягость и грозило сделать профессию почти несносной для меня. Сартр мирился с этими трудностями в течение десятка лет, подобно нашим великим предшественникам Анри Бергсону и Леону Брюнсвику; Ален так и не расстался со своими дополнительными классами лицея и смотрел свысока на преподавание в высшей школе. А как поступил бы я сегодня?

Вернувшись в Париж в октябре 1934 года, мы прожили ряд насыщенных лет. Рождение и младенчество нашей дочери Доминики освещало их ярким светом, близкое знакомство с незаурядными людьми обогащало, но годы эти были омрачены упадком французской экономики и политики и навязчивой мыслью о войне, неотвратимость которой мы чувствовали и с которой, вопреки всему, не хотели смириться.

Моя работа в Центре социальной документации Эколь Нормаль оставляла мне свободное время. Селестен Бугле, директор Школы, бретонец по происхождению и радикал-социалист на юго-западный манер по убеждениям, заслужил любовь своих сотрудников и преданность, которую мы, несколько оставшихся в живых, храним ему. Наделенный большим, живым и пылким умом, он слишком расточал свое время и свой талант, чтобы оставить значительное творческое наследие. Его книга о кастах в Индии, которую специалисты ценят и поныне, свидетельствует о способности к анализу, которую он не всегда применял наилучшим образом. Еще в большей степени, чем другим последователям Дюркгейма, ему недоставало экономического образования. Если он не всегда умел провести границу между партийными ссорами и национальными интересами, то его чистосердечие, веселость, доброта, а также мужество обезоруживали враждебно настроенных людей. Его однокашники Эли Алеви и Леон Брюнсвик навсегда сохранили близость с ним. Переписка между Эли, страстным, но сторонним

зрителем, и Селестеном, несколько раз выставлявшим свою кандидатуру на выборах в Законодательное собрание, свидетельствует о человеческих качествах того и другого. В этом поколении дружба чаще всего оставалась сильнее политических разногласий. Случай Юбера Буржена — едва ли не единственный: вначале левый, он, пройдя войну, не только стал консерватором и националистом, но повел ожесточенную полемику против своих бывших друзей. Судьба моего поколения оказалась иной: политические расхождения приводили у нас к разрыву личных отношений. Были ли поколения различны с самого начала, или другими стали вызовы Истории? Возможно, это мой социологический предрассудок, но я склоняюсь ко второму предположению.

Я мало был знаком с С. Бугле, когда благодаря ему был назначен секретарем Центра документации. Центр существовал уже несколько лет; он вобрал в себя личную библиотеку Виктора Консидерана, включавшую значительный фонд книг о французских социалистах начала XIX века. Новые приобретения, книги, полученные в дар самим Бугле, обогатили библиотеку Центра, предоставлявшую студентам Эколь Нормаль неплохой выбор литературы по экономическим и социальным проблемам нашего времени. Центр устраивал, кроме того, конференции (три серии которых нашли отражение в трех небольших выпусках под заголовком «Инвентарии» («Inventaires»)). Не помню точно, в каком году, Робер Маржолен и я прочитали вводный курс по политической экономии, который прослушало до конца меньшинство из тех, кто пришел в первый день.

Зато вечерние лекции почти всегда завоевывали у публики по меньшей мере ободряющий успех. Особенно ярко я вспоминаю свою лекцию о национал-социалистской Германии, которая фигурирует в «Инвентариях» под заглавием «Антипролетарская революция: идеология и действительность национал-социализма» («Une révolution antiproletarienne: idéologie et réalité du national-socialisme»). Я начал свое изложение с личных заметок о гитлеровском антисемитизме и своем еврействе. Госпожа Поре — незаменимый и незабываемый секретарь Школы — рассказала мне, что студенты высоко оценили мою откровенность. С. Бугле счел это введение чересчур длинным и почти бесполезным, если не шокирующим. Антисемитизм не был частью его мира, и то обстоятельство, что французский еврей задает себе вопросы относительно своего статуса, вызывало у него неловкость и раздражение: тема казалась ему чуть ли не непристойной. Что касается меня, то я впервые во Франции, в Эколь Нормаль, упомянул о своем еврейском происхождении. Начиная с 1933

года, а может быть, даже с моей первой встречи с национал-социализмом, я понял, что германский антисемитизм поставит под вопрос существование французских евреев; раз и навсегда я усвоил манеру поведения, которая мне кажется единственно достойной: никогда не скрывать своей принадлежности к еврейству, без подчеркивания, без самоуничижения и без гордыни в качестве сверхкомпенсации.

Текст об антипролетарской революции, опубликованный в 1936-м, через год после конференции, был наконец очищен от пережитков Аленова влияния и от душевных порывов, написан в стиле политического или социологического исследования, без эпитетов, без возмущения, с несколькими строчками обращения к читателю вначале: «Как мог бы я утверждать по совести, что беспристрастен, в то время как гитлеризм был всегда направлен против евреев, а сейчас представляет все большую военную опасность. Если я скажу вам: я попытаюсь прежде всего понять, а не судить, не забывайте, что тот, кто говорит с вами, сурово судит национал-социализм».

В конце я повторил самое существенное: «Некоторые французы, специалисты по германским делам, иногда утверждали в 1933 году, что национал-социализм содействует немецкому возрождению и что это — счастливое событие в нашей солидарной Европе. В моих глазах национал-социализм — катастрофа для Европы, потому что он оживил почти религиозную вражду между народами и потому что он отбросил Германию к ее старой мечте и ее всегдашнему греху: под видом горделивого утверждения своей самобытности она погружалась в свои мифы — миф о себе самой и миф о враждебном мире… Разумеется, мы должны стараться понять происходящее и искать возможности добрососедского соглашения, но взаимопонимание требует общего языка и доверия — можем ли мы, по совести, найти этот общий язык и оказать это доверие? В противном случае останется всего лишь хрупкий мир, основанный на силе и страхе». Говоря о страхе, я имел в виду страх перед войной как таковой.

То, что содержалось между процитированными вступлением и заключением, — анализ сторонников национал-социализма, непролетарских или антипролетарских масс, — в целом сохранило свое значение (впрочем, там нет ничего оригинального); верен также разбор причин, по которым немецкий народ к 1935 году отнюдь не разочаровался в новом режиме, а, напротив, теснее сплотился вокруг своих новых правителей; недостаточен был у меня главным образом анализ экономической политики Шахта и факта снижения уровня

безработицы (в тот момент уже на 50 %). В строительстве автострад я видел только подготовку к войне, преувеличивал роль перевооружения в экономическом подъеме, еще не вполне понял механизм «зажигания», «множителя»[48] внутри экономики, отделенной от внешнего мира системой валютных курсов.

С. Бугле принял под свое крыло французское бюро Института социальных исследований *(Institut für Sozialforschung)* и его журнала «Zeitschrift für Sozialforschung». Журнал выходил во Франции в издательстве «Алькан» («Alcan»), но главные представители Франкфуртской школы 77 жили в Соединенных Штатах. Я познакомился с Максом Хоркхаймером, Теодором Визенгрундом Адорно, Фридрихом Поллоком во время их приездов во Францию. Они хотели расширить французскую часть раздела критики и предложили эту работу мне (после того как обратились к ряду других возможных «эссеистов»). Я согласился тем охотнее, что жалованье начинающего агреже, которое я получал в Центре, не позволяло мне ни малейшей причуды.

Мое сотрудничество в «Zeitschrift für Sozialforschung» не означало, что я примкнул к марксизму или к Франкфуртской школе. Моим критическим обзорам часто недоставало снисходительности, они не всегда сообразовывались с университетскими обычаями. При случае я сурово обходился с «мандаринами», и они показали мне, как должен вести себя молодой человек. Историк Анри Озер, с которым я дерзко спорил, написал разгромный отчет о моем «Введении», не утруждая себя аргументами. Через несколько недель на собрании административного совета Центра документации С. Бугле упрекнул его за то, что он не представил книгу, прежде чем ее отвергнуть. Немного смущенный, А. Озер рассыпался в комплиментах в мой адрес. Ни Кожев, ни Койре, ни Эрик Вейль не ставили высоко, в философском отношении, Хоркхаймера или Адорно. Я склонялся перед суждением своих друзей, которыми восхищался. Признаюсь, впрочем, что тридцать лет спустя меня не убедила гениальность Маркузе. Добавлю, что последний всегда производил на меня впечатление «порядочного человека» — учтивого, ничуть не агрессивного. Вот один пример в подтверждение сказанного.

В начале мая 1968 года ЮНЕСКО организовала коллоквиум, посвященный Марксу, по случаю стопятидесятилетней годовщины его рождения. Благодаря уловке Жана д'Ормессона я был приглашен выступить на первом, торжественном, заседании. Я озаглавил свою речь двумя эпитетами, которые использовал в своей диссертации: *Неоднозначный и неисчерпаемый.* Почти в самом начале я заявил, что Марксу была бы ненавистна

организация, подобная ЮНЕСКО. Советские представители слушали меня с плохо скрытым раздражением. Рене Маэ так никогда и не простил мне слов, плохо совместимых с лицемерным экуменизмом организации, которой он посвятил жизнь. Маркузе сказал мне или, вернее, произнес, ни к кому в особенности не обращаясь, что моя дерзкая речь одна оказалась на уровне, достойном ее предмета.

Мои отношения с Хоркхаймером, Адорно и Поллоком были более светскими, чем интеллектуальными. В 1950 году я вновь встретился с Хоркхаймером — он был теперь rector magnificus 78 Франкфуртского университета. Явно довольный тем, как судьба вознаградила его за прошлое, он имел честь принимать канцлера Аденауэра, посетившего город. Приглашенный университетом, я в тот же день прочел речь *an die deutschen Studenten*[49].

Франкфуртская школа пользуется некоторой известностью и даже престижем в англо-американском мире. Что это — справедливый поворот интеллектуальной моды? Заслуживает ли школа эту моду больше, чем свою относительную безвестность до 1933 года? Может быть, и так. По счастью или по несчастью, я свидетель последних лет Веймарской республики, а теперь — возросшего авторитета Франкфуртской школы, а потому задаю себе вопросы: в чем причина ее нынешнего успеха? Каково ее место в предгитлеровской Германии?

М. Хоркхаймер принадлежал к франкфуртской богатой буржуазной семье. Поллок, который ведал финансами Института, и Адорно, производивший наибольшее впечатление своей культурой, знанием музыки и трудностью стиля, вышли из той же социальной среды. Все, включая Маркузе, который в то время еще не выдвинулся в первые ряды приверженцев школы, считали себя, так или иначе, последователями Маркса. В политическом отношении они не поддерживали ни социал-демократию, ни коммунистическую партию. Они не сделали ничего, чтобы спасти республику. Вынужденные отправиться в изгнание, они выбрали маршрут не колеблясь. Они восстановили *Institut für Sozialforschung* в Соединенных Штатах, где провели ряд социологических исследований, из которых самые знаменитые были посвящены семье и «авторитарной личности». М. Хоркхаймер, Т. В. Адорно, более философы, чем социологи, смешивали критику экономики и критику культуры капиталистического общества; то же делал затем Г. Маркузе, которому обеспечили славу студенты 60-х годов, избрав его своим учителем.

Ни одна из книг, написанных М. Хоркхаймером и его друзьями, не имела такого отклика, как «Geschichte und Klassenbewusstsein» Лукача или «Ideologie und Utopie»

К. Мангейма. Последний преподавал в том же Франкфуртском университете, что и М. Хоркхаймер, но они не были знакомы, во всяком случае, не испытывали почтения друг к другу. Может быть, причиной была их относительная близость, общие корни. Исходя из одного и того же замысла — использовать марксистские понятия для объяснения современного им общества, — они построили очень разные теории. Реляционизм Мангейма — теория познания, основанная на неизбежном укоренении общественного знания в том или ином классе, — сейчас забыта, хотя идея *Wissenssoziologie,* социологии знания (произведений культуры), остается такой же актуальной, как пятьдесят лет тому назад. Франкфуртская школа выработала *критическую теорию*, которую невозможно изложить в нескольких фразах. Согласно ей, критика, так сказать, порождается самой раздираемой противоречиями действительностью. Адорно в своей полемике с позитивизмом допускает, в предельном случае, противоречия внутри познания, этого детища противоречивого мира. Позитивизм — социология, претендующая на эмпиризм и объективность, — игнорирует противоречия, ибо в них содержится приговор его научному проекту.

Вообще говоря, предметом критической теории — названной так в подражание подзаголовку «Капитала», — являются одновременно капиталистическое общество и то неизбежно ложное представление о самом себе, которое оно вырабатывает. Можно было бы сказать, что перед нами марксизм, переосмысленный на основе обновленной теории познания. Г. Маркузе остался до конца верным марксистской идее обобществления производительных сил. Однако он констатировал, что на Востоке эта экономическая революция не повлекла за собой, вопреки ожиданиям, революции в культуре или в человеке.

В 60-е годы Хоркхаймер занял враждебную позицию по отношению к студенческим движениям, которые превозносил Маркузе, вынужденный, за неимением революционного пролетариата, довольствоваться Великим Отказом. Адорно, занимавший профессорский пост во Франкфурте, был глубоко оскорблен враждебными выпадами против него.

Ныне Ю. Хабермас представляет другое поколение, хотя и он связан с Франкфуртской школой. Он также навлек на себя гнев бунтовщиков, произнеся в их адрес слова «красный фашизм». В сегодняшней Германии критическая теория пользуется, как мне кажется, ограниченным влиянием. В англо-американском мире возросший интерес к марксизму распространяется и на его незаконных потомков. Сочетание экономического анализа и

морального изобличения больше подходит американским радикалам, чем чистым марксистам.

Я был назначен, опять-таки по рекомендации С. Бугле, вести курс философии в Высшей нормальной школе начального образования, более известной как Школа Сен-Клу. Я заменил там Друэна, зятя Андре Жида, который не раз упоминается в «Дневнике» и переписке писателя. Превосходный германист, он отдал жизнь и все силы преподаванию. Я встречался с ним всего два или три раза; не знаю, вынашивал ли он какой-нибудь научный труд, принесенный в жертву преподавательским обязанностям и необходимости зарабатывать на жизнь.

Директор Школы Октав Ориак тронул меня при первом же знакомстве истинно христианскими добродетелями, которые излучал, будучи вольнодумцем и атеистом: добротой, скромностью, человечностью, честностью. Он сменил на своем посту Пеко, довольно известного в свое время, с которым у меня была лишь одна беседа; он откровенно сказал мне, что моя особа не внушает ему той неприязни, которую он почувствовал к моим писаниям (речь шла, полагаю, о «Современной немецкой социологии» («La Sociologie allemande contemporaine»)). Ориак принял меня радушно; после первого года преподавания у меня возникло ощущение, что я не заинтересовал учащихся так, как следовало, и хотел подать в отставку. Он не согласился ее принять и заверил, что учащиеся нисколько не жаловались на меня. Впрочем, если не все извлекали пользу из моего преподавания, виноваты в этом были больше они, чем я.

После войны я получал письма от моего бывшего директора. Один из его сыновей погиб в Сопротивлении; сам он ослеп. Поразившие его несчастья не сломили старика, мужество и ясность духа ему не изменили. Думаю, что он умер, не надеясь на справедливое воздаяние в ином мире. Простой и достойный памятник этому гражданскому святому и его сыну воздвигнут в деревушке Сен-Жирон (в Арьеже). Те, кто не знал Пеко, Ориака, Леви-Брюля, не представляют себе, насколько эти люди и им подобные делали честь университетскому преподаванию, зодчими которого они были.

Когда кончаются годы учения, жизнь, разбрасывая нас, не разрывает связи между нами, но ослабляет их; случай встретиться представляется реже, студенческую свободу сменяют профессиональные обязанности, часть времени поглощает семья. В 30-е годы дружба занимала в моей жизни, может быть, и не меньшее, но уже другое место, чем в 20-е.

Поль-Ив Низан целиком отдал себя коммунизму — и как

романист, и как журналист. От близости, которая была у нас в Эколь Нормаль, ничего не осталось, хотя ни один, ни другой, думаю, не забыл наших недель в Киброне, как и дней, последовавших за его свадьбой, и не отрекся от этих воспоминаний. Мы никогда не говорили с ним о коммунизме, пожалуй, иногда — о фашизме, по поводу которого у нас не было разногласий. Вспоминаю доклад Поль-Ива в «Союзе во имя истины» («Union pour la vérité») Поля Дежардена после поездки в Советский Союз. Доклад скорее философский, чем исторический, построенный вокруг модного в то время марксистского или околомарксистского понятия цельного человека или цельности. Среди слушателей был Жюльен Бенда, восхищенный докладом. Тридцать лет спустя Ж.-П. Сартр создал многочисленные вариации на эту тему в своей «Критике диалектического разума» («Critique de la Raison»).

Мои отношения с последним изменились с того дня, как в его жизнь вошла Симона де Бовуар. Она рассказала о наших философских диалогах лучше, чем я сам мог бы это сделать; память у нее лучше моей. Когда я читаю ее, многие эпизоды оживают перед моими глазами, например, беседа на террасе кафе о феноменологии Э. Гуссерля. При всем том Симона познакомилась с нами — Сартром и мной — уже после наших лет в Эколь Нормаль; у нее сложилось впечатление, которым она щедро делилась с другими, будто мы при каждом случае готовы были ринуться в нескончаемые словесные турниры, которые обычно кончались моими словами: «Послушай, дружище, одно из двух: либо…» — и т. д. Вероятно, она права; наши дебаты в ее присутствии часто принимали именно такой оборот. В фильме, снятом незадолго до его болезни и слепоты, Сартр сам признался, что никогда ни с кем не дискутировал о философии, кроме Арона, который «загонял его в тупик». Но обычная студенческая дружба, в которой третьим был Пьер Гий, мало походила на наши с Сартром диспуты в зрелом возрасте. Он долго искал себя и любил представлять на мой суд свои идеи, рожденные сегодня или на неделе; если мне случалось не оставить от них камня на камне или, чаще, обнаружить в них двусмысленности и противоречия, он нередко соглашался с критикой, потому что эти мысли только что пришли ему в голову и он еще не успел их сделать по-настоящему своими. В период, о котором повествует Симона де Бовуар, Сартр, возможно, уже подверг свои идеи проверке в диалогах с ней; во всяком случае, он защищал их, потому что считал своими в глубоком смысле слова; это не были уже просто гипотезы, сформулированные по ходу чтения или в результате внезапного наития.

В течение года, последовавшего за встречей с Симоной де Бовуар, Сартр в университетском городке готовился к конкурсу на звание агреже, а я проходил воинскую службу. Во время наших нечастых встреч мы действительно находили удовольствие в философских спорах, о которых рассказывает Симона де Бовуар. Мы встретились затем в форте Сен-Сир, где я служил инструктором. По непонятным мне самому причинам, эти месяцы не оставили у меня приятного воспоминания. Ничего не произошло, но наши отношения были уже не теми, что в Школе.

В 30-е годы мы не раз встречались вчетвером. Удачно или неудачно — зависело неизвестно от чего, от сущей безделицы. Мы отказались от философских турниров, говорили о том и о сем, не исключая Симону и Сюзанну из наших диалогов. Вспоминаю об удавшихся встречах, например, о завтраке с Сартром и Симоной после Мюнхена. Мы были не согласны друг с другом, но нас объединяла атмосфера дружбы и исторической трагедии. Запомнился мне и ужин в начале июля 1939 года в ресторане на набережной, поблизости от Нотр-Дам, чья красота казалась нам все волшебнее с каждой минутой угасающего дня. Мы ждали Низанов, но они не пришли. Да, в моей памяти этот вечер остался одним из тех совершенных мгновений, которые дарит нам случай так же беспричинно, как огорчает нас потерянными часами и неудавшимися встречами. После Эколь Нормаль наши отношения зависели от таких капризов судьбы.

Моя дружба с Мальро никогда не была похожа на студенческие товарищеские отношения, даже самые тесные. Я уже упомянул о нашей первой встрече в Кёльне в 1930 (или 1931) году. Я провожал его до гостиницы под проливным дождем; мы страстно спорили, перепрыгивая через лужи, скользя на мокрой мостовой. Когда я снова увиделся с ним через год или два в Понтиньи, он с юмором вспоминал о нашей беспокойной прогулке и поминутно прерываемом разговоре.

В 1932 году он уже опубликовал «Искушение Запада», «Завоевателей», «Славный путь» («La Tentation de l’Occident», «Les Conquérants», «La Voie royale»), тогда как я еще сражался с чистым листом бумаги. Он был всего на четыре года старше меня, а мне казалось, что он принадлежит к другому поколению и, в особенности, к более высокому классу (в спортивном смысле слова «класс»). Я ощущал его превосходство и без горечи признался себе в этом. Он никогда не говорил о себе, о своей «горстке тайн». Уже тогда он жил, исповедуя мораль «Антимемуаров» («Antimémoires»).

В отличие от Сартра, который никогда не знал Сюзанну, во всяком случае, не интересовался ею, Мальро сразу же, еще в

Понтиньи, выказал ей симпатию. Вплоть до войны в Испании атмосфера наших обедов или вечеров вчетвером не позволяла заметить никакой скрытой напряженности между Андре и Кларой. Она *сделала ставку* на меня — как сказала мне позднее, — веря в мой успех (и общественный, и интеллектуальный). Сюзанну она сердечно любила. Они много говорили между собой, да и все мы четверо, о наших дочерях Флоранс и Доминике, которые были одного возраста. Начиная с 1936 года Андре стал все хуже выносить Клару. Она слишком много писала об этом, а он — слишком мало, чтобы третьи лица вмешивались в эту историю. Однако, не желая изменять откровенности — неписаному девизу этой книги, — я должен сказать, что наши симпатии были на стороне Андре. Дело не в том, чтобы считать одного правым, а другого неправым (о «правоте» бессмысленно говорить, когда расстаются два человека), но в нашем присутствии именно Клара чаще всего становилась невыносимой. Было ли это намеренно? Может быть, из-за предчувствия, желания или нежелания разрыва? Была ли причиной душевная боль? Но к чему формулировать мой ответ черным по белому?

Ж.-Л. Миссика и Д. Вольтон в беседах «Вовлеченного зрителя» спросили меня однажды, как я мог по-настоящему подружиться с таким непохожим на меня человеком. Но они знают — да и насколько хорошо? — только Мальро после 1945 года, пропагандиста РПФ (RPF) 79, потом министра Генерала 80, важно расположившегося в одном из особняков Булонского леса. Когда Мальро жил в своей квартире на улице Бак, его любезность и юмор делали незаметной склонность к пышной обстановке, даже если она тогда у него и была. Вдвоем или вчетвером мы беседовали о политике, литературе, разных людях. Он не мешал своим собеседникам высказываться, хотя я слушал его охотнее, чем говорил сам, часто покоренный, но не всегда убежденный. Его манера не располагала к дискуссиям, исключала споры, характерные для моего обмена мнениями с Сартром. Не думаю, чтобы Мальро получил философское образование в академическом смысле слова. Не уверен, что он открыл когда-нибудь «Критику чистого разума» или «Феноменологию духа», читал «Sein und Zeit»[50], хотя о Хайдеггере иногда говорил (то ли до войны, то ли после). В 1945 или 1946 году он резко высказывался о книге «Бытие и ничто» (но действительно ли он прочел ее?) 81 Мальро общался с Ницше и Шпенглером куда больше, чем с Кантом или Гегелем. Я не мог проверить его знание санскрита и восточных языков; но в том, что касается подлинности его культуры, которая нередко ставилась под

сомнение, я его адвокат, а не прокурор. Когда я имел возможность проверить его, я почти всегда поражался точности и глубине его познаний в области литературы и истории. В то время он гораздо меньше, чем в «Голосах молчания» («Les Voix du silence») или в выступлениях по телевидению («Легенда века»), развлекался интеллектуальным жонглированием («Негро-африканское ли искусство обращается с вопросом к Пикассо или, напротив, Пикассо вопрошает это искусство?»).

Мальро не вступил в коммунистическую партию, но до самой войны говорил и действовал как ее попутчик. Позже я встречал французов, проживших довольно долго в Москве (некоторые — в посольстве), и они не прощали ему почти сталинистского конформизма во время посещений Советского Союза. Однако Клара при нем рассказывала мне, что в конце какого-то торжественного обеда (а может быть, дискуссии), на котором присутствовали советские офицеры, Андре страстно защищал Троцкого и роль, сыгранную этим изгнанником в революции 1917 года.

Почему наша дружба в 30-е годы оказалась сильнее политических разногласий? Тому есть немало причин. Приход Гитлера к власти породил что-то наподобие священного единства левых, основанного на антифашизме. Из-за Гитлера мы, невзирая на Сталина, склонялись к тому, чтобы поместить коммунизм по праведную сторону баррикады. В частных беседах Мальро рассуждал не как попутчик. Он не скрывал ни от себя, ни от других жестокостей и преступлений режима, но хвалил его социальные достижения. Он не верил в измышления московских процессов и не выбрасывал за борт Троцкого. Когда в 1935 или 1936 году я познакомился у Мальро с Манесом Спербером, этот бывший коммунист-«партаппаратчик» отказывался от публичного разоблачения сталинизма: ведь Гитлер представлял собой непосредственную, а следовательно, главную опасность. Не думаю, что мы были правы, когда решились на выборочное умолчание или смирились с ним: молчание 1936 года подготовляло молчание 1945-го.

Что думал Андре Мальро о коммунизме в 30-е годы? Что он о нем говорил? У меня остались об этом времени разрозненные воспоминания, относящиеся к различным датам. Был момент, когда он опасался альянса всех капиталистических стран — демократических вкупе с фашистскими — против Советского Союза. В другой раз он мне сказал: советские люди показывают своим гостям ясли и школы, и напрасно. У нас есть лучше оборудованные, более роскошные ясли, чем у них; правда, их там тысячи. Едва ли «Возвращение из СССР» («Retour d'URSS») Андре

Жида покоробило Мальро. Однако он, вероятно, считал неуместной эту полемику против СССР на подъеме антифашистского движения.

Если мы хотим понять, а не судить, вспомним страницы «Завоевателей», где он проводит параллель между двумя человеческими типами: одни — люди веры — проникаются содержанием послания, догмами Церкви; другие — люди действия, «завоеватели» — не разделяют доктрины, но присоединяются к истинно верующим, чтобы сражаться бок о бок с ними. У Мальро никогда не было партийного билета, он не отказался от своей свободы суждений, но привлек в партию множество молодых людей, искавших дела, которому могли бы посвятить жизнь.

Вплоть до 1939 года Андре Мальро не отделял своей собственной жизни от революционного движения — по большей части марксистского или околомарксистского, — разливавшегося по континентам. Истинно верующим, по его определению «римлянам», он оставлял марксизм. Однако ему было достаточно отстраниться от революционного движения, чтобы почувствовать себя внутренне свободным и не страдать кризисами совести. Мальро не пришлось пережить обращения в другую веру, как экс-коммунистам или экс-маоистам, — он никогда не был порабощен марксизмом. Ему не понадобилось ни Кронштадта, ни Будапешта [82].

Я даже недалек от того, чтобы счесть его национализм и голлизм более глубокими и подлинными, чем его околомарксистские взгляды. Разумеется, он примкнул к Генералу, герою, в гораздо большей степени, чем к РПФ и даже голлизму. В первые послевоенные годы коммунизм оставался его наваждением. Когда в конце 1945 года он произнес в Национальном собрании столько раз процитированную и поставленную ему в укор, особенно антикоммунистами, фразу: «Свобода принадлежит прежде всего[51] тем, кто ее завоевал», он повернулся к депутатам-коммунистам. На протяжении всей своей речи он обращался к ним, как если бы других партий не существовало. В 1947, 1948, 1949 годах он не раз задумывался о возможности коммунистических попыток захватить власть силой, и мечтал сражаться не вместе с компартией или рядом с ней, а против нее.

Коммунизм, после 1945 года, сливался с Советским Союзом и, еще больше, с советской армией. Между тем эта армия навязывала освобожденным ею странам столь же деспотический режим, как нацизм. Те же концлагеря принимали других «преступников», а иногда тех же самых, поскольку демократам и

либералам была уготована одинаковая судьба при Сталине и при Гитлере. Мальро с его исторической интуицией понял быстрее и лучше Сартра, что революционный дух не воплощается отныне в далекой Тартарии; 83 обуздание поляков, венгров, румын вписывается в *Realpolitik*. Сталин отодвигал свою границу к западу и укреплял свой glacis[52], равнодушный к чаяниям сотен миллионов европейцев. Чтобы оставаться сторонником сталинского Советского Союза в 1945–1946 годах, нужно было иметь странную нравственную слепоту или испытывать притягательность силы. Что до Андре Мальро, он теперь размышлял о роли Соединенных Штатов как наследника и защитника Европы. Цивилизация, считал он, расцветет вокруг Атлантического океана, как некогда эллинистическая цивилизация — вокруг Средиземного моря. Эти мысли, что бы о них ни думать, стоили большего, чем исследования Мерло-Понти, который задумал искать аутентичную связь между субъектами и исторический разум в глубинах сталинской империи.

Мальро повернулся к Франции под воздействием подлинного, непосредственного порыва. Парламентская демократия наводила на него скуку — генерал де Голль перебрасывал мост между прозой демократии и поэзией истории. Перед своим первым свиданием с Генералом он, против своего обыкновения, спросил, что я думаю о его возможном голлистском выборе: должен ли он стать сподвижником Генерала без посредничества какой-либо партии между героем и собой? Готовясь к первой беседе с Освободителем, он уже думал, мне кажется, о встрече Гёте с Наполеоном 84. Когда через двадцать пять лет Мальро посетил генерала де Голля, вернувшегося в Коломбе-ле-дёз-Эглиз, он вспомнил — и напомнил — о посещении Шатобрианом Карла X 85, пражского изгнанника, последнего легитимного монарха, последнего из королей, которые за тысячелетие создали Францию.

В его глазах Генерал преображал Францию и ее политику. Мальро неустанно повторял, что Пятая республика — это не Четвертая плюс Генерал. В каком-то смысле он был прав. Конституция изменила стиль и даже характер Республики. Президент, избираемый прямым всеобщим голосованием, назначает премьер-министра и осуществляет власть, поддерживаемый большинством, которое вынуждено сохранять свое единство благодаря действию институтов; Пятая республика больше похожа на выборную, либеральную и демократическую монархию, чем на Третью и Четвертую парламентские республики. Однако после окончания алжирской войны, между 1962 и 1969 годами, Пятая республика с Генералом не

отличалась, по существу, от Пятой без него. Возможно, Генерал порождал у своих министров чувство, что они живут в Истории, а не в повседневности, но впечатление было обманчивым. Время подточило франко-африканское сообщество, и оно рухнуло; африканские страны стали независимыми; одни остались в сфере влияния Франции, другие на словах примкнули к марксизму-ленинизму. Франция поравнялась со своим веком. Она уже не была больным человеком Европы; имея наконец достойный уважения государственный строй, она демонстрировала перед иностранцами свои успехи, которые до того скрывали колониальные войны и бесконечная смена министерств. Почетная фаза истории Франции становилась, при поддержке магии слова и пресс-конференций, моментом всемирной истории.

Вернемся к Андре Мальро 30-х годов, который неизменно проявлял к Сюзанне и ко мне исключительную симпатию. Милый и доброжелательный товарищ, по всей видимости лишенный всякой «значительности» в смысле, который придавал этому слову Ален, он рассказывал нам забавные истории. Мы с Сюзанной были друзьями Андре и Клары. Мы никогда не соглашались с Роже Мартен дю Гаром, говорившим: «На Кларе можно жениться только с отчаяния» (Андре, со своей стороны, охотно позволял себе иронические замечания по поводу брака Роже). Клара, пока длилось ее согласие с Андре, была лучше того образа, который создают ее мемуары; воспоминания эти — не что иное, как сведение счетов. А Андре, до 1940 года и даже гораздо позднее, оставался тем же самым человеком, который в Понтиньи сделал нас с Сюзанной своими друзьями.

Помимо Эколь Нормаль, помимо издательства «Галлимар» («Gallimard»), я посещал Практическую школу научных знаний, общался с Александром Койре, Александром Кожевым и Эриком Вейлем; все трое — выдающиеся умы, которыми я восхищался и с которыми не смел мериться силами. Из них только Кожев достиг, пожалуй, известности вне узкого круга специалистов и университетских преподавателей; мне он показался и самым гениальным из троих, хотя его личность и его конечная мысль остались для меня тайной.

Я не посещал всех лекций Кожева о «Феноменологии» Гегеля, ставших теперь знаменитыми, но в последний год стал одним из группы постоянных — или почти постоянных — слушателей; среди этих двух десятков человек были Р. Кено, Ж. Лакан, М. Мерло-Понти, Э. Вейль, Г. Фессар. Сначала Кожев переводил несколько строк из «Феноменологии», чеканя некоторые слова, затем говорил. Говорил он ровным голосом, никогда не

спотыкаясь на слове, на безупречном французском языке, которому прибавлял своеобразия и прелести славянский акцент. Кожев завораживал аудиторию суперинтеллектуалов, склонных к сомнению и критике. Чем? Конечно, в немалой степени талантом, диалектической виртуозностью. Не знаю, сохранилось ли в неприкосновенности ораторское искусство в книге, где собраны лекции, прочитанные им в последний год курса, но это искусство, не имевшее ничего общего с красноречием, было порождением и его темы, и его личности. Темой являлись одновременно всемирная история и «Феноменология». Вторая освещала первую. Все обретало смысл. Даже те, кто относился с недоверием к историческому провидению, и те, кто за искусством подозревал уловку, покорялись кудеснику; пока вы его слушали, прозрачная ясность, которую он сообщал временам и событиям, становилась доказательством самой себя.

Невозможно представить здесь мысль Кожева, чтобы убедить в ее ценности незнакомых с ней читателей. Специалисты по Гегелю цитируют его книгу «Введение в чтение Гегеля» («Introduction à la lecture de Hegel») [86]. Они ставят автору в заслугу то, что он подчеркнул важность понятия *признание* в гегелевской антропологии. Но они не обсуждают истолкование Кожевым «Феноменологии» в целом, которое выражает собственную философию этого якобы толкователя.

Пусть читатель, испытывающий аллергию к философским рассуждениям определенного рода, пропустит следующие страницы, одновременно типичные и богатые сутью:

«История останавливается, когда Человек не действует больше в предельном смысле слова, то есть не отрицает, не преобразует природную и общественную данность кровавой Борьбой и созидательным Трудом. А Человек перестает это делать, когда данная Действительность доставляет ему полное удовлетворение (Befriedigung), полностью осуществляя его желание (Begierde) всеобщего признания (Anerkennen или Anerkennung) его единственной в мире личности. Если Человек действительно и полностью удовлетворен тем, что *есть*, он не желает более ничего действительно существующего и, следовательно, не изменяет отныне действительность, прекращая, таким образом, по-настоящему изменять себя самого. Единственное „желание“, которое он еще может иметь — если он *философ,* — это *понять* то, что существует, и то, чем он является, и выразить это посредством речи. Адекватное описание действительности в ее целостности, даваемое Наукой Мудреца, окончательно удовлетворяет Человека, даже в качестве философа: следовательно, он никогда более не станет восставать против

сказанного Мудрецом, подобно тому как сам Мудрец не противополагает себя описываемой им действительности. Таким образом, недиалектическое (то есть не отрицающее) описание Мудреца превратится в абсолютную истину, которая не породит никакой философской „диалектики“, никогда не станет „тезисом“, на который возразит антитезис.

Но как узнать, действительно ли и полностью ли Человек *удовлетворен* существующим?

Согласно Гегелю, Человек есть не что иное, как Желание признания („der Mensch *ist* Anerkennen“, vol. XX, p. 206, 1. 26), а История — всего лишь процесс постепенного удовлетворения этого Желания, которое оказывается полностью удовлетворенным во всеобщем и однородном Государстве и посредством этого Государства (такое государство для Гегеля — империя Наполеона). Но, во-первых, Гегелю пришлось предвосхищать историческое *будущее* (по определению непредсказуемое, ибо свободное, то есть возникающее из *отрицания* настоящей данности), поскольку государство, которое он имел в виду, только зарождалось; и мы знаем, что еще и сегодня оно далеко не имеет „эмпирического существования“ (Dasein) и не является „объективной действительностью“ (Wirklichkeit) или хотя бы „действительным присутствием“ (Gegenwart). Во-вторых, и это гораздо важнее: каким образом мы можем знать, что удовлетворение, доставляемое в этом Государстве и посредством его, есть действительно окончательное удовлетворение Человека как такового, а не одного из его возможных Желаний? Как можно знать, что стабилизация исторического „движения“ в Империи не есть просто пауза, результат временного утомления? По какому праву можно утверждать, что такое Государство не породит у Человека нового Желания, иного, чем желание Признания, и что, следовательно, оно, то есть Государство, не будет однажды отвергнуто отрицающим или творческим Деянием (Tat), иным, нежели Борьба или Труд?

Утверждать это можно, только предполагая, что Желанием признания исчерпываются человеческие *возможности.* Но сделать такое предположение можно лишь в том случае, если имеется полное и совершенное знание о Человеке, знание, имеющее всеобщее и окончательное („необходимое“) значение, то есть *абсолютно истинное.* Между тем, по определению, абсолютная истина не может быть достигнута ранее конца Истории. Но именно этот конец Истории и требовалось определить.

Мы попадаем, таким образом, в *порочный круг.* И Гегель вполне отдавал себе в этом отчет. Но он считал, что нашел критерий как абсолютной истинности, то есть правильности и

полноты своего описания действительности, так и конца „движения“ этой действительности, иначе говоря, окончательной остановки Истории. И что любопытно, этот критерий есть не что иное, как *цикличность* его описания, то есть „системы науки“».

И несколько дальше: «Это означает, что гегелевский дискурс исчерпывает *все возможности* мысли. Ему нельзя противопоставить никакой другой дискурс, который не был бы его частью, не был бы воспроизведен в каком-либо параграфе Системы в качестве составляющего элемента *(Moment)* целого».

Оставим тезис цикличности системы, наиболее трудный для понимания, и возьмем другой — конца Истории. Эти два тезиса подкрепляют друг друга и не могут один без другого обойтись. Второй тезис — всемирного и однородного государства — всем понятен сразу. Понятен, но удивителен! Видел ли Гегель в империи Наполеона 1806 года набросок всемирного однородного государства, доказательство его возможности? Поскольку это государство эмпирически еще не существовало, философ должен был предвосхитить будущее. Так что не империя Наполеона сама по себе предвещает или представляет собой конец Истории, а Система доказывает законченностью, цикличностью свою полноту.

Огромное расстояние лежало между моими размышлениями, которые я попытался изложить во «Введении к философии истории» («Introduction à la Philosophie de l’Histoire»), и тем, чему учил Кожев (или Гегель). И Вильгельм Дильтей, и даже Макс Вебер принадлежали к числу потомков Гегеля, унаследовавших круг проблем, которые он поставил и, как полагал, решил. Я, последователь, слушал озадаченно и скептично голос учителя, основателя.

Остается вопрос, который я не могу обойти молчанием. Когда Кожев в 1938 или 1939 году объявлял себя «ортодоксальным сталинистом», был ли он искренен или, точнее, в каком смысле был он искренен? История ведет к всемирной и однородной империи; за неимением Наполеона, пусть будет Сталин; империя будет не русской и не марксистской, но охватит все человечество, примирившееся благодаря взаимному признанию людей. Кожев не отрицал в частных беседах, что выкрашенная в красное Россия управляется скотами, что самый ее язык опошлен, культура деградировала. Напротив, он говорил об этом при случае как о чем-то настолько очевидном, что не знать этого могут только глупцы. Те, кто обращался к глупцам, считали нужным это повторять. Оставался ли в нем русский патриотизм, скрытый и пропущенный через разум? Я уверен, что это так, хотя нет сомнения и в том, что он с безупречной лояльностью служил

своей свободно избранной французской родине. Кожев не любил американцев, потому что он, Мудрец, рассматривал Соединенные Штаты как наиболее радикально нефилософскую страну в мире. Философией, разумеется, были для него греки (досократики, Платон, Аристотель) и немцы (Кант, Гегель), да еще, между ними, картезианцы. Когда он защитил от американского нажима статьи ГАТТ[53], позволившие образовать Общий рынок, он сохранил самостоятельность Франции и Европы. Считалось, что на международных конференциях с ним опасно вести переговоры. Министр финансов Гонконга, британский чиновник, учившийся в юности в Оксфорде или Кембридже, эллинист «по происхождению», с которым я дискутировал в 1971 году, все еще не простил Кожеву враждебности, которую этот софист или диалектик проявлял к одному из последних британских владений. Он так и не понял почему.

На одном из наших завтраков, в 1946 или 1947 году, Кожев набросал совместимую со своей философией истории интерпретацию собственного жизненного пути — перехода от громко заявленного сталинизма к служению Франции и Европе. История окончена в том смысле, что после Гегеля не происходит ничего важного; крут философского дискурса замкнулся. Но еще случаются события; всемирной империи будет предшествовать фаза региональных империй (или общих рынков). К этой фазе принадлежит и устроение Западной Европы.

Почему после 1945 года Кожев решил пойти на государственную службу, стать чиновником Министерства экономики и финансов в отделе, ответственном за международные отношения? Как-то раз он сказал мне: «Хотелось знать, как это [история] происходит». По правде говоря, я плохо представляю его себе преподавателем в каком-нибудь французском университете. Для начала ему пришлось бы защитить диссертацию. Реакция аттестационной комиссии на одну из его книг, например на «Комментированный очерк истории языческой философии» («Essai d'une histoire raisonnée de la philosophie païenne»), была бы не лишена пикантности. В глубине души он, вероятно, считал, что сказал все, что имел сказать, и это *все* совпадало с концом, с завершенностью философии — такой, какой он ее понимал. Он пожелал, подобно Платону — советчику тирана, оказывать, оставаясь в тени, влияние на видимых людям действующих лиц — Оливье Вормсера 87 или Валери Жискар д'Эстена. Первый поместил в журнале «Коммантер» («Commentaire»)[54] похвальное слово своему другу Кожеву; по поводу второго мне вспоминается следующий эпизод. Кожев рассказал мне, что Жискар д'Эстен с

уважением относился к интеллектуалам и, в частности, спросил его однажды, после того как произнес внушенную им речь: «Ну что, Кожев, вы довольны?» Добавлю, что Кожев принимал свое ремесло всерьез и иногда приходил в ярость, когда его совет оставляли без внимания. Он участвовал в борьбе мнений в области международной экономики и торговой дипломатии с тем бо́льшим увлечением, что она представлялась ему, истому гегельяно-марксисту, важнее (по крайней мере, в нашу эпоху), чем политические или военные дела.

Весной 1982 года в беседе с Валери Жискар д'Эстеном я произнес имя Кожева и признался в своем восхищении им в том, как высоко я его ставлю. Президент был удивлен, однако у него сохранилось отчетливое воспоминание об этом участнике многих переговоров, чьи извилистые ходы он коротко прокомментировал. Он часто шел обходным путем, сказал президент, но в конце концов достигал своей цели. Кожев не оставил диалектику, перейдя от чтения лекций к дипломатии.

Удалось ли мне подтвердить свое суждение о гениальности Кожева? Убедил ли я читателя? Сомневаюсь. Его книга «Введение в чтение Гегеля» не доказывает моей правоты, как и посмертные книги на близкие темы. Впрочем, они не стали предметом обсуждения, их даже не прочитали. Мне остается порекомендовать эти книги, в которых человек частично выразил себя, и привести еще несколько своих впечатлений.

Если я рискну сделать сравнение, которое иные читатели сочтут кощунственным, то он мне казался в известном смысле умнее Сартра. Последний импонировал мне своей изобретательностью, богатством интеллектуального воображения, однако страсти и морализм, часто извращенный, сужали его угол зрения.

Подавление венгерского восстания раскрыло природу советского владычества, но, поскольку международная политика есть то, что она есть, чему же тут удивляться? Режим ГУЛАГа вызывал отвращение; восстановление порядка в Венгрии отвечало требованиям поддержания советского *imperium*'а. Кожев прокомментировал советское вмешательство в Венгрии в нескольких словах, Сартр — на нескольких десятках страниц, словно это событие перевернуло его в*и*дение мира, тогда как оно лишь обнаружило реальность, которую он мог и должен был бы знать уже давно. Пример плохо выбран, скажут мне почитатели Кожева. Вы представляете его реалистом на грани цинизма, безразличным к страданиям и возмущению простых смертных, которым недоступна «Феноменология духа». Действительно, Кожев охотно занимал по отношению к массам позицию русского

белогвардейца, если только эта позиция не была ему продиктована моралью Мудреца, сознающего свое превосходство и снисходительного к слепым толпам. Ему никогда не случалось сказать глупость; у меня редко возникало впечатление, что он что-то от меня узнал, хотя, в отличие от большинства интеллектуалов, Кожев всегда добросовестно признавал приоритет собеседника, если тот первым высказал мысль, с которой он согласился. Полагая, что он ассимилировал все философское и историческое знание, которое охватывает Гегелева система, Кожев следил за идеями и событиями нашего времени с отрешенностью Мудреца, но и со вниманием крупного должностного лица. Когда разговор шел о политике и экономике — главных темах наших бесед, — ему не было равных. В разных обстоятельствах он спрашивал мое мнение, например в мае 1958 года и мае 1968-го. Речь шла о французской политике; быть может, ему недоставало интуиции, мгновенного понимания, какие есть у тех, кто родился в стране (по крайней мере, так он считал).

Мне трудно сказать, какое именно влияние Кожев оказал на политику Франции. Время от времени он составлял записки для министров или директоров. Многие из них он присылал мне; они всегда внушали какие-то идеи, порой бывали парадоксальны. Помню, в одной записке он объяснял, что марксистская теория обнищания масс была опровергнута не экономистами, а Фордом. Зато теперь, продолжал он, экономисты убедят деловых людей в том, что те должны помочь развитию третьего мира в своих собственных интересах.

В течение этих двадцати трех лет, между 1945-м и 1968-м, философ, обучавший чтению Гегеля поколение французских интеллектуалов, пребывал — под видом отца Жозефа [88] министров и начальников министерских департаментов — философом-любителем; его перу принадлежат толстые тома, еще не опубликованные, которые свидетельствуют о его верности призванию. В одном из текстов, воспроизведенных в «Коммантер», он выражает признательность тем, кому чем-то обязан, — Александру Койре, Мартину Хайдеггеру, Якобу Клейну, Эрику Вейлю, но пренебрежительно распекает тех из них, кто свернул со славного, единственного пути «Феноменологии духа». Он, Кожев, сказал последнее слово, заново прочитав Гегеля, который до него пришел к идее конца.

Я все еще спрашиваю себя, какова была в его жизни доля игры — интеллектуальной и экзистенциальной. Отбросив раз навсегда диалектику природы, сохранял ли Кожев в действительности всю Гегелеву систему? После путешествия в

Японию и пережитого там любовного приключения он добавил две страницы, посвященные чайной церемонии, к переизданию «Введения в чтение Гегеля». Одно из двух, — возможно, думал он, — либо философия, чьим глашатаем скорее, чем творцом, я являюсь, истинна, либо жизнь человечества — нелепая комедия, прерываемая столь же нелепыми трагедиями. Когда-то Раймон Барр напомнил мне слова Кожева: «Человеческая жизнь — комедия, надо играть ее всерьез». Еще я вспоминаю фразу, однажды вырвавшуюся у него: «Не будут же люди бесконечно убивать друг друга».

Эрик Вейль[55], с которым я встретился в Берлине в 1932 году, покинул Германию вскоре после прихода Гитлера к власти. Он сразу понял, какая судьба ожидает евреев. Мы оба и наши семьи тесно сдружились в предвоенные годы, хотя у нас с ним не обходилось без бурь, в чем были повинны то гипертрофированное самолюбие с обеих сторон, то политические расхождения. По причинам, в которых смешивались философия и актуальность, Эрик Вейль временами склонялся к коммунизму. Так, после заключения германо-советского пакта 89 я возмущался тем, что философский гений не только не защитил его от заблуждения, а, напротив, толкал на ложный путь. По окончании военных лет, проведенных в лагере для пленных, он снова объявил себя, впрочем ненадолго, коммунистом. (Кожев тогда счел такую позицию неудобной для человека, недавно ставшего французом.)

Прокоммунизм Эрика Вейля длился не долго. Жил он в Лилле, потому что не любил Парижа и потому что его жена работала в Брюсселе, в администрации Европейского Сообщества. Он редко наезжал в Париж, ждал, когда его навестят в Лилле, а потом в Ницце. Расстояние и семейные драмы, отозвавшиеся на наших отношениях, привели к тому, что мы перестали видеться. Когда мы последний раз говорили по телефону, он поблагодарил меня за содействие избранию его в члены-корреспонденты Академии гуманитарных и политических наук.

Я предпочитаю вспоминать того человека, которому посвятил свою главную диссертацию. Он тоже посещал курс Кожева, хотя изучил «Феноменологию» едва ли менее досконально, чем лектор. Вейль не умел вносить в свою речь столько обаяния, как Кожев; беседовать с ним бывало подчас нелегко. В значительной степени именно он вернул меня к философскому размышлению или, во всяком случае, вернул мне вкус к нему. Его знание великих философов по справедливости импонировало мне и казалось не меньшим, чем эрудиция Кожева или Койре. Его статьи в «Критик» («Critique») на самые разные темы свидетельствуют о поразительной культуре. В каждом случае он знал по данному

вопросу столько же или больше, чем специалисты. Его главные книги — «Логика философии», «Политическая философия», «Кантианские проблемы» («Logique de la Philosophie», «Philosophie politique», «Problèmes kantiens») — пользуются в узких кругах заслуженной репутацией; то здесь, то там можно встретить его страстных почитателей. Однако некоторую известность снискал не он, а Кожев. Несправедливость судьбы? Он тоже написал свое введение к чтению Гегеля, но, пожалуй, для того, чтобы вернуться к Канту.

Александр Койре, патриарх группы, воевал в Первую мировую (но никогда не говорил об этом). Это замечательный историк философии и науки, чьи исследования охватывают огромное пространство, от немецкого мистицизма до русской мысли XIX века и до Галилея; его работы, посвященные великому итальянцу, по заслугам считаются классическими во всех странах. Он говорил мало, медленно, тихо, но выносил справедливые и окончательные суждения о событиях и людях. Это он предостерег меня от антимилитаризма Алена. Он ни разу не поддался искушению коммунизмом, даже в те годы, когда Великая депрессия, казалось, подтверждала предсказания Маркса. Среди этих исключительных умов Койре блистал не талантом, а скромностью, добросовестным и терпеливым поиском истины, нравственной строгостью. Он принимал всерьез преподавательскую карьеру, хотел получить кафедру в Коллеж де Франс; ему был предпочтен Марсиаль Геру. И тот и другой были достойны войти в это прославленное учебное заведение.

К нашей группе принадлежал также Маржолен; это один из тех редких французов, которые поднялись на очень высокую ступень общественной лестницы, не получив среднего школьного образования и не сдав экзамены на степень бакалавра. Ему пришлось с юных лет зарабатывать себе на жизнь в качестве мелкого служащего биржевой фирмы; отложенные сбережения он использовал, чтобы возобновить учение. Он получил диплом Высшей практической школы научных знаний, приравненный к степени бакалавра. Замеченный Селестеном Бугле и Шарлем Ристом, он удостоился стипендии, которая позволила ему стажироваться в одном из американских университетов. Став секретарем Института экономических исследований, руководимого Шарлем Ристом, Маржолен легко прошел все этапы: степень лиценциата, затем доктора. Его диссертация — обсуждение работ Симиана о длительных фазах — шла вразрез с французской экономической литературой той эпохи. Ему оставалось только сдать конкурс на звание агреже политической экономии, что он и сделал, вернувшись с войны.

В тот момент, став уже крупным чиновником, он был потерян для науки, зато международные организации сделали в его лице ценное приобретение. Его первые труды предвещали экономиста высокого класса, но он предпочел действие и, на мой взгляд, был прав. Университеты не испытывают нужды в преподавателях политической экономии. Работа экономистов в ОЭСР (OCDE) 90 или в Европейской комиссии кажется мне не менее благородной и полезной, чем преподавательская; к тому же она не так разочаровывает.

Читая книгу Зеева Стернеля[56], я спрашивал себя: не был ли я глух к первым признакам Национальной революции, выплеснувшейся наружу после поражения в 1940 году? Действительно ли я недооценил силу антисемитизма, фашистскую угрозу? Была ли Франция, как пишет З. Стернель, «пропитана фашизмом»?

Не скажу, чтобы мне была неизвестна крайне правая пресса — «Же сюи парту», «Гренгуар», «Кандид» («Je suis partout», «Gringoire», «Candide»). Я не читал регулярно эти еженедельники, от которых меня с души воротило: чтобы сохранить хладнокровие и сберечь свои нервы, необходимо соблюдать некоторую дисциплину в чтении (как говаривал Огюст Конт). Эти вскормленные ненавистью листки выражали — и не без таланта — психологию определенной части буржуазии, в том числе той, символом которой стала знаменитая фраза «Лучше Гитлер, чем Блюм». С этими правыми я не имел ничего общего, какой бы оборот ни принимала борьба внутри страны. Между ними и мной общение было и остается невозможным, даже если мы согласны по какому-то конкретному пункту.

Шарль Моррас продолжал в 30-е годы давать каждое утро урок и политические директивы своим приверженцам — провинциальным дворянчикам, морским офицерам, части парижской интеллигенции. Я несколько раз пытался, но не сумел заинтересоваться этим доктринером монархии. Несомненно, он занимал важное место в духовной истории Франции первой половины XX века. Его успех происходил в большей степени от бедности соперничающей мысли, чем от богатства собственной. Анализируя обстановку, Моррас бывал иногда проницателен. На мой взгляд, он не послужил ни монархической идее, ни своей родине.

Симпатизируя (не без оговорок) Салазару 91 и Муссолини, он никогда не проявлял ни малейшей приязни к национал-социализму, ненавидя в нем германский дух и романтизм — то, что противоположно античному порядку, который оставался в его

глазах вечным образцом мудрости и красоты.

«Обращение» литераторов то в фашистскую или коммунистическую веру, то обратно вызывали во мне скорее любопытство или пренебрежение, чем заинтересованность. Когда Андре Жид примкнул к коммунистическому движению, а затем выпустил в свет «Возвращение из СССР», это, по-моему, больше имело отношение к заботе писателя о своей биографии, о своем образе, чем к мировой истории.

Я знал Эмманюэля Мунье и читал время от времени «Эспри» («Esprit») без большой пользы для себя. Насколько помню, я поместил в этом журнале только одну статью под заголовком «Открытое письмо Германии от молодого француза». Датированная январем 1933 года, написанная до прихода Гитлера к власти, она раскрывает мои чувства в конце пребывания в этой стране. «Прости, я не признаю за собой никакого права говорить от имени молодых французов. Я не принадлежу ни к правым, ни к левым, ни к коммунистам, ни к националистам, я не более радикал, чем социалист. Не знаю, найду ли я себе товарищей… Быть может, реакция на немецкий национализм сделала меня французским националистом…» Я развивал тезис, что Германией скоро будут управлять правые партии, что диалоги о противоположных культурах двух народов (порядок против динамизма, разум против пыла) не имеют отныне смысла, что взывать к идеалам, к нравственным принципам стало лицемерием с обеих сторон. Остался единственный шанс — это соглашения великих держав, учитывающие интересы друг друга.

«Эспри» раздражал меня не столько проповедуемыми ценностями, сколько манерой. Я нашел там публицистику, которая мне казалась типично идеологической, то есть не говорящей о политических проблемах так, чтобы читатель мог понять, какое решение ему принять, какой выбор сделать. Руководящие идеи, вариации на тему коллективности напоминали мне немецкую литературу, которую иногда использовали национал-социалисты. Когда пришло время испытаний, когда события потребовали принятия решений, в «Эспри» произошел раскол. Это случилось и в 1938 году — что нетрудно понять, — и даже в июле 1940-го — что уже наводит на размышления.

Я не принимал чересчур всерьез книги Арно Дандье и Робера Арона [92], которые, будучи тоже безжалостными критиками парламентской капиталистической демократии, отвергали свое родство с фашизмом любого толка. Что касается писаний тех, кто открыто ссылался на итальянский или немецкий опыт — М. Бюкара, Ж. Валуа, Ж. Дорио, — то это была разновидность

пропаганды, к которой я относился как к партийной публицистике.

Прав ли все-таки Стернель, говоря, что Франция накануне войны была «пропитана фашизмом»? Анализируя избирательную и парламентскую конъюнктуру тех лет, я не отрекаюсь от своего тогдашнего диагноза. Различные лиги, распущенные правительством Народного фронта, не представляли серьезной угрозы для Республики. Беспорядки февраля 1934 года были вызваны рядом обстоятельств, а не явились результатом заговора. Полиция, подчинявшаяся слабому, но законному правительству, не колеблясь стреляла как в правых, так и в левых демонстрантов. Лиги бросали вызов Республике, но не представляли для нее опасности.

Мне возразят, что правящие классы были, возможно, «пропитаны» фашистскими идеями, даже если Третья республика не находилась в ситуации, подобной той, которая сложилась в Веймарской республике в начале 30-х годов. Я, безусловно, приму всерьез такой довод. Однако правые партии, заполнявшие скамьи в Национальном собрании, не были пропитаны фашизмом; это можно было сказать самое большее о нескольких крайне правых депутатах; поэтому не было необходимости мобилизовать коммунистическую партию, рабочие массы и взывать к объединению расколотых левых сил для спасения Республики. Но парламентская демократия, связанная с капитализмом, испытывала недостаток доверия со стороны все более широких слоев, которые, однако, не становились от этого фашистскими.

Разумеется, делались многочисленные попытки, более или менее удачные, скомбинировать идеи, заимствованные у социализма и национализма. Однако эти комбинации не выливались в национал-социализм гитлеровского типа. Некоторые правые социалисты (Марсель Деа, Адриен Марке), вышедшие из СФИО и вызвавшие у Леона Блюма слова «Я в ужасе», стали затем более или менее ревностными коллаборационистами. Социалисты в 30-е годы констатировали провал социалистического Интернационала; те из них, кто не был слеп, должны были смириться с тем, чтобы действовать в национальных рамках. Группы, называвшие себя «планистами» и вдохновлявшиеся идеями Анри де Мана, не считали себя фашистами или национал-социалистами; они искали выход из мирового кризиса и бессилия парламентов.

В конце 30-х годов идеи, пришедшие с другого берега Рейна, находили, конечно, распространение во Франции; антисемитизм, в прошлом веке одинаково ядовитый во Франции и в Германии, черпал в гитлеровском примере нравственное подкрепление и

своего рода легитимность. Наконец, самым серьезным было то, что несогласие в вопросе о дипломатическом курсе, который следовало принять по отношению к Третьему рейху, раскалывало нацию; противники сторонников отпора обвиняли их в милитаризме, а тех, кто был за соглашение с Гитлером, подозревали в фашистских симпатиях. Между тем в этих взаимных обвинениях была доля истины: сочувствующие однопартийным режимам отвергали войну, которая велась бы «в защиту демократии». Самые решительные противники режимов Муссолини и Гитлера не учитывали важнейший в военное время фактор — соотношение сил. Многие правые хорошо видели военную слабость Франции; многие левые верно понимали амбиции Гитлера.

Потеря доверия, постигшая Третью республику, объясняет не только Национальную революцию, но и пассивность, с которой растерявшийся народ и правящий класс, включая административно-судебные институты, встретили меры, принятые по собственной инициативе правительством Виши, чтобы ликвидировать Республику и перенять в некоторых пунктах гитлеровское законодательство. Вишистские реформы меня не удивили; в июне 1940 года в Тулузе, накануне отъезда из Франции, я сказал жене: «Они, то есть те, кто пожелал перемирия после того, как отверг войну, будут делать в смягченной форме все, чего потребуют немецкие оккупанты». Я грешил оптимизмом: я не предполагал, что они пойдут навстречу желаниям нацистов.

Поражение в большей степени, чем идеологические споры, сделало возможными вишизм и Национальную революцию. Но старые враги Республики, «Аксьон франсез», частично поставили первоначальному Виши и людей и идеи. Другие люди, другие интеллектуальные школы присоединились к основателям. Трудно сказать, был ли Пьер Лаваль изначально фашистом или на него оказали влияние дебаты французской интеллигенции. Последняя популяризовала авторитарную философию, основанную как на французских традициях, так и на иностранном опыте.

Я не принадлежу всецело ни к одной из групп, с которыми общался и которые никак не были связаны между собой. Мальро уже прославился, когда Сартр — до выхода «Тошноты» — еще искал издателя для своих рукописей. Университетские преподаватели и писатели редко встречались вне собраний «Союза во имя истины» и декад в Понтиньи. Мне было полезно общение и с теми, и с другими. Теперь мне случается сожалеть об отсутствии кружка, сравнимого с тем, который создал Поль Дежарден.

Единственный из нас всех, Поль-Ив Низан, возглавлявший отдел международной политики в газете «Се суар» («Се Soir»), участвовал в идеологической битве, бушевавшей на Левом берегу Сены начиная с 1933-го, и особенно в 1934 году. Люди, которые стали господствующими фигурами в послевоенном философском Париже, работали в ту пору над своими книгами; первые из них вышли в свет в конце 30-х годов. Толстые тома «Решерш филозофик» («Recherches philosophiques») порывали с атмосферой 20-х, с образованием, которое получило наше поколение. Послевоенная философия, которая ныне приближается, видимо, к своему концу, созревала в 30-е годы, вдали от актуальных споров, которые вели литераторы.

V
ОТЧАЯВШИЙСЯ ИЛИ ОДЕРЖИМЫЙ…

Эти два эпитета в названии главы принадлежат Полю Фоконне, который бросил их мне в лицо во время защиты моей диссертации 26 марта 1938 года в Зале Луи-Лиар. За несколько дней до того, во время визита, который я нанес ему согласно обычаю, он нескромно и благожелательно спросил меня, не влияют ли мои личные дела на тональность того, что я пишу. Сдержав смех, я заговорил об угрозе, нависшей над страной, о близкой войне, об упадке Франции. Я заверил его, что с моей семьей все в порядке, он заверил меня, что с Францией тоже. Да, конечно, Франция прошла апогей своего величия. Но нынешний спуск под гору, очень относительный и повторяющий судьбу всех народов, не оправдывает и даже не объясняет моего агрессивного пессимизма. Этот социолог, ученик и безоговорочный последователь Эмиля Дюркгейма, наблюдал издали, почти равнодушно, со спокойствием ученого, как надвигалась катастрофа, размеров которой я не предполагал, хотя признанные интеллектуалы эпохи упрекали меня за постоянную мрачность.

Согласно резюме, опубликованному в «Ревю де Метафизик э де Мораль», Поль Фоконне закончил свое выступление на защите моей диссертации следующим образом (причем аудитория кивками и жестами одобряла его слова): «Я завершаю сказанное выражением любви, веры и надежды: любви — подтверждая вам мои восхищение и симпатию; веры в идеи, которые вы осуждаете; надежды на то, что студенты не последуют за вами».

Будучи чистейшим продуктом Сорбонны и позитивистского или неокантианского рационализма, я казался Фоконне, и не ему одному, отрицателем, не столько революционером, сколько нигилистом. Несколько лет спустя «Бытие и ничто» не встретило такого же возмущенного удивления погруженных в сон профессоров.

Надо сказать, что реакция Фоконне, выраженная столь карикатурным образом, не отличалась, по сути, от реакции других членов аттестационной комиссии и вообще профессуры 30-х годов. Из моих трех книг — «Современная немецкая социология. Очерк немецкой теории истории», «Критическая философия Истории» («Philosophie critique de l’Histoire») и «Введение в философию истории» — первая вышла в свет в 1935, две другие в 1938 году, когда некоторые немецкие философы, изгнанные или бежавшие из Третьего рейха, жили в Париже.

Статьи изгнанников печатались в «Решерш филозофик». Это мирное проникновение вызвало во многих случаях реакцию отторжения. Такое положение шло мне одновременно на пользу и во вред. Мои книги вводили в проблематику, пришедшую с другого берега Рейна. Фоконне почувствовал, что моя критика исторической объективности оспаривает все, во что он верил; все удивлялись, не находя во мне того студента, которого уже готовы были принять в свою семью. Нужно ли добавлять, что ни Селестену Бугле, верному нашей дружбе, ни всем остальным, верным своей морали, ни на секунду не пришло в голову закрыть мне доступ в альма-матер?

Так почему же мои книги дышали отчаянием или «одержимостью»?

Между своим дипломом о Канте (1926/27) и годом в Гавре я много читал по самым разным вопросам. Кроме статей в «Либр пропо» и «Эроп», ничего не писал. Между октябрем 1933 и апрелем 1937 года мне удалось закончить три упомянутые книги.

Слово «удалось» я употребляю не затем, чтобы намекнуть на свои заслуги, на свершение некоего подвига, а чтобы напомнить о своем страхе перед чистой страницей, о трудностях, связанных для меня с письменной речью. Мне понадобились годы, чтобы научиться сочетать письмо и чтение, подготовлять текст читая; заново перечитывать, уже начав писать. Чаще всего я сочинял главу, посвященную какому-то автору, не обращаясь к его текстам, реконструируя его мысль на основе почерпнутых из его книг идей, а ссылки добавлял потом.

Какую ценность имела и имеет «Современная немецкая социология»? Могу сказать без тщеславия, что эта маленькая книжка была полезна в свое время, даже если сейчас это и не так. Некоторые из фигурирующих в ней социологов уже не интересны, другие же, в особенности Макс Вебер, которому посвящено более трети книги, отныне не нуждаются в представлении. Несколько поколений студентов извлекли из моей работы, быть может, поверхностные, но в целом верные сведения о некоторых направлениях немецкой социологии в тот момент, когда национал-социализм прервал ее развитие. На одном из семинаров Международного социологического конгресса Р. Мертон рассказал, что эта книжка, написанная неизвестным автором, поразила его. С тех пор она была переведена на испанский, японский, английский и немецкий языки (на два последних — после войны). Недавно ее перевели на итальянский по неизвестным мне причинам[57] и переиздали в Соединенных Штатах и Японии.

В 1935 году большинство немецких социологов, которых я рассматривал, было неизвестно или плохо известно. «Социологический ежегодник» («Année sociologique») публиковал в свое время обзоры некоторых работ Макса Вебера, в частности, его эссе о пуританизме и духе капитализма. Макс Вебер, со своей стороны, никогда не цитировал Дюркгейма, но, по словам Марселя Мосса, имел все номера «Социологического ежегодника» в своей личной библиотеке. В 1935 году не существовало обобщающего исследования, посвященного личности этого политика и социолога. Постмарксистские труды по социологической проблематике, например, принадлежащие перу Карла Мангейма, едва доходили до сознания нескольких французских специалистов. Моя книга вышла вслед за «Итогами французской социологии» («Bilan de la sociologie française») Селестена Бугле и оказалась в более благоприятных условиях: она, в некотором роде, открывала неисследованную область. Благодаря ей я встретился с А. Бродерсеном и Э. Шилзом, с которыми дружен доныне. Больше всего меня тронул, двадцать пять лет спустя, социолог польского происхождения Станислав Андревски, сказавший, что моя брошюра пробудила в нем призвание.

Я написал ее по просьбе С. Бугле, обещавшего мне в следующем году место в Центре социальной документации Эколь Нормаль. Книжка эта, при весьма скромных авторских правах, не сулила материальной выгоды, а была, скорее, из разряда студенческих работ; она отвлекала меня от второй, дополнительной, диссертации, которой я тогда был занят. Испытал ли я впоследствии удовлетворение от того, что выполнил этот школьный урок? Пожалуй. Еще и сегодня я рад, что завершил этой книгой свое германское паломничество.

Я продолжил недавнюю традицию: и Э. Дюркгейм, и С. Бугле посетили немецкие университеты и привезли оттуда статьи, собранные затем в книги. Я не посещал университеты и едва познакомился с кружком Л. фон Визе в Кёльне, с В. Зомбартом в Берлине. В отличие от своих предшественников, я сосредоточился на социологии в узком смысле слова. Я представил читателю не отчеты о прочитанном или личные впечатления, а систематический очерк, опирающийся на противопоставление *систематической* и *исторической социологии.* Имеет ли это противопоставление какое-либо значение, кроме чисто прагматического, сделанного, так сказать, ради удобства? Ф. Оппенгеймер, Альфред Вебер и К. Мангейм, несомненно, принадлежали к одной и той же традиции; двое первых предлагают общий взгляд на историю, третий размышляет над

последствиями социального укоренения социолога; все трое разработали свои теории под сенью Карла Маркса. Каждый выбрал свою собственную тему. Ф. Оппенгеймер — корни социальной иерархии, эксплуатации человека человеком как результата победы пастухов над земледельцами; Альфред Вебер — дуализм цивилизации и культуры, технического и духовного миров; Карл Мангейм — концепцию новой науки, *Wissenssoziologie* (социологии познания), продолжение марксистской идеи, согласно которой каждый класс видит социальную реальность со своей собственной точки зрения, исходя из собственного положения.

Из этих трех авторов Карл Мангейм в 1932 году был вне сравнения, самым известным. Находясь в Берлине, я написал о нем статью, которую послал ему; чтобы увидеться с ним, я отправился во Франкфурт, где познакомился с Н. Элиасом, чьи книги[58] о цивилизационном процессе были недавно опубликованы во Франции и встретили восторженный прием. К. Мангейм затерял мою статью, да она, вероятно, и не заслуживала лучшей участи. Когда я писал «Современную немецкую социологию», то уже освободился от чар «Идеологии и утопии», и глава, которую я посвятил ее автору, была далека от какой-либо снисходительности. Я вновь увиделся с Карлом Мангеймом в Париже в 1935 году, и он с большим изяществом и чуть иронично поздравил меня с моей книгой, которую «чрезвычайно ценил»; «за исключением главы, которая касается непосредственно меня», — добавил он, улыбаясь. Молодой человек пишет свою первую книгу и громит на чем свет стоит «мандарина», почти знаменитого в Европе и Америке, а тот, отнюдь не возмущаясь, говорит комплименты дерзкому автору: Мангейм был, как говорят англичане, *a decent man*[59]. Я несколько раз виделся с ним в Лондоне во время войны.

Первая глава объединяет четыре личности или четыре школы, по существу типичные: одна из них — школа Зиммеля и Л. фон Визе — основывается на противопоставлении формы и содержания; другая — Ф. Тённиса — выделяет главные типы «социальности», в частности, известную альтернативу «общество — общность»; третья — А. Фиркандта — прибегает к феноменологии, чтобы уловить смысл отношений и общественных групп; наконец, последняя — школа Отмара Шпанна — развивается на основе выбора — одновременно философского и научного — в пользу универсализма против индивидуализма. Целое, коллектив, предсуществует частям, тем паче индивидам, которые вливаются в человечество, лишь участвуя в тотальности.

Эти четыре автора или школы не ограничиваются микросоциологией, употребляя общепринятое выражение, а, взятые вместе, иллюстрируют две темы, не утратившие значения: с одной стороны, основные типы «социальности» (*Gesellschaft und Gemeinschaft*[60]); с другой стороны, метод или философский подход к общественной реальности. Еще и сегодня я не думаю, что мог бы сделать лучше, сказать больше на строго ограниченном количестве страниц. Но вот объединение четырех школ под заголовком *Систематическая социология* мне кажется теперь скорее хитроумным, чем убедительным ходом. Три из них выстраиваются логически: формальная, феноменологическая и универсалистская социологии представляют три философские идеи, три способа восприятия общественного сплетения. Но антитеза «общество — общность» Тённиса не составляет специфичного подхода, и три других автора пользуются ею каждый на свой лад. Определение *систематический* обозначает строгую и по возможности исчерпывающую классификацию разных видов «социальности» или разных секторов общественного целого. И действительно, эти четыре автора разработали такую классификацию, но она служит в некотором роде каталогом, концептуальным аппаратом для понимания наблюдаемых явлений. Я не уверен, что противопоставление «систематическая — историческая», удобное полвека тому назад, сохраняет еще свою ценность. Микро- и макросоциология, синхронический и диахронический анализ покрывают или устраняют эту антитезу.

Замечания об особенностях немецкой социологии, о различиях между французской и немецкой социологиями мне кажутся и сегодня не лишенными интереса, но они уже не точны. В начале 30-х годов было логично противопоставлять «спиритуализм» немецкой социологии (во всяком случае, наиболее типичной) позитивистскому или сциентистскому характеру французской социологии, при том что практика той и другой имела меньше различий, нежели их программы. Немцы действительно пользовались антитезой «цивилизация — культура» иначе, чем французы. Наконец, «автосоциология» социолога, родившаяся из марксистской мысли, больше волновала немецких специалистов, чем их французских коллег.

От этого контраста теперь мало что осталось. В предвоенной Франции не было парамарксистских авторов, подобных Д. Лукачу или К. Мангейму. С тех пор она преодолела это отставание. Хотя здесь нет школы, сравнимой с Франкфуртской, Л. Альтюсер и Н. Пулантцас реинтерпретировали марксизм, а также современность в свете своего марксизма. Наконец, социология после 1945 года становилась все более транснациональной, хотя

социологическая практика сохраняла все же некоторые национальные черты. Общность методов, тем исследования, способов интерпретации представляется мне свершившимся фактом. Не то чтобы социологи вдохновлялись ныне одной и той же философией или одинаково освещали действительность. Но большинство школ проявляют себя внутри каждой страны. Противники критической теории Франкфуртской школы в Германии столь же (а возможно, и более) многочисленны, как и в любой стране. Даже наблюдавшееся мной в предгитлеровской Германии обличение рационалистического общества было подхвачено левыми и крайне левыми во Франции и других странах.

Для немецкого издания книги 1953 года я написал короткую статью «Bemerkungen zur jetztigen Lage der soziologischen Problematik» («Заметки о современном состоянии социологической проблематики»), где заявил о пробуждении немецкой социологии, отныне неотделимой от социологии транснациональной, но способной внести в эту науку свой собственный, обогащенный традицией, вклад.

Должна ли была эта книжка вызвать раздражение верного последователя Дюркгейма? Мне трудно в это поверить. Немецкого социолога, который, вероятно, возмутил бы Дюркгейма, а именно — Карла Мангейма, я представил только для того, чтобы его опровергнуть. Фоконне верил в социологию, которую хотел создать Эмиль Дюркгейм: это была молодая наука, наука в становлении, несовершенство и незрелость которой он охотно признавал, не помышляя при этом объективировать, как модно сейчас говорить, путь социального индивида по имени Дюркгейм к занятиям социологией. Социологический анализ, подразумеваемый в марксизме, в дюркгеймовской социологии, можно сказать, отсутствовал. Дюркгейм также, по видимости, устранил человеческий характер объекта методологическим правилом: «Рассматривать социальные факты как вещи». В действительности это правило должно было главным образом заключить в скобки предрассудки, провести различие между непосредственным толкованием институтов социальным человеком и объяснением, которое дают им социологи. Повторяю: социологические направления по своей сути различались меньше, чем философские направления, последователями которых объявляли себя социологи. Сегодняшний социолог без каких-либо затруднений опирается одновременно на Маркса и Дюркгейма. Несмотря на эти оговорки, я не могу не вспомнить о шоке, испытанном одним правоверным учеником Дюркгейма с ограниченным кругозором. Большое расстояние пролегало между

социологией, прогрессирующей, подобно любой науке (как представляли науку в свое время позитивисты) — строясь по камешку, собирая факты и отношения, исправляя ошибки и включая приобретенные знания в более обширное целое, и социологией, какой ее видел Макс Вебер, — обновляющейся посредством вопросов, которые она задает неисчерпаемой материи, миру людей в постоянном становлении, миру, непрерывно творящему новое, вызывая тем самым новые, еще ни разу не заданные вопросы историка и социолога. В конечном счете я внезапно пошатнул не что иное, как вульгарную философию прогресса науки.

Понятие критики исторического Разума восходит к Вильгельму Дильтею и находит свое разрешение, как мне кажется, в Сартровой «Критике диалектического Разума». Отложив на время более подробный ее анализ, я остановлюсь пока на одном из ее смыслов: разработке для «наук о духовном», или «гуманитарных наук», теории, сравнимой с тем, чем явилась «Критика чистого Разума» для физических наук. Эта теория, подобно Кантовой критике, несла бы двойную функцию: подтверждала истинность научного знания и ограничивала его поле действия. Для критических философов истории возвращение к Канту означало не столько обновление трансцендентального анализа, сколько отказ от гегельянской системы. Никто из них не определял себя через отказ от марксизма, за исключением, может быть, отчасти Макса Вебера, который в некоторых обстоятельствах открыто противопоставлял себя Марксу, не переставая им восхищаться. В. Дильтей исторически интерпретировал различные философии, которые не отличал от *Weltanschauungen*[61]. Таким образом, он искал в «критике» не субститут системы, а основание объективного знания, вопреки укоренению историка (или социолога) в конкретном обществе, одном из многих.

Было ли искусственным и произвольным объединение этих четырех авторов — Вильгельма Дильтея, Георга Зиммеля, Генриха Риккерта и Макса Вебера — или его оправдывало сходство их проблематики, родство задаваемых ими вопросов? Вильгейм Дильтей, родившийся через два года после смерти Гегеля, принадлежал к другому поколению, чем трое других, родившихся около 1860 года (соответственно в 1858, 1863 и 1865); никто из четырех не посвятил всей своей жизни или всего своего творчества вопросу, который я поставил перед ними. Вильгельм Дильтей был историком, до того как принялся «критиковать» собственную профессию. Книга «Geschichtsphilosophie»[62] Г. Зиммеля занимает скромное место в его творчестве. Великое

произведение Риккерта «Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung»[63] — вероятно, самая известная из его книг, но она вписывается в его неокантианское творческое наследие, охватывающее широкую проблематику, где антитеза двух типов наук — лишь одна из тем. Наконец, Макс Вебер, хотя он всегда был озабочен применением своего знания не меньше, чем самим знанием, обязан своей славой социологическим трудам.

Мне и теперь еще кажется, что сближение этих авторов было оправдано при условии уточнения ограниченной цели работы. Речь шла не о том, чтобы изложить мысль Дильтея или Вебера в целом, а лишь о том, чтобы выявить и сравнить ответы, данные ими на один и тот же вопрос. Действительно ли вопрос был в точности один и тот же? Вероятно, нет, ибо каждый автор выражал его языком и в рамках определенной философии. Однако, перечитывая после стольких лет эту трудную книгу, я понимаю, почему — справедливо или нет — приписал ей некоторые достоинства и почему она вызвала разнообразные реакции.

Я думал сначала, что «Критическая философия истории» («Philosophie critique de l'Histoire») послужит мне главной диссертацией. Леон Брюнсвик прочитал рукопись (до того как я внес в нее исправления) и высказал о ней строгое суждение. С полным основанием он заявил, что я «все провалю», если сделаю ставку на толкование, к тому же часто туманное, философов в конечном счете второстепенных. Несколькими месяцами позже, прочтя «Современную немецкую социологию», он написал мне дружеское письмо, в котором частично брал свои слова назад и обвинял себя в излишней суровости по отношению к моей рукописи. (Морис Хальбвакс, напротив, строже отнесся к «Современной немецкой социологии».) Во время каникул 1935 года я пересмотрел всю «Критическую философию истории» и решил написать книгу, мою собственную версию критики исторического Разума, которая послужит мне главной диссертацией.

Леон Брюнсвик оказал мне услугу, за которую мне следовало бы быть ему благодарным. Моя реакция в тот момент была резкой. Я повел себя довольно смешно: дал прочесть рукопись Андре Мальро, который не мог быть хорошим судьей академического труда, и Жану Дювалю, который отметил несколько понравившихся ему выражений вроде «ум — это око желания». Раза два, выступая в «Союзе во имя истины», я спорил с Леоном Брюнсвиком, упрекая его за равнодушие к человеческому бытию, за то, что он не знает другой морали, кроме морали ученого. Я окончательно освободился от некой формы

неокантианства. Социологи и историки принадлежат к обществу, к определенному моменту его становления: они сохраняют печать своей историчности даже тогда, когда хотят — и должны хотеть — быть учеными.

За «Критической философией истории» должен был последовать второй том, посвященный теме историзма или историцизма (в то время эти два понятия были еще меньше дифференцированы, чем сейчас). Книга сэра Карла Поппера «The poverty of Historicism»[64] распространила в англо-американском мире представление, что марксизм предлагает законченный пример историзма, претендует на способность предвидеть или, скорее, пророчески предсказывать будущее человеческой истории в целом. Написанная во время войны, эта книга, так же как «The open society and its enemies»[65], была направлена против тех философий истории, которые обосновывают и оправдывают революционные политические действия. В начале последней книги сэр Карл Поппер следующим образом резюмировал свою главную цель: «This book tries to show that this prophetic wisdom is harmful, that the metaphysics of history impede the application of the piecemeal methods of science to the problems of social reforms. And it further tries to show how we may become the makers of our fate when we have ceased to pose as its prophets»[66]. Историцизм определен в книге «The poverty of Historicism» как тезис относительности верований, многообразия идей, жизненных укладов и способов мыслить в зависимости от обществ и эпох. Определение Поппером историцизма не было принято ни в Италии, ни в Германии, ни во Франции. П. Росси в своей книге о немецком историцизме, одобрительно цитируя мою работу, разбирает труды как четырех авторов, которых я анализирую в «Критической философии истории», так и тех, кого я намеревался рассмотреть в томе II.

Там должны были фигурировать Эрнст Трёльч, Макс Шелер, Карл Мангейм и, возможно, Освальд Шпенглер. Эти четыре автора, очень разные, не отвечали на один и тот же вопрос, подобно критическим философам, но находились или ощущали себя в сходной исторической ситуации, чей кризис они выражали на разных «языках» и выход из которой искали в разных направлениях. Трёльч понимал под словом *Historismus* историчность ценностей, следствием чего в известных случаях может произойти разрыв духовного единства человечества и анархия в умах. Исследования Трёльча отражали не столько критическое беспокойство, сколько растерянность послевоенной немецкой интеллигенции. Карл Мангейм со своей *Wissensoziologie* довел до логического завершения метод мышления,

обозначаемый одним из смыслов термина «историзм», а именно — определение людей и их идей через социальный контекст.

Макс Шелер заинтересовал меня своим наброском общей теории отношений между мыслью и обществом *(die Wissensformen und die Gesellschaft*). Заслуживают упоминания два его тезиса, которые требуют рассмотрения и по меньшей мере оговорок. Один из них касается трех типов общества, смена которых якобы образует историю человечества; в первом типе доминирующую роль играют кровные отношения, родство; во втором (так называемые исторические общества) — политическая власть; наконец, в третьем (современные общества) — экономические отношения. С другой стороны, материальные факторы, согласно Шелеру, не определяют, а канализуют идеи. Экономико-социальное устройство открывает или закрывает каналы, через которые проходят идеи, приспособленные к нуждам или мечтам людей.

Освальд Шпенглер должен был бы представлять в моей книге конечный этап в интерпретации человеческих творений, выводимой не на классовой основе, как у Мангейма, а на базе культуры или общества в целом, как у Дильтея. Противопоставление античной и современной математики — исключительно удачный пример подчиненности самой науки духу той или иной культуры.

В томе I, который только и был мной написан, я использовал метод, поставленный мне в упрек во время защиты диссертации, — метод не столько исторический, сколько философский. Я попытался извлечь из текстов названных четырех авторов ответы на несколько вопросов, которые они себе задали и которые казались мне наиболее существенными. Разумелся ли сам собой выбор этих вопросов? Был ли он продиктован самими авторами, проблематикой их творчества? Я испытывал искушение сказать «да» и, возможно, сделал бы это еще и сегодня; однако эти вопросы или ответы не были главным в том, что эти авторы — во всяком случае некоторые из них — написали. Я имею в виду прежде всего Дильтея и Зиммеля.

Нет сомнения, что Дильтей всю свою жизнь помышлял создать критику исторического Разума; он задумал ее в двух совершенно различных направлениях. Сначала у него возник замысел оригинальной психологии, противопоставленной господствовавшей тогда позитивистской, даже материалистической, психологии и способной стать прекрасным инструментом для историков, филологов, биографов. Эта попытка не удалась. И Дильтей и Зиммель после некоторых колебаний пришли к выводу, что понимание произведений,

событий, персонажей не может и не должно быть «психологизированно».

Вторая попытка Дильтея, предпринятая под влиянием Бернара Гретюизена (по словам последнего), выражена во фрагментах, собранных в томе VII полного собрания сочинений.

К какому результату пришел Дильтей в поисках критики исторического Разума? Он подхватил мысль Канта: человеческий ум формирует, структурирует свой мир. Но, будучи транспонирована в мир истории, эта идея не сохранила все свое значение. Формы ощущений и мыслительные категории делают возможными научное познание, причинное объяснение. Дильтей подсказывает совершенно другое в*и*дение мира, так как его внимание устремлено не на природу, а на человеческий мир. Проходя сквозь времена, люди создают общественные и духовные творения. Каждое из этих творений — общество, жизнь индивида, эпоха — представляет собой стройное целое. Понимание расшифровывает их посредством движения от элемента к целому и обратно, причем элемент обретает свой смысл только в целом, а целое раскрывается лишь в результате анализа своих элементов. Но если мы допускаем *die Kontinuität der schaffenden Kraft als die kemhafte historische Tatsache* (непрерывность творческой силы как основополагающий исторический факт), то как нам преодолеть особенность нашего исторического бытия?

Г. Риккерт, которого почти не читают (хотя его книжка «Природа и история» была лет двадцать тому назад переведена на английский с одобрительным предисловием Ф. Хайека[67]), стремился не создать новую критику, а, согласно анализу в кантианском духе, разработать строгую теорию двух типов наук: один — осуществляемый в системе законов, другой — во всемирной истории. Всякая наука является результатом построения или отбора предмета, извлеченного из бесформенной материи, и имеются два принципа такого отбора и построения — общность характеристик и ценностное содержание. Отсюда двойственность научных целей[68] на самом высоком уровне абстракции.

Леон Брюнсвик не знал практически ничего о Дильтее и Юго-Западной германской школе. История — как и Наука — была для него лабораторией философии, но он не задумывался о видах и способах исторической реконструкции. Моя книга была лишена преимуществ жанра «введения» в иностранную школу; она сочетала анализ и дискуссию дискуссию, организованную моими вопросами. В двух главах, посвященных Дильтею и Зиммелю, я входил в подробности различных периодов творчества этих авторов, их колебаний и самокритики. Тот, кого не интересовали

ни эти авторы, ни их проблемы, не мог обнаружить достоинств — небольших, но, надеюсь, действительных — этой работы.

П. Росси в своей книге[69] не только извлек урок из всего, что произошло за истекшее время, но в большей степени, чем я, поставил перед собой подлинно историческую цель. Один из членов диссертационной комиссии упрекнул меня в несоблюдении канонов исторического метода. В доказательство он привел тот факт, что я в библиографии цитировал *Gesammelte Aufsätze*[70] Вебера, а не отдельные статьи в тех изданиях и под теми датами, когда они были опубликованы впервые. Он был прав, но он мог бы найти другие, и лучшие, доводы. Я не пытался написать в духе П. Росси историю развития идей — я проанализировал философскую тему этих четырех авторов и выявил апории 93, над которыми они бились. Порой я самонадеянно полагал, что реконструирую их мысль лучше, чем они сами ее выразили. Как бы то ни было, я не прошел мимо центрального момента их философских размышлений: относительности ценностей и объективности исторического познания.

Прием, оказанный Леоном Брюнсвиком моей «Критической философии истории», и предчувствие близкой войны побудили меня безотлагательно начать книгу, о которой я помышлял со дня своих раздумий на рейнских берегах. Поскольку я брал на себя роль вовлеченного зрителя, моим долгом было выявить отношения между историком и человеком действия, между познанием истории, которая творится в эту минуту, и решениями, которые обязан принимать исторический персонаж. Я оставил мысль о втором томе «Теории истории» и, отредактировав текст рукописи первого тома, начал в октябре или ноябре 1935 года работу над «Введением в философию истории»; книга была закончена после пасхальных каникул 1937 года.

Не помню, чтобы я заранее обдумал ее план. По мере того как я писал, «Введение» приняло форму, которая сейчас меня раздражает: четыре раздела, три из которых включали в себя три части, а каждая из них в свою очередь делилась на четыре параграфа. Схоластическое оформление, как заметил во время защиты Эмиль Брейе. Он упрекнул меня за то, что я разбиваю развитие темы, дроблю тему на ряд проблем, предоставляя читателю собирать фрагменты. Я ответил несколько надменно, что понятие развития темы не имеет отношения к философии, что для меня достаточно анализировать проблемы максимально ясно. Сегодня я был бы готов признать правоту Брейе. Книге вредит также навязчивая идея симметрии; некоторые параграфы,

заключения некоторых частей и разделов не кажутся мне больше необходимыми. Может быть, я находился еще под влиянием манеры Алена в некоторых его сочинениях.

Я не собираюсь ни отрекаться от этой книги, ни защищать ее. Хотя ей уже около полувека, возможно, ее биография не вполне исчерпана, по крайней мере во Франции; а значит, ее автор мог бы стать профессионалом-философом в академическом смысле слова.

Остановившись на пороге этой неблагодарной задачи — представить основное содержание книги, которая с трудом поддается резюмированию, — я помещаю в виде некоего эпиграфа следующее замечание о жанре *автобиографии,* взятое мной из «Введения» (стр. 60): «…Я не смог бы думать снова так, как думал в двадцать лет или, во всяком случае, мне нужно отправиться на поиски прежнего себя, почти как если бы речь шла о другом человеке. Для того чтобы отыскать этого прежнего себя, мне зачастую приходится интерпретировать те или иные выражения, произведения. Мы мало чувствительны к этому становлению нашего духа, ибо мы аккумулировали лучшее из нашего опыта; если только нас не обуяло интроспективное любопытство, прошлое нашего разума интересует нас лишь в той мере, в какой оно достойно стать настоящим».

Я заменил бы «интроспективное любопытство» «автобиографическим»; в остальном мой опыт подтверждает этот анализ. Несколько раз я возвращался к тем или иным проблемам «Введения», например, в «Измерениях исторического сознания» («Dimensions de la consience historique»), никогда при этом не ссылаясь на свои довоенные работы. Таким образом, я предполагал, что сохранил в себе главное из достигнутых ранее результатов. Перечитал же я «Введение» из автобиографического любопытства, в поисках текста, процесс создания которого мне было бы очень трудно реконструировать и который мне было бы еще труднее написать сегодня.

Сначала я занялся поиском нескольких отрывков, способных вызвать желчное раздражение Поля Фоконне, и нашел суждения, которые теперь никого бы не покоробили: «…Философия прогресса… состоит в допущении факта, что общества и человеческое существование в целом имеют тенденцию к улучшению; иногда — что это улучшение, равномерное и непрерывное, должно продолжаться бесконечно. Эта философия по своей сути интеллектуалистская — ибо переходит от науки к человеку и к коллективному устройству, — и оптимистическая, ибо нравственность, как предполагается, должна развиваться наряду с интеллектом. Реакция против этой доктрины приняла

ныне самые различные формы. Реальность или, во всяком случае, непрерывность прогресса ставится под сомнение. Слишком многие события обнаружили хрупкость того, что называют цивилизацией; самые, казалось бы, несомненные достижения принесены в жертву коллективным мифологиям; политика, с которой сняли маски, раскрыла свою сущность даже перед самыми простодушными. Одновременно критике был подвергнут, как теоретически, так и применительно к действительности, способ рассуждений, переносящий на человека и общество то, что верно в отношении науки. Будучи парцеллярной деятельностью, позитивная наука развивается согласно собственному ритму, и ни разум, ни тем более поведение не поспевают за ее ускоренным движением… Впрочем, что означает этот якобы прогресс? Коммунитарное общество, которое провозглашает себя абсолютной ценностью, и либеральное общество, ставящее перед собой цель расширить сферу личной свободы, несоизмеримы. Переход от одного к другому можно оценить только в сопоставлении с нормой, которая должна быть выше исторических различий. Но такая норма это всегда овеществленная проекция того, чем является или чем хотело бы быть данное сообщество. Нашей эпохе слишком хорошо известно многообразие, со всей очевидностью проявившееся в ней самой, чтобы мы могли впасть в наивность замкнутых групп или подняться до веры тех, кто, сопоставляя себя с прошлым и с другими, убежден в своем превосходстве…» Такое скептическое отношение к философии прогресса накануне Второй мировой войны не должно было бы возмутить никого, даже погрузившегося в сон, верящего в социологию дюркгеймианца. Впрочем, этот текст не был последним словом «Введения»; он отвергал вульгарную разновидность веры в прогресс, основанную на фактической ошибке — общество в целом не преобразуется с той же скоростью и в таком же духе, как научное знание, — и на наивности — прогресс можно констатировать, только пользуясь трансисторическим критерием. *Увеличение* знания можно наблюдать, а о *совершенствовании* культур нужно судить, но какой же судья беспристрастен?

В 1938 году плюрализм культур (или цивилизаций) принадлежал уже к духу времени. В салонах повторялась фраза Валери: 94 «Мы, цивилизации, знаем теперь, что смертны». Тем не менее отказ от рационалистского прогрессизма шокировал оптимистическую и идеалистическую философию, все еще господствовавшую среди сорбоннских профессоров левой ориентации. Сделанное мимоходом замечание о всемирной истории, которое кажется теперь таким банальным, было

отнесено, вероятно, на счет «отчаяния».

«Наша эпоха по видимости благоприятна такой попытке [создания всемирной истории], поскольку впервые вся планета участвует в общей судьбе. На это возразят, что отдельный человек не способен ассимилировать стремительно растущий объем знаний; что научная добросовестность восстает против таких колоссальных обзоров; что связи между народами еще слабы, их сообщество бедно содержанием, носит частичный и внешний характер. Все эти возражения справедливы, но не касаются главного. Если бы Запад все еще верил сегодня в свою миссию, то всемирная история была бы написана, коллективно или одним человеком, и показала бы, как через единичные приключения все общества постепенно приходят к современной цивилизации.

Невозможной делает эту историю то, что Европа больше не знает, предпочитает ли она приносимое ею другим народам тому, что она разрушает. Она признает уникальность творчества и каждой жизни в тот самый момент, когда рискует разрушить неповторимые ценности». Умеренные левые в ту эпоху верили еще в «цивилизаторскую миссию» Франции и западных стран. Я, несомненно, принадлежал к числу маргиналов, по крайней мере во Франции. В Веймарской Германии историзм — в смысле осознания многообразия культур, историчности ценностей — питал пессимизм и растерянность интеллигенции. Идеи, верность которым П. Фоконне подтвердил 26 марта 1938 года, не выдержали проверки последующими годами.

Социолог-дюркгеймианец должен был счесть еще более агрессивным анализ, направленный непосредственно против претензии самого Дюркгейма основать преподаваемую в школах мораль на новой науке. В параграфе, посвященном историческому релятивизму *(der Historismus)*, я напомнил о связи между различными обществами и их моралью (в гегелевском смысле слова *Moralität)* и о вытекающем отсюда многообразии нравственных обязательств и способов жить. Затем я продолжал: «Напротив, взаимозависимость между моралью и обществом подтверждает силу наших особых императивов, если общество как в правовом отношении, так и в реальности является основой всякой обязанности. Разве в намерения Дюркгейма не входило реставрировать мораль, поколебленную, по его мнению, исчезновением религиозных верований?.. Социологи — демократы, вольнодумцы, сторонники индивидуальной свободы — подтверждали своей наукой ценности, к которым приходили спонтанно. На их взгляд, структура (плотность, органическая спаянность) современной им цивилизации требовала в некотором роде уравнительных идей, автономии личностей. Ценностные

суждения скорее выигрывали в достоинстве, нежели проигрывали, становясь суждениями коллективными. Общество уверенно ставилось на место Бога. В действительности термин „общество“ несколько двусмыслен, так как обозначает то реальные коллективы, то идею или идеал коллективов. На самом деле его применяют к обособленным, замкнутым сообществам, но этот термин меньше, чем „отечество“ или „нация“, напоминает о соперничестве и войнах (трудно представить себе общество, расширенное до пределов всего человечества). Он маскирует конфликты, раздирающие все человеческие сообщества. Он позволяет подчинить противостоящие друг другу классы общественному единству и создать национальную мораль, носящую социологический, а не политический характер; но если это понятие, будучи лишено всякого заимствованного престижа, обозначает довольно хаотичную совокупность социальных фактов, то не кажется ли читателю, что к безграничной относительности *социологизм* добавляет сведение ценностей к более природной, чем духовной, детерминированной, а не свободной действительности?»

Расправа, учиненная в нескольких строках над дорогой Дюркгейму идеей, а именно — обновление преподавания морали в педагогических институтах с помощью социологии, должна была, конечно, смутить самого верного из его учеников. Но я думаю, что его покоробила книга — или книги — в целом. У него создалось впечатление, что я порываю с рационализмом — тогда как моя последующая деятельность доказала обратное; порываю с оптимизмом прогресса и верой в науку — в чем он не ошибался, хотя это и не совсем точно. Сам смысл книги оставался двойственным, если не неопределенным: каждый анализ в отдельности был, пожалуй, ясным, однако замысел и общие выводы давали повод к разночтениям. Отчасти виновата в этом форма книги, но я усматриваю здесь и другие причины.

Во вступительной части я следующим образом кратко изложил цель своей работы: «В высшем плане эта книга ведет к *исторической философии*, противопоставляющей себя как сциентистскому рационализму, так и позитивизму». Анри Марру в своем отчете, написанном для «Эспри», настаивал прежде всего на антипозитивизме, на безжалостной критике историков, питающих иллюзию, будто они достигают истины в том наивном понимании, что воссоздают действительность прошлого — показывают, *как это случилось (wie es geschehen ist),* по знаменитому выражению Л. фон Ранке. Немного ниже я уточнил свой замысел: «Историческая философия, которая в некотором роде является также философией истории, при условии, что

определяет последнюю не как панорамное видение всего рода человеческого, а как истолкование настоящего или прошлого, привязанное к философской концепции существования». Или еще: «Философия развивается в непрерывно возобновляемом движении от жизни к сознанию, от сознания к свободной мысли и от мысли к воле». Будучи рационалистской по своему духу, эта книга в целом все же удивляла в 1938 году наших сорбоннских учителей, которые обнаруживали в ней образ мыслей, интересы и темы для размышления, чуждые их миру.

Я коснусь очень коротко двух Теорий — понимания и причинности, — которые занимают большую часть книги, но относятся к области эпистемологии. Вначале я устанавливал различие между двумя способами познания, различие, которое я проиллюстрирую упрощенным примером. Пользуясь лексикой, которая мне привычна, установить *мотив* поступка не значит выявить его *причину*. Понимание какого-либо действующего лица, исходит ли оно из логики ситуации или из эмоционального импульса, противостоит не объяснению в обычном смысле слова, но *причинному объяснению*. Понимание поведения человека, произведения, института обладает той общей чертой, что ищет понятные смыслы и связи, имманентные объекту. Я бы согласился с перечислением, которое нахожу в «working paper»[71] одного норвежского философа: объектами понимания являются люди, их поступки и слова, некоторые продукты их действий и их слов, обычно проявления человеческого духа (искусство — живопись, скульптура — и т. д.), наконец, некоторые предметы, называемые значимыми, — инструменты, орудия труда и т. п. Теория, изложенная мной вначале, была прямо противоположна концепции понимания, снискавшей репутацию иррационалистической, согласно которой имеет место аффективная причастность сознания к сознанию другого человека. Я определил понимание как познание значения, которое, будучи имманентно реальности, мыслилось или могло мыслиться теми, кто его пережил или осуществил.

Чтобы проиллюстрировать свою концепцию причинности, я снова возьму пример, которым воспользовался тогда: происхождение войны 1914 года. Для меня поиск причин войны 1914-го состоит не только в исследовании намерений действующих лиц, которые после убийства эрцгерцога Франца-Фердинанда захотели локальной или всеобщей войны либо были согласны на нее, а в определении действий, сделавших неизбежным или более или менее вероятным взрыв, происшедший в августе. В каком-то смысле установление причин войны сравнимо с анализом причин несчастного случая —

остановки мотора или схода лавины в горах. Износ детали мотора или падение снежной массы повинуются законам природы, однако внимание эксперта останавливает либо тот из антецедентов, который прямо, непосредственно вызвал несчастный случай, став его причиной; либо тот, который был настолько предвидимым, что скорее совокупность антецедентов, нежели последний из них — детонатор, — несет ответственность за несчастный случай; либо, напротив, антецедент был настолько непредвиденным, что событие не кажется вытекающим из ситуации, которая не делала его ни неизбежным, ни даже вероятным, — событие явилось результатом, как говорится, стечения обстоятельств.

Установление причин, из-за которых вспыхнула война 1914 года, представляется мне задачей одновременно и простой и трудной: нет никакого сомнения, что кризис, страх близкой войны начались с предъявления Австрией ультиматума Сербии. Но было бы очевидной ошибкой сказать, что он явился *причиной,* детонатором войны. Тем не менее можно вычислить *вероятность* войны, которую создала *инициатива* венского правительства. Ретроспективные расчеты вероятности никогда не позволяют прийти к неоспоримым выводам, но они делают возможными оценки, опирающиеся на сравнение того, что произошло, с тем, как развивались бы события, не будь предпринята эта акция. Для каждого действия (в данном случае для антецедентов войны) можно поставить вопрос: каковы последствия, которые могло и должно было предвидеть действующее лицо? Кроме того, поскольку в человеческих делах причинность неотделима от ответственности или виновности, мы задаем себе вопросы: в какой мере поступок представлял собой *инициативу,* соответствовала ли эта инициатива обычаям и нравственным правилам дипломатического мира, каковы были намерения действующего лица? На мой взгляд, важнейшей задачей было разграничить понимание поведения человека, исходящее из его мотивов, побуждений или логики ситуации, и анализ причинности. В случае какого-либо единичного, уникального события речь идет или об исторической, или о социологической причинности; говоря языком, который я сегодня предпочитаю, — либо мы пытаемся установить правило или закон, объясняющие событие (закон говорит, что событие *X* происходит в обстоятельствах *a, b, c;* если мы констатируем, что a*, b, c* были даны, мы считаем событие *X* объясненным); либо мы стараемся выявить с помощью ретроспективных подсчетов вероятности, не пренебрегая при этом правилами и общими положениями, причинную роль различных антецедентов.

Что касается причин войны 1914 года, анализ наталкивается на тем бо́льшие препятствия, что кризис развернулся за несколько дней, когда в ответ на одни действия тотчас совершались другие. Некоторые из этих действий явились предметом отдельных исследований: отклонение австрийским правительством ответа сербского правительства, всеобщая мобилизация в России и т. д. В противоположность тому, что кое-кто из моих читателей усмотрел в моей книге, мне не кажется, будто анализ причин Первой мировой войны должен непременно страдать фундаментальной относительностью, однако он не может привести к точным и доказанным результатам. Поскольку Россия считала себя защитницей южных славян, Австрия, очевидно, брала на себя риск всеобщей войны как следствия системы альянсов. Но какова была степень риска (или вероятности) войны? Каковы были намерения венских министров? Насколько были законны требования Вены? Современникам никогда не удается быть беспристрастными; это удается историкам, но они не могут дать категорических ответов на вопросы, которые ставят подобно следователям.

Этот упрощенный пример позволяет понять общие положения, которые я хотел подтвердить в ходе своего исследования: «Понимание имеет отношение к внутренней ясности побудительных мотивов и идей. Причинность устанавливает прежде всего необходимые связи, наблюдая закономерности. В той мере, в какой социолог пытается раскрыть причинные связи, он законно игнорирует — должен игнорировать — правдоподобие рациональных последовательностей, он изучает исторические явления как чужую природу или, следуя классическому выражению, как вещи». Немного выше я проводил различие между тремя интенциональностями — судьи, ученого и философа. Первая выражается вопросом: кто виновен (или что виновно)? Вторая ведет к установлению постоянных связей сосуществования или последовательности. Третья стремится сблизить и соединить два предыдущих подхода, поставив каждый на свое место в системе исторического детерминизма.

Стоит напомнить только вывод из раздела, посвященного причинности, а именно, множественность, имманентную миру истории. Никакое общество, никакое становление не являются чем-то цельным. Так же как мы не улавливаем конечную интенцию, *Gesinnung,* человека (или его сверхчувственность), мы не можем охватить взглядом обширное целое — глобальную культуру или даже макрособытие, подобное Французской революции. Эта множественность происходит из множественности самого человека, являющегося одновременно

жизнью, сознанием и идеей, и фрагментарного характера детерминизма (*моментального,* если нужно объяснить событие, *частичного,* если требуется реконструировать закономерности). Но все повествования, все интерпретации употребляют одновременно познание, основанное на понимании, и причинный анализ; фрагментарный детерминизм покоится на конструкции факта и совокупностей, причинные отношения сопровождаются и освещаются сверхчувственной связью. Причинная адекватность и адекватность понимания, согласно формулировке Макса Вебера и практике всех социологов и историков, укрепляют и подтверждают друг друга, хотя каждый из подходов имеет свой собственный смысл.

Раздел П, трактующий проблему понимания, не поддается, как мне кажется, краткому изложению. В самом деле, я пытаюсь описать там различные аспекты конструирования предмета, основанного на жизненном опыте или на документах, познание самого себя, другого человека, сражения, идеи. Я хотел подчеркнуть существование зазора между пережитым, включая знание, которое мы можем о нем приобрести, и множественностью интерпретаций, присущей природе человеческого объекта: «Историческая наука есть форма осознания сообществом самого себя, элемент коллективной жизни, как познание самого себя есть аспект личного сознания, один из факторов индивидуальной судьбы. Разве не зависит она как от современной ситуации, которая, по определению, меняется с течением времени, так и от воли, одушевляющей ученого, неспособного отрешиться ни от себя самого, ни от своего предмета?.. С другой стороны, историк по отношению к историческому персонажу — *другой* человек. Будь он психологом, стратегом или философом, он всегда наблюдает извне. Для него невозможно ни думать о своем герое так, как тот думал о самом себе, ни увидеть битву такой, какой ее видел или пережил полководец, ни понять учение так, как его понимал автор… Наконец, идет ли речь о толковании поступка или произведения, мы должны концептуально их восстановить. При этом мы всегда имеем право выбора между многими системами, поскольку мысль одновременно имманентна и трансцендентна жизни: все памятники существуют сами собой и для себя самих в духовном универсуме, юридическая и экономическая логика существует внутри общественной действительности и над индивидуальным сознанием».

Эта плюралистичность понимания не равнозначна релятивизму. Если памятник, произведение искусства или мысли несводимы к одному смыслу, если они неисчерпаемы, отсюда

законным образом вытекает множественность интерпретаций — множественность, символизирующая скорее богатство человеческих творений, чем недостоверность нашего знания. Конечно, историки-позитивисты могли бы возразить, что толкование этих произведений шире собственно исторического знания. Однако история живописи или история мысли неизбежно содержит, мне кажется, долю интерпретации, неотделимую от личности интерпретатора, что нисколько не умаляет ценности этой истории. К тому же толкование событий может быть возобновлено, потому что возникла новая система понятий или потому что новые проблемы встали перед историками в более позднюю эпоху. «Социалистическая история Великой французской революции» необязательно искажает действительность, даже если многие действующие лица не сознавали тех проблем, которые проецирует на эту эпоху историк. Большевики помогли нам увидеть якобинцев в другом свете. Наконец, как смысл человеческой жизни не определится раньше последнего дня жизни, так и смысл какого-либо эпизода национальной истории может оказаться преображенным благодаря его более или менее отдаленным последствиям.

Конструирование исторического мира в моем описании не предполагает такой степени релятивизма, которую мне обычно приписывали (впрочем, по моей же собственной вине). Выражение «растворение объекта» кажется мне теперь неоправданно агрессивным и парадоксальным. Но когда мы читаем строки, резюмирующие эту идею, впечатление меняется: «Не существует готовой, предшествующей науке *исторической действительности,* которую достаточно было бы верно воспроизвести. Историческая действительность, будучи действительностью человеческой, *неоднозначна и неисчерпаема.* Неоднозначны множественность духовных миров, проходя сквозь которые разворачивается человеческая жизнь, многообразие систем, в которых занимают свое место элементарные идеи и поступки. Неисчерпаемо значение человека для другого человека, произведения — для интерпретаторов, прошлого — для сменяющих друг друга настоящих времен… В каждом случае мы наблюдали также необходимое усилие отстранения ради объективности. Частичным было бы познание, избравшее какую-либо систему согласно своим субъективным предпочтениям (рациональное объяснение с целью возвеличить, объяснение побудительными причинами с целью принизить) и упустившее реконструкцию системы ценностей или знания, которая позволяет сочувствовать действующему лицу. Равным образом понимание идей явилось бы произвольным, если бы полностью освободилось от психологии

автора и принялось бы смешивать разные эпохи и разные универсумы под предлогом оживления прошлого или извлечения непреходящей истины произведений». И в заключение я писал: «Смысл этой диалектики отстранения и присвоения — санкционировать не столько неопределенность интерпретации, сколько свободу духа». По-моему, я не сказал ничего другого в главе об интерпретации, помещенной в начале книги о Клаузевице, но там я сделал ударение на другом аспекте — трудностях, с которыми встречается толкователь, желающий остаться верным намерениям автора.

Я даже задаю себе вопрос, действительно ли формулировки вроде «теория предшествует истории» настолько парадоксальны, как это показалось в свое время. Толкование философского произведения зависит от концепции философии, которой придерживается историк. То же самое можно сказать об историке религии. Разумеется, приоритет теории по отношению к истории — скорее логического, чем психологического свойства. Историк раскрывает одновременно смысл философии и смысл интерпретируемого произведения. Но последний подчиняется первому.

Некоторым идеям, по существу банальным, способ выражения придавал видимость парадоксальности: «В истории человеческой жизни религиозные искания молодых лет приобретут различное значение в зависимости от последующей эволюции. Если я, неверующий, рассматриваю их задним числом как симптомы полового созревания, то в моей памяти и моем повествовании они удостоятся лишь беглого упоминания. Если же я пережил религиозное обращение, то этих давних исканий не коснется скепсис и они обретут смысл знака или доказательства». Здесь нет ничего удивительного или оригинального, хотя Ж.-П. Сартр использовал потом как мысль, так и пример в книге «Бытие и ничто». Возьмем другой пример, из области политических событий: «Восхождение Буланже перестает быть похожим на восхождение Гитлера с момента, когда последний взял власть в свои руки. Попытка 1923 года была преображена Третьим рейхом. Веймарская республика *стала иной,* потому что национал-социалистская диктатура[72] временно придала ей значение промежуточной фазы между двумя империями. Опыт Народного фронта постепенно раскроет свое *значение* будущим историкам; в зависимости от того, приведет ли он к новому социальному строю или к реакции, этот опыт покажется и будет *действительно различным; вот почему не существует истории настоящего времени.* Современники пристрастны или слепы, как действующие лица или жертвы. Беспристрастность, которой ждет наука,

требует не столько умиротворения страстей или накопления документов, сколько констатации результатов».

Я дал в этой цитате курсивом спорные выражения, оказавшиеся в некотором роде в центре дебатов. *Значение* Народного фронта зависит, безусловно, от его последствий, но не является ли оно внешним по отношению к самим фактам? Можно ли сказать, что Веймарская республика стала подлинно иной из-за того, что за ней последовало? Короче, я неявно утверждал, что смысл событий неотделим от самих событий. Когда, сорок лет спустя, я писал книгу «Имперская республика, Соединенные Штаты в мире, 1945–1972 годы» («République imperiale, les États-Unis dans le mond, 1945–1972»), я встретился с теми же колебаниями уже не как теоретик, а как практик. В самом деле, я попытался разграничить реконструкцию событий, как они были пережиты действующими лицами и зрителями, место этих событий внутри синхронического или диахронического контекста и, наконец, смысл этих событий. Проиллюстрируем эти различия: повествование прослеживает ряд дипломатических и военных решений, ставших этапами во вьетнамской войне между 1956 (или 1961) и 1973 (Парижские соглашения) или 1975 (уход американцев) годами. Само повествование подсказывает, если не навязывает, некую интерпретацию, которая подразумевает ответ на следующие вопросы: явилась ли американская интервенция следствием практического применения доктрины сдерживания? Затянулась ли она из-за бюрократической инерции, из-за высокомерия или из-за неспособности выбрать стратегию и проводить ее? Или в ней выразился империализм, претензия на контроль над миром? Наконец, знаменует ли эта война перелом в истории Соединенных Штатов и тем самым в истории межгосударственной системы? Завершение американской эры? Выдвижение на первый план Советского Союза?

Этот пример побуждает меня исправить подчеркнутые несколько выше выражения. Значение, исторический смысл событий меняется по мере того, как развертываются его последствия. Историк чаще всего включает этот вид интерпретации в само повествование. Однако разграничение между событием и его последствиями представляется мне логически возможным. Вместо слов *прошлое становится иным* я бы сказал: прошлое приобретает иной смысл в глазах тех, кто видит его с расстояния; нельзя забывать, что интерпретация, например, Французской революции неотделима от любой истории этой революции, поскольку реконструкция подчинена подбору фактов и понятий. Кроме того, я убрал бы фразу, которая как будто выносит приговор истории в настоящем времени.

Сейчас развивается жанр, который можно назвать текущей историей или историей сегодняшнего дня. Я не отказываю ей в праве на существование, хотя она представляет собой в значительной степени материал для историка будущего.

Моя книга не столько была вкладом в эпистемологию исторического познания, сколько отвечала намерению, в котором я признавался читателю: «В 1930[73] году я принял решение изучить марксизм, чтобы пересмотреть мои политические идеи с философской точки зрения». Анализ исторической причинности служил фундаментом или введением в теорию (или, скорее, в наброски теории) действия и политики. Вся книга освещала политический образ мыслей — мой образ мыслей с тех пор и доныне. В несколько схоластическом стиле я различал три этапа: выбор, решение, поиск истины.

«Следуя логике, важно прежде всего определить, принимаете вы или нет существующий порядок; выступаете за или против того, что есть, — такова первая альтернатива. Реформаторы, или реформисты, противопоставляют себя революционерам, тем, кто хочет не улучшить, а уничтожить капитализм. Разрушая свою среду, революционер пытается примириться с самим собой, ибо человек находится в согласии с собой только в том случае, если он в согласии с общественными отношениями, чьим пленником является… У революционера нет другой программы, кроме демагогической. Скажем, что у него есть *идеология,* то есть представление об иной системе, трансцендентной, настоящей системе и, вероятно, неосуществимой. Но только успех революции позволит провести различие между предвидением и утопией. Если человек ограничивается идеологией, он стихийно окажется на стороне революционеров, которые обычно обещают больше других. Возможности воображения неизбежно превосходят действительность, даже искаженную или преображенную ложью. Этим объясняется предубеждение интеллектуалов в пользу партий, именуемых прогрессивными».

В этом отношении я не изменился; если я не избрал дело революции (как в 1937, так и в 1981 году оно совпадает с делом коммунизма или марксизма-ленинизма), то причиной этому мой так называемый пессимизм: «Нет сомнения, что известные нам до сих пор общества были несправедливыми (если мерить их современными представлениями о справедливости). Остается узнать, чем же будет справедливое общество, если только его можно определить и осуществить». Во вступительной лекции в Коллеж де Франс я признал или, лучше сказать, провозгласил крах всех *социодицей* 95. Сегодня я добавлю, что современные

общества кажутся нам более несправедливыми, чем прежние общества казались тем, кто в них жил. Причина проста: современные демократические общества взывают к идеалам, которые в значительной степени неосуществимы, и устами своих правителей выражают стремление к недостижимой власти над своей судьбой.

Что означает приоритет этого выбора — за или против революции? Прежде всего он требует как можно более вдумчивого изучения действительности и того виртуального общественного строя, который сменил бы настоящий. В исторически обоснованной политике, как я ее понимаю, рациональный выбор становится результатом не только нравственных принципов или идеологии, но и аналитического, максимально научного, исследования. Исследование, которое никогда не приведет к какому-то неопровержимому выводу, не навяжет во имя науки тот или иной выбор, но зато предостережет против ловушек как идеализма, так и доброй воли. Это не значит, однако, что политический выбор игнорирует ценности или мораль. В конечном счете, выбирая либеральную и капиталистическую демократию, а не коммунистический проект, мы делаем это не только потому, что считаем механизм рынка более эффективным, чем централизованное планирование (хотя относительная эффективность экономических механизмов — безусловно, аргумент в пользу того или иного общественного строя). Мы выбираем, руководствуясь многими критериями, как то: эффективность институтов, свобода личности, справедливость распределения и — что, может быть, важнее всего — тип человека, создаваемый тем или иным строем.

Я различал в то время — и позже не раз использовал это различие — политику понимания и политику объяснения: *«Политик понимания* — Макс Вебер, Ален — стремится он сохранить некоторые блага — мир и свободу — или достичь единственной цели — величия нации — действует в непрерывно обновляющихся ситуациях, смена которых происходит неорганизованно. Такой политик подобен кормчему, который ведет судно, не зная, где находится порт. Дуализм средств и целей, реальности и ценностей; нет ни целостного настоящего, ни фатального будущего, каждое мгновение для него ново. *Политик объяснения,* напротив, предвидит, по крайней мере, ближайший этап развития. Марксист знает, что исчезновение капитализма неизбежно, и единственная проблема состоит в том, чтобы адаптировать тактику к стратегии, выработать компромисс с существующим строем для подготовки нового общественного строя».

Я представил политику понимания и политику объяснения как идеальные типы, которые в действительности не исключают друг друга: «Нет такого спонтанного действия, которое не подчинялось бы далекой цели, нет наперсника Провидения, который бы не выжидал подходящего случая… Политика есть одновременно искусство безвозвратного выбора и долгих намерений». Последняя фраза с минимальными поправками относится также к журналисту или комментатору: толкование события ценно только в той мере, в какой оно улавливает и своеобразие этого события, и его место в системе, комплексе или процессе.

Второй этап действия я назвал решением, то есть вовлечением индивида в политический выбор. «Выбор не является внешней деятельностью для подлинной личности — совершая этот решающий акт, я встаю на ту или иную сторону и сужу о той общественной среде, которую признаю своей. Выбор, касающийся истории, сливается в действительности с решением, которое я принимаю о себе самом, ибо его источник и его объект — мое собственное существование».

Озаглавив этот второй параграф «Человек исторический: решение», я, можно сказать, облагораживал политику. Политическое решение, решение об истории, есть также решение каждого о себе самом.

«В редкие спокойные эпохи, когда частная жизнь развертывалась вдали от государственных дел, когда ремеслу было нечего (или почти нечего) ждать или опасаться от властей, политика представлялась специальностью, отданной на откуп нескольким профессионалам, занятием, одним из многих других, скорее увлекательным, чем серьезным. Понадобилась война, чтобы напомнить людям ту истину, что они прежде всего граждане, а уж потом частные лица: коллектив, будь то класс или партия, законно требует от каждого жертвы во имя общего дела. Участвуя в защите страны или в революции, индивид, принадлежащий истории, обязан брать на себя высший риск». Я написал эти строки в 1937 году, когда правительство Народного фронта поднимало одних французов против других, когда над Францией простиралась тень войны и Третьего рейха. Фашизм или коммунизм, сопротивление Гитлеру или покорность: действительность подтверждала, что «политический выбор может повлечь за собой выбор той или иной смерти, но всегда означает выбор той или иной жизни». Существование Гитлера и Сталина оправдывало настойчивость, с какой я утверждал, что политический выбор влечет за собой выбор, касающийся общества в целом, что принятое решение распространяется и на

действующее лицо, и на его среду: «Выказывая предпочтение какому-то общественному строю, мы выбираем образ жизни… Я обнаруживаю ситуацию, в которой живу, но я признаю ее своей только тогда, когда соглашаюсь на нее (или ее отвергаю), то есть определяю ту ситуацию, в которой хочу находиться. Выбор среды — это решение обо мне самом… Это глубоко историчное решение творит мой духовный мир, определяя одновременно место, на которое я претендую в коллективной жизни». Вопреки неотвязной мысли о трагическом характере политики, я уже сознавал ограниченность ее ставок: «Не все будет потрясено революцией, если она разразится. Всегда останется больше преемственности, чем воображают фанатики. Разум не является всецело пленником общей судьбы». В то же время я подчеркнул неизбежный парадокс или, может быть, лучше сказать, противоречие между абсолютным характером выбора и спорностью любого дела: «В нашу эпоху слепых верований желательно, чтобы люди помнили: конкретный объект их привязанности не дан в откровении, а, по всей вероятности, кем-то разработан; он не должен бы, подобно трансцендентным религиям, разделять мир на два противостоящих друг другу лагеря. Хочется подчеркнуть не столько абсолютный характер выбора, сколько хрупкость мнений и убеждений. В самом деле, пока остается место для дискуссии, стоит помнить, что человечность немыслима без терпимости и что никому не дано обладать всей истиной». И тем не менее, «чтобы выполнить историческую задачу, человек должен брать на себя риск, который для него влечет огромные последствия».

Философия, содержащаяся в четырех последних параграфах книги, подспудно несет в себе некое представление о человеке, прежде всего о человеке, совершающем выбор, творящем себя и выносящем суждение об объективном духе, который он сделал частью своего внутреннего мира; человеке, принимающем решение о себе самом и пытающемся преобразовать свою среду в согласии со своим выбором: «Человек, сознающий свою конечность, знающий, что его жизнь единственна и ограничена во времени, должен, если только он не отказывается продолжать жить, посвятить себя целям, ценность которых он освящает тем, что подчиняет им свое существование… Напомнить, как человек определяет себя и свою миссию, меряясь с небытием, не значит ни уступать моде патетической философии, ни смешивать тревогу потрясенной эпохи с постоянной данностью, ни впадать в нигилизм. Напротив, это значит утверждать могущество того, кто создает себя, вынося суждение о своей среде и выбирая себя. Только так человек интегрирует в свое сущностное *я* историю, которую несет в себе и которая становится его собственной».

Оставался — и остается — важнейший вопрос: что следует понимать под историей-действительностью? Составляет ли совокупность человеческих обществ *единство*? Можно ли охватить понятием Истории тысячи человеческих сообществ, начиная с малочисленных палеолитических групп и неолитических племен и кончая империями и современными нациями? Я рассматривал только семь тысячелетий, в течение которых развивались или приумножались коллективности или духовные миры. И я утверждал, не без колебаний и угрызений совести, что человек имеет за собой незаконченную историю или, скорее, он «сам есть незаконченная история». Формулировка, родившаяся, вероятно, из моих кантианских воспоминаний.

Последние страницы свидетельствуют, как мне кажется, о напряженности между моими непосредственными эмоциональными реакциями на исторический опыт и моими философскими размышлениями: «Каждый человек уникален, незаменим в себе самом и для нескольких других людей, иногда — для человечества. Однако История безжалостно расходует человеческие личности, и избежать этого невозможно до тех пор, пока насилие будет необходимо для социальных перемен». Людей приносят в жертву историческим целям, и, однако, эти цели находятся в земном мире. «Нравственное суждение, относящее действие к действующему лицу, оказывается смехотворным перед чудовищным величием истории, которая вся целиком заслуживает осуждения, если мерить ее законом любви или императивом доброй воли: должно ли подчинять вождя или властелина общему правилу? Он один среди многих — поэтому трудно избежать утвердительного ответа. Он ответствен перед будущим за свое дело в большей степени, чем за свое поведение, — поэтому побуждение ответить отрицательно пересиливает».

Поскольку бытие человека исторично — он конечное существо, которое посвящает себя недолговечным творениям и стремится достичь целей, превосходящих его возможности и его ничтожно малый жизненный срок, — то как не задать себе вопроса о конце истории? Не о космологическом или биологическом конце человечества, не способного дольше жить на планете, ставшей непригодной для жизни из-за стихийных катаклизмов или безумия людей, но о конце, как его мыслили Кант и Гегель: о состоянии человечества, отвечающем его назначению и, так сказать, осуществляющем истину, которую искали люди.

«Эта истина должна быть выше многообразных видов деятельности и ценностей, иначе она опустилась бы до уровня

отдельных и противоречивых воль. Она должна быть конкретной, иначе, подобно этическим нормам, осталась бы вне действия. Одновременно теоретической и практической, как цель, поставленная марксизмом. Благодаря власти, которую человек приобретет над природой, он постепенно достигнет такой же власти над общественным устройством. Участвуя в двух коллективных делах — государстве, превращающем каждого индивида в гражданина, и культуре, делающей доступным для всех общее достояние, — он осуществит свое призвание: примирение человечества и природы, сущности и существования». И я добавлял: «Идеал, конечно, неопределенный, поскольку есть разные представления об участии и примирении, но, по крайней мере, не ангелический и не абстрактный».

Я редко намекал на эту идею Разума, на конец истории в моих последующих книгах, хотя во мне осталась ностальгия по этим понятиям. После войны я упрекал Сартра и Мерло-Понти в том, что они смешивали частную цель с концом истории; эта путаница питает фанатизм, ибо преобразует схватки классов и партий в борьбу, не столько вечную, сколько конечную, добра и зла. Пожалуй, стиль последних строчек диссертации кажется мне теперь преувеличенно патетическим: «Существование диалектично, а значит, оно — драма, ибо человек действует в хаотичном мире, вовлекается в нескончаемую борьбу, ищет ускользающей истины, полагаясь всего лишь на фрагментарную науку и формальное мышление». Я не был ни одержимым, ни отчаявшимся — я переживал заранее мировую войну, приближения которой не чувствовали мои судьи в Зале Луи-Лиар.

Значительно более прозорливый Бернар Гретюизен писал в «Нувель ревю франсез»: «Концепция истории Раймона Арона и его поколения ближе к историческому реализму Дильтея, чем к философскому идеализму Зиммеля, Риккерта и Вебера… Он хотел бы вырвать у истории ее тайну… Это „почему“ поколения, которое стремится понять свою судьбу или, скорее, победить свою судьбу, поняв ее. Книги Арона отражают пафос нового поколения. Что-то происходит, и мы не знаем что. А что еще готовится произойти?.. Арон привязан ко времени действием; он чувствует себя ответственным за то, что происходит. Именно это придает страстность его произведению. Страстность эта, по видимости, чисто интеллектуальна, но в ней постоянно ощущаются беспокойство и озабоченность гражданина».

Я был уже близок к тому себе, кем стал после войны. Леон Брюнсвик сказал мне во время защиты диссертации: «Эта книга содержит программу целой жизни». Он был прав: программу, которую нельзя ни точно сформулировать, ни когда-либо

завершить.

Два письма тронули меня и ободрили относительно этой работы, которую я поспешил закончить до начала неминуемой войны. От Анри Бергсона: «Дорогой коллега, состояние моего здоровья вынудило меня прервать всю переписку на несколько недель. Это объяснит Вам, почему я не отблагодарил Вас раньше за любезную присылку Вашего „Введения в философию истории“. Однако я прочел Вашу книгу сразу и с живейшим интересом. Она полна идей и в высшей степени суггестивна. Если можно ее в чем-либо упрекнуть, то именно в том, что она устремляет ум читателя по слишком многим направлениям. „Felix culpa“[74], вне всякого сомнения; но из-за этого необходимо повторное чтение, чтобы составить представление о целом. Это повторное чтение я непременно осуществлю, если смогу, взяв за ориентиры те ваши мысли, которые мне кажутся наиболее согласными с тем, что я думаю сам, в частности, соображение о последствиях *разбивки* и *ретроспекции.* Но уже сейчас я считаю необходимым адресовать Вам мои комплименты по поводу этой книги и присоединяю к этому выражение самых теплых чувств». Анри Бергсон всегда отвечал авторам, присылавшим ему свои книги, и выказывал им большую снисходительность. Совсем необязательно это письмо должно отражать подлинную оценку философа. Однако мой двоюродный брат Эмиль Арон, лечивший его во время войны, заверил меня, что Бергсон действительно многого ждал от молодого философа.

Другое письмо я получил от Жана Кавайеса, которого мы все в Эколь Нормаль уважали и которым восхищались. Искра дружбы вспыхнула между нами немногими годами позже, в Лондоне, когда этот командир организации Сопротивления Кагора несколько недель прожил у меня дома. «Я от души благодарю тебя за дружескую присылку твоей книги. Прочитал ее в минувшие каникулы с неослабевающими восхищением и интересом. В ней есть строгость анализа и мастерское владение целым, которые чувствуешь на каждой странице с неизменной интеллектуальной радостью, как и ту прозорливость, с какой ты уточняешь истинное значение различных подходов. Стремление к абсолютной честности — это, может быть, то, за что я тебе больше всего благодарен. Твои многочисленные разграничения (и прежде всего общее разграничение понимания и причинности) и твоя критика Вебера по поводу детерминизма и вероятности крайне важны и поразительно ясны. Я не спешил с этим письмом в надежде поговорить с тобой о книге подробно, но это — пустое занятие, если не имеешь сказать чего-то конкретного; сейчас я могу только выразить свою благодарность читателя… Что

касается раздела I, в частности параграфов о познании самого себя и другого человека, то они находятся в самом центре философии, и это лучшее, что я читал по-французски за многие годы».

Люсьен Леви-Брюль, с которым я не был знаком, высказал желание встретиться со мной. У меня была долгая беседа с этим человеком, внушавшим искреннее уважение. Философ по образованию, он остался им вопреки своему обращению в социологическую «веру». В течение долгих лет именно он принимал решение о назначениях на кафедры философии во Франции. Никто никогда не усомнился в его справедливости, не заподозрил в малейшем пристрастии к своим друзьям или к философам, близким к его позитивистскому рационализму. Значительная часть нашей беседы была посвящена войне, которую он ненавидел как пацифист, но приближение которой видел, не питая иллюзий и не отчаиваясь. Вопреки грядущим ужасам, он сохранял свою нравственную веру. Несколько недель спустя Люсьен Леви-Брюль умер. Я встретил в нем человека, внимательного к окружающему миру; ко мне он отнесся скорее дружески, чем сердечно, сдержанно, но без тени высокомерия. Возраст не исказил, а скульптурно отточил его черты, лицо дышало покоем; труженик, сознающий, что завершил свой труд, он проявлял интерес к творчеству, которое ему уже не суждено было узнать. Я навсегда запомнил нашу беседу и урок, который давал мне самим своим существом великий ученый. В ту пору я ошибочно считал себя от него далеким.

VI
ПУТЬ К КАТАСТРОФЕ

Между 1934 и 1939 годами я не принимал никакого участия ни в политических, ни в интеллектуальных дебатах, но следил за событиями так страстно в течение этих проклятых лет, что считаю необходимым рассказать о них. Я остро переживал мучительный разрыв внутри страны и предчувствовал катастрофу, которая ожидала французов, поднявшихся друг против друга и не сумевших сплотиться даже перед лицом беды.

Большинство моих спутников тех лет уже умерло. Люди, с которыми я общаюсь ныне, принадлежат к другому поколению и знают довоенное время только по книгам. Они плохо представляют себе тогдашний упадок Франции; самым молодым нелегко вообразить парижскую атмосферу даже эпохи «холодной войны». Эти страницы адресованы моим друзьям, пробудившимся к размышлениям над политикой на двадцать — тридцать лет позже меня.

В период между 1929 и 1931 годами Франция, относительно пощаженная кризисом, не страдала от массовой безработицы в отличие от Великобритании или Германии. В 1931 году лондонское правительство «национального единства» [96] было вынуждено принять решение, которое освободило и спасло экономику, — девальвировать фунт стерлингов и, предоставив колебаниям рынка, установить его цену. Поскольку бо́льшая часть сырья оценивалась в то время в фунтах стерлингов, его цены снизились для таких стран, как Франция, которые не изменили курс своей валюты по отношению к золоту или, что то же самое, к доминирующим на мировом рынке валютам.

Стабилизационный курс франка был плохо рассчитан Раймоном Пуанкаре в 1926 году и оказался заниженным; во Франции происходит накопление золота. С 1931 года поток направляется в обратную сторону, золото убегает от денег, курс которых отныне завышен; стремительно обнаруживаются неизбежные плачевные результаты этого завышения. Сектор, защищенный от конкуренции мировой экономики, удерживает свои цены; сектор, открытый миру, теряет свои рынки, ищет замены им в пределах Империи и вынужден снижать издержки производства и продажные цены. С 1931 по 1936 год все правительства — умеренно-левых (1932), центра или правых — придерживаются этой политики наперекор стихиям. Лаваль,

придя к власти, доводит до крайности прежнюю политику; он декретирует понижение всего — жалованья чиновников, бюджетных расходов, издержек производства — и отказывается от дополнительной меры, рекомендованной его советниками, прежде всего Жаком Рюэфом, — девальвации. Все сменявшие друг друга правительства — Думерга, Фландена, Лаваля — содействовали драме французской экономики. 1931 год: Франция, пощаженная кризисом, сидит на мешке с золотом; 1936 год: Франция, сотрясаемая все расширяющимися забастовками, идет, судя по всему, к гражданской войне. Из всех индустриально развитых стран она одна не вышла из кризиса в 1936 году; уровень производства 1929 года не был достигнут, а наши правители — за исключением Поля Рейно — еще не поняли абсурдности монетарного патриотизма.

Таким виделся исторический фон Роберу Маржолену, нескольким нашим друзьям и мне. Мировой кризис, отказ правителей — как министров, так и руководителей экономики — от принятия решений, которых требовала девальвация фунта стерлингов и доллара, приговорили нашу экономику к затяжному лечению понижением цен и постепенному ослаблению. Дефляция отражалась на положении рабочих. Давление, которое непрерывно оказывала на трудящихся необходимость производить дешевле, усиливалось не столько из-за бесчеловечности хозяев, сколько из-за последствий завышения курса франка. В бессильном отчаянии мы присутствовали при этом самоубийственном заблуждении.

На авансцене продолжалось соперничество партий, финансовые скандалы вызывали кампании в печати и докрасна накаляли политические страсти. В волнениях 1934 года не обнаружилось следов деятельности или происков подлинно фашистской партии. Дело Ставиского [97], взбалмошные переводы крупных чиновников из Префектуры полиции в Комеди Франсез [98], процессии «Боевых крестов» [99] полковника де Ла Рока, служба порядка, действующая то пассивно, то жестоко, — все это привело к шестому февраля, одному из тех исторических дней, секретом которых обладает Франция (май 1968 года показал, что нация полностью сохранила этот дар). Находясь у себя в Гавре, уже отчужденный от других своей навязчивой мыслью о внешней опасности, я наблюдал эти перипетии издалека. Антифашистом я был вне всякого сомнения, но о каком сопротивлении гитлеровской угрозе может идти речь, если правительство опирается лишь на половину нации?

Я отказался войти в комитет бдительности интеллигентов-антифашистов [100] в 30-е годы по двум веским причинам. Во-

первых, во Франции не существовало фашистской угрозы в том смысле, какой придавали этому термину исходя из примеров Италии и Германии. Полковник де Ла Рок был больше похож на руководителя ветеранов войны, чем на демагога, способного разжечь ярость толпы. Во-вторых, союз интеллигентов-антифашистов объединял последователей Алена (пацифистов по преимуществу), коммунистов вкупе с попутчиками и убежденных социалистов. Все они ненавидели фашизм и войну, но в том, что касалось главной проблемы — позиции по отношению к Третьему рейху, — у них были разногласия. Начиная с 1935 года, с визита Пьера Лаваля в Москву и совместной декларации двух правительств 101 (в которой Сталин заявлял о своем понимании требований французской национальной обороны), коммунистическая партия закрыла рубрику «Солдафоны» в «Юманите» («Humanité»), отказалась от примитивного антимилитаризма, подняла трехцветный флаг и вошла в антифашистскую коалицию. Нам уже был известен их «иностранный национализм», по выражению Леона Блюма; ученики Алена были не одиноки, относясь с подозрением к своим союзникам: те то ли хотели предупредить войну, то ли направить ее на Запад. У Советского Союза не было общей границы с Германией. Польша и Румыния не меньше опасались своего мнимого покровителя на Востоке, чем потенциального агрессора на Западе.

Я не был солидарен ни с одной из партий, ни с одной из резолюций. Каждое событие — восстановление обязательной военной службы в Германии, Абиссинская война, вступление германской армии в Рейнскую область, затем, в 1938 году, в Вену, Мюнхенское соглашение — становилось поводом для громких споров, до которых так охочи французские интеллектуалы и в которых смешиваются соображения национального интереса и идеологические страсти.

Экспедиция, предпринятая Муссолини в конце 1935 года в Эфиопию, поставила французскую дипломатию перед одной из тех мучительных альтернатив, которые символизируют величие и неволю политики 102. Одобрить или простить итальянскую агрессию значило поколебать нравственные принципы, на которые ссылалась французская внешняя политика, отречься от заявлений государственных деятелей, защищавших интересы нашей страны и дело мира в Женеве. Применить к совершившей агрессию Италии эффективные санкции значило разорвать единый фронт, сформировавшийся в 1934 году по случаю убийства в Вене канцлера Дольфуса 103, подтолкнуть итальянский фашизм к немецкому национал-социализму, отдалиться от

британского правительства, которое, внезапно став сторонником доктрины коллективной безопасности, стремилось мобилизовать Лигу Наций против Италии и за международное право.

В любом случае этот кризис не создавал серьезной военной угрозы. Фашистская Италия не обладала необходимыми средствами для ответа на нефтяное эмбарго или вмешательство *Royal Navy*[75], как стало ясно позднее, в ходе войны. Если бы Лига Наций, воодушевляемая Великобританией и Францией, победила, смог ли фашизм существовать дальше? Об этом велись споры полвека тому назад. Ответ — унижение убило бы фашизм — остается правдоподобным, но не доказанным.

Дебаты интеллектуалов начались даже раньше, чем споры дипломатов. На другой день после ввода итальянских войск в Эфиопию, 4 октября 1935 года, «Тан» опубликовала манифест французской интеллигенции «В защиту Запада и мира в Европе» («La Défense de l'Occident et la paix en Europe»). Вот несколько строк оттуда: «В час, когда Италии угрожают санкциями, способными развязать беспрецедентную войну, мы, французские интеллигенты, считаем необходимым заявить всей общественности, что не хотим ни этих санкций, ни этой войны». Иначе говоря, люди, подписавшие этот призыв, во главе с Анри Массисом, считали войну неизбежным следствием санкций — что было по меньшей мере маловероятно.

«Когда действия людей, которым доверена судьба народов, рискуют подвергнуть опасности будущее цивилизации, долг всех, кто посвятил себя интеллектуальной деятельности, — заставить услышать требования разума. Против Рима хотят бросить европейские народы. Не колеблясь, Италию третируют как преступницу под предлогом защиты независимости кучки неграмотных африканских племен, которых поощряют таким образом вызывать на поединок великие государства. Оскорбительные действия чудовищной коалиции подорвали бы справедливые интересы западного сообщества, поставили бы всю цивилизацию в положение побежденной. Даже предполагать такую возможность — уже знак умственного расстройства, в котором проявляется отречение от цивилизаторского духа…»

Дальше говорилось о «цивилизаторской победе», о коалиции «всех анархий, всех беспорядков против нации, которая за последние пятнадцать лет утвердила, возродила, организовала, укрепила некоторые основные добродетели высокой человечности». Если подобная литература, восхваляющая фашистские добродетели и цивилизаторскую миссию Запада, еще и существует сегодня, то где-то на задворках нашей страны; тогда же она выражала чувства и мысли правых, к которым

принадлежали такие люди, как Габриель Марсель или Жан де Фабрег.

Левые католики, или христианские демократы, ответили на этот текст призывом, где другие аргументы приводили к тому же выводу — отказу от мер, грозивших развязыванием войны: «Приходится констатировать, что мир не может вмешаться силой оружия в конфликт в Эфиопии, не подвергнувшись риску еще больших бед». Считалось как бы само собой разумеющимся, что Италию можно остановить только силой и что применение силы против Италии разожгло бы пожар в Европе. В остальном левые христиане напоминали, что в деле колонизации были «допущены тяжкие ошибки»: «Нужно считать нравственной катастрофой то, что блага западной колонизации с несравненной яркостью продемонстрированы этим народам при помощи мощнейших средств разрушения, поставленных на службу насилию, и что нарушения права в подобной войне считаются извинительными под тем предлогом, что речь идет о колониальном предприятии… Важно также разоблачить софизм о неравенстве рас. Говоря, что некоторые народы пребывают в более низком состоянии культуры[76] по сравнению с другими, мы просто констатируем очевидный факт. Но из этого делается имплицитный вывод о *сущностном* неравенстве, предназначающем некоторые расы или народы для служения другим и меняющем по отношению к ним законы справедливости и несправедливости…» Моральное осуждение текста Массиса здесь несомненно и не оставляет места разночтениям, однако авторы не подсказывали никакой определенной политической акции, идущей вразрез с тем, за что ратовали правые. Применение силы исключалось и даже не упоминалось о санкциях, которые были бы действенны без вмешательства армии или флота. Отказ от применения силы, от войны и даже риска войны объединял всех христианских интеллектуалов. Общими для них были риторика и отсутствие реализма.

Левые, со своей стороны, выступили с манифестом «За соблюдение международного права»: «Подписавшиеся… удивлены также тем, что некоторые французские авторы соглашаются с неравенством в правах различных человеческих рас. Эта мысль противоречит нашей традиции и сама по себе позорна для столь многочисленных членов нашего сообщества… Они [подписавшиеся] считают долгом французского правительства присоединиться к усилиям всех правительств, борющихся за мир и соблюдение международного права…»

Члены *Комитета антифашистской бдительности* (Comité de vigilance antifasciste) солидаризировались с последней

резолюцией. Она обещала мир как следствие соблюдения международного права и уклонялась от ответа на аргумент другого лагеря: правильно ли навязывать соблюдение международного права, применяя или угрожая применить силу? Когда во время дискуссии, кажется в «Союзе во имя истины», я анализировал меры, которых требовала коллективная безопасность, Жан Валь поспешил отмежеваться от меня: он отвергал силу в любом случае. В этом пункте все интеллектуалы оказывались неспособными следовать логике своих собственных позиций и признать, что, идя на риск сейчас, можно предупредить гораздо более серьезную опасность, которая ждет нас через несколько месяцев или лет.

Вступление немецких войск в Рейнскую область произошло в момент, когда кризис в Эфиопии еще не был погашен. Вопреки рекомендациям своих советников, Гитлер послал несколько отрядов вермахта в демилитаризованную зону, заверив военачальников, что войска отойдут назад, если французская армия ответит на это нарушение Локарнского соглашения. Правительству Сарро предстояли через несколько недель всеобщие парламентские выборы; военный министр генерал Морен утверждал, что вмешательству французской армии в Рейнской области должна предшествовать мобилизация. Редко руководители державы, которая еще хочет быть великой, имели подобный случай повлиять на судьбу своей родины и всего мира. Гитлер восстановил воинскую повинность в 1935 году; с тех пор едва прошел год, и преобразование немногочисленных элитных войск в национальную армию еще не могло зайти достаточно далеко, чтобы ее генеральный штаб решился помериться с нами силами. Конечно, Рейнская область была немецкой территорией, и Гитлер снова ссылался на принцип недискриминации, который экс-победители в войне уже не осмеливались опровергать, однако вторжение в Рейнскую область представляло собой нарушение договора, добровольно подписанного Германией. Демилитаризация Рейнской области не лишала рейх провинции, а жителей — свободы, но являлась единственно возможной предосторожностью против замыслов, о которых германский канцлер объявил еще до того, как пришел к власти.

Какой же была реакция интеллигентов? Через день или два после перемещения немецких войск я встретил Леона Брюнсвика в нижнем конце бульвара Сен-Мишель. Мы заговорили о происходящих событиях. «На этот раз, — сказал он мне, — британцы, к счастью, стараются нас успокоить». (Министр иностранных дел П. Фланден находился в тот момент в Лондоне.) Я попытался как можно лучше объяснить ему значение

ремилитаризации Рейнской области, крах нашей системы альянсов, нашу неспособность прийти отныне на помощь Чехословакии и Польше, противоречие между нашим военным механизмом, рассчитанным на оборону, и нашими союзническими обязательствами (это противоречие мы с друзьями часто обсуждали). Леон Брюнсвик выслушал меня, наполовину убежденный, и заключил, трезво и иронично по отношению к самому себе: «Хорошо, что мои мнения в политике остаются без последствий». Лет через тридцать, во время защиты диссертации Жюльена Френда, Жан Ипполит заметил то же самое о себе. Размышлять о политике легко, но при одном условии: понять ее правила и подчиняться им. Я согласен с тем, что мыслители оставляют другим неблагодарную задачу осмыслять эту деятельность, но они редко смиряются с этим воздержанием.

Лучшего ли интеллектуального качества была реакция признанных рупоров интеллигенции? Статья Э. Берля в «Марианне» («Marianne») от 11 марта не была лишена здравого смысла. Озаглавленная «Диктаторы и крючкотворы» («Dictateurs et procéduriers»), она показывала контраст между Гитлером, двигавшим вперед свои пешки, и Францией, которая занималась только вопросами процедуры. «Господин Гитлер продвигает свои войска к нашей границе и предлагает нам мир. Мы также должны предложить мир, увеличить численность войск и обратиться за помощью к странам, которые нам ее обещали. Худшее, что можно сделать, — это все сильнее подогревать немецкую воинственность, противопоставляя ей все менее глубокие окопы».

Самый продуманный, представительный и вместе с тем самый удручающий документ исходил из *Комитета бдительности интеллигентов-антифашистов* во главе с Риве, Ланжевеном и Аленом. Я не стану утомлять читателя воспроизведением всего текста. Он начинался следующим утверждением: «Односторонняя денонсация Локарнского договора, какие бы аргументы ни приводились для ее оправдания, политически, юридически и морально неприемлема». Немного ниже: «Нынешний конфликт — это не конфликт между Германией и Францией, но между Германией, с одной стороны, и всеми державами, подписавшими договор в Локарно, и Лигой Наций — с другой». Между пунктом 1 и пунктом 7 заявление напоминало об «особой и тяжелой ответственности, которая лежит на нескольких наших правительствах за ход событий, приведший к нынешней ситуации»; призывало Францию «самым решительным образом порвать с долгой традицией рутины и ошибок, из которых самой губительной была оккупация Рурского бассейна». Какое же выводилось из всего этого заключение?

«Единственным решением, почетным для всех и действенным для сохранения мира, является возвращение Германии в Лигу Наций на основе абсолютного равенства в правах и обязанностях…» Далее, в пункте 9, находим следующее уточнение, учитывающее требования коммунистической партии: «…Если демократическая Франция, преодолев глубокое отвращение к гитлеровскому режиму, согласится, ради высших интересов сохранения мира, вести переговоры в рамках Лиги Наций с Третьим рейхом, она не может признать за последним право выступать поборником западной цивилизации и отвергать всякий контакт с СССР, членом Лиги Наций».

Этот манифест, хорошо написанный, аргументированный и, по словам Жана Геенно, «достойный восхищения», трагически иллюстрирует наивность интеллигентов-антифашистов перед лицом событий.

7 марта 1936 года французское правительство должно было сказать «да» или «нет», действовать или смириться: все прочее было *words, words, words*[77]. «Возвращение Германии в Лигу Наций» — не более чем пустословие. Ум работал вхолостую, с единственной неосознанной целью — замаскировать отречение. В большинстве министерских канцелярий за пределами Франции понимали значение события. Насколько я помню, польское правительство сообщило, что готово ввести свои войска в Германию, если наши войдут в Рейнскую область. Левые интеллигенты не понимали или не хотели понимать. Достаточно перечитать статью Жана Геенно в «Марианне» от 13 марта: «Когда прошла минута первой тревоги, страна снова обрела свою мудрость… Благодаря такому заявлению *[Комитета бдительности*] из самой этой тревоги, из этих безумств [Гитлера], из этих насильственных действий может наконец родиться мир, истинный мир, „Европа“, если Франция найдет наконец людей, способных говорить действительно от ее имени, если Франция этого захочет». Франция без сопротивления потеряла единственную гарантию мира, за которую заплатили своей жизнью 1 300 000 ее детей; а интеллектуалы восхваляли народ, через неделю после «тревоги» снова обретший свою «мудрость».

Пожалуй, стоит процитировать Леона Блюма, чье мужество и моральную высоту я не отрицаю, но чье ослепление скрывают его биографы или, вернее, агиографы. Вот что он писал в газете «Попюлер» («Populaire») от 7 апреля: «Буквальный текст Локарнского договора не оставляет места сомнениям. Военная оккупация Рейнской области прямо уподобляется там неспровоцированной агрессии и захвату национальной территории. Таким образом, французское правительство имело

бы полное право отнестись к переходу Рейна рейхсвером как к очевидному насильственному действию, военной акции и даже, повторяю, захвату территории. Оно этого не сделало. Не думаю, что оно хоть на миг склонялось к этой мысли[78], и мне неизвестно, чтобы хоть одна политическая партия, хоть один орган, ответственный за общественное мнение, упрекнули его за то, что оно этого не сделало. Вместо того чтобы вернуть паспорта германскому послу, объявить мобилизацию, потребовать от держав-гарантов немедленного исполнения бесспорных военных обязательств, оно обратилось в Лигу Наций. Ни французское правительство, ни французское общественное мнение не колебались между прямым урегулированием силой оружия и процедурой мирного урегулирования при деятельном международном посредничестве. Безусловно, это знак времени. Это доказательство огромных перемен, в которых социализм сыграл свою роль, чем он гордится». Осознал ли когда-нибудь Леон Блюм свои заблуждения, ошибки, совершенные государственным деятелем, который приносит в жертву своим иллюзиям интересы и даже безопасность страны, который путает отречение со знаком нового мира? Оказавшись в тюрьме после поражения, он в 1941 году сделал полупризнание: «Будучи миролюбивой по существу, Франция хотела верить в возможность „мирного сосуществования“ между демократиями Европы и возникшей воинственной автократией. Ради этой возможности она приносила все большие жертвы, единственным результатом которых стали ослабление ее престижа в мире, подрыв единства внутри страны и, как следствие этого, рост опасности».

Среди тех, кто якобы немедленно понял значение 7 марта 1936 года, называли, как я не раз слышал, Шарля Морраса и «Аксьон франсез» 103а; чтение номеров, вышедших непосредственно после ввода немецких войск в Рейнскую область, доказывает противоположное. Газета продолжала протестовать против применения санкций к Италии и против ратификации франко-советского договора 104. Так, в номере от 8-го числа мы находим призыв к французам под заголовком «Пойдете ли вы против истины?»: «Речь идет о том, чтобы выступить против союзной Италии, вмешавшись в дело, которое нас не касается. Речь идет о том, чтобы утолить жажду мести масонских лож ненавистному для них фашизму, послужить интересам Англии и повиноваться Советам, которым нужна эта война для разжигания мировой революции. Ради этого коммунисты, социалисты и радикалы согласны, чтобы Франция подверглась любому риску… Они только что проголосовали за франко-советский договор, ставящий мир в зависимость от московских интересов и ссор.

Восьми дней оказалось достаточно, чтобы мы увидели первый и тяжкий результат: Гитлер разорвал в клочки Локарнский договор вместе с последними статьями Версальского договора, Рейнская область ремилитаризована, и немецкие войска стоят на наших границах».

И «Аксьон франсез», и левые газеты «защищали дело мира»: первая — от санкций по отношению к Италии, за которые проголосовала Лига Наций, последние — от возможного военного ответа на нарушение Локарнского договора. Читая газетную полемику, восстанавливаешь в памяти атмосферу тех проклятых лет. Лондонское правительство, под давлением общественного мнения, впервые принимает всерьез доктрину коллективной безопасности и собирается применить ее против Италии, ввязавшейся в колониальное предприятие в тот момент, когда колониальная эра близится к концу и растет германское могущество. Франция не поддерживает Лондон. Когда Гитлер разрывает Локарнский договор, добровольно подписанный рейхом, и одним ударом разрушает европейское равновесие, британцы платят французам той же монетой: на ремилитаризацию Рейнской области они не отвечают ни военными мерами, ни экономическими санкциями. Они объявляют о своей незаинтересованности во французских альянсах в Центральной и Восточной Европе, а три года спустя вступают в войну, чтобы прийти на помощь Польше, которую после 7 марта 1936 года западные демократии уже не могут защищать. Британская дипломатия заслуживает не большего снисхождения, чем французская.

В номере «Аксьон франсез» за 9 марта один фрагмент статьи Морраса выглядит как побуждение к действию: «На протяжении двух недель Бенвиль [105], а вслед за ним „Аксьон франсез“ разъясняли республиканскому правительству, что рано или поздно наступит минута, когда все наиболее явные нарушения договоров и узурпаторские действия, совершаемые Германией, заставят наконец сказать „нет“. Эта минута наступила; мы находимся перед тяжелой неизбежностью». Следует напоминание предшествующих «ошибок и преступлений», в частности, оставления Майнца, и вот первый вывод: «Эта неизбежность тяжела, она угрожает стать крайне тяжелой, ибо обязанности возросли, а средства для их выполнения сократились и стало трудно отвечать достаточно действенными мерами на дерзкие выпады вчерашних побежденных против бывшего победителя». Моррас, так же как министры, не догадывается, что Гитлер блефует и что его войска отступили бы перед французскими войсками. Остальная часть статьи отрицает возможность

объединения французов перед лицом опасности: «…Раз правительство призывает к политической жертве французов, которые не принимали участия в его кровавых ошибках и безумствах, пусть оно покажет пример, принеся себя в жертву первым и исполнив таким образом свой долг. Пусть оно уйдет… Долой Сарро! Долой Фландена! Долой Бонкура! Долой всех гнусных синонимов Шотана и Зея [106], паразитов, кишащих на теле Франции».

Десятого марта Моррас выражается еще яснее. Он начинает так: «И прежде всего — никакой войны. Прежде всего — мы не хотим войны. То, что приходится говорить это, писать и особенно публиковать, — грустно и тяжело».

Затем идет несколько строк о том, что могло и должно было бы произойти: «В субботу после полудня, при первом же известии о принятых Гитлером решениях, стабильное и сплоченное национальное правительство не оказалось бы в затруднении. Ибо у этого правительства были бы войска. У него были бы боевая техника и боеприпасы. Опираясь на свое право, на пакты и договоры, такое правительство заняло бы в оставленный ему событиями краткий срок все крепости Рейнской области, которые еще не захватили марширующие гусиным шагом дивизии…» Затем Моррас задает себе вопрос, почему же правительство не действовало, и заключает: «При том положении, до которого мы дошли за последние двое суток, есть только один возможный совет, и — увы, увы, трижды увы — это совет, который приходится давать публично правительству республики: прежде всего, никакой войны!.. Затем, необходимо вооружаться. Вооружаться, вооружаться и еще раз вооружаться». С этого момента Шарль Моррас занял позицию против «милитаристов» или «сопротивленцев» гитлеризму, потому что предвидел поражение Франции. В этом отношении он, конечно, не ошибался.

Я обратился к двум газетам, «Ордр» («Ordre») и «Эко де Пари» («Echo de Paris»), в которых сотрудничали соответственно Эмиль Бюре и Анри де Кериллис, продемонстрировавшие, как принято считать, наиболее трезвый взгляд на опасность гитлеризма. Первый из них правильно анализировал сложившуюся обстановку. В воскресенье 8 марта 1936 года он писал: «Фюрер говорит, что разрывает обязательства, подписанные в Версале и в Локарно, потому что Франция подписала договор с Советским Союзом. Никуда не годный предлог, который, к несчастью, сочтет веским часть французского общественного мнения, ослепленная партийными страстями… Происходит проба сил, и вопрос в том, увенчается ли она успехом, оставят ли страны, которых Германия

угрожает сделать своими вассалами, свободные руки фюреру на Востоке, как он того требует. Тогда мы оказались бы пошлине в ситуации 1866 года». Считалось, что Эмиль Бюре поддерживает отношения с советским посольством: он не рекомендовал военный ответ, призывал к национальному единству и предчувствовал будущее. «Сегодня насилие над Локарно, завтра насилие над Австрией, затем внезапное нападение на тот или иной пункт. Чего ради он станет церемониться? С одной стороны боксеры, наносящие удары, с другой — принимающие их к сведению стряпчие» (11 марта 1936 года).

Анри де Кериллис опубликовал 9 марта статью под заголовком «Преступления Народного фронта» («Les crimes du Front populaire»): «Безумная политика, состоящая прежде всего в опоре на московский коммунизм, в то время как ее проводники во Франции голосуют против военных кредитов, саботируют национальную оборону… неизбежно должна была загнать страну в тот ужасающий тупик, где она сейчас оказалась, привести к одному из величайших унижений в ее истории и на край катастрофы. Вот причина, по которой мы недавно умоляли депутатов, сторонников национальной политики, не голосовать за пакт…» Далее он осуждал «возмутительную политику санкций», «разрыва единого фронта Стрезы [107] из-за колониального пустяка» и призывал заменить правительство Сарро правительством национального союза, «свободного от духа и нажима коммунистов». Несколькими днями позже другая его статья завершалась словами: «Да здравствует священный союз против внешней опасности и внутренних предателей».

У меня сохранилось воспоминание о прозорливой статье Альфреда Фабр-Люса, предшествующей событию. Он подсказал мне дату и место ее публикации («Эроп нувель» («Europe nouvelle»), 25 января 1936 года). Привожу оттуда фрагменты, справедливость которых подтвердили история и историки: «Сохранение рейнского статуса отвечает нашему жизненному интересу; кроме того, оно находится в центре Локарнского договора, являющегося послевоенным выражением франко-английской солидарности и основой, на которой мы все решительнее стремимся достроить нашу европейскую систему. Поэтому мы должны проявлять в этом вопросе величайшую твердость; и именно эта твердость обеспечит мир… Отмена статей 42 и 44 Версальского трактата для послевоенной Германии равнозначна сдаче Туля и Вердена для Германии 1914 года, с той, однако, разницей, что сегодня это завоевание кажется ей легче. Ибо речь идет о том, чтобы взять нечто, уже находящееся на ее территории. Поэтому она собирается сделать Это, не спросив

нашего мнения. Такая акция, собственно, означала бы вопрос, обращенный к Франции относительно ее поведения в случае войны на востоке Европы. Отсутствие какой-либо военной реакции было бы рассмотрено как достаточный ответ. С этого момента Германия, до первого случая, больше не станет нами заниматься. Она будет готовиться к своей войне на Востоке, уверенная, что это изменение условий войны заставит французское общественное мнение высказаться против вмешательства. Итак, мы можем с минуты на минуту оказаться призванными сыграть решающую партию. Худшей из иллюзий было бы уступить в этом пункте, надеясь при этом продолжать столь же эффективно исполнять нашу роль гаранта европейского статуса. Худшей из нелепостей было бы вмешаться в войну на Востоке, прологом к которой несомненно станет ремилитаризация Рейнской области, — уже согласившись на это умаление нашей безопасности. С другой стороны, если мы не должны вмешиваться, не нужно оставлять народам Европы надежду на наше вмешательство…» Эта позиция, занятая Фабр-Люсом в 1936 году, объясняет и оправдывает одобрение им Мюнхенского соглашения 1938 года.

Через несколько месяцев после вступления рейхсвера в Рейнскую область к власти пришло правительство Народного фронта; вскоре разразилась гражданская война в Испании. И снова дипломатические решения оказались неотделимыми от идеологических предпочтений; понятие национального интереса терялось в сумятице страстей.

Я был сердцем с испанскими республиканцами; для всех вокруг меня выбор сам собой разумелся. Андре Мальро, Эдуар Корнильон-Молинье немедленно отправились в Мадрид, остававшийся столицей республиканской Испании. В среде моих университетских друзей — Робера Маржолена, Эрика Вейля, Александра Койре, Александра Кожева — также не возникало вопросов. Генералы развязали гражданскую войну, после того как их государственный переворот наполовину провалился. Они получали помощь и поддержку от фашистской Италии и гитлеровской Германии. Ученик Эдуара Дрюмона Жорж Бернанос, автор страстно антисемитского сочинения «Великий страх благомыслящих» («La Grande Peur des bien-pensants»), выступил с обвинением против испанских националистов в книге «Огромные кладбища под луной» («Les Grands Cimetières sous la lune»). Мальро и Бернанос сличили то, что узнали о преступлениях с той и другой стороны. Сальвадор де Мадариага, с которым я позднее близко познакомился, стоял над схваткой, справедливо

убежденный в том, что не сможет жить в Испании, кто бы ни оказался победителем, — ни в Испании франкистской, ни в республиканской, зараженной коммунистической гангреной. За спиною Франко маячили силуэты Гитлера и Муссолини, за республиканцами — Сталин и его ГПУ, активно действовавшее в тылу сражений и уже проводившее чистки.

Дипломатия невмешательства воздвигла барьер между двумя фракциями Народного фронта — социалистами и радикалами, с одной стороны, коммунистами — с другой. Хотя в кругу Андре Мальро политику Леона Блюма [108] чаще критиковали, чем извиняли, я, следуя уроку, преподанному мне Жозефом Паганоном, ставил себя на место председателя Совета министров и приходил к тому же выводу, что и он. Может ли глава демократического правительства вовлечь страну в акцию, которая чревата риском войны и которую половина страны не считает сообразной с национальными интересами? А. Кожев объяснил в беседе с Леоном Брюнсвиком (который принимал у себя каждое воскресенье по утрам), что советские дипломаты боятся слишком явным присутствием в Средиземном море насторожить правительство Лондона и подтолкнуть его к сближению с Берлином. Диалектик натолкнулся на скептицизм как «мандарина», так и собравшихся у него молодых философов. Он не ошибался в важнейшем пункте: правительство Н. Чемберлена отнюдь не желало победы республиканцев, которая означала бы преобладающее влияние коммунистов, а следовательно, Советского Союза.

Мой друг Голо Манн недавно рассказал мне, что рассорился со многими своими друзьями левой ориентации из-за того, что считал Испанию 1936 года недостаточно созревшей для парламентской демократии. Долгое правление Франко отвечало трагической необходимости. Через сорок лет после гражданской войны, при короле Хуане Карлосе, законном наследнике монархии, которого выбрал своим преемником генерал, взявший в свое время власть силой оружия, Испания стала парламентской демократией, еще хрупкой, испытывающей угрозу со стороны не столько генералов, сколько баскского терроризма, но готовой, несмотря ни на что, войти в Европейское сообщество, соединить свою судьбу с судьбой свободной Европы.

Я слишком мало знаю вчерашнюю и сегодняшнюю Испанию, чтобы вынести суждение, хотя бы платоническое и ретроспективное, об испанской войне и моих тогдашних чувствах. Симона Вейль близко узнала и прокляла деятельность ГПУ, насаждавшего московские методы в Каталонии, последнем оплоте сопротивления; она бы рассеяла наши иллюзии относительно

республиканского лагеря, если бы мы их питали; но присоединение Франко к фашистскому лагерю завершало окружение Франции. Появлялась возможность образования третьего фронта. В сущности, франкистская Испания не содействовала ни победе союзников, ни успеху Германии. Какую позицию заняла бы республиканская Испания в 1940 году? Гражданская война в Испании справедливо представлялась прелюдией к европейской войне, но, скорее, той, которая началась в 1941 году, чем той, что разразилась в сентябре 1939-го.

Победа Народного фронта в 1936 году, через несколько месяцев после ремилитаризации Рейнской области, стала логическим итогом дефляционной политики, до самого конца проводившейся Пьером Лавалем 109 — который проявил столько же мужества, сколько ослепления, — и поддержанной Палатой депутатов, избранной в 1932 году. Эдуар Даладье 110, потерявший власть в результате волнений 6 февраля, вошел в соглашение с партией Мориса Тореза 111 и тоже поспособствовал победе Народного фронта. Проекты ни одного из двух лагерей не отвечали нашим чувствам — моим и моих друзей, например Робера Маржолена.

Мы — Маржолен, я, несколько других членов небольших групп, среди которых «*X*-кризис»[79], — понимали, что немедленное, неподготовленное проведение программы Народного фронта обрекает эксперимент на неудачу. Увеличение почасовой оплаты труда, ограничение рабочей недели сорока часами, отказ от девальвации образовывали коктейль, который экономика была не в силах проглотить. Леон Блюм считал, что закон о сорокачасовой неделе позволит получить работу сотням тысяч безработных. В тот самый момент, когда правительство начинало политику экономического роста, оно уменьшало физические возможности производственного аппарата, который состарили годы дефляции и недостаток инвестиций. Политика Лаваля привела к снижению цен; ограниченной девальвации франка было бы достаточно, чтобы поднять их до международного уровня и ускорить подъем, наметившийся перед победой Народного фронта. Леон Блюм не знал ничего о мировых ценах, о соотношении мировых и внутренних цен; он не знал — и, возможно, не знали его советники, — сколько из зарегистрированных безработных (цифры колебались между 400 000 и 500 000) способны возобновить работу. Маржолен составил записки для кабинета Леона Блюма. Он написал также для «Эроп нувель» статьи, в которых выражал согласие с Полем

Рейно. Возмущенный Селестен Бугле усмотрел в них измену молодого человека, которого социалисты приняли с распростертыми объятиями, возлагая на него большие надежды. С. Бугле, чью абсолютную добросовестность защищало экономическое невежество, судил о мнениях в этой области, исходя не из реальности, а из партийных интересов. Когда я чересчур раздражал его, он предсказывал — как передала мне мадам Поре[80], — что я закончу свою карьеру экономическим обозревателем «Журналь де Деба» («Journal des Débats»). Должно быть, кончина этой газеты спасла меня от такого несчастья.

Франсуа Гогель напомнил мне несколько месяцев тому назад о моих «Размышлениях по поводу французских экономических проблем» («Réflexions sur les problèmes économiques») в 4-м номере «Ревю де Метафизик э де Мораль» за 1937 год. Статья, сказал он мне, тогда же поразила его убедительностью, уверенностью анализа. Я перечитал ее, в свою очередь, и был скорее разочарован этим первым упражнением в анализе современной ситуации (все же лучшим, чем «Письма» («Lettres») в «Либр пропо»).

С замечаниями об интеллектуалах в начале статьи я согласен и сейчас: «Таким образом, интеллектуалы вмешиваются, и по праву, в политическую борьбу, но различаются два способа этого вмешательства: одни действуют (или считают, что действуют) в роли просвещенных людей с единственной целью — защитить священные ценности; другие вступают в ту или иную партию и соглашаются на зависимость, которую влечет за собой этот шаг. Каждая из этих позиций мне представляется законной, при условии что она осознается. Но на практике те, кто объявляет себя интеллектуалами-антифашистами и выразителями прав человека, ведут себя как приверженцы определенного лагеря. Это сползание неизбежно: ведь не каждый день случается дело Дрейфуса, позволяющее взывать к истине, борясь с заблуждением. Чтобы интеллектуалы могли в качестве таковых повседневно выражать свое мнение, они должны были бы обладать знаниями в области экономики, дипломатии, политики и т. д. В вопросах дефляции или инфляции, союза с русскими или Антанты, коллективного договора или уровня заработной платы речь идет не столько о справедливости, сколько об эффективности. С другой стороны, во всех партиях писатели и профессора выступают ныне в роли ответственных за пропаганду. От них требуется не столько просвещать умы, сколько зажигать сердца. Они оправдывают и подогревают страсти и редко их очищают. Они превратились в глашатаев коллективной воли. Доверяющие им массы не ведают, что такой-то прославленный физик, такой-то

знаменитый писатель, такой-то уважаемый этнограф[81] знают не больше среднего человека об условиях экономического роста… Недостаточно заниматься какой-нибудь научной дисциплиной и называть себя позитивистом, чтобы избежать воздействия мифов».

В остальном дискуссия имеет теперь лишь исторический интерес; читатель гораздо больше узнает из книги Альфреда Сови «Экономическая история Франции между двумя войнами» («Histoire économique de la France entre les deux guerres»), чем из моего текста 1937 года. Однако за ним нельзя не признать одного достоинства: там подчеркнуты две основные причины провала эксперимента Леона Блюма — во-первых, отказ от девальвации, во-вторых, жесткое применение закона о сорокачасовой неделе. «Если после улучшения 1933 года экономическое положение Франции ухудшилось в 1934 и 1935 годах, то, как указывают все серьезные исследования, главная причина кроется в диспропорциях внутренних и мировых цен. Эти диспропорции не только подрывают наш экспорт, но оказывают дефляционный нажим на всю экономику… Сегодня уже бесспорно, что во всех странах золотого блока девальвация быстро и существенно улучшила положение; вызвав ускоренный и более заметный рост оптовых цен по сравнению с розничными, она способствовала как устранению диспропорции во внутренних ценах, так и диспропорций между внутренними и мировыми ценами…» Отказ от девальвации объяснялся, по крайней мере частично, сопротивлением коммунистической партии. Что касается закона о сорокачасовой неделе, я напрасно приписал его программе Народного фронта; вначале он там отсутствовал, но фигурировал в программе компартии. Большинство нынешних историков подписалось бы под суждением, которое я вынес тогда об этой мере. «К моменту, когда новый принцип [сорокачасовой недели] был внесен в программу Народного фронта, не было проведено никаких исследований; никакие необходимые меры предосторожности… не были приняты, когда закон внезапно ввели в действие во всех отраслях хозяйства. Авторы закона переоценили мощь французской экономики, бездоказательно сочтя ее способной произвести за сорок часов то, что она производила за сорок восемь. По сути, этот шаг сузил возможности подъема. На зарегистрированных промышленных предприятиях рабочая неделя составляла в среднем 45 часов. Леон Блюм узнал эту цифру на процессе в Риоме; между тем простые частные лица вроде меня легко могли узнать приблизительную длительность рабочей недели».

Разумеется, перечитывая этот текст сегодня, видишь, что он требует поправок. Я недооценил первых последствий

девальвации, значительности подъема, который она вызвала бы в том случае, если бы применение закона о сорокачасовой неделе не снизило производственную мощность экономики, ускорив вместе с тем темпы роста заработной платы. Кроме того, хотя статья ограничивалась экономическими аспектами эксперимента Блюма, я должен был подчеркнуть не столько социальное, сколько моральное значение реформ. Спустя полвека левые, верные самим себе, прославляют эксперимент Блюма, оплаченные отпуска и собственное поражение.

Конечно, мне не удалось убедить университетских профессоров, которым, однако, следовало бы понять смысл происходившего. Морис Хальбвакс любезно спорил со мной, но, хотя среди дюркгеймианцев он был одним из специалистов в экономике, мои доводы его не поколебали. Только Леон Брюнсвик, жена которого работала в правительстве, сказал мне в воскресенье, последовавшее за падением Леона Блюма: «Ни один умный человек не верил в успех».

С тех пор личность Леона Блюма претерпела такое же преображение, как личность Жана Жореса в период между двумя войнами. Его мужество перед судьями в Риоме, низость тех, кто затеял против него судебный процесс, чуть ли не единодушное восхищение, встретившее его по возвращении из Германии, делают почти невозможной для людей, не живших в 30-е годы, трезвую оценку деятельности главы первого правительства Народного фронта. А тогда ненависть правых к этому крупному буржуа, социалисту и еврею, — ненависть, едва понятная послевоенным поколениям, — не позволяла нам давать нашей критикой аргументы людям или партиям, с которыми у нас не было ничего общего. Вот почему я доверил свой анализ экономической политики Народного фронта «Ревю де Метафизик э де Мораль», журналу для немногих.

В левом лагере помнят, вернее, хотят помнить исключительно о реформах, ставших событием и переживших свое время: об оплачиваемых отпусках, о коллективных договорах, о ставших теперь обычными переговорах между профсоюзами и предпринимателями. Действительно, Франция отставала от других демократических стран Европы в отношении социального законодательства и социальной практики. Крупная буржуазия, хозяева, напуганные захватом заводов, возненавидели того, кто спас их от революции, но одновременно поколебал суверенную власть предпринимателей. Ошибки Леона Блюма не отменяют его заслуг. Те и другие столь же бесспорны, как благородство его личности.

Впрочем, в смягчающих обстоятельствах не было недостатка.

Франция не имела института экономической конъюнктуры. Статистика безработицы вызывала сомнения. Программу Народного фронта разработала Комиссия, в которой «Комитет бдительности» сыграл, вероятно, не меньшую роль, чем делегаты от партий. Незнание действительного положения дел характеризовало не только политических деятелей; лидеры экономики проявляли не больше прозорливости. Вопреки всему, Поль Рейно, прислушивавшийся к советам французского банкира в Соединенных Штатах Андре Истеля, критиковал заблуждения правителей и, один из всех, говорил правду без прикрас. Леон Блюм не превосходил остальных представителей правящего класса ни знаниями, ни верностью суждений. Спустя год Сенат положил конец эксперименту, и социалистическая партия согласилась участвовать в правительстве, в котором уже не играла руководящей роли.

После поражения, которое потерпело первое правительство Народного фронта, события шли своим чередом, не удивляя нас. Радикалы во главе с Камиллом Шотаном сменили социалистическое руководство. Инфляция продолжалась; за первой девальвацией, которую слишком долго откладывали, последовала вторая. Вследствие слияния двух конфедераций трудящихся коммунисты заняли ключевые позиции в ВКТ. За пределами страны происходило следующее: муссолиниевская Италия связала свою судьбу с судьбой Третьего рейха. Когда весной 1938 года Гитлер решил аннексировать Австрию, отстранив канцлера Шушнига, преемника убитого в 1934 году Дольфуса, во Франции не было правительства, а Муссолини смирился с событием, которое помог предупредить несколькими годами ранее. Как только вермахт вошел в Вену, встал вопрос о Чехословакии. Через несколько месяцев состоялся Мюнхен.

Название столицы Баварии осталось в политическом лексиконе всего мира как имя нарицательное, как символ. Мюнхен — это принесение в жертву союзника в надежде самому избежать силового испытания; это иллюзия, будто агрессор удовольствуется победами, одержанными без боя; это умиротворение в противоположность сопротивлению. Таким образом, то, что называют мюнхенской политикой, означает ныне нравственную вину и одновременно интеллектуальный просчет, трусость и отсрочку войны, которая становится от этого еще более неизбежной и потребует еще больших жертв. Я не претендую на то, чтобы исправить это толкование; в конце концов, несмотря на самые неоспоримые факты, историкам не удалось развеять легенду о разделе мира в Ялте.

Между 1936 и 1939 годами большинство французов — или, точнее, большинство политиков и интеллектуалов — примкнуло к одному или к другому лагерю: за или против итальянского фашизма и завоевания Абиссинии, за мятежных испанских генералов или в защиту Республики. Левые в своей массе не поняли, что занятие Рейнской области резко нарушало равновесие сил в Европе: наша армия, находясь на оборонительных позициях за линией Мажино, теряла возможность прийти на помощь нашим союзникам на востоке от рейха. С 1933 по 1936 год левые не призывали к перевооружению, они объявляли гонку вооружений заранее проигранной. Они стали сторонниками сопротивления Гитлеру, даже и военного, начиная с войны в Испании. Сопротивление Гитлеру в марте 1936 года предполагало минимум риска; сегодня мы знаем, что опасности вообще не было, но и тогда нам следовало знать, что она невелика. Вмешательство в Испании было небезопасным, во всяком случае для национального единства. В сентябре 1938 года, согласно союзническим обязательствам, мы должны были объявить войну Германии, если та бросит свои когорты на захват Богемского четырехугольника. На этот раз сопротивление подразумевало вероятность войны, но другой вариант состоял в том, чтобы вынудить Прагу к капитуляции, то есть к отторжению Судет и тем самым потере фортификаций и военного снаряжения. После своей бескровной победы Гитлер известил мир об огромных размерах добычи.

Государственные деятели и простые граждане спрашивали себя: блефует ли Гитлер или он действительно решил напасть на Чехословакию в случае, если она не уступит? Если Гитлер блефовал, то сопротивление иначе называлось обеспечением мира. Если не блефовал, то сопротивление привело бы к войне — локальной непременно, а возможно, и общей. Те, кто поддерживал мнение о блефе, делали это для очистки совести: кто же не выбрал бы, ликуя, мир, завоеванный мужеством и без войны? Но подобные речи, несомненно ловкие, казались мне бесчестными. На другой день после Мюнхена, начав свою лекцию в Школе Сен-Клу, я посвятил полчаса размышлениям о кризисе. Я прокомментировал «трусливое облегчение» Леона Блюма и в особенности обвинял «торговцев сном», как их называл Ален, — тех, кто призывал французов к твердости, успокаивая их при этом относительно цены, которую эта твердость потребует.

Я общался с Германом Раушнингом, сохранившим связи в немецких армейских кругах и среди консерваторов, враждебных авантюре фюрера. Он не раз говорил со мной о заговоре генералов; уверял, что военачальники взбунтовались бы в ответ

на гитлеровский приказ атаковать Чехию, как называл эту страну фюрер[82]. Я проводил Раушнинга к Гастону Палевски, начальнику секретариата Поля Рейно, после подписания Мюнхенского соглашения; Палевски выслушал с видимым скептицизмом слова этого бывшего мэра Данцига. Заговор существовал, о чем позже рассказал Гальдер. Однако историки спорят о нем вплоть до сегодняшнего дня. Отказались ли бы в последнюю минуту военачальники повиноваться человеку, которому принесли присягу? Низложили ли бы они Гитлера?

Как бы то ни было, никто не имел права категорически утверждать, что Гитлер блефует, и нам сегодня известно, что он не блефовал. Он даже иногда сожалел, что вмешательство Муссолини не позволило ему уничтожить Чехословакию силой оружия. Памятуя о риске войны и союзнических обязательствах, государственный деятель и граждане должны были бы взвесить, чего будет стоить и какие преимущества даст отсрочка. Если предположить, что война неизбежна, что Гитлер, вопреки своим торжественным заявлениям («последнее требование»), продолжит неуклонно осуществлять планы, начертанные в «Майн Кампф», и проекты, изложенные в 1937 году высшему командованию, то какую дату следовало предпочесть — 1938 или 1939 год? Разбушевавшиеся страсти не давали возможности рассуждать здраво.

Я не исключаю себя из числа тех интеллектуалов, в адрес которых направлена эта критика. Я не думал, что Гитлер блефует; я был антимюнхенцем, как тогда говорили, но эмоционально, без достаточного знания соотношения сил, не размышляя о таком серьезном и, возможно, веском доводе, как «отсрочка». Противники Мюнхена — скорее под влиянием чувства, чем разума, — рукоплескали повороту в английской политике после вступления в Прагу германских войск. Только позднее я понял то, что любой дипломат должен был понять сразу: заключив с Польшей договор о взаимной помощи, Соединенное Королевство автоматически предоставляло гарантию Советскому Союзу, не получив от него ничего взамен.

Ирония истории и безумие страстей проявились в том, что мюнхенцы остались в памяти как преступники, но никто никогда не обвинял людей, аплодировавших «мудрости» французов. Конформизм заходит так далеко, что Сартр в своей «Отсрочке» («Le Sursis») аттестует всех мюнхенцев «негодяями», тогда как он сам, движимый пацифизмом, одобрил это четырехстороннее соглашение. Поворот в английской политике, произошедший в марте 1939 года, почти никогда не обсуждается, а между тем он принадлежит к ряду действий и событий, решивших судьбу

народов.

Каждый может реконструировать на свой лад историю, которой не было, и либо сделать заключение, что лучше бы война началась в 1938 году, либо прийти к противоположному выводу. Чешская армия была более боеспособной, чем польская, но Гитлер защищал дело судетских немцев, имевших право на самоопределение — в согласии с принципами, приверженцами которых объявляли себя французы. Империалистическая воля, стоявшая за идеей объединения всех немцев, еще не стала очевидной, а самолеты *Spitfires* еще не могли бы сказать свое слово в битве за Англию, произойди она годом раньше. Среди мюнхенцев насчитывалось, разумеется, много таких, кто одобрил затем перемирие и поддержал Маршала. Но в числе их были и считавшие, что сопротивление Гитлеру в 1938 году или запоздало (Рейнская область была уже оккупирована), или преждевременно: Советский Союз, не имевший общей границы с Третьим рейхом, мог бы наблюдать в боевой готовности за войной на Западе, ожидая, когда следует вмешаться и нанести последний удар, с тем чтобы расширить пространство своего суверенитета или влияния.

В течение нескольких дней, одновременно с написанием этой главы, я читал книгу «Путешественник по столетию» («Un voyageur dans le Siècle»). До 1939 года я едва был знаком с Бертраном де Жувенелем. Он начал свой путь журналиста и писателя значительно раньше меня. Пока я с трудом избавлялся от уроков Алена, Жувенель побывал во всех концах Европы и мира, общался со всеми политическими деятелями Франции и Англии. Через своего отца и дядю Робера он принадлежал по рождению к политической элите Третьей республики; в салонах своей матери встречал основателей «Версальской Европы». Когда в 1919 году был подписан договор, я жил в Версале и, затерявшись в толпе, смотрел, как идут люди, строившие послевоенный мир. Бертран в эти минуты находился, вероятно, в Зеркальной галерее дворца.

Два года разницы — четырнадцать и шестнадцать — еще значили много, когда мы учились в одном и том же лицее Гоша; пять лет спустя они уже ничего не значили. Мы принадлежали к одной возрастной группе, но он уже вел жизнь журналиста, тесно связанного с политикой, делавшей Историю, когда я продолжал свое традиционное образование в стенах высшей школы или в Германии. Я почти не знал его друзей и ровесников, которых он преданно, даже восхищенно упоминает в своих мемуарах. С Жаном Люшером, автором «Реалистического поколения» («Une génération réaliste»), я встретился только однажды. От нашей

беседы у меня осталось смутное воспоминание. Я поделился с ним некоторыми своими навязчивыми идеями в области философии; он ответил, что никогда не слышал, чтобы человека моего возраста волновали подобные интересы. Я не был ослеплен его талантом, о котором говорит Бертран, а вот великодушием — пожалуй. Несколько раз я встречался в 30-е годы с Альфредом Фабр-Люсом; регулярно читал журнал «Памфлет» («Pamphlet»), который он выпускал в течение года совместно с Жаном Прево и Пьером Домиником, потом «Эроп нувель» Луизы Вейс, где он стал главным редактором. Он предложил мне сотрудничать в этом издании. Именно у него я виделся однажды с Дрие Ларошелем, чей талант меня восхищал. Андре Мальро сказал мне: «Из нас всех у него самый подлинный, самый непосредственный писательский талант». Дрие и Мальро остались друзьями, несмотря на то что их политические пути разошлись. Дрие и Жувенель дружили между собой, чего нельзя сказать о Жувенеле и Мальро (во время оккупации оба оказались в Коррезе с Берлем).

Вместе с поколением, о крахе которого с печалью рассказывает Жувенель, я восставал против войны и пуанкаризма, стремился к примирению с Веймарской Германией. Я не был связан, как Бертран, с Чехословакией, Европой Версаля, Лигой Наций. Будучи в принципе сторонником последней, я вернулся из Женевы, где провел несколько дней во время Генеральной ассамблеи, со смешанными чувствами. Германия еще не входила в Лигу Наций; Соединенные Штаты держались в стороне. Парламентское выражение межгосударственных отношений показалось мне словесным, искусственным, театральным.

До весны 1930 года чувства и мнения друзей Жувенеля и мои в основном совпадали; никто из нас не скрывал от себя непрочности порядка, воздвигнутого победителями, среди которых немедленно возник раскол, и все мы строго судили дипломатию Франции по отношению к побежденной стране. В 1930 году я внезапно открыл Германию, подкошенную экономическим кризисом и аннуляцией американских займов, униженную, выдвигающую требования и антифранцузски настроенную. Увидев все это, я испытал потрясение и почувствовал: страшные времена вернутся. В следующем, 1931 году Франция, пощаженная кризисом, по видимости доминирует в Европе; все: американцы, англичане, немцы — обвиняют ее в том, что она неподвижно сидит на своем золотом запасе, и сваливают на нее ответственность за все происходящее. В том же году продолжается восхождение национал-социализма, носителя исторической бури, близость которой все больше дает о себе знать. За семь лет, между 1931 и 1938 годами, все здание

рушится; в октябре 1938 года Франция сокращается до размеров собственного населения и собственной индустрии. Нашумевшая статья Фабр-Люса напоминает, что население нашей страны составляет всего 7 % населения Европы; у нее есть теперь только один выбор — между войной, отвергаемой французами, и подчинением, конца которого никто не может предвидеть.

В эти годы упадка мы остро страдали за Францию. Неотвязная мысль мучила меня: как спасти страну? Только атмосфера национального разложения и ожесточения политических страстей делает понятным присоединение таких людей, как Бертран де Жувенель или Дрие Ларошель, к движению Жака Дорио. Я никогда не видел и не слышал этого мэра Сен-Дени, популярного оратора, изгнанного из компартии за идеи, которые она позже сделала своими. В коммунистической партии тягчайшее преступление — быть правым не ко времени. Поддержанный своими отрядами — выбирая между партией и своим вождем, они предпочли последнего, — Жак Дорио создал Французскую народную партию (ФНП (PPF)) — единственную из лиг, групп или группочек той эпохи, которая явилась действительно фашиствующей. Он окончил свои дни в Германии, став одной из жертв налета союзной авиации.

Писатели 30-х годов, даже некоторые из тех, кто принадлежал к другому поколению и ранее не интересовался государственными делами, не избегли бурного потока истории. Почти все были готовы отнести на свой счет фразу, приписываемую, если не ошибаюсь, Наполеону: «Политика — это судьба». Речь шла уже не о выборе между двумя Эдуарами[83], ни даже между Аристидом Брианом и Раймоном Пуанкаре. Начиная с 1933 года, может быть даже с 1929-го, французам пришлось забыть о своих развлечениях. Подул ветер извне, с Востока и с Запада. Многие видные интеллектуалы мало знали о Ленине, о Гитлере, о современной экономике, об американских ресурсах. Андре Франсуа-Понсе, вместе со многими другими, принял Италию за великую державу. Но что не могло не поражать нас всех — это контраст между параличом демократий и впечатляющим возрождением Германии, так же как темпы роста, обнародованные в Советском Союзе. Какое правительство могло найти выход среди бесконечной конкуренции партий, увлеченных парламентскими интригами и не желающих взглянуть в глаза действительности? Падение рождаемости, спад производства, крах национальной воли… Мне порой случалось думать, а может быть, и говорить вслух: «Если нужен авторитарный режим, чтобы спасти Францию, пусть он приходит; примиримся с ним, ненавидя его».

В отличие от Дрие Ларошеля или Бертрана де Жувенеля, я не подвергался риску заключить с отчаяния абсурдные обязательства. Меня защищало от этого не столько мое еврейство, сколько люди, среди которых я жил, мой образ мыслей, мое неизменное неприятие обоих однопартийных режимов.

Ясно, что искушение фашизмом меня не коснулось. Я мог бы поддаться другому искушению. Александр Кожев заявлял, что он «ортодоксальный сталинист», Андре Мальро вел себя как попутчик. Однако первый из них казался мне, несмотря ни на что, «белым» русским, который мог прийти к коммунизму по мотивам, имеющим отношение к всемирной истории, но оставался при этом весьма далеким от партии. Второй же нисколько не пытался оказать на меня давление и, думаю, считал меня предназначенным самой природой к умеренным взглядам.

А я вернулся из Германии убежденным, что, пока у власти находится Гитлер, всякие попытки франко-германского примирения будут тщетны и даже вредны, тогда как до января 1933 года я был их ревностным сторонником. Я наблюдал, не участвуя, холодную гражданскую войну, развязанную начиная с февраля 1934-го. Как я уже писал, я не верил в опасность фашизма во Франции, потому что здесь не было ни настоящего демагога, ни расщепленных масс, ни страсти к завоеваниям, словом, ни одной из составляющих фашистского кризиса. Антифашисты гонялись за призрачным врагом и не могли прийти к согласию в главном, в вопросе об отношении к действительному врагу — Гитлеру.

Из моих германских воспоминаний, из крикливых речей во Дворце спорта я вынес убеждение, что фюрер Третьего рейха способен на чудовищные поступки. История подтвердила мою правоту, но должен признаться, что мое суждение основывалось скорее на психологической или исторической интуиции, нежели на доказательствах. В сентябре 1938 года большинство немцев стало сторонниками режима благодаря достигнутым успехам, а именно ликвидации безработицы, перевооружению, созданию Великого рейха, *ненасильственному* присоединению Австрии и Судет: достижения, по видимости, превосходили сделанное Бисмарком[84]. Умри Гитлер внезапно на другой день после Мюнхенского соглашения, разве не остался бы он в истории одним из величайших немцев? Конечно, только по видимости, ибо он не оставил бы после себя ни правового режима, ни правового государства. Веймарская конституция уже не существовала, конституции Третьего рейха еще не было. Кроме того, Гитлер уже обнародовал нюрнбергские законы и восстановил свой народ против меньшинства — приметного, но

бессильного. Именно после Мюнхена Геббельс организовал погром — «Хрустальную ночь» — в общегерманском масштабе в ответ на убийство секретаря немецкого посольства в Париже. Преемник Гитлера, кто бы он ни был, преодолел бы конституционный хаос. Административный аппарат оставался на своем месте, старые военачальники были пока многочисленнее национал-социалистских офицеров. Как бы эволюционировал Третий рейх после 1938 года без Гитлера, никто не знает. Все, что мы вправе сказать: оказавшись без Гитлера в октябре 1938 года, Германия необязательно развязала бы европейскую, а затем и мировую войну.

Закончив весной 1937 года свои диссертации, я подарил себе небольшую передышку — на этот раз без угрызений совести. Мы с женой решили, что, вопреки вероятности близкой войны, будем до последнего дня жить так, словно будущее по-прежнему открыто перед нами и нам позволены долгосрочные планы. Я подумывал о введении в социальные науки, которое внесло бы поправку в чрезмерный релятивизм, поставленный в вину моему «Введению». Одновременно, под влиянием событий, я заинтересовался Макиавелли и макиавеллизмом. В момент начала войны я работал над очерком об «Общей теории» Кейнса, от которого, к счастью, не осталось следов (мои комментарии в лучшем случае были верны, но банальны), и над сочинением о Макиавелли, от которого сохранилось страниц тридцать, не имеющих подлинной ценности; мое знание творчества Макиавелли было недостаточно.

В течение 1937/38 года я колесил между Парижем и Бордо. Министр (Пьер Берто работал в его секретариате) назначил меня в Университет Бордо, где я заменил Макса Боннафу (как и Деа, тот был учеником С. Бугле), который недолго исполнял функции министра снабжения в Виши. Сегодня мне интересны три текста этого периода — не сами по себе, а как свидетельство моего умонастроения: один — о Парето, опубликованный в «Цайтшрифт фюр социальфоршунг» («Zeitschrift für Sozialforschung»), журнале Франкфуртского института, другой — об «Эре тираний», сборнике очерков Эли Алеви, который я написал совместно с С. Бугле и Флоранс Алеви, и, наконец, конспект сообщения во Французском философском обществе, сделанного в июне 1939 года, за несколько недель до начала конфликта.

В статье о книге «Эра тираний» я нахожу анализ тоталитарных режимов, близкий к тому, что я писал после 1945 года, однако искаженный старанием отнестись снисходительно к Советскому Союзу: «Фашизм и коммунизм одинаково уничтожают

всякую свободу. Свободу политическую: плебисциты представляют собой всего лишь смехотворный символ делегирования народом своих суверенных прав абсолютным властителям. Свободу личную: ни немецкий, ни итальянский, ни русский гражданин не располагают никакими средствами защиты против злоупотребления властей; функционер или просто член коммунистической партии, местный фюрер, секретарь *fascio,* будучи рабами высших по рангу, внушают страх частным лицам. Интеллектуальная свобода, свобода печати, слова, свобода научных изысканий — все они исчезли. Если в английской демократической практике оппозиция, согласно прекрасному изречению, есть общественное служение, то в тоталитарных государствах оппозиция — преступление».

Такое сближение допустимо, однако преувеличено: ни итальянский, ни даже гитлеровский режимы того периода не заходили столь далеко, как советский, в тоталитаризме в обоих значениях слова: поглощении государством гражданского общества и превращении государственной идеологии в догму, навязанную интеллектуалам и высшей школе. Более того, несколькими строками выше я отметил превосходство советизма: «Коммунизм способен на такой же реалистический цинизм, как и фашизмы, но не кичится этим в такой же степени. Коммунизм стремится научить читать всех людей, а те не всегда удовольствуются „Капиталом“. Даже единственная идеология не имеет того же значения: коммунизм — это карикатурное преобразование религии спасения, фашизму вообще незнакома человечность». Была ли нужда, которую мы испытывали в Советском Союзе для отпора Третьему рейху, причиной, побуждавшей меня искажать свое суждение? Отчасти да, но возможно также, что моим пером двигал более глубокий мотив. В моей среде, проникнутой гегельянством и марксизмом, коммунистические убеждения никого не шокировали, фашистские же взгляды или вступление в ФНП были попросту непредставимыми. В нашей группе я был самым решительным антикоммунистом и приверженцем либерализма, и все же только после 1945 года я избавился раз навсегда от всех левых предрассудков.

Я рассуждал о войне, цитируя Эли Алеви. С ним мы познакомились, к несчастью, слишком поздно, сразу же стали друзьями, а после его смерти я продолжал дружить с Флоранс. Сторонник мира, как все истинные либералы (только тот, кто за свободную торговлю, сказал он мне однажды, имеет право заявлять, что он за мир), Эли Алеви не был пацифистом — ни в духе Алена, ни на юридический лад. Он не надеялся ни на

договоры, ни на индивидуальный отказ, он смотрел на войну как историк и философ. Постоянное условие войны заключается в том, что «человек не состоит исключительно из здравого смысла и личного интереса, его природа такова, что он не считает свою жизнь достойной быть прожитой, если нет чего-то, за что он готов ее отдать». На вопрос о ближайших перспективах Алеви отвечал так же как историк, а не как моралист. В одной из лекций в начале 1935 года он утверждал, что войны в скором времени можно не опасаться, но что через шесть-семь лет опасность станет серьезной. Когда спустя год я напомнил ему это предсказание, он ответил просто: «Я был чересчур оптимистичен». С тех пор события подтвердили его опасения. Если бы моя статья на этом заканчивалась, мне теперь нечего было бы возразить, но я добавлял: «События выявили вместе с тем могучие силы мира: сообщничество всех буржуазий с реакционными тираниями, материальное и еще более моральное разложение демократий и, наконец, величайшую волю к миру всех европейских народов, ужаснувшихся приближению общей катастрофы».

Я не хотел предсказывать войну, которую предчувствовал. Так больной, знающий, что его болезнь смертельна, надеется, несмотря ни на что: почему бы в диагноз не вкрасться ошибке, почему бы не подоспеть чудодейственному лекарству?

Мне хорошо запомнилась дискуссия во Французском философском обществе. Из восьми пунктов конспекта некоторые кажутся мне сейчас такими же обоснованными и неопровержимыми, как сорок лет тому назад. Например, все нынче согласны с тем, что Франции или Великобритании никогда не удалось бы умиротворить Гитлера или удовлетворить его экономическими уступками. Но утверждать это тогда было бы бесполезно, ибо многие люди доброй воли верили или хотели верить, что Германию и Италию, не имеющих достаточно пространства и колоний, толкают к завоеваниям затруднения с платежными балансами и что щедрые предложения могут отвлечь их от авантюр. Сходным образом Валери Жискар д'Эстен написал несколько лет тому назад предисловие к книге[85] развивающей иллюзию такого же рода: благодаря торговле с Западом Советский Союз якобы постепенно преобразуется и поверит в наши ценности. Демократы, при всем их антимарксизме и меркантилизме, легко поддаются влиянию вульгарного марксизма, ибо неспособны понять, что и Гитлер, и Муссолини, и Сталин, каждый на свой лад, думают одинаково: политика прежде всего. Так же думают Брежнев или Андропов: военный бюджет, поглощающий 15 % национального продукта, не оставляет сомнений относительно порядка приоритетов.

Я оставил бы также без изменений пункт 8: альтернатива «коммунизм или фашизм» не является фатально неизбежной. В отличие от значительной части интеллигенции, я никогда не попадался в ловушку этой мнимой фатальности. Я и сегодня повторил бы фразу своего комментария: «Смесь безграничной и иррациональной власти, рационализированной техники и демагогической пропаганды — вот карикатурный образ возможного бесчеловечного общества».

Против всех остальных пунктов конспекта я написал бы на полях: «Верно, но…» Я решил взять тезис Парето об элитах за исходную точку моей интерпретации режимов, которые называл тоталитарными, в частности муссолиниевской Италии и гитлеровской Германии. Мне кажется, я был прав в основных чертах, по крайней мере в отношении Третьего рейха. Одним из главных, если не главным фактом в этих странах было «образование новых правящих элит… элит, склонных к насилию, составленных из полуинтеллектуалов или авантюристов, циничных, деятельных, стихийно макиавеллистических». Один из дежурных коммунистов, Моблан, возразил мне, что новые элиты находятся на службе крупного капитала, что Гитлер по-прежнему выслушивает приказания Круппа, — возможно, коммунисты думают так до сих пор. Кроме них, никто уже не принимает всерьез это клише. Однако я недостаточно показал различие между Германией Гитлера и Италией Муссолини. Старый класс хозяев экономики, Церковь и монархия сохраняли в Италии сильные позиции. Муссолини больше походил на латиноамериканских каудильо [112], чем на чудовищ истории — Гитлера или Сталина.

В пункте 2: «Тоталитарные режимы враждебны в первую очередь демократиям, а не коммунизму» я подспудно критиковал коммунистическую, или марксистскую, теорию, согласно которой фашизм и демократия — всего лишь политические надстройки, камуфлирующие все то же господство крупного капитала. Я хотел сказать, что национал-социализм несет с собой настоящую революцию (в отношении Италии это положение было более спорным), революцию ценностей и институтов. Я защищал этот тезис начиная с 1933 года, в Берлине, когда французы во *Französisches Akademiker Haus* задавали себе вопрос: знаменует ли приход Гитлера на пост канцлера начало революции.

Я пошел дальше и отважился на формулировку, которая покоробила многих моих слушателей: «Тоталитарные режимы подлинно революционны, демократии же по своей сути консервативны. Франция и Великобритания, богатые и пресыщенные державы, стихийно стремятся к сохранению

статуса-кво». Констатировав это положение, я хотел рассеять иллюзию, будто *have not*[86] удовольствуются брошенной им костью. Но в другом, более глубоком смысле, который я выразил несовершенно, «демократические, парламентские режимы являются *хранителями* ценностей и принципов европейской цивилизации», тогда как национал-социализм «разрушает нравственный и социальный фундамент старого порядка». Я думаю так и сегодня — имея в виду, что консерватизм демократий не исключает реформ. Даже фраза «Поэтому нет ничего более странного, чем симпатия, которую так долго выказывали им консерваторы Франции и Англии», если ее слегка отредактировать, не лишена здравого смысла. Консерваторы Франции и Англии не поняли, что устранение социал-демократов и коммунистов — не единственная цель гитлеровцев, что те угрожают также французским и английским консерваторам, и даже консерваторам немецким. Сплочение всех правящих классов Западной Европы вокруг демократических институтов, произошедшее после 1945 года, объясняется опытом правых революций и верной оценкой представительных режимов.

Более спорным, по крайней мере в моей формулировке, кажется мне сейчас утверждение, что дипломатические конфликты не рождаются из конфликтов идеологических. Я хотел этим сказать, что Гитлер пощадил бы фашистскую Францию не более, чем Францию демократическую, — и в этом я был прав; однако национал-социалистский и в меньшей степени муссолиниевский режимы определялись волей к завоеваниям. В этом смысле идеология, воплощенная в режиме, вела к войне. Этьен Манту, которого мы с Сюзанной очень любили, умнейший человек, перед которым открывалась блестящая карьера, благородная натура, притягивавшая к себе сердца учителей и товарищей, прислал мне письмо, где высказывался по существу дела. Вот отрывок из него: «Верно, что столь противоположные идеологии могли бы существовать рядом, не вызывая конфликта, если бы они оставались чисто национальными. Но не так обстоит дело с советским тоталитаризмом, самой сутью которого является (или был и, возможно, еще будет) всемирный прозелитизм и, следовательно, всемирная агрессия». Не касаясь Советского Союза, я поневоле искажал анализ ситуации.

Несколько фраз возмутили, и не без причины, некоторых моих читателей или слушателей: «К несчастью, до настоящего времени антифашистские движения усугубили политические и нравственные недостатки демократий, недостатки, представляющие лучшие аргументы в пользу тираний». И немного ниже: «Излишества иррационализма не дискредитируют

— совсем напротив! — работу по пересмотру прогрессизма, абстрактного морализма или идей 1789 года. И демократический консерватизм, и рационализм могут спасти себя, только обновляясь».

Фраза, направленная против антифашистских движений, отголосок моей критики правительства Народного фронта, несправедливо возлагала на один лагерь ответственность, которую несли оба. Слова о пересмотре прогрессизма и демократического консерватизма выражали скорее эмоции, чем разработанные идеи. В действительности во мне преобладало одно чувство — близости войны. Качеством, на монопольное обладание которым претендовали тоталитарные режимы и которого не хватало демократиям, была, по моему убеждению, готовность к борьбе.

В моем докладе, сделанном в начале заседания, я также нахожу мысли, которые были впоследствии скорее подтверждены, нежели опровергнуты историческими исследованиями. У нас, говорил я, извращенное представление о революции. Мы считаем ее освободительной по своей сути; между тем похоже, что революции XX века приводят если не к порабощению, то к авторитарным режимам. Они порождают более разветвленную и жестокую власть, чем та, которая им предшествовала. Они расширяют организацию по технической модели — бюрократию. Я мог бы процитировать Токвиля и тем самым скорректировать и смягчить противопоставление революций XIX и XX веков. Революции прошлого столетия вдохновлялись философией свободы и философией личности, однако государство, порожденное Великой французской революцией, тоже оказалось более вездесущим и сильным, чем монархия, которую стесняли бесчисленные привилегии и вольности. Было и другое сходство. Я не ошибся, подчеркнув «новый феномен»: «Вожди, вышедшие из народных масс, могут оставить позади представителей старых правящих классов…» Некоторые историки настаивали недавно на том, что национал-социалистский режим привел к демократизации в отношениях между людьми. Может быть, я несколько преувеличивал, но не был совсем не прав, заявляя, что «шесть лет национал-социалистского режима сделали то, чего не смогли совершить пятьдесят лет социал-демократии: уничтожили почтение к традиционному престижу».

В последовавшей дискуссии выступление Виктора Баска вызвало иронию или раздражение молодых (тогда как Жак Маритен и Шарль Рист, не принадлежавшие к моему поколению, одобрили меня). Сегодня, в свете позднейших событий, слова этого достойнейшего человека приобретают патетическое

звучание: «Я слушал вас, месье, с величайшим интересом; с интересом тем большим, что я не согласен с вами ни в одном пункте… Я скажу, что этот пессимизм не героичен, я скажу, что, по моему убеждению, демократии всегда неизбежно торжествовали и всегда будут торжествовать… Сейчас происходит спад и мы оказались в низине? Что ж, мы снова поднимемся на вершину. Но для этого нужно как раз укреплять веру в демократию, а не разрушать ее с такой силой и красноречием, как вы это делаете». До своего последнего часа он ни разу не усомнился в победе демократий — даже когда вишистские милиционеры схватили его вместе с подругой, чтобы убить.

Этьен Манту, летчик, который в 1944 году сбросил над восставшим Парижем листовки с посланием «Держитесь, мы идем» и погиб на заре победы в боевом задании, на одной из германских автострад, ответил Виктору Баску: «Обращать столь мало внимания на эпохи, разделяющие триумфы демократии, — значит проявлять поверхностное понимание истории… Чтобы не нарушить правило, согласно которому молодые всегда восстают против старших, я выскажусь против оптимизма предшествующего поколения». И он выражал согласие со мной в таких волнующих словах, которые с тех пор нисколько не утратили своей силы: «Как и вы, я считаю, что люди, способные сохранить ценности, о которых идет речь, будут либералами, но не робкими либералами, не смеющими назваться по имени, а готовыми защищать свободу — не только политическую, но и экономическую».

Пакт, заключенный между Гитлером и Сталиным, потряс коммунистов и тех левых, которые работали вместе с ними в антифашистских движениях. Лично мне не пришлось радикально пересматривать свои идеи или менять позиции, но мой антикоммунизм, который я до того подавлял под влиянием друзей и из сознания необходимости советской поддержки против Третьего рейха, вырвался наружу. Все, кто не осуждал Сталина и германо-советский договор, стали мне невыносимы. Однажды во время моего увольнения из военной части Сюзанна и я ужинали вместе с Мальро [113] и Жозеттой Клотис; в течение трех часов я тщетно пытался убедить Мальро порвать с ФКП (РС) и объявить об этом публично.

Конечно, дальнейшие события восстановили альянс западных демократий и Советского Союза; интермедия 1939–1941 годов была забыта. Я не забывал ее никогда. Не то чтобы этот «дипломатический ход» обнаружил особенно ярко сущность

сталинизма: коллективизация деревни и большая чистка просветили нас лучше. Но если прежде я не решался следовать до конца логике своей мысли, то теперь колебания исчезли раз навсегда, и «ортодоксальный сталинизм» Кожева (который не проявлялся больше после 1945 года) внушил мне на время некоторое отвращение к самой философии.

Часть вторая
ИСКУШЕНИЕ ПОЛИТИКОЙ (1939–1955)

VII
ВОЙНА

Весть о пакте Гитлер — Сталин застала нас в Валь-Андре, деревне в департаменте Кот-дю-Нор, где семья Бугле имела просторный дом, расположенный совсем рядом с берегом океана. С. Бугле умирал там в невыразимых мучениях от раковой опухоли, распространявшейся по всему телу. Мы сняли домик у рыбака-пенсионера, бывшего военного моряка. Издалека мы следили за переговорами французской и английской делегаций с советскими властями[87]. Когда один из друзей, волнуясь, принес нам газету с сообщением о том, что германский министр иностранных дел Иоахим фон Риббентроп направился в Москву для подписания там пакта о ненападении (предполагали, что будут подписаны и секретные соглашения, но сведений об этом не было), я прежде всего испытал какую-то растерянность перед лицом цинизма, который означал для нас войну. Через несколько мгновений на смену негодованию, немного наивному, пришли размышления. Раздел Польши между двумя ее мощными соседями воспроизводил исторический сценарий. Выступая во Французском философском обществе в июне 1939 года, я говорил о возможности альянса двух тоталитарных режимов, но полагал, что в ближайшем будущем такой союз невозможен. Я ошибался, и вскоре мне стала понятна логика «встречи двух революций».

Советский Союз не имел общей границы с Третьим рейхом; Румыния, Польша отказывались допустить Красную Армию на свою территорию для борьбы с вермахтом; армий, которые пришли бы на «помощь» этим странам с Востока, они опасались не меньше, чем захватчиков с Запада. А Сталин больше всего боялся Гитлера и немцев. Союз, заключенный между Лондоном и Варшавой, давал Сталину гарантию, за которую он вроде бы платил разумную цену. Обязавшись сражаться за Польшу, Франция и Великобритания неявно принимали такое же обязательство по отношению к Советскому Союзу. Цинично правильный расчет Сталина, предполагавшего, что война на Западе затянется, рухнул в результате быстрого поражения Франции.

В августе 1939 года я отнюдь не размышлял об отдаленных последствиях произошедшей дипломатической сенсации, меня, как и большую часть французов, охватила злоба на Сталина, который одновременно делал войну неизбежной и всю тяжесть ее переносил на нас, на демократов. Сам собою отпал довод,

который не позволял мне без обиняков говорить вслух о том, что я думаю о советском режиме. В начале сентября я явился на призывной пункт, кажется в Реймсе, и через несколько дней отправился к бельгийской границе, туда, где должна была разместиться военная метеостанция ОМ-1.

В сентябре 1939 года персонал этой станции насчитывал примерно двадцать человек, количество, несоизмеримое с объемом задач, которые на нас возлагались. Капитан, который командовал станцией, авиационный инженер, через несколько дней получил броню; сменивший его лейтенант также стал обладателем брони; будучи сержантом, я стал начальником станции, хотя и не превратился благодаря этому назначению в самого большого знатока по вопросам слежения за метеорологическими шарами с помощью теодолитов.

В период до 10 мая у меня не было недостатка в свободном времени; я трудился над своим исследованием о Макиавелли, над «Историей социализма» («Histoire du socialisme») Эли Алеви, которую готовил к изданию в контакте с Флоранс Алеви. Редакторами[88] этого посмертного произведения Эли Алеви были совместно его друзья и бывшие ученики — Раймон Арон, Жан-Мари Жаннене, Пьер де Ларок, Этьен Манту, Робер Маржолен.

В воскресенье я собирался позавтракать в Шарлевиле. Там я не раз встречался с отцом историка Греции Люсьеном Видаль-Наке, несколько раз гостившим у нас в Версале. Во время немецкой оккупации этот человек проявил мужество, граничившее с безрассудством, подставляя себя палачам. Когда вишистские законы запретили Видаль-Наке заниматься профессиональной адвокатской деятельностью, он, как мне рассказали, выступил с публичным протестом во Дворце правосудия, бросив вызов тем своим коллегам, которые покорно выполняли ордонансы Виши. В Марселе, где жила семья его жены, он поселился в доме, занятом немецкими офицерами. Видаль-Наке не скрывал ни своего происхождения, ни своих взглядов; и однажды люди гестапо пришли, чтобы схватить обоих — его самого и его жену. Двух сыновей удалось спасти благодаря мужеству и хладнокровию их матери, двух других — благодаря преданности и сообразительности их кухарки, с помощью друзей, которых она известила.

Пока продолжалась «странная война», мое привилегированное положение меня не смущало. Но все изменилось, когда разгорелась битва. Наблюдать за небом с помощью инструментов, передавать сведения по телефону и, в случае необходимости, по радио — вся эта деятельность, если ее

можно так назвать, стала нелепой, смехотворной. У меня достало наивности послать письмо Жану Кавайесу; я полагал, что он все еще служит в шифровальном отделе Военного министерства; на самом деле сразу же после начала битвы он добровольно перешел во фронтовую часть. Я же спрашивал у него, как можно мне расстаться с метеорологией и получить направление в другое подразделение, предпочтительно — танковое. Я не представлял себе, что через несколько месяцев или, скорее, через несколько дней битва будет проиграна, а французская армия — разгромлена.

Поблизости от Шарлевиля мне встретились спаги 114 на своих лошадках, которые направлялись на восток, а через несколько дней возвратились, понеся, очевидно, потери. Начались перемещения. 13 или 14 мая пришел приказ об отступлении, и вскоре нас поглотила толпа солдат армии Корапа. Начиная с этого дня меня преследовало воспоминание о разгроме 1870 года, описанном Золя. Не получая информации, почти лишенный газет, я через одну или две недели потерял всякую надежду. Моя память не позволяет мне с точностью восстановить последовательность этапов наших передвижений от Шарлевиля к Бордо. Помнится, несколько дней мы оставались в Бри-Конт-Робер, в период между эвакуацией из Дюнкерка и сражением на Сомме. Именно тогда, в начале июня, в городе Ванн умерла моя мать. Я позвонил по телефону капитану Леглизу, который командовал ОМ-1 и находился в штабе воздушной армии. Он не дал мне разрешения отправиться в Ванн, но через несколько минут сам связался со мной и продиктовал по телефону приказ о командировке, которая позволила мне приехать туда накануне смерти моей матери, уже впавшей в кому. Там я встретил свою жену, которой после бесконечных странствий удалось все же добраться до Ванна из Тулузы. Затем я возвратился на ОМ-1, ставшую после 12 или 13 июня совершенно бесполезной; мы перевозили инструменты, которые ныне не находили применения, а вооружены были старыми ружьями — использовать их можно было разве что при пролете немецких самолетов на малой высоте.

Через Луару мы перешли в Жьене и были свидетелями воздушной бомбардировки речных мостов. Мосты эти остались невредимыми, по крайней мере в тот день. Я увидел, до какой степени люди привыкли к нападениям с воздуха. Те же самые солдаты, которые в Шарлевиле устремлялись к убежищам, когда в первый раз увидели в небе над собой пикирующие бомбардировщики, теперь продолжали спокойно сидеть на берегу Луары и с чувством, похожим на любопытство, смотрели, как рассеиваются бомбы вокруг цели.

Примерно 20 июня мы оказались поблизости от Бордо, к югу от города. Вспоминаю, что мне пришлось пройти через весь город; я собирался встретиться в университете с Дарбоном, деканом филологического факультета. С ним я был знаком с тех времен, когда несколько месяцев заменял на этом факультете штатного преподавателя, Макса Боннафу. Внезапность катастрофы привела всех нас в состояние оцепенения. Андре Дарбон принадлежал к числу профессоров старого образца, которые являются честью и совестью университетского сообщества; ныне он выполнял свои обязанности как бы по привычке и всем своим существом разделял несчастье, постигшее его отечество. Я услышал обращение маршала Петена. Долгое время мне казалось, что он произнес: «Нужно *попытаться* остановить борьбу…» Но историки утверждают, что слова «попытаться» не было в точном тексте речи. Вокруг меня эту речь восприняли с облегчением — как решение, которое естественно вытекает из обстоятельств. В хаосе, образовавшемся в Жьене, мы потеряли младшего офицера-радиста, раненного взрывом бомбы. Мы пересекли Францию с севера на юг, опасаясь попасть в немецкий плен. В какой бы деревне мы ни останавливались, везде нам говорили, что немцы где-то рядом, в нескольких километрах. Я обсуждал с моими товарищами альтернативу: капитуляция армии и перевод французского правительства в Северную Африку или же перемирие. Этот второй выход отвечал чувствам тех, кто меня окружал. Когда же на одну ночь я оказался в Тулузе, то стал дышать совершенно другим воздухом.

Несмотря на наплыв беженцев, этот город сохранял свое традиционное лицо. Перед моими глазами все еще стояли картины исхода — тысячи и тысячи смешавшихся друг с другом мирных жителей и военных, автомобили богачей и двуколки крестьян, нескончаемый людской поток на дорогах Франции, народ, бредущий рядом с солдатами побежденной армии. А мои тулузские друзья, те, которые по различным причинам не были призваны на военную службу, уже заняли, преодолев эмоции, следующую позицию: против Маршала, за Генерала, призыв которого они услышали. Некоторые из этих друзей, такие как Жорж Кангилем, уже были готовы внести свой скромный вклад в Сопротивление, и этот вклад оказался блистательным.

Мои друзья и я испытывали сходные чувства, но мой политический выбор еще не определился. У меня не было уверенности в том, что наилучшим выходом из ситуации явились бы перевод французского правительства в Северную Африку и капитуляция армии с целью прекратить кровопролитие. В то время меня неотступно преследовали два вопроса. В случае

капитуляции армии несколько миллионов солдат становятся военнопленными. Если война затянется на несколько лет, то что может стать с нацией, которая лишится такого числа своих взрослых мужчин? Другой вопрос касался ресурсов Северной Африки: там не было военной промышленности. Смогут ли Соединенные Штаты заменить Великобританию и снабжать оружием Вооруженные силы Франции, которые переправятся на другой берег Средиземного моря?

Я обсуждал со своей женой, что делать: остаться ли во Франции или же уехать в Англию, которая, как мы думали, будет продолжать борьбу. Взвешивая доводы за и против, мы не принимали в расчет перемирие, которое к тому моменту еще не было заключено, но представлялось возможным. Правительство, которое вступит в соглашение с Третьим рейхом, будет иметь статус, промежуточный между статусом сателлита и правительства независимого государства. Приход к власти людей и партий, которые разоблачали «милитаристов», не оставлял сомнения. Ни маршал Петен, ни Пьер Лаваль не обратятся в национал-социалистов, но в побежденной, примирившейся с Третьим рейхом Франции более не будет места для евреев. Мы рассмотрели два возможных решения: остаться вместе с моим подразделением, на посту, до возможной демобилизации, которая последует за перемирием, затем возвратиться в Тулузу и ждать, как повернутся события; или же немедленно отправиться в Англию и вступить там в ряды частей генерала де Голля. Моя жена поняла, что я предпочитал принять участие, каким бы малым оно ни оказалось, в борьбе, которую Великобритания не прекратит. В отличие от некоторых людей из высших этажей военной или политической иерархии, я не думал, что Черчилль вступит в переговоры с Гитлером, смирится с поражением, даже не отразив предполагаемую попытку высадки десанта. Чтобы обеспечить успех такой операции — захвата острова, на который с XI века не ступала нога захватчика, — потребовался бы другой тип «блицкрига», отличный от прорыва линии фронта бронетанковыми дивизиями при поддержке с воздуха пикирующими бомбардировщиками.

С южной стороны Бордо я приехал в Тулузу на заднем сиденье мотоцикла, который вел солдат с севера Франции, механик по профессии; с ним я поддерживал сердечные отношения[89]. Возвратившись в часть, я попрощался со своими товарищами (некоторые из них в ожидании немцев надели новые мундиры) и поехал по направлению к Байонне и Сен-Жан-де-Люз. Я спал в вагоне, который прицепили к составу, перевозившему ценности Парижской биржи. С собой в дорогу я взял лишь

солдатский мешок, в котором были туалетные принадлежности, бритва, мыло, какая-то книга (как мне помнится), и мною овладело странное чувство легкости. Что значили для меня вещи, обстановка, даже книги — все это терялось вдалеке. В национальном крушении уцелело главное — моя жена, моя дочь, мои друзья. Благодаря привязанности к ним я оставался самим собой. Что же до всего остального, то сама катастрофа обнаружила его ничтожность.

На следующий день, вероятно 23 июня, я бродил по порту Сен-Жан-де-Люз вместе с несколькими другими людьми в поисках судна, отправлявшегося в Англию. Мне удалось узнать, что океанский лайнер «Иттрик», стоявший на якоре в нескольких сотнях метров от берега, скоро примет на борт польскую дивизию. Я снял с себя голубую шинель авиатора и надел желтую шинель пехотинца, оказавшись в конце концов в шлюпке, на которой приплыл к кораблю. Среди нас, жертв катастрофы или добровольцев, был дальний родственник маршала Фоша, который, если память мне не изменяет, прохаживался насчет евреев. Меня он из их числа, разумеется, исключал (как он сказал мне, вы должны питать к ним неприязнь, или что-то в этом духе).

На судне я встретил Рене Кассена; я побеседовал с несколькими польскими офицерами, один из них посоветовал мне вести себя и чувствовать себя, приспосабливаясь ко времени: жить без семьи, с радостью принимая жребий авантюриста-одиночки. Война будет продолжаться: кто знает, на сколько лет она затянется. Может быть, в один прекрасный день мы вернемся на свою родину. В ожидании этого дня будем срывать цветы дня сегодняшнего.

Во время плавания произошли два эпизода, которые мне запомнились и о которых стоит рассказать. Как-то я убирал со стола, вытирал клеенку и, может быть, мыл посуду; не знаю точно почему, один пожилой англичанин вступил со мной в разговор и поинтересовался, чем я занимался до военной службы; когда он узнал, что я преподавал бы философию в Тулузском университете, если бы не был призван в армию, то разразился гневными упреками в адрес французского и английского правительств. Кажется, эти упреки он обращал к своей жене: «Много лет подряд я говорил тебе, что с этой дурацкой политикой мы все потеряем. И вот где мы очутились двадцать лет спустя после победы». Университетский профессор, превращенный в посудомойку, становился для этого человека символом общества, сошедшего с ума, несчастья, которое французы и англичане сами на себя навлекли.

Сильное впечатление оставила у меня организация жизни на

корабле. Тысячи солдат подходили один за другим, чтобы наполнить едой свои котелки. От них не требовали ни «талонов», ни удостоверений личности, им доверяли, никто не принимал предосторожностей против жуликов или любителей дармовщины… На «Иттрике» я впервые вдохнул британский воздух и сразу же почувствовал себя непринужденно, хотя не понимал ни одного слова из английского языка моряков и солдат и почти ничего — из английского языка интеллектуалов.

Что поразило всех нас — людей, приехавших из страны, поставленной вверх дном, с миллионами беженцев на дорогах, преследуемых картинами разгрома и бомбежек, — так это покой и упорядоченность английской деревни. Как бы мгновенно образ войны стирался! Газоны ни в чем не уступали легенде о них. Первые же разговоры с рядовыми подданными Ее Величества побудили нас замолкнуть и быть признательными. Вам возвратят ваше отечество к Рождеству, говорил мне один невысокий человек, живший в очаровательном коттедже. На высшем общественном уровне никто не игнорировал опасность; простые люди также были в ожидании воздушной атаки и вероятной попытки высадить десант. Заводы работали на полную мощность, шла организация отрядов милиции для поддержки армии; личный состав ее был вывезен с континента, но тяжелое вооружение она потеряла. Странное впечатление: доверчивая, а в каком-то отношении и почти бессознательная нация. В море мы узнали о подписании перемирия. Нам открывалась нетронутая страна, которую лишь чуть-чуть задела буря, опрокинувшая карточный домик великой державы; над этой страной нависла смертельная угроза, но солнце — весеннее солнце 1940 года — освещало пейзажи, где все дышало покоем, негой и довольством.

И вот я оказался в Лондоне, вместе с несколькими тысячами французских солдат разместился в Олимпия-Холле; нам ничего не оставалось делать, как только есть, наводить — безуспешно — чистоту в нашей конуре и разговаривать. Мы обсуждали, по выражению, распространенному в те времена, «удар» (le coup). Собранные в Олимпия-Холле французы представляли все социальные категории, все политические направления. Перемирие или перевод правительства в Северную Африку? По обеим сторонам Ла-Манша французы спорили об одном и том же. В своем большинстве они заняли довольно четкие позиции. Одни считали, что Маршал и его люди предают Францию и ее союзников, другие — что Генерал и его люди отрываются от нации. Мне не раз доводилось подвергать испытанию случайных собеседников, предлагая им парадоксальное внешне суждение: решение Маршала не лишено преимуществ, при условии, что

Англия выигрывает войну. Это парадокс, поскольку лидер, находившийся в Бордо, делал явную ставку на германскую победу, а лидер, находившийся в Лондоне, рассчитывал на английскую победу. И в самом деле, победа англичан привела генерала де Голля к власти. Но перемирие спасло несколько миллионов французов от лагерей военнопленных; неоккупированная зона облегчила положение половины французов; забота о том, чтобы не проливалась французская кровь, могла легитимно влиять на умы государственных деятелей. В конце июня 1980 года со мной встретился один пожилой господин, имя которого сегодня я уже забыл. Он напомнил мне о разговоре в Олимпия-Холле. Мои речи, по словам этого человека, так его поразили, что он спросил, кем я являюсь. И успокоился только тогда, когда узнал о моем университетском дипломе и о моих профессиональных занятиях.

Во время моего первого пребывания в Лондоне я вновь встретился с Робером Маржоленом, входившим в команду Жана Монне;[90] он два дня провел в дюнкеркском аду и сопровождал будущего «Господина-Европа» 115 в Бордо. Маржолен хотел возвратиться во Францию. Не потому что колебался в выборе лагеря, но потому, что считал себя морально обязанным в такое время прежде всего найти свою семью, свою мать.

Благодаря его посредничеству я познакомился с либеральными экономистами из «Reform Club» — Лайонелом Роббинсом (ставшим позже лордом Роббинсом), Фр. фон Хайеком и другими. В годы войны почти каждый четверг я встречался с ними за обедом. Первая наша беседа касалась шансов Англии. Роббинс, который был настроен более оптимистически, чем я, подчеркивал шансы, имеющиеся у Запада, при условии успешного отражения в предстоящие месяцы попытки вторжения. Как только этот миг крайней опасности минует, Великобритания с помощью Соединенных Штатов снова станет неодолимой. Против Гитлера поднимутся и другие силы. Безупречный анализ, заимствовавший положения из обращений генерала де Голля, был подтвержден событиями: если Великобритания отвергнет авансы Гитлера, если он не предложит оккупированным европейским странам приемлемого мира, то война должна будет расшириться. В конце 1940 года люди задавались вопросом: попытается ли Гитлер покорить Великобританию, используя советский нейтралитет, или же бросит свои войска на штурм ненавистного коммунизма, используя полунейтралитет Соединенных Штатов. В обоих случаях французское поражение оказывалось событием периферийного порядка. В системе, расширенной до пределов планеты, Франция переставала входить в закрытый клуб великих

держав.

Я посетил английскую семью, с которой познакомился когда-то в Варанжевиле, семью А. П. Херберта, юмориста, романиста, театрального автора, моряка. Во время отпуска, который я провел в этом месте в 1931 году, у меня сложились особенно тесные отношения с его женой. На прибрежных скалах я читал «Бытие и время» («Sein und Zeit») Хайдеггера, а она расчесывала шерсть; завязалась дружба. В последующие годы я встречался с нею не один раз.

В военном лагере Олдершот я предстал перед комиссией, состоявшей из двух или трех британских офицеров. Каждому из нас был предложен выбор: возвратиться во Францию, вступить в ряды Вооруженных сил Свободной Франции или, наконец, остаться в Англии. Подавляющее большинство солдат[91] предпочли возвращение во Францию. Я же выбрал службу в танковой роте Вооруженных сил Свободной Франции. В ней я выглядел уже ветераном: если не считать офицеров, большинство ее бойцов по своему возрасту были ближе к двадцати, чем к тридцати годам.

Но в танк меня не посадили, вместо этого обязали вести ротную бухгалтерию, и я стал экспертом по подсчету фунтов стерлингов, шиллингов и пенсов. В памяти остался следующий эпизод из лагерной жизни. Однажды в воскресенье, в конце дня, в мою комнату, где имелась свободная койка, пришел аспирант 116, который занял эту койку. До самого вечера мы беседовали. Утром следующего дня он спросил меня, который час, голосом еще не проснувшегося человека. «Семь часов без двадцати минут». И я услышал в ответ: «Уже семь часов без двадцати минут!» Затем я вышел из комнаты умыться. Возвратившись, увидел, что мой сосед уже мертв, под его кроватью валялся пистолет. Очевидно, он сам установил себе последний срок — семь часов. Этот человек приехал в Англию из Марокко, чтобы продолжать борьбу. Почему же он покончил с собой? Коронер 117 провел расследование, я был свидетелем, вместе с помощником врача, студентом-медиком по имени Франсуа Жакоб. По заключению коронера, имело место самоубийство, совершенное в состоянии *disturbed mind* — душевного расстройства.

За несколько дней до нашей погрузки на суда, начала дакарской экспедиции (ее замысел был секретом полишинеля, и меня не удивило то, что правительство Виши оказалось в курсе дела и успело послать в Дакар несколько военных кораблей) я приехал в Лондон и направился в Карлтон-Гарденс, где размещался главный штаб Вооруженных сил Свободной Франции. Здесь мне назначил встречу Андре Лабарт. Эта встреча изменила

направление всей моей жизни. К счастью или к несчастью для меня?

В Карлтон-Гарденс я увидел Андре Лабарта вместе с двумя его сотрудниками — мадам Лекутр и Станисласом Шимонзиком (мы называли его Старо); она была варшавской еврейкой, он — поляком из Тешинской области (аннексированной Польшей в 1938 году, в момент заключения Мюнхенского соглашения). Андре Лабарт представился в качестве преподавателя механики Сорбонны. Эта троица накинулась на меня, употребив все свое обаяние, все свои способности внушения. Лабарт руководил в главном штабе службой, которая еще не материализовалась; у него был доступ к Генералу, тот первоначально относился к Лабарту с симпатией и поручил ему создать ежемесячный журнал. Лабарт уверил меня в том, что прочитал мое «Введение в историю философии», и умолял оставить танковую роту и расчеты денежного содержания. Его доводы читатель может себе представить. Многие другие люди могут заменить меня в бухгалтерской работе, но сколько людей, находящихся в данный момент в Англии, способны писать статьи? Старо с цинизмом заявил мне: «Если вы хотите пасть смертью храбрых, времени у вас достаточно. Война так сразу не закончится». Лабарт входил в голлистское движение, военные не откажутся удовлетворить его просьбу о переводе сержанта Раймона Арона в распоряжение главного штаба.

Раздумывал я три дня. Голова идет у тебя кругом, говорил я в шутку сам себе. Семью, Францию я покинул не ради безопасности (с этой точки зрения Соединенные Штаты были более надежными), но для того, чтобы находиться вместе с теми, кто продолжает борьбу. Из ума не выходил унизительный опыт французской военной кампании. Я не знал, выдержу ли свист пуль и разрывы снарядов. Первая война пришлась на мои детские годы, но во второй я мог физически участвовать, ибо был еще достаточно молод. Почему же в конечном счете я принял предложение Лабарта? Могу лишь вспомнить те доводы, которые приводил сам себе. Я хотел быть танкистом, а меня послали в канцелярию. Мне придется следовать за настоящими бойцами, не будучи в их строю. Кроме того, выбор, который торопил меня сделать Лабарт, не являлся окончательным по своему характеру. Возможно, журнал долго не проживет или вскоре не будет более нуждаться в моих услугах. И если я колебался, то потому, что боялся: не станет ли вопреки всему этот выбор необратимым?

Руководить редакцией представительного журнала Франции в изгнании не было для интеллектуала-еврея делом бесчестным, но и славным оно тоже не представлялось. В 1943–1944 годах я

чувствовал себя «окопавшимся в тылу», когда сравнивал свое положение с судьбой летчиков, таких как Жюль Руа или Ромен Гари, которые рисковали своей жизнью в каждом полете; лица тех, кто ежедневно вступал в схватку со смертью, были для меня немым укором. Летом 1940 года, той осенью и еще в зимние месяцы таких угрызений совести я не испытывал. Может быть, решающая битва развернется на британской земле: Лондон был мишенью для германской авиации.

Ни то, что обычно называют «блицем», — ночные бомбардировки Лондона, не прекращавшиеся в течение всей зимы 1940/41 года, — ни удары самолетов-снарядов «Фау-1» в 1944 году, даже при взгляде издалека, не походили на испытание огнем. В течение всего «блица» я спал в своей кровати, за исключением одной или двух ночей, — «под защитой теории вероятностей», по выражению Денниса Брогана. В тот момент, по крайней мере по видимости, лондонские добровольцы подвергались штурму, а французы в Тулузе издали, как зрители, следили за перипетиями борьбы. Тогда я спал крепче, чем обычно, как человек с чистой совестью. Однажды ночью ради поддержания морального духа населения англичане усилили огонь противовоздушной артиллерии. Из-за грохота зенитных орудий, более оглушительного, чем взрывы бомб, я несколько часов не мог сомкнуть глаз, но этот грохот не помешал мне потом спокойно заснуть. Я жил в помещении Французского института у Квинс-Гейт. Этим учреждением руководил г-н Крю, известный по своим книгам, в которых он пытался восстановить правду о Первой мировой войне, о сражениях, о том, что действительно пережили их участники — пехотинцы, разоблачать легенды (например, о рукопашных схватках). Он организовал дежурства пансионеров Института во время воздушных тревог. Крю погиб, а здание было разрушено в 1943 году, в результате одной из тех редких серьезных бомбардировок Лондона, которые предпринимала германская авиация после начала военной кампании в России.

Нападения «Фау-1» потрясли лишь людей слабонервных. В самом деле, эти самолеты-снаряды создавали ударную воздушную волну. Даже в здании, пораженном прямым попаданием такого снаряда, чаще всего достаточно было укрыться под столом, чтобы спастись от падающих балок, камней, осколков стекла и металла. Шум мотора этого аппарата увеличивался с большей или меньшей быстротой. Когда же этот шум прекращался, становилось ясно, на каком примерно расстоянии произойдет взрыв. Самым худшим стал день, в течение которого на Лондон обрушилось сто двадцать «Фау-1»: хладнокровие или, скорее,

безразличие перед лицом этой малой опасности не могут быть показателями физического мужества.

В зиму 1940/41 года Лондон предстал перед миром как символ сопротивления Гитлеру. Такой взгляд был справедлив, если ударение сделать на слове «символ». Материальные разрушения, которые терпел этот город, никогда не были сравнимы с разрушениями немецких городов.

Андре Лабарт меня покорил. Он говорил обо всем и ни о чем, экспромтом, излучая очарование. Время от времени он вспоминал о своем таланте скрипача, ставшего виртуозом в восьмилетнем возрасте. Его мать жила в крайней бедности (она работала прислугой), его отец, возможно, был человеком знаменитым (поговаривали о Метерлинке); Лабарт охотно напоминал о своих ученых званиях. Он работал в секретариате Пьера Кота, министра авиации в правительстве Народного фронта, считался человеком левых взглядов. Среди тех, кто вошел в голлистское движение в 1940 году, Лабарт выглядел личностью первоклассной, для него в этом движении открывались блестящие перспективы. Шансы свои он растерял из-за чрезмерных амбиций, из-за того, что я могу назвать ненормальностью, из-за склонности к паранойе, из-за суждений, которые редко были точными, почти всегда колебались между правильным и ложным.

Когда я встретился с Лабартом, у него были прекрасные отношения с Генералом. На первый серьезный инцидент, а именно на арест английской полицией адмирала Мюзелье за разглашение секретных сведений о дакарской экспедиции, Лабарт реагировал решительно, с неким благородством. Явившись к Генералу, он поручился за своего друга Мюзелье; Генерал оценил такой поступок, в котором на сей раз не было никакого политического расчета.

Значительно позже, в 1979 или 1980 году, Анри Френе сказал мне, что Лабарт признался ему перед смертью в своей принадлежности к секретным службам Советского Союза. Я не мог в это поверить. Если Лабарт действительно являлся советским агентом, то почему же он упустил возможность собирать информацию внутри Вооруженных сил Свободной Франции? Его беспорядочные действия, его постоянная возбужденность, разговоры, которые он вел в салонах, его склонность скорее к воображению, чем ко лжи, — все это никак не согласуется с поведением советского агента[92].

Поскольку был поставлен вопрос о связях между Жаном Муленом 118 и коммунистами (в особенности его поднимал А. Френе), то я не могу не напомнить о старинной дружбе Жана

Мулена и Андре Лабарта (оба в одно и то же время работали в секретариате Пьера Кота). Старо охотно распространялся о том, что требовал и получал от Пьера Кота значительные вознаграждения за те идеи, которыми делился с министром за завтраками и обедами. Когда Жан Мулен приехал в Лондон, он избегал встреч с Лабартом. Тот счел, что Мулен не хочет компрометировать себя, вступая в контакт с человеком, который к тому времени уже не принадлежал, как считали, к верным людям Генерала.

«Штаб» Лабарта состоял из двух человек, Старо и Марты, обоих отличали румянец на щеках, необычность, граничившая со странностью. Старо воевал в Первую мировую войну в австро-венгерской армии, был артиллерийским офицером, а позже, после 1918 года, служил в польской армии. Долгое время Старо являлся членом коммунистической партии (не знаю, польской или германской), он жил в Советском Союзе, занимался партийной работой в Веймарской Германии, хорошо знал знаменитого Мюнценберга[93]. Какую роль выполнял Старо в международном коммунистическом движении? Когда он порвал с этим движением? Для меня это всегда оставалось тайной. Когда я встретил его, то считал, что он свободен от всяческих уз, и до сих пор сохраняю это убеждение. Старо с охотой щеголял каким-то радикальным цинизмом. Он заявлял, что коммунизм — это фашизм унтер-офицеров, а фашизм — это режим офицеров. Но этого человека отличал прежде всего ум, ум удивительный, который прорывался наружу, несмотря на трудности выражения мыслей даже на немецком языке, языке его культуры. Когда завязывалось наше сотрудничество, он иногда приносил мне сырые рукописи по полусотне листков, которые я доводил до двадцати машинописных страниц. Так родилась статья о битве за Францию, которую генерал де Голль прочитал и на полях которой сделал заметки. Мало-помалу рукописи Старо на немецком языке стали походить по своим размерам и стилю на журнальные статьи; моя же работа свелась к переводческой. Мы вместе написали небольшую книгу — «Решающий год» («L'Année cruciale»), заказанную британской пропагандистской службой. Мой соавтор набросал на бумаге несколько мыслей. Мое участие на этот раз было значительным; к тому же впервые после 1940 года я размышлял о военных делах. Глядя на наше прошлое, я возмущался всеобщим незнанием проблем стратегии и тактики, как возмущался ранее неведением экономики.

Хотя Старо был умным человеком, до уровня моих французских друзей он не дотягивал. Несомненно, он хорошо был знаком с работами Клаузевица, но отнюдь не с работами

философов. К оттенкам, тонкостям Старо относился с презрением, может быть провокативным. Власть, которую осуществлял Генерал с 1958 по 1969 год, на взгляд этого человека, скорее подтвердила бы, чем опровергла его формулу: «Генерал — это фашист». Посвятив себя политической деятельности, внутри коммунистической партии или против нее, он сотрудничал в газетах, приобрел широкую культуру. Но он слишком крепко привязывал себя к текущему моменту. Из всей троицы Старо казался мне и кажется еще сегодня, несмотря на свои приступы грубости, несмотря на свой цинизм, самым лучшим — и не только в интеллектуальном плане.

Госпожа Лекутр (ее супруг, благодаря которому она стала французской гражданкой, проживал где-то во Франции) не была, конечно, лишена тонкости, жизненной энергии, сметливости, ума. В редакции она являлась неким цензором, считала своим долгом перечитать все материалы и предложить исправления или полезные улучшения. Кроме того, она занималась общественными связями Лабарта и журнала. Своей роли чтицы эта женщина придавала большее значение, чем эта роль того заслуживала. Напротив, ее деятельность в качестве организатора была, как мне кажется, необходимой.

Вокруг журнала вращались лица одновременно и светские и маргинальные; среди них назову в первую очередь баронессу Будберг, происходившую из аристократической германской семьи, проживавшей в Эстонии; эта женщина в молодости была необыкновенной красавицей, она еще сохранила свою прелесть, ее обожали некоторые знаменитости, Герберт Уэллс в их числе. Я видел этого писателя два или три раза, он упорно боролся со смертью, которая к нему приближалась. Вспоминаю его слова, сказанные о баронессе: «Всех она привлекает, ибо так привлекательна». Посланник британского правительства (Локкарт), переживший первые месяцы большевистской революции, описывает в своих воспоминаниях, как вошла «Мура» в его жизнь. Черты ее лица еще напоминали поклонникам о едва угасшей любви. Баронесса принимала гостей в своем салоне все дни недели после обеда, среди этих гостей были люди света, но очень редко — высшего света.

Таким образом, журнал «Франс либр» обязан был своим рождением и своим успехом четырем «штатным» сотрудникам, двое из которых не являлись французами. Старо был необходим в не меньшей мере, чем я, ибо он задумывал или составлял ежемесячные аналитические обзоры военной обстановки, обзоры стратегического характера, которые обеспечивали журналу, более чем все остальные его материалы, репутацию, интеллектуальный

авторитет. Старо не мог обойтись без меня. И мы оба, Старо и я, не могли обойтись ни без Марты, которая отвечала за общественные связи журнала, за их развитие, ни без Андре Лабарта, способного на благородные порывы, и, в конечном счете, наивного в своих амбициях. Без него журнал не смог бы существовать, даже если он не всегда был автором статей, которые выходили за его подписью. По вине Лабарта журнал сбился со своего курса.

Мне трудно подчеркивать достоинства журнала, не расхваливая самого себя, но сегодня, сорок лет спустя, я достаточно отдалился от журнала, чтобы говорить о нем, не испытывая самодовольства, которое было бы нелепым. Поэтому я решусь здесь привести слова Александра Койре, который писал мне в конце войны, что французы за пределами страны создали не так много ценного, если не считать «Франс либр», лучшее произведение изгнанников.

Жан-Поль Сартр, которому я подарил переплетенные вместе номера журнала за полгода, опубликовал в газете «Комба» хвалебную статью (следует учитывать обстоятельства, нашу дружбу). Приведу выдержку из этой статьи: «„Франс либр“ представляет нам точку зрения самую уравновешенную и самую спокойную, наилучшим образом сбалансированную. Прежде всего, он создавался в живом пламени постоянно изменявшейся действительности, сам ритм которой был непредсказуем, но, как кажется, журнал всегда сохранял расстояние, необходимое для оценки движения Истории. Как этим изгнанникам, подвергавшимся во Франции оскорблениям, оторванным от своих семей, удалось в течение четырех лет сохранять такую объективность, беспристрастность, тогда когда в самой глубине их душ сталкивались надежда и сожаления? Много ли найдется хроник военных действий, которые можно было бы перечитать четыре года спустя после этих действий с тем же глубоким интересом? Самые разнообразные статьи о Виши, о состоянии дел во Франции, об итальянском общественном мнении или германской прессе, проблемах международного права, рассказы офицеров и солдат о войне — все это сосредоточивалось вокруг трех регулярных хроник, блестящих по своей проницательности. Хроника Раймона Арона (Рене Авора) предлагает нам нечто вроде спектрального анализа национал-социализма; анонимный военный обозреватель, объясняя битвы и стратегию этой всеобщей войны, рассматривает их как бы с планетарной высоты и показывает в каждом случае, как тесно переплелись друг с другом военный жребий и экономическая борьба; наконец, экономист Рене Ваше (Робер Маржолен) исследует проблемы

военного и послевоенного времени»[94].

Каждый месяц я писал по одной статье, посвященной положению дел во Франции (под заголовком «Французская хроника»), и по одной статье с анализом политической или идеологической темы; я переводил на французский язык или пересказывал на этом языке военные статьи Старо, а иногда писал передовые, которые подписывал своим именем Лабарт. В литературной части журнала, которая зачастую была слабой, мы опубликовали произведения Жюля Руа (Альбера Коэна). Читая одну из работ этого автора, Сартр не смог сдержаться, настолько претил ее стиль. «Кто этот Альбер Коэн?» — спросил он меня. Речь шла о статье, посвященной германской армии, которую парализовала русская зима. Но Жюль Руа приносил в редакцию и прекрасные материалы. В Лондоне я прочитал рукопись книги «Европейское воспитание» («Education européenne») Ромена Гари и предрек ему большое литературное будущее. По возвращении во Францию, в 1946 году, я познакомился со статьей Люсьена Февра, которая тронула меня особенно потому, что он в свое время сурово отзывался в частных разговорах о моем «Введении». Февр прокомментировал две книги, в которых я собрал «Французские хроники» и статьи на идеологические темы:[95]

«С учетом сказанного, обе книги Раймона Арона представляют для нас, историков, особый интерес. Вошедшие в нее статьи написаны были в Англии, и во всем, касающемся Франции, ее реакций, ее обязанностей в это лихолетье, они не могли опираться даже на ту скудную информацию, урезанную и подтасованную тысячью способами и по тысяче причин, которую все же имели французы в обеих зонах. Но именно поэтому Раймона Арона, стремившегося объяснить свою страну иностранцам, в частности союзникам, отнюдь не заботила документальная точность, обеспечить которую было невозможно. Задача, которую он ставил перед собой, заключалась в том, чтобы сделать понятной „французскую действительность в ее совокупности“. Всегда ли великие события, которые нас то воодушевляли, то приводили в уныние, он объяснял так, как объясняли их мы сами себе, мы, французы, остававшиеся во Франции, на месте этих событий? Если нет, то в чем же эти объяснения различались? Здесь прекрасное поле для сравнительного историко-психологического исследования. Надеюсь, что эта возможность не будет упущена, что кто-то решится одарить нас такой работой. Она имела бы капитальное значение для самопознания французов… которые в различной среде реагируют на одни и те же события, проявляя врожденную тождественность чувств, но с очень разными оттенками

восприятия.

Нет нужды добавлять, что тот, кто возьмется за это тонкое и увлекательное дело, уже будет вознагражден за свои труды, получив удовольствие… Труды Раймона Арона превосходны, они прозрачны, передают оттенки, отличаются редкой глубиной… Он выступает, причем одинаково успешно, и как экономист, и как социолог, и как политик. Открыв эти честные книги, никто не закроет их, не прочитав и не осмыслив их так, как того хотел бы автор».

Тридцать пять лет спустя один из двух молодых людей, которые подготовили передачи для телеканала «Антенн-2», Жан-Луи Миссика, был удивлен тоном моих «Французских хроник», нашей сдержанностью по отношению к еврейскому вопросу. Эти беседы побудили меня перечитать некоторые из хроник, написанных сорок лет назад.

Для сегодняшнего историка данные статьи представляют собой лишь свидетельство или документ. В моем распоряжении была французская пресса из двух зон. В печати с кляпом во рту содержалась какая-то информация, но гораздо больше сведений извлечено из немецких архивов; возможно, французские архивы хранят еще какое-то число фактов, нам неизвестных. Что меня смущает на историческом расстоянии, так это неявная критика со стороны тридцатилетнего француза иудаистской конфессии, неверующего: почему такая холодность, почему только три фразы в одном или двух абзацах посвящены статусу евреев 119, облаве на «Вел’ д’ив» («Vél’ d’hiv’»), парижском зимнем велодроме?

Что касается тона этих хроник, то я буду за него стоять. Достоинства «Франс либр», обеспечившие успех журнала, заключались как раз в том, что он не был фронтовым изданием. Несколько статей, близких по духу к фронтовой литературе, наши лучшие друзья раскритиковали. Некоторое время назад, на завтраке в Оксфордском университете, устроенном по окончании одной конференции, я встретился с Ричардом Коббом, историком Французской революции. Он напомнил, что уже встречался со мной два раза, причем в первый раз — по своей инициативе, нанеся мне визит в редакцию «Франс либр», единственного, по его словам, французского издания, которое он мог тогда читать, журнала культуры, без пропаганды, без полемических крайностей, журнала французского.

И правда, мы избегали навешивать ярлыки, что так любят делать сегодняшние «философы». Называть антисемитизм «омерзительным зверем» нам показалось бы смешным. Для нас антисемитизм являлся не ужасным воспоминанием или смутной угрозой, но реальностью. Должны ли мы были говорить о нем

больше, в частности в моих «Французских хрониках»? Сегодня конечно же я бы ответил *да.* Но в период между 1940 и 1943 годами и, может быть, вплоть до самого Освобождения меня больше занимали про- или антигерманские настроения людей Виши, чем их мнения по внутриполитическим проблемам. Антисемиты встречались и среди голлистов. Не буду называть имя одного министра Четвертой республики, который сказал мне осенью 40-го года: «Национальная революция? 120 — я не был бы против, но только не тогда, когда немцы оккупируют страну».

Во французском журнале, который неустанно защищал демократию, у меня не было необходимости без устали поносить вишистов, чтобы доказывать: я не из их числа. Верно то, что эти люди, по крайней мере те из них, которые составили первую команду, чаще всего действовали не по немецкому приказу, они применяли некоторые из собственных теорий; я понимал, что только поражение позволило им прийти к власти, но я понимал также, что некоторые из их теорий существовали до поражения и переживут победу. Для восстановления Франции насущно необходимо было исключить из ее тела как можно меньше «предателей». Да, коллаборационисты 121 — это предатели, но приверженцы Национальной революции, конечно, не относятся к их числу. И те люди, которые сегодня, когда страсти уже улеглись, сожалеют о том, что чистке не подверглись все сторонники Национальной революции как таковые, ведут себя подобно поджигателям гражданской войны. Даже в 1941 году я не был пленником таких низких страстей.

Теперь — о другом упреке: что якобы я не уделял достаточно места в своих «Хрониках» преследованиям евреев. Простой аргумент побуждал меня относительно отстраненно глядеть на законы 122 (но отнюдь не на практику) Виши. Если немцы выиграют войну, то евреи исчезнут во Франции и в Европе. Если немцы проиграют войну, то статус евреев долго не проживет, испарится вместе с войной. Остаются облавы, которые проводила французская полиция по приказам немецких оккупационных властей. Остается участь всех евреев, оказавшихся в концлагерях, от Дранси до Освенцима. Мы знали, что оккупационные режимы были очень непохожими друг на друга в различных странах, с запада до востока. Расовые воззрения Гитлера определяли в основном оккупационные порядки. В целом на Западе, особенно во Франции, школы, лицеи, университеты работали почти нормально. В Польше оккупанты запрещали высшее образование, поскольку славяне считались низшим народом, должны были уступить свою землю *Herrenvolk* — «народу господ» — или трудиться на этой земле под надзором и во славу своих хозяев.

Мы были осведомлены и о действиях борцов Сопротивления, и о репрессиях гестапо, и о депортациях евреев. Но в какой степени службы Свободной Франции в Лондоне осознавали, что пересылка евреев на Восток имела значение, отличное от депортации участников Сопротивления, схваченных гестаповцами? В Лондоне говорили вполголоса, неопределенно о самоубийстве двух руководителей Бунда[96], пожертвовавших своей жизнью ради того, чтобы привлечь внимание мира к геноциду, разворачивавшемуся на востоке Европы, при молчании двух деятелей (исключая Папу), которые могли говорить, — Уинстона Черчилля и Франклина Д. Рузвельта.

Но если бы мы обладали необходимой информацией, то могли ли ее использовать на страницах «Франс либр»? Журнал не подвергался цензуре, мы практиковали нечто вроде самоцензуры. Наше издание не скатывалось к *Greuelpropaganda,* «ужас-пропаганде», используя выражение, которое немцы придумали в 1914 году для изобличения союзнической пропаганды, обвинявшей их в зверствах. Мы считали доказанными мерзости гитлеровского режима, гестапо и его дел. Что касается прочего, то в подробности мы не входили. В 1944 году, после освобождения Франции, я более не участвовал в работе редакции журнала. Мне ничего не было известно или ничего не хотелось знать о «последней тайне»[97]. Я пишу «ничего не хотелось знать», испытывая угрызения совести; кажется, я вспоминаю о намеках в газетах на то, что некоторые советские люди отказывались возвращаться на свою родину.

И сегодня сомнение гложет меня. Что знали мы, будучи в Лондоне, о геноциде?[98] Говорили ли об этом английские газеты? Если да, то высказывались ли предположения или утверждения? На уровне ясного сознания мое восприятие сводилось примерно к следующему: концентрационные лагеря были проявлением жестокости, там командовали надсмотрщики, отобранные не из политических заключенных, а из уголовников; многие в них умирали. Но газовые камеры, фабричные методы умерщвления человеческих существ — признаюсь, я не мог себе этого вообразить, а не мог вообразить постольку, поскольку не знал о них.

Несколько лет назад в одной телепередаче Жак Аттали обвинил довоенные поколения в том, что они из-за своей глухоты и слепоты ничего не предвидели, ничего не попытались сделать, чтобы выковать свою судьбу и избежать участи, которую им уготовили нацисты. Меня ранило это обвинение, выдвинутое скорее против целого поколения, чем против меня лично. Отсутствие средств и связей не позволило мне сделать многое

для немецких евреев, но некоторым из них я помог; Ханна Арендт не забыла скромных услуг, которые я смог ей оказать; вместе с моими друзьями я понял, что после 1933 года в гитлеровской Германии более не оставалось места для евреев. Будучи «ассимилированным», я тем не менее презирал «израэлитов» 123, которые на евреев, бежавших из Германии, смотрели лишь как на «бошей», как на тех, кто дает повод для нового проявления антисемитизма (или является его причиной). Я ответил гневным посланием одному из моих товарищей по *Französisches Akademiker Haus,* когда он написал мне, что закон, направленный против последней волны иммигрантов из Польши, которые еще не ассимилированы, сам по себе приемлем, он вроде бы позволит уберечь еврейскую общину, укоренившуюся десятки, если не сотни лет назад. Попытки французских израэлитов отделить собственную судьбу от судьбы «polaks» вызывали у меня отвращение. Но даже у гитлеровцев я не предполагал наличие идеи *Endlösing,* «окончательного решения», то есть хладнокровного убийства миллионов мужчин, женщин и детей. Кто бы осмелился предвидеть, что такую чудовищную операцию осуществит народ высокой культуры? Могут сказать, что цена коллективизации деревни в Советском Союзе — еще большее количество смертей. Но исступление тирана, вознамерившегося силой преобразовать сельский мир обширной империи, аграрная коллективизация как проект партии-идеолога все же поддавались разуму нормального человека, европейца 30-х годов. Что же касается проекта осуществления геноцида, то мне не удается упрекнуть себя в том, что я не смог представить в своем воображении такой замысел и ничего не написал о нем на страницах «Франс либр».

После того как было подписано перемирие 124, министры французского государства, в том числе настроенные наиболее антигермански, должны были ожидать подходящего момента, чтобы вновь взять в руки оружие, момента, когда бы это оружие смогли им дать союзники. Но большинство этих людей обманулись, прежде всего неверно оценив природу продолжавшейся планетарной войны; они замыслили подписать мирный договор с гитлеровской Германией до окончания военных действий. Точно так же они ошиблись в том, что касалось хода событий, внушив себе иллюзии относительно проектов Гитлера и веса Франции во время военных действий или в конце войны.

Перемирие не обязывало этих политиков выдвигать лозунг Национальной революции и еще менее — выступать с инициативой принятия статуса евреев. Глядя из Лондона, я

предпочитал думать, что самые отвратительные заявления и действия Виши были следствием давления «победителей», а не выражением воли руководителей французского государства. Документы, ставшие известными сегодня, делают уже невозможной такую интерпретацию, по крайней мере в большинстве случаев. Антианглийская, антисоюзническая, антисемитская пропаганда выражала предрассудки и пристрастия адмиралов, контрреволюционных интеллектуалов, фашистов или полуфашистов, которых поражение сблизило в их ненависти, если не в чаяниях. Развернув такую пропаганду, вишисты отнюдь не подготовили французов к возобновлению борьбы, но обрекли себя на изоляцию, символом и выражением абсурдности которой стало самоубийство флота 125 в Тулоне.

Когда Сирия, Северная Африка, французские колонии стали объектами английской или американской «агрессии», правительство Виши приказало их губернаторам или военачальникам сопротивляться до конца. Позже в Виши оправдывали эти приказы боязнью германских репрессий в случае, если бы французы за пределами метрополии слишком легко присоединились к англо-американцам; лишь адмирал Офан решился направить адмиралу Дарлану телеграмму, уверяя его в том, что Маршал в глубине своей души одобрял соглашение [о прекращении огня], подписанное с англо-американскими «захватчиками». Я сомневаюсь, что только опасение германских карательных мер побудило даже лучших из вишистов превратить в Сирии ритуальный «бой чести» перед сдачей в плен в настоящее сражение (исходя из предположения о том, что такой бой являлся неизбежным). Еще в 1943 году на Мадагаскаре несколько недель продолжалось сопротивление англичанам. Ни одна из вишистских команд не свела к минимуму неизбежную плату за перемирие.

В наполовину оккупированной Франции политическая жизнь не остановилась, продолжалась она и за ее пределами. В Виши оспаривали друг у друга власть «аттантисты», сторонники выжидательного курса, и коллаборационисты, для чего все они добивались расположения Маршала, сохранение престижа которого казалось им до самого конца необходимым. Ни адмирал Дарлан, ни Пьер Лаваль не захотели целиком связать себя с гитлеровской авантюрой. Но этот последний был настроен наиболее пронемецки среди аттантистов, и оба они вели переговоры с победителем — то для того, чтобы расположить к себе фюрера, исходя из предположения о германской победе, то для того, чтобы умерить жестокость оккупационных порядков. Вишистские чиновники происходили из различных кругов, среди

них были люди, пережившие Третью республику, крайне правые доктринеры, технократы, фашиствующие интеллектуалы. Те, кто оставался в Париже, нападали на тех, кто переехал в Виши, обвиняя их в стоянии между двумя лагерями. Виши 1944 года с Деа 126 или Дорио 127 уже никак не походил на Виши 1940 года с роялистами, такими как Рафаэль Аллибер.

Если Жан Монне или Андре Моруа уехали в Соединенные Штаты, то большинство французов, оказавшихся в Лондоне к моменту перемирия, решили возвратиться во Францию. Они были движимы разными чувствами, подчас благородными. Некоторые люди, навсегда оставшиеся привязанными к делу союзников, хотели разделить со своими семьями испытания предстоящих лет. Другие полагали, что еще не наступил момент разрыва с правительством, которое обладало — вопреки тому, что написал в первом номере «Франс либр» Рене Кассен, — почти всеми атрибутами законности (или легитимности — об этом будут спорить бесконечно). Именно в Виши находились постоянные резиденции послов Советского Союза и Соединенных Штатов, аккредитованных при французском правительстве. 18 июня 1940 года генерал де Голль совершил жест 128, моральная значимость которого не уступала значимости политической. Очевидно, сам ход событий заставил бы его после войны возглавить временное правительство Республики, если бы даже он не потребовал немедленно и с таким пылом предоставить ему статус, как можно более близкий к статусу правительства в изгнании (который имели правительства ряда оккупированных стран).

Журнал «Франс либр», созданный в 1940 году по инициативе самого Генерала, входил в движение Свободной Франции, но никогда не являлся голлистским. Первый номер издания разочаровал и, вероятно, немного рассердил Генерала, поскольку его имя на страницах выпуска упоминалось лишь один раз, в скобках[99]. Он с улыбкой обратил на это внимание Лабарта. Несколько месяцев спустя де Голль направил в редакцию журнала письмо, в котором воздавал должное своему начальнику Рейно. В начале 1941 года Лабарт не помышлял о разрыве с Генералом: он хотел, чтобы тот оценил его заслуги в той мере, в какой сам Лабарт их признавал за собой.

Культ личности Шарля де Голля родился в то же время, что и само движение. Перемирие стало первородным грехом, который навлек вечный позор на всех людей Виши. Голлисты немедленно развернули интенсивную пропаганду против «правительства по воле случая», которое отдавало врагу наше оружие, наши арсеналы, наши порты и т. д. (как будто в случае капитуляции армии немцы все это не забрали бы себе). В одной из первых же

своих речей Генерал обвинял или подозревал правительство Виши в намерении выдать врагу флот.

В моем распоряжении нет всей информации, необходимой для выражения категорического суждения о перемирии, но я склоняюсь к тому, чтобы счесть его неизбежным. Во всяком случае, мне не кажется, что люди, подписавшие этот документ или согласившиеся с ним, тем самым себя обесчестили. Какое оружие, какое военное снаряжение могло бы найти французское правительство в Северной Африке? Маршал и Лаваль, заявившие о том, что они не оставят Францию, очевидно, образовали бы правительство. И какому правительству стали бы подчиняться летчики, моряки? Сколько людей в военной форме оказались бы в германских лагерях? Решение о переводе французского правительства в Алжир следовало бы принять, самое позднее, в конце мая, а реализовать — в первые недели июня. Послужил или навредил бы такой перевод союзническому делу, если бы его стали осуществлять в последний момент, в порядке импровизации? Несомненно, те люди [в правительстве], которые в конечном счете взяли верх в Бордо, действовали отнюдь не на основе обдуманного и трагического расчета преимуществ и неудобств, соответственно, капитуляции войск и перемирия; их рассуждения исходили из неверия в демократию, во Францию, осуществление своих чаяний они связывали с «реставрацией» или с авторитарным режимом. Именно политическая верхушка навязала перемирие; после этого голлисты осудили одновременно и «фашистов», и перемирие (которое они называли «капитуляцией», тогда как капитуляцией в собственном смысле этого слова являлось другое решение — сдача армии, от чего генерал Вейган, упорствуя, отказался).

И сегодня еще дискуссия не закрыта. Магистраты, которые вели предварительное судебное расследование по делу Петена, исключили перемирие из статей обвинения. Генерал в своих «Мемуарах» не прощает магистратам этого отказа. Поскольку он претендовал на легитимность, начиная с 18 июня 1940 года, поскольку он увез [после ухода в отставку] эту легитимность в январе 1946 года вместе с собой в Коломбе-ле-дёз-Эглиз, то перемирие должно было расцениваться как преступный акт, а призыв Генерала — как подлинное выражение воли Франции, самосознание которой тогда еще не пробудилось. События задним числом утвердили эту юридическую легенду, но в конце 1940 года Франция в целом, ее административно-судебные институты, армия, флот, авиация принимали приказы от Маршала. И следовало не отлучать скопом вишистов, а вернуть большую часть их на сторону Франции и ее союзников, их дела.

После вытеснения деятелей времен Третьей республики, «Виши-один», если можно так назвать, первую правительственную команду вишистов, символом которой являлся Рафаэль Аллибер, молчаливо причислила себя к лагерю контрреволюции, ее вдохновили идеи Морраса. На сцену вышла реакция, подобная той, которая в 1871 году привела в Национальное собрание роялистское большинство [129]. Два радиоголоса — Виши и Лондона, не считая парижской радиостанции, которую контролировали немцы, — стали начиная с июня 1940 года разговаривать друг с другом как заклятые враги. Не все французы приняли участие в этой смертельной дуэли (многие верили в существование секретного соглашения между Маршалом и Генералом). Вплоть до ноября 1942 года Франция сохраняла шанс избежать гражданской войны.

В Лондоне мы часто обсуждали судьбы Северной Африки. Большинство моих собеседников прибегали к следующему наивному доводу: «Раз немцы терпят сохранение вишистской власти в Африке, значит, у них есть на то свой интерес». Этот аргумент основывался на представлении о необыкновенной проницательности или всеведении гитлеровцев. Я же защищал точку зрения, в соответствии с которой обе стороны были заинтересованы в этом нейтралитете: немцы экономили на оккупационных войсках, которые понадобились бы в случае установления их прямого контроля над Северной Африкой; союзники ожидали момента, когда в их распоряжении окажутся десантные средства. Позже я познакомился у Клаузевица с рациональной теорией молчаливого соглашения между противниками: сильнейшая сторона, которая поэтому должна была бы наступать, не располагает перевесом сил, достаточным для того, чтобы свести на нет те естественные преимущества, которые дает оборонительная позиция. Ситуация вокруг Северной Африки была в некотором роде иллюстрацией такого положения: самая сильная сторона, то есть Германия, не была заинтересована в том, чтобы взять на себя ответственность за эти территории. Судьба войны решалась в России. После того как с Францией было подписано перемирие, немцы и союзники удовольствовались статус-кво. В конечном счете это положение предоставляло преимущества той стороне, которой удалось бы поставить себе на службу потенциал Французской Северной Африки; искомой стороной оказались союзники. Таким образом можно объяснить слова Черчилля, сказанные генералу Ж. Жоржу в Алжире в ноябре 1942 года: «В конце концов так вышло лучше; в 1940 году мы не смогли бы ничего предпринять из-за отсутствия войск и снаряжения». Разумеется, эти слова были опровергнуты;

но мне представляется, что Черчилль их произнес.

В 1941 году, как и в 1942-м, мы задавались вопросом: что же произойдет в тот день, когда высадятся союзные войска? Я не раз обсуждал этот вопрос с канадским послом Пьером Дюпюи, который ездил из Лондона в Виши и обратно, будучи аккредитованным, если не формально, то фактически, и при правительстве Маршала, и при Свободной Франции. Он анализировал различные группировки в Виши и хотя не предсказывал присоединение вишистов к делу союзников, но и не считал такое присоединение немыслимым. В ноябре 1942 года генерал Вейган[100], Ж. Боротра из числа министров умоляли Маршала отправиться в Алжир. Как мы знаем, безуспешно. Маршал сам себе запретил покидать землю Франции; он верил в то, что само по себе его присутствие способно уберечь ее народ от крайностей сурового оккупационного режима. Поскольку Маршал не появился в Северной Африке, находившиеся там офицеры и солдаты в конце концов признали власть Генерала. Антианглийская пропаганда Виши позволила отсрочить это признание, в особенности переход военных моряков на сторону голлистского движения. В свою очередь, политика и пропаганда этого движения в период между 1940 и 1942 годами не облегчила объединения двух заморских территорий Франции.

Я желал объединения французов, хотя и не верил в него, после того как высадка союзников в Северной Африке отнимет у правительства Виши его последнее оружие — флот и Империю — и лишит это правительство видимости законного властвования. Подчинявшиеся Маршалу части мужественно сражались в Сирии против бойцов Свободной Франции и английских войск. После окончания военных действий большинство солдат этих частей предпочли не присоединиться к Свободной Франции, а возвратиться на родину. Американцы и англичане не посвятили генерала де Голля в секреты североафриканской операции, возможно, опасаясь того, что силам Свободной Франции будут сопротивляться сильнее, чем силам союзников, возможно из-за неприязни к самому генералу. Американцы сделали ставку на генерала Жиро, исходя из ложной предпосылки, что он будет способен обеспечить переход войск в Северной Африке на сторону союзников. Адмиралу Дарлану была уготована роль «подручного средства», по выражению Рузвельта; эта роль меня не шокировала, она обеспечивала прекращение вооруженной борьбы между французами и их союзниками, она подготовила переход от Маршала к Генералу. Я питал отвращение к гражданской войне и не разделял безоговорочно пристрастий ни одного из лагерей.

Независимо от того, являлось ли перемирие неизбежным или

нет, столкновение между Виши и Лондоном было неизбежно, ибо и та и другая сторона претендовала на то, чтобы выступать в качестве легитимного правительства Франции. Как объяснил мне в 1941 году Рене Плевен, когда однажды вечером мы обедали с ним вдвоем, у Генерала с самого начала был выбор между двумя путями: или создавать добровольческий корпус — и в таком случае он ничего бы собой не представлял до тех пор, пока его военные силы оставались незначительными по масштабам этой мировой войны, или же учреждать политическую организацию, призванную стать правительством Франции. Генерал де Голль не колебался в выборе, и соглашения, заключенные между ним и британским правительством по инициативе Черчилля, не оставляли сомнений: они обеспечивали движению Свободной Франции своеобразный статус — положение представителя французских интересов за пределами страны, они превращали генерала де Голля в руководителя французов, которые не прекратили борьбу. Генерал должен был разоблачать «самозванство» Маршала. Вот почему так вытянулись лица некоторых голлистов в ноябре 1942 года: переход части вишистов на сторону Свободной Франции вызвал у них боязнь потерять монополию на Сопротивление.

Мне думается, что тогда, в июле 1940 года, Генерал не мог выбрать иной путь, но он мог бы вести политическую борьбу против Виши в более низкой тональности. Война в Сирии, начать которую де Голль посоветовал англичанам, была ненужной; события сами играли ему на руку. Если бы даже Маршал приехал в ноябре 1942 года в Алжир, то и тогда бы генерал де Голль, очевидно, пришел бы к власти как преемник Маршала. Но Генерал хотел, чтобы события для Франции и, следовательно, для него самого повернулись иначе.

Начиная с июня 1940 года он считал себя хранителем легитимности. И миссия, которую взял на себя Генерал, сразу же стала преображаться в его собственных глазах. То, что, по видимости, он требовал для самого себя, он требовал для Франции. Если Генерал смотрел на французов, которые сражались в рядах английской армии, как на перебежчиков, то потому, что он воплощал Францию, и в его глазах дипломатические баталии против союзников значили не меньше, чем война против неприятеля. Признание, которое он вырвал «вопреки всему», было полезным для Франции, которая благодаря ему и через его посредство ни на миг не оставила лагерь свободы и победы. Такому эпическому, мифическому видению Истории нельзя было отказать в праве на существование.

Журнал «Франс либр» не являлся голлистским 130, хотя и был близким к голлистскому движению. Его стали считать антиголлистским после столкновения адмирала Мюзелье и генерала де Голля. Несомненно, Андре Лабарт, связанный с адмиралом, сыграл важную роль в этом серьезном кризисе. Я не смог бы сообщить ничего нового о данном событии, которое адмирал Мюзелье представил в своей манере и развитие которого позволяют проследить тексты, вышедшие из-под пера Генерала. А. Лабарт не посвящал меня во все то, что он делал, а то, что он рассказывал, не всегда было точным.

По приказу Генерала адмирал Мюзелье завладел в декабре 1941 года островами Сен-Пьер и Микелон или, если предпочесть более ортодоксальную формулировку, водрузил над этими французскими территориями трехцветный флаг с лотарингским крестом, выгнав оттуда представителей Виши. Операция была проведена тайно, англичан или американцев о ней не предупредили. По утверждению Генерала, американцы и канадцы намеревались захватить радиостанцию на этих островах.

Американцы отреагировали с необычайной грубостью, разумеется, словесной, на вторжение сил Свободной Франции в зону, которая была предметом соглашения, заключенного с Маршалом. При соблюдении определенных условий, не предполагалось беспокоить власти во французских владениях в Западном полушарии, подчинявшихся Виши. По-видимому, захват островов Сен-Пьер и Микелон нарушал это соглашение. Уязвленный американский госсекретарь Кордэл Хэлл произнес фразу о «so called free French», «так называемых свободных французах». Она вызвала бурю в печати и в некоторых кругах Конгресса. Высказывание пошло на пользу Генералу. Хотя у госсекретаря были основания для претензий, его признали неправым, он оскорбил профранцузское общественное мнение в США.

Что же касается де Голля, то, как свидетельствуют его телеграммы того времени и его «Мемуары», он ни на миг не сомневался в своей правоте. В томе «Письма, заметки и дневники» я нашел фразу, раскрывающую его мысли: «Если случается так, что наши союзники, исходя из текущих интересов, довольствуются французским нейтралитетом, повсеместным или в отдельных местах, то мы на это не соглашаемся. В любом случае мы делаем все, чтобы повсюду, где у нас имеются для того средства, покончить с этим нейтралитетом волей или неволей». И добавляет: «Впрочем, мы думаем, что это отвечает общему интересу». Иными словами, Генерал из принципа боролся с вишистскими властями, в том числе и силой оружия[101].

Негодование американцев не смутило Генерала, скорее наоборот; он, как артист, наслаждался той бурей, которую вызвал сыгранный им спектакль. Англичане же в глубине души не сердились на руководителя Свободной Франции за то, что он бросил камень в лягушачье болото и поставил в затруднительное положение госсекретаря, который продолжал проводить политику, названную позже одним американским историком «игрой с Виши»[102].

Генерал поздравил адмирала с тем, как тот выполнил данный ему приказ и обеспечил присоединение островов к Свободной Франции. Но сам адмирал не одобрял агрессивный по отношению к американцам стиль, который навязал ему Генерал. По возвращении адмирала в Лондон гражданскую администрацию на островах возглавил Ален Савари, а военным комендантом стал Луи де Вильфос. Мюзелье же, как кажется, попытался изменить порядок деятельности Национального комитета Свободной Франции 131, чтобы исключить в будущем вынесение столь важных решений одним человеком, без обсуждения. (В таких ли условиях принималось решение относительно островов Сен-Пьер и Микелон?) Читая том «Записок» и «Мемуары» Генерала, можно восстановить этапы кризиса. Адмирал отказывается от своих функций члена Национального комитета, но хочет сохранить за собой пост командующего Военно-морскими силами Свободной Франции. Через несколько дней Генерал лишает его этого поста и назначает на место Мюзелье контр-адмирала Обуано. На флоте, особенно в его штабе, вспыхивают бурные манифестации солидарности с адмиралом Мюзелье. Британское правительство оказывает нажим на Генерала, первоначально для того, чтобы не допустить увольнения адмирала, а затем, поскольку первый упорствует в своем решении, чтобы добиться предоставления адмиралу статуса, достойного его звания и отвечающего его служебным заслугам. После того как адмирала просят взять отпуск и провести его вне Лондона, он не отвечает на приглашения к Генералу и порывает отношения с ним. Мюзелье отказывается от должности и функций инспектора Вооруженных сил Свободной Франции.

Какова была в точности роль Андре Лабарта во всей этой истории, в этом «заговоре», как часто ее называли? Без сомнения, он побуждал адмирала выступить против «единоличного отправления власти», но, как мне кажется, никогда не помышлял о «расколе» или об «отделении» флота, представлявшемся немыслимым, как бы ни была привязана часть офицеров к личности адмирала. При взгляде из сегодняшнего дня попытка Мюзелье и Лабарта выглядит ребячеством. В составе

Национального комитета у адмирала не было поддержки. И тот, и другой рассчитывали опереться на англичан и не обманулись в ожиданиях, но Генерал высокомерно отверг это вмешательство во внутренние дела Свободной Франции, а следовательно, Франции как таковой. После того как страсти утихли, Генерал сделал уступку английскому правительству; как я уже сказал, он предложил адмиралу почетный, но не дающий власти пост — тот предпочел отставку.

Луи де Вильфос сохранил верность адмиралу, проявив благородство и бескорыстие; так же поступил и капитан 1-го ранга Море (его настоящая фамилия — Муллек), но он был тесно связан с Лабартом, входил в число тех, кто сплел нити интриги. Что же касается адмирала и Андре Лабарта, которые хотели, в сущности, добиться большего места в голлистском движении, ограничив всевластие Генерала, то в конечном счете они оказались вне игры. «Франс либр» никак не отозвалась на своих страницах на этот кризис, но тем не менее издание стало выглядеть антиголлистским из-за политической деятельности его директора.

Дистанция между голлистским правительством и журналом увеличилась еще более в ноябре 1942 года, когда англо-американские войска высадились в Северной Африке, а ее вишистские власти перешли на сторону союзников, не без предварительной «схватки чести». Службы Генерала подвергли жесткой критике двусмысленную передовую статью, внушавшую мысль об объединении всех французов. Жак Сустель направил мне письмо (оно не сохранилось), в котором упрекал нас в разрыве с духом и принципами Сражающейся Франции [132].

Этот разрыв, вероятно, не оказался бы окончательным, если бы адмирал Мюзелье и Андре Лабарт не приехали в Северную Африку, чтобы поступить под начало генерала Жиро. Насколько мне помнится, журнал не освещал перипетии битвы между генералами, но позиция, занятая его директором, ставила журнал, по крайней мере внешне, на сторону генерала Жиро, а после его устранения [убийства] [133] — на сторону изгнанников-неголлистов и антиголлистов. Скандал вызвала, в частности, одна из моих статей — «Тень Бонапарта» («L'ombre des Bonaparte») (1943), ибо в ней содержалось развернутое сравнение бонапартизма и буланжизма, с одной стороны, и фашизма — с другой. Я перечислял характерные черты ситуации плебисцитарного цезаризма: *популярность какого-то деятеля или просто имени, переход на сторону Цезаря буржуазных классов, потеря доверия к парламенту, раздоры среди республиканцев и смятение в народных массах, шансы, которые дает*

плебисцитарная система. У истоков буланжистской авантюры я находил соединение тех же самых явлений: «республика против парламента, призыв к народу с благословения имущих классов. Генерал-республиканец и генерал-Реванш: вокруг его имени кристаллизовались и восторженность патриотизма, униженного поражением, и чаяния демократического романтизма».

Я отвечал на два возражения тех, кто был против сближения бонапартизма XIX века и фашизма XX века: в прошлом столетии решающую роль играло крестьянство; национал-социализм порожден экономическим кризисом. «Одной из характерных черт французского бонапартизма являлась та роль, которую в нем играли крестьяне, однако имеется и другой бонапартизм — городской, свойственный мелким буржуа, ремесленникам, даже рабочим, радикальным кругам, чувствительным к призыву воина, националистам и фрондерам, разделяющим республиканские идеи и в то же время жаждущим сильной власти. Кроме того, соединение крайностей в мифе о национальном герое, смыкание партии порядка с авантюристом, возносимым толпой, вспышка горячности, обращенной к харизматическому вождю, мобилизация колеблющихся масс — все эти черты обнаруживаются при формировании как фашизмов, так и бонапартизмов, оправдывая их сравнение». Что касается второго возражения — относительно коренного отличия социоэкономической конъюнктуры середины прошлого века от ситуации середины нынешнего века, то я отвечал следующим вопросом: «Почему Франция ранее всех других стран Европы пережила особую форму народного цезаризма?.. Страх „партажёров“, сторонников всеобщего дележа, породил среди крестьянских масс, ставших консервативными после превращения в собственников, такую же склонность к цезаризму, какую создал страх пролетаризации, обуявший массы германской мелкой буржуазии после 1930 года».

Вывод из этого анализа сформулирован в следующих строках: «Бонапартизм является, таким образом, одновременно и *предвосхищением,* и *французской версией* фашизма. Предвосхищением французским, ибо политическая неустойчивость, унижение патриотических чувств, стремление сохранить социальные завоевания революции, смешанное с некоторым безразличием к ее политическим завоеваниям, не раз создавали в стране плебисцитарную ситуацию, причем даже в периоды капиталистического подъема. И версией французской, ибо при благоприятных обстоятельствах всегда находятся миллионы французов, желающих компенсировать их традиционную неприязнь к собственным правителям страстными

порывами, кристаллизуясь вокруг личности, выдвинутой событиями. Французской версией также потому, что авторитарный режим во Франции неизбежно заявляет о своем родстве с Великой Революцией, отдает словесную дань общенациональной воле, заимствует фразеологию у левых сил, претендует на обращение ко всему народу поверх партий».

Статья не оставляла у читателя какого-либо сомнения относительно смысла содержавшегося в ней предостережения: «Каким бы глубоким и единодушным ни было это стремление к свободе, нация тем не менее останется подверженной авантюрам до тех пор, пока не будут обновлены ее институты. На град оскорблений она будет отвечать обидчивым патриотизмом». Я облек анализ в полемическую форму, ибо поставил в качестве эпиграфа слова Луи-Наполеона, написанные тогда, когда он жил в Лондоне, а именно в Карлтон-Гарденс: «Природа демократии состоит в том, чтобы олицетворяться в одном человеке». Морис Шуман объявил статью «дурным поступком», а Денниса Брогана она привела в восторг. Один из английских историков, специалист по Второй империи, подтвердил правильность анализа. Сегодня я сожалею о некоторых намеках, имевшихся в статье, более, чем о самом ее содержании.

В чем состояла ошибка? Генерал обладал очевидными чертами сходства с Луи-Наполеоном и со всеми претендентами на верховную власть. Алексис де Токвиль указывал, что Луи-Наполеон был более уверен в своей легитимности, чем потомки французских королей. Генерал приписывал самому себе неотчуждаемую легитимность, которую он бережно сохранил в своем изгнании и в своем одиночестве. Когда в 1958 году де Голль вновь пришел к власти, он сослался на акт, совершенный 18 июня 1940 года, хотя не все французы осудили перемирие и не все восприняли призыв 18 июня как акт, создающий персональную легитимность, которая должна была бы сохраниться после восстановления Республики. Подобно Бонапартам, де Голль презирал партии и группировки; он обращался ко всей нации; и он прибег к плебисциту, как когда-то Луи-Наполеон. Вопреки тому, что утверждали льстецы, де Голль никогда не сводил свою миссию к достижению военной победы; он замыслил проект — и почему бы упрекать его за это? — снабдить Францию «пригодными институтами».

Но он заранее ограничил свою власть, движимый демократическими убеждениями, а также, возможно, желанием убедить англичан и американцев в своей республиканской правоверности. Он отверг предложение, исходившее от некоторых участников Сопротивления, таких как Анри Френе или Пьер

Броссолет, — не допустить восстановления старых партий и объединить все организации движения Сопротивления в одну партию, которая была бы единственной, по крайней мере временно. Генерал возвратился во Францию с Консультативной ассамблеей, с легальной коммунистической партией, смывшей ошибки 1939–1940 годов. Наверняка он не хотел восстанавливать Третью республику. Радикалы и социалисты, публиковавшие газету «Франс» («France»), с основанием предупреждали, что голлистская республика не будет походить на парламентскую республику. Поскольку в пороках последней убеждены, к чему заранее отбрасывать названную перспективу?

Если перечитать статью «Тень Бонапарта» сегодня, то становится очевидным, что она менее страдает от того, что в ней сказано, чем от того, что в ней не принято в расчет. Генерал де Голль не походил ни на генерала Монка [обеспечившего восстановление на троне английского короля], ни на генерала — устроителя государственного переворота, он хотел учредить конституцию, скроенную по своей мерке и в то же время способную пережить его самого. Это ему удалось сделать в 1958 году.

В Соединенных Штатах, как и в Англии, отнюдь не все французы, отвергнувшие вишистский режим, присоединились к голлистам. В Нью-Йорке их ярость вызывал Антуан де Сент-Экзюпери, они относились к нему как к предателю, а ему самому было противно их сектантство. Тотчас после высадки англо-американских войск в Северной Африке Сент-Экзюпери выступил за примирение всех французов, желавших сражаться с врагом. Жак Маритен ответил ему резким письмом, оскорбившим получателя[103]. Один из них был неголлистом, если не антиголлистом, а другой — приверженцем де Голля. В глазах первого вишисты выглядели людьми, которых оккупанты держали за горло и которым приходилось идти на уступки, чтобы дети «не остались без молока»; второй же безоговорочно осуждал перемирие, не мыслил примирения с теми, кто играл какую-то роль в Виши. Один отвергал всякую политику и стремился вновь пойти в бой, другой напоминал, что военные действия требуют руководства и что задача такого руководства, само собой разумеется, лежит на Генерале. (В этом вопросе Маритен был прав.) Так столкнулись два высоких ума, два выразителя сознания французов, находившихся в Америке. Приехав в Африку, Сент-Экзюпери не включился в голлистское движение, посчитав, что в Алжире оно столь же ограниченно, как и в Нью-Йорке. С трудом он получил разрешение сесть за штурвал *lightning,* скоростного

самолета, в нарушение всех инструкций. Смерть застигла его во время одного из разведывательных полетов над Францией.

Позиция другого французского деятеля, Сен-Джона Перса (Алексиса Леже), с первого же дня сформулированная им, сводилась к следующему: никакого правительства, даже временного, вне оккупированной Франции. Он отказался от важного поста, предложенного ему Генералом, продолжал жить в бедности, на пособие, которое получал в качестве литературного консультанта Библиотеки Конгресса, которой тогда руководил его друг, поэт Арчибальд Маклиш.

Французы, не пожелавшие встать в ряды голлистского движения, руководствовались мотивами, отличными от побуждения Алексиса Леже. К ним относились, например, редакторы ежедневной газеты «Франс», которая печаталась на французском языке в Лондоне. Они полностью разделяли голлистский взгляд на Историю. Маршала и Морраса клеймили как предателей. В порывах политической страсти иногда разоблачали людей Виши с такой яростью, что их пропаганда приобретала антифранцузский характер. Я вспоминаю беседу за завтраком, на который один из редакторов газеты пригласил чехов, в том числе Рипку [134]. Речь зашла о президенте Чехословакии Гахе, подписавшем документ, согласно которому его страна попросила «протекции» рейха. Наш собеседник высказался об этом человеке сдержанно, произнес туманную фразу: «Он делает что может». А через несколько мгновений французский журналист стал метать раскаленные ядра в Маршала, в его министров и его сторонников, как если бы никто из них не делал того что мог, как если бы все они раболепно, даже со рвением служили оккупантам.

В команду, делавшую «Франс», входили Пьер Комер, Шарль Гомбо, Луи Леви, принадлежавшие к политическому классу Третьей республики; эти люди вечно опасались генерала де Голля, которого делали подозрительным в их глазах его стиль, его симпатии (предполагаемые) к «Аксьон франсез», его суровые оценки упраздненного режима.

Команда, готовившая радиопередачи «Французы говорят французам», была расколота. Жан Марен считался голлистом строгого устава; Пьер Бурдан держался на расстоянии от ортодоксов. Руководил этой командой племянник Жака Копо — профессиональный актер Жак Дюшен, который, в отличие от журналистов из газеты «Франс», не питал никаких ностальгических чувств к Третьей республике, не любил обстановку исповедальни, царившую вокруг Генерала. Самым способным среди них был П. Бурдан, он нелепо утонул в 1947

году, на заре блестяще начинавшейся политической карьеры.

После высадки союзников в Северной Африке благодаря умножившемуся числу авиарейсов между оккупированной Францией, Северной Африкой и Великобританией французская колония в Лондоне увеличилась. Участники Сопротивления, политические деятели, высшие чиновники пополнили ряды Свободной Франции, о недостатке достойных людей в которой сожалел генерал де Голль, принимая меня в 1941 году.

Робер Маржолен возвратился [в Лондон] в 1941 году, после того как Эмманюэль Моник, у которого он работал в Марокко в качестве начальника канцелярии, был отозван во Францию по требованию немцев. Маржолен познакомился [в Африке] с генералом Вейганом, восхищался им, но быстро понял, что такие чувства вредят тому, кто их выражает. Дипломаты или политические деятели, приезжавшие из Виши, в большинстве своем примыкали к генералу де Голлю, и они поступали разумно. Отныне существовали две Франции, каждую из которых воплощала группа, представлявшая в своих собственных глазах *истинную* Францию (*la* France). Какой-то третьей Франции не было, разве что для одиночек. Более того, присоединившиеся к голлистскому движению быстро понимали, что бывших вишистов, окунувшихся в крестильную купель этого движения, принимали в нем легче, чем тех, кто ранее служил союзническому делу где-то за пределами голлизма.

В те времена вера в благотворность голлистского крещения меня неприятно поражала, как коробила и строгость голлистов по отношению к французам, которые пошли служить в английскую армию или являлись членами организаций Сопротивления, находившихся в непосредственной связи с британскими службами. Сегодня благодаря немного более продвинутому политическому воспитанию я более терпимо отношусь к этой логике гражданской войны (которая мне всегда была понятна) или, если хотите, логике интегрального национализма. Дело, за которое боролись французы, было *неотделимо* от союзнического дела, но первое *не растворялось* во втором. После разгрома французской армии и оккупации Франции ее материальный вклад в победу не мог не стать второстепенным. Поэтому столь важно было придать этому вкладу всю возможную значимость; все усилия во имя союзнического дела, которые не выглядели как вклад собственно Франции, то есть голлизма, не отвечали национальному долгу.

Для меня лично не вставал вопрос о вступлении в голлистское движение, ставшее отныне побеждающим. Политика переместилась из Лондона в Алжир. Андре Лабарт находился в

США. На фоне разложения режима Виши генерал де Голль неоспоримо становился законным вождем. Но политическая жизнь из-за этого не приостановилась; напротив, она выходила из туманов изгнания и возвращалась в реальность.

В военном Лондоне, столице оккупированной Европы, вновь встречались друг с другом правительства стран, захваченных нацистами. С момента начала гитлеровского вторжения в Советский Союз темой разговоров и одновременно переговоров между государственными деятелями стали перспективы будущего после поражения Третьего рейха, отныне более вероятного. Наш журнал поддерживал дружеские отношения с лондонскими поляками, мы не раз публиковали их статьи, написанные по инициативе официальных властей, то есть польского правительства в изгнании.

Поляки рассуждали о будущем, погружаясь в какой-то выдуманный ими мир; мыслилось создание системы стран, малых и средних, которые объединились бы против Советского Союза и против Германии и благодаря этому смогли бы предотвратить столкновение между двумя великими державами точно так же, как и коалицию этих держав. Проект был от начала до конца утопичным, ибо воспроизводил продиктованную в Версале формулу решения вопроса, разработанную в 1919 году географом Х. Маккиндером. Реализация идеи буферной зоны между СССР и Германией наталкивалась на множество препятствий. Страны, которым предлагалось образовать такую нейтральную зону между двумя империями, должны были бы обладать достаточным единством, чтобы в случае конфликта с кем-либо из своих соседей ни одна из этих стран не обращалась с просьбой о посредничестве к той или другой державе. В межвоенный период подобный союз ни разу не удалось воплотить в жизнь. И Румыния и Венгрия претендовали на Трансильванию; Польша приняла участие в дележе добычи после Мюнхенского соглашения; ни Польша, ни Чехословакия не были защищены от протестов или требований со стороны национальных меньшинств. Территориальный статус Европы более всего и особенно зависел от Советского Союза. У государств буферной зоны, о которой мечтали, глядя издали, не было бы силы, необходимой для того, чтобы заставить соблюдать их статус неприсоединившихся, чтобы выполнить двойную задачу — быть преградой на пути и с Востока, и с Запада.

Несмотря на заключенное между собой соглашение, поляки и чехи не разговаривали на одном и том же языке. Поляки не скрывали своих опасений. К тому же они не забыли ни пакт

Гитлер — Сталин, ни раздел территории их страны армиями двух империй, ни уничтожение в Катыни советскими частями более десяти тысяч польских офицеров [135]. Об этом последнем злодеянии им было известно по рассказам нескольких пленников, уцелевших от расстрела, по точным сведениям, полученным от беженцев. Близкие к правительству Сикорского деятели знали: тысячи польских офицеров, которых держали в заключении в одном из советских лагерей, исчезли до прихода гитлеровских войск. Когда об этой бойне было публично заявлено в официальных сообщениях вермахта, польские министры потребовали создать комиссию по расследованию, состоящую из независимых лиц, свидетельство которой не могло бы опровергнуть ни одно из правительств. Известно, чем закончилось дело.

В частных беседах чехи — по крайней мере те, с кем я встречался, — критиковали поведение поляков. Все они разделяли позицию Бенеша [136]. Советский Союз будет доминировать в Восточной Европе — и это действительно представлялось неоспоримым. Поэтому правительству, которое утвердится в Праге, придется прежде всего поддерживать добрые отношения с Москвой. Бенеш и весь народ испытали на себе в Мюнхене трагический опыт беспомощности своих союзников. По этому горькому опыту они узнали, что Запад никогда не сможет обеспечить их безопасность. Отсюда следовало, что необходимо отныне рассчитывать на дружбу Москвы. Но такие рассуждения, на первый взгляд разумные, могли оказаться рассуждениями в духе [фольклорного глупца] Грибуя. В период с 1919 по 1939 год Бенеша преследовал призрак Австро-Венгерской империи, тогда как опасность исходила от Третьего рейха. Точно таким же образом во время войны он принимал меры предосторожности против возрождения германского империализма и предательства со стороны Запада. Он стал искать покровительства нового империализма.

Бенеш не верил в существование этого империализма. Он выступал, если можно так сказать, гарантом советских намерений перед своими великими союзниками. Советский Союз не потерпит появления на своих западных рубежах враждебных ему стран, способных присоединиться к агрессии, идущей с Запада, как это случилось в июне 1941 года. Московские правители, утверждал Бенеш, не замышляли ни территориальных захватов, ни распространения силой своих порядков. Исключение составляли восточные провинции Польши, население которых в большинстве своем являлось инородным, в частности русским или украинским. Этот человек, блиставший в прекрасные женевские

дни 137, ныне оказался совершенно слепым, он распространял ложные сведения, продолжая работу, начатую в 1936 году, когда передал Сталину «информацию» 138, полученную от немецких спецслужб через посредство своей собственной разведки, информацию, которая помогла уничтожить Тухачевского и других военачальников, расстрелянных во время большой чистки.

То, что говорили чехи о поляках в частных беседах, не могло не вызывать у меня досаду. Конечно, первые и на этот раз поступали благоразумно. Поскольку Советский Союз будет царить на востоке Европы, рассудок приказывал договориться с Москвой. После окончания войны, принимая одного из посетителей в королевском замке, возвышающемся над Прагой, Бенеш обвел широким жестом город и сказал: «Посмотрите, что я спас». Прага выжила как материальное существо благодаря капитуляции в сентябре 1938 года, которую Бенеш тогда заклеймил. Но, возможно, в глубине своей души он желал этой капитуляции, ответственность за которую ложилась на союзников.

Рассуждения чехов, как кажется, раздражали меня тем более, что они охотно становились в позу превосходства над поляками, людьми, вечно ведущими себя по-ребячески, как романтики, не способными оценить соотношение сил и действовать соответственно ему. Зачем раздувать тлеющие угли? Конечно, польские офицеры были убиты, но каждый день на полях сражений тысячами гибнут советские люди, их число не меньше числа пленников лагеря в Катыни. Следовало смотреть в будущее, то есть в сторону Москвы. На это мы отвечали вопросами: можно ли доверять Сталину, Советскому Союзу? Разве он стал таким же государством, как и другие? Не выйдет ли его империализм за пределы царской России, не будет ли он действовать по ее примеру? Фактически чехи не избежали советского господства — точно так же, как и поляки. Первый раз советские правители захватили власть в Праге 139 с помощью коммунистической партии, ни одному их солдату не пришлось пересекать границу Чехословакии. Во второй раз, двадцать лет спустя, ее режим был «нормализован» войсками Варшавского пакта 140, после того как сами чешские коммунистические руководители попытались этот режим либерализовать.

Описываемые годы я прожил во французском окружении, но вошел и в английские круги. «Reform Club» и группа либералов, Лайонел Роббинс и Фридрих фон Хайек приняли меня с радушием, о котором я вспоминаю с признательностью. Не раз приглашал меня к себе Карл Мангейм, который преподавал в Лондонской школе экономических и политических исследований. Моррис Гинсберг, ведущий социолог той же самой школы,

спросил меня перед концом войны, не соглашусь ли я занять должность, которая скоро стала бы должностью *full professor,* штатного профессора. Я не воспринял серьезно это предложение. Хотя в течение тех лет я чаще всего говорил по-французски и с французами, мне удалось в достаточной мере продвинуться в английском языке, поэтому чтение лекций или курсов на этом языке перестало вызывать у меня ужас. То, что в конечном счете определило мой выбор, являлось, если можно так сказать, само собой разумеющимся: я никогда не поменяю родину. Или моей родиной останется Франция, или у меня не будет никакой родины.

Разумеется, я мог бы жить и в какой-либо другой стране, в Великобритании или Соединенных Штатах, стать там добропорядочным гражданином. Но я не обрел бы там второго отечества. Язык, символы, эмоции, все связи, делающие человека членом какого-либо сообщества, зарождаются в первые годы жизни; если эти связи разорваны, мы чувствуем себя так, как если бы лишились какой-либо незаменимой части своего существа. Многие французские евреи не простили Франции принятия статуса евреев; или, точнее, эти законы отделили их от *их* Франции, от их страны — такой, какой они ее знали, или такой, какой хотели видеть. Что касается меня, то первоначально, может быть, в стремлении уйти от мучительного пересмотра, я счел, что статус навязали режиму Виши немцы, прямо или косвенно; затем я убедил себя в том, что этот режим представляет собой отклонение в истории Франции, военный эпизод.

Я познакомился со многими лондонскими французами, с сотрудниками Французского института: у меня завязалась тесная и нежная дружба с Луизой Верье. Среди тех, кто воевал в Африке и возвратился в Лондон, я вновь увидел генерала Эдуара Корнильон-Молинье, пилотировавшего самолет Андре Мальро во время его воздушной экспедиции в столицу страны царицы Савской. Он был уроженцем Ниццы, провансальцем, жившим неподалеку от итальянской границы, любил рассказывать «потрясающие истории», но никогда не хвастался. Наоборот, будучи одним из тех немногих французов, которые в качестве летчиков-истребителей участвовали в обеих войнах — 1914–1918 и 1939–1940 годов, — он никогда не говорил о своих подвигах, о сбитых вражеских машинах. Более того, Корнильон-Молинье скрывал свой талант музыканта, скрипача. Не распространяясь о том, что было лучшего в нем, экспансивный в том, что касалось успехов иного рода, он был для Сюзанны и для меня несравненным другом, верным, бескорыстным, всегда готовым помочь.

По счастью, благодаря связям Андре Лабарта с американцами Сюзанна и Доминика 14 июля 1943 года приехали в Лондон. Здесь 18 июня 1944 года родилась наша дочь Эмманюель, и Эдуар стал ее крестным отцом. Мы сняли два коттеджа, находившиеся неподалеку друг от друга, один — для Корнильона и его тогдашней подружки, другой — для Сюзанны с младенцем. Освобождение нас не разлучило. Корнильон не раз входил в правительство при Четвертой республике, для нас же он оставался товарищем.

В моем маленьком жилище у Квинсбери-Гейт побывали многие французы, служившие в ударной группе Вооруженных сил Свободной Франции, которая входила в первый эшелон высадки на континент. Здесь я жил один, после того как нам пришлось оставить квартиру у Кромвель-Гейт, а Сюзанна обосновалась в деревне. Лица двух членов этой группы постоянно остаются в моей памяти — Ги Аттю и Ги Вурша. Второй стал известным анестезиологом. Встречаемся мы нечасто, но я сохраняю прочную память об этих годах товарищества.

Именно в этом домике у Квинсбери-Гейт несколько недель провел со мной Жан Кавайес. Я знал его по Эколь, где он был «главным кациком» (первым из самого старшего выпуска). Мы восхищались им, оставаясь несколько поодаль; он часто встречался с научными сотрудниками, поскольку готовил работу на степень лиценциата по математике. Из тех школьных лет в моей памяти сохранился один-единственный эпизод, прямо связанный с Кавайесом: он обращался к Эмилю Брейе с просьбой взять назад свое письмо об отставке. Эмиля Брейе оскорбил тот факт, что некоторые учащиеся не посещали регулярно его семинар, предназначенный для философов Эколь (основными «виновниками» были Сартр и Низан). Меня поразили пыл, энергия, с которыми Кавайес пытался убедить профессора отказаться от своего решения. Много лет спустя, будучи агреже-ассистентом по подготовке кандидатов на замещение преподавательских должностей, он пригласил меня выступить на тему об Истории на одном из своих семинаров. А затем послал мне письмо, в котором с похвалой отозвался о моем докладе. Накануне войны мы основали вместе книжную серию для научного издательства «Эрманн» («Hermann»). В ней вышла только одна работа — «Теория эмоций» («Théorie des émotions») Сартра.

В Лондоне мы стали друзьями. Он рассказывал мне о своей семье, о своей сестре Габриель Феррьер. Я от всей души восхищался этим философом-математиком, силой его ума, твердостью его моральных устоев. Мы строили планы на будущее.

Кавайес был схвачен гестаповцами, его расстреляли. Если бы он остался жить, философское сообщество, интеллектуальное сообщество Франции были бы иными. А я совершил бы меньше ошибок.

И в Лондоне я сознавал, что являюсь евреем, и другие сознавали, что я — еврей. Но несмотря на те слухи, которые распространялись относительно существования антисемитизма в некоторых голлистских кругах, я ни разу не заметил ни малейшего признака антисемитизма, идущего сверху. Лично я не захотел выступать на радио — за исключением особых случаев, таких, например, как смерть Анри Бергсона, — чтобы не давать пищи для вражеской пропаганды. Я испытывал удовлетворение при мысли о том, что возвращусь во Францию таким же неизвестным, таким же бедняком, каким был, когда покинул ее. И в этом отношении мои замыслы удались.

В каком состоянии духа находился я летом 1944 года после Освобождения, накануне своего возвращения во Францию? Какой итог следовало подвести? Я колебался: можно ли считать себя человеком с чистой совестью? Хотя я и не испытал опасностей службы в боевом подразделении, но стал участником нужного дела — издания французского журнала культуры, который распространялся по всему свету тогда, когда голос Франции был заглушен и, хуже того, искажен. По мнению некоторых, этот журнал должен был бы более проявить себя как ортодоксально-голлистское издание, но и сегодня я в этом не убежден. Французы за пределами страны, не менее чем внутри нее, не были четко разделены между двумя абсолютами — Маршалом и Генералом. Журнал послужил экуменическому голлизму лучше, по крайней мере вплоть до 1943 года, чем если бы его превратили в издание, редактируемое в стиле и тоне, принятых верными людьми Генерала.

В то же время я пытался разобраться в самом себе, в своей склонности к одиночеству. Должен ли я вечно находить более или менее хитроумные доводы, чтобы оказываться в стороне, вне всех партий, всех движений? Мне вспомнилось, как в 1933 году один немецкий студент упрекал меня в неспособности *mitmachen,* то есть принимать участие, включаться во что-то.

Изгнание усиливает самые неприятные черты политики: обилие интриг, нашептывание, скрываемую неприязнь, случайные сближения. Спорят о будущем, о возможном. Лондонский опыт должен был бы явиться последним этапом моего политического воспитания. В некотором смысле так оно и вышло, ибо впервые я увидел вблизи людей, делающих политику. Но преподносимые

уроки усваивались лишь постепенно. Моя аллергия к любому мифическому в*и*дению истории, делающей-саму-себя, обрекла меня на судьбу, которую я испытал в течение тридцати семи лет, прошедших после войны. Я не осознавал это так ясно, как сегодня, в тот момент, когда с волнением в груди вступил на французскую землю. Мне понадобилось еще несколько лет, чтобы принять эту судьбу или, точнее, строго определить те ее доли, которые приходились, соответственно, на анализ и на участие в действии.

VIII
ИЛЛЮЗИЯ БЕЗ САНТИМЕНТОВ

Для заголовка этой главы, посвященной событиям конца войны и первых послевоенных лет, я взял слова «Иллюзия без сантиментов», перевернув формулу, которой Андре Мальро характеризует первую фазу революции. В освобожденной Франции много говорили о революции; на первой полосе газеты «Комба», под ее названием, печатался лозунг: «От Сопротивления к Революции». Жорж Бидо выдвинул лозунг «Революция через закон». За этой фразеологией скрывалась пустота.

Во время войны сам генерал де Голль принял решение содействовать воссозданию партий. И сегодня я считаю это решение одновременно и мудрым и неизбежным. Во всяком случае, в подполье коммунистическая партия продолжала жить; она приняла активное участие в борьбе с оккупантами начиная с июня 1941 года. Поскольку генерал де Голль обязался предоставить слово нации, иными словами, провести выборы, необходимо было, чтобы в условиях существования компартии могли бы высказаться и другие партии, и их представители. Леон Блюм и уцелевшие сторонники СФИО не согласились бы раствориться в образовании, границы которого очерчивали бы движение Сопротивления или Республика. Франция была обречена если не на режим партий, то на межпартийное соперничество. Борьбу эту скрывала и в то же время искажала тактика, принятая компартией. Пока продолжались военные действия, она поддерживала правительство Генерала, призывала рабочих трудиться и одновременно под прикрытием чистки сводила счеты с бывшими коммунистическими активистами и профсоюзными деятелями внутри федераций, враждебных Всеобщей конфедерации труда. Министры-коммунисты расставляли своих людей, обеспечивая компартии позиции, которые она отчасти сохраняет вплоть до сегодняшнего дня (например, Марсель Поль в «Электрисите де Франс» 141).

Единство движения Сопротивления мне представлялось обманчивым. Действия советских властей в Румынии, в Польше, в оккупированной ими зоне Германии не оставляли сомнений относительно намерений Сталина. В соответствии с формулой, которую он употребил в одной из бесед с Джиласом, каждая армия приносит с собой собственную идеологию. После мая 1945 года разрыв между компартией и другими партиями стал лишь вопросом времени. Не отдав в руки коммунистов ни одно из

ключевых министерств, Генерал подчеркнул тем самым коренное различие, которое он проводил между компартией и другими партиями. Трехпартизм — альянс трех больших партий, ФКП, Народно-республиканского движения (MRP) и СФИО, — не мог продолжаться долго; ему не суждено было выдержать распад коалиции трех великих держав.

Атмосферу первоначальной фазы вновь обретенной демократии отравляла не только межпартийная борьба, но в той же мере и чистка 142. Немедленно произошел скачок инфляции, частично подавленной во время войны. Изгнание захватчиков не устранило в один миг расколы внутри нации, напротив, оно позволило выплеснуться наружу озлобленности, противоречащим друг другу устремлениям различных классов, различных партий; рядовых французов обуяли мрачные мысли, настолько действительность отличалась от того, на что они надеялись в черные годы. Вспоминаю о днях 8 и 9 мая и о грустном настроении столицы. Если память мне не изменяет, я обменялся с Жюлем Руа несколькими словами об этой странной атмосфере, об отсутствии какого-либо энтузиазма. Кровопролитию приходил конец, в Европе по крайней мере; Франция была в стане победителей, но народ не объединился, и мы уже задавались вопросом, что нам принесет будущее. Мне было тринадцать лет 11 ноября 1918 года. На следующий день после перемирия нас троих — моих братьев и меня — родители привезли в Париж. Я никогда не забуду, как ликовали тогда все парижане, выйдя из своих домов, заводов, контор, заполнив улицы. Буржуа и рабочие смешались друг с другом, мужчины и женщины целовались, все кричали, повторяя в один голос: «Мы победили!», «Наша взяла!». Теперь и национальное единодушие сохранялось ненадолго. По крайней мере, оно выражало гордость французов своим героизмом и своими жертвами, облегчение, которое приносило им окончание бойни. Я участвовал во многих манифестациях, ни одна из них не собирала французов всех состояний, ни одна не походила на ликующую толпу парижан 12 ноября 1918 года. В тот день они не проходили колоннами, они шли все вместе, дышали одной грудью.

Надо ли добавлять, что Франция легче оправилась от поражения 1940 года, чем от великого и сверхчеловеческого испытания 1914–1918 годов?

Встреча с Андре Лабартом, состоявшаяся в июле 1940 года, определила мое существование в военные годы.

Другое решение, принятое на этот раз без суда совести, почти без раздумий, также повлияло на всю оставшуюся мне жизнь.

Декан филологического факультета Бордоского университета предложил выставить мою кандидатуру на замещение вакантной должности на кафедре социологии. В свое время я был избран по конкурсу преподавателем филологического факультета Тулузского университета, и жена получала мое жалованье в 1940–1943 годах, поскольку меня признали пропавшим без вести. Декан факультета не был в неведении о моей судьбе. И мне следовало бы как можно быстрее отправиться в Тулузу, чтобы поблагодарить декана и коллег за заботу о моей семье. Не могу понять, почему я этого не сделал.

В 1938 году, замещая профессора Боннафу, я курсировал между Бордо и Тулузой большую часть учебного года. Такая практика, запрещенная на бумаге, во всяком случае без наличия особых обстоятельств (например, постоянного проживания супруга или супруги в другом городе), не смущала ни администрацию, ни декана. Насколько помню, предлагая мне участвовать в конкурсе, он не выдвигал никаких условий относительно места моего постоянного жительства. Может быть, потому, что в Бордо остались хорошие впечатления о моей работе в качестве преподавателя в 1938 году. Может быть, и потому, что евреи, которых вчера преследовали, получили на определенный срок какие-то льготы, по крайней мере в некоторых кругах. В университетской среде можно было бы на пальцах одной руки пересчитать тех, кого прельстил коллаборационизм. Зато даже в лагерях для военнопленных в Германии многие преподаватели-католики остались на более или менее продолжительное время приверженцами Маршала, например Жан Гиттон.

Назначение в Тулузе в августе 1939 года означало исполнение моих самых заветных надежд. В 1944 году у меня был выбор между Тулузой и Бордо, поскольку я мог бы получить, в случае ходатайства, ту самую должность, занимать которую ранее мне запрещал статус евреев. Доводы, которые я сам себе приводил, сводились к вопросу о месте постоянного жительства. Будучи лишенным в течение пяти лет общества моих парижских друзей, я боялся, что Бордо станет для меня какой-то ссылкой, ибо будущих своих коллег, за несколькими исключениями, я не знал. В 1938 году у меня вызвал чувства уважения и почтения декан Андре Дарбон, с ним у меня состоялась короткая беседа в июне 1940 года, накануне моего отплытия в Англию; мне был симпатичен историк Рима Уильям Сестон, протестант, с которым я регулярно встречался. Идея о том, чтобы обосноваться в Бордо, мне претила, как претила и мысль о постоянных разъездах между городом, где буду жить, и городом, где буду преподавать. Уделять университету полтора рабочих дня в неделю — разве это

достаточно, разве это приемлемо?

Но являлось ли это моральное возражение главной побудительной силой? Говоря со всей откровенностью, меня поразил вирус политики. Не то чтобы я мечтал о политической карьере после возвращения во Францию. Изменение самой моей личности — вот что побудило прервать университетскую карьеру, к которой предназначали меня мои научные занятия, мои чаяния и воспоминания об отце. Это изменение произошло благодаря годам, проведенным в Лондоне, где я занимался журналистикой поблизости от тех, кто играл роль на исторической сцене. В глубине души, в чем я сам себе не признавался, университет — таким, каким я его знал, каким заранее представлял, — внушал мне скуку. Передо мной окажется десяток студентов, которым я буду излагать содержание «Самоубийства» («Le Suicide») и «Элементарных форм религиозной жизни» («Les Formes élémentaires de la vie religieuse») Дюркгейма; воспоминания об опыте 1938 года ныне вызывали у меня чувства, совершенно отличные от тех, которые я испытывал ранее. 1938-й явился для меня годом завершения четырехлетнего периода, в течение которого были написаны три книги, и я отдыхал, не испытывая особых угрызений совести: происходила перезарядка аккумуляторов. Но даже те результаты, которых я достиг, при всей их скромности, порадовали бы моего отца, доведись ему прожить еще четыре года. В 1944–1945 годах другое стремление побудило меня временно отойти от того места, которое сегодня я назвал бы своим естественным местом, — стремление принять участие в общенациональных дискуссиях, послужить своей родине, не терпеть молча, если Франция снова начнет приходить в упадок. Моя страна обрела свободу, и все предстояло еще совершить.

В Лондоне я выступал в защиту режима либеральной демократии — режима, который с таким ожесточением критиковал, выступая во Французском философском обществе. Избежит ли новая республика пороков, приведших предыдущую к гибели? Не приведет ли то же самое неведение правительства относительно экономических дел к заблуждениям, сравнимым с заблуждениями 30-х годов? Как сумеет Франция приспособиться к веку империй, к межгосударственной системе, которая из европейской превратилась в мировую? Не думаю, что хвалю себя на расстоянии, тридцать семь лет спустя: я хотел активно участвовать в восстановлении Франции — не написанием «Введения в социальные науки» или эссе о Макиавелли, но другим способом. Мои друзья, которым сегодня по тридцать или сорок лет, слабо представляют смесь чувств унижения и желания

служить нации, вдохновлявших людей моего поколения. Голлистская эпопея не стерла воспоминаний о крушении 1940 года, которому предшествовали годы упадка. Поражение Третьего рейха возвращало шанс Франции, нельзя было этот шанс упустить.

Должен ли я также винить вкус к журналистике, искушение той легкостью, которой меня заразили Лондон и «Франс либр»? Написание серьезной книги требует не одного года труда; проходят месяцы, прежде чем автор получает отклики на опубликованную работу. И мои истинные, сугубо интеллектуальные, устремления уступили место мечте об общественном служении и отравлению политикой.

Я нечасто задаюсь вопросом: как повернулись бы моя жизнь и моя работа, если бы я занял место на кафедре в Бордо, что, очевидно, привело бы меня на одну из парижских кафедр, но не в 1955 году, а в 1948-м. Во всех или почти во всех моих книгах ощущается внимание к тому, что происходит сегодня. «Великий раскол» («Le Grand Schisme») был порожден стремлением представить себе общую картину мира, чтобы, если можно так выразиться, «обрамлять» комментарии по международной политике. Книга «Цепные войны» («Les Guerres en chaîne»), последовавшая за «Великим расколом», отвечала критикам, содержала углубленный анализ некоторых проблем, которые ставила передо мной обстановка в мире. Даже те книги, которые мне более всего дороги — «Опиум интеллектуалов» («L'Opium des Intellectuels»), «Мир и война между нациями» («Paix et guerre entre les nations»), — неотделимы от истории, совершающейся сегодня, хотя я и пытался в них подняться над опытом, уже данным жизнью, над лепетом судьбы.

При всем том, ничто не позволяет утверждать, что если бы я возвратился на университетскую стезю начиная с 1945 года, то продолжил бы исследования последних предвоенных лет, как если бы война была чем-то, вынесенным за скобки, и не преобразила меня самого. Тот человек, каким я был в 1944 или 1945 году, — не могу вообразить, что он сел бы писать «Введение в социальные науки».

В 1945-м мне были почти безразличны вопросы теории познания, которые меня интересовали, а подчас и волновали до 1939-го. Объектом моего философского любопытства стала скорее сама действительность, чем различные подходы к ней. Чтобы отстраниться от событий, происходивших в послевоенные годы, мне понадобилось бы принудить самого себя. Дело обстояло совершенно иначе спустя десять лет, в 1955 году, когда я хотел возвратиться в университет не для того, чтобы занять престижное

место на кафедре в Сорбонне, но чтобы освободиться, хотя бы частично, от журналистских занятий. Через несколько лет работы в «Фигаро» я еще раз почувствовал, что рассеиваюсь или начинаю терять себя — подобно своему отцу.

Моя журналистская карьера, какой я ее вижу, началась лишь в марте 1946 года, в ежедневной газете «Комба», вышедшей из движения Сопротивления. Руководил ею Паскаль Пиа. О восемнадцати месяцах, прошедших между моим возвращением во Францию и началом работы в «Комба», у меня сохранились лишь отрывочные воспоминания, которые настолько стерлись из памяти, что этот период кажется мне сегодня, когда я оглядываюсь назад, пустым временем. В первые месяцы я испытывал одновременно напряженное чувство радости от того, что вновь увидел родину, и «разочарование в свободе», говоря словами заголовка статьи, написанной мною для первого номера журнала «Тан модерн».

Симона де Бовуар рассказала, с каким увлечением Сартр и я возобновили наши диалоги. Ныне они реже носили философский характер, но всегда оставались дружескими. После столь долгой разлуки мы сразу же сблизились…

Сартр написал для «Франс либр» прекраснейшую статью — «Париж во времена оккупации» («Paris sous l'Occupation»); он написал ее за одну ночь, не обойдясь без возбуждающих средств, ибо я ему заказал материал к точно определенному сроку. Между тем срок был отодвинут на один или два дня, но я не дал об этом знать Сартру. Когда же я ему об этом сказал в тот момент, когда он передавал мне свою рукопись, то услышал в ответ: «Мерзавец!» Конечно, я был виноват (может быть, у меня не было возможности связаться с Сартром). Меня поразило — и не в одном этом случае, насколько он реагировал как моралист. Сартр непроизвольно поступал по-кантиански, *намерение* другого волновало его гораздо больше, чем само действие, и он приходил к безоговорочному суждению, положительному или отрицательному, в зависимости от задних мыслей, которые предполагал у данного лица.

Еще одной из моих радостей было возобновление дружбы с людьми, о которых я еще не упоминал в предшествующих главах. Не потому, что эта дружба занимала меньшее место в моей жизни и в моем сердце; я бы сказал, скорее напротив. С Колеттой и Жаном Дюваль меня связывали не годы совместной учебы; Колетту я впервые встретил в деревне Пра под Шамони, еще до того, как она вышла замуж за Жана. Именно она меня с ним и познакомила. Один из моих товарищей по лицею Кондорсе,

Филипп Швоб, дружил с братом Колетты, Мишелем Лежёном, эллинистом, а может быть, и с другим братом — Жаном Эффелем. Жан Дюваль, коллега и друг [писателя] Жана Геенно, был прежде всего и более всего очаровательным человеком, его отличали тонкость, деликатность, на фоне которых я чувствовал бы себя неотесанным деревенщиной, если бы под покровом юмора Дюваль не прятал целомудренно свои тесные привязанности и чувства к другим людям. Жан и Колетта составляли пару, дружба с одним из них непременно приводила к дружбе с другим. Во время нашего годового пребывания в Гавре они два дня гостили у нас. Иногда мы беседовали вчетвером, но чаще — вдвоем, по очереди с Колеттой и Жаном, а они — с одним из нас.

Войну они пережили там, где жили всегда и где ныне проживает их сын Андре, — на парижской улице Мосье-ле-Прэнс («Monsieur-le-Prince»). Они входили в группу Сопротивления, созданную в Музее человека, и чудом избежали гибели. Гестапо знало, что на улице Мосье-ле-Прэнс есть явочная квартира. Гестаповцы провели одного из схваченных ими по подозрению людей вдоль всей этой улицы, надеясь, что тот выдаст явку каким-либо образом — знаком, выражением лица, жестом. Но пленник выдержал испытание и спас своих товарищей.

Мальро знал супругов Дюваль и уважал их. Однажды, выходя вместе со мной из их дома, он заговорил об этих благородных людях, посвятивших себя благородному ремеслу, обладателей высокой культуры, живущих в стороне от баталий и пошлостей политических и литературных джунглей, хранителей наследия, имеющих миссию передавать его. Андре Дюваль, став жертвой «культурной революции» и дискредитации гуманитарных дисциплин, не верит столь же твердо, как его отец, в эту незаметную и необходимую миссию. Его отец был верен ей, но не сводил к ее выполнению все свое существование. Как никто иной, он рассуждал о поэзии; его ученики с восхищением и любовью относились к своему учителю. Самого же его неотвязно преследовало желание написать книгу о Викторе Гюго; этот замысел так никогда и не был осуществлен. После кончины Дюваля нашли его дневник, который он вел постоянно, хотя и не каждодневно. Мальро считал, что личный дневник мало-помалу пожирает писателя. В случае с Жаном этого объяснения недостаточно. Он был счастлив с Колеттой, как может быть счастлив мужчина, удовлетворен своей профессией, его окружали друзья, но Дюваль страдал от внутреннего разлада, в котором не хотел признаться себе самому. Вплоть до конца жизни он стойко держался, испытывая и счастье, и этот разлад. Колетта писала

книги для детей, очаровательные книги, переведенные на множество языков. Она на много лет пережила своего супруга, постоянно думала о нем, сохраняя все ту же сердечную молодость, была очень близка своим внукам. Я корю себя за то, что в последние годы ее жизни не так часто виделся с ней, но, когда мы встречались, расстояние и время исчезали и все та же дружба связывала нас теми же воспоминаниями.

Несмотря на успех своей «Тошноты», в 1938 году Сартр был еще очень мало известен вне литературных кругов. В 1944 году его манера быть и жить не изменилась, но к нему пришла слава. Вышла в свет книга «Бытие и ничто», пьесу «За запертой дверью» («Huis Clos»), вслед за «Мухами» («Les Mouches»), с энтузиазмом встретила театральная публика. Началась мода на экзистенциализм и на кафе вокруг Сен-Жермен-де-Пре [143]. Сартр отнюдь не пренебрегал политикой, напротив, он решительно в нее погрузился. Хотя и не без оговорок, он питал дружественные чувства к коммунизму, однако они редко встречали взаимность. Андре Мальро изменился. Не в отношениях с друзьями, во всяком случае не в отношениях со мной; я обнаруживал в нем все ту же простоту, все ту же сдержанную привязанность; но что меня поразило, так это его враждебность, я бы сказал, почти ненависть к коммунизму. Причину своего «обращения» он ни разу мне не объяснил.

Во время войны я получил от Мальро лишь небольшое письмо, тогда, когда он жил на юге Франции и писал «Борьбу с ангелом» («La Lutte avec l'Ange»). Вспоминаю одну фразу, воспроизвожу здесь не точные ее слова, но смысл: «Говорят, что я собираюсь участвовать в парижском журнале „Нувель ревю франсез“ („Nouvelle Revue française“). Об этом не может быть и речи». Мальро вступил в ряды Сопротивления лишь в 1944-м, но, конечно, его ни на один миг не увлекли соблазны коллаборационизма или вишизма. Зимой 1944/45 года он время от времени приезжал в Париж, иногда — чтобы предостеречь объединенные организации Сопротивления от маневров коммунистов. Мальро еще не принял сторону генерала де Голля или, скорее следует сказать, еще не выбрал генерала де Голля своим вождем. С некоторым пренебрежением он наблюдал за оживлением в литературе и появлением журналов (о намерении Сартра создать журнал «Тан модерн» был прекрасно осведомлен).

Добровольно отлучив себя от университета, я продолжал сотрудничать в «Франс либр» вплоть до середины 1945 года. Пока Андре Лабарт нуждался во мне, он оставался обаятельным и даже выказывал мне привязанность, которую, возможно, испытывал, насколько был способен ее испытывать этот комедиант с

пульсирующей искренностью. Я оставался в журнале простым наемным сотрудником и не просил изменить мое положение в то время, когда Лабарт не мог бы в этом отказать. И мне не оставалось другого выхода, как уйти из редакции, когда, начиная с конца 1943 года, обострились наши политические и личные разногласия. Тогда, после окончательной неудачи генерала Жиро, Лабарт отправился в Соединенные Штаты и попытался создать там на английском языке журнал, карикатурный вариант «Франс либр». Я привязался к лондонскому журналу, в работе которого принял немалое участие, и покинул его редакцию с тяжестью в сердце. Эта горечь кажется мне сегодня несколько смешной. Журнал — тяжкое бремя, изнуряющее того, кто взялся нести его. Этому недолговечному делу я отдал много времени и особенно — размышлений. Можно было бы и нужно было найти часы для более существенных занятий.

В течение этого периода политически я находился *где-то вне,* на краю. Об антиголлизме уже не было речи. Генерал пришел к власти при поддержке возродившихся партий и организаций движения Сопротивления, то есть с коалицией, в которой господствовали левые идеи и группировки. Он представал в двух лицах: с одной стороны, человеком, вокруг которого объединились массы, как объединилась большая часть французов четырьмя годами ранее, в 1940-м, вокруг Маршала; с другой — человеком, который благодаря своей популярности должен был бы восстановить Государство и удерживать на почтительном расстоянии компартию, использовавшую чистку для расправы со своими противниками под предлогом восстановления справедливости.

Мне казалось очевидным, что в электоральном соперничестве организации движения Сопротивления не будут иметь большого веса и что партии скоро возвратят себе свою традиционную роль. Об этом говорилось в двух моих статьях, озаглавленных «Революция или Обновление»[104] («Révolution ou Rénovation»), Я не принимал революционный язык, модный в Париже 1944–1945 годов; этот язык представлялся мне лишенным смысла по отношению к историческому и географическому положению Франции. В номере журнала за октябрь 1944 года я писал об организациях движения Сопротивления: «Сопротивление играет и будет играть первостепенную роль на начальном этапе, когда послужит опорой правительству, как и правительство станет его опорой. Но как только наступят выборы, Сопротивление столкнется с партиями…; превращать [подпольные организации] „Комба“ и „Либерасьон“ в партии — значит вступать на легкий путь, который, вероятно, приведет к фиаско. Создать на основе

Сопротивления единую партию — чистая иллюзия, ибо среди тех, кто одинаково храбро сражался за Францию, нет политического единства… Сопротивление не приводит к появлению на свет новых *партий,* оно обусловливает выдвижение новых *людей в их составе…»*

В августе 1945 года я объяснял, почему Франция не находилась накануне революции. Коммунистическая партия? «Будучи убежденной в том, что на западе Европы в настоящей исторической фазе ее час еще не пришел, она ограничивается, используя вновь обретенную законность и обстоятельства, расширением своих позиций, сохранением пыла и успокоением своего нетерпеливого воинства. Сопротивление? Некоторым деятелям из организаций Сопротивления часто нравится прибегать к языку экстремизма. Но сегодня или завтра им придется вместо „да“ говорить „нет“; вчера для них значили прежде всего безвестность и тайна, ныне же они взывают к ясному свету публичности. Закон подполья — оставаться в тени. Закон политики — быть известным. Политический деятель становится таковым только после того, как его имя начнет мелькать в газетах». В остальной части статьи в общих чертах рисовалась картина необходимого обновления, без революции, в рамках парламентского строя.

Насколько помню, первое мое выступление в качестве журналиста состоялось на страницах иллюстрированного еженедельника «Пуэн де вю» («Point de vue»). Об этом опыте я всегда вспоминаю не без стеснения, если не с некоторым стыдом. Почему я согласился играть роль автора передовиц в этом издании? Надо представить себе Париж первых месяцев после Освобождения, а затем и после капитуляции Третьего рейха. Из числа газет, выходивших до войны, сохранилась лишь «Фигаро»; появлялись новые издания, иногда бравшие часть названия прежней популярной газеты («Паризьен либере», «Франс-суар» («Parisien libéré», «France-Soir») и т. д.). Организация Сопротивления «Комба» превратила свой подпольный листок в ежедневную газету под тем же названием. В это время раскупалась любая газетка. И деятели Сопротивления также устремились в прессу. Именно Корнильон-Молинье и Марсель Блестейн-Бланше убедили меня сотрудничать в «Пуэн де вю». Ее директором стал Люсьен Рашлин, который раньше занимался производством кроватных сеток и матрацев, а в движении Сопротивления командовал подпольными группами. Главным редактором еженедельника был Пьер Декав. Независимо от звания, которое мне там присвоили, моя роль сводилась к написанию статей, которые по своему объему и характеру

незначительно отличались от тех, что позднее довелось готовить в «Фигаро».

Я перечитал некоторые из этих статей, совершенно мною забытых. Обнаружил в них несколько идей, которые сегодня кажутся банальными или, лучше сказать, очевидными, но в ту эпоху шли вразрез с общественным мнением. Прежде всего, я не раз пытался помочь освобождению французов от германского наваждения. Вот что говорилось, например, в номере от 4 апреля 1945 года: «Мы, французы, по-прежнему одержимы единственно германским вопросом, как если бы мир продолжал вращаться вокруг Европы. И когда г-н Владимир д'Ормессон призывает нас не повторять ошибки 1919 года, он предлагает возвратиться к разделу Германии, то есть на три века назад. Для Германии 1945 год — это ее 1815 год». Спустя несколько недель после окончания войны я выступил против политики оккупационных властей, запрещавших солдатам брататься с населением. «На Западе ужесточают строгие меры, особенно на словах. Намереваются сохранить абсурдное само по себе запрещение брататься. Еще не организовали суд над Герингом или Розенбергом, но английские „томми" или американские „Джи-Ай" не имеют права улыбнуться пятилетним малышам…»

Покарать Германию? Но Гитлер сам взял на себя это дело. Перед лицом разрушенных городов, разоренной экономики, миллионов беженцев История обязала победителей, хотят они этого или не хотят, восстановить их поверженного противника и обещать ему будущее. «Гитлер в своем безумном упрямстве покарал свой собственный народ более жестоко, чем смог бы это сделать закоренелый „ванситтартист" 144. По данным „Нойе цюрхер цейтунг" („Neue Zürcher Zeitung"), при бомбардировке Дрездена погибли 200 000 человек»[105]. Начиная с этого времени, я не верил в восстановление германского единства. «От объединения каждый ждет чего-то иного. Англосаксы как будто надеются на то, что поднимется наконец „железный занавес", опущенный более двух месяцев назад на демаркационной линии. Но русские, как кажется, усмотрят в этом шанс распространить вплоть до западной части рейха свои идеи и действия своих представителей. Кто бы выиграл больше?» Выражение «железный занавес» тогда еще не было в ходу. Думаю, что У. Черчилль его еще не употреблял.

Разделение Германии представлялось мне делом решенным на длительный период, и потому сближение Франции с западной частью Германии казалось необходимым. Но эти здравые идеи выглядели тогда как нечто парадоксальное или смелое. Французское общественное мнение, по крайней мере на

поверхности, еще было движимо крайним антигерманизмом. К тому же генерал де Голль и его представители требовали отъять у Германии на западе части, сравнимые с теми, которые Советский Союз отобрал на востоке. Несколько лет спустя Генерал в качестве председателя РПФ все еще повторял лозунг «Никогда более не будет рейха». Эту идею поддерживал и Андре Мальро, он повторил ее в диалоге с Джеймсом Бёрнхемом.

В журнале «Тан модерн» были напечатаны три мои статьи: «Разочарования в свободе», «После события, перед Историей», «Шансы социализма» («Les désillusions de la liberlé», «Après l'événement, avant l'Histoire», «La chance du socialisme»). В последней из них для французской социалистической партии была нарисована перспектива, более или менее сравнимая с перспективой лейбористов, победивших на выборах в Великобритании; я предпочитаю забыть об этой статье, хотя в ней высказывалась идея, верная вчера и сохранившая свою истинность сегодня. Во Франции у социализма есть настоящий шанс только в том случае, если он будет осмысливать себя сам, стремиться стать социал-демократическим, не вступать в союз с компартией. В статье «Разочарования в свободе» я нахожу дискуссию — первую по счету — о внешней политике генерала де Голля: «В материальном плане мы будем зависеть особенно от американских союзников. Следовательно, „внешняя" опасность для нашей независимости идет скорее с Запада, чем с Востока. Эта разновидность логики страстей побуждает французское правительство подчеркивать свою полную суверенность, свое отвращение к уступкам, особенно по отношению к тем, от кого оно более всего зависит». Эти скованные, дурно написанные строки били по антиамериканизму, который обнаруживала дипломатия, вдохновляемая Генералом.

Я развивал, начиная с этого момента, с октября 1945 года, мысли, вызвавшие очень много упреков и принесшие мне сомнительную репутацию проамериканца: «Наша реальная независимость, свобода действий, в отличие от суверенитета, который, что бы там ни было, остается и останется в правовом отношении целостным, требуют прежде всего и более всего возрождения страны. Это возрождение для будущего значит больше, чем дипломатические успехи». Однако в то время только Соединенные Штаты обладали ресурсами, необходимыми для того, чтобы снабжать нас сырьем и машинами, в которых мы нуждались. В этом смысле, говорил я, дружба с американцами является для нас решающей. Но в опустошенной Франции уже бушевала пропаганда против американского «вторжения».

Сегодня ясно, кто был прав: американское «вторжение» ускорило восстановление французской и европейской экономики.

По счастливой случайности я не принял или почти не принял никакого участия в «чистке». Меня включили в комиссию при Министерстве национального образования, которая рассматривала дела университетских преподавателей. Таких дел мы получили немного. Единственный случай, запомнившийся мне, касался Мориса Бардеша, материалы о котором были направлены в комиссию, занимавшуюся средней школой[106]. Однако я написал две статьи о принципах и противоречиях чистки, одну — о процессе над Петеном для журнала «Тан модерн», другую — для «Франс либр», опубликованную в «Последней заметке», заключавшей «Французские хроники».

Несколько страниц, посвященных суду над Петеном, предвосхищали споры, которыми были отмечены послевоенные годы и которые еще продолжаются. Первый мой тезис: процесс и, тем самым, чистка основываются на «революционной законности», а не на законности в обычном ее понимании. «Временное правительство, созданное в результате восстания, а не народного голосования, обвиняло правительство, которому представители, избранные французским народом, передали учредительную, следовательно, высшую власть». И несколько ниже: «Рассуждения о сношениях с неприятелем в случае главы государства, когда национальная территория оккупирована, сводятся к чистейшей правовой фикции». Второй тезис: или обвинение осуждает политику Виши как саму по себе предосудительную, не совместимую с честью; или же эта политика осуждается как противоречащая национальному интересу. Обвинение выбрало второе решение, и защита подчеркивала усилия обвиняемого — Маршала — по обережению французов. Если не считать заблуждающихся, то кто еще мог бы подозревать Маршала в служении нацистам ради угнетения своего народа?

Третий тезис: хотя заключение перемирия не было признано в качестве статьи обвинения в суде, оно заняло большое место в показаниях свидетелей. Некоторые из них попытались доказать предположение о заговоре, который якобы привел Маршала к власти благодаря поражению. Но выдвигались, самое большее, туманные подозрения. Перед лицом молчаливого старца, «скорее синдика, чем виновника поражения», политические деятели Третьей республики вынесли свое решение, не убедив тех, кто защищал идею *pro domo,* ради отечества.

Четвертый тезис: в 1945 году, как и в 1940-м, перемирие могло служить аргументом как за, так и против. С одной стороны,

военная капитуляция обрекала на пленение целую армию; разве Северная Африка, не имевшая почти никаких запасов снаряжения, имела возможность обороняться? С другой стороны, подчеркивался вклад, который могли бы внести в борьбу флот, авиация, Империя. Я выдвигал еще один довод, его и сегодня чаще всего забывают: «Мы никогда не узнаем, смогли ли бы немцы атаковать Северную Африку (где укрылось бы французское правительство), пройдя через Испанию. Мы никогда не узнаем, „удержались“ ли бы французы при таком повороте событий. Но если предположить: да, они бы удержались, то в высшей степени невероятно, что Гитлер напал бы на Россию весной 1941 года, оставив франко-английские силы господствовать в Средиземноморье. В той мере, в какой перемирие косвенно привело к вмешательству со стороны Красной Армии, оно послужило делу союзников». И я рискнул сформулировать вывод: «Решение заключить перемирие ретроспективно кажется оправданным *в фактическом плане*, ибо дела приняли хороший оборот». Но этот вывод был дополнен другим: «…ни престиж, ни моральное единство Франции не оправились полностью от удара, который нанесло им перемирие».

Пятый тезис: в том, что касается евреев, адвокаты Маршала исходили из принципа наименьшего зла. «Несомненно, что неоккупированная зона предоставила убежище для многих израэлитов… Без перемирия евреи вынесли бы, очевидно, гораздо большие физические страдания. Но кто осмелится сказать, что таковы были намерения Ксавье Валла, Шарля Морраса или Даркье де Пелепуа?» Снова мы наталкиваемся на неопределенность соотношения между намерениями и следствиями действий.

Шестой тезис: решающим моментом стал не июнь 1940 года, а ноябрь 1942-го. Если бы Маршал приехал в Алжир в 1942 году, он возвратил бы Франции, то есть Сопротивлению, порядочных французов, которых ввел в заблуждение его престиж. Оставшись во Франции, выступая в многочисленных посланиях против отступников и сопротивляющихся, он мешал объединению нации. Петен теперь отнюдь не обманывал немцев, но продолжал обманывать какое-то число французов.

В «Последней заметке», имевшей подзаголовок «От перемирия к национальному восстанию», я более детально анализировал необходимые различия между исторической оценкой и судебным приговором над лицами, действовавшими в те трагические годы. После заключения перемирия, неизбежного или преступного, следовало прежде всего спасать флот и Империю; патриоты должны были оставаться легитимным

образом на своих постах, чтобы тормозить действия коллаборационистов и содействовать возвращению Франции на поле боя. На тех, кто особенно рьяно выступал за сотрудничество с оккупантами в период между 1940 годом и ноябрем 1942-го, лежит презумпция виновности, но этого груза нет на тех, кто повиновался правительству, сохранявшему видимые признаки законности.

Лишь коротко я упомянул бы об обмене письмами с Альфредом Фабр-Люсом, последовавшем после того, как были опубликованы две статьи, содержавшие критику в его адрес. В Лондоне я написал три статьи, посвященные, соответственно, Анри де Монтерлану 145, Жаку Шардону и Альфреду Фабр-Люсу.

Сегодня, когда страсти остыли, я не написал бы ни одной из этих трех статей. Они вошли в сборник «Человек против тиранов» («L'Homme contre les tyrans»), который первоначально увидел свет в Нью-Йорке, в серии под руководством Жака Маритена, затем в Париже, после Освобождения. С тех пор Альфред Фабр-Люс неоднократно излагал, как он оценивал события в период между 1940 и 1944 годами; я не был знаком с третьим томом его «Французского дневника» («Journal de France»), когда спорил с двумя первыми. И тем более я не читал Введение в «Антологию новой Европы» («Anthologie de la nouvelle Europe»), написанное в конце 1941-го, которое в Лондоне меня бы возмутило. После тех лет мы столь часто оказывались в одном и том же лагере, что оживлять старую полемику мне показалось бы делом неприятным. Ренан ставил забвение в первый ряд достоинств, необходимых для политики. Пожелаю, чтобы Фабр-Люсу забвение далось так же легко, как и мне.

По всей видимости, статьи в «Пуэн де вю» прошли незамеченными в литературном и политическом Париже. Из тупика, в который я угодил по собственной вине, меня вытащил Андре Мальро, предложив заведовать его секретариатом. Это было в декабре 1945 года, когда генерал де Голль возглавлял правительство, составленное после выборов в Учредительное собрание. В первый и в последний раз я исполнял официальные функции, впрочем, скромные: министр информации не обладал большими полномочиями, а заведующий его секретариатом тем более. Добавим, что генеральным секретарем министерства являлся Жак Шабан-Дельмас. Сколько серого вещества израсходовала эта троица на такие пустяки!

Правительство продержалось лишь два месяца, и у Андре Мальро не оказалось времени, чтобы осуществить хотя бы один проект из числа тех, которые он выдвинул двенадцать лет спустя. В конце 1945 года узловыми вопросами были выдача разрешений

на публикацию изданий, распределение бумаги, определение судьбы старых запрещенных газет, типографий, конфискованных сразу же после Освобождения. Я не испытывал никакой симпатии к газетному «рэкету», особенно в провинции, где бывших хозяев лишили их собственности участники Сопротивления, забрав ее себе. Возможно, эти хозяева заслуживали наказания (некоторые из них не были привлечены к судебной ответственности); но заслуживали ли участники Сопротивления богатства, которое им обеспечивала газета с названием, похожим на название газеты, имевшей самый большой тираж в регионе до войны? Некоторые крупные провинциальные газеты, самые процветающие во французской прессе, достались новым хозяевам, несколько изменив свои названия. Иногда группы участников Сопротивления делили между собой акции предприятия, не извлекая из этого выгоды; в других случаях участник Сопротивления занимал место издателя-предпринимателя.

Когда Андре Мальро пришел в свое министерство на авеню Фридланд, этот передел собственности был уже свершившимся фактом. За некоторыми исключениями, довоенные газеты поменяли и хозяев и названия. «Пари-суар» стала «Франс-суар» и принадлежала уже не Жану Пруво, но тому, кто являлся первым ее сотрудником, — Пьеру Лазарефф. Жан Пруво воспользовался разрешением на публикацию, которым обладал директор газеты «Франс» в Лондоне Комер, чтобы создать «Пари-матч» («Paris-Match»). Этот еженедельник после трудного начала достиг блестящего успеха, но затем снова пришел в упадок. Одряхлевшему льву пришлось продать «Пари-матч», любимое свое детище, который при более умелом руководстве вновь стал прибыльным. В этой ситуации я ничего не значил, она была мне весьма неприятна. Среди наших посетителей были и обобранные; ко мне пришел Жак Шастене; я напрямик сказал ему, что газеты «Тан» более не существует, что ее место занимает «Монд», редакция которой разместилась в помещении своей предшественницы. Я воздержался от какой-либо оценки этой замены и лишь констатировал ее необратимость.

Разрешения на публикацию и распределение бумаги уже стали предметами полемики. Говорилось, что такая разрешительная практика отбрасывает нас ко временам Второй империи, а может быть, в еще более ранние времена. Однажды мы получили из секретариата председателя правительства предписание, в соответствии с которым следовало подготовить отмену разрешений на публикацию. Инициатива была похвальной, но ее реализация не устраняла настоящее препятствие на пути восстановления нормального режима

свободы — нехватку бумаги. В условиях сохранявшегося распределения бумаги административными методами ликвидация практики разрешения на публикацию имела смысл, если бы любое новое периодическое издание автоматически получало бы право на обеспечение каким-то количеством бумаги. Именно в моем кабинете на авеню Фридланд я познакомился с Луи Габриель-Робине, который был потрясен, узнав за день до события, что Генерал решил покинуть свой пост. Мальро и я согласились предоставить разрешение на публикацию «Фигаро литтерер» («Figaro littéraire»).

За время службы в министерстве мне удалось принять лишь одно сколько-нибудь значительное решение — Мальро им не занимался, — которое, полагаю, отвечало общему интересу. Но дело было сделано слишком поздно, и преемник Мальро — Гастон Деффер — пересмотрел решение, что мне казалось неразумным и привело к непредвиденным последствиям. Публичные власти, а то и просто отряды участников Сопротивления, настоящих или фальшивых, наложили арест на сотни газетных и книжных типографий. Министерский юрист, специалист по вопросам права печати, отвечавший за эти вопросы, человек социалистических взглядов, представил мне проект, по видимости самый простой, но, на мой взгляд, неподходящий. Предлагалось учредить единую компанию, которая владела бы и управляла этим государственным имуществом. Я возразил, утверждая, что такая полугосударственная компания будет неудовлетворительно справляться с доверенными ей функциями — обеспечивать снабжение и модернизацию столь отличающихся друг от друга производств из одного руководящего центра, далеко от них расположенного, плохо информированного. Я предложил принять совершенно иной закон, который предусматривал бы продажу типографий новым издательским обществам; таким образом, государство постепенно освобождалось бы от взятого на себя бремени. К тому же национализация типографий не согласовывалась с духом наших намерений, поскольку мы хотели возвратиться к режиму свободной печати. Но министерский юрист имел у Деффера больший успех, чем я.

Какие впечатления оставили у меня эти недели? Прежде всего поразило число лиц, которых приходилось принимать ежедневно, обилие просителей. Последнему слову было бы несправедливо придавать уничижительное значение, ибо посетители часто добивались не столько каких-то льгот, сколько возможностей, о предоставлении которых в обычные времена у них не было необходимости просить. Вероятно, число таких

просителей умножилось в результате чрезмерного объема полномочий министерства? Могу ли я добавить, что десять часов работы в его стенах казались мне менее утомительными, чем четыре часа чтения «Критики чистого разума». Еще одно впечатление, которое я не забуду, — быть может более банальное, — соперничество самолюбий между различными сотрудниками управления или секретариата, соперничество, которое проявлялось в вопросах размещения в кабинетах или предоставления автомашин. Деятельность этого министерства, созданного путем импровизации, с раздутыми отделами, была, очевидно, карикатурой на обычную деятельность министерств. Надо ли добавлять, что за два месяца разбух и сам секретариат; Арон-Брюнетьер, руководивший службой разведки в движении Сопротивления, проработал несколько недель вместе с нами, а потом возвратился к своей медицинской профессии. За несколько дней до отставки Генерала к нам пришел или должен был прийти Жан Леканюэ.

Еще одно слово о министре. Те, кто работал с Мальро начиная с 1958 года, знают об этом гораздо больше меня, но мое небольшое свидетельство может быть интересным для некоторых людей. До прихода в министерство он еще меньше меня был осведомлен о том, как функционирует государственная власть. Вероятно, ему неведомы были различия между законом, декретом или постановлением. За несколько дней он усвоил то, что обязан был знать, с одинаковой быстротой вник в содержание различных дел, притягивавших любопытство журналистов. Мальро заставил себя следовать строгому расписанию и принимал представителей прессы в назначенное заранее время с точностью до минуты. На конкретные вопросы он отвечал со знанием дела; это поражало рядовых журналистов и огорчало таких людей, как, например, Жорж Альтман, сожалевших, что Мальро занимается подобными пустяками. Хотя он был вспыльчивым человеком, я не помню случая, чтобы Мальро с кем-то из своих сотрудников разговаривал в повышенном тоне. Иногда он ставил меня в затруднительное положение, ибо обещал тому или иному лицу некий пост или льготу, возлагая на меня ответственность за выполнение этого обещания. Между тем не всегда от меня зависело решение вопроса.

Здесь кроется причина моей «размолвки» с Роменом Гари, в таланте которого я убедился еще будучи в Лондоне и к которому питал дружеские чувства. Андре Мальро хотел назначить его советником по культуре французского посольства в Лондоне; я тоже этого хотел. В своем любимом стиле Андре уверил Гари, что «дело сделано». Однако необходимо было еще получить согласие

секретариата Генерала. Гастон Палевски рассудил, что Гари для данного поста слишком легковесен или слишком молод. И мне, таким образом, предстояло сообщить ему об этом. Однажды утром, более беспокойным, чем обычно, я позвонил Гари по телефону и сказал ему, резче, чем это следовало бы сделать, чтобы он не рассчитывал на Лондон и соглашался на тот пост, который предлагается. На протяжении не одного года Гари считал меня виновником решения, которого я не принимал. В одном из своих писем Роже Мартен дю Гар намекнул на то, что Гари говорил обо мне. Но еще задолго до его смерти следы этого недоразумения полностью стерлись.

Через месяц после окончания первого царствования Генерала я стал сотрудником «Комба». В ту эпоху эта газета пользовалась самой высокой репутацией в литературных и политических кругах столицы. Особенно ценили передовицы Альбера Камю: настоящий писатель комментировал события дня. В команду входила также плеяда интеллектуалов, принимавших участие в Сопротивлении, которые еще не возвратились к своим обычным занятиям; назову хотя бы некоторых: Альбер Оливье, Жак Мерло-Понти, двоюродный брат философа Мориса Мерло-Понти (после защиты диссертации на тему «Космологии XX века» он стал преподавать философию в университете Нантерра), Пьер Кауфман (он также преподает философию в том же самом университете), Александр Астрюк, Роже Гренье, другие писатели или философы. Какое несоответствие между количеством серого вещества и имевшимся у редакции газетным пространством! Диспропорцию подобного же рода я наблюдал в Министерстве информации. Очевидно, этих писателей или преподавателей высшей школы обуревали чувства, сходные с теми, что побудили меня не возвращаться сразу же в университетские стены.

Руководителем редакционной команды, вопреки распространенному мнению, никогда не был Альбер Камю, им являлся Паскаль Пиа, личность незаурядная, видимое существование которого, путь в обществе не позволяют угадать ни того, что он из себя представлял, ни того, кем бы мог стать. Его связывала очень тесная дружба с Андре Мальро, который посвятил ему одно из своих юношеских произведений. Будучи человеком литературной культуры, одновременно и широкой и глубокой, Пиа обладал необыкновенным талантом критика, если не творца, внушал уважение всем благодаря тому, что В. Янкелевич мог бы назвать «не-знаю-благодаря-чему». Заслуги в движении Сопротивления? — но и у других были такие же заслуги. Скромность? — может быть. Пиа был директором

издания и формально и фактически, трудился с утра до вечера, при этом, как мы говорили, доходил до неправильно поставленных запятых и орфографических ошибок. Отказ от «карьеризма» в социальном значении этого слова, твердая решимость укрываться в неизвестности, хотя «Комба» для всех открывала возможность прорыва? Откуда шло желание оставаться в тени? Мы говорили об этом в нашей команде. Некоторые утверждали, что во время изучения истории Пиа измерил отрицательные стороны славы, он открыл произведения писателя, оказавшегося в забвении, произведения, из которых некий автор, сегодня еще сохраняющий доброе имя, извлек основное содержание своих писаний. Такое объяснение слишком рационально, чтобы быть убедительным. Мне неведома тайна Пиа, многие люди, знакомые с ним лучше меня, быть может, посвящены в нее больше.

В прошлом он протежировал Альберу Камю 146, который был моложе его. Когда тот возвратился в «Комба», переживавшую трудности в начале 1947 года, отношения между этими двумя людьми постепенно стали напряженными. А. Камю брал на себя инициативу, спорил о будущем газеты, как если бы являлся ее основателем или директором. Он не посягал на власть Пиа, поскольку тот ее и не употреблял. Оба они ушли из «Комба», когда половину ее акционерного капитала перекупил тунисский делец Смаджа, а политическим директором стал Клод Бурде. Пиа пошел по дороге голлизма, выступал позже на страницах «Карфур» («Carrefour»), еженедельника Амори, который все более и более скатывался на крайне правые позиции. Он оказался в числе тех, кто обрушился на Альбера Камю после получения им Нобелевской премии. Пиа присоединился и к тем людям, которые обвинили меня в намерении обречь «пье-нуар» 147 на концентрационные лагеря, когда я стал выступать за независимость Алжира. Может быть, он не вынес долгой неизвестности, добровольно избранной. Может быть, страдал от того, что не смог себя реализовать, и переносил на других озлобление, которое испытывал по отношению к самому себе. Я хочу помнить Паскаля Пиа таким, каким он был в марте 1946 года, — директором, признанным несравненной командой, с легкостью бравшим на себя неблагодарный труд, оставлявшим для других свет, которого, как кажется, он намеренно избегал.

Именно по просьбе Паскаля Пиа, откликаясь, вероятно, на предложение Андре Мальро, я стал регулярно выступать на страницах «Комба»[107]. В первых моих статьях рассматривались одна за другой различные политические партии, действовавшие в 1946 году. По причинам, которые я плохо себе представляю,

статьи были замечены. Альбер Оливье и многие другие меня с этим поздравили, не без некоторой тени удивления. В узком мире прессы эти публикации сразу же обеспечили мне известность, которую никоим образом не могли принести мои довоенные книги, неизвестные большинству журналистов. Я стал автором передовиц, *éditorialiste*'ом в собственном смысле этого слова, а не только *«columnist'*ом», обозревателем. Поочередно с Альбером Оливье и реже с другим журналистом, который подписывался как Марсель Жимон, я готовил передовые статьи, которые помещались в левой колонке на первой полосе.

Весной 1946 года споры шли о Конституции, проект которой вырабатывало Учредительное собрание, об отношениях между компартией и другими партиями, об экономических трудностях, о переговорах с Хо Ши Мином и, в более широком плане, об отношениях метрополии с Французской империей, уже окрещенной Французским союзом.

Для издательства Ф. Вианне я написал очерк «Защита Франции» («Défense de la France»), который вошел в книгу, озаглавленную «Французы перед лицом Конституции» («Les Français face a la Constitution»). Молодой юрист, которого я мало знал, подготовил для этой книги краткий обзор французских конституций, начиная с 1789 года. Мой очерк, составивший вторую часть издания, более короткую, был посвящен будущей Конституции. У меня сохранились настолько неприятные воспоминания об этом тексте, что он не включен ни в одну из библиографий моих трудов, которые то один, то другой из моих помощников составляли в последние двадцать лет. Несколько дней назад я перечитал очерк, испытав, скорее, приятное удивление.

Не потому что он в чем-то являлся оригинальным. В очерке развивались некоторые идеи, носившиеся в воздухе, бывшие модными, которые, впрочем, творцы Конституции не восприняли: усиление института президента Республики благодаря способу его избрания и путем наделения его властными функциями (право роспуска [нижней палаты] без согласия Сената), предоставление правительству права прекращать парламентские дебаты, более строго контролировать деятельность Собрания; я высказывал робкое предпочтение поименному голосованию 148 [за кандидатов в депутаты] в два тура, не веря в возможность успеха этого предложения. Несколько предложений были заимствованы у Жакье-Брюэра, то есть у Эммануэля Моника и Мишеля Дебре.

Моя кардинальная ошибка заключалась в том, что я с самого начала не обрисовал политический контекст обсуждения проекта Конституции, а именно — борьбу между тремя силами,

развернувшуюся после их возвращения во Францию, а также осложнения, вызванные годами войны и оккупации. Внешне, в период от Освобождения и до избрания первого Учредительного собрания, страной управлял генерал де Голль, его поддерживали три крупные партии — коммунисты, социалисты и МРП, причем эта последняя получала большинство голосов умеренных или радикал-социалистических избирателей. При Третьей республике в центре и в правой части политического спектра никогда не было организованной партии. Деятели правого толка входили в Национальный совет Сопротивления, но когда состоялись всенародные выборы, то самые большие козыри оказались в руках МРП; это движение заявляло о своей близости к Генералу, его руководители были признанными деятелями Сопротивления; оно казалось единственной силой, способной удержать совместный напор социалистов и коммунистов.

Но эта первая конфигурация скрывала два коренных конфликта: компартия — против всех остальных партий; все, или почти все, партии — против Генерала. Он никогда не считал, что его миссия завершится после Освобождения и избрания Учредительного собрания. Он питал надежду обеспечить Францию прочными учреждениями и управлять ею, по крайней мере в течение нескольких лет. Когда генерал де Голль ушел в отставку в начале 1946 года, то рассчитывал вернуться к власти через несколько месяцев. Вспоминаю, как Андре Мальро, после встречи с ним, сказал: «Мы придем обратно через полгода».

Почему произошла отставка Генерала в январе 1946 года? Он посчитал, что партии не смогут управлять страной, но думал также, с основанием, что Учредительное собрание не выработает Конституцию, обеспечивающую ему место, которое он хотел бы занять в Республике. Все партии, не исключая МРП, более или менее ясно поняли, что Генерал не откажет партиям в праве на существование, но не намерен получать власть из их рук. Он не желал править страной в качестве председателя Совета министров. Не потому, что был на это неспособен; напротив, он обладал врожденным даром «дебатировать», участвовать в парламентских прениях. Я был свидетелем того, как Генерал выступал в Собрании, в ходе обсуждения, начатого по предложению Андре Филипа[108], дав понять, что уйдет в отставку. Его выступление произвело впечатление на Собрание, но не убедило его. В 1947 году уже произошло разделение между коммунистами и некоммунистами, но в конечном счете партии объединились ради принятия Конституции, которую Генерал считал несовместимой с интересами нации и со своими собственными амбициями.

«Комба», первая «Комба», просуществовавшая до весны 1947 года, располагалась на левом фланге по своему языку, по своим позициям в колониальных проблемах, но некоторые из ее редакторов — Паскаль Пиа, Альбер Оливье, в течение 1946–1947 годов все более и более проявляли себя как голлисты. В моих передовицах я советовал сказать *нет* на референдуме по проекту Конституции, одобренному Национальным собранием, поддержанному коммунистами и социалистами; когда же французам был предложен второй вариант Конституции [149], я предложил, смирясь, сказать *да;* на следующий день Альбер Оливье ответил мне вопросом: «А почему бы не *нет?*».

В декабре 1946 года вспыхнула война в Индокитае: лига Вьетминь внезапно напала на французские войска в Ханое. Я написал передовую статью, которую Сартр назвал «запутанной». Перечитав ее, я не испытал особого стыда или угрызений совести. В Лондоне я выступал за то, чтобы *уйти* из Индокитая. Груз Империи, разбросанной по всему свету, был непосильным для Франции, ослабленной годами войны и оккупации. Но в декабре 1946 года, в ежедневной передовице, в тот момент, когда нашим солдатам удалось еле-еле спастись от побоища, нельзя было не поддержать социалистическое правительство Леона Блюма, которое решало вопрос о посылке подкреплений. Отсюда — зигзагообразный ход моего анализа или, скорее, обоснования занятой позиции.

Итак, сначала: «Когда наши войска отражают умышленное нападение, совершенное внезапно и по приказу, мы чувствуем свою солидарность с французами, которые сражаются и гибнут в далекой земле». И сразу же — противоположное суждение: «Однако ограничиться этим — значит проявить какую-то трусость. Очень возможно, что в нынешней ситуации утверждение силы является неизбежной необходимостью. И пусть завтра начнутся переговоры, сегодня следует прибегнуть к оружию. Но как не признать того, что сама эта необходимость означает жестокое разочарование, горькое поражение для надежд, которые все мы питали сразу же после Освобождения? Только что принятая Конституция торжественно провозглашает, что Франция никоим образом не будет покушаться на свободу любого народа. Мы признали независимость Вьетнама в рамках Французского союза. Ничто не позволяет нам думать, что наши представители хотели бы отступиться от этого принципа. В этом свете нынешнее сражение кажется лишь еще более пагубным, поскольку у нас нет и не должно быть намерений вести новую завоевательную войну и поскольку Вьетнам до настоящего времени не отрицал наших прав». Я не делал различий между Вьетнамом и Вьетминем: Хо

Ши Мин представлял Вьетнам. Не имея точных сведений о предыстории переворота в Ханое, я отказывался от определения доли ответственности различных действующих лиц. Статью заключал призыв к парламенту еще раз подтвердить французскую доктрину. «Мы уверены, что народные избранники выразят не волю к „поддержанию“, но истинную французскую позицию, не имеющую ничего общего с грязными интересами; то, что нация полна решимости спасти, не есть то, что можно поддержать единственно силой. Поддержание путем насилия не будет поддержанием Франции».

Статья эта не кажется мне двусмысленной, хотя автор находился в затруднительном положении. Отказ от нового военного завоевания, на которое у нас нет средств, которое не входит в наши намерения; уважение обещания о предоставлении независимости; то, что Франция намерена поддержать, это не колониальный режим прошлого. Тон передовицы Альбера Оливье, появившейся на следующий день, отличался от тона моей статьи, но эта передовица опиралась на сообщение Леона Блюма в парламенте. В подтверждение своей главной мысли он цитировал слова председателя Совета министров — социалиста. «В настоящий момент, — писал А. Оливье, — можно лишь констатировать отказ вести переговоры под давлением силы или, как очень хорошо выразился Леон Блюм, „до того, как будет восстановлен мирный порядок, являющийся необходимой основой для выполнения договора“».

В качестве главы переходного правительства Леон Блюм должен был взять на себя разрешение проблемы, за возникновение которой он, может быть и против своей воли, нес ответственность и серьезность которой от него не ускользала. Тем не менее он взял на вооружение формулу, содержавшую в зачатке многолетнюю войну: «восстановить мирный порядок». Восстановление такого порядка означало попытку нового военного завоевания, хотя от намерений начать его открещивались. Национальное чувство, столь мощное в стране (не будем употреблять двусмысленный термин «национализм»), незнание соотношения сил объясняют, не оправдывая, те решения, которые постепенно увлекли Францию во вьетнамскую западню. Передовица от 29 января 1947 года, в которой комментируются заявления Мариуса Муте относительно возвращения Индокитая, на мой сегодняшний вкус кажется слишком умеренной. Тем не менее она напоминает об отказе Франции от военных завоеваний и о необходимости разговаривать не только с теми, кто находится под нашим покровительством, но прежде всего с теми, кто пользуется

доверием населения[109].

Кроме статей по актуальным экономическим вопросам, я писал передовицы о Германии и Конституции. Они были самыми многочисленными и, возможно, самыми важными. В номере от 26–27 января 1947 года, в передовой под заголовком «Сохраняется ли еще германская опасность?» еще раз рассматривалась качественно новая ситуация в мире. Ее характеризовали общее падение роли Европы в планетарной политике, окончательное закрепление более низкого положения срединной страны этого континента по отношению, с одной стороны, к Советскому Союзу, с другой — к западным демократиям; спустя несколько дней я подчеркивал неизбежность экономического и промышленного восстановления Германии, критиковал «потолки», установленные для продукции некоторых отраслей ее индустрии. Наконец, 7 февраля 1947 года я упоминал о «другой Германии». «Возрождение Европы, то есть национальных государств между границами России и берегами Атлантики, немыслимо без реинтеграции рейха или того образования, которое займет его место в мирном сообществе». Что касается французской политики, говорил я, то, принимая идею экономического единства Европы, она принимает в принципе идею ее политического единства в какой-то форме. «Ничто не противостоит утверждению французской доктрины, позитивной и конструктивной по сути, преследующей цель воссоздания Германии в составе мирной Европы… Я думаю, что восстановление Германии обернется против нас, если по нашей вине оно совершится без нас».

Я перечитал большинство своих статей, посвященных Конституции или, вернее, двум ее вариантам, которые один за другим были представлены народу на референдумах. Что касается первого текста, то в отношении его было полное согласие: мы отвергали предложенный нам вариант одновременно потому, что он представлялся скверным, и потому, что его поддерживали лишь две партии, партии «марксистские» — коммунистическая и социалистическая, притом последняя выступала за проект скрепя сердце. На следующий день после того, как было сказано «нет», я озаглавил свою передовую: «Спасены благодаря поражению». Имелись в виду, разумеется, социалисты.

Обсуждение второго проекта Конституции развернулось в совершенно иных условиях благодаря участию генерала де Голля. 16 июня 1946 года он произнес в городе Байё речь, которая станет знаменитой и в которой без труда обнаруживаются ведущие идеи Конституции 1958 года. Ключевые положения одни и те же:

разделение властей, следовательно, исполнительная власть не должна быть «произведением» власти законодательной; президент Республики (предусмотрено его избрание расширенной коллегией выборщиков) выбирает премьер-министра. Ответственность правительства перед Собранием четко не предусматривалась. В своих последующих речах Генерал рассеял сомнения относительно этого узлового вопроса.

Выступая в 1946 году, Генерал нарисовал портрет главы Государства — такого, каким он его мыслил, — пожалуй, лучше, чем в любом из своих письменных произведений:

«Следовательно, исполнительная власть должна происходить именно от главы Государства, поставленного над партиями, избранного коллегией, включающей Парламент, но гораздо более широкой и составленной таким образом, чтобы глава Государства являлся президентом Французского союза и одновременно президентом Республики. Именно главе Государства надлежит сочетать общий интерес в том, что касается выбора лиц, с ориентацией, которая выявляется в Парламенте. Именно на него возлагается миссия назначать министров и прежде всего, разумеется, Премьера, который должен будет руководить политикой и работой правительства. Именно главе Государства принадлежит функция обнародования законов и принятия декретов, ибо и те и другие обязывают граждан по отношению ко всему Государству. Именно ему предоставляется роль арбитра, находящегося выше политических случайностей, который в обычное время прибегает к совету, а в моменты опасной неясности приглашает страну посредством выборов выразить свое суверенное решение. Именно на него, в случае если родина окажется в опасности, возлагается долг быть гарантом национальной независимости и договоров, заключенных Францией».

Поиск компромисса между тем, что обсуждали парламентарии в Бурбонском дворце, и проектом Генерала представлялся делом по меньшей мере затруднительным. Режим, набросок которого был показан в Байё, осуждал на смерть не парламентскую демократию, но Республику депутатов (или партий). Никогда коммунистическая и социалистическая партии не подписались бы под Конституцией, вдохновленной доктриной Генерала. Таким образом, одновременно с «великим расколом» между коммунистами и всеми остальными возникал и «малый раскол» — между партиями и генералом де Голлем. Я не верил в победу Генерала над партиями в ближайшем будущем; немедленный ответ Леона Блюма на речь в Байё не оставлял сомнения по поводу позиции социалистической партии

относительно конституционных идей Генерала.

Передовая статья, написанная мною 18 июня, два дня спустя после речи в Байё, заканчивалась следующими словами: «Отныне, помимо данного режима, не удовлетворяющего никого, и даже тех, кто им руководит, имеется по меньшей мере еще одна возможность. Конституция, по своему типу стоящая между британским парламентаризмом и президентской системой, набросок которой сделал генерал де Голль, не является, очевидно, жизнеспособной в спокойные времена; по крайней мере, она позволяет увидеть попытку решения, пойти на которое у партий не будет охоты, но к которому они, может быть, склонятся однажды по необходимости». Мне следовало написать не то, что такой режим нежизнеспособен в спокойные времена, а то, что он мог бы воплотиться в жизнь лишь во времена неспокойные — в тот день, когда произошло бы отречение партий под давлением обстоятельств. Этот день наступил только двенадцать лет спустя — в связи с войной в Алжире.

После речи в Эпинале, где Генерал четко заявил о своем отрицательном отношении ко второму проекту Конституции, я предсказал победу партий в предстоящем референдуме. «Таким образом, если и должно произойти „испытание сил“, то… исход его у меня не оставляет сомнения. Партийная пропаганда будет делать ударение скорее на опасности единоличной власти, чем на достоинствах Конституции. Благодаря меньшей активности избирателей, 47 % голосов *за,* поданных в первом референдуме, ныне превратятся в большинство».

Что делать? — спрашивал я себя 10 сентября 1946 года. По сравнению с маем ничто существенно не изменилось. «Исполнительная власть остается простым мандатарием Собрания. Вторая палата не обладает даже правом отлагательного вето. Отсутствует контроль конституционности законов… У президента Республики нет действенного права выбирать председателя Совета министров или права распускать палату. Ничего не предусмотрено на тот случай, если выявится необходимость на несколько месяцев отложить принятие какой-либо серьезной меры или получить на нее одобрение путем новых выборов. Ни один институт, наделенный реальными полномочиями, не возвышается над игрой партий, то есть над волей их штабов».

И вот заключение: «Воздержание от голосования для гражданина — очевидно, единственный способ выразить свое желание выйти из временного состояния и свое отвращение к Конституции, которую ему предлагают». Одновременно результатом принятия Конституции, за которую проголосовала

одна треть граждан, включенных в избирательные списки, должно было стать появление «ревизионистской» партии, Объединения французского народа (РПФ).

Для борьбы с Конституцией — такой, какой хотел ее видеть Генерал, — коммунисты вступили в союз с другими партиями и даже превзошли их в своих требованиях: они хотели создать всемогущее однопалатное Собрание, которое стояло бы над правительством, превращая его в своего слугу, исполнителя своих желаний. И тогда, когда компартия перешла в оппозицию, раскол между Освободителем и партиями продолжал проявляться очень четко. Понадобилась алжирская война для того, чтобы перед Генералом открылась ситуация, возникновение которой он страстно желал со времени своего возвращения во Францию: отречение Республики депутатов перед лицом Законодателя, основывающего на вечные времена Республику, названную за неимением другого термина, консульской. Партии верности, МРП, если она и была верной до конца, очевидно, не удалось бы обеспечить голосование третьего Учредительного собрания за Конституцию, отвечающую требованиям Генерала. В самом деле, он прежде всего полагал, что президент Республики, не подотчетный Собранию, должен был бы обладать верховной властью. Сразу же после окончания войны ни одно Собрание не проголосовало бы за Конституцию 1958 года.

Многие друзья из мира прессы и Высшей школы в течение этих тридцати семи лет интересовались моим журналистским опытом. Оставляю в стороне сотрудничество в «Пуэн де вю», которое ничего мне не дало, — настолько я остался там в одиночестве. Как мне казалось, в «Комба» я был принят сердечно; могу вспомнить разве что два или три инцидента. Проблема распределения передовиц несколько усложнилась после того, как в газету возвратился Альбер Камю, надеясь ее спасти. Кроме того, один из журналистов, тогда стоявший внизу иерархической лестницы, а сегодня занимающий высокое положение в категории *free lance,* свободных журналистов, Рене Даберна, поведал мне в своем стиле о настроениях вокруг моей особы. Оказалось, что некоторых людей раздражала та быстрота, с которой я готовил передовицы, они делали замечания, отнюдь не всегда снисходительные, менее касавшиеся моих «писаний», чем меня самого. Верю я этому человеку лишь наполовину. Редакция «Комба» мне несколько напоминала Эколь на улице Ульм. Когда мы не говорили о литературе или о политике, то говорили друг о друге. Вероятно, я не отличался в этом отношении от команды.

В 1947 году, когда финансовое положение газеты

ухудшилось, мне довелось участвовать в многочисленных собраниях ее редакторского состава, ее дирекции вместе с типографскими рабочими. Наш управляющий Жан Блок-Мишель также принадлежал к категории интеллектуалов-литераторов, а не к категории профессиональных журналистов или деловых людей. Благодаря своему юридическому образованию он был более других способен вести дела газеты. По своему обыкновению, типографские рабочие ожесточенно спорили с ним (и с Пиа). Они не испытывали особого расположения к управляющим-ученикам, которыми двигали чувства, имевшие социалистический оттенок; к интеллектуалам, участникам Сопротивления, выдвигались такие же требования, какие могли быть выдвинуты к хозяину-борцу. Вспоминаю слова одного профсоюзного активиста, сказанные после окончания продолжительных переговоров: «Скорее бы пришел настоящий патрон!»

Почему первая «Комба», газета Пиа, Камю, Оливье, Гренье, Надо, умерла так скоро? Мы рассуждали об этом между собой. Все читают «Комба», говорили в Париже. На что я отвечал: «К несчастью, эти „все“ составляют лишь сорок тысяч человек!» Газеты, воспользовавшиеся довоенными названиями, постепенно выделялись из общего ряда. «Комба» представляла собой в полном смысле *journal d'opinion*, как говорили до 1939 года, то есть газету, выражающую мнения. А такие издания никогда широко не расходятся. Если не ошибаюсь, в какой-то момент тираж «Комба» достиг чуть ли не 200 тысяч экземпляров. В течение 1946 года тираж постепенно падал. Почему? Некоторые редакторы возлагали вину на Альбера Оливье, голлизм которого плохо согласовывался с чувствами читателей, придерживавшихся левых взглядов (так мы определяли нашу аудиторию), хотя и не проводили опросов общественного мнения). Вероятно, другим не нравились мои передовицы. Сегодня, как и тридцать семь лет назад, мой диагноз состоит в том, что никто в особенности не был виноват. «Комба», газета движения Сопротивления, не нашла своего места в прессе при режиме партий.

В 1944–1945 годах война еще продолжалась, из-за нехватки бумаги газетам приходилось выходить на двух полосах, на лицевой и оборотной стороне одного листа. Качество материалов нашего издания, выражаемый им дух единства Сопротивления привлекли к нему разнородную аудиторию, которую объединили обстоятельства переходного времени. После окончания военных действий, по мере того как французы вновь находили дорогу к избирательным урнам, политические разломы снова вышли наружу, и издание, которое невозможно было причислить к

определенному классу, подверглось опасности — смертельной для ежедневной газеты — не удовлетворять полностью ни одну из категорий своих читателей. В различных колонках редакторы выражали противоречившие друг другу мнения. Символическим в моей памяти остался эпизод, связанный с референдумом по второму проекту Конституции.

Разумеется, существует аудитория, допускающая свободную дискуссию между редакторами одной и той же газеты. Такая газета стремится просвещать, а не агитировать. Кто в политике может выставлять себя обладателем истины, когда настает момент неопределенности, даже драматической? Представлять свою правду в качестве *подлинной* истины, разве не значит это, в сущности, поступать не совсем честно?[110] На эти доводы, внушающие уважение, большая часть читателей могла бы ответить: «Какой прок от нашей обычной газеты, если, читая ее, мы не будем знать, что думать. Когда журналист знает об этом не больше нас, то пусть помолчит». Более того, тридцатилетний — с 1947 по 1977 год — опыт работы в «Фигаро» убедил меня в том, что читатели ждут от своей газеты, наряду с новостями, некой безопасности, подтверждения собственных суждений. Робер Лазюрик, руководивший газетой «Орор» («Aurore») вплоть до своей смерти в результате несчастного случая, охотно исполнял «номер», когда шла речь о свободе печати. «Почти всю свою жизнь, — говорил он, — я писал в „продажных“ газетах, это значит, что их собственниками являлись финансисты или промышленники, которые становились придирчивыми, когда речь шла о делах, непосредственно их касавшихся. А ко всему остальному они были полностью безразличны. Ныне же я руковожу газетой, которая зависит единственно от читателей. Если я напишу то или иное, они угрожают отказаться от подписки или никогда более не покупать газету». Другими словами, всякая газета чувствует, что наполовину является пленником своей аудитории. Пьеру Бриссону пришлось прекратить кампанию, которую вел Франсуа Мориак в пользу султана Марокко, когда количество писем с протестами читателей достигло критического порога. Благодаря своему исключительному положению газета «Монд» выступает, не колеблясь, то против одного, то против другого течения мысли[111].

На страницах «Комба» при Пиа, во всяком случае в период, который мне был знаком, с марта 1946 года и вплоть до прихода Смаджи, сочетались антикоммунизм, антиколониализм и половинчатый голлизм (по крайней мере, голлизм через день). Газета была чересчур голлистской для социалистов, чересчур антиколониалистской для умеренных, чересчур левой по своему

лексикону и стилю для сторонников МРП; она нравилась маргиналам всех партий и безуспешно искала какой-то центр, ядро надежных людей. Конечно, такие люди существовали, их количества было вполне достаточно для «газеты мнений», но не для общенациональной газеты. Может быть, вопреки всему, «Комба» стала бы победителем в игре, если бы ею управляли профессионалы.

В течение последних недель перед уходом первой команды «Комба» возник вопрос о поисках финансовой поддержки. Я встречался с двумя или тремя банкирами. Они критиковали линию газеты по тому или иному вопросу, особенно колониальному. Впрочем, я сомневался в том, что редакционную команду удовлетворит руководство, которое я мог бы частично взять на себя. Блок-Мишель просветил меня на этот счет. Возможно, он говорил верные вещи, хотя многие другие относились ко мне более терпимо.

Когда Смаджа и Клод Бурде вступили во владение газетой, я установил контакт с Юбером Бёв-Мери и Пьером Бриссоном. До войны я не был знаком ни с тем, ни с другим. Слышал разговоры о том, что первый из них уволился из газеты «Тан» в момент заключения Мюнхенского соглашения. Что касается Бриссона, то я сталкивался с ним в течение двух месяцев, проведенных в Министерстве информации. После года работы в «Комба» политический Париж стал меня рассматривать уже не как журналиста, а как автора передовых статей. И снова я должен был делать выбор, но не между университетом и прессой, а между газетами «Монд» и «Фигаро».

Финансовые условия работы в них были практически одинаковыми. Выбор следовало сделать между утренней и вечерней газетами, между изданием, существовавшим прежде и обновленным после войны, и новым изданием, появившимся после войны. Я поддерживал сердечные отношения с Бёв-Мери, к тому же в 1947 году разногласия по вопросам нейтрализма и атлантизма не вылились еще в общенациональную дискуссию. Отнюдь не было очевидным, что две газеты, обращавшиеся ко мне с предложением о сотрудничестве, через два года будут представлять два крайних полюса французской некоммунистической мысли.

Я последовал совету Андре Мальро. Он говорил, что строить отношения с Пьером Бриссоном будет легче, чем с Бёв-Мери. Мне думалось так же. Я плохо представлял себе место, которое мог бы занять в «Монд». Директор «Фигаро» был увлечен несколькими сильными страстями: антикоммунизмом, защитой парламентской демократии, европейским единством. Его убеждения совпадали с

моими, поэтому я не предвидел серьезных расхождений между линией «Фигаро» и собственным мнением. События в целом подтвердили эти предположения, с некоторыми исключениями, касавшимися РПФ, деколонизации, достоинств экономического курса Антуана Пине.

Пьер Бриссон был голлистом в момент Освобождения, присоединился к голлистам в 1958 году, с каким-то пылом выступал против РПФ. Он смирился с независимостью Алжира лишь в начале 60-х годов, следуя политике самого Генерала.

Весной 1977 года, после сердечного приступа, я оказался в больнице Кошена и получил там от Бёв-Мери письмо, глубоко меня тронувшее. Оба мы тогда достигли такого возраста, который помогает беспристрастно глядеть на прошлое. Бёв-Мери писал, что вспоминает о своих мечтаниях в 1944/45-м, и всегда ностальгически — о «надежде, которую питал в какой-то миг увидеть меня после неудачи первой „Комба“ в числе участников нового предприятия, издания „Монд“. Что бы из этого вышло? Если оставить в стороне все мелкие расхождения и споры, то возможные трудности оказались бы по своему характеру совершенно отличными от сегодняшних». Может быть. Не уверен, что мое участие в этом предприятии могло бы продолжаться долго. Но после стольких дискуссий, стольких лет жизни этот знак дружбы взволновал меня больше, чем я решился бы признать.

IX
ЖУРНАЛИСТ И АКТИВИСТ

Я чуть было не вывел на этой странице заголовок: «Десять потерянных лет». Когда разразилась война, мне было тридцать четыре года; после окончания военной службы я много работал и мог рассчитывать, что впереди — еще десяток лет интеллектуального обогащения и, может быть, созидания. В эти шесть лет, с 1939 по 1945 год, мне довелось увидеть других людей, другие события, другой стиль мышления и жизни. Перед большинством выпускников университета открывается лишь одна дорога — преподавание. Это мир с тепличной атмосферой, населенный детьми и молодыми людьми, оказавшись в нем, рискуешь остаться каким-то ребенком. Я увидел политику в действии ближе, чем большинство политологов — и с этим себя поздравляю, — но анализ политики *in vivo*, при погружении в нее, отнюдь не способствует философской рефлексии, а скорее ее парализует. У философа, столкнувшегося лицом к лицу с депутатами или журналистами, возникает ощущение, что он станет предметом насмешек или окажется в колодце.

Десять лет жизни, в течение которых я был профессиональным журналистом, а не преподавателем, выступающим в газетах, — результат моего собственного выбора; даже в неудаче попытки поступить в Сорбонну в 1948 году я отчасти был виноват сам, ибо создал у ряда своих будущих коллег впечатление, что за «Фигаро» держусь крепче, чем за Сорбонну, и что при необходимости отказаться или от одного, или от другого я не оставил бы журналистику. Именно так понял Жорж Дави 150 слова, которые я вроде бы произнес во время моего кандидатского визита к нему; из лукавства или по наивности он повторил эти слова на собрании профессоров, что и определило исход трудных выборов[112].

Вспоминаю свою беседу с Лесеном, типичным представителем академического спиритуализма, человеком вежливым, доброжелательным, отнюдь не питавшим неприязни к моей политической деятельности и к «Фигаро». То, чем вы занимаетесь, сказал он мне, есть дело уважаемое, нужное, я вас за него не упрекаю, но журналистика не подходит для университетского преподавателя. Он должен мириться со скромностью своего существования, существования клирика, оставаться в стороне от мирской суеты, видеть смысл своей жизни и все свое призвание в передаче знания, в воспитании учеников.

Вы не принадлежите более к нашему ордену[113]. И он совершенно откровенно добавил, что, несмотря ни на что, будет голосовать за меня, а не за Жоржа Гурвича хотя бы потому, что тот недостаточно хорошо говорит по-французски и еще менее заслуживает кафедры, только что оставленной Альбером Байе, который тоже был скорее журналистом, чем преподавателем.

«Фигаро», в которую я пришел весной 1947 года, никак не походила на ту, что я покинул весной 1977-го. Она была газетой Пьера Бриссона: во времена Четвертой республики это издание не являлось, быть может, самым авторитетным за пределами Франции, но наверняка оказывало самое большое влияние на ее политический класс. Пьер Бриссон сохранял такое влияние на политических деятелей, я скажу даже, такую власть над ними, какой никогда не достиг Юбер Бёв-Мери. Парадокс скорее мнимый, чем действительный: «Монд» систематическим образом выступала как орган оппозиции, была враждебна по отношению к Атлантическому альянсу 151, перевооружению Германии, весьма вяло соглашалась с европейским объединением; 152 газета оказывала воздействие на общественное мнение, особенно на молодежь. Более антиамериканская, чем антисоветская, по крайней мере внешне, эта газета превратилась в библию левой intelligentsia, которая довольствовалась критической позицией, не имевшей непосредственного воздействия на события. Политическим деятелям у власти приходилось смиряться с суждениями Сириуса (Sirius) 153, с декретами, которые произносил с высоты неподкупный директор «Монд». Пьера Бриссона опасались больше, ибо он действовал в общем духе политики Четвертой республики, вращался среди министров и депутатов. В случае необходимости именно он приглашал министров. Разумеется, все изменилось с возвращением генерала де Голля во власть. «Фигаро», сражавшаяся с РПФ, превратилась в газету «бывших». Но следует отдать должное П. Бриссону: он никогда не сожалел о своем царствовании; будучи добрым французом, он, как и я, радовался тому, что Франция наконец управляется достойным образом, ведь и его, в конце концов, унижали унижения Франции, считавшейся в ту эпоху больным человеком Европы.

Бриссона поразили мои статьи в «Комба», мои аналитические разборы, сделанные на ходу, во время завтрака (например, за несколько месяцев до события я сказал ему, что следует готовиться к такому правительству, которое более не будет включать коммунистов), он настойчиво просил меня весной 1947 года готовить для него каждый месяц по нескольку статей и

убедил меня ответить согласием. При его жизни мне платили постатейно.

Пьер Бриссон жил жизнью газеты и для газеты. Он не пошел в свое время на разрыв с ее собственницей, г-жой Котнареаню, первой женой Коти, которая при разводе и разделе имущества получила акции «Фигаро». Хотя Бриссон и признавал права собственника, он намеревался управлять газетой исключительно по своей воле. Г-жа Котнареаню, вернее ее деверь, руководивший фирмой Коти в Соединенных Штатах, отверг формулу Бриссона («в соответствии с капиталом, но независимо от него»), потребовал полного осуществления своих прав собственника, иначе говоря, права контроля администрации и даже политической ориентации газеты. Пьер Бриссон отверг эти требования, опираясь на тот факт, что разрешение на публикацию издания было выдано ему персонально и его команде, а не компании «Фигаро». Национальное собрание приняло специальный закон, названный законом Бриссона, касавшийся исключительно «Фигаро». В соответствии с ним право на использование названия сохранялось за тем, кто получил разрешение на публикацию издания. В 1947 году конфликт еще продолжался, его урегулировали лишь в 1949-м, когда было достигнуто компромиссное решение сроком на двадцать лет, проект которого разработал Марсель Блестейн-Бланше.

Компания-арендатор, капитал которого принадлежал друзьям П. Бриссона, эксплуатировала название «Фигаро»; Жан Пруво приобретал половину капитала компании «Фигаро»; Пьер Бриссон, имевший 2,5 % капитала, становился президентом административных советов обоих обществ. Решение являлось исключительным, предоставляло статус более уязвимый, чем статус «Монд», но оно не должно было приводить к потрясениям при соблюдении двух условий: процветания газеты и присутствия Пьера Бриссона. Он умер менее чем через двадцать лет. Двадцать пять лет спустя первое условие представляется неосуществимым.

Перед войной «Фигаро» выходила небольшим тиражом (примерно 80 тыс. экземпляров), имела яркое и скандальное прошлое[114], ею руководили Люсьен Ромье и Пьер Бриссон. Первый из них стал в 1943 году министром Маршала и умер до окончания войны; второй прекратил выпуск своей газеты после оккупации свободной зоны немцами и ушел в подполье. При Освобождении он получил разрешение возобновить публикацию газеты (в таком разрешении было отказано газете «Тан», выпуск которой прекратился двумя днями позднее). Благодаря исчезновению довоенных газет светская и академичная «Фигаро» за несколько месяцев превратилась в общенациональное

ежедневное утреннее издание. Пьер Бриссон законно гордился этой необыкновенной удачей; он в полном объеме осуществлял свои директорские функции; о нем и о его редакции ходили выражения: диктатор, руководящий приветливыми анархистами, или деспотия, умеряемая редакционной анархией. Бриссон пользовался непререкаемым и неоспоримым авторитетом; он прибегал к советам Андре Зигфрида, он спорил с Франсуа Мориаком; газетчики считали его одним из своих.

Парижанин до кончиков ногтей, Бриссон принадлежал к ушедшей Франции. Он не говорил ни на одном языке, кроме французского, ему незнакомы были другие страны. По своему воспитанию, по своему творчеству, сугубо литературным, он не был призван направлять линию общенациональной газеты международной значимости в период революционных потрясений. По счастливой случайности Бриссон заимствовал некоторые мнения, которые, если оглянуться, кажутся верными, разумными. Однако же значительная часть intelligentsia, немало людей, гораздо более искушенных в большой политике, чем Бриссон, жестко критиковали эти мнения — антикоммунизм, примирение с Германией, Атлантический альянс, европейское объединение. Правда, иногда его чрезмерный антикоммунизм выражался в публикации довольно смехотворных материалов. На следующий день после голосования Национального собрания против проекта Европейского оборонительного сообщества (ЕОС) [154] он написал невероятную по ярости передовую статью («Мне стыдно»).

Я с величайшим трудом убедил его, что корреспондентский пункт «Фигаро» в Соединенных Штатах должен находиться в Вашингтоне, а не в Нью-Йорке. В отличие от Жана Пруво, ежегодно устраивавшего для Раймона Картье кругосветные путешествия, у Бриссона никогда не возникала идея предоставить мне средства для поездки. И если удавалось их совершать, то никогда — за счет «Фигаро», за единственным исключением: он предложил мне «освещать» конференцию в Сан-Франциско [155], где было намечено подписать мирный договор с Японией. Не раз я доказывал ему выгоды использования опросов общественного мнения — безуспешно. С тех пор такие опросы заняли чрезмерное, почти до уродливости, место как в еженедельной, так и в ежедневной прессе. Более того, журналисты не всегда убедительно разъясняют итоги опросов. Всякий раз следовало бы напоминать, исходя из здравого смысла: если у кого-то спрашивают, что он будет делать через несколько месяцев или что он сделал бы при таких-то обстоятельствах, то ответы на эти вопросы надо воспринимать с величайшей осторожностью.

Рейтинги Теда Кеннеди рухнули 156 почти на следующий день после того, как он официально выставил свою кандидатуру. Пока он не являлся кандидатом, опрашиваемые выражали свое неудовлетворение Картером, «предпочитая» Кеннеди, не рискуя при этом. Когда же встал вопрос о том, чтобы проголосовать «по-настоящему», избиратели вспомнили о Чаппаквиддике 157, который нельзя было забыть, простить.

Когда П. Бриссон умер в 1965 году, «Фигаро» уже скользила по наклонной плоскости. Доля рекламы в доходах достигала 85 %, что создавало определенную уязвимость. Число читателей уменьшалось; общие данные о тираже несколько скрывали этот упадок, ибо включали бесплатную подписку, распространение в гостиницах. Проблема состояла прежде всего в том, что газета не обновлялась. У нее еще оставалось около ста тысяч подписчиков; старая клиентела газеты, люди света, академических кругов, в целом сохранила ей верность; но на место умерших не всегда приходили новые читатели. Буржуазия 60-х годов, сформировавшаяся после войны, время от времени читала «Фигаро», не находя в ней всего того, что искала. Мало-помалу место «Фигаро» как символа интеллектуального, если не социального статуса заняла газета «Монд».

Подобно большинству тех, кто любит свое дело до такой степени, что никак не способен себя без него представить, П. Бриссон не воспитал наследника. Когда он сообщил Жану Пруво о намерении назначить Л. Габриель-Робине заместителем директора, то добавил, что его каждодневному помощнику не придется подняться выше. Как позже написал мне Владимир д'Ормессон, П. Бриссон думал, что в случае его кончины у меня были бы наилучшие качества для руководства газетой «Фигаро». Но он никогда не говорил об этом ни мне, ни тем более своему сыну Жан-Франсуа. Не думаю, что при всех сложившихся обстоятельствах я согласился бы взять на себя эту задачу; однако, если бы Бриссон написал или сказал мне о том, что доверил Владимиру д'Ормессону, то ситуация выглядела бы совершенно иначе. Одной из причин, побудивших меня отказаться от любых амбиций в 1965 году, являлась предвидимая реакция сопротивления со стороны штаба газеты (исключая Ж.-Ф. Бриссона и части редакции). Этому сопротивлению пришлось бы по меньшей мере замолкнуть, если бы П. Бриссон ясно объявил меня своим преемником.

Любопытно, что этот парижанин, глядевший без иллюзий на людей и на нравы столицы, отказался даже думать об амбициях Жана Пруво, впрочем небеспочвенных; я не раз говорил об этом Бриссону, но он рассеивал мое беспокойство словами: «Пруво не

интересуется „Фигаро“, он сохранит нынешний статус». Мне казалось немыслимым, что Жан Пруво, желавший быть журналистом, прежде чем он стал капиталистом, смирится с тем, что никогда не обретет своего голоса в газете, половина капитала которой ему принадлежит. После того как Жан Пруво был отвергнут, «Фигаро» (редакция) согласилась с кандидатурой Робера Эрсана. Не буду отрицать, что и на мне лежит доля ответственности за этот абсурдный спектакль. А вот другая история.

В 1947 году в газете властвовали три «больших пера» — Франсуа Мориак, Андре Зигфрид, Андре Франсуа-Понсе. С первым из них никаких пограничных проблем не было, со вторым — тем более, ибо Андре Зигфрид неохотно занимался разбором текущих экономических вопросов, а именно вопросов инфляции, цен, заработной платы, требовавших опоры на теории или схемы. Кейнса он, очевидно, не читал; будучи географом по образованию, Зигфрид описывал страны и их ландшафты, анализировал подъемы и падения их, объяснял кризис Великобритании в XX веке или Великую депрессию на манер социолога или этнографа, не прибегая к инструментам экономических теорий. А Франсуа-Понсе желал — что было понятно — сохранить монополию на освещение международных отношений. Я не согласился с тем, что меня исключают из этой тематики. Соперничество знаний исчезло само собой: А. Франсуа-Понсе занял в Германии место генерала Кёнига (главы оккупационной администрации, а затем посла в ФРГ).

В течение восемнадцати лет моего сотрудничества в газете под руководством Пьера Бриссона я ни разу с ним не ссорился, но мои позиции не всегда совпадали с линией «Фигаро». Особо выделю два случая: первый был связан с деятельностью РПФ, второй — с деколонизацией. Мое вступление в РПФ не означало принятия идей Генерала; я рассматривал экономические и дипломатические дела в своем обычном стиле, не следуя за ортодоксальными голлистами или за их пропагандой. Клода Мориака и меня как сотрудников «Фигаро» и одновременно членов РПФ поставили в затруднительное положение именно полемические выступления против этой газеты редакции «Рассамблеман» и Альбера Оливье. «Рассамблеман» раскопала о «Фигаро» военных лет несколько неудобных материалов. Примерно в конце 1940 года на ее страницах была напечатана статья, за которую, несомненно, нес ответственность сам Бриссон. В ней перечислялись уже проведенные и намечавшиеся реформы, в том числе и принятие статуса евреев. Когда прочел эту статью, меня словно укололо в сердце. Очевидно, вишистская цензура

запрещала критиковать статус евреев, но она не обязывала подчеркивать его достоинства[115].

Был ли Бриссон антисемитом? — Конечно нет. Была ли антисемитской газета? — В определенной степени, может быть. Ее отличал некий салонный, академичный антисемитизм, весьма далекий от антисемитизма гитлеровцев и даже Морраса, которого сам Бриссон презирал и с которым не переставал скрещивать копья в 1940–1942 годах. Как нам теперь известно, правительство Виши по собственной инициативе приняло законодательство о евреях; эта мера вызвала мало протестов, хотя обстановка их не запрещала. Даже некоторые из писателей, обласканных Республикой и враждебно относившихся к оккупантам, написали о евреях страницы, которые в конце концов убедили меня в том, что антисемитизм в те времена — накануне и в годы войны — захватил различные круги так широко, как я не мог себе тогда представить. В Лондоне я полагал, что люди Маршала забежали вперед, чтобы предупредить германский нажим. Думая так, я исходил не столько из великодушия по отношению к Виши, сколько из потребности в интеллектуальном комфорте, нежелания признать, что некая Франция исключает меня из национального сообщества. Утешительная иллюзия. Вишистские законы соперничали с нюрнбергскими, были не менее схоластичными в поисках предшественников, не менее строгими в своих исключениях.

Пьер Бриссон, такой, каким я его знал в 1945-м или 1946-м, вроде бы не питал по отношению к евреям никаких особых чувств симпатии или антипатии. В числе его друзей всегда были евреи, один из них посвятил ему биографию. В изгнании я читал «Фигаро», и особенно ее литературные страницы, которые дышали духом свободы, сопротивления. Неустанная полемика с Моррасом, защита французской литературы и представление ее в газете, критика выступления коллаборационистов; ни один читатель не мог усомниться в ее позиции. В журнале «Франслибр» я не раз отдавал должное «Фигаро»[116]. У меня не было никаких угрызений совести, когда я присоединился к команде Пьера Бриссона. Круг «Анналов» («Annales»), Ивонны Сарсе и Адольфа Бриссона, тесно связанный с Республикой конца предыдущего века, в различные времена занимал право- или левоцентристские позиции.

В 1956 году, когда суэцкая экспедиция завершилась плачевным фиаско 158 и когда я подверг критике само по себе это предприятие, Бриссон упрекнул меня в этом, прибегнув к классическому аргументу: «И как могли вы, еврей…» Я резко возразил: «Но я не израильтянин, а француз». В ином случае

читатель мог бы упрекнуть меня в том, что я выступаю на стороне Израиля.

В период между 1947 и 1951 (или 1953) годами П. Бриссон вел сражение против РПФ. В наших спорах я защищал мнение о том, что возвращение Генерала во власть предопределено и что лучше будет, если это возвращение произойдет мягко, законным образом, а не явится следствием какого-то потрясения. Он не верил в победу РПФ, и события подтвердили его правоту. В 1958 году Бриссон с большим энтузиазмом, чем я, воспринял вознесение Генерала к высотам власти в условиях военного мятежа.

Споры между мной и Бриссоном о деколонизации, и особенно о Марокко и Алжире, не отдалили нас друг от друга. Я обнаружил письмо, которое он написал мне в связи с публикацией исследования Тьерри Монье, представлявшего Алжир в качестве французской Сибири, французского Среднего Запада или Калифорнии. Это письмо, отправленное 4 мая 1957 года, отражает одновременно и природу наших отношений, и то мнение, которое у него создалось обо мне; по крайней мере, Бриссон не считал меня расчетливым человеком с холодным сердцем, который жертвует Алжиром потому, что тот слишком дорого обходится. «Окончание исследования Тьерри Монье, дорогой друг, меня глубоко тронуло, особенно заключение. Он вкладывает душу в проблему; одной души, конечно, недостаточно, но без души ничто не совершается — вам это лучше известно, чем любому другому, ведь вы порой загораетесь. Расчеты чистой политики, расчеты, исходящие из интереса, всегда неистинны, человеческий фактор, страсть их поправляют, их опровергают, вносят сумятицу в неизбежно вытекающие результаты. Представьте себе доклад эксперта о шансах на успех Жанны, отправляющейся из Домреми, или о шансах Мильтиада при Марафоне! Руководствоваться исключениями, согласен, — безумие. Но исключить веру при решении, какую-то частицу веры, означает лишить себя того, что все же есть самое лучшее в человеке. Я отнюдь не вершу здесь суд над экономистом. В сущности, вы не больший экономист, чем я, но это не надо понимать буквально. Я не берусь заменить вас в Сорбонне. Но строгость и острота вашей мысли делают вас абсолютистом, пламенным абсолютистом. Зачем я говорю вам все это, дорогой друг, посреди итальянских роз, в этом уголке, наполненном воспоминаниями и дышащим забвением? Виной тому лишь одна моя дружба к вам, и, чтобы почувствовать свою правоту, она желала бы, не признаваясь в этом, того, чтобы вы мне сказали: согласен…»

Пьер Бриссон продолжал верить в легенду о нескольких сотнях афинян, победивших персидские орды. Эта деталь мало что значит. Конечно, ничто не может свершиться без веры. Но и у другой стороны была вера. Члены военной группы Народного движения за освобождение Анголы, решившись начать мятеж, также сделали ставку против численной вероятности; несколько сотен бойцов поднялись против власти, внешне казавшейся прочной. Покушения, совершенные в ноябре 1954 года, постепенно воспламенили Алжир, причем быстрее, чем могли предположить семь исторических вождей. Но если бы я и последовал за Пьером Бриссоном, если бы я обратился к вере и к душе, то и тогда мое заключение осталось бы прежним. В середине XX века миллионы мусульман, сражающиеся за свою независимость, должны превзойти если не в мужестве, то, по крайней мере, в терпении, народ, который более не верит в свою цивилизаторскую миссию и в свое право навязывать верховную власть другому народу, ищущему собственную идентичность.

В 1947 или в 1948 году я вступил в РПФ, к великому удивлению, если не возмущению тех, кто вспоминал о «Тени Бонапарта» и о моих речах, быть может, еще более резких, которые когда-то произносились в Лондоне. Я разоблачал потенциальную опасность и вот теперь, когда она появляется, о ней забываю? К чему эти активистские скобки посреди тридцати семи лет моей жизни — с 1945 по 1982 год, на протяжении которых я хотя и не был сторонним наблюдателем, но, во всяком случае, не находился в подчинении у какой-то партии? В тот самый момент Манес Спербер оплакивал мое присоединение к движению, которое представлялось ему малодемократичным по своему стилю и по своим целям, несмотря на свой символ веры.

Чаще всего эту выходку объясняли моими дружескими чувствами к Андре Мальро. Так думал и он сам. И не был совершенно неправ. Однако не думаю, что он ясно видел главное, а именно: лондонские воспоминания и сожаления, с одной стороны, картину беспомощности Четвертой республики — с другой.

Хотел бы, чтобы меня правильно поняли. Я не пересматривал свой отказ от присоединения к голлистской легенде — о легитимности, приобретенной после 18 июня 1940 года и сохранявшейся в коломбейском изгнании [159]. Я не сожалел о том, что не исключал, вплоть до ноября 1942 года, возможность отъезда правительства Виши в Алжир, отъезда, который по меньшей мере смог бы смягчить жестокости «чистки». И напротив, после высадки союзников в Северной Африке, когда

выявилась несостоятельность генерала Жиро, исполнение Генералом функций главы временного правительства становилось делом одновременно неизбежным и желательным. То, что у Генерала отнюдь не было намерения уйти из политики сразу же после освобождения Франции, то, что в его замыслах новая Республика никак не походила на Третью республику, — обо всем этом мы думали, и мы не ошибались. Но и не присоединяясь к голлистскому движению, следовало рассматривать его, начиная, самое позднее, с конца 1943 года, как вершителя национальной судьбы, неоспоримого и временного.

Голлизм 1946 или 1947 года никак не походил на голлизм 1941-го или 1942-го. Если не считать Генерала, который, вероятно, оставался самим собой, окружавшая вождя группа и те, кто за ним следовал, не напоминали тех нескольких десятков верных ему людей, глядевших на него с благоговением, поддерживавших культ личности начиная с 1940 года. Во время одного из редких обедов, на которые я был приглашен Генералом в Лондоне, он сам отметил, беззлобно, но без снисходительности, скудость Свободной Франции — не журнала, а французов в Лондоне. Он не был в неведении относительно тех, кого я окрестил «опустившимися наверх». В Париже голлисты смешивались с участниками Сопротивления. Андре Мальро и Эдуар Корнильон-Молинье 160 присоединились к генеральскому «окружению», таинственной сущности, отвратительной по природе, ибо на нее падают грехи вождя или, вернее, она есть средоточие этих грехов.

По многим важным вопросам я не был согласен с политикой, которую рекомендовал проводить Генерал, в особенности по вопросу о Германии. В памяти довольно четко запечатлелась достаточно горячая дискуссия с Морисом Шуманом о целях французской дипломатии по отношению к нашему бывшему вековому неприятелю. Дискуссия проходила в здании доминиканского монастыря на улице Тур-Мобур в 1945 году. Русские — на этот раз я использую это слово, ибо Генерал всегда к нему прибегал, — отрезали на востоке часть германской территории, сами аннексировали Восточную Пруссию, а Польше передали области к востоку от линии Одер — Нейсе. Французы же ради поддержания равновесия (какого равновесия?) должны поступить так же, отделить левобережье Рейна (не аннексируя его), учредить верховную администрацию Рура, которая контролировала бы его производство, противостоять Берлину[117], а затем, в рамках Запада, — всем учреждениям, которые предвещали бы возрождение Рейха. Это нагромождение гарантий казалось мне несколько смешным, неприемлемым для немцев и,

следовательно, несовместимым с франко-германским примирением, за которое в то же время выступал Генерал. Морис Шуман защищал голлистские идеи с тем же пылом, с тем же красноречием, как и обычно. Для меня не составило большого труда убедить бо́льшую часть собрания, на котором председательствовал [философ] Этьен Жильсон, что французские амбиции натолкнутся на жесткое вето англо-американцев. Западные победители, обеспокоенные советским продвижением и советизацией стран, освобожденных Красной Армией, должны были бы возродить жизнеспособную Германию, которая сможет построить плотину на пути потока, хлынувшего с Востока. Морис Шуман в категорическом тоне ответил, что голлисты не намерены ставить свои проекты или свои действия в зависимость от доброй воли союзников. Спор разрешило не красноречие, а соотношение сил. Позиция Генерала, которую превозносил представитель Сражающейся Франции, вызвала, приводя к неудачам, острые кризисы в отношениях с Лондоном по вопросу о Сирии, с Вашингтоном — по вопросу о Штутгарте или о долине Аосты.

По возвращении во Францию Генерал, в соответствии со своей философией, на первое место поставил внешнюю политику. В этом примате дипломатии нет ничего оригинального, он был возведен в догму, превращен в категорический императив благодаря мыслителям-историкам, особенно германским, в конце прошлого века. В каком-то смысле и я принял бы этот подход, исходя из истины, которую дает здравый смысл: *primum vivere,* прежде всего жить. Безопасность нации, независимость государства — кто мог бы подчинить эти фундаментальные требования частному или коллективному благу, каким бы оно ни было? Но когда примат дипломатии выражается в исправлении границ, малозначащих самих по себе, то большая политика рискует превратиться в процедурное крючкотворство. Возобновление союза с русскими сразу же после освобождения Франции впервые позволило выявить константу голлистской дипломатии или, скорее, представление Генерала о мире. Он не видел или не хотел видеть Европу такой, какой она вышла из бури, разделенной на две зоны противостоящих политических цивилизаций, а затем — на два военных блока; он почти всегда бранил блоковую политику, подобно тому, как это охотно делали советские представители. Он действовал, как бы не видя того, что советизация Восточной Европы была равнозначна образованию коммунистического блока, что предполагало в ответ создание западного блока! Добавим, что во времена РПФ, между 1948 и 1952 годами, Генерал выражал свой антисоветизм и свой антикоммунизм резче, чем правительственные партии.

Если бы Генерал остался у власти после 1946 года, подписался ли он под англо-американской политикой, с которой министры Четвертой республики, в особенности Жорж Бидо, согласились не без зубовного скрежета? Вероятно, Генерал не смог бы до бесконечности возражать против образования Боннской республики. Но сомневаюсь, что при его царствовании у Жана Монне был бы шанс убедить министров и при их посредничестве начать образование Европейского объединения угля и стали, а также обеспечить голосование Национального собрания в пользу Римского договора [1957 год]. Сегодняшние французы забыли, что Жан Монне и Робер Шуман проложили путь к франко-германскому примирению, используя институты, против которых повели борьбу Генерал и голлисты. С помощью этих институтов, основанных на равенстве прав, порывали не с целью — франко-германским примирением, — но со средствами голлистской политики. Более не стоял вопрос о том, чтобы брать за образец политику русских и отрезать куски от территории, остававшейся у западных немцев. В 1958 году деятели Четвертой республики оставили в наследство свершившиеся факты, которые Генерал не мог пересмотреть. Он дополнил соглашение об Общем рынке, инициативу создания которого вряд ли бы взял на себя. «Уловка разума» 161 оказалась благоприятной для нас: Генерал не подписал бы договора, а Четвертая республика, вероятно, не была бы способна проводить его в жизнь.

С РПФ меня сближала, конечно, не германская политика Генерала, а его неприятие «режима партий» (или, выражаясь более точно, возврата реставрированной демократии к практике, которая увлекла Третью республику в пропасть). Во время первой послевоенной фазы установление пропорциональной избирательной системы способствовало успехам трех крупных партий — коммунистической, социалистической, МРП. В 1947 году трехпартийная система не выдержала напряженности в стране и отражения внутри нее конфликтов между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Скоро коммунисты превратились в неприкасаемых. Коалиционные правительства походили на правительства Третьей республики. Самый приверженный демократии обозреватель не мог не осознавать существования того разрыва, который образовался между задачами государства и объемом власти министров, никогда не уверенных в своем будущем.

Из всех воплощений голлизма РПФ оказалась по воле обстоятельств одновременно и самым парламентским, и самым радикально антикоммунистическим образованием. Именно генерал де Голль бросил фразу: советские войска находятся на

расстоянии «двух этапов велосипедной гонки „Тур де Франс“ („Tour de France“)». Именно он выступил также как самый решительный противник коммунизма и Советского Союза, тогда как в его глазах «третья сила» — правящие партии — занимала место Виши, между коллаборационистами и борцами Сопротивления (оценка была, конечно, неприемлема).

В чем состояла моя деятельность в качестве активиста РПФ? На собрании в зале Пятого парижского округа, проходившем под председательством Клода Мориака, я делал доклад о международном положении. Небольшая группа студентов Эколь Нормаль решила сорвать мое выступление (я несправедливо посчитал, что Андре Дюваль[118], сын моих дорогих друзей, Колетты и Жана, был в этой группе). Им без труда удалось этого добиться. При отсутствии службы порядка десяток юношей, решивших прерывать оратора на каждой фразе, легко мог вывести из терпения любого. Клод Мориак говорил мне вполголоса: «Продолжайте, продолжайте». Через три четверти часа или через час бюро собрания, по согласию со мной, капитулировало и закрыло его.

Андре Мальро, руководивший пропагандистской работой партии, отреагировал так, как должен был это сделать; он организовал более многолюдное собрание, обеспеченное службой порядка, вмешательство которой, впрочем, не понадобилось. Несогласные, социалисты и коммунисты, заранее сообщили бюро собрания, что не будут мешать его проведению. Я только что довольно серьезно переболел и находился, как помню, не в лучшей форме. Специфические идеи РПФ мою речь не вдохновляли. Тем не менее Андре Мальро был удовлетворен реваншем: мы снова выступили и доказали, что обладаем силой, способной заставить наших противников нас уважать, можем организовывать собрания там и тогда, где и когда пожелаем. Но он искренне сожалел, что в моем выступлении слабо звучали собственно голлистские идеи. Я развивал скорее свои собственные любимые темы, мысль о союзе Запада или Европы, чем темы, характерные для Генерала.

В другой раз я принял участие в большом собрании, организованном РПФ в зале «Мютюалите» («Mutualité»), который заполнили многие сотни людей. Это было собрание интеллектуалов РПФ и собрание для интеллектуалов. Публику составляли в основном сочувствующие или любопытные, Галлимары сидели в первом ряду. Сначала на трибуну поднялся Паскаль Пиа — речь его не вызвала ни бури оваций, ни даже легкого ветерка аплодисментов. Затем говорил Жюль Моннеро или, скорее, он зачитал хорошо составленный текст, но текст

письменный, слишком письменный, чтобы «пройти» в подобной аудитории. Его со всех сторон прерывали, особенно усердствовала кучка, разместившаяся на краю балкона, на первом ярусе. Я выступал после Моннеро, и выкрики возобновились. К счастью, мне пришла в голову идея обрушиться на газету «Фран-тирёр» («Franc-Tireur») и, может быть, даже на моего друга Ж. Альтмана за нейтрализм. Я упрекал их за то, что они не определяются в своей позиции, упорствуют, не делая выбора, перед лицом коммунизма, применяющего принцип «кто не со мною, тот против меня». Поскольку в то время «Фран-Тирёр» был излюбленной мишенью для «Юманите», я повернулся к тем, кто меня прерывал, и сказал им: «Я подумал, что завоюю вашу снисходительность, нападая на „Фран-Тирёр“». Зал взорвался смехом. И на весь вечер восстановилось спокойствие. Как кажется, я заключил выступление хлесткой фразой: рискованное предприятие голлизма — это рискованное предприятие Франции. Если судить по «аплодисметру», меня не превзошли два последующих оратора — Жак Сустель и Андре Мальро.

Я был регулярным участником проходивших еженедельно заседаний «Исследовательского комитета». Там я встретился с Гастоном Палевски, Альбеном Шаландоном, Жоржем Помпиду. Последний поразил меня своей простотой, своим здравым смыслом, своим бескорыстием[119]. Мне легко было найти общий язык с А. Шаландоном (или, по крайней мере, я в это поверил), который охотно и не без некоторого сожаления вспоминал о тех обстоятельствах, которые помешали ему поступить в Высшую педагогическую школу. У меня не сохранилось никаких текстов трудов этого исследовательского комитета, которые, насколько помню, чаще всего посвящались текущим вопросам и устаревали еще до момента их завершения.

Генерал включил меня в Национальный совет, составленный из видных деятелей, которые многократно собирались на его заседания. Каждый раз Генерал выступал перед ними с блестящим анализом внутренней и международной обстановки. Именно на собрании Национального совета в мэрии города Венсенн в 1952 году произошел первый раскол: часть парламентской группы РПФ в Национальном собрании проголосовала за Антуана Пине, вопреки воле Генерала. Во всяком случае, такого поворота событий ожидали после выборов 1951 года. Поскольку принципиальные противники — коммунисты и голлисты — не составляли вместе большинства, партии Четвертой республики спасали свое царствование, будучи вынужденными договариваться между собой перед лицом угрозы со стороны двух оппозиций.

Более любопытный случай связан с общенациональным съездом РПФ в Лилле в 1949 году, на котором мне было поручено подготовить доклад об «ассоциировании». Это слово Генерал употреблял для обозначения того, что позже стало называться соучастием. Он искренне верил в формулу, промежуточную между капитализмом и социализмом, между миром джунглей, дикой конкуренции и миром всеобъемлющей бюрократии, между индивидуальной собственностью на средства производства и огосударствлением предприятий. Между двумя этими режимами ему виделся некий третий, способный положить конец войне классов, не надевая, однако, при этом на общество ярмо всемогущего государства. Генералу известны были название, дух, конечные цели этого строя, но отнюдь не средства его осуществления. Я сделал все, что мог, ради конкретизации идеи «ассоциирования» и назвал возможные направления ее реализации — участие в управлении и в прибылях. Тридцать лет назад проводились, хотя и в меньших масштабах, чем сегодня, более или менее удачные опыты участия рабочих в организации труда, профсоюзов — в управлении предприятиями, наемных работников — в прибылях.

Итак, я сделал все, что мог, но не создал у моих товарищей впечатления, что разделяю их веру. Меня упрекали за скептицизм не совсем несправедливо. Что означает «верить в привлечение»? Представляет ли собой «ассоциирование» доктрину, сравнимую с социализмом или либерализмом? Определяется ли оно проведением постепенных реформ или наличием определенных институтов? Если «ассоциирование» должно было соперничать с социализмом, то действительно я не входил в число сторонников такой доктрины. Придя к власти, голлисты за одиннадцать лет обеспечили принятие, самое большее, нескольких законов, поощряющих те или иные разновидности участия, которые мы предусматривали во времена РПФ.

Напротив, по двум пунктам я заслуживал упреков в скептицизме. Во Франции — такой, какой она была и какой она остается, — реформы, направленные на изменение предприятия, являющегося прежде всего производственной единицей, наталкиваются чаще всего на два препятствия, на две власти. С одной стороны, это профсоюзы, особенно те, которые находятся в союзе с компартией, а с другой — патронат. Первые не хотят смягчать классовую борьбу в рамках капитализма, а представители второго опасаются реформ, навязываемых сверху, государственной властью. Я не являлся противником побудительных действий государства, но с подозрением относился к актам, которые должны были бы применяться ко всем

предприятиям без предварительного согласия людей, обязанных проводить эти акты в жизнь.

Вторая моя оговорка была связана с той фазой, которую переживала французская экономика. Мы находились в конце 1940-х годов. В отличие от многих экономистов, преследуемых призраками проклятых лет и каждый раз опасавшихся новой стагнации французской экономики, я склонялся к оптимизму. Несмотря на инфляцию и министерскую нестабильность [163], восстановление, при содействии плана Маршалла [164], шло полным ходом. Но восстановление — или, может быть, следовало уже говорить о росте — предполагало высокую долю инвестиций, следовательно, высокую долю реинвестирования прибылей предприятий. Участие в прибылях создавало двойной риск — сокращения реинвестиций и разочарования получателей прибылей.

В те времена никто еще не был знаком с идеей, которую сделал популярной полтора десятка лет спустя выпускник Политехнической школы М. Луашо. Он полагал, что реинвестированная часть прибылей должна рассматриваться, по справедливости, как собственность работников и относиться на счет капитала. Если ежегодно реинвестированные фонды будут составлять дополнительный капитал и относиться на счет рабочих, то последние через определенное число лет автоматически станут собственниками своего предприятия. Как мне передавали, охваченный энтузиазмом генерал де Голль воскликнул: «Вот участие, которое я столь долго искал».

Энтузиазм, разделявшийся также моим другом Луи Валлоном, напомнил мне шутку, которую любил Леон Брюнсвик: «В семье Аронов есть два хороших философа и два хороших теннисиста, а всего их трое. Один выпускник Политехнической школы из числа моих друзей так и не отгадал загадку». В современном предприятии стоимость его капитала, выраженная в курсе акций, зависит прежде всего от способности производить и продавать, получая прибыль. Можно также сказать, что предприятие — это машина по производству прибавочной стоимости, или добавленной стоимости, определяемой разницей между объемом затрат и объемом продаж. Ежегодное реинвестирование автоматически не увеличивает прибавочную стоимость. Реинвестированные фонды идут, помимо амортизации, на модернизацию оборудования, сами по себе они не гарантируют возрастания стоимости капитала. Только политехник, исполненный веры, мог полагать, что стоимость реинвестированных прибылей могла приводить к равному увеличению капитала.

Но вернемся к РПФ. До разрыва с Лабартом Генерал дважды приглашал меня в Лондоне на обед. Первая встреча оставила два воспоминания. Генерал похвалил меня за мои статьи в «Франс либр»; эти комплименты можно было бы назвать банальными, но их отличала смесь учтивости и серьезности, характерная, очевидно, для его подхода ко всем гостям. Во время обеда он дал, импровизируя, блестящий анализ оккупационного режима во Франции: вермахт, желающий оккупации в традиционном стиле, в соответствии с международным правом; гестапо, истязающее людей; более или менее искренние сторонники франко-германского сотрудничества, такие как Абетц. От этих трех групп зависит положение французов, причем по мере развития Сопротивления влияние гестапо непременно будет возрастать.

На этом — или на другом — обеде разговор зашел о правительстве Виши. В то время оно остерегалось идти на безоговорочное сотрудничество с неприятелем, пыталось добиться улучшения материальных условий жизни населения, не соглашаясь предоставлять Германии политические выгоды, что привело бы к острой реакции со стороны Вашингтона. Я намекнул на то, что в тех условиях, в которых оказались Маршал и его советники, они никак не могли действовать иначе. Генерал понял смысл моих слов и дал мне почувствовать, что никогда не согласится с такой интерпретацией ситуации или же с таким примирительным отношением. В этот — или в другой — вечер он сказал, скорее вскользь, заключая свой разбор, что люди Виши пойдут до конца в своем коллаборационизме. Я возразил, исходя из здравого смысла: флот, Северная Африка представляют ставку в мировой политике; в то же время они дают в руки Виши их последнее оружие, являются его главными доводами. Лишившись этого, Маршал отдаст себя на милость захватчиков. Почему бы он стал делать это по своей воле? Было видно, даже в этих частных беседах, что Генералу противна сама по себе игра Виши, как если бы он хотел полного прояснения ситуации.

В следующий раз я встретился с Генералом как раз в тот вечер, когда Госдепартамент опубликовал знаменитое коммюнике, содержавшее слова «the so-called free frenchmen» («так называемые свободные французы»). Сказаны они были в связи с освобождением островов Сен-Пьер и Микелон кораблями под командованием адмирала Мюзелье. Генерал ходил взад и вперед по своему салону и гневно повторял: «Хороши же они, наши союзники». Благодаря своей манере обращаться к Соединенным Штатам он, как воплощение Франции, непроизвольно поднимался на такой же уровень, на каком находилась первая держава мира. Этот диалог Генерала с самим

собой остался в моей памяти.

В годы существования РПФ я видел Генерала много раз; рассказ о беседах с ним, если предположить, что мне удалось бы их восстановить в памяти, ничего не добавил бы к литературе, посвященной «герою истории». Когда в конце 1950 года мою жену и меня постигло несчастье — смерть нашей маленькой девочки, родившейся в 1944 году в Лондоне, — Генерал прислал нам письмо с соболезнованиями, выражения которого и особенно тон выходили за рамки принятых для таких обстоятельств формул; я попросил его принять меня, и в беседе, состоявшейся несколькими днями позже, он говорил мне о своей дочери Анне, «которая никогда не была нормальной». Генерал выражал свои мысли сдержанно, словно стремился скрыть эмоции, страдания, привязывавшие его к этому ребенку, но одновременно обнаруживал свою чувствительность или, скорее, свою уязвимость. Он не предлагал мне своего сочувствия, но, вспоминая о собственном испытании, становился ближе к моему испытанию.

В том же самом 1950 году, году корейской войны, я довольно долго беседовал с ним о положении в мире и во Франции. «Что вы намерены предпринять?» — спросил я его в ходе разговора. «Что могу я предпринять? — ответил он. — У меня нет гренадеров, а если бы были и если бы я прибег к их помощи, то ведь вы за мной не пошли бы». Генерал прокомментировал поспешное отступление Восьмой американской армии с севера Кореи вплоть до 38-й параллели. В связи с этим он вспомнил об отступлении, приказ о котором отдал генерал Эйзенхауэр; в случае выполнения приказа Страсбург был бы отдан на растерзание нацистам. У американцев, сказал он, есть обыкновение держаться на дистанции, гораздо дальше, чем это необходимо.

Эти детали имеют лишь частный интерес, они позволяют представить, какими были мои отношения с самим Генералом в годы деятельности РПФ. В 1951 году я подумывал о том, чтобы войти в список кандидатов от РПФ в Париже; когда Мальро поднял вопрос в руководящих инстанциях, то оказалось, что первые места в списке давно обещаны. Генерал заметил мне — и был совершенно прав, — что я никогда ни одного слова не вымолвил относительно своих намерений, впрочем, скорее робких попыток, чем намерений. Я плохо переносил жизнь профессионального журналиста и преподавателя по обстоятельствам; активная политика иногда казалась мне выходом, но в джунглях робкая попытка непростительна. Надо или хотеть, или не хотеть. Если же ты мечтаешь, то будешь мечтать долго. К счастью, вскоре я отказался даже от мечтаний.

Я не вышел из РПФ — объединение само перестало существовать. У меня осталось, по крайней мере, удовлетворение от того, что я отдал ему больше, чем от него получил. В 1953 году мы проводили отпуск в департаменте Верхняя Марна, неподалеку от Коломбе-ле-дёз-Эглиз, я позвонил у ворот поместья Генерала, и поскольку он отсутствовал, то оставил свою визитную карточку с адресом. Через несколько дней моя жена и я получили от него приглашение. Нам представился, таким образом, случай побывать в резиденции «Буассери» и познакомиться с его обычаями: чаепитие, затем Генерал ведет меня в свой рабочий кабинет, читает отрывок из своих «Мемуаров»: портрет Маршала. После этого — прогулка по парку. Генерал намекнул на мой доклад, сделанный на конференции под его председательством; мне запомнились не устроители этого собрания, но слова, сказанные им после моего выступления. На конференции, посвященной экономическому положению Франции, я сформулировал идею, впрочем, несколько банальную: французы время от времени совершают революцию, но они никогда не осуществляют реформ. Генерал уместно поправил меня: «Французы осуществляют реформы, только продолжая дело революции». И напомнил о реформах, осуществленных сразу же после Освобождения.

Когда в 1959 году я выступил в журнале «Прёв» («Preuves») со статьей, озаглавленной «Прощание с голлизмом» («Adieu au gaullisme»), то Генерал, как мне передали, сказал Мальро: «Он никогда не был голлистом». И был прав. Я никогда не являлся голлистом на манер Мальро, привязанного к Генералу какими-то феодальными узами. Не являлся я тем более и голлистом на манер Мориса Шумана, хотя он и не следовал за Генералом в годы деятельности РАФ. Мои отношения с де Голлем всегда были двойственными, включая и годы РПФ, по причинам, одновременно неопределенным и глубоким.

Непримиримость, которой он гордится в своих «Мемуарах», толкала его к войне против Виши, а в какие-то моменты ставила на грань войны со своими союзниками. Именно благодаря поддержке Черчилля он получил от англо-американцев оккупационную зону в Германии, хотя Сталин считал, что Франция этого не заслуживает; но именно Сталину де Голль демонстрировал свои хорошие манеры по возвращении во Францию. Виши настраивал французское общественное мнение против наших союзников; де Голль также по-своему настраивал своих соратников против англо-американцев. За исключением периода РПФ, генерал де Голль не прекращал вести дипломатические сражения против англичан и американцев. В некоторых из этих сражений он действительно защитил

французский интерес; но когда он упрекал англоамериканцев за то, что те высадились в Северной Африке без контингентов бойцов Свободной Франции, то служил интересам своей легитимности, но не интересам Франции. Опыт Сирии доказал, что солдаты и офицеры Виши охотнее присоединялись к союзникам, чем к Генералу.

Во время своего визита в Буассери я последний раз беседовал с Генералом. По причинам, которые я сам для себя с трудом проясняю, у меня не было с ним никаких контактов, даже письменных, вплоть до 1958 года. Может быть, ослабление моих связей с Мальро бессознательно повлияло на мое отношение к Генералу. Может быть, когда РПФ исчезло, у меня возникло желание взглянуть на события со стороны после этого похода в партийную политику. В 1955 году я возвратился в университет, а последние годы Четвертой республики были ознаменованы потрясениями деколонизации. Самым близким мне среди голлистов, не считая Мальро, был Мишель Дебре [165], который чересчур резко выступил не только против Четвертой республики, но и за французский Алжир. В 1957 году я занял позицию в пользу алжирской независимости, тогда как большинство голлистов защищали дело французского Алжира. Я не смешивал Генерала с теми, кто объявил себя его сторонниками. Мне не хватило смелости просить его о приеме.

Некоторые из моих самых близких друзей предпочитают забыть о годах моего членства в РПФ как отклонении от карьеры, которая во всем остальном представляется прямолинейной. Другие пытаются забыть о моем отношении к событиям мая 1968 года. В обоих случаях я не смиряюсь, признавая себя виновным, по крайней мере, не отказываюсь себя защищать.

Совершил ли Генерал ошибку, создав РПФ? По возвращении во Францию он столкнулся с партиями, восстановлению которых способствовал во время Сопротивления. Первые выборы ознаменовали сдвиг влево, как это обычно происходит после войны. Коммунистическая партия и социалистическая партия, хотя последняя колебалась, воспротивились конституционным замыслам Генерала. Для самого себя и для Франции он желал сильного президента, этого краеугольного камня Республики. Вероятно, Генерал мог бы управлять страной, если бы согласился выполнять функции председателя Совета министров; но хотя у него были прекрасные способности побеждать своих противников в парламентских ристалищах, он ни на один миг не допускал возможности пойти на участие в этих играх, составляющих отраву и усладу режима партий. Генерал де Голль воплощал Францию, он не должен был расточать капитал народного доверия,

опускаясь до положения партийного вождя.

Генерал никогда не расценивал свою отставку 1946 года как прощание с политикой или как признание поражения. Он посчитал, что партии, будучи неспособными управлять страной, парализованные распрями, обратятся к нему, как обратились они за помощью к Раймону Пуанкаре в 1926 году и к Гастону Думергу — в 1934-м 166. События скоро расстроили эти расчеты. Но Генерал как хороший стратег не ставил на одну лошадь. Уйдя в отставку по собственной инициативе, он отстранился от партийных споров, оставался национальным прибежищем, сохранял свою легитимность, оказавшуюся в ссылке, но не отмененную. Генералу было 55 лет, он находился в расцвете сил, следовало ли ему жить в Коломбе-ле-дёз-Эглиз, занимаясь лишь написанием своих «Мемуаров»? Или же говорить и писать для журнала «Олдер Стейтсмен» («Older Statesman»), щедро раздавая советы тем, кто управляет страной, не оглядываясь на свое прошлое, невзирая на свою собственную фортуну? В Коломбе его охватило нетерпение; поскольку партии упорствовали, не обращаясь к нему, следовало самому пойти к ним, но не для того, чтобы исправить их ошибки, а для того, чтобы эти ошибки усугубить и тем самым сократить время неизбежной агонии Четвертой республики.

Выйдя на арену, став отныне партийным вождем, подобно Леону Блюму, Морису Торезу или Жоржу Бидо, он рисковал потерять ауру харизматического вождя. Эта опасность не ускользала от Генерала, именно поэтому он назвал свою партию «Объединением», поставил перед ней задачу национального масштаба — пересмотр Конституции. Если бы он остался во власти, а не покинул ее, то ему удалось бы разыграть это сражение в условиях более благоприятных. Генералу не пришлось прерывать свое молчание для того, чтобы первый конституционный проект был отклонен. Второй проект был одобрен вопреки осуждению, прозвучавшему из уст Генерала, но одобрен очень незначительным большинством; голоса сказавших «нет» и сознательно воздержавшихся вместе составляли большинство. Генерал пошел на формирование «Объединения» в тот момент, когда внутри страны и вне ее до крайности накалилась напряженность — между Советским Союзом и Западом, между коммунистами и другими партиями.

Изменял ли Генерал самому себе в 1948 году, когда пытался создать такую обстановку, в которой партии склонились бы перед ним и согласились бы на обновление государственных институтов? То, что он позволил сделать своим «безусловным» сторонникам десять лет спустя, мне показалось гораздо более

шокирующим. В 1947 году не было ни заговора, ни базуки; [167] критикуя Конституцию, которую никто не защищал, парламентскую практику, выставлявшую страну на посмешище, РПФ преследовало четкую цель: обеспечить себе достаточное число мест в Национальном собрании, чтобы вынудить партии к компромиссу. Эта процедура была бы менее унизительной для Республики, чем капитуляция Национального собрания в 1957 году [168] перед лицом мятежа вооруженных сил и преторианской угрозы.

Что касается меня, то я всегда, даже в 30-е годы, защищал либеральный режим от коммунизма и правых революционных движений, но, как всякий патриот, я страдал, видя упадок Республики и Франции в течение тех проклятых лет. Я не входил в противоречие со своими неизменными убеждениями, присоединяясь к попытке бесстрастного пересмотра позиций. Когда же такой пересмотр происходил в накаленной обстановке, я не мог ни его поддержать, ни ему воспротивиться: те, кто вел Генерала к власти, в большинстве своем посвятили себя спасению французского Алжира, они морально отвергли меня, ибо я защищал право алжирцев на независимость. Конечно, как мне рассказывали, Генерал в частных беседах говорил, что прав был я, а не Сустель. Но в тот момент малейшее мое желание участвовать в политических действиях окончательно испарилось. Приняв все во внимание, я не стыжусь того, что «активно работал» в РПФ, но отнюдь не горжусь этим.

Я был активистом РПФ с 1948 по 1952 год, но я был также — и до этого, и после этого — активистом европейского единства, Европейского сообщества. Не могу вспомнить все публичные собрания, коллоквиумы, исследовательские семинары, проходившие в период «холодной войны» и в последующие годы, — они были слишком многочисленными.

В годы журналистской и партийной деятельности для меня открылась возможность не ограничиваться жизнью в пределах «французского шестиугольника» [169], причем не только совершать частые визиты в другие страны Европейского сообщества, но также неоднократно пересечь Атлантику, а сверх того провести несколько недель в Японии или в Индии. Несмотря на это, могу сказать, что я был «колумнистом», или кабинетным комментатором.

По правде говоря, мне нравилось заниматься делами полуполитического свойства, хотя иногда я испытывал ощущение, что все это — пустяки. Вероятно, сегодня это чувство сильнее, чем в 40-е годы и в начале 50-х. В первые послевоенные годы,

вплоть до смерти Сталина, мы вели настоящую битву, ставкой в которой являлись умы и сердца людей.

Сегодня эта деятельность активиста напоминает мне о «Конгрессе за свободу культуры» («Congrès pour la liberté de la culture»). Не могу не рассказать о его роли, о его влиянии и в конечном счете о вызванном им скандале. Мы полагали, что «Конгресс…» финансируют американские фонды. В одном из своих расследований, посвященных ЦРУ, «Нью-Йорк таймс» («New York Times») упомянула «Конгресс…» среди организаций, получающих средства от этого знаменитого управления, фонды же служили только прикрытием. После этого я отдалился от «Конгресса…», который сменил название и при помощи «Фонда Форда» просуществовал еще несколько лет.

Два вопроса встают перед нами, Дени де Ружмоном, Манесом Спербером, Пьером Эммануэлем и всеми остальными, тем или иным образом работавшими в рамках «Конгресса…»: должны ли были мы знать или, по крайней мере, догадываться? Если бы мы знали, откуда идут деньги, то должны ли были отказываться от любого сотрудничества? Что касается первого вопроса, то я склонен ответить: нам не хватало пытливости, многие признаки должны были бы нас насторожить. Но финансирование этими фондами было делом допустимым; во всяком случае, когда я участвовал в коллоквиумах или готовил статьи для журнала «Прёв», то говорил или писал то, что думал. «Конгресс…» ничего мне не платил, он давал возможность защищать и распространять идеи, которые в те времена нуждались в защитниках.

Остается второй вопрос: допустили бы мы финансирование со стороны ЦРУ, если бы знали о нем? Вероятно, нет, хотя в конечном счете такой отказ представлялся бы неразумным. Я опубликовал ряд статей в «Прёв», на его страницах я выражался столь же свободно, как и на страницах любого другого журнала. Созданный «Конгрессом…» журнал «Инкаунтер» («Encounter») остается в Великобритании первым, лучшим ежемесячным периодическим изданием на английском языке. Ни первое, ни второе из этих изданий не процветало бы, если бы проявляло себя как орудие секретных служб Соединенных Штатов. «Конгресс…» не мог выполнить свою задачу — а он ее выполнил, — если бы не прибегал к маскировке и даже, если хотите, ко лжи путем умолчания. Эта ложь не перестает отягощать мои воспоминания о «Конгрессе…», хотя я все еще охотно воскрешаю в памяти коллоквиумы на Родосе, в Рейнфельдене, а также коллоквиум в Венеции, состоявшийся гораздо позднее, когда «Конгресс…» сменил название и больше ничего не получал от ЦРУ[120].

Любопытно, что сегодня интеллектуалы, не имевшие никакой

связи с «Конгрессом…», вспоминают о нем без злобы, иногда открыто его одобряют, находя даже таким образом предлог для выступлений против аналогичной организации, созданной недавно г-жой Мидж Дектер, женой главного редактора журнала «Комментэри» («Commentary») Нормана Подгореца. Я согласился[121], не без колебаний, стать почетным председателем этой организации (Committee for the Free World, Комитет за свободный мир), возникшей в совершенно иных условиях. В 1950 году, когда в Берлине произошло рождение «Конгресса…», мобилизация сил интеллектуального сопротивления против Советского Союза значила гораздо больше, чем мобилизация против него вооруженных сил. В 1982 году верхний слой intelligentsia и самые видные представители молодого поколения не поддаются, по крайней мере во Франции, ни искушению советизма, ни даже искушению прогрессизма попутчиков, в отличие от того, что наблюдалось двадцать или даже десять лет назад. Конечно, марксизм или туманно марксистское видение мира продолжают во Франции преобладать в умах преподавателей начальной и средней школы. Самая многочисленная или, во всяком случае, самая активная часть преподавателей-ассистентов в университетах не отреклась от убеждений, являющихся более или менее марксистскими. Тот, кто прожил первые двадцать послевоенных лет, может оценить пройденный путь.

Пусть другие подведут итоги деятельности «Конгресса…». Я не сожалею, что участвовал в ней, поскольку эта организация оказала немаловажное влияние на европейских интеллектуалов. Лично мне запомнились некоторые ее деятели. Создателем «Конгресса…» был Михаэль Иосельсон, эстонец по происхождению, — он играл роль посредника между ЦРУ и интеллектуалами. Мы могли бы сказать, что этот человек нас обманул, и, возможно, он признал это, если бы мы обсудили с ним суть дела. Очевидно, он сказал бы: а как сделать по-другому? Он верил в то, что делал. И жил этим, хотя благодаря своему необыкновенному уму мог бы найти другое занятие. Йосельсон был больше чем агент секретных служб, представлял собой нечто другое. Этому интеллектуалу, наделенному даром действовать, мы обязаны как успехом «Конгресса…», так и изначальной ложью. Когда он удалился от дел, то взялся за написание книги об одном русском генерале, противнике Наполеона, — Барклае-де-Толли. Несколько лет назад Йосельсон умер от сердечной болезни, которой долго страдал.

Именно в рамках «Конгресса…» я неоднократно встречался с Дж. Ф. Кеннаном. В одной из глав содержится рассказ о нашем

диалоге, состоявшемся после «Рейтовских чтений». Впервые я увидел его в Принстоне в 1950 году, на коллоквиуме, посвященном Франции, инициатива проведения которого принадлежала Э. Мид-Эрлу. Личные отношения между Кеннаном и мною всегда были и прекрасными, и неглубокими. Если я не совсем ошибаюсь, он уважал во мне интеллектуальную живость, вкус к полемике, а также умение налаживать диалог с людьми, пришедшими с различных сторон. В Рейнфельдене мы провели вместе немало дней, и я оценил его вежливость, его знания, полное отсутствие в нем тщеславия или манерности. Будучи человеком сдержанным, почти холодным, моралистом в глубине души, «элитистом», чего, может быть, он и не осознавал, Кеннан со все меньшей симпатией относился к Америке, становившейся все более и более популистской. Его эволюция, начиная со статьи, подписанной «г-н Икс», и кончая сегодняшними выступлениями, объясняется, вероятно, его возраставшим безразличием к своей стране. Статья Кеннана в журнале «Форин Афферс» («Foreign Affairs») оказала стойкое влияние на дипломатию Соединенных Штатов и заложила основы политики «сдерживания». С тех пор он не перестает раскаиваться за свой *finest hour*, «прекраснейший час», расплачиваться за свою историческую роль. В 1978 году я написал ответ Дж. Ф. Кеннану;[122] до настоящего времени мне не представлялось возможности обсудить с ним этот ответ.

В некоторых собраниях «Конгресса…», например в берлинской конференции 1960 года, устроенной по случаю его десятилетнего юбилея, принимал участие также Дж. Р. Оппенгеймер. В этом человеке впечатлял контраст между чистотой голубых глаз и нервной дрожью, сопровождавшей каждый жест, каждое слово. Его пожирали внутренний огонь или битвы, которые он вел с самим собой, отличала склонность рассматривать каждый миг существования не только всерьез, но трагически. Я вновь мысленно вижу Оппенгеймера в его комнате, вместе с женой, он обсуждает со мной последние беседы, словно страшась их возможной банальности. И с ним я не вышел из первой фазы дружбы. В противоположность Кеннану Оппенгеймера отделяли от других людей не строгость, но внутренние страдания, которые он позволял угадывать. Став отцом атомной бомбы, противником создания водородной бомбы, попав под подозрение из-за своего прошлого и опрометчивых поступков, Оппенгеймер принял на себя бремя, груз которого с трудом мог бы удержать даже гораздо менее чувствительный человек.

Из всех великих интеллектуалов, с которыми мне удалось познакомиться благодаря «Конгрессу…», наибольшее восхищение,

наибольшую симпатию у меня продолжает вызывать Майкл Поланьи. Он сделал странную карьеру: покинув в один прекрасный день «строгие» физико-химические науки, где вел исследования на самом высоком уровне, где ему предназначено было стать лауреатом Нобелевской премии, Поланьи решил добиться от университета полного изменения профиля своей кафедры. Он стал философом. Мир нуждался в мудрости больше, чем в знаниях. Познание человеком самого себя важнее, чем накапливание дополнительных сведений. Поланьи создал труды, посвященные свободе в экономике и в научных исследованиях, среди его работ особо выделяется замечательная книга, великая книга — «Личностное знание» («Personal knowledge»). Некоторых она восхищает, других оставляет равнодушными, большинство ее не знает. Теория познания Поланьи, имплицитно содержащая философию и, может быть, религиозное заключение, оказалась в стороне от всех англо-американских школ своего времени, являвшихся логическими или аналитическими. Его представление об уровнях реальности, его антиредукционизм, тот смысл, который он придавал личной позиции при принятии истины, вели читателя, между строк, к вере — вере в дух, может быть, в Святой Дух. Я услышал из уст Исайи Берлина ироническое замечание о жизненном маршруте Поланьи. Странные люди эти венгры, сказал он, вот великий ученый, отказывающийся от Нобелевской премии ради написания посредственной философии. Если предположить, что эта философия является посредственной, — тезис, который еще надо доказать, — то приведенная оценка пренебрегает измерением, быть может, важнейшим — личностным.

М. Поланьи расстался с научными исследованиями ради того, чтобы лучше реализовать себя и чтобы служить другим людям. Защита свободы — свободы ученых, но также и простых граждан — значила для него и для всех больше, чем научное открытие, которое рано или поздно сделает вместо него кто-то другой. Его собственное самоосуществление не было связано с признанием со стороны специалистов, будь то химики или философы, это самоосуществление зависело лишь от признания собственной совестью, от своего внутреннего голоса; общение с Майклом приносило успокоение и в то же время обогащало именно благодаря присутствию духа, который мы в нем обнаруживали. Разумеется, его никогда не покидали приветливость, радушие. Но и другие выдающиеся люди демонстрируют подобные качества. Поланьи нечто прибавлял к ним. Его радушие никогда не относилось к человеку как какому-то рядовому существу, оно было обращено к человеку, представляющемуся единственным,

сразу же чувствующему свою включенность в его личность. Мы сравнительно часто беседовали; думаю, между Поланьи и мной завязалась дружба. Для юбилейного сборника, который готовился по случаю его семидесятилетия, я написал очерк под названием «Макс Вебер и Майкл Поланьи» («Max Weber et Michael Poleanyi»), Полагаю, он понравился Поланьи, я получил от него благодарственное письмо, которое бережно храню. Последняя наша беседа состоялась в Оксфорде, на следующий день после того, как я получил степень доктора *honoris causa* от этого университета. После вручения диплома я прочитал довольно посредственную лекцию (без подготовленного заранее текста, на английском языке). Г-жа Поланьи, которая была достойна своего мужа по уму и доброте, сделала мне комплимент по поводу этой лекции. Майкл не поддержал свою супругу, его правдивость не позволяла ему так поступить, особенно по отношению к другу. Он говорил со мной о том, что миру следовало искать, даже без надежды найти. Думаю, он сказал: Бога. Насколько я знаю, он ни разу не написал этого слова.

Один английский писатель в книге о попутчиках коммунизма[123] сравнил в общих чертах «Конгресс за свободу культуры» и организации, которые создала и которыми манипулировала компартия. По обе стороны председательские посты занимали выдающиеся личности, в одном случае К. Ясперс, в другом — Жолио-Кюри, а до войны — Андре Жид, ангажированные писатели или ученые, партийные активисты. За формальным сходством скрываются коренные различия. В рамках «Конгресса…» мы никогда систематически не защищали американскую дипломатию или американское общество. На собрании в Милане в 1955 году между нами разгорелась полемика, одни подчеркивали и почти превозносили экономические достижения советского строя, другие же ставили под сомнение победные сообщения статистики. Для «Прёв» мы писали так же, как для любого другого журнала. Действительно, у нас было нечто общее — неприятие коммунизма. Но плюралистический антикоммунизм, включавший социал-демократов на одном конце и консерваторов — на другом, отличался по своей природе от просоветизма организаций интеллектуалов, обреченных на приукрашивание истины (если прибегнуть здесь к литоте).

Вернемся к моей журналистской деятельности в «Фигаро». По сравнению с американскими «колумнистами»[124] я сравнительно редко путешествовал, даже в течение десяти лет профессиональной журналистской работы. Как я сказал,

единственный раз Пьер Бриссон попросил меня выехать на место события в 1951 году — «освещать» конференцию в Сан-Франциско, посвященную подписанию мирного договора с Японией. Исход мнимой дипломатической битвы ни у кого не вызывал сомнения. Все государства, за исключением сателлитов Советского Союза, следовали в то время за Соединенными Штатами. Советские представители не питали никаких иллюзий. Заголовки американских газет — во всю ширь первой страницы («шесть колонок на первой полосе») — гласили: «100 против 3». Журналисты спрашивали друг друга, почему советские представители искали здесь поражения. Я ответил полусерьезно корреспонденту «Нью-Йорк таймс»: «Потому что они не забыли уроков Ленина в „Детской болезни 'левизны' в коммунизме“». Мой собеседник без тени улыбки поинтересовался, где он мог бы в Вашингтоне откопать этот драгоценный труд.

Я достойно справился с этим новым испытанием — «репортерством». Главная трудность заключалась в том, что почти невозможно было достать пишущую машинку. Мой друг Николя Шатлен, постоянный корреспондент в Вашингтоне, выручил меня, проявив свою привычную любезность. По правде говоря, перелет из Сан-Франциско в Даллас запечатлелся в моей памяти сильнее, чем три дня, проведенные на конференции. Самолет, на котором летела часть французской делегации, попал в бурю, превратившую нас на несколько часов в человеческие развалины, слишком слабые, чтобы испытывать страх. За одним, однако, исключением: Жак и Лоранс де Бурбон-Бюссе, прижавшись друг к другу, стойко сопротивлялись безумным метаниям соломинки, чудом продолжавшей упорно держаться в воздухе.

В предыдущем, 1950 году, в октябре — ноябре, я впервые вступил на землю Нового Света. Это была наполовину журналистская, наполовину преподавательская поездка. Принстонский *Institute for Advanced Study* [170] (им руководил Дж. Р. Оппенгеймер) прислал мне приглашение пробыть там несколько недель. Пьер Бриссон убедил меня не оставлять газету на столь долгое время и предложил менее продолжительную поездку в Соединенные Штаты. Несколько дней я провел в Принстоне, но большую часть времени оставался в Вашингтоне, гостя сначала у Джеймса Бёрнхема, автора «Революции управляющих», а затем у моего товарища по лицею — Леонара Риста, работавшего во Всемирном банке.

Благодаря поездке в Вашингтон я познакомился с журналистами — Уолтером Липпманом, Джозефом Элсопом и другими. Много ли я узнал? С трудом нахожу ответ. У меня возникло чувство какой-то близости с этим странным городом,

почти навязчивым образом поглощенным политикой, в любой час наполненным слухами. Здесь десятки тысяч людей, начиная с президента и кончая самым рядовым журналистом (в конце концов, Никсона свергли два молодых репортера), что-то разыскивают, интригуют, болтают, интересуясь судьбами сенаторов или далеких королей; бесчисленные нити отныне привязывают этот провинциальный город ко всем уголкам света.

Самые яркие впечатления оставила у меня беседа с Дином Ачесоном. Она происходила в начале ноября 1950 года, когда стали распространяться плохие новости относительно «end the war offensive»[125]. Государственный секретарь сказал мне, что ни комитет начальников штабов, ни он сам не одобряют решение Макартура. Но, добавил он, мы здесь ничего не можем сделать. По американской традиции командующему театром военных действий предоставляется широкая свобода в ведении операций (Ачесон напомнил мне, что комитет начальников штабов отнюдь не поддержал высадку войск в Инчхоне). У него не было сомнений в том, что американское военное вмешательство в Корее позволило сохранить систему союзов Соединенных Штатов: доверие к американским обязательствам не выдержало бы разрушения Республики Корея танками Ким Ир Сена. Что касается остального, то он ожидал поражения и отступления Восьмой армии.

Мое путешествие в 1953 году в Японию, Гонконг, в Индию и Индокитай просветило меня совершенно иначе. Впервые я познакомился непосредственно, а не при помощи книг, с культурами, отличающимися от нашей совсем не так, как отличается культура германская от культуры французской. Для моей вступительной лекции в Коллеж де Франс я взял нацистов в качестве примера *другого,* который излечивает нас от этноцентрической наивности. Я был неправ: нацисты представляли собой патологическое проявление нашей цивилизации. В Токио, Калькутте, Нью-Дели — здесь везде надписи и одежды являли глазу очевидность иностранного; поразила меня также и не раз вызывала неловкость тонкая пленка вестернизации, создающая опасность того, что от нас будет скрыта подлинная реальность.

В Токио те, кто входил в японское отделение «Конгресса за свободу культуры», чаще всего говорили на языке людей Запада, прибегали к американской лексике при обсуждении вопросов политики. В моих беседах с японскими студентами часто возникали темы демократии, ее требований. Тогдашний премьер-министр Японии Иосида Сигору, визит к которому был довольно продолжительным, с изяществом объяснил мне, насколько

традиционная иерархия, чувство безопасности и образование, которые старший дает младшему, согласуются с истинным смыслом демократии. Таким образом японский премьер с помощью новых слов выражал традиционные ценности своей страны. В Индии наибольшее неприятие у меня вызвали прозвучавшие в устах какого-то «святого человека» традиционные речи об «американском империализме». В Нью-Дели я познакомился с французским послом, к которому сразу же проникся симпатией и уважением, графом Остророгом, поляком по происхождению и человеком благородным в лучшем значении этого слова. Из получасовой беседы с Пандитом Неру я не вынес ничего или почти ничего, хотя на меня, как и на всякого другого, произвела впечатление личность, которой была уготована необыкновенная судьба.

В Японии Запад представляли, в зависимости от сферы, американцы, немцы или французы. В 1953 году американское влияние в общем преобладало, но, может быть, французскую литературу знали лучше, чем какую-либо иную. Иногда в университете я беседовал по-немецки с философом, получившим образование в феноменологическом или хайдеггеровском духе. Напротив, в Индии Запад смешивается с Англией или с Соединенными Штатами. Я не мог удержаться от восхищения тем, насколько японская культура сохранилась в своих глубинных основах, в семье, в манерах поведения, в верованиях, при том что эта преемственность столь незначительно замедлила освоение современной техники или экономики, необходимых для честолюбия Японии, излечившейся от военных мечтаний. Поскольку Империя восходящего солнца отказалась быть одной из первых по своей мощи, она должна была подняться на самые большие высоты в мирных искусствах.

Разговоры с японскими интеллектуалами не вызывали у меня ощущения потерянности. В то же время их реакция на факт американского преобладания пробуждала чувство уже-виденного или уже-слышанного. Непринужденный стиль межличностных отношений американцев контрастирует с почти ритуальным характером таких отношений в вечной Японии. Конечно, маленькие японцы то здесь, то там вели себя как маленькие американцы и упражнялись в бейсболе. Во время последующих поездок у меня возникло впечатление, что традиция начинала побеждать внешнее влияние, и я задавался вопросом о смысле студенческих волнений, которые в 60-е годы приобрели крайне ожесточенный характер.

В Индии, по крайней мере в ту эпоху, в глаза путешественника сразу же по его прибытии бросались толпы,

нищие толпы. Я сошел с корабля в Калькутте, приплыв из Гонконга, и в течение первых дней спрашивал себя, как привилегированные люди свыкаются с несчастьем других, со спящими ночью на тротуарах, с убогими кварталами, где обитают сотни тысяч мужчин, женщин, детей, лишенных всего. К своему стыду, я осознал, что через несколько дней и сам перестал видеть нестерпимое. Случайно я открыл правило, которым руководствуются нищие и о котором не ведал. Выходя из храма, я дал ребенку несколько монеток. Через несколько мгновений меня окружила кричащая стая молодых индийцев, требовавших своей доли. Пока я ничего никому не давал, никто не протестовал; как только я дал что-то одному, все другие посчитали себя вправе требовать того же. Мои спутники, объяснившие мне смысл случившегося, были выпускниками Лондонской школы экономики, они излагали мне фабианские идеи, близкие к социалистическим, которые не соответствовали индийским условиям и их собственному поведению, скорее вынужденному, чем избранному свободно.

Мои поездки в Японию, вероятно, не дали мне ничего или почти ничего сверх того, что я мог бы узнать из книг. Разговоры, пейзажи, монументы, толпы, все воспоминания, которые мы храним, обогатившие нас опыты создают иллюзию близости. То, что мы знали раньше, теперь узнается по-другому. У нас пропадает желание повторить вопрос Монтескьё: «Как можно быть персиянином?» Чего не отдал бы латинист, чтобы оказаться, хотя бы на один день, в имперском Риме в начале нашего тысячелетия?

Принесли ли большую пользу мои путешествия (если оставить в стороне частые визиты в Соединенные Штаты) «кабинетному аналитику»? Не уверен в этом. В основном я располагаю той же информацией, что и мои читатели; и они и я черпаем ее из телеграфных сообщений. Поэтому все зависит от знания обстановки, в которой происходит событие. Например, в 1973 году, когда египетская армия переправилась через Суэцкий канал [171], некоторые мои товарищи по «Фигаро» позволили одурманить себя израильтянам из посольства. Роже Массип озаглавил свою статью «Западня», предположив, что египтяне попали в ловушку, поставленную хитроумными израильтянами. На следующий день я сделал то, что, можно сказать, не делал никогда, — написал статью, где открыто возражал Р. Массипу. Я был убежден, что израильтяне позволили застать себя врасплох. Почему? Я знал — и все в мире должны были бы знать, что на линии Барлева находились лишь несколько сотен солдат и что Суэцкий канал нетрудно преодолеть. Каким образом шестьсот

солдат армии Израиля, расставленные на сотнях километров, могли помешать целому войску перейти канал? Что касается уничтожения египетского плацдарма, то как израильтяне могли бы добиться этого в самое ближайшее время, если они еще не провели мобилизацию? Израильская армия, численность которой в мирное время невелика (тогда — примерно 300 тысяч человек), рассредоточена по трем фронтам, она не могла немедленно перехватить инициативу у своего основного противника, египетской армии. Я частично ошибся, ибо израильтяне, не ожидая сосредоточения своих сил, бросили на плацдарм моторизованную бригаду, которая была разгромлена. Я совершил ошибку, так как не думал, что командование способно допустить подобный промах, став жертвой своей недооценки противника.

В другой ситуации рассуждения в уединении послужили мне лучше, чем вашингтонские слухи. Когда телеграф принес сообщение о том, что северокорейские дивизии пересекли 38-ю параллель, у меня сразу же возникло убеждение: команда Трумэна не допустит исчезновения республики, созданной под эгидой ООН 172, на территории которой еще находились американские войска. События в Корее — а кто во Франции или в Европе беспокоился о Корее? — бросали вызов Американской Республике. От ответа на этот вызов зависело суждение мира о Соединенных Штатах: согласятся ли они взять на себя имперское бремя? Я не сомневался в ответе, дал понять, каким он будет, и заранее одобрил его в статье от 27 июня под заголовком «Испытание силой»[126] («Epreuve de force»), в то время как Ж.-Ж. Серван-Шрейбер телеграфировал из Вашингтона в «Монд»: «Америка не будет воевать ради Кореи, как она не стала воевать, когда американский самолет был сбит над Балтикой…» В моей статье обоснованно делался упор на обязательства, принятые Соединенными Штатами по отношению к Южной Корее: «… безопасность и процветание Южной Кореи являются наилучшим фундаментом доверия для всех народов Азии» (заявление Трумэна); «…я надеюсь, что дни, которые я только что провел здесь, будут еще одним доказательством того, что Корея не оставлена на произвол судьбы» (Дж. Ф. Даллес, за неделю до начала агрессии). Ж.-Ж. Серван-Шрейбер считал военное невмешательство Соединенных Штатов делом решенным и отсюда заключал, что «вся внешняя политика Америки должна быть полностью пересмотрена и прояснена». Он был прав: если бы Соединенные Штаты не пришли на помощь Южной Корее, им пришлось бы пересматривать всю свою внешнюю политику — это и позволяло мне предвидеть решение, которое действительно принял Трумэн и насчет которого сомневался обозреватель,

находившийся на месте событий.

На Ближнем Востоке я в двух случаях смог измерить шансы и риски предвидения, основанного на рассуждении. Весной 1956 года, во время моей первой поездки в Израиль, куда меня пригласил Иерусалимский университет, я прочел лекцию об арабо-израильском кризисе. Тогда на границах страны множились военные инциденты: атаки фидаинов 173, ответные действия израильской армии. Весь мир испытывал страх или надежду, ожидая в любом случае крупных военных операций. Я же говорил, что великие державы остановят эти действия буквально через несколько дней.

Когда стали задавать вопросы, профессор Акцин спросил меня, сколько дней великие державы смогли бы предоставить воюющим сторонам, чтоб обязать их прекратить кровопролитие, даже принудить к этому. Я ответил: минимум — три дня, максимум — восемь или девять. Национализация Суэцкого канала изменила условия арабо-израильской войны, но в общих чертах великие державы, в особенности Соединенные Штаты, повели себя так, как я предсказывал. Особой заслуги в этом не было: тогда, в 1956 году, Соединенные Штаты господствовали в международной системе и прибегали к своей мощи, для того чтобы навязывать или запрещать некоторые методы действий; в особенности они осуждали и предупреждали, по мере возможности, применение оружия.

Через десять лет, в 1966 году, я снова оказался в Израиле — как гость Института национальной обороны, армейского учреждения, где офицеры совершенствовали свою оперативную и политическую подготовку. В его стенах до меня выступали Т. Шеллинг, Г. Киссинджер, Г. Кан. Мой визит пришелся на годовщину создания государства Израиль, каждый раз отмечаемую военным парадом. После парада я завтракал с несколькими генералами. Завязался разговор с генералом Вейцманом, он тогда командовал авиацией и должен был через год уйти в отставку. Я рассказал ему о тех вопросах, которые мне задавали шесть лет назад в университете, и о моих ответах на них. «Если вы такой хороший прогнозист, то скажите мне, что произойдет в ближайшие годы». Мой ответ сводился к следующему: «Если Насер проявит благоразумие, он не должен развязывать новое сражение до тех пор, пока ощутимым образом не изменится соотношение сил. В настоящий момент часть египетской армии завязла в Южном Йемене. Если события будут следовать логике, то Израилю не придется столкнуться с опасностями в течение ближайших лет». — «So, we will have a dull life» [«Стало быть, нас ожидает скучная жизнь»], — ответил

командующий авиацией, ставший сегодня «голубем» (он участвовал в переговорах с Садатом). В следующем году произошла Шестидневная война; 174 Насер не «проявил благоразумия». Военные советники Насера скрыли от него уязвимость египетской авиации, а сам он переоценил свои военные и политические возможности. Со своей стороны, я недооценил риск случайности в той взрывоопасной ситуации, которая существовала на Ближнем Востоке.

В моей памяти осталась еще одна ошибка, менее извинительная. Вооруженные столкновения между китайцами и индийцами на границе в Гималаях в 1962 году никоим образом не могли вылиться в настоящую войну, как я какое-то время полагал 175. Ни одно из двух государств не видело в этом интереса и не имело для этого средств. Более того, если бы я раньше изучал военные и дипломатические традиции Китайской империи, то сразу же осознал бы природу военных действий — «урока», преподанного Китаем, не сомневался бы в том, что в ближайшее время эти действия будут приостановлены, а не предполагал бы продвижения китайских войск[127]. Сразу же после этого случая я решил изучать дипломатические и военные традиции Поднебесной.

Само собой разумеется, анализ политики, внутренней или внешней, на страницах ежедневного издания не имеет своей целью предсказывать ход событий, даже в самой краткосрочной перспективе. Такой анализ должен обеспечивать понимание события, включая его в более обширное целое: разъяснить американское решение, излагая концепцию вашингтонских руководителей, различные ограничения или давления, которым они подвержены; или же объяснить советское вторжение в Чехословакию, рассказывая о сущности советской системы, о том, как кремлевские властители видят мир, какому кодексу поведения следуют. Пророчество Ницше — великие войны разразятся в XX веке ради господства над миром во имя соперничающих философий — подтверждается на наших глазах в течение вот уже более чем полувека. Специалисты, анализировавшие мировую политику, и еще более — французские государственные деятели ошибались в 30-е годы, ибо упорно продолжали считать Европу центром вселенной, рассматривали Третий рейх как некую разновидность империи Вильгельма, едва ли оригинальную, не верили, что Советский Союз по своей природе отличается от царской России. Сегодняшние журналисты приобретают в журналистских школах навыки, приемы, технику, которые любой может усвоить за полгода в большом объеме. Однако эти школы не дают главного — знания истории и

культуры народов, теории и практики Ленина и Сталина, механизма действия Конституции Соединенных Штатов. Если чтение газеты является для современного человека утренней молитвой, по выражению Гегеля, то журналист наделен задачей *weltgeschichtlich*[128] на низовом уровне. Он должен включать событие в планетарную сеть и одновременно выявлять смысл и значение этого события.

Когда я с неспокойной совестью погружался в журналистику, Голо Манн напомнил мне, что когда-то Макс Вебер вразумлял своих коллег *Ordinarius,* ординарных профессоров, желая сбить с них спесь: он напомнил им, а может быть и показал, что отнюдь не все эти профессора были бы в состоянии заменить без подготовки авторов передовиц или даже простых комментаторов. Действительно, пренебрежительное отношение профессора как такового к журналисту как таковому представляется мне неоправданным или, точнее, смешным. Не все эрудиты умны; даже профессиональным экономистам не всегда удается проанализировать ситуацию или изложить свои тезисы на четырех листках. Тот, кто способен на большее, не всегда способен на меньшее. Конечно, написание диссертации на звание агреже по философии требует большей культуры, чем написание передовой статьи для «Монд» или «Фигаро», но агреже не всегда становится хорошим автором газетных передовиц. Остается добавить, что средний журналист чувствует «снобистское» отношение к себе со стороны университетского преподавателя, даже если иногда глядит на него сверху вниз. Когда однажды я признался Пьеру Лазарефф, что мне опротивела политика Четвертой республики и что поэтому я хочу возвратиться в *alma mater,* он посмотрел на меня так, как если бы я собрался покончить с собой, и прошептал: «О нет, не делай этого».

Роже Мартен дю Гар, желавший мне добра, дал понять до войны, что я обладаю качествами, необходимыми для политической журналистики. Я же, в свою очередь, дал ему понять, что философия лучше журналистики. Он не настаивал, но размышляя о скромной и безвестной участи преподавателя, предпочитал, вероятно, чтобы я — и Сюзанна — заняли совершенно иное место в обществе.

Разумеется, заняв свое место, я питал амбиции, как любой другой, — немного большие, чем у любого другого, — желая получить награду как лучший ученик. Ни в «Комба», ни в «Фигаро» я не мог на эту награду рассчитывать, поскольку она по праву и фактически предназначалась Альберу Камю или Франсуа Мориаку. И тот, и другой обладали литературным талантом,

который у меня отсутствовал и который к тому же плохо согласовывался со строгими требованиями экономического или дипломатического анализа. Однако я не лишился возможностей удовлетворять свое самолюбие. Я сказал бы даже, что искушение журналистского ремесла состоит отчасти в том, что за написанную статью тебя хвалят сразу же, причем явно сверх меры, тогда как книге чаще всего приходится с трудом прокладывать путь среди бесчисленных конкурентов.

Один из министров Четвертой республики (Петш) сказал мне в частной беседе: «Насколько я знаю, вы единственный, кто приобрел исключительное политическое влияние только лишь благодаря перу». Влияние это в действительности было сомнительным, рассеянным, слабо измеримым. Пьер Лазарефф, с которым я поддерживал, хотя и с перерывами, сердечные отношения, послал мне 25 февраля 1960 года следующую записку: «Дорогой Раймон, я никогда не пишу — эта дурная привычка происходит из-за нехватки времени, — чтобы сказать „браво“ автору статьи, которую ценю. Если бы не эта привычка, я писал бы тебе после публикации каждой из твоих статей. Но та, что появилась сегодня утром, столь дельна, столь полезна, настолько отвечает моему предчувствию настоящих опасностей, угрожающих нам, что не могу воспротивиться желанию сказать тебе об этом. Идеологическая борьба, согласен, но в условиях свободы, иначе — как я сказал по радио г-ну Аджубею, — „холодную войну“ заменят „холодным миром“, что будет тем же самым, но более опасным, ибо вызовет меньший страх. К счастью, есть Раймон Арон. Я говорю тебе об этом так, как об этом думаю, и я тебя обнимаю». В. Баумгартнер не раз говорил мне, что почти всегда верно угадывал, какой теме будет посвящена моя еженедельная экономическая статья. Эти статьи он регулярно прочитывал, ему нравились некоторые мои анализы и формулы, например, «советский строй — это электрификация плюс зерно Среднего Запада».

Прошло немного лет, и это удовлетворение, щекотавшее кожу, обернулось беспокойством, горечью. Возможно, я продвинулся вперед за годы работы в «Фигаро», начиная с 1947-го и кончая 1977-м. Возможно также, огонь постепенно угасал и опыт заменил воображение. На мой взгляд, журналистское ремесло подрывает именно эта возможность сразу же себя проявить и трудность совершенствоваться в нем, в отличие от ремесла ученого или писателя. Конечно, и журналист волей-неволей обязан обновляться, не позволять событиям обгонять себя, не цепляться за такое представление о мире, которое уже принадлежит прошлому.

У меня никогда не было вкуса к новости, свойственного журналисту. В Пьере Лазарефф, несравненном организаторе, меня восхищали талант, манера существовать, совершенно мне чуждые. Ради чего, если не ради сенсации, проявлять нетерпение, получая информацию на несколько часов раньше других? Если такая новость важна, то всегда будет время поразмышлять над ней; если же она важной не является, то зачем горячиться?

Подозревали ли меня в том, что я сверху вниз смотрел на профессионалов? Может быть, но в данном случае — несправедливо. Почему мне следовало бы презирать вкупе всех этих мужчин и женщин, рискну сказать, всех этих юношей и девушек, настолько они казались мне молодыми, если можно так выразиться, благодаря профессии. В редакциях, которые я посещал, некоторые мне нравились, другие — нравились меньше: одни мне весьма симпатизировали, другие — нет. Когда я руководил очень маленькой командой в «Фигаро», отвечавшей за освещение вопросов экономики, то редакторы не сетовали на наши еженедельные беседы. Вместе с Роже Массипом я вел рубрику иностранной политики, риск появления трений возникал ежедневно, однако наше сотрудничество было безоблачным. Те сотрудники «Фигаро», которые выносили мою персону хуже, чем остальные — М. Габийи или Ж. Грио, могли, убежден, упрекнуть меня лишь в том, что я был таким, каков есть.

X
РАЗДЕЛ ЕВРОПЫ

Вскоре после капитуляции Третьего рейха у меня сложилось общее представление о европейской, если не о планетарной, обстановке. Часто я изумлял моих собеседников в «Пуэн де вю», утверждая, что Германия останется разделенной по меньшей мере в течение жизни одного поколения. Двадцать лет спустя я снова с охотой держал то же самое пари. Более того, германская опасность, такая, какой французы познали ее в период между 1870 и 1945 годами, принадлежала прошлому. Когда Рейх, это серединное государство Европы, занимал первое место на континенте, он чувствовал себя в окружении и одновременно представлял угрозу, нависавшую как над его восточным соседом, так и над западным. Угроза являлась реальной, ибо невозможно было сомневаться в том, что Рейх легко справится с каждым из своих соседей по отдельности. Франции приходилось идти на союз, который уравновешивал бы германскую мощь. Но вот франко-русский союз [176], а затем великий союз англо-американцев и русских [177] сдавили Рейх, второй или третий, стальным кольцом. После 1945 года, когда у Германии отрезали территории на востоке, когда часть ее народа оказалась в подчинении у советского режима, она больше не обладала ресурсами, превосходящими ресурсы своего славянского соседа, Советского Союза, установившего господство над странами, ранее отделявшими его от Германии; тем более она отныне не превосходила по силе, как это было в 1940 году, Францию или франко-английский союз; сверх того, западный союз теперь включал Соединенные Штаты. Германия — придаток Запада — более не имела веса перед лицом гиганта Нового Света.

В краткосрочном плане, по меньшей мере в течение двух десятилетий, Западная Германия будет, вероятно, по необходимости входить, желают этого французы или не желают, в тот же лагерь, что и Франция, — в западный, или демократический, лагерь. Очевидно, французы и немцы неизбежно покорятся общей судьбе или выберут такую судьбу. Доводы рассудка сталкивались с волнениями сердца. Разве я не написал во время войны несколько статей, которые можно назвать антигерманскими, а не только лишь антигитлеровскими? Правда, их было немного. Мне принадлежат также статьи, возможно, сегодня кажущиеся смехотворными, в них предлагались меры предосторожности против «германской

опасности» былых времен. Но сразу же после Освобождения, во всяком случае сразу же после окончания войны, раздел Европы, «железный занавес», расширение Польши вплоть до линии Одер — Нейсе раз и навсегда избавили меня от картин прошлого. Благодаря уловке Разума появилась еще одна возможность воплотить в жизнь мечту моей юности — франко-германское примирение. На этот раз такую возможность не следовало упустить. Когда в первый раз после войны, в 1946 году, я снова увидел Германию, то испытал отвращение к оккупационному режиму и стыд за «ковровые бомбардировки», противоречащие законам войны, превратившие в развалины целые города, при том что военная польза от этих бомбардировок не шла ни в какое сравнение с потерями, понесенными населением.

В 1946 году я выступил с лекцией во Франкфуртском университете, окруженном обломками зданий; сам он наполовину уцелел, вокруг ютились люди, которые недоедали. Там я встретил Ханса Мейера, он тогда еще не перешел на Восток (я вновь увидел его через несколько лет, когда он возвратился на Запад). Что более всего поразило меня, так это полные ненависти взгляды, обращенные ко мне, когда на вокзале, используя привилегию оккупанта, я покупал билет на поезд, пройдя без очереди, в которой стояли немцы. Несколько лет спустя, попав в Тунис, я столь же непроизвольно проникся чувством презрения к колониальному режиму, хотя местный его вариант не относился к разряду наихудших.

Исходя из этого анализа, простого, но основательного, я систематически выступал в поддержку мер, инициативу проведения которых взяли на себя американцы и англичане, — создания бизонии, затем тризонии [178], прекращения разрушений, создания Федеративной Республики Германии, перевооружения Боннской республики, установления равенства прав. Развитие шло так, как я предвидел и как желал (причем французское Сопротивление не причинило много вреда). Тем не менее есть законные основания спросить самого себя: был ли смысл помогать этому развитию, могли ли события повернуться иначе?

Следует вспомнить концепции, которых генерал де Голль придерживался в 1945–1947 годах: французский представитель в Берлине накладывал вето на все меры по созданию единой администрации для четырех зон; в 1947 году делались публичные заявления, осуждавшие решение трех держав о создании тризонии, а затем и Федеративной Республики Германии. И тогда еще Генерал отвергал саму идею Рейха, желая образования федерации, которую составляли бы германские земли. Он цеплялся за теорию Бенвиля и Морраса, в послевоенной ситуации

представлявшуюся мне анахроничной, если не сказать больше. Генерал рассуждал, во всяком случае по видимости, как если бы Германия оставалась потенциальным нарушителем спокойствия, тогда как эту роль совершенно очевидно перенял на неопределенное время Советский Союз.

Выражение взглядов Генерала на Германию я нахожу в его выступлении на пресс-конференции 12 ноября 1947 года, проведенной в связи с речью генерала Маршалла, государственного секретаря Соединенных Штатов. Привожу важнейшие положения этого выступления: «Сегодня главной заботой для тех, кто желает строить мир в условиях, позволяющих жить и, быть может, избежать войны, является именно экономическое восстановление Европы. С этой точки зрения, в представлении Франции, то, что составляло некогда Германию, не может не войти в экономическое сотрудничество, которое предстоит построить. Совершенно очевидно, что Франция никогда не помышляла исключить немцев, руководствуясь духом мщения по отношению к ним, из европейской экономики. По это не препятствует тому, чтобы Франция после того, что неоднократно случалось с ней и что едва не привело ее к гибели, обязалась по отношению к самой себе и к другим не допустить нового превращения Германии в угрозу. Немцы должны возродиться как люди, привлеченные к общему усилию человечества во имя своего восстановления и особенно — к общему усилию Европы, но никогда они не должны вновь обрести средства, возрождающие опасность. Для того чтобы Германия не превратилась вновь в опасность, Франция предлагает практическое средство, испытанное Историей и отвечающее природе вещей: Германия не должна снова стать Рейхом, то есть унитарной державой, сосредоточенной вокруг силы и неизбежно приводящей к экспансии всеми способами. *Мы не хотим Рейха».*

Генерал рассматривал две возможности: соглашение союзников о восстановлении *единой* Германии и отсутствие такого соглашения. Но в обоих случаях отказ от Рейха оставался все тем же высшим императивом: «Если Германия должна остаться разделенной на две части, то именно в такой форме должна быть организована и Западная Германия». В чем состоит эта форма? «Будущее Германии, как мы его видим, не в Рейхе, но в Германии, восстановленной на основе немецких государств. Кроме того, мы не видим ничего неудобного в федерации этих государств, каждое из которых будет в ней пользоваться правами, некогда раздавленными Рейхом. Эта федерация, включающая „межсоюзнический контроль для избежания глупостей“, специальный контроль в Руре, а также условия поставок, в

особенности угля, прекрасно может быть будущим Германии. С государствами этой федерации Франция без каких-либо сложностей заключила бы экономические соглашения: такова природа вещей». Будут ли экономические соглашения заключаться с государствами — членами федерации или же с ней самой? Во всяком случае, Генерал призывал Францию «не оставлять залоги, которые она удерживает в своих руках», иными словами, не соглашаться на слияние трех оккупационных зон, пока сохраняется риск возрождения Рейха.

Концепция Генерала явно походит на концепцию Жака Бенвиля и «Аксьон франсез», но сама формула «никогда впредь Рейха» остается двусмысленной: если немецкие государства договорятся создать федерацию, то чем она будет отличаться от Рейха, который, несмотря на историческое звучание обозначающего его слова, в 1946 или в 1947 году предполагал всего лишь формирование единого немецкого государства?

Генерал очень серьезно относился к отказу от Рейха; так же думал Андре Мальро, говоривший мне время от времени: «они — деятели Четвертой республики — скоро все упустят». Генерал твердо стоял на своем, как свидетельствует заявление, сделанное им 9 июня 1948 года в ответ на решения Лондонской конференции относительно будущего западных оккупационных зон, иначе говоря, формирования тризонии, которая в следующем году стала Федеративной Республикой Германии.

Генерал не без основания предвидел, что и русские построят немецкое государство по своему образцу. Но соперничество между двумя немецкими государствами, как ему представлялось, будет содержать в себе смертельную угрозу для мира и для Франции:[129] «Один вопрос явится главным для Германии и для Европы: „Какой из двух Рейхов обеспечит единство“, поскольку сделано заключение и объявлено, что „единство есть будущее Германии?“ Можно представить, какое соперничество в национализме развернется на этой основе в пространстве между Берлином и Франкфуртом, какая международная атмосфера вскоре образуется в результате этого. Если толчки, опасность возникновения которых между немцами и между державами существует в силу соперничества двух Рейхов, и не приведут в скором времени к войне, то можно, по крайней мере, догадаться, какой из двух германских лагерей окажется достаточно жестким и твердым внутри, обладающим довольно мощной поддержкой извне, чтобы в конечном счете выйти победителем из игры. Можно даже вообразить, что когда-нибудь германское единство еще раз осуществится вокруг Пруссии, но теперь Пруссии тоталитарной, связанной душой и телом с Советской Россией, а

также с „народными демократиями“ Центральной Европы и Балкан, и что это единство покажется — от усталости, в силу островного положения или иллюзий англосаксов — решением, обеспечивающим „успокоение“».

В случае интеграции Рура в Германию, отсутствия гарантий по репарациям, туманных формулировок относительно продолжительности военной оккупации «Франция оказалась бы под постоянной угрозой». И несколько далее Генерал заявляет: «Мы находимся на краю пропасти». После обвинительной речи следует изложение целей: «Никогда впредь Рейха! Ибо Рейх автоматически образует движущую силу и орудие для инстинктов немцев к доминированию, тем более что могло бы возникнуть искушение соединить эти инстинкты с другими». И вновь, с еще большей силой, Генерал настаивал на идее создания немецких государств, «каждое из которых обладало бы своими учреждениями, своим характером, своим суверенитетом, могло бы устанавливать федеративные отношения с себе подобными и входить в европейское образование, где они нашли бы рамки и средства их развития…». Суверенность немецких государств и понятие федерации, как кажется, противоречат друг другу, если придерживаться обычного смысла этих слов. В заключение Генерал рекомендовал отвергнуть Лондонские соглашения и возобновить переговоры.

Я не был согласен ни с обвинением, ни с рекомендациями. Будучи убежденным в том, что раздел Германии на две части, одну — советскую, другую — западную, продолжится, требования сделать безопасной ампутированную и расчлененную Германию представлялись мне неактуальными, а по отношению к единственной Западной Германии — несколько смешными. Что же касается предсказаний о неизбежной победе Восточной Германии над Западной, то я их не принимал, и события вплоть до сегодняшнего дня их не подтверждают. Когда в 1958 году генерал де Голль вновь пришел к власти, у него достало ума забыть свои концепции, которые время оставило позади.

В 1949 году была провозглашена Федеративная Республика Германии, оккупационные власти в конечном счете одобрили ее «Основной закон» *(das Grundgesetz)*. В речах и заявлениях 1949 года генерал де Голль не отступил от своей критики и своих идей. Однако дискуссия об Атлантическом пакте отодвинула на задний план дискуссию о восстановлении Рейха. В Соединенных Штатах автор, слывший самым знаменитым среди политических комментаторов, осуждал американскую политику в Европе. Уолтер Липпман был против курса, основанного на гипотезе о двух Германиях, одной — советской, другой — американской, и

он утверждал с необыкновенной уверенностью, что немцы никогда не согласятся с разделением их территории на две части.

Сегодняшнее прочтение статей Уолтера Липпмана тридцатилетней давности, написанных весной 1949 года, — урок осмотрительности для тех, кто принимает на себя неблагодарную задачу реагировать на происходящие события и немедленно выявлять их значение, не ожидая развития их последствий.

Приведем несколько отрывков из этих статей, чтобы восстановить картину споров того времени и одновременно обозначить свою собственную позицию. В «Нью-Йорк геральд трибюн» («New York Herald Tribune») У. Липпман объявляет с некоторым интеллектуальным высокомерием, что договоренность по военным вопросам, достигнутая в Вашингтоне, равнозначна прекращению военной оккупации: «Все это показывает, что самоуправление и оккупация соотносятся как масло и вода: их нельзя смешать одно с другим. Мы не можем рассчитывать на то, чтобы Федеративная Республика Германии управляла Западной Германией, пока мы ее оккупируем. Нам следует ожидать того, что Ассамблея и партии, которым мы разрешили организовать германское правительство, положат конец оккупации и будут договариваться с Восточной Германией, если мы сами не способны достичь такой договоренности». У. Липпман шел еще дальше: военное соглашение не будет даже временным решением.

Десять дней спустя У. Липпман объявляет в том же тоне: «Фундаментальный факт, который мы предпочитаем не признавать, заключается в том, что немцы не верят в нашу концепцию западного германского государства… Если мы им навяжем это государство, они наилучшим образом используют его, прибегнут к государственной машине для уничтожения или упразднения нашего контроля и установления своих собственных условий урегулирования с Восточной Германией и с советским правительством… Если у нас нет возможности германского урегулирования при согласии четырех держав, то русские владеют другой политикой — вести переговоры об урегулировании непосредственно с немцами». В следующем месяце У. Липпман продвинулся еще дальше в своем изобретательстве. Поскольку Федеративная Республика Германии, несмотря на пророчества мастера мысли, упорно рождалась, то бесстрашный комментатор извлек из своего воображения тайные, невысказанные причины реальности, несовместимой с его представлением об этой реальности: «Парламентские прения в Бонне становятся ясными только при понимании того, что их сопровождают секретные обсуждения между Западной Германией и Восточной Германией, которая

находится в контакте с советскими представителями. Эти прения ясны лишь при отказе от идеи, что главной целью русских является распространение коммунизма, и при замене ее памятью о русско-германских союзах, которые имели место в прошлом и могут быть созданы в будущем не на основе идеологии, а на основе национального интереса». Завершим цитирование фразой из статьи от 20 мая 1949 года: «Боннская конституция решительно есть документ двусмысленный, имеющий в виду переговоры с русскими…»

Почему столь образованный, столь умный человек мог до такой степени ошибаться? Почему, желая до конца держаться за свои ошибки, он предполагал, что между Ульбрихтом и Аденауэром ведутся тайные переговоры, ведь такая возможность в те времена казалась совершенно невероятной всякому, кто хотя бы немного представлял этих двух деятелей? Думается, причина проста: Липпман отказывался видеть факты и людей, поскольку ни те, ни другие не укладывались в его глобальную концепцию истории, не согласовывались с его идеей о примате нации над идеологией. Точно так же и мы, признававшие силу идеологических уз в коммунизме, совершили сходную ошибку, идя в противоположном направлении: с опозданием ощутили советско-китайский раскол или недооценили его серьезность.

Что касается Липпмана, то его упрямство в заблуждении и до сей поры почти невозможно понять. Достаточно было побывать в Германии, чтобы избавиться от некоторых заблуждений. В 1950 году я выступал во Франкфурте перед немецкими студентами по случаю визита канцлера (об этом уже было сказано). В моей речи развивалась мысль о том, что раздел Германии неотделим от раздела самой Европы и что первый будет продолжаться столь же долго, сколько и второй. На следующий день в благожелательном отклике на эту речь газета «Франкфуртер альгемайне» («Frankfurter Allgemeine») упрекала меня в том, что я приписываю западным немцам навязчивую озабоченность, свойственную их восточным соотечественникам. Поражение было настолько полным, условия жизни — настолько трудными, что западные немцы больше думали о восстановлении своей страны, чем об объединении, возможность которого на какой-то срок исключали. Вероятно, определенное число немцев скептически отнеслось к учреждению Республики под сенью оккупационных войск. Но никто из них или почти никто не помышлял о тайных переговорах между секретарем объединенной рабочей партии Восточной Германии и канцлером Аденауэром, председателем христианско-демократической партии. Возможно, то обстоятельство, что возглавлял эту партию выходец с берегов

Рейна, мало восприимчивый к прусской традиции, облегчило формирование ФРГ, в которой доля католиков была примерно равна доле протестантов. Во всяком случае, поскольку разногласия между четырьмя державами по вопросу о Германии были налицо, что могли сделать англо-американцы, как не то, что они сделали, — построить Западную Германию? И еще сегодня, тридцать лет спустя, она остается верной Атлантическому союзу и не жертвует своей свободой ради надежды на воссоединение, хотя социал-демократы, первоначально настроенные против основания ФРГ, ныне вновь проявляют восприимчивость к искушению, идущему с Востока.

Я знаком с французскими чиновниками, принимавшими участие в переговорах с русскими в 1945–1946 годах и продолжающими верить, что разрыв не был неизбежным. Другие историки подчеркивают ответственность французов, наложивших вето на все меры, которые должны были бы реализовать принцип, определенный в Ялте и в Потсдаме, а именно: образовать в Берлине центральную администрацию для управления четырьмя оккупационными зонами. Французы наверняка облегчили задачу советских представителей; но факты не оставляют никакого сомнения. Эти представители привезли с собой немецких коммунистов, предназначавшихся для управления страной; немедленно была применена тактика свершившихся действий. Два действия такого рода приобрели политическую и символическую значимость: объединение социалистической и коммунистической партий, с одной стороны, аграрная коллективизация — с другой. Первая мера предвещала исчезновение партийного плюрализма, даже если в формально-правовом плане и на бумаге некоммунистические партии продолжали существовать; вторая мера закладывала фундамент общественного строя советского типа. Ничего подобного не произошло в советской зоне в Австрии; вот почему я всегда верил в воссоединение Австрии и никогда — в воссоединение Германии.

Именно в 1947 году французское правительство смирилось и присоединилось к англо-американской политике по отношению к Германии, приняло участие в создании тризонии и Боннской республики. По прошествии времени кажется забавным, что к этому решению Францию подтолкнул отказ Сталина удовлетворить французские требования относительно Саара, а именно — привязать угольный бассейн к французской экономике (а кого сегодня интересует Саар?) Может быть, Ж. Бидо ухватился за этот случай, чтобы вывести Францию из тупика, в который

завел ее генерал де Голль: в долгосрочном плане Франция ничего не выигрывала от того, что сковывала восстановление Германии, требуя принятия таких предупредительных и карательных мер, навязать которые она более не имела никакой возможности.

Предметами первого крупного спора послевоенных лет оказались Североатлантический пакт и нейтралитет. Два эти вопроса были связаны друг с другом, но не сливались в один. Отказ от Североатлантического пакта не включал в себя нейтралитет. Дискуссия о нейтралитете (или нейтрализме) развернулась, не без путаницы, между Этьеном Жильсоном и «Фигаро» (включая и меня), между Юбером Бёв-Мери и Пьером Бриссоном.

Пережившие послевоенное время помнят о «деле Жильсона», с которым я знаком лишь частично и в которое был вовлечен помимо собственной воли. Э. Жильсон опубликовал в «Монд» много статей. Остановлюсь на трех из них. Первая, от 25 декабря 1948 года, называлась «Праведный народ» («Un peuple just»); вторая, от 2 марта 1949 года, — «Альтернатива» («L'alternative»); и третья, от 6–7 марта 1949 года, — «Экивок» («L'équivoque»). В первой статье автор резко критиковал американскую прессу, то, как она обходилась с Францией. Американцам нравится прикрывать моральными доводами свои решения, принимаемые по соображениям целесообразности. Например, относительно Китая: «И сегодня только еще больший курьез — это газеты и журналы, подвергающие Китай моральной казни и доказывающие, что справедливо будет предоставить этим варварам возможность воевать с другими варварами. Не довольствуются заявлениями о том, что это дело гиблое, желают доказать, что это дело дурное. Не ограничиваются утверждениями, которые было бы так легко сделать, что дело уже не спасти, тщатся доказать, что дело не заслуживает спасения, в особенности, как это случается, если чувствуют некую причастность к тому состоянию, в котором данное дело оказалось». Подобные комментарии были бы уместными в последней фазе вьетнамской войны.

Э. Жильсон обнаруживал в американской прессе первые признаки подобного «оставления» Франции или Европы. «Нас могли бы бросить потому, что от нас нет пользы, но поскольку нам начинают доказывать, что мы виноваты, то это явный признак того, что нас готовятся бросить». В заключение и этот философ говорил о горечи, сохранившейся в памяти французов: «В 1914-м, в 1939-м мы были на передовой линии. Мы при этом настолько развращены, что не желаем вновь оказаться под ударом, как в 1939-м; если завтра разразится мировая

американская война, то в самых первых рядах авангарда окажутся, очевидно, не французы, не англичане и тем более не немцы. Наступит очередь Соединенных Штатов».

Горестные воспоминания и заключительные выводы совершенно понятны, но на стороне Соединенных Штатов география, которой они обязаны природе, а не хитрости или эгоизму. Они не несут ответственности и за войну 1914 года: европейцы сами устремились в эту войну, исход которой определили Соединенные Штаты своим вмешательством, но в которой ни политически, ни морально они не были обязаны участвовать. Следует ли упрекать их за то, что они пришли так поздно, или следует вспомнить о том, что без них мы проиграли бы войну? В 1939 году Гитлер не угрожал Соединенным Штатам так, как он угрожал Франции и Великобритании. Никто не подставлял нас под «удар 1939 года». В 1949 году вопрос стоял так же, как и тогда: нависает ли советская угроза прежде всего над европейцами или прежде всего над Соединенными Штатами?

Вторая статья была посвящена собственно Атлантическому пакту и четко формулировала возражение, к которому прибегали все противники договора: Соединенные Штаты выполняют свои обязательства, но не выходят за рамки этих обязательств. Для того чтобы статьи пакта одобрил американский Сенат, они изложены достаточно туманно и, очевидно, не будут иметь никакого веса ни сами по себе, ни для Советского Союза. «Когда г-н Ванденберг, проявляя опасную наивность, уверяет, что простое формальное признание „общности интересов в случае вооруженного нападения на атлантическое сообщество“ было бы ценной гарантией против войны, то он заблуждается, если верит, что русские не поймут смысл этой статьи так же хорошо, как и мы».

Отсюда — вывод: «У нас нет другого выбора, кроме получения обязательства, отнюдь не морального, но военного, от Соединенных Штатов, со всеми уточнениями, которые такое обязательство требует; или же — если Соединенные Штаты откажутся сражаться в Европе, что они вправе сделать — нашего отказа жертвовать собой ради Соединенных Штатов, и мы имеем на это право». Через год после подписания пакта моральное обязательство превратилось в военное обязательство благодаря созданию НАТО. Во всяком случае, выражение Жильсона «Соединенные Штаты покупают нашу кровь за доллары» мне показалось чудовищным. Европа чувствовала, справедливо или несправедливо, что ей угрожает Советский Союз; именно она просила заступничества Соединенных Штатов. Достаточно ли было разорвать связи с Соединенными Штатами, чтобы

обеспечить нашу безопасность?

В третьей статье, от 6–7 марта 1949 года, автор обращался непосредственно к содержанию текста договора. Американский Сенат не желает, чтобы этот договор вынуждал Соединенные Штаты прибегать к военной силе в ответ на вооруженную агрессию в Североатлантическом регионе. Жильсон повторял центральную идею, присутствовавшую почти во всех устных и письменных выступлениях государственных деятелей или комментаторов: мы не хотим третьего нашествия на Запад, «по сравнению с которым два предыдущих показались бы увеселительными прогулками».

Разумеется, Юбер Бёв-Мери в гораздо большей степени, чем Этьен Жильсон, символизировал доктрину нейтралитета или — что, пожалуй, точнее — несогласие с Атлантическим пактом, а в более общем плане несогласие с присоединением Франции к англо-американскому блоку. Наш спор своими корнями уходит ко времени окончания войны. Знакомство с формами советской оккупации в Восточной Европе, включая германскую зону, сразу же убедило меня в том, что советские войска останутся на демаркационной линии, если только не будут оттуда отброшены (что мне представлялось маловероятным). Ю. Бёв-Мери сразу же после разгрома Третьего рейха стал опасаться того, что я сам предсказывал, а именно: каждая из двух великих держав подчинит себе одну из частей Германии. Еще до окончания военных действий в Европе статьи Ю. Бёв-Мери, написанные во время оккупации и собранные позже в книге «Политические размышления. 1932–1952» («Reflexions politiques 1932–1952»), позволили увидеть философию, вдохновившую действия дипломатов.

В этом сборнике находим доклад, составленный не самим Юбером Бёв-Мери, но одним из его друзей, который совершал поездки из оккупированной Франции в Алжир и обратно. Приведу следующие строки из названного доклада: «Американцы представляют настоящую опасность для Франции. Эта опасность весьма отличается от той, которая идет со стороны Германии, или той, которая могла бы, эвентуально, идти со стороны русских. Она имеет экономический и моральный характер. Американцы способны помешать нам совершить необходимую революцию, а их национализм не обладает даже трагическим величием тоталитарного материализма. Хотя они и сохраняют настоящий культ идеи свободы, но не испытывают ни малейшей потребности освободиться от принуждений, проистекающих от их капитализма. Как кажется, чрезмерная тяга к благополучию привела к тревожному ослаблению их жизненной мощи». Юбер

Бёв-Мери так прокомментировал доклад: «Мне нечего добавить к этому свидетельству, позволяющему обнаружить подобные водяным знакам очертания будущей политики: необходимость внутренней революции, которая сливается с приемлемыми элементами националистической революции и коммунистической революции; необходимость широких международных организаций федеративного типа, создающих условия для свободного развития каждой группы; трудный путь, усеянный ловушками и разочарованиями всякого рода, к еще большей свободе и в то же время к еще большему единству; медленное появление гуманизма XX века». Эта концепция, вдохновленная христианско-демократическими воззрениями, близкая к концепции журнала «Эспри», имевшая скорее идеологический, чем исторический характер, обрекала директора газеты «Монд» на почти постоянное пребывание в оппозиции, ибо ход событий оказался совершенно другим: раздел Германии приводил к разделу Европы и лишал силы идею нейтралитета.

Начиная с 19 октября 1945 года, Ю. Бёв-Мери совершенно ясно формулировал в еженедельнике «Тан презан» («Temps présent») цель, которую он ставил перед Францией и, если можно так выразиться, перед Европой: «Создание западного союза, по своей значимости сравнимого с Соединенными Штатами и с Советским Союзом, пространственно, экономически, политически находящегося на равном расстоянии от этих двух мощных партнеров, — вот ставка, представляющаяся в нормальных условиях логичной, желанной и выгодной для всех. *При одном*, однако, *условии:* чтобы новая организация была одинаково независима как от Вашингтона, так и от Москвы». Ю. Бёв-Мери выдвинул три главных возражения против Атлантического союза, постепенное формирование которого вскоре началось на его глазах. Во-первых, ему не нравились Соединенные Штаты и их экономический строй, в особенности «противоречия и беспомощность либерального капитализма, которые в конечном счете опротивели определенным элементам, многочисленным в Европе». Во-вторых, он опасался за единство Франции в случае выбора в пользу одного из лагерей. «Разделение Европы подвергает Францию риску внутреннего разрыва, фактически исключающего подлинное восстановление в любой форме». Франция не может и не должна выбирать американский капитализм, изъяны которого ей очевидны и который в будущем несомненно ждут неудачи, ухудшившие самочувствие европейского капитализма. Наконец, Ю. Бёв-Мери полагал, что присоединение Франции к одному из лагерей усилило бы опасность войны. «Возможно, Европа в конечном счете окажется

неспособной помешать войне, но Европа почти полностью уверена в том, что она ускорит развязывание этой войны, если позволит увлечь себя в один или в другой лагерь»[130].

Уже в 1948 году Ю. Бёв-Мери расстался со своими иллюзиями: «У Европы мало шансов остаться действительно европейской. И напротив, у нее много шансов быстро американизироваться благодаря, конечно, американцам, их активности, их богатству, их мощи, но так же и в еще большей степени благодаря тому, что европейцы столь часто торопятся добиваться того, против чего должны были бы и могли бы бороться…» И немного ниже: «Свободы, которыми награждает доллар, драгоценны… Религии, история, вкус к благосостоянию и вкус к свободе толкают к Америке Запад, находящийся под угрозой…» В конечном счете, раз уж приходилось делать выбор, директор «Монд» выбирал Запад, хотя аллергия по отношению к Соединенным Штатам побудила его критиковать гнусности американского капитализма, может быть, чаще, чем зверства советского тоталитаризма. Ю. Бёв-Мери считал допустимым называть «профессиональными антикоммунистами» тех, кто напоминал о преступлениях Сталина, которые Хрущев в свой черед разоблачил несколькими годами позднее.

В 1949 году события развернулись в направлении, противоположном концепциям Ю. Бёв-Мери. Нейтралитет Европы кажется невозможным. Тем не менее идея его проскальзывает то здесь, то там в статьях об Атлантическом пакте, подписанном в день первой годовщины плана Маршалла. Ю. Бёв-Мери считал Атлантический пакт одновременно провокационным по отношению к Советскому Союзу и двусмысленным по своим формулировкам, поскольку он не гарантировал немедленного вмешательства американских Вооруженных сил в Европе: «Что касается Атлантического пакта, то он также был ошибкой. Отрицать, что он должен быстро привести к германскому перевооружению и сразу же сильно раздражить русских, предоставляя им в то же время прекрасную почву для пропаганды, — значит поистине не признавать очевидности» (13 декабря 1949 года).

Я многократно возражал Э. Жильсону и Ю. Бёв-Мери, но в целом — в духе честной дискуссии, без полемических крайностей. Мои ответы содержались первоначально в статьях «Фигаро» (21.12.1948; 21.02.1949; 23.02.1949; 21.03.1949; 17.02.1950), а затем — журнала «Либерте д'Эспри» («Liberté de l'Esprit») (апрель 1949 года и сентябрь 1950 года).

Вначале, в 1948 и 1949 годах, я плохо понимал, почему разгорелись страсти вокруг Атлантического пакта. Еще менее я

понял враждебность по отношению к плану Маршалла, по крайней мере со стороны тех французов, которые не испытывали никаких симпатий к сталинизму. Поэтому в период до подписания договора я попытался умалить его значение, исходя не из стратегических выкладок, а по убеждению: «В ближайшем будущем ситуация существенно не изменится. Никто не был в неведении, особенно в Москве, относительно того, что вооруженная агрессия против Западной Европы вызвала бы военное вмешательство Соединенных Штатов; наличие американских военных контингентов в Германии само по себе было бы его гарантией». Я напоминал об ошибке, допущенной американцами после победы, — немедленном разоружении. План Маршалла способствовал возрождению Западной Европы, ускорял его; Североатлантический пакт призван был выполнять аналогичную функцию — позволить ограниченное перевооружение в Западной Европе, имея в виду переговоры с Советским Союзом. Я не советовал идти на «неограниченное» перевооружение: «Не следует загонять в угол пророков победоносной религии, властителей обширной империи, но не следует и искушать их слабостью». Статью заключала формула, которая сегодня удивляет: «У Атлантического пакта, как и у плана Маршалла, нет другой конечной цели, кроме как сделаться бесполезными». После трех лет реализации план Маршалла сделался бесполезным. Более тридцати лет спустя Атлантический пакт продолжает жить, он ослабел, но он необходим.

Статья Э. Жильсона, содержание которой выше было кратко изложено, вызвала в 1949 году одну из тех больших дискуссий, на которые французы по-прежнему падки. Я попытался разумно обосновать свои собственные мнения в статье для журнала «Либерте д'Эспри», которую его редакторы-голлисты не сразу решились напечатать и которую Генерал, прочитав, одобрил, по крайней мере частично.

Помог ли я благодаря этой статье убедить генерала де Голля не выступать против Атлантического пакта? Возможно, если держаться того, что рассказывает Клод Мориак в своей книге «Другой де Голль. Дневник 1944–1954 гг.» («Un autre De Gaulle, journal 1944–1954»).

17 марта 1949 года Клод Мориак говорит Генералу о «статье, посланной мне Раймоном Ароном для третьего номера, об Атлантическом пакте, суть которой я ему в нескольких словах объясняю, ибо опасаюсь того, что она, как кажется, противоречит его политике и политике РПФ. Речь идет о довольно резкой критике двух статей Этьена Жильсона, обвинявшего американцев в том, что те хотят купить за доллары французскую кровь. Он

ставил в упрек Атлантическому пакту то, что в нем не содержится никаких гарантий для французов относительно момента и места американского вмешательства в случае русского вторжения в Западную Европу».

«Но совершенно очевидно, что прав г-н Жильсон, — восклицает Генерал, — надо хорошо понять следующее: дело в том, что Америка — это страна изоляционистская по той простой причине, что представляет собой остров. Она никогда не чувствовала себя солидарной с Европой, от которой, право же, она действительно отделена обширным водным пространством. В войне 1914 года, как и в войне 1939 года, американцы выступили отнюдь не потому, что Парижу угрожала опасность или что он был оккупирован. Если бы Лондон был захвачен в 1940 году, то конечно же Америка бы об этом сожалела, как, очевидно, будет сожалеть, если на сей раз Париж займут советские войска, но она решилась бы на войну отнюдь не для того, чтобы вызволить Лондон или Париж. Она ждала бы своего часа не поспешая. Точно так же и в Атлантическом пакте — они совершенно умышленно умалчивают о том, где и когда выступили бы американские армии. Суть вопроса в том, что американцы, обладая сегодняшним оружием, считают излишним утруждать себя передвижениями и полагают, что сравнительно спокойно будут воевать, не покидая своего дома, благодаря своим летающим крепостям, своим ракетам и т. д. Занятие Парижа и Франции Советами, конечно, показалось бы им событием прискорбным, но не оправдывающим само по себе высадку американских войск».

По прошествии нескольких дней Клод Мориак был убежден в том, что Генерал выскажет ему самые категорические возражения «относительно уместности публикации текста в „Либерте д'Эспри“ в настоящей форме. Поэтому меня удивили слова, которыми Генерал начал разговор: „А ведь она совсем не так плоха, эта статья“.

На самом деле Генерал за несколько дней, как кажется, коренным образом изменил свое понимание Атлантического пакта.

Когда он объявил мне, что сейчас объяснит, в чем заключается вопрос, то я сказал себе: он, очевидно, забыл, что самым подробным образом излагал мне свою точку зрения, и сейчас я услышу примерно ту же самую речь. Но этого отнюдь не произошло.

Несомненно, и Раймон Арон правильно сделал ударение на пункте, что этот пакт, даже при отсутствии точного обязательства, по своей природе таков, что заставит Сталина задуматься. Не говорю, что отныне есть уверенность в том, что он

не совершит нападения, но в конце концов он теперь знает, что в случае захвата Западной Европы получит войну. И мы можем быть уверены в том, что если бы подобный пакт существовал в 1939 году, то Гитлер, вероятно, не бросился бы в польскую авантюру. Разумеется, было бы желательно со стороны Арона подчеркнуть тот факт, что существование сильной Франции еще более снизило бы риск войны. В интересах [премьера] Кэя и его команды заставить нас думать, что пакт в нынешней его форме совершенно достаточен. Тем не менее наличие такого пакта лучше, чем полное его отсутствие, и здесь Раймон Арон очень правильно поступил, выявив слабость аргументации Жильсона».

Генерал завершил разговор словами: «Теперь вы знаете, что я думаю о вопросе. Естественно, вы вольны либо напечатать, либо не напечатать статью, но мне не хотелось бы создавать у Раймона Арона впечатление, что я осуждаю его позицию».

Генерал не хотел выглядеть в моих глазах как цензор. Он не желал, чтобы мою статью отклонили из-за ее несоответствия его позиции. Но надо добавить, что его первая тирада против Атлантического пакта и американского изоляционизма была настолько далека от действительности, что он, очевидно, не стал бы держаться за эти глупости, если бы ему были приведены возражения, опирающиеся на здравый смысл. Во всяком случае, генерал де Голль принял Атлантический пакт, хотя в то же время выражал неудовольствие по поводу его текста. Через десять лет он совершенно иначе оценивал редактуру этого текста.

Спор мне казался обоснованным, ибо, как сказал Ю. Бёв-Мери на одной из конференций в 1951 году, люди, в глубине своей близкие друг другу, могут расходиться во взглядах относительно наилучших способов достижения их общих целей. «Если говорить об антикоммунистах, то они склонны одобрять пакт просто потому, что коммунисты его осуждают. Поэтому прекрасно, что католический философ своей громкой статьей открыл истинную дискуссию. Я ни по одному пункту не согласен с господином Жильсоном, некоторые из его выражений мне кажутся безрассудными. Но, несмотря на все это, я рад, что у писателя достало мужества нарушить заговор молчания, публично выразить свое беспокойство и свои сомнения».

Одно из основных возражений Э. Жильсона, как было отмечено выше, касалось текста договора. На его взгляд, положения его не являлись достаточно точными, достаточно обязывающими Соединенные Штаты. (Генерал де Голль высказал критические замечания того же рода.) В ответ я ставил под сомнение значимость того, насколько точно сформулированы обязательства договаривающихся сторон. До тех пор пока

гарнизоны американских войск останутся в Германии, гарантия будет, очевидно, зависеть от этого факта больше, чем от текстов. Вероятно, Атлантический пакт не изменит образа действий ни американской, ни советской стороны. «Мне лично представляется, что Североатлантический пакт не окажет сколько-нибудь заметного воздействия на существующую обстановку. Западная Европа завтра, как и сегодня, останется под защитой американской мощи. Атлантический пакт не научит Сталина ничему, чего бы он уже не знал, а именно: вооруженная агрессия против Старого Света создала бы, по всей вероятности, *casus belli.* Чем более четко будут прописаны обязательства о взаимопомощи, чем яснее в них будет оговорен автоматизм вмешательства, тем более сильное впечатление они окажут на кремлевских реалистов; мы охотно сделаем эту уступку тезису господина Жильсона, но главное — не здесь, и его невозможно было бы выразить в текстах. Американское присутствие, которое символизируют несколько военных контингентов в Германии, индустриальная и атомная мощь за горизонтом — вот на сей час гарантия французской безопасности. Эта безопасность сохранится и завтра в той мере, в какой здесь, на месте, по-прежнему будет очевидно американское присутствие, а там, на другой стороне Атлантики, потенциальные силы окажутся более мощными, чем силы вероятного агрессора».

При этом я признавал, что Атлантический пакт не гарантировал защиты против вторжения в случае войны. Но какая другая политика обеспечила бы нам такую гарантию? Жильсон говорил о вооруженном нейтралитете; но Западная Европа не была вооружена, и она еще менее была бы способна себя вооружить, если бы отказалась от помощи Соединенных Штатов. Она не вызывала гнев и враждебность со стороны Советского Союза потому, что связывала себя с Соединенными Штатами Атлантическим пактом. Она не нравилась Кремлю потому, что к ней обращались взоры стран Востока, советизированных в тени так называемой Красной Армии.

Год спустя, в сентябре 1950-го, я вновь вступил в диалог, который на этот раз оказался менее любезным по тону, ибо и противники Атлантического пакта нас не щадили. Два аргумента доминировали в статье, названной «Самозванство нейтралитета»[131] («Imposture de la neutralité»). Первый состоял в том, что то в*и*дение мира, которое предлагали сторонники нейтралитета, следует заменить другим представлением: «Советский Союз сосредоточивает свою пропаганду против Соединенных Штатов, ибо в его глазах эта страна представляется главным врагом. Если Соединенные Штаты были бы повержены,

то на пути к мировому господству не оказалось бы более никаких препятствий. Но советские амбиции направлены в равной мере, а в настоящий момент и гораздо более на Германию, Францию или Италию. И когда агенты сталинизма, сознательные или бессознательные, уверяют нас в том, что враждебность Кремля, проявляемая по отношению к Франции или Италии, исчезнет или ослабнет, как только эти страны порвут с Атлантическим пактом, то эти люди лгут. Сталин осуждает план Маршалла, Атлантический пакт, все формы солидарности между Старым и Новым Светом потому, что видит в них не угрозу или провокацию, но сопротивление своим завоевательным предприятиям. И напротив, если Соединенные Штаты потеряют интерес к Европе, если последняя, расколовшись и обессилев, останется в одиночестве перед лицом советского империализма, приблизится тот миг, когда ее окончательно погубят вражеское проникновение, отчаяние и шантаж».

Второй довод был построен на сравнении двух великих держав: «Начинают с лубочной картинки двух великанов, противостоящих один другому, затем переходят к сравнениям двух варварских стран, двух видов материализма. Третья сила, Европа, становится очагом культуры, которому в одинаковой степени угрожают НКВД и Кока-Кола… Запад не является для нас Ангелом Света, сражающимся против демона Тьмы… Когда я, как французский интеллектуал, заявляю о своей солидарности с борьбой Соединенных Штатов против сталинского предприятия, то не думаю, что тем самым оправдываю все черты американской цивилизации. По другую же сторону Сталина превращают в божество. Слава Богу, у каждого из нас сохраняется право высказывать свое мнение относительно гениальности Трумэна».

Оставим эти дискуссии, которые, к сожалению, не во всем утратили актуальность. Какими чувствами были движимы Э. Жильсон, Ю. Бёв-Мери? У первого я уловил сильное, законное и понятное чувство — возмущение несправедливостью судьбы: от одной войны к другой Соединенные Штаты крепнут, европейцы же слабеют. Франция вынесла самое тяжелое бремя в 1914–1918 годах, Великобритания — в 1939-м — 1945-м, очередь Соединенных Штатов вести Третью войну, если ей суждено будет вспыхнуть. Вплоть до настоящего времени желания Э. Жильсона исполнялись. Среди западных государств именно Американская республика потратила на нужды национальной обороны наибольшую долю своего национального продукта, именно она сражалась в Корее и во Вьетнаме. И именно ей пришлось бы также играть первую роль в гипотетической великой войне. Чего люди не в состоянии изменить, так это географию. В 1949 или в 1950

году Европа, находившаяся рядом с советской империей, испытывала, как казалось, наибольшую угрозу, неизбежно была бы захвачена в случае вооруженного конфликта. Жильсон воображал, что заговаривает судьбу, требуя черным по белому затвердить американское обязательство, которое не оставляло бы какого-либо сомнения. Однако каким бы ни было обязательство, оно не обеспечивало действенной защиты от Советской армии. Не лучшей защитой представлялся нейтралитет.

Другое чувство, обнаруживавшееся в статьях Бёв-Мери, которые я цитировал, можно было бы определить если не как антиамериканизм, то по меньшей мере как неприязнь к американскому обществу — такому, каким он это общество себе воображал, не зная его. Этот христианский демократ, долго работавший в Центральной Европе, ощетинивался при мысли о торгашеской цивилизации, которую символизировала и распространяла Американская республика.

Что же остается от споров об Атлантическом альянсе? Никто не вспоминает о ярости, с которой положения этого договора разбирали, ставили под вопрос, критиковали за то, что он не содержал достаточно точных обязательств. Может быть, голлисты могли бы признать наличие у меня какого-то дара предвидения, когда я написал 23 мая 1949 года следующие строки: «Жесткая формулировка ничего не дала бы нам дополнительно в ближайшем будущем, не оградила бы нас и от непредсказуемых и невероятных поворотов в общественном мнении в Соединенных Штатах. Более того, отсутствие автоматизма может при определенных обстоятельствах предоставить нам время на размышления и на выбор тактики». После того как Франция вышла из НАТО [179], она поздравляет себя с тем, что текст договора не отвечал всем тем требованиям, которые предъявлял к нему генерал де Голль в то время.

В моих печатных выступлениях я не нашел полемики, обращенной против Ю. Бёв-Мери. Впрочем, в материалах, вошедших в его сборник «Политические размышления» («Réflexions politiques»), я не обнаружил той удивительной страсти, которая вдохновляла перо Этьена Жильсона. Так, в статье от 25 июня 1949 года читаю: «Таким образом, легитимность Атлантического пакта является менее спорной, чем его своевременность, его формы и, во всяком случае, та шумиха и те промахи, которые он вызвал». Он признает, что «восточный пакт существует уже давно», и опасается того, что Атлантический пакт может выглядеть как провокация. Почему же в таком случае не приложить усилия для просвещения честных людей? Через несколько строк Бёв-Мери пишет: «А пока, как при наличии, так и

при отсутствии пакта, самой надежной гарантией мира остается воля европейцев не позволять более „сталинизировать“ себя посредством уговоров, равно как угроза, которую представляет для возможного агрессора мощь Соединенных Штатов». Невозможно было бы сказать лучше, и в «Фигаро» я не писал ничего другого. В конце концов, Атлантический пакт выражал то, что в ближайшем будущем стало само собой разумеющимся. Он узаконивал американское присутствие в Европе и предвещал длительность этого присутствия.

Выступая 8 мая 1951 года, Бёв-Мери анализировал активный нейтралитет и атлантизм в таких понятиях, благодаря которым обе установки необыкновенным образом сближались. Например: «Америка должна знать, что она пропадет через более или менее короткий промежуток времени, если Европа будет принесена в жертву. Европа должна знать, что Америка была в течение шести лет и остается поныне ее главной и почти единственной защитой от вторжения. И спор между ними следует вести не о цели, которая во многом является общей, а о распределении задач и о выборе средств. С этой точки зрения можно полагать, что лучше было бы не подписывать Атлантический пакт в том виде, в котором он был замыслен и разработан. Сегодня этот пакт существует, он начал действовать, и выход из него наверняка мог бы еще увеличить беспорядок и послужить возможному агрессору. Но для европейцев не должно быть делом невозможным сохранить при наличии Атлантического пакта главное в их образе действий, каким он был бы при отсутствии этого пакта». Таким образом, альянс был принят и он не исключал усилий европейцев во имя их объединения и утверждения их собственной культуры. «Атлантисты, которые стремятся максимально развивать Атлантический союз, ссылаясь на его эффективность, и не обходят вопрос о доле в нем жертв, близки к сторонникам активного нейтралитета, делающим упор на европейский партикуляризм».

На статьи Э. Жильсона я отвечал учтиво, может быть с излишней живостью, но никоим образом не ставя под сомнение саму его личность и сами его намерения. Много месяцев спустя вспыхнуло «дело Жильсона». Во время моего пребывания в Соединенных Штатах (осенью 1950 года) я получил от Вальдемара Гуриана, профессора университета Нотр-Дам (католического), письмо, в котором он выражал мне свое сожаление в связи с невозможностью моего выступления с обещанной лекцией. И добавлял: «Этьен Жильсон, находящийся в данный момент в университете Нотр-Дам, рассказал, что *вы являетесь платным агентом Соединенных Штатов.* Имеются

свидетели, которые подтвердят вам это обвинение…» Письмо меня более удивило, чем взволновало. Сам В. Гуриан этих слов не слышал, а в атмосфере «холодной войны» все формы полемики становились возможными. К тому же кончина моей маленькой Эммануэль, случившаяся через несколько недель, свела к истинным размерам эти споры интеллектуалов.

В номере «Фигаро литтерер» от 27 января 1951 года было опубликовано открытое письмо Этьену Жильсону того же самого Вальдемара Гуриана. Последний упрекал Жильсона за то, что он «распространял мрачное евангелие пораженчества», «самым категорическим образом обвинял одного из хорошо известных французских писателей и ученых, относящегося к числу самых уважаемых, в том, что тот находился на содержании у американцев… Я знаю точно, что ваши усилия не имеют целью облегчение коммунистической экспансии. Просто вы считаете ее неизбежной из-за существующей расстановки сил. Но ваши утверждения относительно недостаточности американской помощи и мрачного будущего, уготованного Европе, ваше предсказание о том, что Франция не будет сражаться, все это может лишь служить делу мирового коммунизма, даже против вашей воли…» Поскольку Этьен Жильсон между тем оставил Коллеж де Франс, чтобы посвятить свои силы Институту исследований средневековой философии в Торонто, которым он руководил, то его обвинили в бегстве из Франции с целью обеспечить себе безопасность по другую сторону Атлантики. Собрание профессоров отказало Жильсону в почетном звании, обычно присваиваемом автоматически после выхода в отставку.

Ответ Э. Жильсона содержался в его письме, опубликованном в «Фигаро литтерер» 17 февраля 1951 года. Он указывал на ряд ошибок своего обвинителя. Его лекции в университете Нотр-Дам были посвящены Дунсу Скоту, а не современной политике. У него не было никаких публичных выступлений, ни письменных, ни устных, по вопросу о «нейтрализме», и он заявлял, что оказался жертвой клеветнической кампании, пищу для которой дали «существующие в Соединенных Штатах некоторые круги, злобные, но, к счастью, узкие, выступающие против всякого сколько-нибудь известного католика, если тот не считает войну против России священным долгом, в строго религиозном понимании слова. Поскольку „на то воля Господа“, то чем больше политика делает войну неизбежной, тем более она является христианской». Наконец, Жильсон уточнял идеи, которым следовал в 1949–1950 годах: «…[он] думает в глубине души, что *можно было бы* в какой-то определенный момент поднять Францию и даже обеспечить ее перевооружение, не привязывая

Францию к внешней политике, еще не сообразной с ее средствами и могущей однажды ввергнуть страну в войну, для которой она не готова…»

Между В. Гурианом и Э. Жильсоном продолжилась полемика относительно высказываний, которые последний якобы сделал в частном кругу, причем сам обвинитель этих высказываний не слышал. Он ссылался на коллег, передавших ему содержание разговоров. Главный свидетель, Ж. Корбет, не опроверг в основном толкование высказываний, но резко осудил приемы В. Гуриана, виновного в том, что против Э. Жильсона была развязана публичная кампания в связи с суждениями, высказанными в кругу друзей («Фигаро литтерер», 21 апреля 1951 года). Председатель Института средневековых исследований Университета Нотр-Дам безоговорочно встал на сторону Э. Жильсона против В. Гуриана.

Полемику завершили письмо Э. Жильсона в газету «Монд» (22.02. 1951) и заключительный его ответ 8 мая 1951 года на реплику В. Гуриана 4–5 марта 1951 года. В этом споре между католиками я не принимал и никогда не хотел принимать какого-либо участия. Не было ли открытое письмо В. Гуриана, перепечатанное в «Фигаро литтерер», вдохновлено группой католиков-«милитаристов», которых затем призвала к порядку иерархия? Мне об этом ничего не известно. Поступил ли В. Гуриан неправильно, придав разговорам в дружеском кругу звучание, не сообразное с их значимостью? Бесспорно.

Покинул ли Э. Жильсон Коллеж де Франс потому, что опасался предстоящей войны и ожидал новой оккупации? Я ничего об этом не знаю, и никто не в состоянии этого утверждать, поскольку он имел право выбирать между двумя местами преподавательской деятельности, одним — в Коллеж де Франс, другим — в университете Торонто, и предпочесть последнее.

Добавлю ко всему этому, что для друзей, близких Жильсону и мне, не являлись секретом мрачный пессимизм философа и слова, сказанные им — в шутку или всерьез. Он предвещал, что скоро появятся советские танки, что они не встретят никакого серьезного сопротивления во Франции, что американцы еще раз оставят ее на произвол судьбы; может быть, потом они ее освободят, но что останется от Франции, если ее элиты сильно поредеют? Короче говоря, он, как и немало других людей, поверил в войну в той почти панической атмосфере, которую создала корейская кампания. Впрочем, он перестал защищать нейтралитет (слово «нейтрализм» им отвергалось), начиная с августа 1950 года, рассудив, что игра сделана и что атлантизм возобладал; в своем первом письме в «Фигаро литтерер» Жильсон

говорил о политике, «которая может со дня на день погрузить нас в пучину войны».

Что же касается обвинений, якобы брошенных мне, то я с трудом в них верю. Мы редко общались, но оба входили в узкую корпорацию преподавателей философии: даже в случае политического несогласия мы не переставали следовать правилам вежливости и ведения спора. Жильсон присутствовал на дискуссии между Морисом Шуманом и мной, происходившей в 1945 году у доминиканцев на улице Тур-Мобур; он посчитал, что прав был я, и меня похвалил. Спустя много лет, после кризиса нейтралитета, он неожиданно сказал мне, что берет в руки «Фигаро» лишь затем, чтобы читать мои статьи. В. Гуриан поступил легкомысленно, сообщив о высказываниях, которых сам он не слышал и которые Жильсон всегда опровергал.

Я нашел письмо, которое послал мне 15 июля 1950 года Александр Койре; он держался в стороне от любой политики, испытывал чувства уважения и восхищения по отношению к несравненному историку средневековой философии. «Я пишу вам, прежде всего, чтобы поздравить вас за то, что вы выступили против пораженческой пропаганды „Монд“ и нашего мэтра Жильсона, призывающего нас, в общем, не сопротивляться и сдаться без лишних слов — или с почетом — Сталину. Полагаю даже, что вам следовало бы отвечать гораздо более резко и продырявить этот нелепый воздушный шар нейтрализма. Не буду оскорблять Жильсона, считая, что он способен хотя бы на миг допустить возможность вооруженной нейтрализации „одинокой Франции“. Что же касается разоруженного „нейтралитета“, то, думаю, господа из „Монд“ прекрасно понимают, что это может значить: оккупацию и русификацию. Или германизацию, если операция была бы поручена Германской народной республике[132]. Если они считают оккупацию в любом случае неизбежной, а посему оккупацию без войны предпочтительнее оккупации после войны, то пусть об этом скажут. Впрочем, Жильсон это и говорит — политика нашей армии может заключаться лишь в капитуляции. Он имеет право так думать. У всякого человека есть право покончить с собой, и у всякой страны есть право на отречение от своей независимости и от своего существования — возможно, Франция дошла до такого. Но пусть они объявят об этом открыто. Превратились ли Жильсон и „Монд“ в христианских прогрессистов?» Я привожу это письмо, чтобы читатели, для которых «холодная война» — достояние Истории, ощутили атмосферу тех смятенных лет.

В одном из писем Андре Мальро того же времени (июль 1950 года) читаю: «Бенвиль прав, *но* эта правота не распространяется

сегодня на всех, и имеются люди, которые думают (вы и я, к примеру), что симптомы агонии отнюдь не малочисленны. Удивительная страна, достаточно верящая в войну, чтобы делать запасы сардин (это главное занятие находящихся здесь парижан[133]), но недостаточно, чтобы заняться обороной. Ваши статьи о текущей обстановке — та, что начинается с упоминания о Черчилле, и следующая — были превосходными. Надеюсь, что вас осыпают бранью».

Дискуссия об Атлантическом пакте приняла иной оборот и пошла в другом тоне начиная с июня 1950 года, когда разразилась война в Корее. Возможно, пакт в любом случае повлек бы за собой перевооружение Западной Германии; горячая война в Азии по меньшей мере сократила разрыв между восстановлением и перевооружением бывшего врага. Рамки дипломатической дискуссии расширились, она включила теперь мировую политику Соединенных Штатов, отношения между Азией и Европой.

Еще до того как стало известно решение президента Трумэна, я выступил за военную интервенцию Соединенных Штатов в Корее, причем даже за интервенцию немедленную. В своем обычном стиле я сначала перечислил аргументы против этого: «Скажут, что войска Северной Кореи наступают не на соседнюю страну, а на другую часть той же самой страны». Я не вставал в позу защитника Республики Юга, хотя там были проведены свободные выборы. «Возможно, режим Ли Сынмана является „реакционным“, но режим канцлера Аденауэра получает от восточных немцев такую же похвалу или такие же оскорбления, всякий антикоммунистический режим имеет право на подобные нападки. При всем том речь идет не о процессе в суде всемирной совести[134], обязанном оценить все достоинства и провинности обоих корейских государств, но об испытании силой».

Я не отрицал, что Южную Корею стало трудно защищать, начиная с того дня, когда коммунисты завладели Запретным городом 180 в Пекине, но политические резоны спасать Южную Корею мне представлялись настоятельными: «Если бы Южная Корея за несколько дней оказалась оккупированной, а американские власти не вмешались бы или ограничились принятием пустых решений в Совете Безопасности, то Соединенные Штаты окончательно потеряли бы свое лицо. Убеждение в том, что сила находится на другой стороне, уже столь распространенное на Дальнем Востоке, станет в таком случае всеобщим». Я был далек от недооценки серьезности выбора: «…или вмешаться в гражданскую войну в далекой стране,

находящейся вблизи от вражеских баз, или же подвергнуться унижению, которое полностью обескуражит союзников, союзные страны». Заключение статьи не оставляло никаких сомнений относительно моей оценки: «Один из моих собратьев по перу завершил когда-то свою статью формулой, которая прекрасно резюмирует позицию французской дипломатии в период с 1933 по 1939 год: „Следует неотложно ждать“. Будем надеяться, что американская дипломатия примет противоположную формулу: следует неотложно действовать. Допустив подобную форму агрессии в 1950 году, мы породили бы в 1952-м или 1953-м агрессию, которая на этот раз не оставила бы никаких шансов на мир». Государственный секретарь Дин Ачесон в беседе со мной в декабре того же года обосновывал совет, данный им Г. Трумэну, теми же самыми аргументами, которые я развивал в этой статье.

Склоняют ли к пересмотру анализа прошедшие годы и сведения, которые с тех пор стали доступными? Теперь мы почти доподлинно знаем, что китайцы находились в полном неведении относительно замысла Ким Ир Сена. Сталин наверняка был в курсе этого проекта, но, вероятно, скорее дал согласие на его осуществление, чем предлагал его или к нему подталкивал. Сегодня нам известно также то, что китайцы вступили в войну скрепя сердце, после двух предупреждений в адрес вашингтонского правительства — не предпринимать наступления американских войск по направлению в реке Ялуцзян[135]. Мы все были склонны придавать этому эпизоду всемирную значимость, которой он не имел вначале в умах действующих лиц.

Конечно, уже тогда я был осведомлен о возможности разногласий между Советским Союзом и Китаем. Способ, к которому прибегли советские представители для того, чтобы навязать ООН признание Китайской Народной Республики, был, видимо, по своей природе таков, что привел к обратному результату. Я сожалел о том, что по причинам военного порядка Соединенным Штатам пришлось защищать Формозу, что лишило их возможности установить нормальные отношения с Пекином, поэтому сохранялась фикция Китая, представляемого националистическим правительством, изгнанным с материка. По иронии Истории все эти спекуляции без исключения не оправдали ожиданий. Казалось, Соединенные Штаты подталкивали маоистский Китай к союзу с Москвой. Однако после 1960 года Советский Союз отозвал своих инженеров из Китая, оставив там незавершенными сто шестьдесят промышленных объектов, которые сооружались при его помощи.

Если не считать коммунистов, американская интервенция не вызвала серьезной критики во Франции[136], по крайней мере

сразу же. Споры о нейтралитете усилились и получили новую остроту из-за стремления американцев перевооружить Европу и обусловленной этим стремлением боязни «милитаризма» Соединенных Штатов, который мог бы обнаружиться в тот день, когда перевооружение обеспечит им неоспоримое превосходство. Противники Атлантического пакта, накануне сожалевшие о недостаточной обязательности его положений, на следующий день стали опасаться того, что из-за американской неудержимости они окажутся вовлеченными в войну, которая не будет их касаться.

Вплоть до 25 июня 1950 года руководящую идею моих комментариев продолжала выражать формула, употребленная в качестве названия первой главы книги «Великий раскол»: «Мир невозможен — война невероятна». После 25 июня, в течение нескольких месяцев — об этом написано в моей следующей книге, «Цепные войны», — я опасался того, что война становится менее невероятной (и эту невероятность оценивал в зависимости от дня, от своего настроения). В отличие от некоторых американских комментаторов, я никогда не рассматривал корейский эпизод как осуществление первого этапа глобального завоевательного плана, задуманного совместно Сталиным и Мао. Американский ответ опровергал один из доводов, к которым прибегали противники Атлантического пакта: в Корее американцы соблюдали свои обязательства, выйдя за рамки обещаний, записанных черным по белому. Военные неудачи американцев в первые недели, а затем в ноябре, из-за вмешательства китайских «добровольцев», способствовали распространению в Европе пораженческих, а в некоторые моменты — панических настроений.

Восточногерманская и советская печать угрожала канцлеру Аденауэру, обещая ему судьбу Ли Сынмана. Коммунистические власти Германской Демократической Республики уже организовали полицию, которая находилась на казарменном положении и походила на армию. Неравенство сил двух корейских армий, на севере и на юге, заставляло сравнивать две «полиции», на востоке и на западе Германии. Одновременно встали три вопроса перевооружения — перевооружения американского, европейского и германского.

С доводами в пользу американского перевооружения без труда соглашались все французы, за исключением коммунистов. В 1950 году Соединенные Штаты обладали лишь несколькими атомными бомбами (этого было очень мало), а опыт подсказывал, что ядерной угрозы недостаточно для того, чтобы убедить небольшое коммунистическое государство, тесно связанное с

Москвой, отказаться от любой агрессии. Научная фантастика рисовала картину мира, обеспечиваемого благодаря террору и роспуску больших армий, но История еще раз преподнесла сюрприз действующим лицам. Пять лет спустя после окончания Великой войны американские «Джи-Ай» сражались за тысячи километров от своей родины против армии половинной страны, вооруженной их бывшим союзником. Вашингтонские руководители извлекли из этого события ценный урок: поняли, что жили в иллюзорном мире. Нескольких атомных бомб и американского промышленного потенциала было недостаточно для сохранения мира на всей планете. Соединенные Штаты осознали свою имперскую роль и свои обязательства. Они должны были отказаться от традиции: минимум солдат под ружьем в мирное время, тотальная мобилизация сил сразу же после возникновения войны. Воинственный мир, международные обязательства, унаследованные частично от Британской империи, обрекали Американскую республику на постоянное поддержание значительного военного механизма.

Вопрос о европейском перевооружении порождал иные споры. Не следовало ли отдать приоритет экономическому подъему европейских стран? Массированное перевооружение парализовало бы восстановление; символическое же перевооружение не изменило бы ход возможной войны. Некоторые критики подхватывали мысль, которую высказал сенатор Тафт: вместо заключения договора о взаимопомощи Соединенным Штатам следовало бы в одностороннем порядке объявить себя гарантом европейской безопасности. В таком случае под американской защитой европейцы провели бы свое успешное восстановление, а затем обеспечили бы себя средствами обороны. Идея Р. Тафта, которую поддержали некоторые противники Атлантического пакта, полностью утратила популярность после июня 1950 года: в свете корейской кампании главное возражение против пакта — Соединенные Штаты могли бы в случае необходимости нас освободить, но отнюдь не избавить от оккупации — обернулось еще более против решения, предложенного Тафтом.

Именно европейские правительства взяли на себя инициативу заключения Атлантического пакта или, по крайней мере, обратились к вашингтонским руководителям с просьбой о создании пакта такого рода. Точно так же они высказались, как и американцы, за учреждение НАТО, иными словами, организации Североатлантического пакта, включающей объединенное командование. Постановка вопроса о европейском перевооружении сразу же обусловила постановку вопроса о

перевооружении Федеративной Республики Германии.

Осенью 1950 года Дин Ачесон выступил с проектом перевооружения ФРГ, как раз тогда, когда американские войска вели тяжелые бои с северокорейской армией, оснащенной Советским Союзом. Перед лицом этого императива французские руководители, Рене Плевен и Робер Шуман, постарались уклониться от категорического *да* или *нет*. Они обоснованно считали, что французское общественное мнение не согласилось бы на восстановление вермахта, сокрушенного пять лет назад мощной коалицией. С другой стороны, эти деятели не решались отвергнуть меру, отвечавшую логике ситуации, а не прихотям американских руководителей. Предложение о создании европейской армии, первоначально встреченное с подозрением в Вашингтоне, было принято общей дипломатией западных стран, причем настолько, что Дж. Ф. Даллес угрожал в 1954 году Франции «мучительным пересмотром», если ее Национальное собрание откажется одобрить договор о Европейском оборонительном сообществе, уже ратифицированный парламентами наших партнеров.

Первый толчок делу европейского объединения [181], вдохновителем и неутомимым строителем которого являлся Жан Монне, был дан в мае 1950 года, до начала войны в Корее, в обстановке, совершенно не похожей на обстановку сентября того же года, когда вопрос о перевооружении Германии оказался включенным в повестку дня. У меня сохранились четкие воспоминания о сообщении, сделанном Этьеном Гиршем для нескольких журналистов. Не было никаких намеков на советскую угрозу, на оборону Западной Европы: сотрудник Жана Монне делал упор на русско-американское соперничество, создававшее риск втягивания мира в войну, если европейцы не встанут между двумя гигантами, которых страсти увлекли в гонку, ведущую в пропасть. Э. Гирш не упоминал ни о третьей силе, ни, собственно говоря, о нейтралитете: строительство Европы привело бы скорее к созданию буфера между двумя великими державами, чем к усилению одного из лагерей. Его слова звучали явно искренне: представление проекта наверняка должно было умерить его вероятных оппонентов, оно выявляло одну из возможных функций предполагаемого начинания.

Европейская идея и европейская пропаганда не родились вместе с объединением угля и стали. План Маршалла еще ранее заставил европейцев, включая немцев, работать совместно, договариваться о распределении капиталов, которые Соединенные Штаты им давали или одалживали. Гаагская конференция 1948 года [182], заложившая основы Европейского

парламента, собрала впечатляющую галерею государственных деятелей, довоенных и послевоенных. Некоторые эпизоды этой конференции остались в моей памяти.

Утром, прогуливаясь по городским улицам, я заметил Эдуара Даладье — он был один, участники конференции забыли или не хотели знать этого человека, обладавшего в 1938–1939 годах высшей властью. Я приблизился к нему и завязал с ним разговор. Его чувства тронул жест журналиста, мало ему знакомого и представлявшего в то время прежде всего «Фигаро». Деятели военных лет, Уинстон Черчилль, Поль Рейно, приняли участие в дебатах с видимой страстью. Поль Рейно защищал идею избрания Европейского парламента всеобщим голосованием; британцы во главе с Дунканом Сандисом ответили, что даже в собрании, не несущем ответственности, они не приемлют демагогию и что они не рекомендовали бы одобрить меру, которую считают неосуществимой. Невозмутимый Поль Рейно сражался до конца и, разумеется, оказался в меньшинстве. В последний день небольшая группа федералистского толка отказалась голосовать за заключительную революцию. Вмешался У. Черчилль, он выступил в почти патетическом тоне, стремясь восстановить единодушие.

Я следил за этой дискуссией, не принимая в ней участия, будучи не в состоянии собраться с духом и выступить в этом турнире красноречия. Нам никто не давал полномочий; даже те, кого делегировали какое-то движение или какая-то партия, представляли лишь самих себя. Наличие большинства или меньшинства в комиссиях ничего не значило. Конференция полностью относилась к области пропаганды, в благородном смысле этого слова, искусства убеждать с открытым лицом.

То была весна объединенной Европы, о которой мечтали и которая казалась совсем близкой; люди, менее всего склонные к утопии, тешили себя тщеславными надеждами. Кто вспомнит сегодня о брошюре Мишеля Дебре в защиту Европейской республики, брошюре, содержавшей статьи Конституции? В ней предусматривалось создание президентства Соединенных Штатов Европы, которое, со всей очевидностью, предназначалось для генерала де Голля. Искреннее убеждение или пустые обещания оппозиционера? В маленькой книжке, написанной Мишелем Дебре в сотрудничестве с Э. Моником в период Сопротивления, атлантическое единство занимало первое место.

Какие превратности судьбы заставили этого защитника Европейской республики обвинять сообщество, имевшее отношение единственно к углю и стали и предусматривавшее передачу ему лишь незначительной доли суверенитета? Брошюра

1950 года озадачивает сегодняшнего читателя: в ней осуждались задержки в деле европейского объединения и ответственность за них возлагалась на людей, находившихся у власти. Надо ли говорить, что черное становилось белым, а белое — черным в зависимости от того, был или не был у власти Генерал? Будучи человеком страстным, склонным в своих изменчивых суждениях доходить до крайностей, М. Дебре замыслил, не колеблясь, Федеративную республику европейских государств, с тем чтобы в дальнейшем отступиться от урезания национального суверенитета и подчинить якобинству свои робкие атлантические и европейские попытки[137].

Национальное собрание ратифицировало соглашение о создании объединения угля и стали, хотя депутаты от РПФ за этот документ не голосовали, но генерал де Голль не мобилизовал общественное мнение, как он сделал в двух других случаях, первый раз — в связи с заключительным заявлением Лондонской конференции, в котором объявлялось о создании тризонии, то есть Федеративной Республики Германии, а второй раз — в связи с договором 183, создававшим европейское оборонительное сообщество или, как обычно говорили, европейскую армию.

Жан Монне и Рене Плевен не хотели связывать дело европейского объединения с германским перевооружением. Обстоятельства подтолкнули их к этому, они надеялись одновременно отсрочить принятие решения о перевооружении ФРГ и найти среди сторонников европейского единства подкрепление в лице депутатов, способных одобрить в Национальном собрании германское перевооружение. Эти деятели ошиблись: к противникам этого перевооружения прибавились противники наднациональной организации, лишавшей французское государство исключительной ответственности за его вооруженные силы и подчинявшей «европейские» силы приказам американского генерала.

Лично я стал, начиная с 22 ноября 1952 года, предостерегать своих друзей из «европейской партии». Перевооружение Германии мне представлялось неизбежным, но выбранный метод был явно уязвим для критики. При отсутствии европейского правительства эта армия подчинялась бы неевропейскому командованию, практически — американскому. Каким образом Франция могла бы содержать одновременно дивизии, подчиненные европейскому комиссариату, и дивизии, предназначенные для действий на заморских территориях и относящиеся к исключительной компетенции французского государства? Сможет ли Европейское оборонительное сообщество

(ЕОС) когда-нибудь превратиться в некое единое целое, способное сражаться, множа предосторожности, имеющие целью предотвратить возрождение германской армии?

В частном кругу, в беседах я прибегал к более сильному языку. Совершенно очевидно, что германское перевооружение, навязываемое дипломатической обстановкой, могло вписываться или в европейские рамки, или же в атлантические рамки. Моим американским друзьям я повторял, что вместо безоговорочного принятия ЕОС они должны были бы открыто заявить: европейцам самим следует выбрать между ЕОС и включением германской армии в НАТО. У первого из этих двух решений имеются все шансы быть отклоненным коалицией противников наднациональной Европы и противников германского перевооружения. Возможно, что второе решение также провалят, если оно будет представлено в Национальное собрание раньше первого; вероятно, это второе решение депутаты примут, покорясь судьбе, если прежде ЕОС окажется забаллотированным.

Европейцы строгого устава были удивлены моей сдержанностью; один из них сказал мне, что нельзя предвидеть, какую позицию я в конечном счете займу. Обвинительная речь, с которой выступил 25 февраля 1953 года против ЕОС генерал де Голль, не могла не подействовать на простых граждан, как и на депутатов: «Для существования европейской армии, то есть армии Европы, необходимо сначала, чтобы существовала Европа в качестве политической, хозяйственной, финансовой, административной и, прежде всего, моральной сущности, чтобы эта сущность была достаточно живой, прочной, признанной и потому способной опереться на прирожденную лояльность своих подданных, иметь свойственную ей политику, пробуждать в случае необходимости у миллионов людей готовность умереть за нее. То ли мы имеем в данном случае? Ни один серьезный человек не решился бы сказать да». И генерал де Голль напоминал обо всем, что он совершил во время последней войны благодаря тому, что правительство сохраняло власть над вооруженными силами: «Кёниг не оказался бы в Бир-Хакейме, Жюэн не сыграл бы в Италии роль, которая известна, Леклерк не овладел бы Феццаном и не был бы брошен в нужный момент на Париж, де Латтр не защитил бы Эльзас, не перешел через Рейн и Дунай, Ларми*на* не подавил бы „атлантические котлы“ 184, Дуайен не захватил бы Танд и Бриг, экспедиционный корпус никогда не отправился бы в Индокитай…»

Споры о ЕОС продолжались более двух лет, начиная с момента опубликования текста договора и кончая голосованием в Национальном собрании, которое отклонило даже предложение

обсудить суть проекта. В ответ на патетический призыв полупарализованного Эдуара Эррио большинство проголосовало по процедурному вопросу. Оборонительное сообщество похоронили, даже не дав его приверженцам возможности выступить в защиту проекта.

Газета «Фигаро» по инициативе самого Пьера Бриссона стала во главе крестового похода за европейское единство, за ЕОС, за идеи Жана Монне. Лично у меня с последним сложились прекрасные отношения, но я не скрывал от него своих возражений против ЕОС, проекта европейской армии, который, скорее всего, окажется недействительным и в настоящий момент раскалывает атлантическое большинство. Однажды я сказал Роберу Шуману, именно в связи с ЕОС: «Вы не желаете иметь немцев в качестве союзников, вы их принимаете в качестве соотечественников». Эта фраза его несколько удивила, после минутного колебания он ответил: «Почему бы нет?»

Этот великий спор — еще один — оживил антигерманские страсти некоторых французов. На поверхность вновь вышли исторические воспоминания, начиная с Арминия и кончая Гитлером, включая Бисмарка. Голлисты во главе с Жаком Сустелем и Мишелем Дебре повели яростную кампанию против ЕОС. Первый, кажется, устроил публичные собрания вместе с коммунистами. Второй нашел поразительную полемическую формулу: ЕОС восстанавливает силу германской армии и отнимает силу у французской армии.

Спор послужил, если можно так сказать, катарсисом, он очистил французов от их «дурных настроений», от горьких воспоминаний, накопившихся за столетие войн против «вековечного врага». Когда палаты парламента проголосовали за создание германской армии, интегрированной в НАТО, спор этот не продолжили ни политический класс, ни общественное мнение. В конечном счете французы предпочли воссоздание германской армии слиянию французской армии с европейской. Сделали бы они этот выбор, если бы две ветви альтернативы были предложены им одновременно или в противоположном порядке?

Что осталось от спора 50-х годов, что могло бы заинтересовать в нем французов 80-х? Помимо проблемы европейской армии, предметом дискуссии была «германская опасность», если не сегодняшняя, то завтрашняя. В различных формах выдвигался вновь и вновь один и тот же аргумент: в отличие от других государств Западной Европы, Федеративная Республика Германия остается государством «притязательным», а не удовлетворенным или облагодетельствованным: требование единства, с одной стороны, требование территорий,

аннексированных Польшей к востоку от линии Одер — Нейсе — с другой. В связи с кампанией против ЕОС Жак Сустель обнаружил и подчеркнул польское происхождение Бреслау, города, который в течение веков германизировался и после 1945 года вновь стал Вроцлавом.

Согласно первому сценарию, столь же неправдоподобному сегодня, как и двадцать пять лет назад, ФРГ вовлекла бы Францию в конфликт, развязанный с единственной целью — вернуть себе то, что она потеряла в 1945 году. Западная Германия, даже несколько перевооруженная, не поднималась на уровень великих держав, еще менее — на уровень сверхдержав. Не стоило принимать всерьез идею, в соответствии с которой Боннская республика — в том виде, в каком она была в 1954 году (или в том, в каком существует в 1982-м), — могла бы предпринять новое военное завоевание.

Другой сценарий, напротив, наводил на размышления. Сближение ФРГ с Москвой в национальных интересах немцев не представляло в 1953 году непосредственной опасности, но через какой-то промежуток времени оно приобретало долю правдоподобности. Действительно, с кем, если не с Москвой, боннские руководители могли связывать надежду на улучшение отношений между двумя германскими государствами? Противники ЕОС облекали аргумент в самую невероятную форму: новый Рапалльский договор или новый германо-советский пакт, новый раздел Польши. На это я возражал, говоря, что советизация одной трети немцев, в ГДР, обеспечивала Москве одновременно защиту от нападения с запада и несравненную по ценности базу для наступления в западном направлении. Кремль, если только его к тому не принудят, никогда не принесет в жертву Панков [185], точно так же как Бонн — свои свободы. Некоторые историки полагали, что сразу же поле смерти Сталина Берия и другие члены *Политбюро* рассматривали возможность объединения и нейтрализации Германии. В 1982 году ФРГ хотя и не покидает Атлантический альянс, но стремится не вызывать неудовольствия Советского Союза, удерживающего в своих руках миллионы заложников. Добавим, что перевооружение 1955 года никоим образом не повлияло, ни в одном, ни в другом направлении, на дипломатию Бонна или Москвы.

Ссора из-за Атлантического пакта и перевооружения Европы, включая ФРГ, закончилась в 1954–1955 годах, когда на авансцене оказались война в Индокитае и беспорядки в Северной Африке. Пьеру Мендесу Франсу (ПМФ) принадлежит заслуга проведения переговоров в тени [поражения] в Дьенбьенфу и заключения

Женевских соглашений, а также запуска проекта, заменившего ЕОС после отклонения последнего.

Я пробежал статьи, опубликованные мною в «Фигаро» в месяцы, когда премьером был ПМФ, чтобы подтвердить или опровергнуть легенду о том, что в них он якобы подвергался резкой критике. В действительности я признавал его правоту в основных вопросах. Пьер Бриссон взялся за перо, чтобы одобрить сенсационную поездку Пьера Мендес-Франса в Тунис, предвещавшую получение этой страной внутренней автономии. Сам же я неустанно поддерживал «либеральную» направленность политики, которая стала проводиться по отношению к североафриканским протекторатам. После подписания Женевских соглашений в своей статье, озаглавленной «Блестяще выигранное пари», я поздравлял ПМФ с достигнутыми результатами. Положения договора в той военной и политической обстановке не могли быть лучшими[138]. Более того, 28 октября 1954 года я говорил о том, что на ПМФ лежит лишь часть ответственности за отказ от ЕОС, и поддерживал шаги правительства, направленные на то, чтобы добиться от Национального собрания одобрения формулы замещения, а именно — формирования германской армии в рамках НАТО.

Мои оговорки и моя критика касались пари относительно тридцати дней (в предстоящие тридцать суток в Женеве будет заключен договор, а если нет, то я вновь предстану перед вами, чтобы просить о своей отставке или о направлении в Индокитай солдат, отбывающих воинскую повинность). Это пари, без которого ПМФ не получил бы, может быть, полномочий от Национального собрания, было чревато очевидными опасностями: существование французского правительства отныне зависело от Северного Вьетнама или, скорее, от Советского Союза и Китая. Если ПМФ выигрывал свое пари, он становился подозрительным в глазах атлантической или европейской партии: советские руководители якобы обеспечили его успех для того, чтобы он покончил с ЕОС. Факты таковы, что ПМФ потерял, особенно после отказа от ЕОС, доверие Аденауэра, «моннетистов», МРП. Я упрекал тогда премьера также в том, что он держался в стороне от дебатов по ЕОС, которые были намечены в Национальном собрании. Критика эта в некоторой степени была несправедливой, и вскоре я смягчил ее, написав 3 сентября 1954 года: «ЕОС дышала на ладан, когда ПМФ стал председателем Совета министров, вероятно, ему удалось бы спасти сообщество, если бы он этого сильно хотел…» Сегодня я не уверен в том, что он смог бы спасти ЕОС, даже если бы этого хотел. Но нападки на ПМФ «европейцев», когда он попытался

добиться от пяти партнеров [по договору о ЕОС] согласия на внесение в него дополнительных изменений, свели на нет последние шансы. Самые решительные сторонники Мендес-Франса находились в рядах противников ЕОС и даже противников перевооружения Германии. Нельзя было требовать от него безоговорочной борьбы за документ, который ПМФ, вероятно, в глубине своей души не одобрял. Я упрекал его также в том, что он отдавал преимущество отношениям с Великобританией, в ущерб отношениям с ФРГ.

Статья «Неудача объединений», написанная после падения ПМФ, отнюдь не являлась свидетельством враждебности к нему как человеку или же государственному деятелю: «ПМФ послужил своей стране: он заключил перемирие в Индокитае, которого желала вся нация, он вступил в переговоры с [тунисским] Нео-Дестуром, проявив смелую инициативу, отступить от которой уже невозможно и которая намечает единственно возможный путь в будущее. Но что касается других предметов, имеющих, равно как и Африка, решающее значение для нашей судьбы, — отношений с Востоком, европейской политики, — то мы не знаем, были ли у него ранее установившиеся взгляды, не знаем после испытания и того, каковы его глубокие намерения». Никогда я не отдавал подобную дань уважения какому-либо другому председателю Совета министров Четвертой республики. Затем в статье объяснялось, что ПМФ оказался жертвой «политико-эмоциональной амальгамы»: «Вокруг него объединились все оппозиционеры, одни из которых желали мира в Индокитае, другие — реформ в Северной Африке, третьи — переговоров с Москвой, четвертые — избавления от европейской интеграции, наконец, пятые — более сильных правительства и власти. Между этими различными пожеланиями нет никакой разумной связи. У атлантиста нет больших оснований одобрять свержение бывшего султана Марокко, чем у нейтралиста». Представив ПМФ жертвой разношерстного большинства, я заключал, что «было бы плачевно, если ему не представился бы другой случай проявить свои необыкновенные способности, которых никто у него не отрицает…» У ПМФ не оказалось более другого случая, но по его вине, а не по вине его противников. Он никогда не смирился с возвращением генерала де Голля во власть в результате того, что походило на государственный переворот, он никогда не смирился с Конституцией Пятой республики. «Фигаро» здесь ни при чем, а я — тем более.

Эволюция, начало которой положил в 1948 году план Маршалла, а в 1949-м — Атлантический пакт, подошла к своему

завершению в 1955-м: одна из Германий, став вновь суверенной и вооруженной, была включена в НАТО, в то время как по другую сторону произошло в соответствии с Варшавским пактом официальное объединение армий стран Восточной Европы под политическим и военным руководством Советского Союза… Двадцать семь лет спустя два блока по-прежнему противостоят один другому. Упустили ли мы возникавшие шансы? Была ли политика, проведению которой я, как мог, способствовал, единственно возможной, наилучшей?

И сегодня еще сохранились люди, испытывающие ностальгию по ЕОС. Отказавшись от *своей*, европейской, армии, европейцы выбрали американскую армию, покровительство со стороны Соединенных Штатов, и тем самым на длительный срок оказались отчужденными от самостоятельности. Тогда спор не приобретал такого смысла, поскольку ЕОС, задуманное Жаном Монне и Рене Плевеном, служило тому, чтобы отсрочить перевооружение Германии и одновременно сделать его приемлемым для французского общественного мнения. Сверх того «моннетисты» видели в этом сообществе способ вновь выдвинуть вперед европейскую идею, доказательством жизненности которой стало образование несколькими месяцами ранее пула угля и стали. ЕОС обрушилось под ударами коалиции тех, кто был против перевооружения ФРГ, и тех, кому не нравилась европейская армия. В те времена французские войска еще сражались в Индокитае; вскоре настанет черед восстаний в Алжире и в Марокко. Как можно было создать сообщество с германской армией, когда основные силы нашей армии находились вне метрополии?

Я не отметаю ответ, который предлагали приверженцы ЕОС, например Эрве Альфан, который по своему воспитанию и темпераменту был отнюдь не склонен к утопиям. Детали текстов значили меньше, чем идея, принцип, проект. Опыт мог бы постепенно исправить написанное. Численность однородного германского подразделения не смогли бы в течение длительного времени ограничивать статьи договора; требования действенности возобладали бы над компромиссами дипломатов. На бумаге ЕОС выглядело как часть атлантической армии, которая сама находилась бы под американским командованием. Можно ли ретроспективно представить, что ЕОС было бы способно стать зародышем европейской обороны, постепенно освобождающейся от американского командования? И сегодня еще я с трудом верю, что неудача ЕОС составила дату в истории, означала европейское отречение, согласие на американское покровительство в течение неопределенного времени.

Что касается вопроса о кристаллизации двух военных блоков в Европе, то здесь я чувствую меньшую уверенность. Хочу прежде всего вспомнить о дискуссии, имевшей место в январе 1958 года и организованной «Конгрессом за свободу культуры». Как пишет в своих «Мемуарах» Дж. Кеннан, в ней приняли участие Деннис Хили, Джозеф Элсоп, Сидни Хук, Рихард Левенталь, Карло Шмид, Дени де Ружмон и я. Мне памятен этот «круглый стол», но я буду придерживаться той его версии, которую дает Дж. Кеннан, несомненно располагавший письменным отчетом о заседании.

В рамках «Рейтовских чтений» («Reith Lectures») 186 Дж. Ф. Кеннан выступил по Би-би-си с лекциями, читать которые ежегодно приглашали какого-либо очень хорошо известного деятеля. В этих лекциях он защищал еретическую идею, а именно — вывод американских войск из Германии при условии такой же эвакуации советских войск из Восточной Европы. Одновременное освобождение от обязательств американской и советской сторон составляло стержень лекций. Тезис дополняли другие предложения, столь же спорные: европейцам не следовало бы стремиться к созданию военной машины, сравнимой с советской, им надо было бы готовиться к сопротивлению и герилье[139], которая удержала бы Советский Союз от любых агрессивных поползновений.

Согласно резюме, которое дает в своих «Мемуарах» Кеннан, я высказал два основных возражения. По моим словам, ситуация действительно являлась ненормальной или абсурдной, но она была четко очерчена: каждый знал, где пролегает демаркационная линия. Когда по одну сторону «железного занавеса» что-то движется, по нашу сторону ничего не происходит. Четкий раздел Европы рассматривается, с основанием или без него, как сделка, менее опасная по сравнению с любой другой. Иначе говоря, неопределенность ситуации создала бы большие опасности, чем ненормальность ситуации.

Дж. Ф. Кеннан, еще находившийся тогда на дипломатической службе, сожалел о лицемерии государственных деятелей в Бонне или в Вашингтоне, заявлявших о своем стремлении добиться объединения Германии, в то время как они охотно довольствовались статус-кво. Возмущение Кеннана еще и сегодня меня поражает. Западные государственные деятели не обладали никакими средствами, способными заставить советских руководителей согласиться с проведением свободных выборов на территории ГДР. В то же время они не видели ни пользы, ни необходимости юридически или политически соглашаться со статус-кво, а именно — с присутствием советских войск на

расстоянии в двести пятьдесят километров от Рейна. Эти деятели принципиально не принимали раздел Германии и Европы, хотя сознавали, что тем самым способствуют сохранению данного раздела. Несколько лет спустя, когда генерал де Голль попытался покончить с этим иммобилизмом, я написал, что статус-кво оказался бы дестабилизированным, как только был бы признан. Последствия *Ostpolitik* (восточной политики ФРГ) и Хельсинкских соглашений подтверждают этот анализ. Немцы, канцлер Шмидт обращают свои взоры к востоку после того, как был торжественно признан территориальный статус Европы, порожденный войной.

В дискуссии с Кеннаном я ограничился указанием на то, что проблема заключалась в выборе между риском, вытекающим из раздела, и риском, связанным с политикой, которая попыталась бы преодолеть сегодняшний раздел. Я добавил, что мои оценки того и другого риска побуждают меня «на сей раз, случайно и с большим сожалением, принять сторону государственных деятелей», а не сторону Кеннана.

Второе возражение касалось значимости отвода советских войск в качестве компенсации за отвод американских войск. После опыта венгерской революции 1956 года мне казалось очевидным, что советские войска без колебаний возвратились бы в оставленные ими страны, если бы под угрозой оказались их режимы, соответствующие советской идеологии. «На меня не оказал впечатления этот аргумент против моих лекционных положений, — пишет Дж. Ф. Кеннан, — ибо лично я не считал бы приемлемым соглашение об освобождении от обязательств, если бы оно содержало гарантии от подобных событий и не предусматривало санкций в случае их возникновения, но сегодня, ретроспективно, я должен признать наличие у Арона поразительнейшей интуиции, так как, выдвигая свой довод, он за десять лет до случившегося предложил классическую формулировку доктрины Брежнева, которую тот сам утвердил под ударами острого чехословацкого кризиса 1968 года. Русские, заявил Арон, сформулировали новую доктрину, которую я бы назвал „Священным Союзом“. Она заключает в себе право оказывать „бескорыстную помощь“ любому коммунистическому правительству, если ему угрожает „контрреволюция“». Мои слова, сказанные в 1958 году, не заслуживают всех тех похвал, которыми наградил их Кеннан. После венгерского испытания не надо было обладать какой-то пророческой интуицией *(prophetic insigt),* чтобы предугадать новую оккупацию Кремлем так называемой социалистической страны — даже если ранее он вывел оттуда свои войска — в случае вспышки там восстания, по определению — контрреволюционного, создающего риск свержения или

десоветизации режима. Что меня поражает, так это вера Кеннана в русско-американское соглашение о снятии с себя обязательств. Официально такое соглашение никогда бы не было нарушено, ибо всегда нашлось бы некое «рабоче-крестьянское правительство», которое позвало бы на помощь союзников по Варшавскому пакту.

При всем том, когда перечитываешь материалы «Рейтовских чтений» сегодня, возникает еще один вопрос, касающийся американской политики 1949–1955 годов, взятой в целом, политики, которую, впрочем, внушили первоначально сами европейцы. От Атлантического альянса был совершен логический переход к организации европейской обороны, а затем к перевооружению ФРГ, следовательно, в конечном счете к кристаллизации двух военных блоков и к сохранению раздела Германии и Европы. Была ли возможна другая политика и когда сделанный выбор стал необратимым?

Перенесемся мысленно в 1949 год, когда был подписан Атлантический пакт. Западная Европа, состоявшая из побежденных или обескровленных государств, представляла собой пустоту. Советский Союз также понес огромные потери во время войны, по логике, он не должен был бы идти на риск крупного вооруженного столкновения с Соединенными Штатами — единственным из участников войны, который вышел из нее не только невредимым, но и усилился благодаря испытаниям. Советский Союз навязал свою власть и свой режим всем странам Восточной Европы: если он не встретил сопротивления, то почему должен по собственной воле остановиться? Но разве не могла бы успокоить европейцев и убедить Советский Союз отказаться от любой агрессии односторонняя гарантия, которую дали бы Соединенные Штаты в торжественной декларации, одобренной Конгрессом? Ретроспективное и малоубедительное возражение. Вспомним статьи Этьена Жильсона, речи генерала де Голля: обязательства государств, подписавших Североатлантический договор, особенно Соединенных Штатов, не были достаточно четко записаны в его тексте. Что сказали бы критики пакта, если бы его место заняла какая-то торжественная декларация?

К этим умозрительным рассуждениям о прошлом добавим замечание, исходящее из здравого смысла, которое столь часто забывают: политика плана Маршалла и Североатлантического пакта оказалась блестящим успехом для западноевропейцев. Даже Франция, несмотря на колониальные войны, стала участником поразительного подъема Старого Континента. Скажут, может быть, что эта политика принесла в жертву жителей Восточной Европы и бросила их на произвол судьбы. Пассивность Запада в 1956 году, в момент венгерской революции, связана не с

Атлантическим пактом, а с отказом американских руководителей от вмешательства. Суэцкая экспедиция Франции и Англии, начатая как раз тогда, когда венгры дали первый пример антитоталитарной революции, не облегчала задачи американской дипломатии. Но, по всей видимости, американцы не действовали бы иначе, если бы французы и англичане не ввязались в это бессмысленное предприятие. Начиная с 1956 года, несмотря на болтовню о политике «освобождения», заменяющей политику «сдерживания», американские руководители не предполагали обращаться к военным средствам ради поддержки диссидентов или повстанцев, поднимавшихся против советского режима на востоке Европы. Как и во времена завершения религиозных войн, политическая карта совпадала с картой идеологической: к востоку от демаркационной линии царствовал марксизм-ленинизм, к западу — идея либеральной демократии.

Я считаю поворотным 1955 год, ибо именно тогда сформировались две военные коалиции; можно было бы выбрать в качестве рубежа 1956 год, отмеченный восстанием венгров, франко-английской экспедицией, советско-американским сговором, когда каждая из великих держав, по крайней мере по видимости, стала призывать своих союзников к порядку. Венгрия теряла всякую надежду освободить себя при помощи силы, Великобритания — все иллюзии относительно того, что она еще входит в число великих держав.

Не сожалеют ли люди Запада сегодня, более четверти века спустя, о решениях, принятых в период между 1949 и 1955 годами и сформировавших мир, в котором мы еще продолжаем жить? Если они вспомнят о «тридцати славных годах», времени беспрецедентного экономического развития, то почему им следовало бы обвинять себя в ослеплении? Тридцать лет успеха оправдывают политические решения. Состояние Атлантического пакта или Запада четверть века спустя после кристаллизации двух военных блоков в Европе не является обвинением против деятельности созидателей — Трумэна, Ачесона, Эйзенхауэра, а по другую сторону Атлантики, у нас, — Жана Монне, Робера Шумана, Аденауэра, де Гаспери. Можно упрекать американцев за то, что они ничего не попытались предпринять ради «освобождения» Восточной Европы тогда, когда обладали явным военным превосходством, но европейцев в ту эпоху страшила воинственность, а не пассивность их защитника. В остальном же события, питающие сегодняшний пессимизм, ни в чем не вытекают из выбора, сделанного во время «холодной войны». Ни война во Вьетнаме, ни Уотергейт, ни советское сверхвооружение, ни ослабление американских оборонных усилий не были

обусловлены планом Маршалла, Североатлантическим пактом или перевооружением ФРГ.

Сразу же после «Рейтовских чтений» я получил от Дж. Ф. Кеннана весьма дружеское письмо, несколько отрывков из которого привожу (письмо было написано от руки, вероятно, автор о нем забыл).

«Я только что получил от „Конгресса…“ ваш отзыв на „Рейтовские чтения“ и спешу сообщить, сколь глубоко я вам признателен (*deeply appreciative)*. Из всех откликов на мои лекции ваш является самым продуманным, самым разумным и самым проницательным; вы единственный из моих друзей и знакомых поняли дух, которым были наполнены эти лекции; вы подошли к их обсуждению так, как я бы этого хотел.

Мне не кажется, что русские выиграли бы больше, чем Запад, от взаимного отвода [войск]. В политическом плане — безусловно нет; что же касается вооруженных сил, то русские являются в конечном счете сильнейшими.

Как мне представляется, частью соглашения должна быть договоренность о том, что всякий новый ввод вооруженных сил той или другой стороной в какую-либо часть территории, ранее освобожденной от их присутствия, возвращал бы противоположной стороне прежние права на военное присутствие там, где она ныне находится. Я полагаю, далее, что в случае советской военной интервенции в Польшу или в Венгрию должно было бы произойти немедленное возвращение Соединенных Штатов в Западную Германию.

Мне думается, что многие люди на Западе не представляют себе, в какой степени на русских, принимавших решения в Венгрии, оказали влияние три фактора:

1. Присутствие и близость американских войск в Европе.

2. Опасение того, что венгры не только выйдут из Варшавского пакта, но и в конце концов попросят принять их в Атлантический альянс.

3. Тот факт, что они, русские, уже на самом деле осуществляли оккупацию страны на законной основе, происхождение которой западные державы никогда не ставили под вопрос; таким образом, угроза ее выхода из Варшавского пакта показалась им прямым вызовом их правам на оккупацию, прямым вызовом их политическому и военному престижу.

Все эти факторы можно было бы по меньшей мере значительно смягчить благодаря соглашению о взаимном отводе; и можно полагать, что русские, которые уже более чем достаточно натерпелись от своих восточноевропейских протеже *(pretty thoroughly fed up*), при необходимости отнеслись бы более

спокойно к событиям в этой части мира».

Кеннан признавался затем, что он неправильно представил свою идею военной организации, которую следовало бы провести в жизнь западноевропейцам; речь не шла о замене регулярных войск партизанскими отрядами. Он рекомендовал дополнить такие войска организацией народного сопротивления.

Один из пассажей этого письма меня поразил и продолжает поражать: русские будто бы «сыты по горло» *(fed up)* некоторыми из своих восточноевропейских протеже. Если в Европе не будет американских войск, то русские якобы не будут в такой степени печься о правоверности своих сателлитов. Здесь проявляется коренное отличие подхода Кеннана от моего подхода. Я полагаю, что советские вожди остаются приверженцами марксизма-ленинизма, и потому их дипломатия не может не быть экспансионистской. Само собой разумеется, что инакомыслие Венгрии (1956), или Чехословакии (1968), или Польши (1980) тем меньше приемлемо для Кремля, чем больше оно ставит под вопрос военную машину Варшавского альянса; но предполагать, что в случае отсутствия американских войск в Европе советские руководители смирились бы с ересями своих протеже, — значит наделять их таким умонастроением *(fed up),* какое, как мне кажется, противоречит всему тому, что мы знаем о московских олигархах.

XI
ВОЙНЫ XX ВЕКА

Хотя мой выбор в 1944–1945 годах пал на журналистику, я не отказывался от преподавания: несколько курсов в Национальной школе администрации и в Институте политических исследований, лекции в зарубежных университетах, в особенности в Манчестере и Тюбингене, свидетельствовали о сожалениях и о ностальгии. В течение этого десятилетия жизни в изгнании или вне моей профессии я пытался не терять связи с философской и социологической литературой. Но события, равно как и журналистское ремесло, захватывали меня. Мой ум был занят прежде всего восстановлением Франции и Европы, проходившим среди пропагандистского шума. Поэтому мне не удалось четко разделить статьи в «Фигаро», с одной стороны, и «научные» труды — с другой, меня увлек легкий путь: я написал две книги, «Великий Раскол» и «Цепные войны», представлявшие собой попытку непосредственного философского осмысления истории-которая-делается; оно должно было служить рамкой и базой для моих ежедневных и еженедельных комментариев, для определения моих позиций.

Перечитывание (или, скорее, перелистывание) этих книг всегда приводит меня в дурное настроение. Я спрашиваю себя: что меня влекло к такого рода литературе, которая, правда, в те времена была менее обильна, чем сегодня. Если «Великий Раскол», увидевший свет в 1948 году, имел успех в интеллектуальных или политических кругах, то потому, что в этой книге была в общих чертах нарисована одновременно карта мировой политики и карта французской политики. Один из критиков, Роже Кайуа, написал, что «Великий Раскол» содержал в себе три книги или элементы трех книг: одну — о планетарном соперничестве двух великих держав, другую — о деградации марксизма в советизм, третью — о кризисе французской демократии. В каком-то смысле сама по себе конструкция книги содержала вывод: именно в свете дипломатической обстановки и идеологического раскола становится понятной политическая ситуация во Франции. Я хотел, чтобы французы, которые в течение четырех лет были оторваны от внешнего мира, поняли: французский «шестиугольник» принадлежит целому — Западной Европе, а она, в свою очередь, является частью того, что Андре Мальро назвал атлантической цивилизацией; роль участника мировой истории отличается по своей природе от роли великой

державы, которую Франция играла в европейском концерте, но это изменение роли отнюдь не означает превращения нашей дипломатии в пустоту. Европа не может более обходиться без Франции, как и без Германии, или, правильнее, Европа более не в состоянии обойтись без этих двух стран, возродившихся и примирившихся.

Формула «Мир невозможен — война невероятна» попала в цель; и сегодня она остается верной, хотя в ряде случаев государственные деятели Запада не всегда улавливают ее смысл; или, скорее, в условиях «разрядки» они не сознают ее долговременную истинность. Позволю себе привести фразы из моей книги: «Ныне уже не существует европейского концерта, есть лишь мировой концерт»; «Расширение политической сцены изменило шкалу мощи. Та или иная нация, представляющая крупную величину в европейских рамках, становится малой в мировом масштабе»; «Германия, если даже предположить, что ей удастся через несколько лет подняться из руин и восстановить свое единство, относится уже к низшему классу». Исходя именно из этого, я рационально обосновывал политику примирения с Германией, политику, которую защищал в своих статьях.

В дипломатическом поле, охватывающем всю планету, дипломатия становится тотальной: «Традиционное понимание мира предполагало ограничение дипломатии в двояком смысле: ограничение ставок в конфликтах между государствами, ограничение в использовании средств, когда пушки замолкают. Сегодня же все ставится под вопрос — экономический строй, политическая система, духовные убеждения, выживание или исчезновение правящего класса. Без единого выстрела, благодаря триумфу коммунистической партии страна рискует познать тяготы поражения… Подлинные границы ныне те, что проходят через самое сердце народов, бывших когда-то едиными, и разделяют между собой американскую партию и русскую партию. Электоральная карта не отличается от стратегической карты». Эта формула упрощает ситуацию, которая уже тридцать лет назад была более сложной, но сохраняет часть своей истинности: борьба между коммунизмом и его противниками развертывается именно внутри государств, причем не всегда ее инструментом являются избирательные бюллетени. Эта борьба распространяется на весь мир, хотя обстановка в некоторых его регионах, как кажется, стабилизировалась (в Европе, к примеру), хотя не все конфликты между государствами и внутри их обусловлены соперничеством двух великих держав. В Европе 1947–1948 годов их дуэль поглощала, если можно так выразиться, все остальные схватки.

«Невозможный мир» не зависит только лишь от тотальной дипломатии: «С „Интернационалом“ или без него, с Коминформом или без него, коммунистические партии постоянно плетут заговоры с целью открыть путь для русско-советского империализма. Неограниченные цели и постоянная война — эти две черты позволяют определить империализм Москвы как империализм преимущественно советский, а не русский. До тех пор пока русский народ останется в тюрьме лжи и НКВД, пока он будет испытывать тяготы и лишения, сравнимые с муками гарнизонов осажденных крепостей, „холодная война“, вероятно, будет то усиливаться, то затихать, но не оставит надежды на мир».

В противовес этому выводу или в дополнение к нему я замечал: «Отсутствие мира не есть война. Благодаря источнику энергии, который до сих пор не был известен или не использовался, открывается, в нормальных условиях, эпоха в военном искусстве и одновременно — во всей цивилизации. Но между испытанием и доработкой нового оружия проходит время. Никто не знает, является ли атомная бомба абсолютным оружием или, когда станет таковым, окажется ли оно способным само по себе принудить противника к капитуляции. Этим объясняется нынешнее равновесие, хрупкость которого не исключает его продолжительности».

Является ли Сталин новым Гитлером? «Национал-социалистической идеологии суждено было погибнуть вместе со своим основоположником, коммунистическая идеология родилась раньше того, кто является на какой-то срок самым могущественным, если не самым признанным, ее выразителем, и она его переживет. Империализм Сталина не менее чрезмерен, чем империализм Гитлера, он менее нетерпелив».

Две последние части книги, «Французский раскол» и «Реформы», вызвали больше споров собственно партийного характера, ибо я четко заявлял о себе как о стороннике РПФ, иначе говоря, голлизма. На страницах газеты «Монд» Морис Дюверже попытался доказать, что я в глубине души не являюсь настоящим голлистом — в этом он не ошибался. В предисловии книги я заявил, что выступаю с партийных позиций, а не как ученый. Дюверже ответил мне, что считает «Великий Раскол» произведением научным, своего рода учебником по современной политической социологии, и что «Арон как человек партии не находится на высоте человека науки: этот прекрасный социолог является плохим партийцем… Ему недостает не только искренности, но и просто веры».

Критика это или похвала? Не знаю. Но разве я претендовал когда-нибудь приобрести достоинства хорошего приверженца партии! Однако можно ли по прошествии времени сказать, что события подтвердили главное возражение г-на Дюверже? Возможен ли демократический голлизм, спрашивал он. На его взгляд, вся книга представляла попытку доказать, что умеренный голлизм возможен, сам же Дюверже такую возможность отрицал. В одном он был прав: если стиль политического движения гораздо лучше программы определяет его истинную природу, то не отделяла ли пропасть голлизм генерала де Голля от голлизма «Великого Раскола»? Возможно, но, по определению, стиль харизматического вождя не походит на стиль аналитика. Поскольку РПФ потерпела неудачу, вопрос остается открытым. Но в 1958 году голлизм пришел к власти вместе с генералом де Голлем, без РПФ, и режим оказался похожим на умеренный голлизм, который политолог заранее считал невозможным, обреченным на восхождение к вершинам авторитаризма.

Ближе к концу книги, на последней странице главы «Интеллектуальная реформа», я писал: «За рамками кризиса [1948–1950 годы] мы вновь обнаружим несложные составляющие французской проблемы. Франция не смирится с авторитарным режимом, который в нашу эпоху в большей или меньшей степени перерождается в тоталитарный режим[140], но она не поднимется вновь, если даст себя увлечь в сумятицу беспомощного плюрализма. Восстановление Государства, устойчивость исполнительной власти, ограничение профессиональных организмов, улучшение административной техники и повышение экономической компетентности — все эти реформы вместе взятые, ни одна из которых не представляет собой ничего необыкновенного и не является самодостаточной, приблизили бы нас к цели, то есть к умеренному режиму власти[141]. Государство стало бы сильным, но отнюдь не всеохватывающим. Партии и профсоюзы обладали бы свободой, но не всемогуществом. Парламент осуществлял бы законодательную и контрольную функции, он отказался бы от управления. Экономика была бы ориентируемой, но не руководимой». Пятая республика вплоть до настоящего времени, то есть до 1981 года, походит на эту «утопию». Привела ли бы победа РПФ к такому же результату? Этого мы никогда не узнаем. Во всяком случае, в 1948 году мы могли предполагать пришествие умеренного голлизма, который занял бы место Четвертой республики, способной «в настоящей своей форме к сохранению, но лишенной способности к обновлению». Скажу также, что Конституция 1958 года, пересмотренная в 1962-м, оказалась гораздо более радикальной,

чем та, о которой я помышлял, и повлекла за собой некоторые из социальных и экономических реформ, проведения которых я желал. Когда Генерал пришел к власти, никто не стал опасаться создания однопартийного режима.

Я не отказывался от сравнения с бонапартизмом, подобно тому, как это делал, хотя и с большей тревогой, когда-то в Лондоне, на страницах «Франс либр»: «Верно, что РПФ принадлежит к тому роду бонапартистских движений, которые возникали во Франции в прошлом веке, в период от Наполеона I до Буланже, включая эпоху Наполеона III, когда эта страна уставала от парламентского хаоса, поскольку реставрация монархии была исключена. На сей раз объединение вновь совершается вокруг человека, политический маршрут которого проходил от левого фланга к правому, который восстановил Республику до того, как собрал людей, в большинстве своем придерживающихся правых взглядов. Но от бонапартизма прошлого века РПФ отличается прежде всего личностью своего вождя. Генерал де Голль уже находился у власти. Если он и совершал ошибки, если управлял экономикой не лучше и не хуже тех, кто его сменил, то проявил столько же заботы о законности, сколько и о власти. Он не питал приязни к парламентариям и к их изощренности, но не большую приязнь испытывал к власти без границ и без правил. Режим, о котором он помышлял, ближе к президентской демократии, чем к деспотизму».

А. Фабр-Люс упрекнул меня в том, что я лицемерно присоединяюсь к замаскированному фашизму, но такой упрек мне кажется по меньшей мере резким. Следующий пассаж книги передает в сжатой и упрощенной форме то, что я думаю об этом решающем вопросе истории нашего времени: «Фашисты не нашли другого способа борьбы с коммунистическим тоталитаризмом, кроме антикоммунистического тоталитаризма. Мифу о пролетарском освобождении они противопоставили миф о национальном величии. Охваченные имперскими грезами, они вовлекли мир в кровавый потоп и разрушили Европу, которую якобы намеревались объединить. И если бы даже у голлистов возникло желание повторить фашистский опыт, они оказались бы явно неспособными это сделать, ибо народы уже обрели невосприимчивость к восхвалению нации. Но вопрос по-прежнему стоит. Повсюду в Европе люди спросили себя: в 1945 и в 1946 годах — можно ли править совместно с коммунистами? В 1947-м — можно ли править без них? А в 1948-м люди задаются вопросом: как править против коммунистов?»

Генерал де Голль и его преемники правили, по видимости, против коммунистов, проявляя, однако, в порядке компенсации,

некоторое попустительство по отношению к Советскому Союзу, попустительство, которое усиливали приступы антиамериканизма. Впрочем, в это же самое время коммунисты проигрывали в Западной Европе «холодную войну», во всяком случае идеологическую войну.

Книга «Великий Раскол» появилась в 1948 году, то есть до окончательного распада Великого Альянса против Третьего рейха, до спора об Атлантическом пакте и о нейтрализме. «Монд» посвятила книге статью, написанную Морисом Дюверже, статью столь хвалебную[142], что я был потрясен, однако не рассеявшую мои сомнения относительно достоинств самого жанра книги, философско-журналистического: «…все коренные проблемы, терзающие людей нашего времени — политические, социальные, экономические, — поставлены здесь ясно и открыто: переплетение причин и следствий разбирается с проницательностью почти болезненной в силу своей строгости. Мы хотели бы, чтобы общественное мнение, ослепленное лозунгами, совершенно различными по своим словам, но равными по своей глупости, постоянно обращалось к этому своду политических знаний нашего времени, освоение которого было бы для него настоящим курсом лечения от отравления».

Позволю себе привести отрывки из двух писем, ибо они принадлежат перу двух светил науки и выражают две противостоящие друг другу реакции французской intelligentsia. Из большого письма Александра Койре, моральный авторитет которого был не меньшим, чем авторитет интеллектуальный, процитирую следующие строки: «Спасибо за ваш „Великий Раскол“, который прочитали мы оба… с величайшим интересом и удовольствием. Удовольствие это было сугубо умственным, ибо представленный вами анализ обстановки в Европе и особенно во Франции не особенно радует. И можно спросить себя, не проиграна ли заранее битва (для Европы), если перед лицом советской Европы (ибо нельзя не видеть, что через двадцать лет все сателлиты станут составными частями СССР; именно в результате сопротивления этому плану Димитров впал в ересь, а Тито пошел на раскол), сплоченной единой волей, обладающей последовательными целями, неисчерпаемыми людскими и материальными ресурсами, окажется наша бедная „Европа“, расколотая, колеблющаяся, подрываемая изнутри пятой колонной коммунистов, парализованная войной, соперничеством больших и малых (средних) государств, ее составляющих, мягкотелостью и глупостью ее „элит“. Останутся ли у нее какие-то шансы… Я был рад тому, что, как увидел, вы высказали некоторые истины нашим друзьям из „Эспри“ и „Тан модерн“. Дорогому Мерло-

Понти, желающему всего и сразу — только так! и всем этим глупцам или, если хотите, „прекраснодушным“ („schône Seelen“), наглядные образцы которых дает нам „Час выбора“[143]…» Затем анализировались мотивы, по которым интеллектуалы вступали в компартию или становились ее попутчиками: «Великое преимущество — принадлежать к Торжествующей Церкви, к Церкви, которая способна раздавать спасение и предоставлять теплые местечки. Что до остального… Человек есть животное религиозное, и, вопреки Аристотелю, ничто он так не ненавидит, как мысль. Как сказал наш друг Жолио-Кюри одному из моих друзей: „Так хорошо быть в партии, нет больше необходимости думать…“ Не правда ли, к тому же, что Бог, или Weltgeist [мировой дух], — или история — на стороне Сталина (Бог всегда на стороне больших армий), поскольку Он начиная с 1918 года ухитряется его спасать и выдвигать самыми диалектическими способами?»

Люсьен Февр написал мне письмо еще до того, как прочел всю книгу, ибо, по его признанию, одна фраза на восьмой странице его поразила и ранила: «Вы говорите, что американское влияние не подразумевает ни ассимиляции, ни имперского господства. Увы! Мы, „французская культура“, которую „американское влияние“ столь сильно атакует, поражает, преследует, как мы хотели бы иметь силы, чтобы принять ваш символ веры или, следует сказать, символ надежды?

Вот уже три года, как на всех международных собраниях, организуемых ЮНЕСКО, нам, французам, приходится противиться грубой воле „наших американских друзей“ в сферах науки, культуры и просвещения. Вот уже три года, как мы сталкиваемся с самой последовательной и самой систематической политикой подавления нашего языка и наших идей… Конечно, я определенно считаю манихейство, о котором вы говорите, *главной* опасностью, угрожающей сегодняшнему миру. Но для того, чтобы бороться против него, бороться эффективно, надо совершенно отчетливо видеть обе опасности. В конечном счете они друг друга стоят. И следует бороться против них с одинаковой страстью, если ты француз и сознаешь, что представляет собой Франция. Я говорю это без политической предвзятости… И я, увы, остаюсь убежденным в том, что необходимо сражаться не на одном фронте, но на двух, чтобы сохранить в мире хотя бы толику свободы духа и критической мысли, если время еще не упущено».

Формула «обе опасности в конечном счете друг друга стоят» обретает всю свою значимость, свою символическую ценность, исходя от такой личности, как Люсьен Февр, которому в начале

его жизни был свойственен прудонистский анархизм в духе Юрской федерации (Бакунин — Кропоткин) и который был полной противоположностью сталиниста. «Американский конформизм» и «сталинизм» казались многим французам почти равнозначными. Практическая деятельность ЮНЕСКО в первые послевоенные годы (я лишь один раз, в 1950 году, присутствовал на Генеральной ассамблее этой организации) бесспорно должна была возбуждать и питать антиамериканизм. Интеллектуал с горечью воспринимал отступление французского языка и французской культуры — отступление неизбежное, даже если бы «американский империализм» не существовал. Реакция Люсьена Февра отражала состояние духа значительной части intelligentsia; была ли эта реакция поверхностной или имело место глубокое убеждение? В конце концов, именно в Соединенных Штатах после войны прошла переподготовку значительная часть наших исследователей. В том же самом году переворот в Праге и план Маршалла заставили (или должны были бы заставить) отказаться от проведения параллелей между двумя великими державами или между двумя фронтами.

Кроме этих двух писем, в каждом из которых ставилась жизненная проблема, в одном случае — дипломатическая, в другом — культурная, я получил, как кажется, больше писем или хвалебных отзывов, чем после публикации любой иной моей книги. Я еще продолжаю задаваться вопросом о причинах этих чрезмерных похвал. В какой-то мере именно то, что составляло достоинство книги в свое время, обрекало ее на недолгое существование. «Свод политических знаний» объемом 347 страниц, «магистральное произведение философа и журналиста» — эти формулировки рецензентов выявляли, возможно, неосознанные амбиции автора труда. В 1948 году его синтетичность позволяла удовлетворять любознательность публики, плохо понимавшей последствия Второй мировой войны. Сегодня по всем темам, которые я рассматривал, существует обширнейшая литература, что переводит мое эссе в разряд книг о текущих событиях.

В предисловии к «Великому Расколу» я писал: «В этой книге вы не найдете ни теории войн XX века, ни теории тоталитарных режимов или парламентских демократий, ни теории капиталистического развития». И добавлял, что надеюсь где-то еще разработать эти теории с большой основательностью. Через несколько лет я действительно попытался это сделать; в книге «Цепные войны», увидевшей свет в 1951 году, содержался набросок теорий, о которых шла речь в 1948-м.

В первых двух частях этой книги, озаглавленных «От Сараева

к Хиросиме» и «Перекресток Истории», была сделана попытка философски обобщить, в духе Огюста Конта или Антуана Курно, историю истекших пяти десятилетий XX века. Каким образом война 1914 года, которая начиналась подобно многим другим европейским войнам, превратилась в гиперболическую, по выражению Гульельмо Ферреро? «Техническая неожиданность» застигла врасплох ответственных лиц, штатских и военных. Общество Нового времени в буржуазную и либеральную эпоху все целиком мобилизовалось под руководством Государства, чтобы в течение нескольких лет содержать миллионы вооруженных и экипированных солдат. В период с 1914 по 1918 год Европа постепенно открывала для себя тотальную войну и войну техники. После неуспеха в битве на Марне немцы зарылись в землю. Благодаря окопам, равенству сил беспощадная борьба затянулась; под железным градом люди погибали тысячами ради нескольких километров или нескольких сотен метров территории.

Рамки Второй мировой войны расширились благодаря совершенно иному процессу. Первоначальные победы Гитлера привели к тому, что в 1939–1945 годах военные действия охватили всю планету. В 1918 году танки способствовали успехам союзников. В 1945 году атомная бомба вызвала капитуляцию Японии. Две войны XX века отличались одна от другой по своему ходу, по стратегическому и тактическому стилю, но обе они привели к выходу за всякие рамки, к уничтожению побежденного и благодаря кумулятивному эффекту к возникновению новой карты мира. Первая мировая война, которую А. Тойнби и А. Тибоде сравнивали с Пелопоннесской войной, поколебала структуру Республики европейских государств. Вторая же война окончательно лишила Европу ее превосходства. Государства периферии вышли на первый план. Одно из них объявляет себя приверженцем идеологии XIX века, разработанной немецким интеллектуалом, выходцем из еврейской семьи, принявшей христианство. Другое государство сохраняет верность философии Просвещения в ее англо-американской версии. Советский Союз и Соединенные Штаты притязают на европейское наследство. У мертвого тела наций Старого Света становится неизбежным столкновение этих двух государств, совместно одержавших победу; в то же самое время разработка оружия массового поражения глубоко изменяет сущность войны и отношения между государствами.

В других частях книги рассматривались проблемы сегодняшнего дня и перспективы на будущее. Я попытался вглядеться в то, что произойдет в ближайшем будущем, с

помощью метода, развивавшего тот, который я использовал для осмысления событий первой половины века. Попытка была амбициозной и почти неосуществимой. Глядя в прошлое, я различал, насколько мог, то, что вызывалось необходимостью, и то, что было случайным. То же самое различение, при взгляде на будущее, оборачивалось в итоге вопросами. Главный вопрос был поставлен в главе XIX: готовит ли «холодная война» войну тотальную или является ее заменителем? Я склонился к идее о «заменителе», идее, которая до настоящего времени подтверждается. К сожалению, я не ограничился в своем анализе условиями «холодной войны», оборонительной стратегией Запада и более сотни страниц посвятил Европе, ее шансам возродиться, защитить себя, объединиться. Рассматривая эти проблемы, я слишком увлекался нюансами, разочаровывая читателя тем, что чересчур сильно подчеркивал неопределенность будущего.

Наконец, в книгу были включены дополнительные главы, одну из которых («Тоталитаризм») высоко оценила Ханна Арендт 187, она, как кажется, и вдохновила меня на написание этой главы. В результате объем тома еще более увеличился. Указанные главы, объединенные под общим названием «Ставка», усиливали ощущение того, что книга представляет собой собрание отдельных очерков, не расположенных в четком порядке и не связанных тесно друг с другом. Поэтому сегодня я без особых оговорок принимаю критические замечания, которые высказал мой друг Манес Спербер в своем письме, а также Морис Дюверже — в статье, опубликованной в газете «Монд». «Между нами, — писал Спербер, — это не книга, но статьи, составленные вместе в соответствии с хронологической системой, которая здесь плохо подходит, даже противоречит вашим фундаментальным тезисам[144]. Отсюда — повторы, которые в других случаях вам отнюдь не свойственны… Вы, дорогой мой друг, почти так же дерзки, как и я сам, но на этот раз вы решительно себя недооценили, вы покорились требованиям журналистики, когда вам приходится говорить о предметах, которые журналисты, в лучшем случае, усваивают, но которым они никогда не учат…» Это строгое суждение уравновешивалось более снисходительной общей оценкой: «497 страниц, в частности 250 в первой части и во втором разделе третьей части (о бессилии Европы), принадлежат лучшим страницам, in denen eine Epoche ihrer selbstbewusst wird[145]. Стр. 247: блестящая журналистика, лучшая на сегодняшний день, но текст грешит повторениями, излишней напористостью».

Статья Мориса Дюверже, которая в то время вызвала у меня раздражение, сегодня мне кажется во многом справедливой:

«Техника написания „Цепных войн“ заставляет вспомнить технику написания „Кувшинок“ Клодом Моне. Отчаянные усилия этого художника передать все оттенки света, рассмотреть тысячу его переливов, нарисовать все его отражения, даже легчайшие, приводят к тому, что образуется золотистый туман, в котором существенные черты предметов расплываются, растворяются, стираются. Постоянное стремление Арона смягчать любое первоначальное утверждение и тому подобное с помощью ряда интеллектуальных ухищрений иногда приводит к сходным результатам»[146]. Я оставляю в стороне лестные слова, которыми, в порядке компенсации, М. Дюверже награждает некоторые главы книги.

В Соединенных Штатах «Цепные войны» имели определенный успех у читателей, который объяснялся не только авторитетом автора. Я был очень удивлен, когда узнал осенью 1980 года, что один американский издатель намеревается переиздать эту книгу под названием «Век тотальной войны» («The Century of Total War»), названием, возможно, более подходящим, чем французское. Анри Гуйе написал, проявив дружеские чувства, которые он всегда ко мне испытывал: «„Цепные войны“ представляются наглядной иллюстрацией к „Введению в философию истории“. Страницы о Необходимости и случайностях, а также последние абзацы труда стыкуются друг с другом…», и еще: «Читая Конта, я узнал обо всем, что кроется под словами „исторический анализ“. И именно это я вновь увидел в вашей книге, выраженное с умом, без предубеждения, вызываемого законом [Конта] о трех состояниях общества».

Изложенная в общих чертах теория нашей «тридцатилетней войны» противопоставлялась теории, сформулированной Лениным в книге «Империализм, как высшая стадия капитализма». Но это противопоставление, содержавшееся в первой части книги — «От Сараева к Хиросиме», не было в ней центральным и тем более не составляло ее цели. Я пытался на конкретном материале проиллюстрировать мысли, которые когда-то развивал во «Введении в философию истории» относительно исторического детерминизма. Сам ход анализа постепенно приводил к опровержению ленинизма. На обе войны XX века наложила отпечаток природа обществ, которые их вели и которые эти войны, в свою очередь, преобразили, но экономическое соперничество крупных капиталистических стран не являлось ни глубинной причиной, ни детонатором указанных войн, не определяло то, что в них было поставлено на карту.

И в первой, и во второй части книги я выявлял случайный характер событий — по тому, как они произошли, по их срокам,

по их формам, по их деталям. Одновременно я раскрывал «глубинные причины» и «глобальные данные», обусловливающие возможность, но не неизбежность наступления, в момент, заранее не определенный, событий, сравнимых с теми, которые действительно произошли. «Дипломатическая промашка», развязывание Первой мировой войны, хотя ни один из ее главных участников сознательно и прямо ее не желал; «техническая неожиданность», затягивание военных действий, хотя, как рассчитывали в генеральных штабах обеих сторон, они должны были бы закончиться через несколько месяцев. Временное превосходство оборонительных средств над наступательными, неподвижные линии фронтов, мобилизация промышленности и всего населения сделали возможной гиперболическую войну, породившую революции и обескровившую все европейские народы.

«Если мы хотим понимать обе войны как элементы одного и того же целого, как эпизоды одной и той же борьбы, то следует говорить не только лишь о „вечной Германии“, но об этом трагическом переплетении причин и следствий, о динамизме насилия. Все „монистические“ теории — и обвиняющие немецкую нацию, и выставляющие преступником капитализм — несерьезны. В историческом разрезе их можно сравнить с мифологиями, заменявшими науки о природе в те времена, когда люди были не в состоянии понимать механику действия естественных сил… Речь идет о понимании истории в полном смысле этого слова. Определяющие черты ее мы ретроспективно рисуем, хотя и не вправе заявлять, что действительное завершение событий можно было заранее предвидеть в силу его обусловленности движущими силами нашей эпохи. Локальный конфликт благодаря игре дипломатии на равновесие превратился в европейскую войну, а она в условиях индустриализации, демократии, примерного равенства противостоящих сил переросла в войну гиперболическую; а эта последняя, в свою очередь, подточила самое слабое звено в европейской цепи. Революция ворвалась в Россию, рухнули троны европейских монархов и последние многонациональные империи. Имея по одну из своих сторон большевистскую Россию, Европа буржуазных демократий и независимых наций попыталась возродить мировой порядок, который существовал до 1914 года и который она с упорством считала нормальным. Кризис 1929 года взорвал порядок в экономической и финансовой сферах, установленный со столь великим трудом. Безработица открыла шлюзы, и революционное движение привело немецкие массы к состоянию крайнего возбуждения. Начиная с этого момента, Европа, раздираемая

спорами между тремя идеологиями и в то же самое время традиционным соперничеством между державами, стала быстро скользить к катастрофе. Война, которая началась в 1939 году германо-советским альянсом и разделом Польши, на этот раз обошла всю планету, активизировав и расширив войну, свирепствовавшую в период с 1931 по 1937 год в Китае. Пожар, продолжавшийся шесть лет, оставил в Европе и в Азии выжженную землю. Не успел еще затихнуть гул взрыва первой атомной бомбы, как два истинных победителя уже стали засучивать рукава, готовясь то в одном, то в другом месте к окончательному выяснению своих отношений. Эта история настолько проста, что после случившегося мы удивляемся тому, как раньше она была для нас непонятной. Сегодня приходится, скорее, спорить с иллюзией о неизбежности происшедшего. В течение тридцати последних лет были моменты, когда судьба, если можно так сказать, пребывала в нерешительности, когда обозначались совершенно иные направления развития. Исход битвы на Марне [в 1914 году] был бы иным, если бы нашлись еще несколько армейских корпусов. Решающая победа Германии на Западном фронте сократила бы длительность войны, какой бы ни была политика России и Великобритании после разгрома Франции. Европа еще раз избежала бы возможной гиперболической войны, подобно тому, как это произошло в 1870–1871 годах.

Еще более ясно то, что если бы до начала Русской революции был заключен компромиссный мир, то он свидетельствовал бы о двойной прозорливости: немцы признали бы, что, имея в качестве союзника только лишь Австро-Венгрию, они не могут одержать военную победу над остальной Европой, а союзники — что не могут принудить Германию сдаться на милость победителя. Скольжение от Первой мировой войны ко Второй мировой войне также не было фатальным. Оно стало таковым в силу невероятного стечения глупости и невезения. С вековым опозданием британцы вспомнили тень Наполеона, потому что некий Пуанкаре с ожесточением защищал права Франции и проявил безразличие к экономическим последствиям санкций. Французская дипломатия была одновременно мелочной и жестокой по отношению к Веймарской республике, хотя великодушие и восстановление совместными силами разделенной Европы, очевидно, оправдали бы себя. Эта дипломатия проявила слабость и покорность по отношению к той Германии, которая поняла бы лишь силу и решимость к ней прибегнуть. После прихода Гитлера к власти еще были возможности отвратить рок. Военный ответ в марте 1936 года на

ввод германских войск в Рейнскую область по меньшей мере замедлил бы развертывание событий и, возможно, повлек бы за собой падение Гитлера. Вероятно (хотя не бесспорно), французско-британское сопротивление подтолкнуло бы участников заговора против Гитлера (среди них были некоторые военные руководители) к действиям. Во время войны англо-американцы могли бы поддерживать или вновь установить контакты с антигитлеровской оппозицией, попытаться победить Германию, не разрушая ее, не доводя войну до такой точки, когда уничтожение побежденного делает неизбежным столкновение между союзниками. Щадить врага, когда ты не уверен в своем союзнике, — таков вечный урок почтенной мудрости по Макиавелли».

Я обрисовал в том же стиле совмещение исторических рядов (выражение, заимствованное у Антуана Курно), подводя читателя к «Перекрестку Истории»: «Нынешняя констелляция находится в точке встречи трех рядов. Первый ряд приводит к планетарному единству и к двухполярной структуре дипломатического поля; второй — к распространению в Азии и Европе светской религии, метрополией которой изображает себя каждый из двух гигантов; последний ряд ведет к разработке оружия массового поражения, к тотальной войне, питаемой одновременно и новейшими научными изобретениями, и первобытной яростью; партизаны и атомная бомба предстают в качестве крайних форм неограниченного насилия». Я добавлял, что каждый ряд содержит в себе какую-то долю логики и какую-то долю случайности — такой подход обрекал меня на следование стилю Клода Моне, если вспомнить выражение Дюверже. Испытывая уверенность тогда, когда речь идет о глубинных силах, я всегда чувствую нерешительность, колеблюсь, когда перехожу к рассуждениям о ходе событий, близких или далеких.

Андре Каан прислал мне несколько вопросов в письменном виде, сугубо философского свойства, касавшихся трактовки исторического детерминизма. Вопросы эти выявляли несходство между обращением к прошлому и обращению к будущему. Приведу несколько отрывков из этого письма, ибо они того заслуживают, а также для того, чтобы дать представление об одном из самых безупречных людей моего поколения. Андре был человеком небольшого роста, внешне хрупким, болезненным, неловким в движениях и в разговоре, он стал борцом Сопротивления, попал в лапы гестапо и был брошен в один из концлагерей. Его старший брат также активно участвовал в Сопротивлении, ему была уготована сходная участь. Андре выжил, а брат его умер от тифа вскоре после победы союзников. И

тому, и другому были чужды политические расчеты, их вдохновлял моральный дух, без примеси эгоистических или низких мыслей, они воплощали идеальный тип философа-борца. Андре, которого я знал лучше, чем его брата, вызывал у меня ощущение какой-то святости. Итак, цитирую его письмо: «Мне кажется, что одним из выводов твоей книги, который я обнаруживаю и под которым, возможно, ты и не подпишешься, заключается в следующем: невозможно отвечать одинаково на вопрос об исторической необходимости, если она рассматривается исходя из действительности или же исходя из формализации. При первом подходе, без сомнения, никакую необходимость нельзя уловить с помощью позитивного мышления или даже просто здравомыслия, а цель или конец Истории, если только эти слова имеют какой-то смысл, так же далеки от нашего понимания, как в первый день. Напротив, трудно избавиться от впечатления, что формы выражения конфликтов, начиная с довольно отдаленного времени, оказались ориентированными на развязывание тотальной войны в силу неотвратимой необходимости. Если битва на Марне, как ты говоришь, заставила эту необходимость созреть, а противоположный исход битвы отсрочил бы ее наступление, то попытки правительства национальной обороны сопротивляться до конца могли бы ее приблизить на несколько недель». В этом пассаже Андре Каан, как кажется, ограничивает случайность каким-то сроком, то есть моментом, после которого эта тенденция неизбежно приходит к своему завершению.

Он не признает далее, что случайность есть результат совместного действия многих исторических рядов. Безусловно, оба ряда — технический прогресс и демократизация западных обществ — независимы друг от друга. «…Тем не менее данная независимость причин не могла бы обеспечить случайность результатов, если оба причинных ряда действуют в одном и том же направлении и если один из них может сам по себе привести к такому же исходу, как и два сопряженных ряда. Действительно, технический прогресс, как довольно ясно представляется, имеет автономию, которая достаточна для того, чтобы можно было предугадать его ориентацию и утверждать о его необратимости как целого. С другой стороны, оба ряда усиливают друг друга… Короче говоря, из твоей книги можно было бы сделать вывод, что, несмотря на случайность каждого из отдельных событий, которая обусловливает неопределенность времени и крепости результатов, движение к количественному и качественному расширению конфликтов подчиняется какой-то общей необходимости… С чем я прошу тебя согласиться, так это с идеей

о том, что в начале XX века факторы, способные ограничить обращение к насилию, могли, исходя из здравого смысла, рассматриваться как пережитки, обреченные на более или менее скорое исчезновение».

В последней части своего письма Андре Каан вглядывается в будущее: «Проецируемые на будущее неопределенности ставят под вопрос вероятную возможность ограничить тотальную войну. И здесь также я опасаюсь обнаружить оппозицию между положительным ответом, к которому побуждает мое философское сознание, и реальными характеристиками имеющейся констелляции». И Андре четко формулирует те тревоги, которые вызвала у него моя книга. «Возможно ли поставить абсолютную волю на службу относительной истины?.. Я задаюсь вопросом, не уменьшает ли наше время, получая все большую дозу социализма, еще значительнее надежду и веру в дело свободы… Фактически, возможность, в идеале, развести социализм как совокупность экономических технологий и как светскую религию подтверждена противостоянием Великобритании и Советов. Я опасаюсь, однако, того, что соблазн тоталитаризма для умов, привязанных к социалистической доктрине, коренится глубоко в идеологическом и эмоциональном духе этой доктрины».

Плюрализм ценностей, писал он, не существует без плюрализма социальных иерархий. И в заключение: «Тогда как несчастный пролетариат, восстающий против неравенства, взывает к вселенной рабов, иные философы соединяют непонятным для меня образом требования бесконечного разнообразия экзистенциального выбора с неприятием отчуждения, словно бы это отчуждение не проистекало из этого выбора… Во всяком случае, пока социализм не вспомнит, что он опирается на примат общества над государством, социалистическим партиям в их борьбе против коммунизма будет мешать комплекс неполноценности».

Эти уместные замечания некоторым образом напоминают о главной причине недостатков книги, той, которую я рассматривал немного выше. Могло ли то же самое различение причинных рядов и случайности событий одинаково служить как выявлению перспективы, так и выявлению ретроспективы? Было ли такое возможно? Во всяком случае, мне это не удалось, но объектом критики стала не работа в целом, а отдельные ее главы, причем каждый из рецензентов выбирал что-то свое. Морис Дюверже особо выделял главы о трансформации коммунизма, об эволюции лейборизма и о развитии национального социализма как «безусловно замечательные по анализу»; Манес Спербер отдавал предпочтение той части книги, которая была посвящена

«бессилию Европы». Я не согласен ни с одним, ни с другим. На мой взгляд, две первые главы — «Техническая неожиданность» и «Динамизм войны» намного превосходили остальные. Один проницательный читатель, Жан Дюваль, был согласен со мной.

Тогда же я написал для «Бюллетеня ученых-атомников» («Bulletin of atomic scientists») статью под заголовком «Полвека ограниченных войн» («Un demi-siècle de guerres limitées»). Восхождение к крайностям, завершавшееся «холодной войной» и соперничеством двух великих держав, ставило в то же самое время исторический вопрос: не создает ли ядерное оружие (новшество, о котором говорил в своем письме Андре Каан), по крайней мере, шанс на прорыв, на снижение потолка насилия от крайнего к ограниченному? Но, с обратной стороны, такое снижение, пожалуй, приводит к расширению и увековечению насилия. Традиционный мир исчезает вместе с тотальной войной.

Философия истории, вдохновившая обе книги, колеблется между Марксом (а может быть, скорее Сен-Симоном) и Шпенглером. Хотя войны были вызваны национальными страстями — теми, что раскалывали двуединую монархию, теми, что воспламеняли германские массы и самого Гитлера, — все же монстра войны в период с 1914 по 1918 год питали производительные силы благодаря переводу промышленности на военные рельсы, и те же самые силы обеспечили Соединенным Штатам мировую гегемонию после крушения японской и гитлеровской империй. И именно наука, как основа техники, привела к новой фазе отношений между государствами.

Тему «технизации» планеты поднимали в равной мере авторы от Сен-Симона до Маркса, от Шпенглера до Хайдеггера. То, что оказалось под вопросом сразу же после окончания войны и что остается под вопросом сегодня, — это будущее, которое несет в себе техническая революция, это судьба, которую она готовит Западу. По Марксу, наука сама по себе представляет производительную силу; сразу же после того, как капитализм рухнет под тяжестью собственных противоречий, она создаст гуманное общество, где исчезнет эксплуатация человека человеком. По Шпенглеру, триумф техники приведет к распространению городов и демократии, масс или рабов, а одновременно и к распаду культурных форм. Я не соглашался ни с одним из этих философов, теории которых сопоставил тридцать лет спустя в книге «Слово в защиту Европы в упадке» «Plaidoyer pour l'Europe décadente». Ни рационалистический оптимизм одного, ни стоический фатализм другого — необходима открытая философия, смиренно признающая пределы нашего знания,

избавляющаяся от Прометеевой гордыни и от биологического фатализма, не завершающаяся ни победными кличами, ни возгласами отчаяния.

В последних строках главы, посвященной будущему Европы, я предсказывал конец европейских империй: «Недостаток пространства создает для сообществ такую же опасность, как и недостаток кислорода — для человеческих существ. Пока русская армия останется в каких-то двухстах километрах от Рейна, Европа будет испытывать угрозу удушения… Идет ли речь об экономическом прогрессе или о духовных обменах, люди Запада не страдают от недостатка дел, представляя собой привилегированное меньшинство, располагающее значительно большими средствами производства и техническими знаниями, чем остальное человечество. Европейцам отнюдь не нужны колониальное господство или зоны влияния для того, чтобы поддерживать свое присутствие и продолжать выполнение своей исторической функции. Европе следовало бы меньше опасаться крушения империй, чем враждебности их прежних хозяев, стран, ставших независимыми».

В более резкой форме я осуждал французскую политику в Индокитае: «Мы вызвали (или не смогли предотвратить) то, чего следовало бы более всего опасаться, — бесконечную войну против индокитайского сопротивления, руководимого коммунистами, но включающего огромное количество националистов. С самого начала у нас был выбор между двумя подходами: или честно удовлетворить основные требования Хо Ши Мина, а именно — предоставить независимость Индокитаю, Союзу трех его стран, более или менее свободному в своих связях с Французским Союзом; или же — в том случае, если бы мы сочли невозможным вести переговоры с Хо Ши Мином, — поддержать создание национального правительства, которому мы могли предоставить главное из того, в чем отказали бы сталинскому агенту. Вместо решительного выбора определенной политики и следования ей мы стали колебаться. Мы признали Хо Ши Мина в качестве руководителя национального сопротивления, в 1946 году вели с ним переговоры, торжественно у себя принимали. Но, продолжая тем самым придавать ему дополнительный престиж, мы внешне повели двойную игру. Мы должны были бы желать создания Индокитая и независимого и дружественного. Возможно, эта цель с самого начала была недостижимой, независимый Индокитай, вероятно, стал бы коммунистическим. Но, с точки зрения самой Франции, такой исход обошелся бы дешевле войны». И немного ниже: «Франция, не имеющая средств для защиты своей собственной территории, растрачивает ресурсы в авантюре,

оправданной на худой конец с точки зрения мировой дипломатии антикоммунизма, но отнюдь не с точки зрения собственного интереса страны».

В Лондоне я без обиняков высказывался о будущем Индокитая: я желал, чтобы Франция предоставила независимость трем странам полуострова. Никаких сомнений относительно моих чувств не оставляла статья, опубликованная мною в «Комба» 16 декабря 1946 года, в тот момент, когда вспыхнула война (эта статья уже упоминалась в другой главе).

Начиная с 1949 года и особенно со времени корейской кампании, Франция находилась в ловушке. Вчера американцы ее критиковали, теперь они вдруг стали ее поддерживать. Мы приняли обязательства по отношению к ассоциированным государствам и к Бао Даю. Мы не могли оставить вьетнамские войска, которые сами создали, организовали, вооружили, разве что в случае какого-то удара, военного поражения. Начиная с 1950 года, после неудач на границах, руководители Четвертой республики уже не питали иллюзий. Они искали повода для отступления. Направляя в Индокитай Латтра де Тассиньи, они надеялись получить от него доклад, который позволил бы резко повернуть их политику или по меньшей мере внести в нее изменения.

Генерал де Голль не облегчал задачу должностным лицам. В свое время он назначил губернатором Индокитая Тьерри д'Аржанлье, священника-адмирала, человека, напустившегося на генералов, которые «не хотели сражаться», сформировавшего правительство Кохинхины [Южного Вьетнама] по приказу правительства из Парижа как раз тогда, когда в Фонтенбло Ж. Бидо вел переговоры с Хо Ши Мином. На своей пресс-конференции 14 ноября 1949 года Генерал заявлял: «Франция должна остаться в Индокитае. Она должна остаться там ради Индокитая, ибо без присутствия и поддержки Франции были бы подорваны независимость, безопасность, развитие Индокитая. Кроме того, с течением времени становится все более очевидным, что индокитайские события являются лишь частью единого целого. В действительности речь идет о том, останется ли Азия свободной. Если сотрудничество свободного мира со свободной Азией сочтено полезным, то я не вижу причин, по которым Франции не следовало бы сотрудничать с Индокитаем».

Шестнадцатого марта 1950 года он заявил, что несет ответственность за направление уже в 1945 году в Индокитай экспедиционного корпуса, что гордится этим. Без французской армии победу одержал бы Хо Ши Мин и «Индокитай Хо Ши Мина оказался бы лишь придатком известной вам евразийской

системы. Поэтому необходимо, чтобы Франция и французская армия остались в Индокитае. Для этого им необходимо иметь действенные средства». Генерал добавлял даже, что именно благодаря посылке французских солдат в Индокитай «Французский Союз стал приобретать определенные очертания в умах людей всего света».

В следующем, 1951 году, 22 июня, он перечислил четыре проекта военных решений: «Можно оттуда уйти. Можно ограничиться обороной нескольких молов. Но это пораженческие решения. Что касается меня, то я их не принимаю». Третье решение совпадало с тем, которое выбрала Четвертая республика. Последнее решение заключалось в том, чтобы «послать новые силы, новые, с точки зрения личного состава и с точки зрения снаряжения… При этом двойном условии мы сможем окончательно решить военный вопрос в Индокитае». Верил ли генерал де Голль в военное решение проблемы? Если да, то как он ошибался!

Разумеется, я всегда без колебаний высказывал суждения, противоречившие тому, что думал Генерал, причем по всем вопросам, особенно — германскому. За «решение в пользу Хо Ши Мина» я выступал тем более уверенно, что помнил слова, которые не уставал мне повторять Андре Мальро в дни нашей совместной работы в Министерстве информации: «Для восстановления французской власти понадобились бы десять лет и полмиллиона солдат». Маршал Леклерк де Отклок разделял это мнение. При этом А. Мальро еще грешил оптимизмом: понадобилось бы не десять лет, а гораздо больше; и это было доказано. Впрочем, я никогда не слышал, чтобы он призывал воевать в Индокитае. А. Мальро выходил из положения, прибегая к бесспорным и несложным формулировкам: «Если правительство выбирает войну, то оно должно, по крайней мере, обеспечить экспедиционный корпус необходимыми материальными средствами».

В те годы я уже думал о новой книге, которая получит название «Мир и война между нациями» («Paix et guerre entre les nations»), и написал целый ряд статей, в которых рассматривались вопросы теории и методологии изучения международных отношений: «Напряженности и войны с точки зрения исторической социологии», «Об исследовании дипломатических констелляций», «Об исторических сравнениях», «О мире без победы», «В поисках доктрины внешней политики», «Можно ли ограничить войну в атомный век?»[147]

Некоторые идеи послужили, если можно так выразиться, мостиками между историческим анализом, развернутым в

«Великом Расколе» и в «Цепных войнах», и рассуждениями абстрактного и общего характера, подводившими к «Миру и войне».

Отправная идея, которая повторяется в ряде этих работ, возникла первоначально как ответ на тезис, провозглашенный экспертами — или так называемыми экспертами — ЮНЕСКО: «Война зарождается в умах людей»[148], а также на документ, подписанный группой экспертов, по вопросу о возможности устранения войны. Выступая против психологов и психоаналитиков, марксистов или антимарксистов, я высказал идею о том, что в качестве исходного пункта исследования войны надо принять ее определение как «вооруженного конфликта между двумя независимыми политическими единицами посредством вооруженных сил, организованных в стремлении проводить племенную или национальную политику», как специфического феномена, обнаруживающегося во всех цивилизациях, принимающего различные, но всегда узнаваемые формы. Другими словами; я ратовал за историческую социологию.

Я перечислял шесть вопросов, на которые должен ответить анализ какой-либо дипломатической констелляции. Три начальных, составляющих первую категорию, должны присутствовать в умах государственных деятелей: каково дипломатическое поле? Какова конфигурация отношений мощи внутри этого поля? Каковы методы войны, которые более или менее четко имеют в виду правители, оценивая позиции или отношения?

Первый вопрос, очевидно, мне подсказал опыт первой половины века. Государственные деятели или военные руководители, которые увлекли народы в великую войну 1914–1918 годов, не представляли себе, что Соединенные Штаты станут одним из участников, если не самым активным участником, драмы. Будучи великой державой в ограниченном пространстве Европы и ее владений, Франция перестает являться таковой в пространстве, охватывающем всю планету.

Второй вопрос вытекал из биполярности дипломатического поля, возникшей после разрушения Третьего рейха, и японской «сферы совместного процветания». Европейский концерт XIX века и первого десятилетия XX века основывался на существовании нескольких великих держав, имевших сравнимые силы, вступавших в неустойчивые союзы, которые предупреждали возвышение какой-либо «всемирной империи». Воспоминания о европейском концерте послужили мне материалом для создания идеального типа отношений мощи определенной конфигурации.

Разрыв между Соединенными Штатами и Советским Союзом, с одной стороны, и между ними и всеми остальными политическими единицами — с другой, был характерным для другого типа конфигурации — биполярного.

Расширение дипломатического поля зависит одновременно и от размера государств, и от уровня развития военной техники. Средства передвижения или перевозки сделали возможным решающее вмешательство Соединенных Штатов в Европе начиная с 1917–1918 годов. Уже Х. Маккиндера поразили первые две войны XX века — в Южной Африке [189] и в Маньчжурии. Царская Россия обеспечивала необходимым армию, сражавшуюся на расстоянии десяти тысяч километров от центров страны, в конце единственного железнодорожного пути; точно так же Англия благодаря владычеству на морях организовала снабжение экспедиционного корпуса, находившегося очень далеко от метрополии. Какие изменения в международных отношениях вызывала атомная бомба, революционное военно-техническое изобретение?

К этим трем вопросам, преимущественно политико-стратегическим, я добавил три вопроса политико-идеологического характера: насколько сталкивающиеся государства признают друг друга, с тем чтобы ставкой в их борьбе были бы только границы, а не само существование данных государств? Какова связь между внутриполитической игрой и решениями государственных деятелей? Какой смысл придают они миру, войне, межгосударственным отношениям?

Первый вопрос относился к альтернативе: имперские войны — национальные войны. Клаузевиц отмечал, что в донаполеоновские времена сюзерены не верили в возможность крупных завоеваний в Европе. При Наполеоне, при Гитлере само существование некоторых государств стало ставкой в войнах. Непризнание государств имеет место в различных обстоятельствах: когда победитель намерен навязать побежденному свою верховную власть; когда он считает какое-то население недостойным независимости; когда, наконец, воюющие стороны взаимно полагают, что их режимы и их идеологии несовместимы и поэтому ставят своей целью устранение режима и идеологии врага.

Второй вопрос связан с изучением внутренней политики. Президент Соединенных Штатов не руководит действиями своей страны на международной арене так, как руководит *политбюро* коммунистической партии действиями Советского Союза на этой арене. Американские социологи все большее количество исследований посвящают игре лоббистов, групп давления, прессы

и Конгресса, игре, ограничивающей свободу маневра президента и его советников (не говоря уже о соперничестве между различными государственными организациями, которым есть что сказать при обосновании дипломатического выбора).

На постановку последнего вопроса меня также вдохновила обстановка. Кремлевские марксисты-ленинцы не обозначают события словами, к которым прибегают вашингтонские руководители. По мнению Москвы, установление режима Кастро на Кубе знаменует этап в освобождении народов, ставших жертвами американского империализма. Советскую дипломатию вдохновляют теория и практика революции, эта дипломатия включена в глобальное видение истории. В американской же дипломатии сочетаются юридическо-моральный идеализм и реализм, который часто сам себя не осознает.

Спустя несколько лет я вернулся к этим вопросам в исследовании «Анализ дипломатических констелляций» и использовал их для того, чтобы разобраться в послевоенной обстановке. Особое внимание я уделил различению форм непризнания. В начале 50-х годов Запад не признавал ГДР, Соединенные Штаты не признавали даже аннексию балтийских государств. Для Советского Союза Республика Корея не существовала; для Запада несуществующей являлась Корейская Народная Республика. Рассмотрение методов дипломатии, которое дополнило третью тему, привело меня к анализу новых форм отношений между государствами (ООН, ГАТТ 190 и т. д.), точно так же рассмотрение военно-технических вопросов привело к анализу исторических последствий появления ядерного оружия. Проблематика Ганса Дельбрюка сегодня как никогда актуальна: историю войн можно понять только в рамках истории политических отношений.

В любой обстановке различаются *отношения мощи* (пределы поля, соотношение сил, военная техника) и *идеологический смысл*, придаваемый общению между собой государствами, в его мирных или военных формах, смысл, обусловленный одновременно связями между внутренней и внешней политикой, взаимным признанием или непризнанием государств, а также философией, из которой исходит дипломатия различных государств. Отношения мощи, с одной стороны, идеологический смысл, с другой стороны, — таковы два аспекта межгосударственной констелляции. Когда все государства придают один и тот же смысл дипломатии, она стремится к своему историческому типу — идеологически нейтральной дипломатии, соединяющей или разъединяющей государства, которые не стараются дестабилизировать друг друга путем вмешательства во

внутренние дела. Религиозная или революционная дипломатия преобладает в эпохи, когда конфликты между партиями и конфессиями совпадают с конфликтами между государствами или осложняют эти конфликты. После религиозных войн Европа искала и нашла спасение в кабинетной дипломатии и в подчинении Церквей и конфессий государственному интересу. После революционных войн она еще раз обратилась к некой форме государственной легитимности, этой опоре традиционной дипломатии. После 1917 года Европа вошла в новую идеологическую фазу, из которой еще не вышла и в которую увлекла весь мир.

В одной докторской диссертации, защищенной в Женеве, я обнаружил концепты, которые искал для обозначения двух типов международных отношений: *однородной системы,* где государства исходят из одинакового принципа легитимности; *разнородной системы,* где государства придерживаются противоположных принципов легитимности и потому руководствуются соображениями идеологического или религиозного порядка, помимо расчетов мощи. Автором этой диссертации являлся г-н Папалигурас, бывший несколько лет назад министром в правительстве К. Караманлиса.

Две войны XX века заставили меня также поразмышлять о гиперболической, по выражению Г. Ферреро, войне, о воле сражаться до победного конца, чтобы навязать противнику свои условия мира, но необязательно по карфагенскому образцу. Поэтому война в Корее мне показалась поворотным моментом: первый раз в своей истории Соединенные Штаты отказались от победы, означающей уничтожение. После пяти десятилетий тотальных войн открывались пять десятилетий ограниченных войн (так называлась моя статья в «Бюллетене ученых-атомщиков»).

В статье под заголовком «О войне без победы» («De la guerre sans victoire»), опубликованной осенью 1951 года, после китайской интервенции и стабилизации фронтов вблизи от демаркационной линии, проведенной в 1945 году, я предвидел компромисс без победителя и без побежденного. Как мне кажется, новое прочтение этой работы не совсем безынтересно. Со стороны Вашингтона «мир путем переговоров представляется минимальной целью, которую должна ставить перед собой великая держава. Какова бы ни была цена сражения, его следует продолжать вплоть до того момента, когда враг уступит, то есть откажется от намерения одержать решительную победу». Как обстоит дело с другой стороны? «Следуя логике, Китай и Советский Союз должны были положить конец войне в Корее

сразу же после того, как Кремль убедился бы, что Китай достаточно ослабел и послушен». Начиная с этого момента, я не верил в полное согласие между Советским Союзом и Народным Китаем. Добавлю, что статья была написана до инициативы Малика[149], которая привела к переговорам в Паньмыньчжоне.

Если каждая из воюющих сторон перестает ставить в качестве окончательной цели решительную победу, то мир (или перемирие) путем переговоров становится неизбежным. И возможный компромисс сводится к сохранению двух Корей: «Таким образом, представляется, что при существующем состоянии дел и умов возвращение к *status quo ante*[150] должно было бы стать ничтожным, абсурдным исходом войны, которая, вероятно, продлится более года». В действительности она продолжалась еще два года; американцы приостановили свои военные операции сразу же после начала переговоров, но китайские и советские представители отказались, по причинам, которые и сегодня остаются неясными, от уступок в вопросе о военнопленных: этих людей они хотели бы лишить возможности выбора между югом и севером Кореи, между Пекином и Тайванем. Уступка была сделана через несколько недель после смерти Сталина, что хоть как-то это объясняет.

Завершение корейской кампании становилось в моих мыслях символом конфликта Восток — Запад, рассматриваемого в глобальном плане: «„Холодная война“ равнозначна ограниченной войне, где каждый из двух лагерей использует лишь часть имеющихся средств, но где один лагерь стремится к тотальной победе, а другой — к победе частичной. В Корее западный лагерь одержал победу такого рода, какой хотел бы достигнуть в случае третьей мировой войны. Запад не хочет разрушать ни Советский Союз, ни сталинский режим, он желает лишь отказа Советского Союза от его дела мировой экспансии». Был ли я прав? Конечно, я был прав в том, что не защищал воинственную стратегию, но следовало ли Соединенным Штатам в период их очевидного превосходства ограничиться ничьей? Следовало ли смириться с разделом Европы? Нельзя ли сказать, что Сталин, симулируя свое желание завоевать Западную Европу, позволил Соединенным Штатам одержать победу благодаря упрочению либеральных демократий к западу от демаркационной линии, но сам он, Сталин, достиг своей цели — упрочения народных демократий, навязанных оккупированным Красной Армией странам?

Хотел бы сказать пару слов о двух других статьях, появившихся после корейской кампании и опубликования «Мира без победы» («Paix sans Victoire»). На страницах газеты «Прёв» (1953) я задавал вопрос: «Возможно ли ограничить войну в

атомный век?» Я выступал за ограничение конфликтов географическими рамками, а также за умеренность в действиях государственных деятелей. Для предупреждения крайностей необходимо прежде всего, чтобы военные руководители, государственные деятели не ставили бы перед собой такие цели, достичь которых можно лишь путем уничтожения врага. Отсюда я переходил к вопросу о всеобщей войне — и даже в этом случае нельзя заранее исключить ограничения. Конечно, «война в Европе, *всеобщая война между двумя лагерями не сможет не быть атомной.* Но отсюда не следует, что воюющие стороны обрушат одна на другую все их средства поражения». При рациональном подходе каждая из них постарается уничтожить орудия ответного удара противника. Обилие атомного оружия, разнообразие способов его применения, развитие ракетной техники заставляют полагать, не отходя от идеи, представляющейся нам основной, что первоначальная битва будет иметь продолжение. «Когда оба лагеря равно способны подвергнуть города атомной бомбардировке, разум приказывает им от нее воздержаться. Атомное равенство должно было бы вновь сделать вражеские армии целью № 1». Рассуждение не потеряло своей значимости. Может быть, оно стало даже более убедительным. Однако любопытно то, что американцы приняли в 1970 году доктрину «взаимного гарантированного уничтожения» *(mutual assured destruction)*. Другими словами, они свели сдерживание к способности каждой из великих держав разрушить города другой стороны. Сдерживание оказывается необыкновенно слабым в случае любого нападения, не являющегося ядерной атакой против собственной территории державы. Американцев привел к данной доктрине постулат, который я уже подверг критике в упомянутой статье: любое преодоление ядерного порога неизбежно привело бы к крайностям тотальной ядерной войны.

Может быть, название статьи — «Полвека ограниченных войн», — появившейся в «Бюллетене ученых-атомников», резюмировало мою интерпретацию событий в то время. Там не перечислялись способы ограничения войн, даже тех, в которых будут применены определенные виды ядерного оружия. Внимание автора было сосредоточено на изменении отношений между двумя великими державами. Подробно представив американским читателям довольно ясные причины, по которым Советский Союз не мог принять план Барука — Лилиенталя [191], предусматривающий интернационализацию этого оружия и одновременно атомной промышленности, я задавался вопросом о последствиях в настоящее время или в будущем равенства двух великих держав в области ядерного оружия и его носителей.

Сдерживание, смысл которого передает формула «Остановись, иначе я превращу тебя в пыль», оказывает на предполагаемого агрессора большее впечатление, чем формула «Остановись, иначе мы сейчас вместе погибнем». В 1956 году Соединенные Штаты еще обладали существенным превосходством на том уровне, который сейчас называют «центральным равновесием»; но я забегал вперед и рассуждал о последствиях применения доктрины, называемой сегодня доктриной «взаимного гарантированного уничтожения». Каждая из воюющих сторон сохраняет после первого нападения противника орудия ответного удара, способные вызвать у агрессора разрушения если не равные по силе тем, которые испытала она сама, то, во всяком случае, примерно такого же масштаба. Исходя из этого, я ставил вопросы: какие позиции возможно защитить только путем угрозы атомными репрессалиями? Какие позиции следует защищать локально, ибо противник не воспримет всерьез атомную угрозу? Затем я перешел к двум спорным вопросам, которые стали поднимать все чаще. Следует ли продолжать политику сдерживания в ее крайней, простейшей форме или же, напротив, надо градуировать сдерживание (то есть устрашение) в соответствии с важностью ставки? Я выступал за градуирование устрашения, исходя из значимости ставки, а также за усиление обычных вооруженных сил там, где в малой степени приемлемо сдерживание путем массированных репрессалий.

В заключение статьи довольно четко отражена обстановка того времени. Функция термоядерного оружия — не только в его взаимной нейтрализации, оно предназначено также для предотвращения агрессий в особо важных регионах. Это оружие не является таким орудием дипломатии, которое можно применять во всякое время и в любом месте. По крайней мере, если речь идет о предстоящем историческом периоде, политический наблюдатель не соглашается полностью с физиками, сожалеющими о том, что это дьявольское оружие ученым пришлось предоставить в распоряжение политических деятелей. Конечно, нельзя исключить того, что в результате ошибки или безумия вспыхнет война намного более ужасная, чем все войны прошлых времен. Но, говорил я, в обозримом будущем всеобщей и тотальной войны, вероятно, не будет.

Выстрелы в Сараеве запустили цепной процесс, завершившийся атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки. Не являемся ли мы свидетелями процесса, имеющего противоположную направленность? Не наблюдаем ли мы тенденцию к ограничению конфликтов в пространстве и к отказу от абсолютной победы, достигаемой благодаря применению всех

видов оружия? Все эти ограниченные войны вместе взятые предполагают неограниченную ставку и поддерживают постоянный риск самоубийственного взрыва.

От раздумий о первой половине века я переходил к размышлениям о предстоящей его половине. После моего возвращения к университетской деятельности я попытался собрать под одной обложкой мысли об уроках недавнего прошлого, результаты анализа дня сегодняшнего и советы актерам. Будучи зрителем, но зрителем активным, я должен был заключить труд изложением теории действия.

XII
«ОПИУМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ»

Факт постоянного присутствия русской армии в центре Европы привел бы в ошеломление британцев и французов прошлого века. Карл Маркс с еще большей резкостью стал бы разоблачать империализм царей и трусливое бездействие Запада. Замедленная и умеренная реакция американцев и европейцев, формирование Североатлантического пакта в силу самой механики сил не было бы менее необходимым перед лицом какого-то традиционного режима. Но поскольку Россия стала Союзом Советских Социалистических Республик, дипломатический спор приобрел совершенно иной размах. Угрожали ли нам Красная Армия, «призрак», который «бродит по Европе», — коммунизм, или же неодолимый рост социалистической экономики?

Перечитывая статьи или книги периода «холодной войны», написанные самыми именитыми авторами, испытываешь двойственное чувство: почему умнейшие люди стали нести вздор о Советском Союзе, хотя они отнюдь не являлись сторонниками марксизма или марксизма-ленинизма? Рассудок, здравый смысл, понимание той простой истины, что дважды два четыре, — неужели все эти контрольные инстанции оказываются столь хрупкими, уязвимыми, даже в отсутствие идеологических страстей?

Я вспоминаю об одном экономическом хроникере в «Фигаро», человеке просвещенном, близком к практике, который всерьез прокомментировал сообщение о возможности в ближайшем будущем бесплатного хлеба в Советском Союзе. Почему он не подумал (даже забывая о нищете советского сельского хозяйства), что бесплатность хлеба, то есть зерна, привела бы к его употреблению на корм скоту, разбазариванию, а потому к скорой его нехватке? Я не сказал бы, что их перьями двигал страх. Скорее я сказал бы, что эти аналитики на случай хотели показать свою свободу духа, свой «прогрессизм». Они считали нужным признать добродетели, действенность социальной организации, которую вместе с тем по другим причинам отвергали.

Споры между прогрессистами и атлантистами шли вокруг достоинств и недостатков, соответственно, советского режима и американской демократии. По этому вопросу существует обширная литература, в которой легко утонуть. Не стану

цитировать коммунистов — они исполняли свой долг, но обращусь к тому, что писали люди, никогда коммунистами не являвшиеся и сегодня находящиеся по ту же сторону, что и я.

Читаю в номере «Тан модерн» за январь 1950 года относительно обсуждения в ООН вопроса о принудительном труде: «Ни в одной стране мира так не уважают трудовое достоинство, как в Советском Союзе. Принудительного труда там не существует, ибо эксплуатация человека человеком давно упразднена. Трудящиеся пользуются плодами своего собственного труда, и им нет необходимости зависеть от нескольких капиталистических эксплуататоров. Принудительный труд характерен для капиталистической системы, ибо в капиталистических странах с трудящимися их капиталистические хозяева обращаются как с рабами… Представители Франции и Ливана не поняли, что при советском строе трудящиеся могут идти на работу без того, чтобы им навязывали строгую дисциплину. В Советском Союзе каждый испытывает желание трудиться, и герои труда пользуются таким же уважением, как герои войны…» На другой странице: «Различные бесчеловечные меры, применяемые в тюрьмах Соединенных Штатов по отношению к негритянскому населению этой страны, необычайно контрастируют со справедливыми и разумными положениями Кодекса коллективного труда 192 Советского Союза; этот кодекс составлен скорее в гуманитарном, чем в карательном духе, и его цель — превращать преступников в граждан, уважающих законы». Автор этого текста — Роже Стефан[151].

Читаю в номере «Эспри» за апрель 1953 года: «Наша борьба имеет такой же смысл, как в 1938, 1940, 1942 годах, смысл, который обозначил Мунье 193 сразу же после Мюнхена: *Европа против гегемоний;* Европа была против расистской германской гегемонии, сегодня Европа — против двойной гегемонии блоков, и прежде всего наша Западная Европа — против американской гегемонии и ее германского ретранслятора…» Вероятно, сегодня Ж.-М. Доменак не прибег бы вновь к такому приравниванию.

Альбер Беген подписал следующие строки: «Восхваляют антикоммунизм, весьма кстати прикрывающий категорический отказ удовлетворить требования социальной справедливости, Макиавеллистски преподносимые в качестве уловки, обязанной советскому влиянию», а несколько ниже, говоря о французских и итальянских рабочих, он признавал, что «строгая сталинская ортодоксия, если облечь в нее, как в униформу, трудящегося на Западе, придаст его жестам и его личности окостенелость, не свойственную людям старой цивилизации». Но как его упрекать в этом, когда «наша старая цивилизация здесь, во Франции, не

предлагает ему ничего, что могло бы питать его душу»?

Сторонники Атлантического альянса становились под пером прогрессистов, католических и некатолических, новыми коллаборационистами (если предположить, что они не являлись бывшими коллаборационистами). Атлантический пакт и перевооружение Германии означали войну. Альбер Беген считал нелепым ответ одного американского профессора, по мнению которого Соединенные Штаты, продвигая план Маршалла, «с легким сердцем подорвали свое собственное превосходство». Действительно, через двадцать лет американцы ощутили европейскую конкуренцию (и еще более — японскую).

Вот статья в «Либерасьон» («Libération») от 22 июня 1953 года, в которой Жан-Поль Сартр обращался к американцам: «В одном вопросе вы одержите победу, мы никому не желаем плохого: презрение и страх, которые вы в нас вызываете, — мы отказываемся превращать их в ненависть. Но вам не удастся заставить нас считать казнь супругов Розенберг „достойным сожаления инцидентом“, ни даже какой-то судебной ошибкой. Это узаконенное линчевание, покрывающее пятнами крови весь народ, раз и навсегда с яркостью обнаруживающее крах Атлантического пакта и вашу неспособность обеспечивать *leadership* в западном мире… Но если вас увлекло ваше преступное безумие, то завтра то же самое безумие могло бы всех нас без разбора ввергнуть в войну на уничтожение… И что же это за страна, руководителям которой приходится прибегать к ритуальным убийствам, чтобы им простили прекращение войны… Помните ли вы Нюрнберг и вашу теорию коллективной ответственности? Ну так вот, теперь настала очередь применить ее к вам. Вы несете коллективную ответственность за смерть Розенбергов, одни из вас — за то, что вызвали это убийство, другие — за то, что допустили его совершение, вы снесли превращение Соединенных Штатов в колыбель нового фашизма; тщетно вы будете утверждать, что это единственное убийство несравнимо с гитлеровскими гекатомбами; фашизм определяют не по числу его жертв, а по способу их уничтожения… Убивая Розенбергов, вы просто-напросто попытались остановить прогресс науки человеческой жертвой. Чародейство, охота на ведьм, аутодафе, жертвенные обряды: докатились, ваша страна больна страхом… А пока не удивляйтесь, если по всей Европе раздадутся возгласы: осторожно, Америка взбесилась. Разрубим все узы, связывающие нас с ней, иначе нас тоже покусают и заразят бешенством». Хотя этот текст появился уже после смерти Сталина, он относится к сверхсталинистской литературе. В нем есть все, даже ритуальное убийство. Американцы занимают в

сартровской демонологии то место, которое принадлежало евреям в гитлеровской демонологии.

Еще более необычайными кажутся сегодня некоторые замечания моего друга Альфреда Сови (текст Сартра не входит в «нормальную» литературу), в значительной степени касающиеся Советского Союза или, скорее, его будущего. Вот как в работе «Власть и общественное мнение» (1949) он представлял отношения государства со своим народом: «Нет никакой необходимости искажать истину, изобретать воображаемые факты, достаточно отбирать, затемнять, как в цветном стекле… Причины этого советского затемнения истины имеют не только сентиментальный характер: не будучи в состоянии обеспечить уровень существования столь же высокий, как в капиталистических странах, руководители решили приблизить этот уровень скорейшими путями. И сама эта скорость обязывает накладывать дополнительные тяготы». Идея о том, что благодаря тяготам накопление капитала ускоряется, была распространенной; напротив, мой старый учитель риторики назвал бы «случайной находкой» формулу, согласно которой сталинская политика в области информации определяется как «затемнение» истины без ее искажения.

Признаюсь, сегодня жестоко воспроизводить некоторые фразы: «Точно так же, как производство средств производства сегодня важнее производства предметов потребления ради завтрашнего благосостояния, так каникулы истины необходимы в неблагодарный период ради того, чтобы завтра засияла полная правда… Коммунизм, рассматриваемый под таким углом, предстает как огромное испытание отложенной истины и свободы в кредит… В той или иной стране, куда коммунизм внедрен силой, общественное мнение станет целиком коммунистическим через поколение; объявлять, что оно является таковым уже сейчас, означает лишь предвосхищение». Люди все еще ждут завершения операций с отложенными истиной и свободой.

Спустя несколько лет в газете «Монд» (от 30 и 31 октября 1952 года) он предостерегал европейцев в связи с прогрессом советской экономики. У него были на то основания. В 1952 году рост французской экономики замедлялся; Советский Союз направлял на инвестирование значительную долю национального продукта. И мы действительно могли опасаться того, что благодаря капиталовложениям советское производство превзойдет европейское производство. Но Альфред Сови поступил крайне неосмотрительно, написав: «Лично мне представляется, что в настоящее время уровень жизни советского рабочего пока еще ниже уровня жизни французов, но разница, возможно, не так

велика, как думают, и она регулярно уменьшается. Через несколько лет разрыв может изменить направление. Что же произойдет, если „железный занавес“ поднимется для туристических дач-автоприцепов рабочих, служащих или интеллектуалов? Не придется ли его опускать с нашей стороны?» В действительности уровень жизни советских трудящихся в 1952 году был ниже уровня 1928 года.

В своей статье от 8 ноября 1954 года я ответил не Сови, а тем, кто размахивал жупелом так называемой «опасности советского процветания». Первый аргумент: антисоветизм не есть функция уровня жизни. Турция и Корея беднее Советского Союза, но они относятся к нему более враждебно, чем Запад. Второй аргумент: уровень жизни, исчисляемый количеством и качеством продуктов питания, на родине социализма значительно ниже французского уровня. В СССР пренебрегают развитием общего оснащения страны, системы коммуникаций, перерабатывающих отраслей промышленности. «Мы не вправе задавать мысленно тот же темп роста при другом распределении капиталовложений; мы не вправе переходить от равенства в доходах на душу населения к равенству в уровне жизни. Было бы дурно смешивать способность добывать уголь, производить железо и танки со способностью удовлетворять потребности людей…»

Третий аргумент: предположим, что уровень жизни в Советском Союзе действительно приближается к европейскому уровню. Одно из двух: или «железный занавес» останется опущенным (и что изменится в таком случае? Пропаганда ничего не выиграет от того, что сузится расстояние между действительностью и словами. «Великая ложь обладает действенной силой, которой нет у истины»), или же «железный занавес» поднимется и советские люди будут свободно прогуливаться по Франции, а французы — по Советскому Союзу. В тот день, когда Советский Союз открылся бы, «холодная война» закончилась и мир стал бы возможным.

Заключение: те, кто думает, что в ближайшем будущем Франция или Запад в свою очередь опустят «железный занавес», являются жертвами статистического безумия. В числе этих жертв был Морис Лоре, автор книги «Революция, последний шанс для Франции», опубликованной в 1954 году, то есть после смерти Сталина и по окончании самого острого периода «холодной войны». Не могу не начать именно с этого автора. Как и А. Сови, он представляет советизм не в качестве модели, а в качестве угрозы: «Если верно, как мы себе в этом отдаем отчет, что русский уровень жизни, который возрастает примерно на 10 % ежегодно, должен достигнуть нашего уровня к концу 1960 года, а

затем скоро его превзойти, то исчезнет наша самая эффективная защита против экспансии коммунизма»[152]. В 1954 году, вскоре после смерти Сталина, уровень жизни населения оставался ниже того, который существовал в 1928 году, накануне аграрной коллективизации. Через четверть века после появления этой книги уровень жизни советского населения составляет примерно одну треть — половину французского уровня, в той мере, в какой эти грубые сравнения имеют смысл. М. Лоре, один из умнейших людей во Франции, считал, что увеличение покупательной способности в СССР представляло близкую опасность для Франции. Будучи примерным выпускником Политехнической школы, он производил расчеты. Из каждых ста единиц чистого дохода, за вычетом налогов, человек на Западе относит на сбережения 10 единиц, человек в СССР — 15 единиц[153], и, помимо этого, 15 единиц государство заставляет его вносить в фонд коллективных сбережений; кроме того, должны вычитаться из чистого дохода десять единиц для покрытия дополнительных военных усилий. Итак, из каждых ста единиц возможного чистого дохода советский гражданин может расходовать на свое потребление лишь 65 единиц (против 90 единиц на Западе). При равном объеме производства на душу населения уровень жизни в СССР будет на 28 % ниже уровня жизни на Западе. Для того чтобы обеспечить уровень жизни, равный западному, советские люди должны увеличить производство продукции на 38,5 %. Результат этот будет достигнут за пять лет, поскольку объем производства на душу населения в Советском Союзе увеличивается на 10 % ежегодно, тогда как темпы роста этого показателя в Западной Европе не превышают, как кажется, 2 %. СССР перегоняет ее по темпам на 7 % ежегодно (при 1 % дополнительного увеличения населения). «Итак, примерно в 1962 или 1963 году уровень жизни советского гражданина сравняется с уровнем жизни на Западе, *при том предположении, что СССР и тогда будет прилагать такие же, как сегодня, усилия в области оснащения и в военной области».*

Почему эти расчеты, по видимости точные, приводят к результатам, смешным в свете опыта? Прежде всего М. Лоре в своих предположениях значительно завышал действительный уровень жизни советского человека в 1953 году. Затем он брал за точку отсчета объем производства на душу населения и принимал на веру официальные данные; очевидно, он не был знаком с американской критикой советской статистики. Он завышал, оценивая в 65 %, ту долю национального продукта, которая в конечном счете доставалась советскому потребителю. И если даже объем национального производства увеличивался на 10 % в

первые послевоенные годы, то Лоре не брал в расчет ни природу того, что производилось, ни особенности режима. Заводы выпускали сотни тысяч тракторов, входивших в отчетность о национальном производстве, но значительная их часть ломалась. Каков же был вклад этих машин в усилия производителей? Производство увеличивалось прежде всего благодаря огромным капиталовложениям и развитию тяжелой индустрии. Уголь и железо нельзя превратить по команде в предметы потребления, даже промышленного.

Наконец, кардинальная ошибка М. Лоре. Он утверждал, что, за исключением военных лет и послевоенного периода, темпы роста производительности были необыкновенно высоки — не менее 10 % в год (против 3 % в Соединенных Штатах и примерно 1,5 % во Франции в течение длительного периода). Он неправильно оценивал темпы роста производительности во Франции, которые в послевоенные годы составляли от 4 до 5 %. И столь же неверно судил о советских темпах. Прирост промышленного производства там был достигнут благодаря вливанию капиталов и привлечению дополнительной рабочей силы. В годы первых пятилетних планов производительность в расчете на одного человека выросла в промышленности благодаря модернизации оборудования[154].

Конечно, М. Лоре не отрицал того, что быстрый советский прогресс был обусловлен также исходным отставанием России от западных стран, и допускал, что темпы ее развития замедлятся еще до того, как русская производительность достигнет американской производительности. Несмотря на все, в самом главном он строил иллюзии. Так, говоря о сельском хозяйстве, он отмечал «быстроту и легкость, с которыми правительство СССР ставит на службу подъему уровня жизни чрезвычайно мощные дирижистские методы 194, оправдавшие себя в развитии тяжелой промышленности». И добавлял: «…очень сильное увеличение сельскохозяйственного производства, настолько, насколько оно зависит от людей, несомненно в ближайшем будущем…» Действительно, в первые годы после смерти Сталина определенное продвижение имело место, но при крайне низком исходном уровне. Нам известно, как обстоит дело и сегодня.

Другими словами, он рассуждал, опираясь на ложные количественные данные, и не замечал врожденных пороков режима. В его представлении рабочие были привязаны к режиму благодаря коммунитарному идеалу, и он видел спасение Франции единственно в появлении новых ценностей, ценностей общинных, которые залечили бы раны на ее теле, истерзанном воспоминаниями и идеологиями.

Морис Лоре не станет упрекать меня за цитирование этих старых текстов, ибо знает о моем восхищении им, человеком, который «изобрел» налог на добавленную стоимость. Если прославленный ученый мог четверть века назад допускать подобные грубейшие ошибки, то сегодняшней молодежи легко представить, какие глупости заполняли тогда так называемые газеты мнений.

Представляла ли гораздо большую ценность чисто идеологическая дискуссия? Пусть судит об этом читатель. Я хотел бы не возобновлять ее — это было бы нелепо и неприятно, ибо оппонентов уже нет, — но освежить свои собственные воспоминания и одновременно сделать понятными тем, кто не был свидетелем событий и не знал их участников, споры, характерные, может быть, для триссотенов [195] XX века.

Первым сюрпризом (думаю, в 1945 году), который показал расстояние, отделявшее отныне меня от Ж.-П. Сартра и от М. Мерло-Понти, оказалась статья в «Фигаро» или в «Фигаро литтерер»; Мерло-Понти рассуждал в ней о Сартре и об экзистенциализме и отмечал, между прочим, что расхождения во взглядах с коммунистами относятся к «семейным ссорам». Вскоре они узнали, что означают «семейные ссоры» со сталинистами. Объектом моего первого спора с Мерло-Понти стала его работа «Гуманизм и террор» («Humanisme et Terreur») (оставляю в стороне диалог, состоявшийся после моей лекции на тему «Марксизм и экзистенциализм» в рамках Философской коллегии, на которой председательствовал Жан Валь).

Эссе Мерло-Понти, опубликованное в 1947 году, тогда меня задело или, лучше сказать, возмутило. Поводом к написанию его и его темой являлись московские судебные процессы, такие, какими их описывал Кёстлер в книге «Ноль и бесконечность» («Le Zéro et l'Infini») [196]. В изображении Мерло-Понти стиралась грань между Рубашовым и Бухариным, а последний становился экзистенциалистом. Я никогда не мог прочесть без раздражения следующие строки эссе: «Стенографический отчет о московских дебатах заключает в себе столько же „экзистенциализма“ — в смысле парадокса, разногласия, тревоги и решимости, — сколько его содержится во всех произведениях Кёстлера». Забавно, судебные процессы называются дебатами, как если бы Вышинский и Бухарин обсуждали, подобно профессорам философии, долю необходимости и случайности, рациональности и воли случая в ходе истории. Автор и читатель в конце концов забывают, что процессы заранее сфабрикованы, что роли заранее распределены, что все — и судьи, и обвиняемые — произносят речи,

предварительно написанные. Я чувствовал себя похожим на деревенского простака-правдолюба, естественную реакцию которого выразил Н. С. Хрущев в своем знаменитом докладе на XX съезде: «Почему обвиняемые признались в преступлениях, которых не совершали, если их не пытали?» Может быть, Мерло-Понти знал, почему, но, быть может, этот философ считал, что данные материальные элементы никоим образом не уменьшают интерес к *дебатам* об ответственности оппозиционера.

Книга коробила меня еще и тем, что в ней опровергался без устали и без пользы тезис, против которого оппоненты в споре и не выступали. Мерло-Понти отвергал манихейство антикоммунистической пропаганды. По каждую сторону существует насилие; свободный, или либеральный мир не противостоит миру коммунистическому, как истина противостоит лжи, закон — насилию, уважение к убеждениям — пропаганде. Допустим, но если мы согласились с идеей, что все битвы в той или иной степени сомнительны, то должны различать эти степени. Если в любой внешней политике содержится в какой-то мере лукавство и насилие, то отсюда не следует, что нет морального различия между политикой Гитлера или Сталина, с одной стороны, и политикой Рузвельта или Черчилля — с другой. И когда Мерло-Понти пишет, как если бы речь шла об очевидной истине, что «духовная и материальная цивилизация Англии предполагает эксплуатацию колоний», то он легко выносит решение по делу, еще открытому. Англия утратила свою империю, не утратив духовной цивилизации. Уважение к закону служит при необходимости для оправдания полицейских репрессий против забастовок в Америке, но, конечно, не для «расширения американской империи на Среднем Востоке».

Точно так же я легко соглашался с тем, что благодаря переплетению рациональности и случайности индивиды, очевидно, сохраняют широкое пространство для решений, а История может затем опровергнуть их, если не осудить. Иногда авторы не узна*ют* в следствиях их причину — собственные действия. Их оппозиция установленной власти ретроспективно представляется изменой, если эта оппозиция способствовала вражескому делу. Однако меня поражала не сама эта диалектика, в конечном счете банальная. Всякий оппозиционер может *post eventum* показаться предателем. Но о любом историческом решении следует судить с учетом момента, контекста его принятия; и хотя историк имеет право, обязан принимать во внимание невольные и непредсказуемые последствия какого-либо решения, но их нельзя превращать в основание для суждения моралиста и еще менее — для вынесения судебного приговора.

Наконец, философия истории Мерло-Понти мне представлялась, с одной стороны, классической (рациональность и случай), а с другой — почти ребяческой. Он писал: «Рассматриваемый вблизи, марксизм не является некой гипотезой, замещаемой завтра какой-либо иной, это простое изложение условий, без которых не будет ни человечества в смысле взаимоотношения людей, ни рациональности в истории, это *Философия* истории, и отказываться от нее — значит ставить крест на историческом Разуме. После этого останутся лишь мечтания и авантюры».

Некоммунистическая или выжидательная позиция Мерло-Понти основывалась на сомнении: «Строительство социалистических основ экономики сопровождается регрессией пролетарской идеологии, и по причинам, связанным с ходом вещей, — революцией в единственной стране, революционной стагнацией и загниванием истории в остальном мире — СССР не являет собой восхождение к великому празднику истории пролетариата, как определил его Маркс». Он шел еще дальше: «Может быть, и имеется какая-то диалектика, но — с точки зрения Бога, которому ведом смысл всемирной истории. Человек, заключенный в рамки своего времени… не видит во властвующем пролетарии „всемирно-исторического человека“…»

Рассмотренная в обратном переводе на обычный язык, мысль Мерло-Понти не обнаруживает избытка проницательности. Экономическая база социализма строилась в шуме и ярости; общечеловек, властвующий пролетариат заставлял себя ждать. Если бы История окончательно опровергла марксизм, то исторический Разум исчез бы вместе с ним. Оставались бы лишь мощь одних и покорность других: «Рассматриваемые в перспективе этой единственной философии, „исторические мудрости“ предстают как неудачи». Но сколько же времени надо ждать и, по примеру теологов, верить в Судный день, в неведомое будущее?

Через несколько лет Морису Мерло-Понти надоело ожидать гармонии между действительной историей и марксистским взглядом. Агрессия Северной Кореи привела его к пересмотру диагноза, поставленного современной обстановке. Я попытаюсь составить резюме самокритики, которой Мерло-Понти честно себя подверг.

Главный его упрек в свой собственный адрес касался одной из идей, которые я жестче всего критиковал, а именно — об абсолютной ценности, приписываемой марксизму как образцовой философии истории, единственно способной придать смысл человеческому становлению, так сказать, сверхисторическому

критерию, поскольку «при сравнении с марксизмом все исторические мудрости предстают как неудачи». Однако Мерло-Понти обнаруживает, что сам его предыдущий подход не согласуется с марксизмом. Как оставить за ним истинность в отрицании и не признавать за ним истинность в действии, не выходя за рамки, установленные им самим? «Говорить, как мы это делали, что марксизм остается истинным в качестве критики или отрицания, не будучи истинным в качестве действия или в позитивном смысле, означало ставить себя вне действия и в особенности — вне марксизма, оправдывать его доводами, из него не вытекающими, и в конечном счете порождать двусмысленность». Нельзя оставлять критику и отказываться от действия: «Таким образом, совершенно невозможно разрубать марксизм на две части, признавать его истинность в том, что он отрицает, и неистинность — в том, что он утверждает, ибо конкретно, в его способе отрицать, уже содержится его способ утверждать». Затем следует заключительная исповедь. Он напоминает о страницах, на которых отождествлял возможное поражение марксизма с поражением самой философии истории, и оценивает свой вчерашний марксизм в следующих словах: «Этот марксизм, сохраняющий истинность, что бы он ни делал, обходящийся без проверки опытом и доказательств, — не философия истории, это переодетый Кант, и именно Канта мы снова нашли в конечном счете в концепте революций как абсолютного действия». Мне понятно, в каком смысле Мерло-Понти ретроспективно оценивает как кантианскую свою вчерашнюю философию, соотносившую историю с абсолютом — пролетариатом в качестве всеобщего класса, истины в действии; но сам Кант, в своей философии истории, в Идее Разума, не совершил ошибок, подобных ошибкам Мерло-Понти в книге «Гуманизм и террор».

Отказавшись от идеи пролетариата-абсолюта, Мерло-Понти возвращался к достаточно классическим социологическим положениям. Любая революция упраздняет какой-то правящий класс и ставит на его место другой класс. Демократия для народа, которая одновременно была бы диктатурой, обращенной вовне, против врагов народа, — это лишь умозрительная идея. Поскольку трудно найти путь между социал-демократией и диктатурой пролетариата, то «любая революция находится в пространстве относительности, и существуют лишь прогрессивные изменения». «Революции свойственно считать себя абсолютной и таковой не являться именно потому, что она верит в эту свою абсолютность». «Чувствует ли себя сегодня чешский пролетариат счастливее, чем до войны?»

Мерло-Понти рискнул даже употребить выражение «новый либерализм». «Если мы говорим о либерализме, то в том смысле, что действия коммунистов, революционные движения допускаются лишь в качестве полезной угрозы, как постоянный призыв к порядку и что мы не верим в решение социальной проблемы с помощью власти рабочего класса или его представителей. Что прогресса мы ждем лишь от действия, которое было бы сознательным и *сопоставлялось* с суждением какой-то оппозиции». С этим либерализмом я спорил бы тем меньше, что он существенно не отличается от моего либерализма (что бы ни говорил по этому поводу Мерло-Понти), и я охотно подписался бы под формулой: «Парламент является единственным известным учреждением, которое обеспечивает какой-то минимум оппозиционности и истинности».

Между «Гуманизмом и террором» и «Приключениями диалектики» («Aventures de la dialectique») был долгий путь. Пройдя его, Мерло-Понти хотя и не стал согласным со мной, но занял сходные позиции. В официальном плане пересмотр его взглядов сводился к тому, что от предубеждения в пользу Советского Союза он перешел к некоммунизму при подлинной нейтральности, без какого-то следа криптокоммунизма. Пороки капитализма оставались, он продолжал их разоблачать, но признавал, что однобокая критика этих пороков ведет к какой-то форме криптокоммунизма. Война в Корее еще более уменьшила поле выбора между коммунизмом и некоммунизмом. Аттантизм, ожидание чего-то от марксизма, «осталось в нас… лишь как сновидение, как тяжелый сон». Короче говоря, чтобы критиковать антикоммунизм, он вскоре будет ясно проявлять полную независимость по отношению к коммунизму. Отказ от выбора становится выбором в пользу двойного отказа.

Книга Мерло-Понти появилась почти одновременно с «Опиумом интеллектуалов». Иногда коммунистические авторы того времени (Клод Руа, к примеру) ставили ее на ту же доску и расправлялись с ней в той же манере. Мерло-Понти и я никогда не разрывали наши связи, и, напротив, Сартр возразил своему другу, прибегнув к перу Симоны де Бовуар. В какой-то мере их разрыв действительно произошел из-за расхождений в позициях, которые они занимали по отношению к коммунистической партии и тем самым к Советскому Союзу. Но, может быть, в значительной мере этот разрыв был связан с расхождениями преимущественно философского характера, во взглядах на отношения между классом и партией, отношения, которые включали в себя диалектику пережитого и конструируемого, опыта рабочих и политического действия. Ниже я вернусь к этому

философскому спору, но сначала рассмотрю политические позиции.

В одной из своих статей 1956 года[155] я писал об ощущении того, что «видишь какое-то подобие танцевального кружения или чехарды. „Новая левая“ Мерло-Понти 1955 года походит на „Демократическое революционное объединение“ (РДР (RDR)) Жан-Поля Сартра 1948 года. Марксистский аттантизм первого приближается к прокоммунизму второго больше, чем к не-коммунизму, изложенному в „Приключениях диалектики“. Короче говоря, Мерло-Понти подходил к коммунистической партии с заранее составленным положительным мнением, когда писал „Гуманизм и террор“, и отказывал ей в таком мнении в „Приключениях“. Наоборот, Ж.-П. Сартр строго отчитывал компартию в своих беседах с Давидом Руссе, а затем сблизился с ней в книге „Коммунисты и мир“ („Les communistes et la paix“)».

Именно беседы Сартра и Руссе положили в публичном плане конец нашей юношеской дружбе. Познакомившись с касавшимися меня рассуждениями, Мерло-Понти заметил Сартру, что его атаки, несомненно, приведут к разрыву между нами. Сартр вроде бы ответил примерно так: «Да, но спасать-то больше нечего». Возможно, он был прав.

Произошел первый инцидент, в котором мы оказались друг против друга. При правительстве Рамадье Сартр получил постоянное эфирное время на радио; он свободно беседовал с некоторыми из своих друзей. В одной из первых передач Сартр заговорил о генерале де Голле. Один из его собеседников стал пространно сравнивать генерала де Голля с Гитлером («тяжелые веки…»). Разумеется, сравнение вызвало скандал. Вечером меня пригласили встретиться на радио с Ж.-П. Сартром и его оппонентами. Я оказался рядом с возбужденными голлистами, там были Анри Торрес, генерал де Бенувиль, которые осыпали Сартра резкими упреками, имевшими более или менее оскорбительный характер. Я хранил молчание, поскольку не мог признать правоту за Сартром, еще менее — присоединиться к «проклинавшим» его. Через несколько недель я узнал, что Сартр не прощает мне моего «молчания в тот момент, когда он находился один среди врагов».

В своем диалоге с Симоной де Бовуар в 1974 году он рассказывает об этой самой сцене так, как он ее пережил: «Арон — это вся история голлизма и одной радиопередачи; у нас был еженедельно час времени на радио для обсуждения вопросов политической ситуации, и мы очень резко выступили против де Голля. Голлисты захотели ответить мне прямо в лицо, в

особенности Бенувиль, и еще один, имени которого не помню. И вот я отправился на радио, мы не должны были встречаться до начала диалога. Пришел Арон, думаю, я выбрал его для того, чтобы он был нашим посредником, к тому же будучи убежден, что он принял бы мою сторону. Арон сделал вид, что меня не видит; он присоединился к другим; я понимал, что он должен был общаться с другими, но зачем же отворачиваться от меня? С этого момента я понял, что Арон против меня; в политическом плане я воспринял его солидарность с голлистами против меня как разрыв. Когда я с кем-либо ссорился, на то всегда были серьезные причины, но в конечном счете всегда именно я решал идти на ссору»[156].

Вернемся к некоторым пунктам: «Мы очень резко выступили против генерала де Голля». Мягко сказано: они долго занимались сравнением генерала де Голля и Гитлера, в том числе искали черты их физического сходства. Мог ли я это одобрить из дружбы к Сартру? Несколькими месяцами раньше, в отсутствие Сартра, я встал на его защиту против Габриеля Марселя, упрекавшего Сартра в том, что тот сравнивал французскую оккупацию в Индокитае с германской оккупацией во Франции. Насколько помню, приглашение я получил от радио, а не лично от Сартра, но это не важно: когда я появился, Бенувиль и Торрес осыпали Сартра проклятиями, заявляя, что нельзя вести дискуссию с тем, кто опускается до подобных выпадов. На оскорбления Сартр не отвечал: он никогда не любил схватки лицом к лицу.

Конечно, мне следовало бы найти способ повести себя иначе, выразить ему дружеские чувства, не солидаризируясь с его вчерашней радиопередачей. Эта короткая сцена мне вспоминается как какой-то невыносимый миг: с одной стороны — голлисты, которые мне не внушали ни малейшей симпатии, а с другой — Сартр, невозмутимый под градом оскорблений, и я сам — не произносящий ни слова. Все мы разошлись в разные стороны.

При всем том Сартр был прав, дружба умирала сама по себе, неумолимо. В первые два года учебы в Эколь нашу дружбу питали как интеллектуальное понимание, так и студенческое товарищество. Со временем исчезла первая составляющая, а также и вторая — по причинам, которые лучше позволяет понять диалог Сартра с Симоной де Бовуар в 1974 году. После окончания Эколь он предпочел дружбу с женщинами; разговоры в мужском кругу показались ему бедными по содержанию и скоро наскучили. Мы спорили о философии, пока не стали писать книги. Сартр прочитал «Введение в философию истории», сказал мне, что перечитал его перед написанием своей работы «Бытие и

ничто», но не стал обсуждать вместе со мной «Введение», как не попросил меня критически оценить свой собственный *opus*. По крайней мере, один раз я затронул тему Ничто и двух различных смыслов концепта, которых он не различал: ничто в обычном понимании — не-бытие, с одной стороны, и бытие-для-себя, или сознание, которое можно назвать «ничто», противопоставляя его плотности, недвижности вещей, — с другой. Сартр ответил, что в конечном счете оба смысла смыкались. Не было ни разговоров о политике, поскольку мы жили в различных мирах, ни философских бесед, поскольку он перестал любить споры; могло бы сохраниться, как между Дезанти и Клавелем, то, что можно считать либо пустяком, либо самым главным — удовольствие вновь увидеть друг друга, даже если при встрече нечего сказать, — нам никогда не было дано познать такое счастье.

Узнав, что мы «в ссоре», я однажды зашел к нему домой вместе с Манесом Спербером и попытался оправдать свое поведение и, особенно, уменьшить значение эпизода. Мои объяснения Сартр принял без особой охоты. «Ладно, давайте как-нибудь на этих днях вместе позавтракаем», — так ритуально завершился разговор. Завтрак так и не состоялся. Я вступил в РПФ, а он вместе с Давидом Руссе создал Демократическое революционное объединение. Оба приятеля приписывали мне в «Беседах о политике» («Галлимар», 1948) мнения, которые я никогда не исповедовал. Например: «Арон утопичен, веря в то, что техническое развитие неизбежно приведет к социальной эмансипации». Пример Советского Союза вылечил бы меня от этой иллюзии, если бы когда-нибудь я принимал ее всерьез. Сартр же приписывал мне, окарикатуривая, мнения, почерпнутые не из моих произведений, а из разговоров. Я ответил ему в «Свободе духа» и не считаю нужным возвращаться к этой дискуссии.

Еще более серьезным в его глазах по сравнению с моим «цинизмом, который даже не умен», выглядело мое «фаталистическое» принятие войны: «Было бы романтизмом [по мнению Арона] полагать, что мир еще возможен. Но, говоря, что война фатальна, тем самым способствуют ее скорейшему приходу…» В «Великом Расколе» я утверждал как раз противоположное. Это был первый, но не последний случай, когда Сартр испытывал потребность определить свою собственную политическую установку, опровергая мою. Правда, я не принял всерьез Демократическое революционное объединение (ДРО), тогда как «Новая левая» Мерло-Понти в 1955 году не являлась совершенно неуместной. Демократия и революция в обычном смысле этих слов противоречат друг другу[157]. Сама

идея проповедовать во Франции пролетарскую революцию, отличную от той, которую символизировала коммунистическая партия, была в меньшей мере обусловлена «революционным романтизмом» (я обвинял в нем Руссе и Сартра), чем наивностью или невежеством. Что до остального, то ДРО познало судьбу, с самого начала уготованную ей историей.

Последнее замечание. Руссе и Сартр дистанцировались от Советского Союза и от народных демократий: «Мы не вместе с народными республиками. Мы не вместе с ними по вполне определенным причинам и в особенности из-за нашего неверия в то, что эти режимы удовлетворяют элементарные интересы трудящихся. Я уверен, что значительная часть сежетистской 197 стачечной стратегии гораздо более руководствуется далекими военными целями, чем очевидными социальными задачами»[158].

ДРО подверглась атакам со всех сторон — со стороны коммунистов, голлистов, ее не поддержали даже умеренные партии, находившиеся у власти. Мерло-Понти, как я точно помню, однажды всерьез задал вопрос о том, не смогут ли завтра эту группку рассматривать в качестве источника крупного движения, сравнимого с большевистским, ведь большевиков первоначально тоже окрестили группкой. В период между 1948 и 1955 годами я написал несколько более или менее удачных статей, одни из них имели полемический характер, другие — аналитический, большая часть этих работ вошла в сборник «Полемики». Одна из статей — «История и политика» («Histoire et politique»), — первоначально появившаяся в журнале «Ревю де Метафизик э де Мораль», лучше других устояла перед натиском времени и исчерпанностью дискуссий между интеллектуалами.

В отличие от предыдущего сборника, «Опиум интеллектуалов» сохраняет для меня значение. Я работал над ним с 1952 по 1954 год, медленно, не без напряжения, может быть, став жертвой журналистской легкости, но главным образом из-за моих личных несчастий я искал в период между 1951 и 1955 годами убежище в неустанной и разнообразной деятельности, забвение — в ученых развлечениях, если только это словосочетание не содержит в себе самом противоречия. У меня возникло ощущение, быть может иллюзорное, что «Опиум» принес мне выздоровление, спас меня. Нападки, которым подверглась эта книга, оставили меня почти равнодушным. Я вышел из ночи и надеялся, что, может быть, мне удастся примириться с жизнью.

Книга состояла из трех частей, в первой из них рассматривались «три мифа»: мифы о «левых силах», о «революции», о «пролетариате». Эта часть была нацелена в самую

сердцевину излюбленных тем многочисленных интеллектуалов, причем не только прогрессистов и полумарксистов, которых я преимущественно имел в виду. Я не отрицал того, что в Национальном собрании можно различить каких-то левых и каких-то правых. Но что я отрицал, так это существование каких-то вечных левых сил, неизменных в различной исторической обстановке, вдохновляемых одними и теми же ценностями, объединяемых одними и теми же устремлениями. Миф о «единстве левых сил» компенсирует и скрывает во Франции непримиримые распри между якобинцами и жирондистами, либеральными буржуа и социалистами, между социалистами и коммунистами. Идеологически левые никогда не были однородными, они выступали то с антигосударственнических позиций, то с организаторских, то с уравнительных. Некоторые, возможно, хотят, чтобы эти силы одновременно были либеральными, организаторскими и эгалитаристскими, питая наивную надежду на то, что названные цели легко могут между собой сочетаться.

Историк легко призн*а*ет, что некоторые идеи, например национализм, перешли из одного лагеря в другой. Как можно сомневаться в существовании пессимистических левых, примером которых был Ален, призывающих граждан к сопротивлению всем властям, никогда не верящих в мудрость господ? Если этот либерализм подозрений принадлежит левым, то что у него общего с этатизмом планификаторов, горящих нетерпением подчинить сильных мира сего или богачей властному контролю, но не сознающих обязанности контролировать контролеров?

Точно так же, когда речь шла о революции и пролетариате, я попытался перевести идеологическую поэзию на язык прозы действительности. Представляет ли собой рабочий класс «аутентичную интерсубъективность»? Способен ли он стать правящим классом? Достиг ли он свободы, если некая партия осуществляет от его имени абсолютную власть, но лишает его инструментов относительного и частичного освобождения, завоеванного в условиях капиталистической демократии? Почему революция как таковая является благом? «Миф о революции служит убежищем для утопической мысли, он становится таинственным и непредсказуемым посредником между действительностью и идеалом. Само насилие скорее притягивает, завораживает, чем отталкивает. Лейборизм и „скандинавское бесклассовое общество никогда не пользовались среди европейских, особенно французских, левых тем престижем, который сохраняет Русская революция, несмотря на гражданскую войну, ужасы коллективизации и большой чистки. Следует ли

говорить *несмотря* или *по причине*?“»

Не становясь в позу арбитра между Альбером Камю, с одной стороны, Сартром и журналом «Тан модерн» — с другой, я заимствовал в одном решающем пункте тезис или, скорее, вопрос, сформулированный Камю: «Да или нет, признаете ли вы в советском режиме воплощение революционного проекта?» На что Жансон (который, предполагаю, выражал мнение Сартра) ответил: «…сталинское движение повсюду в мире не кажется нам подлинно революционным, оно объединяет, особенно у нас, значительное большинство пролетариата; поэтому мы одновременно выступаем *против него,* поскольку критикуем его методы, и *за него,* поскольку не знаем, не является ли подлинная революция чистой химерой, не должно ли революционное предприятие пройти первоначально именно такими путями, прежде чем обретет силу для учреждения какого-то более гуманного социального строя…» Странный ответ: исторический человек, сознающий условия своего существования, не может не знать, что, вовлекаясь в борьбу, он связывает себя, даже не представляя конечных следствий своего действия или исторического движения, к которому присоединяется; уклоняться от ответа на вопрос об отношении к Советскому Союзу или строить комбинацию из «да» и «нет» — значит, совершенно очевидно, нарушать императив избрания позиции.

В несколько высокомерном тоне я признал правоту Камю в основном пункте его полемики с Сартром и сартризмом: «Мысль Камю, в тех вопросах, где она вызывает гнев „Тан модерн“, выглядит банальной и здравой. Если возмущение открывает нам солидарность с несчастными и императивы милосердия, то революционеры сталинского типа в самом деле предают дух возмущения. Проникнутые убеждением в том, что они повинуются законам Истории и трудятся во имя цели, являющейся и неизбежной, и благодетельной, эти революционеры в свою очередь становятся палачами и тиранами, не испытывая угрызений совести».

И Сартр не ответил определенно на вопрос Камю, прибегнув к стилю Франсиса Жансона. Он тоже отказывался одновременно и от разрыва со сталинским движением, и от принятия его. Сартр желал выступать как критик этого движения, сохраняя близость к нему. Даже после подавления венгерской революции он продолжал считать, что воплощение революционного и социалистического проекта невозможно вне коммунистического движения. Жансон упоминал о возможности, в соответствии с которой подлинная революция является чистой химерой, но не останавливался на этой возможности или, во всяком случае, не

делал никаких выводов. Он держался гипотезы, служившей, по крайней мере до 1970 года, первоосновой для мысли Сартра: может быть, революционному проекту следует пройти этими путями, чтобы прийти к концу предыстории или хотя бы к обществу более предпочтительному, чем то, с которым он борется. Это рассуждение Мерло-Понти отвергал, считая его теологическим: в судный день Истории будут определены достоинства и провинности сегодняшних авторов.

Вторая часть книги посвящалась «Обожествлению Истории». В первой главе были проанализированы отношения между «людьми Церкви» и «людьми веры», иными словами, между коммунистами, принимавшими партийную ортодоксию, и полукоммунистами, такими как Мерло-Понти в «Гуманизме и терроре», или христианскими прогрессистами (священниками-рабочими), сохранявшими верность догматам (миссия пролетариата, спасение благодаря пролетариату), но не соглашавшимися с буквой партийной ортодоксии. В двух следующих главах, где я отталкивался от «Введения в философию истории», обсуждались два варианта марксизма, в более общем плане — два способа толкования прошлого: с одной стороны, осознание смысла прошлого, начиная со смысла отдельного человеческого действия и кончая смыслом эволюции человечества; с другой — детерминизм, будто бы направляющий ход событий и позволяющий предвидеть неизбежный исход классовой и национальной борьбы.

Последняя часть представляла собой эссе, более рискованное, чем другие, в ней предпринималась попытка сравнить интеллектуалов различных стран, их отношение к родине, споры, характерные для каждой из этих *intelligentsia. Я* не определял в приказном порядке категорию интеллектуалов; в зависимости от стран и времен эта категория охватывает всех или почти всех лиц нефизического труда или же, при ограничительном подходе, всех тех, кто посвятил себя созданию или распространению мысли, культуры. В развивающихся странах все обладатели дипломов об образовании входят в состав интеллигенции (так распространился этот термин в царской России в прошлом веке). В индустриальных странах умножаются занятия нефизического характера, но служащие низшего разряда, те, кого в прежние времена назвали бы скрибами, писцами, более не относятся к интеллектуалам. В Советском Союзе, например, интеллигенцию образуют *специалисты* и *образованные люди.* У нас на Западе, как кажется, существует тенденция еще более ограничить рамки данной категории; заслуживает ли определения «интеллектуал»

любой учитель начальной или средней школы? Не следует ли прежде требовать от него осмысления своего существования и своих действий?

Говоря о французских интеллектуалах, я отнес к их свойствам склонность представлять проблемы, характерные для нашей страны, как проблемы всемирной значимости. По причинам исторического и социального порядка значительная часть рабочих (от одной трети до половины их численности) голосует за компартию. Поэтому компартия более не отделяет себя от пролетариата, а Сартр, Мерло-Понти и Лефор без конца рассуждают о связи класса и партии, ее праве выставлять себя представителем названного класса. Дискуссия эта рискует скатиться к схоластике или теологии, как только она отрывается от действительности. Совершенно очевидно, что в Великобритании несколько тысяч активистов компартии не представляют английский рабочий класс; во Франции компартия представляет собой часть французского рабочего класса, хотя противник названной партии не становится из-за этого противником рабочих. Опыт Восточной Европы должен был бы рассеять туман и вернуть философов к обыденной действительности: кадры партии становятся после захвата ею власти политической элитой так называемого пролетарского строя. Мерло-Понти нарушил табу, когда в своей смелости дошел до того, что спросил, не сожалеют ли чешские рабочие об их «рабстве» при капитализме и о своих профсоюзах.

«Опиум интеллектуалов» — одна из многих книг, написанных интеллектуалами и посвященных условиям существования той социальной категории, к которой они принадлежали. Но он произвел некоторый шум. Иные критики сравнивали его с «Предательством интеллектуалов» («La Trahison des Clercs») Жюльена Бенда, чтобы или раздавить автора этим монументом, или, напротив, высоко оценить работу, предоставляя ей место в почетном ряду.

Критика в некоторой степени выявила постоянство двух блоков. За немногими исключениями те, кто причислял себя к левым, меня не пощадили, а те, кто соглашался считать себя среди правых, похвалили полемику против «мандаринов». «Экспресс» («Express») оказался между двумя блоками, отказавшись занимать чью-либо сторону; еженедельник отвел целую полосу для изложения ведущих идей книги. Под заголовком был выделен следующий текст: «Новая книга Раймона Арона „Опиум интеллектуалов“ благодаря актуальности поднятых в ней проблем, блестящему анализу некоторых

вопросов и личности ее автора представляет собой политическое произведение, к которому следует привлечь внимание наших читателей. Поэтому мы кратко представляем здесь основные темы книги, сохраняя полную объективность. Мы не согласны с автором по целому ряду пунктов. Например, когда он описывает то, что называет „мифом о левых“, то делает интересный разбор позиций интеллектуалов-прогрессистов, но чем же Раймон Арон оправдывает свой суд над левыми? К тому же нам кажется показательной сама неспособность автора определить это понятие — „левые“». Возражение «Экспресса» мне и сегодня представляется смехотворным. Как определить левых, пока в их состав входят Сталин и компартия? Несколько приведенных из книги фраз были удачно выбраны: «Мифология левых является мнимой компенсацией за неуспехи, следовавшие один за другим, начиная с 1789 и кончая 1848 годом… Левые, революция, пролетариат, эти модные концепты суть поздние копии великих мифов, питавших в недавнем прошлом политический оптимизм, мифов о прогрессе, разуме, народе… Единство левых сил скорее скрывает, чем отражает политическую действительность».

Среди «нейтралов» оказались и католики. Люсьен Гиссар написал в газете «Круа» («Croix»): «Мы подсчитываем удары, нам следует не становиться на чью-либо сторону, но скорее по-христиански улавливать ценности, которые смогут найти выражение в практике лишь позднее. Эссе Раймона Арона — это отнюдь не только полемическое произведение, хотя его автор не всегда освобождается от полемических слабостей. Это — одна из важных книг года».

Мой друг Дюбарль в статье на страницах «Ви энтеллектюэль» («Vit intellectuelle») (за август — сентябрь 1955 года) не ограничивался подсчетом ударов: святой отец почувствовал, что книга, несколько страниц которой посвящались священникам-рабочим, была обращена к нему, к католикам-прогрессистам. Рецензент из «Круа» предпочел не услышать вопроса, который я адресовал христианам. Напротив, о. Дюбарль уловил основное или, по крайней мере, основное для себя и для католиков.

Его взвешенная статья признавала мою правоту в первой части книги, затем, разбирая ее вторую часть, он частично признавал правоту тех, кого я считал неправыми. Приведу сначала великодушный приговор: «Критическое эссе „Опиум интеллектуалов“ — удачное эссе, пусть это и не понравится тем, кого оно раздражает. Следует признать правоту его автора, когда он показывает, что так называемые „левые“ идеологи, если их анализировать с точки зрения автора (она, кстати, вполне разумна и, конечно, ею чересчур пренебрегали интеллектуалы в

эти последние годы), обнаруживают в себе изрядную долю мифологии и достаточную долю мистификации… Наверняка к тому же „пролетариат“, „революция“ (хотя до тех пор, пока сохраняются действительные подавления людей, „реакционная“ практика, это слово является подлинным понятием, и было бы в самом деле слишком удобным позволить его запретить) в гораздо большей мере превратились в символы героической поэмы идеологии, нежели остались категориями серьезной европейской прагматики. Наверняка, наконец, история, действительная и конкретная история, которая позволяет разглядеть себя на уровне человеческого опыта и человеческого разума, не является тем секулярным заменителем божества, который околдовал своим мечтанием столько современных душ…»

Два замечания по тексту: «Так называемые „левые“ идеологии… обнаруживают в себе изрядную долю мифологии и достаточную долю мистификации» — это с моей точки зрения или же объективно, а следовательно, и с точки зрения о. Дюбарля? Внося уточнение «с точки зрения автора» (и даже признавая ее разумной), он оставляет сомнение (ненужное) относительно собственной мысли, тогда как слова «обнаруживают в себе» под пером человека, владеющего языком, предполагают правильность анализа и критики, вытекающих из указанной «точки зрения». Скобки после слов «пролетариат» и «революция» свидетельствуют о забавной осторожности, если не являются намеком: я, очевидно, не отрицал наличия «действительных подавлений людей», но, прибегая к прекрасному выражению о. Дюбарля, показал, как эти слова превращаются в «символы героической поэмы идеологии».

Более любопытным, двусмысленным и темным мне представляется вопрос о. Дюбарля автору «Опиума интеллектуалов», заданный после ответа христиан на вопрос последнего. Он допускает, что история не является заменителем божества, что существует несовместимость между христианской верой и марксистской верой. Свобода пролетариата, в том виде, в каком ее мыслят марксисты, не сливается — или, точнее, не имеет ничего общего — с Градом Божиим. Ничего общего? Здесь завязывается диалог. Не искажает ли в конечном счете то радикальное разделение, которое я проводил между историей мирской и историей священной (при первом приближении столь очевидное, что доказывать его казалось банальностью), сложность исторического существования христианина? «Для сознания верующего христианская история создана из действительного общения между вечным и бренным». Из этого общения, которое неверующему неведомо, но важность которого для христианской

точки зрения он не отрицает, о. Дюбарль не делает вывод о высшей власти Церкви в людских делах, но христианин «неустанно напоминает о неотложности определенного согласия с тем, что вечность и божественное как-то воздействуют на бесформенную массу земного бытия». «Мы обнаруживаем, таким образом, ту долю полемики, которая, по всей вероятности, неотделима от вочеловеченной судьбы, того духовного факта, каким является христианство… Признание неизбежного, двусмысленного, если хотите, соединения божественного и мирского, которое вносит христианство в историю, может помочь здесь лучше, чем жесткие разграничения, прибегая к которым хотят придать логику любому предмету и даже скептицизму».

В заключении статьи о. Дюбарля содержатся один вопрос и один ответ: «Христианин мог бы, таким образом, спросить г-на Арона, может ли тот признать, что религиозная проповедь вечности одновременно стремится — разумеется, как к чему-то второстепенному и относительному — придать человечески важный смысл мирскому становлению рода людского?» Не вижу трудностей в ответе на этот вопрос: несомненно, христианину небезразлично мирское становление рода людского. На протяжении двух тысяч лет нет недостатка в теологиях истории, и я не знаю, какой именно теологии истории придерживается о. Дюбарль. Папа, Церковь, православные, протестанты небезразличны к мирскому становлению; их проповедь вдохновляется моральными принципами христианского учения, но она не отождествляет себя ни с одной партией, ни, в особенности, с той философией мирского становления, которая претендует на возвещение высшей истины о судьбе человечества, лишенной всякого общения с вечным.

Я называю поправкой постановку под вопрос критики христианина-прогрессиста, которая несколькими страницами выше была названа почти тривиальной: «Христианство не является светской религией, оно включает в себя некоторое светское усилие и, на этом уровне, — согласие на участие в истории». Участие в истории? Что это значит? Следующая фраза вносит ясность в вопрос: совместимо ли участие в истории с отказом от конца Истории? С помощью концепта участия в истории о. Дюбарль вновь вводит конец Истории, не объясняя, относится ли этот конец к области профанного или к области сакрального.

Следует реабилитация христианина-прогрессиста: «Г-н Арон видит в христианине-прогрессисте человека вечности, соблазненного светской религией. Он не совсем неправ. Но христианин-прогрессист — это, кроме того, такой христианин,

который пошел на риск, как смог, сумел — дурно, мы легко с такой оценкой согласимся, — участвовать в мирских делах, видя в этом свой долг… (я пропускаю следующую фразу, еще более темную)… Таким образом, человеческому разуму было предъявлено требование, из которого марксизм извлек пользу и которое христианство христианина-прогрессиста сочло возможным ассимилировать и удовлетворить, конечно, слишком спеша, но и не заблуждаясь полностью». Данное требование касается вопроса о конце Истории, одновременно как светской, так и священной, а также конструирования смысла, без которого не обойтись нашему сознанию.

Дискуссионные положения о. Дюбарля отнюдь не грешат чрезмерной «жестокостью» своих разграничений. Да, христиане-прогрессисты ошиблись, но они были правы, предприняв поиск. Они легкомысленно ввязались в схватку, но христианин должен поучаствовать в истории. Когда я думаю, что это «участие в истории» превратило христиан-прогрессистов в союзников или агентов одной из самых жестоких деспотий истории, то вспоминаю одну из формул Жюльена Бенд*а*, которую привожу по памяти: наихудшее предательство интеллектуала — это глупость. Скажем: ослепление.

Заключение о. Дюбарля близко к выводам, сделанным одним из моих оппонентов[159] в дискуссии об «Опиуме интеллектуалов», организованной католическими интеллектуалами: вера в Царствие Божие на земле принадлежит, по его убеждению, христианству. Остается сделать один шаг для того, чтобы вновь прийти к позиции священников-рабочих или некоторых из них. Я привел в «Опиуме интеллектуалов» выдержки из книги «События и Вера, 1940–1952»: «Если какие-нибудь рабочие однажды пришли бы к нам, чтобы поговорить о религии или даже попросить о крещении, то мы, полагаю, начали бы с вопроса о том, задумывались ли они о причинах нищеты рабочих и участвуют ли они в борьбе, которую их товарищи ведут во имя всеобщего блага». Я следующим образом прокомментировал этот текст: «Пройден последний рубеж: евангельскую проповедь подчиняют революции. Прогрессисты были обращены в „марксистскую веру“, тогда как они считали, что обращают рабочих в христианство».

Все левые за пределами «Экспресса» стали осыпать «Опиум» раскаленными ядрами, в первом ряду оказался Морис Дюверже. Его статья на страницах «Монд» резко отличалась от тех рецензий, которые он посвятил двум моим предыдущим книгам и которые я прокомментировал в другой главе. На этот раз он повел себя как противник, не ограничился обсуждением идей,

накинулся на автора, начиная с самого заголовка своей статьи: «Опиум интеллектуалов, или Предательство интеллектуалов».

Обратимся первоначально к аналитической или полемической стороне текста. Используются два основных аргумента, которые, впрочем, противоречат друг другу. В первом случае верования марксистов или прогрессистов сравниваются с верованиями христианина. И тогда сразу же оказывается, что опровержение мифов левых не действует на умы, ибо вера сопротивляется, будучи неуязвимой для доводов рассудка: «Ароновское опровержение марксизма немного напоминает рационалистические опровержения религии, которые так ценили в 1900-е годы: сыграет ли г-н Арон роль Луази 198 коммунизма? Его диалектическая мощь впечатляет, но не убеждает. Эта великолепная интеллектуальная машина работает ровно, но на холостом ходу, не соприкасаясь с действительностью. Точно так же как Ауази не добрался до главного в религии, г-н Арон не добрался до главного в марксизме». Создавая концепт светской религии, я тем самым неявно признавал, что приход интеллектуалов высокого уровня к марксизму или к фашизму обусловлен скорее чувствами, чем рациональной мыслью. Никогда я не предавался иллюзиям о том, что моя «интеллектуальная мощь» была бы способна поколебать убеждения верующих. Но верующие рационализируют свою веру, представляют ее в качестве рациональной, даже научной. Как говорил Парето, опровержение *производных* не убивает до смерти *остатки* 199, оно способно со временем их ослабить[160].

Впрочем, сразу же после этого М. Дюверже раскрывает *рациональное* основание прогрессизма интеллектуалов: «То, что г-н Арон разрушает, — притом совершенно справедливо — есть некий марксистский интегризм, но ведь с христианством не покончили благодаря тому, что был опровергнут „Силлабус“ 200 или была разоблачена инквизиция». М. Дюверже меняет поле, на котором нападает: якобы я попал мимо подлинной цели, теперь интеллектуалы движимы не столько эмоциями и страстями, сколько «постоянной значимостью марксизма… На настоящий момент марксизм дает единственную общую теорию этой несправедливости, состоящей в неравенстве условий существования, причина которого — не столько неравные способности или усилия, сколько вековые привилегии, проистекающие из частной собственности на средства производства».

Итак, мы вступаем на почву фактов и умозаключений. Речь не идет более о том, чтобы упрекать критика догм и «Силлабуса» в несерьезности теологических контроверз. Если интеллектуалы

склоняются к прогрессизму или марксизму, то потому, что «интеллектуал — в особенности французский — не считает, что его ремесло заключается лишь в понимании, он должен судить и действовать соответственно своему суждению. Он всегда убежден в том, что в большей или меньшей степени облечен какой-то миссией или, по крайней мере, несет какую-то ответственность. Констатируя наличие социальной несправедливости, он думает, что его долг — бороться с этой несправедливостью. Он по природе склонен становиться на сторону слабых против сильных, жертв — против палачей, угнетенных — против угнетателей. Именно здесь находится фундаментальное объяснение его влечения к левым: ибо левые — это партия слабых, угнетенных и жертв». К несчастью, продолжает М. Дюверже, «угнетение не является односторонним», «политическая полиция, тоталитарные системы, концентрационные лагеря существуют, но социальная несправедливость, господство капитализма, колониализм тоже существуют». Что же делать?

Какие действия советует предпринимать профессор морали интеллектуалам, желающим выполнять свою миссию. Упрощая, он рекомендует им подметать под собственной дверью. Речь идет о том, чтобы в каждом случае находить самую действенную позицию. Осуждение от зари до зари концлагерей «ни на миг не ускорит освобождение их узников (но способно при определенных обстоятельствах усилить напряженность между блоками, ведущую к увековечению лагерей и страданий заключенных в них людей). Напротив, неустанное осуждение социальной несправедливости и капиталистического господства во Франции может помочь в определенной степени положить им конец». На этот раз г-н Дюверже ошибается, если предположить, что он не лжет. Благодаря протестам Запада удалось спасти ряд лиц, которых в Советском Союзе преследовали. В условиях соревнования между двумя режимами, в той форме, в какой оно происходило тогда, четверть века назад, и в той форме, в какой продолжается сегодня, не претерпев особых изменений, западным интеллектуалам не следует замалчивать изъяны либеральных демократий, но еще менее — замалчивать извращенность, присущую тоталитарным режимам.

Завершал статью пассаж о «глубоком пафосе книги г-на Арона», а именно — о моем собственном предательстве клерка[161]. Якобы я презирал левых интеллектуалов потому, что уже не был одним из них: «Обвиняя тех, кто не эволюционировал подобным образом, он пытается оправдать самого себя: им следует быть грешниками, чтобы он был невинным. Но прежде всего он пытается оправдать себя в собственных глазах. Он хотел

бы убедить не столько своих читателей, сколько самого себя. И если ему не удается их убедить, то в основном потому, что не удается убедить самого себя…» Рассмотрим этот психоанализ. Но предварительно не могу не уступить искушению и не процитировать заметку Андре Фроссара, которому нравилась моя книга. Заметка была подписана его псевдонимом «Луч Зет». «М. Дюверже на страницах „Монд“ скорее довольствуется обличением скрытых намерений автора „Опиума интеллектуалов“, чем пытается проанализировать и опровергнуть названную книгу: под покровом диалектики этого магистрального произведения Раймон Арон якобы скрывает свою досаду на то, что не принадлежит к полубожественной когорте тех левых интеллектуалов, которых всегда вроде бы обнаруживают на стороне слабых, жертв и угнетенных. Так было во время полутеррора 1945 года, когда левые интеллектуалы десятками бросались под колеса повозок с жертвами чистки, дабы остановить ход репрессий против предполагаемых вишистов со стороны людей, считавших себя участниками Сопротивления. Так было и при сталинском режиме, к одному воспоминанию о котором русские сегодня питают отвращение и которому наши левые интеллектуалы выражали притворное почтение, лишь благородно стремясь никоим образом не отнять последний шанс у бесчисленных политических заключенных, закованных Людоедом в концентрационных кладовых. Ибо М. Дюверже вместе с Ж.-П. Сартром учат тому, что служение *жертвам* и *угнетенным* требует молчания о русских лагерях и, напротив, неустанного разоблачения капиталистического господства над Францией; любовь к истине, как видим, требует прибегать ко лжи посредством умолчания. Так местный Макиавелли, приходящий каждую неделю в соседнее кафе сыграть в белот, скидывает даму, чтобы спасти валета. Это до безумия умно, нравственно и прочее. К сожалению, человек подлинно левых взглядов узнает себя или, по крайней мере, узнавал себя до того, как М. Дюверже сделался его представителем, по следующему признаку: он не способен на такого рода тактическую ловкость. Или я сильно ошибаюсь, или М. Дюверже пришел с крайне правого фланга; он один-единственный, кто верит, что наконец достиг левого фланга — он не прошел и четверти пути».

Испытывал ли я угрызения совести в 1954 году, когда написал «Опиум интеллектуалов»? Психоанализ самого себя убеждает не больше, чем психоанализ, проведенный недоброжелательным критиком. Читатель будет волен мне поверить или не поверить: атаки такого рода меня не достигали, несмотря на мою обидчивость. По простой причине: я не извлекал

никакой выгоды из того, что становился на те или иные интеллектуальные или политические позиции. Напротив: перемешиваемые с анафемами похвалы со стороны «Риваролля» («Rivarol») и «Аспе де ля Франс» («Aspects de la France»), даже комплименты Габриэля Марселя или Пьера-Анри Симона не перевешивали в мире интеллектуалов филиппики Мориса Надо, Жана Пуйона (в «Тан модерн»), любого редактора «Франс-обсерватер» («France-Observateur»). Мою эволюцию предопределили события и мои раздумья. Я чувствовал, что остаюсь верен самому себе и своей молодости.

Приведу еще один отрывок — из статьи Ж. Пуйона в «Тан модерн». Если верить этому критику, то реформистский путь, который я защищал, не существовал во Франции; руководители страны отвергли бы реформы, необходимые для изменения условий существования французов: «Он (Арон) может противопоставить „освобождение действительное“ освобождению „воображаемому“, действительность — миражу, но где он, этот мираж? Эти реформы — кто их предлагает и кто предпринимает? Где можно увидеть это мирное действие, которое должно было бы изменить условия нашего существования? Несомненно, проблема заключается в том, чтобы понять, как действовать, и если она ставится, то именно потому, что руководители этой страны, совестью которых желал бы быть Арон, не хотят ее решить. Он — их шут, а не их советник, он движется лишь в воображаемом мире. В действительности серьезное дело экономического обновления повлекло бы за собой социальные и политические последствия такого масштаба, что только лишь сторонники революционного изменения могли бы пойти на них. Поэтому труд во имя единства левых сил означает не уход в мечтания, но возвращение на почву действительности».

К этому времени для добросовестных наблюдателей уже был очевиден подъем французской экономики. Жан Пуйон повторял излюбленный тезис Ж.-П. Сартра:[162] французские капиталисты — мальтузианцы, они отказываются от [политики] роста, потому что он поставил бы под угрозу их власть и их привилегии. Сегодня мы знаем, как обстояло дело. Достаточно честно сопоставить условия жизни советского рабочего и французского рабочего, чтобы понять значение «воображаемого» и «действительного» освобождения. Тем не менее я не думаю, что Жан Пуйон и журнал «Тан модерн» согласились бы признать свои вчерашние ошибки, неведение и недобросовестность, в отличие от истинных коммунистов, которые, отрезвев, покаялись, поняли, что должны бороться с партией, поскольку увидели ее такой, какой она является. Две, и только две, позиции мне кажутся

пристойными перед лицом тотальной доктрины, светской религии, претендующей на универсальность: принятие или отказ; участие без принятия, без выполнения обязанностей активиста, короче, поведение попутчика вызывало у меня интеллектуальное отвращение. Многие бывшие коммунисты извлекли уроки из своего ослепления; прогрессисты в духе Ж.-П. Сартра или Жана Пуйона колебались между позициями, более или менее близкими к компартии, ни разу не воспользовавшись шансом мыслить честно и пожалеть о своих глупостях.

«Опиум» оказался единственной из моих книг, которую в прессе встретили в строгом соответствии с политическими или, скорее, узкопартийными соображениями. «Эспресс», будучи как бы нейтральным, оказался на разделительной линии. П. А. Симон, христианский демократ скорее левого толка (следуя общепринятой терминологии), одобрил меня в еженедельнике «Карфур» («Carrefour») (от 22 июня 1955 года): «Если Арон, со своей стороны, склоняется к реформизму, то, несомненно, исходя из реализма, но еще более, как мне показалось, исходя из гуманистической совестливости, подобно Камю в последних главах „Взбунтовавшегося человека“ („L'Homme révolté“), и нет никакого сомнения, что интеллигенция будет его упрекать в том же, в чем упрекала Камю, — в недейственности и постыдном сотрудничестве в защите капитализма. Здесь вопрос становится техническим: речь идет о том, возможно или невозможно на путях действительного освобождения эмансипировать массы, остановить их обнищание, создать справедливый строй с меньшими издержками, чем при мифе о диктатуре пролетариата. Во всяком случае, невозможно в нравственном плане не одобрить Раймона Арона, когда он пишет: „Политика еще не раскрыла секрет того, как избежать насилия. Но насилие становится еще более бесчеловечным, когда верит, что находится на службе истины, являющейся одновременно исторической и абсолютной!“»

Чаще всего критики, даже критики благожелательные, обвиняли меня в «скептицизме», а мою книгу — в совершенно негативном ее характере. В какой-то степени речь идет о недоразумении, связанном с заключением книги. Возьму на себя смелость воспроизвести его текст: «Учит ли критика фанатизма разумной вере или скептицизму? Люди не перестают любить Бога, отказавшись обращать язычников и иудеев в свою веру с помощью оружия и уже не повторяя „вне Церкви нет спасения“. Перестанут ли люди желать менее несправедливого общества и менее жесткой общей судьбы, если откажутся от преображения какого-то класса, какого-то способа действия, какой-то

идеологической системы? Разумеется, сравнение несостоятельно без оговорок. Религиозный опыт приобретает все большую подлинность по мере того, как человек все лучше отличает нравственность от послушания Церкви. Светские религии растворяются во мнениях, как только происходит отказ от догмы. Однако человеку, не ждущему чудесных перемен ни от Революции, ни от плана, не следует обязательно смиряться с тем, чего нельзя оправдать. Он не отдает свою душу абстрактному человечеству, тиранической партии, абсурдной схоластике, потому что любит личности, участвует в живых сообществах, уважает истину.

Может быть, случится иное. Может быть, интеллектуал потеряет интерес к политике в тот день, когда обнаружит ее пределы. Обрадуемся этой слабой надежде. Нам не грозит безразличие. Людям далеко до того, чтобы испытывать недостаток в возможностях и поводах истреблять друг друга. Если терпимость порождается сомнением, то пусть учат нас сомневаться в моделях и утопиях, не верить пророчествующим спасение, предвещающим катастрофы. От всей души пожелаем прихода скептиков, если им суждено погасить фанатизм».

Последняя фраза была оторвана от контекста. Однако в моих глазах скептицизм не означал потерю всякой веры или безразличие к общественному делу: я желал, чтобы мыслящие люди, освободившись от светской религии, более не были склонными оправдывать то, что нельзя оправдать. Я допускал, что, может быть, эти люди перестанут интересоваться политикой, если обнаружат ее границы. В нашем мире, где имеется такое множество возможностей и поводов для взаимного истребления, сомнение относительно моделей и утопий обещает, по крайней мере, уменьшить число людей, которым не терпится убивать себе подобных во имя своей веры.

Но не окажется ли книга, даже если устранить это недоразумение, под обстрелом банальной критики: вы разрушаете, но что же вы создаете?

Я испытываю искушение вернуться к диалогу с о. Дюбарлем. Вот, по его словам, то, чего я желал бы от всей души: «Окончание идеологического века, разумное использование технического прогресса с целью создать жизнеспособный ныне мир людей, в котором свобода в универсальном масштабе была бы столь реальной, сколь это возможно, хотя бы и представлялась довольно прозаичной. Очевидно, в его глазах именно тот человек, в котором духовные страсти смягчились, лучше всего способен использовать историю во благо и успешно включиться в политическое действие. Как раз поэтому критика в конце концов

отбросила и что-то ценное под предлогом исправления неразумно осуществленного».

В самом деле, я полагаю, что устройство общественной жизни на этой земле оказывается, как говорит опыт, делом довольно прозаичным. Индустриальное общество, кошмарное в его советском варианте, несовершенное и вульгарное — в американском, остается доминирующим типом нашей цивилизации. Те, кто ждет Царства Божия на земле или надеется на него, преображают людей и институты, более не видят их такими, какими их показывает нам история. Удовлетворенность мелкой буржуазии, облегчение тягот трудящихся благодаря машинам, налоги, умеряющие гордецов и дающие необходимый минимум беднейшим, — все это действительно выглядит прозаичным. Но советская действительность — разве она менее прозаична из-за того, что чудовищна?

Часть третья
ПРОФЕССОР СРЕДИ БУРИ
(1955–1969)

XIII
ВОЗВРАЩЕНИЕ В СТАРУЮ СОРБОННУ

В июне 1955 года я захотел быть избранным в Сорбонну и плохо скрывал от самого себя силу этого желания. Почему? Пробудилась ли во мне университетская амбиция, которую сразу же после войны усыпило политическое зелье? Как я посчитал, быть может безосновательно, журналистика дала мне все, что я мог от нее получить или благодаря ей приобрести. В моем сознании вновь возникло юношеское беспокойство: не подстерегла ли меня, в мой черед, склонность к легкости, не увлекла ли она меня на путь, который не являлся или, по крайней мере, не должен был являться единственным для меня? Мои довоенные книги не предвещали моего превращения в хроникера «Фигаро». Я вспомнил о саркастическом предсказании Селестена Бугле, когда мои суждения о правительстве Леона Блюма раздражали этого человека левых взглядов.

От Сорбонны я ждал дисциплины, которую потерял. Рождение в июле 1955 года маленькой девочки, пораженной болезнью Дауна, последовавшая через несколько месяцев после этого смерть Эмманюэли, которую унесла быстротечная лейкемия, поразили меня больше, чем я мог бы выразить. Не существует обучения несчастью. Когда оно нас настигает, нам еще все предстоит познать. Я оказался плохим учеником, медлительным и бунтующим. Я попытался найти убежище в работе. Но чем глубже я погружался в это мнимое убежище, тем больше терял самого себя. Осознание этого заставляло меня страдать еще сильнее, обостряя боль самого несчастья и бередя раны, которые время не заживляло. Я стал ждать помощи от Сорбонны и не обманулся в своих надеждах. Она не вернула мне то, что 1950 год навсегда у меня отнял, но помогла мне примириться с жизнью, с другими и с собой.

Выборы происходили в два этапа: сначала секция избрала своего кандидата, затем собрание всех штатных профессоров факультета избирало абсолютным большинством голосов (или относительным большинством — в третьем туре) одного из кандидатов. Факультет не всегда поддерживал секционный выбор. В Сорбонне моей молодости, когда общее число ее профессоров не превышало пятидесяти, такая система была на худой конец оправданной. Межсекционные барьеры не являлись столь выраженными, как сегодня, они не мешали значительной

части профессоров знать друг друга, входить в один и тот же узкий крут. Будучи в большинстве своем выпускниками Эколь Нормаль на улице Ульм, они чаще всего присоединялись в конечном итоге к тому мнению, которое преобладало в научном городке. (Но, быть может, я занимаюсь тем, что приписываю Сорбонне, которую не знал, достоинства, ей не свойственные, или, по крайней мере, не свойственные в такой степени.) Что бы там ни было, по мере разбухания профессорского собрания и превращения его в толпу, избрание специалиста выборщиками, которые в большинстве своем ничего или почти ничего не знали о званиях и трудах различных кандидатов, все более и более становилось рискованным делом. Иногда какие-то происшествия на заседании, уход с него профессоров, желающих скорее позавтракать, качество выступлений с представлением кандидата значили для исхода выборов больше, чем научные соображения. Дебаты в большие дни — иначе говоря, в дни больших выборов — привлекали публику. Количество профессоров, являвшихся на заседания факультета, прямо зависело от количества вакантных мест, которые следовало заполнить в определенный день, от значимости, которая придавалась кандидатам на эти посты и соответствующей кафедре. На собрании факультета, как и в Бурбонском дворце, некоторые ораторы умели заставить себя слушать и сразу же добивались молчания в зале. Слова же некоторых других терялись в жужжании частных разговоров. Стиль представлений кандидатов и их восхвалений поразил бы неподготовленного слушателя. Расхваливать преподавательские достоинства какого-либо кандидата в Сорбонну означало обречь его на долгое забвение. Если превозносились профессорские качества человека, то, в силу обычая, предполагалось, что качества ученого у него отсутствуют. Турниры красноречия, в которых я не раз участвовал, стали вызывать у меня глухое раздражение: выступления походили на надгробные речи, и я не переставал восхищаться тем, сколько же гениев насчитывают французские университеты.

В статье, которую мне не удалось отыскать, Деннис Броган прокомментировал предвыборную кампанию, которая завершилась моим избранием. По его словам, такая кампания была бы немыслима в Великобритании. Вполне очевидно, профессора, являвшиеся членами компартии или близкие к ней, добра мне не желали. Некоммунисты, связанные с левыми, не могли простить мне «Опиум интеллектуалов», появившийся за несколько недель до выборов. Жорж Гурвич, обладавший, помимо прочих достоинств, качествами «университетского активиста» (телефонные звонки, посещение квартир избирателей), выдвинул

кандидатуру Ж. Баландье и заявлял во всеуслышанье, что мои книги и статьи прочили мне скорее министерский портфель, чем социологическую кафедру.

Своему конечному успеху я обязан обстоятельствам, никак не связанным с моими стараниями и с моими заслугами. Я не провел кампанию в том смысле, в каком это выражение понималось в университете. Нанес визиты коллегам по философской секции и руководителям других секций. Сорбонну заполняли мои товарищи по школе или по выпуску; они знали меня лучше, чем Баландье, который был лет на пятнадцать моложе меня, и многие из них не стали брать в расчет мои политические взгляды, отдали мне свои голоса как товарищу. «Может быть, — скажет мне позднее мадемуазель Бонфуа, чудесная секретарь факультета, — вы победили благодаря возрасту». Журналист по количеству баллов выиграл у «молокососа». Чтобы не рисовать картину черными красками и не забыть роль моих друзей, назову, кроме моих сторонников на философской секции (А. Гуйе, М. де Гандийяк, Рене Пуарье, Ф. Алкье, Д. Лагаш), А. Марру: как мне рассказали, он напомнил собранию о недавнем избрании коммуниста и в своей речи защищал не автора «Опиума интеллектуалов», но автора «Введения в философию истории».

В старой Сорбонне подчеркнуто игнорировали — и забывали при определенных обстоятельствах — мнения, которые преподаватели высказывали вне своей кафедры. По правде говоря, враждебность ко мне нескольких профессоров не была столь уж обусловлена моими политическими идеями. Один из них, моралист по профессии, с горячностью заявлял, что скорее проголосует за черта, чем за меня. В чем же я провинился? В том, что не стал участвовать в общепринятой игре, отказался от «изгнания» — нескольких лет работы в провинциальном университете, в том, что отошел от университетской деятельности и устремился в журналистику. Такую реакцию можно было понять; в конечном счете, против Ж. Баландье говорило лишь одно — его молодость — недостаток, который исчез бы быстрее, чем мои недостатки. Ж. Баландье остался верен Гурвичу — что не помешало нам поддерживать сердечные отношения. Выборы и предваряющие их визиты равнозначны обряду инициации. Когда испытание завершено, выдержано, избранника принимают все, и те, кто выступал против него, и те, кто его поддерживал. Альянсы, которые завязывали перед выборами и ради них, заменяют другими раздорами и другими скрытыми связями.

В одной из глав я задавался вопросом, приняли ли меня и как

приняли «собратья» по журналистскому цеху; тот же самый вопрос мне приходится задать относительно университетских коллег. Был ли я блудным сыном, возвращавшимся под родительский кров? Перебежчиком, претендовавшим на совмещение двух родов деятельности? Журналистом, которому Сорбонна нужна для вящего престижа и который компрометирует знаменитое учебное заведение, ведя полемику, не совместимую с достоинством *alma mater*? Время от времени я замечал со стороны то одного, то другого из моих коллег чувства, сходные с теми, что питали по отношению ко мне некоторые из собратьев-журналистов. Я не подпадал под норму, а все корпорации остерегаются маргиналов. Возможно, из-за своего обидчивого характера я преувеличивал силу подозрительности и злопамятства, но время в конце концов умерило страсти.

Я без каких-либо трудностей приспособился к этому, казалось бы новому для меня, ремеслу, ибо мне довелось занимать в течение шести месяцев кафедру социологии в Бордоском университете; это было в 1938 году, когда я замещал Макса Боннафу, ставшего начальником секретариата в каком-то министерстве. Лекционные курсы в Высшей школе администрации и в Институте политических исследований, мои многочисленные лекции, которые я читал на французском, английском, немецком языках, помогли мне, если так можно выразиться, сохранить себя в форме. Я еще не потерял легкость речи, которая в свое время поражала моих учителей на экзаменах. Знание марксизма позволяло мне без труда давать отпор студентам-коммунистам. Г-н Роме, библиотекарь философской секции, известный стольким поколениям, заверил меня, что даже эти студенты относятся с уважением к моему преподаванию.

Сорбонна, какой я нашел ее после двадцати семи лет отсутствия, меня не удивила; она еще не изменилась полностью, это произошло позднее — в 1955–1968 годах, когда я там преподавал. В философское отделение входили двенадцать профессоров (которые разделились на два равных по численности блока в первых двух турах голосования по моей кандидатуре; в третьем туре один из двенадцати перешел в другой лагерь, что обеспечило мне небольшой перевес голосов). Численность студентов возросла, но не до такой степени, чтобы привести к кадровому истощению. У каждого профессора был ассистент, который смотрел диссертации, руководил студенческими работами, а также читал лекции.

Что меня более всего поразило, так это обветшалость здания и учреждения. Кресла, стоявшие в тесных кабинетах, которые примыкали к лекционным аудиториям, походили на рухлядь с

«Блошиного рынка». Комнаты, залы были серыми, грязными, унылыми. Я не мог не вспомнить американские и английские университеты, с которыми достаточно познакомился. Бедность помещения была в моих глазах свидетельством упадка системы.

Ничего или почти ничего не изменилось по сравнению с 30-ми годами. Лучшие студенты по-прежнему сдавали экзамены на получение свидетельств о высшем образовании, обходя Сорбонну. Другие же были предоставлены самим себе, если не считать помощи ассистентов. Профессора в основном читали так называемые общие курсы лекций. Я имел три лекционных часа в неделю — эта нагрузка представлялась легкой или тяжелой в зависимости от того, как каждый понимал преподавательскую работу. В Коллеж де Франс нельзя было повторять из года в год одни и те же лекции. В Сорбонне же профессор подчинялся лишь самому себе, желанию обновлять свое преподавание или, напротив, оставлять время для собственных исследований.

По сравнению с крупными университетами Соединенных Штатов и Великобритании Сорбонна казалась мне каким-то пережитком XIX века: заведующий кафедрой здесь первый после Бога, он знает лично кандидатов, которые, став лиценциатами, пишут под его руководством работу, необходимую для диплома о высшем образовании, или занимаются в докторантуре; 201 этот заведующий совсем не принимает студентов, готовящихся к получению степени лиценциата, у него нет на них времени.

Уже в 1955 году большинству студентов приходилось совершенно самостоятельно разбираться в мире, не похожем на лицейский. По мере того как ежегодно увеличивалось число юношей и девушек, которые приходили получать высшее образование, не имея четкой цели, особого призвания, прежняя практика становилась все более анахроничной. Немалая часть профессорских курсов заслуживала того, чтобы закостенеть в изданиях. Освобожденный от каких-либо обязательств и санкций, профессор или сгибался под тяжестью нагрузок, или же, напротив, соблюдал трехчасовую лекционную норму, не растрачивая силы и не прибегая к ночным бдениям ради написания лекционных курсов или подготовки диссертаций.

Гуманитарный факультет Парижского университета, или, как его тогда еще называли, Сорбонна, сохранял господствующее положение. Большинство государственных докторских диссертаций 202 защищались в Париже; профессор, который считался, заслуженно или незаслуженно, старейшиной, мэтром в своей дисциплине, оказывал влияние, всегда чрезмерное, а в ряде случае — выхолащивающее, на выбор диссертационных тем и даже на направленность исследований. Отнюдь не все

мандарины, которых разоблачали в мае 1968 года, являлись персонажами вымышленными. Эрнест Лабрусс в экономической истории, госпожа Дюрри во французской литературе обладали властью над молодыми, над их продвижением и с решительностью эту власть употребляли. Иногда какой-либо великий мэтр из Сорбонны руководил, на бумаге, подготовкой нескольких десятков государственных диссертаций, не считая университетских диссертаций, а также работ в рамках третьего цикла. Сосредоточение скорее власти, чем талантов, возмутило меня еще задолго до того, как студенты вышли на улицы.

Я многократно подвергал критике французскую систему высшего образования — на страницах «Фигаро» и социологических журналов (особенно в «Минерве» («Minerva») и в «Аршив эропэен де сосиоложи» («Archives européennes de sociologie»)). Объектом критики являлась прежде всего и главным образом степень агреже [203] (я обрушился на нее столь резко, что стал, как меня уверил один из министров, занимавшихся социальными делами, предметом ненависти Общества агреже). Как я утверждал, теоретически степень агреже продолжает выполнять функцию, которая была ей предназначена, — отбор преподавателей для средней школы, профессоров лицеев. В отличие от того, что имеет место в Германии или Англии, у нас одним и тем же словом — *профессор* — называют и мандаринов Сорбонны, и агреже (или обладателей КАПЕС [204]), хотя последние обучают, иногда — в рамках первого цикла средней школы — малышей и подростков грамматике, арифметике или истории. Эту словарную особенность легко было объяснить: немало лицейских «профессоров» ничем не уступали своим коллегам на факультетах. В течение ряда лет А. Бергсон, Л. Брюнсвик преподавали в лицеях философию; там же работал Ж. Ипполит, у Алена не зародилось и мысли о том, чтобы уйти из старших классов парижского лицея Генриха IV. До последней войны только незначительная часть молодежи обучалась в лицеях. В 1938 году университет принял примерно пятнадцать тысяч бакалавров, 600–700 тысяч их сверстников остались за его дверьми. Лицеисты представляли лишь привилегированное меньшинство, им давал знания профессорский корпус, который по своим интеллектуальным достоинствам не имел равных за рубежом. Казалось, что осью всей образовательной системы являлась вторая ступень, в ущерб третьей, а именно — так называемому высшему образованию, образованию на факультетах. Степень агреже символизировала подчиненность факультетов лицеям; агреже обязаны были своей подготовкой факультетам, но работать им предстояло в своем большинстве

именно в лицеях.

Я был непосредственно знаком с требованиями к агреже по некоторым специальностям (философия, языки), более опосредованно — по некоторым другим (классическая филология, история). Во всяком случае, у меня имелось достаточно сведений для того, чтобы оценить конкурсы на степень агреже, их преимущества и их недостатки. Все эти конкурсы в той или иной мере требуют одних и тех же риторических достоинств, которые обеспечивают успех, начиная с экзаменов на бакалавра. Главным испытанием все еще остается письменное сочинение — по философии, по литературе, на французском или на иностранном языке. Разумеется, в зависимости от специальности будущего агреже меняются знания, которые ему необходимо применить: в одном случае это философская культура, в других — вкус или литературное чутье. Все эти традиционные испытания выявляют скорее формальные качества, нежели исследовательские или педагогические достоинства кандидата. Правда, переводы на французский язык и с французского языка требовали знания языков, как древних, так и современных, позволяли оценить степень этого знания.

Будущие историки извлекли бы больше пользы из изучения экономики и статистических материалов, чем из тренировки в написании сочинений. Точно так же германисты или англисты «заполучали» (или продолжают еще «заполучать») степень агреже, не получив лингвистической подготовки, не познакомившись близко с культурой, язык которой они изучали. И если в наших университетах так много профессоров немецкого, английского или испанского языков и так мало настоящих германистов, англистов или испанистов, то причина этого в значительной мере кроется в системе экзаменов на агреже, в содержании их программ, в предлагаемых темах работ (деятель, его творчество).

Я сожалел о том, что подготовка к этому конкурсу по всем специальностям, позволяющим получать степень агреже, поглощала столько сил студентов и преподавателей, не гарантируя при этом наличия педагогических достоинств у победителей конкурса. Постановку под вопрос данной системы дополнял анализ обстановки. Реформы, которые уже шли в конце 50-х годов, имели целью устранить двойственность начального и среднего образования; совершенно очевидно, сохранялось различие между ступенями, но обучение в рамках каждой ступени становилось единым: всем детям, детям из всех социальных классов, предстояло поступать в одинаковые материнские школы, затем начальные школы, а позже — перейти в одни и те же учебные заведения второй ступени. Точно так же, как исчезли

ранее начальные классы в лицеях, должны были исчезнуть в лицеях и классы первого цикла второй ступени (это постепенно происходит сегодня).

Единой школе — если воспользоваться формулой, которая была дорога Эдуару Эррио полвека назад, — предстояло потрясти систему, некогда мне знакомую и приговоренную к смерти министрами Виши по соображениям, совершенно отличным от тех, что двигали послевоенными реформаторами. В годы вишистского режима его министры хотели покончить с обособленностью, закрытостью начальной школы (ее подозревали в дурных мыслях); отсюда — требование степени бакалавра для поступающих в Высшую педагогическую школу; отсюда — слияние кадров начальной и средней школы. Отталкиваясь от всего этого, нетрудно было предсказать разбухание коллежей и лицеев и одновременно изменение характера названных учебных заведений.

Преподавателю второй ступени предстояло постепенно потерять свой престиж профессора-агреже лицея (который входил в Гавре еще в 1933 году в число нотаблей); почувствовать себя потерянным в чужом мире, обманутым, жертвой несоответствия между полученными дипломами и фактически занимаемым местом. Развитие всех видов образования, на всех ступенях, помогло в 50-е и 60-е годы многим агреже сразу же получить должности на факультетах. Но это развитие не могло продолжаться бесконечно в том же темпе. Численность каждой возрастной группы уменьшалась каждый год примерно на сто тысяч человек и более. Процент обучающихся после получения степени бакалавра перестал расти. Преподавательский состав школы второй ступени необыкновенно молод. На одно вакантное место университетского ассистента подают заявки пятьдесят агреже. Точно так же количество желающих получить степень агреже по большинству специальностей исчисляется сотнями, тогда как списки победителей конкурсов, утверждаемые министерством, часто насчитывают лишь несколько десятков фамилий.

Критикуя систему агреже в начале 60-х годов, я стремился прежде всего показать, что она ведет к искажению функций высшего образования. Основной задачей гуманитарных факультетов оказывалась подготовка преподавателей для школы второй ступени, а не подготовка исследователей. В дополнение к этому различия между дипломами, степенью агреже, КАПЕС, степенью лиценциата приводили к образованию в стенах учебных заведений неоднородного профессорского корпуса, так как обязанности и оплата труда его членов определялись не

заслугами в настоящем времени, но экзаменами и конкурсами, пройденными еще до начала карьеры.

Как обстоят дела сегодня? Система получения степени агреже сохранилась, претерпев, насколько я могу судить, небольшие изменения. Быть может, она более не оказывает прежнего тиранического влияния благодаря умножению ЮЕР (UER) [205]. Эти группы отличает сравнительно меньшая узость, они более склонны к инициативам, не столь связаны, как прежде, программами и конкурсами. Но их деятельность вызывает все те же оговорки: конкурсы не делают упор ни на выявление исследовательских способностей, ни на распознавание педагогического дара. В силу диспропорции между количеством кандидатов и количеством победителей в конкурсе получение степени агреже является лишь одним из способов селекции, который не лучше и не хуже, чем любой другой. Зато отказ от принципа отбора при поступлении на факультет приводит к закономерным и легко предсказуемым последствиям.

Вместе со многими другими я осуждал двойственность диплома бакалавра, являющегося одновременно свидетельством о среднем образовании и первой университетской степенью. За годы моего преподавания в Сорбонне диплом бакалавра, который не раз пересматривали, приблизился к простому свидетельству об окончании средней школы, не потеряв из-за этого значения первой университетской ступени. Другими словами, любой обладатель диплома бакалавра сохраняет право записаться в студенты. Такая система вызвала любопытное следствие: все высшие учебные заведения, за исключением некоторых факультетов, сделали обязательным предварительный отбор. Идет ли речь о коммерческом училище или об Институте политических исследований, любому бакалавру, желающему в них поступить, необходимо иметь еще один диплом или пройти вступительный экзамен. Даже ИЮТ (IUT) [206], учеба в которых длится два года, отбирают кандидатов и открывают дорогу для карьеры. Исключение составляют только лишь гуманитарные и юридические факультеты: за неимением лучшего, они дают пристанище тысячам молодых людей, не нашедших себе занятия.

Подобное завершение практики отказа от отбора всякий мог предвидеть, лично я выступал в пользу «селекции». Это табуированное слово обозначало лишь то, что не допускается свободная запись бакалавров на факультеты, на практике — главным образом на гуманитарные и в меньшей степени на юридические и экономические факультеты (разделенные начиная с 1969 года на многие ЮЕР). Согласно статистике, сотни тысяч человек числятся студентами, и сколько среди них тех, кто

пытает удачу или пользуется преимуществами, предоставляемыми студентам, не имея определенного плана, не всегда даже обладая волей полностью завершить свое образование?

Когда этот процесс начался, меня возмутила иррациональность системы, разбазаривание скудных ресурсов, растрачиваемых на псевдостудентов, которые не получают никаких дипломов и не извлекают пользу из своей неуверенной попытки. Мнение мое не изменилось, хотя ныне я склонен к большей снисходительности. Но разве содержание штатов, соответствующих численности этих полустудентов, не означает косвенного сокращения государственных ассигнований, идущих на настоящее высшее образование, на подлинные исследования? Уже в начале моего преподавания в Сорбонне все профессора отмечали, что в течение учебного года число слушателей сокращается на 20–25 % в самых благополучных случаях. Студенты не только исчезали из поля зрения профессоров — они не проявляли себя на лекциях или семинарах, они не записывались на сдачу курсовых экзаменов. Социологические опросы не всегда помогали обнаружить следы этих «дезертиров».

В период между 1955 и 1968 годами я присутствовал, находясь на укрытом от ветра перемен посту, при трансформации старой Сорбонны. Были упразднены диссертации на степень университетского доктора, вновь введены диссертации третьего цикла. В 1955 году мне помогал один ассистент, через десять лет студентами занимался десяток ассистентов. Рост числа как студентов, так и преподавателей становился с каждым годом все заметнее. Декартовский зал был заполнен, когда я читал там свой курс; меня слушали сотни студентов, которых я не знал. И если в конце 1967 года я принял решение покинуть Сорбонну и стать штатным руководителем исследований в VI секции Практической школы высших исследований, то потому, что чувствовал: здание готово рухнуть, нас парализует, лишает сил выдохшаяся система.

Для социологии 1955–1968 годы были во многом удачными. Насколько я знал, количество социологических кафедр в университетах в 1955 году отнюдь не увеличилось по сравнению с 1939 годом (именно тогда я получил должность в Тулузе). В том же самом 1955 году в Сорбонне была учреждена кафедра социальной психологии, что облегчило мое избрание. Если бы такой кафедры не существовало, то Стёцель выдвинул бы свою кандидатуру на место, оставленное Жоржем Дави, и его успех был бы заранее обеспечен. Поскольку Ж. Дави являлся деканом гуманитарного факультета, Жорж Гурвич занимал ключевую позицию, позицию потенциального мандарина; именно через его

руки проходила большая часть диссертаций. Язык Гурвича был обязательным если не для студентов, то для исследователей. Время от времени он терроризировал соискателей, неожиданно обрушивая на них плохо сдерживаемые приступы ярости. Несмотря на свою активность, количество публикаций, вкус к интеллектуальной власти, Гурвичу (и никому из его преемников) не удалось приобрести авторитет, дарующий право на звание мандарина. Социология оставалась второстепенной дисциплиной по сравнению с традиционными дисциплинами, статус которых гарантировала степень агреже. После войны социология под влиянием нескольких пионеров (Жоржа Фридмана, например) получила развитие за стенами университета, в рамках Национального центра научных исследований (CHPC (CNRS)) и по преимуществу в одной из собственных лабораторий CHPC — Центре социологических исследований. Социологическое образование в Париже, Тулузе, Бордо, Страсбурге ничуть не изменилось по сравнению с тем, которое было мне знакомо и которое я получил (если можно так сказать, ибо лекций я не посещал) четверть века назад. Лекции посвящались великим ученым, теориям самих лекторов или, наконец, нескольким большим темам: классы или классовая борьба, самоубийство, разделение труда и т. д. Проведению эмпирических исследований социологи обучались в других местах и не чувствовали себя связанными умозрительными построениями или соперничеством профессоров Сорбонны.

Именно в годы моего преподавания в Сорбонне наметилось сближение исследователей и университета. Но это простое совпадение, а не причинно-следственная связь. Количество студентов, специализирующихся по социологии, популярность социальных дисциплин, упадок гуманитарных наук — все перечисленные обстоятельства способствовали восхождению социологии на факультеты; это восхождение показалось задним числом одной из причин событий мая 1968 года. Лично я беру на себя ответственность, которая выглядит в глазах одних как заслуга, а других — как провинность, за то, что в течение двух лет (срок, чрезвычайно малый для институциональной реформы) мне удалось создать степень лиценциата по социологии.

Социология входила в программы гуманитарных факультетов: по этому предмету сдавалась половина экзаменов, необходимых для лиценциата по философии (специальность: мораль и социология), а также для свободного лиценциата. Степень лиценциата по социологии не давала права на преподавание (социология в программах лицеев отсутствовала), но представляла прогресс по сравнению с прошлым состоянием. Я

добился того, чтобы для получения данной степени необходимо было сдать три обязательных экзамена (по общей социологии, социальной психологии, политической экономии). Предмет четвертого экзамена студент выбирал сам из довольно обширного списка (экономическая история, этнология и т. д.). Я настаивал на этих трех обязательных экзаменах, программы каждого из которых имели свою собственную концепцию. На собрании профессоров не было недостатка в возражениях против экзамена по политической экономии. Разумеется, отрицательное отношение к нему высказал Гурвич. Некоторые вспомнили о Дюркгейме и о том, что он критиковал экономическую науку. Мне удалось, не без труда, убедить большинство в своей правоте. Благодаря ли весомости моих аргументов или же превосходству (слишком естественному) моего французского языка над языком Гурвича? Не знаю.

Моя склонность оставлять за собой последнее слово вовлекла меня в полемику с Этьемблем, к которому я очень хорошо отношусь, которого уважаю. Обсуждалась программа сертификационного экзамена по общей социологии, мы, используя слова, которые фигурировали в программе экзамена по морали и социологии, — «предшественники», «основоположники», — включили в эту программу несколько имен: Ж.-Ж. Руссо, Монтескьё… Этьембль воскликнул: «А где же арабская социология, где китайская социология? Опять эта узость, как если бы Франция в своем „шестиугольнике“ содержала всю культуру…» Я был немного раздражен этой тирадой и ответил в стиле, мало соответствующем университетским обыкновениям: «Полностью согласен с моим другом Этьемблем, но предлагаю отложить обучение арабской социологии или китайской социологии до той поры, когда ученики моего коллеги будут способны их преподавать». Взрыв смеха завершил дискуссию. Этьембль, который не прочь посмеяться над другими, но плохо переносит насмешки над собой, прислал мне две свои книги с кисло-сладкими дарственными надписями… Не сомневаюсь, что он давно простил мне этот эпизод нашего университетского сотрудничества.

Степень лиценциата по социологии долго не просуществовала, была упразднена в соответствии с реформой Фуше, проведение которой началось в 1968 году. Но и ту сразу же унес ветер перемен. Во всяком случае, ныне социология признана как учебная дисциплина в университетах, она продолжает привлекать к себе многих студентов, хотя волна 60-х годов перестала, к счастью, подниматься.

Взяв в 1955 году в качестве темы своего первого публичного

курса индустриальное общество, я порвал с обычаями: в нем нашли место пятилетки, коллективизация сельского хозяйства, московские процессы. Как могло быть иначе, если Советский Союз воплощал идеальный тип общественного строя нашего времени — строя, который поставил своей целью догнать Соединенные Штаты, развить производительные силы в рамках социалистической системы? Напоминания в аудитории Сорбонны о концентрационных лагерях или о признаниях ленинских соратников сближали так называемую академическую социологию с молвой на городской площади. Лекции Ж. Гурвича, отражавшие содержание его книг, насыщенные классификациями и определениями, обладали противоположными достоинствами; эти лекции вырывали студентов из их повседневности и вводили в незнакомый мир, немного таинственный, населенный «малыми группами», оживляемый разнообразными формами социальности, разделенный на многочисленные «глубинные уровни».

Кто из нас был прав? Вероятно, вопрос не имеет смысла. Хорошо, что социолог избавляет студента от его предрассудков, от стихийного осознания переживаемой действительности. Но небесполезно также освещение профессором с такой степенью объективности, какая возможна, проблем, которые обычно являются уделом журналистики или пропагандистских выступлений. Первые курсы — «18 лекций об индустриальном обществе», «Борьба классов», «Демократия и тоталитаризм», прочитанные в 1955/56, 1956/57, 1957/58 годах, не привлекали толпы, в первый год их слушало несколько десятков студентов; число слушателей возрастало из года в год, что свидетельствовало не столько об успехе, сколько об увеличении количества записавшихся для обучения на факультете. Впрочем, эти лекции, не имевшие многочисленных слушателей, сразу же нашли тысячи читателей (благодаря публикации лекционных курсов Сорбонны).

Этот тематический выбор был небезопасным. Стремясь отойти от журналистики, я рисковал вновь в нее впасть. Но, с другой стороны, я захотел подготовить на основе своих лекций *magnum opus,* большой труд — Маркс — Парето, который я давно обдумывал и к написанию которого уже приступил. Я хотел доказать на практике возможность синтеза теории роста (Колин Кларк, Жан Фурастье), теории общественного строя (капитализм — социализм), теории социальных классов и, наконец, теории элит в экономическом, социальном и политическом планах. Не уверен, что заранее четко продумал содержание этих трех небольших томов. В первый год я шел от лекции к лекции, не имея какого-то общего плана. Чудо, что результат не стал еще

хуже.

Я вернусь к содержанию упомянутых книг в одной из следующих глав. Состояние моего духа в ту пору, мое стремление привлечь аудиторию требует некоторых пояснений. Группы студентов, марксистов или сочувствующих марксизму, поджидали меня на углу улицы. Мое появление сопровождала или обгоняла моя репутация человека правых взглядов и журналиста; мне необходимо было приручить марксистов, убедить их в моих знаниях, добиться того, чтобы все признавали меня как полноценного преподавателя. В «18 лекциях» я не раз воздерживался от выражения собственных суждений о Советском Союзе. Чтобы засвидетельствовать объективность, мне пришлось предоставить режиму, против которого я сражался, презумпцию невиновности, проявлять к нему снисходительность. Я искренне думаю, что достиг своей цели. Не забудем также и того, что доклад Н. С. Хрущева на XX съезде был сделан в 1956 году; как раз тогда, когда я читал свой первый лекционный курс. Первый секретарь Коммунистической партии Советского Союза удостоверял факты, которые я приводил в лекциях.

Мне трудно говорить о моих отношениях со студентами, по крайней мере, со студентами первого цикла (первый и второй годы обучения). Они приходили ко мне редко, обращались за советом к ассистентам. Первоначально их число было таково, что еще оставалась возможность поручать им делать сообщения, то есть подвергать их испытанию публичным выступлением перед товарищами и профессором. От такой практики мне пришлось вскоре отказаться. Студенты совсем не слушали своего товарища и надеялись на разбор его выступления профессором. Я старался не унижать студента, даже если он плохо справлялся с задачей. Мне представлялось недостойным вызывать смех студентов над одним из них. Не уверен, что всегда удавалось избежать этой ошибки, которая мне отвратительна, во всяком случае, могу сказать, что никогда не совершал ее намеренно.

Не помню, при каких обстоятельствах Пьер Аснер, посещавший иногда мои лекции, сделал блестящее, ошеломительное сообщение об [афинском историке] Фукидиде. Я осыпал его похвалами, соразмерными с достоинствами экспозе. Я сказал его автору, что никогда еще, в бытность свою студентом или преподавателем, не слышал столь превосходного доклада (Пьер в то время уже получил степень агреже[163]). После заседания ко мне подошел один из студентов и сказал: «Я стал бы вас презирать, если бы вы не признали, что услышанное нами сегодня было необыкновенным». На следующей неделе и я порассуждал о Фукидиде, стараясь не слишком отстать от Пьера.

Мои отношения со студентами-выпускниками или диссертантами не составляли проблему. Охотнее всего я давал им свободу выбора темы письменной работы, особенно когда речь шла о диссертации на степень государственного доктора: «Если у вас в голове нет темы или по меньшей мере определенной идеи, соответствующей вашим интеллектуальным запросам, то зачем вам готовить государственную диссертацию? Она не является и не должна являться каким-то школярским упражнением; вы посвятите ей годы вашей жизни, не жертвуйте ими ради роли мандарина, ради карьерных соображений». Такой подход и сегодня мне кажется надлежащим; может быть, студенты, сталкиваясь с некоторыми мэтрами и с некоторыми обстоятельствами, покоряются указам или карьерной необходимости. В таких случаях ответственность делится пополам.

Еще более трудными оказались мои отношения с ассистентами на семинарах или со студентами, которые после завершения докторантуры защищали свои диссертации. Моя дочь Доминика не раз упрекала меня в том, что я ставлю ассистентов в неловкое положение перед студентами. Поэтому Пьер Бурдье, бывший моим ассистентом в начале 60-х годов, никогда, можно сказать, не открывал рта, присутствуя на моих семинарах. Несколько раз я обижал (или расстраивал) Пьера Аснера, когда, как предполагалось, мы должны были вместе вести семинар по международным отношениям. На практике руководство семинара двумя лицами, которое гармонично прошло с Ж.-Б. Дюрозелем, не подходило для пары Арон — Аснер. В течение 60-х годов я преодолел свою ораторскую бесцеремонность и стремление всегда быть правым — в достаточной мере для того, чтобы сотрудничать с соруководителем; но Пьер Аснер проявляет себя лучше всего тогда, когда выражает свои мысли совершенно свободно, когда его монолог одновременно содержит и аргументы «за», и возможные возражения собеседников. Тонкость, чуткость этого человека к нюансам настолько превосходят подобные качества у других людей — включая, разумеется, и меня, — что диалог с ним становится затруднительным. Следует предоставить ему свободу вести разговор на свой манер; каждый из слушателей по ходу его подхватит ту пищу, которую способен переварить (или уловит перлы, щедро разбрасываемые благодаря неистощимому богатству воображения и силе аналитической мысли).

При всем этом мои семинары, в особенности в VI секции, в которой я был избран руководителем исследований по совместительству в 1960 году, вызывают у меня воспоминания о

свободных дискуссиях, о совместных изысканиях, без словесных дуэлей. Разумеется, занятия были неравными по уровню, зависевшему от интереса, который вызывали вступительные сообщения и завязывавшийся на их основе диалог. Людям, сегодня включенным их собратьями в элиту научного сообщества, нравились семинары, они что-то этим людям давали (я думаю, например, об Ионе Эльстере, подготовившем и защитившем государственную диссертацию в Сор бонне; он стал первым норвежцем, который после пятидесятилетнего перерыва получил здесь докторскую степень вслед за другим его соотечественником). Я получил от одной из постоянных слушательниц семинара, близкой по взглядам к левым, трогательное письмо с выражением признательности за стиль этих бесед.

Воспоминания о защите диссертаций вызывают у меня смешанные чувства. Прежде всего скажу, что, в отличие от некоторых моих коллег, я со вниманием, полностью прочитывал эти работы. Именно потому, что мои коллеги первоначально подозревали меня в несоблюдении всех требований ремесла, я счел делом чести соперничать с самыми добросовестными из них. Но это профессиональное сознание проявилось также в откровенном выражении мыслей, что справедливо было сочтено за строгость, — не считая обвинений со стороны других судей в том, что я использую возможность блеснуть в ущерб человеку, который еще на какие-то полдня остается по ту сторону баррикады. Член жюри пользуется и злоупотребляет преимуществами, которые обеспечивает ему его кресло.

В Сорбонне у каждого — свой избранный стиль. Кому-то нравится выискивать орфографические ошибки, мелкие неточности или англицизмы, другой — когда диссертация это позволяет — пускается в рассуждения, которые иногда оказываются блестящими, но не позволяют ни слушателю познакомиться с достоинствами труда, ни его автору, представляющему плод долголетней работы, защитить свое дело. Я раз и навсегда выбрал прямой стиль: пытался рассматривать основные идеи труда, а потому приобрел репутацию ценителя строгого и даже сурового. В какой-то мере эта репутация была заслуженной. Турнир красноречия развертывается между членами жюри в той же мере, что и между этим жюри и «соискателем». Последний рискует стать жертвой соперничества между «дорогими коллегами».

Ален Турен уже рассказал в одной из своих книг об испытании, которому его подвергли Жорж Фридман и Жан Стёцель вместе со мной. Я испытывал и продолжаю испытывать к

А. Турену настоящую симпатию. В сообществе парижских социологов он выделяется своим изяществом, врожденным благородством и естественностью. У меня не было к нему никаких претензий, я не связывал с ним никаких неприятных воспоминаний. Он попросил меня быть руководителем его диссертации, когда она была уже написана. А. Турен хотел, чтобы я оценил ее или потому, что ставил меня выше других, или потому, что, как он рассчитывал, мое присутствие придаст больший блеск церемонии. После обсуждения дополнительной диссертации (эмпирическое исследование классового сознания) Э. Лабруссом и Ж. Гурвичем — обсуждения, затянувшегося из-за страсти к красноречию, которую, как обычно, проявил первый из них, — свою работу представил А. Турен; он говорил с пылом конкистадора, в заключение выступления продекламировал стихи на испанском языке. Председатель жюри предоставил мне слово, и я начал: «Спустимся на землю».

В перерыве между обсуждениями обеих диссертаций А. Турен, как мне позже передали, выразился подобно фехтовальщику, готовому скрестить оружие с противником: «Я опасаюсь только Арона». Я дал почувствовать аудитории (Зал Луи-Лиар был набит до отказа), что по-дружески отношусь к А. Турену; поэтому мои суждения о диссертации еще более его уязвили. Я не сводил старые счеты, я упрекнул Турена в том, что он устремился в аналитические изыскания скорее философского, чем социологического толка, не овладев концептами, без философской подготовки. Был ли я прав или неправ? В подобной материи нет доказательств. В свое оправдание могу сказать только то, что работа была мною прочитана и перечитана, что было испрошено мнение авторитетнейшего специалиста. Возможно, мое выступление не оказалось бы столь разрушительным, если бы не подвигло Фридмана и Стёцеля на еще большую суровость. Турен был обескуражен, почти перестал защищаться. Атмосфера стала невыносимой. Лабрусс шептал мне: «Это слишком, это невозможно». Ж. Ле Гофф не мог усидеть на месте, порывался взять слово, чтобы задать вопросы членам жюри — Ж. Фридману, мэтру и покровителю, ставшему вдруг столь суровым, Ж. Стёцелю, пришельцу из мира, чужого для VI секции. В течение недели Ален Турен переживал вновь и вновь как сон или, скорее, как кошмар эти несколько послеполуденных часов. Вечером того дня он устраивал прием для всего интеллектуального светского Парижа, приглашенного заранее. Одна дама призналась мне, что эта церемония инициации была ужасной. П. Лазарсфельд положительно оценил открытое обсуждение диссертации. «Ваше импровизированное выступление

можно было бы опубликовать в том виде, в каком оно произнесено», — сказал он мне (это было неверно).

Хотя и при иных обстоятельствах я выступал с такой же откровенностью, ни одна другая защита докторской диссертации не проходила столь напряженно, почти драматично. Мне довелось поспорить с Мишелем Крозье; мои возражения не всегда оказывались уместными, и не раз его ответные реплики вызывали аплодисменты. Мои диалоги с Франсуа Буррико и Анри Мандра остались мирными и дружескими.

В особенности мне вспоминаются две диссертации, ведущие идеи которых я поставил под вопрос, не слишком расстроив их авторов. П. Навиль, руководитель исследований в Национальном центре научных исследований, пожелал получить степень государственного доктора за работу о творчестве Маркса под названием «Об отчуждении от пользования». Ж. Гурвич два часа дискутировал с Навилем о молодости Маркса, об этапах развития его мысли и о влияниях, которые он испытал в период с 1837 по 1848 год. Гурвич стоял за Сен-Симона и Фихте, Навиль — за Гегеля и материалистов. Я взял слово, когда часы показывали уже более семи с половиной. Мне хотелось сделать лишь одно замечание, но замечание по существу дела. Если верить Навилю, Маркс ввел количественное измерение в экономический анализ. Таков был его решающий вклад в историческое развитие экономической науки. И поскольку концепт прибавочной стоимости занимает существенное место в марксистском анализе, я задал автору диссертации вопрос: «Удалось ли за прошедший век исчислить прибавочную стоимость?» С очевидностью этого не удалось сделать, хотя в своих цифровых примерах Маркс дал понять, не утверждая прямо, что капиталист накапливает значительную прибавочную стоимость. (Обычно, по его предположениям, степень эксплуатации достигает 100 %; иными словами, прибавочное время, то есть время сверх того, которое необходимо для производства стоимости, равной заработной плате трудящегося, составляет половину его рабочего дня.) Невиль, если память мне не изменяет, не нашелся, что ответить, разве только заметил, что Маркс вообще стремился к количественным определениям. Лабрусс пришел к нему на помощь, но довод его был малоубедительным или даже лишенным смысла. «Прибавочную стоимость еще не высчитали, — сказал он мне, — но это не доказывает того, что ее не смогут высчитать в предстоящее столетие». Мне было легко показать точные причины того, почему концепт прибавочной стоимости не поддается квантификации. Единственное ценное замечание сделал мой друг Ион Эльстер: существуют другие

концепты, в других теориях, не имеющие количественного выражения, но из-за этого не теряющие своего значения (например, цена своевременности). Я бы присоединился к этому замечанию, но, в любом случае, диссертация Навиля была поколеблена. К. Маркс конечно же изучал статистику, имевшуюся в ту эпоху; он набросился бы на данные национальных счетных палат, если бы последние уже существовали. Что касается его основных работ, первого тома «Капитала» к примеру, то вычисления там присутствуют лишь в форме цифровых иллюстраций к рассуждениям; и именно благодаря этому ему удалось создать почти бредовые иллюзии. Если норма эксплуатации достигает 100 %, то какой же источник доходов наемные работники могли бы получить в тот день, когда эксплуатация человека человеком была бы окончательно уничтожена!

В памяти осталась еще одна защита докторской диссертации — грека К. Акселоса, одновременно и хайдеггерианца, и марксиста. Он написал работу «Маркс — мыслитель техники». Тему ее, очевидно, подсказало эссе Хайдеггера, в котором прослеживалась связь между мыслью Маркса и планетарным распространением техники. Мой товарищ Патрионье де Гандийак, друг Костаса Акселоса, знал, что я сдержанно отношусь к этой работе, и желал бы отодвинуть момент моего выступления. Я задал, не очень понятно кому, можно сказать, один вопрос: что же Маркс написал о технике, в чем заключалась его философия техники? И получил ответ: «В конце концов может случиться такое, что автор потерпит неудачу в отношении основного предмета мысли». Далее этого диалог не продвинулся.

Решившись в полной мере выполнить свои обязательства социолога, я создал в рамках VI секции исследовательский центр, названный «Европейским центром исторической социологии». До разрыва, вызванного событиями 1968 года, его генеральным директором и организатором, фактически настоящим директором был Пьер Бурдье. Я принадлежу к поколению, промежуточному между непосредственными учениками Дюркгейма и теми, для кого переход от философии к социологии лежит через эмпирические исследования. Стал ли бы я в качестве профессора Бордоского университета в 1945 году заниматься опросами, обучаться в ходе работы вместе со студентами? Быть может, но я в этом не уверен. Ж. Фридман не совершил переход до конца. Что касается меня, то мое возвращение в Сорбонну произошло слишком поздно: мне было пятьдесят лет, я не захотел отказаться от журналистики и от активности во французской политике; международные отношения (которые отнюдь не сопряжены с

социологическими опросами) наполовину занимали мое внимание и мое время. Пьер Бурдье, возвратившись с военной службы, уже стал проводить полевые исследования. В те времена он обещал стать таким, каким стал впоследствии, — одним из «великих» в своем поколении; но ничто не предвещало в нем того, в кого он превратился, — в вождя секты, уверенного в себе и подавляющего других, мастера университетских интриг, безжалостного к тем, кто мог бы его заслонить. По-человечески, я ожидал от него чего-то другого.

Моя должность в Сорбонне привела меня в комиссию CNRS. Там я познакомился одновременно с бюрократией и с борьбой между группами давления. Комиссия должна была рассматривать кандидатуры, а также работы исследователей, о продолжении или продвижении которых стоял вопрос. Социологи, в большинстве своем сделавшие карьеру в CNRS, не придавали большого значения дипломам (степени агреже, к примеру), которых сами они не имели. Помимо дипломов, отбор определяли, по меньшей мере в принципе, проекты, составленные кандидатами. Члены комиссии не смогли бы прийти к согласию друг с другом даже в том случае, если бы все они добросовестно стали искать лучших. Политические взгляды, групповая солидарность, интерес, проявляемый к одной области более, чем к другой, — все это перемешивалось или сталкивалось. Произвол демократического управления бросался в глаза.

В течение четырех лет я председательствовал в Комиссии по социологии, мне удалось в какой-то мере повлиять на нашу работу и улучшить ее. Когда члены комиссии, даже коммунисты, убедились в моем искреннем желании поступать честно, они стали часто соглашаться с моими предложениями. И меня более всего поразило то, что члены комиссии, почти все, выражали некоторое удовлетворение, когда совместно принимали справедливое решение. Мой неискоренимо оптимистический взгляд на человеческую природу получал какое-то подтверждение: эти социологи предпочитали справедливость своим страстям и привязанностям, когда к этому представлялся случай.

Период с 1955 по 1968 год оказался самым университетским в моей жизни, он был также отмечен тремя моими выступлениями, вызвавшими шумные отклики, — об Алжире, о пресс-конференции Генерала в 1967 году, о событиях мая 1968 года. В течение этих тринадцати лет я опубликовал на основе записей лекционных курсов пять книг;[164] прочел курс лекций на тему одной из частей книги «Мир и война», но полностью их

переписал; в Институте политических исследований мною был прочитан первый во Франции лекционный курс о ядерной стратегии; за три недели, по горячим следам, был написан «Великий спор» («Le Grand Débat»). В 1957 году я объединил в книге под заголовком «Надежда и страх века» («Espoir et peur du siècle») три эссе — «Правые», «Упадок», «Война» («La Droite», «La Décadance», «La Guerre»); в 1965 году для энциклопедии «Британника» была написана *roof article*, обзорная статья, практически книга, которая во Франции увидела свет лишь в 1968-м («Разочарования в прогрессе» («Les Désillusions du Progrès»)). Но я не использовал годичный курс о политической мысли Монтескьё и другой — о политической мысли Спинозы, еще один годичный (по два часа в неделю) курс о Марксе и, наконец, последний (по два часа в неделю) — о равенстве. Преподавание в какой-то мере выходило за рамки злободневности, тех проблем, которые перед нами ставила эпоха.

Для меня это преподавание, повторю, было благословенным. Оно помогло мне вернуть прежнее внутреннее равновесие и найти его не в забвении, а в принятии. Выиграли ли от этого также студенты, Сорбонна, дело развития социологической мысли во Франции? Мне нелегко ответить на этот вопрос. Вот все же несколько замечаний, с которыми большинство моих коллег согласится.

Своими лекциями и печатными работами я помог сообществу социологов обрести новое родство в прошлом. Дюркгейм в своей дополнительной диссертации представлял Монтескьё и Руссо в качестве предшественников социологии. Я же рассмотрел «Дух законов» как произведение, уже вдохновленное истинно социологической проблематикой. Впрочем, если поразмыслить, идея эта выглядит почти тривиально, но она была совсем забыта. Точно так же и еще более настойчиво я напомнил моим студентам и моим коллегам, что Токвиль — это их достояние, что автор «Демократии в Америке» («Démocratie en Amérique») являлся не предшественником, но пионером социологической мысли. Токвиль, к которому философы и историки литературы относились с пренебрежением, которого они не считали великим писателем, ныне принадлежит социологам, американистам и, наконец, историкам. Франсуа Фюре воздает должное «Старому порядку и Революции» («L'Ancien Régime et la Revolution») и включает это магистральное произведение в историографию Французской революции. Конечно же, французские социологи не обязаны мне лично обогащением своего исторического сознания, такая претензия с моей стороны выглядела бы смешно и, кроме того, плохо совмещалась бы с социологической мыслью. Я

способствовал этому обогащению, как до войны помог понять величие Макса Вебера.

Разумеется, включение Монтескьё и Токвиля в число Семи Великих, портреты которых я набросал 207, представляло собой разрыв с дюркгеймианской традицией, и Жорж Дави, будучи верным эпигоном, дал мне об этом знать в своей негативной рецензии. Один английский социолог, более снисходительный, не преминул мне напомнить, расточая комплименты, что Дюркгейм является социологом *par excellence*. Согласен, но он является также *социологистам* par excellence; я понимаю под этим то, что его произведения потенциально содержат в себе все ошибки социологизма: придание социологической интерпретации высшего авторитета перед всеми другими интерпретациями; такое использование концепта *общество*, при котором предполагается, что оно якобы обозначает какую-то действительность, охватывающую все, конкретную и четко очерченную; смешение в этом концепте ценностного и реально существующего до такой степени, что даже, как он говорит, не видно различия между обществом и Богом, предметом религиозной веры. Гениальность Дюркгейма несомненна, как несомненны его узость в некотором отношении и даже фанатичность.

Ж. Дави упрекнул меня в скольжении от социологии к политической науке. Но имеет ли какой-то смысл различение этих двух дисциплин, если оставить в стороне разграничение между ними как учебными дисциплинами в университете? В возражении Дави верно то, что Монтескьё и Токвиль не порывают с традицией классической философии, даже если оба подчеркивают связь между социальным состоянием и политическим режимом, выявляют социальные условия [возникновения] и социальные последствия политического строя. В отличие от Конта и Дюркгейма, они не постулируют превосходства социального над политическим, в крайнем случае говорят о незначительности политического по сравнению с социальным. Отнюдь не случайно то, что ни Огюст Конт, ни Эмиль Дюркгейм не написали ничего важного о политике[165], в особенности о строе, который в их глазах соответствовал бы духу или требованиям современного общества. Именно потому, что предметом изучения у Токвиля в конечном счете была политика, ему еще есть что сказать нам.

Следует ли противопоставлять Монтескьё — Токвиля, которые исследовали социальные условия [возникновения] и социальные последствия политического, Конту — Дюркгейму, исходившим из тотальности социального и лишь скромное место

отводившим политическому? Возможно, но почему социологии следовало бы основываться на возведенных в ранг постулатов суждениях, без которых она якобы была бы немыслима как наука?

Моя заслуга, как я ее вижу, заключалась в утверждении, что социология необязательно предполагает социологистскую философию. Ошибка же моя состояла в том, что я не продолжил далее анализ и не занял позицию в споре о типах объяснения или о моделях общества. Все написанное мною об историческом понимании и историческом объяснении, о международных отношениях, о французском обществе или о способах развития исключало крайние формы детерминизма или функционализма. Мне следовало бы в Сорбонне или в Коллеж де Франс объясниться по поводу этих принципиальных разногласий.

С несколько большей долей неуверенности я ставлю себе в заслугу то, что под высокими сводами Сорбонны был эхом молвы на городской площади; я напомнил, цитируя доклад Хрущева, об аграрной коллективизации, о московских процессах. Три курса «Об индустриальном обществе», вызывающие у меня, к сожалению, грусть о книге, которую следовало бы написать, обеспечили неким инструментарием «господствующую идеологию». Что-то близкое себе находили в них те, кто приходил с марксистско-ленинских берегов. В этих лекциях обрисовывались рамки, внутри которых развертывалось идеологическое соревнование. В них ставилось больше вопросов, чем содержалось ответов. Несмотря ни на что, лекции предлагали студентам и всем образованным людям менее упрощенное, менее карикатурное видение развитых обществ, так называемых социалистических режимов и либеральных демократий, по сравнению с тем, какое давал марксизм-ленинизм.

Если не говорить об этих двух заслугах, то от меня ускользает существеннейшее. Пробудил ли я чьи-то умы? Помог ли я студентам прожить молодость и справиться со своими тревогами? Сколько из них сохранили память о моих лекциях и еще чувствуют, что извлекли из этих лекций больше того, что требуется для получения диплома, ныне достаточно обесцененного? Я ничего об этом не знаю и никогда не узнаю. Несомненно, мои друзья — Пьер Манан, Раймонда Мулен, Жан Бешлер, если называть лишь некоторых из самых близких, люди, очень непохожие один на другого и на меня, не стали бы отрицать, что сохранили в себе что-то от посещения моих семинаров и от наших бесед. Но что можно знать, если не ограничиваться этой небольшой группой? Французский преподаватель обращается к немой аудитории, которая держится настороже. Иногда он спрашивает себя, не следят ли слушатели

за действиями оратора так, как в цирке — за движениями клоуна, идущего по проволоке. Французская аудитория, в особенности студенческая, всегда мне казалась одной из самых тяжелых, самых неблагодарных среди тех, с которыми я когда-либо встречался в мире.

Я прочитал десятки курсов или отдельных лекций на английском, на немецком языках. Если не говорить о нескольких особых случаях, мне никогда не было трудно завоевать аудиторию, почувствовать ее, так сказать, физически. Если вы прямо обращаетесь к слушателям — что я всегда делал, — а не читаете им или не воспроизводите по памяти заранее подготовленный текст, то легко угадываете их реакцию, понимаете, когда именно тема их утомляет, когда любопытство просыпается или когда они теряют нить рассуждения. Я почти всегда обнаруживал, что английские, американские, немецкие студенты симпатичны и, сверх всего, признательны. Свою благодарность они выражают с приветливостью и непосредственностью, которые всегда глубоко радовали меня, человека из Сорбонны.

В Гарварде у меня было более или менее импровизированное выступление перед группой лучших студентов. Через несколько минут после его окончания один из этих студентов подошел ко мне и сказал: «Я только что позвонил по телефону своей подруге, чтобы поделиться с ней радостью, которую мне доставил этот вечер, проведенный с вами». По другую сторону океана вспоминаю лишь одну параллель — письмо от студента, обратившегося ко мне с трогательными строками, чтобы как-то утешить и ободрить, после лекции, на которой я позволил обнаружиться собственному одиночеству перед этими сотнями студентов, замурованных в своей убежденности или в своем молчании.

Почему французские студенты никогда или почти никогда не выражают радость или дружелюбие, подобно американским или английским студентам? Вероятно, это как-то связано с системой экзаменов или конкурсов. Возможно, уже тогда студенты Сорбонны составляют толпу одиночек. Они знали ассистентов и лишь чуть-чуть — профессоров. Они не выражали своих эмоций, но, может быть, испытывали те же чувства, что и их товарищи в других странах. Несколько лет спустя один студент, ставший ныне ректором, заговорил со мной о моем курсе о Монтескьё, как если бы этот курс явился событием в его интеллектуальной жизни. И все же французская аудитория своим сопротивлением бросает вызов преподавателю, сознающему собственную миссию и стремящемуся ее исполнить. В Сорбонне до самого конца я брался

за свои курсы с твердым намерением завоевать эти сотни лиц, эти сотни юных умов; одни из них, конечно, были покорены заранее, другие сопротивлялись, но всех их я хотел объединить словом в одно радушное сообщество.

С 1955 по 1968 год мое положение в среде парижской intelligentsia и в университетском мире, во Франции и за рубежом мало-помалу изменилось. Период 1945–1955 годов завершился «Опиумом интеллектуалов», который стоил мне смертного приговора за измену клеркам, но не помешал моему избранию в Сорбонну. 1955–1968 годы закончились скандалом, вызванным публикацией «Бесподобной революции» («La Révolution introuvable»), в то же время многие благодарили меня за эту книгу, причем за границей, может быть, чаще, чем во Франции. Левые — немарксисты или бывшие марксисты — прочитали «Восемнадцать лекций об индустриальном обществе»; журнал «Анналы» организовал нечто вроде заочного «круглого стола», посвященного «Миру и войне». Дипломы почетного доктора, полученные в Гарварде, Базеле, Брюсселе, Оксфорде… подтвердили прием, оказанный мне иностранными университетами. Я не раз был приглашен выступать с так называемыми престижными лекциями в рамках чтений, которые регулярно проводились в Великобритани: *Gifford Lectures* в Шотландии (Абердин); *Basil Zaharoff Lectures* в Оксфорде; *Alfred Marschall Lectures* в Кембридже; *Chichele Lectures* в Оксфорде. Такие же лекции я прочитал в Соединенных Штатах — в Принстоне, в Гарварде, в Чикаго, в Беркли. Лекции, представленные в рамках «Джефферсоновских чтений» (Беркли, 1963), стали основой «Эссе о свободах» («Essai sur les libertés»), опубликованного в 1965 году, и т. д.

Как журналист и преподаватель, я не имел оснований упрекать общественность и учреждения в несправедливом отношении ко мне. В день моего избрания в Коллеж де Франс в вечерней вступительной лекции я вспомнил о своем отце, о своей матери, окончивших жизнь в несчастье. Они могли бы найти утешение в успехе — в том, что они назвали бы успехом, — своего сына. Сам я не был уверен в том, что реализовал себя. В 1970 году я еще чувствовал себя молодым или, вернее, еще не ощущал груза лет; я не стал рассчитывать, как наилучшим образом употребить время, которое, вероятно, у меня еще оставалось. Возможно, как это столь часто утверждают мои критики, я являюсь автором благоразумным; но сомневаюсь, что моей карьерой и моими трудами руководило благоразумие.

XIV
АЛЖИРСКАЯ ТРАГЕДИЯ

В 1956 году потрясли Европу и привели в смятение интеллектуальный мир во Франции доклад Хрущева на XX съезде Коммунистической партии СССР, национализация Суэцкого канала Насером и произошедшие почти одновременно венгерская революция и франко-английская операция [в Египте].

Доклад Хрущева ошеломил общественное мнение на Западе, интеллектуалов, коммунистов и прогрессистов. В нашей стране удар оказался тем более жестоким, что французы дольше и упорнее других отказывались признавать существование ГУЛАГа и видеть природу советского строя.

В каком-то смысле можно было бы сказать, что этот знаменитый доклад не открывал никаких секретов. Большая чистка, ГУЛАГ, депортации целых народов, московские процессы — обо всем этом знали те, кто хотел знать. В конце концов, даже Ж.-П. Сартр и Морис Мерло-Понти на страницах «Тан модерн» (номер за май 1949 года) признавали, что «социализма нет, когда из каждых двадцати граждан один находится в лагере». Но они написали об этом единственный раз, не преминув смягчить свою уступку в пользу действительности рассуждениями якобы философского характера. Привожу их в том виде, в каком они были напечатаны: «Если наши коммунисты мирятся с лагерями и подавлением, то потому, что ожидают в результате приход бесклассового общества благодаря чуду, производимому инфраструктурами. Они ошибаются. Но именно так они мыслят». ГУЛАГа экзистенциалистам было недостаточно для того, чтобы убедиться: СССР находится не на праведной стороне баррикады. «Какой бы ни была природа нынешнего советского общества, СССР в балансе сил находится, *grosso modo*, на стороне тех, кто борется против известных нам форм эксплуатации…» И заключение (если его можно так назвать): «Колонии являются трудовыми лагерями демократий…»

Не было недостатка в книгах, благодаря которым французы могли бы познакомиться с «разоблачениями», сделанными в докладе. Речь идет о книгах бывших коммунистов (Бориса Суварина, Антона Силиги, Виктора Сержа, Кравченко) или социологов (Давида Руссе, Мишеля Коллине). Одним махом Генеральный секретарь Коммунистической партии удостоверил подлинность «пропаганды» «антикоммунистов», начинающих или профессиональных.

По существу, Н. С. Хрущев не говорил «правду, всю правду, только правду». Что касается политических процессов и большой чистки, то он представил в основном правдивую их версию. Что же касается самого Сталина, то Хрущев не освободился от сталинизма, не отказался от тех возможностей, которые дает ложь. Он не ограничился свержением маршала [208] с его пьедестала, Сталин был осмеян, представлен ничтожным человеком, который не был способен во время войны руководить страной и ее армиями.

Коммунистам и сочувствовавшим им, даже некоммунистам приходилось делать выбор между двумя позициями: или во всеуслышание заявлять, что они ничего не знали; или же, напротив, с опозданием приписывать себе прозорливость, наличие которой их прежние писания опровергали. Французские коммунисты, поневоле и по принуждению, заняли первую позицию; левые, более или менее близкие к компартии, выбрали, скорее, вторую позицию. В большинстве своем и те и другие вольно обошлись с истиной. Будучи в Советском Союзе, я спросил у одного интеллектуала-коммуниста, человека тюркского происхождения, судя по его фамилии — Ораб-Оглы, с которым у меня завязались почти личные отношения: «Узнали ли вы что-либо новое из доклада Хрущева?» Поколебавшись несколько секунд, он ответил мне: «Ничего или почти ничего». Он принадлежал ко второму поколению партаппаратчиков, его отец руководил колхозом.

Обстоятельства побудили меня сделать несколько полемических выступлений. В статье под заголовком «Они всегда это говорили» я обрушился на Исаака Дойчера и на Мориса Дюверже. Первый из них написал в еженедельнике «Франс-обсерватер»: «Историк не находит ничего поразительного в разоблачениях Хрущева, касающихся роли Сталина в последней войне, его неверных расчетов и его ошибок». Этому утверждению я противопоставил отрывок из биографии Сталина, написанной Дойчером: «Фактически он был своим собственным главнокомандующим, своим собственным министром обороны, своим собственным квартирмейстером, своим собственным провиантским начальником, своим собственным министром иностранных дел и даже своим собственным шефом протокола… Он провел эту необыкновенную операцию, которую представляла собой эвакуация тысячи трехсот шестидесяти заводов из западной части России и из Украины на Волгу, на Урал и в Сибирь. Изо дня в день, на протяжении четырех лет войны, он не переставал проявлять чудеса терпения, упорства и бдительности, вездесущности или почти вездесущности». Мой комментарий:

«Так изъяснялся И. Дойчер в эпоху культа личности. Сегодня же его ничто не поражает в разоблачениях Н. С. Хрущева, утверждающего, что Сталин следил за военными действиями по карте мира. Не думаю, что Н. С. Хрущев дает точное представление о роли Сталина во время войны; он преувеличивает, И. Дойчер — тоже». В результате завязалась длительная полемика между последним и мною; мой оппонент дошел до того, что предложил не понимать его суждения о роли Сталина во время войны в их прямом смысле; то были иронические суждения, подразумевавшие противоположное тому, что они означали. Предметом полемики стали и перспективы будущего. И. Дойчер предполагал различные сценарии, в том числе приход какого-то Бонапарта, за исключением самого вероятного сценария, того, который осуществился: сохранения режима с его сущностными чертами, очищенного от патологических крайностей, связанных с самим Сталиным.

Мориса Дюверже я упрекнул за формулировку в его статье о докладе Хрущева: «Сталин не лучше и не хуже большинства тиранов, которые ему предшествовали». Я напомнил ему о сравнении, которое он когда-то провел между двумя монополистами — фашистской партией и коммунистической партией: «В русской коммунистической партии исчезает кастовость: становится возможной регулярная циркуляция элит; установлен контакт с массой». И немного ниже — о чистках: «Единственная русская партия выглядит как живой организм, клетки которого вечно обновляются. Боязнь чисток держит активистов в напряжении, постоянно побуждает их к рвению». Я прокомментировал эти строки следующим образом: «Н. С. Хрущева, выглядящего каким-то вульгарным „профессиональным антикоммунистом“, возмутили чистки, которые обезглавили армию, административный аппарат, коммунистическую партию. М. Дюверже выше этого вульгарного возмущения. Уничтожение активистов столь же полезно для поддержания жизни партии, как „обновление клеток“ — для здоровья живого организма».

И сегодня еще я подписался бы под выводами моей статьи от 10 июля 1956 года, повторив ее выражения: «Доклад Н. С. Хрущева подводит итог сталинского периода не в большей мере, чем это делало прославление великого человека. Но не была справедливой и позиция тех, кто держался на равном расстоянии от коммунистов и от антикоммунистов; когда речь шла о чистках, о насильственных переселениях целых народов или о признаниях, выдуманных от начала до конца, то правда была полностью на стороне антикоммунистов. Не всегда истина в

строгом соблюдении меры, ужасы тираний XX века чрезмерны».

К сожалению, я не испытываю такого же удовлетворения, перечитывая статьи в «Фигаро», посвященные национализации Суэцкого канала и англо-французской операции. В какой-то мере меня отравила атмосфера воинственности, навязчивого стремления применить силу, которая распространилась в Париже, в редакциях газет. Я никогда не выступал за военные действия; мне показалась безумием и меня возмутила совместная операция Израиля, Франции и Великобритании, предпринятая в тот момент, когда вспыхнула венгерская революция. Но я дал себя увлечь; занимая двусмысленные позиции, я полагал, что угроза новой оккупации Суэцкого канала должна была побудить полковника Насера пойти на соглашение с пользователями канала.

Задним числом я упрекаю себя в том, что не довел сразу же свою мысль до конца. Да, полковник Насер провел национализацию в провокационном стиле; но национализация не могла серьезно затруднить беспрепятственный проход через канал английских или французских танкеров. Мне следовало бы немедленно показать ложь рассуждений о «необходимой» роли лоцманов, хотя я ничего не знал об условиях судоходства по каналу[166]. Вина за распространение этого мифа в значительной степени лежала на Андре Зигфриде.

К счастью, мое отравление не превратило меня в безумца; никогда я не соглашался со сравнением событий марта 1936 года и июля 1956 года 209 или с идеей о том, что события на Ближнем Востоке могли бы оказать решающее воздействие на войну в Алжире: «Сравнение с мартом 1936 года…, к счастью, неверно во многих отношениях; после того как немецкие войска разместились в Рейнской области, ничто, кроме войны, не могло их оттуда выгнать, и соотношение сил в Европе окончательно изменилось. Полковник Насер еще не завладел окончательно каналом, и если бы даже он одержал победу в предстоящих в скором времени переговорах, что невероятно, то он еще не превратился бы в руководителя великой военной державы» (4–5 мая 1956 года).

Второго ноября 1956 года, в момент начала франко-английской операции, я предостерегал от иллюзий: «Сила — это лишь средство. В течение ряда месяцев мы плохо себе представляем, какой цели служит применение силы в Алжире. Необходимо, чтобы завтра цели не вызывали никаких сомнений, чтобы они были ясными в умах наших руководителей, ясными в глазах мирового общественного мнения. Было бы безумием сражаться с национализмом, который называют арабским, или

мусульманским, вновь ставить под вопрос независимость Туниса или Марокко, уже провозглашенную и окончательно приобретенную. В Северной Африке у Франции не может быть другой цели, кроме как укрепление умеренных, стремящихся к национальной независимости, но тем не менее желающих сохранить отношения сотрудничества и дружбы с Францией… Мы не найдем в Суэце решения тунисских, марокканских или алжирских проблем. Наша единственная надежда, наш единственный шанс — в том, что благодаря удару по человеку, воплощавшему панисламистский фанатизм, наши партнеры обретают высший род мужества — меру…»

Сегодня всем нам трудно понять, почему англичане и французы в разгар исторического процесса деколонизации бросились в подобную авантюру. Соединенное Королевство с учтивостью распрощалось со своими азиатскими владениями. Какое значение сохранял путь в Индию, если она стала независимой? Почему Египет, несущий ответственность за Суэцкий канал, не стал бы проявлять изобретательность ради удовлетворения его пользователей, чтобы увеличить свои доходы? Фактически, как я не раз писал в то время, в суэцком деле были две ставки: с одной стороны, свободный проход судов, с другой — воздействие на весь исламский мир того престижного успеха, которого достигает полковник Насер, бросая вызов Западу. Эмоциональная реакция на этот вызов повлияла на обсуждения в британском кабинете министров и в правительстве Ги Молле больше, чем политический расчет. Англичане и французы не желали, не должны были получить такой удар по самолюбию. Сразу же в Лондоне и в Париже раздались крики и начались военные приготовления. Лично я перестал, особенно к осени, через несколько месяцев после национализации, верить, что французы и англичане перейдут к действиям; их угроза, думал я, поможет переговорам. Поэтому я воздержался от того, чтобы заранее осудить оккупацию Суэцкого канала. Без всякого сомнения, я был неправ; страсти, бушевавшие вокруг этой проблемы [в доме «Фигаро»] на Круглой площади Елисейских полей, и особенно пыл П. Бриссона, меня не извиняют, но объясняют двусмысленности в моих статьях.

Дело приняло совершенно иной оборот в день, когда израильские войска предприняли наступление в Синае, между тем как лондонское и парижское правительства направили Каиру ультиматум, ссылаясь на необходимость развести воюющие стороны. Наличие тайного соглашения между Францией и Израилем не оставляло сомнения; ответ на национализацию Суэцкого канала, осуществленную несколько месяцев назад,

теперь выглядел лишь как предлог для того, чтобы сокрушить полковника Насера. Сценарий, который в моральном отношении нельзя было оправдать, и в военном плане не стоил большего. Все понимали: операцию следует завершить в короткие сроки для того, чтобы у нее был какой-то шанс на успех; но между ультиматумом и высадкой французско-английских войск прошел не один день. Европейские дипломатические ведомства не заручились обещанием снисходительности со стороны американского правительства. Генерал Эйзенхауэр, кампания по перевыборам которого была в разгаре, пришел в ярость. В Лондоне общественное мнение возмутилось этой дипломатией канонерок. Фунт не устоял перед атаками на него, стихийными или инспирированными из Вашингтона. Британский премьер уступил скорее перед американским давлением, чем перед угрозой Булганина, напомнившего в своем письме о советских ракетах.

В течение этих недель и в моих статьях не было следа снисходительности по отношению к американской дипломатии. Она провоцировала полковника Насера — не столько отказом финансировать сооружение Ассуанской плотины, сколько стилем этого отказа. Дж. Ф. Даллес маневрировал то на одной, то на другой конференции, чтобы убедить англичан и французов не вмешиваться. В конечном итоге Даллес оказался в ООН в том же лагере, что и Советский Союз, ради осуждения своих союзников, одновременно сколачивая большинство на Генеральной Ассамблее, чтобы осудить советскую интервенцию в Венгрии.

Кризисы на Ближнем Востоке и в Восточной Европе, совпавшие по времени, меня и поразили и просветили. Сговор двух великих держав стал для меня, можно сказать, очевидным. Каждая из них призвала своих сателлитов или союзников к порядку; разумеется, стремление венгров к свободе по существу отличалось от тщетного стремления Великобритании сохранить свои имперские позиции или Франции — сломить сопротивление алжирских мятежников, унизив Насера. Но существовало формальное сходство: восточноевропейские «народные демократии» не могли рассчитывать ни на какую помощь извне; у европейских демократий, бывших великих держав, не было больше возможности прибегать к силе без согласия Соединенных Штатов.

В течение этих месяцев, между июлем и октябрем, мне недоставало информации о переговорах, о спорах между Лондоном и Вашингтоном, о военных приготовлениях. Я не представлял себе, что американцы, обладая сведениями о сосредоточениях французско-английских войск, не дали знать о

том, какова была бы их реакция на военную операцию. И еще менее я представлял себе, что французско-английский план с политической точки зрения являлся столь нелепым: высадка войск, чтобы иметь хоть какой-то смысл, должна была последовать сразу же за ультиматумом и поставить всех перед свершившимся фактом. В любом случае исход дела оказался бы одинаковым. Англичане и французы по различным мотивам желали свержения Насера. При поддержке Советского Союза он устоял перед натиском. В конечном счете французам и англичанам пришлось бы уйти, ничего не добившись. Но если бы им удалось занять зону Суэцкого канала, то они по меньшей мере не оказались бы осмеянными или униженными благодаря сценарию, задуманному на манер Макиавелли, однако поставленному, похоже, детьми из церковного хора и завершившемуся капитуляцией.

После этого ошеломительного поражения у меня появилась потребность высказаться без всяких обиняков; я передал статью, которую «Фигаро» бы не опубликовала, в еженедельник «Демэн» («Demain»). Французы и англичане отвлекли мировое общественное мнение от венгерской трагедии и, быть может, поощрили к репрессивным действиям московских олигархов. «Поскольку союзники захотели продемонстрировать свою независимость, Соединенные Штаты сразу же поставили принципы выше дружественных отношений. Они превратили в собственную победу поражение своих самых близких союзников». Немного ниже я напомнил, что государственные мужи, обнажая шпагу, вверяют себя суду успеха: «Если бы они победили, то для них нашлись бы смягчающие обстоятельства. Но они проиграли».

Правительство Ги Молле бросилось в суэцкую авантюру потому, что египтяне поддерживали алжирских мятежников и вели неистовую пропаганду против Франции. Это делало французскую политику в Алжире еще более опасной: мы становились главной мишенью для арабского национализма. Я попросил аудиенции у президента Республики — за все годы моей жизни я поступал так два или три раза — в надежде убедить его в неизбежном провале «умиротворения». Рене Коти принял меня по-дружески, он принялся говорить и оставил мне не более пяти — десяти минут в нашем разговоре, продолжавшемся шестьдесят пять или семьдесят минут. Когда он умолк и мы расстались, мне показалось, что он остался мною доволен.

«Алжирская трагедия» («La Tragédie algérienne») вышла в начале июня 1957 года, через два года после моего возвращения в университет; меня сразу же увлек политический вихрь. В тот момент даже противники политики Ги Молле или Буржес-Монури

(самого забытого из всех премьер-министров Четвертой республики), «либералы», не произносили слово «независимость», они осуждали репрессии, пытки, советовали вести переговоры. Ни «Монд», ни «Экспресс», ненавидимые властью, не давали точной формулировки решения, которое они считали одновременно желательным и возможным. Таким образом, я нарушил правила игры в полумраке или дипломатических пряток. Или, переходя от одного образа к другому, я повел себя как слон в посудной лавке. Конечно, нужны переговоры, но следует быть смелыми в мыслях и поступках: не будет переговоров без признания права алжирцев на независимость, а она подразумевает отъезд по меньшей мере какой-то части французов из Алжира.

Мое выступление, короткое и жесткое, в течение нескольких недель было предметом скандала, тем более что авторство текста принадлежало мне: комментатор «Фигаро» переходил в другой лагерь. Почему? Не оказалось недостатка в собратьях, которые попытались уронить меня во мнении читателей, либо отрицая за мной какую-либо заслугу («все это мы уже знали»), либо приписывая мне мотивы, совершенно отличные от мотивов «левых», а потому малопочтенные.

Моя позиция с полным основанием удивила тех, кто меня не знал, и даже тех, кто считал, что меня знает. Она не означала перелома моей мысли, но создавала впечатление такого перелома, может быть по моей вине. На самом деле, еще в 1943–1945 годах, когда победа уже представлялась несомненной, в беседах с моими друзьями в Лондоне я защищал мысль о том, что после войны у Франции не будет средств, необходимых для сохранения ее империи;[167] война, которая велась во имя свободы, должна была внушить народам колоний бунтарский дух, избавить рабов от почитания их хозяев, а этих хозяев лишить престижа, основанного на силе. Первым, необходимым решением мне представлялся немедленный уход из Индокитая, а точнее, немедленное предложение независимости трем государствам Индокитая в рамках французского сообщества. Тогда мы смогли бы предоставить основную часть наших ресурсов Северной Африке и Черной Африке, чтобы в течение жизни одного поколения успешно провести постепенную эмансипацию наших колоний и протекторатов. Благодаря таким идеям я сделался в глазах правоверных голлистов подозрительной личностью, чуть ли не изменником; подобное обвинение любят бросать те, кто претендует на монопольное обладание патриотизмом.

Случай, произошедший в 1945 году и четко запечатлевшийся в моей памяти, наглядно свидетельствует как о тогдашних умонастроениях в кругах Сопротивления, так и о моем

собственном мнении. В журнале «Интернэшнл Афферс» («International Affairs») (октябрьский номер 1945 года) была напечатана моя статья, озаглавленная «Размышления о внешней политике Франции» («Reflections on the Foreign Policy of France»). Я напоминал в ней, что сохранение целостности французской империи является одной из главных целей этой политики. И продолжал:[168] «Отнюдь не все колонии Франции расположены в пределах прямой досягаемости наших ограниченных сил. Самые отдаленные колонии не дают материальных преимуществ. Регион, в котором мы занимаем важное место, который дает нам возможность играть роль державы, — это Средиземноморье, в особенности его западная половина. Единственной частью французской империи, действительно дополняющей наши ресурсы, является Северная Африка и, в меньшей степени, Черная Африка. Начиная с конца 1942 года Африка стала колыбелью французского возрождения, и она сохраняет положение, имеющее решающее значение для нашего будущего. Можно подумать об уступках где-то в другом месте ради сохранения главных позиций. Следует добавить, что защита империи ни в коем случае не означает простого сохранения колониального режима, действующего сегодня. Как раз наоборот, реформы либерального характера являются, очевидно, необходимым условием выживания империи». С какой осторожностью была выражена мысль! Лео Амон, бывший в то время директором журнала, ежеквартального, насколько помню, который публиковал труды «Комитета по изучению движения Сопротивления», отказался принять эту статью, хотя он сам просил ее прислать. Причиной отказа была фраза об «уступках где-то в другом месте». В одной из предыдущих глав читатель смог увидеть несколько строк, которые были посвящены войне в Индокитае, из книги «Цепные войны». В предисловии к «Опиуму интеллектуалов» мною написано: «Являясь кейнсианцем и испытывая некоторое сожаление о либерализме, склоняясь к соглашению с тунисским и марокканским национализмами, убежденный в том, что прочность Атлантического альянса есть лучшая гарантия мира, я буду считаться или левым, или правым в зависимости от того, идет ли речь об экономической политике, о Северной Африке или об отношениях Восток — Запад».

Как бы то ни было, в период с 1947 по 1954 год я не принимал участия в споре о Вьетнаме. Ж. Л. Миссика и Доминика Вольтон упрекнули меня в наших беседах в том, что я говорил вполголоса. Признаю их правоту; теперь я сожалею, что не удостоверил на бумаге того, что высказывал в частных разговорах. Мне следовало бы больше говорить и особенно —

больше писать. Но когда я переношусь в те времена, то не чувствую себя столь виноватым, как это утверждают мои юные инквизиторы. В течение первых лет конфликта [во Вьетнаме], в 1947–1950 годах, переднюю сцену занимали «холодная война» с ее разнообразными перипетиями, блокада [Западного] Берлина, стачки и волнения во Франции, экономическое восстановление Европы. В 1947–1948 годах французский национализм набрасывался на американцев, враждебно относившихся к европейским империям. Социалисты заседали в правительстве и защищали Французский союз не менее решительно, чем другие партии. Генерал де Голль и голлисты метали раскаленные ядра во всех, кто делал хотя бы робкие попытки договориться с Хо Ши Мином. Мой политический и моральный авторитет был невелик, когда я начал сотрудничать в «Фигаро», он вырос лишь постепенно. В 1949 году Франции удалось вовлечь Соединенные Штаты в дело защиты ассоциированных государств [Индокитая]. После установления коммунистической власти в Пекине в 1949 году, поражений на границах в 1950 году уже не надо было просвещать министров Четвертой республики: они хотели положить конец безысходной войне; они не знали, как выбраться из западни, в которую попали. Американцы боялись того, что Франция может выйти из игры; я отвечал им с грустной иронией: *the French government is to weak even to retreat* («у французского правительства слишком мало сил даже для того, чтобы отступать»), мне следовало бы говорить не «даже» *(even),* а «особенно». Отступление является наиболее трудной военной операцией — оно требует много сил.

Возвращаясь в 1953 году из Японии, я провел одну неделю во Вьетнаме. Генерал Наварр обрисовал мне свой план; вызывая вьетконговцев на сражение в условиях, по видимости неблагоприятных для нашего экспедиционного корпуса, он рассчитывал причинить ущерб, истощить силы некоторых дивизий из числа тех, которые Вьетмин снарядил с помощью китайцев. Французские войска, даже «пожелтевшие», сохраняли определенное превосходство над вьетконговцами в открытом поле или в классической битве. Если армия Вьетмина будет ослаблена, может быть, выведена из строя, то осталась бы партизанская война. Но с ней армия не смогла бы справиться ни в каком случае; победить партизан или как-то примириться с ними — задача политики.

Генерал Наварр говорил ясно, умно и убедительно. Я был не в состоянии проверить обоснованность его аргументов, опровергнутых событиями, — о мнимом превосходстве французской артиллерии, о цене, которую заплатят регулярные

дивизии Вьетмина за штурм укрепленного лагеря, обороняемого нашими лучшими батальонами, передовым отрядом экспедиционного корпуса. Зиап, верный ученик Мао и Ленина, назначил дату штурма Дьенбьенфу за несколько недель до начала Женевской мирной конференции, чтобы одержать победу накануне переговоров или во время их проведения. Сосредоточение французских войск в этом месте, выбранном для обороны Лаоса, было сопряжено весной 1953 года с политически неразумным риском. Когда стало известно о созыве Женевской конференции, было слишком поздно выводить гарнизон из Дьенбьенфу.

Что бы там ни было, уже в 1954 году я дал себе твердое слово больше не проявлять сдержанности, как в предыдущие годы. В 1954 году Мендес-Франс предпринял необыкновенный шаг — объявил о предоставлении Тунису внутренней автономии, за которой, совершенно очевидно, должна была последовать независимость. Сам П. Бриссон одобрил это историческое решение, повлекшее за собой изменения во всей Северной Африке. Я ничего или почти ничего не написал о Марокко, но поддержал, как мог, Эдгара Фора, старавшегося вернуть султана из Мадагаскара в Рабат; 210 это возвращение почти наверняка должно было бы привести марокканскую империю к независимости. Я присутствовал на завтраке, во время которого Эдгар Фор, тогда председатель Совета министров, «опробовал», если можно так выразиться, на Пьере Бриссоне идею возвращения султана Мухаммеда. Эдгар Фор возглавлял разнородное правительство, в его состав входили и голлисты во главе с генералом Кёнигом, они были против политики, похожей на ту, что начал проводить в Тунисе Мендес-Франс. Пьер Бриссон был подвержен влияниям с противоположных сторон. Мне пришлось доказывать ему неизбежность деколонизации, которая к тому же отвечала демократическим идеям. Напротив, старые «африканцы» твердили ему — и были правы, — что возвращение Мухаммеда подразумевало независимость Марокко и положило бы конец французскому предприятию в Африке, включая, возможно, и Алжир. П. Бриссон написал передовую статью под заголовком «Никогда», в которой выступал против возвращения Мухаммеда. Я попытался объяснить ему опасность подобных кредо: потомки будут приводить их в качестве примера ослепления авторов и комментаторов. Из моей памяти никогда не выходило «никогда» Альбера Сарро, произнесенное в марте 1936 года: Франция никогда не смирится с тем, что Страсбургский собор оказался под прицелом германских пушек 211. Сколько правителей Франции на словах не принимали событий, приход которых они в глубине

души предвидели!

Алжирское восстание началось в ноябре 1954 года, через несколько месяцев после французского поражения в Индокитае, а также через несколько месяцев после поездки Мендес-Франса в Бардо 212. Эти два эпизода не создали силы, разрушившие французскую империю, они эти силы освободили, открыли шлюзы, через которые хлынули национальные восстания, поддержанные арабами, мусульманами, Советским Союзом, а в самих западных странах — бесчисленными противниками колониализма.

После победы на выборах Республиканского фронта, победы, впрочем, частичной, правительство, которое возглавил Ги Молле, а не Мендес-Франс, не поставило под вопрос предоставление независимости Тунису и Марокко, но уступило давлению алжирских французов и сторонников французского Алжира в метрополии. Ги Молле был далек от того, чтобы выбирать какую-то другую линию, он продолжал политику своих предшественников, а поскольку теоретически представлял левых, то решился на отправку в Алжир призывников, проходивших военную службу, и одновременно оживил старый патриотизм ради сохранения последнего осколка империи. Или, лучше сказать, ради сохранения в качестве французских трех департаментов, являвшихся — на законных основаниях — неотъемлемой частью национальной территории.

Я не был непосредственно знаком с Алжиром, никогда туда не ездил. Несколько недель, проведенных в Тунисе в гостях у моего друга Куитеа, не примирили меня с «колонизацией», хотя в 1949 году атмосфера в этой стране была еще относительно не напряженной. У меня вызвал отвращение Сайгон, перенаселенный город, в котором солдаты экспедиционного корпуса заполняли улицы, бары, отели; слабые «национальные» правители нуждались в постоянном присутствии представителей французской власти. Мне была противна увиденная в 1946 году военная оккупация в Германии.

То, что я читал, то, что я знал о французском Алжире, не вызывало у меня к нему никакой симпатии, но мои оценки, мои убеждения явились прежде всего плодом размышлений. Почему алжирцы должны были бы согласиться со статусом, который, в их глазах, был ниже статуса Туниса или Марокко? Почему развитые, «офранцуженные» алжирцы не должны были желать независимости, которую элиты всех колонизированных стран уже получили или получали в настоящий момент?

Разумеется, «алжирская проблема», как тогда говорили, отличалась от проблемы двух протекторатов, на востоке или на

западе, прежде всего из-за департаментального статуса Алжира, а затем из-за проживания на его территории примерно одного миллиона французских граждан. В Алжире не было даже остатка государственности, которая выжила в двух соседних протекторатах. Что же касается французского общества, обосновавшегося посреди и особенно вне алжирского социума, то было ясно: вряд ли оно сохранится в своем настоящем виде после того, как алжирское правительство заменит генерал-губернатора и его администрацию. Отъезд, частичный или полный, французского меньшинства казался неизбежным следствием появления алжирского Алжира.

Единственной моей заслугой (или виной) было то, что я довел свой анализ до самого конца и нарисовал четкую картину того, что большинство либералов не решалось себе представить и тем паче об этом написать. Редакция «Фигаро» допустила публикацию ряда моих статей в 1955 году, в которых описывалась ситуация и подчеркивалась ее опасность. В начале 1956 года я составил для правительства Республиканского фронта записку. Весной 1957 года мною была в спешке написана брошюра, проникнутая страхом того, что Франция может во второй раз броситься в безвыходную авантюру, сравнимую с индокитайской и еще более опасную. Режим не выдержал бы затягивания войны на несколько лет, бессмысленная гражданская война маячила на горизонте. Я долго раздумывал, не страшась атак, которые предвидел, но спрашивая себя, в чем же состоит мой долг; Эрик де Дампьер, Шарль Оренго вырвали у меня из рук эту брошюру, собранную из отдельных частей или кусков, но вместившую, несмотря ни на что, основное.

Что же содержала в себе «Алжирская трагедия»? Два текста, первый из них был написан в апреле 1956 года и предназначался для председателя правительства Республиканского фронта, а на втором, написанном годом позднее, стоит дата 6 мая 1957 года. Если оставить в стороне лингвистические предосторожности, ответы на доводы правых и левых, то вот, как мне кажется, основные идеи брошюры.

Сегодняшняя Франция более не является и не может являться имперской в духе прошлого века: «Французские революционеры не испытывали угрызений совести, когда совершали множество бесчинств в завоеванной во имя свободы Европе. Русские коммунисты не испытывают угрызений совести, когда навязывают свой режим в Восточной Европе во имя освобождения народов. А мы уже испытываем угрызения совести, когда прибегаем к силе в Африке, хотя каждый год вкладываем в нее десятки, иногда сотни миллиардов».

В то время как Франция или, по крайней мере, значительная часть ее отвергает жестокость и принуждение имперского господства, Алжир или, по крайней мере, значительная доля алжирского народа жаждет независимости: «Хотя Алжир и не обладает такой же национальной традицией, как два бывших протектората, он не может не стремиться обрести свое самосознание… Он более не может быть составной частью Франции. Образование какой-то политической алжирской единицы неизбежно… Интеграция, какой бы смысл мы ни вкладывали в это слово, более не осуществима. Алжирское представительство в Национальном собрании, соответствующее величине населения, есть вернейшее средство окончательно разрушить режим. Темпы демографического роста по обе стороны Средиземного моря слишком различны для того, чтобы эти народы, отличные друг от друга по своей расе и религии, могли бы являться частями одного и того же сообщества. Сказать, что Алжир не есть Франция, признать алжирскую политическую индивидуальность — это значит, в сущности, осознать то, что завтра возникнет алжирское государство. А если завтра должно появиться алжирское государство, то послезавтра, если не завтра же, оно теоретически станет независимым… Отказываясь от интеграции, мы запускаем процесс, который завершится независимостью…»

Интеграция или независимость: Жак Сустель также исходил из альтернативы, но делал вывод в пользу интеграции, поскольку следовал формуле, распространенной в те времена, о «нерасторжимых узах» между Алжиром и Францией. Что касается меня, то я выбрал другую ветвь альтернативы, но отнюдь не предлагал правительству Ги Молле со дня на день оставить Алжир — что, впрочем, было исключено по многим причинам. Я посоветовал этому левому правительству четко продумать свою собственную политику: «Единственные цели в войне, которые Франция могла бы перед собой поставить, заключаются в следующем: позволить Алжиру прийти к независимости, не допуская, чтобы политика, которую французы могли бы счесть для себя позорной, вызвала у них невыносимое чувство унижения…» Короче говоря, я приглашал Ги Молле признать за алжирцами право на образование государства, которое стало бы независимым. Первую записку завершала фраза парадоксального и шокирующего свойства: «Если французы соглашаются сражаться лишь для сохранения своего владычества… то лучше было бы все же решиться на героизм ухода и репатриации, чем воевать скрепя сердце, без уверенности и без шанса на успех». Героизм ухода — сколько голлистов подняли на смех это выражение, которое

несколько лет спустя они с охотой переняли, чтобы прославлять величие генерала де Голля!

Во второй записке критиковалась политика Ги Молле и предсказывалась ее неудача. ФНО (Фронт национального освобождения) никогда не согласился бы с триадой *прекращение огня, выборы, переговоры.* Пацификация не создала бы условий, необходимых для свободных выборов, а ФНО не счел бы свободными выборы, проведенные под охраной французской армии. Наконец, я опровергал экономические доводы, к которым прибегали некоторые сторонники французского Алжира; эта страна представляла ныне для метрополии скорее груз, чем богатство. Груз стал бы тем более тяжелым, что под предлогом интеграции мы попытались бы уменьшить разрыв между французским и алжирским уровнями жизни.

Цитата из Монтескьё разъясняла смысл предисловия: «Говорить правду обо всем, даже о своей родине. Каждый гражданин обязан отдавать жизнь за свою родину; никто не обязан лгать ради нее». Фраза Ренана, взятая из его «Умственной и нравственной реформы Франции», напоминала о причинах поражения 1870 года: «Чего нам недоставало, так это не сердца, а ума».

Среди всех откликов на брошюру самый поразительный, быть может, я получил от одного анонимного корреспондента. Его почтовая открытка без подписи содержала несколько строк, написанных скорее простым человеком, чем интеллектуалом: «Беспристрастное рассмотрение, трезвое и проницательное, прекрасное и достойное уважения во всем, но совершенно недейственное в любых делах, где говорят сердце, чувство и инстинкты».

В числе самых интересных писем — письмо от Ива Бутийе, министра финансов в правительстве Поля Рейно, а затем в правительстве маршала Петена в 1940 году. Этого человека я не знал, и откликнулся он не на мою брошюру об Алжире, а на книгу «Надежда и страх века», вышедшую в свет несколькими неделями раньше; во втором эссе этого сборника, посвященном упадку [Запада], я излагал свои мысли о деколонизации. Привожу несколько фрагментов из письма:

«Национализм европейского Запада — а французский национализм является его образцом — это серьезный недуг, тонкая смесь гордыни, проникнутой духом войны, и чудовищного тщеславия, родительницы злобы и насилия. Увы, именно этот национализм мы привили алжирцам и другим мусульманским народам Северной Африки. Возможно ли заставить американцев понять, что революционный национализм, который таким

образом распространяется в арабских странах, враждебен „правам человека“, столь дорогим для пуританского морализма… Удастся ли Америке мирно поделить арабский мир с русскими? Если она наивно представляет себе, что сохранит зону бесспорного влияния, простирающуюся, например, от Аравии до Касабланки, то повторяет ошибку Рузвельта, под влиянием Бенеша принимавшего Сталина за демократа… Федерация в составе Франции, сахарских территорий и Алжира, которая объединилась бы одновременно с Марокко и Тунисом, а также с Европой Шести [213] — экономически и с НАТО — в военном плане, бесповоротно связала бы весь Магриб с западным лагерем… Следует ли французам оставить всякую надежду на улучшение их политического строя? Очевидно, что при положительном ответе на этот вопрос бесполезно проливать кровь в Алжире… Вы об этом очень хорошо пишете, бессмысленно сохранять свое присутствие силой во имя либеральных идей, глупо ссылаться на принципы, согласно которым прав противник… Окончательное поражение в Северной Африке, надо полагать, привело бы к какой-то Пятой республике, если не республике Народного фронта, то по меньшей мере республике в высокой степени прогрессистской, которая рано или поздно устремилась бы в коллективистскую диктатуру… Таким образом, цели войны оказываются четко определенными. Они соединены, неразделимы. Ни одна из них не имеет преимущества перед другой, но ни одна не осуществима без другой. Сохранение Магриба в западном лагере и обновление внутреннего политического строя — такова обширная задача, но обстоятельства делают ее реализацию возможной. Она отвечает чаяниям молодежи и роли, которую играет армия».

Письмо завершали философские размышления: «Французские революционеры, пишете вы, не испытывали угрызений совести, когда совершали множество бесчинств во имя свободы. Если нет более ничего верного, то нет более и ничего скрытого, как и ничего, что хотя бы признавалось. Мы даже должны пойти дальше и признать, что свойство великих принципов, вводящих всеобщее и абсолютное в политику, не заботясь об исторических обстоятельствах, конкретных, особенных, заключается в том, чтобы успокаивать совесть, когда свершается зло… Являются ли эти взгляды фашистскими? Было бы слишком легким делом приговорить политических философов к молчанию, называя подобным образом их мысль. К счастью, существуют труды Симоны Вейль и Ваши, труды Жувенеля, Жанны Эрш, а также сочинение по политической философии Эрика Вейля [214]. Эта мысль, обретающая форму, показывает, что настало время для

осуществления самого великого дела века — перехода от формальной демократии к демократии реальной; под последней я понимаю демократию, применяемую таким образом, чтобы те, кто предает интересы и чаяния народа, не смогли бы это совершать от его имени… Будучи доктринером Европы, Вы стоите за решение, делающее ее объектом посягательств со стороны СССР. Будучи политическим философом, чтобы прийти на помощь противникам вашей мысли, Вы избираете дело, которое как раз выдает их вам с головой».

Другие корреспонденты говорили о «европейском решении» и о вероятной враждебности исламского мира к Западу. Ниже я вернусь к возможностям, которые не воплотились в действительность. А здесь ограничусь несколькими замечаниями: ни один из наших европейских партнеров не хотел вмешиваться в алжирские события; сторонники французского Алжира, ослепленные национализмом, хотели единолично определить будущее наших североафриканских департаментов. Те, кто мыслил конкретно, реалистические политики, предвидели возможность противоречия между свободой Алжира и свободой алжирцев в их независимой стране, но эти люди не могли не признавать приоритет независимости Алжира по той простой причине, что в Алжире, охваченном войной, не было бы свободы ни для страны, ни для человека.

Что касается враждебных и абсурдных писем — в их число было бы несправедливо включать письмо Ива Бутийе, — то у меня был бы богатый выбор. Вот что мне написал врач, профессор медицинского факультета в городе Алжире: «Алжирцы высоко оценили совет — ученый совет, который вы благоволите им дать, — покинуть эту страну. Они питают надежду на то, что в каком-то будущем труде вы распространите ваши предложения на Государство Израиль, земли которого не более щедры, чем алжирские земли. Если вы полагаете, что способны избавить себя от рассмотрения этого столь важного вопроса, то заставите нас думать, что вами сегодня в гораздо меньшей степени движет интерес Франции и французов, чем интерес ваших единоверцев: в самом деле, нам известно, что Мендес намеревался предложить всю Северную Африку Востоку, чтобы принять в ней всех арабских беженцев из Палестины и избавить таким образом Государство Израиль от постоянной заботы». Это письмо, написанное профессором медицины, адресованное «дорогому коллеге», позволяет представить содержание других писем, направленных мне менее просвещенными корреспондентами.

Робер Лакост, министр — постоянный представитель в Алжире, прочитавший лишь отрывки из брошюры,

опубликованные в «Монд», поведал мне некоторые из «своих тайных мыслей»: «Кто вам говорит, что политика умиротворения, в том виде, в каком она сегодня проводится, занимает все мои мысли? Имею ли я право в разгар операции, когда каждое слово непосредственно воздействует на наших антагонистов, высказывать все, что думаю? Вы хорошо знаете, что мой долг — подготовить здесь возможно лучшие условия для справедливого политического урегулирования алжирской проблемы. Вы хорошо знаете, что сила и террор являются частями политической системы бунта и тех, кто этот бунт поддерживает по всему свету. Я не могу и никто другой не сможет абстрагироваться от этой действительности, если только не помышлять о постыдных переговорах, которые поставили бы нашу страну в смехотворную ситуацию, сделав ее постельным ковриком, который топчут ногами наши противники».

Враждебных писем было немного; хлынул поток писем, в которых меня поддерживали или поздравляли — университетские коллеги и друзья, разумеется, но также государственные служащие, деятели из сферы экономики или политики. Благодаря этой брошюре я впервые и, возможно, единственный раз в моей жизни оказался погруженным в политический мир. Даже в период между 1946 и 1955 годами, до моего возвращения к университетскому ремеслу, я продолжал жить скорее как преподаватель, чем как журналист. Меня не включали в списки лиц, приглашаемых на правительственные приемы, и еще менее — на приемы в Елисейский дворец (так было и при Пятой республике). В последние месяцы 1957 года группа высших чиновников, подготовивших доклад об Алжире, вошла в контакт со мною. Пьер Энт, бывший тогда представителем председателя Совета министров Жискара д'Эстена, напомнил мне в 1979 году, что мы с ним встретились именно в связи с указанным докладом. Что меня поразило в то время, так это разрыв между убеждениями людей, управлявших Францией, и их публичными заявлениями, делавшимися исходя из заботы об «общественном мнении», пленниками которого эти люди себя считали. Если не говорить о Жорже Бидо, Жаке Сустеле и Мишеле Дебре, искренность которых не вызывала сомнений, то, спрашиваю я себя, верил ли во французский Алжир хотя бы один из «теноров» Четвертой республики?

Может быть, мне следует добавить к названным лицам Жака Шабан-Дельмаса, с которым у меня произошла довольно живая дискуссия на завтраке у Марселя Блестейна-Бланше. Эдгар Фор, «сделавший» независимость Туниса, оставлял другим неблагодарную миссию совершить такой же подвиг ради Алжира.

Как раз тогда я повторял Пьеру Бриссону, что «все» думают как я, хотя среди ответственных лиц тщетно искал охотников для миссии по духовному и национальному оздоровлению. Чтобы поколебать, если уж не убедить П. Бриссона, я прижал его к стенке: «Давайте спросим Габриель-Робине, чего он сам ожидает». Робине приехал к нам, и П. Бриссон завязал диалог: «Каким вам видится завершение алжирского дела?» Робине ответил простодушно: «Все это завершится независимостью». Имея такой опыт, трудно цепляться за иллюзии. Будем справедливы: Андре Франсуа-Понсе советовал правителям «цепляться» за последнюю возможность, удерживать последний окоп. Его сын, ставший позднее министром иностранных дел, разделял скорее мой скептицизм, чем непреклонность своего отца.

Пресса — за исключением «Монд» Бёв-Мери — меня не пощадила. Не буду возвращаться к статье Паскаля Пиа, который приписывал мне план перемещения алжирских французов в метрополию и устройства их в лагерях. Левые газеты не признавали за мной никаких заслуг.

«Экспресс» в своем номере от 5 апреля 1957 года отвел целую полосу выдержкам из книги «Надежда и страх века», которая только что появилась. В одном из трех входивших в книгу эссе — втором («Об упадке») — коротко рассматривался «алжирский тупик». Во вступлении, предварявшем выдержки, повторялись классические вопросы: «Человек левых взглядов для тех, кто сохранил память о его блестящих передовицах в „Комба“, человек правых взглядов для читателей его комментариев на злобу дня в „Фигаро“, университетский преподаватель, не подпадающий ни под одну политическую классификацию, для слушателей его лекций по социологии в Сорбонне — кто же он есть в действительности, этот Раймон Арон? Правый, которого особенно любят читать левые? Или же, напротив, левый, решивший обращаться к правым?» Редактор сразу же добавлял, что я сочту этот спор смешным, — в чем он не ошибался.

Отрывки, взятые из эссе «Об упадке», редакция «Экспресса» снабдила следующими подзаголовками: I. *Потеря империи неизбежна в ближайшем будущем. Эту потерю уже содержала в зародыше ложная победа 1945 года.* II. *Французское развитие нельзя более связывать с суверенитетом, особенно в Алжире.* III. *Империя — дурное предприятие.* IV. *Франция может жить без Французского союза.* V. *Почему бы не вступить в переговоры с ФНО?* Сегодня эти положения были бы приняты значительным большинством французов. В комментариях, подготовленных, очевидно, Жаном Даниелем, в некотором роде оспаривались мои упреки в адрес «либералов», критиков правительственной

политики, которые отказывались доводить свою мысль до конца.

Прежде всего «Экспресс» обвинял меня в «экономическом пораженчестве» и в «историческом отступничестве». Формула «империя — дурное предприятие» не была ни принята, ни опровергнута: будучи ложной применительно ко временам колониального пакта (я не говорил о XVIII веке), она, без сомнения, «верна в той мере, в какой исчезновение этого пакта не ведет к перемене» (я не в состоянии обнаружить какой-то смысл в данной фразе). Во всяком случае, экономический расчет не должен диктовать политическое решение. Затем — заключение: «Что касается неизбежной потери Алжира со всеми драматическими последствиями, которые бы сегодня из этого вытекали, то она представляется скорее результатом алжирской политики, проводившейся последние десять лет Францией, чем событием, изначально предопределенным».

Эта фраза — яркая иллюстрация наивности узкопартийного духа, столкнувшегося с исторической драмой. Конечно же, «потеря» Алжира не была «изначально предопределена», но в 1957 году политика, осуществлявшаяся Францией в течение десятилетия (лучше сказать — более века), создавала ситуацию, из которой правителям следовало исходить. В данной ситуации был возможен выбор лишь между двумя решениями: или вступить в переговоры с ФНО, или же отказаться от этого диалога. При первом решении требовалось, как минимум, признание права на независимость, второе предполагало продолжение пацификации; остальное было болтовней. Через два месяца Жан Даниель, оставаясь верным самому себе, обрушился на меня в статье, которую подписал и опубликовал в «Экспрессе» 21 июня. И на этот раз из двух возможных решений он не принял ни одного и искал убежища в полемике. Даниель начал с того, что, прибегнув к распространенному приему, приписал мне план, который я никогда не рассматривал, а именно — немедленной репатриации алжирских французов. Что же я написал в «Надежде и страхе века»? «По всей вероятности, победа Национального фронта повлекла бы за собой отъезд части французов, обосновавшихся по другую сторону Средиземного моря». Правильно или неправильно? Жан Даниель не отвечал. Он предпочел напасть на меня лично: «Переход от консерватизма к пораженчеству, решительно, всегда одинаков. Ибо, в конце концов, если бы в 1955 году „Фигаро“ провела кампанию в защиту плана, предложенного Ферхатом Аббасом [215] при согласии с ФНО и предусматривавшего внутреннюю автономию Алжира, г-ну Арону, без сомнения, не пришлось бы ратовать за массовую репатриацию алжирских французов». Но я не являлся директором газеты

«Фигаро»; внутренняя же автономия Алжира, если предположить, что ФНО ее принял, привела бы к независимости, другими словами, к тому, что сам Жан Даниель называл «потерей» Алжира.

Какое же решение предлагал этот «либерал», чтобы не впасть, подобно мне, в «пораженчество»? Выступить с инициативой создания «динамичной французско-североафриканской конфедерации». Да, глубокая идея, но ведь конфедерация предполагает существование суверенных государств. Для вхождения Алжира в подобную конфедерацию необходимо, чтобы он пользовался статусом, сравнимым со статусом других партнеров — Марокко, Туниса, Франции, иначе говоря, обладал суверенитетом, или независимостью. Эта очевидная истина ускользала от моего оппонента, предполагавшего переговоры с руководителями ФНО с целью принятия какого-то «рамочного закона». Что касается «экономического пораженчества», то «в случае Алжира оно столь же опасно, что и худший колониализм». В середине этой статьи содержится фраза, ее резюмирующая: «Драма Алжира отныне не в том, что люди не знают истины, а в том, что они не желают ее высказать». В те времена я задавался вопросом, который повторяю и сегодня: а Жан Даниель, он не знал истины или же не желал ее высказать?

В том же самом выпуске «Экспресса» Франсуа Мориак атаковал меня с другого направления: «Предвижу, что вас[169] поставят в глупое положение: вам придется обвинять г-на Раймона Арона, который наводит порядок в мыслях других людей (я хочу сказать, что другие высказывали эти мысли раньше него) и с леденящей ясностью логически дедуцирует то, что более слабые умы уже увидели с первого взгляда». Все те же избитые «леденящая ясность», «наводит порядок в мыслях других людей»; но ведь ни он, ни его собратья по «Экспрессу» не представили анализа, подобного моему; и вдобавок анализ, сделанный одним из них, выходцем из Северной Африки, был отвергнут[170].

Атака со стороны моего товарища Этьена Борна, который в течение многих лет столь часто оказывался рядом со мной, меня удивила и обескуражила. В отличие от Жана Даниеля, он сначала добросовестно изложил мои идеи — в том виде, в каком они были выражены в «Надежде и страхе века» (но не в «Алжирской трагедии»). Он признавал за мной «определенный вид мужества человека без колебаний, в полный голос провозглашающего и четко формулирующего на бумаге заключения, которые иные люди не осмеливались сделать на основе своих собственных предпосылок, а некоторые рассматривали как искушение, стремясь усилием воли от этого искушения избавиться, но

чувствуя, что оно их к себе неумолимо влечет». Затем начинается нападение: «Позитивизм, сухость и отвлеченность ума, мешающие ему рассматривать все аспекты действительности, те, что соприкасаются с миссией, со свидетельством, которые хотя и относятся к сфере духа, но, однако, не теряют из-за этого действенности». Блестящий пассаж — заключение, обличающее мою персону. Раз я выступаю за предоставление алжирцам права на независимость, то, значит, являюсь человеком правых взглядов, сравнимым с теми, кто согласился с Мюнхеном, перемирием, поражением.

«Раймон Арон, враг всех идеологий, провозглашает, что понятия „правые“ и „левые“ выражают ребяческую манеру постижения политической действительности. Однако этот вид реализма, спешащий предоставить новые преимущества для тех, кто процветает, и поспешно лишить шансов тех, кто, как кажется, отступает, этот позитивизм, не желающий знать ничего другого, кроме приговора балансов и счетных машин, этот некий стоический фатализм, столь озабоченный оправданием свершившегося факта, и, наконец, этот аналитический ум, ловко расщепляющий действительность ради понимания, — во всем этом я не могу не распознать характерные черты мышления правого толка, которое, вероятно, не изменяется в ходе исторического идейного развития. Это мышление порой ведет к пораженчеству по рассудочным путям покорности судьбе». Отвергая такую «апологию рока», Этьен Борн противопоставляет ей, используя формулу П.-А. Симона, «исправление судьбы». Но он забывал — незначительная деталь, — что в 1938, 1939, 1940 годах Франция сражалась за свою свободу, а в 1957 году она сражалась против свободы алжирцев. Странная забывчивость со стороны христианина.

Жак Сустель ответил мне брошюрой того же характера, что и моя: «Алжирская драма и французский упадок, ответ Раймону Арону». Приведу пример, один из лучших, его полемики *ad hominem:* «Если „Экспресс“ — это „Юманите“ парижского правобережья, то г-н Арон — это Серван-Шрейбер богача, Мориак сталелитейных заводов и Клод Бурде мира финансов». Упрек, который Сустель повторял неоднократно, касался действительно уязвимого места: в психологической войне победу в конечном счете одерживает сторона, держащаяся до последней четверти часа, а тот, кто объявляет о неизбежном истощении сил своего собственного лагеря, оказывает помощь неприятелю. Без сомнения, ФНО извлек пользу из моей брошюры.

Что касается сути вопроса, бывший губернатор Алжира защищал идею, согласно которой Алжир не создает проблему

колонизации: «Алжирские французы имеют такое же право жить там, как и все другие». Затем приводились экономические доводы: «Сахара представляет интерес потому, что дает нам шанс; это единственный, видимый сегодня и в обозримом будущем шанс покрыть наш энергетический дефицит, не попадая при этом в зависимость ни от арабов, ни от Соединенных Штатов… Экономическая независимость Франции ныне в пределах нашей досягаемости… То, что обошлось бы нам сегодня дороже всего, так это, несомненно, потеря Алжира, которая означала бы потерю Сахары». Он повторял также заключение из книги Жермены Тийон: «Франция представляет для Алжира просто-напросто различие между жизнью и смертью».

Что касается «перевода населения» — возвращения алжирских французов, — то Сустель счел его неосуществимым, по крайней мере, при демократическом режиме: *«От Алжира нельзя отказаться.* Такой отказ и унизителен и невозможен». Если оставить в стороне эту полемику, аргументы Сустеля по основным пунктам (каким будет политический строй в Алжире?) оставались на удивление туманными. Он утверждал, что отказ от империи означал бы согласие с упадком. Франция, ограниченная в своем шестиугольнике, перестала бы быть Францией. И сегодня, четверть века спустя, события еще не разрешили наш спор. Но каким образом Франция сумела бы сохранить свой суверенитет над двадцатью миллионами мусульман?

Не стану говорить о нападках со стороны «Аспе де Франс», отголоска «Аксьон франсез», они были в порядке вещей, их можно было предвидеть. Процитирую статью Э. Бо де Аомени, пленника своих навязчивых идей, статью, которая называлась «Алжир, преданный денежным мешком»: «В поведении Раймона Арона и его друзей, крупных капиталистов, проглядывает начало маневра по уходу и переводу некоторых интересов с алжирских берегов в более счастливые края…» Отмечу номер еженедельника «Карфур» (за 26 июня), в нем мне были посвящены две статьи, одна — Андре Стибио, другая — Луи Тернуара. Приведу заключение первой статьи: «Налицо операция, производимая человеком, предпочитающим Францию „малоевропейскую“, американскую, Франции — мировой державе, богатой своими заморскими сообществами; и приносящим в жертву Алжир континенту, верность нам мусульман — межсоюзническим связям. Всякую мысль можно обсуждать. Но мысль, изрекаемая автором, у которого, когда он рассматривает собственную персону, на устах лишь слово „мужество“, а когда имеет в виду других — лишь слова „конформизм“ или „трусость“, такая мысль выиграла бы, если бы смело показала свой собственный цвет —

проевропейский и проамериканский. И тогда все бы разъяснилось, все бы выстроилось в соответствии с *pax americana,* которого де Голль, конечно, сегодня не желает — так же, как не желал вчера». А. Стибио ошибался: и генерал де Голль посчитал, что Франции ради ее возвращения в мировую политику следует освободиться от алжирской войны; при выработке моей позиции я исходил из алжирской действительности, рассматриваемой в мировом контексте, а отнюдь не из политики «малой» Европы или из интересов *pax americana.*

Статья Луи Тернуара заслуживает особого внимания, ибо этот самый Тернуар стал президентом Ассоциации французско-мусульманской дружбы. Среди любезностей, которыми он меня одаривал, одна и сегодня кажется пикантной: «Зная прошлое г-на Раймона Арона, прискорбно, что он упорно напоминает человека по имени Пьер Лаваль, который думал в 1940 году: игра кончена». На приведенный мною пример Голландии он реагировал так: «Можно ли вообразить, что французы, в жилах которых вплоть до мелкого таможенника, течет проконсульская кровь, вели бы себя как люди польдеров? Индонезия являлась лишь колонией; Алжир, вместе с Сахарой, и Черная Африка за ним — это что-то совершенно другое». Луи Тернуар, голлист, соглашался со мной в том, что «режим в настоящем его виде не способен принять вызов, но французское общество может этот вызов принять, если оно еще этого желает». Когда Генерал вновь пришел к власти, призванный теми, кто мыслил подобно Луи Тернуару, он не захотел или не смог сразу же ни вступить в переговоры в ФНО, ни обещать независимость. Он сделал это три года спустя; возможно, по вине ОАС (OAS) [216] произошел массовый и катастрофический отток алжирских французов в метрополию. В брошюре, написанной в июне 1957 года, я говорил о возможности этого исхода в том случае, если французское правительство продолжит ту же самую политику; он случился через пять лет, подтвердив прогноз, осуществление которого отнюдь не является предметом моей гордости. Большинство французов покинули Тунис или Марокко, но они уезжали оттуда постепенно; существовала ли вероятность такого исхода из Алжира? Я в этом не уверен. «Пье-нуар» и растерявшиеся офицеры усугубили неотвратимую драму гражданской войной, которая не была неотвратимой.

Я никогда не считал, что публикация «Алжирской трагедии» потребовала необычайного мужества. Физический риск? Весьма незначительный, несмотря на одно или два письма, извещавших меня о том, что я осужден тайным трибуналом «общественного спасения». Моральный или политический риск? Он не

существовал, поскольку большинство в интеллектуальных и политических кругах подписывалось под доводами и заключениями, которые я ясно, черным по белому, излагал.

Опасность, которой я себя подвергал, мне пришлось испытать на опыте. Это произошло в зале на улице Мадам, предназначенном для дискуссий интеллектуалов-католиков. Морис Шуман, Эдмон Мишле должны были выступать после меня. В течение нескольких минут я мог говорить в относительной тишине. Затем мало-помалу меня стали прерывать со всех сторон. «Расскажите мне о Мелузе» (в этой алжирской деревне ФНО устроил побоище), — повторял слащавым голосом один из тех, кто прерывал мою речь. Я сделал ошибку, когда, выйдя из себя, ответил ему: «И с нашей стороны совершалось то, чем мы не гордимся». Эти слова оказались спичкой, брошенной в пороховую бочку. Поднявшись с места, М. Шуман зарычал: «Я не позволю оскорблять французских офицеров». И оказался победителем, ибо его поддержало аплодисментами большинство присутствовавших. Э. Мишле выдержал испытание отнюдь не лучше меня. По окончании собрания полицейские посоветовали мне остаться на несколько минут в помещении; снаружи собралась кучка разъяренных людей, вероятно, не для того, чтобы меня избить, но для того, чтобы еще более меня унизить, дать выход своему гневу. Жан-Люк Пароди остался с Сюзанной и мною, желая нас защитить. Жан и Лоранс де Бурбон-Бюссе деликатно выразили свое сожаление по поводу тона, взятого М. Шуманом. Амруш, находившийся в зале, на следующий день прислал мне открытку, в которой резко осуждал последнего и безоговорочно меня поддерживал: «Как же не согласиться с вашей аргументацией? Вы понимаете, я высказываюсь не как алжирец, а как интеллектуал, заботящийся о логике и верности истине, а это единственные достоинства, которые необходимо требовать от интеллектуала. В вашем случае к ним добавляется также мужество. Что дает мне возможность снова засвидетельствовать вам свои очень давние симпатию и восхищение. Справедливость есть милосердие ума».

Значительно позже, в «Gaullo regnante» («Деголлево царствование»), когда Алжир уже стал независимым, я напомнил Морису Шуману о вечере на улице Мадам. В глубине душе я не был к нему столь строг, как Амруш. Мне была известна его неспособность сопротивляться искушению пооораторствовать и то, как ему кружит голову аудитория, подчиняющая себе, тогда как он, опьяненный иллюзией, считает, что овладел слушателями. Шуман ответил мне: «Зачем я стал бы говорить об алжирской независимости, если Четвертая республика была неспособна это

дело осуществить?» Решительно, я не годился для политики. Он охотно допустил, что для превращения независимости Алжира из возможности в реальность необходима была инициатива нескольких людей, решившихся сломить стену молчания. На тех, кто пишет и пользуется определенной известностью, лежит ответственность. Их слово оказывает влияние, пусть и незначительное. Именно поэтому я спрашивал себя, следует ли мне говорить или молчать. Возвещать, что французы первыми устанут от безвыходной войны, означало укреплять дух неприятеля и ослаблять наш дух. Если бы я верил, что французский Алжир отвечает национальным интересам, что он способен удовлетворить алжирцев-патриотов и, наконец, что он осуществим, то не опубликовал бы «Алжирскую трагедию». Выводы из моего анализа казались мне несомненными, насколько могут быть таковыми политические суждения в этом грешном мире. Один алжирец, лейтенант французской армии, нашел именно те слова, которые могли тронуть мое сердце: «Кое-кто полагает, что ваши доводы, внушенные вашей проницательностью и вашей нравственной цельностью, укрепляют наше алжирское дело. И что поэтому вы не имеете права их высказывать. Какое заблуждение! Как жаль, что французы, похожие на вас, находятся в меньшинстве… Я очень хотел бы, чтобы вы не оскорбили меня предположением, будто я могу вообразить вас пособником нашего национализма».

Брошюра произвела определенный шум; идея «ухода» более не была под запретом в салонах и в колонном зале [217]. Наша дорогая Жанна Александр ошиблась, когда в восторге заявила, вдохновленная дружеским чувством: «Я сразу же сказала себе: это сравнимо с „Я обвиняю“ Золя. Люди, с которыми мне довелось говорить об этой близости, единодушно признавали ее совершенную очевидность». Нет, сравнение не годилось. Золя восставал против страстей, необузданных и слепых. А страстное желание видеть Алжир французским пронизывали сомнения. «Алжирскую трагедию» обсуждали в офицерских столовых. Не все полковники шли за доктринерами подрывной войны, не все верили в то, что с помощью каких-то психологических методов можно было бы обратить алжирцев в патриотов Франции. Сама Жанна Александр констатировала, что через несколько месяцев шум утих. Между тем брошюра не осталась незамеченной за рубежом. Дж. Ф. Кеннеди процитировал меня в Сенате; журнал «Экономист» («Economist») в своей передовой статье увидел в занятой мною позиции симптом какого-то изменения в общественном мнении. По прошествии времени я задаю себе вопросы. Брошюра сняла с меня обвинение — абсурдное, но

распространенное — в конформизме. Однако она не смыла с меня другое пятно: я по-прежнему оставался бездушной счетной машиной и человеком леденящего ума. Никогда я не считал пристойным отвечать на такие суждения. На следующий день после собрания на улице Мадам Анри Биро написал мне прекрасное письмо, некоторые фразы которого, надеюсь, не совсем неверны: «Братство без громких слов, стремящееся более всего оградить от несчастий тех, кого любишь… написать „Алжирскую трагедию“, чтобы как можно меньше французов и мусульман гибли бесцельно в этой войне, в которой победа невозможна…» Так я оправдывал перед самим собой мое выступление; теперь же я спрашиваю себя, принесло ли оно успех. Чувство неудовлетворенности того, кто хотел бы действовать пером.

Летом 1958 года, сразу же после возвращения генерала де Голля к власти, я получил докторскую степень *honoris causa* в Гарвардском университете и был приглашен сделать один из двух докладов по случаю *Commencement Day,* Актового дня (с другим докладом должен был выступить американский госсекретарь по обороне Нейл Мак-Элрой). Падение Четвертой республики было вызвано, по всей видимости, опасением дипломатического Дьенбьенфу. Толпы, взявшие штурмом «Резиденцию», помещения французского губернатора в городе Алжире, кричали на всех перекрестках: «французский Алжир»; демонстрации французско-мусульманского братства — некоторые из них были искренними — создали на несколько дней или несколько недель иллюзию, что те, кто верил, одержали победу над теми, кто рассчитывал. Лично я ни один миг не колебался. Но в Гарварде мне не представлялось приемлемым воспроизводить аргументацию моей брошюры и разоблачать перед аудиторией, не слишком симпатизировавшей Франции, ослепление моих соотечественников, их склонность относить исключительно на счет Четвертой республики алжирское восстание, неотделимое от исторического процесса, не оставившего в стороне ни одну колонию ни одной европейской метрополии. Отрывки из моего доклада, переданные агентством АФП, заставили подумать, что я изменил свое мнение и присоединялся к народному и национальному взрыву 1958 года или подчинился ему. Чтобы поставить все на свое место и избежать распространения легенды о перемене веры, вызванной оппортунизмом, я опубликовал в «Свободной трибуне» газеты «Монд» обширные пассажи из моего доклада, а главное, издал еще одну брошюру, более проработанную, — «Алжир и Республика» («L’Algérie et la Republique»).

В 1957 году, будучи гостем Канадского (французского) института по общественным делам, я встретился с целым поколением политических деятелей, которые в большинстве своем и сегодня играют первые роли, — с Ж. Лесажем (человеком тихой революции), Р. Левеком, П. Э. Трюдо, выглядевшим совершенным плейбоем за рулем своего «ягуара», если память мне не изменяет. Из Канады я приехал в Гарвардский университет по его приглашению и прочел там три лекции, которые в расширенном виде составили книгу «Незыблемая и переменчивая», она вышла в свет в 1958 году, уже после исчезновения Четвертой республики. В том же 1957/58 учебном году мои открытые лекции были посвящены политическим режимам индустриальных обществ. Этот курс был опубликован через десять лет, но он сохранил печать — которую я не хотел стирать — событий 1958 года. Название одной из глав — «Шелковая нить и лезвие меча» («Fil de soie et fil de l'épée») — отсылало читателя к выражениям, соответственно, Гульельмо Ферреро и генерала де Голля 218.

Законность формально была соблюдена, но Четвертая республика не устояла перед мятежом армии, поддержанным алжирскими французами, мятежом, к которому генерал де Голль не был полностью непричастен (чтобы сказать самое меньшее) 219. Сам он до 15 мая ничего не заявлял, но и не дезавуировал неистовую пропаганду самого верного из своих соратников.

В газете «Курье де ля колэр» («Courrier de la Colure») Мишель Дебре доходил до того, что провозглашал право, да что я говорю — долг восстать против правительства, которое позволило бы поставить под вопрос суверенную власть Франции в Алжире. Некоторых голлистов заподозрили в участии в том или ином из тринадцати заговоров, которые привели к 13 мая и один из которых был направлен против генерала Салана. Все это отделяло меня от голлистов 1958 года. Но я все-таки не стал смешивать Генерала с его людьми; сам он менее всего запачкал руки, хотя и не был в неведении ни относительно намерений, ни относительно действий некоторых людей из числа заговорщиков. В зависимости от предпочтений комментаторов, он объявлялся или спасителем депутатов от дефенестрации 220, или поджигателем одной из бомб, разорвавшихся 13 мая. На самом деле Генерал сыграл обе роли.

В то же время слухи разносили высказывания генерала де Голля и представляли его как человека, стоящего ближе к либералам, чем к ультра. Кто-то уверял меня, что сам Генерал в беседе с кем-то признавал мою правоту в споре с Ж. Сустелем, особенно по демографической проблеме. Во всяком случае,

можно согласиться, что у Генерала благодаря его авторитету и престижу было больше шансов, по сравнению с любым другим деятелем, чтобы найти какой-то выход или же заставить французов смириться с затягиванием конфликта. В 1957–1958 годах я пытался убеждать; начиная с июня 1958 года моя роль свелась к роли наблюдателя или комментатора. Как мог бы я присоединиться к голлистской партии — «Союзу в защиту республики» (ЮДР (UDR)), наспех сколоченной ради участия в выборах, защищавшей французский Алжир и ведомой Мишелем Дебре и Жаком Сустелем? И напротив, зачем надо было становиться в позу оппозиционера, тогда как смысл событий еще не прояснился? Андре Мальро без колебания шел служить Генералу вне зависимости от того, какой была в тот или иной момент официальная доктрина. Мне показалось неприемлемым для интеллектуала, претендующего на роль политического автора, участвовать в двусмысленностях, в уловках и хитростях главы правительства, может быть и необходимых. Поскольку я уже совершенно ясно сформулировал собственную доктрину, то мне следовало не нарушать свое одиночество и объяснять путь Генерала, не преображая его с помощью слова.

Вторая брошюра — «Алжир и Республика» — отнюдь не вызвала шума, хотя и была аргументирована гораздо строже, чем «Алжирская трагедия». В первой главе я показал, опираясь на цифры, почему невозможна интеграция Алжира, который стал бы — подобно Иль-де-Франс или Лотарингии — провинцией Франции. Алжирцы и французы принадлежат к различным культурам, имеют различные демографический и хозяйственный режимы. Как применять к тому и другому народу одни и те же социальные законы? Нефтяных богатств было бы недостаточно для уничтожения пропасти между условиями жизни к югу и к северу от Средиземного моря. (Двадцать лет спустя, несмотря на двадцатикратное повышение цен на нефть, это суждение остается верным.) Сказанное обусловило мою позицию в странном споре, поводом для которого стала книга Жермены Тийон «Алжир в 1957 году», появившаяся на несколько недель раньше «Алжирской трагедии». Тьери Монье, безоговорочный сторонник французского Алжира, сослался на Жермену Тийон, чтобы обосновать вывод: «Франция или голод». Он извлек из труда этнолога гораздо больше того, что в него вложено. Тем не менее она сформулировала вопрос: «Не становится ли в настоящий момент антиколониализм алиби для клошардизации? [221]»

Я согласился с тем, что «видимый либерализм может служить прикрытием эгоизма. В случае Алжира возможны две интерпретации: тот, кто предлагает завязать диалог с

алжирскими националистами, может быть идеалистом, взывающим к праву народов самим распоряжаться своей судьбой или мечтающим о дружбе с мусульманами. Или он может быть капиталистом, который стремится уменьшить затраты, но безразличен к нищете независимого Алжира. (Само собой разумеется, что к первой и благородной категории относят любого человека левых убеждений, а ко второй и гнусной категории — любого приверженца правых взглядов…) Именно по причине своей любви к Али и Мухаммеду, любви к самому обездоленному из всех кабилов и арабов бывший губернатор Алжира, сердечность которого безгранична, чудесным образом оказывается в согласии с такими возвышенными умами и избранными душами, как г-н Роже Дюше, г-н де Сериньи и другие редакторы газеты „Эко д'Алже“ („Echo d'Alger“). Если г-н де Ле Брён Керис и г-н Этьен Борн осуждают мой цинизм, так это потому, что христианские чувства заставляют их оградить алжирцев от нищеты и тирании ФНО».

Во второй главе — «Кризис французского сознания» — я попытался убедить моих соотечественников в том, что потеря империи не обрекает нашу родину на упадок. «Пораженчество — это потеря надежды на примирение с националистами. Уход — это отказ от сотрудничества со странами, получившими независимость… Кто закрывает будущее, если не человек, утверждающий, что стремление народов к самоуправлению несовместимо с африканским призванием Франции? Нации, находящиеся в упадке, — это те нации, которые отказываются приспосабливаться к изменяющемуся миру. Могильщиками отечества являются те люди, которые под предлогом предупреждения упадка направляют наш патриотизм на путь безысходности».

Третья глава, названная «Майская революция», представляла собой набросок анализа событий мая 1958 года — возвращение генерала де Голля во власть и падение Четвертой республики. Попутно критиковались идеи Альбера Камю, изложенные в одной из его статей:[171] «Несмотря на свое стремление к справедливости, несмотря на свое великодушие, г-ну Альберу Камю не удается подняться выше уровня поведения колонизатора доброй воли». Он отказывался признать легитимным требование арабов: «Следует, однако, признать, что в случае Алжира национальная независимость есть формула, внушенная одной лишь страстью. Никогда еще не было алжирской нации. Евреи, турки, греки, итальянцы, берберы с таким же правом могут претендовать на руководство этой воображаемой нацией». На что я возразил: «Эти мусульмане не являлись нацией в прошлом, но

самые молодые из них хотят создать такую нацию. Требование, внушенное страстью? Конечно, как и все революционные требования». А. Камю советовал прибегнуть к таким же мерам, за какие выступали защитники французского Алжира: повышение уровня жизни, «персональный федерализм» (иначе говоря, гражданское и политическое равенство мусульман и французов). Он хотел, чтобы правительство «не уступало бы ни в чем, что затрагивает права алжирских французов», представлял «национальное требование алжирцев частично как одно из проявлений того нового арабского империализма, на руководство которым претендует Египет, переоценивая свои силы, и который в настоящий момент использует Россию в целях своей антизападной стратегии».

Эти тексты были забыты; напротив, вспоминают сделанное Камю в Стокгольме заявление или, скорее, его ответ на вопрос журналиста: «Я верю в справедливость, но прежде справедливости буду защищать свою мать»[172]. В сущности, формула эта лишена смысла. Алжирское восстание ставило перед всеми французами, особенно перед французами Алжира, вопрос совести. Почему Альбер Камю находил в своей любви к матери ответ на этот вопрос совести? Мы понимали, что его раздирали привязанность к Алжиру, сыновья любовь и стремление к справедливости, что он отказался встать на сторону одного из двух столкнувшихся лагерей. Но противопоставление «матери» и «справедливости» мне казалось репликой сочинителя, а не суждением о трагическом конфликте. Я далек от намерения хотя бы как-то умалить заслуженную славу Камю; не ставлю под сомнение ни его душевное благородство, ни его добрую волю. Но для тех, кому не довелось жить в те годы, поучительно неприятие — даже со стороны такого человека, как Камю, — алжирского «национализма», воли к независимости, которая вдохновляла активное меньшинство и которую, вероятно, поддерживало большинство населения.

Относительно конституционных планов генерала де Голля я никак не ошибался: «Без всякого сомнения, генерал де Голль искренне желает восстановить Республику и даже парламентскую Республику… Существует риск, что Конституция Пятой республики будет скорее не компромиссом между президентским и парламентским правлением, но возвращением к полупарламентской монархии. Совет министров ответствен перед Национальным собранием, но премьер-министра выбирает президент Республики, и он, подобно монарху, обладает прерогативами, которые сами короли потеряли при парламентских режимах нашего века. Возвращение назад может

не быть бесполезным. Конституция, вдохновленная речью в Байё, не дает основательного ответа на французские проблемы, но создает конституционные рамки, в пределах которых генерал де Голль сможет отправлять власть, являющуюся абсолютной и ограниченной…» («абсолютная и ограниченная» — авторство формулы принадлежит Моррасу).

Хотя меня и покоробили обстоятельства, при которых генерал де Голль вновь встал у власти (15 мая он дал моральную гарантию «мятежникам» Алжира), в июле 1958 года, через несколько недель после майской революции, я признал наличие у него шансов, которых никто другой не мог бы иметь: «В большей мере, чем кто-либо иной, генерал де Голль обладает средствами для восстановления мира, поскольку он способен вести войну и имеет репутацию человека великодушного». Я охарактеризовал Генерала не как представителя или руководителя полковников или майских заговорщиков, но, наоборот, как государственного деятеля, который приведет армию к послушанию и, может быть, завяжет диалог с алжирскими националистами: «То, чего желают ультра и заговорщики, идет вразрез с исторической необходимостью и долговременными надеждами большинства французов. Майская революция может стать началом политического обновления Франции при условии, что поторопится пожрать своих детей».

После выхода в свет этой брошюры я стал регулярно выступать на страницах «Прёв» со статьями о Пятой республике и в особенности об алжирской политике Генерала. В первой статье, опубликованной в этом журнале в ноябре 1958 года, я сослался на свою статью, напечатанную в ноябре 1943 года в «Франс либр», в которой анализировалось содержание бонапартистской ситуации: «Атмосфера национального кризиса, потеря доверия к Парламенту и к парламентариям, популярность какого-то деятеля». Я не игнорировал ни различия между причинами национального кризиса (социальные конфликты — в 1848 году, военное поражение — в 1940-м, потеря империи — в 1958-м), ни различия между людьми, вокруг которых кристаллизовались народные эмоции: «Тот, кто использует бонапартистскую ситуацию, может называться Луи-Наполеоном, Буланже, Петеном или де Голлем, может быть авантюристом, слабовольным, старым или же подлинно великим человеком, но во всех случаях ему следует являть особую добродетель: стоять выше французских дрязг, находиться одновременно и справа и слева, объединять две Франции, разделенные 1789 годом».

Без особого смущения я перечитываю анализ Конституции 1958 года — вероятно, не слишком далеко отстоящей от той,

которую когда-то сочинил маршал Петен. Жорж Ведель похвалил меня в дружеском письме за анализ обстановки и Конституции, а также сообщил мне подробности, не лишенные пикантности: «Конституция Петена, которую вы воображаете себе, — писал он мне, — существовала, по крайней мере, виртуально. Вы найдете текст и указания первоисточников в седьмом выпуске (издатель — Берлиа) сборника конституций, подготовленного Дюгюи и Моннье. Вы прочтете там на 10-й странице: „Глава Государства получает свои полномочия от Конгресса, объединяющего избранных людей нации и посланцев от территориальных коллективов, ее составляющих. Он олицетворяет нацию и несет ответственность за ее судьбы. В качестве арбитра высших интересов страны он обеспечивает функционирование учреждений, поддерживая, в случае необходимости, путем применения права роспуска, цепь доверия между правительством и нацией“». Ж. Ведель добавлял, что это невольное совпадение неосуществленных планов Маршала и концепции Генерала не доказывает ничего, что говорило бы за или против Конституции 1958 года.

Диагноз, поставленный мною Четвертой республике и ситуации 1958 года, вплоть до сегодняшнего дня остается неизменным, и к нему довольно часто обращаются нынешние историки: «Враждебность к Четвертой республике походила на ту, которая наблюдалась в 1940 году по отношению к Третьей республике. Эта суровость, не исключающая какую-то долю несправедливости, выражает по меньшей мере одно здоровое чувство: французам надоело то, что министерская чехарда превращала их в посмешище для всего мира. Какими бы ни были последствия нестабильности, пусть даже не такие крупные, как обычно думали, частота правительственных кризисов дискредитировала режим в глазах французов и иностранцев. Страна не может в течение длительного времени подчиняться тем, кого презирает».

Напротив, я положительно оценил дипломатические результаты (Атлантический альянс, примирение с Германией, европейская организация) и экономические результаты, превосходившие те, на которые надеялись оптимисты в момент Освобождения. Упрекали ли французы Четвертую республику за то, что она потеряла империю, или за то, что она хотела эту империю спасти? За то, что она приравняла потерю империи к национальному бедствию, или же за то, что недооценила ее значение? «Четвертая республика натолкнулась на препятствие — алжирскую войну, оказалась неспособной ее продолжать, ее выиграть или завершить путем переговоров; ход был передан

следующему игроку».

В те дни я трактовал Конституцию как парламентско-монархическую — диагноз, не опровергнутый последующими событиями, — и не обнаруживаю в рассматриваемой статье никаких следов систематического антиголлизма, который мне с тех пор приписывали, прибегая к более удачным доводам: «Из-за того, что плебисцитарный элемент не был встроен в демократический режим, по примеру английского и американского режимов, Франция колеблется между безликостью парламентариев второго сорта и блеском харизматического вождя. Генерал де Голль в полном смысле слова является харизматическим вождем, но он питает исторические амбиции какого-то нового Вашингтона». Осенью 1958 года Борис Суварин, друг Жака Шевалье, сообщил мне, что генерал де Голль пытается завязать переговоры с ФНО при посредничестве Фареса и Амруша. Переговоры эти провалились.

Я написал также, в мае 1959 года, статью об экономической политике правительства. Ж.-М. Жаннене, бывший тогда министром, послал мне открытку: «Только что прочитал в „Прёв“ вашу статью о нашей экономической политике. Это лучшее — и единственное серьезное — изложение ее, которое когда-либо было сделано. Благодарю, и спасибо за замечание о том, что я не „либерал“».

В связи с первой годовщиной существования нового режима я напечатал в «Прёв» еще одну статью, озаглавленную: «Год спустя. Шарль де Голль между ультра и либералами». И здесь, будучи верным самому себе, я проанализировал алжирскую политику Генерала, проявляя терпимость: «…тем, кто считал справедливым признание права Алжира на самоопределение, тем, кто считал противным призванию Франции в XX веке желание сохранить при помощи силы колониальное господство, нет никаких причин отступаться от своих идей. Пусть в нынешней ситуации президент Республики не в состоянии делать ничего иного, кроме того, что он делает, из этого еще не вытекает обязанность одобрять то, что накануне критиковали. Или же тогда следует прийти с повинной и сожалеть о нападках, которым подвергали Ги Молле». Что же касается моего отношения к самому Генералу, то оно выражается в формулировках, с неизбежностью нюансированных, даже двусмысленных. У меня вызвал сожаление соблазн уйти во внутреннюю эмиграцию (например, в случае Мендес-Франса): «Пятая республика существует, и во Франции, в ее настоящем виде, генерал де Голль является наилучшим из возможных монархов при режиме, наилучшем из всех возможных плохих режимов… Он обладает личной властью, но он восстановил

Республику в 1945 году. Он направил по нужному руслу революцию 1958 года, чтобы из нее выросла авторитарная Республика, а не какая-то разновидность фашизма или военного деспотизма. Он хочет спасти остатки французской империи, но он предоставил территориям Черной Африки право на независимость. Он ведет войну в Алжире, но не исключает каких-то перемен». Вывод: мы хотели бы ему помочь, но по-прежнему верим в то, что движение Алжира по направлению к независимости неодолимо. А пока — пусть он действует.

Серия статей в «Прёв», вплоть до последней, завершенной 20 апреля 1962 года, отражает неуверенность моих оценок и, может быть, еще более — колебания моего настроения. Осенью 1959 года, после речи 16 сентября о самоопределении 222, я предвидел, не рискуя ошибиться, что ФНО и Временное правительство Алжирской Республики (ВПАР) откажутся от приглашения прекратить вооруженную борьбу и принять участие в электоральной баталии. Генерал предлагал путь, промежуточный между «французским Алжиром?» и «уходом», пройдя который Алжир был бы тесно ассоциирован с Францией, имел автономию в каких-то французских рамках. Но существовал ли этот промежуточный путь?

В марте 1960 года, после кризиса баррикад 223, я выразил восхищение действиями Генерала в статье под заголовком «Единственный человек, одинокий человек» 224, хотя и заметил, что провозглашения принципа самоопределения будет недостаточно для прекращения кровопролития. Бойцы ФНО не положат свое оружие в шкаф, пока правительство не уточнит условия осуществления этого принципа. Без переговоров с ФНО или ВПАР не удастся выйти за рамки пресловутого триптиха Ги Молле (прекращение огня, выборы, переговоры). В то же время название статьи, написанной во славу «единственного человека, одинокого человека» передавало мои сомнения, мое беспокойство: следует ли заменять демократическую легитимность легитимностью одного человека — избранника Истории? «Чем сильнее Генерал настаивает на личном характере легитимности, которой он обладает, тем больше ослабляет конституционное здание, которое сам же воздвиг… Генерал де Голль почти постоянно вынужден был делать противоположное тому, что хотел бы делать. Он питает отвращение к мятежу, и он начал свою политическую карьеру как мятежник. Он питает отвращение к государственным военным переворотам, и он пришел к власти в мае 1958 года, благодаря военному перевороту, угрожавшему законной власти. Он страстно желает объединить французов, и это никогда ему не удается, ибо такое

единство противно природе задач, которые стоят уже двадцать лет». Отсюда — его намерение идти к национальной легитимности, воплощенной в одном человеке, через самые причудливые перипетии.

Осенью 1960 года я стал проявлять бо́льшую склонность к суровости и в статье, озаглавленной «Самомнение» («Présomption»), сравнивал претензии Генерала в момент его прихода к власти и ситуацию два года спустя: «Генерал де Голль является либералом, если понимать под этим словом человека, рассматривающего эволюцию Алжира к государственному статусу как неизбежную, согласную с идеями века, совместимую с защитой французских интересов. Но он является и ультра, если под этим словом понимать человека, отказывающегося вести переговоры с теми, кто сражается. Право на независимость имеют единственно те, кто об этом вежливо просит». Статья была несправедливой, написал я ее в Соединенных Штатах, во время пребывания в Гарвардском университете. Жорж Фридман упрекнул меня — справедливо — за тон статьи: «В нынешней обстановке я не вижу никого другого, кроме де Голля, кто мог бы сохранить основное из свобод, которые ты всю свою жизнь стремился защитить. Есть еще шанс этого добиться. Удивлен, что ты, как кажется, поддерживаешь (ибо именно так многие с радостью поняли тебя) своим именем, своим авторитетом тех, кто живет, чая сломать ему спину… Зная тебя, уверен, что если бы ты находился во Франции, то скорректировал бы свою стрельбу после написания „Самомнения“». В следующей статье, процитировав письмо Жоржа Фридмана, я объяснился: «Никогда я не ставил под сомнение то, что генерал де Голль, как никто другой из всех французов, способен прооперировать алжирский гнойник. Единственный человек и одинокий человек оберегает наши права и ограждает от смятения в умах и хаоса». В речи, произнесенной в ноябре 1960 года, Генерал перешел через еще один рубеж: «„Алжирская Республика“ пришла на смену „алжирскому Алжиру“, и эта Республика будет иметь независимую дипломатию». Таким образом, Генерал предлагал Алжиру статус, сравнимый со статусом государств Сообщества, но он оставлял невыясненным узловой вопрос: кто же возьмет на себя ответственность за Алжирскую Республику?

Мое беспокойство по-прежнему вызывала одна и та же проблема: «Все сводится в конечном счете к вопросу, который без устали ставят наблюдатели вот уже два года: допустив, что генерал де Голль, как философ истории, считает французский Алжир делом похороненным, а независимый Алжир — неизбежностью, то сколько же времени генерал де Голль, как

глава государства, будет отказываться от диалога, без которого сохранится трагическое противоречие между его стратегией и его тактикой, между конечным результатом, который он предвидит, и отказом, на котором он настаивает?» И в конце статьи, написанной в Кембридже, отвечая Ж. Фридману, я заключал: «Вероятно, мы мало что можем сделать. Мы рискуем скомпрометировать его, одобряя, и ослабить, критикуя… Не совсем бесполезно в полный голос заявлять, что на генерала де Голля мы возлагаем наши надежды, наши последние надежды на достойный мир — то есть на мир, который примирил бы Францию с алжирскими националистами, не поднимая одних французов на других с оружием в руках».

После заговора «кучки» генералов 225 и пресс-конференции 11 апреля 1961 года у меня более не было сомнения в том, что глава государства принадлежал к партии «ухода», он решился вести переговоры с ФНО на основе предварительного признания алжирской независимости: «После трех лет колебаний или иллюзий, по завершении медленного и извилистого продвижения к цели, генерал де Голль покорился необходимости или решился договориться с ФНО о будущности Алжира, вопреки своим многочисленным обещаниям, не принимая во внимание чувства военных… Не наблюдаем ли мы „правление по-флорентийски“, как выражались когда-то, если в качестве премьер-министра, которому поручено принять г-на Бургибу, берут директора „Курье де ля колэр“? Не является ли „правлением по-флорентийски“ отнесение на счет Четвертой республики (в выступлении 15 мая 1958 года) „волнений в сражающейся армии“, тогда как в собственные намерения входит как раз совершение того, что волнения в армии (на простонародном языке — бунт) имеют целью предотвратить?» И несколько ниже я ставил себя на место «обманутых»: «Победители 13 мая почувствовали себя обманутыми после того, как в январе 1960 года было провозглашено самоопределение, а в апреле 1961 года была предоставлена независимость. Они лишились революции, которую у них украли голлисты. Если было священным право на восстание против партии ухода в годы Четвертой республики, если, как некогда говорил премьер-министр, долг повиноваться перестает существовать с той минуты, как правительство выразит намерение подвергнуть отчуждению часть национальной территории, то почему следовало считать четверку генералов преступниками, а не неудачливыми героями? Лично я не сомневаюсь в их преступности…»

Затем — новое резкое изменение настроения, которое я с трудом себе объясняю, статья с неуместным названием —

«Прощай, голлизм». Откуда эта словесная ярость? Меня возмутило случившееся в Бизерте; 226 возможно, я был неправ, возлагая ответственность исключительно на французское правительство, но этот кровавый урок, преподанный главе мусульманского государства, искреннему другу Франции, мне показался несправедливым, жестоким, противоречащим нашему национальному интересу. Одновременно мне показалась в конечном счете неразумной стратегия Генерала, состоявшая в том, чтобы уступать мало-помалу, путем односторонних действий именно то, что было поставлено на карту в конфликте. Отсюда — выпады, возможно, бьющие в точку, но конечно же обидные: «Деколонизацию не ведут в стиле Людовика XIV… Бидо стал бы воевать до конца ради спасения французской империи. Генерал де Голль воюет, чтобы спасти стиль ухода». Именно тогда я подверг критике голлистскую стратегию в целом: «Генерал согласился сесть за стол переговоров лишь после того, как полностью освободился от всех своих карт — ничего в руках, ничего в карманах… А что прикажете сделать, если ВПАР потребует Сахару?»

ФНО ведет переговоры как победитель: «Возможно, алжирские националисты проиграли все сражения на местности, но они выиграли войну, поскольку французское правительство признало справедливость их требования, заявило о своей готовности его удовлетворить и желает „освобождения“ от обязательств…» Результат этот можно было предвидеть, я говорил о нем начиная с 1957 года. «Если бы Армии национального освобождения (АЛН (ALN)) удалось удержать в Алжире 400 тысяч французских солдат, она несомненно принесла бы „военную победу“ ВПАР, которое в ней нуждалось. Ибо можно было предвидеть, что французский народ устанет от войны, сама продолжительность которой обнаруживала ее несправедливость или тщетность».

Что касается последних строк статьи — ее полемическая резкость не может не вызывать у меня сегодня чувства неловкости, — то среди них есть пассаж, несмотря ни на что сохраняющий силу: «Генерал заявил об освобождении от обязательств, а не только о деколонизации, наводя на мысль о том, что полный уход — переселение, а затем репатриация алжирских французов, а также мусульман, желающих остаться французскими, — явится, помимо соглашения с ВПАР, неизбежным решением. Независимо от того, будет или не будет достигнуто это соглашение, ясно, что ничто или почти ничто не будет спасено из того, что могло бы быть спасено два или три года тому назад». Сегодня у читателя возникает искушение

спросить: а можно ли было что-то спасти?

Серию заключала следующая статья, под которой я подписался бы и ныне, поскольку она представляла собой, если можно так сказать, самокритику автора предыдущих статей. «Те, кто читал на страницах этого журнала хроникальные заметки о Пятой республике, не могут не знать о колебаниях в моих суждениях. Именно необходимость покончить с алжирской войной казалась мне единственным оправданием патерналистской монархии, введенной под покровом Конституции 1958 года. Только переговоры с ВПАР предоставляли, на мой взгляд, шанс достичь этого, а формула о самоопределении не имела никакой другой функции, кроме как прикрыть предопределенность судьбы Алжира, фактически решенной соглашением между французским правительством и ВПАР. Когда голлистское самомнение закрывало, как казалось, путь к переговорам, отчаяние одерживало верх над надеждой. Надежда возродилась с референдумом января 1961 года [по вопросу самоопределения алжирского населения]. И снова уступила место отчаянию прошлым летом, после абсурдной драмы в Бизерте». Я не поскупился на слова должного уважения человеку, который, «убедившись в том, что освобождение от обязательств отвечало интересу и призванию Франции, рискнул и своей жизнью, и своей славой, чтобы завершить деколонизацию (которую в свое время его сторонники называли „отречением“)». Но «„правление по-флорентийски“ в XX веке сопряжено и с некоторым пассивом. Человека действия легко обвинить в том, что он слишком дорого заплатил за успех. Было бы еще легче скрыть цену хитрости и двойной игры».

Эта была промежуточная позиция, претендовавшая на справедливость. Я привел обвинения, сформулированные как ультра, так и либералами, не принимая и не отвергая ни одно из них. С одной стороны: «Разве необходимо было три с половиной года продолжать „умиротворение“, чтобы прийти в итоге к политическим переговорам, неизбежным и необходимым? Разве необходимо было прерывать первые переговоры в Эвиане по вопросу о Сахаре, чтобы затем вдруг заявить на пресс-конференции, что никакое алжирское правительство не откажется от суверенитета над песками и нефтью?» С другой стороны: «Зачем понадобилось обходить офицерские столовые? Почему офицерам было позволено взять на себя торжественные обязательства по отношению к населению, если решили не дать им возможности исполнить свою клятву? В глазах людей, подобных Тернуару, путь от слов „Я вас понял“ 227 до референдума в апреле 1962 года 228 выглядит как прямая линия,

без искривлений и поворотов — *sancta simplicitas.* А для алжирских французов, офицеров этот путь представляется цепью гнусных отречений или циничных уловок».

Я не просто-напросто отвергал это обвинение, но приводил элементарный и, однако же, решающий довод — успех, действительность: «Пока Государь запутан в своих собственных сетях, у критиков на руках хорошая карта. Но как только он от этих пут освобождается, то получает неоспоримый аргумент: возможно, путь оказался долгим, но, по крайней мере, он привел меня к цели. Достиг ли я ее, если бы выбрал путь короче? Последователь Макиавелли, добившийся успеха, *призывает в свидетели действительность*, тогда как его противники *вспоминают о вариантах возможного.* Гражданская война, восстание оасовцев — имеем ли мы право упрекать в них правительство, если они составили цену, которую пришлось заплатить за прекращение войны между французами и алжирскими националистами?»

Еще раз я определил свою позицию по отношению к ультра из одного и другого лагеря: «Безоговорочные сторонники аплодируют событиям, если даже эти события превращают в посмешище их вчерашние клятвы. Противники обличают генерала де Голля, если даже события воплощают в действительность их вчерашние надежды. Не походить ни на тех, ни на других — значит ли это быть голлистом? В брошюре под заголовком „Алжирская трагедия“, вызвавшей гнев господ Л. Тернуара, Ж. Сустеля и М. Шумана, я употребил выражение „героизм ухода“… И однако же… генерал де Голль довел до героизма волю к уходу. Продолжать „пацификацию“ означало бы идти по легкому пути, высший интерес Франции заключался в том, чтобы перестать напрасно цепляться за последние лоскутья империи… Генералу де Голлю по праву принадлежит и будет принадлежать историческая заслуга: он убедил страну в том, что деколонизация означала изменение, а не поражение. Не он явился инициатором этого дела, которое его сторонники долгое время тормозили. Но он довел данное дело до своего завершения в Алжире, где существовал риск превращения его в трагедию».

Около двадцати лет прошло со времени заключения соглашений в Эвиане [229] и катастрофического исхода алжирских французов. Население Алжира составляет двадцать миллионов человек, что подтверждает, если в том есть необходимость, аргумент, который выдвигали противники интеграции. Большой рост цен на углеводороды существенно изменяет данные расчета, приведенного в брошюре «Алжир и Республика». Если бы

Франция сохранила суверенитет над Сахарой, она платила бы франками за часть своей нефти или же компенсировала бы закупки нефти за иностранную валюту продажами излишков других видов углеводородов. Что бы там ни писали несколько историков или полемистов, антиколониализм или позиция, занятая в пользу алжирской независимости, были продиктованы мне не экономическими соображениями, но убеждениями, которые в одинаковой мере можно назвать моральными, политическими, историческими или даже, если хотите, исходящими из национального интереса.

Не знаю, следует ли нам через две тысячи лет подвергать моральному осуждению завоевание кельтской Галлии римлянами. По меньшей мере завоевателю надо было бы каждодневно обращаться мысленно к максиме Монтескьё: «Завоеватель должен исправить часть совершаемых им зол. Право на завоевание я определяю следующим образом: это необходимое, законное и злосчастное право, которое всегда налагает на завоевателя громадные обязательства, чтобы он мог расквитаться с человеческой природой». Для завоевания Алжира в прошлом веке понадобилось не менее двадцати лет, и некоторые просвещенные умы того времени сочли это завоевание анахроничным, обреченным на неуспех. То доброе, что приносит при случае завоевание, неизбежно исчезает сразу же после того, как завоевателям, столетие спустя после их видимой победы, снова приходится браться за оружие ради увековечения своего шаткого господства. Алжирцы, несмотря на их разнородность (арабы и берберы), несмотря на отсутствие традиции государственности, сравнимой с марокканской, законно требовали право построить для себя государство и утвердить свою идентичность. Их требование соответствовало историческому движению идей и правильно понятому интересу Франции: и экономика, и демография делали невозможной политику интеграции, являвшуюся единственной альтернативой независимости.

Некоторые из «либералов», упрекавших меня за «Алжирскую трагедию», сегодня по-дружески мне говорят: «События подтвердили вашу правоту, но были ли они уже в 1957 году столь предопределенными, как вы это утверждали?» Этьен Борн, которому я напомнил о его статье, посвященной «Страху и надежде века», написал мне: «Что же касается алжирского дела, о котором я действительно много писал в свое время, то уместно вспомнить: я входил в крыло МРП, которое желало революции либерального толка в Алжире и надеялось на нее. Не говорю уже обо всем том, что я написал в „Человеческой земле“ относительно

эволюции Туниса и Марокко по направлению к автономии, первоначально внутренней… и против колонизации. Возможно, в этом проявлялась одна из тех иллюзий „третьей силы“, о которых ты так строго судишь, не без некоторых веских причин. И дело не ограничивалось лишь благими пожеланиями. Я входил в Исполнительную комиссию МРП, которая в 1958 году незначительным большинством отказала в доверии Бидо и помешала ему создать министерство по делам французского Алжира. И именно потому что Пфлимлен 230, став главой правительства, заговорил о „перемирии“ на страницах одной из эльзасских газет, вспыхнул мятеж в армии, покончивший с Четвертой республикой. Поэтому мне казалось в то время, что, делая вывод о безоговорочной независимости, когда ничего еще не было решено, ты не находился на своем настоящем месте, то есть, коротко говоря, не на месте центриста. Ты был, вероятно, прав, исходя из некоего реализма, взвешивающего силы и массы, и как раз это я хотел сказать, прибегнув к сжатому полемическому выражению, скверной формуле о „типично правой мысли“. Вероятно, мечта о французско-алжирской федерации, позволяющей сообществам сосуществовать и сотрудничать, была утопичной. Ты был одним из первых, кто это увидел, и я охотно сдаюсь тебе в этом вопросе…»

В одном из недавних разговоров Жан Даниель тоже утверждал, что алжирские события не должны были с неизбежностью пойти по тому пути, по которому они пошли. Руководители восстания не желали массового бегства всех французов. Они горячо и ожесточенно спорили между собой; некоторые из них предполагали прийти к соглашению, не предусматривавшему немедленного предоставления независимости, к которой эти руководители стремились. Что касается меня, то я не безразличен к этим обоснованным сожалениям, не утверждаю, что ход событий во всем мог быть только таким, каким он оказался. В дискуссии с Шабан-Дельмасом я тоже упомянул о конфедерации Франция — Магриб, которая могла бы быть провозглашена в Версальском дворце. В 1957 году я не давал совета немедленно предоставить независимость и репатриировать французов: я выступил за право алжирцев на независимость. Однако «пье-нуар» не были расположены это право признать.

Не думаю, что обширная литература о войне в Алжире, появившаяся за двадцать лет, заставляет меня пересматривать суждения, высказанные поколение назад. Ныне нам больше известно о разногласиях внутри ФНО и ВПАР, о тайном визите руководителей одной вилайи 231 в Елисейский дворец, об

истощении сил герильи внутри страны. Действия ОАС и покушения на алжирских французов, начавшиеся сразу же после того, как французская армия перестала охранять жизнь гражданских лиц, ускорили катастрофический исход алжирских французов — результат, подготовленный решениями 1955–1956 годов. В 1957 году я предсказал, что однажды, после многолетней войны, стране придется отказаться от игры, ничего не спасши. Так и случилось; вероятно, так и должно было случиться. Трагедии неумолимо развертываются вплоть до самого конца. Алжирцев, служивших во вспомогательных частях, большую их часть, отдали на отмщенье победителям по приказу, может быть, самого Генерала, который с помощью слов облек поражение в другие одежды и прикрыл ее ужасы.

Лично я не сожалею ни о двух брошюрах, ни о позициях, которые занимал между 1958 и 1962 годами. Еще раз, как и в период между 1940 и 1944 годами, французы обвиняли друг друга в измене. В большинстве своем они приняли политику правительства и подчинились приказам о призыве на военную службу. Ж.-Ж. Серван-Шрейбер, противник войны в Алжире, ответил на призыв и нес службу в качестве «лейтенанта в Алжире». Другие французы, такие как Франсис Жансон, вступили в ряды ФНО или, говоря точнее, создали подпольные организации для поддержки ФНО. Многие интеллектуалы (121 человек), включая Ж.-П. Сартра, подписали заявление, в котором призывали или поощряли молодых французов дезертировать.

Я находился в Гарварде, когда стало известно об этом документе; сразу же некоторые американские профессора стали собирать подписи под заявлением, одобряющим поступок ста двадцати одного и осуждающим начатое судебным порядком преследование их. В течение нескольких дней я проводил дискуссии с десятками американских профессоров и отговорил многих из них подписывать подобный текст. «Призывать молодых людей к дезертирству, — говорил я им, — это не опасно для интеллектуалов и Ж.-П. Сартра, это опасно для тех, кто последует их совету. Я понимаю юношу, который отказывается сражаться с алжирцами, но я презираю интеллектуала в шезлонге, подменяющего собою совесть призывников. Пусть они делают свой выбор, а мы должны позволить им это сделать. Если вы вмешаетесь в этот спор, то возьмете на себя дополнительную ответственность: вы еще немного подтолкнете французов по направлению к гражданской войне, ибо отказ от мобилизации равносилен разрыву национального пакта. Что подумали бы вы, американцы, если бы завтра мы, французы, призвали ваших

юношей дезертировать в тот день, когда сочли бы несправедливой войну, которую повело бы ваше правительство?» Довод произвел впечатление на моих собеседников. Заявление о поддержке ста двадцати одного было взято назад или не собрало подписей всех, на кого рассчитывали (точно вспомнить не могу).

В октябре 1960 года, когда бушевала «война заявлений», я подготовил статью «Измена» («La Trahison»), в которой повторил, обновив, предисловие, написанное для книги Андре Терива. Эта статья была еще одним страстным выступлением против гражданской войны. Спор шел прежде всего об организациях, созданных Франсисом Жансоном. Что же писал Жансон? «Мне хорошо известно, что нас обвиняют в измене. Но я спрашиваю себя: кому и чему мы изменяем? *Юридически* мы погружены в гражданскую войну, поскольку алжирцы официально рассматриваются как полноправные французские граждане, следовательно, мы не предаем Францию. *Фактически* же национального сообщества больше нет: где его великие оси, где его силовые линии, где незыблемые точки его структуры?.. Никакое чисто формальное понимание гражданского долга не заставит меня признать, что существуют еще „законопослушное поведение“ и общие обязанности, когда сам президент Республики — спаситель Франции — превращается в защитника беззакония, ибо приходит к власти благодаря насильственному перевороту и не применяет Конституцию, которую сам же заставил принять при данных обстоятельствах».

Оставим в стороне первый аргумент: юридически война в Алжире является гражданской войной, поскольку алжирцы обладают, на бумаге, французским гражданством. Поэтому Жансон вроде бы поступает как бунтовщик, а не как агент иностранной державы. (На самом же деле алжирцы не считали свою борьбу гражданской войной.) Остается главный довод: дезертирство; организации, поддерживающие ФНО, лишь подтверждают и символизируют разрыв внутри сообщества. Следовало ли в 1960 году смириться, признав этот разрыв, и сделать из этого соответствующие выводы? Мой ответ был: *нет:* «Я отношу себя к тем, кто не одобряет политику последних правительств Четвертой республики и правительства Пятой республики. Однако же я не чувствую себя обязанным и даже не испытываю никакого искушения сражаться вместе с ФНО и за ФНО или, если предпочитаете, вместе с алжирцами и за алжирцев, требующих независимости».

Смысл проблемы совести объяснялся с помощью сравнения тоталитарных и демократических режимов. «Тоталитарное государство, выбрасывая своих противников за пределы

сообщества, приравнивая несогласных к предателям, снимает, если можно так сказать, вину с тех несогласных, которые считают себя свободными от всяких обязательств». Иначе обстоит дело в демократиях: гражданин поклялся следовать закону большинства; эта клятва имеет политический, а не национальный характер. Чтобы нарушить свою клятву, у гражданина должны быть неотразимые доводы.

Моя ересь дошла до утверждения, что разрыв в июне 1940 года не являлся таким же радикальным по своему характеру. В той мере, в какой правительство Виши, бывшее еще наполовину самостоятельным, считало, что временный нейтралитет отвечает интересу Франции, голлисты, выступившие против этого правительства, противопоставляли не одну Францию другой, а одну политику — другой. Таковым представлялся мне — вплоть до ноября 1942 года — смысл конфликта, символом которого стали два имени — маршала Петена и генерала де Голля: «В те времена я был убежден, убежден и сегодня, что у народа, столь предрасположенного к группировкам, как французский народ, нет другого шанса спасти свое собственное единство и выжить, кроме неустанного сопротивления своим демонам, искушению каждой из партий считать, что ей принадлежит монополия на патриотизм и что она одна воплощает нацию».

Я перечислял все причины, по которым в 1961 году у гражданина не было непреложных поводов разорвать национальный пакт: личные и политические права в основном сохранялись; правительство не пренебрегало волей народа; конечно, война мне представлялась скорее несправедливой, чем справедливой, но о французском меньшинстве в Алжире не следовало забывать. Уважение к меньшинствам также является частью демократического наследия. Принцип самоопределения нельзя применять механически, отвлекаясь от обстоятельств: «Приверженец правых взглядов, выступающий за переговоры с ФНО и за продвижение к независимости, способствует выработке у одной и у другой стороны духа компромисса, без которого неизбежны катастрофа бесконечной войны или трагическое отделение. Оказывает ли француз, присоединяющийся к бойцам ФНО, влияние такого рода?»

Я не скрывал от себя, что этот спор нелегко разрешить: не подобает сражаться на стороне иностранных националистов, если даже их дело считаешь более справедливым, чем дело своей собственной страны. На это можно было бы возразить: разве достаточно пассивного осуждения политики, которую считаешь несправедливой? На статью одобрительным письмом откликнулся М. Мерло-Понти, он составил заявление, которое я подписал; в

нем выражалось несогласие с заявлением ста двадцати одного. В тот момент, когда покушения оасовцев достигли предела 232, в Сорбонне состоялось собрание, организованное всеми ее профессорами, с участием декана; я выступил на нем в защиту национального единства, находящегося выше кризиса, который не угрожал демократии (я не считал трагедией ОАС, действия которой французы в своей массе не одобряли).

В дни, последовавшие за 13 мая 1958 года, ораторы в Алжире не упускали случая упомянуть мое имя, чтобы вызывать вой возмущения, даже ненависти. Мой однофамилец Робер Арон в 1960 году назвал меня среди тех, кто, не питая веры во Францию, хотел пожертвовать Алжиром. В серии статей о майской революции 1958 года один выпускник Национальной школы администрации, с которым позднее я восстановил сердечные отношения, включил мою брошюру в число «постыдных дел», вызвавших восстание.

Оскорбления, которые я получал со всех сторон, благодаря их преимущественно публичному характеру казались мне почти анонимными; они редко задевали меня. В конце 60-х годов я не раз встречался с дамой, бежавшей из Алжира. В конечном счете она прониклась ко мне доверием и откровенно сказала: «Как же мы вас ненавидели, когда вы напечатали свою „Алжирскую трагедию“; а сегодня мы спрашиваем себя: как могли мы быть до такой степени слепыми? В сущности, вы единственный, кто проявил заботу о нас. Вы сказали нам: „Когда Франция оставит Алжир, у нее не найдется для вас денег, которые она напрасно тратит на войну“».

XV
ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО

Темой моего первого лекционного курса в Сорбонне в 1955/56 учебном году я выбрал *Индустриальное общество.* В Тюбингене я трактовал тот же сюжет по-немецки, но более кратко.

Замысел возник у меня несколькими годами раньше, точнее, сразу после войны. Меня поразил контраст (и вместе с тем сходство) между теориями правящего класса и социальных классов. Итальянский фашизм охотно использовал концепцию Моски — Парето о правящем классе, тогда как марксисты признавали только социальные классы; они смешивали класс, господствующий в обществе, с правящим классом. Между тем большевистская партия, державшая в руках власть, представляла не рабочий класс, а новый правящий класс, поднявшийся наверх в результате устранения прежнего правящего класса.

Конечно, советская революция, в отличие от фашизма и даже национал-социализма, произвела переворот в производственных отношениях в промышленности и сельском хозяйстве, устранила собственников заводов и фабрик, а затем, совершив коллективизацию деревни, и земельных собственников. Однако эта революция, вдохновляемая идеями марксизма, привела, вопреки марксистскому пророчеству, не к диктатуре пролетариата, а, — оправдав пессимизм Парето, — к восхождению нового правящего класса. Поэтому последователям Парето легко интерпретировать большевистскую авантюру исходя из своей схемы. Марксисты же интерпретируют фашизм, пользуясь собственной схемой: это-де мнимая революция, поскольку она не совершает переворота в производственных отношениях, а «денежные силы» довольствуются тем, что делегируют в государство других уполномоченных и осуществляют свое господство посредством другого способа правления.

Уже в 40-е годы я начал работу, посвященную сопоставлению Маркса и Парето; оно выводило меня на сравнительный анализ правых и левых революций XX века, разных фашизмов и коммунизма. В шкафу у меня хранилось несколько сотен страниц этой рукописи. Я предоставлял им спокойно спать, но после Тюбингена, в Сорбонне, решил снова ввести в обиход понятие индустриального общества.

Мой проект вобрал в себя несколько идей. На меня, как на

многих других, произвела впечатление книга Колина Кларка «Условия экономического прогресса». Расчет национального продукта позволял поместить на одной восходящей линии национальные экономики как советского, так и капиталистического типа. Современные экономики, несмотря на разнообразие режимов и идеологий, имеют некоторые общие черты, в частности значительный потенциал роста. Своими пятилетними планами и публикацией победных данных о темпах роста национального продукта Советский Союз как бы бросал вызов западным странам. Он намеревался доказать на деле превосходство своего режима, превзойти капитализм непрерывным ростом национального продукта и производительности труда.

Теория роста, с которой я встретился во Франции в трудах Жана Фурастье, естественным образом подсказывала теорию — или, скромнее, концепт — индустриального общества. Промышленный рост и на востоке, и на западе Европы характеризовался перемещением рабочей силы из первичного сектора (сельское хозяйство) во вторичный (промышленность) и третичный (сфера услуг), накоплением капитала и повышением производительности труда. Поэтому представлялось закономерным и необходимым проанализировать общие черты современных экономик советского и западного типа, обладающих исторически новой чертой — расширением производства, основанным на росте производительности труда, тогда как прежде, на протяжении веков, правилом было скорее постоянное чередование подъема и спада (во всяком случае, рост происходил медленно).

Три курса лекций, составившие через семь лет книги «Восемнадцать лекций об индустриальном обществе», «Классовая борьба», «Демократия и тоталитаризм» («Dix-huit leçons sur la société industrielle», «La Lutte des classes», «Démocratie et totalitarisme»)[173], охватывали темы, которыми я напряженно интересовался в последнее десятилетие: сравнение экономик и обществ на западе и на востоке Европы; многообразие режимов и условий роста; различные периоды роста; социальная структура и ее зависимость от режимов и этапов роста; относительная автономия политического строя, его влияние на образ жизни и отношения классов и т. д.

Мне не хотелось утомлять читателя изложением содержания этих книг, которые в основном ценны не сами по себе, а благодаря конкретным исследованиям, на которые они опираются или которые вдохновили. Намечу лишь главные идеи этих моих курсов.

Начнем с самого понятия индустриального общества. Как известно, это выражение использовали Сен-Симон и Огюст Конт. В начале прошлого века люди, склонные к занятиям философией истории — а она была тогда в моде, задумывались о смысле и своеобразии общества, порожденного Французской революцией. Сен-Симон и его последователи дали интерпретацию Нового времени, которая обошла Европу и оказала на нее длительное влияние. Чертой, характеризующей современное общество, отныне признан индустриализм как система труда или производства. Управляющие индустриализма, банкиры, инженеры образуют правящий класс, тогда как юристы, государственные служащие, дипломаты, военные представляются если не паразитами, то, во всяком случае, людьми, не обладающими незаменимой компетентностью. Огюст Конт, вышедший из сенсимонизма, разработал универсальную систему. Индустриальный тип общества противопоставлен военному типу — обществу прошлого; на смену завоеваниям и захвату военной добычи приходит эксплуатация природных ресурсов. После того как будет пройдена переходная фаза, мирный труд положит конец вооруженным столкновениям — наследию эры религий и войн.

Не будет ошибкой рассматривать Маркса как последователя Сен-Симона, вопреки гегельянскому языку, который он употребляет. И для него также гражданское общество, эквивалент индустриальной системы, является субстанциальной действительностью, а государство — лишь ее выражением. Конфликты внутри гражданского общества, именуемые классовой борьбой, становятся движущей силой исторического процесса, но, так же как в сенсимонизме, именно индустриальная система составляет костяк, или структуру всего сообщества. Только коренное преобразование индустриальной системы станет подлинной революцией, в отличие от кризиса, в его насильственной или ненасильственной формах, который затрагивает исключительно отправление государственной власти или судьбу ее представителей.

Обстоятельства побудили меня вернуться к понятию индустриального общества. Разумеется, в Советском Союзе принято называть социалистической существующую там общественную формацию и капиталистической — западную. Но эта антитеза основывается на следующем постулате: общественно-экономический строй определяется или характеризуется типом собственности на средства производства и способом получения прибавочной стоимости, а также способом регулирования, каковым является планирование либо рынок.

Нисколько не ставя под сомнение правомерность антитезы «государственная собственность — частная собственность», я считал, что не менее законно сопоставлять индустриальные системы так называемых социалистических и капиталистических экономик. Понятие индустриального общества служило мне одновременно руководящей идеей и выводом из этого сравнительного исследования.

Хотя термин «индустриальное общество» стал общеупотребительным, о самом понятии — каким я пользовался в своих лекциях и каким оно вошло в повседневную речь — можно спорить. Выражение «индустриальное общество» обозначает абстракцию, концепт или идеальный тип. Необходимо выявить черты, которые определяют индустриальное общество и которые обнаруживаются равным образом в обществах, именуемых капиталистическими, и в так называемых социалистических. Именно определение индустриального общества как такового оправдывает — или не оправдывает — употребление понятия.

Я набросал определение, исходя из производственной единицы: индустриальным мы назовем общество, в котором типичную форму организации труда составляют крупные предприятия. Природа этих предприятий обусловливает отделение семьи от места (единицы) работы. Предприятие вводит не радикально новый, но более ярко выраженный тип разделения труда. К традиционному распределению людей между различными занятиями прибавляется техническое разделение труда. Предприятие предполагает некоторое накопление капитала, вытекающее из требований конкуренции. Организация и конкуренция делают необходимым экономический расчет. Наконец, расширение предприятий приводит к концентрации рабочих, что, в свою очередь, почти неизбежно влечет за собой трения между нанимателями и работниками и возникновение профсоюзов, способных, опираясь на многочисленность своих членов, вступать в дискуссии с руководством.

Во всех экономических системах должны выполняться некоторые функции: распределение коллективных ресурсов между разными профессиями, регулирование отношений между производителями. Пять характеристик, упомянутых мной для определения индустриального общества, оставляют в стороне две черты, отличающие социализм от капитализма, а именно собственность на орудия производства и плановое или рыночное регулирование отношений между предприятиями.

Историки описывают главные этапы процесса, который они называют промышленной революцией; что касается социологов начала XIX века, то они стояли над событиями. Я следовал линии

Огюста Конта и постоянно испытывал искушение счесть применение науки в производстве (и вытекающий из этого рост производства) отличительной чертой нашей эпохи. (Хотя в своей пятой лекции я не делал упора на связи между наукой и производством, она подразумевалась в условиях деятельности предприятий, концентрации и рационального расчета.) Я подчеркивал также, во многих местах, преобладание индустриального духа, который проявляется не только в области, называемой теперь вторичным сектором (металлургия, автомобилестроение, вообще производство промышленных товаров). Огюст Конт предвидел, что сельское хозяйство будет так же индустриализовано, как промышленность в узком смысле слова.

В Советском Союзе ополчились против самого понятия, которое показалось несовместимым с их марксизмом. Отверг бы Маркс принцип сравнительного анализа? Никто не может сказать с уверенностью. Сам он в одном знаменитом тексте[174] говорит об универсальной значимости английского примера, а в других работах, напротив, высказывает предположение, что капиталистическое развитие, само по себе неизбежное для всего человечества, примет, вероятно, различные формы в зависимости от прошлого разных докапиталистических обществ. Кроме того, поскольку так называемая социалистическая революция произошла в стране со слабым уровнем развития капитализма, мне не кажется противным духу марксизма сравнивать аналогичные фазы советского и американского развития, причем фазы определяются исходя из объема производства на душу населения или из распределения рабочей силы между разными секторами.

В Советском Союзе считают иначе. Объединить социализм и капитализм в одной и той же категории или привязать их к одному и тому же типу — значит совершить преступление против марксизма. Между капитализмом и социализмом непременно должна зиять пропасть. Два строя не могут рассматриваться в одном плане, когда каждый имеет свои достоинства и недостатки. Согласно марксизму-ленинизму, социализм преодолевает противоречия капитализма и знаменует конец предыстории человечества, хотя в действительности советский социализм сегодня стремится догнать Соединенные Штаты, возглавляющие группу индустриально развитых стран.

Прочитанные в течение 1955/56 года «Восемнадцать лекций об индустриальном обществе» вышли в свет в 1962 году в книжной серии «Идеи» («Idées»), которую вел Франсуа Эрваль. Стенографические их записи с минимальными поправками вошли

в серию «Сорбоннские лекции» и разошлись в нескольких тысячах экземпляров;[175] я не захотел выпустить книгой эти неотредактированные материалы. Я видел в них лишь набросок подлинной книги, которая трактовала бы одновременно в историческом и теоретическом плане темы «советизм — капитализм», «Маркс — Парето». Благодаря возникновению серии «Идеи» родилось временное, как мне тогда казалось, решение: выйдя в свет в дешевом издании, лекции могли быть затем переработаны в серьезный труд, о котором я продолжал мечтать.

Как всегда в подобных случаях, нежданный успех явился результатом стечения обстоятельств. Венгерская революция и речь Хрущева вызвали волну разочарований в коммунизме, выбросив на берег немало потерпевших крушение и ищущих новой идеологии. «Восемнадцать лекций» отчасти удовлетворили эту потребность. Нельзя сказать, чтобы они давали человеку предмет веры или глобальное в*и*дение; но они проливали свет на наш однородный и в то же время расколотый мир. К моему великому удивлению, мне еще и теперь случается встретить интеллектуалов, иногда даже ученых, уверяющих меня, что эта брошюра на грани популяризации оказалась им очень полезной и многому их научила.

Второй курс лекций, который я считаю с научной точки зрения лучшим из трех (в этом я согласен с большинством компетентных читателей), содержит анализ производственных отношений, если прибегнуть к марксистскому словарю, или социальных классов, говоря нейтральным языком. В нем также заключен ответ на кардинальный вопрос: в каком смысле существует борьба классов в индустриальных обществах западного типа и в обществах советского типа? Чтобы на него ответить, мне пришлось бегло обозреть этапы неисчерпаемой теории классов. Все современные индустриальные общества сложны, поэтому естественно, что миллионы работающих мужчин и женщин заняты в разных профессиях — кто на заводах, кто на земле, кто в магазине или в администрации. Большинство из них — и по мере роста национального продукта все более значительное — составляют наемные работники; иными словами, они интегрированы в предприятия, иерархически организованы. В нынешней Франции численность наемных работников немногим больше 83 % всей рабочей силы. Отсюда следует множественность критериев социальной дифференциации: работники физического труда и прочие; наемные и самостоятельные работники; руководители предприятий (или персонал управления) и наемные работники; работники сельского хозяйства и промышленные рабочие и т. д. Из всех возможных

дифференциаций одна властвует над умами преобладающего числа наблюдателей: это собственники или управляющие орудиями труда, с одной стороны, и пролетарии, то есть наемные работники, использующие в своем труде не принадлежащие им средства производства, — с другой[176].

Между нанимаемыми и нанимателями имеет место более или менее резкое противостояние, предметом которого фактически является распределение доходов (или прибавочной стоимости) предприятия. В более общем плане индустриальные общества западного типа будоражит открытая или скрытая борьба за распределение национального продукта. Борьба между наемными работниками и нанимателями (в числе последних может быть и государство) проявляется особенно ярко и напоминает на первый взгляд борьбу классов, как ее понимал Маркс. В действительности дело обстоит иначе.

Чтобы соперничество социальных групп за распределение национального дохода стало настоящей классовой борьбой, нужны два непременных условия. Прежде всего — классовое сознание наемных работников или пролетариев; затем — выход требований, выдвигаемых последними, за рамки материальных или моральных улучшений их положения. Эти два условия можно выразить проще и прямее в следующих вопросах: сознают ли рабочие, что образуют особую коллективность внутри данного общества? Сопровождается ли это сознание отдельности (или самоидентификация) враждебностью по отношению к другим группам или к обществу в целом? Верно ли, что у рабочих нет отечества? Наконец, преисполнен ли этот класс, который становится реальностью благодаря самосознанию входящих в него людей, решимости взбунтоваться? Восстает ли он против общественного строя как такового, а не против какой-либо особенности существующего порядка?

Борьба классов за распределение национального продукта — нормальная черта всех обществ западного типа. Всеобщая синдикализация влечет за собой хаос протестов и требований; к столкновению по вертикали между работниками и нанимателями добавляются столкновения по горизонтали между различными категориями производителей.

Эта разновидность классовой борьбы, существующая на поверхности современной демократии, отсутствует в обществах на востоке Европы. Дело не в том, что общество советского типа достигло такой однородности, что там исчезли конфликты интересов. Видимая однородность является следствием самого общественного политического строя. Там нет групп давления, во всяком случае легальных. Рабочие профсоюзы скорее руководят

массами, чем выражают их требования. Социализм под соусом тартар[177] устраняет этот вид классовой борьбы, не примиряя различные группы, а затыкая им рот. Вертикальная форма классовой борьбы — работники против нанимателей — также подавлена властью и идеологией. Забастовки, которые в Восточной Европе равносильны бунтам, ибо они там запрещены (Польша — особый случай), доказывают банальную истину: если государство стало собственником предприятий и взяло в свои руки управление ими, этого еще недостаточно, чтобы исчезла напряженность между рабочими и руководством. Вертикальная классовая борьба по видимости отсутствует в обществах советского типа не потому, что там восстановилась гармония или исчезли классы, а из-за всевластия государства и ликвидации свобод, в частности свободы объединений. Рождение польского профсоюза «Солидарность» сделало явной скрытую действительность так называемых бесклассовых обществ.

Доминирующей и, возможно, наименее банальной идеей второго курса лекций была констатация связи между социальной структурой и политическим строем, к которой я пришел в результате размышлений над Марксом и Парето. В той мере, в какой классовая борьба подразумевает классовое сознание и классовую организацию, от государства, от законодательства зависит, чтобы эта борьба проявилась или нет и даже, в известной степени, чтобы она существовала или нет. Надо полагать, что советские рабочие тоже делают различие между «мы» и «они» (то есть руководство, привилегированные слои, живущие не так, как рабочие, и контролирующие их труд), но, за неимением свободы прессы и организаций, не переходят от сознания своей особости к сознанию необходимости противостояния, выдвижения требований или открытого возмущения.

Разумеется, многое зависит от того, как эти «мы» представляют себе «их». В западных обществах «они» — это «хозяева», главы предприятий, которые считаются обладателями средств производства, даже если по закону они всего лишь работники, получающие жалованье. Если бы советский строй осуществил свой идеал, то «они» отличались бы по своей природе от западных глав предприятий, или патронов. Все указывает на то, что дело обстоит по-другому: руководство в глазах рабочих — это именно руководство, начальники и привилегированные. Но, в отличие от западных хозяев, советские руководители предприятий не отделены от власти в целом, от государства и партии. Будучи членами номенклатуры, они ничуть не менее далеки от рабочих, чем патроны «Рено» или «Эр Ликид».

Ничто не мешает рассматривать советский строй при помощи

марксистских концептов. Частные лица или юридические лица, хозяева во плоти или акционерные общества утратили там собственность на средства производства, однако рабочие ее не приобрели — разве что через символическое посредство партии, которая теоретически выражает их интересы. Само государство, присвоенное партией, становится почти исключительным собственником средств производства; партийная и государственная бюрократия «эксплуатирует» трудящихся, как раньше это делали частные собственники. Но из этой интерпретации следует, что государство не всегда является выразителем тех, кто владеет средствами производства; здесь, напротив, государство или, вернее, меньшинство, обладающее политической властью, является обладателем средств производства.

Марксистско-ленинские революции иллюстрируют концепцию правящего класса и революций, выдвинутую Парето. Меньшинство приходит к власти силой оружия или, реже, в результате формально законного процесса и преобразует общество согласно своей идеологии. Фашистские революции происходят в основном по тому же сценарию в фазе овладения властью. Как только новые элиты прочно займут свое место, они начинают осуществлять разные концепции. Само собой разумеется, что адепты марксизма-ленинизма относятся враждебно к теории правящих классов Моски — Парето, равно как отвергают само понятие индустриального общества. Марксистско-ленинский строй, по мнению его приверженцев, не может быть разновидностью чего-то, он представляет собой историческое завершение, уникальное творение человечества. Так оно и есть, но — в царстве тьмы.

Сравнивать режимы, исходя из критерия меньшинства, держащего в руках государство, — также значит совершать капитальное преступление против марксизма-ленинизма: ведь это значит ставить строй, основанный на всевластии партии, в один ряд с другими, отнять у него абсолютное своеобразие, сблизить с прочими, освещая в то же время его собственные черты. Синтез Маркса и Парето производится без особых затруднений. Во всяком современном индустриальном обществе существуют правящие категории, то есть меньшинства, занимающие стратегические позиции, оказывающие влияние на умы других людей и на управление обществом. В качестве правящих категорий я назвал собственников или управляющих средствами производства, политический класс в узком смысле слова, крупных чиновников, вожаков масс (лидеров профсоюзов и массовых партий), интеллектуалов и иерархов Церкви, военачальников.

При коммунистических режимах партийцы претендуют на то, чтобы быть одновременно политическим классом, руководителями национальной экономики и жрецами светской религии. Иными словами, они стремятся объединить в своих руках мирскую и духовную власть, власть собственно политическую и административную. В восточноевропейских странах, особенно Польше и Венгрии, постепенно укореняется нечто вроде плюрализма. Напротив, в Советском Союзе господство партии не претерпевает ощутимых изменений.

При режимах западного типа различные правящие категории не объединяются в партию; в разных странах отношения между управляющими средствами производства и вожаками масс бывают более или менее конфликтными, а отношения между этими управляющими и политическим классом — более или менее близкими. В радикально-республиканскую эпоху политики выходили из другой социальной среды, чем промышленники и банкиры. При Пятой республике, до 1981 года, политический класс мало отличается от высшей администрации, а последняя, в свою очередь, — от руководящих кругов экономики. В каком-то смысле эти правящие категории проявляют тенденцию к объединению в один правящий класс в расхожем значении этого слова. В силу своего общего происхождения, постоянного сотрудничества, различные правящие категории осознают в известной мере свою принадлежность к особой группе, свой общий интерес. Автономия вожаков масс и конституционные нормы защищают свободы личности.

Альтернатива «однопартийная или многопартийная система» в качестве критерия классификации дает повод к спорам, однако мне она по-прежнему представляется допустимой. В самом деле, законным образом организованное соревнование претендентов на властные полномочия составляет действительность современной демократии. Последняя требует не только существования многочисленных партий, но и того, чтобы победившая партия заранее принимала как должное свое возможное поражение при следующей консультации с народом. Необходимо также, чтобы партия, временно обладающая властью, осуществляла эту власть в согласии с Конституцией и текущим законодательством. Вот почему я воспользовался для режимов западного типа несколько варварским термином — «конституционно-плюралистические», в противоположность однопартийным, чьей идеальной формой является советский строй, где единственная партия объединяет в своих руках всю верховную власть, как секулярную, так и духовную, или идеологическую.

Есть немало режимов, не вписывающихся в понятия ни

конституционного плюрализма, ни тоталитарной однопартийности. Но это противопоставление, помещенное мной в центр теории политических режимов индустриальных обществ, не только отражает известный факт: гитлеровская и сталинская авантюры возникли на основе монополизации власти одной партией, объявившей себя единственным хозяином государства. Сверх того, партийный плюрализм символизирует одну из собственно демократических ценностей — диалог. Единственная партия марксистско-ленинского типа присваивает себе право на законное высказывание. Напротив, множественность легальных партий узаконивает разнообразие систем понятий и постоянный диалог граждан между собой и с властью.

Три маленькие книжки, скорее наговоренные, чем написанные, не заменили бы, даже если бы я опубликовал их в одном томе, книги, о которой я думал уже несколько лет. Принимая во внимание аудиторию, к которой я обращался, мне пришлось несколько пренебречь наиболее трудными в научном отношении проблемами — такими как анализ *единичных,* исторических режимов в их конкретных чертах и анализ *идеальных типов*; кроме того, я использовал понятие индустриального общества, не уточнив должным образом его статус и природу. Разбивка текста на главы вызвала трудности: отношения между элитами, партиями и правительствами кратко рассматриваются не в одной лекции, а в нескольких. В «Восемнадцати лекциях» экономический рост констатируется и описывается без выявления его механизма и факторов. В «Демократии и тоталитаризме» отсутствует анализ режимов, которые я рассматривал в четвертом (неопубликованном) курсе. Есть разнобой в системах концептов третьего курса (где, в частности, использованы два понятия Монтескьё — *природа* и *принцип* режимов) и двух первых томов.

Третий курс лекций я прочел в течение 1957/58 академического года. Я уступил искушению намекать порой на французские политические события, на кризис Четвертой республики. Принцип конституционно-плюралистического строя, говорил я, определяется двумя чувствами или правилами — в том смысле, который придавал этому слову Монтескьё, — уважением к закону и духом компромисса. Режимы, которые мы называем демократическими, склоняются к компромиссу, пусть даже ими движет необходимость иметь на своей стороне большинство. Компромиссы во внутренних делах приводят к отдельным потерям, но редко к краху сообщества; во внешней политике отказ от выбора чаще всего влечет за собой соединение

отрицательных сторон возможных решений. Третья республика перед лицом Гитлера, Четвертая республика в условиях алжирского кризиса скатывались от полумер к полумерам. В начале 1958 года я посвятил лекцию разложению Четвертой республики, закончив следующими словами: «В каком смысле конституционная реформа действительно является главным из жизненно важных вопросов для Франции, как об этом ежедневно твердят? Франция переживает политический кризис, специфическая причина которого известна — это алжирская война. Навязчивая идея конституционной реформы — это либо попытка забыть о проблеме, требующей решения, либо поиск принципиально иного правительства, способного ее решить».

В следующей лекции, озаглавленной «Шелковая нить и лезвие меча», я задумывался о возможных решениях. Я взял за исходную точку политику Четвертой республики: «Сомневаюсь, что в ближайшем будущем возможна другая политика, а не та, которая ведется сейчас, отражая страну, парламент и режим». Политика, отражающая раскол страны, но обреченная на поражение. Какие могут быть решения? Я назвал три: тирания; диктатура в римском смысле слова; ожидание, что события так или иначе разрешат спор.

«О тираническом решении, — говорил я, — каждый из нас грезит бессонными ночами; мы желали бы его, при условии, что оно даст власть тем, кто думает так же, как мы…» Затем я упомянул решение, состоящее в диктатуре, собственно говоря — в призыве во власть генерала де Голля: «Второе решение, о котором часто говорят, — это призыв к *легитимному спасителю* или, если угодно, римскому диктатору. Всем известно, как его зовут сегодня. Органы печати всех направлений проповедуют это крайнее средство, однако о нем помышляет такое количество людей самых разных убеждений, что необходимо предвидеть две возможности. Поскольку к этому легитимному спасителю взывают представители всех лагерей, то третейский суд, который он стал бы вершить, неизбежно разочаровал бы либо тех, либо других». Я упомянул чудесное, невероятное решение, примирившее бы противостоящие друг другу группы, каждая из которых упорствует в своей правоте. Я закончил замечанием, которое подтвердили события: «Пусть даже различные партии согласятся между собой относительно имени спасителя, все равно наши противники не пойдут за ним». В этой лекции, переданной по радио, я запретил себе излагать собственные мнения, я защищал *шелковую нить* — выражение, употребленное Г. Ферреро для обозначения законности, хрупкого барьера, защищающего государство от гражданской войны.

Последняя лекция в том — 1958-м — году была прочитана 19 мая, за несколько дней до официального прихода к власти генерала де Голля, чье имя я не произнес, но о котором ясно сказал в конце своего курса: «Сохранится ли конституционная законность? Совершится ли законным путем переход от этого режима к другому? Франция в XX веке продемонстрировала искусство законных государственных переворотов. Или, скажем, искусство придавать законную видимость государственным переворотам. Современную ситуацию характеризует тесное переплетение законности и беззакония. Ее усложняет существование уникальной личности, которой разные люди приписывают, в зависимости от времени и от своих предпочтений, противоположные значения. Римская республика имела институт, соответствующий нынешним потребностям Франции, — *диктатуру*… Этот кандидат на пост диктатора, то есть на обладание законной неограниченной властью, захотел бы не длить, а преобразовать существующий режим; следовательно, он должен быть не только диктатором, но, употребляя снова античное понятие, законодателем».

Я напомнил еще раз, что «*диктатор*, которого желает народ, не сохранит поддержку всех тех, кто сегодня, 19 мая 1958 года, приветствует его. Но рискованное приключение, открываемое правлением диктатора-законодателя, отвечает необходимости. Каким образом люди теперешнего режима могли бы и дальше проводить в Алжире политику, в которую не верят? И в заключение одно пожелание. Есть только одна защита против гражданского насилия: эту единственную защиту я назвал несколько месяцев тому назад шелковой нитью, или законностью. Эта шелковая нить не была оборвана; дай Бог, чтобы этого не случилось никогда».

Теперь я уже не напишу книгу, которую, вероятно, мог бы в свое время написать вместо этих лекций. К чему упоминать об ошибках или заполнять пустоты? Лучше взять те идеи, которые относятся к интерпретации французской, советской и мировой обстановки, и подвергнуть их критике времени, обычно самой суровой из всех. В чем меня опровергли и в чем подтвердили мою правоту события последних двадцати пяти лет?

Сравнение советского строя с режимами западного типа ни в коей мере не подразумевало их *конвергенции,* употребляя слово, резюмирующее теорию, которая была одно время популярной. Вопреки легендам, я никогда не разделял этого тезиса. Несколько отрывков из «Восемнадцати лекций» могли ввести в заблуждение: я писал, что со временем советские планификаторы будут, возможно, больше использовать механизмы рынка; что доходы,

проходящие через каналы государства, уже составляют в западных экономиках значительную часть общей суммы доходов; что огосударствленный сектор производства в западных странах может расшириться. В этом смысле некоторые экономические контрасты могли бы сгладиться. Однако я не выводил из этих структурных эволюций вероятность или необходимость конвергенции; и в «Восемнадцати лекциях», и, особенно, в двух следующих томах я утверждал, что это возможное экономическое сближение (которое, впрочем, доныне не произошло) лишь немного уменьшит расстояние, разделяющее два принципиально различных типа общества.

Через двадцать пять лет после своих курсов лекций я могу перечитать эти три тома без краски стыда: я не угодил ни в одну из ловушек, которые расставила нам История. После смерти Сталина и при первых признаках «оттепели» кое-кто из самых видных комментаторов — Исаак Дойчер, Морис Дюверже, — вооруженные вульгарным марксизмом, с воодушевлением устремились в капкан. «Оттепель» вызвала к жизни «розовую серию» футурологии: мы читали, что социализм, сбившийся со своего естественного пути из-за требований первоначального накопления или по вине исторической среды еще варварской России, вернется на правильную дорогу и постепенно осуществит свои глубинные устремления. Исаак Дойчер, биограф Сталина и Троцкого, явился одним из первых советологов, предсказавших «демократическое возрождение» партии и режима[178]. Он рассматривал три варианта развития после ухода обожествленного вождя: рецидив сталинизма, военную диктатуру и демократическое возрождение; последний вариант казался ему наиболее правдоподобным. Самая же вероятная перспектива — однопартийный режим, устранив сталинские эксцессы, понемногу стабилизируется, не прогрессируя заметно к демократии, — ускользала от И. Дойчера, проникнутого социалистической утопией. Он был до конца убежден, что плановая экономика и коллективная собственность при нормальных условиях сопровождаются свободами, которые марксисты именуют буржуазными.

Через десяток лет, в 1964 году, М. Дюверже в своем «Введении в политику» («Introduction a la Politique») присоединился к тезису конвергенции в его самой упрощенной форме. «СССР и народные демократии никогда не станут капиталистическими; США и Западная Европа никогда не станут коммунистическими. Но очевидно, что те и другие идут к социализму двумя путями: либерализации — на Востоке, социализации — на Западе. По всей вероятности, это двойное

движение натолкнется на огромные препятствия, затянется надолго и не обойдется без временных отступлений. Но, судя по всему, оно неодолимо».

На чем основано это предвидение или, вернее, пророчество? На том, что благосостояние влечет за собой свободу.

В 1972 году в книге «Янус. Два лица Запада» («Janus, les deux faces de l'Occident») М. Дюверже вернулся к теории конвергенции: «Идея конвергенции систем сегодня вышла из моды. Тем не менее она сохраняет свое значение в глобальной перспективе, хотя ни темпов, ни срока конвергенции уточнить невозможно. Взаимопроникновение частных и общественных техноструктур ускоряет развитие в этом направлении… В более принципиальном плане Запад нуждается в социализации, а промышленно развитые социалистические страны — в либерализации, причем слово „нуждаются" выражает здесь не субъективную нравственную потребность, а объективную материальную необходимость». Итак, теория конвергенции «сохранит свое значение в глобальной перспективе», при том что «ни темпов, ни срока конвергенции уточнить невозможно». Речь идет уже не о научном предвидении, ибо неизвестно, произойдет ли конвергенция через годы, десятилетия или столетия; перед нами не что иное, как пророчество. И основано оно на ложных предпосылках, на околомарксистских идеях: поскольку частные и общественные техноструктуры предположительно находятся в состоянии взаимопроникновения и между ними — идет ли речь о техноструктурах советских или западных — есть сходство, то они якобы усиливают тенденцию к конвергенции. Определение общества через техноструктуры постулируется, а не доказывается. Симметрия — советское общество нуждается в свободе, а Запад — в социализации — удовлетворяет поверхностного читателя. Нет сомнения, что научный прогресс на Востоке тормозится иерархической и деспотической организацией лабораторий и общества в целом. Однако свобода не может на этом основании рассматриваться как «рациональная потребность» советского строя. Чтобы режим продолжал существовать, чтобы в нем правила Номенклатура, необходимо, напротив, урезывать свободы, пусть даже ценой торможения научного прогресса. Что касается социализации Запада, то она означает все, что угодно понимать под этим.

Я не считал невероятным смягчение сталинизма: если говорить лишь о самых впечатляющих его аспектах, преемники не повторили большой чистки, шарлатаны вроде Лысенко уже не обладали такой идеологической властью, чтобы ставить генетику вне закона, а генетиков бросать в концлагеря. То, что я писал в то

время — а в разные моменты область официальной идеологии то расширяется, то сужается, — мне кажется верным и четверть века спустя. Особенно твердо я придерживаюсь тезиса о границах, которые либерализация в Советском Союзе не могла бы перейти, не поставив под вопрос само существование режима. Партия господствует во имя своих идей: равнозначность пролетариата и партии, доминирующая роль партии, историческая миссия социализма. Верят ли еще в эту идеологию простые советские люди и сами руководители? Диссиденты спорят об этом, так и не приходя к соглашению. Но, в конце концов, не важно, есть ли еще вера или ее сменил скептицизм, — олигархи должны спасти от обсуждения принципы ортодоксии, на которых покоится строй, отличающийся от других по своей сути и видящий свое предназначение во всемирном распространении.

Сегодня возможна критика с другой стороны: если мы отвергаем тезис конвергенции, то закономерно ли вообще сопоставление двух типов общества? Выдерживает ли советское общество, каким его описывают ныне А. Зиновьев или А. Безансон, сравнение с западными обществами, даже если мы сравниваем с целью противопоставления? Не утрачивает ли смысл само понятие индустриального общества? Разве не ставят его под сомнение, с одной стороны, понятие постиндустриального общества, а с другой — подчеркивание абсолютного своеобразия общества советского?

Я не отрицаю, что второе рождение этого Сен-Симонова концепта совпало с соревнованием между Востоком и Западом в темпах роста, с послевоенным экономическим подъемом, с успехом теории этапов экономического роста, разработанной Колином Кларком в англосаксонском мире и Жаном Фурастье во Франции. Но я не ограничивался экономическим анализом, статистикой роста на Востоке и на Западе; я пытался выявить отношения классов и политического строя с экономическим развитием. Подобно Токвилю, который, считая демократию неизбежной, оставил людям ответственность за выбор между свободой и рабством, я утверждал, что индустриальное общество не делает обязательным ни однопартийный режим, образцом которого является Советский Союз, ни партийный и идеологический плюрализм, которым гордится Запад. А потому здесь правомерен лишь один вопрос: сохраняется ли между обществами советского типа и западными достаточно сходных черт, чтобы оправдать сравнение и, следовательно, сам концепт? Думаю, что на этот вопрос можно по-прежнему дать утвердительный ответ.

Распределение рабочей силы между профессиями

существенно не различается на Востоке и на Западе, хотя Соединенные Штаты и Советский Союз на аналогичной стадии своего развития нуждаются в разном количестве торговцев, банковских служащих или юристов. СССР покупает западные заводы, оборудованные «под ключ», он издавна поставил себе целью догнать и перегнать Соединенные Штаты (Л. Брежнев в этом пункте не стал подлинным преемником Н. С. Хрущева: амбиции переместились отныне в сферу соотношения военных сил, где СССР достиг немалого успеха). Две части Европы принадлежат к одному типу, но представляют собой два его варианта, очень различные между собой.

Сенсимонисты были правы, предвидя распространение индустриализма на сельское хозяйство и сферу услуг. В этом смысле их в*и*дение современного общества шире и глубже, чем у Маркса, который, всецело поглощенный идеей английских экономистов о конфликте между нанимателями и наемными работниками, приходит в конце концов к убогой утопии: социализм, якобы заменяя управление людьми управлением вещами, на деле управляет людьми, включая их умы. Величайший из сенсимонистов, Огюст Конт, утверждал, что индустриализм (в широком смысле слова) будет неудержимо развиваться, однако не обманывал себя надеждой, что тот может сам по себе сделать гармоничной жизнь людей в обществе.

Но вернемся на более прозаическую почву: разве не бросается в глаза, что все правительства Востока и Запада берут на себя ответственность за руководство экономикой? На Западе накануне выборов кандидаты швыряют друг другу в лицо данные производственной и налоговой статистики; в Москве первый секретарь партии не устает приводить цифры в своем докладе, обвиняя того-то и того-то в отставании или упущениях. В политических речах с обеих сторон экономика занимает главное место, хотя московские олигархи доказывают своими действиями, что предпочитают пушки маслу и военную мощь — благосостоянию своих народов.

По отношению к прошлому, ко всем сложным обществам, которые нам известны, я по-прежнему думаю, что видение сенсимонистов было верным, что Маркс исказил их философию, поставив капитал (или капитализм) на место индустриализма, и что общество, именуемое ныне постиндустриальным, должно быть истолковано как своеобразная фаза применения науки в производстве и — шире — в самой жизни людей.

Впрочем, эта концептуальная дискуссия не имеет особого значения; важно в*и*дение истории, теория, подсказанная понятиями. Четверть века тому назад я думал, что развитие

Советского Союза — часть мощной волны мирового индустриализма и является примером другой его модальности; что эта другая модальность сохранится в своих отличительных чертах даже тогда, когда уровень жизни на Востоке приблизится к западному. Иными словами, я допускал — и это само собой разумелось, — что большевики осуществили на свой лад первоначальное накопление капитала, но что они не сочтут свою задачу выполненной, когда годовой доход на душу населения достигнет нескольких тысяч долларов. Я не ошибался, но, возможно, не достиг истины в одном существенном пункте: безусловно, теория обнищания, абсолютного или относительного, неприменима и к советскому строю (худо-бедно, уровень жизни в Советском Союзе повысился за минувшие двадцать пять лет), однако я недооценил последствия сверхвооружения и неэффективность советской экономики.

Последние главы «Демократии и тоталитаризма», написанные под впечатлением «оттепели» (курс был прочитан в 1957/58 году), свидетельствуют об оптимизме, который четверть века спустя выглядит, к несчастью, чрезмерным. Я перечислил изменения, происшедшие после смерти Сталина: крайняя форма террора типа большой чистки ушла в прошлое; «оттепель» благотворно сказалась на умственной жизни; полицейские преследования членов партии прекратились. Но я указал и на черты, оставшиеся неизменными. Стиль десталинизации — чисто сталинский: Сталин не был похож на гротескного дурачка, неспособного следить по карте за военными операциями. «Сводить того, кого несколько лет тому назад обожествляли, к недочеловеческому уровню — значит создавать новую мифологию». Большой чистки нет, но есть постоянное вычищение. Режим идеологической ортодоксии и политической монополии партии никуда не исчез. Ликвидировали лишь извращения и крайности, вменяемые в вину вчерашнему генеральному секретарю. Я резюмировал свою мысль следующим образом: «До сих пор имели место отдельные перемены в этом строе, однако глубокого изменения самого строя не произошло».

Чтобы дать вкратце понятие о моих тогдашних мыслях или, точнее, об их смягченном выражении, предназначенном для студентов, я процитирую несколько строк из главы XVII «Демократии и тоталитаризма»: «Предвидимые перемены, связанные с ростом промышленности, с подъемом жизненного и культурного уровня, не подразумевают ни ликвидации однопартийности и идеологической ортодоксии, ни исчезновения бюрократической иерархии в обществе и государстве. Перспективы буржуазной стабилизации? Почему бы и нет.

Экономическая рационализация? Отчего же нет. Смягчение террора? Вероятно. Отказ от патологических форм насилия? Правдоподобно. Введение многопартийности и либеральных институтов по образцу Запада? Возможно, но нет ни доказанной необходимости, ни даже большой вероятности, что эволюция индустриального общества вызовет эти последствия, которых мы желаем».

В этих строках я изменил бы сегодня прежде всего ответ «возможно» на предположение относительно либерализации западного толка в Советском Союзе. Не то чтобы я испытывал искушение заменить «возможно» на «невозможно» (под небом больше неожиданностей, чем в нашей философии…), но я ответил бы теперь, что такая либерализация повлекла бы за собой падение — мирное или нет — самого режима. Стабилизировавшись, этот режим не может допустить, чтобы был поставлен под вопрос его идеологический фундамент, марксизм-ленинизм, даже если большинство советских людей отныне не верят в него. Режим не может допустить того, что я назвал экономической рационализацией: отдельные попытки, как, например, профессора Либермана 233, были пресечены. Зато народные демократии, особенно Венгрия, охотно вдохновляются западными экономическими концепциями.

Когда, весной 1958 года, я размышлял над будущим Советского Союза, хрущевский период только начинался. Московские олигархи еще выступали соперниками Соединенных Штатов, хвастались темпами роста и указывали дату неизбежной победы советского валового внутреннего продукта над американским. Я никогда не попадался на удочку этой похвальбы и никогда не опасался экономического превосходства Советского Союза. Таков контекст, в котором возникли мои аналитические заметки 1958 года, откуда я привел фрагменты.

Если мой анализ советского общества грешил оптимизмом, то нельзя ли адресовать тот же упрек анализу обществ западного типа? Не спутал ли я «тридцать славных лет» с нормальным развитием так называемой капиталистической экономики? Не лежат ли в основе вызвавшей столько споров формулы «конец идеологии» преувеличенная оценка экономического роста, взгляд через розовые очки на будущее промышленно развитых стран, оптимизм, опровергнутый кризисом, охватившим весь мир с 1974 года? В этом упреке есть доля истины, но всего лишь доля.

В 50-е и 60-е годы меня, как многих, поразили темпы роста европейских стран (5–6 % ВНП), примерно вдвое превышавшие те, которые в свое время вывели на первое место Соединенные

Штаты. Конечно, я считал, что эти необычные темпы не удержатся до бесконечности.

Комиссия «1985» предполагала, что вплоть до этой даты послевоенные темпы роста не снизятся. Крупнейший из французских экономистов, Э. Маленво, склонялся к мысли, что послевоенную эпоху характеризует, по сравнению с довоенной, качественный сдвиг, вызванный многими факторами (в частности, повышение уровня кадров, управляющих экономикой), и потому современные темпы (5–6 %) могут оказаться новой нормой. Когда меня пригласили высказать свое мнение перед комиссией, я, не колеблясь, выразил сомнение, что эти гипотетические годовые темпы роста удержатся до 1985 года. В то время я не располагал никаким весомым аргументом, чтобы обосновать мой скептицизм, к которому отнеслись вежливо и безразлично.

Если я не убедил комиссию, вина за это лежит на мне. Ни комиссия, ни я не упомянули о низкой цене за энергию как об одном из обстоятельств, способствовавших быстрому развитию промышленно развитых стран. Я сделал упор на другие факторы, объяснявшие «чудо», как то: внедрение новых производственных технологий и методов организации в Соединенных Штатах и преимущество, заключавшееся в следовании за страной-пионером, образование большого рынка в Западной Европе, полученный шанс преодолеть отставание, причиненное войнами и потрясениями в период между двумя войнами. Тем не менее мне казалось вероятным, что европейский рост замедлится, как только производительность на Старом Континенте приблизится к уровню Нового Света.

Почему ни комиссия, ни я (насколько мне помнится) не упомянули о нефти и ее цене? Мы все знали, что потребление нефтепродуктов увеличивалось примерно на 12 % ежегодно. Легко было предвидеть, что годовое мировое потребление превысит три миллиарда тонн много раньше 1985 года. Продолжение этой кривой наталкивалось на непреодолимые препятствия до наступления названной даты; во всяком случае, неизбежный рост цен на нефтепродукты должен был, задолго до 1985 года, так или иначе изменить условия осуществления европейского чуда. В 1956 году, когда разразился суэцкий кризис, я констатировал во введении к работе «Надежда и страх века», что впервые Европа не контролирует пути снабжения своей промышленности: «В сравнении с Советским Союзом и Соединенными Штатами, Западная Европа, третья зона промышленной концентрации планеты, обладает величайшим изъяном: она ввозит извне значительную часть потребляемых

продуктов питания (Великобритания покупает половину), сырья (цветные металлы, хлопок, шерсть); наконец, со времени последней войны она зависит от внешнего мира в том, что касается ее снабжения энергией… Учитывая эту необходимость импорта энергии и сырья, не знаменует ли суэцкий кризис новый этап превращения Европы в вассала и сателлита?» Я предсказывал, — конечно, это само собой разумелось, — что в течение ближайших десятилетий энергетическая и сырьевая зависимость Европы возрастет. Соединенные Штаты будут покупать все больше сырья, либо потому, что их собственные рудники истощатся (железо и медь), либо желая сохранить свои резервы (нефть). Не предвидя абсолютного дефицита, я усматривал впереди «ожесточенное соперничество за политический контроль над источниками энергии и сырья». Несмотря на драматические перипетии 1956 года, я твердо держался центрального тезиса: «Утратившие свое могущество метрополии — Франция, Великобритания, Германия — могут, подобно Голландии, обратить в процветание свой имперский закат».

Впрочем, предыдущее утверждение было подправлено другим: «Потеряв свои империи, свою способность действовать вовне, европейцы сдались на милость и того могучего государства, чьи граждане богаты, и того могучего государства, чьи подданные бедны, и тех слабых государств, чьи народы влачат жалкое существование».

Мой оптимизм в отношении экономического роста никогда не заходил так далеко, чтобы предполагать исчезновение классовой борьбы в немарксистском смысле, то есть конфликтов между классами или социальными категориями за распределение национального продукта или за улучшение условий труда; я отрицал только тезис о рабочем классе, осознавшем себя и свою революционную волю, стремящемся к другому общественному устройству, в котором господство пролетариата придет на смену господству буржуазии. В известном смысле, думается, я не ошибся в главном: прогрессирующая экономика, даже без радикального изменения способа распределения доходов, имеет тенденцию скорее к сварливой удовлетворенности, чем к возмущению и насилию[179]. Моя книга называлась «Разочарования в прогрессе», я написал ее в 1964–1965 годах, до студенческого взрыва, задолго до нефтяного кризиса 1974 года. Эта книга, также написанная к случаю, явилась откликом на просьбу издательства «Британская Энциклопедия», ставшего американским. По случаю двухсотлетия знаменитой энциклопедии ее редакция, в частности профессор Р. М. Хатчинс,

экс-президент Чикагского университета, решила, что обычным ее томам со статьями в алфавитном порядке должны предшествовать обширные обзоры. Их окрестили *roof articles;*[180] это, в сущности, целые книги по нескольку сотен страниц.

Я воспользовался случаем, чтобы осветить темную сторону так называемого развитого общества, мимо которой прошел в трех курсах лекций. Прибегнув к трем концептам — равенство, социализация, универсализация, — я представил три *проекта* современной цивилизации, каждый из которых содержит в себе диалектику или, говоря проще, противоречия. Стремление к равенству наталкивается на неуничтожимые реальности, на социальную стратификацию, не важно, отождествляем ли мы ее или нет с классовым обществом; стремление каждого быть уникальной, незаменимой личностью плохо согласуется с социализацией индивидов общественными инстанциями — семьей, школой, коллективами; ничуть не лучше согласуется оно с неизбежной иерархией индустриального или вообще производственного порядка. Мечта о едином человечестве, идеология примирения народов и государств еще не преобразовали традиционную анархическую систему государств, основанную на силе, а не на праве.

Короче говоря, книга «Разочарования в прогрессе» не противоречит видимому оптимизму теории роста, но ставит ему пределы. «Тридцать славных лет» научили нас тому, что экономический прогресс, увеличение производительности труда могут улучшить положение всех; что ежегодно приумножаемые общественные ресурсы позволяют дать больше Петру, не отбирая у Павла. Но это отнюдь не означает, что экономический рост устраняет или хотя бы уменьшает неравенство, примиряет между собой людей или, еще менее, народы и идеологии. И десталинизованный Советский Союз оставался врагом Запада. Рабочий, состоящий в профсоюзе, защищенный системой социального обеспечения, по-прежнему подвержен превратностям конъюнктуры, зачастую вынужден заниматься монотонным трудом.

Техника позволяет людям управлять силами природы, но не общественными силами. История продолжается; она усиливает контраст между частичным господством над природой, достигнутым благодаря науке, и бессилием планификаторов — и на Востоке, и на Западе.

В каком смысле анализы индустриального общества подсказали формулу «конец идеологий» или, точнее, «конец идеологической эры» (со знаком вопроса)? Так я назвал

заключение «Опиума интеллектуалов». Мой друг Э. Шилз дал заголовок «Конец идеологий» своему отчету, опубликованному в газете «Интернэшнл геральд трибюн», о большой конференции, организованной в 1955 году в Милане Конгрессом за свободу культуры. Даниель Белл взял то же выражение для названия сборника своих статей. Дебаты на эту тему продолжались несколько лет в Соединенных Штатах. Один автор посвятил им сборник текстов[181]. Студенческие волнения 60-х годов и всплеск их идеологий сделали на первый взгляд смешной миротворческую интерпретацию политико-интеллектуальной жизни.

Прежде чем спорить, надо бы условиться относительно смысла термина «идеология». Когда под ним понимается то, что Парето называет остатками, а именно различные способы оправдания, которыми пользуются ораторы, военные, правители, то само собой разумеется, что идеологии меняют стиль или содержание, но не исчезают. Одна идеология изгоняет другую, идеологии не умирают. Я взял это в точном и ограниченном значении, а именно: глобальное представление об обществе и его прошлом, обещающее спасение и предписывающее освободительное действие. Закат марксизма-ленинизма, который я предчувствовал в сере дине 50-х годов, сделался явным в течение 60-х и 70-х, по крайней мере во Франции, несмотря на видимый всплеск около 1968 года. Я не видел другой такой же всеохватывающей идеологии, которая могла бы заменить марксизм-ленинизм. Критика индустриального общества, раздававшаяся все громче в 60-е годы, доказывала, что человеческие страсти легко обходятся без приведения обвинений в систематическую форму. В Соединенных Штатах, в Японии, в Германии, во Франции студенты взбунтовались не столько во имя марксизма-ленинизма, сколько во имя исконных человеческих требований; или, может быть, лучше сказать, что это была эмоциональная реакция против отчуждения трудящихся, аномия личности, бунт, порожденный отвращением к обществу потребления. Взгляды студентов 60-х, иногда близкие к околомарксистским (Маркс — Мао — Маркузе), воплощали тот романтический бунт против индустриальной рациональности, который, согласно Марксу, будет и впредь сопровождать развитие современного, или индустриального, общества.

Если исходить из смысла, который я придавал термину «идеология», мой анализ еще и теперь мне кажется скорее верным, чем ложным. Но вот ограничительное определение идеологии как раз напрашивается на критику. Национализм или даже либерализм не организуются в систему, охватывающую весь

мир, пусть даже только мир исторический, но при этом они не отличаются радикально от социализма или марксизма-ленинизма, хотя те претендуют на научность и всеохватность. Если нужно бояться ярости истинно верующих, готовых на все, чтобы спасти человечество, то обвинять в этом следует скорее их веру, чем их идеи. Коммунистическая партия перековывает юных бунтовщиков в своих активистов или в партийных бюрократов; среди тех, кто избежал партийной дисциплины, некоторые увлекаются терроризмом.

Почему уже в 1955 году я говорил о конце идеологической эры? Мое мнение определили две причины. Марксизм-ленинизм, слившийся воедино с советским режимом, должен прийти в упадок вместе с ним. Люди на Западе в конце концов утратят свои иллюзии в отношении как доктрины, так и партии, исповедующей ее. Другой столь же тотальной идеологии возникнуть не может. Верно писал Макс Шелер: в интеллектуальном эмпирее существует лишь малое число идеологий. Марксизм завладел большей частью мобилизующих тем нашей эпохи, каковыми являются сотериологическая роль пролетариата, изобилие благодаря технике, неразрешимые противоречия, ведущие капитализм к распаду и гибели. За неимением подобной систематизации, другие варианты социализма утрачивают свою ауру и деградируют, превращаясь в совокупность реформ. Откуда взяться энтузиазму по поводу коллективной собственности и планирования, если эти прозаические мероприятия, сведенные к себе самим, не создают больше единого целого, преображенного историческим смыслом? Конечно, и после того как марксизм-ленинизм оказался скомпрометированным крахом советизма, критика индустриализованного Запада продолжается, и серьезных поводов для нее достаточно: загрязнение водоемов и засорение умов, стремление к обладанию в ущерб бытию, распространение торгашеского духа, сохранение или возрождение неравенства и т. д.; все эти темы питают возмущение молодежи, но не объединяются, чтобы породить идеологию, способную соперничать с марксизмом-ленинизмом.

На протяжении десяти лет, последовавших за появлением «Опиума», я защищался от своих критиков в трех статьях, собранных в одной книжке под заголовком «Три очерка об индустриальной эре» («Trois essais sur l'âge industriel»)[182]. Все три текста увязывали интерпретацию общественно-экономического становления нашей эпохи с темой эрозии идеологий, короче, курсы лекций в Сорбонне (напечатанные лишь в 1962, 1963 и 1964 годах) — с «Опиумом». Я напомнил ту

банальную истину, что проблемы, возникшие перед обществом, меняются вместе с фазами роста и что одни и те же методы необязательно отвечают потребностям всех фаз. Диалог между Востоком и Западом, писал я в 1964 году, разворачивается в четырех планах. Прежде всего, не затихают традиционные споры о достоинствах и недостатках рыночных экономик и экономик с централизованным планированием. Советская пропаганда продолжает свое ритуальное обличение монополистического капитализма; но если речь идет только о производстве и потреблении, то возникает вопрос: зачем людям Запада жертвовать своими свободами с единственной целью возможного ускорения экономического роста? (Я был весьма далек от того, чтобы очернить противника, напротив, проявил к нему чрезмерную снисходительность.)

В более возвышенном плане Запад и Советский Союз дискутируют о политико-социальных или гуманитарных последствиях каждого строя. Я взял для примера социальную мобильность. Больше ли, чем западная демократия, способствует советский режим повышению социального статуса молодежи из низших классов? Если предположить, что это так, то какое значение следует придать этой мобильности? Надо ли отнести преемственность поколений в семье к плюсам или минусам того или иного социального строя?

Следующий план — противопоставление двух схем (обе можно назвать околомарксистскими) исторического становления: более или менее подправленной марксистской схемы перехода от капитализма к социализму и схемы Колина Кларка — У. У. Ростоу этапов экономического роста или даже более упрощенного тезиса Мориса Дюверже о конвергенции к «демократическому социализму».

Советским авторам легко опровергнуть ту версию западного эволюционизма, согласно которой развитие производительных сил (измеренное количеством национального продукта на душу населения) определяет экономико-общественный строй. Тезис конвергенции основывается на детерминизме техники или производства. Но западный теоретик может и должен придерживаться *вероятностного эволюционизма.* Каждый этап экономического роста *благоприятствует* тому или иному режиму; режим советского типа имеет больше шансов установиться во время фазы начального подъема, чем в уже индустриализованном обществе, повышение технологического уровня и уровня жизни населения уменьшает риск крайних форм сталинизма. Но эти проблематичные соотношения представляют лишь ограниченный интерес; они не позволяют охватить

взглядом совокупность обществ. Сравнение между индустриализацией Великобритании в конце XVIII — начале XIX века, с одной стороны, и индустриализацией Японии в последней трети XIX и начале XX века — с другой, выявляет меньше сходства, чем различий, да и имеющиеся сходные черты не слишком показательны.

Советскую теорию исторического развития труднее примирить с действительностью. Советский Союз должен «догонять» Соединенные Штаты, хотя его социализм «пришел на смену» капитализму; следовательно, не существует параллелизма между фазами экономического роста и последовательностью режимов. Почему слаборазвитые страны должны идти по советскому пути? Поскольку поворот к марксизму-ленинизму не отвечает исторической необходимости, Советский Союз должен отныне доказывать, что социалистический строй, сведенный к своей сущности, очищенный от всяких следов культа личности, одерживает верх над западными режимами как в плане экономической эффективности, так и в отношении гуманитарных ценностей.

И тут мы приходим к четвертому плану: стремятся ли общества индустриального типа к одной и той же цели? В своей «Auguste Conte lecture. War and industrial society»[183] я писал о наивном оптимизме основателя позитивистской школы. Он полагал, что научная эксплуатация природы сделает ненужной, анахроничной эксплуатацию человека человеком; что войны исчезнут вместе с религиозно-военизированным строем. Сегодня мы спрашиваем себя: во имя какой цели производить? И таким образом, идеологический догматизм уступает место идеям.

Ссылка на диалоги между советскими и западными авторами казалась мне необходимой для того, чтобы обозначить различие американских и европейских споров о конце идеологий: «Антиидеология американских авторов с самого начала отличалась от антиидеологии, допустим, Камю, бывшего в молодости коммунистом, или моей собственной — я никогда не прекращал диалога с гегельяно-марксистской мыслью. В Соединенных Штатах „либерализм“ (то есть левая мысль) не испытал никакого влияния марксизма и редко принимал систематическую форму, редко претворялся в философию Истории. После 1945 года „либералы“, за немногими исключениями, занимали твердые антикоммунистические позиции. У американцев не было ничего равнозначного ни консерватизму в духе Бёрка, ни марксизму в духе Каутского или Ленина, ни даже *прогрессизму* сартровского толка. Их доктрина свободного предпринимательства редко находила выражение в

теории, стиль которой напоминал бы теории Мизеса или Хайека. Чтобы освободиться от идеологии, американским антиидеологам не пришлось проделать длинного пути; некоторым достаточно было вернуться из Европы…»[184]

Большинство моих оппонентов не отрицало факта относительного умиротворения идеологических или политических страстей в развитых странах; но, возражал мне Жорж Лихтгейм, сомнительно, чтобы слаборазвитые страны смогли прогрессировать, позаимствовав наши реформистские методы. Методы социальной инженерии никоим образом не отвечают задачам этих стран. «Глобальная интерпретация мировой истории» является для них острой практической необходимостью, если они хотят порвать с прошлым и преобразовать свою культуру; такова цена, которую им нужно заплатить за материальный прогресс. Я действительно в той же статье[185] воздал должное сэру Карлу Попперу и его *social engineering:* «Современный ход истории является яркой иллюстрацией как могущества техники, приложенной к природной среде, так и сопротивления, которое человеческая и социальная природа оказывает тем, кто ставит себе целью „перестроить“ общественный порядок. Кажется даже, что чем сильнее в людях прометеевская иллюзия вершить историю, тем больше они покоряются ей. И напротив, правители, скромно рассматривающие проблемы одну за другой, в том порядке, в каком они возникают, могут скорее достичь желаемых результатов. Прагматизм социальной инженерии прекрасно согласуется с духом рационализма и дает людям реальные шансы не подчинить себе общественную природу, а улучшить ее, повинуясь ей».

Возражение Ж. Лихттейма — правда, не направленное лично против меня, — содержит долю истины. На последней странице «Опиума», часто цитируемой теми, кто упрекал меня в скептицизме, я писал: «Возможно, люди Запада мечтают о политической терпимости, ибо вот уже три столетия, как их утомили напрасные бойни во имя единого Бога, за выбор истинной Церкви. Но они передали другим народам веру в светлое будущее. Нигде в Азии или Африке патерналистское государство не совершило достаточно благодеяний, чтобы задушить порывы неразумной надежды». Таким образом, я не распространял на развивающиеся страны диагноз идеологического успокоения.

Прав ли Ж. Лихтгейм, идя дальше и считая глобальную интерпретацию Истории необходимой для модернизации, для разрыва с многовековыми национальными традициями? Самые

удавшиеся модернизации — Японии, Тайваня — обошлись без глобального осмысления Истории, а следовательно, без революции. Вполне вероятно, миф поможет борющемуся меньшинству захватить власть и потрясти общество. Режи Дебре более не верит в марксистское в*и*дение Истории, но находит его полезным для революционеров. Еще до него это объяснил Жорж Сорель. Что до меня, я и сегодня подписался бы под следующими строками: «С нашего одобрения или без него, развивающиеся страны будут делать революции. Оставим новым элитам ответственность за завоеванную ими независимость, не беря на себя роль судей, не разыгрывая из себя учителей демократии или революции. Поистине руководители большинства молодых государств быстро овладели искусством абсолютной власти и пришли к необходимости виселиц. К чему помогать им убедиться в том, что они — не просто палачи, а исполнители воли исторического разума? Только для того, чтобы избавить их от сомнений и угрызений совести?»

Даже по поводу Запада я не предавался царившему вокруг оптимизму: «Конечно, я не утверждаю, что нынешняя обстановка на Западе характерна для политического бытия человека или хотя бы для современности, я скорее готов думать противоположное. Экстремальные ситуации во многих отношениях более типичны, по крайней мере в периоды, когда, по выражению Тойнби, История приходит в движение». Я никогда не думал, что люди долго будут удовлетворяться благами, которые они считали почти недостижимыми еще четверть века тому назад: «Нам повезло больше, чем предыдущим поколениям: нам нет надобности выбирать между консерватизмом, сосредоточившимся на уже достигнутом, и фанатизмом — слепым, а значит, то человечным, то кровавым. Нам известно, что в наше время научно-технический прогресс и рациональная организация труда позволяют добиться целей, которые были лишь мечтой для либералов и социалистов прошлого. Развитые страны Запада имеют или будут иметь достаточно ресурсов, чтобы обеспечить всем пристойный уровень жизни, и им не придется жертвовать личными свободами граждан единственно ради распространения благосостояния. Разумеется, это изобилие разочаровывает. Не говоря о том, что для двух третей человечества оно пока еще, видимо, недостижимо, не говоря о теневых сторонах жизни самых счастливых народов, рационализованное общество остается иерархическим, его раздирают то национальные, то расовые страсти. А стоит этим страстям улечься, как общество рискует уснуть в буржуазном комфорте. Интеллектуалы, склонные к критике, то есть почти все интеллектуалы, будут обличать

поочередно угрозу атомной войны и пассивность телезрителя, манипулируемого индустрией досуга или тоталитарным государством… Они правы в своей неудовлетворенности несовершенной действительностью, в своей критике несправедливости некоторых институтов и заурядности большинства жизней. Но, хотят они того или нет, они не способны противопоставить существующему обществу образ радикально иного общества…»

За несколько лет до 1968 года я набросал диалог с Гербертом Маркузе;[186] я противопоставил мою *критическую мысль в Истории* его *критической теории,* которая приводит к *Великому Отказу*. Диагноз, который ставит Г. Маркузе, резюмирован в следующих строках: «Критическая теория общества натолкнулась при своем возникновении на реальные (объективные и субъективные) силы, движение которых внутри установившегося общества могло привести к разрушению существующих институтов, ставших препятствием на пути к прогрессу и к созданию более рациональных и более свободных институтов. Теория была построена на этих эмпирических основах, и из них вытекала идея высвобождения внутренних возможностей развития, которое в противном случае затормозилось бы и оказалось искаженным производительностью, материальными и интеллектуальными способностями и потребностями»[187]. Между тем, согласно Г. Маркузе, формулировка *«высвобождение внутренних возможностей*» отныне не выражает адекватным образом историческую альтернативу. И американское и советское общества иррациональны по своей сути, но люди мирятся с обоими; Маркузе не видел деятельности Разума, который высвободил бы «возможности, присущие действительности», — ни оружия критики, ни критики оружием; поэтому критическая теория сводилась к *Великому Отказу*: категорически отвергались оба общества, взятые в целом; одно из них, национализировав производительные силы, создало инфраструктуру, необходимую для освобождения человека, однако парализует это освобождение, расцвет личности; другое обеспечивает наилучшие гарантии личности, но отдает ее во власть иррациональности искусственно созданных потребностей, скрытого внушения, всемогущей бюрократии; эти два общества соревнуются в безумной гонке вооружений и приближении апокалиптической войны.

Я готов подписаться под тем или иным порицанием, которое Г. Маркузе выносит западным обществам, но только при условии, чтобы оно не перерастало в «тотальную» критику и тотальное неприятие общества. Что остается от гегельяно-марксистской

критики, когда отрицание действительности, порожденное отнюдь не самой действительностью, становится, судя по всему, выражением умонастроения отдельного интеллектуала, разочарованного ходом истории и приверженного таким туманным ценностям, как «самоопределение»?

Критическая теория общества в ее крайней форме страдает внутренним противоречием: «Она оплакивает отсутствие радикального отрицания, и в то же время ее высший идеал — умиротворение человеческих отношений. *Великий Отказ* никогда не воспринимался как призыв к миру. Если в нынешних обстоятельствах *Великий Отказ* не носит воинственного характера, то дело в том, что он по своей сути внеисторичен». В горячие недели мая 1968 года студенты часто ссылались на Маркузе, которого большинство из них не читало. Немецкие и итальянские террористы воплощают такой Великий Отказ, которого бывший ассистент Мартина Хайдеггера не предвидел и никогда не поощрял.

XVI
ВЕЛИКИЙ ЗАМЫСЕЛ ГЕНЕРАЛА

Андре Зигфрид часто говорил Пьеру Бриссону: «Возвращение Генерала к власти — это конец Атлантического союза». На что я замечал: «Нет, Генерал слишком умен, слишком озабочен соотношением сил, чтобы порвать с союзом или с Соединенными Штатами, чтобы выжить американцев из Европы. Ему хорошо известно, что Москва стремится отдалить европейцев от американцев; разве может он ставить перед собой ту же цель?» Таково было мое обычное убеждение в течение всех лет — с 1958 по 1968 год, но особенно в 1962–1968 годах, когда Генерал сотрясал — больше своими речами, нежели действиями — столпы дипломатического здания, строившегося начиная с 1947 года, с распада великой коалиции против Третьего рейха.

Еще до окончания войны в Алжире перед французской дипломатией встала важнейшая проблема: какую позицию занять по отношению к вступлению Великобритании в Общий рынок? Между 1960 и 1963 годами я посвятил спору англичан с французами ряд статей, которые свидетельствовали не столько об интеллектуальной неуверенности, сколько о смешанных и противоречивых чувствах. Я вспоминал одинокую и героическую Англию 1940 года, ее вклад в общее дело Запада; констатировал упадок гордого Альбиона, вынужденного стучаться в двери Сообщества, которое он мог бы возглавить лет пятнадцать тому назад. Одну из моих статей — в «Фигаро» от 22–23 декабря 1962 года — я озаглавил «Несправедливость Истории» («L'injustice de l'Histoire»). Читатели живо отозвались на нее: одни полагали, что История несправедлива, другие — что справедлива. Первые вспоминали Англию, которая в 1940 году в одиночку сопротивлялась Гитлеру, другие бичевали дипломатию коварного Альбиона в период между двумя войнами.

Прибегнув к стилю, который веками преподается в классе риторики, я начал с параллели между двумя странами. С одной стороны, Соединенное Королевство «…поняло устремления колонизованных народов и согласилось уйти из своих имперских владений. Уход стал столь же бескорыстным, сколь славной была империя. Проявив единодушие во время войны, британский народ не изведал раскола в годы восстановления… Британцы выказали все доблести, которым мудрецы возносят хвалу в течение веков и тысячелетий. И вот сегодня они, униженные молодым президентом Соединенных Штатов[188], стучатся в двери

Европейского сообщества, не уверенные в самих себе и своем будущем».

Иное дело Франция: «Катастрофа 1940 года, раскол между вишизмом и голлизмом, министерская чехарда, увязание в колониальных войнах, почти мятежная армия, до сих пор не разрешенные конфликты между вождем и партиями — ни одно из бедствий, о которых повествует хроника проклятых веков, не пощадило нас… И тем не менее франк устойчив, а фунт стерлингов поколеблен, Франция выдвигает свои условия в Брюсселе 234, Франция, с тех пор как завершилась деколонизация и началось осуществление европейского единства, становится, по-видимому, хозяйкой собственной судьбы».

В основе этого очевидного парадокса лежал британский отказ до конца понять неизбежные последствия войны: «… Великобритания стала жертвой своей победы 1945 года, так же как Франция в период между двумя войнами была жертвой своей победы 1918-го, ибо та и другая победы имели общую черту: они были военными, а не политическими, иллюзорными, а не подлинными». Жители континента, все без исключения понесшие поражение, вынужденные расстаться со своими привычками и традициями, пошли вперед, навстречу новому будущему. Великобритания не сочла необходимым обновляться: прежде всего — союз с Соединенными Штатами, затем сохранение Содружества наций, Commonwealth, и, наконец, на третьем месте, сотрудничество с европейцами. Черчилль и консерваторы выступили за франко-германское примирение, но все руководители страны, будь то лейбористы или тори, отнеслись недоверчиво к осуществлению Римского договора. Они не приняли всерьез планы объединения Европы. Поняв свою ошибку, выдвинули идею зоны свободной торговли, что вполне могло парализовать формирование Общего рынка. Когда эта инициатива была отвергнута, на смену пришел проект, который мы затруднились бы интерпретировать как приход к идее Сообщества, — скорее это походило на тонкий метод разрушения последнего или, по крайней мере, его пересмотра согласно концепциям и интересам британцев.

В конце 1961 года я провел две недели в Лондоне с целью прощупать пульс правящего класса и общественного мнения Англии. Я встретился с премьером Гарольдом Макмилланом, восхитился его искусством ничего не сказать и заставить разговориться своего собеседника. Э. Хит, ответственный за переговоры в Брюсселе, несомненно принадлежал к «обращенным», к «европейцам» (я нет-нет да и встречал там «европейцев», но они были немногочисленны). Гарольд Вильсон

не скрывал своего враждебного отношения к британскому присоединению. Он использовал аргументы, близкие к тем, которые Мендес-Франс приводил против французского присоединения: британская экономика не способна выдержать конкуренцию континентальных стран, она должна вначале реформироваться, чтобы затем извлечь пользу из соревнования. Выразителем третьего мнения был мой друг Хью Гейтскелл, с которым я завтракал в Париже за несколько недель до его прискорбной и преждевременной кончины. Этот глава Лейбористской партии, в котором я любил простоту, несомненную порядочность и откровенность — качества, относительно редкие у профессионалов политики, — придавал Общему рынку лишь второстепенное значение. Да, мы присоединимся, если добьемся приемлемых условий, и не сделаем этого, если Шестеро потребуют от нас жертв, несоизмеримых с вероятными преимуществами. И уж во всяком случае, говорил он мне, решающая партия в игре, ставка которой — будущее, разыгрывается вдали от Старого Континента, в Индии или, лучше сказать, в Азии и Африке, где бывшие колониальные народы поднимают голос и бросают вызов своим прежним хозяевам.

Из своей поездки, из всех этих бесед я вынес по меньшей мере неуверенность. Британцы не так уж пылко стремились участвовать в Европейском сообществе — их возмущала перспектива оказаться исключенными из него. Общий рынок представлялся мне еще чересчур хрупким, чтобы немедленно принять в него нового члена, цели и интересы которого, безусловно, не согласовывались с французскими. 4 сентября 1962 года я высказался со всей резкостью: «…те, для кого Европа должна быть отечеством, не могут не знать, что в глазах британцев (за исключением незначительного меньшинства) она всегда будет всего лишь средством… Стоит слегка подтолкнуть общественное мнение, как это сделал один наш английский коллега, и вот уже людям на континенте приписывается убеждение, будто Великобритания стала бы в Общем рынке троянским конем Соединенных Штатов… Приблизительно известно, чем будет Европа Шести (которая неизбежно расширится после вступления Великобритании)… Все преобразования, которые повлечет за собой это вступление, будут противоположны французским концепциям, я бы даже сказал — концепциям всех французских партий. Что же удивительного, если наши представители кажутся порой нетерпимыми нашим британским друзьям?» В то же время я попытался снять драматичность конфликта. «Если Великобритания не войдет в

Общий рынок, это не означает, что Атлантическому союзу будет подписан приговор. В конце концов, в Великобритании, Австралии или других странах Содружества немало политических деятелей, которых обрадовал бы провал переговоров в Брюсселе. Как можно называть антибританцем генерала де Голля единственно потому, что он, быть может, разделяет надежды лорда Эттли?»

Последняя лукавая или политичная фраза отражала, тем не менее, неоспоримый факт: кандидатура Британии не выражала общего чувства политического класса, ясной и твердой воли нации. Многие враждебно относившиеся к присоединению британцы находили объективных союзников среди французских чиновников, которые, перекраивая популярную тогда американскую поговорку «When there is a problem, there is a solution» (Когда есть проблема, есть и решение), говорили в шутку: «When there is a solution, there is a problem» (Когда возникает решение, появляется и проблема)[189].

По существу, генерал де Голль был прав, хотя стиль, избранный им на знаменитой пресс-конференции 8 января 1963 года 235, усилил неприязнь наших партнеров по Общему рынку, гнев британцев и раздражение команды Кеннеди. В течение 1961 и 1962 годов Атлантический союз сотрясали ссоры по двум вопросам: должен ли Общий рынок открыться для Великобритании? Каковы будут последствия создания Францией своих стратегических ядерных сил? В пресс-конференции января 1963 года содержалось два эффектных «нет», адресованных одновременно Лондону и Вашингтону.

Команда Кеннеди лелеяла масштабный замысел. В экономическом отношении Общий рынок, расширенный благодаря вступлению Великобритании, сблизится с атлантической зоной, снизит таможенные пошлины, действующие на границах Шести, ставших Семеркой, одновременно со снижением пошлин, защищающих Соединенные Штаты. С политической точки зрения, объединенная Европа и Американская республика составят две опоры атлантического здания. Кеннеди совершил ошибку, вмешавшись в спор, который касался только европейцев. Он сделал другую ошибку, предложив Великобритании взамен «Скайбоулта» (ракета «воздух — земля») ракеты «Полярис» 236, которые были бы установлены на борту подводных лодок с ядерным двигателем, построенных англичанами. Кеннеди предложил французскому правительству соглашение, идентичное тому, которое он заключил с правительством Макмиллана. Генерал де Голль не упустил случая усилить резонанс двойного вето, использовав для этого и

мизансцену и красноречие. Даже помимо политических аргументов, отказ генерала де Голля от предложения, сделанного на конференции в Нассау[190], был продиктован и техническими соображениями. Французы разработали программу ядерных вооружений; в 1963 году «Полярисы» не могли быть включены в эту программу. К тому же, чем тратить миллиарды франков на установку ядерного оружия и средств доставки, лучше было иметь чисто французскую военную технику, спроектированную французскими инженерами и выполненную французскими рабочими. Команда Кеннеди, как из энтузиазма, так и основываясь на теоретических предпосылках, ратовала за американскую монополию не столько в области вооружения, сколько в сфере ядерной стратегии внутри Атлантического союза. Генерал де Голль не собирался уступать им эту монополию. Таким образом, франко-американское соглашение было невозможно. Андре Мальро, прибывший в Вашингтон между конференцией в Нассау и вето Генерала, дал понять президенту Кеннеди, что франко-американский диалог скоро начнется. По крайней мере, так понял Кеннеди слова Мальро. (Американский президент мимоходом сказал мне об этом, сделав заключение, что самые близкие к Генералу люди не всегда знали о его намерениях.)

В течение недель и месяцев, последовавших за *нет* Генерала, мне не раз довелось объяснять и комментировать его политику; мои комментарии в «Фигаро» были нюансированными и порой «нелестными», употребляя выражение самого Генерала.

Сразу после знаменитой пресс-конференции января 1963 года я написал две статьи (19 и 25 января); в первой из них я объяснял решения Генерала и в основном удержался от их критики, поскольку голлистская политика — «факт столь же неколебимый, как сама личность генерала де Голля». Оба «нет» логически вытекали из хорошо известных концепций главы государства: «Враждебно относящийся к интеграции обычных вооружений, президент Республики не мог не быть тем более враждебен интеграции атомных вооружений. Так как Франция к тому же не обладает ни термоядерными бомбами, ни боеголовками для ракет „Полярис“, ни подводными лодками, способными переносить эти ракеты, Нассауское соглашение не представляет для нее никакого актуального интереса. А генерал де Голль не такой человек, чтобы рассматривать возможность переговоров, в которых взамен технической помощи Соединенных Штатов он обещал бы участие в многосторонних силах». Разъяснив, почему все должны были бы предвидеть отказ генерала де Голля, я выразил сомнения по поводу уместности дипломатии удара кулаком по столу и

скандала. Так ли уж необходимо было высказывать предположение о том, что «вступление новых членов создает тенденцию к образованию Атлантического сообщества, то есть к восстановлению американской гегемонии и превращению Европы в сателлита»? Немного дальше я писал: «Нам остается надеяться, что эффективность политики точно измеряется числом союзников, которых она задевает, оскорбляет или унижает…» Не критикуя создание французских ядерных сил, я отозвался с сожалением о доводах, приведенных Генералом: «В ожидании того, что французские силы станут реальностью, возможно, нет необходимости в том, чтобы американское решение ставилось под сомнение именно теми, кто в нем больше всего нуждается… В берлинском вопросе генерал де Голль рассчитывает именно на американские силы устрашения, чтобы обеспечить свою собственную дипломатию непреклонной твердости…»

Несколькими днями позже я ответил на вопросы читателей в своей статье «Тайна Генерала» («Le secret du général»). Я не подверг критике ни вето, наложенное на кандидатуру Великобритании, ни вето, противопоставленное великому проекту Дж. Ф. Кеннеди. Я сожалел о стиле, в котором они были сформулированы и который плохо согласовывался с постоянным союзом между демократическими государствами; я размышлял также о конечных намерениях Генерала. Нахожу полезным воспроизвести несколько отрывков из этой статьи, достаточно характерных для моей позиции по отношению к дипломатии Генерала, позиции, которая немало раздражала безоговорочных голлистов, но, на мой взгляд, была разумной: «Упражнение в политикоисторической вольтижировке, именуемое в Пятой республике пресс-конференцией, ничуть не похоже на то, что понимают под ней журналисты и президент Соединенных Штатов. Пресс-конференция генерала де Голля — это произведение искусства: оратор обозревает всю планету, напоминает о прошлом и освещает будущее, раздает кому-то порицания, а кому-то похвалы, обливает презрением своих противников и не скрывает удовлетворения, которое дарит ему формируемая им на свой лад Франция. Но это произведение искусства — еще и политическая акция. На каком-то повороте фразы сам министр по делам Алжира узнает, что Сахара станет частью наследства, которое отойдет к Фронту национального освобождения. И наконец, эта политическая акция является элементом определенной стратегии и биографии. Пока нельзя сказать, какое именно значение приобретут сказанные ныне слова. Ближайшая цель не всегда видна, долгосрочные намерения тщательно облекаются в двусмысленность, окутанную тайной и

превращенную в загадку (по выражению Уинстона Черчилля). Какие бы ни произошли события, генерал де Голль их предвидел и желал. В третьем томе „Мемуаров“, высказавшись одновременно за восстановление *Германий* (как в эпоху Ришелье и парусного флота) и за объединение Европы путем примирения с немцами, он застраховал себя от неожиданностей будущего. Точно так же по отношению к Советскому Союзу (именуемому обычно Россией) он предусматривает как непреклонную твердость, так и протянутую руку — в тот день, когда время сделает свое дело. Предвидение не рискует быть опровергнутым, если маршрут оратора не минует какой-нибудь из мыслимых перспектив…»

Далее в своей статье я упомянул длинный фрагмент пресс-конференции, посвященный французской ударной силе. Может ли Франция больше рассчитывать на несколько десятков «Миражей-IV», чем на огромную мощь Соединенных Штатов? Я напомнил, что нужно всегда интерпретировать слова Генерала, отгадывать его истинную мысль. Итак, «что думал он в действительности, утверждая, что желает с*а*мого французского решения [для Алжира]»? Я отметил две фразы, которые оговаривали права здравого смысла и, возможно, подготавливали будущее: «Естественно, американское ядерное вооружение остается гарантией мира во всем мире… Разумеется, Франция не является решительным противником того, что действие этой силы будет скомбинировано с действием аналогичной или подобной силы ее союзников».

Относительно конкретных обсуждавшихся проблем — вступления Великобритании в Общий рынок и англо-американского соглашения на Багамах 237, я напомнил веские доводы Генерала: «Соглашения по Общему рынку с Великобританией, Содружеством наций и Соединенными Штатами, при всей их необходимости, не подразумевают немедленного расширения Европейского сообщества и риска распада, который содержится в таком расширении. Франция же, наладившая производство ядерного вооружения, с трудом могла бы остановить готовую программу еще до того, как та дала первые результаты».

Это принципиальное одобрение занимало в статье меньше места и обратило на себя меньше внимания, чем несколько ироничные замечания по поводу стиля или манеры: «Великобритания объявлена островной, следовательно, неевропейской страной (была ли она неевропейской в 1940 году?) и приглашена, после первого провала на экзамене на европейство, явиться через несколько лет, когда сделает успехи…

В конечном счете все недоумевают, ибо Генерал, применив к мировой дипломатии метод, так хорошо удавшийся ему в алжирских делах, скрывает свои задние мысли и предоставляет каждому отгадывать их…» И в заключение: «Я думаю, что Атлантический союз настолько прочен, что может позволить себе роскошь в виде великого человека, озабоченного своей величиной и своей тайной. Но если бы, на беду, у него нашлись ученики, союз бы этого не выдержал».

Вспоминаю о двух встречах, на которых я защищал тезисы французского правительства. Первой была конференция, кажется ежегодная, военачальников всех стран Атлантического союза. Никогда мне не приходилось видеть сразу столько генералов и адмиралов, на груди которых сияло бы такое количество орденов. После моей защитительной речи взял слово, если память мне не изменяет, британский посол, сэр Уильям Гудинаф Хейтер, очаровательный человек, с которым я иногда виделся в Париже, *master* колледжа 238, и обрисовал в мрачном свете последствия кризиса; Великобритания, отстраненная от европейского единства, обреченная на экономический упадок, в конце концов замкнется в себе и покинет Атлантический союз (в тот момент этот довод показался мне более эмоциональным, нежели убедительным).

Страсти разгорелись еще сильнее однажды во время обеда в Англо-американском клубе, на Елисейских полях. В конце обеда я, почетный гость, взял слово и попытался изложить мотивы и намерения Генерала. Вопреки всем обычаям, члены клуба, в частности голландцы, несколько раз прерывали меня, и я не без труда закончил речь. В свою очередь, я забыл о правилах вежливости и не раз прерывал генерального секретаря союза Дерка Стиккера, который так и не завершил своего выступления. Председательствовавший за столом генерал Стоквел поднялся и увлек меня в гостиную, где нас ждали крепкие напитки и сигары. Несколько дней спустя посол Соединенных Штатов Томас Финлеттер пригласил меня на завтрак вдвоем, чтобы извиниться за дурное обращение с почетным гостем, ставшим жертвой беспримерной «агрессии». По правде сказать, мы уделили больше внимания ракетному кризису на Кубе, чем межевропейским или межатлантическим ссорам.

Вызвало ли французское вето против английской кандидатуры меньше ожесточения, если бы Генерал не произнес его, стоя один перед целым миром, как будто наши партнеры по Сообществу не имели права участвовать в диалоге? Как бы то ни было, Генерал не ошибся в главном: Пятеро не порвали с

Парижем на том основании, что наш президент обошелся с ними бесцеремонно. В глубине души все знали, что кандидатура Лондона не находила широкой поддержки общественного мнения; язык британцев по отношению к Общему рынку с годами изменился, но чувства — нет. Сначала они обличали «дискриминацию», то есть создание на границах шести государств таможенной системы, преимущества которой не распространялись на других европейцев, партнеров по Атлантическому союзу. Критика дискриминации показалась мне нелепой: Общий рынок по своей сути подразумевал абсолютно законное различие между *in* и *out* — теми, кто входит в него, и теми, кто вне его. За протестами против дискриминации последовал проект зоны свободной торговли, которая задушила бы в зародыше Европейское сообщество. Была ли заявка Великобритании на вступление в него свидетельством нового духа или только нового метода? В любом случае те, кто вел переговоры от имени Лондона, скрывали от самих себя слабость своей позиции. Не им подобало ставить условия. Сторонники Великобритании в Сообществе не могли оказывать давление на французов. Если бы не пресс-конференция, провал переговоров не вызвал бы столько волнений, но Генералу нравились бури.

Отказ от нассауских предложений многократно усилил резонанс отказа Лондону. Генерал обращался в равной мере к Дж. Ф. Кеннеди, как и к Гарольду Макмиллану. Он не только отвергал сымпровизированное в Нассау англо-американское соглашение, но и решительно нападал на великий проект Кеннеди [239] и на догму, которую университетские преподаватели из Гарварда и «Рэнд корпорейшн» принесли с собой в Белый дом и внушили президенту: в атомную эру лишь один человек должен держать палец на пусковой кнопке. Внутри любого альянса, а следовательно и Атлантического союза, власть над вооружениями и в еще большей степени решение об их применении должны принадлежать одному человеку, то есть президенту Соединенных Штатов.

В мае 1962 года я написал статью, в которой критиковал позицию американцев, поддерживавших в ядерной области «особые отношения» с Великобританией, но отказывавших в сотрудничестве Французскому агентству по атомной энергии. Я использовал хлесткое выражение, которое не раз потом цитировалось: почему секреты могут безопасно достигать Лондона через Атлантический океан, но не Парижа — через Ла-Манш? Подчеркну, что эта статья относится к маю 1962 года — периоду переговоров в Брюсселе и попыток администрации Кеннеди разъяснить европейцам и побудить их принять доктрину,

окрещенную доктриной Макнамары. Я послал письмо, датированное 16 мая, Макджорджу Банди, который в то время занимал пост, доверенный позже Г. Киссинджеру, специального советника президента по обороне и председателя Совета национальной безопасности. Он мне ответил длинным посланием, которое я двадцать лет никому не показывал, но которое сегодня не открывает никакой тайны: «Вы правы, говоря, что наши чувства в значительной мере вытекают из убеждения, что ядерная защита Запада принципиально неделима *(fundamentally indivisible)*. В этом пункте наша оценка британской ядерной мощи на самом деле не отличается от нашей оценки французской ядерной мощи». Далее следовал пассаж, в котором Макджордж Банди разъяснял обстоятельства, обусловившие возобновление ядерного сотрудничества американцев и англичан: в 1957–1958 годах шок, вызванный запуском спутника, побудил американцев к поиску передовых баз; таким образом, в тот период американцы еще не думали так, как сегодня: «Я ценю силу вашего аргумента, согласно которому французы не могут быть удовлетворены разницей в отношениях, вытекающей из эволюции нашей мысли».

Его главный тезис формулировался следующим образом: «Полагая, что централизованное управление и неделимый ответ являются вне сравнения наименее опасными способами создания ядерной защиты Запада, мы считаем, что смогли бы изменить направление нашей нынешней политики только по исключительно серьезным причинам. Мы не усматриваем подобной настоятельной необходимости в ситуации, когда Франция предпринимает самостоятельные ядерные усилия. Несомненно, она имеет на это право, и я надеюсь, что Вы не сочтете, будто администрация Кеннеди склонна отнестись враждебно к этому решению; мы можем сожалеть о нем, но нам не пристало возражать против него». После нескольких фраз о возможной эволюции к европейскому сближению национальных ядерных усилий Макджордж Банди рассмотрел два случая — Германии и Великобритании. Он соглашался, что в данный момент «Федеративная Республика Германии не интересуется ядерным оружием и франко-американское сотрудничество не унизило бы ее. Но будет ли так же, когда придет новое поколение?»

Далее речь шла о коренной противоположности позиций Великобритании и Франции: «В ядерной области особой целью Великобритании явилось не столько установление своей автономии, сколько сохранение права быть осторожным советчиком (*cautionary counsel)* Соединенных Штатов. Политика

Великобритании имеет целью близость с Соединенными Штатами, консультативные отношения с предохранительным взводом (*advisory relation to the safetu-catch)*. Будет ли совершенно несправедливым сказать, что французская политика, напротив, стремится к увеличению независимости от Соединенных Штатов и к непосредственной власти над пусковой кнопкой?» Противопоставление намерений Лондона и Парижа касалось самой сути проблемы. Помощь стране, которая расположена сохранить тесные союзнические отношения, не наталкивается на те же возражения, что и помощь стране, озабоченной прежде всего расширением пределов своей автономии.

Макджордж Банди заключал фактическим замечанием, которое в некотором роде снимало вопрос. Генерал де Голль никогда не обсуждал с американцами тему франко-американского сотрудничества в области ядерных вооружений, и никогда представители французского правительства не уполномочивались им затронуть эту проблему. Письмо завершалось таким обращением: «Я спрашиваю Вас, что Вы сами желали бы сказать насчет возможных условий этого соглашения». К несчастью, я не нашел своего ответа. Вероятно, я написал то же самое, что не переставал повторять моим вашингтонским друзьям: поскольку вы не можете помешать созданию французских стратегических ядерных сил — а с этим вы согласны, — не стоит обличать одновременно их эффективность и опасность (аргументы, впрочем, довольно противоречивые). В том же 1962 году, до знаменитой пресс-конференции января 1963 года, Уолтер Липпман, посетив Европу, написал брошюру «Западное единство и Общий рынок»[191], где занял позицию, которая несколько удивляла, ибо до тех пор он обычно выражал свое согласие с Генералом, восхищаясь им.

У. Липпман старался понять точку зрения Генерала. По словам комментатора, тот отнюдь не ставил под сомнение значимость американских сил устрашения, а, напротив, полностью им доверял. По мнению Генерала, равновесие Восток — Запад установлено и война немыслима. Чему могла послужить «малая сила», способная в 1963 году убить двадцать миллионов русских? «Тому, чтобы не дать себя втянуть в ядерную войну в Азии, то есть вне зоны французских национальных интересов». Далее, «ударная сила — это уловка, чтобы связать обязательствами Соединенные Штаты, оставив ядерную инициативу преимущественно континентальной Европе». У. Липпман видел в дроблении ядерных сил Запада конец американской монополии и потому смертельную опасность для Соединенных Штатов.

Англия уже вышла из гонки ракетных вооружений из-за их чрезмерной дороговизны; ее бомбардировщики устареют через десять лет. Усилия, предпринятые британцами, были ошибкой с самого начала. Франции не следовало бы повторять эту ошибку: «Конечная ответственность в ядерном вопросе внутри западного альянса должна лежать на одной столице, а не на двух или трех. Для Соединенных Штатов была бы нестерпимой ситуация, при которой командный рычаг наших ядерных сил не находился бы более в Вашингтоне». И несколько ниже: «Другая ядерная сила внутри западного альянса, достаточно автономная, чтобы развязать мировую войну, и слишком слабая, чтобы ее выиграть, таила бы угрозу для мира во всем мире и нашей собственной безопасности».

У. Липпман, который раньше был голлистом и впоследствии снова стал им, в тот период обличал «мечты голлизма о величии», вступавшие в глубинное противоречие с истинными интересами Германии[192]. Более того, отстаивая атомную монополию Соединенных Штатов, он связывал ее с великой идеей, великим проектом администрации Кеннеди: «Кеннеди предусматривает прием Великобритании и нескольких других европейских государств в Общий рынок, ассоциацию его с нейтральными странами Европы, полюбовное соглашение со странами Содружества и, наконец, участие Соединенных Штатов в обширной торговой зоне с пониженными таможенными тарифами».

Я знал, что «великий замысел» генерала де Голля никоим образом не совместим с «великим проектом» Дж. Ф. Кеннеди, и, каковы бы ни были мои симпатии к Атлантическому сообществу, я не стал сторонником ни липпмановского тезиса ядерной монополии Соединенных Штатов, ни немедленной открытости Общего рынка для Великобритании и других европейских стран, членов и нечленов Атлантического союза.

На завтраке, устроенном по случаю семидесятилетней годовщины французского издания «Нью-Йорк геральд трибюн», У. Липпман произнес эмоциональную речь на тему франко-американского диалога о ядерных вооружениях. Я ответил ему статьей от 3 декабря 1962 года, накануне январского (1963 года) вето Генерала; статью эту использовало французское посольство в Вашингтоне. У. Липпман, писал я, сравнил «Атлантический союз с автомобилем, едущим по горным дорогам; президент Соединенных Штатов ведет атлантический автомобиль, а пассажиры — то есть страны Европы — должны доверять водителю. Но это значит слишком много с них спрашивать». Комментатор попытался затем уточнить, в каких вообще

обстоятельствах Соединенные Штаты взяли бы на себя риск термоядерной войны: это произошло бы в случае «угрозы равновесию стратегической мощи». Такую формулировку можно было применить на худой конец к кубинской ситуации, но едва ли к берлинской. Уолтер Липпман тщетно пытался приравнять установленные на Кубе советские ракеты к физической свободе Западного Берлина. На деле единственное, что было общего между Кубой и Западным Берлином, это торжественное обязательство президента Кеннеди в одном случае не потерпеть на Кубе наступательных вооружений, в другом — сохранить статус Западного Берлина.

Я не отрицал того, что европейцам понадобятся долгие годы, чтобы создать силы устрашения, достойные этого названия. Но если американцы советуют европейцам полностью доверять водителю, «европейцы, несомненно, сделают то, от чего Уолтер Липпман их отговаривает и к чему в действительности вынуждает; они пойдут на самые большие жертвы, чтобы иметь свои силы устрашения, возможно неэффективные».

Вопреки легендам, я никогда не выступал против решения Франции производить атомное оружие — ни при Четвертой, ни при Пятой республике. Еще до первого атомного взрыва в Сахаре, произведенного Францией в феврале 1960 года, я, в статье от 26 ноября 1959 года, перечислил аргументы в пользу правительственной доктрины: «Что бы об этом ни говорили, Франция способна, опираясь единственно на свои собственные научные и технические ресурсы, создать к 1965–1970 годам „небольшую атомную ударную силу“. Расходуя ежегодно на эти цели несколько сотен миллиардов[193], Франция будет располагать в 1965 году десятками атомных бомб и сверхзвуковых бомбардировщиков. К 1970 году баллистические ракеты среднего радиуса действия, которые предполагается построить по американским патентам, могут заменить бомбардировщики „дассо“». Было бы лучше, если бы я опустил ссылку на американские патенты и вместо слова «заменить» употребил «дополнить».

Тогда, в ноябре 1959 года, я не высказывался против «небольшой атомной ударной силы», которая «возможно, подготавливает крупную силу, могущую появиться через двадцать пять лет», — действительно, уже много раньше 1985 года Франция имела ядерные подводные лодки с размещенными на них ракетами, способными поразить большинство советских центров, — но я перечислял аргументы, не имевшие отношения к строгим расчетам безопасности: «Ударная сила имеет известную ценность престижа… Она имеет бесспорную дипломатическую

ценность в переговорах с Соединенными Штатами о взаимной передаче секретов. Она представляет собой в некотором роде последний довод. Если эта ударная сила будет защищена от внезапного нападения и разрушения на земле, она представит для потенциального агрессора опасность, не сопоставимую с преимуществами вывода Франции из строя. Наконец, эта сила, возможно, придаст больше авторитета голосу нашей страны в органах Атлантического союза, когда тому придется определять свою линию сопротивления советской угрозе».

Несколькими годами позже на страницах «Великого спора» я снова обратился к теме французской силы, представив ее по-своему: «Анализ с точки зрения одной безопасности исказил бы точную картину, исходя из которой должно вестись обсуждение. Необходимо привлечь еще по меньшей мере три другие измерения: *влияние на союзника* или автономия внутри союза, *авторитет на мировой арене* и, наконец, *воздействие избранной программы на развитие экономики* и особенно на научный прогресс». В заключение той же главы я представляю и обосновываю французскую программу: «Франция не хотела быть исключенной из сферы ядерной техники. Она не хотела, чтобы весь континент окончательно оказался под защитой и покровительством англо-американцев. Она предвидела более или менее отдаленные перспективы, возможные изменения мировой обстановки, и застраховывала себя от неожиданностей. В любом случае сила, пусть и ограниченная, дает в руки несколько дипломатических козырей, открывает возможность влиять на стратегию союзника, главным образом ответственного за устрашение. Даже если не верить, что в смысле устрашения французская сила может достаточно воздействовать на умы советских руководителей, угрожая сыграть роль детонатора, нельзя все же категорически отрицать (поскольку эти вопросы имеют отношение скорее к психологии, чем к логике), что она будет одним из факторов, с которыми придется считаться гипотетическому советскому военачальнику, пожелавшему начать агрессию… Программа стоит большего, чем ее адвокаты».

Мои аргументы в пользу силы, называвшейся в то время «ударной», ускользали от большинства читателей, потому что я приводил также и возражения. Я не разделял энтузиазма, искреннего или заказного, с которым было встречено первое испытание французской атомной бомбы. Я считал, что «Мираж-IV», сила первого поколения, не представляли собой силу второго удара; они казались мне уязвимыми как на земле, так и в воздухе. Я никогда не соглашался с доктриной (ставшей отныне официальной) устрашения сильного слабым и, шире, доктриной

«священного убежища»: считается, что государство, обладающее ядерной силой, обеспечивает своей территории абсолютную, «священную» неприкосновенность, исключающую малейший риск. Но поскольку малая сила может действовать только против городов противника, иначе говоря, подразумевает массовые репрессалии, вероятность угрозы сильному со стороны слабого вызывает по меньшей мере сомнения: следует ли полагать, что Франция возьмет на себя инициативу первой прибегнуть к ядерному оружию против Советского Союза?

Таким образом, между 1960 и 1963 годами я стал предметом особой ненависти для службы по связям с общественностью военного ведомства. Один из моих студентов, проходивший военную службу по этой линии, получил особое поручение — читать мои статьи и писать на них опровержения. Что осталось от всех этих дебатов? Немногое, хотя тот же спор возникает сегодня, когда он стал более актуальным, чем двадцать лет тому назад. В начале 60-х Франция со своей атомной бомбой и самолетами «Мираж-IV» едва-едва обладала мощностью второй ударной силы, американские средства устрашения были гораздо весомее наших. Генерал де Голль порой охотно признавал это; я в своих статьях пытался убедить его не противопоставлять НАТО нашу ядерную стратегическую силу, а, напротив, включить ее в атлантический механизм. Я совершенно не верил в распространенную тогда идею «детонатора»: национальные силы вынудили бы Соединенные Штаты также применить ядерное оружие. Дело было в том, что Генерал хотел символизировать военную независимость Франции как раз тогда, когда новая американская администрация, а именно администрация Кеннеди, пересматривала в 1961 году официальную доктрину Соединенных Штатов. Новая американская доктрина градуированного ответа не согласовывалась с французскими концепциями: малая сила обречена на применение массовых репрессалий, ибо носители оружия, будучи наполовину уязвимыми, могут поражать только крупные мишени, иначе говоря, предназначаются против городов, а не против военной силы.

Никакие самые хитроумные переговоры не могли бы совершить чудо и примирить два великих проекта — Кеннеди и генерала де Голля. Не питая иллюзий, я говорил своим друзьям из администрации Кеннеди: прекратите вашу пропаганду против национальных, и в частности французских, сил, не усугубляйте бесплодными упреками трансатлантические недоразумения. Со столь же малым успехом я при каждом удобном случае напоминал во Франции, что французские силы не заменяют американских; что лучше было бы не подрывать доверие к силам

Соединенных Штатов, без которых французские не много значили в 60-е годы.

Стратегические дебаты 1961–1963 годов понемногу утихли, не за неимением спорщиков, а потому что те устали. Из двух великих проектов победил, скорее, принадлежавший Генералу; невзирая на американскую критику, де Голль не допустил вступления Великобритании в Общий рынок и осуществил программу создания национальной ударной силы. Эти два решения зависели единственно от него одного. Но простирался ли великий замысел де Голля за пределы немедленно достигнутой цели — вступления в атомный клуб и закрытия Общего рынка для островной державы, неотделимой от Американской республики?

Уолтер Липпман также задавал себе вопросы по поводу великого голлистского проекта, столь же таинственного, как формула «от Атлантики до Урала». Он подозревал Генерала в желании создать франко-германскую Европу: «Президент Кеннеди прав, предупреждая французов и немцев, что, если Соединенные Штаты и не намерены покинуть Европу, они могут быть вынуждены к этому; то же самое произошло бы, если бы американцам пришлось защищать Европу, между тем как кардинальные решения, ведущие к войне, принимались бы уже не в Вашингтоне, а в Париже или Бонне. Соединенные Штаты могут отдалиться от Европы, если генерал де Голль и доктор Аденауэр будут упорствовать в создании так называемой Европы их мечты — то есть Европы, которая исключает Великобританию, игнорирует малые страны Общего рынка, отталкивает нейтральные страны и пренебрежительно отвергает союзнические предложения Соединенных Штатов».

Действительно ли ситуация нуждалась в таком драматическом анализе, вызывала столь пылкие эмоции? Франко-германский договор [240], задуманный и заключенный генералом де Голлем и канцлером Аденауэром, закреплял примирение двух стран; но подготавливал ли он, взамен американского главенства, франко-германский кондоминиум над всей Западной Европой? Конечно, генерал де Голль рассматривал Североатлантический пакт и НАТО как орудие или результат вассализации Европы. Но сомневаюсь, чтобы он когда-либо желал ухода американских войск; он часто повторял, что ядерное могущество Соединенных Штатов представляет собой гарантию мира во всем мире. Но не важно, каковы были конечные намерения Генерала: начиная с пресс-конференции июля 1964 года он констатировал неудачу франко-германского договора или, по крайней мере, свое разочарование после недавних надежд.

«Между тем приходится признать, что если франко-германский договор привел в некоторых областях к конкретным результатам, если он побудил оба правительства и их администрации к контактам, которые мы, со своей стороны, находим в целом полезными и, во всяком случае, весьма приятными, то до сих пор он не породил общей линии поведения. Разумеется, нет и не может быть подлинного противостояния между Бонном и Парижем, но — идет ли речь о действенной солидарности Франции и Германии в сфере их обороны, о новом устроении Атлантического союза; или о выборе позиции и действиях в отношении Востока, прежде всего сателлитов Москвы; или, соответственно, о проблемах границ и национальностей Центральной и Восточной Европы; или о признании Китая, дипломатических акциях и экономической политике Европы по отношению к этому великому народу; или о мире в Азии, в частности в Индокитае и Индонезии; или о помощи развивающимся странам Африки, Азии и Латинской Америки; или о налаживании Общего сельскохозяйственного рынка и, следовательно, устройстве будущего Сообщества Шести государств, — нельзя сказать, чтобы Германия и Франция уже договорились о проведении общей политики, и нельзя также оспаривать причину этого обстоятельства: Бонн до сих пор не поверил, что эта политика должна быть европейской и независимой».

Текст абсолютно ясный и, однако, в некотором роде таинственный. Верил ли когда-либо Генерал, что Федеративная Республика Германии станет безоговорочной союзницей Франции в ущерб союзу с Америкой? В какую форму должно было облечься франко-германское сотрудничество в области обороны? В чем состояла бы новая организация Атлантического союза? Как бы то ни было, после провала франко-германского договора, оставшегося *сердечной виртуальностью*, голлистская дипломатия приняла другой оборот. Она повернулась к Советскому Союзу и его сателлитам. В пресс-конференциях Генерала начал вырисовываться совсем другой проект.

Годы 1964–1968 (позже майские беспорядки и их последствия не оставили Генералу достаточно досуга, чтобы посвящать свои силы и время большой политике) не обозначили перелома или поворота во внешней политике де Голля, однако франко-германский медовый месяц уже отошел в прошлое. Договор, подписанный Генералом и канцлером Аденауэром, оставался в силе, но в той мере, в какой де Голль пытался вырвать Европу из состояния «вассализации», он больше не рассчитывал на Бонн. Судя по его пресс-конференциям, он делал отныне ставку на

Советский Союз, на примирение двух частей Европы.

На пресс-конференции 9 сентября 1965 года генерал де Голль наметил иной путь европейской независимости. Напомнив о недавнем визите румынского президента Маурера, приветствуя предстоящий визит польского премьера Циранкевича, он заявил: «Мы без колебаний предвидим наступление дня, когда, чтобы прийти к конструктивному согласию от Атлантики до Урала, вся Европа пожелает решать свои собственные проблемы, и прежде всего проблему Германии, единственным возможным путем всеобщей договоренности. С этого дня наш континент снова сможет, во имя блага всех людей, играть в мире роль, достойную его ресурсов и его потенциала».

Двадцать восьмого октября 1966 года Генерал высказался еще более резко. Сначала о франко-германском договоре: «Вот уже скоро четыре года, как мы заключили с Федеративной Республикой, по ее просьбе, договор, который мог бы послужить базой для особого сотрудничества двух стран в областях политики, экономики, сельского хозяйства и обороны. Не наша вина, если предпочтительные связи Бонна с Вашингтоном, установленные помимо нас и все более тесные, лишили вдохновения и субстанции это франко-германское соглашение. Не исключено, что таким образом наш зарейнский сосед упустил некоторые возможности совместных действий обеих стран, ибо, в то время как он осуществлял не наш двусторонний договор, а одностороннюю преамбулу, меняющую весь его смысл и добавленную им самим, события в других точках мира, в частности на Востоке и, быть может, даже в Вашингтоне, развивались, путая начальные данные проблемы».

Возвращаясь в той же пресс-конференции к британской кандидатуре на членство в Общем рынке, он подчеркнул противоречие между атлантическими связями и европейским единством: «Так, в 1963 году нам пришлось положить конец переговорам, начатым Англией в Брюсселе с целью вступить в организацию, и, разумеется, не потому, что мы не надеялись увидеть когда-либо, как этот великий островной народ действительно соединит свою судьбу с судьбой континента; но реальность такова, что он не был тогда в состоянии исполнять общие правила и только что в Нассау засвидетельствовал свою преданность государству за пределами Европы…» Получать оружие от Соединенных Штатов (а точнее, покупать его у них) было для генерала де Голля равнозначно вассалитету. Как могли бы наши партнеры по Сообществу пойти за вождем, который, по всей видимости, едва делал различие между двумя гигантами и любое соглашение с Соединенными Штатами отождествлял с

закрепощением, чтобы не употребить более сильного слова?

В 1966 году генерал де Голль видел более далекую перспективу, чем объединенная и стряхнувшая с себя господство Соединенных Штатов Западная Европа. Освобождение Европы произойдет не иначе, считал он, как благодаря согласию двух ее частей: «Впрочем, даже если экономическое объединение Шести будет однажды дополнено их политическим согласием, ничего значительного и прочного в европейских делах еще не будет достигнуто, до тех пор пока народы Запада и Востока Европы не договорятся между собой. В частности, невозможно представить иного пути для решения столь серьезной проблемы, как судьба Германии». Немного дальше он добавлял: «Известно, как быстры и масштабны достигнутые успехи, известно, какие поистине широкие и плодотворные перспективы открываются благодаря экономическим, культурным и научно-техническим соглашениям, заключенным этими двумя странами (Францией и Советским Союзом)…»

После неудачи франко-германского договора Генерал не раз возвращался к германским проблемам, например, на пресс-конференции 4 февраля 1965 года: «Для Франции все сводится сегодня к трем тесно взаимосвязанным вопросам. Сделать так, чтобы Германия стала отныне надежным фактором прогресса и мира. При этом условии помочь ее воссоединению. Выбрать путь и рамки, которые позволят достичь этого». Напомнив этапы, пройденные после победы над Третьим рейхом, Генерал резюмировал свой анализ: «Очевидно, что подобную неопределенность в таком регионе мира и в такую эпоху нельзя считать окончательной. О, конечно, можно вообразить, что еще долго все будет идти так, как сейчас, и всеобщий пожар не вспыхнет завтра, как не вспыхнул он вчера, ибо взаимное атомное устрашение успешно предотвращает худшее. Однако ясно, что истинный мир, а тем паче плодотворные отношения между Востоком и Западом не установятся, пока продолжают существовать германские аномалии, которые вызывают беспокойство и сопутствующие им испытания… То, что необходимо совершить, будет совершено однажды только благодаря согласию и совместным действиями народов, которые всегда были, есть и будут кровно заинтересованы в судьбе германского соседа, короче — европейских народов. Они должны сначала вместе рассмотреть, затем вместе урегулировать и, наконец, общими усилиями обеспечить решение вопроса, который по сути своей является вопросом их континента, — только такой путь может возродить, только такие узы могут сохранить в Европе состояние равновесия, мира и сотрудничества

на всем пространстве, которым ее одарила природа».

Представлял ли себе генерал де Голль близким или далеким этот европейский мир? Он перечислял множество условий, необходимых для объединения Германии с согласия всех ее соседей. Среди условий он упоминал следующие: «Речь идет о том, чтобы Россия развивалась таким образом, чтобы она видела свое будущее уже не в тоталитарном принуждении у себя дома и в других странах, а в прогрессе, осуществляемом сообща свободными людьми и свободными народами. Речь идет о том, чтобы нации, которых она сделала своими сателлитами, могли играть свою собственную роль в обновленной Европе…» Равновесие или согласие от Атлантики до Урала требовало, по словам Генерала, преобразования советского строя. Верил ли он в это преобразование, и в какие сроки? В этих двух пунктах «тайна Генерала» — выражение, которое я не раз употреблял, — осталась неразгаданной.

Эту политику в целом, политику двусмысленную и бьющую на эффект, я не одобрял никогда. (К тому же, когда я состоял в РПФ, Генерал высказывал по германской проблеме взгляды, казавшиеся мне одновременно анахроничными и нереалистическими.) Генерал ставил обычно две великие державы на одну доску, хотя в одной и той же речи, даже в одной фразе мог напомнить о советском тоталитаризме и об американской дружбе. Он, очевидно, видел свою цель в разрушении блоков и сближении двух частей Европы, как если бы американская гегемония не отличалась по своей природе от советского империализма; тем самым он внушил стране ложный образ мира, разжег подспудный антиамериканизм французского народа и заставил его забыть, что в военном отношении Советский Союз, обосновавшийся в центре Европы, представляет для нашей независимости единственную подлинную угрозу. Представление об умиротворенной Европе от Атлантики до Урала относилось к области грез или долгосрочных целей, без малейшего шанса осуществиться в близком будущем; оно питало ложную и опасную идею — категорическое противопоставление «европейцев» и «атлантистов». Уничижительное значение слова «атлантист» идет от генерала де Голля.

Меры, в результате которых Франция постепенно вышла из объединенного командования НАТО и заявила о своей независимости, я комментировал, не вкладывая в это страсти, но и без снисходительности. Окончательный разрыв с объединенным командованием обозначил завершение политики, объявленной вскоре по приходе генерала де Голля к власти и сразу же вылившейся в символические действия: прежде всего из ведения

объединенного командования НАТО был изъят средиземноморский флот, затем атлантический; стратегические ядерные силы были, так сказать, по определению, немедленно подчинены исключительно французскому правительству. Требование удаления натовских, или американских, баз и их ликвидация стали логической кульминацией изначально намеченной и постепенно осуществляемой политики.

Стоит напомнить обстоятельство, на которое зачастую не обращало внимания общественное мнение. До возвращения Генерала к власти французские войска в мирное время находились в ведении французского командования, даже когда передавались в распоряжение НАТО. Эта передача в распоряжение — как было принято тогда говорить — в действительности могла иметь место только в случае конфликта. Французскому правительству не составило никакого труда перебросить дивизии с континента в Северную Африку, когда его вынудила к этому алжирская война. Однако уход из НАТО приобретал немедленное и громкое звучание, при том что в военном отношении перемен было меньше, чем полагали наблюдатели.

Генерал и близкие ему люди приводили многочисленные аргументы: не подобает доверять иностранному военачальнику руководство военными операциями, подразумевающими участие французских войск; генерал Эйзенхауэр в 1944 году с легким сердцем собирался оставить Страсбург, не думая о политических последствиях даже кратковременного возвращения нацистов в город. Катастрофа была предотвращена благодаря вмешательству генерала де Голля. В более общем плане Генерал неоднократно повторял, в частности выступая в Институте высших военных исследований, что война, если, к несчастью, разразится, должна быть французской, вестись за французские интересы под руководством французских властей. Этот принцип становился тем более императивным, что риск войны возникал не столько в Европе, сколько в остальном мире: Франция не хотела быть вовлеченной в конфликт где-нибудь в Юго-Восточной Азии или на Ближнем Востоке, в войну, которая ее не касалась прямо. Наконец, последний довод: поскольку Франция обладала отныне сугубо национальными стратегическими ядерными силами, она неизбежно предусматривала собственную оборонную доктрину, которая, не будучи несовместимой с доктринами НАТО, не носила бы по отношению к ним подчиненного характера и не интегрировалась в них.

Разрыв с атлантизмом, произошедший между 1962 и 1966 годами, не вызвал во Франции громких дебатов. Замена

администрацией Кеннеди принципа «массированного возмездия» на «гибкое реагирование» касалась самой сущности европейской безопасности и значимости американской гарантии 241. Формула национальной независимости, автономной обороны льстила самолюбию французов. Им было хорошо известно, что американцы сохраняли свои войска на Старом Континенте; таким образом, защищенные Америкой, они тешили себя иллюзией, будто ничего никому не должны.

Что же думал сам Генерал? Я не раз в те годы ставил этот вопрос. Мне казалось очевидным, что «независимость», в смысле свободы маневра суверенного государства, была для него средством, но в еще большей степени самоцелью. Поскольку участие в НАТО умаляло или якобы умаляло эту независимость, он не нуждался ни в каком другом мотиве для разрыва. Франция должна была вернуть себе «независимость», какими бы ни оказались последующие цели. Что до этих последующих целей, то здесь каждый давал свободу своему воображению.

В 1966 году генерал де Голль широко развернул свое дипломатическое наступление на Восточную Европу, заговорил о согласии и равновесии Европы от Атлантики до Урала, не упоминая Соединенные Штаты; а потому комментаторы принялись размышлять о великом проекте: состоял ли он в том, чтобы ликвидировать последствия минувшей войны, а именно раздел Старого Континента на две части, образующие военные блоки и противопоставляющие друг другу свое оружие и свою решимость? Генерал при каждом удобном случае настаивал на коренном различии уз, связывающих между собой европейцев, и уз, объединяющих их с американцами. Германскую проблему предстояло решить европейцам, прежде всего соседям «срединной страны». Следовало ли понимать, что конечная цель Генерала — устранить присутствие Соединенных Штатов на Старом Континенте и расширить независимость Франции до европейской независимости, основанной на «добром старом союзе» с Россией? Верно ли, что, попытавшись сбросить «американское иго» при помощи альянса с Бонном, Генерал преследовал теперь ту же цель на совершенно ином пути — русско-французского альянса?

Может статься, что именно таким и было голлистское представление об умиротворенной и избавленной от железного корсета двух блоков Европе будущего. Но, как я уже говорил выше, возражая Андре Зигфриду, мне никогда не удавалось убедить себя в том, что Генерал желал роспуска Атлантического союза или НАТО, по крайней мере в ближайшей перспективе. Да, он неоднократно заявлял, что взаимное устрашение двух великих держав, пришедшее на смену одностороннему устрашению

Советского Союза Соединенными Штатами, радикально меняет мировую обстановку. Отныне никто не может знать, послужит ли ядерное оружие Соединенных Штатов защите Европы и когда это случится. Он говорил о возможности войны, которую две великие державы вели бы на территории третьих стран, например европейских, взаимно оберегая собственную территорию. Однако я с трудом мог поверить, что стратегическая ядерная сила первого поколения — «Миражи-IV», уязвимые как на земле, так и в воздухе, — затыкали дыры «ядерного зонтика» Соединенных Штатов. Я полагал, что генерал де Голль хочет отнять у Соединенных Штатов привилегии, приобретенные в первые послевоенные годы, уничтожить любую форму или видимость вассалитета по отношению к защитнику, заявить во всеуслышание о независимости Франции и при этом сохранить безопасность, которую обеспечивало ей присутствие германо-американской армии между советской империей и французскими границами.

Эти комментарии на тему голлистской дипломатии чрезвычайно раздражали ее мастера. Я не занял раз навсегда позиции «за» или «против»; часто я одобрял политику, критикуя вместе с тем аргументы официальных представителей власти. В качестве примера возьму статью от 1 декабря 1964 года, написанную по следам парламентских дебатов по поводу второго военного программного закона: я констатировал, что приоритетные усилия направлялись в область ядерных вооружений и что в 1970 году «смогут быть модернизированы, самое большее, две или три дивизии». Я не критиковал это распределение военных расходов, но выявил их подлинное значение, независимо от официальных объяснений.

«Между единственной державой, обладающей атомным оружием, чьей агрессии можно опасаться, и французскими границами лежит территория Федеративной Республики Германии, на которой стоят американские и немецкие дивизии. Обстоятельство, позволяющее Франции обходиться без дивизий, оснащенных классическим оружием, состоит не в том, что, как сказал один депутат большинства, отсутствие обычных средств делает более правдоподобной угрозу применения атомного оружия, а в том, что наши союзники выставляют „щит“. Даже если завтра Франция вышла бы официально из Атлантического союза, американо-германская армия не перестала бы ее защищать». Далее велся спор о собственных возможностях устрашения, которыми обладали французские силы: «Когда г-н Месмер заявляет, что при малейшей агрессии французское правительство, достойное этого названия, должно без колебаний ответить

атомными репрессиями, он не пугает никого, даже французов, чье достойное этого названия правительство ускорило бы общую гибель, будь отдан роковой приказ… Советских правителей будет устрашать термоядерная машина Соединенных Штатов, по крайней мере до тех пор, пока присутствие американских войск на Старом Континенте будет свидетельствовать об обязательстве, которое французские „эксперты“ могут притворно ставить под сомнение, но которое люди в Кремле весьма мудро принимают всерьез».

Что касается эффекта стратегических ядерных сил, то я спрашивал себя, какие советские инициативы могли бы быть остановлены французской угрозой, если их не остановит американская мощь. Не отрицая того, что французские силы создают дополнительную неуверенность, я утверждал, что «пройдет много лет, прежде чем французские силы смогут заменить американские. А потому в интересах Франции, чтобы Федеративная Республика Германии старалась укрепить связи некоторых европейцев с Соединенными Штатами, в то время как французская дипломатия может создать впечатление, разумеется неверное, что она хочет их ослабить».

Иронический тон этого замечания объясняется тем, что Франция резко выступала тогда против многосторонних сил и любого германского участия в ядерных делах. Я обосновал слова *«неверное* впечатление», предположив у Генерала мысли, казавшиеся мне очевидными: «Да, именно *неверное.* Генералу де Голлю известно, что французская безопасность покоится на американской мощи; но, следуя своей концепции отношений между государствами, он не видит никакой причины платить за то, что обстоятельства вынуждают Соединенные Штаты предоставлять ему бесплатно». Я делал заключение, которое должно было показаться — *разумеется, неверно,* — агрессивным: «Если допустить, что нет никакой опасности войны и что одни из наших союзников обладают обычным оружием, а другие — основными силами устрашения, военная политика Франции, истолкованная в чисто дипломатическом ключе, вполне оправданна» (3 декабря 1964 года).

Не забудем, что этот анализ датирован 1964 годом и что в тот период стратегические ядерные силы состояли исключительно из «Миражей-IV». Придавать этим силам, по крайней мере временно, преимущественно дипломатическое значение не было преступлением против отечества. Когда я предполагал у Генерала ход рассуждений, близкий моему, это также не было оскорблением величества. Два с лишним года спустя Альфред Фабр-Люс в «Свободной трибуне» газеты «Монд»

дружески упрекнул меня в чересчур вольном обращении с подлинными словами Генерала: «Если я правильно понимаю, истинным интерпретатором затаенных мыслей главы государства является не кто иной, как г-н Раймон Арон. Его устами генерал де Голль, видимо, говорит нам: „Пусть вас не беспокоит моя пропаганда: это декорация“».

Я ответил на это (15 сентября 1966 года): кто меньше других ошибался относительно намерений Генерала в алжирском вопросе, если не комментатор, не принимавший в буквальном смысле то или иное заявление? Почему должно быть иначе в вопросе стратегических ядерных сил? Генерал де Голль отклоняет излюбленные рассуждения американских аналитиков о первой и второй ударной силе, о действиях против вооруженных сил и против городов. «Раз великие державы обладают ядерным оружием, Франция тоже должна его иметь. Иначе она бы перестала быть Францией, утратила военную независимость, которая в глазах генерала де Голля является самой сутью нации и государства. В основе деголлевского решения обзавестись атомным оружием лежит не столько анализ существующей конъюнктуры, не столько размышление об опасностях распространения ядерного оружия, сколько чисто философская доктрина и, так сказать, историческое в*и*дение».

Исходя из этого принципиального, а не конъюнктурного решения, каждый может вообразить те или иные аргументы или логические обоснования. Способность убить несколько миллионов, даже несколько десятков миллионов людей не может не оказывать некоторого устрашающего действия. Никто не может быть уверен в американской защите на вечные времена, тем более что американская территория отныне также уязвима. Это веский аргумент, хотя сомнительно, что в ближайшем будущем французские силы смогут не допустить, чтобы советские руководители совершили некие действия, после того как американским силам устрашения это не удастся. Однако стратегические ядерные силы, являясь бесспорным дипломатическим инструментом, могут стать действительно оружием устрашения в тот день, когда вступят в строй ракеты среднего радиуса действия и в особенности оснащенные ракетами ядерные подводные лодки.

В течение 1965–1967 годов голлистская дипломатия смешивала, во всяком случае по видимости, возврат французской независимости (пользуясь голлистским словарем, Франция ранее была «вассалом» Соединенных Штатов при посредстве Атлантического союза) с антиамериканизмом. По поводу войны во Вьетнаме генерал де Голль и в Пномпене, и в Париже

высказывался со всей резкостью, возложив на Соединенные Штаты ответственность за эту «гнусную войну». В той же статье от 15 сентября 1966 года я прокомментировал речь в Пномпене: «Двусмысленность, а отсюда необходимость истолкования возникают на каждом шагу. Пресса и радио превознесли речь в Пномпене как один из величайших моментов голлистской эпопеи. Я не буду останавливаться ни на историческом очерке, по меньшей мере пристрастном, конфликта, ни на сравнении с алжирской войной. Ограничусь одним пунктом. Может ли генерал де Голль питать иллюзию, что подобная речь в подобном месте способна оказать на президента Джонсона и на американское общественное мнение влияние, которое приблизило бы установление мира? Совершенно очевидно, что ответ на этот вопрос может быть только отрицательным. Эта речь раздражила бы даже наименее склонных к продлению войны во Вьетнаме руководителей. И если бы генерал де Голль опасался расширения конфликта, как нам это пытаются всеми силами внушить, то разве не стремился бы он прежде всего предотвратить самое худшее, вместо того чтобы назначать сроки и говорить для Истории?»

В 1966 году символом голлистской дипломатии и фактом, поразившим общественное мнение, стало решение об изъятии французских войск [242] из ведения объединенного командования НАТО. В 1967 году часть общественного мнения была возмущена позицией, занятой по отношению к Шестидневной войне; [243] посещение Квебека также вызвало неоднозначные эмоции.

Решение 1966 года я комментировал очень мало, настолько логически оно вытекало из голлистского мышления. Военные соглашения между командованием французских войск и главным штабом НАТО без особых помех пришли на смену интеграции. Довольно расплывчатая редакция Североатлантического договора, — которую генерал де Голль сурово критиковал, — пошла на пользу проекту президента Пятой республики. Франция должна была решать, какую помощь она окажет одному из своих союзников, ставшему жертвой агрессии. Если бы военные действия, начавшись в Африке или Азии, угрожали перекинуться в Европу, у Франции были бы наилучшие шансы не оказаться втянутой в чужую для нее войну.

Я не стал комментировать пребывание генерала де Голля в Квебеке, в частности его возглас «Да здравствует свободный Квебек!». Событие не застигло меня врасплох. Как я уже упоминал, в 1957 году, будучи приглашен на ежегодное заседание в Институт общественных дел (Institut des Affaires

publiques), я встретил там всех, кто в последующие годы играл первые роли в Квебеке и Канаде. Жан Лесаж 244, человек «тихой революции», Рене Левек, Пьер Эллиот Трюдо присутствовали там, так же как многие другие, уже сошедшие с политической сцены. Перемены в настроениях квебекцев, неприятие режима Дюплесси 245 — избирательной машины североамериканского типа — маячили на горизонте. Национализм переходил от обороны к наступлению; франкофоны не довольствовались больше сохранением своего языка и своих законов, а стремились взять в руки свою судьбу. Англоязычным жителям «прекрасной провинции» принадлежали экономика, крупные предприятия, высокие посты в администрации. Обновление системы образования — важнейший элемент «тихой революции» — привело в 60-е годы к резкому увеличению количества дипломированных специалистов, или, если угодно, «интеллектуалов». Они стали рупорами идей и одновременно активистами сепаратистской партии.

Побывав в 1957 году в Сент-Адели, я продолжал наблюдать за политической жизнью Канады. Я принял приглашение английского Института общественных дел, по типу которого был образован французский Институт. Меня поразили отсутствие общения между англофонами и франкофонами, хрупкость канадского единства как такового. В связи с покушениями, совершенными сторонниками независимости, я написал в «Фигаро» (24 апреля 1964 года) статью под заголовком «Будет ли Квебек независимым государством?». Вот несколько строк оттуда: «Французы поостерегутся решать, насколько желательно, чтобы Квебек добился государственной независимости… В некотором отношении франко-канадцы всегда были националистами, если под этим двусмысленным термином понимать стремление сохранить своеобразие своей культуры и управлять собственными делами. Но пока франко-канадцы оставались крестьянским населением, находившимся под неусыпной опекой Церкви и закрытым для городской и индустриальной цивилизации, национализм носил оборонительный характер, федерация, столетие которой скоро будет праздноваться, делала возможным если не духовное единство, то мирное сосуществование двух этносов». Сегодня франкоговорящие канадцы быстро идут по пути урбанизации и развития. И обнаруживают, что в провинции, где они численно преобладают как избиратели, англоязычное население доминирует в экономике и даже администрации: «У англичан… по большей части „совесть чиста“: разве они не оставили им сто лет тому назад их религию, их законы, обычаи, их язык и даже широкую автономию? Они смотрят на поборников

независимости как на экзальтированных чудаков или демагогов, скорее смешных, чем опасных. Но, боюсь, они забывают главное. Они не дали своим франкоязычным согражданам того, без чего люди хуже всего обходятся: ощущения, что их признают… Англо-канадцы, которые были самыми ортодоксальными из британских подданных в своем антиколониализме, неспособны даже вообразить, что франко-канадцы чувствуют себя жертвами „колониализма“. И тем не менее, если любой, даже обладающий автономией, этнос, оказывается или считает себя жертвой колониализма, занимая второстепенное положение в двунациональном государстве, то как могут франко-канадцы не сознавать себя отчасти колонизованными?» Это чувство неполноценности тем более болезненно, чем активнее они участвуют в современной жизни. Мои друзья, в частности Эрик де Дампьер, посмеялись надо мной и над независимостью Квебека. По ту сторону океана статья наделала много шуму и вызвала дискуссию. Влиятельная англоязычная ежедневная газета «Монреаль стар» («Montreal Star») посвятила мне редакционную статью, занявшую две колонки во всю длину первой полосы. Покушения «автономистов», на которые я намекал, были там охарактеризованы как не имеющие значения (к этому мнению присоединились и франкоязычные газеты). «Монреаль стар» представила меня как личность настолько знаменитую, что я был приглашен президентом Кеннеди для консультации (это не соответствовало действительности), и упрекнула меня в том, что я приписываю некоторую вероятность или, по крайней мере, некоторое правдоподобие неразумному предприятию. Поскольку Раймон Арон принимает всерьез сторонников независимости, последние достигли одной из своих первоочередных целей: они выходят из гетто и становятся респектабельными. Кроме того, я получил немало писем от англоговорящих канадцев, которые единодушно, хотя с разной степенью резкости, возмущались моей статьей (она была полностью перепечатана франкоязычной газетой «Девуар», если мне не изменяет память).

Если простая статья так взволновала англичан Канады, то каждому понятно, какой отклик получил визит Генерала и какой скандал вызвал заключительный призыв, брошенный с балкона ратуши Монреаля: «Да здравствует свободный Квебек!», лозунг экстремистского крыла партии сторонников независимости. На пресс-конференции 21 ноября 1967 года генерал де Голль напомнил эпопею франко-канадцев, которых было 60 000 в момент заключения Парижского договора; [246] «эти потомки крестьян, маленькие люди, возделывающие землю, великолепно умножили свою численность, чтобы сопротивляться растущей

волне захватчиков». Генерал остановился на раннем периоде, периоде пассивной обороны французов: защиты своего языка, своих традиций, своей религии, своей солидарности. И вот, как любой другой народ, они хотят стать хозяевами своей судьбы: «Индустриализация совершилась, так сказать, поверх них». Англосаксы располагали ресурсами страны и «ставили французов в положение усиливающейся неполноценности». Отсюда вполне понятное движение за освобождение.

Затем Генерал рассказал, в своем лучшем стиле, о своей поездке, о состоявшихся беседах и, наконец, о кульминационном моменте: «В Монреале, втором по значению французском городе мира, подъем освободительного энтузиазма был таков, что священным долгом Франции в моем лице стало ответить на него торжественно и без обиняков». Генерал не колеблясь уточнял условия, необходимые для решения канадской проблемы. «Изменение нынешней структуры Канады приведет к превращению Квебека в суверенное государство, хозяина собственной национальной судьбы…» Второе условие — это «установление солидарности Французского сообщества по обе стороны Атлантического океана».

Меня тоже взволновали стойкость и пробуждение французской Канады, но я не был уверен, что независимость, суверенность Квебека явилась бы верным решением. Мой друг П. Дюпюи, который в 1940–1942 годах кочевал между Виши и Лондоном, сказал мне однажды: «Я бы не хотел жить в независимом Квебеке, переехал бы во Францию». Наш разговор произошел в 1967 году: я побывал в Монреале, где прочел лекцию по случаю Всемирной выставки. По возвращении я написал серию статей, объективных настолько, насколько это возможно, представив в них аргументы различных партий.

Прежде всего, констатировал эффект, произведенный визитом президента: «Не он создал квебекский национализм и партии, борющиеся за независимость… Две крупные партии, Национальный союз и Либеральная, отныне рассматривают серьезно „независимый выбор“ (я употребляю выражение, которое много раз читал и слышал)… Странные отношения связывают квебекцев и французов! Потомки французов, „покинутых“ по Парижскому договору 1763 года, исчисляющиеся ныне шестью миллионами, пылко приветствуют родину своих предков в лице человека, символизирующего как старую, так и современную Францию. Синтез традиций и современности, которые стремилась осуществить „тихая революция“ Лесажа, воплощен для них в католике и республиканце генерале де Голле. А потому реакция французов на вояж главы государства представляется

непостижимой большинству квебекцев». То обстоятельство, что визит Генерала, «триумфальный в глазах квебекцев», сурово раскритиковала пресса самой Франции, должно было насторожить нас относительно возможных недоразумений.

В Канаде не образовалось нации, сравнимой с американцами в Соединенных Штатах. Два народа-основателя, как там говорят, жили вместе не смешиваясь. «Французские католики, сосредоточенные в Квебеке, хотели остаться самими собой. Они ничего не знали о Франции, которая ничего не знала о них… Церковь поддерживала сопротивление напору англосаксонского мира; она же тормозила адаптацию к современности. Но вот, на протяжении жизни одного поколения, французских канадцев затронули быстрые и в то же время глубокие перемены; охваченные в свою очередь урбанизацией, они обнаружили свою второразрядность в собственной провинции и второразрядность последней среди провинций Канады».

Затем я задал ключевой вопрос: «Какие цели ставят перед собой французские канадцы после „тихой революции“ Лесажа, после удивительной победы Национального союза г-на Джонсона над либералами Лесажа? Цели экономические: ускорить экономический прогресс провинции и управлять им. Цели культурные: сохранить в Квебеке французский язык, способствовать двуязычию в Оттаве и других провинциях. Что касается политической цели, то она стоит в самом центре дебатов… Язык квебекцев долго считался диалектом, на котором общаются низшие слои населения: поставленный в условия соревнования с универсальным языком, он может устоять только при поддержке государства». Я упомянул и о другом аспекте ситуации: «Французские канадцы определяют себя отныне по отношению к американцам и неоканадцам в такой же степени, как к своим бывшим владыкам британцам. Этим объясняются колебание между „особым статусом“ и „сепаратизмом“, чувство, что ни та, ни другая формула, возможно, недостаточна, чтобы гарантировать будущее. Сохранит ли Квебек свою национальную самобытность в канадской федерации, если та не сохранит свою, если неоканадцы окажутся ассимилированными не британцами и не французами, а американцами?»

В третьей статье я изложил шансы и опасности каждого из двух решений: «Либо сепаратизм, означающий оставление на произвол судьбы миллиона французских канадцев, живущих вне Квебека, угрозу экономического упадка или „двойной зависимости“, более реальной, чем теоретическая независимость; либо последнее усилие с целью наполнить содержанием канадскую национальность, ускорить движение к двуязычию или

„бикультурализму“, чтобы сберечь французский характер Квебека». Либо Р. Левек, либо П. Э. Трюдо. В 1982 году ни тот, ни другой еще не одержали победы.

Франция должна была всемерно поддерживать квебекцев в их стремлении остаться североамериканскими французами. Она не должна была активно содействовать распаду Канадской федерации; отпадение Квебека, вероятно, повлекло бы за собой другие отпадения. Во всяком случае, решать подобало квебекцам, а не европейским французам.

В 1967 году Генерал задел еврейское сообщество и израильтян, заявив заранее, что осудит ту из сторон, которая первой употребит оружие; таким образом, он осудил Израиль, не приняв во внимание смягчающих обстоятельств. Более того, по причинам, которые мне до сих пор не понятны, он возложил на Соединенные Штаты часть ответственности за Шестидневную войну. Набросав в общих чертах свой вариант решения, он пессимистически заключил: «Невозможно представить, как могло бы родиться какое-либо соглашение — не фиктивное, по тем или иным пунктам, а реальное, с целью совместных действий, — пока одна из четырех величайших держав не покончит с гнусной войной, которую она ведет в другой точке земного шара. Ибо в сегодняшнем мире все взаимозависимо. Если бы не вьетнамская драма, конфликт между Израилем и арабами не приобрел бы такой остроты; и если завтра в Юго-Восточной Азии восстановится мир, он скоро восторжествует и на Ближнем и Среднем Востоке, благодаря общей разрядке напряженности, которая последует за этим событием».

Все в этом анализе казалось мне искусственным, произвольным и попросту ложным. Какая связь между концентрацией египетских войск на Синайском полуострове или закрытием Тиранского пролива и войной во Вьетнаме? Сейчас нам известно, что ухода американцев с полуострова Индокитай было недостаточно для восстановления мира на Ближнем Востоке. Арабо-израильский конфликт начался до интервенции американцев в Южном Вьетнаме и продлился дольше, чем она. После Шестидневной войны и победы Израиля, которую сам генерал де Голль, судя по его пресс-конференции, предвидел, Франция присоединила свой голос к голосам Советского Союза и арабских стран в Организации Объединенных Наций. Я написал по этому случаю статью, озаглавленную «Зачем?», где безудержно критиковал дипломатию Генерала.

Первое возражение: содействует ли французская акция умиротворению в регионе? «Если цель французской дипломатии — способствовать принятию решения, которое будет иметь

длительные результаты, то присоединение Франции к советско-арабским положениям кажется по меньшей мере неспособным привести к этой цели».

Второе возражение: «Будем говорить на языке строгого реализма. Государства Черной Африки, чьи руководители занимают умеренные позиции, обеспокоены или возмущены. Поставки советского оружия Алжиру, так называемая революционная политика г-на Бумедьена вызывают тревогу в Тунисе и Рабате, где относились с пониманием к нейтралитету Франции, но не постигают активных просоветских действий, сознательной поддержки всех тех в третьем мире, кто упорно проявляет самые враждебные чувства к американцам и Западу».

Я оспаривал новые тенденции французской дипломатии: «В 1960 году генерал де Голль принимал г-на Бен Гуриона как представителя „дружественной и союзной страны“. В 1967-м Израиль, обязанный Франции своим оружием, чувствует, что тот же генерал де Голль обращается с ним как с врагом. Надо ли понимать, что друзья Соединенных Штатов — враги Франции? Что враги советских или арабских революционеров — тем самым враги Франции? Франция отдаляется от своих партнеров по Общему рынку и других стран атлантической зоны, от тех, с кем она теснее всего связана экономикой, культурой, идеалом…»

И заключительные строки: «С самого начала ближневосточного конфликта я испытывал ощущение, что сама логика дипломатии президента Республики побудит его присоединиться к советскому лагерю. Но сегодня я спрашиваю себя с тревогой: все ли еще идет речь о логике разума или только о логике страстей?» Более того, я коварно процитировал фразу, сказанную генералом де Голлем в 1949 году: «Мне хорошо известно, что жалкие люди претендуют заменить, как они выражаются, силу политикой. Но не бывает никакой политики, даже — и в особенности — политики великодушной, при отказе от силы. Что касается Индокитая, кое-кто ратует за решение „по Хо Ши Мину“, которое в действительности является капитуляцией».

Конечно, Генерал мог ответить, что ситуация полностью изменилась. В 1949–1951 годах он верил в близость третьей мировой войны, во всяком случае, считал ее возможной, даже вероятной. В 1967-м сдерживание коммунизма его более не интересовало. Но был ли он прав, полагая, что коммунистический экспансионизм уже перестал быть постоянной угрозой, источником планетарного кризиса второй половины этого века и предположительно века грядущего?

На статью «Зачем?» Жан Полан отозвался открыткой от 8

июля 1967 года, заполненной его неподражаемым почерком: «Мне часто хотелось Вам написать. Но что сказать, чего бы Вы не знали лучше меня? Ваша последняя статья в „Фигаро“ восхищает ясностью, последовательностью, умом. Как жаль, что наш друг Гретюизен не с нами и не может прочесть ее…» В постскриптуме он добавлял: «Чего хочет де Голль? У меня чувство, что, побывав Моррасом (и еще таким М., который преуспел), он мечтает стать неким Лениным — если возможно, не чересчур кровавым. Мальро никогда мне не рассказывал о каких-нибудь признаниях Генерала. Но разве его столь парадоксальная дружба с Мальро — не своего рода признание?»

Какие замечания о голлистской дипломатии можно сделать на основе предыдущих страниц?

Оставим в стороне военные годы. В период, когда генерал де Голль еще не был признан главой временного правительства Республики, его деятельность развивалась в русле как внутренней, так и внешней политики. Он достиг своей цели, поскольку желал прежде всего, чтобы «Свободная Франция» официально стала Францией. В своих военных операциях против позиций, власти которых оставались верными Виши — в Дакаре, Сирии, на Мадагаскаре, — он не был удачлив. Военные и чиновники сопротивлялись «свободным французам» упорнее, чем англичанам и американцам. Будь пропаганда другой, будь отношение к людям, повиновавшимся Маршалу, менее агрессивным, удалось ли бы смягчить ожесточенность гражданской войны между французами, если уж не избежать ее совсем? Никто не сможет сказать это. Однако события позволяют сделать заключение, по крайней мере в виде гипотезы, что манихейская интерпретация перемирия, принятая с самых первых дней и сохраненная невзирая ни на что, почерпнута из области легенд или героического эпоса. Ни магистраты после Освобождения, ни большинство французов не разделяли этого эпического видения. Обращение от 18 июня не утратило своего нравственного и политического значения, но речи, произнесенные непосредственно вслед за Обращением, принадлежали уже вождю партии, а не выразителю чувств страны, которой заткнули рот.

Не будем останавливаться на распрях с англичанами и особенно американцами — распрях, которые чуть было не привели в начале 1943 года к разрыву между западными союзниками и вождем «Свободной Франции». Рассмотрим первые шаги дипломатии Генерала, вернувшегося во Францию и принявшего на себя ответственность за свою родину. Его первым жестом, символическим и в то же время действенным, явился

договор с Советским Союзом 247, направленный против Германии и заключенный в момент, когда всем были ясны последствия войны: прочное присутствие Советского Союза в центре Европы, окончательное ослабление Германии. Что означал в подобных условиях этот франко-русский договор, нацеленный против Третьего рейха или страны (стран), которая придет ему на смену? Защитники Генерала, вероятно, ответят, что этим договором президент временного правительства республики проявлял независимость по отношению к могущественным западным союзникам. Допустим, что это так, но вспомним другие эпизоды.

В Сирии и Ливане, странах, которым Генерал обещал независимость, когда его войска начали кампанию против войск Виши, он оказался вовлеченным в жестокую ссору с Великобританией; дело дошло до того, что, согласно его «Мемуарам», он заявил послу Даффу Куперу: «Вы выказали неуважение к Франции; если бы я располагал средствами, я объявил бы вам войну». Воевать с Великобританией из-за территорий, которые в любом случае должны были стать независимыми? Я предпочитаю не принимать всерьез эту воинственную, чтобы не сказать милитаристскую, фразу. Эпизоды с городами Бриг и Танд, получившие счастливое завершение, и требования относительно долины Аосты, натолкнувшиеся на американское вето 248, обнаруживают традиционный аспект деголлевской мысли: приоритет границ над всеми иными соображениями.

Что поражает меня больше всего, это позиция по отношению к Германии. Позиция, двусмысленности которой Генерал, быть может, даже не сознавал. С одной стороны, он приглашает обновленную Германию войти в новую Европу и набрасывает в общих чертах план объединившейся под предводительством Франции Западной Европы. Но о какой Германии идет речь? Дело в том, что генерал де Голль, говоря о франко-германском примирении, повторял в радикально изменившейся обстановке тезисы Бенвиля о «Германиях».

На заседании Тройственной комиссии в Берлине французский представитель накладывал вето на все меры, которые могли бы способствовать восстановлению германского единства. Три великие державы планировали, что все четыре зоны будут управляться чиновниками или службами, которых изберут сообща четыре победителя. Французское вето, продиктованное старой враждебностью к Рейху, сыграло на руку советской стороне[194], которая уже в сентябре 1945 года показала свое намерение остаться, приняв меры, вытекающие из ее идеологии (аграрная коллективизация). Более того, даже когда французская

доктрина Германий потеряла актуальность, когда стояла дилемма: одна или две Германии (одна — советская, другая — западная), Генерал и Андре Мальро продолжали повторять старый припев «Пусть больше никогда не будет Рейха», как будто Рейх в 1945 году означал что-нибудь другое, кроме государства. Перед лицом Германии, от которой была отрезана советская зона оккупации, Генерал все еще гневно восставал против Рейха и вместе с тем против образования Тризонии — Федеративной Республики Германии. Международный контроль над Руром, на участие в котором претендовал Советский Союз, отторжение Рейнской области — все эти предосторожности против Германии прошлого являются важнейшими темами в ходе мыслей Генерала, словно он не вполне понял революцию, которая со всей очевидностью совершилась. Возмутитель спокойствия, страна, угрожающая Старому Континенту всемирной монархией, — это отныне и в обозримом будущем не Германия, а Советский Союз.

Вернувшись к власти, генерал, после упорной борьбы против англо-американской политики «восстановления Германии», констатировал, что от его проектов 1945 года ничего не осталось. Он принимает к сведению сложившуюся обстановку, примиряется с фактами, но возвращается к другой из своих главных идей, еще более важной для него, чем историческая враждебность по отношению к Рейху, а именно к отказу включить Францию в один из двух блоков — тот, во главе которого стоят Соединенные Штаты. По окончании войны в Алжире — трагического, но, в сущности, провинциального эпизода (деколонизация или, по крайней мере, распад европейских империй подходит к концу), Генерал окунается с головой в то, что немцы называли когда-то *Die grosse Politik,* большой политикой. Франция должна мериться силами с великими мира сего, а не с временным правительством Алжирской республики или Тунисом Бургибы. Тесный альянс с Германией Аденауэра, производство атомного оружия (возможно, при финансовом участии ФРГ) заложат основы самостоятельной Европы, несводимой более к подчиненному положению части западного блока. Генерал одерживает ряд побед, помогающих его великому проекту. Он препятствует вхождению Великобритании в Общий рынок, причем удается избежать развала последнего; он создает стратегические ядерные силы, которые сделают возможными в будущем устрашение «по всем направлениям» и тем самым полную независимость от блоков. Немцам проект де Голля — такой, каким они его угадывают, — не приходится по душе. К франко-германскому договору на вечные времена бундестаг добавляет преамбулу, напоминающую о приоритете Атлантического союза. С этого момента Генерал больше не

интересуется «договором на вечные времена», хотя тот продолжает существовать и франко-германское сотрудничество развивается.

Между 1963 и 1967 годами средства осуществления великого замысла меняются. Чтобы вырваться из атлантических тисков, стряхнуть «господство» Соединенных Штатов, де Голль поворачивается к Советскому Союзу. Разумеется, во время берлинского и кубинского кризисов он выказывает солидарность с Западом, но начиная с 1963 года прибегает к другому языку. Пожалуй, лучше сказать, что он возвращается к языку, который держал в запасе: «Европа от Атлантики до Урала», «разрядка напряженности, за которой последуют взаимопонимание и сотрудничество». Нормализация отношений с Советским Союзом и советизованными странами Востока Европы в глазах большинства французов оправдана без какой-либо ссылки на деголлевский «великий замысел». В действительности общее между «вечным союзом» с Германией и «особыми отношениями» с Москвой вытекает не из политического анализа, а скорее, из психологии Генерала. Опираясь на Германию и другие континентальные страны Содружества, Франция потенциально добивается статуса великой державы. Благодаря постоянному диалогу с Москвой она, не выходя из Атлантического союза, становится государством мирового ранга.

Выйдя из объединенного командования НАТО, Франция дистанцируется от ФРГ по вопросу, по-прежнему ключевому, — оборона. Генерал не подписывает в Москве никакого компрометирующего соглашения. Он не добивается также никаких материальных или моральных преимуществ. Торговля развивается, но Франция не обладает в ней монополией. Посетив после Москвы Варшаву в следующем году, он убеждает поляков обратить свои взгляды на мир, лежащий за пределами советской сферы, но встречает резкий отказ Гомулки. Генерал де Голль, которого всюду приветствовали как исторического, почти легендарного героя, не поколебал советский блок, он расшатал блок западный, по своей природе менее прочный, чем советский.

Канцлер Аденауэр говорил одному из министров Четвертой республики: «Если вы совершите паломничество в Москву, не обольщайтесь: немцы совершат его тоже, на другой день после вашего посещения, если не накануне». Разрядка в стиле Генерала подразумевала окончательное примирение Запада с последствиями Второй мировой войны, пользуясь термином, принятым в Советском Союзе. Это примирение нашло выражение в Хельсинкских соглашениях через несколько лет после смерти Генерала [249]. Преемники Генерала справедливо напоминают при

каждом удобном случае, что голлистская Франция приняла решающее участие в разрядке напряженности между Востоком и Западом и таким образом побудила ФРГ к так называемой *Ostpolitik,* иначе говоря, к сближению с Востоком. Есть ли у Франции основания радоваться этому?

Ядерные стратегические силы, франко-германский союз, неучастие в объединенном командовании НАТО — эти три решения, из которых только последнее было невозможно в Четвертой республике, принадлежат наследию Генерала и доныне не подвергаются обсуждению, что вполне понятно: никакое правительство не может выбросить на свалку столь дорогостоящее и престижное оружие; каждое правительство хочет модернизировать ядерные силы, чтобы сохранить их убедительность; франко-германское содружество стало составной частью обычной дипломатии Франции, даже если отношениям Жоржа Помпиду и Вилли Брандта не хватало теплоты. Наконец, о возвращении в объединенное командование в обозримом будущем не может быть речи; 250 оно вызвало бы бурные споры внутри политического класса, которые неизбежно распространились бы на всю нацию.

Наследие Генерала не ограничивается этими тремя мерами, которые общественное мнение, в своем большинстве, одобряло и одобряет до сих пор. Именно генерал де Голль «выдал патент на благородство» антиамериканизму 251. В кризисные моменты он проявлял свою западную солидарность, но чаще всего представлял дело так, что Франции одинаково угрожают две великие державы. Он возложил ответственность за Шестидневную войну на действия Соединенных Штатов во Вьетнаме. Он приучил французов не различать их настоящего врага, принимать СССР за союзника, а Американскую республику — за ту великую державу, которая ставит под угрозу независимость Франции. Сегодня, двенадцать лет спустя после смерти Генерала, французская дипломатия остается наполовину парализованной вследствие этой инверсии ролей, этого представления о мире, которое я считаю противоположным действительности.

Можем ли мы теперь, по прошествии времени, прояснить великий замысел Генерала или разгадать его тайну? Существовали ли вообще какой-либо великий замысел или какая-либо тайна? Я никогда не соглашался с гипотезой Жана Полана, не мог вообразить себе генерала де Голля мечтающим сыграть роль Ленина, предварительно осуществив некоторые из идей Морраса. Утверждать можно только то, что после неудачи франко-германского договора Генерал поставил себе главной целью освободиться, насколько это возможно, от пут

Атлантического союза, не расторгая и не покидая его; выступая против блоков, он пользовался языком, в точности похожим на язык советских представителей. И здесь возникают законные вопросы: хотел ли он ухода американцев? Верил ли он, что эволюция разрядки в сторону взаимопонимания и сотрудничества выиграла бы от ухода американских войск? Питал ли он иллюзию, что французских ядерных стратегических сил будет достаточно для замены американских сил? Я не берусь однозначно ответить на эти вопросы.

Охотно допускаю, что в долгосрочной перспективе Генерал рассчитывал на перемены в Советском Союзе. Сформировавшись до войны 1914–1918 годов, он нередко повторял вслед за Сталиным: нацизм проходит, немецкий народ остается. Он охотнее говорил о России, чем о Советском Союзе. Вероятно, он не улавливал специфичности советского строя, в его глазах — одного из многих деспотических режимов, который, так же как другие, пройдет. Но было ли для него отдаленным видением или собственно политической целью это согласие между латинянами, галлами, германцами и славянами от Атлантики до Урала, это вновь обретенное равновесие Старого Континента? Лелеял ли Генерал всерьез мечту о единой Европе, избавленной от всякой зависимости от неевропейской державы (Соединенных Штатов)? Или он всего лишь желал придать возвышенный вид вполне прозаической политике? Мог ли он не знать, что Западной Европе не удалось бы стать противовесом советской империи без содействия Соединенных Штатов? Распустить блоки, чтобы вернуться к дипломатической игре суверенных наций — значило ли это идти к обновленному будущему или возвращаться в прошлое?

Отрешимся мысленно от пресс-конференций и рассмотрим голлистскую дипломатию 1962–1969 годов, то есть в период после алжирской войны, напомнив главные вехи. После неудавшейся попытки вовлечь Федеративную Республику Германии в тесный союз с Францией, побудив ее ослабить связи с Соединенными Штатами, Генерал хочет предстать главой страны, которая не просто один из членов западного блока, а великая держава, говорящая на равных с самыми великими. В то же время он сохраняет для Франции преимущества Атлантического союза, поскольку германо-американская армия стоит между советскими войсками и французскими границами. Возможно, Генерал ставил себе цель выйти из самого Атлантического союза. Возможно, он думал об «устрашении по всем направлениям» — таков был тезис генерала Айере, ведущий к нейтралитету и вскоре отвергнутый. Что осталось от голлистской стратегии? Это, с одной стороны,

самостоятельная оборона Франции, на основе ее ядерных стратегических сил, с другой — диалог с Советским Союзом: сам Генерал и вслед за ним Ж. Помпиду верили, что они призваны играть роль посредников между Советским Союзом и Западом, роль, которую никто другой не может исполнить за них. Сразу после отставки Генерала либерально-социалистическое правительство ФРГ приступило к осуществлению *Ostpolitik,* которая двенадцать лет спустя ставит под угрозу германо-американский союз и способствует глубоким переменам в дипломатии и настроениях немецкого народа. Сохранение политики разрядки напряженности становится в глазах общественности первейшей необходимостью. Объясняется ли агрессивность Генерала по отношению к Соединенным Штатам, проявлявшаяся более в словах, чем в действиях, тем сверхмогуществом, которое он приписывал Американской республике? Делал ли он вид, будто встает на сторону Советского Союза, чтобы восстановить равновесие? Не думаю, что мне под силу ответить на эти вопросы.

Я не отвергал политику Генерала в целом; я одобрял образование стратегических ядерных сил; ставил под сомнение европейские убеждения правительства и народа Великобритании; что касается франко-израильского союза, то он утратил свои основания, когда завершилась война в Алжире. Мою критику, возможно чрезмерную, вызывал сам стиль Генерала; между тем именно стилю он был обязан своим успехом. Положительные результаты могли быть достигнуты без скандала, без того чтобы раздражать наших партнеров и союзников.

Стиль и содержание в конце концов слились воедино. Генерал де Голль предстал в глазах мира, в особенности третьего мира, как представитель страны, противостоящей «американскому империализму». Я думал в то время и продолжаю думать, что Атлантический союз остается условием европейской безопасности, до тех пор пока европейцы отказываются нести расходы по собственной обороне.

Я всегда боялся не столько непомерного могущества Соединенных Штатов, сколько нестабильности страны-континента, которую превратности войн устремили в сферу планетарной политики и чьи руководители, по большей части плохо сознающие исторические судьбы республики, действуют по воле переменчивых течений общественного мнения. Неужели и сегодня Генерал опасался бы сверхмогущества Соединенных Штатов?

Когда Генерал ушел от дел, он, возможно, еще представлял себе Американскую республику, завязшую во Вьетнаме, как

единственную сверхвеликую державу.

XVII
МИР И ВОЙНА

В годы, проведенные в Лондоне, я начал интересоваться войной как социолог. Как и во многих других обстоятельствах, в основе моего решения лежало угрызение совести или по меньшей мере сожаление. По какому праву выносили мы до войны безапелляционные суждения о дипломатии, не зная ничего, или почти ничего, о военных делах, о соотношении сил, о шансах на победу или риске поражения? Для того чтобы обосновывать свои суждения о капитализме и социализме, я изучал экономику. Почему же я пренебрег тем, что немцы называют *Wehrwissenschaft,* наукой о войне?

Появление атомной бомбы вскоре после окончания военных действий ужаснуло и ошеломило всех. И перед гражданскими, и перед военными деятелями вставал вопрос: каким образом включить в традиционные взаимоотношения государств это орудие разрушения, несопоставимое по своей мощи с видами оружия, которые тут же окрестили классическими, или обычными? Будучи обозревателем международных событий в «Фигаро», я испытал потребность изучить как военный, так и исторический контекст принятия решений, которые мне, журналисту, надлежало понять и истолковать. «Сдерживание», американское *deterrent,* вошло в повседневный язык. С возникновением этого понятия в Соединенных Штатах получила развитие проблематика, которой занялись новые научно-исследовательские институты, во многих десятках книг разбирались вопросы: кто и кого может удержать, от чего, с помощью каких угроз, при каких обстоятельствах?

В период 1945–1955 годов я переосмыслил последствия двух войн столетия и в книге «Цепные войны» поставил вопрос относительно «холодной войны»: замена ли это тотальной войны или подготовка к ней? Особенности международной обстановки бросались в глаза каждому: мировой концерт вместо концерта европейского, утрата своего статуса бывшими великими, в частности европейскими, державами, водораздел между сверхдержавами и всеми прочими странами, идеологическое и политическое соперничество двух сверхдержав и двух половин Европы, невероятность глобальной войны как следствие существования ядерного оружия.

В одной из предыдущих глав я упомянул о моих первых концептуальных эссе, посвященных межгосударственным

отношениям. Я уже думал о будущей книге «Мир и война между нациями» и еще не думал о маленькой книжке «Великий спор», но в своих статьях я в какой-то степени участвовал в том, что по ту сторону Атлантики называли дебатами на тему *ядерной стратегии* — неточное определение, поскольку спор шел не столько о стратегии, сколько о потенциальном или действительном применении определенного оружия. А ведь если такое революционное оружие, как ядерное, изменяет совокупность межгосударственных отношений, то, взятое в отдельности, оно не исчерпывает стратегической мысли: размышления по поводу ядерного оружия составляют лишь часть последней.

После трех своих публичных курсов лекций в Сорбонне об индустриальном обществе я посвятил два следующих международным отношениям. Эти курсы, записанные и размноженные, соответствуют двум первым частям «Мира и войны», а именно *теории* и *социологии.* Затем я взял в Сорбонне годичный отпуск и провел один семестр в Гарварде в качестве *research professor*[195]. По возвращении я написал две последние части, озаглавленные «История» и «Праксиология» 252. (Последнее слово существует во французском языке, равно как и в английском, в обоих языках употребляется редко и не одобряется многими критиками.)

Книга честолюбивая, возможно даже слишком. Разделение на четыре части — теорию, социологию, историю и праксиологию — побудило меня изучить бо́льшую часть проблем, касающихся отношений между суверенными государствами.

В первой части Клаузевиц дал мне начальную идею любой теории межгосударственных отношений: непрерывности этих отношений при чередовании мира и войны; взаимодополняемости дипломатии и стратегии; насильственных и ненасильственных средств, употребляемых государствами для достижения своих целей или защиты своих интересов. Исходя из этого, анализ развивался в обзор или типологию целей, которые ставят перед собой государства, и средств, которыми они располагают. От (государственных) единиц я перешел к системам, то есть к сообществам, образуемым государствами в каком-то регионе мира или на всей планете. Межгосударственные системы, в отличие от других социальных систем, характеризуются отсутствием высшей инстанции, осуществляющей контроль или регулирование. Поэтому их характеризует прежде всего распределение могущества: если несколько государств, обладающих мощью одинакового порядка, вступают в борьбу, заключают союз либо противостоят друг другу, то система

тяготеет к такой форме, как европейский концерт прошлого столетия. Если же два какие-то государства превосходят все остальные, то возникает биполярная (двухполюсная) система. Многополюсные и двухполюсные системы функционируют различно. Другая характерная черта, различающая системы, — родство или, напротив, враждебность режимов, господствующих в государствах. В Европейской республике XVIII века монархи не вполне забыли о своем братстве. Как правило, они не поддерживали революционеров, восставших против законной власти, даже если это происходило в государстве, ставшем на некоторое время враждебным. Напротив, в разнородной системе каждое государство склонно оказать поддержку бунтовщикам и диссидентам враждебного государства. Священный союз 253 — иллюстрация первого типа систем, «холодная война» — второго. От типа систем я перешел к типам [поддержания] мира — для которых характерны равновесие, страх или удовлетворение, — чтобы осветить современную обстановку и ввести понятие воинственного мира; этим термином я обозначил систему, в которой мы живем с момента окончания Второй мировой войны.

Вторая часть, озаглавленная «Социология», содержала два раздела. Работа над главой «Пространство» побудила меня возобновить изучение геополитики, схем Х. Маккиндера и немецких теоретиков. Глава, посвященная «Численности», вовлекала меня в дискуссии о влиянии численности населения на исход военных конфликтов и на мирное соперничество. Подобным же образом в главе «Ресурсы» рассматривались различные теории, касающиеся отношений между теми или иными экономическими режимами и войной (или империализмом). Во втором разделе я пытался найти — но не нашел — соотношения между политическими режимами и образом действий на внешнеполитической арене; я спрашивал себя, удается ли историку распознать необходимый порядок становления, присущий нациям и цивилизациям.

Третья часть получила название «История», так как представляла собой анализ специфичной обстановки — состояния межгосударственной системы начала 60-х годов. Я долго колебался; ведь это актуальное исследование, которое Фернан Бродель предпочел остальным частям, снижало значимость всей книги. Неизбежно, что многие анализы современных ситуаций быстро устаревают, между тем как выводы трех других частей претендовали на менее скоротечную истинность. Кроме того, понятие Истории было взято в одном определенном значении исследования обстановки *einmalig* и *einzigartig* — единственной во времени и единственной по своим особенностям, тем не менее

анализ можно было счесть скорее социологическим, чем историческим (в том смысле, который придают этим словам университетские профессионалы). Я не излагал события в их последовательности, а, совсем наоборот, пытался закрепить главные черты констелляции, которой суждены более или менее быстрые, более или менее коренные изменения.

Эта историческая часть освещала не постоянные, но все же долговечные характеристики атомной эры. У двух господствующих государств, хотя и враждебных друг другу, имеется общий интерес: не допустить взаимного уничтожения. Об этом говорится в главе о «братьях-врагах». Отсюда проистекает напряженность между Соединенными Штатами и находящимися под их защитой европейскими государствами; последние опасаются то оказаться вовлеченными двумя сверхдержавами в смертельную войну, то лишиться своей самостоятельности вследствие сговора между Москвой и Вашингтоном. Устрашение, убеждение, подрыв — в этих трех словах заключены три главных аспекта международной обстановки той эпохи: ядерные вооружения, соперничество пропаганд, возмущения масс или меньшинств.

В четвертой части, «Праксиологии», делались практические выводы из трех предыдущих частей: «в поисках нравственности», «в поисках стратегии», «в поисках мира».

Во введении, озаглавленном «Концептуальные уровни понимания», я пытаюсь оправдать четырехчастное деление книги и использую сравнение со спортом — *футболом* — и экономикой. Но чем вновь прибегать к этим сравнениям, сослужившим мне службу на телевидении, лучше процитировать несколько фрагментов, в которых особенно ясно выражены главные идеи: «Центром международных отношений являются отношения, названные нами межгосударственными, те, которые сталкивают между собой единицы как таковые. Межгосударственные отношения выражаются в специфическом поведении персонажей, которых я назову символическими, — *дипломата* и *солдата.* Два человека, и только два, вполне действуют уже не как какие-то члены, но как *представители* сообществ, к которым принадлежат: *посол* при исполнении своих функций *есть* политическая единица, от имени которой он говорит; *солдат* на поле боя *есть* политическая единица, во имя которой он убивает себе подобного… Посол и солдат живут и *символизируют* международные отношения, которые в качестве межгосударственных сводятся к дипломатии и войне. Межгосударственным отношениям присуща одна своеобразная черта, отличающая их от всех прочих социальных отношений: они

разворачиваются под сенью войны, или, выражаясь менее фигурально, отношения между государствами по своей сути предполагают альтернативу „война или мир“».

Эта концепция нисколько не оригинальна, она продолжает традицию классической философии. До тех пор пока человечество не объединится во всемирное государство, будет сохраняться существенная разница между внутренней и внешней политикой. Первая стремится закрепить монополию на насилие за обладателями легитимной власти и не допускает множественности центров, обладающих силой оружия. Имманентная цель политики, когда дело касается внутреннего устройства сообществ, заключается в подчинении людей всевластию закона. Значение — одновременно идеал и цель — политики, когда дело касается отношений между государствами, состоит, по-видимому, в том, чтобы обеспечить выживание государств перед лицом возможной угрозы, которую создает существование других государств. Отсюда противопоставление, обычное в классической философии: искусство политики учит людей жить в мире внутри сообществ и учит сообщества жить либо в мире, либо ведя войну.

Из этого определения межгосударственных отношений вытекает важнейшее, на мой взгляд, следствие: поведение дипломата (в смысле лица, ответственного за внешнюю деятельность государства) не имеет внутренне присущей ему цели, сравнимой с целью спортивного игрока или участника экономической жизни. Для человека, управляющего государством, не существует эквивалента той максимизации полезности, к которой стремится экономическое действующее лицо и которую предполагают схемы экономической теории. «Теория международных отношений исходит из множественности самостоятельных центров решения, следовательно, из риска войны, из которого она выводит необходимость рассчитывать средства».

Эти положения, на первый взгляд очевидные, содержат, однако, урок или истину, которые часто отрицались: поведение государств, или независимых в военном отношении политических единиц, даже если предположить, что оно рационально, не соотносится с одной-единственной целью. Сказать, что государства действуют согласно своему национальному интересу, — значит ничего не сказать, до тех пор пока не определено содержание этого интереса. Гитлер понимал национальный интерес немецкого народа иначе, чем его предшественники и те, кто его сменил. Но альтернатива «мир или война» позволяет разработать основополагающие концепты

международных отношений, такие как стратегия и дипломатия, средства и цели, могущество и сила, слава и идея и т. д.

В более конкретном плане я напоминал о вечной проблеме межгосударственных отношений. Каждое сообщество должно рассчитывать прежде всего на себя, чтобы выжить, но также оно должно — или должно было бы — вносить свой вклад в общее дело государств, которым угрожает опасность вместе погибнуть, пытаясь одолеть друг друга. В нашу эпоху не только над государством, а над всем человечеством висит угроза гиперболичной войны. Предупреждение подобной войны становится для всех участников дипломатической игры такой же насущной целью, как и защита чисто национальных интересов.

Я обдумывал эту книгу на протяжении десятка лет. Именно для того, чтобы написать ее, я провел семестр в Гарварде. Когда книга вышла в свет, я придавал ей известную ценность, которую, вероятно, преувеличивал.

Поэтому меня не удивили чрезвычайно хвалебные отклики в печати. «Мастерское исследование» — заголовок в «Монд дипломатик» («Monde diplomatique»); «великая книга Раймона Арона» — отзыв «Монд» за подписью Альфреда Гроссе. Этьен Борн писал о «великолепно проявившихся ясности ума и политического воспитания». Жак Жюльяр, не слишком снисходительный к моим предыдущим трудам, поместил в «Эспри» исключительно благожелательную статью. Мне понадобилось несколько месяцев, чтобы выйти из эйфории и осознать недостатки своего «трактата», или «суммы знаний», как выражались некоторые обозреватели.

«Мир и война» еще больше, чем избрание в Сорбонну, закрепила примирение университетской среды со мной, журналистом. «Анналы» организовали нечто вроде заочного «круглого стола». П. Ренувен, А. Турен и ряд других авторов посвятили статьи книге или поднятой в ней теме. «Вы защищаете вторую диссертацию», — дружески сказал мне Пьер Нора. В каком-то смысле он был прав; столько книг на злободневные темы для великих университетских умов, например для Александра Койре, оказывались прискорбно близкими к публицистике. Даже и моя «Мир и война» никогда не была бы написана, если бы я начиная с 1947 года, неделя за неделей, не комментировал события международной политики; однако на этот раз книга вышла за пределы газетной публицистики, пусть последняя и питала ее.

Я получил письмо от Карла Шмитта, которому, через моего друга Жюльена Френда, послал экземпляр «Мира и войны».

Привожу несколько строк из этого письма:

«Я восхищаюсь совершенной диалектикой, с какой вы выявляете непреодолимый парадокс, парадокс, побуждающий две враждующие мировые державы к солидарности друг с другом в отношениях со своими собственными союзниками, и нахожу, что развитие кубинского кризиса блестяще подтверждает ваш анализ.

Если бы Ленин прочел вашу фразу: „Мы хотим не уничтожить, а обратить в свою веру“ (с. 686), он, вероятно, живо бы на нее отреагировал, как в 1915 году на фразу Клаузевица (с. 167). Клаузевиц пишет: „Завоеватель всегда любит мир; он с охотой входит спокойно в нашу страну“, а Ленин замечает на полях: „Грандиозно. Ага!“»

Фраза, которую имеет в виду Карл Шмитт, точно звучит таким образом: «Мы хотим не уничтожить того, кто хочет уничтожить нас, а обратить его в веру, имя которой — терпимость и мир». Эта фраза заключает следующее рассуждение: «Говорить, что мы должны не отставать от врага во всех областях, не означает, что нам надо брать его за образец. Напротив: идет ли речь о стратегии или о тактике, об убеждении или о подрывной деятельности, асимметрия фатально неизбежна». Выразим эту идею другими словами: Запад не может и не хочет навязывать свои порядки всем странам подобно тому, как это делает Советский Союз, навязывающий свою революцию как единственный путь к спасению и свой строй как единственно человечный. Был ли я прав, заключая из этого, что мы не хотим уничтожить того, кто хочет уничтожить нас? Ленин, вероятно, посмеялся бы над этим, но он не понял бы мою мысль: если бы мы «обратили» советских людей в нашу философию, мы в действительности «разрушили» бы сущность коммунизма.

Среди иностранных откликов, имевших для меня значение, вспоминаю о статье Голо Манна, который в еженедельнике «Цайт» («Die Zeit») сравнивал мою книгу с «Vom Kriege» («О войне») Клаузевица, и о статье профессора Мартина Уайта, специалиста по международным отношениям, слывшего несколько скептичным по отношению к своей науке. На страницах «Обсервера» («Observer») (23 апреля 1967 года) он в первых же строках представлял меня как европейского рыцаря, вступающего в бой, дабы отнять у американцев монополию на изучение международных отношений, и завоевавшего награду, подобно Дюгеклену в турнире с Черным принцем. Статья завершалась следующими строками: «На первой странице Арон замечает, что классические труды политической мысли явились плодом размышлений в периоды политических кризисов… У меня подчас возникало искушение воспользоваться этим доводом против

изучения международных отношений в качестве отдельной дисциплины… Книга Арона, благородная, умеренная, великолепная, делает невозможным дальнейшее употребление этого аргумента».

Рецензия в «Нью-Йорк таймс» была написана Генри Киссинджером, который охарактеризовал книгу как «глубокую, цивилизованную, блестящую и трудную». Прилагательное «трудная» меня не удивило, однако я не считаю его обоснованным, разве что книга объемом в восемьсот страниц трудна как таковая. Лео Штраус, которым я глубоко восхищался — у меня с ним была короткая встреча в Берлине в 1933 году, но с тех пор мы не виделись, — прислал мне по прочтении «Мира и войны» частное письмо, где утверждал, что моя книга, насколько ему известно, — лучшая из существующих на данную тему.

Эти столь ценные свидетельства не отражают приема, который был оказан книге в Соединенных Штатах. Оставив в стороне статью-экзекуцию, принадлежавшую перу одного принстонского профессора (А. Янга), рецензии по большей части представляли собой смесь похвал и критики, как это и подобает в отношении любой книги. В газетах подчеркивались объем и сложность произведения. Обозревателей специализированных журналов, казалось, скорее раздражали или настраивали на иронический лад характер «суммы знаний» или претензия на то, чтобы ввести в обращение некую «теорию». Нет ничего «теоретического», заявляли они, в этой «социологии» международных отношений, перегруженной анализами современной ситуации, которые заглушают долю фундаментального исследования или честолюбивую цель создать таковое.

Перевод на английский потребовал нескольких лет; издателю пришлось трижды давать на исправление работу, первоначально предпринятую превосходным литератором с репутацией опытного переводчика. Разрыв между обстановкой, которую я описывал в третьей части, и ситуацией, сложившейся четырьмя или пятью годами позже, дал критикам повод для нападок. Выводы, скорее негативные, чем позитивные, в конце ряда глав (особенно во второй части), видимая двусмысленность «Праксиологии» пришлись не по душе многим читателям. Как замечал профессор Фокс в своей рецензии, вся книга несла отпечаток германского влияния, в частности Вебера, и американской школы международных отношений; французский автор синтезировал на свой лад и в присущем ему стиле эти два влияния. Итак, произведение сложное и трудное.

При всем том я постепенно пришел к убеждению, что

относительный[196] провал «Мира и войны» в Соединенных Штатах был обусловлен как недочетами книги, так и случайными обстоятельствами вкупе с нормальным соперничеством специалистов. Я утомил бы читателя, если бы, двадцать лет спустя после выхода книги, стал отвечать на критические отзывы. Некоторые из них были хвалебными (среди французских авторов упомяну только Ж.-Б. Дюрозеля, франко-американца Стенли Хоффмана и Ж.-Д. Рейно). Мне хотелось бы объяснить причины, по которым я склонен считать, что достиг своей цели лишь наполовину. Смысл, который я придавал — и придаю до сих пор — «теории» (при том что я охотно отбросил бы сам термин), кажется мне обоснованным; но вот различие между первой частью («концепты и системы») и второй («детерминанты и закономерности») разработано плохо. Некоторые главы второй части слабы.

Хоть я и сделал упор на новых элементах, которые приносит ядерное оружие, хоть я и ставил себе цель включить его в дипломатическую практику, но удалось ли мне установить необходимое равновесие между чудовищностью оружия и банальностью межгосударственных отношений? Формула *выжить — значит победить* кажется мне сегодня более двусмысленной, чем вчера, хотя, вероятно, я все еще склонен оправдывать ее, по меньшей мере частично. Меня можно упрекнуть и упрекали — в том, что я свел сегодняшний мир к миру прошлого и сосредоточился на межгосударственной сфере в ущерб транснациональной, или межнациональной, или наднациональной. Да, конечно, я в некотором роде содействовал осознанию этих различий, но не извлек из этого пользы для себя. Транснациональное сообщество — экономическое, идеологическое, религиозное, игнорирующее и часто лишающее смысла границы — было мною концептуально идентифицировано и местами упомянуто, но не исследовано глубоко. Вероятно, можно было бы сказать (но ошибочно), что дипломатически-стратегическое поведение, составляющее центральную тему моей книги, становится менее важным сектором в совокупности международных отношений. Я включил ядерное оружие в обычную *(as usual)* дипломатию, не уточнив место последней по отношению к транснациональной сфере, к мировой экономике. Мне хотелось написать трактат о войне и мире в обыденном значении этих слов, о войне кровавой, в которой действует оружие. Я не отрицал ни войну радиоволн, ни торговую или валютную войну, ни войну идеологий; я даже коснулся некоторых аспектов этих войн или, скорее, этих соперничеств, но в 1961–1962 годах конфронтация между Востоком и Западом находилась,

на мой взгляд, в центре межгосударственных отношений. Я и сегодня придерживаюсь того же мнения, однако мне следовало бы обосновать свой выбор, сократить другие рассуждения и увязать анализ межгосударственной системы с анализом мирового рынка (или двух экономических систем — капиталистической и социалистической).

Я пожертвовал также тем аспектом дипломатической реальности, который становится все важнее, а именно — зависимостью дипломата (в значении, придаваемом мной этому слову, — человека, принимающего решения во внешнеполитической деятельности) от различных влияний внутри политического класса или внутри самого общества. Дж. А. Эллисон утверждает в своей книге, что я в конечном счете, вопреки оговоркам и нюансам, сохраняю понятие «рационального действующего лица» или, выражаясь другими словами, допускаю отождествление сообщества с «индивидуальным действующим лицом». Между тем столь распространенные в Соединенных Штатах исследования на тему *decision-making,* искусства принятия решений, доказывают, что президент США не похож на стратега, свободного от каких-либо стеснений или нажима и единовластно рассчитывающего свои возможности в виду поставленной себе цели. Американские президенты — как, в известной мере, даже Сталин и Гитлер, — получают информацию от более или менее самостоятельных служб; прежде чем принять решение, обсуждают его с советниками, в том числе с военачальниками. А эти советники или эти поставщики информации, в свою очередь, не являются рациональными действующими лицами, выполняющими свою миссию без иной мотивации, нежели истина или национальный интерес. Они принадлежат к некой организации, служат ЦРУ или «Эр Форс» («Air Force»), а не непосредственно Соединенным Штатам. Они расточают противоположные советы, ибо действуют — по крайней мере отчасти — в соответствии с интересами своей организации. Быть может, нигде за пределами Соединенных Штатов соперничество организаций не вызывает столько страстей и не принимает почти институционального характера. Но более или менее смягченное подобие этого явления обнаруживается и в других странах, будь то в нашу эпоху или в прошлом. Тот, кто хотя бы немного изучал события, происходившие в дни, предшествовавшие войне 1914 года, не питает больше иллюзий относительно хаоса мнений, интересов и страстей, из которого рождается в конце концов несколько решений, чреватых гибелью миллионов.

Разумеется, мне и тогда не был неведом разрыв, существовавший между «рациональным действующим лицом» —

Францией, Россией, Германией, Австро-Венгрией — и теми ответственными лицами в этих странах, которые конкретно делали Историю. Мне следовало бы, особенно во второй части, посвятить углубленное исследование этому аспекту дипломатии, не то чтобы новому, но явственно обозначившемуся в нашу эпоху. Тем самым я проиллюстрировал бы по меньшей мере одну задачу, находящуюся в ведении социологии — не макросоциологии, практикуемой П. А. Сорокиным, а эмпирического социологического анализа, применимого ко всем секторам общества, ко всем стилям поведения социального человека.

Я упрекаю себя также в недостаточной разработанности некоторых глав второй части, в особенности той, что озаглавлена «Корни института войны». Мое знание литературы о войнах в так называемых архаических обществах было, разумеется, неудовлетворительным.

Ограничусь этим наброском самокритики. Во Франции и некоторых других странах эта книга явилась если не «суммой знаний» или неким «монументом», то, по крайней мере, систематизированным анализом не всех, но многих проблем и аспектов международных отношений (особенно нашей эпохи). Большинство американских профессоров не сочло эту попытку полезной для себя; многие из них заметили в ней лишь недостатки или пробелы. Вне Соединенных Штатов профессора и студенты оценили и все еще ценят мою попытку менее сурово. Для этого ретроспективного обзора праксиологические выводы важнее, чем суждение о научных достоинствах и просчетах книги.

Здесь мне следует рассмотреть одновременно эссе «О войне», включенное в книгу «Надежда и страх века», и «Великий спор. Введение в ядерную стратегию». Главы «Мира и войны», посвященные «Сдерживанию» и «Игре вничью» в Европе, удовлетворяют меня меньше, чем «Великий спор».

Вместе со многими другими я участвовал в концептуальной разработке того, что американцы именуют *ядерной стратегией.* Первая фаза — *одностороннее устрашение:* Соединенные Штаты одни располагают единым комплексом носителей (тяжелые бомбардировщики «Стратиджик Эйр Комманд» («Strategic Air Command»)) и атомными бомбами. Вторая фаза: Советский Союз также обладает атомными бомбами и бомбардировщиками, способными благодаря своему радиусу действия достичь американской территории. Третья фаза: с обеих сторон термоядерное оружие дополняет или заменяет атомные бомбы, а к бомбардировщикам добавляются ракеты. Это уже конец 50-х и начало 60-х годы, когда я писал «Мир и войну» и «Великий спор».

С тех пор число ядерных боеголовок (английское *warhead*, переводимое часто как *ogive; я* употребляю слово *ogive* только в значении совокупности ядерных боеголовок, переносимых одной ракетой) резко возросло благодаря технике MIRV (Multiple independently targetable vehicles), а точность ракет делает уязвимыми ракеты, запускаемые с земли (ICBM). Знаменитая статья Альберта Уолстетера «The delicate balance of terror» («Хрупкое равновесие страха»)[197] вновь становится актуальной.

Великий спор внутри Атлантического союза начался в конце 50-х годов: является ли по-прежнему убедительной угроза ответить на агрессию в Европе бомбардировкой советской территории, с тех пор как Советский Союз приблизительно сравнялся с Соединенными Штатами в способности уничтожить врага? Устрашение — ключевой концепт американской мысли в области ядерной стратегии — находится в конечном счете в ведении психологии. Чтобы придать видимость научности рассуждениям об убедительности или неубедительности устрашения, все авторы пользовались терминами «рациональное» или «рациональность». Рационально ли поступил бы президент Соединенных Штатов, подняв в воздух самолеты «Стратиджик Эйр Комманд» в ответ на пересечение демаркационной линии советскими войсками? Был бы он готов пожертвовать Нью-Йорком и Вашингтоном, чтобы спасти Гамбург и Париж? Возникла нескончаемая дискуссия: чтобы дискредитировать американскую политику устрашения, некоторые стратеги предполагали вначале провал попытки сдерживания — то есть советскую агрессию в Европе; другие мысленно оказывались в ситуации перед агрессией и находили иррациональным возможное решение советских руководителей напасть на Европу, не прибегая к ядерному оружию и оставляя таким образом американцам преимущество первого удара.

Я присутствовал в 1960 году в Гарварде на объединенном семинаре Гарвардского университета и Массачусетского технологического института, на котором были разработаны идеи, заимствованные затем администрацией Кеннеди, и принял в нем участие. В свете опыта 50-х годов эти профессора пришли к выводу, что Соединенные Штаты не могут и не должны пытаться сдерживать угрозой применения ядерного оружия любую возможную агрессию Советского Союза, его союзников или сателлитов. В этом смысле они отказались от так называемой доктрины массированного возмездия и занялись поиском другой доктрины, которая получила наименование *flexible response,* гибкого реагирования. Эта доктрина была создана применительно к европейской ситуации; в широком смысле она распространялась

на всю американскую стратегию; ядерное оружие становилось в американском арсенале крайним средством. Одновременно американцы неявно отказывались от возможной концепции, согласно которой ядерное оружие стало бы не только устрашающим, но и решающим, предназначенным не только предупреждать войны, но и завершать их. В этом пункте я последовал за американцами; ныне я задаю себе вопросы.

Тогда дискуссия велась по трем главным пунктам:

1) Приняв за несомненную истину, что ядерная война представляет собой величайшую опасность, американцы разработали стратегию, которая, в случае военных действий, свела бы к минимуму риск эскалации. Они утверждали и доказывали, рассуждая логически и ссылаясь на опыт, что враги будут соблюдать сами, без четко сформулированного соглашения, кардинальное различие между обычным и ядерным оружием. Исходя из этого общего тезиса доктрина, названная именем Макнамары, предусматривала усиление в Европе классических средств обороны, что позволило бы максимально отсрочить применение ядерного оружия. По инициативе президента Эйзенхауэра, американская армия создала первую дивизию, обученную сражаться с применением ядерного оружия или без него. Эта попытка была оставлена, когда Дж. Ф. Кеннеди перенял идеи профессоров: тактическое ядерное оружие накапливалось в арсеналах и решение об его употреблении должно было принадлежать отныне одному лишь президенту Соединенных Штатов[198]. По мнению американцев, стоит только перешагнуть ядерный порог, как не останется никакого предохранительного механизма. Эскалация, принятие крайних решений стали бы не неизбежными, но весьма вероятными.

2) Ослабила ли бы доктрина гибкого реагирования действенность американского сдерживания? Усмотрели ли бы в ней советские руководители признак меньшей решимости сохранить Европу, пусть даже ценой ядерной войны? Или, напротив, обеспечив себе классические средства защиты, не усилил ли бы многократно Запад одно устрашение другим? Тот, кто заявляет заранее, что немедленно развяжет апокалипсис, блефует; тот, кто готовится одновременно к сражению и к применению в крайнем случае ядерного оружия, занимает рациональную позицию, которая будет принята всерьез другой стороной скорее, чем блеф («прекратите, или всем будет худо»).

3) Французы испытали в 1960 году свою первую атомную бомбу, и генерал де Голль счел приоритарной задачей создание так называемой ударной силы, или, согласно официальной формулировке, ядерной стратегической силы. Стратегам и

военным пришлось разработать доктрину, обосновывающую применение малой ядерной силы против большой. Сдерживание сильного слабым остается с тех пор официальной доктриной Франции.

Читатель, которому любопытно ознакомиться с этим великим спором, найдет в книге под таким названием аргументы разных его участников. Что касается моих позиций, то мне кажется, вот какими они предстают в моих книгах и статьях. По первому пункту я согласился с доктриной Макнамары или, шире, отошел от доктрины массированного возмездия. Корейская кампания доказала, что сверхдержаве, обладающей громадным арсеналом, все же не удается запугать Северную Корею или Народный Китай. Высказывания Дж. Ф. Даллеса после перемирия в Корее, которые, казалось, возрождали первоначальную доктрину массированного возмездия, никого не убедили. Предметом споров остается по-прежнему относительная действенность обеих доктрин в качестве сдерживающего фактора в частном случае Европы.

С чем я никогда не был согласен в доктрине Макнамары, по крайней мере применительно к Европе, так это с догматизмом в отношении тактического ядерного оружия. Безусловно, неявное соглашение врагов об ограничении военных действий требует внятных обращений с обеих сторон: атомный порог является стопором, немедленно понятным всем. Если его переступить, то других, столь же отчетливо видимых преград не существует. Однако мне не казалось закономерным делать из этих положений вывод, что применение тактического ядерного оружия *обязательно* приведет к крайнему, наихудшему варианту, иначе говоря, к взаимному разрушению городов воюющими сторонами.

В вопросе относительной действенности двух доктрин я никогда не занимал догматической позиции по причинам, которые мне представлялись все более серьезными. Вся теория или риторика сдерживания основана всего лишь на умозрительных предположениях, которые не становятся научными оттого, что проиллюстрированы моделями. Диспропорция между тем, что выигрывают или теряют участники дипломатического конфликта, с одной стороны, и тем, во что обойдется обмен ядерными ударами, — с другой, так велика, что цифровые модели утрачивают всякую ценность. Кроме того, я почти всегда испытываю некое отвращение к абстрактно-теоретическим рассуждениям на тему устрашения.

В одной из своих книг[199] Герман Кан цитировал мою фразу: «Нужно не абстрактно дискутировать о сдерживании, а знать, кто удерживает кого, от чего, какими угрозами и в каких обстоятельствах». Тот, кто рассуждает абстрактно, несомненно

придет к выводу, что Соединенные Штаты не могут спасти Западный Берлин, угрожая Советскому Союзу ядерными бомбардировками. Поскольку защита на локальном уровне, как совершенно очевидно, исключена, следовало ли Западу сделать заключение, что партия заранее им проиграна? Сами берлинцы никогда по-настоящему не боялись военного захвата Западного Берлина советскими войсками. Сдерживание подействовало, хотя в Советском Союзе и не поверили в то, что американцы ответили бы на оккупацию Западного Берлина оргией насилия. Западный Берлин означает для американцев нечто гораздо большее, чем два миллиона немцев и часть столицы бывшего Рейха. Западный Берлин символизирует жизненный интерес Американской республики. Одна сверхдержава не может нанести ущерб жизненным интересам другой сверхдержавы, если только она не идет на риск большой войны или длительного периода крайней напряженности.

Вернемся к защите всей Западной Европы. Фронтальное нападение на войска НАТО представлялось мне, в любом случае, невероятным. Подобную атаку нельзя было — и нельзя сейчас — вообразить иначе, как в рамках войны с участием Соединенных Штатов, следовательно, всеобщей. Так что пыл трансатлантических споров, которые велись между 1961 и 1963 годами, носил искусственный характер. А потому начиная с 1963 года, после кубинского ракетного кризиса и отмены псевдоультиматума Хрущева 254, дебаты затихли сами собой, чтобы возобновиться примерно пятнадцатью годами позже.

В действительности НАТО официально принял американскую доктрину гибкого реагирования; странный проект многосторонних сил был оставлен; специальному комитету, в котором заседали представители главных союзников, было поручено разработать планы ядерной стратегии или, по крайней мере, информировать о них европейцев. С каждой стороны сохранялись мысленные оговорки: является ли сценарий поэтапного ответа наилучшим средством сдерживания? Обладает ли Запад достаточными обычными вооружениями для продолжительной обороны без применения тактического ядерного оружия? Не придет ли это оружие, покоящееся где-то на складах, в негодность, до того как послужит? Будет ли советская атака происходить в соответствии с прогнозами НАТО?

«Великий спор» имел хороший прием в Соединенных Штатах и был использован в ряде университетов. Когда Р. Макнамара принимал меня в Пентагоне, у него на письменном столе лежала моя книга. Он заявил, что из многочисленных работ на эту тему предпочитает мою. (Хотел ли он польстить журналисту?

Г. Киссинджер уверял, что ему Макнамара говорил обо мне то же самое.) Впрочем, не важно. Эта небольшая книга, написанная за три недели, проведенные в деревне, сразу после курса лекций, прочитанного мною в Институте политических исследований, не содержала оригинальных идей (да и было ли это возможно?), но без какого-либо догматизма освещала теоретический спор, вылившийся в конце концов в умозрительные рассуждения психологического свойства. Несколько штрихов придали остроты анализу. Я задавался вопросами: не играют ли советские руководители, эти шахматные гроссмейстеры, в покер, отвергая возможность ограниченных войн? Не мечтают ли американцы о стратегической шахматной партии, множа на бумаге промежуточные фазы между «все» и «ничего», между апокалипсисом и капитуляцией? Предпочитают ли американцы иметь перед собой противника, искушенного в тонкостях стратегической мысли, или, наоборот, противника, не ведающего, о чем думают американцы? Короче, пригласили ли бы они члена Политбюро слушать лекции в «Рэнд корпорейшн»?

Р. С. Макнамара оспорил одну мою, поразившую его, фразу: между союзниками, писал я, желательно избегать недоразумений и способствовать взаимопониманию; напротив, между врагами должна оставаться неопределенность замыслов, если уж не недоразумение. Секретарь по вопросам обороны, склонный к рациональному мышлению, с трудом мог согласиться с двусмысленностью отношений между врагами. Тем не менее какой-то элемент блефа кажется мне неизбежным в дипломатических кризисах. Правда, оглядываясь на историю, можно приписать часть ответственности за развязывание войн, например войны 1914 года, скудости коммуникации. Если бы австрийцы знали, что русские пойдут на риск или возьмут на себя инициативу большой войны ради поддержки Сербии, то, возможно, они поступили бы иначе. Но в действительности австрийцы с самого начала играли по-крупному: они собирались покарать Сербию и, опираясь на всемерную поддержку Берлина, запугать и вынудить к бездействию Россию. Австрийцы понимали, что может разразиться всеобщая война, но как бы они могли достичь своих целей, не пойдя на этот риск? Однако в современных кризисах, развивающихся под сенью ядерного апокалипсиса, их активные участники извлекут более миролюбивые выводы из неопределенности, непредсказуемости ответа врага. До тех пор пока великие державы противопоставляют себя друг другу, ставят перед собой несовместимые цели и обмениваются угрозами применения силы для осуществления своих замыслов, диалог не сводится ни к

спору, ни к игре: он остается конфликтом, который не обязательно перерастает в смертельную схватку, но который ускользает от полного контроля разума и исключает прозрачность намерений участников.

Откуда эта вспышка страстей в 1961–1963-м и почти полное безразличие через два-три года? Европейские государственные деятели и журналисты были по большей части незнакомы с развитием американских идей в университетах и «питомниках мысли» *(think tanks)*. Дж. Ф. Кеннеди вместе с университетскими советниками ввел эти идеи в обиход. Поскольку большинство министров и обозревателей держалось еще первоначальной доктрины массированного возмездия и простого *casus belli* (факт пересечения демаркационной линии), видимые тонкости новой доктрины были плохо поняты или, по крайней мере, истолкованы наименее снисходительным для американцев образом. В понимании немцев, новая доктрина предполагала, а следовательно, выражала согласие на захват части их территорий; французы поставили под вопрос значимость американского сдерживания. Приобрел популярность тезис генерала Галлуа: «Ни одно государство не может защитить другое», то есть Соединенные Штаты не стали бы жертвовать своими городами, чтобы спасти города своих союзников.

Этот тезис определил последнюю тему книги «Великий спор»: французские силы сдерживания и их эффективность. Я уже обсуждал этот вопрос в предыдущей главе, в свете «Фигаро». В «Великом споре» дискуссия была более абстрактной.

Оправдывает ли природа ядерного оружия само понятие сдерживания сильного слабым? Несомненно, когда речь идет об оружии, каждая единица которого вызывает катастрофу, то понятие равенства или равновесия меняет свой смысл. Малая страна может в некоторых обстоятельствах удержать от применения силы Великую, несмотря на диспропорцию между ущербом, который нанесла бы она, и тем, который был бы причинен ей. Хотя не следует доводить эту правдоподобную мысль до абсурда. Нужно еще, чтобы слабая сторона убедила своего врага в том, что она действительно готова принять смерть взамен раны, которую нанесла бы. Выразить рационально это вероятное сдерживающее воздействие не составляет труда: ставка, которую представляет собой Малая страна, не стоит риска, на который пошел бы агрессор. Но какова «ценность» Малой страны? Какова цена «риска», которую Великая страна сочтет достаточно высокой? Иначе говоря, какой французский президент направил бы «Миражи-IV» на Москву, если на Францию не было совершено ядерного нападения?

Допустив абстрактную вероятность сдерживания сильного слабым, нужно было в 1961–1963 годах рассмотреть историческую обстановку не при помощи схемы или воображаемого расчета величины риска и ценности ставки, а обратившись к конкретным данным. Географически Франция не имеет общей границы с Советским Союзом; политически она принадлежит к Атлантическому союзу. Должны ли были стратегические ядерные силы Франции удерживать Советский Союз от агрессии против одной нашей страны в начале 60-х годов? Подобная агрессия была непредставимой тогда и остается такой же сегодня.

Сейчас мы уже не в 1962, а в 1982 году; остановимся на мгновение, чтобы напомнить, какие события произошли за последние двадцать лет.

Во время своей избирательной кампании Дж. Ф. Кеннеди заявил в обличающих тонах о *missile gap,* ракетном разрыве, преимуществе Советского Союза в ракетной области. Как только его избрали, он обнаружил, что эту «брешь» незачем было затыкать, ибо ее не существовало. СССР отнюдь не произвел в кратчайшие сроки величайшее число межконтинентальных ракет, он развернул — дело было в 1962 году — несколько сотен ракет среднего радиуса действия и небольшое количество (может быть, сотню или чуть больше) межконтинентальных ракет: «Советский Союз не наладил серийного производства стратегических бомбардировщиков, способных достичь целей, расположенных в Соединенных Штатах, и не произвел тех сотен межконтинентальных снарядов, которых опасались американские эксперты в 1957–1958 годах. То ли из-за недостатка средств, то ли для того, чтобы сосредоточить усилия на следующем поколении ракет, советская сторона в своем стремлении уравновесить огромный американский военный механизм довольствуется некоторой способностью реагирования (возможностью репрессалий, в которой, как заявляют в Советском Союзе, они уверены при любых обстоятельствах) и превосходством в обычных видах оружия и ракетах среднего радиуса действия над средствами защиты или ответного удара, которыми располагает Западная Европа»[200].

Американская доктрина гибкого реагирования основывалась на преимуществе высшего уровня, которым обладали США в межконтинентальных ракетах или — в более широком плане — на возможности «контроля за эскалацией». Если американское преимущество станет возрастать по мере эскалации, то, как считают стратеги, ответственные за управление кризисами со

стороны Соединенных Штатов, в их власти будет установить уровень, на котором предстоит развернуться военным действиям.

Обстановка в Европе и в мире глубоко изменилась по двум совокупностям причин — политическим и экономическим. В сценариях американских доктрин предполагалось, что агрессия исходила бы от Советского Союза и что он должен был бы логически воспользоваться своим преимуществом, а именно обычными вооружениями. Американцы предположительно обладали возможностью контролировать эскалацию. Советские авторы военных трудов открыто не касались излюбленных американцами сценариев. В американских разграничениях и стратегических анализах они видели хитрости империализма. Они утверждали, что, если однажды начнется война, она перерастет в тотальную и что применение ядерного оружия окажет решающее влияние на исход военных действий.

К 1981 году Советский Союз не только сохранил, но и увеличил свое преимущество в обычных видах оружия; специализированные батальоны, оснащенные химическим и ядерным оружием, включены в советские дивизии. На высшем уровне — межконтинентальных ракет — СССР достиг по меньшей мере равенства со своим соперником; быть может, даже «теоретического» превосходства в том смысле, что на бумаге ядерные боеголовки больших советских ракет — «СС-18» и «СС-19» — оказывались способными вывести из строя американские «ICBM». *Missile gap,* ракетный разрыв, не существовал в 1960–1961 годах; в 1982 году он сложился в пользу СССР.

К изменению соотношения между американскими и советскими силами добавился технический прогресс, если не техническая революция: увеличение точности попадания в цель ракет, в том числе межконтинентальных. Ракеты первого поколения были призваны поражать обширные мишени, среднее расхождение с намеченной целью исчислялось в километрах. Ныне оно исчисляется в сотнях метров. Поэтому ракеты, включая ракеты дальнего радиуса действия, вновь становятся боевым оружием, а не только оружием устрашения. Уже в 1961 году я так обозначил асимметрию советской и американской доктрин: если верить советским стратегам, они придерживаются альтернативы между тотальной войной и отсутствием войны; американцы же проектируют все новые разграничения между различными сценариями кризисов и военных действий.

Двадцать лет спустя асимметрия доктрин сохраняется, но она видоизменилась. Советские военные книги, переводимые на английский попечением Авиационного ведомства США,

принимают как данность формулировку Клаузевица, освященную одобрением Ленина, согласно которой война есть продолжение политики другими средствами. Ядерная война, став катастрофой для человечества, подтвердила бы вместе с тем этот принцип, ознаменовав последнюю, решающую фазу смертельной борьбы двух социальных режимов; она должна была закончиться победой социалистического лагеря. Советские авторы, для которых понятие сдерживания не является центральным, утверждают, что ядерная война может и должна быть выиграна, а не просто предупреждена. Американцы, со своей стороны, много размышляли и писали о способах избежать ядерной войны и относительно мало о том, что они сделали бы в том случае, если бы война с применением ядерного оружия разразилась.

Разумеется, советская военная литература содержит всегда вперемежку теорию и пропаганду (по крайней мере, как мы это понимаем). Ничто не доказывает, что члены Политбюро или военные авторы искренне считают, будто ядерная война может быть выиграна. Но все зависит от смысла, который придается понятию «ядерная война». Каждая из сверхдержав обладает средствами опустошить города соперника, даже если эвакуация городского населения и гражданская оборона снизят людские потери. Возможность взаимного уничтожения значительно ослабляет разумность, а следовательно, убедительность ядерной угрозы. Однако точность ракетных ударов позволяет вывести из строя ракеты противника или, на европейском пространстве, поразить важнейшие центры обороны НАТО, не превратив при этом Западную Европу в радиоактивные развалины. Каждый может вообразить сценарии, завершающиеся не взаимным уничтожением, а капитуляцией одного из лагерей или переговорами, предпринятыми до того, как разыграется апокалиптическая оргия насилия.

Книгу «Великий спор» следовало бы переписать или добавить к ней несколько глав. Франция обладает сегодня теми ядерными подводными лодками с ракетами на борту, которые двадцать лет тому назад казались мне самой сутью подлинных стратегических ядерных сил. Но, согласно официальным заявлениям, ракеты по-прежнему нацелены на крупные города из-за отсутствия необходимой точности в случае избрания собственно военных мишеней. Кроме того, политическая судьба Франции неотделима от судьбы остальной Западной Европы. Угроза прибегнуть к ядерному оружию, быть может, и предохраняет нашу страну от нашествия, но можно ли вообразить Францию, остающуюся свободной в советизированной Европе? Силы сдерживания дали бы нам, по крайней мере, передышку, чтобы адаптироваться к

создавшейся обстановке.

Приглашенный Британским позитивистским обществом на вторые Контовские чтения, я выбрал для своей лекции тему «Индустриальное общество и война» («La société industrielle et la guerre»). Это было рискованное предприятие, поскольку я взял за основу один из наиболее слабых и опровергнутых событиями тезисов Огюста Конта — о коренной противоположности двух типов общества, военного и индустриального. Второй тип, по Конту, самой своей сутью предназначен для мирной жизни: разработка природных ресурсов посредством просвещенного наукой труда сделает ненужным обогащение путем насилия и захвата добычи.

Отчасти принимая вызов, отчасти в виде интеллектуального эксперимента я попытался спасти кое-что от тезиса Конта. Я не раз оспаривал ленинское положение о том, что войны в нашу эпоху являются следствием капитализма; мне доставило некоторое удовольствие отыскивать в обществе, посвятившем себя труду, надежду на примирение межгосударственных отношений. Перед тем как прочесть лекцию в театре, в подвальном помещении *London School of Economics and Political Studies, я* подготовил рукопись объемом около восьмидесяти страниц; внес в нее исправления и добавления уже после лекции, от которой у меня сохранилось приятное воспоминание. Зал был заполнен, и аудитория слушала меня до конца, хотя я, вопреки всем правилам, не уложился в часовой лимит (говорил час с четвертью). Очерк «Индустриальное общество и война» несколько раз переиздавался, в сборниках или отдельно.

Я предоставляю любознательному читателю обратиться к первым частям этой работы, содержащим толкование идей Конта в свете истории войн XX столетия, анализ первой и второй половины века, краткий обзор теорий Т. Веблена и Й. Шумпетера. Перехожу к заключению или, скорее, четвертой части очерка, где перечислены три главных условия, необходимых для умиротворения межгосударственных отношений в эпоху индустриальной цивилизации: уменьшение разрыва между привилегированным меньшинством и не вышедшей из бедности преобладающей массой рода человеческого; создание наций, готовых принять друг друга внутри международного сообщества; прекращение антагонизма между двумя великими державами и двумя господствующими идеологиями.

Первое условие я не считал *в принципе* неосуществимым, хотя в ближайшие десятилетия перспективы для него неблагоприятны. Второе условие, равнозначное устранению политики силы, мне

казалось трудным уточнить в институциональном плане. Длительный мир не основывается ни на равновесии сил, ни на всеобщем страхе, ни на имперском порядке; нужно вообразить, что благоденствие всех задумано как необходимое для благоденствия каждого и что сообщество признает наднациональный характер экономического порядка. Третье же условие — смягчение конфликта между советским и западным мирами, — я считал теоретически возможным, но исторически по меньшей мере отдаленным. «Доктрина, которая в советском понимании должна направлять переустройство общества, — это не позитивизм, проповедующий сотрудничество классов, а марксизм, объявляющий неизбежной борьбу между пролетариями и капиталистами и не видящий иной надежды на мир, кроме полной победы первых. Такая доктрина разделяет человечество, превозносит режимы, исповедующие ее, безжалостно осуждает другие, словом, содействует тому, что Огюст Конт называл войнами по принципиальным мотивам».

По ходу моего анализа я спорил с различными доктринами поддержания мира, которые в той или иной форме защищали авторы XIX века; либералы мечтали о Республике торгового обмена, социалисты — об Интернационале восторжествовавшего пролетариата, тогда как экономисты делали ставку на устранение военного класса. Я не разделял ни одно из этих оптимистических или утопических в*и*дений. Если и предположить, что индустриальная цивилизация сделает войну неразумной, она еще далеко не уничтожит все мотивы раздоров. Чаще всего господство над другими странами теперь экономически невыгодно, однако обладание песками, таящими в себе черное золото, щедро окупается. Идеальная колония XX века — это пустыня, где имеется нефть. Но поверх этих маргинальных случаев встает подлинный парадокс. Жизнь в индустриальном обществе, как ее определял Огюст Конт, подразумевает образ мыслей, социальное устройство и систему управления, совокупность которых, казалось бы, несовместима с духом войны. На деле все обстоит совершенно иначе: образ жизни индустриального общества неотделим от противоположных идеологий, старинных предрассудков, национальных соперничеств. Ошибочно считать деспотизм пережитком прошлых эпох. Индустриальное общество не исключает никакой тирании, оно не обязательно связано с каким-либо определенным политическим строем. Наконец, даже в этом тексте, в котором более, чем в любом другом, анализ современных войн представлен с социологической точки зрения, я напомнил мимоходом о границах социологического толкования: «…участие в коллективном могуществе доставляет людям такое

удовлетворение, что оно сметает прочь экономический расчет и придает смысл жертвенности. Честолюбивое стремление к власти, гордость от победы над другими людьми не менее глубоки в человеке, чем желание благ мира сего. Эта воля к власти может быть утолена в сообществе и посредством сообщества. Если власть — цель в себе, а не средство, то окажется ли достаточно индустрии, чтобы установился мир между людьми, которых меньше заботит собственная жизнь, чем господство над себе подобными?»

Звучала ли концовка этого текста оптимистично или пессимистично? Перечитывая его, я нахожу оптимизм несколько натянутым, ибо из самого анализа напрашиваются пессимистические выводы.

Оптимизм преобладал только в одном-единственном пункте: для держав, обладающих ядерным оружием, обоюдная заинтересованность в предотвращении схватки между ними гораздо важнее интересов, которые то там, то здесь противопоставляют их друг другу. За неимением общего царства, две сверхдержавы должны разумно предпочесть ограниченные опасности вооруженного мира безмерному риску, который представляет собой горячая война. Переходная фаза, как назвал ее Огюст Конт, порождает бесчисленные конфликты между нациями, идеологиями, религиями, но все же не отменяет надежду избежать неограниченных войн.

Какая перспектива открывается за переходной фазой, которая продлится, вероятно, несколько столетий? На протяжении этого периода распространение индустриального образа жизни наталкивается на сопротивление многовековых традиций, потрясает устойчивый порядок прошлого, сеет нищету среди неисчислимых толп, умножает причины конфликтов. Если предположить, что у переходной фазы будет «после», «ничто, на мой взгляд, не доказывает, что *homo sapiens* должен окончить свой земной путь в безумной катастрофе… Огюст Конт ошибался, полагая, что войны прекратятся, потому что от них уже не будет никакой пользы. Правы ли мы, когда, переходя к другой крайности, не видим больше разницы между осмысленным и безрассудным, разумным и нелепым?» Финальную фразу я не заготовил, она пришла мне в голову экспромтом во время лекции: «Мы утратили вкус к пророчествам, не забудем о долге надежды». Журналист «Таймс литэрари сапплемент» («Times Literary Supplement»), автор передовицы, посвященной моей брошюре (ее опубликовала London School), не без иронии прокомментировал эту формулировку — *долг надежды,* — и у него были для этого основания. Надежде не прикажешь. Мнение журналиста: войны

присущи человеческим обществам — лишено оригинальности, но не здравого смысла. Тем не менее оно не может нас удовлетворить. Безусловно, войны ведутся людьми, а не механизмами. И все же разве механизмы, когда они — водородные бомбы, не должны были бы влиять на разум людей?

XVIII
«ОН НАС НЕ ПОНЯЛ», ИЛИ МАЙ 1968 ГОДА

События мая 1968 года, как и все революционные дни, пережитые Францией, не растворились в дымке прошлого, они остаются с нами героические и бурлескные, смотря по восприятию; они продолжают возбуждать страсти, даже — или особенно — среди социологов. Последние вложили столько идей и слов в уста бунтовавших студентов, что социологическая корпорация почувствовала себя непосредственно затронутой происходящим и поэтому оказалась более расколотой, чем другие. Что означало это землетрясение, несколько дней угрожавшее снести величественное здание, возведенное за десять лет голлизмом? Еще сегодня об этом спорят, в том числе иностранцы. Недавно один английский журнал в книжном обзоре, посвященном французскому Маю, размышлял о достоинствах моей книжки:[201] лучшая она или худшая из всей литературы, посвященной этому предмету? Еще в 1979 году, в связи с присуждением мне премии имени Гёте, Р. Дарендорф высказался о моей позиции по отношению к «событиям» столь осмотрительно, что легко угадывались его истинные чувства: я, под влиянием эмоций, оказался якобы ниже самого себя и, быть может, изменил самому себе. Выражаясь обиняками, он призвал к снисходительности и нашел для меня смягчающие обстоятельства.

Я не был, по крайней мере по видимости, тем человеком, которому подобало встать на защиту старой Сорбонны и ее мандаринов. Я всегда критиковал, на страницах газет и журналов, организацию высшего образования во Франции; экзамены на степень бакалавра — слишком трудные в качестве выпускных в средней школе, но не обеспечивающие должного отбора для поступления в университет; конкурсную систему, не гарантирующую качества преподавания и не готовящую будущих агреже к исследовательской работе; полную самостоятельность преподавателя, воображающего на своей кафедре, что выше его только Бог, и зачастую не ведающего о работе своих коллег.

Зато я придерживался скорее «правых» взглядов на «отбор» — слово, которое с 1968 года несет в себе невероятный потенциал слепых страстей и озлобления. Система образования осуществляет селекцию непрерывно, начиная с начальной школы и кончая конкурсами на звание агреже и высшими школами; дети обоего пола начинают учиться примерно в одном возрасте (с

разницей в один-два года) и заканчивают обучение кто в 16 лет (иногда даже в 14), кто в 19, а кто и в 25. Слово «отбор» закрепилось за переходом от среднего к высшему образованию. Я выступал за отбор при поступлении в университет с одновременным сведением роли экзаменов на степень бакалавра к выпускным испытаниям в средней школе. Мои доводы и сегодня остаются в силе: ни университетские технологические институты, ни коммерческие школы не принимают всех бакалавров; только гуманитарные факультеты открыты для всех бакалавров, желающих, даже не имея ясных перспектив, продолжать учебу и согласных тесниться в этих «классах продленного дня»; университетские дипломы обесценены, а дипломы высших специализированных школ ценятся как никогда высоко; отбор происходит после года, проведенного в стенах университета. Таким образом, значительные ресурсы тратятся на обучение десятков или сотен тысяч студентов, которые не перейдут на второй курс и даже не явятся на экзамены за первый курс.

Во время первого триместра 1967/68 года мои коллеги возложили на меня обязанности руководителя учебным процессом отделения социологии. Мне довелось беседовать со студентами и лучше узнать последствия немедленного осуществления нового порядка обучения. Старый порядок не был сохранен для студентов, уже начавших или продолжающих свои занятия. Некоторые рисковали потерять год, или, точнее, им понадобился бы лишний год, чтобы получить степени лиценциата и магистра (или их эквивалент при старом порядке).

Ничто не заставляло меня вмешиваться в этот кризис, сотрясавший Сорбонну (которую я покинул с 1 января) и не пощадивший VI отделение Практической школы научных знаний; тем не менее учебные руководители могли мирно наблюдать его издалека, из своих служебных кабинетов. В первую майскую неделю, в субботу, 4-го, после того как силы порядка вошли во двор Сорбонны, я наблюдал, без удивления, но с беспокойством, эскалацию насилия, демонстрации, столкновения между студентами и полицейскими. Я выступил один раз по «Радио Люксембург», скорее с целью объяснить беспорядки, чем осудить их или одобрить. Утром следующей субботы, после «ночи баррикад» 255, эмоции захлестнули людей, обычно сосредоточенных на своей работе и стоящих в стороне от политико-университетских волнений. Я участвовал в собрании вместе с К. Леви-Строссом, Ш. Моразе, Ж.-П. Вернаном и многими другими. Без энтузиазма я подписал резолюцию, которая, насколько помню, главным образом осуждала насилие.

В ту же субботу ко мне обратились официальные лица радио

и телевидения; Ив Мурузи был, кажется, их представителем, если не инициатором этого шага. От меня желали услышать, как я понимаю, разумные слова, которые поспособствовали бы разрядке напряженности. Управляющий делами Елисейского дворца г-н Трико якобы сказал (мне передали его слова): «Раймону Арону не навязывают правил или ограничений». После нескольких часов размышлений я отказался от предложенной мне трибуны. Принимая во внимание состояние умов в ту субботу, 11 мая, я просто не знал, что сказать. Был ли мой отказ обусловлен также несколькими неприятными эпизодами? Вследствие недобрых чувств, которые питал ко мне Генерал — по крайней мере, по слухам, — голлисты и телевидение держали меня на расстоянии, как избегают обычно опасного человека, объявленного вне закона. Такой мотив отказа от выступления был бы не очень почтенным: голлист я или нет, мне надлежало всеми силами содействовать погашению пожара. Но какое воздействие имело бы мое выступление по телевидению?

На следующий вторник у меня был куплен билет на самолет Париж — Нью-Йорк. Мне предстояли три встречи: первая — конференция по правам человека в Университете штата Нью-Йорк; затем ежегодная банковская конференция в Пуэрто-Рико, на которой я, дилетант, готовился выступить с речью по финансовым проблемам перед лучшими мировыми специалистами; и наконец, конференция в Американском еврейском комитете, где я согласился высказаться по вопросу о Вьетнаме. Я действительно отбыл во вторник, на другой день после всеобщей забастовки и гигантской демонстрации и после того, как вновь открылась Сорбонна. Издали я с тревогой следил за тем, как множились забастовки, манифестации и бунты. 20 мая я не выдержал и решил вернуться во Францию, извинившись перед Американским еврейским комитетом за то, что не выполнил своего обязательства. Самолет приземлился в Брюсселе, так как французские аэродромы были закрыты. По счастливой случайности тем же самолетом, что и я, путешествовал один из руководителей крупной компании. Автомобиль, ожидавший его в Брюсселе, доставил меня в Париж.

Я прошел по Латинскому кварталу и раза два забредал в амфитеатр Ришелье, где одни речи сменялись другими в обстановке революционной ярмарки; я дискутировал на улице Сен-Гийом со студентами из приличных семей, на которых снизошла благодать. Как и любому другому, речь Генерала по телевидению 24 мая 256 показалась мне не по существу дела. Постаревший Генерал пустился в псевдофилософские рассуждения сродни пустословию, поднявшему сотни тысяч

французов. Типографские рабочие стали подвергать цензуре «Фигаро». Я написал ироничную статью, используя цитаты из Токвиля.

Соглашения, заключенные в результате переговоров на улице Гренель, обещали постепенное прекращение забастовок, а следовательно, социального кризиса, если уж не кризиса студенческого. Коммунистические представители ВКТ были освистаны рабочими в Биянкуре; в понедельник 27-го все было вновь поставлено под вопрос, и казалось, будто сам режим покачнулся. 29 и 30 мая я, как многие, опасался, что волнения перерастут в революцию. С несколькими друзьями мы слушали дома выступление Генерала [257]. Кажется, я воскликнул: «Да здравствует де Голль!» У нас было ощущение, что на этот раз он метил прямо в цель и выиграл. Вдвоем с Костасом Папайоанну мы направились к Елисейским полям, где уже начала собираться толпа. В газете я узнал о заявлении г-на Балланже, главы парламентской группы коммунистов в Национальном собрании: «Мы пойдем на выборы». В субботу 1 июня, приглашенный на передачу «Неожиданная газета» на волнах «Радио Люксембург», я употребил выражение «психодрама», вызвавшее возмущение присутствовавших профсоюзных деятелей.

На следующей неделе я начал серию статей, посвященных университетскому кризису. Некоторые — немногочисленные — читатели упрекали меня в том, что я бросился на подмогу победе. Упрек несправедливый: до роспуска Национального собрания и окончания политического кризиса типографские рабочие, возможно, отказались бы печатать эти статьи; во всяком случае, общественное мнение не проявило бы к ним интереса. Необходимо было вернуть Францию к труду, возвратить ей правительство, чтобы приступить к восстановлению, в частности университетов. Кроме того, объявление выборов, которые юные бунтовщики окрестили «предательством», не успокоило «бешеных» и не очистило от них Сорбонну. Профессора больше не преподавали, студенты не учились. Даже главы учебных округов, ответственные государственные служащие, не все исполняли свои обязанности, ссылаясь на отсутствие возможностей.

Призыв, обращенный мною «от имени молчащих» к преподавателям всех ступеней, способствовал изменению обстановки. Управляющий делами министерства Пьер Лоран уверял меня — впрочем, не знаю, какова была в этом доля вежливости, — что, если бы не моя кампания на страницах «Фигаро», он не смог бы организовать экзамены на степень бакалавра. Обращение Европейского центра социологии, которое я передал в «Фигаро», вызвало мой разрыв с Пьером Бурдье. Его

приверженцы заполонили Сорбонну, распространяя листовки в духе Бурдье — Пассерона, требуя созыва «Генеральных Штатов образования»; студенты, со своей стороны, широко использовали и даже злоупотребляли идеями книги «Наследники» («Les Héritiers») 258. Некоторые социологи комментировали по горячим следам события или же приняли в них активное участие. К. Лефор, если верить слухам, был в Канне «бешеным». Многие преподаватели вышли из границ собственной личности, будто во внезапно устроенном карнавале, каждый отрешался от своего социального образа, от своих надоевших общепринятых одежд, освобождался на время от всех обязательств, от профессиональных норм и давал волю мечтам, которые любой из нас прячет в глубине своей души. На общем собрании VI отделения я наблюдал со смешанным чувством симпатии и иронии эти внезапные и временные обращения.

Еще до выхода «Бесподобной революции» мои статьи, больше чем когда-то брошюра об Алжире, превратили меня из зрителя в активного участника событий. «Нувель обсерватер» («Nouvel Observateur») поместил мою фотографию с подписью: *«Версалец,* которого разум сбил с толку». Жан-Поль Сартр опубликовал невероятно резкий текст, направленный одновременно против генерала де Голля и против меня.

Я лишь однажды соприкоснулся с официальными действующими лицами того месяца — во время беседы с Пьером Мендес-Франсом у Марселя Блестейна, утром перед собранием в Шарлети 259. Я попытался убедить моего собеседника в том, что студенческое движение представляет собой детонатор, а не какую-либо силу. Существует, говорил я ему, только два лагеря: по одну сторону — Республика, правительство, парламент, возможные выборы, по другую — компартия, которая, по-видимому, не горит нетерпением перейти Рубикон. Интеллектуалы, революционеры пера упрекают компартию в том, что она не шагает в ногу с Кон-Бендитом, Гейсмаром и прочими Баржоне. Если предположить, что республиканская законность рухнет под градом булыжников и напором толп, то пустоту заполнит — вопреки своему желанию — только компартия. Мне запомнилось, что П. Мендес-Франс согласился с моим анализом. Через два часа, в полдень, ему рукоплескали студенты. Единственный довод, который он мне привел, чтобы оправдать свою позицию, сводился примерно к такой формулировке: нельзя доводить до отчаяния Латинский квартал. Студенты — завтрашняя элита нации — не должны выйти из этого кризиса обманутыми в своих надеждах, исполненными горечи, поневоле смирившимися с обществом, которое они возненавидят.

Прежде чем напомнить о полемике, вызванной моими статьями в «Фигаро» и «Бесподобной революцией», я хотел бы ненадолго остановиться на самих событиях, провести различие между историей и социологией кризиса, объяснить разнообразие оценок, объектом которых он был и остается вследствие разнородности составляющих явления, названного «майскими событиями».

Начнем с истории, или повествования. «События» подразделяются на четыре фазы. Первая началась с ввода полиции во двор Сорбонны и длилась до понедельника 13 мая, дня всеобщей забастовки и нового открытия Сорбонны; вторая ознаменовалась ростом забастовок, сначала «диких», затем организованных по инициативе или при участии коммунистической партии, приведших к гренельским переговорам и к соглашению 260 между патронами и профсоюзами под эгидой правительства; третья фаза, занявшая всего несколько дней, включала в себя видимый отказ забастовщиков Биянкура 261 присоединиться к Гренельским соглашениям, выражение недоверия президенту и премьер-министру, выставление Франсуа Миттераном своей кандидатуры в Елисейский дворец на случай, если Генерал уйдет со сцены, причем все это было окрашено особым драматизмом из-за исчезновения на несколько часов Президента Республики, а затем увенчано его речью во вторник 30-го, за которой последовала гигантская демонстрация на Елисейских полях; последняя фаза, продлившаяся несколько недель, — это возврат к порядку, ликвидация очагов бунта — в Сорбонне, в театре «Одеон», — выборы в законодательный орган, в котором большинство одержало впечатляющую победу, хотя, впрочем, она впечатляла более числом полученных в Национальном собрании мест, чем количеством поданных по всей стране голосов.

В отношении каждой из этих фаз историк должен ставить два вида вопросов: одни — «событийные», другие — «социологические». Например, в первую неделю, когда премьер-министр совершал поездку по Азии, были приняты решения, подлившие масла в огонь: применение сил полиции в субботу 4 мая, увоз в полицейских машинах десятков студентов, обвинительные приговоры в адрес нескольких студентов, но в особенности — возвращение Жоржа Помпиду в субботу 11-го, после «ночи баррикад», и поворот в политике. Вместо того чтобы осуществлять соглашения, заключенные в результате переговоров А. Жокса и А. Перфита с представителями студенческих профсоюзов, премьер-министр, стоявший, так сказать, над

группировками, поскольку на прошлой неделе его не было в Париже, удовлетворил все требования «студентов» (в кавычках, ибо только часть студентов участвовала в этих движениях, возглавлявшихся революционными группками).

Из всех перечисленных решений, имевших важные последствия, то, которое принял 11 мая Жорж Помпиду, представляется мне наиболее серьезным и чреватым неопределенностью, которая сказывается вплоть до сегодняшнего дня. Студенческий карнавал начался в понедельник 13-го; он послужил примером для рабочих. Колебания, шаги вперед и назад правительства сделали смешной фразу де Голля «Государство не отступает». Письмо, присланное мне несколько недель спустя Жоржем Помпиду, — это, как мне кажется, исторический документ, освещающий и ход мыслей премьер-министра, и развитие кризиса.

«Дорогой друг.

Я с интересом прочел и высоко оценил Ваши статьи о майском кризисе и проблемах университета. Однако утверждение, содержащееся в Вашей статье, относительно речи Э. Фора побуждает меня написать Вам, чтобы внести некоторые поправки, не для Ваших читателей, а *исключительно для Вас лично*. Вы пишете: Ж. Помпиду заключил пари, что добьется умиротворения, и проиграл его. Позвольте сказать Вам, что Вы ошибаетесь. Я не заключал никакого пари. На мой взгляд, не было и одного шанса из ста, что мои решения от 11 мая остановят процесс. И что же тогда? — скажете Вы. Тогда я сделал то, что делает генерал, который не может больше удерживать позицию. Я отступил на позиции, пригодные для обороны. И придал этому отступлению „добровольный“ характер — как ради того, чтобы спасти лицо, так и из-за общественного мнения. Объяснюсь. Вернувшись из Афганистана, я столкнулся с ситуацией, которая представлялась мне безнадежной: парижское общественное мнение полностью поддерживало студентов. На 13 мая была объявлена демонстрация. Я подумал тогда (а сегодня я в этом уверен), что если Сорбонна не будет сдана, то демонстрация способна повлечь за собой падение правительства (и режима), и уж во всяком случае она овладела бы Сорбонной. Уверены ли Вы, что шествие, в котором участвовало около 500 000 человек, следовавшее от площади Республики к Данферу (да и то руководители демонстрации согласились с этим маршрутом только в воскресенье, *после* моих решений), не завернуло бы в Сорбонну, охраняемую CRS? [262] И кто мог помешать такой огромной толпе войти в помещение вроде Сорбонны? Для этого

не хватило бы и армии, а кроме того, кто приказал бы солдатам стрелять в подобную толпу?

С того момента, как студенты вновь заняли бы Сорбонну вопреки решениям правительства, ситуация становилась безвыходной и обрекала нас на капитуляцию или на войну, которую отвергло бы общественное мнение.

Ибо — и Вы хорошо это знаете — в делах такого порядка ставка в игре — общественное мнение; отдавая им Сорбонну, я лишал манифестацию ее стратегической цели, она не могла отныне стать бунтом, а оставалась всего лишь „демонстрацией“. Но главное, сделав то, чего ожидала общественность, я снимал ответственность с одной стороны и возлагал ее на другую. Теперь уже „студенты“ оказывались виноваты, они становились провокаторами, а не невинными жертвами, защищающимися от правительственных и полицейских провокаций. Мне оставалось только выиграть время, локализовать зло, а затем, когда общественности все это надоест, перейти к безболезненному наступлению. Такой была моя линия поведения с начала и до конца.

В делах подобного рода есть только два выхода. Или сразу пойти на самые безжалостные и самые решительные репрессии — к этому у меня нет склонности, не было для этого и средств. А если б и были, то возмущенное общественное мнение заставило бы меня отступить, то есть исчезнуть. Демократия может применить силу, только имея поддержку общественного мнения, а у нас ее не было.

Или же нужно уступить, чем-то пожертвовать и выиграть время. Студенты могли устать и сделаться сговорчивее. Могли они и заупрямиться, что и произошло. В таком случае они становились все малочисленнее и все непопулярнее. Именно так все и случилось. И когда настал подходящий момент, я начал безболезненное наступление.

Не сомневайтесь: я выиграл политическую игру вечером 11 мая. Это могла быть совсем другая игра, если бы коммунистическая партия решила перейти к насильственной революции. Но тогда, в отличие от ситуации со студентами, правительство имело возможность применить силу, потому что общественное мнение встало бы на его сторону и армия без колебаний осталась бы верной. Так или иначе, компартия не пошла на риск.

Я прошу Вас не сообщать никому этих беглых размышлений, но для меня было важно объяснить Вам свою тактику.

Я был бы счастлив увидеться с Вами в начале учебного года, чтобы поговорить о делах университета. Меня многое волнует в

том, что сказал Э. Фор, и, естественно, я не могу высказать свою позицию публично.

Верьте, дорогой друг, в мои самые добрые чувства по отношению к Вам».

Это письмо, написанное в конце июля 1968 года, не только оправдывает решения, принятые 11 мая, но и объясняет механику «управления» кризисом, ответственность за которое лежит в гораздо большей степени на Жорже Помпиду, чем на Генерале. Тайный отъезд Генерала 29 мая и разногласия этих двух людей косвенно вытекают из столкновения между президентом и премьер-министром вечером 11 мая, когда последний взял на себя руководство действиями и подготовил победу — свою.

Читая письмо Жоржа Помпиду, историк невольно задает себе вопрос: что произошло бы, если бы правительство, вместо того чтобы капитулировать 11 мая, стойко держалось? Никто никогда не ответит на это с уверенностью, но никто и не оспорит того, что именно решение Жоржа Помпиду стало причиной как продолжения беспорядков, так и благополучного исхода дела.

Подобные же вопросы можно поставить относительно других «событий». Какой была бы реакция общественности, окажись несколько молодых людей убитыми пулями CRS? Создали ли исчезновение на несколько часов Генерала и его краткая речь по радио 30 мая атмосферу, облегчившую ликвидацию кризиса без применения насилия? В самом деле, в течение майских недель произошел ряд «ключевых событий», по поводу которых спрашиваешь себя: что бы случилось, если…

Социолог в большей степени интересуется тем, что предшествовало событиям, общей обстановкой, многократно усилившей отзвуки волнений, вначале незначительных. Какие причины сделали ситуацию взрывоопасной? Ответы будут разными смотря по тому, обратиться к материальным данным или принять буквально высказывания бунтовщиков.

Рассмотрим тему, вызвавшую бесконечные вариации в студенческих словопрениях: демократизация или недемократизация университета. Сочинение Бурдье и Пассерона «Наследники» стало, можно сказать, настольной книгой студентов Мая. Но какой вывод следует сделать из этого факта? Что студенты, сами являясь наследниками, жаждали повторения Ночи 4 августа (1789 года) [263], желая отказаться от своих привилегий? Или же, не будучи наследниками, некоторые из них считали себя несправедливо оттесненными во второстепенные области знания, без перспективы карьеры, соответствующей их честолюбию? Или, будучи хоть и наследниками, но не

способными подняться по ступеням престижной карьеры, они восставали против системы, в которой не находили себе места из-за собственной посредственности? В поддержку каждой из этих гипотез говорят индивидуальные случаи: дети мелких буржуа или людей из народа, получающие в первом поколении высшее образование и чувствующие себя в нем потерянными; отпрыски привилегированных семей, восстающие против крайних форм элитизма в Национальной школе администрации или в Политехнической школе; они же, ищущие, за неимением лучшего, прибежище в психологии или социологии и претворяющие свою озлобленность в идеологию. Какие из этих случаев были наиболее многочисленными? Какое значение следует придавать идеологиям?

Некоторые самые серьезные социальные исследования подчеркивают поколенческий феномен; студенты из семей, не имевших опыта высшего образования, выбитые из колеи, чужие в этом новом для них мире, не уверенные в правильности своего выбора, боялись не найти работы, после того как ценою огромных усилий получат диплом. Они жили в постоянной тревоге, в одиночестве, с ощущением непрочности своего положения. При случае они присоединялись к более состоятельным однокашникам, чтобы кричать вместе с ними: долой общество потребления!

Выступления против экзаменов и конкурсов явились органичной частью переживаемой революции. Не став безусловной причиной взрыва, они хорошо иллюстрировали форму, которую приняли эти «большие каникулы». Группы студентов различных политических направлений разработали планы обновления университета; профессора и студенты, обычно редко говорившие друг с другом, перешли на «ты», при случае обменивались ролями, поскольку учащиеся желали отныне участвовать в экзаменационных комиссиях и даже в назначении преподавателей. Этот карнавал не был исключительно французским, некоторые его черты проявлялись в студенческих волнениях других стран, но у нас он принял типично французскую форму.

Дистанция между профессорами и студентами во Франции больше, чем в англо-американских университетах; авторитет, которым профессор Сорбонны пользуется порой в своей области, не имеет эквивалента в других странах, потому что там нет ничего, подобного парижской централизации. Непререкаемые медицинские авторитеты не были изобретены ради нужд демагогии и бунта. Обстоятельства способствовали взрыву, подчас законному, против злоупотреблений, против

ненормальных проявлений иерархии.

Если перейти от студентов к рабочим, то и там исследования различают причины, мотивы и идеологии. Среди причин первоначальных забастовок упоминается относительно жесткая политика Мишеля Дебре в течение года, предшествующего событиям. Заработки низкооплачиваемых работников все больше отставали от среднего уровня. Гарантированный минимум заработной платы не был пересчитан соответственно общему росту оплаты труда. Гренельские соглашения привели к девальвации франка в 1969 году, но еще и сегодня некоторые, например Раймон Барр, готовы доказывать, что французская экономика могла бы переварить без девальвации повышение заработной платы на 20–25 %, а это по меньшей мере наводит на мысль, что она была чрезмерно занижена в предыдущий период. Но какую бы роль ни сыграл уровень заработной платы в первоначальных, «диких», забастовках, с того момента, когда миллионы трудящихся оставили свои рабочие места, в речах ораторов зазвучали уже далеко не одни обычные требования — структура предприятия, стиль управления, введение самоуправления, общество потребления, борьба с загрязнением окружающей среды, человечность взаимоотношений стали темами дебатов, в которых приняли участие сотни тысяч французов, освобожденных от труда, справедливо определяемого Марксом как «царство необходимости».

Это неожиданное развлечение среди повседневной скуки, эта квазиреволюция — скорее игра, чем дело, — пробуждает в людях сочувствие и даже энтузиазм. Уличные драки, перерастающие в бунты, столкновения между демонстрантами и полицией, неизменно обвиняемой в насилии, радуют вечных любителей театра Гиньоля, торжествующих при виде злоключений марионетки-жандарма: глядя на веселые вылазки молодежи, каждый вечер отправляющейся на очередную «маниф», взрослые молодеют душой — до тех пор пока не обнаруживают свой исковерканный автомобиль. Красочная толпа, заполняющая аудитории и коридоры университетских зданий, идущие без перерыва публичные собрания, импровизированные ораторы, полубессознательно воспроизводящие жесты и слова великих предшественников, забавляют и привлекают любопытных. В университетах и даже в лицеях происходят более или менее эмоциональные конфликты между преподавателями, одни из которых следуют за разгневанными студентами, иногда даже забегая вперед, тогда как другие возводят плотину перед волной демагогии, утопии или грез, волной тем более мощной, что ее поддерживает иллюзия, будто страна переживает исторические

дни.

Между 15 и 30 мая жизнь нации, можно сказать, парализована, большинство заводов стоит, но рабочие — на своих местах, тщательно ухаживают за станками и машинами; забастовка охватила даже государственные учреждения; то тут, то там возникают разновидности импровизированных коммун, управляемых рабочими или лидерами профсоюзов. До последних дней свободы доброе расположение духа преобладает над насилием, характерным для подобных социальных взрывов. Всё не вполне серьезно. Это игра, это отчасти «понарошку». К концу месяца неприятие «хаоса» приходит понемногу на смену симпатиям к этой «замечательной молодежи»: опасение, как бы не случилось настоящей революции, портит удовольствие от спектакля.

И тут возникает новый вопрос: что же в действительности произошло? В течение последних дней, между понедельником 27-го и пятницей 31-го, режим покачнулся или так показалось? Студенческий карнавал? Возможно. Но кому не памятно заседание Национального собрания? Э. Пизани, как представитель большинства, должен выступить в защиту правительства — он произносит оппозиционную речь, к возмущенному изумлению Жоржа Помпиду. На пресс-конференции Валери Жискар д'Эстен высказывается за отставку премьер-министра. Ф. Миттеран, на встрече с журналистами 27 мая, заявляет, что уход генерала де Голля на следующий день после 16 июня (предполагаемая дата референдума), если он не произойдет раньше, несомненно вызовет отставку премьер-министра и его правительства. «В этих гипотетических обстоятельствах я предлагаю, чтобы немедленно было образовано временное правительство для руководства страной…» Несколько далее он размышлял о президенте Республики. «Кто станет президентом Республики? Это скажут всеобщие выборы. Но уже сейчас — поскольку вероятный срок составляет всего восемнадцать дней и поскольку речь идет о той же самой битве — я заявляю, что выдвигаю свою кандидатуру». Эти слова предполагали нарушение Конституции, согласно которой в случае отставки президента Республики премьер-министр сохраняет свою должность, а председатель Сената исполняет функции президента Республики вплоть до избрания его преемника. Утверждая, что отставка генерала де Голля повлечет за собой отставку премьер-министра, Ф. Миттеран предусматривал и рекомендовал неконституционное и, если угодно, революционное решение.

В качестве главы временного правительства он предлагал

кандидатуру Пьера Мендес-Франса, который дал себя вовлечь в эту авантюру. В среду 29-го, в двадцать один час, когда Генерал прибыл в Коломбэ и готовился вернуться в Париж, П. Мендес-Франс «не отказывался от ответственности, которая могла бы быть на него возложена всеми объединенными левыми силами». «Что касается правительства переходного периода, то речь будет идти не о нейтральном правительстве, но о правительстве поступательного движения, ориентированном на более справедливое и более социалистическое общество. Ему придется принять немедленные решения, о которых мы говорили сегодня и которые будем еще обсуждать в ближайшие дни, чтобы достичь полного соглашения». Суровый республиканец уже работал над составлением кабинета министров, порожденного бунтом и уходом или изгнанием президента и премьер-министра. Не поспевая за событиями, он еще верил в революционную развязку, в то время как Генерал готовил контрнаступление, а его приверженцы организовывали шествие 30 мая. Альфред Фабр-Люс опубликовал в «Монд» статью под заголовком «Мендес в Елисейском дворце» («Mendès à l'Élysée»).

Итак, помимо забастовок, помимо Студенческих словопрений, действительно имел место собственно политический кризис, многочисленные симптомы которого я наблюдал. Чиновники покидали министерства, депутаты большинства нападали одни на президента, другие — на премьер-министра, требуя отставки того или другого. Политический класс опасался потрясений. Речь, продлившаяся всего несколько минут, развеяла тревогу людей, облеченных властью, и разрушила надежды тех, кто хотел, как в 1830 или 1848 году, занять место власти, которую опрокинет улица.

Двадцать девятого мая мне позвонил А. Кожев; мы проговорили полчаса с лишком: он был еще больше меня самого уверен, что речь шла не о революции, а о *стилизации* под нее. Беспорядки внушали ему глубокое презрение (реакция белого русского). Я рассказал ему, что в Соединенных Штатах не мог найти себе места, сгорал от нетерпения вернуться, чтобы увидеть или чтобы действовать. Он ответил мне: «Вы спешили увидеть поближе это мерзкое и нелепое шутовство?» Сутки спустя я уже не сомневался, что события лишь копируют великую Историю; но заслуживают ли они поэтому пьедестала, на который их и теперь еще возводят, или грязи, в которую их втаптывают?

Почему до сих пор кипят такие страсти вокруг оценки «майских событий»? Ответ на этот вопрос мне кажется сегодня относительно простым. «Майские события», изучаемые историками или социологами, — явление настолько разнородное,

что, смотря по тому, какие элементы его берутся в расчет, меняются и проблема и объяснение.

Любая интерпретация стремится сосредоточиться на каком-нибудь одном аспекте событий: либо на студенческих беспорядках, либо на охвативших страну забастовках, либо на своеобразии Французского Мая по сравнению с подобными событиями в других странах, либо на идеологическом дискурсе студентов или рабочих и служащих.

Студенческие волнения, которые в 60-е годы вспыхивают по всему миру — от Японии через Беркли и Гарвард до Парижа, объясняются — если не говорить о заразительности и подражании — в каждом случае чисто национальными причинами. Во Франции не было «вьетнамской войны», а в Соединенных Штатах — парижской концентрации, сотен тысяч студентов в обветшалой среде обитания. Каждый волен искать общие для всех развитых стран причины этого молодежного взрыва, устанавливать социальное происхождение самых активных участников этих движений, например, в Соединенных Штатах — это лидер SDS («Students for a Democratic Society»)[202]. Если дети либеральных (в американском смысле), добропорядочных буржуазных родителей составляют относительно высокий процент в SDS, из этого делается заключение, что бунт зародился скорее в привилегированной среде, чем в рядах обездоленных. Подобным же образом в результате социологических опросов устанавливают процент участия обучающихся по различным специальностям в американских SDS и сходных движениях в Германии или Франции. В частности, у нас репутацию бунтарей снискали социологи — то ли потому, что социология, по своей сути критичная, склоняет студентов к бунту, то ли оттого, что склонные к бунту студенты выбирают обучение этому предмету.

Несомненно, университетские волнения, прокатившиеся из конца в конец некоммунистического мира, о чем-то говорят или что-то означают, хотя их причины существенно различны в Дакаре и в Беркли, в Гарварде и в Сорбонне. Они говорят по меньшей мере об ослаблении авторитета взрослых, преподавателей, институтов как таковых. Возражения против непререкаемости авторитета Католической церкви, против начальствования в армии родились из тех же умонастроений. Культурная революция, достигшая апогея в 60-х годах, образует контекст, фон, театральный задник беспорядков. Так, требование свободного общения, днем и ночью, юношей и девушек, выдвинутое в университетском городке Антони (Верхняя Сена), стало в конечном счете одним из предвестников движения.

Идеология 1968 года, анархистского толка, вызвала горячие

симпатии студенчества; если Рене Ремон среди книг, ставших причиной или символом событий, приводит «Наследников», то *Эпистемон* (Д. Анзье), со своей стороны, упоминает «Критику диалектического Разума» с ее понятием «сплачивающаяся группа» — такова, например, толпа, берущая приступом Бастилию. 1968 год — это интеллектуальное восстание *мы* против структуры, Сартра против Леви-Стросса (французская политика упорно остается литературно окрашенной), действия — «praxis» — против институтов, гошизма — против компартии. Действия студентов в Соединенных Штатах носили также либертарный характер (всякий бунт, который стремится поколебать власть, а не заменить ее, проникнут либертарным духом). Но в большинстве университетов эти действия имели определенные цели, чаще всего достижимые.

Идеологический дискурс Мая — не важно, принадлежал ли он студентам или рабочим, — резко отличался от партийных программ. Он подхватывал и популяризировал темы, обычные в книгах, посвященных критике культуры, *Kulturkritik,* как говорят в Германии. В книге Г. Маркузе «Одномерный человек» («L'Homme unidimensionnel») большинство тем толкало к возмущению: торгашеское общество, навязываемое потребление, необходимое для производителей; загрязнение окружающей среды; социальное подавление; расточительность при нищете и т. д. И здесь революционеры приобрели себе друзей, популяризируя идеалы, которые не вписывались ни в какую партийную идеологию: качество, а не количество; предпочтение, отдаваемое радости жизни перед уровнем жизни. Культ темпов роста рухнул под тяжестью общественного презрения.

За парижскими студенческими волнениями последовали массовые забастовки французских рабочих, тогда как ни в одной другой стране рабочие не поддержали студентов даже морально. В частности, в Соединенных Штатах «синие воротнички», рабочие профсоюзы не боролись против вьетнамской войны. Даже во Франции усилия студентов поднять рабочих на совместные действия в целом потерпели неудачу. Коммунистам удалось уберечь рабочее движение от либертарного влияния, хотя Гренельские соглашения разочаровали низы именно потому, что выражали намерение покончить с забастовками и «необычными» требованиями, прибегнув к «обычным» средствам.

Изучая забастовочное движение, поражаешься тому, что в нем находит выход не столько ожесточение обездоленных (например, истощившееся терпение польских рабочих в городах, где нет то мяса, то фруктов или овощей), сколько неудовлетворенность трудящихся, чьи условия труда и быта заметно улучшились на

протяжении жизни одного поколения и которые свободно выбирают своих профсоюзных лидеров. Из этого следуют классические интерпретации: ссылаются либо на «закон Токвиля» — именно тогда, когда бедствия смягчаются, претензии начинают расти и происходит взрыв, — либо на формирование требований, касающихся качества жизни, по мере того как лучше удовлетворяются первичные потребности; либо, наконец, на сохранение во французском обществе строгой иерархичности и все менее терпимого командного стиля. Все эти интерпретации основаны на фактах и словесных выступлениях; ни одна не может претендовать на исключительность и полноту, но они могут сочетаться.

Для Французского Мая характерен ряд чисто национальных черт, неоднократно отмеченных: если в других странах волнения в виде отдельных вспышек растянулись на годы, то здесь они сконцентрировались в нескольких неделях; заволновались все университеты вместе, а не один за другим; словопрений было больше, чем определенных требований. Объяснение банально: у нас существовал всего лишь один университет; Париж всегда задает тон; несколько интеллектуалов приняли участие в празднике, студенты же черпали идеи в писаниях властителей дум.

Вырвавшиеся на волю — одновременно, но по отдельности — студенты и рабочие; каждодневные стычки между полицейскими и демонстрантами, и при этом ни единого выстрела ни с той, ни с другой стороны; офицер полиции, ставший жертвой скорее несчастного случая, чем намерения убить, и юноша, которого преследовали силы порядка и который утонул, — вот две смерти за эти недели почти ни на день не прекращавшегося бунта; наконец, за вычетом драк, чуть ли не постоянная атмосфера веселья и праздника. Настенные надписи отражают совсем иное настроение, чем смертельная серьезность (climat *tot ernst*) левых берлинских студентов, с которыми я встречался за несколько лет до Мая. «Запрещается запрещать» — вот формула, противоречивая сама по себе и иллюстрирующая забавную нелепость идеологии 1968 года.

Эта идеология не отличается по существу от той, которую исповедуют «Студенты за демократическое общество» в Соединенных Штатах и в Германии: на одном краю три М (Маркс, Мао, Маркузе) рискуют увлечь сыновей буржуазии в банду Баадера — Майнхоф и в партизанскую войну на городских улицах; на другом — они же ведут к экологии, возвращению к земле, к движению хиппи. Некоторые из приверженцев трех М поддались искушению насилия. На страницах брошюры о

революционной стратегии Андре Глюксман грезил о пожаре, который охватит всю Европу от Лиссабона до Москвы. После Мая троцкистские партии или группки продолжили свою деятельность, но большинство интеллектуалов, исповедовавших левацкие идеи и живших ими в 1968 году, сами остановили свое скольжение по наклонной плоскости. Они осознали опасность: прямое действие, запугивание в массовых собраниях, городская герилья — что это, осуществленная демократия или начало фашизма? Свидетельства советских диссидентов, прежде всего Александра Солженицына, вскоре произвели впечатление на левый фланг «сплачивающейся группы». Во время майских недель гошисты обвиняли коммунистов в том, что те соглашаются с предательскими выборами и парализуют революционный порыв масс. Несколькими годами позже коммунисты стали для них уже не только функционерами, приютившимися в омертвелых организациях, но и тюремщиками вероятного ГУЛАГа, надсмотрщиками над свободными людьми — так совершалась эволюция от левачества к защите Прав Человека.

Вывод? Какого-то *единственного* социологического объяснения Мая 1968 года не существует, точно так же как Карл Маркс или Алексис де Токвиль не дали какого-то *единственного* толкования революции 1848 года и ее последствий. Тот и другой создали исторические повествования, освещенные и углубленные классовым анализом. Рассказать с социологической точки зрения о Мае 1968 года мне кажется одновременно и легче и труднее, чем о событиях прошлого века. Легче, потому что студенческие и рабочие движения не сливались воедино и потому что не было революции; труднее, ибо студенты, вожаки не отсылают исследователя ни к какому классу, хотя на словах связывают себя с рабочим классом, который, однако, их не признает. Что касается рабочих, то их поведение зависит отчасти от тактики компартии, отчасти от их собственных настроений. Когда рабочие Биянкура не дали говорить представителям ВКТ и ФКП, прислушивались ли они к своим чувствам или к некоторым коммунистам, склонным перейти Рубикон?

Среди французских социологов нашелся лишь один, рискнувший совершить скачок от эмпирических опросов к обобщающему анализу, который он представил в двух книгах: первая — «Майское движение, или Утопический коммунизм» (1968), вторая — «Постиндустриальное общество» («La Société post-industrielle»), написанная в следующем году. Приводимые ниже цитаты резюмируют идею А. Турена, активно действовавшего в Нантере и на баррикадах 11 мая и вскоре ставшего не столько социологом событий, сколько философом

Истории: «Несмотря на противоположность позиций, анализ оказывается, по сути, одинаковым, восхищается ли его автор внезапным освобождением сил и потребностей, подавляемых технической цивилизацией и капиталистическим обществом, или возмущается при виде безрассудства и безответственности, пренебрегающих потребностями экономики и интеллектуальной жизни. В обоих случаях кризис предстает как столкновение общества с тем, что оно подавляет и что одни считают глупостью, а другие — достойным восхищения. А так как движение, в особенности студенческое, само провозгласило на митингах и на стенах факультетов свою волю к разрыву, не имея при этом ни программы, ни организации, то тем более заманчиво не идти дальше восторгов или возмущения»[203].

Ален Турен против этой восторженности и этого возмущения: майское движение — не отказ от индустриального общества и его культуры, а раскрытие противоречий и новых конфликтов в самом сердце этого общества. Иными словами, оно направлено одновременно против пережитков старого во французском обществе и против технократов рождающегося постиндустриального общества. Наше общество лихорадят два вида противоречий — между технократами и производителями-потребителями нынешнего общества; между техническими и культурными реалиями этого общества, с одной стороны, и унаследованными от прошлого организационными формами и институтами — с другой.

Каждый может проиллюстрировать примерами эти два вида противоречий. Нынешнее устройство университетов возникло еще в конце XIX века; оно взорвалось под напором чересчур многочисленных, взбунтовавшихся студентов, не включенных в общество, не видящих перспективы и смысла в своей учебе, не уверенных, что найдут работу. На другом конце — протесты рабочих и простых избирателей против технократов, принимающих самовластные решения о строительстве и размещении атомных электростанций. А. Турен считает себя вправе осудить в свете «событий» господствующую утопию — «утопию хозяев общества, провозглашающих, что все общественные проблемы сводятся только к модернизации, адаптации и интеграции. Таким образом, майское движение само создало не только силы для борьбы с господствующим классом, но одновременно — либертарную и антиавторитарную, коммунитарную и проповедующую стихийность контрутопию».

Я не вижу серьезных мотивов для того, чтобы отвергнуть толкование, согласно которому студенты явились «носителями» либертарной контрутопии. Однако почитаем еще Турена:

«Майское движение после 13-го имело больше случаев выражать себя, чем сражаться. <…> Утопия выродилась в грезы наяву или в планы модернизации. <…> Происхождение и университетский опыт делают студентов еще очень далекими от типа общества, проблемы которого выявляет их выступление. <…> Студенты открывают борьбу будущего, не осознавая этого, и смешивают ее с борьбой классов прошлых времен». Таким образом, участники майского движения, находясь в самом центре кризиса Общественной мутации, полагали, что продолжают старую борьбу классов! Мне кажется одинаково затруднительным опровергнуть и подтвердить этот исторический диагноз, связанный с теорией перехода индустриального общества к обществу постиндустриальному. Поскольку важнейшие, по мнению Турена, активные участники событий, а именно студенты, жили в мире, весьма удаленном от профессионального и запрограммированного общества, то социолог или философ истории расшифровывает их слова и придает их утопии провозвестнический смысл. Если смотреть с такой высоты, то решения 11 мая, речь Генерала, тактика ФКП кажутся чем-то мелким и будничным. Детали исчезают; остается только смысл, спроецированный истолкователем событий на действующих лиц, не осознававших своих действий, и на смуту, которую упорядочил задним числом бывший ангажированный зритель.

Прежде чем написать следующие страницы, я перечитал свои статьи, опубликованные в «Фигаро» между 15 мая 1968 года и днем, последовавшим за победой правых на выборах [в Национальное собрание] в начале июля. По прошествии времени и на холодную голову эти тексты, написанные к случаю, конечно, не производят впечатления вулканических. Они предостерегают против приемов подрывной деятельности, проводят границы участия студентов в управлении университетами, пытаются, невзирая ни на что, защищать дело либерального университета, каким он был накануне, — того самого университета, который я так часто критиковал. Я сохранил мало воспоминаний о нападках, которым подвергся за изложение своих позиций[204]. Помню заявление одного студента, которое цитировала «Монд»: он запрещал мне когда-либо говорить в Сорбонне или, точнее, объявлял мне, что я никогда больше не возьму слово в стенах Сорбонны.

Одна атака личного характера, крайне резкая по тону, осталась в памяти; речь идет, конечно, о статье Ж.-П. Сартра в «Нувель обсерватер». Я считаю необходимым привести оттуда основные пассажи и возразить на них. Статья под заголовком

«Бастилии Раймона Арона» появилась 19 июня 1968 года и бичевала власть: «Итак, наверху — политика трусости. Но одновременно к рядовым людям обращаются с призывом убивать. Ибо ничем иным не назовешь призыв де Голля создавать комитеты гражданского действия. Это все равно, что сказать людям: объединяйтесь в своих кварталах, для того чтобы избивать тех, кто, по вашему мнению, высказывает подрывные убеждения или чье поведение представляет опасность для правительства». Президент Республики бросил «призыв убивать» — даже низкопробный демагог не применил бы такое выражение к генералу де Голлю, к правительству, которое терпело «манифестации», квазибунты, повторявшиеся день за днем.

Теперь о студентах и обо мне: «Студенты стали так многочисленны, что уже не могут непосредственно общаться с преподавателями, как это происходило у нас, — хотя и тогда было нелегко. Многие студенты даже не видят в глаза своего преподавателя. Они только слушают по трансляции лекции, которые преподносит им какая-то важная особа, лишенная человеческого облика и недоступная, нисколько не способная их заинтересовать. Университетский профессор — это почти всегда (так было и в мое время) некий господин, который защитил диссертацию и всю оставшуюся жизнь читает ее наизусть. <…> Когда стареющий Арон бесконечно повторяет своим студентам идеи своей написанной до войны 1939 года диссертации, при том что слушатели не могут подвергнуть его ни малейшему критическому контролю, он осуществляет реальную власть, но эта власть, безусловно, не основана на знании, достойном этого наименования».

Что существует трудность общения между преподавателем и чересчур многочисленными студентами — согласен. Но что большинство профессоров всю свою жизнь «читают вслух» собственную диссертацию — неверно. Это положение абсолютно неприменимо к Леону Брюнсвику: мы едва были знакомы с его диссертацией. Утверждение, что лично я бесконечно пересказывал в Сорбонне свою диссертацию, есть просто-напросто сознательная ложь. Содержание моей диссертации не имеет ничего общего с книгами «Индустриальное общество», «Этапы развития социологической мысли» («Les Etapes de la pensée sociologique») или «Мир и война». Фраза «это подразумевает, что люди теперь не считают, подобно Арону, будто думать в одиночестве за своим письменным столом, думать одно и то же на протяжении тридцати лет — это и есть работа ума» претендует на то, чтобы оскорбить, — и свидетельствует главным образом о безразличии Сартра к истине, во всяком случае, когда он во

власти гнева.

В той же статье Сартр обсуждает вопрос, поставленный мною на страницах газеты, о выборах «обучающих» «обучаемыми» и об участии последних в экзаменационных комиссиях. Теоретически, не в таком мире, как наш, можно действительно представить, что студенты имели бы голос при назначении преподавателей. В реальном мире 1968 года протестующие студенты совершили бы свой выбор, основываясь не на научных или педагогических достоинствах кандидатов, а на их политических убеждениях. Целью наиболее активных участников движения было изгнать профессоров, считавшихся реакционерами или фашистами. Можно также, в других обстоятельствах, вообразить участие студентов в экзаменационных комиссиях. В обстановке Мая такие комиссии, где были бы весьма широко представлены студенты, а следовательно, профсоюзы, окончательно политизировали бы университетскую жизнь и дискредитировали дипломы. И в этом пункте Сартр рассуждал как демагог, то ли желая польстить молодежи, то ли совершенно не зная действительности.

Наконец, идут самые известные фразы: «Даю руку на отсечение, что Раймон Арон никогда не оспаривал самого себя, и потому он недостоин в моих глазах быть преподавателем <…>». И в заключение: «Это подразумевает прежде всего, что каждый преподаватель согласится, чтобы те, кому он преподает, судили и оспаривали его, и что он скажет себе: „Они меня видят голым“. Он почувствует неловкость, но ему необходимо пройти через это, чтобы снова стать достойным своей профессии преподавателя. Теперь, когда вся Франция увидела голым генерала де Голля, необходимо, чтобы студенты смогли посмотреть на голого Раймона Арона. Ему вернут его одежды, только если он согласится, чтобы его оспаривали». Все сказанное мне показалось и грубым и высокомерным. Во имя чего Сартр берет на себя право судить, достоин или недостоин такой-то человек преподавать?

В беседе с Конта, состоявшейся по случаю семидесятилетия Сартра, последний оправдывает эти статьи 1968 года следующими замечаниями: «Когда я увидел, что он (Арон) думал о своих недавних студентах, оспаривавших всю университетскую систему, я подумал, что он никогда ничего не понимал в своих учениках. Я нападал на преподавателя; преподавателя, враждебного своим собственным студентам. <…>» Оправдание не лучше его оскорблений. Что знает Сартр о преподавателе? И уж если нападать, то зачем оскорблять, бросать лживые обвинения?

Но перейдем к самому существенному — необходимости оспаривать самого себя. Каждый, кто преподавал — будь то в

классе лицея или в университетской аудитории, — знает, что его «судят и оспаривают» его ученики или студенты, так же как лектора или актера — их слушатели или зрители. Нет для преподавателя более тяжкого испытания, чем враждебность аудитории. Если столько профессоров в 1968 году капитулировали перед протестующими, то главной причиной этого стал страх подвергнуться позднее остракизму со стороны студентов или по меньшей мере наиболее активных среди них. В этом смысле ни один преподаватель не отказывается от того, чтобы его оспаривали, ибо избежать этого — отнюдь не в его власти. Оспаривать же себя самого — совсем другое дело. Нам всем угрожает склероз, и мы все рискуем закрыться перед другими людьми и их критикой в наш адрес, чтобы обеспечить себе некий интеллектуальный комфорт. Не думаю, что я обосновался на укрепленных позициях, дабы игнорировать прогресс познания и быстрое, неизбежное преодоление нескольких наших скудных идей.

Что поражало меня в 1968 году и поражает еще сегодня, это как раз случай Сартра. Вот поистине человек монолога, хотя он и ссылался на диалектику. Он сам ответил Альберу Камю, но с ловкостью и коварством полемиста. Я не заслужил ничего лучшего, чем филиппику Жана Пуйона. Возражения Леви-Стросса отстранены одним словом, нелепым или просто глупым: этнолог напрасно возомнил себя философом. Что до самого Сартра, то он, разумеется, не высказывал всегда одни и те же мнения или суждения о политике, но и никогда не критиковал себя. Его доктрина свободы — свободы, в каждое мгновение новой, — избавляла его, так сказать, от всякой ответственности за свое прошлое. В 1968 году он говорит о летних курсах лекций для рабочих и стажировках на заводе для студентов и добавляет: «Подобная практика уже существует, например, в Китае и на Кубе, где люди начали понимать, что такое истинный социализм». 1968 год: развалины китайской культурной революции еще дымились. Сартр ни разу не поставил под сомнение какой-либо момент своего прошлого (вплоть до диалогов с Бенни Леви).

«Почему вы не ответили в 1968 году на статью в „Нувель обсерватер“? — упрекает меня один из моих читателей. — Вы ждете, когда его не станет, чтобы свести с ним счеты?»

Я не свожу счеты, я размышляю о человеке Жан-Поле Сартре, оставляя в стороне его гений. Тогда я не испытал гнева, даже мое самолюбие в тот раз не было задето. Защищаться, как я сейчас это сделал, ответить, что никогда не повторял, а тем паче не «читал вслух» свое «Введение» и что Сартр сознательно лжет; что лекции

профессора, «недостойного преподавать», переведены в полудюжине стран и используются многими тысячами студентов? Возразить, что я вел диалог со своими слушателями, насколько это позволяли материальные возможности, и что мой семинар в Практической школе научных знаний был открыт для любых споров? Я не собирался играть роль обвиняемого, признавая тем самым за Сартром право судить меня; я не собирался также опускаться до уровня низости и грубости, на который он скатился. Моим друзьям надлежало защитить меня, если они считали это необходимым; друзьям Сартра, если они заботились о его достоинстве, подобало предостеречь его от присущих ему страстей.

Сегодня Сартр, автор и человек, присутствует среди нас, в Париже, равно как и в целом мире. Полагаю, мы вправе свободно говорить и писать о нем. Почему он, посвятивший всю жизнь поискам этики, обвиняет генерала де Голля в призыве к убийствам? Почему оскорбляет в моем лице ненавистный символ университета, ныне ему уже незнакомого. За ним признают привилегии гения — пусть так. По сам он не требовал таких привилегий, он написал о себе — это его последние *Слова*: «Весь человек, вобравший всех людей, он стоит всех, его стоит любой»; 264 почему же отказывать генералу де Голлю или Раймону Арону (да простят мне это сближение: оно продиктовано Сартром) в уважении, которое он питает ко всем?

Чтобы попытаться понять, вспомним слова Симоны и Жан-Поля, приведенные Артуром Кёстлером. Пусть лучше будут коммунисты, чем Генерал, говорили они оба. В этом случае приходится прибегнуть к наименее удовлетворительному объяснению: невежество, ведущее просто-напросто к глупости. Философ свободы никогда не умел увидеть коммунизм таким, каков он есть, или не смирялся с реальностью. В советском тоталитаризме он не распознал раковую болезнь столетия, никогда его не осуждал по существу. Свои самые злые нападки Сартр приберегал для тех, кто не разделял его заблуждений. В «Некрасове» он высмеивает диссидентов советской системы, а не чиновников от культуры, находившихся в порабощении у какого-нибудь Сталина или Хрущева.

Что касается его гнева против меня, то откуда он? Правда, Сартр на всю жизнь остался «скверным мальчишкой». В Эколь Нормаль он не раз шокировал меня своей жестокостью (на словах) по отношению к товарищам или «кайманам» (преподавателям). Иногда он говорил с видимым безразличием о своем деде. «А старик-то выкарабкался», — сардонически бросил он однажды, как будто ожидал смерти «старика» или удивлялся

отсрочке. Сразу после выхода в свет «Тошноты» он опубликовал в «Нувель ревю франсез» серию литературных эссе о романистах предыдущего поколения — Жироду, Мориаке. С блистательным талантом он безжалостно расправлялся с ними. Освобождался от старого хлама… Памятна статья о Франсуа Мориаке: «Бог — не художник, Франсуа Мориак — тоже». Вооруженный своей теорией романа, Сартр объявил, что автор «Пустыни любви» нарушает законы жанра. Все его похвалы, в которых он отказывал равным себе или соперникам, адресовались Дос Пассосу 265, затерянному где-то в далекой Америке.

Если счесть возможными толкования, исходящие из низменных побуждений (к чему я отнюдь не склонен), то чем я мог ранить его самолюбие?[205] В конце сороковых годов Ж.-Ж. Серван-Шрейбер хотел озаглавить одну из своих статей «Ж.-П. Сартр и Раймон Арон». Лазарефф возразил, что уровень этих двух авторов неодинаков, — в чем он не ошибался. К 1968 году сопоставление двух прежних товарищей стало менее непривычным; однако я и не думал сравнивать мои и его произведения. Однажды мы встретились случайно в 1960-м, после моих выступлений, посвященных Алжиру. Он подошел ко мне: «Здравствуй, дружок». Тут же на меня нахлынули воспоминания, которые и продиктовали мне слова: «Мы оба много несли чепухи» (или что-то в этом роде). «Давай вместе пообедаем», — заключил он. Обед не состоялся. В течение 60-х годов мы не «примирились», но и не полемизировали. Откуда же, повторюсь, этот взрыв холодной ярости или слепого гнева в 1968-м?

Сартр бывал неистовым лишь перед чистым листом бумаги. Он не любил дебатов «лицом к лицу», ни разу не согласился на публичный диалог со мной (или кем-либо другим) на радио или телевидении. Диалектик монолога не унизился до того, чтобы самому ответить на книгу М. Мерло-Понти «Приключения диалектики», — поручение исполнила Симона де Бовуар. Но тон статьи «Бастилии Раймона Арона» возвращал нас к довоенным временам, к еженедельникам крайне правых «Гренгуар» и «Же сюи парту» («Je suis partout»). Свое великодушие, подлинное по отношению к близким ему людям, он проявил к Альберу Камю и Морису Мерло-Понти только после их смерти.

«Бесподобная революция» родилась в некотором роде случайно. Альфред Макс попросил у меня, если моя память точна, в начале июля статью для «Реалите» («Réalité»). Я ответил, что не могу ее написать, но, пожалуй, смогу продиктовать. По причинам материальным — срок был слишком коротким, чтобы успеть к следующему номеру, — проект не осуществился. От

статьи я перешел к брошюре. Шарль Оренго напечатал «Алжирскую трагедию» в серии «Без умолчаний» («En toute liberté»). Ален Дюамель пришел переговорить со мной. Я предложил ему темы четырех глав («Психодрама, или Конец одной цивилизации», «Революция в революции», «Смерть и воскресение голлизма», «Голлисты и интеллектуалы в тоске по революции»). Я продиктовал каждую из этих глав за одно утро, написал вступление и заключение («Краткое объяснение абсурда»), быстро отредактировал свою импровизацию. Через две с половиной недели «Бесподобная революция» была готова для печати; в начале августа вышла книга. Оренго задержал ее выход, чтобы «Экспресс» успел напечатать отрывки.

Оставив в стороне успех у публики, который легко было предвидеть в обстоятельствах лета 1968 года, как расценить эту брошюру, наговоренную по горячим следам событий? Какими были типичные реакции на нее? Приведу сначала, в качестве примера отзывов моих противников, отрывки из письма, присланного мне девушкой, восставшей против общества, но не против своей буржуазной семьи:

«<…> Ваша точка зрения возмущает и огорчает меня. Когда подумаю о многих интересных, умных, справедливых и объективных книгах, которые вы написали, мне хочется плакать, читая эту „Бесподобную революцию“. Вы затаптываете эту революцию в грязь, рассматривая ее как бурлескную комедию, печальный эпизод, второстепенное и лишенное интереса событие. Тысячи и тысячи раненых, брошенных в тюрьмы и убитых (sic) людей — это ведь не действующие лица бурлескной комедии. Если ваша книга, возможно, в самом деле лишь печальный эпизод, то революция может быть только трагедией. Что касается презрения, с каким вы говорите о студентах из буржуазных семей (к их числу принадлежу и я), вступивших в борьбу и многим рисковавших, а также об активных, динамичных преподавателях, которые сумели помочь нам преобразовать университет, сделав его подлинно современным, то оно доказывает одно из двух: либо ваш привычный ход мыслей и ваши исторические критерии сбивают вас с толку, либо вы сделались авторитетным глашатаем контрреволюции, еще более реакционной, чем та, которую проводил генерал де Голль». Далее на двух страницах эта студентка защищает утопии — источник перемен, обличает мой макиавеллизм, мое презрение к народным классам, являющееся «преступлением против человека», говорит о душевной муке тех, кто сражается на баррикадах против общества, чье воплощение они видят в своих родителях, которых любят. «Если революция для вас „бесподобна“, то это потому, что вы уподобили ее не

тому, что она есть на самом деле». И в заключение — «с уважением». В глубине души я испытал симпатию к этой девушке, уязвленной чувствами, которые она мне приписывает, и еще более — зрелищем действительности, из которой ушла поэзия.

В поздравлениях также не было недостатка. «Бесподобная революция» понравилась не только мандаринам или коллегам моего поколения — следовательно, находящимся в апогее своей карьеры и по большей части на вершине иерархии. Несколько слов прислал мне Андре Мальро: «Браво за Вашу „Бесподобную революцию“ (хотя Вы и цитируете меня странным образом). И знайте, что с Вами гораздо больше людей, чем можно подумать, читая прессу». Франсис Понж, отнюдь не принадлежащий к университетской среде, писал мне: «Я должен заверить Вас, что Вы (и Вы тоже) не так одиноки среди интеллектуалов, как Вам кажется, и что „самый меньший“ из них (льщу себя надеждой, что я им являюсь) целиком одобряет Ваш анализ революционной комедии, разыгравшейся в минувшем мае — июне». Похвала Жана Гиттона удивила меня своей чрезмерностью. «Г-н Оренго, — писал он, — прислал мне Вашу книгу. Это шедевр, κτήμα εις αεί, притом написанный по горячим следам. Будьте неизменно уверены в моей дружбе».

Более интересными кажутся мне письма, не выражающие столь крайних реакций на то, что сочли крайностью суждений. Я выбрал из них послание Альфреда Фабр-Люса, откуда приведу несколько отрывков: «<…> Вы знаете также, как я восхищаюсь Вашим талантом, и, читая „Бесподобную революцию“, я с удовольствием констатировал, что Вы по-прежнему в прекрасной форме. <…> „Бесподобная революция“, которая содержит столько справедливых идей, такой подробный анализ и столь закономерную реакцию против достойных сожаления упрощений, страдает, мне кажется, от одного сомнительного положения. Вы без труда показали, что майская революция не могла привести к потрясению общества. Но кто сомневается в этом, и нужен ли весь Ваш талант, чтобы ломиться в открытую дверь? Как Вы справедливо пишете, эта революция могла бы лишь привести, в случае растерянности Генерала или провала референдума, к возвращению Мендес-Франса, который не вышел бы из рамок капитализма и вскоре нашел бы себе опору в коалиции, образовавшейся в Национальном собрании. <…> С другой стороны, вот в чем именно состоит недоразумение между нами: майская революция представляется Вам ответом (или попыткой ответа), тогда как я вижу в ней лишь вопрос. Мы же должны дать ответ — а это возможно, только если внимательно прислушаться к вопросу. К открывшимся дискуссиям Вы относитесь исходя из

предрассудка (смягченного несколькими ораторскими ухищрениями), согласно которому ничто доброе не сможет родиться из этой зловещей весны. Такая позиция кажется мне неприемлемой, и я убежден, что Ваш выдающийся ум скоро заставит Вас сойти с нее. Приведу пример из области медицины, ибо здесь результаты уже достигнуты. Упразднение экстерната [266] и конец диктатуры „хозяев“ клиник — это, думаю, превосходные новости. <…> Безусловно, было бы предпочтительнее, чтобы к этим реформам пришли иным путем, но мы хорошо знаем, что „иным путем“ к ним не пришли бы вовсе. Бывают моменты, когда нужно уметь сжиться с парадоксом, относясь к нему с некоторым юмором, и извлечь из него наилучшие результаты, которые возможны. Добавлю, что, в более отвлеченном плане, „маркузианство“ [267] не заслуживает, на мой взгляд, одного лишь презрения. <…> Меня глубоко огорчало, когда весной студенты из числа Ваших почитателей, и отнюдь не бешеные фанатики, говорили: „Раймон Арон нас не понял“. Не нужно, чтобы это недоразумение увеличивалось. Это ничем не оправдано».

Я не оставил копии своего ответа. Но вот что я ответил бы сегодня: разрыв в республиканской законности, через десять лет после легального государственного переворота 1958 года, представлялся мне достойным сожаления. Я не был, разумеется, безоговорочным голлистом, но победа Кон-Бендита над Генералом ранила бы меня до глубины души. Я бы воспринял ее как национальное унижение. От статьи Фабр-Люса «Мендес-Франс в Елисейском дворце», которую напечатала «Монд», мне стало тошно.

Я никогда не исключал возможности того, что пережитый в мае шок повлечет за собой реформы, сами по себе желательные. Я, впрочем, уже ответил на этот упрек, но Фабр-Люс видит в этом лишь «ораторские ухищрения». Между тем я рассказал в своей книге эпизод, о котором уже упоминал в одной из предыдущих глав: «Как-то на конференции, где председательствовал генерал де Голль, я сказал: „Французы время от времени совершают революцию, но они никогда не осуществляют реформ“. Комментируя затем мой доклад, генерал де Голль справедливо меня поправил: „Французы осуществляют реформы, только продолжая дело революции“. Нет сомнения, что из нынешнего кризиса могут родиться полезные, необходимые реформы. <…>»

Я допускаю, что мои статьи в «Фигаро» и «Бесподобная революция» были чаще всего прочитаны в то время в духе Фабр-Люса. Отсюда и недоразумение. Страсти разгорелись, не миновав никого. Конечно, и мои статьи, и брошюра местами тоже оказались раскалены. Однако если я и бывшая молодежь 1968

года перечитаем их, то мы вместе зададим себе вопрос, почему же эти тексты вызвали столько шума, почему им то аплодировали, то затаптывали их в грязь. Стоило страстям улечься, как осталось, вероятно, главное: сочувствие, даже энтузиазм одних по отношению к событиям и неприязнь, отвращение других. Совершенно очевидно, что я принадлежал ко второй категории. Прежняя Сорбонна должна была умереть, но она не заслуживала той казни, которую над ней учинили в мае 1968 года. В конце концов, каждый прожил эти недели с напряжением всего своего существа, а между людьми с разным жизненным опытом не получается подлинного диалога.

Вот, например, письмо Эдгара Морена: «Лично я не считаю, что в определении „троцкист“ или „анархист“ есть что-либо позорное. Но оно ко мне не относится, и, оттого что идеологи ФКП приклеивают мне время от времени этот ярлык, правдой он не станет. Во время событий я сделал попытку социогенетического анализа: я не вижу, что было здесь „утопичного“ — охарактеризовать их уже в то время (середина мая), когда исход был неизвестен, как „коммуну“ и „переживаемую утопию“; не вижу, чем „мифологично“ определение Мая как „революции без своего лица“, то есть как феномена, в значительной степени неопределенного. Впрочем, читая мои статьи, легко увидеть, что я не рассматриваю эту коммуну, эту революцию без своего лица как расхожее решение всех проблем. Зато я нахожу в ней диагноз серьезных болезней нашего общества и обещание будущего развития, то есть „сдвиги XX и XXI веков“ и подготовку к „преодолению буржуазной цивилизации“, „если только человечество войдет в эту эпоху в сколько-нибудь гражданском обличье“ — формулировка, которая показывает Вам, что и я осторожен, говоря об Истории».

Из письма, написанного мне в октябре 1968 года Клодом Леви-Строссом, приведу следующий отрывок: «Я нахожусь, однако, в парадоксальной ситуации, поскольку вот уже около четырех лет, как в моей лаборатории работают три десятка человек, без различия степени или должности. И все идет прекрасно, но дело здесь, мне кажется, в том, что истинная демократия возможна только в очень малых образованиях (об этом уже говорили Руссо и Конт), где идеологические расхождения обузданы подлинностью человеческих взаимоотношений. Чтобы предпринять попытку совместного управления с какой-то надеждой на успех, прежде всего необходим отбор — звание студента должно быть результатом использования шанса, которым человек дорожит, а не права, которое опошляется, — затем нужно организовать это совместное

управление снизу, то есть на уровне небольших преподавательско-исследовательских групп, даже если впоследствии придется сделать его повсеместным. Вместо этого университет отдается во власть коалиции, которая неизбежно образуется между инфантилизмом студенческих масс и пужадизмом 268 старших преподавателей».

Оставим цитаты, которых я мог бы привести еще много, иллюстрируя «реакции на события» и «пережитый опыт». Я хотел бы вернуться к обращению Фабр-Люса: «Вы не сыграли роли, которая Вам подобала: не приветствовать эту „замечательную молодежь“ или присоединиться к революционерам, но понять их, чтобы дать им совет и чтобы помочь общественному мнению понять их. Вы оказались в лагере мандаринов и консерваторов, которых раньше сурово критиковали». Я сам поставил этот вопрос в одной из статей в «Фигаро» (14 июня 1968 года): «Некоторые друзья, разделяющие большинство идей, которые я высказываю, ставят мне в упрек возможные последствия моих поступков; вас, говорят они мне, того, кто долгие годы критиковал консерватизм стольких ваших коллег, скоро „присвоют“ и „используют“ консерваторы. Вы должны были бы присоединиться к „революционерам“, чтобы руководить ими, вместо того чтобы перечислять достойные сожаления, но эпизодические эксцессы». Ответ, с поползновением на самокритику, который я дал тогда этим друзьям, сегодня меня не удовлетворяет. Он сводился к формуле «кто виноват?». «Кто же рискует помочь „реставрации“ и помешать реформам? Не те ли, кто, принимая заведомо обреченные структуры, в конце концов убедят администраторов, министерство и правительство, что люди в университетах неспособны к свободе и недостойны ее?»

Мне и сегодня не удается вынести категорическое суждение. Моя деятельность (если так можно сказать) в мае 1968 года снискала одобрение моего брата Адриена (который обычно не писал писем): «Пусть этот блистательный успех побудит тебя чаще покидать олимп безмятежной объективности, чтобы применить твой талант полемиста на городской площади. Итак, старый профессор пришел в ярость. Браво. Когда придет очередь молодого гражданина?» Секретарь редакции роялистской газеты «Насьон франсез» («Nation française») заверил меня в «уважении и восхищении, которые не впервые (ему) внушает (мое) гражданское и интеллектуальное мужество». Но я не могу остаться равнодушным и к такому письму одного из читателей «Фигаро»: «Я очень поверхностно знаком с темами, вокруг которых разгорелся бунт, и совершенно неспособен составить компетентное суждение о целях его участников. Весьма вероятно,

что я разошелся бы с ними во многих пунктах. Однако суть, на мой взгляд, не в этом. Величайшее явление наших дней состоит в том, что существует молодежь, серьезно думающая об общественном благе, социальных проблемах и, главное, стремящаяся освободиться от той автоматизированной и бесперспективной для разума жизни, которую нам навязывают как на Востоке, так и на Западе. А ведь молодежь обвиняли в том, что она интересуется только пустяками, склонна к болезненным причудам; было время, между двумя войнами, когда молодежь представляла силы наихудшей реакции; разве Ваше перо не должно было упомянуть совершенно иначе эту новую молодежь, даже если Вы не согласны с ней? Вы и не можете с ней согласиться, как и я сам — смиренно признаю это, — ибо у нас нет их юных лет, их динамизма и — что там говорить — их иллюзий. Революция никогда не совершалась без интеллектуалов, без папенькиных сынков и в особенности благодаря большинству. Большинство вовлекается в борьбу усилием активного меньшинства. Каждый вправе не желать революции и противостоять подобным движениям. Однако глубоко несправедливо называть „группками“, „бешеными“ и т. п. людей, готовых пожертвовать своим благополучием и самой жизнью. Я твердо верю, что этот „легкомысленный народ“ показывает себя действительно великим в такие критические моменты своей истории, а не в апатии рабства, какой бы окраски оно ни было». Мой корреспондент просил ответить ему, чего я, помнится, не сделал. В том, что он пишет, есть доля правды, но к ней примешано столько «иллюзий»…

Автор рецензии на «Бесподобную революцию» в «Нью-Йорк таймс» писал, что Раймон Арон принадлежит к тем невыносимым людям, которые сохраняют хладнокровие в моменты, когда все остальные дают себя увлечь эмоциям[206]. Клод Руа писал год спустя, в ответ на мое письмо, где я намекал на неприятную для меня, но не оскорбительную статью, которую он посвятил «Бесподобной революции»: «Думаю, что достаточно ясно выразил в своей непочтительной и дружеской статье ту неизменную признательность, которую мы к Вам питаем и которую Ваши „Разочарования в прогрессе“, поверьте, нисколько не уменьшили — напротив. Я часто, как и Вы, ощущаю античную радость, „очищаясь от своих приступов гнева“. Но если я действительно часто упрекаю себя в них, то в те послемайские дни я гневался как раз на Ваш гнев. За то, хочется мне сказать, что это был слишком уж черный гнев. Тогда как гнев юных „бунтовщиков“ был, наверное, чересчур белым. И за то, что противопоставление Вашей и их ярости выглядит манихейским, тогда как Вы в столь

малой степени склонны к манихеизму».

Употребила ли Франция во благо свою революцию или псевдореволюцию? Я рискую потерять нить повествования, если попытаюсь проанализировать последствия событий. Разумеется, экономика быстро оправилась от потрясения. Темы *Kulturkritik* широко популяризировались; все общество осознало, что заработная плата низка, что СМИГ (SMIG) (превратившийся в СМИК (SMIC)) низок скандально [269]; технократы открылись для человеческих чаяний и поставили вдруг под вопрос вульгаризированное понятие роста (не без того чтобы впасть в другую крайность и обличать общество потребления). Возможно, руководители предприятий извлекли некоторые уроки из дней или недель протеста. Порядок восстановился на предприятиях, как и повсюду; вероятно, этот порядок отличается в лучшую сторону от прежнего.

Что касается университета, то здесь кризис продолжался; дебаты возобновились в связи с «Законом об ориентации» Эдгара Фора [270]. В тот день, когда Национальное собрание рассматривало вопрос, «Фигаро» поместила на первой странице мою статью под заголовком «Иллюзионист». Министр упрекнул меня за нее в личном письме: «Называя меня иллюзионистом в тексте, напечатанном жирным шрифтом и занимающем несколько колонок первой полосы крупнейшей французской ежедневной газеты, к тому же накануне решающих дебатов, Вы изменили если не дружеским чувствам, ибо Вы не обязаны их испытывать ко мне, то, во всяком случае, справедливости (так как, что бы ни думать по существу вопроса, мои усилия не заслужили такого оскорбления) и чувству меры, любезному богам».

Обидные высказывания, которые «Нувель Обсерватер» приписывала то министру, то мне, еще подлили масла в огонь этих «споров на высоком уровне». Но после того как в начале учебного года в Сорбонне студенты разбили окна в Зале Луи-Лиар, где я находился в составе диссертационной комиссии, и встретили меня во дворе криками «Фашист, фашист!», Эдгар Фор позвонил мне по телефону и заверил меня, что осуждает эти нетерпимые эксцессы. Прошло время — могу сказать, оно прошло быстро, — и наши сердечные отношения пережили бурю, поднятую Законом об ориентации.

Я не был в восторге от этого закона, принятого почти единогласно. Автономия университетов отвечала моим желаниям, но, будучи неизбежно ограниченной, поскольку министерство сохраняло за собой контроль над ресурсами, она включала избирательную систему, казавшуюся мне неразумной.

Участие студентов в выборах было слабым; самые организованные и активные студенческие профсоюзы, а именно профсоюзы коммунистической направленности, обеспечили себе влияние, несоизмеримое с числом их членов. К университетским распрям между отдельными личностями, поколениями, научными школами прибавились собственно политические конфликты. Факультеты и университеты стали формироваться согласно политическим симпатиям. В усилившейся и более откровенной политизации университетского мира я видел наследие Мая, один из наименее спорных и наименее приятных его результатов. Некий парижский университет зашел так далеко в направлении «реакции», что вернулся во времена куда более давние, чем предапрельские; «реакционеры», считающие себя либералами, проявляют порой ту же пристрастность, которую они справедливо ставят в упрек активистам профсоюза работников высшего образования. По крайней мере, на гуманитарных факультетах достоинства прежнего университета не возродились.

Вместе с тем структура университетов представляла собой шаг вперед по сравнению с положением до 1968 года. Преподаватели получили некоторую свободу действий благодаря созданию ЮЕР. Если смотреть на него со стороны, высшее образование, во всяком случае в университетах, много приобрело и одновременно много потеряло в этом землетрясении, которое обрушило прогнившее здание. Сотни тысяч юношей и девушек поступают в ЮЕР, заменившие прежние гуманитарные факультеты, не имея определенного жизненного плана; все более высокий процент (свыше половины) выходят оттуда без какого-либо диплома.

Впрочем, университеты меньше пострадали от последствий Мая, чем от кризиса занятости. Даже для лучших студентов новых поколений почти не находится мест. Вплоть до 1972 года одновременное увеличение числа студентов и преподавателей, слабость органов государственной власти облегчили карьеру всех выпускников, хороши они были или плохи. Сегодня лучшие из окончивших высшие нормальные школы (пединституты) получают звание агреже и тщетно ищут место преподавателя вуза. Классическая культура умирает: почти все хорошие ученики выбирают отделение «С». Гуманитарные факультеты высших нормальных школ погружаются в убожество — осужденные на него из-за отсутствия перспектив трудоустройства для выпускников, они больше не уверены в своей роли в обществе, в смысле своего существования. Еще несколько лет спустя после 1968 года студенты Эколь Нормаль заставили заговорить о себе. Когда некоторые из них пригласили меня прочитать у них

лекцию, я должен был отказаться от своего намерения. Группа левых экстремистов объявила, что помешает мне говорить (сделать это совсем не трудно). В результате не знаю уж какой манифестации из окон библиотеки выбрасывали книги. Спокойствие постепенно вернулось, но не вернулась жизнь. По сравнению со Школой моей юности, сегодняшние здания, лаборатории, условия жизни свидетельствуют об экономическом прогрессе. Но у гуманитарного отделения Эколь Нормаль все в прошлом.

XIX
«УВЕРЕННЫЙ В СЕБЕ И ВЛАСТНЫЙ»

Весной 1967 года я был в числе тех «французов еврейского происхождения», кого глубоко взволновали события на Ближнем Востоке: угроза Государству Израиль, затем Шестидневная война, энтузиазм по поводу победы Израиля, испытанный большинством евреев, но также многими французами, и, наконец, пресс-конференция генерала де Голля и его слова: «Народ особого склада, уверенный в себе и властный».

В опубликованной в начале 1968 года книжке[207] я воспроизвел статьи, написанные мной для «Фигаро» до, во время и после войны. Дипломатический анализ выдерживает, как мне кажется, испытание повторным чтением. 21 мая я считал, что, рассуждая логически, ни один из участников конфликта не должен бы желать войны. Насеровский Египет с увязшей в Южном Йемене частью армии находился в невыгодном положении. У Сирии не было необходимых средств, чтобы одной бросить вызов Израилю. Но в заключение я внес поправку в это оптимистическое в*и*дение: «Таким образом, признав, что никому в нынешних обстоятельствах не выгодно спровоцировать крупномасштабный кризис, мы видим, однако, что неуверенность сохраняется по двум главным причинам: правительства арабских стран не контролируют суверенным образом террористическую деятельность; диалектика взаимного запугивания казалась бы менее непредсказуемой, если бы соперничество великих держав не грозило расстроить логику локального соотношения сил».

Тон статьи, напечатанной в «Фигаро» через четверо суток, на другой день после закрытия Акабского залива, помрачнел: «Утром 25 мая партия в покер носит еще дипломатический характер. Израиль не согласится с закрытием Акабского залива, а Соединенные Штаты и Великобритания безоговорочно поддерживают в этом вопросе правительство Иерусалима. <…> Однако нужно обладать могучим оптимизмом, чтобы верить, что переговоры послов или министров позволят найти выход. Президент Насер не разминирует Акабский залив, не получив компенсаций. Москва, если не сделать ей какого-либо выгодного предложения, не имеет никаких оснований для нажима на Насера. Короче говоря, для урегулирования необходима, по-видимому, либо военная конфронтация между Израилем и арабскими странами, либо стратегически-дипломатическая конфронтация между Советским Союзом и Соединенными

Штатами. Первая уже разворачивается на местности, где противостоят друг другу мобилизованные армии; вторая — еще на словесной стадии».

Двадцать восьмого мая сомнение развеялось: «Спровоцировав уход „голубых касок“ и закрыв Акабский залив, Насер бросал вызов как Соединенным Штатам, торжественно обязавшимся не допустить блокады Элафа, так и Израилю, заявившему, что эта блокада явилась бы поводом к войне. Он возлагал на врага — Израиль и его покровителей — возможную ответственность за военные действия. <…> Если агрессор — это тот, кто делает первый выстрел, то египетская операция, которую облегчила вопиющая некомпетентность генерального секретаря ООН, обрекает Израиль на роль агрессора. <…> Никогда еще с 1948 года руководителям страны не приходилось принимать решения столь чреватого последствиями, отягченного „потом, кровью и слезами“. Они не могут держать свою армию — 10 % всего населения — мобилизованной в течение нескольких недель или хотя бы много дней подряд. Между тем Советский Союз, Египет и Франция хотят, чтобы Израиль смирился дипломатически». Я назвал статью «Час истины». Ее последние строки содержат предчувствие войны: «Итак, несколько человек ответственны за два с половиной миллиона евреев, построивших Государство Израиль. Они стоят лицом к лицу со своей судьбой и своей совестью. Они одиноки. Из уст президента Насера вновь раздается угроза уничтожения. Ставка в игре — уже не Акабский залив, а само существование Государства Израиль, государства, являющегося для всех арабских стран чужеродным телом, которое нужно будет рано или поздно устранить». Затем я взвешивал аргументы за и против войны: «Даже победоносные сражения ничего бы не решили, они лишь дали бы отсрочку, какой стали эти последние одиннадцать лет. С другой стороны, капитуляция подготовила бы новую конфронтацию в близком будущем и, возможно, в еще менее благоприятных обстоятельствах». Я не оставлял читателям никаких сомнений: «Все, кто знает руководителей Израиля, предвидят вероятный итог подобного размышления».

Эти дипломатические этюды ничем не отличались от критических заметок, посвященных другим кризисам. Время от времени эмоции прорывались наружу, но мне кажется, что это не мешало ясности интерпретации. 4 июня — накануне начала военных действий — я, находясь на моей старой ферме Браннэ, написал для «Фигаро литтерер» статью, которая расходилась с обычным стилем моих текстов. В особенности один отрывок цитировался с тех пор бесчисленное количество раз: «То, что

президент Насер откровенно хочет уничтожить государство, являющееся членом Организации Объединенных Наций, не смущает деликатную совесть госпожи Неру. Уничтожение государства, „этацид“, — это, конечно, не геноцид. А французские евреи, отдавшие свою душу всем революционерам с черной, коричневой или желтой кожей, воют теперь от боли, ибо их друзья в смертельной опасности. Я страдаю, как они и вместе с ними, независимо от того, что они сказали или сделали, и не потому, что мы стали сионистами или израильтянами, а потому, что в нас растет непреодолимая волна солидарности. Не важно, откуда она идет. Если великие державы, холодно рассчитав свои интересы, позволили бы уничтожить одно маленькое — не мое — государство, то это преступление, скромное с количественной точки зрения, отняло бы у меня силы жить и, думаю, многим миллионам людей стало бы стыдно за человечество».

Я ставлю в упрек этой статье не столько приведенный отрывок — который, впрочем, предваряло нечто вроде исповеди «деиудаизированного» еврея, всей душой француза, — сколько забвение или недооценка соотношения сил. Израиль оставался сильнейшей стороной; напав первым, он должен был, вне всякого сомнения, одержать победу. Мне следовало знать это, и я подсознательно это знал, так как в предыдущей статье говорил о неразумности новой войны с точки зрения насеровского Египта. Между 1956 и 1968 годами враги Израиля не настолько усилились, чтобы рассчитывать на успех своего оружия. Пьеру Аснеру не понравился пафос статьи в «Фигаро литтерер», и, вероятно, он был прав. Даже в такую минуту я был обязан сохранять холодную голову. По природе я эмоционален, подвержен страстям, так что мне иногда случается лишать свой разум монополии на слово.

Оставим эту вспышку иудаизма в моем сознании француза (я вернусь к ней ниже). И возвратимся в прошлое.

Я уже говорил, что не получил никакого религиозного воспитания. Его не заменили уроки, преподанные нам версальским раввином (по желанию Адриена; мы с братьями были единственными учениками). Случайный антисемитизм, с которым я встретился в лицее, не наложил на меня никакого отпечатка. Я с увлечением прочел все, что относилось к делу Дрейфуса, но оно предстало передо мной задним числом как назидательная история: истина одержала верх, а французы готовы были растерзать друг друга из-за одного человека и во имя принципа. В Эколь Нормаль антисемитизм не существовал или, во всяком случае, был скрытым, почти подпольным. Шок гитлеризма пробудил мое еврейское сознание, сознание того, что

я принадлежу к некой группе (или народу, или международному сообществу), называемой евреями.

С начала 1930-х годов влияние германского историзма, в частности К. Мангейма, развеяло мои иллюзии абстрактного универсализма; уже тогда я почувствовал себя очень далеким от предыдущего поколения — от моего отца или Леона Брюнсвика, которые ничего не хотели знать о своем еврействе. Я не зашел так далеко, чтобы много размышлять об иудаизме или о своем еврействе. Более того, возникновение Государства Израиль в 1948 году не вызвало у меня никаких эмоций. Я понимал стремление некоторых евреев создать государство, где они не являлись бы меньшинством, над которым постоянно висит угроза; но даже и не очень много зная о Ближнем Востоке, я предчувствовал неизбежные последствия: затяжную войну между евреями, отныне израильтянами, и мусульманским окружением. Когда, во время моей первой поездки в Израиль, я увидел в одном военном учреждении серию карт Государства Израиль со времен царя Давида до настоящего момента (1956 года), это меня не убедило — совсем напротив. Я вспомнил карты-барельефы Римской империи, водруженные в 30-х годах по распоряжению Муссолини на римском Форуме; исторический ряд от Давида до Бен Гуриона, так же как от Траяна до Муссолини, напомнил мне одну банальную тему: могущество мифов в Истории. Израиль принадлежит к потомству Авраама в воображении верующих — странных верующих, которые не всегда верят в бога, но верят в Библию, или в еврейский народ, или в призвание Израиля.

Я прочитал «Еврейский вопрос» («Question juive») Ж.-П. Сартра и беседовал с ним по поводу этого текста. Я возражал ему по двум основным пунктам. Первое возражение касается самих корней его анализа: еврей якобы становится таковым только в глазах другого. Рассуждение несколько упрощенное и которое можно применить к любым межличностным отношениям. Например, я высокомерен только на взгляд кого-либо другого; остается узнать, держу ли я себя так, что заслуживаю этого эпитета. Если брать за образец такого еврея, как я, — неверующего, не отправляющего обряды, принадлежащего к французской культуре и не связанного с культурой иудаистской, — то будет верно сказать, что еврей является таковым для других и посредством других, а не для себя. Но еврей со скрученными бумажками, который раскачивается в такт молитве перед Стеной Плача, принадлежит к исторической общности, называемой евреями, — евреями в себе и для себя.

Мое второе возражение относится к портрету антисемита. Сартр растворял существо еврея, чтобы свести его к фантазму в

умах неевреев. И наоборот, существо антисемита в его изображении затвердевало настолько, что обретало сущность. Разумеется, в его философии существование предшествует сущему. Антисемит, собственно говоря, не имеет сущности, но пронизан своим антисемитизмом; эта враждебность тесно связана с его экзистенциальным выбором, с его статусом земельного собственника. На мой взгляд, есть много способов быть антисемитом, и Ж. Бернанос, который был им на свой лад вместе со своим учителем Эдуаром Дрюмоном, не похож на портрет, нарисованный Сартром; у Бернаноса никогда не было собственности.

Маленькая книжка, которая у меня вышла в 1968 году, сборник статей, написанных при различных обстоятельствах, не отражает какого-то неизменного взгляда и дает повод для разных, а то и противоречивых, толкований. Я оставляю в стороне сердечные перебои, приливы и отливы моего еврейского сознания, моих чувств по отношению к Государству Израиль. Но я не считаю ни невозможным, ни неуместным собрать несколько мыслей, которые можно найти во всем, что мной написано о евреях, и от которых я не отступлюсь.

Еврея, принадлежащего к французской культуре, потомка нескольких поколений французских граждан, никакой человеческий или божеский закон не может обязать определять себя самого как еврея. Роже Стефан, с которым я несколько лет был в ссоре после знаменитой пресс-конференции 1967 года, отвергает всякую солидарность с израильтянами или с евреями. Во имя чего можно его осуждать? Католик, утративший веру, покидает Церковь, и никто этому не удивляется. Тем более непонятно, почему к еврею, который никогда не посещал храм, не разделяет иудаистских верований и не участвует в обрядах, нужно относиться как к предателю или дезертиру. Человек изменяет сообществу только в том случае, если он к нему принадлежал или хотел принадлежать.

Я отказываюсь присоединиться и к тем чересчур многочисленным людям, которые оскорбляют или обливают презрением такого интеллектуала-еврея, как М. Родинсон, занявшего в конфликте между Израилем и арабами антиизраильскую позицию. Одни лишь ортодоксальные иудеи непреклонно утверждают право израильтян на Палестину. Это право, основанное на Священном Писании, бесспорно только для людей, исповедующих данную религию. Старый Иерусалим принадлежит трем религиям Книги. То, что евреи жили здесь раньше, не освящает их права в глазах последователей Христа или Мухаммеда. Предоставив палестинским евреям

национальный очаг, британцы в лице лорда Бальфура, а затем американцы распорядились частью территории, которую арабы считали своей. «Первородный грех» 271 израильского государства в глазах арабов признается как таковой и многими патриотами Израиля. В специальном номере «Тан модерн», посвященном арабо-израильскому конфликту, мой друг генерал Гаркаби писал, что, к несчастью, израильтяне смогли осуществить свои национальные чаяния только за счет населения Палестины, которому они нанесли ущерб. Не так уж важны споры о том, кто больше виноват: одни говорят, что палестинцы были изгнаны, другие — что они бежали по наущению своих вождей, в надежде вернуться в качестве хозяев. Каждая версия содержит долю истины. Бесспорно то, что израильтяне вернули себе землю, где всегда жили евреи, но где по окончании Первой мировой войны жило больше арабов, чем евреев. Наблюдатель, претендующий на беспристрастность, будь он еврей или нет, может защищать дело арабов.

Человек рождается евреем, потому что его родители были евреями, но он свободно выбирает, остаться им или нет. Отличается ли эта свобода по своей природе от свободы француза — католика или протестанта? Нелегкий вопрос. В наших секуляризованных обществах, во всяком случае, государство хочет быть отделенным от всех Церквей. Священнослужитель, снявший свою сутану и превратившийся в мирянина, становится таким же гражданином, как все, разве что иногда подвергается бойкоту со стороны членов покинутого им сообщества. Что касается национальной принадлежности, то француз может обменять ее на другую, эмигрировав в какую-либо страну, которая более или менее легко предоставит ему свое гражданство. Деиудаизированный еврей, обрубивший все связи с другими евреями, не отрекается ни от какой части себя самого: он не отказывается ни от своего языка, ни от своей нравственности, ни от своего образа жизни, ибо все это он получил от того, что называют его средой, от страны, в которой он живет, и от государства, которому повинуется. Но он остается евреем в глазах других людей.

Отсюда вопрос — абстрактный, но тем не менее важный: что означает выражение «еврейский народ»? Существует ли он? Можно ли говорить о еврейском народе так, как говорят о народе французском? Или же так, как говорят о народе баскском? Только один ответ мне кажется приемлемым: говоря о «еврейском народе», мы придаем понятию «народ» смысл, который годится лишь для этого единственного случая.

Те, кого называют евреями, по большей части не являются

биологически потомками семитских племен, чьи верования запечатлены в Библии и чья История в преображенном виде там рассказана. Накануне или в первом веке христианской эры в средиземноморском бассейне существовали разрозненные еврейские общины, обращенные в иудаизм; их необязательно составляли выходцы из Палестины. Евреи, жившие в романизованной Галлии, также не все пришли из Палестины. Евреи и христиане были близки друг другу до победы христиан и обращения Константина. Погромы начались в Рейнской области в XI веке, в связи с первым крестовым походом. Сделала ли история из еврейских общин — как привыкли их называть — единый народ?

Концепты, которые мы используем в истории, а зачастую и в социологии, не поддаются обычным способам определения. Судьба евреев была разной в мусульманских и в христианских странах, в Восточной и в Западной Европе, в XIX и в XX веках. Чаще всего, на протяжении столетий, различные еврейские общины поддерживали между собой сношения из страха преследований, угроза которых всегда висела над ними, и чтобы не забыть свою непохожую на другие веру. Однако эти общины не обладали ни одной из характеристик, которые обычно создают народ: ни территорией, ни языком, ни политической организацией. Их единство основывалось на их Книге, их вере и некоторых обычаях. Формула «встретимся в будущем году в Иерусалиме» выражала тысячелетнюю надежду, а не политическую волю. Современный сионизм, породивший Государство Израиль, возник одновременно с ассимиляцией и внерелигиозным антисемитизмом; он ближе к современному европейскому национализму, чем к древней вере иудеев, изгнанных из своего Иерусалима.

В настоящее время «Всемирный еврейский конгресс» объединяет ряд национальных комитетов; все еврейские общины диаспоры поддерживают между собой более или менее тесные связи, поощряемые в этом Американским комитетом, намного более влиятельным и богатым, чем все остальные. Представители Всемирного комитета говорят о еврейском народе и среди угрожающих ему опасностей называют смешанные браки, ассимиляцию. Первое противоречие: если евреи утверждают, что составляют народ, и если они хотят сохранить свое единство, то они требуют для себя всех прав, какими обладают другие граждане принявшего их государства, и одновременно прав и обязанностей, которые подразумевает принадлежность к народу, отличающемуся от народа их государства. Исходя из этих предпосылок, немалое число евреев стало даже бояться полного

исчезновения антисемитизма, что способствовало бы ассимиляции евреев, а следовательно, исчезновению самого народа. По поводу опасений, что антисемитизм исчезнет, немец бы иронически сказал: «Ich muchte ihre Sorgen haben»[208]. Тем не менее верно, что в нормальных условиях смешанные браки будут, вероятно, заключаться все чаще, по мере того как еврейские юноши и девушки будут больше общаться со своими соотечественниками, не важно, единоверцы они или нет, и отходить от религиозной обрядности, неотделимой от их веры.

В действительности возрождение еврейского сознания, наблюдаемое ныне социологами, любознательность, которую «ассимилированные» евреи, по крайней мере во Франции, проявляют к своим истокам, к культуре своих предков, должны были бы усмирить эту парадоксальную тревогу. Евреи любой страны нескоро забудут и трагедию недавнего прошлого, и хрупкость близкого будущего. Что интересует меня больше, так это враждебное отношение к смешанным бракам и забота о сохранении идентичности — какой: религиозной, культурной, этнической? Мне понятно, что те, кто мыслит себя как евреев-в-себе, хотят быть евреями-для-себя. Но, хотя я и не отрицаю в себе еврейского наследия (не знаю, в чем оно состоит, тем не менее согласен, что другим, со стороны, оно заметно), у меня нет твердой решимости быть евреем, я не знаю, какую еврейскую самобытность нужно спасать, а потому не имею никаких оснований осуждать смешанные браки.

В настоящее время культ различий (или вкус к ним) отвергает схему государства, полученную нами от якобинцев. Бойцы корсиканского или бретонского микронационализмов играют со взрывчаткой; Ален де Бенуа и его последователи реабилитируют тех правых, кто враждебен однородности, неизбежной в централизованном государстве и в условиях современной индустрии; воспевают древние мифологии кельтов или германцев. Заодно они соглашаются, по крайней мере на словах, с другими различиями, например, евреев, хотя иудейский монотеизм, воспринятый христианством, предстает с этой точки зрения на историю главным ответственным за фанатизм. Если разнообразие культур есть само по себе благо, если оно — богатство человечества, то почему не сделать из этого логический вывод в пользу еврейства, то есть совокупности общин, считающих себя составной частью еврейского народа?

Возможно, что евреи воспользуются модой на различия, культом различий, господствующими в нынешней Франции. Почему бы обществу не отнестись терпимо к еврейской самобытности, более того, почему бы ей не утверждать себя,

подобно самобытности других этносов — баскского, кельтского или провансальского, которые восстают против оков якобинского единообразия? Однако евреи, настоящие евреи, не рассматривают себя в том же плане, что и носители микронационализмов или этнических групп, чьих особенностей не стерла французская культура. Они верят в единого Бога, который налагает на евреев исключительные обязательства, но царит над всеми людьми. Многочисленные евреи, не верящие в Бога и сохраняющие образ жизни своей общины, сознательно или бессознательно склонны уподобиться любому другому сообществу, будь то корсиканское или бретонское, которое отстаивает свою так называемую культурную идентичность. Но образует ли эта последняя народ?

По правде сказать, вряд ли. Допустим, что общины, составляющие диаспору, сохраняют, вопреки всему, некоторые общие черты, проявляющиеся более или менее ярко в зависимости от места, занимаемого каждой из них в обществе, в которое она интегрировалась. По большей части евреи диаспоры согласны или, скорее, хотят жить как граждане страны, которую они для себя избрали; евреи, даже верующие, чаще всего не имеют желания эмигрировать в Израиль и не мыслят себя гражданами еврейской *нации.* Русские, английские, немецкие, французские евреи не говорят на одном языке, даже произнося одни и те же молитвы, и плохо понимают друг друга — соответствующие национальные культуры наложили на них отпечаток сильнее, чем связь с далеким прошлым, в котором больше от мифа, нежели от подлинной истории.

Повторяю: понятие народа не поддается однозначному определению и употребляется в разных смыслах. Только одно я утверждаю уверенно, рискуя вызвать пылкие возражения: если существует еврейский народ, другого народа такого же типа нет в природе. Иудейская религия сохранилась как религия меньшинства в зонах цивилизации, где воцарилась та или иная из двух других так называемых религий Книги. Вследствие этого верующие в Иегову и в Закон, даже если не все из них потомки племен, упоминающихся в Библии, стали ссылаться на свое общее происхождение, оставаясь верными главным положениям своей религии и обрядам. Сходство их судьбы в разных странах, возможно, выработало у них некоторые духовные или социальные особенности. Что касается внешнего облика, то достаточно посетить Израиль, чтобы избавиться от образа еврея, популярного благодаря литературе и застрявшего в сознании некоторых людей. О прототипе же Шейлока, человеке, чья жизнь — торговля и деньги, который испытывает аллергию к военным доблестям, заставили забыть израильские солдаты: их теперь называют

пруссаками Ближнего Востока[209].

Объективно, то есть следуя критериям, применяемым обычно для идентификации народа, евреи диаспоры таковым не являются; они состоят из меньшинств, исповедующих одну религию, которая раздражающе действует на христиан всех Церквей; они продолжают испытывать некоторое чувство солидарности друг с другом и, по большей части, ощущают свою связь с Государством Израиль, видя в нем символ своей способности образовать нацию, но это не значит, что они чужаки-метеки 272 в принявшем их обществе. В 30-х годах французские евреи называли «бошами» своих прибывших из Германии единоверцев. Евреи Соединенных Штатов кажутся мне американцами. Разумеется, память о геноциде изменила на время психологию евреев, прочно вросших в буржуазию Франции или Англии. Они приобрели или обрели заново сознание своих иудейских традиций, если не своего еврейства. Даже если они согласны со своей принадлежностью к еврейскому народу, эта принадлежность почти ни к чему их не обязывает и «еврейский народ» остается для них чистой абстракцией, поскольку они не намереваются разделить с Израилем ни землю, ни язык, ни судьбу — не всегда даже религию; в молодом поколении немало активных поборников иудаизма или Израиля, которые остаются неверующими.

Когда я сегодня оглядываюсь на свое прошлое, собственный путь представляется мне разделенным на несколько стадий. Первая продолжалась до моего первого путешествия в Германию: еврейское сознание во мне было, однако, очень слабое, возможно подавленное; чтение выступлений Жореса и Золя времен дела Дрейфуса страстно увлекло меня, но я не испытал того искушения, которое возникло у Герцля.

Затем — годы войны: священное единение царило в сердцах, не оставляя места для оговорок относительно меньшинств. В предпоследнем классе учитель, которого я не забыл, Зиглер (на его уроках обычно шумели, а в том году, к его восторгу, школьники стали тихи и прилежны), рассуждал однажды о терпимости. Мне показалось, что он смотрел в мою сторону и говорил для меня. Он развивал идею, согласно которой слово «терпимость» не выражает чувства, которое следует испытывать к тем, кто отличается от большинства: уважение лучше терпимости, подразумевающей взгляд сверху вниз.

Начиная с 1933 года я, чтобы не скрывать из трусости свое еврейство, заявлял о нем, стараясь делать это не слишком нарочито. В 30-е годы университет не был заражен гангреной. С. Бугле, Э. Алеви, даже А. Риво (который в течение нескольких

недель был министром народного просвещения Виши, вероятно, потому, что написал до войны книгу о национал-социализме) не опасались, судя по всему, распространения занесенного из-за Рейна антисемитизма. Но я ощущал изменившуюся атмосферу, слышал в кино возгласы «Евреи, евреи!», когда Леон Блюм появлялся на экране. Ж. Мандель, Ж. Зей, оба убитые во время оккупации, занимали посты в Совете министров; правые и крайне правые еженедельники бичевали их как сторонников войны во имя еврейской солидарности, которая для них важнее французских интересов.

Во время и после войны никто не мог утверждать, что мои позиции коренятся в моем еврействе. Я не принял никакого участия в чистке, мои письменные выступления (за исключением, быть может, статей о нескольких писателях[210]) не рисовали манихейской картины Франции. Сразу же после капитуляции Третьего рейха я ратовал за примирение с Германией. Вследствие гитлеровских преступлений антисемитизм исчез с политической сцены, сохранившись, возможно, где-то в потемках или в подполье. Книга Бардеша о Нюрнбергском процессе хоть и вызвала, пожалуй, скандал, но не оказала подлинного воздействия.

Я принял к сведению возникновение Израиля в 1948 году, не испытав чувства победы; у меня не было сознания того, что произошло событие всемирно-историческое, *weltgeschichtlich,* как говорят немцы. Я не отождествлял себя с этими первыми поселенцами, которые поднимали целину и строили государство. Война сопровождала рождение Израиля или, вернее, сделала его возможным. Она только еще начиналась. Обстановка, в которой израильтянам удалось восторжествовать над коалицией своих арабских соседей — сирийцев, иорданцев, египтян, — была результатом невероятного стечения случайностей. Израилю предстояло стать милитаризованным государством.

Я впервые посетил Израиль в 1956 году. Больше всего поразило меня возникновение в XX столетии почти забытого политического явления — Республики граждан-солдат. Тот, кто наблюдает издалека, видит, как два-три миллиона израильтян теряются в море десятков миллионов арабов. Ему (я имею в виду и себя) легко забыть, что, за исключением, может быть, 1948 года, мобилизованная израильская армия имела как количественное, так и качественное превосходство над армиями своих объединенных врагов. Начиная с 1956 года, если уж не с 1948-го[211], я должен был анализировать и комментировать ближневосточную политику в соответствии с деонтологией моей профессии: максимальная объективность, необходимость

сообразовываться с французскими интересами и опираться на правила политической этики, как бы они ни были двусмысленны.

Теоретически франко-израильский союз обеспечивал мне интеллектуальный комфорт. Но лишь в известных границах: в 1956 году меня смутила англо-французская операция в Суэце, сговор французов с израильскими министрами — эта макиавеллическая акция, совпавшая с венгерской революцией. П. Бриссон упрекнул меня за мои критические выступления: «В кои-то веки мы что-то делаем или пытаемся делать, а вы критикуете, мало того — вы, еврей, осуждаете франко-еврейский союз…» В день, когда Насеру был предъявлен ультиматум, Мишель Дебре с женой и чета Фроссаров обедали у нас дома. Мишель Дебре сомневался в успехе «при подобном режиме». Все мы были озадачены, настроены скептически и враждебно. Следовало ли понимать дело так, что франкоанглийские союзники поставили себе целью свергнуть Насера и заменить его другим военным? В первый день экспедиции английское радио говорило о Негибе. Он был выбран в качестве вождя, лидера офицерами, организовавшими заговор против короля Фарука, и отстранен через несколько месяцев после падения монархии.

Французы — Ги Молле, Кристиан Пино — вероятно, мало думали об открытии Суэцкого канала; если не брать в расчет Израиль, почему египтянам надо было лишиться средств, которые они получали от прохода грузовых и нефтеналивных судов? Французы надеялись поразить в самое сердце алжирскую революцию, которую действенно поддерживал Насер; даже отставка Насера и приход менее антизападной команды не положили бы конец арабской поддержке ФНО.

В течение всех этих лет, между 1954-м и 1960-м, я не скрывал от себя хрупкости, неустойчивости этого альянса. Было случайностью, что обе страны, Франция и Израиль, оказались в состоянии войны с арабским миром. Первая — из-за Алжира, вторая — из-за палестинцев и арабской враждебности. Но алжирской войне предстояло окончиться раньше, чем другой; ни одной из двух стран не было суждено разделить с союзницей радость ее побед и горечь поражений. В 1956 году, во время путешествия по стране, мне повезло встретиться с Бен Гурионом, который тогда был не во власти и жил в своем мошаве. Белая комната безо всякого декора, почти монашеская келья; на стене книжные полки: мой беглый взгляд наткнулся на Маркса в переводах Молитора, Спинозу, Канта, других философов и на еврейскую литературу, мне не знакомую. Мы беседовали; разговор зашел об Алжире, и мой собеседник серьезно сказал: «I read the press; yesterday, 23 died, the day before yesterday 34, today

28. But you will have to go»[212]. Я не возразил ему.

Наш разговор происходил в мае 1956 года, до национализации Суэцкого канала, до синайской кампании. Слова этого старого государственного деятеля с чертами, словно выточенными резцом, и седой гривой, говорившего как философ и выказывавшего при случае свой темперамент борца, простодушно выразили суть франко-израильского недоразумения, которое в один прекрасный день должно было выйти наружу. Израиль покупает у Франции оружие, присылает к нам своих инженеров-атомников, а взамен всемерно помогает нам в ООН и воздерживается от критики алжирской политики, проводимой Четвертой или Пятой республикой. Многие израильтяне, будь то частные лица или политические деятели, не верят во французский Алжир или в умиротворение. В тот день, когда Франция найдет решение — по всей вероятности, независимость, — она вернется к проарабской политике, которая уже проявилась в 1948 году в многодневных колебаниях, перед тем как признать Государство Израиль. Еще до того, как поставки нефти станут для страны вопросом жизни или смерти в обыденном смысле слова, Франции предстояло занять по меньшей мере промежуточную линию, соблюдать некий нейтралитет между израильтянами и арабами.

Разумеется, когда в 1960 году Бен Гурион прибыл с официальным визитом во Францию, генерал де Голль приветствовал его как «друга и союзника». Во время бесед Генерал настойчиво расспрашивал израильского президента о его проектах расширения границ. Он не поверил отрицательному ответу Бен Гуриона; в то время Генерал не объявлял себя (и возможно, не был) противником завоеваний, которые укрепили бы безопасность маленького еврейского государства. Именно во время этой третьей фазы, фазы франко-израильского союза, на мой взгляд недолговечного и хрупкого, я опубликовал в «Фигаро литтерер» статью о евреях и израильтянах.

Я написал эту статью не для «Фигаро литтерер» или какого-либо другого еженедельника; это был ответ на просьбу американского издательства, готовившего сборник, посвященный первому президенту Государства Израиль Хаиму Вейцману, человеку, который вырвал у лорда Бальфура заявление о национальном очаге для евреев и вел переговоры с королем Фейсалом, главой. Хусейнитской династии, единственным арабским монархом, не проявившим мгновенно непреклонной враждебности к заселению евреями Палестины. Недавно Бен Гурион в речи, прославляющей алию, возвращение евреев диаспоры в Израиль, заявил, что только в Палестине евреи могли

бы жить полной жизнью именно как евреи. Это заявление вызвало у меня раздражение, и, возможно в ответ, я написал статью, появившуюся в «Фигаро литтерер» (24 февраля 1962 года). Она выражала крайности моих размышлений о еврейском вопросе и в качестве вклада в сборник памяти Вейцмана имела провокационный характер.

Благодаря моей статье розничная продажа «Фигаро литтерер» в Париже удвоилась, а я получил множество интереснейших писем (к несчастью, потерянных), богатых всеми оттенками одобрения и осуждения. Что касается моих прогнозов относительно будущего, ожидавшего франко-израильский союз, то одни обвиняли меня в пессимизме, тогда как другие упрекали за неуместное предвосхищение событий. Это сказано не ко времени, сурово заметил мне Рене Мейер. Я так никогда и не узнал, почему время было выбрано неудачно. Прочитай меня израильтяне внимательно, они избавили бы себя от неприятных сюрпризов в 1967 году.

Что касается прочего, то есть главного, то я защищал два тезиса: каждый из нас в этом мире принадлежит к какой-либо одной нации; еврей не изменяет своему еврейству, если он, пусть даже и не соблюдая обрядов, повинуется своему Закону, если сохраняет в своих мыслях и своей жизни лучшее из духовного наследия Израиля. Я не отступаюсь ни от одного из этих тезисов, но теперь сформулировал бы их не столь прямолинейно. Впрочем, перепечатывая эту статью в сборнике «Де Голль, Израиль и евреи» («De Gaulle, Israël et les Juifs»), я обозначил в примечаниях собственную дистанцию по отношению к тексту, написанному пять лет тому назад.

Несколькими годами позже New School for Social Research[213] пригласила меня принять участие в дебатах на тему: «Is multicitizenship possible?» Может ли человек быть гражданином более чем одной страны? В плане позитивного права нельзя отрицать тот факт, что многие люди пользуются двойным гражданством. По достижении призывного возраста юные французы, родившиеся, например, в Англии, должны сделать выбор. Если они уклоняются от призыва, то теряют французское гражданство. Многие французы приобрели израильское гражданство, не потеряв при этом своего первоначального подданства. Однако эти случаи, сравнительно немногочисленные, не решают политической и моральной проблемы.

Вспоминаю дискуссию, завязавшуюся где-то в Париже среди дюжины евреев, людей с положением, по случаю уж не помню какого ближневосточного кризиса. И вот один из собеседников задал себе и другим вопрос: что делать, если раздоры между

Израилем и Францией обострятся? Среди нас был генерал в отставке. Его спросили: «Повиновались ли вы, если бы правительство приказало вам воевать против Израиля?» Генерал ответил, как подсказывал здравый смысл, хотя его слова шокировали некоторых из присутствовавших: «Я французский генерал и исполняю задачи, которые ставит передо мной мой начальник и, в конечном счете, мое правительство». Если евреи требуют для себя равенства в правах, они не могут служить одновременно двум кесарям; крайний случай представляется пока невероятным, однако после 1967 года и разрыва фактического франко-израильского альянса многие офицеры болезненно переживали противоречие между своим долгом французских воинов и своими симпатиями в качестве евреев. Вопрос двойного гражданства встал бы на самом деле, в том случае, если бы француз еврейского происхождения пожелал быть *сначала* израильтянином и только потом — французом, обязанным служить французскому государству.

С другой стороны, при демократическом режиме преданность своему государству не носит и не должна носить тоталитарного характера. Многие французы, даже верные Франции, не скрывают, что испытывают особое предрасположение к тому или иному иностранному государству. В прошлом веке католики поддерживали дипломатию Папы, который в то время выступал также в качестве светского правителя Рима. Огромное большинство коммунистов, по крайней мере среди активистов и «освобожденных партработников», многократно доказали на деле свою преданность в первую очередь своей идеологической родине. Но, разумеется, евреи не хотят, чтобы их уподобляли коммунистам, безоговорочным исполнителям воли зарубежной державы.

В Соединенных Штатах *лобби* являются составной частью нормального хода политической жизни. Брат президента Картера зарегистрировался как оплачиваемый представитель ливийского правительства. Американский Еврейский комитет постоянно влияет на общественное мнение и на руководителей США, настраивая их в пользу Израиля и израильской дипломатии. И хотя не все американские евреи, входящие в Комитет, одобряют тезисы и действия Менахема Бегина, еврейские организации до сих пор продолжают действовать единым фронтом, сохраняя видимость единодушия. Как уже много раз говорилось, Франция не знает ничего равнозначного лобби, голосованию в пользу евреев, ирландцев или греков. Народ Соединенных Штатов, составившийся из иммигрантов, остается на удивление разнородным, хотя американская среда частично вылепила все

этносы по своему образу и подобию. Гражданство превращает иммигрантов в полноправных членов общества, узаконивает их статус, но не стирает различия их этнического происхождения. Во Франции иммигранты интегрируются в общество скорее посредством языка и культуры, чем гражданства. Разногласия между французами, постоянно возобновляемые со времен Революции, а может быть, и Реформации, считаются нормальными или неизбежными; двойное же подданство, двойное гражданство остаются подозрительными. Когда еврейское движение «Обновление», стоящее в оппозиции к официальным организациям, провозгласило идею «голосования в пользу евреев», со всех сторон раздались многочисленные протесты.

Что касается моего случая, то я всемерно старался соблюдать политико-этические нормы *французского* политического обозревателя. Мои комментарии всегда содержат больше анализа, чем оценочных суждений, но никогда не достигают полной объективности. Чаще всего они подсказывают решение, которое мне кажется наилучшим для Франции или для сохранения мира, или же наиболее согласным с нравственностью. Мои комментарии, посвященные Ближнему Востоку, предполагают право Израиля на существование, не отрицая того факта, что создание этого государства нанесло урон палестинскому населению и ранило чувства всего арабского мира.

Сформулировав для себя эти основные принципы, я судил о каждом конкретном кризисе, распределяя ответственность, ошибки и вину между участниками со всей возможной справедливостью. В 1956 году я осудил англо-французов более сурово, чем израильтян, потому что первым принадлежала инициатива, тогда как последние только воспользовались случаем, чтобы свести старые счеты с насеровским Египтом и обеспечить себе несколько лет спокойствия на границах.

В 1967 году я возложил вину на Египет, так как Насер сознательно предпринял шаги, которые должны были спровоцировать израильское нападение (он ждал этого). Закрытие Тиранского пролива, формирование иорданско-египетского командования, сосредоточение египетских дивизий на Синайском полуострове — вот три повода к войне, которые были заранее оговорены руководителями еврейского государства. Говоря вульгарным слогом, *they wanted it, they got it*[214].

И в 1956, и в 1967 годах я не безоговорочно разделял энтузиазм, охвативший евреев во Франции и во всем мире. В 1956 году на другой день после вторжения на Синай я выступал на семинаре (на площади Вогезов), организованном раввином Фейерверкером. Во время дискуссии я высказал свои сомнения и

возражения; какой-то молодой человек — я и сейчас ясно вижу его: примерно двадцатипятилетний, внешность предельно непохожая на типично еврейскую, безупречно отглаженная складка брюк, светлый пиджак, приятное лицо — заключил беспорядочные дебаты возгласом: «Вывод — кто сильнее, тот и прав». Против своего обыкновения, я на этот раз страстно и гневно прочитал своему оппоненту мораль. Эта формулировка, достойная какого-либо французского Макиавелли, слишком часто верна, но еврею следовало бы постыдиться употреблять ее. Часто ли евреи были сильнейшими? Долго ли еще они ими останутся?

Политика, которую вели израильтяне с 1967 по 1973 год, логически вела к новой войне. В каждый из моих приездов я говорил об этом израильским друзьям. Ни Египет, ни другие арабские страны не потерпели бы великого Израиля. Я критиковал размещение израильских войск вдоль Суэцкого канала как по военным, так и по политическим соображениям. Канал не образует надежной преграды; он вынуждал израильтян давать бой сравнительно далеко от своих баз. С политической точки зрения оккупация Синая, области Газа и Трансиордании делает Израиль имперским государством в масштабе региона. Военная эскалация шла неумолимо, от одной битвы к другой.

Сирийско-египетское нападение в 1973 году я расценил как нормальное, равно как и израильское нападение в 1967-м (нормальное в смысле соответствия общепринятой практике, обычаю или «этике» *Machtpolitik,* политики силы). После прекращения огня я, вопреки израильским победам в последней фазе войны, порадовался успехам, одержанным в первые дни египтянами, — успехам, благодаря которым президент Садат мог выбрать мирный путь, после того как зарубцуются раны, нанесенные самолюбию и гордости.

Я поддержал переговоры в Кемп-Дэвиде, не питая особых иллюзий; критиковал идею великого Израиля, поселения, организуемые в Трансиордании, и политику Бегина в целом. Я критиковал также французскую дипломатию, которая предлагала взамен кемп-дэвидской процедуры не какую-либо другую процедуру, а заявления, теоретически безупречные, но неприменимые на практике. Разумеется, будь я дипломатом, а не свободным обозревателем, мне пришлось бы сообразовываться с политикой, с которой я несогласен. Многие дипломаты, не являющиеся евреями, оказались в неприятной ситуации, осуществляя и защищая дипломатическую линию, о которой сожалели.

Короче, я следовал деонтологии, которую считал для себя обязательной, нередко получая при этом раздраженные или даже

оскорбительные письма то от евреев, то от неевреев: от первых — потому что высказывал некоторые оговорки по поводу политики Израиля; от вторых — по противоположным причинам. Письма антисемитов оставляют меня равнодушным в той степени, в какой я могу им быть, столкнувшись со слепой, утробной ненавистью; письма евреев трогают меня больше, но им не удается ни на йоту меня поколебать. Я французский автор; еврей, который реагирует и думает прежде всего и главным образом как израильтянин, живет в противоречии с самим собой. Почему бы ему не жить на своей родине?

В части пресс-конференции Генерала, посвященной июньским (1967 года) событиям, содержалось несколько слов, которые были замечены и вызвали комментарии: «Народ особого склада, уверенный в себе и властный». Некоторые люди, которых я уважаю и которыми восхищаюсь, например преподобный отец Рике, отказались заподозрить в словах Генерала иные чувства, кроме восхищения незаурядным народом, даже если в данном случае этот народ злоупотребил своей склонностью властвовать. Я, со своей стороны, не сомневался — и остаюсь убежденным в своей правоте, — что Генерал хотел преподать урок французским евреям, равно как израильтянам. А потому, употребив термин «народ», включающий и израильтян, и евреев диаспоры, он обращался не к одним евреям Израиля. Его раздражение, по всей видимости, было вызвано поведением французских евреев по случаю победы в Шестидневной войне: толпами демонстрантов, произраильской позицией некоторых печатных органов, доходившей до публикации ложных новостей, произраильскими настроениями массы французов, воодушевленных пропагандой и движимых смутными эмоциями — сочувствием к Израилю, Давиду, которому угрожал Голиаф, но и едва осознанным желанием реванша над арабами, которое возникло после ухода из Северной Африки, что отождествлялось с национальным поражением.

Я тогда долго размышлял, нужно ли мне вступать в эту дискуссию, так же как раньше долго думал, публиковать ли свои мысли об Алжире. Антисемитом генерал де Голль не был никогда, по крайней мере со времени своего вхождения в политику в 1940 году. Стоит ли драматизировать значение нескольких слов, не исключавших, в конце концов, лестного для евреев толкования? Мог же Генерал считать, что «уверенный в себе» и «властный» — это комплименты. Толкование, впрочем, тем менее вероятное, что эпитет «властный» постоянно употребляли французские антисемиты, в частности Ксавье Валл*а*, верховный комиссар по делам евреев во время последней войны.

«Протоколы сионских мудрецов», знаменитая фальшивка, сфабрикованная царской полицией, вдохновлялась теми же настроениями и обвиняла евреев в том же грехе: стремлении к власти и господству.

Мой дорогой друг Гастон Фессар, приславший мне письмо по поводу книги «Де Голль, Израиль и евреи», счел мою реакцию чрезмерной, что и высказал по-приятельски откровенно: «Сначала немного о том, что касается пресс-конференции генерала де Голля. На мой взгляд, Вы очень хорошо сделали, отозвавшись на нее и опубликовав Ваш отзыв. Прежде всего потому, что Вы имеете на это право и что Ваши мысли, как всегда, чрезвычайно проницательны. Лично я, хотя и занимаю почти безоговорочно произраильскую позицию в июньском конфликте и радовался победе Израиля, был бы все же менее строг, чем Вы, к словам „народ, уверенный в себе и властный“, и мне не кажется, что нескольких слов, какой бы резонанс они ни были способны вызвать, достаточно, чтобы торжественно реабилитировать антисемитизм или хотя бы вернуть „время подозрений“; тем не менее Вы стократ правы, высказав то, что чувствовали, и я желаю, чтобы написанное Вами содействовало возможному (хотя и маловероятному) обновлению, к которому Вы призываете на последней странице».

Маленькая книжка «Де Голль, Израиль и евреи» состояла из трех частей: первая «Время подозрений», обсуждает пресс-конференцию Генерала; во второй воспроизведены статьи, опубликованные до, во время и после Шестидневной войны; третья объединяет две статьи — ту, что появилась на страницах «Реалите» в сентябре 1960 года, и ту, которая была напечатана в «Фигаро литтерер» 24 февраля 1962 года и о которой я уже говорил.

О второй части я скажу только несколько слов; аналитические заметки, сделанные по горячим следам (я упоминал о них в начале этой главы), выдерживают испытание повторным чтением, хотя, конечно, нынешние читатели располагают более обширной информацией, чем я в то время. Вероятно, У Тан, генеральный секретарь ООН, нес меньшую ответственность, нежели я думал тогда. Насер бросал один вызов за другим; американский президент, запутавшийся во вьетнамской войне, оказался неспособным выполнить обещание, данное Израилю по поводу свободы навигации в Тиранском заливе. «Дж. Ф. Даллес дал Израилю в 1957 году официальные заверения в поддержке; эти заверения ни к чему не обязывали Организацию Объединенных Наций. В течение двух суток чаши весов судьбы колебались. Президенту Джонсону подобало

выполнить обязательства, взятые на себя десять лет тому назад другим президентом Соединенных Штатов, или, вернее, сделать торжественные заявления, адресовать заинтересованным сторонам достаточно красноречивые публичные или секретные послания, чтобы не оставить Каиру и Москве никаких сомнений относительно своей решимости. Американский президент, обремененный нескончаемой войной на Дальнем Востоке, справедливо подозревая за египетским вызовом советское влияние, обещал дипломатическую помощь так неуверенно, что вызвал с обеих сторон цепные реакции, которые не могли не привести к взрыву»[215].

В августе я провел в Израиле неделю и по возвращении написал три статьи, основные положения которых не были опровергнуты последующими событиями. В первой из них я рассказал о своем диалоге с премьер-министром, г-ном Леви Эсколом: «Затруднение из-за богатства, — сказал он мне. — Иерусалим, область Газы, Синай, Западный берег Иордана… На этот раз у нас козыри в руках; пусть другие думают, как себя вести». Я прервал премьер-министра: «На каком слове — *затруднение* или *богатство* — делаете вы ударение? Если речь идет о козырях в виду переговоров, то их у вас достаточно. Если вы сохраните ваши завоевания, то будут ли они богатством?» Я констатировал, что израильтяне, несогласные между собой в отношении как средств, так и целей, проявляли единодушие там, где дело шло о стратегии, но только не о политике. Временно они сохраняли за собой все свои завоевания и оставляли арабам выбор между статус-кво и переговорами, что означало оставаться на месте и выжидать. «Чего боится больше всего каждый израильтянин? Духовной порчи нации вследствие завоеваний? Военной опасности, которой чреват уход из оккупированных территорий? Потери еврейской идентичности, к которой привело бы разрастание арабского меньшинства? Я бы мог рассказать, имей я право на нескромность, какую иерархию между этими различными опасностями устанавливал для себя — возможно, бессознательно — каждый из моих собеседников. Но все они, политики и военные, возвращаются неизменно к дипломатически безупречной формулировке: пусть арабы согласятся на мирное урегулирование, и все станет возможным». Понадобились еще одна война в 1973 году, военные успехи Египта в ее начале и появление нового государственного деятеля в Каире, чтобы смогли состояться прямые переговоры между страной, называемой арабской, и Израилем.

Две статьи третьей части различаются не столько по существу, сколько тоном, стилем, атмосферой. В конце первой —

из «Реалите» — приводилась цитата из эссе Ж.-П. Сартра, который, в свою очередь, цитирует чернокожего писателя Ричарда Райта: «Итак, в Соединенных Штатах нет проблемы черных, есть только проблема белых». Жан-Поль Сартр добавляет: «Подобным же образом мы скажем, что антисемитизм — это не еврейская, а наша проблема». Я теперь, конечно, не согласен с этим афоризмом, по меньшей мере упрощенческим. Современным евреям невозможно обойти свою проблему: должны ли они определять себя как израильтяне или как французы; как евреи *и* французы — да; как израильтяне *и* французы — нет, что не запрещает им питать особые чувства к Израилю. С другой стороны, я не мог бы сейчас так легко снять с Симоны Вейль обвинение в антисемитизме, как сделал в той статье. Ее предложение, пусть и высказанное в форме гипотезы, запретить несмешанные браки, чтобы покончить с иудаизмом, равнозначно проекту этноцида. Тем не менее я нахожу в этой статье два устоя моего кредо: «Полагаю, что француз еврейского происхождения законно требует для себя права сохранять свою веру и элементы традиционной культуры, к которым он привязан. Почему еврей может быть хорошим французом или хорошим англичанином, только если забудет, в результате ассимиляции, веру и обряды своих отцов? Этого отчуждения как цены за гражданство требуют одни лишь доктринеры тоталитаризма, откровенные или стыдливые». Другое положение я заимствую у Спинозы: «Я перечитываю „Богословско-политический трактат“. Верю, что „народы различаются между собой, я имею в виду — в отношении общественного строя, при котором они живут, и законов, которыми управляются“, но что „все, как язычники, так и евреи, жили всегда под властью закона — я говорю о том законе, к которому прислушивается истинная добродетель, а не о том, который устанавливается применительно к каждому государству“. Верю больше, чем когда-либо, что „в отношении разума и истинной добродетели ни один народ не был создан отличным от другого, так же как нет народа, который был бы в этом отношении избран Богом и предпочтен другим. Таким образом, в наше время у евреев нет совершенно ничего, в чем они могли бы счесть себя превосходящими другие народы“». Ничего, добавлю я от себя, кроме бед; но также и ничего, что ставило бы их ниже других народов.

Вторая статья, как я уже сказал, стала в некотором роде ответом на слова Бен Гуриона: «Евреи могут полностью осуществить себя только в Израиле». Перечитывая ее, я испытал потребность исправить некоторые чересчур категоричные и лежащие на поверхности утверждения. Я дал эти исправления в

примечаниях. Так, я написал в статье, что сионизм в Европе имел политические, а не религиозные корни; в примечании отметил: «Эта прямолинейная формулировка требует по меньшей мере оговорок». Поправка важная, но чисто исторического характера. Все фразы, которые я подверг критике в 1967 году, — такого же рода. «Разве для верующих, и даже для ортодоксов, лучший, единственный способ быть хорошими евреями не состоит в том, чтобы следовать заповедям, их букве и их духу?» Примечание: «Упрощение сложной проблемы». «Израиль — светское государство». Примечание: «Не вполне верная формулировка. Отношения между израильским государством и религией нуждаются в основательном исследовании». «Для истинно религиозных израильтян Государство Израиль несущественно». Примечание: «Слишком примитивная формулировка». «В мире, каким он предстает в XX веке, израильская затея кажется провинциальной». Примечание: «Сегодня я не написал бы этих слов».

Пусть читатель просмотрит еще раз одну за другой эти фразы и мои исправления. Последние почти все касаются природных черт Израиля, доли политического и религиозного начал в создании и структуре еврейского государства. В своих статьях я грешил упрощениями. Первые сионисты, в частности основатель движения, ассимилированный австрийский журналист, реагировали на антисемитизм, который вызывала интеграция евреев в общество, и не находили в своей душе веры своих отцов. Но постепенно сионизм, этот контрнационализм, противопоставивший себя европейским национализмам, обогатился религиозными эмоциями, которые порождала тысячелетняя тоска по Храму и Иерусалиму.

Мои поправки, как может убедиться читатель, не затрагивают существа моего самосознания еврея, французского гражданина и человека французской культуры, озабоченного тем, чтобы не утратить свои корни, уважающего верования своих сородичей, не разделяя их. Итак, смысловая сердцевина книги, оправдывающая ее существование, — это первая часть, «Время подозрений», полемика с пресс-конференцией генерала де Голля.

Что хотел я сказать в этом тексте, единственном в своем роде среди всех моих книг и статей? Прежде всего и главным образом, доказать, опираясь на подлинные слова Генерала, что его запомнившаяся всем «маленькая фраза» отнюдь не оказывала честь еврейскому народу, а несла в себе отголоски старой традиции антисемитизма. Генерал де Голль сказал: «Кое-кто опасался даже, что евреи, до той поры раскиданные по всему миру, оставшись теми, кем они были во все времена — народом

особого склада, уверенным в себе и властным, — сменят, лишь только они объединятся, на пылкие завоевательные амбиции те трогательные пожелания, которые обращали друг к другу на протяжении девятнадцати веков: *В будущем году в Иерусалиме».* Утверждение, будто евреи диаспоры оставались уверенным в себе и властным народом, показалось мне столь неслыханно абсурдным, что я с трудом мог поверить своим ушам. Евреи, уверенные в себе? В течение столетий они были загнаны в гетто, исключены из большинства профессий, постоянно жили под угрозой преследований (которые сами «вызвали» или, лучше сказать, «породили», опять-таки по словам Генерала)? Отозвавшись на мою книгу, Ксавье Валла, комиссар по еврейским делам во время войны, приветствовал возвращение идей, которые он всегда поддерживал и проводил в жизнь. Я не обвинял Генерала в антисемитизме, я обвинял его в том, что он оправдывает, чуть ли не облагораживает антисемитизм. Я не ставил ему в упрек решение вывести Францию из союза с Израилем: «Любое французское правительство после предоставления Алжиру независимости и завершения деколонизации постаралось бы возобновить так называемые традиционные связи с арабами Ближнего и Среднего Востока»; я упрекал его за то, что он осуждал исключительно Израиль, тогда как дипломатические шаги агрессивного характера были предприняты Насером (закрытие Тиранского залива, оккупация Шарм-эль-Шейха после ухода «голубых касок», концентрация войск на Синае). Да, конечно, генерал де Голль заявил заранее, что осудит того, кто первым обнажит меч, и что придет на помощь Израилю, если тому будет угрожать опасность. «А обещание генерала де Голля, — говорит нам г-н Горс, — чего-то стоит». В чем же выразилась бы помощь Израилю, кроме очередной пресс-конференции?

Генерал рассердился на Государство Израиль за то, что оно не последовало его советам. Вероятно, еще больше он рассердился на французских евреев за публичные проявления радости и «солидарности» с Израилем[216]. «„Разве в произраильском энтузиазме минувшего июня, — сказал мне один очень дорогой мой друг, — не было чего-то двусмысленного и, в некоторых случаях, неприятного?“ „Непристойные манифестации“, — выносит приговор один из авторов „Свободной трибуны“ газеты „Монд“, которого никто не мог вообразить арбитром благопристойности. Признаюсь: мне не понравились ни группы молодых людей, шедших по Елисейским полям с криками „Израиль победит“, ни евреи перед израильским посольством. Мне не понравились бывшие сторонники французского Алжира

или люди, вспоминавшие с ностальгией суэцкую экспедицию, — те и другие продолжали свою войну с арабами при посредстве Израиля. <…> Согласимся с критикой, прозвучавшей со стороны тех, кого в минувшем июне ни на миг не покидало хладнокровие, кто ни разу не испытал ни малейшего беспокойства за жизнь израильского населения. <…> Можно ли себе представить, чтобы в цивилизации, вскормленной христианством, судьба народа, среди которого родился Христос, не пробудила в каждом, верующем или неверующем, воспоминания детства, какие-то смутные чувства? Пусть так, отвечает мне добросовестный наблюдатель. Мне понятно, что христианская Европа, которая в последние двадцать лет стремилась скорее забыть, чем понять, освободилась, так сказать, от угрызений совести, заранее заклеймив геноцид, который, как она ошибочно полагала, угрожал израильтянам. Но разве те французские евреи, которые, подобно вам, уверяют нас, что они являются и хотят быть французскими гражданами „как все прочие“, а также те репатрианты из Северной Африки, кто предпочли Францию Израилю, не должны были бы отойти в сторону, избегать слов и поступков, дающих повод к обвинению в „двойном подданстве“? То, что произошло в эти безумные дни, делало неизбежным резкий поворот, и генерал де Голль стал не столько его инициатором, сколько выразителем. Разумеется, брат мой, ты, как все люди, мудр, говоря за других. Было бы лучше, если бы… Евреи не должны были бы… Все это очевидно. Признаюсь: после июньского солнца я ожидал ноябрьских заморозков. <…> Все забывают важнейшее обстоятельство, которое одно только и объясняет почти полное единодушие французских евреев: так как симпатии большинства французов были на стороне Израиля, то евреи с радостным изумлением переживали момент примирения своего французского гражданства и своего „иудейства“: демонстрируя свою привязанность к Израилю, они не отделяли себя от французов, а объединялись с ними. Это было слишком прекрасно, чтобы длиться долго: оказалось, что и они верили в Деда Мороза».

Я напомнил, что французские евреи не принадлежат к одному и тому же социальному классу, не придерживаются одинаковых убеждений: одни из них — правые, другие — левые, многие симпатизируют палестинским арабам, будучи «антиимпериалистами», а следовательно, враждебными Израилю, в котором видят «проявление колониализма». «При всем том французские евреи впервые создали о себе впечатление как о некой общности». Я, не сионист — прежде всего и главным образом потому, что не ощущаю себя иудеем, — «знаю сегодня

яснее, чем вчера, что даже сама возможность разрушения Государства Израиль (которое сопровождалось бы истреблением части населения) ранит меня до глубины души». Многие левые интеллектуалы пережили то же, что и я. Они на время забыли про «империализм» и «колониализм», вспомнили о своем происхождении или, к собственному удивлению, обнаружили, что они евреи. «Левые интеллектуалы еврейского происхождения не сменили свой универсализм на израильский национализм, вопреки беспощадному утверждению Ж.-М. Доменака. Они пережили такой же личный опыт, как Камю. В некоторых обстоятельствах интеллектуал тщетно стал бы пытаться определить свою позицию посредством долгих размышлений, взвешивая все „за“ и „против“, сравнивая досье тех и других, опираясь на абстрактные принципы справедливости. Он молчит или повинуется своему демону. Именно так поступали левые интеллектуалы, евреи и неевреи, в минувшем июне. Хотя сразу вслед за тем и возвращались к своей повседневной фразеологии». Следующая фраза, пожалуй, резюмирует лучше всего мою позицию: «Как французский гражданин, я требую для себя права, дарованного всем гражданам, соединять верность национальному государству со свободой верований и симпатий. Для верующих евреев Израиль имеет совершенно другое значение, чем для меня; но я презирал бы себя, если бы предоставил им одним защищать ту из свобод, без которой мне легче обойтись, нежели им».

Что же касается генерала де Голля, то я поставил ряд вопросов, не отвечая на них: «Зачем он это сделал? Чтобы доставить себе удовольствие, вызвав скандал? Чтобы наказать израильтян за непослушание, а евреев — за случайный антиголлизм? Чтобы торжественно воспрепятствовать всякому поползновению к двойному гражданству? Чтобы продать несколько лишних „Миражей“ арабским странам? Метил ли он в Соединенные Штаты, нанося удар по евреям? Хотел ли подвергнуть новому испытанию безоговорочную преданность некоторых своих приверженцев, пострадавших при Шарле де Голле? Поступает ли он как потомок Людовика XIV, не терпевшего протестантов? Или как наследник якобинцев, которые так любили свободу, что запрещали гражданам испытывать иные чувства? Этого я не знаю. Знаю только, что всякий национализм, превысивший известную меру, ставит в конце концов некоторых евреев (к которым я не принадлежу, но от которых не хочу отрекаться) перед альтернативой между отказом и отступничеством».

Майские события следующего года, уход Генерала в 1969 году и его смерть в 1970-м заглушили отзвуки пресс-

конференции. Оглядываясь назад, я признаю, что полемика не принесла пользы; но, так или иначе, проблему «Израиль и евреи» нужно было рано или поздно поднять. Два письма из полученных мною, оба высокой пробы, чрезвычайно ясно выражают две крайние позиции. Писатель, с которым я поддерживал непостоянные, но всегда сердечные связи, написал мне: «Моя жена, которая не может переносить, чтобы кто-то делал малейшее различие между французами-христианами и французами иудейского вероисповедания, пришла в ужас от поведения *громадного большинства французских евреев.* Можно сказать, что под ее ногами разверзлась пропасть. Значит, для этих людей на первом месте Израиль, а потом уже Франция. Немедленно вновь встали проблемы, казавшиеся уже решенными, такие, как проблема антисемитизма. Вы не правы, когда пишете, будто Вам, Раймону Арону, безразлично, что, утверждая с такой силой Вашу *еврейскую специфичность,* Вы предоставляете аргументы антисемитам». Помимо этих строк, касающихся сути вопроса, тот же корреспондент уверял, что Израиль полон решимости до наступления лета сломать хребет арабским странам. *«Народные отклики,* которые привели Вас в восторг[217] в июне, опечалили и удручили меня. Я увидел в них извечную реваншистскую тупость французов».

Столь же типично, но на другой лад, письмо одного верующего, религиозного еврея из Страсбурга, сиониста, признававшегося, что «часто читал мои статьи» и «редко со мной соглашался». Он прислал мне копию своего письма П. Виансону-Понте: «Вы заключаете в кавычки выражение „еврейский народ“. Мне представляется, что Вы можете их опустить, ибо речь идет об историческом факте. Многие мои единоверцы отрицают его, потому что он им неприятен. Это их дело, но социологические и исторические факты от этого не меняются. Знаменитое определение Мишле („одна душа, одно духовное начало“) относится к еврейскому народу так же, как к любому другому. Таким образом, я далек от того, чтобы упрекать Генерала в употреблении слов „еврейский народ“. Но он добавил „особого склада“, не говоря уже о последующих менее любезных эпитетах. Я, однако, совершенно не верю в то, что есть народы особого склада, соль земли, как они о себе думают. На это можно возразить, что евреи называют себя „избранным народом“. Это верно метафизически, но самый малый из наших сельских раввинов объяснит Вам, что это избранничество — только долг, тяжкая ноша. <…> Франция — моя родина, мои предки и я сам сражались за нее. Мы говорим на ее языке, ее цивилизация стала нашей. <…> Здесь я чувствую себя в своей естественной среде.

Но права ли эта родина, желая управлять всеми моими мыслями, всеми моими привязанностями? Может ли она по справедливости отнять у меня мою самобытность еврея (или баска, или бретонца и т. д.)? Если француз-еврей должен вести себя как любой француз, то не думаю, что он должен, ради того чтобы ассимилироваться духовно, обеднить себя, отказавшись от своей еврейской самобытности. Какую службу сослужил бы он своей стране, ловко подражая тому, что он считает проявлениями духовной жизни и образом мыслей других французов? Если его „избранность“ есть прежде всего бремя, эзотерический долг, если ему не следует гордиться ею на том основании, что он дал себе труд родиться евреем, то ему незачем также стыдиться этого факта или скрывать его. <…> Лишь тоталитарные государства вынуждали своих евреев к этому ненормальному и бесчеловечному выбору. Истинная демократия всегда плюралистична, она допускает инакость. В этом состоит даже, как мне кажется, один из основных критериев демократии. И она вознаграждена за это. Каждая страна имеет таких евреев, каких заслуживает. Ибо человеческий вклад любой общественной группы позитивен, если он искренен и подлинен. <…> Итак, со времен Революции мы — полноправные французы. Но подобно тому, как нью-йоркских ирландцев волнует судьба всех ирландцев, и мы неравнодушны к судьбе евреев во всем мире. Сверх того, для нас, потомков патриархов, для нас, неизменно упоминавших в молитвах о своей тоске по Иерусалиму, страна Израиль обладает особой притягательной силой и в историческом, и в религиозном отношении. Почти все мы видим в израильтянах своих братьев. Для многих из нас это верно даже в буквальном смысле, когда у нас есть там близкие родные. Что до меня, там мои дети и внуки; они „вступили“ в киббуц из идеализма, как у вас поступают в монастырь. Так почему же моя симпатия к израильтянам несовместима с той, которую я питаю к своим французским предкам?»

По поводу позиции, занятой французскими евреями в июне 1967 года, я получил письмо от Клода Леви-Стросса, по обыкновению дружеское и полное снисходительности, но тем не менее критическое в одном решающем пункте. Оставляю в стороне комплименты и перехожу сразу к сути вещей:

«Все, что Вы говорите, справедливо, однако мне кажется, что Вы оставили без внимания одно важнейшее обстоятельство. Дело в том, что с первого же часа мы присутствовали при систематической манипуляции общественным мнением этой страны. Вспомните „Франс-суар“ с ее заголовком на всю страницу „Египтяне атаковали“ („Les Egyptiens ont attaqué“). И это

продолжалось, когда Шестидневная война уже давно закончилась.

То, что некоторые французы, евреи или неевреи, разошлись во взглядах на события со своим правительством и публично защищали свое мнение, абсолютно законно. Но они воспользовались своей влиятельностью в прессе (предполагавшей необходимость соблюдения меры и точности в суждениях), чтобы распространять ложь и попытаться таким образом изменить обстановку, а это уже граничило с заговором и, я почти готов сказать, предательством. Как еврей, я испытал тогда стыд. Стыдно мне было и позже, при виде откровенного нахальства, с которым некоторые крупные фигуры из числа евреев осмеливались утверждать, что говорят от имени всех.

После столь серьезных прегрешений суровое предупреждение было, конечно, неизбежным. Я сожалею, что оно приняло такую форму, но вместе с тем признаю: увы, по крайней мере на этот раз, выбранные эпитеты соответствовали действительности, ибо некоторые еврейские круги Франции, воспользовавшись своей властью над письменной и устной прессой и своим положением, присвоив себе право высказываться от имени всех других, показали себя чересчур „уверенными в себе и властными“. Однако можно было сказать им это, не отвечая на намеренное смешение понятий подобным же, и столь же глубоко оскорбительным, смешением» (письмо от 9 апреля 1968 года).

Я не оставил копии своего ответа, но Клод Леви-Стросс ответил мне снова с той же откровенностью и проявив ту же нравственную высоту. Отрывки из его письма позволяют догадаться, какие факты и доводы я ему приводил:

«Вы тысячу раз правы: не существует объективной исторической истины, лежащей вне многообразного восприятия ситуаций и событий индивидами или сообществами. Это особенно верно, когда речь идет обо мне и интересующем нас случае, так как обстановку с Израилем я вижу сквозь призму другой, воспринимаемой мною еще острее, — той, что возникла несколько веков назад на далеком материке, когда другие преследуемые и угнетенные пришли на земли, занятые еще более слабыми народами, которые жили там на протяжении тысячелетий и которых они поспешили вытеснить. Разумеется, я не могу ощущать истребление краснокожих как свежую рану, нанесенную лично мне, и при этом реагировать противоположным образом, когда затронуты интересы палестинских арабов, даже если краткие соприкосновения с арабским миром внушили мне (и это действительно так) неискоренимую антипатию… Итак, я охотно допускаю, что по причинам, относящимся к моей профессии и ко мне самому, мое

восприятие изначально искажено; кроме того, я, как еврей, чувствовал, что долгом всех тех людей одного со мной происхождения, которые держат в руках рычаги управления в области, где формируется общественное мнение, их долгом перед собой и перед нами было еще более бережное, чем обычно, отношение к фактам. А между тем с самой первой минуты на нас обрушили ушаты лжи, и даже если те, о ком я думаю, всего лишь, как Вы утверждаете, последовали за общественным мнением, движимым весьма нечистыми мотивами, то и в этом случае они очень серьезно виноваты перед всеми нами. Я же опасаюсь другого (хотя, конечно, ничего с уверенностью не знаю и не могу привести никаких доказательств). Думаю, даже некоторые газеты и деятели голлистского толка рассчитывали только на то, что, действуя достаточно быстро и энергично, не дав правительству время отреагировать, они смогут раздуть тенденции общественного мнения до такой степени, что станет уже невозможно дать задний ход. Впрочем, если они на это рассчитывали, они очень ошибались…

В сущности, как Вы видите, наше разногласие касается одного нюанса. Вы находите волнующим и простительным, что некоторые французские евреи с энтузиазмом ухватились за представившуюся возможность провозгласить себя одновременно французами и евреями. Я, напротив, думаю, что им не следовало этого делать и уж тем паче не следовало исподтишка подогревать этот энтузиазм» (письмо от 19 апреля 1968 года).

Думаю, что сегодня большинство молодых французских евреев симпатизирует скорее взглядам моего страсбургского корреспондента, нежели великого этнолога. Первый, офицер, сражавшийся в отрядах партизан, голлист, представляет не одних лишь сионистов и верующих: стремление к утверждению своей еврейской идентичности, защита плюрализма, а следовательно, возможности быть иными подхвачены даже далекими от религии молодыми евреями, которые теперь глухи к упреку в том, что они предоставляют аргументы антисемитизму.

В этом смысле я оказался близок к сионисту из Страсбурга (хотя и исхожу из абсолютно иной философии). В заключение он писал: «Последний аспект резкой перемены в умонастроении президента состоит в том, что антисемитизм — заразная болезнь; если носителям бациллы известно или они полагают, что их поддерживает существующий беспорядок, то они быстро становятся столь же агрессивными, сколь бывают раболепны, пока знают свое место. А политический альянс де Голля — Пужада, проарабская политика, наконец, пресс-конференция могут навести всех этих жалких людей на мысль, что настало время

дать выход подавленным чувствам, как при их покровителях 1940–1945 годов». Я мог бы повторить последнюю фразу этого письма: «Верю в пользу диалога между честными людьми. Это несколько наивный взгляд, которого мне, принадлежавшему к „властному народу“, следовало бы остерегаться».

По своему обыкновению, Анри Гуйе взял на себя труд поблагодарить меня за мою книгу письмом — не любезным и пустым, как большинство получаемых авторами благодарственных писем, а богатым размышлениями — всегда по существу вопроса, — замечательным по искренности, справедливости и неотделимой от нее точности мысли: «Анализируя свои реакции, констатирую: 1-я фаза — слышу слова Генерала по радио; ошеломлен (нет ни малейшего сомнения, что в них звучат осуждение и желание принизить); 2-я фаза — протест, сближение с нацизмом… упускаю из виду контекст, затем реакция: „не будем ничего преувеличивать“; 3-я фаза — время перевести дух, восстановить контекст, отбросить нелепые сближения с нацизмом, вспомнить, что существует светский антисемитизм, который никогда не предлагал газовых камер». Помимо этого самоанализа, в письме А. Гуйе было и другое: в противоположность страсбургскому корреспонденту, который, однако, тоже меня одобрял, он уловил в моей книге, что я ставлю под вопрос само понятие «еврейский народ». «Читая Вас, понимаешь, что слова „еврейский народ“, в сущности, еще важнее, чем эпитеты. Именно в этом истинная проблема. Именно эта формулировка делает Ваше положение невозможным: каким образом, почему, во имя чего Вы могли бы принадлежать к другому народу, нежели французский? Это значит создавать „семитизм“, идентичность, для которой такие французы, как Вы, тщетно подыскивают содержание». Вот верное истолкование моей мысли. В отличие от моего страсбургского корреспондента, я не думаю, что можно говорить об *объективном* существовании «еврейского народа» подобно тому, как мы говорим это о народе французском. Еврейский народ существует благодаря тем людям и для тех людей, которые хотят, чтобы он существовал, одни — по метаисторическим, другие — по политическим причинам.

К моему удивлению и радости, я получил письмо на почтовой бумаге журнала «Тан модерн»; Клод Ланцман, которого я не знал, прислал мне несколько строк. Привожу их здесь, хотя это, возможно, нескромно: «Я только что закончил читать книгу „Де Голль, Израиль и евреи“ и не могу не высказать Вам свою благодарность. „Великие голоса умолкли“, — пишете Вы. Тем лучше: ни один из них не сумел бы говорить с такой неумолимой логикой и такой заботой об истине, которые заставляют

соглашаться с Вами почти во всем и уважать Вас всегда и безоговорочно. И при этом — несомненно как следствие сказанного, — сорок пять страниц „Времени подозрений“ прекрасны с литературной точки зрения».

Мне хотелось бы завершить эту главу несколькими замечаниями по поводу вышедшей посмертно книги отца Фессара, озаглавленной «Историческая философия Раймона Арона» («La Philosophie historique de Raymond Aron»), — книги, для меня волнующей и единственной в своем роде среди работ моего друга, ибо это попытка интерпретировать мою глубинную, почти потаенную мысль, какой она раскрывается то тут, то там, на повороте фразы или в момент сильного переживания.

Насколько я могу сам судить об этом, отец Фессар не ошибается в главном: мой послевоенный путь преподавателя и журналиста не означает разрыва с довоенными философскими трудами. Казалось бы, есть мало общего между сжатой, чрезвычайно уплотненной манерой письма во «Введении» и неизменно ясным, если не прозрачным, лишенным литературных претензий стилем статей в «Фигаро». Помимо стилистической несхожести, анализ текущих событий бесспорно относится к другому жанру, для него требуется иной склад дарования, чем для толкования аксиологической нейтральности или борьбы богов (говоря прозой — несовместимости ценностей). Эти очевидные замечания не опровергают непрерывности моего интеллектуального пути. Мои книги, посвященные международным отношениям, идеологическому и социологическому анализу, необязательно вытекали из «Введения», но все же представляли собой одно из его возможных продолжений, иллюстрируя тем самым слова Леона Брюнсвика: «Ваша диссертация содержит в зародыше целую жизнь, наполненную трудами» (не помню точной формулировки, но, уже вторично приводя слова Брюнсвика, думаю, что верно передаю смысл).

«Введение», родившееся из моего политического самосознания, содержало, помимо эпистемологических изысканий, теорию действия в истории и поиски смысла в истории. И само собой разумеется, что я попытался применить на практике эту теорию действия, которую отец Фессар сравнивает с «Духовными упражнениями» Игнатия Лойолы. Свою изначальную позицию, на которую я встал после 1945 года и которую предвидел в 1938-м, я выбрал не по настроению, а в результате исследования, сколь возможно научного, тех типов общества, между которыми нам приходится выбирать. В 1945 году великий

раскол поставил нас перед альтернативой: выбрать революцию значило выбрать советскую модель и советское господство; отвергнуть революцию значило выбрать либеральную демократию — не американскую модель и не американское господство, а одну из нескольких разновидностей так называемых капиталистических, или социал-демократических, или либеральных демократий, находившихся после войны под защитой американского могущества.

Этот выбор, такой, каким я представил его во «Введении», насыщен идеологическим и философским смыслом. Согласно часто цитировавшейся формулировке, борьба за мировое господство ведется во имя философий. Сталин, до какой бы деградации ни дошел его диалектический материализм, ссылался на Гегеля — Маркса; Соединенные Штаты остаются верны духу Просвещения, идее бесконечного прогресса в сфере уважения к людям, уважения их прав на свободу, собственность и поиски счастья. Таков был политико-философский выбор, но не он один продиктовал мои решения. Для любого решения требуется, сверх изначального выбора, еще и заключение пари, и проблематичная оценка риска и шансов, желаемого и вероятного, преимуществ и отрицательных сторон. И каждый из нас создает своими решениями себя самого, свое бытие и свою экзистенцию.

В отношении неприятия марксизма отец Фессар и я легко находили общий язык. Мы оба задавались вопросом, что же на самом деле думал Александр Кожев. Был ли в его глазах Советский Союз прообразом всемирной единообразной империи? Ни один из нас не принимал всерьез формулировку Ж.-П. Сартра: марксизм — это философия нашего времени, которую «невозможно превзойти». Никому из нас не казалась приемлемой причудливая смесь из настойчиво проводимой идеи свободного выбора человеком своей вовлеченности и марксистского догматизма в философии Сартра. По какому праву можно называть антикоммунистов псами, в то время как будущее, для человека действия, остается открытым и, если только не встать на точку зрения материалистического марксизма (который сам Сартр неоднократно опровергал), мы вступаем в «хаотичный мир, не имея иной опоры, кроме фрагментарной науки и формального мышления»?[218]

Отец Фессар вернулся к критическому суждению, высказанному Леоном Брюнсвиком при защите моей диссертации: я делаю из истории «драму, лишенную единства». Он хотел и защитить меня от упрека, и понять меня лучше, чем я понимаю себя сам, в свете моей практики, если и не теории; приблизить меня к себе, при этом не приписывая никаких не

свойственных мне мыслей. Во «Введении» я различал естественную историю и историю человеческую; я не исключал категорически Историю сверхъестественную, или священную, но оставлял возможность ее, или, если угодно, пробел, пустоту. Отец же Фессар заполнял пустоту своей верой в Христа.

Будучи одновременно естественной и человеческой, история действительно остается драмой, лишенной единства. История становится человеческой, потому что человек ищет свое призвание, потому что он противопоставляет свое предназначение своей судьбе. В то же время он знает об особости народа, к которому чувствует себя привязанным, о непрочности целей или ценностей, которым должен приносить себя в жертву. Ему внятно понятие конца Истории, и он смутно нащупывает содержание для идеи Разума в Кантовом смысле. Что это, идеал или иллюзия? Не знаю. В моем представлении историзм преодолевался одновременно абсолютным характером решения и универсализмом разума. А отец Фессар ищет единства драмы в сфере сверхъестественного; судьба еврейского народа, в глазах христианина, принадлежит к сверхъестественной Истории. До пришествия Христа еврейский народ благодаря Завету занимал уникальное место в сотериологии; в эпоху после Христа он становится неверующим евреем, тем, кто не признал Спасителя. Язычник-идолопоклонник, обращенный в христианскую веру, всегда рискует поддаться инерции суеверия. Неверующие евреи и обращенные язычники — не просто человеческие общности как таковые, в своей материальности, а категории всемирной истории, которая в каждое мгновение обретает свой конец и свое единство — в Христе.

Во «Введении» не было ни малейшего намека на «опосредствующую аффективность» между особенным и универсальным. Разумеется, смена городов и империй, возвышение и упадок народов и государств заполняют хронику столетий. В любую эпоху люди проливали кровь и отдавали жизнь ради хрупких построек, которые то возводят, то сметают с лица земли одни и те же творцы. Ни одно из этих творений не осталось в Истории священной, хотя все они казались современникам почти бессмертными, способными устоять против действия времени. Я ощущаю себя французом, безоговорочно и безусловно, и я испытал в июне 1967 года чувство солидарности с Израилем. Означало ли это «чувство солидарности», что моя практика опережала мою теорию?

Мне хотелось бы продолжить диалог с отцом Фессаром, не соглашаясь с Леоном Брюнсвиком. Да, конечно, я не раз употреблял эпитет *парадоксальный,* говоря о судьбе евреев; я

размышляю о строительстве в XX веке еврейского государства, вдохновленного не столько тысячелетней молитвой «в будущем году в Иерусалиме», сколько европейским национализмом прошлого столетия. Государство наполовину светское, наполовину религиозное, Израиль остается столь же парадоксальным, как и «еврейский народ» в рассеянии. С точки зрения социолога, израильский народ объединяет в себе население, составленное из пионеров и их потомков, где руководящая роль принадлежит иммигрантам из Европы и так называемых развитых стран, и евреев с Ближнего Востока и из Северной Африки; первые — элита, все более выраженное меньшинство (поскольку у вторых родится больше детей).

В образовании Государства Израиль и в долговечности еврейской диаспоры нет ничего, что не поддавалось бы обычным методам исторического объяснения. Близкие к христианам в первые века нашей эры, евреи оказались со временем оттесненными в гетто, стали жертвами погромов, начавшихся накануне первого крестового похода, были «освобождены» Революцией во Франции и постепенно в Европе, считались на протяжении столетий народом-богоубийцей и народом-парией — и оставили в общей могиле Бухенвальда и газовых камерах Освенцима иллюзию, что они могут, по крайней мере в обозримом будущем, стать такими же, как другие, гражданами стран, среди народов которых они живут и к которым принадлежат. Если евреи, главным образом из Восточной Европы, отчаялись в «ассимиляции» и начали мечтать о собственном государстве, то это явилось ответом на современный антисемитизм — уже не религиозный по происхождению, а вскормленный темными страстями, задрапированный в псевдонаучную идеологию. Артур Кёстлер, озаглавив свою книгу «Анатомия чуда» («Anatomie d'un miracle»), в которой он рассказывает о возникновении Израиля, не хотел этим сказать, что только Провидение или воля Бога делают понятным это событие; он искал и нашел то невероятное стечение случайностей, которое позволило израильским войскам — детищу населения, насчитывавшего 600 000 человек, — одержать победу над арабскими странами, объединившимися против еврейского государства.

Тот факт, что большинство евреев испытывают чувство «родства» с Израилем, даже если они отвергают сионизм, даже если безусловно и безоговорочно хотят быть гражданами другой страны, никоим образом не означает существования «мистического» единства евреев всего мира. То, что я написал в мае — июне 1967 года, накануне Шестидневной войны, остается

написанным. Каждый может истолковывать на свой лад вспышку эмоций, загнанных внутрь в спокойное время. Я не запрещаю отцу Фессару выводить отсюда доказательство или хотя бы симптом моего «семитизма».

Я думаю, что он ошибается. Настаиваю только на том, что «чувство родства не выходит за рамки мирской, человеческой истории. Тысячелетия истории оставили в глубинах еврейской души неизгладимые следы: к ним относится интуитивное понимание общности судьбы всех евреев, вопреки их рассеянию; когда одну из еврейских общин преследуют, все прочие чувствуют, что это касается и их, что над ними нависла угроза. А когда эта община называется Израилем, возможно ли, чтобы это чувство „родства“ — если угодно, таинственное, а на наш взгляд, само собой разумеющееся — не вырвалось неодолимо наружу, сметая все преграды?»

В одном немаловажном пункте я признаю себя побежденным моим дорогим отцом Фессаром. Когда я писал о евреях и своем еврействе, я склонялся к упрощенной альтернативе: либо универсализм Закона и послания Израиля, либо национализм, подразумеваемый в Завете, независимо от того, каков подлинный тонкий нравственный смысл предназначения Израиля. Между универсальными целями человечества и «суевериями» человеческих сообществ находятся народы, и каждый из них уверен, что он — носитель уникальных ценностей, которыми обогащает человечество. Евреи тоже вносят свой вклад в общую сокровищницу, однако, помимо Библии и своей веры, они не объединены одной культурой. Повторюсь: если они хотят называться народом, то этот народ не похож ни на какой другой.

В заключение вернусь к антиномии, которую так никогда и не смог разрешить, между исторически сложившимся многообразием ценностей и способов бытия, с одной стороны, и призванием, которое я время от времени приписываю человечеству, — с другой. Я не отрекаюсь от единого предназначения человеческого рода, и я не отрекаюсь также от множественности культур, каждая из которых считает себя — справедливо для тех, кто живет ею, — незаменимой. Моя привязанность к французскому языку и французской литературе не нуждается в оправданиях, она есть, она — моя жизнь, она неотделима от моего существа. Назвать ли мне мою «солидарность» с Израилем более интеллектуальной или более органичной? Возможно, она и то и другое. Во всяком случае, эта «солидарность» не поднимается на уровень Истории священной, сверхъестественной. Этот уровень я оставляю верующим, но сам я его не достигаю.

Часть четвертая
ГОДЫ МАНДАРИНА
(1969–1977)

XX
ОТ ПЬЕРА БРИССОНА К РОБЕРУ ЭРСАНУ

1969 год ознаменовался разрывом во французской политике и в бурной истории газеты «Фигаро». Генерал де Голль уходит из публичной жизни в результате победы тех, кто 27 апреля 1969 года сказал «нет» на референдуме, который он хотел организовать в 1968 году и от которого тогда отказался по настоянию Жоржа Помпиду. Выпуск «Фигаро» был прерван на две недели из-за забастовки редакции — забастовки, вызванной разногласиями между одним из акционеров, Жаном Пруво, и наследниками Пьера Бриссона по закону.

Первый кризис потряс «Фигаро» в момент смерти Пьера Бриссона. В 1969 году заканчивался срок действия соглашения, заключенного в 1949-м между собственниками — г-жой Котнареаню, Жаном Пруво и Фердинаном Бегеном — и командой Бриссона. Будет ли жизнь газеты вновь определяться нормами общего права, или же ее редакция сохранит полностью или частично те свободы, которые ей обеспечивало соглашение 1949 года?

Лично мне представлялось делом неизбежным и к тому же нормальным желание Ж. Пруво не быть исключенным из редакции «Фигаро». Я многократно говорил об этом П. Бриссону, который каждый раз отвечал мне: «Вы ошибаетесь, „Фигаро“ его не интересует, он пойдет на продление существующего соглашения». В конце 1965 года П. Бриссона поразил удар, унесший его через несколько дней в могилу. Никаких распоряжений относительно своего наследника он не оставил. Назначив в свое время Луи Габриель-Робине заместителем директора, П. Бриссон написал Ж. Пруво, что этот человек не должен подняться еще выше. Однако, если исключить вариант приглашения кого-то со стороны, Л. Габриель-Робине представлялся единственным кандидатом на директорский пост.

Сегодня я знаю, что П. Бриссон думал о другом преемнике. Он никогда мне ничего об этом не говорил, и сам я серьезно не рассматривал такую возможность. Преподавание, книги значили для меня столько же, сколько газета. Я не стал бы в шестьдесят лет начинать карьеру, в конечном счете для меня новую. Работа в качестве главного редактора ежемесячного издания, каким являлся журнал «Франс либр», не имела ничего общего с руководством ежедневной газетой.

Кто-то — возможно, Жан д’Ормессон — сказал мне, что, на

взгляд П. Бриссона, я обладал наилучшими качествами, чтобы возглавить газету после его ухода. Желая прояснить этот вопрос, я написал письмо Владимиру д'Ормессону, дяде Жана, и вот главное в его ответе: «<…> Совершенно точно, что у меня была с П. Бриссоном беседа, проходившая в его редакционном кабинете на Круглой площади, как кажется, в 1963 году или же весной 1964 года, я мог бы найти точную дату в своем дневнике, который веду уже пятьдесят лет, но сейчас у меня его здесь нет. Если вы считаете дело важным, я мог бы провести необходимые разыскания. Во время этой беседы П. Бриссон говорил мне о своем будущем и о будущем „Фигаро". Сказал он примерно следующее: когда истечет срок действия соглашения с Обществом-арендатором, мне исполнится столько-то лет. Рассуждая здраво, мне надо будет в этот момент уйти в отставку, ибо подчас я чувствую большую усталость. Возможно, однако, что еще в течение нескольких лет я смогу обеспечивать руководство „Фигаро". Во всяком случае, когда я оставлю это дело, наилучшим моим преемником мне представляется Раймон Арон. *Никаких* других имен он мне не называл <…>» (1 апреля 1971 года).

В одной из своих книг воспоминаний Мишель Друа рассказывает о собрании, устроенном мною вместе с несколькими друзьями П. Бриссона, акционерами Общества-арендатора: «Были приглашены все, кто что-то значил в газете, — академики, члены Совета Общества-арендатора, эдиториалисты или „великие перья", шеф-редакторы. <…> За столом нас оказалось тринадцать». Я помню некоторых из этих тринадцати: Франсуа Мориак, Жан Шлюмберже, Жорж Дюамель, Жак де Лакретель, Луи Габриель-Робине, Тьерри Монье, Жан-Франсуа Бриссон, Мишель Друа; в их числе был и я. Четверых недостает, это, кажется, Анри Массон-Форестье, Рене Коллар, Марсель Габийи, Морис Ноэль.

«Каждый взял слово, Раймон Арон обобщил то, что другие говорили, и то, что все высказали. Если выбирать из всех квалифицированных и имеющихся в наличии людей в качестве преемника П. Бриссона того, кто обладает наибольшим моральным авторитетом, то в самом скором будущем он заставит себя признать. Но будет ли его характер превосходно проявлять себя на этом посту? Вот что не является столь же очевидным. В любом случае, это не тот вопрос, который встает сегодня. Результат этого собрания — резолюция, также подготовленная Раймоном Ароном, подписанная всеми присутствовавшими; ее в принципе должны были одобрить руководители служб, члены комитета предприятия, делегаты персонала и т. д. О чем

говорится в этом документе? Главным образом о том, что смешение капитала и руководства погубило бы дело Пьера Бриссона. Большая твердость, но ничего агрессивного по тону».

У меня осталось несколько другое воспоминание об этом собрании. Я пришел на него с подготовленным текстом резолюции. Главный штаб был в тот момент, как мне казалось, в нерешительности. Может быть, А. Габриель-Робине чувствовал себя скованным, зная о содержании письма П. Бриссона Жану Пруво.

Выразили ли все присутствовавшие свое мнение? Память заставляет меня в этом усомниться. Жорж Дюамель и Жан Шлюмберже уже почти не выходили из дома. Ф. Мориака не волновала судьба газеты «Фигаро», из которой он ушел, чтобы возвратиться лишь наполовину. Я сразу же стал отстаивать самый веский тезис: соглашение 1949 года должно действовать вплоть до 1969 года. П. Бриссон доверил своему другу Пруво миссию сохранить независимость «Фигаро» в том виде, в каком он сам эту газету замыслил. «Сохранение „Фигаро“ после меня, после вас будет зависеть от сохранения в какой-то форме Общества-арендатора со всеми его полномочиями, действующего независимо от собственника капитала, но в согласии с ним». Самое меньшее, что мы могли бы сделать, — это следовать завещанию: в «Фигаро» Ж. Пруво представлял капитал, каковыми бы ни были его журналистские способности. Заранее составленную резолюцию слегка поправили (Мориак высказался за исключение из текста слова «торжественно» как ненужного), главный штаб ее принял. Затем за нее проголосовало собрание редакторов.

В оговорках Мишеля Друа относительно моего характера отразились, вероятно, коридорные пересуды. Сам я не обладаю правом выносить суждение о собственном характере. Фактически у меня было мало возможностей проявить его в «Фигаро». В памяти осталось несколько инцидентов, один — с Ж. Мартен-Шоффье по поводу текста, в котором речь шла о деле Оппенгеймера, слова его мне передала Жанна Эрш; другое столкновение — с Роже Массипом из-за повтора («дублона») в напечатанном материале. В том и в другом случаях я проявил ярость (словесную). Обычно я держу себя в руках, может быть слишком жестко, но время от времени взрываюсь. К тому же регулярно я работал лишь с редакторами экономического отдела, и, насколько знаю, на мой характер они не жаловались.

Возражения против моей кандидатуры исходили одновременно и от окружающих, и от меня самого. Думаю, я об этом уже писал: у меня были сердечные, даже дружеские

отношения с некоторыми журналистами «Фигаро», но я оставался уткой в курятнике. Ф. Мориак, Жан Шлюмберже, Ж. де Лакретель, Ж. Дюамель принадлежали к дому, но не составляли часть этого дома. Эти известные или знаменитые писатели приносили свои статьи и свой престиж. Они не соревновались с профессионалами. Андре Франсуа-Понсе уже приближался к профессионалам, не вступая с ними в соревнование. Таково же было, в еще более выраженной форме, мое положение.

Шло ли в 1965 году сопротивление со стороны редакции? Несомненно, некоторые испытывали ко мне антипатию сугубо личного свойства. М. Габийи, как мне рассказывали, подсчитывал соотношение хвалебных откликов на свои и на мои статьи, цитат из них; Жан Грио, чья звезда поднималась вместе с восхождением Л. Габриель-Робине и с которым я не общался, заявлял вроде бы об отсутствии «атомов притяжения» ко мне. Л. Габриель-Робине всегда выражал по отношению ко мне «сердечные и возвышенные чувства». Ему удалось бы избежать свойственной людям слабости, если бы обстоятельства не стали его искушать. Фактически я поспособствовал превращению его в короля, и он отнюдь на меня за это не обиделся. Я был этому рад и почти не удивлен. В течение двух или трех лет он не делал секрета из своей ко мне благодарности.

Подробности этого продолжительного спора вряд ли заинтересовали бы читателя, к тому же я их и не помню. Скажу лишь, что в соответствии с документом, подписанном «великими перьями», продолжились переговоры между Жаном Пруво и командой Бриссона, чаще всего они велись при посредничестве Жоржа Изара. У этой команды были веские, на мой взгляд, юридические основания: соглашение, заключенное сроком на двадцать лет, оставалось в силе вплоть до 1969 года, несмотря на кончину Бриссона.

По компромиссному решению, к которому в конечном счете пришли, Л. Габриель-Робине не сохранял полностью все те полномочия и преимущества, которыми обладал П. Бриссон. Председательство в Обществе-арендаторе досталось Ж. де Лакретелю. П. Бриссон получал — если память мне не изменяет — *5 %* доходов Общества (95 % шли собственникам). Эти *5 %* были разделены, одна часть досталась Ж. де Лакретелю, Л. Габриель-Робине не получил ничего. Последний напомнил мне слова Жана Пруво: следует хорошо вознаграждать тех, кто трудится (Лакретель ничего не делал).

С тех пор я задаю себе вопросы относительно своих действий сразу же после кончины Бриссона. Были ли у меня причины противиться вхождению Жана Пруво в дом? Я выступил за

сохранение на несколько лет особого статуса «Фигаро» — статуса, который оставлял за собственниками финансовые полномочия, но запрещал им вмешиваться в редакционные дела. Теоретически я и сегодня стою за такую договоренность, но она требует соблюдения двух условий, одного — необходимого для любой страны, другого, особенного, — для Франции.

Что делать, если издание газеты становится убыточным? Такое невезение в течение ряда лет преследует «Таймс». Но этой знаменитой лондонской газете, являющейся учреждением всемирным, а не только лишь английским или столичным, удалось все же в конечном счете найти в обширном англо-американском свете австралийца, согласившегося покрыть ее дефицит. «Фигаро», будучи учреждением парижским, с натяжкой — национальным, должна была приносить деньги его собственникам, а не просить их у этих собственников. Для Франции, как мне кажется, характерна другая трудность, не материального свойства, но более серьезная, если смотреть глубоко. В Англии *editor* (редактор) отвечает за работу редакции газеты, обычно он обладает такой свободой по отношению к собственникам, которую чаще всего не имеют директора или главные редакторы во Франции. У нас в стране собственник, если даже он не вмешивается ежедневно в административные или редакционные дела, ждет или требует того, чтобы высказываемые в газете мнения совпадали с его собственными предпочтениями. Диалог между собственником и руководителем редакции, сложный сам по себе, неотделим от двойственной природы газеты, являющейся и коммерческим предприятием, и орудием распространения информации или мнений.

Диалог с Жаном Пруво принял несколько другой оборот. Собственник рассматривал самого себя не как капиталиста, но как директора или *editor*'а газеты. Действительно, он в свое время скорее создавал, направлял, редактировал целый ряд публикаций, чем управлял административными или финансовыми делами предприятия. Как журналист или редакционный директор он плохо переносил ситуацию, в которой его роль сводилась к роли капиталиста. Сегодня, когда я охватываю взглядом историю упадка «Фигаро» в период с 1965 по 1982 год, у меня возникает вопрос: не ошибся ли я? Во всяком случае, исход не был бы худшим, он, может быть, оказался лучшим, если бы Ж. Пруво пришел в газету в 1965 году.

Почему же сразу после смерти П. Бриссона я столь решительно выступил против требований Ж. Пруво? Он меня не знал, и я его не знал. Я слышал о нем как о сердечном и верном «патроне». У меня не было никаких причин опасаться его

«цензуры». Я достиг достаточной известности, избавляющей от риска подобного рода. Когда Ж. Пруво через сорок восемь часов после смерти П. Бриссона предложил свои услуги руководителя, мой ответ был «нет и нет». То, что П. Бриссон отвергал, то, против чего он боролся всю свою жизнь, не должно было совершиться за один день благодаря именно тому человеку, к которому он питал полное доверие.

У меня не было ни малейшего намерения обосноваться в кресле П. Бриссона, и я не видел никого, кто мог бы его заменить, за исключением Л. Габриель-Робине, по крайней мере если не решили бы искать кого-нибудь на стороне. Назывались некоторые имена, которые я даже не помню. Ни Тьерри Монье, ни я сам — лица, которых в прессе называли в качестве «возможных», не воспротивились «вероятному» или, точнее, «неизбежному» кандидату, тому, кого П. Бриссон считал неспособным выполнять функции, превосходящие те, что он сам ему доверил. Номер два, согласен, номер один — нет, говорил П. Бриссон. К несчастью, он оказался прав.

Не без колебаний, не без угрызений совести я высказываюсь о Л. Габриель-Робине. Человек этот стоил больше своей репутации или своих статей. В частном кругу он не был лишен юмора, несмотря на неумеренную страсть к каламбурам. Его культура отнюдь не сквозила в его статьях, в большей части которых он тяготел к некоему здравомыслию, близкому к народной мудрости, столь же часто ложной, как и истинной. Журналисты не уважали его, а близким людям иногда приходилось уговаривать Л. Габриель-Робине не публиковать какую-либо из его «передовиц», слишком примитивных, слишком проникнутых духом наивного антикоммунизма. Эти материалы никак не увеличивали ни авторитет «Фигаро», ни его личный авторитет. Наконец, ко времени занятия им высшего поста, о котором Л. Габриель-Робине, вероятно, даже не мечтал, состояние его здоровья было таким, что более не позволяло постоянно трудиться в редакции, развивать активность, сравнимую с активностью своего предшественника. В период с 1965 по 1969 год тираж газеты продолжал расти, но П. Бриссон унес с собой ее дух и душу. Редакция разделилась на несколько групп, или феодальных княжеств, или команд. Верхи не могли более предложить ни вдохновляющей идеи, ни даже политической линии. Разумеется, газета «Фигаро» оставалась рупором правого центра и какой-то части буржуазии, скорее традиционной, чем современной.

Под началом у Л. Габриель-Робине находились два шеф-редактора, теоретически обладавших равными правами, — Жан

Грио и Жан-Франсуа Бриссон. Первый постепенно взял верх над вторым и во время частых отсутствий Л. Габриель-Робине выполнял директорские функции в той мере, в какой эти функции могли реально осуществляться тем или другим. Я имею в виду здесь то, что каждая служба, иногда даже каждый редактор работали на свой лад. Шла ли речь о вопросах иностранной политики или о вопросах экономической политики, не думаю, что когда-либо дирекция давала по ним указания. Это приводило к умножению слишком очевидных противоречий между различными статьями. Набор новых редакторов проходил довольно случайно, не вливая новую кровь, которая омолодила бы старую газету. Она становилась все более бессвязной, однако не обновлялась в необходимой степени.

В 1969 году повторился кризис 1964–1965 годов: редакция не пошла на упразднение Общества-арендатора, которого требовал Ж. Пруво. Последовала двухнедельная забастовка, проходившая накануне кампании по выборам президента Республики. Можно сказать, что я в этом кризисе участия не принимал. Мой опыт последних лет не позволял мне питать большие иллюзии относительно участи газеты в случае, если бы режим Робине продлился. Я отстранился от «активистов», которые вели баталию.

В 1965 году, после временного соглашения, достигнутого между командой Бриссона и Ж. Пруво, редакция избрала меня на пост председателя Общества редакторов. Это избрание было тогда понятным и почти логичным, поскольку среди «великих перьев» у меня было то преимущество (быть может, сомнительное), что я стал во главе «сопротивленцев». Выбор моей кандидатуры, которому содействовала или, скорее, сильно способствовала «иерархия», основывался на недоразумении: я выступил против требований Ж. Пруво, движимый чувством верности делу П. Бриссона. Он поверил, так сказать по наивности, в вечность редакции, несущей ответственность за газету и обладающей независимостью, которую будет гарантировать сам Пруво. Я счел полезным и нормальным образование Общества редакторов, но не придал ему того же значения, какое придавали этому обществу его организаторы, в особенности Дени Перье-Давиль. Эти люди преследовали одновременно две цели: сохранить статус «Фигаро», обеспечить юридическое признание Общества редакторов не только ради них самих, но ради всех газет.

С самого начала я почувствовал, что состояние духа, конечные цели и привязанности членов Административного совета Общества и мои собственные весьма разнятся. Хотя я и не

исполнял в газете никаких властных функций, мои коллеги по Административному совету, в сущности, рассматривали меня как человека, более приближенного к иерархии, чем обычные редакторы. Сознавая это недоразумение, но не желая ретироваться, я ожидал случая, чтобы подать в отставку. Такой случай не заставил себя ждать, он произошел в 1967 году.

Общество редакторов, как я уже сказал, желало быть признанным юридически и практически в качестве корпорации. Оно стремилось завоевать знаки признания. Возник вопрос о включении моей фамилии в список «медведей» (так называется помещаемый ежедневно в газете перечень главных лиц, ответственных за публикацию). Ж. Пруво согласился добавить мою фамилию к фамилиям других членов Административного совета Общества-арендатора, но без указания моей должности *председателя Административного совета Общества редакторов.* Мне подобало фигурировать в списке в личном качестве, а не по должности. Я защищал ту точку зрения, что прецедент будет иметь юридическую значимость. Раймон Арон входил в список, но одновременно и как председатель Административного совета Общества редакторов. Мне не удалось убедить большинство в Административном совете, и я подал в отставку, не испытывая ни сожаления, ни горечи: в глубине души редакторы желали, чтобы их представлял кто-нибудь из своих.

В течение двухнедельной забастовки я время от времени приходил в газету, встречался там поочередно с руководителями Общества редакторов и с Л. Габриель-Робине и его главным штабом. Однажды я пропустил один из двух визитов; Робине сразу же заподозрил меня в том, что вместе с Обществом редакторов я замыслил против него заговор. Я не придал никакого значения слуху, согласно которому собственники и команда Бриссона договорились доверить мне руководство. Главный штаб и Общество редакторов «Фигаро» в самом деле совместно предложили Ф. Бегену и Ж. Пруво назначить меня директором. Фактически они отнюдь не сомневались в том, что последний ответит отказом. Благодаря этому предложению им доставалась выигрышная роль, и никто не знал, соглашусь ли я взять на себя названную задачу. Два члена Административного совета Общества редакторов посетили меня и сообщили мне об их намерении. Я сопроводил свой ответ самыми строгими оговорками, но добавил, что мне кажется возможным отказ Ж. Пруво. Если бы Л. Габриель-Робине предвидел его положительный ответ, присоединился ли он к этому демаршу? А Габийи и Грио? К тому же лично я написал письмо Ж. Пруво, в котором уточнял, что соглашусь с возможной руководящей ролью

лишь при одном условии: пользоваться поддержкой одновременно с его стороны и со стороны редакции. Возрождение газеты мне представлялось делом невозможным в нынешней конфликтной атмосфере, без восстановления подлинной гармонии между собственниками названия «Фигаро» и теми, кто обладал правом использовать это название.

И здесь я не буду утомлять читателя изложением перипетий кризиса. Жан Грио считался фаворитом Ж. Пруво. По той или по другой причине он перестал пользоваться благосклонностью «патрона». В какой-то момент показалось, что знаменитое кресло в доме на Круглой площади вот-вот займет Ж. Амелен, который председательствовал в Административном совете Акционерного общества. Будучи человеком Ж. Пруво, он обеспечивал «патрону» все гарантии, а будучи директором газеты, как председатель Общества по управлению, успокаивал журналистов[219]. В ночь с 22 на 23 июля компромисс, который с трудом выработали все стороны, наткнулся на требования Ж. Пруво. Он попросил Ж. Амелена дать «дополнительное обязательство»: «Председатель Общества-собственника Жан Пруво и председатель Общества по управлению Жан Амелен должны будут консультироваться друг с другом и достигать согласия по трем пунктам, от которых, на их взгляд, зависит жизнь газеты: 1. Определение бюджета расходов всех служб газеты; 2. Принятие решения о найме или увольнении всех сотрудников; 3. Установление размеров всех окладов. Допустить объявленный мне отказ от трех пунктов означало бы согласиться не только с изыманием собственности, но и с запретом на мое личное пребывание в „Фигаро“ в качестве журналиста».

Эта выдержка из письма Жана Пруво, опубликованного в газете 27 мая, еще раз проясняет суть конфликта: Жан Пруво чувствовал себя исключенным из газеты, но не в качестве капиталиста, а в качестве журналиста. Ф. Беген, будучи истинным капиталистом, соглашался, без удовольствия, но и без возмущения, с основным требованием журналистов: три представителя их в Совете Общества по управлению должны иметь право блокировать его решения. Этот орган, состоявший из шести представителей собственников, двух — от администрации газеты и трех — от журналистов, мог принимать решения по важнейшим вопросам (например, выборы председателя-директора Общества по управлению) только большинством — 9 из 11 голосов его членов. Прошли длительные переговоры относительно арбитража, желательного в случае разногласий внутри Совета Общества по управлению. Но окончательный провал был обусловлен требованиями Ж. Пруво, от которых

Ф. Беген отмежевался. «Капитализм прессы», — говорил создатель журнала «Пари-матч» и неожиданно бросил в лицо газетному и сахарному магнату, с которым длительное время сотрудничал, слова: «пресса капитализма». Ф. Беген поместил когда-то в «Фигаро» статью о сахарной промышленности.

Раздор между двумя собственниками привел к продлению забастовки и вынудил Ф. Бегена просить о назначении временного судебного администратора, который теоретически и руководил газетой вплоть до заключения окончательного соглашения. Между тем команда Бриссона подала в суд на Общество-собственника и выиграла процесс: закон Бриссона от 28 февраля 1947 года останется в силе и после смерти Бриссона, до тех пор пока кто-то из живущих членов его команды не перестанет в правовом отношении исходить из этого закона.

Два года спустя Ж. Пруво в конце концов смирился со статусом газеты, очень напоминавшим тот, который он отверг в 1969 году. Сохранялось различие между Акционерным обществом-собственником и Обществом по управлению капиталом. Общество по управлению включало Наблюдательный совет и директорат. Председатель директората, избираемый Наблюдательным советом, осуществляет директорские функции. Представители редакции в составе Наблюдательного совета обладают правом блокировать решение о назначении председателя директората.

В феврале 1974 года умер Л. Габриель-Робине и на сцене появился Жан д'Ормессон. Ж. Пруво предложил кандидатуру Жана д'Ормессона на пост председателя директората. Первоначально этот выбор меня удивил — у Жана не было журналистского опыта и политической культуры, — но я встретил его доброжелательно, когда он нанес мне визит. И он в свой черед спросил меня, не претендую ли я на этот пост. Я ему ответил, еще раз, что не питаю таких амбиций, тем более что преподаю в Коллеж де Франс и уже несколько лет являюсь свидетелем упадка когда-то знаменитой газеты. Затем я пообещал ему свою поддержку и действительно поддерживал его на журналистских собраниях. Может быть, он желал бы услышать из моих уст аргументы, отличные от тех, которые я выдвинул? Я успокаивал редакцию относительно будущего директора, заверяя, что никто не замечал за ним каких-либо предвзятых или странных идей в политике или в экономике. Он исповедовал консервативные и либеральные взгляды, являлся академиком, его лицо подходило лицу «Фигаро».

Годы нашего почти ежедневного сотрудничества не оставили у меня ни единого воспоминания о какой-либо серьезной ссоре

между нами, несмотря на прилагавшиеся несколькими журналистами усилия, чтобы вызвать кризис, фатальный приход которого они предвещали. «Вы не сможете работать с Р. Ароном из-за его „характера“». У Жана сотни друзей в Париже, и я не знаю человека, который был бы его настоящим врагом. Уверенно чувствуя себя, этот веселый экстраверт помнил о своем происхождении, но обладал способностью забывать о нем, встречаясь с людьми, которых его родовитость раздражала, он испытывал счастье от бытия и от обладания, был баловнем громких успехов («Слава Империи», членство во Французской академии, «Фигаро»), его руководство газетой «Фигаро» по стилю заставляло вспоминать скорее Габриеля-Робине, чем Бриссона. Он не прочитывал эту газету, ставшую похожей на все остальные, чудовищную по своей толщине, по несоответствию между количеством употребленной бумаги и количеством (иногда качеством) информации. Время от времени он писал политические передовицы, которые, на мой взгляд, страдали многословием, но свидетельствовали о его литературном таланте. Он проявлял скромность, по-видимому подлинную, ко мне питал чувство восхищения, превосходящее уважение к старому выпускнику Эколь Нормаль. Нас разделяло одно поколение; если предположить, что иногда он считал меня спесивым, то никогда эта спесивость его не раздражала. Может быть, она вызывала у него улыбку. По сравнению со мной у него было такое количество преимуществ, дарованных историей и природой, что его не смущало то превосходство, которым я действительно обладал в моем качестве философа или политического автора. Почему не добавить, что он питал ко мне настоящую дружбу, не являющуюся, может быть, чем-то исключительным в широком кругу дружеских отношений, которые он поддерживал, но подлинную по чувствам.

Один или два раза меня рассердили — скорее привели в раздражение — эпизоды, в определенном отношении типичные. Когда встал вопрос о том, чтобы отрецензировать книгу Мишеля Легри о газете «Монд» и против нее, то, разумеется, задача эта была возложена на меня; именно мне предстояло столкнуться с цензурой улицы Итальянцев [273] — и испытать предсказуемые последствия моего выступления тогда, когда появится книга, написанная мною. Незадолго до или спустя некоторое время после публикации рецензии Жан д’Ормессон написал обширную статью в похвалу книги П. Виансон-Понте. Возможно, ему в самом деле понравились это произведение и его автор. Он не занимал позицию в ссоре двух изданий. Он руководил газетой «Фигаро», но не шел против гнева газеты «Монд». А мне, человеку, который

«Фигаро» не руководил, надлежало вести спор или борьбу. Добавим ради справедливости: в политике тот, у кого нет противника, сам себя обесценивает.

Попытки нескольких журналистов поссорить нас из-за пустяков с помощью сплетен мне показались ребяческими и закончились ничем. Если я писал большую статью о Солженицыне и Сахарове, тогда как Жан уже упомянул этих двух диссидентов и даже рассуждал о них, то якобы мое намерение бросалось в глаза: «я тянул одеяло на себя, отнимал у него хорошую тему или хотел его унизить». Редакционные помещения, в еще большей степени, чем *common rooms,* профессорские в английских университетах, изобилуют ядовитыми змеями. Журналисты не уверены в своем статусе, одержимы самолюбием как все пишущие люди, зависят от суждений окружающих, болезненнее, чем другие, переносят мелкие раны. Следует сказать, что обстановка в доме «Фигаро» постепенно ухудшалась; единение, которое еще проявлялось во время забастовки 1969 года, скрывало межклановые битвы и особенно глубокие разногласия между директором и активистами Общества редакторов. Последних вдохновляла идеология, выходившая за рамки особого случая «Фигаро». Разумеется, они желали сохранить статус, который газета приобрела благодаря исключительному стечению обстоятельств в послевоенный период; но не меньшее значение они придавали роли обществ редакторов. При поддержке превосходного адвоката им удалось получить право выступить в качестве стороны в судебном процессе, который команда Бриссона возбудила против собственников. Л. Габриель-Робине отнюдь не заботила судьба Общества редакторов; использовав его, он затем не раз посчитал это общество помехой. Оно же, в свою очередь, не испытывало расположения к директору газеты, который в глазах молодых людей, выпускников журналистских школ, выглядел старомодным, реакционером.

Журналисты переживали также, сравнивая свою газету с «Монд». В конце 50-х и в начале 60-х годов «Фигаро» еще превосходила по тиражу это вечернее ежедневное издание, но уже не выдерживала соревнование с ним в интеллектуальных и преподавательских кругах, даже за пределами политического класса и социальной элиты. Те, кого тогда считали духовными наставниками, с Сартром во главе, можно сказать, исключали из состава intelligentsia людей, не примыкавших к левым, а тем более редакторов «Фигаро», лиц осужденных и презираемых в данном своем качестве.

Под давлением банков Жану Пруво пришлось продать «Фигаро», единственным собственником которой он стал,

поскольку выкупил у Ф. Бегена вторую половину акционерного капитала. Как утверждали, газета «Фигаро» понесла убытки в 1973 и 1974 годах, особенно из-за большого удорожания бумаги. Фактически газета оставалась выгодным делом; в этом я сегодня убежден, но в 1975 году я этого не знал. Она теряла в Париже по нескольку тысяч читателей ежегодно. После 1977 года падение тиража продолжилось. Когда я ушел из газеты, объемы ее продажи в парижской зоне колебались между 90 000 и 100 000 экземпляров. Ныне вилка находится на уровне, который примерно на 10 000 экземпляров ниже.

Один за другим появились три возможных покупателя, они поочередно посетили меня. Андре Беттанкур, Жан-Жак Серван-Шрейбер, наконец, Робер Эрсан. Первого подталкивали люди у власти, он показался мне человеком, одновременно испытывающим чувство боязни и презрения к делу, которое кто-то хочет ему навязать. Мир печати был ему совершенно не знаком, он не считал себя способным руководить редакцией, еще менее — увольнять журналистов или пересматривать оклады, которые те сами себе определили. Приятная беседа убедила меня в том, что он остережется связывать свою судьбу с рискованным предприятием, включаться в его деятельность.

Затем состоялась моя беседа с Ж.-Ж. Серван-Шрейбером, отношения с которым на протяжении лет у меня были то сердечными, то натянутыми. В молодости он выступал с блестящими статьями в «Монд». Ж.-Ж. С.-Ш. сам зашел ко мне, и я проникся симпатией к этому распространителю идей, к этому уверенному в себе человеку, полному решимости стать кем-то, делая какое-то дело. Когда он основал еженедельник «Экспресс», то дал мне знать о своих планах и предложил возможное сотрудничество. В зависимости от событий и от настроений своего директора, «Экспресс» относился ко мне с благожелательностью или с суровостью. В 1975 году этот человек сделал все, чтобы меня очаровать. Двадцать лет назад, сказал он мне, в печати существовали лишь два стоящих аналитика — Морис Дюверже и вы; сегодня остаетесь только вы (в то время М. Дюверже редко выступал на страницах «Монд»). Я радушно принял его и заверил, что никоим образом не буду противиться его вхождению в дом в качестве собственника и директора. Я сомневался в его успехе, но, обещая ему по меньшей мере мой нейтралитет, а возможно и активную поддержку, отнюдь не был неискренним. Совершенно независимо от сумятицы наших отношений, Ж.-Ж. Серван-Шрейбер показался мне одним из тех редких людей мира прессы, который обладал способностью разбудить дремлющую газету «Фигаро», но также способностью

шокировать наших читателей и в один миг потерять несколько тысяч из их числа ради удовольствия от какого-нибудь подстрекательства. Жан Пруво, который не забыл неудачные переговоры с Ж.-Ж. С.-Ш. и не простил ему эту неудачу, решительно отказался от предложения директора «Экспресса».

Пришел ко мне с визитом и Робер Эрсан; разговор продолжался около часа и оставил у меня смешанные чувства. Этот человек, совершенно не похожий на свой образ газетного капиталиста, изображаемый для публики, обладает двумя средствами воздействия, одно из которых никто не должен был бы у него отрицать, а другое — предполагать, — это ум и обаяние. Робер Эрсан умеет пускать в ход свое обаяние, которым он обязан прежде всего голосу (по крайней мере тогда, когда он контролирует свою жажду власти). Его круглое лицо, бело-розовая кожа здорового ребенка, белокурые волосы, голубые глаза — все это первоначально внушает некое доверие: вот верный компаньон, с которым была бы приятна не только работа, но и застолье. Но не следует питать иллюзии: благодаря случайному слову или жесту вдруг прорываются его чувственность и грубость, две самые очевидные черты его личности.

Конечно же он был уклончивым, когда речь заходила о его деятельности во время войны, о его неприятностях с правосудием и с Национальным собранием (один раз его избрание в качестве депутата было объявлено недействительным, но затем он был с триумфом переизбран своим электоратом в департаменте Уаза). Он дал мне понять, что может многое рассказать об этих темах и что когда-нибудь мне расскажет об этом (чего он не сделал), но эта первая наша встреча оставила в моей памяти больше положительного, чем отрицательного. В течение нескольких лет у «Фигаро» не было руководителя. Л. Габриель-Робине, изнуренный болезнью, не руководил редакцией, и у меня сложилось впечатление, что административные дела шли не лучше, чем редакционные. Р. Эрсан построил газетно-журнальную империю: никогда успех не приходит только благодаря случайности и везению. Можно было надеяться, что он сумеет остановить падение этой газеты, еще не утратившей богатство: свое название.

Прежде чем принять решение, я попросил аудиенции у президента Республики и у министра внутренних дел. Валери Жискар д'Эстен информировал меня, при условии сохранения секретности, об источниках средств, предоставленных в распоряжение Р. Эрсана (не думаю, чтобы информация была полной). Беседа лишний раз убедила меня в существовании разрыва между публичными высказываниями политических

деятелей и их естественными реакциями. Президент дал мне почувствовать, что «Фигаро» отнюдь не заслуживает своей сегодняшней самостоятельности. Было очевидно его болезненное отношение к критике, объектом которой он иногда становился на страницах этой газеты; проявилось, как мне показалось, его полнейшее равнодушие к функции прессы в качестве противовеса власти, функции, о которой он не раз с блеском рассуждал. То, что моральный авторитет, престиж «Фигаро» значат больше, чем конформизм или дерзость какой-либо статьи, этого даже В. Жискару д'Эстену не удавалось понять в частной беседе. То, что переход «Фигаро» в руки Робера Эрсана нанес бы удар по нематериальному, символическому капиталу газеты, этого он знать не желал.

Мишель Понятовски разрешил мне прочитать справку, в которой резюмировались материалы о Р. Эрсане, имевшиеся в Министерстве внутренних дел. Сведения, относившиеся к годам войны, не очень меня просветили. К тому же в момент объявления войны Р. Эрсану еще не исполнилось двадцати лет; «ошибки молодости» не означали его вечного осуждения. Совершенные правонарушения, которые были стерты амнистией, не являлись позором для их виновника.

В конечном счете я одобрил позицию Жана д'Ормессона; процитирую часть его статьи, опубликованной 3 июля 1975 года: «В этой сложной ситуации, суть которой кратко изложена, я охотно стоял бы за идею, согласно которой наряду с многочисленными минусами Робер Эрсан представляет по крайней мере два козыря. Прежде всего, в отличие от знаменитой кобылы философов, обладавшей всеми достоинствами за исключением одного — она не существовала, г-н Робер Эрсан, очень хочу в это верить, хотя и соединяет в себе многие недостатки, но, по крайней мере, существует. Это единственный человек, способный в настоящее время взять на себя управление газетой „Фигаро“. По сравнению с отсутствием и превратностями небытия присутствие имеет свои преимущества. Далее, следует четко констатировать, что знаменитые статусы, являющиеся библией „Фигаро“, предоставляют редакторам многие права. В частности, они могут воспрепятствовать назначению директора. Но сам смысл статусов — обеспечить разделение капитала и редакции. Наделять редакцию правом контролировать собственность, не означает ли это одновременно предоставлять будущему собственнику право контролировать редакцию <…>? Г-н Робер Эрсан есть то, что он есть. Говорю совершенно ясно: я не вел расследования его деятельности. Как и многих других, меня завалили брошюрами, его изобличающими. В этом жанре

письменной или устной литературы всегда трудно определить долю истины, пропаганды и клеветы <…> Робер Эрсан защищен амнистией, является народным избранником. Следует ли быть более требовательным, чем законы Республики или народное волеизъявление?»

Сто восемнадцать человек из двухсот девяноста пяти голосовавших высказались за забастовку в случае, если Жан Пруво не откажется от своего намерения продать акции «Фигаро» Роберу Эрсану, то есть меньшинство, но меньшинство значительное, которое способно было стать большинством, если бы мы присоединились к потенциальным стачечникам. Из Елисейского дворца и из Матиньонского дворца оказывалось скрытое давление в пользу магната, который разбогател благодаря газете (для автомобилистов) «Отожурналь» («Autojournal»), затем приобрел десяток небольших провинциальных газет, создал несколько специализированных журналов [«Voile» («Парус») и т. д.] и, наконец, обратился к «Фигаро» ради подтверждения своей удачи и вхождения в светские салоны. Приобретенная недавно газета «Пари-Норманди» («Paris-Normandie») явилась последним этапом на пути завоевания столицы.

Мое собственное решение повлекло за собой решение Жана д'Ормессона (если только не случилось обратное) и тем самым — всей редакции. Не могу этого утверждать, но не хотел бы уходить от ответственности: в глубине души я не мог справиться с угрызениями совести, считая себя одним из 118, проголосовавших за забастовку, или одним из 177, проголосовавших против нее. Мое «нет» поколебало бы «да» Жана д'Ормессона; на самом деле мы приняли одинаковое решение, и приняли его совместно. Как и при других обстоятельствах, меня преследовали воспоминания о моем предыдущем решении. В 1965 году я встал во главе друзей П. Бриссона, которые добились продления соглашения от 1949 года в пользу Л. Габриель-Робине, при условии внесения в этот документ незначительных изменений, иначе говоря — сохранения Общества-арендатора вплоть до предусмотренного срока. Во время кризиса и забастовки 1969 года я солидаризировался с редакцией, но без энтузиазма, не играя активной роли. В 1975-м проблема, по крайней мере внешне, изменилась целиком и полностью: Робер Эрсан обязывался соблюдать статус «Фигаро». Журналисты присваивали себе право контроля за решениями собственника, хотя на бумаге не обладали никаким другим правом, кроме права блокировать определенные решения Наблюдательного совета Общества по управлению, в особенности назначение председателя

директората, фактически директора газеты. Жан д'Ормессон формально заявил об их неправоте, но ни он, ни я не были столь наивными, чтобы поверить на слово обещаниям Робера Эрсана соблюдать букву и дух компромисса 1971 года. «Газетный предприниматель», к тому же еще депутат, неужели он будет долго мириться с тем, что не оказывает влияния на редакцию одновременно с влиянием на администрацию газеты?

Почему я в 1975 году решил, что не должен воевать вновь, как в 1965-м? Я утратил уверенность в том, что был прав десять лет тому назад; только верность П. Бриссону вдохновляла меня тогда на борьбу с Ж. Пруво и оправдывала эту борьбу. Редакция с тех пор мало-помалу разложилась — как материально, так и морально; ведущее крыло, руководимое Д. Перье-Давилем, председателем Административного совета Общества редакторов, ссылалось не столько на наследие П. Бриссона, сколько на свою доктрину: предприятие печати нельзя выставить на продажу подобно какому-нибудь коммерческому предприятию. Некоему Роберу Эрсану не следовало покупать «Фигаро», нематериальный капитал, как покупают ценные бумаги в сталелитейной или электронной промышленности. Доктрина эта вызывает симпатию, но ее нелегко претворить в действительность. Непременно нужен собственник, если только сами журналисты не обладают капиталом. Если собственность достается синдикату или партии, рамки свободы еще более сужаются. Наилучшим из плохих решений остается в конце концов то, которое практикуется в англо-американских странах: собственник выбирает *editor'*а, тот благодаря обычаю, общественному мнению, приличиям обладает значительной самостоятельностью.

В 1975 году другие причины побудили меня поддержать «кандидатуру» Эрсана. Несмотря на слухи, появившиеся в последнюю минуту, никакой другой кандидат не объявился. Забастовка части журналистов не обязательно помешала бы продаже газеты. Она с особой силой выявила бы реальную ситуацию: из команды Бриссона уцелело немного людей, более или менее способных хранить его наследие; единство редакции осталось в прошлом, перешло в область мифов. Стычки из-за должностей, соперничество самолюбий, борьба мнений — все эти причины разложения внутри газеты накладывались друг на друга, усиливая их общий эффект. Униженные как коллектив восхождением «Монд» и падением «Фигаро», несогласные друг с другом относительно пути (к правому центру? К твердым правым? К левому центру?), журналисты восстали, одни — против личности, другие — против акта, символизировавшего как моральную, так и финансовую несостоятельность. С кем из них

мне следовало бы пойти? С Дени Перье-Давилем и активистами Общества редакторов? Со сторонниками «Фигаро» левоцентристского толка? С последними членами команды Бриссона, которые были озабочены получением доходных местечек не в меньшей степени, чем сохранением старых принципов дома, уже не существующего? В национальной политике газета «Фигаро» продолжала занимать место пусть небольшое, но необходимое. С учетом всего этого мы оба, Жан и я, не были неправы, рискнув совершить попытку по имени Эрсан.

Директорат, членом которого я отныне являлся, заседал раз в неделю. Поэтому мне доводилось регулярно встречаться с Робером Эрсаном, и меня поразил, должен сказать откровенно, его природный ум; о чем бы ни шла речь, никогда от него я не слышал глупостей. Директорат, взятый в целом, осуществлял неблагодарную миссию увольнять сотрудников (увольнения эти были менее необходимы, чем мы тогда считали). Его заседания походили на беседы в кафе, когда перескакивают с пятого на десятое (недоставало лишь крепких напитков на столе — бутылочки с минеральной водой на нем стояли, — чтобы создавалось такое впечатление). Р. Эрсан не принимал слишком всерьез эти ритуальные заседания, хотя в ходе их принимались важные решения (в масштабе газеты). Кого направить в Вашингтон? В Рим? В Бонн?

В течение этого периода Р. Эрсан совсем не вмешивался в дела редакции, хотя немедленно ввел в нее свое «доверенное лицо» или, скорее, свое «перо» (если только его функция не заключалась в том, чтобы подписывать материалы, написанные самим Эрсаном). Речь идет о Шарле Ребуа. Он включил некоторые пункты в опросы общественного мнения, которые заказывала газета «Фигаро»; он на свой лад, по меньшей мере спорно, истолковывал ответы, полученные в ходе этих опросов. Любительская наивность или умышленное манипулирование? Первый кризис разразился в связи со статьей, написанной самим Р. Эрсаном и посвященной планетарной политике. Он развивал мысль, согласно которой Советский Союз, перед лицом угрозы со стороны Народного Китая, хотел ныне обеспечить свою безопасность на Западе, следовательно, усилить свой контроль над европейскими странами, в особенности над Францией, благодаря приходу здесь к власти коалиции социалистов и коммунистов. Статья эта была не лучше и не хуже многих других, несколько в духе пустопорожних политических дискуссий. В 1974 году Советский Союз оказал некоторое предпочтение В. Жискару д'Эстену, а не Ф. Миттерану. Но дело было не в достоинствах статьи, а в том, что нарушалось табу: собственник повел себя как

журналист.

И здесь я снова призвал к терпимости. Мы сделали ставку на Р. Эрсана в надежде на то, что в самом главном он будет играть свою роль. Могли ли мы отклонить статью, которую, может быть, опубликовали бы, если бы ее не подписал собственник газеты? К тому же мне казалось маловероятным, что он часто будет выступать как автор передовиц (добавлю, что на эту статью пришло полсотни откликов, по большей части положительных). После нескольких беспокойных дней из газеты ушел Ж.-Ф. Бриссон. Являя собой образец честности и твердости, он пытался до самого конца сохранять и разъяснять традиции своего отца. Он сражался против вторжения Ж. Пруво. В главном штабе газеты Ж.-Ф. Бриссон оказался единственным человеком, который желал передать руководство ею в мои руки. Говорил ли ему его отец то же самое, что он говорил Владимиру д'Ормессону? Не думаю; если бы он слышал из уст отца такие слова, то сообщил бы о них. Я безуспешно пытался удержать Ж.-Ф. Бриссона — и был неправ, ибо всего через два неполных года последовал его примеру.

Новый кризис возник в 1976 году, когда Робер Эрсан потребовал предоставить ему пост председателя директората Общества по управлению, то есть пост руководителя газеты. Если он и проявлял уважение к букве соглашения 1971 года, добиваясь голосования Наблюдательного совета, то, несомненно, нарушал дух этого соглашения. В этом документе прямо указывалось, что председателем директората должен быть журналист. (В 1981 году, после победы социалистов на парламентских выборах, профсоюз журналистов подал в суд на Р. Эрсана, суд обязал того представить доказательства своей журналистской квалификации и приговорил к выплате штрафа по 2 тысячи франков ежедневно вплоть до момента предоставления такого доказательства, но дело до сих пор еще не было рассмотрено в порядке апелляции.)

Подвергнутая чистке, раздробленная, обновленная редакция, может быть, несмотря ни на что, пошла бы за Жаном д'Ормессоном и за мной, если бы мы созвали собрание Общества редакторов и показали бы истинное значение спора. В самом деле, в случае одобрения представителями редакции в Наблюдательном совете кандидатуры Эрсана на пост председателя директората собственнику предоставлялись права, которые в силу разделения Акционерного общества и Общества по управлению ему иметь запрещалось. Таким образом, наступал момент, последний момент, когда, по крайней мере теоретически, должно было проявиться сопротивление всевластию собственника. Жан д'Ормессон склонялся к сопротивлению, в той

мере, в какой, теряя пост председателя директората, он терял пост руководителя, который на бумаге удерживал. И здесь я еще мог бы склонить чашу весов в ту или в другую сторону. Новая баталия внутри «Фигаро» показалась мне анахроничной и в конечном счете лишенной смысла.

Во имя чего, во имя кого следует развязывать сражение, имеющее своей целью помешать собственнику (или капиталу) оказывать определенное влияние на содержание газеты? Ради сохранения юридических прав команды Бриссона? Что представляли собой еще остававшиеся в живых члены этой команды, поголовно отставники? Ж. де Лакретель, М. Амеле, М. Габийи, Л. Шове уже никак не сотрудничали в газете, они не воплощали ценности, на которые опирался П. Бриссон, уже в течение длительного времени не вносили никакого морального вклада в наш дом. Что касается Ж. д'Ормессона, то он лишь вполсилы руководил редакцией и еще в меньшей мере — администрацией газеты. Если бы мы отказались предоставить Р. Эрсану пост председателя директората, то он не признал бы своего поражения; напряженность бы сохранилась и подорвала последние шансы газеты. Лично я отказался ввязываться в новый конфликт, имевший единственную цель — сохранить права четырех членов команды Бриссона и теоретическую власть Жана д'Ормессона.

Если говорить начистоту, то я подумывал скорее о том, чтобы уйти самому тогда, когда обстановка станет невыносимой, чем о том, чтобы отступать с боем, метр за метром, ради сохранения нашего положения. Мне показалось вероятным, исходя из этой позиции, что Р. Эрсан не согласится с почти полным исключением его, исключением, от которого в свое время пострадал Ж. Пруво. Подобно тому, как этот первый постепенно овладел «Пари-Норманди», он попытается овладеть «Фигаро», прибегая к такой же нехитрой тактике. Он обзаведется союзниками в «крепости», приобретет сотрудничество тех или иных людей, очарует одних, подкупит других и убедит всех, что только он один, а не их непосредственное и официальное начальство определит их судьбу.

В одной из своих книг Ж. д'Ормессон описал развязку этой истории, последние месяцы моего пребывания в «Фигаро», но, что любопытно, обошел в своем рассказе начало конца или первую сцену моего восстания против Р. Эрсана. Мы обедали втроем в Нейи, в доме Жана д'Ормессона, и трезво обсудили перспективы парламентских выборов 1978 года. Р. Эрсан перечислил меры, которые он намеревался принять в случае победы левых сил, чтобы обеспечить выживание различным своим периодическим

изданиям. Затем мы перешли ко времени, которое оставалось до момента выборов, и я предложил — отнюдь не в каком-то агрессивном или требовательном тоне, — чтобы мои функции политического директора осуществлялись эффективно. В течение девяти месяцев — начиная с возвращения людей из отпусков в сентябре и вплоть до момента голосования в марте, мне хотелось бы, сказал я Р. Эрсану, всерьез отнестись к своей должности, приходить каждый день в газету и действенно направлять линию «Фигаро». Это мое заявление могло бы вызвать досаду у Жана д'Ормессона, поскольку оно выглядело, можно так сказать, покушением на его власть генерального директора. Не думаю, что он так отреагировал: Жан д'Ормессон уважал мое старшинство и, возможно, признавал за мной то преимущество, что я писал о политике как «профессионал». Он же хотел быть «профессионалом» как писатель или романист. Конечно, газета «Фигаро» его забавляла, руководство ею позволяло в чем-то удовлетворять его самолюбие. Если бы я участвовал в текущей редакционной работе, то он охотно сотрудничал бы со мной, даже беря на себя разрешение возникающих споров.

Это предложение вызвало у Р. Эрсана реплику, меня поразившую: «Я сам хочу обеспечивать это политическое руководство и буду регулярно писать передовые статьи». Я ответил довольно резко (не помню с точностью свои слова) и через несколько минут ушел; у меня была назначена встреча на другом конце Парижа, в Доме наук о человеке. Внутри меня сработал какой-то детонатор: если он отказывает мне в доверии и, особенно, если он сам намерен стать эдиториалистом «Фигаро», то в таком случае аргументы, относящиеся к политике и к эффективности, более не действуют. Мне остается только одно — уйти в отставку.

В течение нескольких последующих недель я попросил аудиенции у президента Республики; встретился с Жаком Шираком; посетил ряд деятелей. Каждому из них я говорил одно и то же или почти одно и то же: Робер Эрсан мне заявляет, что отныне он сам намерен выступать с передовыми статьями. Если он не отступится, то я уйду из «Фигаро» вместе с Жаном д'Ормессоном, который всегда заверял меня в том, что не останется в газете, если я ее покину. Несмотря на свой упадок, «Фигаро» все же остается незаменимой трибуной в политической борьбе. Газета уже в какой-то мере потеряла доверие к себе после того, как вошла в империю Эрсана; если газета станет печатным органом депутата от Уазы, она соскользнет в небытие: мой уход, уход Жана д'Ормессона и других, которые последуют нашему примеру, лишит какого-либо серьезного веса издательский дом

на Круглой площади Елисейских полей.

Повторяю: этот эпизод — обед, на котором Эрсан заявил о своем намерении самому выступать с передовицами, — не фигурирует в рассказе Жана д'Ормессона. И сегодня еще я задаюсь вопросом, почему он этот эпизод забыл или опустил. Зато он выдумывает парижскую драму с тремя действующими лицами — причем ни один из этих троих не находится полностью в здравом уме: «У Раймона Арона и Робера Эрсана была лишь одна общая черта: тот и другой верили, что дела, несомненно, пойдут лучше, если их будут больше слушать. И у одного, и у другого имелись черты мегаломании и паранойи, хотя, следует подчеркнуть, эти черты совмещались с видимой разумностью. Я же был, скорее, шизофреником и, во всяком случае, циклотимиком. Ничто не заставит меня отказаться от мысли, что Робер Эрсан преследовал единственную цель: стать президентом Республики. Не столь безумный Раймон Арон был склонен удивляться тому, что не стал французским Киссинджером. Сразу же должен сказать, что если бы я был де Голлем, Помпиду или Жискаром, то взял бы Арона в качестве советника Государя. Не совсем уверен, что выбрал бы Эрсана главой государства, будь я французским народом».

Пассаж забавный, но уж очень далекий от действительности. «Мегаломания и паранойя»; никто самого себя не знает; но Жан д'Ормессон не был ни шизофреником, ни циклотимиком. Если ему верить, то он стремился лишь к одному: сделать так, чтобы Робер Эрсан и Раймон Арон трудились вместе. Но вопрос этот возник лишь после разговора в Нейи, который чудесным образом выветрился из его памяти. Я попросил предоставить мне возможность оказывать политическое влияние на «Фигаро» на протяжении нескольких месяцев, не имея ни малейшего намерения навязать себя на вечные времена. Никогда я не требовал, как он пишет, кресла председателя директората. Зачем я стал бы это делать в свои семьдесят два года? Я действительно был бы мегаломаном, если бы желал или надеялся получить это кресло. Чего я хотел, так это, по крайней мере, обещания со стороны Робера Эрсана — не писать политические передовые статьи поочередно с Жаном и со мной.

Проявилась ли эта сугубо личная реакция слишком поздно или слишком рано? Как Жан дал мне понять и как сказал ему его брат, его духовный наставник, мы должны были бы восстать против занятия Р. Эрсаном места председателя директората. Поскольку мы оставили ему кресло П. Бриссона и Л. Габриель-Робине, по какому праву нам следовало оспаривать у него привилегии, связанные с этим креслом? Аргумент, значимый в

юридическом плане. Но, оставляя за Жаном и за мной посты, соответственно, генерального директора и политического директора, он отказывался, так сказать, и от некоторых привилегий своих предшественников. Хотя Р. Эрсан был обладателем депутатского мандата (заседания Национального собрания он почти никогда не посещал), его считали прежде всего газетным предпринимателем, капиталистическим магнатом; в качестве автора передовиц он был неизвестен. Жан Пруво никогда не писал передовиц. Намерение, или проект, Эрсана представлялось, таким образом, для газеты или для меня самого ударом, с юридической точки зрения не столь сильным, как его назначение на пост председателя директората, но с моральной точки зрения — еще более серьезным.

Большие люди, с которыми я поделился своим беспокойством, лишь в незначительной мере проявили интерес к этому автоматически повторяющемуся кризису «Фигаро» (исключение составил Жак Ширак). Валери Жискару д'Эстену были известны электоральные проекты Робера Эрсана. Последний оставлял избирательный округ Уазы, чтобы добиться успеха в округе, из которого уходил Ашиль Перетти, введенный Эдгаром Фором в состав Конституционного совета. Президент Республики не посоветовал мне, насколько помнится, уходить из «Фигаро», но, как мне показалось, остался безучастным к главному — возможной утрате газетой ее интеллектуального и морального авторитета в случае ухода из нее нескольких символических имен. Только Жак Ширак признал вес моих аргументов и предупредил Р. Эрсана, что лишит его поддержки ОПР (RPR) [274], если тот принудит «интеллектуалов» уйти из «Фигаро». Фактически же Р. Эрсан получил официальную поддержку своей кандидатуры со стороны ОПР. Г-жа Мари-Франс Гарро строго отчитала меня по телефону, когда я ей сообщил, что поддерживаю г-жу д'Аркур, которая выставила свою кандидатуру на место Перетти и отказалась следовать приказам главного штаба Объединения в поддержку республики; она без труда одолела кандидата от своей партии. Техника «пакетов для стариков», которую в иных местах применял собственник «Фигаро», не возымела успеха в столь богатом избирательном округе.

Что же касается последствий моего ухода для будущности «Фигаро», то, несмотря на свою мегаломанию, я никогда не питал иллюзий. Пример Франсуа Мориака мог бы меня просветить в случае необходимости: сотрудник газеты, каким бы знаменитым он ни был, никогда не уводит вслед за собой значительное число читателей. Мой уход истощал политический капитал «Фигаро»;

после 1977 года продолжалось медленное, регулярное обесценение этого капитала. Более десяти журналистов ушли одновременно со мной[220]. На несколько недель компанию мне составил Жан д'Ормессон. Его вызвали к себе и отругали люди, в то время являвшиеся советниками Жака Ширака, — Пьер Жюйе и Мари-Франс Гарро, он вернулся в газету в качестве эдиториалиста, автора передовых статей.

После обеда в Нейи я лишь раз разговаривал с Эрсаном, у себя в квартире на бульваре Сен-Мишель, когда мой собеседник уже знал о моем намерении уйти из газеты, если только он не отступится от своих планов. Он сказал мне — и эта деталь запечатлелась в моей памяти: «Для меня было бы честью выступать с передовицами поочередно с вами, но вы не желаете чередоваться со мною». Я ответил как мог, не споря с этой формулой, совершенно точной; я попытался снять какую-либо агрессивность в моей позиции. Что мне казалось неприемлемым, так это не только чередование с Робером Эрсаном, но чередование с собственником, кандидатом в депутаты. С той поры с Эрсаном я не встречался. Во время предвыборной кампании 1978 года он не написал ни одной передовой. Зачем понадобилось «ставить меня на место» с такой грубостью, когда я выразил «пожелание эффективно участвовать в руководстве газетой в течение нескольких месяцев»?

И сегодня еще я задаюсь вопросом о том, что *им* двигало. Сам он продолжает заявлять, в частности, говорил об этом моему другу Бернару Бонилаури, что не понимает причины моего ухода из «Фигаро». У него сформировалась какая-то определенная идея на мой счет, на одном заседании директората он дал мне понять, что в его глазах я принадлежу к той же категории людей, что и он сам: цельная натура, не способная уступить или пойти на мировую после того, как собственное решение принято, короче, человек, которым трудно управлять. Жан д'Ормессон не был для Р. Эрсана ни помехой, ни источником беспокойства. С первого дня он его раскусил: Жан держался за «Фигаро», ему нравилось выступать на страницах этой газеты, он очень хорошо ладил с ее читателями; ни в одном другом месте он не обрел бы подобной трибуны, находившейся в издавна установившейся гармонии с его талантом. Хотя Жан д'Ормессон не раз повторял, причем и перед редакторами, что уйдет вместе со мною, Р. Эрсан рассчитывал, не испытывая беспокойства, на возвращение блудного сына.

На мой счет Эрсан ошибался, но не потому, что недооценивал меня, а, напротив, потому, что меня переоценивал. Сомневаюсь, что у меня хватило бы сил приходить в «Фигаро» шесть раз в неделю для руководства журналистами или их нацеливания.

Точно так же, как он не стал писать передовицы, возможно, и мое политическое директорство через несколько недель закончилось бы неудачей. Р. Эрсан невольно оказался в двусмысленной ситуации, означавшей для него поражение. Будучи собственником капитала, он довольствовался тем, что заседал в директорате как один из пяти его членов, не имея права единолично принимать решения по увольнению и приему сотрудников. Он наверняка думал, что мои требования продиктованы волей к власти и что, заняв свое место, я ограничу его суверенитет. Я его понимал, он же не мог меня понять. Мне претит отправление власти, если только речь не идет об интеллектуальной власти, вытекающей из спора или доводов. Быть может, он не хотел отчуждения от своего права писать передовицы, даже если не имел намерения осуществлять это право. Я не думал, что он часто будет выступать с передовицами, но не соглашался на риск делить с ним функцию эдиториалиста (я охотно делил эту функцию с Жаном, причем единственно ему принадлежало право на знаменитую подпись «Ф» с пером, освящавшую его роль рупора руководства).

После моего разговора с Р. Эрсаном, после моих бесед с крупными государственными деятелями для меня остался лишь один выход — отставка. В один апрельский понедельник — на следующий день мне надо было поехать к детям в Жука — я принял в утренние часы Жозефа Фонтане, бывшего министра народного просвещения, который работал над созданием ежедневной газеты, «Ж'энформ» («J'informe»). В тот момент я не исключал сотрудничества с этим искренним, благожелательным, безупречно честным человеком, католиком без тени клерикализма или догматизма. После обеда, а точно — без двадцати минут три — меня поразил удар: правая рука безжизненно повисла вдоль тела, голос пропал, я не мог произнести ни слова.

Через несколько недель, возвратившись домой, я написал просьбу об отставке на имя Р. Эрсана и подготовил последние статьи для «Фигаро». Вот текст письма об отставке, который никогда ранее не публиковался:

«Когда Вы захотели стать председателем директората и добились этого, ни Жан д'Ормессон, ни я не воспротивились Вашему желанию. Конечно, смешение между собственником Акционерного общества и председателем-директором Общества по управлению противоречит духу и букве статуса газеты в том виде, в каком сами суды его подтвердили. Но четыре представителя команды Бриссона уже в течение ряда лет не играют никакой действенной роли в газете; однако только этим

четырем лицам или Обществу редакторов принадлежало право обратиться с иском в суд, разбирательство в котором в любом случае означало бы разорение предприятия. Мы были полны решимости не возбуждать новые споры между собственником и редакторами.

Предоставив Жану д'Ормессону пост генерального директора и мне самому — пост политического директора, Вы неявным образом признавали, что ради сохранения интеллектуального и политического авторитета „Фигаро" следует иметь в качестве повседневного руководителя журналиста или писателя, а отнюдь не собственника какой-то газетно-журнальной группы или депутата.

Никогда я не имел возможности выполнять функцию политического директора. Вы сами набираете сотрудников, заранее не извещая нас; Вы выбираете, не проконсультировавшись, руководителя той или иной службы. Ваши указания передаются через журналиста, преданного Вам, без учета существующей в редакции иерархии. Тем самым Вы лишаете всяких прав тех, кто должен эти права осуществлять. Редакция ждет проявлений воли, идущих издалека, а не от тех, кому надлежит ею руководить. В ответ на мою критику сложившейся ситуации и на пожелание выполнять мои задачи директора Вы мне ответили, что начиная с сентября сами намерены выполнять эти задачи, включая редактирование передовых статей. Смешение в одном лице собственника, управляющего издательской группой, директора редакции и автора передовиц мне представляется неприемлемым для сегодняшнего общественного мнения, гибельным для силы влияния и для морального престижа газеты. Поэтому Вас не должны удивить выводы, которые я делаю из наших бесед в феврале и марте. Я не считаю для себя возможным выступать в качестве заложника или прикрытия в силу званий, быть может почетных, но бесспорно фиктивных. Итак, с тяжелым сердцем я покину газету, в которой сотрудничаю уже тридцать лет».

Комментарии других газет не были ни страстными, ни многочисленными, но такими, каких я ожидал. В «Монд» Ж. Соважо констатировал, что завоевание «Фигаро» приближается к предвидимому финалу; я совершил ошибку или питал иллюзию, надеясь сохранить что-то от самостоятельности «Фигаро». Перед лицом человека, подобного Эрсану, иллюзия смешивалась с ошибкой. В «Фигаро», как и в «Пари-Норманди», собственник пойдет до конца, прибегая к методу, прекрасно испытанному всеми «боссами», — разделять, чтобы властвовать.

Из иностранных откликов мне стала известна лишь заметка в

лондонском журнале «Экономист» (от 1 июля 1977 года) под заголовком «Остриженная *(shorn)* „Фигаро“». Представитель этого еженедельника в Париже был знаком с делом только по двум статьям, появившимся на первой полосе «Фигаро», первой — Жана д’Ормессона, второй — Р. Эрсана, а также по интервью, которое я дал журналу «Пуэн» («Point»). Поэтому журналист представлял уход Жана д’Ормессона как главное событие; я ушел вслед за ним. В действительности Ж. д’Ормессон ушел одновременно со мною, чтобы остаться верным обязательству, взятому по отношению ко мне, однако в своей статье «Не прощайте, но до свидания» он оставлял шанс или, скорее, допускал вероятность своего возвращения в качестве эдиториалиста.

Английский журналист называл меня «France’s most respected political columnist, a deity in the intellectual world of french political journalism» («самым уважаемым политическим обозревателем, божеством в интеллектуальном мире французской политической журналистики»), он кратко излагал сделанный мною в «Пуэн» анализ вопроса о совмещении постов, к которому стремился Р. Эрсан, и заключал: «This was too much for Mr. Aron, a writer whose shrewd and stylish analyses have graced *Figaro* for 30 years and shaped the thinking of generations of aspiring moderate politicians». («Это переполнило чашу терпения г-на Арона, острые и изящные аналитические статьи которого украшали „Фигаро“ в течение тридцати лет и сформировали мышление жаждущих успеха поколений французских умеренных политиков»). Разумеется, ни одна французская газета не прокомментировала мой уход в подобном стиле. Ни один из сотрудников «Фигаро» не прислал мне слова симпатии. Более десяти человек из их числа последовали за Жаном д’Ормессоном и за мною; вряд ли кто-то из них знал, что один из уходов продлится ровно столько времени, сколько произносится обещание.

Еще несколько слов по поводу попытки сотрудничества с Робером Эрсаном и моих отношений с Жаном д’Ормессоном перед моей отставкой и после нее. «Ему следовало бы уйти из „Фигаро“ сразу же после прихода туда газетного магната!» — скажут некоторые; и сегодня еще я так не думаю. Привлечение другого покупателя зависело, может быть, от властей, но отнюдь не от меня. Верным остается то, что мой отказ — или, может быть, угроза уйти в случае прихода Р. Эрсана — повлек бы за собой ряд других отказов и одновременно привел бы к провалу решение, выбранное правительством или приемлемое для него. Я не сожалею о том, что способствовал выживанию «Фигаро» в тот период. Издание нуждалось в директоре, который был бы

газетным капиталистом. Р. Эрсан отвечал этому требованию и этому определению. Мы верили в то, что он обладает всеми качествами такого лица, и мы ошибались.

Я охотно признаю, что мог бы и, может быть, должен был бы воспрепятствовать избранию Эрсана на пост председателя директората, если бы, по крайней мере, ставка оставалась прежней: статус газеты. Но что сохранялось от наследства команды Бриссона? Силы в игре были неравными: с одной стороны, властный человек, не терпящий никакого стеснения, с другой — рассеянный, миролюбивый, обаятельный академик. Чтобы предотвратить покушение собственника на права руководителей редакции, необходимы были бдительность на каждом шагу, стремление к власти, которыми не обладали ни Жан, ни я. Так что же я попытался сделать в феврале — апреле 1977 года? Приостановить события! Мобилизовать руководителей большинства и убедить их в том, что они могут и должны помешать завязшему в долгах собственнику вызвать уход нескольких великих перьев, которые украшали «Фигаро» и прикрывали ее нищету? Мне это не удалось, и к тому же я в такую возможность не верил, говорил о ней, может быть, лишь в нескольких случайных беседах. Что же касается Жана д'Ормессона, то он держался за трибуну, которую предоставляла ему газета. Я понимаю его и продолжаю относиться к нему по-дружески.

Я много думал о том, какие плоские шутки и менее невинные удары ожидали бы меня, если бы я по примеру Жана возвратился в «Фигаро» через несколько недель после ухода из этой газеты. «Монд», безжалостно судящая обо всех людях и вещах, за исключением самое себя, пощадила академика. Я испытываю некоторую гордость — без «мегаломании» — от того, что избежал счастливой участи моего друга Жана, остающегося сухим под дождем.

В числе безумий этих недель первое место занимает моя робкая попытка (и даже это — слишком сильное выражение), смутная идея завязать сотрудничество с Жозефом Фонтане и, может быть, увлечь за собой некоторых людей из «Фигаро». Итак, я имел продолжительный разговор с Жозефом Фонтане утром того самого дня, когда у меня случилась закупорка сосудов, как раз перед намеченной встречей с сэром Джеймсом Голдсмитом. Ж. Фонтане вызывал симпатию, после трагической и нелепой смерти этого человека его личность и жизнь предстают в новом свете — как посвященные общественному благу, вдохновленные христианской верой. Моя беседа с ним оставила у меня, к несчастью, лишь слабую надежду. У него не было ни достаточно

денег, ни достаточно опытной команды, необходимой для успеха. Он хотел руководить изданием и одновременно определять его «линию» с помощью передовиц. Для меня там места не было, и никого бы туда я за собой не привел. Когда я вышел из больницы и принял нужные решения, от него пришло настоятельное письмо.

На страницах «Фигаро», в статье «К нашим читателям», опубликованной 6 июня 1977 года, Жан д'Ормессон заявлял о своей полной солидарности со мной: «Раймон Арон, сыгравший в „Фигаро“ роль, которая каждому известна, извлекает, со своей стороны, на этой неделе урок из данного кризиса в одном из еженедельников: покидает „Фигаро“. В течение тридцати лет он являлся символом и честью этого издания. Ясно, что его уход глубоко потрясает газету, с которой он сливался». В статье отдавалось должное либерализму Р. Эрсана, который никогда ни в малейшей степени не ограничивал свободу выражения журналистов «Фигаро». Затем Жан д'Ормессон перечислял назначения на ответственные посты в редакции и администрации, которые «ускользали от его власти». В определенном смысле он намекал на вопрос, представлявшийся мне решающим: «И проблема, вызывающая раздражение и более тонкая, чем это в том или в ином смысле полагают неглубокие или политизированные умы, проблема эффективного участия собственника газеты в ее редактировании путем публикации передовиц или статей, ставила, по крайней мере, вопросительные знаки». Что касается остального, то он подчеркивал решающий мотив своего ухода — невозможность в полном объеме осуществлять свои директорские задачи, — давал понять, что вернется, дабы продолжать борьбу. «Везде, думаю, где представится такая возможность. Может быть, даже здесь, если я буду иметь средства, если свобода выражения мне будет полностью обеспечена. Но речь пока идет только о будущем, которое может открыться завтра».

Робер Эрсан ответил Жану д'Ормессону статьей, которая, будем справедливы, не портила лица «Фигаро». Он обрисовал плачевное, почти безысходное положение газеты в тот момент, когда она была им приобретена. И сегодня еще я хотел бы, чтобы был проведен тщательный анализ кризиса 1975 и 1976 годов. С помощью каких мер ему удалось восстановить баланс, тогда как тираж газеты не увеличился? Действительно, он упразднил вечерний выпуск и разработал план создания сплошной телекоммуникационной сети для передачи «материалов», подготовленных в течение ночи в Париже, что позволяло восьми

типографиям-спутникам печатать самые свежие выпуски газет одновременно со столичными. Мне очень хочется верить, что это «не имеющее примера технологическое и промышленное достижение обеспечило появление на свет по одному предприятию ежемесячно», но зачем совершать такой подвиг, если продажа газеты не увеличивается? И из каких средств финансировать эти предприятия, если не брать новые банковские кредиты?

Должен добавить, что Р. Эрсан справедливо подверг критике практику управления газетой в период с 1945 по 1975 год. Действительно, зарабатывая в те времена много денег, она не выкупила у собственника здания, которые занимала, не модернизировала свое техническое оборудование. Зато кроме тринадцатой зарплаты сотрудникам ежегодно выплачивали и четырнадцатую, и пятнадцатую, и шестнадцатую зарплату. Главной причиной этих извращений явилось отделение собственности от управления. Шкала заработной платы, с которой я познакомился, став членом директората, не могла меня не поразить.

В интервью, которое я дал для еженедельника «Пуэн» моему другу Жоржу Сюффери, чтобы объяснить свой уход, мне запомнилось чувство, похожее на раскаяние. Были ли у меня причины противиться вхождению Жана Пруво в «Фигаро»? В тот день я признал свою неправоту: «Его приход мог бы вызвать плач и скрежет зубовный. Но очень скоро страсти бы успокоились и газета, вероятно, вновь оказалась бы на подъеме». Я отнюдь не уверен в уместности этого самообвинения. Газета «Фигаро» 1965 года не вынесла бы Пруво, а он, в силу своего возраста, не смог бы ее омолодить.

Что же касается причин, которыми я объяснял свой уход, то они совпадают с теми, что описаны на предыдущих страницах. Я привел один диалог с Р. Эрсаном, который сказал мне: «Почему вы согласились с этим статусом, если сегодня его отвергаете?» Мой ответ сводился к следующему: «Учитывая общую ситуацию, я исключал новую битву. Я вновь сделал ставку на ваш ум, то есть на то, что вы не перейдете границу, за которой мне останется лишь одно — уйти. Однако граница эта была нарушена». Жорж Сюффер заметил мне, что в любом другом месте я вновь оказался бы в сложном положении. Я ответил: «Пока я выступал в „Фигаро“, у меня были по отношению к этой газете определенные обязательства. Куда бы я ныне ни пошел, у меня будут обязательства только перед самим собой». Наконец, на прекрасный вопрос Сюффера — почему именно сейчас? — я ответил, вспомнив Анри Бергсона: «Из-за того, что на меня

смотрели как на интеллектуальную машину, все в конце концов позабыли, насколько я похожу на каждого из них. Скажем, что приходит момент, когда вещи становятся нестерпимыми. Бергсон очень хорошо сказал об этом: „Мы хотим знать, в силу какой причины принимаем решение, и обнаруживаем, что решение не вытекает из причины и, может быть, противоречит любой причине. Но в некоторых случаях именно здесь кроется самая веская из причин. Ибо предпринятое действие отвечает совокупности наших чувств, наших мыслей и наших устремлений. <…> Короче, нашему личному представлению о счастье и о чести“». Друзья, Анни Крижель в их числе, умоляли меня не оставлять трибуну, подобную которой мне не даст ни одно другое издание. В апреле 1977 года, до или после недели, проведенной в больнице, я перестал колебаться: я более не выносил «Фигаро» Эрсана.

Во время моей первой беседы с Оливье Шеврийоном и Жоржем Сюффером в редакции «Пуэн» мне предложили сотрудничать, давать по две статьи ежемесячно. С другой стороны, Ж. Голдсмит, знавший о моем намерении уйти из «Фигаро», желал, чтобы я сотрудничал в «Экспрессе» (мне передали его слова). Я не был знаком с Филиппом Грюмбаком, едва знаком с Жан-Франсуа Ревелем и Оливье Тоддом. Меня беспокоила возможная реакция этой левой редакции на приход автора, слышущего правым. Несмотря ни на что, мне не пришлось бы выбирать между этими двумя соперничающими еженедельниками, если бы Оливье Шеврийон, узнав о предложениях «Экспресса», не возобновил контакт со мной и не сделал мне предложение, совершенно отличное от первоначального. На этот раз речь шла об одной статье в неделю и о роли организатора или вдохновителя. Второе предложение появилось в дни раздумья, которые я попросил Голдсмита дать мне (для полноты картины упомяну о предложении журнала «Пари-матч», в финансовом отношении самом щедром).

Главный мотив в моем выборе был обусловлен позицией моих друзей в «Пуэн». Если они не предложили мне немедленно место в их команде, то не из-за отсутствия симпатии или уважения ко мне; в сущности, для меня не было места в еженедельнике, который в целом стремился быть неангажированным наблюдателем. Журналисты проголосовали за порицание Ж. Сюфферу, когда тот выступил на публичном собрании во время предвыборной кампании, перед голосованием в марте 1978 года. В мои намерения не входило ограничить себя ролью аналитика или чистого наблюдателя. Я решил, что в «Экспрессе» буду пользоваться большей свободой, что буду

оказывать там влияние и что собственник, который обычно заинтересован в привлечении «великих перьев», оградит меня от возможной враждебности со стороны журналистов. Может быть, в 1947 году я совершил ошибку, выбрав «Фигаро», а не «Монд» (хотя не верю в такую вероятность); я продолжаю считать, что поступил правильно, предпочтя «Экспресс», а не «Пуэн», даже испытав позже некоторое разочарование. Что же касается нынешней ситуации, ситуации в июне 1981 года, после кризиса, вызванного уходом Жан-Франсуа Ревеля и Оливье Тодда, то это тема другой главы.

XXI
ПОСТГОЛЛИЗМ

В апреле 1969 года я воздержался от каких-либо комментариев по поводу организованного генералом де Голлем референдума сразу по двум вопросам — децентрализации и реформы Сената. После отрицательного ответа нации я прокомментировал событие, может быть в нарочито обыденном стиле. «Через одиннадцать месяцев после речи 30 мая и демонстрации на Елисейских полях генерал де Голль, которому народ своим всеобщим голосованием отказал в доверии, покидает Елисейский дворец и возвращается в Коломбе-ле-дёз Эглиз, „могучий и одинокий“». Затем рассматривались истоки события; референдум, от проведения которого он отказался по настоянию Жоржа Помпиду; то огромное значение, которое он придавал этой форме вопроса о доверии, поставленного перед нацией; напоминались идеи, которые долго вынашивал Генерал, будучи председателем РПФ: «Он видел в регионализации способ облегчить вовлечение людей в общественные дела, а также первую попытку переломить вековую тенденцию к административной централизации». Вероятно, Генерал придавал вопросу о доверии еще большее значение, чем содержанию реформ. Кто же победил на июньских выборах — президент или премьер-министр? «Референдум-вопрос о доверии должен был снять все сомнения и вернуть Генералу непререкаемый авторитет, не имея которого он, конечно, предпочтет одиночество в своей деревне позолоченной лепнине дворца. <…> Чтобы вновь обрести силу, он должен был, подобно Антею, прикоснуться к земле отчизны, к народной воле». Я объяснял неудачу генерала де Голля, по крайней мере частично, неотвратимой эволюцией президента, превратившегося невольно в вождя умеренного большинства (или правых, если хотите). «Тем не менее, по иронии истории, генерал де Голль стал на этот раз жертвой своей философии референдума-плебисцита. Его избрали на семь лет, он опирался на плотное большинство в Национальном собрании, нерешительное, может быть, но покорное, ему некого и нечего было страшиться, разве только богов или обыденности социальных конфликтов. Всякий другой этим бы удовлетворился, но ему надо было смыть оскорбление, одержав личную победу или потерпев поражение, по видимости несправедливое и нелепое, но в силу этого ставшее последним испытанием для героя. В мае 1968 года возвращение в Коломбе возмутило бы

Францию; в апреле 1969-го оно являет картину какого-то печального величия, может быть таинственным образом совпадающего с голлистским мировидением».

Во второй моей статье, озаглавленной «Неуловимая Франция» («La France insaisissable»), подробно рассматривалась связь между событиями мая 1968 года и окончательной отставкой Генерала: «Эти „события“ ускорили образование разрыва между двумя личностями, если не предопределили его. И при таком подходе отставка генерала де Голля еще яснее выглядит как следствие — отдаленное, если хотите — пожара, который зажгли в Нантерре несколько сотен студентов. После 11 мая 1968 года Франция стала для генерала де Голля неуловимой. Решения, которые он принял, будучи совершенно разумными в рамках его философии и его личности, странным образом обернулись против него. Самого его не удивит эта неблагодарность судьбы и людей. Как всякий человек действия, воспитанный в духе античной культуры, он задумывался о превратностях фортуны, которые герой преодолевает, только лишь принимая их со спокойствием».

Я колебался, испытывая искушение подвести итог или, скромнее, сделать некоторые замечания относительно исторической роли генерала де Голля. Мне довелось следовать за ним лишь в том из его предприятий, в котором он потерпел неудачу, — в создании РПФ. Даже если я согласился тогда с ним по существу дела, мне трудно было принять его стиль. Будучи членом «Объединения», я продолжал писать работы, выражавшие мою собственную философию, а не философию Генерала. В последние годы его режима меня считали одним из тех неголлистов, которых Государь переносил хуже всего.

Те комплименты, которые он мне расточал по поводу моих книг, ничего или почти ничего не значили. Есть много писателей, больших и малых, в шкафах у которых хранятся пачки похвальных писем.

Первое, написанное от руки, письмо, полученное мною от него, касалось книги «Цепные войны», оно в большей степени выражало мировидение Генерала, чем его чувства по отношению к этой книге и к ее автору (являвшемуся в то время членом Национального совета РПФ): «Ваша книга „Цепные войны“, которую Вы мне любезно надписали и прислали, до краев наполнена идеями, фактами, доводами. Я нашел ее великолепной. Ознакомление с перспективами, которые Вы с таким блеском показываете, вызывает одновременно чувства удовлетворения и тревоги, но, может быть, единственная победа, которую дух мог бы еще одержать над расплавленной материей, состоит в том, чтобы смотреть, не опуская глаз, на кипение и на

его последствия, не соглашаясь на отречение, которое, впрочем, ничему бы не послужило. Но, может быть напротив, борьба, усилия, воля в конце концов возобладают. Необходимо к тому же ясное видение. Вы этому весьма поспособствовали. <…>»

«Расплавленная материя», «усилия по обузданию хаоса» — эти выражения заставляют думать о бергсонианстве Генерала, равно как и о его ницшеанстве. Мера человека действия — тот беспорядок, который он попытается преодолеть.

«Надежда и страх века», появившаяся в 1957 году, «Индустриальное общество и война», увидевшая свет после возвращения Генерала во власть, — обе эти книги удостоились таких же похвал, может быть даже в превосходной степени. В первой из названных публикаций я изложил свои мысли о деколонизации и независимости Алжира. Конечно, он отнюдь не оценил ее отрицательно.

Следующая книга — «Незыблемая и изменяющаяся» («Immuable et Changeante»), — в которой рассматривался переход от Четвертой к Пятой республике, затрагивала его более непосредственно. На этот раз его вежливость содержала крупицу иронии: «В Вашей книге я вновь нахожу и смакую Вашу проворную и многосложную мысль, Ваш большой талант исторического и человеческого аналитика, Ваш поистине блестящий стиль. У меня вызывают восхищение и зависть Ваша способность сразу же судить о событиях, которые мы переживаем, и о потоке, нас увлекающем. Что же касается меня, то я еще держусь за свое философское суждение. <…> Это Вас не удивит. <…>». Разумеется, слова о «восхищении» мною и о «зависти» ко мне давали аналитику урок, лишенный колкости. Выражение «поток, нас увлекающий», передает, полагаю, постоянную мысль Генерала или, чтобы быть более точным, бергсонианскую грань его мировидения. Возможно, к тому же тогда, 19 мая 1959 года, он еще не знал, чем завершится его собственная политика.

После посвящения Генералу книги «Мир и война» он коснулся в своем лучшем стиле позиций, на которые я вставал: «<…> Бывает, что меня не убеждает написанное Вами, и я знаю, что с давних времен Вы редко одобряете совершаемое мною. Однако, поверьте, я восхищаюсь тем, как Ваш ум пытается объять великую волну, увлекающую всех нас к судьбе, по видимости ни с чем не сравнимой, во всяком случае ранее неведомой». Формула вежливости повторяла соответствующую формулу предыдущего письма. В нем содержался намек на Лондон («с давних времен») и воспроизводился тот же образ: «волну» заменял «поток».

В отклике на книгу «Измерения исторического сознания» («Dimensions de la conscience historique») не было никаких

признаков возможного раздражения. Напротив. «Ваша философия истории, особенно когда Вы ее прилагаете к тому, что современно, несет свет в бездну, а лишь такой бездной является, не правда ли, жизнь народов». Письмо это было отправлено 4 апреля 1961 года, на нем не отразились мои статьи в «Прёв»; в некоторых из них, уже опубликованных, критиковалась, по меньшей мере преждевременно, алжирская политика Генерала.

Предпоследнее из полученных мною от него писем, как всегда вежливое, было ответом на «Великий Спор», в нем сквозила ирония, которая на этот раз граничила с высокомерием: «Я прочитал „Великий Спор“ так, как часто читаю то, что Вы пишете в одном или другом месте, на одну и ту же тему. Мне кажется, что если Вы беспрестанно и с такой живостью к ней возвращаетесь, то, может быть, по той причине, что избранное Вами решение полностью Вас самого не удовлетворяет. По существу, все — „Европа“, „Атлантическое сообщество“, „НАТО“, „вооружение“ и т. д. — сводится к одному-единственному вопросу: должна ли Франция быть Францией, да или нет? Этот вопрос уже стоял во времена Сопротивления. Вам известно, как мною был сделан выбор, а я знаю, что у теологов нет передышки». (В последнем из писем, отклике на «Эссе о свободах», он назвал меня «дорогим мэтром».)

Письмо, написанное в декабре 1963 года и посвященное «Великому Спору», мне кажется намного более голлистским, чем все остальные его письма в мой адрес. Не только потому, что в нем опущены, в первый раз, все комплименты, но потому, что автор прямо поставил вопрос — вопрос о стратегических силах сдерживания. Как было вновь показано в предыдущей главе, со ссылками на документы, я никогда не выступал против французских усилий в области ядерного вооружения. Но в глазах Генерала непростительной ошибкой с моей стороны было стремление не отделять оборону с помощью национальных ядерных сил от европейской или атлантической обороны. Генерал, в уме которого государство сливалось с обороной нации, заранее применял свою философию к ядерному оружию, которое в меньшей степени, чем все другие виды оружия, может быть поставлено под командование коалиции. Альфред Фабр-Люс на страницах «Монд» (1 сентября 1966 года) упрекал меня в том, что я смиряюсь со свершившимися фактами. В своей статье он приходил к следующему заключению: «А пока ударные силы, на создание которых ни Парламент, ни народ путем голосования никогда не давали четко выраженного согласия, остаются и должны остаться предметом национальной борьбы мнений; не будем ссылаться в этой борьбе на какое-то предписание,

вытекающее из неоконченной дискуссии».

С Жоржем Помпиду мне ни разу не удалось установить интеллектуальные отношения, подобные тем, которые, несмотря ни на что, я сохранял с Генералом. Конечно, в 1955 году, всего через несколько лет после наших бесед на улице Сольферино, я послал Ж. Помпиду «Опиум интеллектуалов», и он поблагодарил меня в теплом письме, найти которое не удалось. На посылку других книг он отвечал письмами с благодарностями и с обещаниями эти книги внимательно прочесть. Я написал ему личное письмо относительно статьи, посвященной встрече на Азорских островах и соглашению, заключенному между французским и американским президентами. Я допустил фактическую ошибку и извинился за нее перед ним. Он прислал мне сердечный ответ.

Что касается моих отношений с властью, то они претерпели некоторые изменения вследствие замены генерала де Голля Жоржем Помпиду. Для людей в мире политики и прессы не являлся секретом мой «антиголлизм», и они приписывали Генералу особую враждебность ко мне — не без преувеличения. Руководители телевидения не решались передавать беседы со мной, даже по поводу моих книг. Эта боязнь проявилась лишь в последние два-три года его царствования. В начале 60-х годов П. Дегроп не раз приглашал меня участвовать в передаче «Чтение для всех»; при Четвертой республике я смог в связи с выходом из печати «Надежды и страха века» развить свои идеи о деколонизации. Еще один эпизод: профессор де Вернежуль пригласил меня произнести вступительную речь на съезде, посвященном социальной ответственности врача. Я ответил согласием, но дал понять, что генерал де Голль не согласился бы встретить меня на трибуне. Спустя несколько недель де Вернежуль попросил встречи со мной. Увидев его крайнее замешательство, я не дал ему возможности изложить суть дела и сразу же сказал: «Генерал не явится, если я буду выступать с речью. Не извиняйтесь: я не удивлен; само собой разумеется, что его присутствие значит больше, чем мое». Вместо меня выступил Жан Гиттон. Ирония Истории: попав в плен, он принял сторону Маршала. Когда Гиттон пришел в Сорбонну, студенты в течение нескольких недель не давали ему возможности говорить. Я был среди тех, кто безоговорочно защищал его и, более того, — защищал свободу и терпимость.

Я считался «неприкасаемым» в такой степени, что один министр, оказавшийся в июле 1940 года вместе со мной в танковой роте, отказался участвовать в обеде, который захотел

устроить наш общий друг. Десять лет спустя, при царствовании Жискара д'Эстена, этот министр обрел память и любезно побеседовал со мною. Не забуду и другую сцену, по меньшей мере тягостную. Меня пригласили прочесть лекцию на торжественном заседании, посвященном выпуску инженеров-специалистов по военной технике (в 1968 году). На заседании присутствовал г-н Месмер, министр национальной обороны. Был там и г-н Бланкар, уполномоченный по вопросам вооружения. Никто не решился меня представить. Я видел два решения — вызвать скандал, уйдя, или же подняться на трибуну и произнести речь, как если бы ничего не случилось, — и после нескольких нескончаемых минут колебания разумно выбрал второе решение. Через несколько дней я получил письмо с извинениями от г-на Бланкара, которого предупредил Жан-Клод Казанова.

Именно во время кампании по выборам президента в 1969 году я впервые стал участником избирательной борьбы. При Четвертой республике я держался в стороне от межпартийного соперничества и от правительственных кризисов. После 1947 года компартия уже не составляла часть политического или парламентского сообщества. (П. Мендес-Франс в 1954 году заранее заявил, что не будет принимать в расчет голоса коммунистов при определении величины своего абсолютного большинства.) Начиная с 1958 года генерал де Голль стал осуществлять верховную власть при поддержке бесспорного большинства нации. В первый раз после отставки Генерала французам надлежало сделать значимый выбор: с одной стороны — Ален Поэр, председатель Сената, человек симпатичный, умеренный, сердечный, но не обладающий масштабом президента, с другой — Жорж Помпиду, возглавлявший правительство с 1962 по 1968 год. Я без колебаний поддержал последнего, мне представлялось, что обесценение президентской функции сразу же после смерти Генерала не отвечало национальному интересу.

В начале кампании газета «Фигаро» не выходила из-за забастовки, объявленной редакторами. Я получил от Ж. Помпиду письмо, помеченное 25 мая 1969 года: «Узнал, что в „Фигаро“ за вторник Вы намерены высказаться в пользу моей кандидатуры. Мне дорога Ваша поддержка, она также меня трогает и обязывает. Я сделал все возможное, чтобы воздействовать на Жана Пруво, но безуспешно. Наступает возраст, когда человек становится упрямцем. Во всяком случае, я рад тому, что Ваша газета вновь выходит в свет, ибо необходимо дать почувствовать парижанам, до какой степени нам угрожает мини-Франция, о которой говорит, как кажется, „Нью-Йорк геральд“. Следует продвигаться

вперед, но не падать вновь, Вы это хорошо понимаете. Спасибо за Ваше содействие. Оно придает смысл тому, что я говорю и что те и другие искажают в различном духе. Заверяю Вас в моей верной дружбе».

Я поддерживал с ним внешне сердечные отношения во времена РПФ. Один раз он пригласил меня на коктейль к себе в дом, кажется, на улице Карла Великого. Во время пребывания Ж. Помпиду в Матиньонском дворце у меня, вероятно, были поводы критиковать то или иное из его решений. Однажды я принял на свой счет пассаж в одной из его речей, направленный против сторонников уж не знаю какой атлантической идеи и обвинявший их в соглашательстве с Вашингтоном. Я ответил в полемическом стиле, намекнув на его былую связь с Банком Ротшильда. Письмо Ж. Помпиду и моя позиция в его пользу могли бы восстановить между президентом Республики и мною доверительные отношения. Фактически же я потерял в правящих кругах репутацию противника власти, не приобретя при этом расположения голлистов и помпидуистов — расположения, которого я не стал искать.

Именно в 1973 году я впервые, по существу, вмешался в борьбу между правыми и левыми, между большинством, вышедшим из голлистской партии и несколько расширившимся за счет центристов, и коалицией соцпартии и компартии. В 1965 году Франсуа Миттеран выдвинул свою кандидатуру на пост президента Республики и с помощью кандидатуры Ж. Леканюэ лишил Генерала возможности быть избранным в первом туре голосования. Результат второго тура не оставлял сомнений. У меня не было никакого резона вступать в борьбу, тем более что в те времена старая социалистическая партия, партия СФИО Ги Молле, умирала. На президентских выборах 1969 года доля голосов, отданных за ее кандидата, Гастона Деффера, упала до 5 %.

В 1971 году в Эпине родилась новая социалистическая партия, первым секретарем которой был избран Ф. Миттеран. Старое руководство — Ги Молле, Ален Савари — оказалось в меньшинстве в результате перехода СЕРЕС'а (CERES) [275] на сторону Франсуа Миттерана (Гастон Деффер и Пьер Моруа также поддержали его), который привел с собой лишь дискуссионные клубы, «республиканские конвенты».

Парламентские выборы 1973 года состоялись незадолго до арабо-израильской войны (войны Судного дня) и первого нефтяного шока. Но волнения в Соединенных Штатах (Уотергейт) и в Юго-Восточной Азии потрясли Имперскую Республику и нарушили мировое равновесие. Победа коалиции социалисты —

коммунисты создавала для нашей страны риск превращения ее во второстепенное государство накануне бури. Я подготовил, несколько случайно, по предложению, кажется, Алена Верне и Жана Грио, обвинительный акт против Совместной программы; [276] продолжил эту деятельность в 1974 и в 1978 годах — битва была проиграна в 1981 году [277] в странных условиях, потому что исчезла мобилизованность людей и умов, столь поразительная в 1974 и в 1978 годах.

В 1973 году общественность была взволнована первой из трех подготовленных мною статей, которая нашла отклик в электоральной кампании. «Экспресс» полностью перепечатал эту статью, имевшую заголовок «Квадратный круг» («Le cercle carré»). Я попытался вскрыть противоречие между целями, поставленными в Совместной программе левых, и предполагаемыми методами их осуществления. В статье назывались главные реформы, объявленные соцпартией, национализация кредитных и страховых учреждений и угроза такого же рода, нависающая над предприятиями, которые еще находятся в частной собственности. «Прогрессивность национализаций будет связана с экономическим развитием и с требованиями масс, причем определяющим будет то, что эти массы возьмут на себя самую большую ответственность. Когда работники предприятия выразят такую волю и когда структура предприятия им позволит такую возможность, вмешательство работников в управление и руководство предприятием приобретет новые формы». Кроме того, я выявлял непоследовательность Программы: сократить продолжительность рабочего дня, значительно увеличить объем перераспределяемых социальных расходов, делать ставку на ускорение темпов роста, который тогда достигал 5 или 6 %, — и все это в рамках централизованного планирования, силами инвестиционного банка, который заменил бы существующие механизмы. И я заключал следующими строками: «Придется выбирать между государственным финансированием капиталовложений и рынком капиталов, между планом и конкуренцией, между ростом в условиях открытой миру экономики и инфляцией в экономике, вынужденной от этого мира отгородиться. Первый раз в этом веке французская экономика имеет тенденцию приблизиться к своим самым продвинутым соперникам. И именно этот момент социалисты дедовских времен, бесстрашные и шизофреничные, выбирают для того, чтобы предпринять попытку, которая повсюду провалилась».

Если первая статья — «Квадратный круг» — стала предметом обсуждения, то вторая — «Большинство под вопросом: карта,

которая бита» («La majorité en question: la carte forcée») — в той же мере была обойдена вниманием и, во всяком случае, забыта. Я напомнил сначала о результатах развития французской экономики, в количественном отношении великолепных; за период с 1960 по 1970 год ежегодный прирост (в постоянных ценах) валового национального продукта во Франции в среднем составлял 5,8 %; в Федеративной Республике Германии — 4,8; в Соединенном Королевстве — 2,8. Этот рост в расчете на душу населения за тот же период во Франции равнялся 4,7 %; в ФРГ — 3,7; в Великобритании — 2,2. В 1971 и в 1972 годах продвижение Франции еще более ускорилось. Вместе с тем я констатировал беспокойство общественности, тревогу большинства накануне выборов.

Я напоминал о неудовлетворенности, которую выявили события 1968 года, перечислял допущенные ошибки, подчеркивал, что успех имеет свои границы и, наконец, переходил к основному: «Голлистская партия иногда портит в глазах общественности весьма уважаемое дело высокомерным стилем, граничащим с авторитарностью. <…> Странная демократия, в которой во имя правила мажоритарности депутаты заранее гордятся не тем, что будут контролировать власть, а тем, что „поддержат“ президента Республики. Начиная с 1968 года парадокс приобретает размеры поистине „огромные“. Г-н Эдгар Фор навязывает университетам парламентский режим, тогда как Национальное собрание вырождается в театр теней».

Я показывал затем — дело было в 1973 году, — в какой степени будущее голлистской партии и режима остается неопределенным: «В книге, опубликованной представителями большинства под названием „Рентгенография оппозиций“ („Radiographie des oppositions“), много говорится о духе институтов Пятой республики, о принципе большинства. На запоздалых учеников Монтескьё, приверженцев посредствующих институтов, нападают, как водится; но пусть занимающиеся этим господа соблаговолят хотя бы мгновение поразмыслить. Промежуточные органы управления в наших индустриальных обществах не исчезли. <…> Коммунистическая партия столь же сильна сегодня, как и вчера; она даже стала мощнее благодаря дипломатии генерала де Голля и Жоржа Помпиду. <…> Уже в течение десятилетия коммунисты считают „реалистичной“ дипломатию Пятой республики, что на их жаргоне означает, что эта деятельность проводится в правильном направлении. Голлистов и коммунистов объективно объединяет общая враждебность по отношению к третьей силе, к партиям, взявшим на себя двадцать лет назад ответственность за создание

Атлантического союза и за европейское строительство. <…> Находясь очень далеко от своей цели — устранить эти посредствующие институты, большинство намеревалось отбросить их во „тьму внешнюю“ Четвертой республики, и оно фактически вновь включило коммунистическую партию в национальное сообщество, как если бы эта партия походила на все другие. Большинству удалось даже создать условия, в которых стало возможным нечто похожее на чудо: воскрешение социалистической партии, которая, судя по опросам, должна получить больше голосов и мест в парламенте, чем коммунистическая партия». Эти строки, повторяю, написаны в феврале 1973 года.

Далее рассматривалась технология «битой карты». Сразу же после избрания президента Республики кандидаты в депутаты от президентского большинства объясняют избирателям, что повлечет за собой их выбор: или парламентское большинство в согласии с президентом, или же конституционный кризис. Наконец, я остановился на роли, которую играет президент Республики. «<…> В долгосрочном плане я считаю нынешнюю систему обреченной. Если по каждому поводу говорить французам: „Мы или хаос“, то можно в конце концов получить ответ: „Давайте-ка посмотрим, на что похож этот хаос“. Ни один человек, если исключить исторические обстоятельства, не обладает масштабом, необходимым для выполнения в течение семи лет функций, которые принадлежат сегодня президенту Французской Республики, тем более что этот человек даже не считает нужным иметь в своем распоряжении главный штаб, сравнимый с тем, который составляет для себя президент Соединенных Штатов. <…> Со своей программой последние (социалисты) способны завтра или послезавтра победить на выборах, но вместе с этой победой Франция потеряет шансы, наличие которых у нее признают все иностранные наблюдатели, от Москвы до Вашингтона». Событие, которое, как я считал, в один прекрасный день непременно случится, произошло в мае 1981 года. Спустя два года после прихода социалистической партии к власти уже наполовину видны последствия этого события; я их предвидел.

Все мы знали, что Жорж Помпиду не доживет до истечения срока своего мандата, что Шабан-Дельмас выставит свою кандидатуру. Французская пресса проявила примерную сдержанность в вопросе о здоровье президента; совершенно иначе повела себя американская пресса, которая также следовала своим обычаям и своей концепции долга. Одутловатость лица

президента свидетельствовала о том, какое лекарство он употребляет (кортизон), и позволяла угадать род болезни, обрекавшей его на смерть. Вспоминается безжалостная страница «Ньюсуик» («Newsweek»): помещенные рядом друг с другом фотографии лица президента, сделанные с интервалом в несколько лет; диагноз (миеломная болезнь); прогноз продолжительности жизни (самое большее — полтора года). Этот материал появился во время встречи Никсона и Помпиду в Рейкьявике. Впервые иностранных журналистов поразило ухудшившееся физическое состояние президента.

Жан д'Ормессон стал руководить газетой незадолго до смерти Ж. Помпиду, он не смог избежать давления со стороны различных «баронств» 278. Он согласился с моим мнением, что следует сохранять относительный нейтралитет вплоть до первого тура голосования за Ж. Шабан-Дельмаса и В. Жискара д'Эстена, представил электоральное соперничество между этими двумя представителями большинства как аналог первичных выборов в Соединенных Штатах. Первоначально Жан д'Ормессон склонялся к тому, чтобы убедить Жискара д'Эсгена не раскалывать большинство, поскольку Шабан первым выдвинул свою кандидатуру, к тому же проявил спешку, которая несколько шокировала политические круги и в еще большей мере — общественность. В течение первых недель кампании в «Фигаро» каждый день появлялась одна статья в пользу большинства и одна — в пользу Ф. Миттерана. Какая-то часть редакции симпатизировала Миттерану и желала движения газеты по направлению к левому центру. Из числа статей, подготовленных социалистами, на ее страницах не появилась лишь одна, написанная, кажется, Пьером Жоксом, она была, по оценке Жана д'Ормессона, оскорбительной для меня (сам я эту статью никогда не читал). Мне удалось убедить Жана в том, что «Фигаро» в последнюю неделю кампании следует перестать представлять себя в качестве свободной трибуны и что мы должны безоговорочно выступить в поддержку Валери Жискара д'Эстена.

В свое время в течение двух месяцев я дружески сотрудничал с Шабан-Дельмасом в Министерстве информации, где он был генеральным секретарем, а я — директором кабинета Андре Мальро. После этих уже далеких лет мы иногда встречались. В одной из предыдущих глав я упоминал о живой дискуссии относительно алжирской независимости на обеде у Блестейна-Бланше. Во время этих встреч мы обычно возвращались к сердечному тону нашей молодой поры. Я не верил в его шансы одержать верх на первичных выборах над Жискаром д'Эстеном. В одной из моих статей приводились выявленные в ходе опросов

намерения избирателей и подчеркивалось отличие стиля, избранного Франсуа Миттераном для борьбы с Шабан-Дельмасом, от стиля его борьбы с Жискаром д'Эстеном: «Против первого он фехтовал рапирой; против министра финансов стал размахивать абордажной саблей. Желает ли он пощадить своего бывшего коллегу по правительству Мендес-Франса? Стремится ли покончить с личностью, которая навязывает себя всем французам?» Тогда, 30 апреля 1974 года, я добавил фразу, которую с еще большим основанием можно повторить через семь лет: «То, что человек, с 1969 года ведающий финансами, все еще сохраняет шанс быть избранным в качестве президента, — вот, что бы там ни говорили, редкостное достижение».

Борьба людей и партий вовлекла меня в свой водоворот в 1974 году сильнее, чем в 1969-м. Конечно, наперекор всему я продолжал придерживаться стиля скорее аналитического, чем атакующего. Я не подвергал личным нападкам ни Шабан-Дельмаса, ни Франсуа Миттерана. На мой взгляд, даже не будь Жак Ширак «предателем», Шабану не удалось бы выиграть соревнование в первом туре. Я воздержался от упоминания главной слабости Шабана, а именно — его старании навязать себя, «попасть» на телеэкран. Я ограничился игрой «актеров», стратегиями, речами. «Шабан-Дельмас — единственный, кто представляет себя в качестве голлиста, но он никогда не был министром во времена пребывания генерала де Голля в Елисейском дворце. <…> Для того чтобы обеспечить поддержку со стороны Союза демократов за республику (ЮДР), он поспешил выдвинуть свою кандидатуру. Наиболее приверженная Помпиду фракция ЮДР отказалась четко высказаться в его пользу. В бытность свою премьер-министром этот человек проводил меры либерального толка, в особенности по отношению к ОРТФ (ORTF) [279], а ныне он оказался отброшенным к историческим голлистам, к ядру, состоящему из баронов, каждый из которых отнюдь не желает рисковать, сражаясь на его стороне. Премьер-министр (г-н Пьер Месмер), который оправдал свое присоединение необходимостью блюсти партийную дисциплину, как кажется, более озабочен сохранением шансов на примирение большинства во втором туре против Миттерана, чем оказанием влияния на народный выбор между двумя личностями, электоральные клиентелы которых в значительной степени совпадают <…>» (2 мая 1974 года)

В статье, опубликованной накануне первого тура и посвященной дуэли между Шабаном и Жискаром, я не стал повторять аргументы, которые сталкивались друг с другом в полемике. Кто из них покажет себя наиболее способным? Всякое

сравнение могло бы быть расценено как оскорбительное для одного из них. Как узнать, который из них будет успешнее действовать в Елисейском дворце? «Тот, кто блистает во втором ряду, меркнет в первом ряду». Я не стал также оценивать шансы, соответственно, одного или другого во втором туре. Спор, который тогда казался мне важным, сегодня, в свете дальнейших событий, представляется малозначительным: кто из двух лиц положит конец постановке под вопрос каждые пять или семь лет режима во Франции? «Сторонники одного уверяют нас в том, что лозунг нового общества, социальные идеи народного голлизма позволят избежать столкновения, а приход в Елисейский дворец крупного капиталиста, выпускника Политехнической школы, Высшей нормальной школы не примирит народные массы с их президентом. Сторонники другого отвечают: избирательная кампания показала, что министр, обнаруживающий серьезность, ум, находит контакт с тысячами и тысячами избирателей, которые не принадлежат к его кругу, но, однако, узнают себя в нем». В итоге я выбрал формулу «новое большинство», первая перегруппировка, за которой пойдут другие. Другие перегруппировки не последовали, и я сомневаюсь, что Шабан-Дельмасу удалось бы действовать успешнее.

В пяти статьях, опубликованных мною между двумя турами (7, 9, 10, 15, 17 мая), резюмировались аргументы, которые сторонники Валери Жискара д'Эстена могли использовать, не прибегая к нападкам на личности, не опускаясь до уровня споров на митинге. Приведу строки из первой статьи, которые в какой-то степени объясняют неудачу Миттерана в 1974 году и его успех в 1981-м: «Если Миттеран не окажется избранным во втором туре, то главной причиной этого будет страх, внушаемый не избирателями-коммунистами, не участием в правительстве нескольких коммунистов, а органическим союзом с коммунистической партией, на который пошел Ф. Миттеран на основе Совместной программы. Этим союзом он сам себя замкнул в рамках альтернативы: или он предаст своих коммунистических союзников, или же предаст обещания, которые расточает перед французами в своих речах в последние три недели, — быть президентом, защищающим социальный мир». Во второй статье, озаглавленной «Странный союз», подчеркивалось отличие избирательной кампании Ф. Миттерана от кампании коммунистической партии. «Коммунисты не раз входили в правительства. Но по-настоящему совместная программа была лишь один раз и лишь в одной стране: в 1945 году в Чехословакии».

Конечно, я прибег к дешевому аргументу, предполагалось

наличие опасности, едва ли существовавшей. На Западе совместная программа не содержала в себе риска, подобного тому, который создавала в стране, хотя и не оккупированной советскими войсками, но включенной начиная с 1945 года в зону советского влияния. Оставалось верным то, что Совместная программа, подписанная двумя партиями, нависала над президентом Миттераном и социалистической партией как постоянная угроза: или Ф. Миттеран уступит требованиям своего партнера, или же ему придется разорвать союз, который привел его к власти[221].

Я вновь приводил мысль, которую доказывал в предыдущем году, а именно: Совместная программа в зародыше содержит в себе не изменение политики, а изменение режима, я предупредил «проницательных», не веривших в искренность обязательств, взятых на себя Франсуа Миттераном: «Те, кто в прессе или в салонах представляют голосование 19 мая как нечто, имеющее отношение к альтернативе между правым центром и левым центром, скрывают от самих себя или от других истину. Дело идет о коренном выборе. Возможно, что г-н Миттеран, придя к власти, не совершит необратимую мутацию, которую предполагает Совместная программа и которой требуют его союзники. Но надо быть левым радикалом, чтобы до такой степени увериться в том, что г-н Миттеран предаст своих союзников раньше, чем те предадут его».

После сравнения, которое и по сей день я считаю объективным, справедливым, Жискару д'Эстену приписывали следующие задачи: «вести Францию через трудные годы, сохраняя международное сообщество, обеспечившее прогресс в последние четверть века, положить конец сосредоточению власти исключительно в руках одной группы большинства, изменить в политике правила или практику, которые вынуждают через каждые семь лет ставить будущее Франции на кон, как ставят на кон жизнь в русской рулетке». Из этих трех задач он выполнил первую, но отнюдь не вторую и не третью. Голлистское государство исчезло, но передало государству Жискара некоторые свои пороки, а будущее Франции лишний раз было разыграно по правилам русской рулетки.

Я неоднократно встречался с Валери Жискаром д'Эстеном до выборов 1974 года, но постоянных отношений у меня с ним не было. Немало журналистов, я в этом уверен, знают его лучше, чем я, или, во всяком случае, беседовали с ним чаще, чем я, в том обычном стиле, в каком люди прессы общаются с политиками.

У меня сохранились воспоминания о некоторых наших встречах, например, о дискуссии на радио относительно одной из

моих книг, думаю, «Великого Раскола»; дискуссия эта, стало быть, проходила в 1948 или в 1949 году. Жискар держал книгу в руках, ее страницы были наспех и не до конца тома разрезаны[222]. В конце 40-х или в начале 50-х годов он один или два раза приходил на экономические дебаты в «Фигаро»; там обсуждался какой-то план стабилизации, борьбы с инфляцией. Тогда он выступал скорее в пользу точечных мер, чем мер глобального плана (контроль кредитной деятельности или сокращение бюджетного дефицита).

Спустя несколько лет, в 1955 году, я проходил мимо его кабинета, направляясь к Эдгару Фору, председателю Совета министров; в тот момент в разгаре был марокканский кризис. К моему удивлению, он стал рассуждать не столько о националистическом движении, сколько о недостаточной обеспеченности протектората французскими администраторами. Когда он стал помощником государственного секретаря, а затем министром финансов, у меня не раз была возможность видеть и слушать его, поскольку в то время я входил в состав Комиссии по национальным счетам. За несколько дней до одного из заседаний Комиссии я подверг критике его политику, совокупность точечных мер. Он отреагировал на мою статью с такой резкостью (я ответил на его атаку, насколько это было в моих силах), что, как уверял меня несколько лет спустя Мишель Рокар, являвшийся в описываемое время секретарем Комиссии, ему с великим трудом удалось подвести итог диалога, сгладить или стереть его шероховатости.

Наконец, еще одно воспоминание — о диалоге на радио «Европа-1» в 1968 году, посвященном происходившим событиям или книге «Бесподобная революция». Он жил еще своим переходом через пустыню. Оба мы с сожалением констатировали хрупкость французских институтов, которые закачались, были поколеблены, почти разрушены не настоящей бурей, а сильным ветром. Мой собеседник подчеркивал всевластие Генерала или, лучше сказать, то, что Генерал выходит из кризиса таким хозяином положения, каким он никогда ранее не был.

Отношения между В. Жискаром д'Эстеном и мною приобрели в некоторой степени личный характер именно в 1973 году, в момент парламентских выборов. Он позвонил мне по телефону, похвалил меня за мою статью о Совместной программе — «Квадратный круг»; потом извинился передо мной за то, что в вечерних (теле)дебатах с Франсуа Миттераном прибегнул к ряду моих аргументов; я не мог поступить иначе, сказал он мне, ибо вы развили все аргументы или лучшие из них. Я его приятно удивил в тот день, заверив, что поддержу его на будущих президентских

выборах, намеченных на 1976 год. По окончании семилетнего срока, фактически после смерти Жоржа Помпиду, он станет лучшим кандидатом большинства. Семь лет спустя, несмотря на победу Миттерана в 1981 году, я не изменил своего мнения.

В 1974 году он пригласил меня присутствовать в самой студии на заключительных теледебатах двух кандидатов накануне второго тура. Руководитель его предвыборной кампании несколько раз повторил мне, с видимой искренностью, сколь полезными для него оказались статьи «Фигаро». При всем этом я не стал ни советником, ни одним из ближайших лиц президента. И ничего с этой целью не предпринял.

Несколько недель спустя после своего избрания президент организовал рабочий обед по проблемам ядерной стратегии. Участвовали в этом обеде три автора книг по названным проблемам — генерал П. Галлуа, генерал А. Бофр и я, два журналиста — специалисты по военным делам — Ж. Инар из «Монд» и Ж.-П. Митуа из «Фигаро», генерал Мери, в то время начальник военного кабинета президента, а позднее начальник главного штаба трех родов войск, и два других генерала, фамилии которых не помню. Президент сразу же заявил, что желает не говорить, а слушать, что до настоящего времени совсем не изучал проблемы обороны и теперь намеревается это сделать. Эти слова меня несколько удивили; в качестве министра экономики и финансов ему следовало участвовать в заседаниях Совета по обороне, на которых обязательно должны были подниматься, обсуждаться, если не тщательно анализироваться, определенные аспекты оборонительной доктрины.

Во время обеда чаще всего брали слово генералы-писатели — П. Галлуа и А. Бофр. П. Галлуа приехал первым, ожидал в салоне; мое появление взволновало его, ибо мы с ним не раз уже вступали в полемику; нервозность генерала побудила его пойти еще дальше в своих тезисах, чем обычно, — что позволило тем, кто его знал, представить себе, до каких крайностей он довел свою концепцию уравнительной мощи атома и превращения в святилище национальной территории. Я не предпринял ничего, чтобы его умерить, — наоборот. К концу разговора у меня сложилось впечатление, что президент конечно же не сделает генерала Галлуа своим советником — он реагировал со спонтанным скептицизмом на рассуждения доктринера безопасности, достигаемой благодаря исключительной и постоянной угрозе, доктринера всеобщей катастрофы, массовых репрессалий. В какой-то определенный момент президент с видимой иронией попросил нас троих высказаться по вопросу значимости тактического ядерного оружия. Она нулевая, ответил

генерал Галлуа; вы сейчас скажете, что она существенна, вновь с улыбкой заговорил президент, обращаясь к генералу Бофру. Мне оставалось одно — занять среднюю позицию. Президент объявил, что соберет нас снова, но таких встреч больше не было. К концу обеда он произнес фразу, которая запечатлелась в моей памяти: я никогда не смогу себе представить, сказал он, при каких условиях должен буду нажать пусковую кнопку. Ж. Инар и Ж.-П. Митуа вышли из Елисейского дворца, пораженные — и тот, и другой — отсутствием чувства меры в рассуждениях генерала Галлуа.

В связи с совершенно другим случаем состоялась моя часовая беседа с президентом, где-то в конце 1974 года или в начале 1975-го. В столице ходили слухи о личной жизни Валери Жискара д'Эстена; на парижских обедах с удовольствием судачили о столкновении его автомашины с тележкой молочника в пять часов утра. В одной своей статье «Монд» заговорила об этой кампании если не клеветы, то дискредитации. Как-то раз сотрудник «Фигаро» Ив Кюо рассказал мне, что на одном обеде с журналистами президент обвинил израильтян (или евреев, точно сказать не могу) в проведении этой кампании, направленной против него. Я немедленно взялся за перо и написал ему короткое письмо: я упрекал его в том, что он обвиняет израильтян или евреев в заговоре против него. «Это исходящее от Вас обвинение, — писал я в письме, — способно вызвать последствия, о которых Вы сами первый будете сожалеть». Письмо это было передано ему через технического секретаря, сотрудницу службы печати Елисейского дворца, которая была невестой брата одного из моих друзей.

Президент немедленно связался со мной по телефону и пригласил меня побеседовать по этому вопросу. Я подчеркнул тяжесть его обвинений; он мне ответил, что его заявления основывались на фактах, а не на гипотезах или умозрительных суждениях. Факты, в том виде, в каком я смог их воспроизвести, сводились к телефонному звонку одного израильского журналиста в редакцию еженедельника «Канар аншене» («Canord enchaoné»). Посол Израиля заверил меня, что его службы не желали поддерживать каких-либо отношений с этим подозрительным журналистом, имевшим израильское гражданство. Президент стал затем расспрашивать меня о французских евреях, их численности, их чувствах к Израилю. Он только что познакомился со знаменитой Декларацией Бальфура о «еврейском очаге», одним из актов, создавших Государство Израиль [280]. На его взгляд, положение непременно ухудшится за счет еврейского государства; иерусалимские руководители совершили ошибку, не согласившись со сделанным им

предложением о создании палестинской единицы в Трансиордании. Когда-нибудь у них будет оспорена даже территория в пределах границ 1967 года.

Что меня более всего поразило в этом дружеском по тону разговоре, так это полное отсутствие у Жискара д'Эстена про- или антиеврейских, про- или антиизраильских чувств. По всей видимости, он был далек от страстей, которые раздирали Францию во времена дела Дрейфуса, в военные и послевоенные годы; ему лишь недавно стали известны истоки Государства Израиль. Ему недоставало, можно так сказать, одного чувства: чувства, которое позволило бы ему с симпатией относиться к чувствительности французских евреев, даже если он не одобрял действий Израиля. В последние годы его семилетнего мандата генеральным секретарем президентской канцелярии был еврей, отец которого погиб в нацистских лагерях. Если бы Жискар д'Эстен посоветовался с ним накануне своего визита на Ближний Восток или сразу же после покушения на улице Коперника 281, то не совершил бы жестов, оттолкнувших от него часть еврейской общины. В конце этой беседы он коснулся ядерной стратегии; я еще не овладел полностью этим вопросом, сказал мне Жискар д'Эстен у двери своего кабинета, нам еще следует об этом подискутировать. Дискуссия так и не состоялась. Меня не раз приглашали на официальные обеды и ужины, в честь канцлера Шмидта или президента Сенгора. Приема я у него просил только в связи с «Фигаро», сам он ни разу меня не приглашал. Зато иногда звонил мне по телефону.

Что до остального, то сразу же после выборов я совершенно свободно прокомментировал решения президента. До какой степени его победа была недолгой, неопределенной вплоть до самого последнего момента! «То, что министр финансов у Жоржа Помпиду, занимавший свой пост с 1969 года, смог в итоге победить в фазе ускоренной инфляции, не предложив ничего другого кроме коллекции обещаний и продления собственного управления через посредничество своих сотрудников, — вот что мне кажется само по себе поразительным, восхитительным. Талант кандидата, мудрость французского народа или тайные слабости противника? Пусть каждый сделает выбор из этих толкований». Через несколько строк следовало предостережение в адрес президента — не рисковать, извлекая уроки из своего избрания. «Со своей стороны, Жискару д'Эстену следовало бы задать себе вопрос, достаточно ли будет для объединения всех французов и правления ими языка и манер, позволивших ему прийти в Елисейский дворец, соединения блестящего ума и бессодержательных общих рассуждений» (22 мая 1974 года).

Советы проглядывали между строк. Приход в Елисейский дворец человека, к которому преобладающая часть партии большинства питала особую неприязнь, должен был изменить практику деятельности институтов. «Не стоит более вопрос об отправлении власти одним лицом, пришел конец временам, когда советники Жоржа Помпиду заставляли дрожать министров, похваляясь тем, что „прогнали“ премьер-министра» (22 мая 1974 года). Я высказался за создание прочной правительственной команды, содержание деятельности которой и даже само ее существование не будут зависеть от президентского выбора. «Чем меньше будет в этой команде сильных личностей, тем больше президент, во всякий момент находящийся в первой линии, будет подвергать себя ударам (а Богу известно, что ему их придется испытать немало). В этом смысле внезапный приход к власти команды, привязанной к президенту сильнее, чем к парламентскому большинству, означал бы возврат к псевдопрезиденциализму». Как известно, события показали, что выбор Жака Ширака (на пост премьера) оказался ошибочным; в тот момент я посчитал правительственную команду «слабой». «В ней едва ли найдется министр, собственный авторитет которого дополнял бы авторитет президента Республики». Чего я опасался после почти чудесной победы, так это раскола внутри большинства. «Глядя из столицы, мы видим, что партия Жискара связана с орлеанистской традицией, а голлистская партия — с бонапартистской традицией; одна из них — более либеральная, другая — более социальная». В течение семилетнего президентского срока я избегал, как мог, выступать на стороне какой-либо из этих двух фракций большинства. «Пока избирательная система останется такой, какой она является, — а ничто не предвещает, что она должна измениться, — ЮДР должна будет участвовать (во власти), не царствуя, а президент Республики — царствовать, не провоцируя эту партию» (19 июня 1974 года). В связи с борьбой за мэрию Парижа я дал почувствовать, что выбрал Ширака, а не Жискара; но об этом позже.

Настороженность, которую я сразу же проявил, касалась именно иностранной политики президента. Начиная с конца 1974 года, в статье под заголовком «Международная инвеститура г-на Жискара д’Эстена» («L’investiture internationale de M. Giscard d’Estaing»), я выразил некоторое беспокойство: «Теоретически по отношению к г-ну Брежневу у Вас есть долг признательности: разве он не поручил своему послу нанести Вам визит между двумя турами голосования? Но Вы, к несчастью, показали при различных обстоятельствах, что король Франции не забывает претензий герцога Орлеанского; я не сомневаюсь, что зато Вы не

забываете с легкостью ту помощь, которую, быть может, оказал Вам Ваш знаменитый посетитель. У первого магистрата Республики нет другого интереса, кроме интереса Республики». Я еще раз подчеркнул советские усилия в области вооружения — усилия, которые президент Соединенных Штатов признал лишь спустя несколько лет, особенно после вторжения в Афганистан. «Никогда Советский Союз не предпринимал такие большие усилия в области вооружения, ядерного и конвенционального, как в годы разрядки» (6 декабря 1974 года). Наконец, в связи с возможным подписанием Хельсинкских соглашений, я вновь обратился прямо к президенту: «Вам, господин президент, судить о том, может ли Запад гордиться тем, что он получил существенные уступки и обещания на будущее, или же он рискует обесчестить себя, делая вид, что добился того, что честь обязывала его требовать» (26 декабря 1974 года).

Гораздо более резкой по тону была моя статья «Добровольная финляндизация» («Finlandisation volontaire»), опубликованная шесть месяцев спустя (6 июня 1975 года). Я отметил две фразы, произнесенные президентом на пресс-конференции: «Ни одну проблему европейской обороны нельзя плодотворно рассмотреть при нынешних обстоятельствах»; он посчитал «объяснимыми опасения, которые вызывают у Советского Союза планы по организации европейской обороны». Я был согласен с первой мыслью: пока наши партнеры остаются в объединенном командовании НАТО, а Франция в этом командовании не участвует, обсуждение вопросов собственно европейской обороны сразу же наталкивается на непреодолимые препятствия. Зато опасение советской реакции на планы европейской обороны мне представлялось необоснованным и неприемлемым. «Каким образом президент республики, учитывая нынешнее соотношение сил, может серьезно заявлять, что Советский Союз усматривает, по меньшей мере в будущем, риск какой-то угрозы или какое-то европейское военное давление на него самого в планах по организации европейской обороны? <…> Пишу об этом с сожалением — ни генерал де Голль, ни Жорж Помпиду не признались бы, что боятся советских руководителей: эти последние уважают только тех, кто перед ними не отступает. Предоставляя Москве право контроля за организацией европейской обороны, президент делает первый шаг по пути, который несправедливо называют „финляндизацией“. Национальная независимость, если не сдерживание, должна утверждаться по всем направлениям».

Статья «Джунгли без чудовищ» («Une jungle sans monstres») (10 января 1975 года), в которой я стремился избежать полемики,

быть может, лучше всего выражала чувства, которые внушали мне личность и поведение Жискара д'Эстена, впервые попавшего в джунгли международной дипломатии. Он сделал словесные уступки Брежневу, на которые отказались пойти его предшественники. Он уже заявлял о своем согласии в самом ближайшем будущем завершить Хельсинкскую конференцию, включая собрание на высшем уровне, — Жорж Помпиду такого обещания никогда не давал. Он пошел также на некоторые уступки Гарольду Вильсону, чтобы способствовать его успеху на референдуме, намеченном в Великобритании. Его переговоры с американским президентом на Мартинике прошли в смягчившейся обстановке, без столкновений. «Куда ушли времена олимпийских пресс-конференций, на которых человек, отягченный возрастом и историей, рисовал в присутствии тысячи завороженных журналистов картину опустошенного или грозового мира — мира, где Франция, не входившая в блоки, оставляла себе скромное, но горделивое место одиночки: у нее не было тех инструментов силы, которыми обзавелись великие державы, но она отказывалась подчиняться кому бы то ни было, чтобы следовать только тем советам, что подает мудрость». Именно в этой статье я употребил выражение, которое Ф. Миттеран привел в одной из своих книг и которое подхватили почти везде, в более или менее искаженном виде: «Г-н Жискар д'Эстен <…>, в отличие от генерала де Голля, впитавшего в себя историческую культуру периода до 1914 года, как кажется, не осознает трагичности, свойственной межгосударственным отношениям. Когда г-н Андре Фонтен привел ему изречение полковника Хауса, советника г-на Вильсона: „дипломатия — это развлечение для утомленных монархов“, то он испытал явное удовольствие от такой, если можно сказать, дедраматизации дипломатии. <…> В. Жискар д'Эстен подходит к иностранным делам не как Макиавелли, а как экономист, даже как намеренно наивный человек. При Пятой республике он почти постоянно был министром финансов, а теперь рискнул совершить первые шаги в джунглях государств, не теряя своей обычной легкости, и не повстречал там безжалостных чудовищ. Пожелаем ему и себе самим, чтобы он никогда не имел там дурных встреч».

Первую дурную встречу президент имел, предприняв визит в Москву в октябре 1975 года. Заранее, в статье под заголовком «Пределы французско-советского сотрудничества» («Les limites de la coopération franco-coviétique»), я предвещал, ошибаясь, что переговоры пройдут без неприятностей или, по крайней мере, без крупных неприятностей. В это время во Франции разгорались споры относительно Испании и Португалии. Даже часть

умеренной прессы упрекала президента (я считал, что он прав) за то, что он не осудил достаточно громко казни заключенных по приказу генерала Франко в ответ на покушение, стоившее жизни адмиралу Карреро Бланко, объявленному преемником каудильо. В соответствии с дипломатической традицией, писал я, французский президент и советский секретарь номер один отделят диалог между государствами от конфликта идеологий. Относительно Португалии Франция и Советский Союз [282] находились в противоположных лагерях, но могло ли быть иначе, если Франция, в глазах советских представителей, совершенно очевидно входила в «империалистический» лагерь? Наша страна не участвовала ни в переговорах по ограничению стратегических ядерных вооружений, ни в переговорах по сокращению обычных вооруженных сил в Европе; что же, таким образом, оставалось для обсуждения «на двусторонней основе», прибегая к дипломатическому жаргону? Советские представители в свое время предложили Помпиду сделать еще один шаг в привилегированных французско-советских отношениях: подписать договор о дружбе. Помпиду вежливо отклонил это предложение, и я предвидел, что Жискар д'Эстен, несмотря на излияния чувств в Рамбуйе [283], повторит этот отказ. К тому же «привилегированные отношения» между Парижем и Москвой перестали существовать после того, как В. Брандт подписал нечто вроде мирных договоров с Советским Союзом.

Путешествие французского президента озадачило наблюдателей. На второй день было объявлено о болезни Л. Брежнева; беседы на высшем уровне прекратились; Жискар д'Эстен совершил намеченные поездки, но сопровождавшие его официальные лица по своему рангу не входили даже во второй эшелон номенклатуры. Было ясно, что советские руководители охладели к нему и выражали ему свое неудовольствие: я с точностью не понимал почему. Некоторое значение я придал речи, произнесенной Жискаром д'Эстеном по завершении ужина в первый день визита. Французский президент ратовал за разрядку в идеологическом соревновании; эту тему он неоднократно развивал во Франции, но в Москве он ее изложил в первый и в последний раз. Эта речь, беседы в первый день, последующие переговоры относительно заключительного коммюнике привели в раздражение советских представителей, и они хотели, чтобы это раздражение было увидено.

Мировая пресса прокомментировала отступления от дипломатических ритуалов — дипломатический грипп Л. Брежнева. Президент с упорством отвечал, что эти эпизоды — плод воображения журналистов или их зловредного ума. Ничего-

де не случилось. Лично я уже написал комментарий об этой «дурной встрече», когда вечером мне позвонил по телефону сам президент. Разговор продолжался около тридцати минут. Я не сделал никаких записей, в памяти осталось только общее представление об этом разговоре. Событие было придумано журналистами; Брежнев в самом деле заболел; мероприятия проходили в соответствии с программой визита. Не было оснований толковать незначительные инциденты, если даже предположить, что их не создали толкователи.

Президент меня не убедил, но поставил в затруднительное положение. Если на следующий день после этого разговора появится комментарий, опровергающий слова президента, я рискую тем, что связь между ним и мною окажется разорванной. У меня не было никаких иллюзий относительно влияния, которое могли иметь на него мои статьи. Я уже столь часто его критиковал, что никто не мог приписать мне какое-то раболепие по отношению к власти. Подготовленный текст был выброшен в мусорную корзину, написан другой, в котором я хитрил с истиной или, скорее, сопоставил почти взаимоисключающие утверждения.

Сначала — признаки кризиса: «изменение программы, сокращение времени, которое первые два лица должны были провести вместе, отмена ранее объявленной встречи министров иностранных дел — все эти инциденты, которые, впрочем, вряд ли могли привлечь внимание, вызывали законные вопросы. Говорят, что в Советском Союзе ничто не происходит случайно». Я напомнил также о публикации в «Правде» заявлений Французской коммунистической партии. Я уже сделал уступку, утверждая, вопреки очевидности, что решение, быть может, не было принято на самом высоком уровне. Точно так же я соглашался с доводом о нездоровье Л. Брежнева, которое, правда, «не было серьезным, поскольку через два дня он возобновил диалог с французским президентом». Несмотря на эти предосторожности, я подчеркнул, что в заключительном коммюнике были сделаны некоторые уступки советскому лексикону — относительно Ближнего Востока, конференции по разоружению, которую тогда предлагала провести Москва. Вслед за этими деталями, которые схватывают только профессионалы, шло основное: Советский Союз никогда не пойдет на разрядку в области идеологического соревнования: в его мировой концепции мирное сосуществование распространяется на государства, но отнюдь не на идеологии или режимы. Со своей стороны, Франция — Франция Жискара д'Эстена, как и Франция генерала де Голля или Жоржа Помпиду, — не может подчеркивать свою особую

позицию в Атлантическом альянсе до такой степени, что эта позиция становится несовместимой с другой частью французской дипломатии, а именно — с Европейским сообществом и с французскими усилиями по сближению, если не по объединению внешнеполитических курсов членов Сообщества.

Через несколько дней я вновь обратился к тому же вопросу о французско-советских отношениях, трактуя его совершенно свободно. Тот факт, что президента плохо приняли в Москве, мне представлялся бесспорным. Следует ли отсюда вывод, что данный случай является неудачей президента? Формула о «привилегированных отношениях» употребляется скорее во французском лексиконе, чем в лексиконе советском. Но, при всем при том, какие выгоды извлекает отсюда Франция? Самое большее — то, что во второстепенных делах советские руководители внешней торговли отдают предпочтение какому-либо французскому предложению. Если генерал де Голль и взял на себя инициативу завязать отношения с Москвой, то его примеру затем последовали, в различном стиле, команда Никсона — Киссинджера и команда В. Брандта. Советским представителям более нет нужды в добрых услугах французов, чтобы быть принятыми во всех салонах Запада. Более не существуют особенные французско-советские связи, поскольку все страны Запада стремятся завязать и поддерживать с Москвой подобные связи.

«Смягчение напряженности по всем направлениям, свойственное характеру президента Республики, только что привело к неприятному парадоксу: в то время как Франция в своей политике стремится к тесному сотрудничеству с Федеративной Республикой Германии, зарейнская пресса открыто поздравляет себя с тем, что Франция теряет свою позицию предпочтительного партнера Москвы, тогда как старые голлисты опасаются, что Федеративная Республика займет место, потерянное Францией».

Уже в начале его семилетнего мандата я упрекнул президента в незнании, по крайней мере видимом, природы людей, с которыми он должен вести переговоры. Зачем надо было возлагать цветы к могиле Ленина, пророка веры, распространение которой погубило бы на планете всех людей, подобных Жискару д'Эстену? «Движимый разумом, он проповедует примирение людям, представляющим политику и Историю только в терминах непримиримых конфликтов».

В период между 1969 и 1974 годами меня еще считали оппозиционером по отношению к голлистскому или постголлистскому режиму; зато я стал, в принципе, сторонником

Жискара и жискардизма. Перелистывая серию статей этого периода, я был поражен тем, насколько я одобрял или критиковал в одной и той же манере, в одном и том же стиле, Жоржа Помпиду и Валери Жискара д'Эстена. Впрочем, оба эти деятеля вели схожую по существу внешнюю политику. Советские руководители вызывали у Помпиду большие опасения, чем у его преемника. На словах, во всяком случае, он показал себя более твердым, чем Жискар д'Эстен. Вплоть до самой своей смерти он отказывался от подписания Хельсинкских соглашений.

Труднее оказалось сравнить статьи, написанные после 1969 года, со статьями 1962–1969 годов; именно в период между окончанием войны в Алжире и отставкой Генерала установились принципы французской дипломатии, ставшие священными: создание стратегических ядерных сил; выход Франции из объединенного командования НАТО; привилегированные отношения с Москвой; словесный антиамериканизм или антиатлантизм. После 1969 года голлистская дипломатия остается дипломатией Франции; она остается таковой даже сегодня, по крайней мере временно, после победы социалистической партии, партии Франсуа Миттерана, который в период с 1958 по 1969 год являлся самым постоянным, наименее снисходительным противником генерала де Голля. Постголлизм, как в версии Жоржа Помпиду, так и в версии Жискара д'Эстена, проявил уважение к наследству, которое Ф. Миттеран, в свою очередь, поклялся уважать в тот день, когда высказался за стратегические ядерные силы. Касается ли дело отношений Франции с Москвой и Вашингтоном, Ближнего Востока, Европейского сообщества — везде рамки автономии или своеобразия президента остаются неизбежно узкими. Я остановился на поездке Жискара д'Эстена в Советский Союз в 1975 году потому, что венок к Мавзолею Ленина раскрывает какие-то черты психологии президента. Что касается заключительного коммюнике о визите, словесных уступок тех или других — кого все это сегодня интересует? Несколько страниц, посвященные дипломатическим шагам Жискара д'Эстена, остаются интересными лишь в той мере (если они вообще представляют интерес), в какой освещают мое отношение к дружественной власти и проливают некоторый свет на личность Валери Жискара д'Эстена.

Спор между президентом Республики и его бывшим премьером о парижской мэрии поставил в трудное положение тех, кто представлял себе последствия разрыва между двумя партиями и кто хотел предотвратить «самоубийство

большинства» (эти слова были вынесены в заголовок одной из моих статей, 22 февраля 1977 года).

Первоначально я стал, по крайней мере с виду, на сторону Жака Ширака. ОПР, ранее называвшемуся ЮДР, принадлежало большинство мест в муниципальном совете Парижа, пост его председателя. В результате реформы, проведенной по настоянию президента Республики, председатель этого муниципального совета становился мэром Парижа — обладателем славного титула, пришедшего в ветхость после 1871 года. Обе партии большинства были очень близки к соглашению относительно выдвижения совместного кандидата в мэрию. По причинам, которые навсегда остались для меня неизвестными, этот совместный кандидат, Пьер Теттенже, вышел из игры. Президент остановил свой выбор на мэре Довиля, г-не д'Орнано, не заручившись согласием Жака Ширака. Неожиданно этот последний бросил свою перчатку на арену — сделал прямой вызов президенту Республики, потребовав предоставления самому себе воссозданного поста мэра Города-Светоча.

Еще до случившегося, 2 января 1976 года, я проанализировал последствия ставшего отныне открытым соперничества между главой государства и его прежним премьер-министром. Причины разрыва между двумя этими людьми мне были известны не больше, чем человеку с улицы. Недостатки Валери Жискара д'Эстена от меня не ускользали, но мое раздражение утихало, когда я начинал сравнивать главу государства с теми руководителями правительств, в Европе и Америке, с которыми он вел беседы или переговоры. Жака Ширака я знал мало, и при взгляде издалека он никогда не производил впечатления человека фашистского типа (хотя это часто утверждали); немного радикал-социалист по своей манере льстить крестьянам, демагог больших городов по своему наступательному и энергичному стилю и по своей почти безграничной способности к рукопожатиям, постоянно ищущий какой-нибудь электоральный лозунг и отбрасывающий его через несколько дней после изобретения, сильная натура и сильный политик, от которого мы могли многого ждать и многого опасаться. Из них двоих только Жискар д'Эстен, на мой взгляд, обладал умом, опытом, авторитетом государственного руководителя, но недопустимой ошибкой было превращать Жака Ширака в заклятого врага. Быть может, начиная с 1977 года их вражда, порожденная тем, что и тот и другой разочаровались в своей взаимной симпатии, увлекала обоих противников-союзников к общей гибели. Я тщетно выступал против «самоубийства большинства» и обратился к президенту, поскольку с другой стороной у меня не

было отношений.

В заключительной части моей статьи «О правильном использовании болезней» («Du bon usage des maladies») я сначала подчеркнул нелепость прямого столкновения между ЮДФ (UDF) [284] и ОПР, а затем предложил президенту линию поведения, которую он, очевидно, не принял: «Может быть, у Жака Ширака есть способы вызвать правительственный кризис, который вынудил бы президента Республики распустить Национальное собрание. Я не представляю себе, что он позволит своему темпераменту или своим советникам увлечь себя в столь гибельную игру. В случае досрочных выборов, ответственность за которые легла бы на Жака Ширака, он сделал бы ставкой свое будущее, точно так же, как президент Пятой республики сделал бы ставкой свой мандат. Со своей стороны, главе государства следует приспособиться, хотя бы на время, к изменению соотношения сил между Елисейским и Бурбонским дворцами. Почему бы выбор кандидата в мэрию Парижа не оставить партиям? Сам генерал де Голль когда-то выразил, как кажется, пожелание, чтобы пост председателя первого Национального собрания Пятой республики был предложен Полю Рейно, он не узрел ничего страшного в избрании Шабан-Дельмаса. Президент Республики должен проявлять непримиримость только лишь тогда, когда дело идет о так называемых жизненных вопросах, затрагивающих судьбы нации и экономическую деятельность».

В 1977 году я констатировал провал робких попыток президента завязать диалог с оппозицией. «Он дезориентировал часть своих избирателей, отнюдь не обольстив своих противников. Он может несколько изменить свои манеры поведения, приблизив их к тем, которых французы ожидают от президента Республики. Но он не может стать „наступательным и энергичным“. Являясь противниками, Жискар д’Эстен и Жак Ширак остаются, что бы там ни было, союзниками. Кто на кого работает? Говорят, что „всякое может случиться“. Конечно, включая и то, что глава „Объединения“ станет в конечном счете работать на славу государства или, наоборот, второй станет работать на первого». Действительно, в 1978 году глава ОПР эффективно поработал на главу государства; а в 1981-м он внес вклад в общее поражение.

В следующем месяце я стал выступать не столько за Ширака, сколько против крестового похода, начатого Президентом против кандидатуры Ширака на пост в мэрии Парижа. По существу, я не посоветовал Жискару д’Эстену давать сражение в Париже своему бывшему премьер-министру, ибо существовал большой риск это сражение проиграть; затем я показал, если можно так выразиться,

моральные права главы «Объединения». Голлисты потеряли сначала Елисейский дворец, затем Матиньон. Та же самая Конституция, которая в свое время благоприятствовала голлистскому государству, теперь благоприятствовала жискаровскому государству, при том усилившемся обстоятельстве, что партия президента оставалась меньшинством в парламентском большинстве. ОПР стремилось сохранить свои позиции в Париже — разве это нельзя понять? Но зачем надо было заклеймить эти усилия как оскорбление главы государства? Если кандидатура Ж. Ширака наступает на авторитет президента, то почему бы последнему не уклониться от схватки? Если противник выбрал для сражения поле, на котором имеет все преимущества, то здравый смысл обязывает президента-стратега остаться вне битвы, если предположить, что ее невозможно избежать[223].

Президент бросился в битву с пылом, но проиграл ее. Никогда ранее давление Елисейского дворца на телевидение не было столь сильным, как в связи с парижскими выборами. Муниципальные советники от ОПР занимали форты, иногда неприступные. Франсуазу Жиру бросили на штурм одного из таких фортов, овладеть которым она никак не смогла, хотя ее и поддерживал «Экспресс». Она потеряла здесь все из-за несчастной истории с наградой. Мой кузен Арон-Брюнетьер — Франсуаза служила под его началом в Сопротивлении — свидетельствовал в ее пользу. Президент попросил ее возглавить список кандидатов в одном избирательном округе и обещал оставить за ней ее министерский портфель при любом исходе голосования. «Скандал» по поводу присвоенной награды освободил президента от его обязательства.

Президент очень плохо воспринял мои советы. Две из моих статей помогли депутату от Корреза по той простой причине, что в них признавалась законность его кандидатуры. Очень ли помогли? Не знаю. Несколько сторонников Ширака, чтобы мне польстить, уверяли меня (питая тем самым мою «мегаломанию»), что без моих статей не добились бы победы. Гнев Елисейского дворца также польстил бы моему тщеславию, если бы я стремился к влиянию такого рода. В Париже, в его богатых кварталах, «Фигаро» удерживало и еще удерживает свое место. Мои статьи, по-моему, оказали влияние скорее на политический класс, чем на читателей.

В Елисейском дворце задавались вопросом, почему я нанес удар «ниже пояса» президенту. Некоторые люди из его окружения связывали мою позицию с делом Абу Дауда, одного из организаторов покушения на израильских спортсменов (во время

Олимпиады) в Мюнхене. Я резко, может быть чересчур резко[224], критиковал ту поспешность, с какой правительство, с помощью Правосудия, избавилось от этого неудобного палестинца. Меня не удивило, но поразило нежелание профессионалов от политики вообразить себе, что можно действовать, не руководствуясь более или менее низкими мотивами, злопамятством или интриганскими расчетами. К тому же еще *до* дела Абу Дауда я написал, что президенту не следует самому вмешиваться в спор вокруг парижской мэрии, в котором он рискует своим престижем.

После публикации этих спорных статей мне раз или два довелось встретиться с Жаком Шираком, Мари-Франс Гарро и Пьером Жюйе. Я обнаружил у Жака Ширака обаяние или, скорее, нашел его симпатичным, «sympa», как говорят молодые люди; как мне показалось, общаться с ним было легко, легче, чем с Жискаром д'Эстеном. В конечном счете, с последним я никогда не разговаривал ни о чем другом, как только о политике, исключительно о политике. Как человек он всегда казался мне недосягаемым.

Через несколько недель после муниципальных выборов я сошел с круга. Перед моим сердечным приступом я написал несколько статей о «неизбежном столкновении» весной 1978 года, назвал срок в один год, «чтобы убедить»; последняя статья о внутренней политике увидела свет 28 марта. Четыре статьи, ознаменовавшие окончание моего тридцатилетнего сотрудничества в газете, появились в период между 23 и 27 апреля.

Я написал эти четыре статьи, чтобы попрощаться с читателями «Фигаро», чтобы испытать себя в тот момент, когда рука еще с трудом выводила буквы. Эти статьи найдут место в последней части книги, посвященной годам отсрочки, дарованной мне природой и помогающими ей лекарствами, отсрочки, сладко-горький вкус которой я с перебоями вкушаю.

XXII
ОБ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ КРИТИКЕ

«Опиум интеллектуалов» завершает фазу моей жизни — пятнадцать лет, в течение которых я работал вне университета, как журналист и как активист. Появившись весной 1955 года, за несколько месяцев до выставления моей кандидатуры в Сорбонну, книга провоцировала левых интеллектуалов, хотя и не составлявших большинства, но весьма влиятельных в университетской среде. Она вышла в свет за год до доклада Н. С. Хрущева на XX съезде КПСС, и обстоятельства способствовали ее успеху, несмотря на вызванный ею гнев: парижская интеллигенция начинала задавать себе вопросы относительно марксизма-ленинизма и Советского Союза.

Критика идеологий, как я ее понимаю, не остановилась для меня после «Опиума». Прежде всего, я дискутировал с теми или иными моими противниками, пытался уточнить свои позиции, опровергнуть упрек в скептицизме или нигилизме, который адресовали мне многие читатели. Кроме того, мой вывод — «Конец идеологической эры?» — вызвал более или менее пылкие споры по обе стороны Атлантического океана. Публикация в начале 60-х годов трех маленьких томиков об индустриальном обществе навела меня на мысль увязать фазы социально-экономического развития с идеологиями.

Оглядываясь назад, я иногда спрашиваю себя, почему посвятил столько времени идеологической критике — этим словом я обозначаю многочисленные статьи (среди которых «Три очерка об индустриальной эре» («Trois Essais sur l'age industriel»)), и две книги («От одного святого семейства к другому» («D'une sainte famille à l'autre»), «История и диалектика насилия» («Histoire et Dialectique de la violence»)).

Я нахожу несколько смягчающих обстоятельств для явления, которое кое-кто назовет ожесточением полемиста. Не скажу, чтобы я питал особые иллюзии насчет действенности дискуссий. Чувства еще долго не умирают, после того как идеологии, в которых они выражают и рационализируют себя, уже опровергнуты. Но, по крайней мере, мыслящие люди пытаются обосновать или оправдать свою веру; многие из них никогда не соглашались со сталинским вариантом марксизма. Впрочем, я никогда не дискутировал с верующими в *диамат.*

Статьи и книги, отнесенные мной к категории критической идеологии, выполняют задачу, которую я себе поставил еще в

молодости: сопоставлять идеи с реальностями, которые они выражают, искажают или преображают, прослеживать одновременно ход событий и развитие идей. Три первые главы «Опиума» трактуют о «священных коровах» — *левом движении, пролетариате, революции* — с целью проанализировать эти неоднозначные понятия и их различные смыслы в зависимости от исторического контекста.

Эта критика — одновременно марксистская и кантианская. Марксистская — поскольку Маркс всегда искал за словами и за иллюзиями подлинный жизненный опыт. Какое суждение вынес бы он о режиме, который ссылается на пролетариат, не оставляя последнему ни одной из свобод, предоставляемых ему буржуазной демократией, хотя бы, например, свободы выбирать своих профсоюзных представителей? Кантианская — ибо эта критика осуждает такую философию истории, которая преступает границы знания и обоснованного предвидения.

В течение тридцати лет каждая смена парижской идеологической моды сопровождалась очередным переосмыслением марксизма. Тексты, которые я включаю в категорию идеологической критики, принадлежат по существу, если не по видимости, к совершенно различным литературным жанрам. «Опиум интеллектуалов» я еще и сейчас рассматриваю как эссе для культурного читателя; «От одного святого семейства к другому» и, в особенности, «История и диалектика насилия» приближаются к философии; мне не удалось изгнать профессиональный жаргон со страниц, посвященных «Критике диалектического разума».

Структура и толпа

Послевоенные дискуссии во Франции напомнили мне те, которые происходили в Германии в 1923–1933 годах. Вторично я оказался на общей для марксизма и экзистенциализма почве: одновременном критическом рассмотрении личности и исторических судеб человечества. Альтюсер принадлежал к другому поколению, он подходил к марксизму с другого конца. Посвятить ему большой очерк меня побудило любопытство. Извлекло ли из старых книг новое поколение, применяющее новомодные общественно-научные концепты, неизвестного Маркса, подлинного Маркса или, по крайней мере, такого Маркса, понимание которого освободилось бы чудесным образом от трудностей, непреодолимых для всех истолкователей за истекшие сто лет?

Брошюра о марксизме Альтюсера «От одного святого семейства к другому», опубликованная мной в 1967 году, канула в пустоту, в молчание. Ни Альтюсер, ни его единомышленники не сочли мой текст заслуживающим обсуждения. «Анналы» отказались напечатать рецензию, вероятно слишком благосклонную, Алена Безансона. Зато Леви-Стросс поблагодарил меня за присылку книги, которая, как он написал, убедила его в том, что он прав, не читая «За Маркса» («Pour Marx») и «Читать „Капитал“» («Lire le „Capital“») (две главные книги Альтюсера).

В некоторых отношениях затея Альтюсера напоминает сартровскую, в других — коренным образом отличается от нее. Оба они, изначально философы или преподаватели философии, пытаются переосмыслить Маркса или, конкретнее, разработать философию, намеченную или подспудно содержащуюся в совокупности Марксовых текстов, стремясь, во-первых, сохранить основные исторические и политические тезисы Маркса и Ленина и, во-вторых, избежать упрощенчества диалектического материализма. Непосредственно после войны Сартр отвергал материализм; позднее, в «Критике диалектического разума», он не отрицал категорически диалектики природы, но смысл, который он придавал понятию диалектики, плохо согласуется с той диалектикой природы, возможность которой он признает, делая уступку правоверным адептам марксизма-ленинизма. Кроме того, оба философа, не обладающие знанием экономики[225], принимают на веру истины «Капитала» — Сартр делает это в нескольких строках, а Альтюсер — на нескольких десятках или сотнях страниц, правда обновив понимание этого труда Маркса благодаря привлечению других текстов и использованию иной теории познания.

В других отношениях трактовки Альтюсера и Сартра прямо противоположны. Сартр вдохновлялся ранними работами Маркса, ставил в центр марксизма *praxis,* действие, а значит, классы и классовую борьбу; ликвидация всех видов отчуждения (или противоречий) должна была в конце концов увенчать полную превратностей историю человечества — мы имеем здесь марксизм, проникнутый гуманизмом и историзмом. Альтюсер отбрасывал ранние произведения Маркса до «эпистемологического разрыва»; помещал в центр марксизма «Капитал» и представлял себе историческую науку как науку, так сказать, исторической вечности, науку в духе Спинозы, очищенную от всякого гуманизма, от какого бы то ни было историзма. Будучи членом партии, Альтюсер позволял себе меньше свободы, чем Сартр, в отношении марксистско-ленинской ортодоксии; часто он сохраняет сакральные слова, хотя и придает

им совершенно иной смысл. Например, пользуется выражением «диалектический материализм», но этот материализм не имеет более ничего общего с диалектикой природы, а обозначает «теорию теорий» или философию, одной из глав которой является исторический материализм. Последний представляет собой теорию исторической науки; совокупность этих отдельных теорий есть диалектический материализм, который устанавливает основополагающие принципы для всех частных знаний.

Альтюсер берет в качестве главного текста «Введение» к «Grundrisse»[226], давно известное, поскольку было напечатано Каутским как предисловие к сочинению «К критике политической экономии». Этот текст содержит набросок эпистемологии, которую развивает Альтюсер. Чтобы подвергнуть анализу и понять какую-либо конкретную экономику, ученый должен начать не с эмпирически наблюдаемых фактов — таких как численность населения, распределение трудящихся по отраслям, объем производства, — а с отвлеченных понятий, каковыми являются стоимость, обмен, производство, распределение. Конкретное — не исходный момент, а результат анализа. Ум усваивает конкретное при помощи абстракций. Гегельянское происхождение этого способа мышления несомненно; оно проявляется в «Grundrisse».

В том же тексте Маркс обсуждает соотношение между логическим рядом концептов и их исторической последовательностью. Он самым категорическим образом утверждает (как делал это уже в «Нищете философии»), что логический порядок не совпадает с историческим. Каждый концепт развивается согласно своим собственным законам; тот или иной из них может быть полностью разработан в условиях еще не развитой экономики. Но предыдущие экономики раскрывают весь свой смысл только в свете экономики капиталистической. Подобным же образом анатомия человека объясняет анатомию обезьяны.

Наконец, в этом же тексте фигурирует термин *структурированная целостность*, который дает Альтюсеру его основополагающий концепт. Марксисты вот уже столетие задают себе вопросы о модальности отношений между базисом и надстройкой, между производительными силами и производственными отношениями и интеллектуальными построениями. Они искали разгадку в «Предисловии» к работе «К критике политической экономии»[227]. Альтюсер ищет и находит его во «Введении» и «Grundrisse». Концепт *структурированного целого* позволяет поставить проблему иначе.

Прежде всего, теперь нет необходимости довольствоваться такими расплывчатыми понятиями, как «определение»,

«соответствие». Поскольку каждый способ производства предстает как структурированное целое, научный подход выделяет в нем с самого начала многочисленные компоненты — экономику, политику, идеологию. Ни один из этих компонентов структуры не поглощает и не определяет однозначно другие. Только соотношение компонентов создает своеобразие структуры каждой целостности. Экономический компонент остается в конечном счете определяющим; именно он определяет доминирующий в каждом способе производства (или в каждой общественной формации) компонент. При рабовладельческом способе производства доминирующим компонентом является политика, так как присвоение прибавочной стоимости основывается на военном господстве вооруженного человека, который защищает и эксплуатирует других. При капитализме экономика становится одновременно и доминирующей, и определяющей, ибо эксплуатация замаскирована свободой обмена между трудом и капиталом. Политика сохраняет единственную функцию — обеспечивать безопасность экономики, предоставленной самой себе.

Та историческая наука, фундамент которой закладывает Альтюсер, изучает предмет, сконструированный концептами — способы производства или общественные формации; не являясь ни повествованием, ни диахроническим анализом, она тяготеет к исследованию, по сути своей синхроническому, различных способов производства, которое в идеале стало бы исследованием истории человечества без повествования, без малейшего следа эволюционизма или гуманизма. В каждом способе производства один какой-либо компонент осуществляет структурную причинность по отношению к другим. Изучение перехода от одного способа производства к другому должно было бы также включать в себя поиск внутренних структурных причин, присущих каждому способу производства, которые определяют его распад и тем самым — установление нового способа производства.

Замысел такой исторической науки, в действительности же — синхронического анализа различных способов производства, не кажется мне несовместимым с одной из тенденций Марксова марксизма. Зародыш подобного замысла мы находим в «Предисловии» к «Критике» и еще явственнее — в «Grundrisse». Но, прибегая к немецкому языку, речь идет лишь о Einleitung zur einer Grundlegung einer möglichem Geschichtswissenschaft[228]. Можно ли заключить все многообразие исторических явлений в немногочисленные способы производства? Какие аспекты способа производства могут быть объяснены исходя из компонента, в конечном счете определяющего, или компонента

доминирующего? Возможно ли воссоздать способы производства или социальные формации, оперируя пятью следующими элементами: работники (1), изменяющие предмет труда (2) при помощи средств производства (3), причем процесс производства подразумевает действительное присвоение предметов и средств (4), и, наконец, юридическая собственность (5) на элементы, предметы и средства? Как функционирует структурная причинность? И в заключение — благодаря какому фокусу эту историческую науку можно согласовать с марксизмом-ленинизмом?

Ответ на последний, и только на этот единственный, вопрос дать легко. Альтюсер поразил парижскую интеллигенцию «объективистским» марксизмом — без практики, без историзма (и в идеале — без истории). Но он продолжил классическое толкование «Капитала». Когда Альтюсер утверждает, что гениальность экономиста Маркса выразилась в теории прибавочной стоимости, он не говорит ничего нового: то же самое полагали Ф. Энгельс, К. Каутский, все экономисты II Интернационала. Теории стоимости труда, обмена между трудом и заработной платой (вознаграждающей работника лишь за часть рабочего дня) приводят к понятию прибавочной стоимости, характерной для капитализма и являющейся единственным источником прибыли, процентов и ренты. Книга «Читать „Капитал“» не наносит в конечном счете ни малейшего урона классическому толкованию в духе марксизма-ленинизма, по крайней мере в этом пункте, который все марксисты считают центральным, определяющим для критики буржуазной политической экономии.

Оригинальность Альтюсера заключается прежде всего в идее *эпистемологического разрыва.* В 1845 году Маркс якобы порвал раз навсегда с влиянием Гегеля, с Фейербаховой схемой (плоды созидательной деятельности человека-субъекта лишают его свободы, отчуждают). Став материалистом (или, пользуясь более распространенной терминологией, реалистом), Маркс, по мнению Альтюсера, принял за первооснову материальную — неорганическую или органическую — действительность; мозг человека порождает идеи, благодаря которым человек достигает господства над природой — либо реального посредством техники, либо интеллектуального при помощи науки. Гуманистическое видение Истории — отчуждение, жертвой которого становится человек-субъект, классовая борьба с целью освобождения — будто бы рассеялось раз навсегда; поэтому отцы иезуиты (о. Кальвез, о. Фессар) невольно искажают, как полагает наш автор, подлинный марксизм зрелого Маркса — марксизм «Капитала» и

исторической науки.

В рамках марксологии тезис Луи Альтюсера немедленно обнаруживает свою несостоятельность при чтении текстов. «Grundrisse» 1857–1858 годов насквозь проникнуты гегельянством. Прежде чем приступить к написанию «Капитала», Маркс перечитал «Логику» Гегеля. Понятие эпистемологического разрыва, неубедительное в качестве исторического тезиса, привлекает внимание к двусмысленности философии самого Маркса, которая в разные периоды и соответственно переменам его настроения приближается то к варианту Гегеля, то к варианту Альтюсера. Сила марксизма возникает, по крайней мере частично, из этой двусмысленности. Теория прибавочной стоимости лежит в основе как теории эксплуатации (несправедливость, неотъемлемая от меновой экономики), так и теории отчуждения (вещи выступают посредником в отношениях между людьми). Марксистская экономическая наука является одновременно этической и экзистенциальной критикой.

Л. Альтюсер меньше интересуется томами II и III «Капитала», диахроническим анализом капитализма, межцелостной причинностью[229]. В самом деле, будучи одновременно членом партии и философом, он если и не остается в неведении относительно того, что ход истории не согласуется с предвидением, извлеченным из произведений Маркса его учениками, все же, как это ни удивительно, добивается впечатления такой согласованности или по меньшей мере сглаживает ощущение противоречия между пророчествами и действительностью.

Самоуничтожение капитализма происходит, по Марксу, вследствие двух «непредвиденных эффектов» закономерного поведения капиталистов, каковыми являются тенденция к снижению коэффициента прибыли и обнищание масс. Накопление капитала, неизбежное при системе, которой движет стремление к прибыли, постепенно уменьшает, считает Маркс, долю переменного капитала (стоимость труда) в органическом составе капитала. Отсюда якобы вытекает тенденция к снижению коэффициента прибыли, поскольку ее приносит только переменный капитал. Некая имманентная справедливость должна заставить всех капиталистов разориться, ибо каждый из них, в погоне за прибылью и не зная происхождения прибавочной стоимости, заменяет живой капитал мертвым, рабочего — машиной. Л. Альтюсер не увязывает революцию ни с этим законом, ни с абсолютным или относительным обнищанием трудящихся. Для объяснения революции он пользуется постмарксистским понятием сверхдетерминированности. К

революции приводят не обстоятельства, определяемые одним из компонентов структуры; ее вызывает сочетание разных компонентов, эрозия политической легитимности в той же мере, что и экономический кризис. Революционной можно назвать ситуацию, созданную совокупностью компонентов.

Признаюсь, я не нашел в мыслях Альтюсера ничего подлинно оригинального, что позволило бы считать его по праву «великим философом». Некоторые мои друзья, учившиеся у него, уверяют, что его преподавание в Эколь Нормаль стало для них дуновением свободы в то время, когда они были членами партии. Альтюсер помог им сбросить иго марксистско-ленинской ортодоксии, пробуждал читать и перечитывать «Капитал», заново осмысливать марксизм Маркса. Охотно верю этому, но недостаточно дистанцироваться от катехизиса школы в Бобиньи, чтобы выйти на широкую дорогу философии.

Разумеется, Альтюсер порвал с предшествующей парижской модой, придумал социологию (названную им исторической наукой) различных способов производства (или общественных формаций), каждый из которых анализируется в себе самом, в своей структурированной целостности. Маркс замыслил подобную социологию, но оставил нам лишь ее фрагменты. Л. Альтюсер не идет дальше *Einleitung zur einer Grundlegung*; он предлагает антиэмпирическую эпистемологию, в которой концепт предшествует фактам и цифрам, эпистемологию, которая скатывается к пустословию и теологии. Чтобы решить старую проблему единства теории и практики, он окрестил теорию теоретической практикой. Во «Введении» к «Grundrisse» Маркс действительно рекомендовал идти от абстрактного к конкретному, от концептов к фактам. Он предлагал анализировать «органическую целостность» при помощи экономических концептов, которые одни лишь позволяют понять структуру. Понимание структуры зависит не от самих этих концептов, а от формы, принимаемой каждым из них, и от их взаимоотношений в каждой системе. Но для того чтобы определить состояние производительных сил или соотношение производства и потребления при данном строе и в данный момент, недостаточно играть словами, нужно обратиться к действительности, даже если ее окрестить эмпирической. Альтюсеровская эпистемология сформировалась вне наук о природе и наук о человеке. В ответ на экзистенциалистский марксизм Альтюсер привлек внимание своих учеников к «Капиталу», способам производства, компонентам структур — и этим оказал им услугу. Одновременно он подверг их риску впасть в схоластику, марксистско-ленинскую по своей сути,

загримированную под псевдобашляровскую, псевдоструктуралистскую эпистемологию.

Когда грянули бури 60-х годов, последователи Альтюсера разбрелись в разные стороны: одни стали маоистами, другие сохранили верность партии, третьи перешли в социологическую «веру». Впрочем, представляется очевидным, что, по крайней мере в Париже, мода на идеи Альтюсера прошла после 1968 года. Бунтующие студенты в совершенстве сыграли роль спаянной толпы из «Критики диалектического разума». Сартрова *praxis* на короткое время вновь завладела умами. В течение 70-х годов оба марксизма — субъективистски-экзистенциалистский и объективистски-структуралистский — одновременно пришли в упадок. Немногочисленные маоисты и прочие гошисты поддались искушению терроризмом, другие искали прибежища в экологии и защите природы, третьи превратились в поборников прав человека. Правда, этот анализ верен скорее для Парижа, чем для Франции. «Высшая интеллигенция» отошла от марксизма. Компартия не пожелала в шестьдесят восьмом году воспользоваться случаем разжечь революцию, но главным образом переворот в сознании интеллектуалов произошел благодаря русским диссидентам, прежде всего А. Солженицыну. Однако разновидность марксизма, не слишком отличающаяся от марксизма социал-демократов до 1914 года, продолжает оказывать преобладающее влияние на средний преподавательский состав коллежей и университетов. Победа социалистической партии над компартией и над правым большинством комментировалась в стиле, который не многим обязан профессорам философии. Упрощенного марксизма вполне достаточно активным сторонникам Франсуа Миттерана.

«История и диалектика насилия» вышла в свет почти одновременно с «Имперской республикой». Премия критики была мне присуждена за обе книги. И снова некоторые друзья спрашивали меня: «Почему вы ее написали?» Я сам задавал себе этот вопрос. По всей видимости, я пришел к этой книге постепенно. Когда появилась «Критика диалектического разума», я прочел ее, но прочел несколько отстраненно. Раз или два говорил о ней на своем семинаре. Пьер Бриссон обратился ко мне, когда «мой дружок» был награжден Нобелевской премией, от которой отказался; за неимением лучшего, я написал статью о «Критике». «Вы прислали мне лекцию для Сорбонны», — с отчаянием сказал мне П. Бриссон. Я сократил на треть свой текст, который, может быть, обескуражил читателей «Фигаро литтерер» (но, быть может, меньше, чем полагал главный редактор) и

благодаря которому я удостоился поклона Мориса Надо[230]. Последний отметил скудость комментариев, посвященных Ж.-П. Сартру по данному случаю; единственное исключение, добавлял он, это «Фигаро литтерер»: «Кому же после этого доверять!» Как раз около этого времени я решил изучить серьезно, с пером в руках, этот огромный, так сказать бронированный, труд. Я посвятил ему годичный (1966/67) лекционный курс в Сорбонне. Очень многие из готовившихся тогда к поступлению в Эколь Нормаль прослушали мое объяснение-истолкование.

Машинописный курс ходил по рукам в небольшом кружке моих друзей. Лично я испытывал сомнения относительно возможного использования этой рукописи. Опубликовать ее подобно тому, как я это сделал с «Восемнадцатью лекциями», мне казалось немыслимым: строгий анализ не согласуется с импровизированным устным словом. Исправление машинописного текста заняло бы много времени, приведя к сомнительному результату. В течение следующих лет — между 1967 и 1973 годами — я время от времени возвращался к рукописи и отредактировал несколько фрагментов. Я думал о небольшой книге, посвященной насилию, своего рода дилогии: с одной стороны — Сартр, или романтизм насилия, с другой — Клаузевиц, или рациональность насилия. В 1972 году я оставил этот проект как слишком искусственный. Каждая из частей дилогии трансформировалась в отдельную книгу: маленькую — «История и диалектика насилия» и большую — «Осмысление войны. Клаузевиц» («Penser la guerre, Clausewitz»).

Может быть, первая из них родилась из несколько мелочного стремления не оставить ничего неиспользованным?.. Я высоко оценил «Критику» — правда, не так, как сам автор, ставивший ее выше, чем «Бытие и ничто», но гораздо более других читателей, не принадлежавших к числу адептов Сартра, которых отпугнули профессиональный жаргон и непомерный объем произведения; я занимал — и занимаю сейчас — промежуточную позицию. «Критика» интересует меня с двух точек зрения: во-первых, по отношению к *мысли Сартра*, то есть диалектика Бытия-для-себя (или *Praxis)* и общностей; во-вторых, по отношению к проблеме насилия. Диалог, который я начал с ним еще во «Введении в философию истории», принял больший размах в критике его «Критики». В самом деле, именно в этом сочинении Сартра яснее всего выражен переход от свободного сознания к добровольному рабству (ангажированности), к подчинению общности и вещам.

В «Критике» я прохожу мимо заявлений, в которых автор расписывается в верности марксизму. «Если философия должна

одновременно обобщать знание, быть методом, регулирующей идеей, наступательным оружием и общностью языка, если это мировидение является также инструментом переделки прогнивших обществ, если эта единичная концепция, детище одного человека или группы людей, становится культурой, а иногда и природой целого класса, то совершенно ясно, что эпохи философского созидания редки. Между XVIII и XX веками я вижу три такие эпохи, которые обозначу прославленными именами: был „момент“ Декарта и Локка, затем — Канта и Гегеля и, наконец, — Маркса. Эти три философии стали, каждая в свой черед, плодородной почвой всякого отдельного мышления и горизонтом всякой культуры; их нельзя превзойти до тех пор, пока не будет пройден исторический момент, выражением которого они являются».

Этот пассаж, столь часто цитировавшийся и, на мой взгляд, попросту глупый (той неимоверной глупостью, которая доставляла удовольствие Флоберу), подхватывает или, скорее, окарикатуривает гегелевскую концепцию; великая философия действительно придает, так сказать, форму духу эпохи; но она не обобщает знание (Гегель недостаточно хорошо разбирался в математике и физике, которые были, однако, одной из существенных характеристик «момента»), она не обязательно является методом и регулирующей идеей и т. д. Преподносить марксизм — объявленный, с другой стороны, «бесплодным» — как «горизонт» нашей культуры, «за пределы которого нельзя выйти», значит, пользуясь языком нашей молодежи, «нести ахинею». И уж конечно, марксизм не «обобщает» знание, накопленное эпохой; он отнюдь не вобрал в себя главное в философии нашего времени: если смотреть из Гарварда или Оксфорда, то окажется, что современная философия — это аналитическая, а вовсе не марксистская философия.

Сейчас я еще меньше, чем когда писал свою книгу, принимаю всерьез идею некой *критики* диалектического Разума. Не существует диалектического Разума, отличающегося по своей сути от разума аналитического; а существует, внутри мышления Сартра, такая диалектика, которая, в отличие от диалектик большинства философов, не определяется — ни прямо, ни косвенно — диалогом. Сартрова диалектика сводится к обобщающему пониманию обстановки и проецированию сознания на будущее. В самом деле, сознание охватывает ситуацию, с которой ему пришлось столкнуться, и в этом смысле можно сказать, что оно обобщает все предметы и явления, которые ему встречаются, однако это обобщение-перспектива существующей реальности не имеет ничего общего с «обобщением знания»,

которое якобы является задачей философии. «Перцептивное обобщение» не есть полное знание.

Истолкованная таким образом, диалектика сознания (или человеческого поведения как такового) требует иного способа восприятия, нежели тот, что применим к природе; этот способ восприятия не отличается от немецкого *Verstehen,* «понимания», которое многие авторы продолжают противопоставлять «объяснению» или, по крайней мере, отличать от него. В «Истории и диалектике насилия» я довольствовался утверждением — не подкрепляя его убедительным доказательством, — что регрессивно-прогрессивный метод представляет собой всего лишь одну модальность дильтеевского понимания. К тому же сам Сартр намекает своим излюбленным, несколько снисходительным, тоном на «старика Дильтея»[231]. Тот и другой — философы, выбирают предметом познания исторической действительности реконструкцию работы сознания, ее постижение. (Дильтей — но не Сартр — добавил бы: а также аффективное участие, сочувствие другим людям.)

Сартр хочет доказать (это эксплицитная цель его «Критики»), что вся история диалектична. Но его доказательство колеблется между двумя резко различающимися идеями. Либо он хочет, подобно теоретикам методологического индивидуализма[232], обосновать тезис, согласно которому всякое толкование, даже всякое объяснение, должно восходить к поведению индивидов, единственному, которое диалектично или понятно как таковое; либо он намерен идти от Бытия-для-себя к всемирной Истории, создавая иллюзию, будто обобщение Бытием-для-себя воспринимаемой среды не отличается по своей природе от обобщения знания или человеческого становления (этот вид обобщения Сартр собирался проанализировать во втором томе, фрагменты которого существуют).

Я не вижу никаких оснований называть Разумом диалектику сознания; поскольку сознание свободно, как можно утверждать *a priori,* что оно выберет разумное? Бог, абсолютно свободный, согласно Декарту, мог бы выбрать другие истины или другую логику. Индивидуальное сознание, по Сартру, подобно Богу у Декарта, пересоздает мир в каждое мгновение. Почему следует называть Разумом содержание сознания, диалектической *praxis*? Почему нужно говорить о родстве той или иной из Кантовых критик и произведения Сартра? Как заметил мне мой коллега Жюль Вюиймен, я напрасно упомянул в связи с этой книгой о трансцендентальной дедукции в «Критике чистого разума». Сартр, можно сказать, рассказывает эпопею *praxis*: вначале неотчуждаемо свободная, она впадает в полупорабощенное

состояние; затем следует второй этап — ее освободительный бунт, постепенно затихающий и завершающийся новым лишением свободы, вплоть до сталинизма и культа личности. То, что в конечном счете меня интересовало и интересует еще и сейчас, — это включение *praxis* в общности и различные модальности последних.

Сартрова антитеза *ряда* и *группы* не исчерпывает, конечно, бесконечного разнообразия человеческих общностей; *ряд* пассажиров, выстроившихся в очередь на автобусной остановке, и *толпа*, захватывающая Бастилию, символизируют или представляют две крайние формы. Обладая извращенным умом, можно было бы даже напомнить первые картины русской революции: спаянную толпу, берущую штурмом Зимний дворец, и очереди перед продовольственными магазинами — социалистический способ распределения товаров широкого потребления.

Помимо антитезы «ряд — группа», Сартр приводит многочисленные тонкие и наводящие на размышления анализы различных способов взаимоотношений между индивидами, то объединенными отрицающей волей, то одинокими, несмотря на общую деятельность. Он выявляет некоторые из механизмов, посредством которых индивиды создают мир предметов и установлений, среди которых чувствуют себя чужими. *Praxis,* вопреки своей целенаправленности, наталкивается на противоположную целенаправленность того, что она создала. Такое видение истории не противоречит моему, которое вытекало из «Введения»; однако по некоторым основным вопросам, одновременно философским и политическим, наши точки зрения противоположны.

Сартр считает, что поскольку мы обнаруживаем в истории отдельные доступные пониманию фрагменты, то в конечном счете вся история должна оказаться понятной нам;[233] между тем частные случаи обобщения не подразумевают одной исторической всеобщности, которую мы охватили бы одним взглядом. Кроме того, как можно утверждать, что эта историческая всеобщность приводит к прекращению эксплуатации человека человеком, господства человека над человеком? У Сартра, правда, проскальзывает некоторое сомнение по поводу исчезновения всех форм отчуждения одновременно с уничтожением его капиталистических форм: «<…> в какой мере социалистическое общество изгонит атомизм *во всех его формах*? В какой мере коллективные объекты, являющиеся знаками нашего отчуждения, растворятся в подлинном межсубъектном сообществе, где единственными

реальными отношениями станут отношения людей друг с другом? <…> Должно ли исчезновение капиталистических форм отчуждения отождествляться с уничтожением *всех* его форм?»

На онтологическом уровне Сартр хочет сочетать абсолютный характер Бытия-для-себя со сведением в единое целое Истории; он признает неизбежность объективации сознания и элемент отчуждения, который эта объективация подразумевает. «Каждый из нас на протяжении всей своей жизни запечатлевает на вещах свой образ, злые чары которого гипнотизируют нас и вводят в заблуждение, если мы хотим понять себя через него, хотя и не являемся ничем иным, как синтезирующим движением, приводящим к этой объективации».

Сартр берет за исходную точку Бытие-для-себя, или *praxis,* или сиюминутное сознание, свободное и прозрачное для себя самого. Оно проецируется на внешний мир своими действиями, создаваемыми им объектами; оно встречается с другими — не в межличностном контакте, а в рабстве общих принудительных обязательств или бесконечных рядов. Сознание заполняется *общественными объектами,* чертами, свойственными той или иной совокупности людей; оно становится, так сказать, чуждым себе самому; индивид, будь он пролетарием, евреем, буржуа, инженером, банкиром и т. д., несет в себе людскую общность, к которой принадлежит, всегда сохраняя при этом свободу выйти из нее; свобода объективируется в практико-инертном, но все же не до такой степени, чтобы совершенно исчезнуть. Иными словами, Сартр описывает выход сознания на общественный уровень как некое низвержение в ад — таково его представление об обыденности социальных объектов и бесчеловечности анонимных отношений.

Разумеется, это истолкование жизни в обществе как, по существу, отчуждения следует понимать в онтологическом смысле. Ребенок приучается к жизни в обществе, прежде чем проходит стадию неутверждающего самосознания, прежде чем начинает задумываться о себе самом. Но эта теория, пусть и онтологическая, подразумевает безнадежно мрачное в*и*дение всякого человеческого сосуществования. Во всех обществах повседневные отношения между людьми остаются на поверхности личности, ими руководят обычаи, вежливость. Каждый человек предстает в своем общественном бытии, со своим происхождением, своей религией, своим статусом, он — один из бесчисленных телезрителей, один из миллионов рабочих или буржуа, и, несмотря ни на что, он индивидуализирован то своей особенной функцией, то своим бытием, предшествующим или параллельным общественному.

Так как вежливые улыбки под взглядом Сартра превращаются в гримасы, человечество у него начинается с восстания; толпа, берущая приступом Бастилию, воплощает рождение группы, сообщества. Описание Сартром сливающейся воедино группы людей может показаться поверхностному читателю не более чем блестящим пассажем; в действительности оно содержит решение проблемы, которую автор сам для себя создал. Такое же замкнутое в себе, как монада Лейбница, осужденное на одиночество самой природой общества, сознание (или *praxis)* избавляется от самого себя только в импровизированном, еще не организованном, действии, позволяющем каждому служить посредником между другими. Толпа в состоянии единения становится не образом правильного общества (нельзя ведь брать Бастилию каждый день), но символическим жестом: сознание, по сути своей свободное, обнаруживает свое одиночество и свое рабство; оно освобождается, объединившись со многими другими, путем отрицания действительности.

Определение свободы через бунт, через проекцию на будущее, через отрицание не является оригинальным по отношению к гегельянской традиции. Новая и типично сартровская черта — взять в качестве примера и иллюстрации бунта толпу. Это парадоксально для философии, которая покоится на индивидуальной свободе или, лучше сказать, имеет, по-видимому, своим источником и своей целью свободу сознания либо свободное сознание. Парадокс, тем не менее, объясним, поскольку в спаянной толпе никто не хочет гибели другого, никто не объективируется под взглядом другого; все действуют сообща, причем каждый становится поочередно командиром и подчиненным. И все же это роковой парадокс: совокупность сознаний образует некое сообщество, но — *против врага*, так что примирение между восставшими влечет за собой войну против других людей, которые, став объектом враждебности, тоже сплачиваются; войну против другой общности, против Бастилии, против существующей власти. Отсюда следует философия насилия (или насильственной революции), которая если и не утверждается прямо, то подспудно внушается. Символом *praxis* становится уже не отрицание действительности в отвлеченном плане, а конкретно — спаянная толпа, коллективная вспышка, в которой и благодаря которой человеческие сознания преодолевают инакость, замыкающую в обычное время каждое из них в себе самом.

Наклонность к насилию, если не культ его, усиливается другой особенностью сартровской онтологии: радикальным разрывом между мгновениями. Сознание свободно по отношению

к тому, чем оно было, в такой же мере как по отношению к тому, что оно есть. Отсюда роль *клятвы* — так сказать, магического средства запретить своей собственной свободе предать завтра свое сегодняшнее решение. Улисс приказал привязать себя к мачте корабля, чтобы не поддаться чарам сирен. Активист, который клянется служить общему делу и повиноваться, соглашается на то, что соратники покарают его — или, лучше сказать, приказывает им это сделать, — если он нарушит свою клятву. Братство тайных борцов неотделимо от угрозы террора всех против каждого и каждого против всех.

Что это — возведение в теорию практики движений Сопротивления? Да, несомненно, но главным образом — сартровское истолкование практики революционеров (или подпольщиков) в свете свободы, в каждое мгновение новой, в каждое мгновение полностью ответственной за себя самое. «Сартр отказывается допустить, что он каким бы то ни было образом тождествен своему прошлому»[234]. Возможно, фрагмент моей книги освещает лучше, чем я мог бы это сделать сегодня, глубокие корни наших философско-политических разногласий: «Насколько нам ясно из чтения „Критики“, там яростно утверждается онтологическое и эпистемологическое первенство *praxis,* или формирующей диалектики, следовательно, диалектики индивидуального сознания. Общественный человек, подчиненный неким требованиям, утверждающий некие *ценности* и преследующий некие *интересы*, входящий в состав какого-то класса или проникнутый его духом, составной элемент какого-то ряда или активный участник какой-то группы, онтологически является производным от *praxis,* и никакие общности, ряды или группы не уничтожают ее как таковую. Это видимое противоречие между абсолютным характером свободы и практико-инертным, неизбежное вписывание *praxis* в материю, похищенное у нас другими понимание смысла наших действий — как разрешить эту диалектику материальности и разобщающей серийности? Либо эта диалектика так же перманентна, как диалектика Бытия-для-себя и Бытия-для-других, Субъекта-для-себя, становящегося объектом под взглядом другого человека, либо *praxis* может быть только или полностью свободна, или полностью отчуждена. Некоторые тексты, процитированное мною выше примечание согласуются с первой частью альтернативы. В конечном счете Сартр, со всей своей деятельной страстностью, выбирает вторую часть; даже если некоторые отчуждающие структуры, неотделимые от материальности и серийности, не исчезают вместе с классами, капитализмом и угнетением, он останавливает свой выбор на альтернативе „полностью свободный или

полностью отчужденный“. Движущей силой и смыслом истории, такой, какой мы ее переживаем в мире неудовлетворенных потребностей, является классовая борьба, отождествляющаяся с диалектикой насилия. Таким образом, Сартр отвергает либерализм (вернее, то, что он понимает под этим термином) и реформы не потому, что проанализировал конкретную обстановку, а из принципа; его выбор насилия и революции носит философский и одновременно политический характер. В течение долгого времени я упрекал его за словесную любовь к революции, за снисходительность к преступлениям, совершаемым во имя хороших идей, — короче говоря, он, как я полагал, возводил в философский статус некоторые политические мнения, теоретически обосновывая позицию „два веса, две меры“. Я был и прав и неправ: выводы, которые можно сделать из его философии, я ставил ему в упрек, исходя из моей собственной. Остается решить, заслуживает ли философия, подразумевающая такие выводы, как *систематический* выбор насилия или революции, того, чтобы ее считать диалектикой человека, хотя, в отличие от философий насилия, она представляет в перспективе человечество не как некое целое, сумму обитателей планеты, но как бесконечное единство их взаимных соответствий, а следовательно, как универсальное в своих стремлениях и своих ценностях, что прямо противоположно точке зрения всех фашизмов».

«Введение в философию истории» тоже выступало как философия свободы; я не отрицал, что человек, в особенности человек западный, является по своей сути «существом, создающим богов, существом конечным и не удовлетворенным тем, что конечен, неспособным жить без абсолютных цели или надежды». Но тот, кто хочет осмыслить свою жизнь и свою деятельность, должен сначала выбрать, работать ли ему внутри системы или отвергнуть ее. Разумный выбор предполагает сравнение между существующим строем и тем обещанным или предвидимым строем, который установили бы революционеры. Такое сравнение, на котором я всегда основывал свою позицию, Сартр неизменно отвергал. Он начинает с отрицания действительности, в данном случае — демократических капиталистических обществ. Даже если он время от времени признает между строк, что формальные свободы дают личности больше прав и гарантий, чем это делает «диктатура пролетариата», он отнюдь не ставит под вопрос привилегию революционности или революционный постулат. Между моим обдуманным выбором и его безусловной ангажированностью не могло возникнуть никакого соприкосновения, разве что случайно.

Все же не забудем одну оговорку: выбор той или иной политики не обязательно влечет за собой вступление в партию («Введение»). Мы оба, Сартр и я, применили на практике это различие понятий.

Я никогда не чувствую себя свободным от своего прошлого. Начиная с «Введения» я спорил с ним по этому вопросу. «Свобода никогда не бывает всецелой, прошлое индивида ограничивает поле, в котором действует личная инициатива». Я взял два выражения или два символа непрерывности нашего существования: угрызение совести и верность; первое побуждает к обращению, вторая — это то, чего требует ангажированность, приверженность идее или движению. Абсолютная свобода, возобновление этой свободы в каждый миг жизни мне всегда казались невозможными, противоречащими опыту других людей и моему собственному. Поэтому я всегда мыслил свободу как постепенное освобождение: «Освобождение приходит от сознания, которое порывает с ребяческими иллюзиями, признает мир таким, каков он есть, а не таким, каким его рисуют себе дети в своих мечтах или описывают родители».

Независимо от того, шла ли речь об обществах или индивидах, я употреблял слова религиозного звучания: приверженность, верность, обращение. «В историческом плане не существует революции, которая, как любое обращение, не изменила бы одновременно среду и людей. Происходит двойное освобождение: от действительности, являющейся продолжением прошлого, и от самого прошлого, которое становится иным, поскольку ведет к иному будущему и открывается новому взгляду. С другой стороны, следовало бы изучить значение и ценность верности истории, верности, которая не знакома ни революционерам — до того момента, когда, убедившись в своей победе, они вновь обращаются к традиции, — ни консерваторам, которые смешивают ее с неподвижностью. Эта верность с трудом поддается абстрактному уточнению применительно как к нациям, так и к отдельным людям, причем для первых она еще более необходима: народы, в самой глубинной своей сути, остаются подобными себе самим, неся неизгладимый отпечаток своей истории или природы, определивших их неповторимую судьбу».

Мы понимали по-разному и решение, и свободу, и смысл времени. Наши философские разногласия сами по себе не исключали диалога между нами; транспонированные в сферу политики, они сделали его фактически невозможным. И здесь разность наших подходов приводила к взаимному недоразумению: я с трудом постигал, как человек с таким умом может предаваться столь абсурдным измышлениям; ответом на

мою интеллектуальную критику была критика моральная: в качестве буржуа, согласного им быть, я — враг рабочего класса.

«История и диалектика насилия» имела весьма скромный издательский успех. Иначе и быть не могло: стиль этой книги, написанной со всей возможной ясностью (по крайней мере, мне так кажется), не избег профессионального жаргона, что помешало ей завоевать широкую публику. Ее перевели на английский язык; тон отзывов был двойственным. Немногочисленные философы в англо-американском мире, принадлежащие к сартровской секте, критиковали меня, впрочем беззлобно. Философы, не принадлежащие к ней, например Э. Гельнер, выразили удивление по поводу моего интереса к безосновательным домыслам, полным шума и ярости. Другие вполне справедливо отметили недостаточность некоторых анализов, только намеченных в общих чертах, по таким, например, вопросам, как соотношение между сартровской диалектикой и дильтеевским пониманием; доля, отведенная общественными науками тому, что недоступно пониманию; соотношение между онтологией Сартра и методологическим индивидуализмом.

Некоторые мои друзья (в том числе Леви-Стросс) заинтересовались моим скрупулезным разбором сартровского труда, во многих отношениях чудовищного, однако богатого блистательными анализами; я получил письма, тронувшие меня. Еще и сегодня эта небольшая книжка сохраняет нескольких приверженцев — среди них Жанна Эрш.

Морис Клавель написал несколько строк, значимость которых возрастала оттого, что их напечатал «Нувель обсерватер». Этьен Борн в статье «Два товарища» («Les deux camarades») воображает — возможно, впервые — диалог между нами, который показался бы немыслимым пятнадцатью годами раньше. «Написав книгу „История и диалектика насилия“, Арон дал нам самое изящное и вместе с тем самое строгое доказательство следующего факта: человек золотой середины имеет над экстремистом то преимущество, что понимает сам себя и экстремиста гораздо лучше, нежели преследуемый абсолютистской паранойей экстремист понимает его и самого себя. <…> Арон великодушно признает за своим ожесточенным противником поистине гениальную творческую мощь даймона[235], который, впрочем, нисколько не спасает того, в ком он живет, от глупости и заблуждений. <…> На последней странице „Критики диалектического разума“ мы читаем слова, выражающие ожидание и обещание: „если истина должна быть единственной“, то философу однажды откроется „глубинное значение Истории“. Но — и это заключение Арона — „радикально индивидуалистская

онтология Сартра не позволяет ему когда-либо достичь синтезирующей истины Истории“; возможно, еще решительнее запрещает ему это сделать воспринятое молодым Сартром наследие Ницше, с которого началась смертельная война между свободой и истиной и который объявил отчуждающей саму идею истины».

В заключение Э. Борн высказывал пожелание, чтобы Сартр, «разбуженный ароновской честностью от своего революционного догматизма, смог тоже перейти от воспоминаний к диалогу». Разумеется, диалог не состоялся. Сартр прочитал мою книгу. По словам Мишеля Конта, Сартр сказал ему: «Арон, по крайней мере, прочел меня». Зато в интервью на страницах «Нувель обсерватер» он обвинил меня в том, что я исказил его мысль с единственной целью лучше ее опровергнуть. В этом, пожалуй, меня не упрекнул ни один критик.

Дебаты «по доверенности»

Шумные послевоенные дискуссии затихли; а так как Париж не может жить без споров, то предлогом или темой для нас стали события, происходившие за рубежом. Интеллектуалы вступили в словесные схватки «по доверенности»: за спорящими сторонами стояли Куба, Чили, Португалия, советские диссиденты.

Я воздержался от комментариев по поводу большинства государственных переворотов — в Африке и других странах света, — столь частых, что стали банальным событием. Я сделал исключение для путча полковников [285] и, конечно, не жалею о статье в «Фигаро», озаглавленной «Трагедия в Греции» («Tragedie en Grèce»). Приняв все во внимание, я также не испытываю угрызений совести и перечитывая свою статью от 4 октября 1973 года, появившуюся на другой день после переворота, совершенного чилийскими генералами [286].

В статье, направленной против полковников, я дал волю своим чувствам: «Когда, в минувшую пятницу, я узнал о государственном перевороте в Греции, я испытал ребяческое желание снова стать студентом, чтобы иметь право громко выкрикнуть свое возмущение. <…> Несмотря на благодеяния, которыми будут похваляться новые хозяева („в Афинах царит порядок“), эта перипетия рискует оказаться трагической для страны, которая особенно дорога для всех любящих свободу людей и которая вызывает в памяти одну из вершин культуры, родину разума». Я напомнил о долгой распре между королем Константином и лидером парламентского большинства Георгием

Папандреу, которому монарх отказывал в доверии; о неспособности правых и центра договориться относительно временного правительства, которое провело бы новые выборы. Государственный переворот был подготовлен помимо монарха, которому, видимо, пришлось выбирать между подчинением и потерей трона. «Сказав, пусть и вынужденно, „да“, король ввергает монархию в авантюру, в конечном счете безнадежную. <…> Отказавшись сотрудничать с г-ном Папандреу, король Константин сыграл роль ученика чародея. Он хотел хитрить с Конституцией; полковники и генералы не остановились перед грубым насилием над ней. Пусть же они страшатся стать завтра, в свою очередь, учениками чародея». Последующие события не опровергли моих оценок и прогнозов: и монархия и полковники ушли со сцены. В «Фигаро» на мое имя приходили письма, в основном враждебные, иногда резкие: по какому праву я берусь судить политику страны, которая самостоятельно ищет путь к спасению и которую нисколько не волнуют вердикты безответственных интеллектуалов с большими претензиями.

Тьерри Монье привез в 1967 году из Греции серию статей, благожелательных по отношению к режиму полковников. Мои греческие друзья Костас Папайоанну и выдающийся деятель Константин Караманлис помогли бы мне не проявить слабость, если бы я нуждался в такой поддержке.

Я несколько раз встречался с Константином Караманлисом. Исполняя просьбу «Фигаро», обратился к нему по поводу интервью, но он отказал мне: время тогда еще не пришло для него выступить открыто; Караманлис был средством, к которому собирались прибегнуть в решающий момент (и он знал это), ему предстояло взять слово в тот день, когда греки будут расположены услышать его. Он не раз говорил мне: «Я подписался бы под всеми вашими статьями». Когда, в момент возвращения Караманлиса в Грецию, в «Ньюсуике» написали, что он посещал мои лекции в Сорбонне, это было рождением легенды. Я был бы горд носить имя его учителя, но я не был им[236]. И чему я мог бы его научить, чего он уже не знал?

Мое отношение к перевороту в Чили, стоившему власти и жизни президенту страны, навлекло на меня упреки, на этот раз слева. По правде говоря, мне вспоминается главным образом оскорбительное письмо заместителя главного редактора газеты «Нувель обсерватер» Ж.-Л. Боста, моего бывшего ученика в гаврском лицее в 1933/34 году.

Должна ли была эта статья возмутить человека левых убеждений? Еще и сегодня я так не думаю. В начале статьи я воздавал должное С. Альенде: «Жизнь и гибель президента

Альенде внушают одинаковое уважение. Верный до конца своей конституционной клятве, он не отказался от своего социалистического проекта и не отменил гражданских свобод. В конечном счете армия, а не левая коалиция, провозгласила осадное положение и прекратила на неопределенный срок действие демократии, которую долго ставили в пример странам Латинской Америки. Если бы качество душ восполняло качество идей[237], если бы глава государства отвечал только за свои намерения, то новейшая история Чили представляла бы собой контраст черного и белого: демоны с оружием в руках убивают добродетель, стоящую у власти». Я не уверен, что в своем похвальном слове либерализму президента Альенде не преувеличил заслуг человека, который связал свою судьбу с коммунистами и крайне левыми и который в последние недели своего правления не столь скрупулезно соблюдал личные свободы, как я об этом писал.

Отдав дань уважения президенту, погибшему в своем дворце с винтовкой в руках, я высказывал затем мнение, правильное или ложное, но которое разделяли и разделяют со мной другие люди, — что оба лагеря ожидали подобной развязки и готовились помериться силами и что общественное мнение предвидело эти события и опасалось их. Галопирующая инфляция, нехватка продуктов первой необходимости, карточная система, черный рынок, многочисленные то затихающие, то вновь вспыхивающие забастовки — таким предстал итог социализма по-чилийски. До этого момента мой анализ совпадал в основных чертах с тем описанием краха опыта чилийских левых сил, которое дали впоследствии левые экономисты.

Резкое повышение заработной платы, особенно самых низкооплачиваемых трудящихся, вначале вызвало заметное повышение экономической активности и потребления. Но на следующем этапе резко взлетели цены и возрос дефицит внешнеторгового платежного баланса. Классы, на которых болезненно отозвались реформы, социальные категории, травмированные угрозой национализаций, открыто выражали свое возмущение. Беспорядок, насилие, трудности со снабжением создали контекст, в котором та или другая враждебная сторона должна была нанести решительный удар.

Однако мой комментарий к действиям военных грешил снисходительностью, как, впрочем, и моя характеристика деятельности правительства Альенде. Репутация «уважающей Конституцию» чилийской армии была такой безусловной, что я ошибочно полагал тогда, будто вмешательство военных имело целью не столько остановить развитие социализма, сколько

предупредить гражданскую войну. Генералы, совершившие государственный переворот, до сих пор правят в Сантьяго; их предводители ставили себе задачу не только разогнать законное правительство и устранить марксистские и гошистские партии, но и установить новый строй, по их мнению прочный. Я ничего не знал о генерале Пиночете; большинство обозревателей во всем мире знали его не лучше. Перед нами был не такой переворот, который позволил бы через несколько лет заново наладить функционирование демократического строя; армия или, вернее, часть офицерского состава желала «излечить» нацию от марксистской болезни и «обновить» ее.

В течение первой фазы опыта Альенде ряд французских социалистов, в том числе Франсуа Миттеран, Гастон Деффер, совершили паломничество в Сантьяго и с воодушевлением обсуждали социализм по-чилийски. В связи с этим я предостерег читателей от недопустимого смешения понятий. «Чили — не Франция; чилийское Народное единство отличается по своей глубине от коалиции социалистов с коммунистами; французская армия не делегировала бы своего военачальника в левое правительство, чтобы это правительство укрепить[238]. Французские солдаты доказали в 1961 году, что умеют извлечь пользу из транзистора».

Рассеяв недоразумение, я перешел к урокам, которые можно было извлечь из чилийских событий: «То, что Франсуа Миттеран поспешил приветствовать опыт, закончившийся трагедией, не так уж важно; то, что он вступает в союз с компартией, тоже не имеет, на мой взгляд, решающего значения: гошисты МИР'а (MIR) беспокоили С. Альенде куда больше коммунистов. Главное — это общая Программа: можно ли начать ее осуществление, не вызвав при этом экономического кризиса, который вынудил бы правительство выбирать между своей отставкой и деспотизмом?»[239] В отличие как от левых, так и от правых, я отказался использовать чилийскую драму во французском споре.

В момент переворота я был в отпуске; мне не захотелось высказываться по поводу событий в далекой стране, которую не довелось изучать или посетить[240]. Я получил настоятельную просьбу от одного из членов «главного штаба» Луи Габриеля-Робине. Редакторы — по крайней мере многие из них — выразили открытый протест против статьи главного редактора, статьи примитивной, которая, судя по всему, одобряла главарей бунта, поскольку обвиняла их противников. Мой текст, насколько помнится, не встретил плохого приема у левых сотрудников газеты. Тремя неделями позже я дополнил и исправил его короткой заметкой, помещенной в левой колонке — мы называли

ее «свечой» — первой полосы. Я напомнил о своих высказанных ранее надеждах на краткое военное вмешательство, после которого солдаты предположительно вернулись бы в казармы, а избиратели к урнам. Однако «хунта, захватившая власть, лелеет более обширные амбиции. Информация, которой мы располагаем, при всей ее неполноте и возможной пристрастности, не оставляет, к несчастью, сомнений в насильственном характере их методов и скудости их идей». В заключение я обратился с призывом к «тем, кто подхватил опыт социализма по-чилийски»: им надлежало «занять сегодня твердую позицию, чтобы спасти людей, которым угрожают репрессии, и сохранить шанс третьего пути между двумя разновидностями террора». Я обратился даже к Генри Киссинджеру: «Пусть он даст понять хунте, что не репрессии, а постепенное восстановление законного режима гарантирует расположение Вашингтона». Согласен, что это заключение способно вызвать улыбку.

Португалия в еще большей степени, нежели Чили, стала предметом дискуссий, чуть ли не ставкой во французском споре. Что касается «Фигаро» и занятых мной позиций, то здесь, как мне кажется, все ясно и просто, и мне не в чем себя упрекнуть. Я мало соприкасался с Португалией: знал нескольких студентов, враждебно настроенных к Салазару; провел неделю у моего друга Франсуа де Роза, в то время французского посла в Лиссабоне; вступился в письме за племянника Робера Кальмана-Леви, замешанного в деле подпольной революционной группы. Французские власти предприняли ряд шагов в защиту юного Ульмана, отец которого уже много лет жил в Португалии и руководил там предприятием. Португальский посол в Париже подсказал мне, что мое письмо могло бы оказать влияние на решение Салазара, который один мог остановить судебное преследование Алена Ульмана, неизбежно закончившееся бы для того приговором к нескольким годам тюремного заключения. В ответ на свое обращение я получил от Салазара рукописное послание, которое воспроизвожу целиком: «Господин Раймон Арон, наш посол в Париже передал мне Ваше письмо от 1 марта по поводу французского гражданина г-на Алена Ульмана, обвиненного в некоторых действиях, означающих активное сотрудничество с одной из групп коммунистической партии. Несмотря на то, что следствие располагает доказательствами, правительство приняло решение изгнать его из страны, что и было приведено в исполнение 16-го числа текущего месяца. Мы давно хорошо знаем и высоко ценим семью Ульманов и ее положение в Португалии. Я счастлив, что решение оказалось именно таким, и надеюсь, что Вы увидите в нем доказательство

великодушия и в то же время понимания по отношению к нашим французским друзьям. Я прошу Вас, господин Р. Арон, принять выражение моего самого глубокого почтения». Неужели и в самом деле мое письмо возымело больше действия, чем ходатайство посла Франции, как меня уверяли Ульманы и посол Португалии?

Я рассказываю этот эпизод, несомненно не слишком значительный, чтобы сделать его достоянием биографов человека, который в течение полувека правил Португалией. Салазар ненавидел демократию, и его режим тоже, как и прочие, использовал тайную полицию. Называть его *фашистом,* сближать с Гитлером, Сталиным или хотя бы с Франко — значит отдавать дань демагогии или играть словами. Этот профессор политической экономии, которого армия привела к власти, чтобы покончить с хаосом, был человеком не нашего столетия. Гитлер и Муссолини хотели быть и действительно были революционерами; Франко взывал скорее к прошлому, чем к будущему, но, чтобы прийти к власти, ему пришлось вести беспощадную гражданскую войну с помощью гитлеровской Германии и фашистской Италии. Салазар получил власть из рук военных и до конца отстаивал христианскую Португалию, Лузитанскую империю 287, оставаясь глухим к лозунгам современности, таким как экономический рост, индустриализация, социальные дотации. Когда его сразил инсульт, от которого он уже не оправился, Лузитанская империя еще существовала; все молодые португальцы проходили трехлетнюю военную службу. Во время моего пребывания в Лиссабоне я был принят профессором Каэтано. У этого профессора права, не столь зависимого, как Салазар, от анахроничной идеологии, не оказалось ни времени, ни власти, для того чтобы порвать с салазаризмом. Его обогнала революция.

Я радостно приветствовал «революцию гвоздик» 288, но, поскольку революционный сценарий, очевидно, продолжал развиваться, указал на опасности поворота «от черного к красному» и возвращения «к сабле и кропилу»[241]. Я преувеличил опасность захвата власти коммунистами, объединившимися с левым крылом Движения вооруженных сил (MFA). В отличие от многих интеллектуалов, я не совершил паломничества в Лиссабон. С Марио Суарешем я встречался еще тогда, когда он, изгнанный из своей страны, жил во Франции. Ален Ульман представил мне его и просил оказать ему поддержку в получении университетского поста. В статьях о Португалии, написанных между 1974 и 1976 годами, я защищал социалистическую партию и не скупился на предостережения против заносов на повороте.

Двенадцатого октября 1974 года я предоставил слово одному из своих сорбоннских коллег, который, упрекая меня за то, что я

приветствовал падение салазаровского режима, делился своими давними воспоминаниями: «Я был в Лиссабоне в тот зловещий октябрьский день 1921 года, когда председатель Совета министров Антонио Гранжу и один из его министров были убиты в арсенале взбунтовавшимися моряками; но кто же помнит, кто же знает обо всем этом сегодня? В результате обычного обмана зрения новые поколения, незнакомые с той эпохой, воображают, будто Португалия была тогда мирной и процветающей страной, счастье которой злокозненно и беспричинно разрушил салазаризм». Одновременно мой коллега прислал мне отрывки из писем португальских преподавателей, разоблачавших «охоту на ведьм» в университетах. Никогда еще не было, чтобы революции, исправляя одну несправедливость, не вершили другую. Упреки моего коллеги не заставили меня переменить мнение. «Пусть Салазар и не был фашистом, но история вынесла ему приговор, потому что он не принадлежал своему времени и потому что он, подобно другим, душил гражданские свободы. В качестве экономиста он ставил превыше всего финансовую стабильность, даже если ради нее приходится жертвовать экономическим развитием. Бедность страны, полагал он, предопределена ее природой, с ней следует смириться, и она благоприятствует христианским добродетелям. Будучи сам бескорыстен, он поддерживал власть и богатство узкого меньшинства, которое не могло даже оправдать себя своими деяниями, поскольку премьер-министр предпочитал порядок опасностям перемен. В деколонизации Салазар видел только негативные стороны (выражаясь марксистским языком). Он обвинял правительства Европы в слабости или малодушии, а правительство Соединенных Штатов — в слепоте. Безразличный к „мировому общественному мнению“, непоколебимый в своей вере и своей истине, он боролся до конца за сохранение лузитанского мифа о многорасовом сообществе. Салазар умер раньше, чем его режим и его грезы рухнули под натиском действительности».

Французские дебаты, посвященные Португалии, продлились дольше, чем споры вокруг Чили. Во Франции никто (среди левых — само собой разумеется, но также и среди авторитетных выразителей мнения большинства) не одобрил чилийский государственный переворот. Сам президент Республики намекнул, вопреки дипломатическим обычаям, на внутренние порядки Чили, когда посол этой страны вручал ему свои верительные грамоты. Напротив, после того как французы, исключая незначительное меньшинство, с энтузиазмом встретили «революцию гвоздик», они тут же разошлись во взглядах. На левом фланге КПФ (PCF) поддерживала Альваро Куньяла, а

социалистическая партия (PS) — Марио Суареша. По поводу одного из инцидентов революционного периода вспыхнула дискуссия о свободе печати. Португальская газета «Республика», враждебная коммунистам и близкая к социалистам, перестала выходить, после того как типографские рабочие выступили в качестве цензоров по отношению к журналистам. А так как в это время коммунисты уже установили, по крайней мере частично, контроль за профсоюзами радио и телевидения и национализированным газетам также угрожала потеря самостоятельности, то дело «Республики» получило символическое значение, хотя рабочие, возможно, действовали не по указке компартии. Я откликнулся на инцидент с «Республикой», то же сделала «Монд» — в левой колонке первой полосы, отведенной ежедневной сводке событий за рубежом, — заключив сообщение следующей фразой: «Было бы справедливо, чтобы португальские социалисты обладали юридической возможностью иметь ежедневную газету, но нельзя не отметить, что у французских социалистов нет экономической возможности иметь свою».

Я счел это сопоставление лицемерным и лживым: ОПР (RPR) также не имеет многотиражной ежедневной газеты; что касается социалистической партии, то «Монд» служит ей более усердно, чем это делал когда-либо старый «Попюлер» или мог бы сделать новый.

«В любом случае *Франция — это не Португалия,* так же как *Чили — не Франция.* Социалисты беспрепятственно высказываются по радио, на телевидении, в печати — и это прекрасно. Они не имеют большой парижской газеты, потому что ее не имеет ни одна партия — ни ЮДР, ни независимые республиканцы».

На мою статью «Это не повод для смеха» от 23 июня 1975 года, а также на страстное выступление Эдгара Морена в защиту свободы печати ответил 1 июля Жак Фове. В книге, посвященной газете «Монд», Мишель Легри подробно проанализировал диалектику Ж. Фове в той полемике. Мне не хотелось бы утомлять читателя, воспроизводя целиком или частично длинную, путаную, поддельно скромную, туманную из-за обилия предосторожностей статью; ее недостатки типичны скорее для самого Фове, чем для редакторов газеты «Монд». Я часто задавался вопросом, почему Юбер Бёв-Мери назначил его своим преемником. Основатель или главный редактор печатного органа иногда спасает себя от забвения выбором преемника. Верно, что Ю. Бёв-Мери и Ж. Фове принадлежат оба к одной семье — к христианским демократам, эволюционировавшим влево, к социалистам, эмоционально настроенным скорее антиамерикански, чем антисоветски; вплоть до 10 мая 1981 года

«Монд» совмещала функции официальной газеты (или национальной трибуны) и газеты оппозиционной.

Я, в свою очередь, ограничился краткой репликой: «Если бы г-н Фове и „Монд“ удовольствовались утверждением, что революция в своей первой фазе не может позволить себе роскошь некоторых свобод, я согласился бы с тем, что именно так бывало часто в прошлом и что об этом стоит поспорить. Но мне кажется скандальной попытка найти оправдание португальскому эпизоду в совершенно иной, французской, ситуации. Вместо того чтобы изобретать задним числом революционную законность, почему бы г-ну Фове не поставить единственный настоящий вопрос: ведет ли революция MFA к свободной, то есть отражающей различные течения внутри общественного мнения, печати или же к печати советского типа?»

Движение вооруженных сил планировало двойную игру: сохранить за собой верховную власть и провести свободные выборы. После выборов депутаты, задачей которых было составление Конституции, стали все настойчивее требовать для себя реальной власти; военные колебались. Попытка или имитация попытки революционного захвата власти, возможно организованная секретными службами, плачевно провалилась и обозначила конец революционной фазы. Лирическая иллюзия уже давно развеялась, не вынеся соперничества между военными и гражданской властью, между Альваро Куньялом и Марио Суарешем, не пережив инфляции и забастовок, деколонизации и возвращения в страну сотен тысяч португальцев из Анголы и Мозамбика. Благодаря империи, Португалия сохраняла какой-то отблеск прошлого величия; сократившись до размеров собственной территории, она не имеет больше ни проекта, ни иллюзий. Европейское сообщество предоставляет ей скорее способ ухода, нежели возможность нового старта.

Примерно к тому же времени относится потрясение, которое парижская интеллигенция испытала благодаря Солженицыну. Я не стал бы участвовать в распрях левых интеллектуалов по поводу автора «Архипелага ГУЛАГа», если бы мои заметки в «Фигаро» о телепередаче «Апострофы» не разгневали Жана Даниеля. Личность *зека* глубоко поразила меня: пришедший из другого мира человек такого калибра, что подобных ему мало найдется среди четырех миллиардов жителей нашей планеты, он обращался ко всем нам, к каждому из нас. Ни Пьер Декс, ни Жан д’Ормессон даже не пытались играть активную роль в беседе. Жан Даниель раздражал меня, но вместе с тем я в некотором роде разделял унижение, которому он сам себя подверг, пытаясь

провести параллель между своей борьбой против французского или американского империализма и борьбой Солженицына против Кремля. Как мне объяснил один психоаналитик, я страдаю от предрасположенности к *entlehntes Schuldgefühl,* заимствованному чувству вины. Так, еврейский юмор, включая даже порой фильмы братьев Маркс, не вызывает у меня смеха; напротив, я мысленно ставлю себя на место осмеянного человека.

В редакционной статье, написанной 18 апреля 1975 года, я стремился выразить свои неоднозначные чувства; и сегодня еще не считаю, что вышел за рамки интеллектуального спора, борьбы мнений. Если Жан Даниель обвинил меня в преувеличениях, то что бы он подумал о статье Ж.-П. Сартра обо мне, опубликованной в мае 68-го? Отдаю мой текст на суд читателей: «Кому бы пришло в голову предложить в качестве собеседника Достоевскому, вернувшемуся из *Мертвого дома,* бюрократа или верного слугу бюрократии? Посожалев о том, что в беседе не принимает участия никто из членов коммунистической партии, Жан Даниель в недавней телепередаче приговорил сам себя к неблагодарной роли. Солженицын не политик, даже если его выступления, его книги, его жизнь представляют собой политические реалии, чрезвычайно весомые, ибо в них отразились его страдания и его гений. Убеждения Солженицына возвышаются над политикой, потому что принадлежат незаурядной личности и потому что они в конечном счете духовны: это вера в свободу и безоговорочная преданность истине. Спрашивая у автора „Ракового корпуса“ его мнение о текущих событиях, главный редактор газеты „Нувель обсерватер“ низвел диалог до обычного уровня парижских дебатов. Кто на Западе ведет такую же борьбу, как Солженицын? Ответ прост, ибо вопрос непристоен: никто. Ни правые, ни левые. Чтобы вести такую же борьбу, какую ведет он, нужно было бы встречать лицом к лицу такого же врага, подвергаться риску совершить долгий путь по лабиринту концентрационной системы, черпать в таких же испытаниях неодолимую силу сопротивления адской машине. Мы все писали статьи и книги в защиту независимости Алжира, и у нас нет оснований раскаиваться в этом. Как нет и права гордиться этим при встрече с автором „Одного дня Ивана Денисовича“. Разумеется, суждения Солженицына о Вьетнаме, Португалии или Чили спорны; возможно, изгнанник ошибается. Режим Салазара оставил после себя страну, больше половины населения которой неграмотно; чилийские генералы широко применяют репрессии и пытки; военные командиры в Португалии построят больше заводов и откроют больше школ, чем вчерашние хозяева. Северовьетнамские коммунисты, по крайней мере,

покончат с войной. Если Солженицын вызывает замешательство и негодование, это потому, что он затронул уязвимое место западных интеллектуалов, уличил их во лжи: если вы соглашаетесь с большим ГУЛАГом, говорит он им, то откуда же ваше добродетельное возмущение по поводу малых? Лагеря остаются лагерями — не важно, коричневые они или красные.

Уже пятьдесят с лишним лет западные интеллектуалы отказываются слышать этот вопрос. Они раз и навсегда решили для себя, что есть лагеря „хорошие“ и плохие: лагеря, преображенные святостью правого дела, и другие, которые являются лишь тем, что они есть. Большинство интеллектуалов Запада в той или иной мере совершают эту ошибку; они всегда готовы найти причины, чтобы кого-то извинить, а кого-то другого отлучить. Интеллектуалы, называющие себя левыми, совершают эту ошибку наиболее разительным образом; ее масштаб соизмерим с тем ГУЛАГом, существование которого они отрицали до последней возможности — самого чудовищного из всех, сокрытого в тени режима, объявляющего себя самым гуманным. Между человеком, которого волнуют единство левых сил, сотрудничество с его товарищами коммунистами, и зеком схватка была неравной. Но я не знаю ни одного француза, который не оказался бы потрясен величием Солженицына. И думаю, что миллионы телезрителей, несмотря ни на что, восприняли его послание — послание, в котором заключены любовь, вера и надежда, озарявшие лицо только одного этого человека».

Даже через несколько лет в своей книге «Эра разрывов» («L’Ere des ruptures») Жан Даниель ощущал мои слова как выпад против его личности, недостойный меня и несправедливый по отношению к нему. «Я не остался равнодушным к тому факту, что Раймон Арон, потеряв всякое хладнокровие, с несвойственной ему резкостью пришел в негодование, оттого что я не проявил достаточно благопристойности и не стушевался перед выдающимся человеком. Р. Арон не пожелал ни запомнить, ни понять ничего из содержания моих вопросов. По-видимому, он не нашел ничего интересного в ответах своего кумира, ибо упрекал меня в том, что я провоцировал эти ответы. Но в каком-то смысле, и хотя он сам об этом не подозревал, его наблюдение было верным. Благоговение мне претит. Я могу любить человека, восхищаться им, но не стану смиренно склоняться перед ним. Думаю, я не делал этого ни перед кем из тех людей, которыми больше всего восхищался в своей жизни. Ни перед кем».

Мне не удается обнаружить в моем тексте ни малейшего признака потери хладнокровия. И я вовсе не требовал от Ж. Даниеля, чтобы он стушевался. Я констатировал: сожалея о

том, что в беседе не принимает участия коммунист, он брал на себя «неблагодарную роль». Я не более, чем он, расположен согласиться со всеми суждениями Солженицына относительно обстановки в мире. Но Жан Даниель в то время еще не поменял свою окраску; он беспрестанно говорил о своих «товарищах коммунистах». Даже и позднее, в своей книге, он наделяет тех коммунистов, кого знал лично, такими высокими качествами, что всякое сближение между коммунизмом и фашизмом кажется невозможным.

Я не упрекал его за напоминание о других авторитарных, а также более или менее тоталитарных режимах, против которых он боролся. По французский интеллектуал, озабоченный сохранением «единства левых сил», был заведомо неправ в своем споре с Солженицыным: между ГУЛАГом Советского Союза и Португалией Салазара — сущностное различие. Я отнюдь не хотел принизить Жана Даниеля: я говорил, что величие его собеседника раздавило бы кого угодно. Упрекал же я его за нежелание признать кардинальную ошибку левых интеллектуалов. Во Вьетнаме Жан Даниель видел только одного врага — американский империализм, такой империализм, который ставил себе главной целью собственный уход. Солженицын видел во Вьетнаме, кроме того, новый коммунизм и новые гулаги, и он был прав. Жан Даниель достаточно честен, чтобы процитировать слова Солженицына о Вьетнаме: «Я находился в Советском Союзе в момент заключения Парижского соглашения; все мои друзья поражались, как можно принимать это соглашение всерьез. Посмотрите, что происходит сегодня. Предположим, что Южный Вьетнам напал бы на Северный. Разразилась бы буря, грянул бы гром, раздался бы вой со всех сторон. Южных контрреволюционеров обвинили бы в нарушении Парижских соглашений, даже если бы эти контрреволюционеры были прежде участниками Сопротивления, боровшимися против США; но вот Северный Вьетнам захватил Юг — и все ликуют. Или же предпочитают не заниматься этой проблемой, предлагают иностранцам как можно скорее уехать, покинуть Сайгон и даже Пномпень, потому что уже нельзя гарантировать их безопасность. А знаете, что для меня означает отъезд иностранцев? Это отъезд свидетелей, всех тех, кто мог бы увидеть, а потом вспомнить и рассказать обо всем том, что произойдет вскоре, когда победоносные войска войдут в города. Таким образом, отъезд свидетелей отсрочит на многие годы рассказ о той действительности, которую видел и я, но в другой стране».

Даже когда движение «Корабль для Вьетнама» причудливым образом сблизило или помирило некоторых людей, «Нувель

обсерватер» остался чужд сомнениям относительно правильности своей позиции (по крайней мере, насколько мне это известно). В защиту Севера и против Юга — иной позиции и быть не могло, если исходить из левых идей. Разумеется, вьетнамский Давид, выступающий против американского Голиафа, маленькие люди, воюющие против чудовищных машин, вызвали бы сочувствие мировой общественности, даже если коммунистический пропагандистский аппарат и не работал бы на полную мощность. Но Запад в своем сочувствии зашел так далеко, что забыл, какой строй и какой гулаг несли с собой маленькие люди.

Должен ли я считать самого себя невиновным? Я никогда не скрывал своих симпатий к Югу, но моим словам не хватало убежденности, потому что Ричард Никсон, сразу после своего избрания, смирился с уходом из Вьетнама. Как аналитик международной политики я принял к сведению решение, продиктованное силой, а кроме того — протестом американского народа против бесконечной и сомнительной войны.

Несколько недель спустя, в «Фигаро» от 12 июня 1975 года, я ответил «Свободной трибуне» газеты «Монд», перепечатавшей статью того же Солженицына. По его мнению, Запад проиграл третью мировую войну, даже не воевав. Проиграл потому, что люди всегда склонны «увековечивать процветание, жертвуя ему некоторыми своими иллюзиями». Таким образом, по Солженицыну, речь уже шла не о том, чтобы остановить третью мировую войну, — остановить следовало четвертую. «Остановить — или пасть на колени».

Возражая ему, я привел три аргумента. Экспансия коммунизма начиная с 1945 года связана с тремя важнейшими обстоятельствами: советизацией стран Восточной Европы, «освобожденных» русской армией; победой коммунистической партии и коммунистической армии в Китае; ликвидацией европейских империй, вследствие которой в некоторых странах, в частности во Вьетнаме, представился удобный случай для местной компартии взять власть и установить свой режим.

Вероятно, сразу после окончания последней мировой войны Запад мог бы помешать советизации Восточной Европы. В то время Соединенные Штаты обладали непобедимой мощью. По многим причинам, как политическим, так и моральным, дипломатия Вашингтона оказалась неспособной поменять врага за несколько недель, угрозами заставить своего советского союзника, окруженного ореолом победы над Третьим рейхом, уйти из Восточной Европы. Соединенные Штаты не совершили никакой ошибки, когда не вмешались в гражданскую войну в Китае; возможно, они виноваты в том, что торопили

деколонизацию, но в основном были правы. Разумеется, все эти события, взятые в совокупности, означают отступление, даже упадок Запада. Однако Запад не совершил предательства по отношению к самому себе, когда предоставил независимость народам, которые он колонизировал и подвергал эксплуатации.

Протест американцев против войны во Вьетнаме Солженицын трактовал как отказ «терпеть тяготы и тревоги далекой вьетнамской войны». Я возразил ему: «<…> если к этому отказу примешивалась доля „святого эгоизма“, то здесь была также и доля идеализма, неспокойной совести, сомнения. Народ, демократическая страна соглашаются воевать только при том условии, что чувствуют свою моральную ответственность, убеждены, что защищают какой-то жизненный интерес, или принципы, или по меньшей мере справедливое дело. Западные интеллектуалы отказывались видеть абсолютное зло в спартанском, безжалостном северовьетнамском режиме <…>».

Я еще раз напомнил по этому поводу о неизбежности некоторой аморальности внешней политики. Демократическое государство не может и не должно оставаться в неведении относительно внутренних режимов стран, с которыми имеет дело; но оно не может и не должно объявлять крестовый поход для распространения собственных институтов: «Везде и всегда сражаться с режимом, который мы считаем плохим, — значит идти на риск крестового похода, если мы нападаем, или — заранее проигранных баталий, если обороняемся». Я перечислил несколько конкретных вопросов, встающих перед западными министрами, на которые не существует категорического и очевидного ответа, например: торговать или не торговать с Советским Союзом? Поддерживать или не поддерживать Китай в противовес Советскому Союзу? Споря с теми, все более многочисленными в 1975 году, людьми, которые были склонны отодвинуть на задний план соперничество между Востоком и Западом, чтобы вывести на авансцену противостояние Север — Юг, я повторил тезис, от которого и ныне не отрекаюсь: «Какие бы голоса ни раздавались со всех сторон, историческое соперничество между Советским Союзом и либеральным Западом остается главной ставкой нашего столетия, невзирая на расхождения интересов Запада и третьего мира».

В 1977 году я опубликовал в сборнике в честь моего друга Эдварда Шилза статью «О правильном применении идеологий» («Du bon usage des idéologies»), в которой сочетал самооправдание с самокритикой, причем последняя преобладала над первым.

Разумеется, я повторил утверждение, которое высказывал уже много раз: марксизм, по крайней мере временно, остается

последней идеологической системой Запада, последней всеохватной системой. Марксизм указывает на источник зла (частное присвоение средств производства), на людей или группы людей, заслуживающих проклятия (капиталисты или капитализм как субъект Истории), на людей или группы людей, предназначенных Историей выполнить миссию искупления, или спасения. Диагноз «эрозия марксизма на Западе» был бы правильнее, чем «конец идеологической эры». Я поставил себе в вину смешение — не столько явное, сколько вытекавшее из всего, что я писал, — мирской религии и идеологии, мирской религии и фанатизма. Эрозия марксизма-ленинизма как мирской религии благоприятствует разумному подходу к проблемам, но в то же время позволяет расплодиться всевозможным сектам, умножает число тем, дающих повод для возмущения, словом, расширяет сферу протеста.

Я взял слово «идеология» в конкретном и ограниченном смысле, сближающем ее с мирской религией; это определение представляет больше неудобств, чем преимуществ. Фанатизм и милленаризм 289 бродят по Земле, иногда подкрепленные какой-либо системой тотального истолкования мира, иногда обходясь без нее. Наблюдатель, охватывая взглядом чередования систолы и диастолы 290, веры и скептицизма, изумляется тому, что одни и те же, много раз обманутые, надежды способны снова и снова побуждать людей бросаться на штурм тех же самых, иногда заново выкрашенных, Бастилий. Карл Мангейм в начале 30-х годов опасался, что стремление к трансцендентному уступит место смиренному приятию действительности. Сэр Карл Поппер и многие другие вместе с ним хотели, чтобы люди разумно, опираясь на научные методы, обсуждали возможные реформы социального порядка, который всегда несовершенен. Опасения К. Мангейма развеяны, пожелания специалиста по социальной инженерии остались втуне.

Политические дискуссии могли называться идеологическими даже в те века, когда люди с верху до низу социальной лестницы ссылались на трансцендентные принципы, на религиозные истины, — при условии, что мы включаем в идеологию теологические аргументы и церковные догматы. В нашу эпоху, когда общественные режимы не ссылаются больше на истину, данную Богом, на волю свыше, политика становится специфически идеологической, или, если предпочесть другое выражение, идеологические споры составляют сущность политики.

Старый режим не основывался на выводах из дебатов интеллектуалов. Легитимность монарха была неотделима от

церковной доктрины, легитимность знати опиралась на долгое прошлое. Как только люди поставили под вопрос или отвергли Церковь и традицию и была провозглашена суверенность народа, все партии, все социальные группы оказались вовлеченными в непрерывный спор об общественном строе, наиболее сообразном с господствующими идеями (свободы и равенства), строе, наилучшим образом способствующем богатству коллективов и благосостоянию индивидов. Структура этих оправдательных механизмов варьирует в зависимости от партий и эпох. На одном полюсе идеальный механизм сводится к более или менее строгой комбинации фактов и ценностей; на другом полюсе он выстраивается в системы, претендующие на всеохватность, которые выносят приговор настоящему и пророчествуют о будущем. Я применил термин «идеология» только к механизмам последнего типа; сегодня я задумался бы над тем, насколько это справедливо.

Несомненно, я испытываю некоторое замешательство, прежде чем включить в одну и ту же категорию сталинский катехизис и сравнительный анализ разных экономик, основанный на сопоставлении многочисленных параметров (личные свободы, производительность труда, распределение доходов, качество жизни и т. д.). С одной стороны, вся история человечества, если не вселенной, завершается бесклассовым социализмом (или социализмом, при котором остаются лишь неантагонистические классы); с другой — мы ставим проблемы, общие для всех современных экономик, рассматриваем различные решения, опираясь одновременно на теории и на опыт, чтобы уточнить вероятные последствия каждого из решений. С одной стороны, единство действительного и ценностей, претензия на предвидение будущего; с другой — дуализм того, что есть, и того, что должно быть, терпеливый поиск лучшего. Контраст показался мне столь разительным, что я не решился обозначить эти две позиции одним и тем же словом.

Что побуждает меня ныне, писал я в 1977 году, изменить свою терминологию, — это прежде всего многочисленные промежуточные случаи между идеальными типами; затем, существование других примитивных и непререкаемых ортодоксий, вышедших из враждебных марксизму-ленинизму доктрин; наконец, сходство тем, используемых социальными науками и пропагандой, непрерывная связь между самосознанием современных обществ, происходящим в процессе соперничества партий, и самосознанием, которым они обязаны так называемым научным дисциплинам. В режимах, именуемых социалистическими, связь приводит к отождествлению:

идеократический строй возводит в ранг государственной истины некую версию мира, извлеченную из марксизма или основанную на нем. Наши же западные общества не обладают ни обобщением своих знаний о себе, ни единым в*и*дением своего будущего, ни образом своего идеала.

Марксизм-ленинизм утверждает или, лучше сказать, декретирует некую универсальную истину, отказываясь проводить различие между тем, что он знает, и тем, чего он хочет; либерал или критический мыслитель, сознающий, какие ловушки расставляют ему собственные страсти, сознающий неоднозначность самой действительности, постоянно пересматривает свои гипотезы и свои оценки. Скептицизм ли это? Нисколько. Либерал терпеливо ищет истину; он никогда не поступится своими конечными убеждениями, то есть своими нравственными принципами, в той же мере как и принципами интеллектуальными. Я не был неправ, противопоставляя свою позицию позиции «истинно верующих», паствы мирских религий. Я был неправ, назвав одну из позиций идеологической, а другую — неидеологической. Лучше позаимствовать, видоизменив, один из заголовков Паскаля: *«О правильном применении идеологий»*.

XXIII
ГЕНРИ КИССИНДЖЕР И КОНЕЦ АМЕРИКАНСКОЙ ГЕГЕМОНИИ

В период между 1947 и 1958 годами большая часть моих комментариев в «Фигаро» была посвящена экономическим делам и ходу мировой дипломатии. Соперничество между партиями Четвертой республики меня мало интересовало, поскольку различные правительства, которые все были коалиционными, проводили примерно одну и ту же политику. Республиканский фронт, одержавший на бумаге победу после роспуска Национального собрания в 1955 году, сделал Ги Молле председателем Совета министров; именно этот деятель взял на себя ответственность за отправку в Алжир солдат срочной службы. По просьбе Пьера Бриссона я написал несколько статей на тему «Четвертой республике следует реформировать себя, чтобы выжить». В них рассматривались лишь те реформы, осуществить которые было возможно в рамках сложившегося строя, — что лишало их всякой значимости. На самом деле необходим был какой-то шок, какой-то национальный кризис, чтобы парламентская Республика капитулировала и чтобы без нарушения законности стала мыслима Конституция, подобная Конституции Пятой республики.

При правлении генерала де Голля меня считали «противником власти». Я не испытывал никакой ностальгии по «упраздненному режиму». Я не соглашался по тому или иному пункту с дипломатией Генерала, но в мае 1968 года у меня не было колебаний в выборе лагеря. Мои критические выступления, иногда несдержанные или обличительные, объяснялись отчасти тем, как я представлял себе обязанности, присущие эдиториалисту, отчасти моей склонностью держаться в отдалении от Государей, правящих нами, но прежде всего — моим несогласием с дипломатией Генерала.

В течение этих двенадцати лет постголлизма лекции в Коллеж де Франс и книги заняли мое время и определили мои интересы гораздо больше, чем сотрудничество в «Фигаро», а затем в «Экспрессе». Однако на протяжении 70-х были поколеблены все системы, установленные сразу же после войны, — Бреттон-Вудсская валютная система [291], межгосударственная система, гарантированная мощью и волей Соединенных Штатов, конфликтным сговором двух великих держав, ядерным превосходством Американской республики.

Удары, нанесенные им, показались внезапными, но они созревали с 60-х годов.

В период с 1969 по 1975 год авансцену постоянно занимал один человек — Генри Киссинджер. Я знал его лучше, чем любого другого американского государственного секретаря, лучше, чем любого французского министра иностранных дел, за исключением, пожалуй, Мориса Шумана. Сказал бы даже, без колебаний, что он был моим другом, если не забывать, что это слово меняет свой смысл в зависимости от возраста и среды. Ностальгию продолжают вызывать у меня друзья юных лет — Лагаш, Сартр, Гий, Низан, Кангилем, такие, какими они вошли в мою жизнь или стали частью моей памяти; мы делились между собой всем, что имели, не помышляя о каких-то расчетах, будучи равнодушными к видимому соперничеству. Чистота чувств или иллюзии молодости? Не знаю. Но даже если бы политика не разорвала эти дружеские узы, они бы износились; может быть, эти узы превосходили другие по силе и крепости, но они были иными; каждого связывают профессиональные занятия, семейные обязанности, меньше стало возможностей вести нескончаемые разговоры.

Дружба, которая возникает между людьми взрослыми, имеет совершенно иной характер. Манеса Спербера я впервые встретил в 1937 году в маленькой квартирке Андре Мальро на улице Бак. Наша дружба закалилась в страшные предвоенные годы. Она продолжается и по сей день, без перерывов, не ослабевая. Мы вели одну и ту же борьбу, против одного и того же врага; сердца наши всегда были вместе, даже если наши оценки не совпадали.

Генри Киссинджер нанес мне визит в конце 40-х годов, он только что окончил тогда Гарвардский университет, занимался журналом «Конфлюэнс» («Confluence») и летними курсами для иностранных студентов в Гарварде. Мы встречались время от времени в течение 50-х годов то в Париже, то в Соединенных Штатах. Издали я следил за его карьерой, был свидетелем успеха его книг, в особенности той, что принесла ему известность, — «Nuclear Weapons and Foreign Policy» («Ядерное оружие и внешняя политика»). Я оценил эту книгу, но, на мой взгляд, она не заслуживала премии, которой награждают лучшего ученика. Он выделялся в какой-то мере среди профессоров международных отношений благодаря своему обостренному пониманию превосходства политического над техническим.

Я виделся с ним в Кембридже, во время своего полугодичного пребывания в Гарвардском университете. Он пригласил меня руководить одним из своих семинаров[242]. Киссинджер испытывает ко мне уважение или, лучше сказать, не

распространяет на меня сознание своего интеллектуального превосходства, которым, как рассказывают, он склонен подавлять простых смертных. В силу разницы в возрасте он вел себя по отношению ко мне как младший, даже как студент. Студентом моим он никогда не являлся, но извлек пользу из книги «Мир и война». Ближе находясь, подобно мне, к истории, чем к научным моделям, он похвалил, как думаю, искренне достоинства этой книги[243].

Для меня не составляли секрета его карьерные устремления — что означало в Соединенных Штатах начала 1960-х годов получение важного поста в Вашингтоне. Он не отказывался от сугубо интеллектуального успеха, хотел быть первым также среди специалистов в области международных отношений и стратегии. Но, вероятно, он мог бы сказать, что политическая наука в своей настоящей форме не является самодостаточной. В данном случае действие значит больше, чем теория. Эйнштейн очень легко возьмет верх над инженером-специалистом по ядерной энергетике, но великий государственный секретарь возьмет верх над лучшим профессором международных отношений. С некоторыми оговорками я принимаю эту иерархию достоинств.

Предвидел ли я необыкновенную удачу «доктора Киссинджера» в джунглях Вашингтона? Конечно нет. Тем более не предвидел я и неуспех. Просто-напросто у меня были сомнения. Сумеет ли он взять верх над президентом, очаровать, обласкать журналистов, заставить сенаторов уважать себя? Может быть, я сказал бы «да», но уж конечно не поручился бы головой за это.

В период между 1969 и 1975 годами я не раз встречался с Киссинджером — в Париже и в Вашингтоне. Как помню, первый визит я нанес ему в Белый дом в 1970 году, в момент камбоджийского кризиса, второй — весной 1972-го, когда северовьетнамское наступление создавало угрозу для армии Южного Вьетнама. Он не забыл мой предыдущий визит, поскольку начал беседу, напомнив мне о нем: «Вы приносите бурю». Когда он делал остановки в Париже, то чаще всего приглашал меня на завтрак. Как-то АФП (AFP) 292 в своей телеграмме отметило, что Г. Киссинджер, будучи проездом в Париже, встретился с президентом Жискаром д'Эстеном и с Раймоном Ароном. Я редко упоминал о своих беседах с великими мира сего, ибо они были сравнительно редкими, ничего или почти ничего мне не давали. Пандит Неру уделил мне полчаса в 1953 году в Нью-Дели. Я храню живую память об этом человеке; но он не сказал мне ничего оригинального или секретного. Южнокорейский президент Пак посвятил мне добрый час и

гораздо больше меня заинтересовал; в особенности он говорил, проявляя здравый смысл, о разделе Кореи, напомнил, что в течение веков Корея оставалась разделенной на ряд царств.

В наших разговорах в период с 1969 по 1975 год Г. Киссинджер не сообщил мне ничего такого, что я не мог бы узнать из прессы или из болтовни. Несмотря ни на что, контакт с человеком, который вел переговоры с советскими, вьетнамскими, израильскими, арабскими представителями, помогал мне анализировать события. Мне внушал симпатию способ мышления Киссинджера, в собственном смысле слова «симпатизировать» — то есть ставить себя на его место, испытывать чувства, которые должен испытывать он сам. К тому же в беседах он охотно объяснял причины, по которым принимал ту или иную позицию. Впрочем, весь мир услышал речь в защиту почетного мира, напоминание о цене капитуляции. Даже со мной он не всегда говорил одно и то же по определенному вопросу, например, о важности или несущественном значении соотношения ядерных стратегических сил. В 1969 году он с недоброжелательством наблюдал за началом «Остполитик» Вилли Брандта 293. Читал ли он регулярно мои статьи? Не могу это утверждать. Вероятно, его сотрудники передавали ему время от времени те из статей, в которых содержалась критика или явная похвала в его адрес; лишь раз он ответил письмом на одну мою статью — речь шла в ней о Кипре. Я упрекнул Киссинджера в том, что он не осудил немедленно греческий государственный переворот, неявно проявил терпимость к этому выступлению, развязавшему интервенцию турецкой армии. Последовал обмен письмами. Что бы там ни было, наши отношения после окончания его царствования остались по своему характеру такими же, как прежде; я согласился войти в неформальную интеллектуальную группу, которую он создал по возвращении к частной жизни.

Проявил ли я в 1969–1975 годах по отношению к американской дипломатии большую снисходительность по причине моих личных отношений с одним из ее творцов?

Отношение золота и доллара, если судить по количеству статей, которые я написал на эту тему, заинтересовало меня сильнее, чем любая другая актуальная проблема. Нахожу два правдоподобных объяснения этого притяжения моих интересов. Первое — личное и политическое: дефицит платежного баланса Соединенных Штатов вызывал споры между французами и американцами, в которых я, исходя из профессиональных обязанностей, был склонен участвовать; второе объяснение имеет более интеллектуальный характер: валютная и ядерная системы

обладают, по крайней мере внешне, двумя общими чертами; в обоих случаях на заднем плане, в корнях находится чудовище или фетиш, действующий в его отсутствие, путем распространяемого им страха или вызываемой им почтительности: это бомба и золото; бомба умеряет страсти, пока она находится в шахте, золото, запас которого хранится в (американском) форте Нокс, составляет основание кредитной пирамиды. Если доллар не конвертируется в золото, то пройден последний этап на пути к абстракции: валюта перестает быть реальным богатством или соотноситься с реальным богатством, она становится талоном на покупку, который плохо распознается кредитом.

Нет нужды рассматривать технику дела; полагаю, что и неспециалист поймет без труда суть, если не тонкости движения механизмов. Доллар выполняет функцию транснациональной валюты, он котируется во всем мире, его можно обратить в любую валюту; эмиссию его осуществляют власти самой экономически мощной страны. Даже на мировом социалистическом рынке доллар часто используется в качестве расчетной валюты. Начиная с 1945 года доллар также можно было теоретически обратить в золото. Секретарь казначейства (США) письменно сообщил Международному валютному фонду о своем согласии на конвертируемость доллара в золото. В то время Соединенные Штаты обладали примерно 80 % мирового запаса золота в слитках и монетах, около 27 миллиардов долларов по курсу 35 долларов за унцию. Поэтому доллар стал выглядеть как эквивалент золота, обеспечивая Соединенным Штатам уникальное преимущество — приобретать за свою национальную валюту товары и услуги вне страны так же, как и внутри нее. С начала 50-х годов баланс внешних платежей Соединенных Штатов каждый год (исключение составил 1957 год) оказывался дефицитным, хотя дефицит был небольшим, порядка одного миллиарда; началось перераспределение золота, чего желали ответственные лица в Вашингтоне.

Именно президент Кеннеди первым проявил беспокойство в связи с этим дефицитом, он потребовал доклада от экспертов, например от профессора П. Сэмюэлсона. Последний выявил завышение цены доллара по отношению к валютам основных индустриальных стран; обменный курс их был установлен еще в конце 1940-х годов и после восстановления экономики европейских стран уже не соответствовал паритету их покупательной способности. Этот диагноз не стал достоянием гласности; да и экономисты не считали возможной желательную девальвацию. Европейцы тогда еще помнили о своей послевоенной слабости и не подходили с легким сердцем к

девальвации доллара, которая способствовала бы американскому экспорту.

В течение 60-х годов я комментировал время от времени споры — технический между (французским экономистом) Жаком Рюэфом и заокеанскими экономистами, политический — между генералом де Голлем и американскими руководителями. Ж. Рюэф вновь обратился к идее, которую он отстаивал в межвоенный период, подчеркивал отрицательные стороны золотодевизного стандарта, иначе говоря, использование какой-то национальной валюты в качестве эквивалента золота и в качестве резервной валюты. Дефицитный баланс внешних платежей Соединенных Штатов предполагал избыток в долларах, находящийся в распоряжении других стран, которые вкладывали эти доллары в сами Соединенные Штаты, например, в их казначейские бумаги. Названный дефицит не оказывал никакого дефляционного влияния на кредитную систему Соединенных Штатов, поскольку это государство, если можно так сказать, получало назад свои «бабки». Одни и те же средства служили дважды, в первый раз — для приобретения товаров и услуг за рубежом, в другой раз, по возвращении в Соединенные Штаты, — для увеличения денежной массы и, одновременно, поддержания инфляции. А поскольку в то время американские предприятия охотно покупали европейские предприятия или создавали свои зарубежные филиалы, то в уме главы французского государства само собой зрело обвинение: Бреттон-Вудсская система или золотодевизный стандарт предоставляли Соединенным Штатам несправедливые преимущества: эта страна оплачивала свои долги собственной валютой, а сверх того покупала иностранные предприятия за собственную валюту. К этому еще добавляли, что дефицит внешних платежей Соединенных Штатов являлся следствием внутренней инфляции и обусловливал распространение этого зла по всему свету.

В начале 60-х годов Ж. Рюэф не думал, что эта система, ложная в своем основании, сможет удержаться. Вспоминаю об одной беседе с ним, после моего пребывания в Гарварде, когда мы встретились в доме Поля Рейно. Я держал пари, что ничего не изменится до истечения срока президентства Кеннеди. По предложению Рене Руа я сделал сообщение по этой теме на его эконометрическом семинаре и рискнул высказать предположение, что еще в течение ряда лет Соединенные Штаты продолжат ту же политику, с незначительными изменениями, и что они сохранят возможность ее проведения. Они прекратят размен долларовых банкнот на золото в тот день, когда их золотые запасы упадут ниже какого-то определенного уровня, который я оценил на

глазок в десять миллиардов долларов (по официальной цене). Я не намного ошибался. Один из слушателей семинара, математик по образованию, написал мне милое письмо, вспомнил об Эколь Нормаль, о Центре социальной документации. Он задавался вопросом о значимости своих эконометрических исследований в условиях, когда решения государственных деятелей, по крайней мере на ближайший период, значат для валют гораздо больше, чем гибкость иностранного спроса на американский экспорт.

Лично я воздержался от любых категорических оценок и сохранил дружбу с Ж. Рюэфом и В. Баумгартнером, которые с незапамятных времен питали друг к другу стойкую неприязнь. Я так никогда и не узнал причины этой ссоры, начавшейся в годы их молодости; не стану пересказывать то, что один говорил о другом. Суждения каждого из них, касавшиеся его личного противника, казались мне одинаково несправедливыми. Резкий тон таких суждений всегда меня поражал, тем более что оба они обычно были снисходительными к себе подобным. Ж. Рюэф упрекал В. Баумгартнера за то, что тот рассуждает о вещах, лежащих на поверхности, и никогда не схватывает причины, не раскрывает механизмы; В. Баумгартнер упрекал Ж. Рюэфа в том, что он замыкается в концептуальном круге или в абстрактной схеме, теряя связь с действительностью.

Бесспорно, Ж. Рюэф, отстраненный после 1945 года от постов, которые соответствовали его способностям, расширил свои изыскания, дал набросок естественной философии систем и порядка, начиная с амебы или клетки и кончая национальными экономиками, даже мировой экономикой. Он ни разу не отрекся ни от своих исследований, ни от своей деятельности. Расстройство 1970-х годов в значительной мере подтвердило его предостережения. Лично я не верил в возможность восстановления золотомонетного стандарта, который рекомендовал также американский экономист Мильтон Джилберт, советник Банка международных расчетов, являвшийся единственным союзником Ж. Рюэфа, сражавшегося в одиночку. Была ли обусловлена невозможность такого восстановления политическим отказом американских руководителей? В этом вопросе события, вплоть до сегодняшнего дня, подтвердили мою правоту. Вытекала ли эта невозможность также из природы мировой экономики? Спор продолжается. Да и способны ли мы путем анализа отличить невозможность политическую от невозможности технической?

У меня не было уверенности в том, что золотодевизный стандарт — единственная или главная причина инфляционной тенденции мировой экономики, демократическо-

капиталистических обществ, но я подчеркивал два очевидных явления: Соединенные Штаты обладают привилегией — оплачивать свои внешние долги собственной валютой, — быть может, в долгосрочном плане опасной для них самих; они привыкают к дефициту внешних платежей и принимают его как нечто нормальное; одновременно они избавлены от ограничительных мер, которые обстоятельства и Международный валютный фонд накладывают на другие страны, имеющие дефицит. Эти два явления оставляют в подвешенном состоянии подлинные вопросы.

Завышенная цена доллара облегчила американские капиталовложения за рубежом и одновременно — европейский экспорт. Кто оказывался победителем, а кто — побежденным в этой игре? Фактически в такой стране, как Франция, филиалы крупных американских фирм способствовали росту нашей экономики; если даже американская фирма покупала какое-либо разорившееся предприятие, то разве страна не получала выгоду благодаря тому, что восстанавливалась рентабельность «захромавшей утки»? Средства, полученные от экспортных поставок американских филиалов, шли в доходную часть внешнеторгового баланса. Другими словами, в послевоенные годы американская привилегия — которую дополняла завышенная цена доллара — не наносила ущерба национальным интересам нашей страны.

К тому же, спрашивал я себя, чем можно будет заменить Бреттон-Вудсскую систему? Намерения американцев не оставляли никаких сомнений: они не станут возвращаться к золотомонетному стандарту, они демонетаризируют золото. Конечно, я не раз доказывал, что американцы не выбросят на рынок крупные партии своего золотого запаса, чтобы вызвать обвал цены на металл. Но они могут положить конец определению денежных единиц через содержание в них какого-то количества желтого металла. И начнется не виданный в истории эксперимент.

Внутри страны стоимость денег уже не зависит от количества золота, хранящегося в подвалах центрального банка, эта стоимость зависит от уровня цен, от объема товаров и услуг, которые на одну денежную единицу — талон на покупку — можно приобрести, от сделок с другими странами. В национальной экономике деньги более не привязаны к реальным товарам, которые на протяжении тысячелетий выполняли денежные функции. Золото, благодаря обратимости в него доллара, оставалось, на бумаге, фундаментом международной валютной системы. Необратимость доллара в золото сразу же

придавала международной валютной системе такой же абстрактный характер. Тем не менее доллар оставался центром, отсылочным элементом международной системы; его лишили короны, но он продолжал царствовать. Поэтому я неоднократно высказывал предположение, что французы и американцы играли в поддавки. Провоцируя видимое падение доллара — приостановление его конвертации в золото, — французы рисковали усугубить то плохое, что они осуждали. Менее чем через два года после (валютного) кризиса, разразившегося в августе 1971 года, американцы пошли до конца в своей доктрине и обеспечили себе полную свободу. Они в одностороннем порядке нарушили принцип Бреттон-Вудса, а именно — обеспечение устойчивости валютных курсов. На смену постоянным курсам как валют, так и золота пришли их плавающие курсы.

Руководители постголлистской эпохи остались верными доктрине, если не практике Генерала. Они продолжили критику валютного управления со стороны Соединенных Штатов, сами же всегда выступали за постоянные валютные курсы, против права, присвоенного себе Соединенными Штатами, оплачивать свои внешние долги в долларах, по определению неистощимых. Зато сразу же после избрания Жоржа Помпиду и возвращения Валери Жискара д'Эстена на улицу Риволи 294 франк был девальвирован. Тогда я одобрительно встретил это решение, которое открыло фазу сильного роста, продолжавшегося до 1974 года. Задним числом я спрашиваю себя, не были ли правы те, кто в ноябре 1968 года убедил генерала де Голля не девальвировать франк, — Ж.-М. Жаннене и Раймон Барр. Девальвация 1969 года стала питать инфляцию и приучила руководителей предприятий рассчитывать на заниженный курс франка по отношению к марке и к валютам, привязанным к ней. Более того, девальвация франка привела к созданию «компенсационных сумм»;[244] общая сельскохозяйственная политика никогда более не функционировала надлежащим образом: фактически она предполагала устойчивость обменных курсов.

Кризис 1974 года был логическим следствием событий 1960-х годов. Ни один из двух президентов-демократов — ни Дж. Ф. Кеннеди, ни Л. Б. Джонсон — не восприняли теорию некоторых экономистов, в соответствии с которой пассивный платежный баланс Соединенных Штатов отвечал природе вещей и к нему следовало относиться с безразличием и даже поощрять. Соединенные Штаты, являясь мировым банкиром, делают долгосрочные капиталовложения и получают краткосрочные кредиты. Фактически оба президента приняли частичные меры, направленные на сокращение внешних расходов (расходов на

содержание американских войск за рубежом), торможение вывоза капитала, уменьшение доступа на американский рынок иностранных заемщиков и т. д. Ни одна из этих точечных мер не оказала воздействия на общий платежный баланс Соединенных Штатов; более того, отказ Л. Б. Джонсона от финансирования войны во Вьетнаме из налоговых источников усугубил начиная с 1965 года американскую инфляцию. В 1971 году, в августе, Р. Никсону пришлось прекратить размен долларов на золото, он навязал девальвацию доллара по отношению к валютам крупных индустриальных стран. Если глядеть из сегодняшнего дня, то споры 1971 года вызывают скорее улыбку.

Европейцы критиковали с большей или меньшей резкостью пассивный характер американского платежного баланса, и в то же время они противились девальвации доллара, являвшейся лекарством, которое необходимо при этом дефиците. Настойчивость, с которой французы требовали того, чтобы доллар был девальвирован также по отношению к золоту, иными словами — чтобы цена золота была повышена, оправдывалась в той мере, в какой этот металл оставался фундаментом международной системы и все денежные единицы определялись содержанием в них золота. Хотя Никсон согласился во время встречи на Азорских островах поднять цену унции золота с 35 до 42 долларов, компромисс 1971 года долго не продержался. Советники президента, бо́льшая часть сообщества экономистов и деловых людей восстали против ограничений, которые налагала на них валютная система. Девальвация доллара, внешне выглядевшая как потеря престижа, представляла собой скорее освобождение и одновременно победу.

Глядя в прошлое, я удивляюсь тому, что посвятил такое количество статей темам, связанным с золотом, с долларом, с трансатлантическими отношениями, с международной валютной системой. Я испытывал, если можно так выразиться, историко-философский интерес к вопросу об исчезновении фундамента — реального товара — международной валютной системы. В то же время полутехнические-полуидеологические споры давали пищу для моей склонности к демистификации. Поэтому я не признал, что полностью была права или неправа та или иная сторона. Вероятно, статья под заголовком «У каждого своя правда», опубликованная 3 сентября 1971 года, нагляднее всего демонстрирует мою манеру, которая некоторых читателей несколько раздражала, а другим казалась увлекательной и поучительной.

В этой статье я рассмотрел решения Дж. Коннели и самого американского президента: отмену обратимости доллара в

золото, снижение в среднем на 10 % цены доллара по отношению к валютам главных конкурентов и установление 10 %-го налога на импорт в ожидании изменения обменных курсов. Событие это вызвало три типа реакции, которые три следующих выражения передают лучше, чем длинные речи: «Я же вам это говорил», «Цинизм и спокойная совесть», а в заключение — «Наконец-то свет на горизонте».

Первое толкование оказалось самым распространенным во Франции. Соединенные Штаты превратили свою собственную валюту в валюту транснациональную. Им не было дела до дефицита их платежного баланса, и они заставляли центральные банки главных стран хранить все возраставшее количество долларов, фактически неконвертируемых. В один прекрасный день центральные банки должны были отказаться от продолжения этой игры в шарики по нелепым правилам золотодевизного стандарта, иначе говоря, от размещения за океаном своих долговых требований в долларах, накопленных благодаря американскому дефициту. Говоря словами Жака Рюэфа, «Случилось то, что должно было случиться». Или еще: «А король-то голый!»

При втором толковании — «Цинизм и спокойная совесть» — акцент делался на грубость американской дипломатии, которая разрывает связь между долларом и золотом, соглашается с обесценением доллара на валютных рынках, не предпринимая девальвации в правильной и надлежащей форме, иначе говоря, не изменяя золотого содержания доллара. Президент Никсон хотел заставить немцев и японцев покориться оценке своих денежных единиц в долларовом исчислении. Там, где первая школа видит обвал доллара, конец валютной гегемонии, вторая школа обнаруживает другую форму господства Соединенных Штатов. Оценка какой-то валюты в долларах представляется то стратегическим отступлением, то капитуляцией.

Последняя формула — «Наконец-то свет на горизонте» — передает в неполной мере энтузиазм лондонского журнала «Экономист», который справедливо усмотрел в американских мерах близкий конец постоянных валютных курсов. Опыт лейбористского правительства, парализовавшего рост экономики ради сохранения, наперекор всем стихиям, нереалистичного обменного курса, объясняет, по крайней мере частично, пристрастие английского еженедельника к гибким обменным курсам валют, отвечающим духу рыночной экономики. «Экономист» воспользовался случаем, чтобы разоблачить нелепые убеждения, слепое упрямство французского правительства; в то же самое время журнал радовали трудности, которые в

результате появятся в общей сельскохозяйственной политике, неизбежные разногласия между немцами и французами. Упор делался на коренное обновление валютной системы: постоянные обменные курсы, время от времени изменяемые на значительный процент, уступают место курсам, которые сами денежные единицы будут находить по отношению друг к другу, без бюрократического декретирования, но благодаря арбитражу рынка.

Я не выбрал какую-либо одну из этих интерпретаций. Первая выражала истину: накопление долларов в иностранных центральных банках вследствие дефицита платежного баланса Соединенных Штатов не могло продолжаться бесконечно[245]. Колеблющиеся обменные курсы не казались мне ни чудодейственным лекарством, ни катастрофой: опыт покажет, сможет ли мировая торговля приспособиться к плавающим валютам. Вторая формула также содержала часть истины: Соединенные Штаты не хотели расставаться с привилегией, связанной с мировым курсом доллара; совсем напротив, они хотели, упразднив постоянные обменные курсы, сохранить это преимущество и устранить последние помехи их свободе.

Споры 1971–1973 годов утратили свое значение после войны Судного дня и четырехкратного увеличения цен на углеводороды. Неравное давление инфляции в различных странах сделало бы все более и более хрупкой систему фиксированных валютных курсов. Нефтяной шок после крупной инфляции 1972–1973 годов заставил бы, вероятно, принять плавающие курсы, хотя бы в качестве временной меры. Споры периода 1960–1973 годов терялись в прошлом.

Однако один вопрос иногда обсуждается и сегодня: почему центральные банки согласились поддерживать курс доллара и накапливать запасы в долларах, превосходившие их потребности? В одной своей книге г-н Ив Лолан объясняет поведение немцев и японцев тем, что их безопасность зависит от Соединенных Штатов и что сами они не финансируют свою собственную оборону. Поддерживая доллар, покрывая дефициты платежного баланса Соединенных Штатов, они выплачивают свои долги, равные по суммам тем средствам, которые им пришлось бы направлять на собственную оборону. К этому объяснению я бы присовокупил еще одно, скорее его дополняющее, чем ему противоречащее: завышенная цена доллара способствовала американским капиталовложениям за рубежом, но она способствовала также экспорту товаров из европейских стран. Развитие этого экспорта являлось постоянным и необходимым условием «европейского чуда»; и потому я не был неправ, когда делал предметом

насмешек французско-американскую борьбу, споры между парижскими и вашингтонскими руководителями по вопросам валютной системы: обе стороны вели игру, в которой побеждал проигравший. Ускорять падение доллара означало обеспечивать царствование доллара, свергнутого с трона. Упразднение золотовалютного стандарта означало не возвращение к золотомонетному стандарту, но демонетаризацию золота или по меньшей мере уменьшение его функции в международной системе и внедрение плавающих валютных курсов вместо постоянных курсов. То же самое, вероятно, случилось бы и без речей генерала де Голля, и при другой французской дипломатии. Остается добавить, что если Жак Рюэф и был в теории прав, то вплоть до 1965 года золотовалютный стандарт создавал наиболее подходящие условия для экономического развития европейских стран. Учитывая манеру мышления американских руководителей, следует предположить, что любая другая система была бы хуже. С 1973 года и вплоть до августа 1982-го, то есть до того самого момента, когда пишутся эти строки, десять лет спустя после громового удара Никсона, цена доллара колеблется, опускаясь ниже четырех франков и поднимаясь выше семи франков. Плавающие курсы, если даже они более или менее контролируются валютными учреждениями, конечно, не обеспечивают, по меньшей мере в краткосрочном плане, такого обменного курса, который соответствовал бы паритету покупательной способности денежных единиц. Валюты оцениваются то слишком высоко, то слишком низко, в зависимости от процентных ставок, движения капиталов и предвидений экономических агентов.

К какой системе скользит сегодняшняя практика? Не могу сказать. Оглядываясь ныне назад, убеждаюсь, что выбрал неудобную позицию. Я в достаточной мере согласился с тезисом Жака Рюэфа — и потому навлек на себя презрение большей части американских экономистов; я подверг достаточно серьезной критике официальные положения французского правительства — и потому возбудил подозрение у хранителей голлистской веры. Начиная с 1974 года иные лица стали упрекать меня в том, что я покорился силе вещей или воле Соединенных Штатов. Упрек этот по меньшей мере излишен, поскольку я неоднократно излагал стратегию, которая дала бы французскому правительству возможность достичь своих целей. Фактически наши руководители никогда не управляли внутренней экономикой в соответствии с их доктринами, касающимися международного валютного порядка. Жорж Помпиду принял план Вернера — план экономического и валютного единства Европейского сообщества,

заранее осужденный. Точно так же постоянная инфляция, которую он допустил, не придавала сторонникам фиксированных обменных курсов морального авторитета, за неимением мощи.

Перелистывая собрание статей в «Фигаро», я констатировал, с удивлением и с каким-то чувством вины, что, если можно так сказать, не прокомментировал первые этапы американской интервенции во Вьетнаме (Г. Киссинджер в начале своих «Мемуаров» признается, что и он не уделил большого внимания началу бесконечной войны). В первый раз имя Нго Динь Зьема я услышал в 1953 году, будучи проездом в Сайгоне, из уст генерального секретаря французской администрации. Высокопоставленный чиновник охарактеризовал Зьема как человека американцев, аннамского мандарина, принявшего католичество, представлявшего собой, по словам моего собеседника, последнее средство, последнюю карту. Этот разговор состоялся в октябре 1953 года, до Дьенбьенфу и Женевской конференции.

В первые годы после заключения Женевских соглашений предметом комментариев и дискуссий были трения между французами и американцами; наши союзники брали на иждивение некоммунистический режим Зьема, фактически яростно антикоммунистический, и одновременно устраняли французское влияние, даже французское присутствие. Национальную школу администрации заменил американский университет, он теперь должен был готовить чиновников для нового государства. Французские войска ушли первыми; затем места для новых пришельцев освободили советники и преподаватели. По крайней мере, именно так рассказывали французские газеты об исчезновении французов, которых унизил Вьетминь в Дьенбьенфу, вытеснили американцы.

«Свободные» выборы, предусмотренные Женевскими соглашениями, так и не состоялись. Меня это не удивило, не шокировало: и в Северной Корее, и в Восточной Германии коммунистические режимы не допускали свободных выборов. Позволил бы Хо Ши Мин Зьему организовать митинг в Ханое? Выдержал бы режим Зьема потрясение от митингов, проведенных Хо Ши Мином и его лейтенантами в Сайгоне или в других городах? Я недостаточно осмыслил тот факт, о котором часто напоминал своим парижским оппонентам в спорах во время войны в Индокитае: революционеры Вьетминя никогда не отступятся от цели, которую они провозгласили в первый же день своего предприятия: единство трех стран региона. Для них Кохинхина, Аннам и Тонкин принадлежали к одному и тому же

целому.

В 1954 году Вьетминь увел на Север часть своих приверженцев на Юге. Зьем сразу же стал преследовать коммунистов, чтобы их устранить или хотя бы обезвредить. К концу 1950-х годов коммунистическая партия Севера приняла решение возобновить войну против «марионеток», или «пособников» американского империализма. Когда Эйзенхауэр покидал Белый дом, в Южном Вьетнаме служило около тысячи (американских) военных; Дж. Ф. Кеннеди частично уступил настояниям совета начальников главных штабов трех родов войск, и число «советников» сразу же превысило пятнадцать тысяч. Почему он возложил на Соединенные Штаты обязательство оборонять некоммунистическое государство в Южном Вьетнаме? Верил ли он в теорию домино? 295 Намеревался ли он, как об этом рассказывает генерал де Голль в своих «Воспоминаниях», создать антикоммунистический защитный вал в Юго-Восточной Азии? И сегодня мне неясны мотивы, которым подчинялся Дж. Ф. Кеннеди. Лично я склоняюсь к несколько примитивному объяснению.

Само собой понятно, почему Соединенные Штаты оказали помощь правительству Зьема: простое применение доктрины сдерживания. Поскольку половина Вьетнама оставалась вне зоны коммунистического господства, именно эта, еще «свободная», половина интересовала Запад.

Европейцы, сторонники Атлантического альянса, в свое время одобрили действия американцев в Корее. Носили ли их действия во Вьетнаме такой же характер? Ответ зависел от многочисленных, слабо изученных, факторов. Известно, и это знают те, кто побывал в Южной Корее, что к югу от 38-й параллели существует некая целостность, государство, народ, готовый защищаться от агрессии Севера. Там существует корейский патриотизм, неотделимый от патриотизма антикоммунистического, который предполагает осуждение вторжения, совершенного 25 июня 1950 года, полностью оправдывает действия Гарри Трумэна и Дина Ачесона. Существовал ли в 1954, в 1960 годах какой-то южновьетнамский патриотизм? Имеются или отсутствуют основания для сближения случая с двумя Вьетнамами и случаев с двумя Кореями или двумя Германиями? Лично я не сомневаюсь в том, что восточные немцы, если бы им позволили свободно выразить свою волю, выбрали бы положение своих братьев, «эксплуатируемых капитализмом». И однако же, если бы западные немцы попытались с помощью военной силы объединить две части прежнего Рейха, то на Западе все, от правых до левых, назвали бы их поджигателями войны.

Поэтому мне не казалось правильным обвинять Соединенные Штаты в империализме за их участие в обеспечении выживания Республики Южный Вьетнам.

На наши позиции должно было повлиять еще одно рассуждение. Заслуживал ли защиты южновьетнамский режим? Был ли он предпочтительнее того, который несли с собой северовьетнамцы? Западная пресса, особенно американская, подвергла беспощадному осуждению нарушения демократических норм при южновьетнамском режиме. Читатели узнали об ужасах, которые творились в лагерях, — поскольку и на Юге были лагеря. Отсюда — вопрос: сражаясь за Южный Вьетнам, сражались ли Соединенные Штаты за стратегические позиции, за идеи Запада или же за сохранение своего престижа, как выразился Г. Киссинджер, за доверие к себе?

Лично я, насколько помню, склонялся к следующей позиции: для южновьетнамцев и для Соединенных Штатов было бы желательным выживание Республики Юга; но способны ли Соединенные Штаты довести до конца это предприятие? Может быть, цена этой войны окажется выше той ставки, которая на нее сделана. Другими словами, они рисковали совершить большее, чем преступление, — ошибку. Разрываясь между этими чувствами и этими аналитическими выкладками, расходящимися, даже взаимоисключающими, я стал искать убежище в одной из своих ролей — свидетеля людских безумств и бедствий.

У вьетнамской войны оказалось особое лицо, если сравнивать ее с предыдущими войнами за так называемое национальное освобождение или с кампанией в Корее. Дивизии Северного Вьетнама не пересекали демаркационную линию, как это в свое время сделали дивизии Северной Кореи. «Партизаны», которые вели «малую войну» на Юге, получали материально-техническую поддержку; кроме того, их ряды постоянно пополнялись бойцами, набранными и обученными на Севере. В ответ на агрессию Северного Вьетнама команда Л. Б. Джонсона впервые применила стратегию, основанную на доктрине эскалации и использования авиации. Американцы не стали искать на Севере скопления войск или промышленные объекты, чтобы уничтожить первые или завладеть вторыми; бомбардировке была подвергнута территория государства, с которым они не находились в состоянии войны, но которое снабжало и укрепляло силы сражавшихся на Юге.

Какое стратегическое значение имели эти бомбардировки? Сбрасывая бомбы на тропу Хо Ши Мина, американцы намеревались если не остановить проникновение северовьетнамских солдат на Юг, то хотя бы уменьшить их численность там. Вспоминаю разговор с Р. С. Макнамарой в

Пентагоне, примерно в 1966 году. По обыкновению он прибегал к схемам для иллюстрации своих идей, провел три линии, расположенные одна под другой: верхняя линия показывала число переходов с Севера на Юг при отсутствии бомбардировок; вторая — число переходов вопреки бомбардировкам; третья — число переходов, еще более ограниченное, которое было бы необходимо для решительного изменения хода операций. Бомбардировки, которым теперь подвергалась уже не тропа Хо Ши Мина, а территория Северного Вьетнама, должны были «наказать врага», опустошить неприятельскую территорию — возврат к практике многовековой давности. В прошлом столетии, во время завоевания Алжира, французы не отказывались от подобного рода методов, например, отравляя колодцы и лишая караваны питьевой воды. Л. Б. Джонсон и его команда дали знать Ханою, что намерены бомбардировать Север, если не прекратятся просачивания на Юг и снабжение Вьетконга. Применялась доктрина, разработанная специалистами в рамках ядерной стратегии, доктрина возрастающего применения силы, чтобы убедить ханойских коммунистов отказаться от своего предприятия.

Я проанализировал эту своеобразную форму ведения войны — бомбардировки, интенсивность которых постепенно увеличивается, направленные против подрывной деятельности, — скептически оценил эффективность данной стратегии. Воздушные налеты привели к разрушениям и людским потерям, но они не уничтожили город*а* (когда американцы, выступавшие в защиту Северного Вьетнама, посетили Ханой, после подписания Парижских соглашений, они с удивлением констатировали, что в основном город уцелел, он отнюдь не походил на ту груду развалин, которую они предполагали увидеть).

Что же касается психологического воздействия бомбардировок, то они оказались столь же неэффективными, как и в последней войне с Германией. Население «выстояло». Угроза эскалации не поколебала решимость северовьетнамского правительства. Оно не восприняло всерьез предупреждения, переданные ему через канадцев. У него не было сомнений относительно существования ограничений, которые американцы сами на себя накладывали. «Для того чтобы заставить поверить в демонетаризацию[246] золота, американцы должны были бы сами в это поверить. Для того чтобы устрашить северовьетнамцев, американцам следовало бы принять всерьез свою собственную угрозу довести дело до крайности. В обоих случаях послание наталкивается на недоверие получателя из-за скептицизма того, от кого это послание исходит» (6 марта 1968 года).

Несколько месяцев назад мои друзья Бруайели спросили меня, «одобрил» ли я американские бомбардировки с использованием напалма, — так им сказали, чтобы излечить от дружеских чувств, которые эта семья всегда ко мне питала. Вопрос этот по своей природе не отличается от того, что задали мне Д. Вольтон и Ж.-Л. Миссика: осудили ли вы пытки в Алжире? Я ответил, немного раздраженный настойчивостью моих следователей: прекраснодушие («eine schöne Seele») не в моем характере. В 1945 году я желал, чтобы Франция согласилась на объединение трех государств региона. В 1965 или в 1968 году существовала Республика Южный Вьетнам, которая казалась мне предпочтительнее тоталитаризма Севера; усилия американцев защитить эту республику, ведя «сомнительную борьбу», не были проявлением империалистической воли, а проистекали скорее из иллюзии всесилия. Что же касается напалма, то следовало ненавидеть его так же, как и пытки. Должны были бы или могли бы военные воздержаться от использования этих средств? Издалека на этот вопрос ответить легко: да, разумеется.

Борьба была тем более сомнительной потому, что американцы сами плохо себе представляли, за что они сражаются. Первоначально, в период между 1954 и 1960 годами, поддержка, оказанная Сайгону, была обусловлена автоматизмом политики сдерживания. В 1961–1962 годах Дж. Ф. Кеннеди, униженный поражением у бухты Свиней и беседой [296] с Хрущевым в Вене [297], старался показаться *tough* («крутым»), развеять иллюзии, которые мог питать Н. С. Хрущев, введенный в заблуждение плачевным началом его президентства. Л. Б. Джонсон, когда посетил Сайгон в качестве вице-президента, умножил вариации на тему падающих одна за другой фишек домино. По мере того как Соединенные Штаты увязали в тупике, президент и его советники все меньше понимали, почему они расточают такое количество людей и долларов, против кого и с какой целью они жертвуют таким количеством жизней и средств.

У. У. Ростоу, занимавший в Белом доме пост советника президента по международным вопросам после Макджорджа Банди и перед Г. Киссинджером, развил мне одну из тех теорий *weltgeschichtlich* (всемирно-исторического) значения, до которых он был охотник: Хо Ши Мин и вьетнамская экспансия представляли собой последнее выражение революционного романтизма. Американская победа над этим завоевателем-идеологом будет обозначать конец эпохи. Другие советники в Вашингтоне обнаруживали за спиной Хо Ши Мина лицо Линь Бяо и окружение города деревней, или китайский империализм; третьи видели империализм Кремля. Произошедшие с тех пор события показали

правильность последнего толкования.

Наступление в новогодний праздник Тет (в начале 1968 года) было неудачным для Вьетконга. Население нигде не присоединилось к «борцам за свободу». Эти люди совершили злодеяния, которые ничем нельзя было оправдать. Во рвах, которые вырыли по их приказу сами жертвы, нашли смерть сотни чиновников и видных граждан императорского города Хюэ. Мой друг Фам Зуи Хьем, посол Республики Южный Вьетнам в Париже в 1954 году, выпускник Эколь Нормаль (поведавший мне когда-то о своей юношеской любви, походившей на волнующий роман), распространил 13 апреля 1968 года по каналам АФП сообщение, в котором с негодованием рассказывал о поведении вьетконговцев в тех районах, которые они на несколько дней захватили: «Эти интеллектуалы упустили случай увидеть то, что осталось от такого числа простых служащих, безвинных работников администрации и их семей, от военных, находившихся в отпуске, от французских священников, от немецких преподавателей с их женами, — их погребли заживо, без признаков ран (к настоящему времени обнаружены примерно триста человек) или же убили после членовредительства и разнообразных пыток (примерно 700 человек), иногда несколько жертв были привязаны друг к другу колючей проволокой <…>». Это сообщение потонуло в безразличии и забвении. Дело революции облагораживало преступления Севера, усугубляло преступления Юга.

Начиная с 1969 года, когда к власти пришли Р. Никсон и Г. Киссинджер, я еще более замкнулся в своей аналитической деятельности. Республиканцы не несли никакой ответственности за то участие, которое Соединенные Штаты приняли во вьетнамской войне. Р. Никсон мог бы подчиниться требованиям Севера и добиться через пару месяцев мира, которого требовала общественность или по меньшей мере самые авторитетные ее представители. В чем состояли требования Севера? Они сводились к формуле: «коалиционное правительство», в которое, совершенно очевидно, не вошла бы «марионеточная банда» — Тхиеу и его окружение, иными словами, те, кто правил Республикой Южный Вьетнам и символизировал сопротивление. Члены «временного правительства Юга», созданного коммунистами, «третья сила», о которой говорили в столичных кафе деятели, находившиеся в оппозиции к Тхиеу, не являлись некими промежуточными звеньями или посредниками между людьми Сайгона и людьми Ханоя; будучи союзниками или пособниками Вьетконга, сознательными или бессознательными, они не отличались от приверженцев этой лиги или, если хотите,

не могли отличаться от вьетконговцев и членов коммунистической партии Севера. «Коалиционное правительство» подразумевало устранение южнокорейской власти, следовательно, капитуляцию Соединенных Штатов. Американская республика должна была бы заставить Тхиеу и его товарищей исчезнуть, иначе говоря, должна была бы от них отречься, признать, что своим существованием они были обязаны лишь благодати или мощи иностранной армии.

Р. Никсон и Г. Киссинджер не были в неведении относительно того, что избиратели ожидали от них окончания войны во Вьетнаме, но ни избиратели, ни даже члены Конгресса еще не поняли, что Северный Вьетнам требовал капитуляции Соединенных Штатов, едва прикрываемой формулой о коалиционном правительстве. Сам Г. Киссинджер рассказывает в своих «Мемуарах», что он рассчитывал достичь соглашения с Вьетнамом менее чем за год. Р. Никсон, обладавший большей проницательностью, в это слабо верил. Накануне своего назначения на пост специального советника по дипломатическим вопросам Г. Киссинджер кратко описал на страницах журнала «Форин афферс» два предполагаемых переговорных процесса, один — Соединенных Штатов с Северным Вьетнамом, другой — между двумя вьетнамскими правительствами. Быть участником второго процесса Север отказался, поскольку «не признавал» режим Тхиеу, который коммунистическое видение мира превращало в ничто, сводило к жалкой роли «марионетки» империализма. Поэтому в 1969 году, после того как стратегия республиканской команды стала известна, я правильно предсказал продолжение войны.

Так, 2 июля 1969 года я сначала подчеркнул невозможность политического соглашения между Ханоем и Вашингтоном: «<… > Если президент Никсон хочет одновременно уйти из Вьетнама и не дать врагу одержать политическую победу (правительство вьетконговцев в Сайгоне), ему нелегко будет найти замену режиму, существующему на Юге. Но северовьетнамцы постоянно и с одинаковым упорством отказываются от диалога с „сайгонскими марионетками“». Немного ниже: «Все происходит так, как если бы северовьетнамцы и Вьетконг рассчитывали на усталость американского народа, чтобы в конечном счете вырвать политическую победу. Поскольку решение на поле битвы отсутствует, война превращается в испытание силы воли. Ее выиграет тот, кто продержится последнюю четверть часа. Если через полтора года война не закончится, сумеет ли Никсон справиться с оппозиционерами, которые становятся все более многочисленными и неистовыми?» И в заключение: «Имеется ли у

американцев, сегодня, как и вчера, при Никсоне, как и при Джонсоне, выбор, не ограничивающийся лишь политическим поражением или продолжением военных действий? Быть может, появится третий путь — в тот день, когда северовьетнамцы убедятся, что их неприятель столь же терпелив, как и они сами. Но какое чудо заставит их в этом убедиться?» Другими словами, я правильно сформулировал альтернативу: поражение или продолжение войны.

В 1972 году, после неудачного наступления северовьетнамских дивизий через демилитаризованную зону, я выразил надежду на то, что дипломатия Северного Вьетнама изменится, что он пойдет на соглашение с американцами без упразднения режима Тхиеу, иначе говоря, согласится на прекращение огня без политического решения, на урегулирование, от которого северовьетнамцы до сих пор отказывались. Действительно, в октябре 1972 года они сделали кардинальную уступку; отталкиваясь от нее, переговоры должны были привести к урегулированию, которые только члены норвежского комитета по нобелевским премиям приняли за мир. Южновьетнамское правительство сохранялось, но закрепившиеся на Юге войска Севера, наличие которых там Ле Дык Тхо отрицал, оставались на месте. «Шкура леопарда» — так называли тогда южновьетнамский ландшафт, образовавшийся после заключения Парижских соглашений.

Известна судьба этих соглашений, подписанных в 1973 году: два года спустя крупные военные соединения Северного Вьетнама перешли через демилитаризованную зону. Тхиеу отдал приказ об отступлении, чтобы уменьшить протяженность линии обороны и укрепить ее. Отступление превратилось в разгром, и через несколько дней коммунистическая партия добилась цели, ради которой она развязала в декабре 1946 года войну против французов, — объединения трех стран региона при режиме советского типа.

Г. Киссинджер представил Парижские соглашения как успех, на который почти невозможно было надеяться. Р. Никсон и его советники до самого конца не соглашались на капитуляцию, то есть на устранение правительства Тхиеу, которое они поддерживали ряд лет и за которое сражались. Брать на себя ответственность за его изгнание было бы бесчестным. Провести переговоры с Северным Вьетнамом, оставив Тхиеу шанс на выживание, — в этом и заключался почетный мир. «Президент Никсон и его советники не отказываются категорически „проиграть войну“, если приход к власти Вьетконга определяет поражение; они хотят сохранить шанс ее не проиграть — и,

главное, не отступиться от взятых на себя обязательств. Навязать Сайгону коалиционное правительство означало бы предательство. И поражение превратилось бы в катастрофу, если бы Соединенные Штаты предали своих союзников или позволили предположить предательство. В любом случае они потеряли бы нечто гораздо большее, чем победу в ограниченном конфликте, Вьетнам или лицо, они потеряли бы доверие своих друзей и уважение своих врагов», — писал я в «Фигаро» 30 октября 1969 года. Суждение не принадлежало мне, я воспроизводил защитительную речь Г. Киссинджера, которую услышал, как и многие, из его уст. В этой же статье были затем приведены несколько строк из брошюры Роберта Кеннеди: он также считал невозможным, пагубным немедленное и безоговорочное отступление Соединенных Штатов. «За пределами Азии внезапное и одностороннее отступление вызвало бы сомнения относительно „возможности доверять Соединенным Штатам“».

Почему, скажут мне, вы не посоветовали Соединенным Штатам принять «радикальное решение», так же как выступали за алжирскую независимость или по меньшей мере за право алжирцев на независимость начиная с 1957 года, когда «мятежники», или участники сопротивления, только начинали организовывать свои отряды?

В Алжире французы хотели сохранить полностью или частично колониальное положение; я полагал, что так называемые либеральные решения, промежуточные по характеру, также приведут к независимости. Рекомендуя признать право алжирцев на независимость, я исходил из тех же самых принципов, на защиту и прославление которых Франция претендовала, — права народов на самоопределение. Случай Соединенных Штатов во Вьетнаме был совершенно иным: американцы не хотели там оставаться, хотели оттуда уйти, они защищали правительство, обладавшее независимостью, по меньшей мере на бумаге. Имело ли оно народную поддержку? Ответ отнюдь не был очевидным. Желал ли народ Юга, чтобы его «освободили» братья с Севера? Конечно, он не принял участие в своем собственном освобождении; режим Тхиеу выбросило на задворки истории военное наступление. Правда, политическая оценка этой войны зависела также от способности Американской республики выдержать до конца подобное испытание: ошибка, неосторожная стратегия могут выглядеть преступными, когда дело идет о государственном деятеле.

Если бы я присоединил свой голос к бесчисленным голосам тех, кто славил сопротивление Северного Вьетнама и обрушивал свой гнев на американский «империализм», то оказался бы в

странной компании. Соединенные Штаты, на мой взгляд, совершали (или совершили изначально) ошибку, бросив свои силы и свой престиж на рисовые поля Вьетнама. Но должны ли были они морально, могли ли они политически капитулировать в 1969 году, то есть сами поставить правительство, подчиненное Ханою, чуть замаскированное коммунистическое правительство? Может быть, Киссинджер задним числом признает, что для Соединенных Штатов было бы предпочтительнее покончить с этой фатальной авантюрой скорее в 1969, чем в 1973 году. Четыре дополнительных года усугубили беспорядки и споры внутри республики. Конечный итог был бы менее отрицательным. Но я в этом не уверен. Во всяком случае, Киссинджер мог бы ответить, что, если бы не уотергейтский скандал, Северный Вьетнам не предпринял бы генеральное наступление через два года после соглашений 1973 года. Парижские соглашения не спасали раз и навсегда Республику Южный Вьетнам, они подразумевали ее существование, которое Северный Вьетнам тем самым впервые признавал.

Разумеется, никто не зажег праздничные огни 26 января 1973 года [298]. Свою статью я озаглавил «Станет ли перемирие миром?» и написал в ней: «Конец этой войны или конец одной войны? Никто не может это сказать. Будущее зависит от намерений, от мудрости тех и других. К тому же президент Тхиеу и Временное революционное правительство найдут, если захотят, бесчисленное количество поводов для взаимных обвинений в нарушении соглашения, которое, вероятно, нельзя проводить в жизнь и конечно же нельзя контролировать. Однако забудем, хотя бы на миг, строгость анализа, не играя при этом в выразителей всемирной совести, как это нравится делать некоторым из моих собратьев, которые сами себя наделяют моральным авторитетом. Поскольку все мы испытываем какое-то физическое облегчение, надежда для нас не исчезла. Быть может, вьетнамцы, предоставленные самим себе, совместно, интуитивно найдут тайный путь к миру, который одним лишь разумом невозможно распознать».

Увы, и на этот раз истину открывал нам разум.

Несколько месяцев спустя урегулирование кризиса, вызванного войной Судного дня, еще более повысило престиж Генри Киссинджера, серого кардинала, который обращал на себя все лучи света и отодвигал в тень персону номер один. Во Франции война Судного дня разделила французов, хотя и не вызвала страсти, сравнимые с теми, что бушевали накануне или после Шестидневной войны.

В 1967 году я посчитал Насера главным виновником битвы, хотя первый удар был нанесен Израилем. В 1973-м, на мой взгляд, роли поменялись. Садат хотел провести операцию, готовил ее, определил время ее начала, застал врасплох израильтян, но израильская дипломатия не оставляла ему другого выхода. Политический класс Израиля, разделенный на ястребов и голубей, на сторонников и противников великого Израиля, неспособный предложить своим врагам какое-то урегулирование, пошел по линии наименьшего сопротивления; он решил оставить израильскую армию на месте и предложил арабским странам вступить в прямые переговоры с еврейским государством. Речь шла о переговорах без предварительных условий, предметом обсуждения на которых были бы все ставки конфликта. Израильтяне, разумеется, понимали, что арабы отвергнут приглашение: после катастрофы 1967 года какой-либо диалог походил бы в глазах последних на капитуляцию.

Мне вспоминается проходившая в 1971 году в Иерусалиме беседа с членами полуофициального комитета, которому было поручено изучить перспективы военного и политического развития в регионе на ближайшие десять лет. Садат, говорил я им, не может бесконечно откладывать час реванша: или Египет каким-то образом взорвется изнутри, или же он взорвется, совершив нападение на внешней арене, чтобы добиться успеха, без которого сам Садат не сможет вступить на путь мира. Поэтому не можем ли мы предоставить ему какую-то «маленькую победу»? В 1973 году эта маленькая победа могла бы превратиться в большую.

В одной из предыдущих глав я коснулся моего диагноза текущего момента: египтяне захватили врасплох израильтян, переправились через Канал, не встретив сопротивления, дали отпор преждевременному контрнаступлению израильской танковой бригады, которая хотела уничтожить плацдарм. В первые дни сражения я принял участие в телевизионной дискуссии вместе с Ж.-Ф. Каном, Ж. Сюффером и Э. Саблие, выразил сомнение в способности израильтян отбросить египтян на другую сторону Канала до прекращения огня.

Глядя назад, я восхищаюсь стратегией Садата и действиями Киссинджера во время кризиса. Египетский президент оказался в тисках, он не мог вести переговоры с Израилем, не теряя лица; он не верил, что обладает средствами, достаточными для решающей победы над своим врагом. Поэтому Садат подготовил сражение, имевшее ограниченную цель. Умножая маневры, он усыпил, если можно так сказать, бдительность израильтян, и ему удалось, так же как и тем в 1967 году, добиться неожиданности удара.

Израильская армия еще не была отмобилизована; приказ о мобилизации был отдан лишь утром того дня, когда началось наступление сирийских и египетских войск. На Голанском фронте Израиль спасли героизм и маневренное превосходство нескольких десятков танков, противостоявших нескольким сотням сирийских танков. После перехода через Канал египетские войска могли бы, вероятно, овладеть перевалами, если бы Садат согласился с мнением военного командования и не проявил чрезмерной осмотрительности. Возможно, военную ошибку предопределили политические соображения. Садату нужен был военный успех, который стер бы унижение 1967 года, он не рассчитывал на реванш, равный катастрофе 1967-го. Великое танковое сражение развернулось, когда израильская армия, полностью отмобилизованная, смогла перебросить основную часть своих танков на Синайский фронт. Смелый бросок генерала Шарона в центре фронта открывал израильтянам возможность окружить Вторую египетскую армию. Г. Киссинджеру удалось навязать перемирие до разгрома окруженной армии. Ему не нужна была громкая победа Израиля: он отложил оказание помощи Израилю, принял решение о ее предоставлении лишь в тот день, когда Израиль, исчерпав запасы снаряжения, оказался перед лицом реальной и смертельной опасности.

Кто же выиграл? Израиль выиграл в том смысле, что нанес бо́льшие потери, чем испытал их сам: еще бы несколько дней, и ему удалось бы разгромить одну из египетских армий, перешедших через Канал. Тем не менее первоначальные успехи египтян стали предметом их гордости; неопределенности конечного результата было достаточно, чтобы создать условия, необходимые для мирного израильско-египетского урегулирования, при отсутствии глобального урегулирования с участием всех арабских государств.

За мою статью от 6 ноября 1973 года, озаглавленную «Поражение победителя» («Défaite du vainqueur»), единоверцы наградили меня более или менее оскорбительными письмами. Я обобщил критику, которой подвергал начиная с 1967 года израильскую политику: «Поставив свою армию на Суэцком канале, правительство Иерусалима бросало вызов Советскому Союзу и в какой-то мере самой Западной Европе. Оно лишало Египет синайской нефти, доходов от Канала. Оно укрепляло солидарность между Египтом и богатыми странами Персидского залива, оно подталкивало Советский Союз к большей вовлеченности; оно не позволяло никакому египетскому правительству бесконечно терпеть ситуацию». Я повторил, говоря о военной стороне дела, те возражения, которые сформулировал

уже в 1967 году в моих беседах с израильскими генералами, — против установления линии фронта по Каналу, лишь по видимости, а не в действительности являющемуся естественным оборонительным рубежом. В 1973 году израильтянам впервые понадобилась американская материально-техническая помощь непосредственно во время военных действий. Они получили эту помощь в последний момент, и их зависимость от Соединенных Штатов стала еще более очевидной.

Факт, который, вероятно, должен был бы более всего поразить израильтян в эти дни испытаний, заключался в том, что все европейцы отказались предоставить свои аэродромы Соединенным Штатам для организации воздушного моста — все европейские страны, за исключением еще не знавшей «революции гвоздик» Португалии, которая разрешила американским ВВС использовать свои базы на Азорских островах. Для израильтян в вопросе снабжения счет шел на дни, если не на часы. Ни одна из крупных европейских стран не пошла на риск вызвать раздражение арабов, производителей нефти, каким-либо своим участием, даже самым незначительным, в спасательной экспедиции. Генри Киссинджер не скрыл своего «презрения», своего «отвращения» к трусости европейцев. Они же испытали чувство унижения: диалог великих держав проходил за их спиной, независимо от того, вел ли он к столкновению или к сговору.

Г. Киссинджер показал себя необыкновенным манипулятором. Когда Советский Союз стал угрожать вмешательством десантных дивизий, которые были бы доставлены прямо на театр военных действий, Киссинджер посреди ночи убедил президента привести в состояние боевой готовности систему военных баз Соединенных Штатов во всем мире. Одновременно он полетел самолетом в Москву и договорился с Л. Брежневым о прекращении огня, лишив Израиль какой-то доли его победы, — чего госсекретарь всегда желал, хотя никогда об этом не говорил. Затем благодаря неутомимым челночным разъездам между Иерусалимом и Каиром он положил первые камни в основание израильско-египетского урегулирования. Тогда этот человек, проводивший переговоры то с Чжоу Эньлаем, то с Мао Цзэдуном, то с Л. Брежневым, то с Ле Дык Тхо и всегда добивавшийся — по истечении часов, дней, месяцев или лет — соглашений, выглядел благодаря массмедиа как какой-то чудодей. Руководители двух африканских стран, находившихся в конфликте, собрались прибегнуть к услугам этого разъездного дипломата. Тарпейская скала никогда не

находится далеко от Капитолия.

Четырехкратное повышение цен на нефть, временное эмбарго, наложенное нефтедобывающими странами на Соединенные Штаты, выдвинули на первый план энергетический кризис [300]. Случившееся во Вьетнаме сразу же после ухода оттуда американских войск превратилось в незначительный эпизод исторической экспансии марксистско-ленинского движения. Попытки Киссинджера оживить Атлантический альянс привели лишь к появлению незначительных документов. Беспричинную стычку между Парижем и Вашингтоном, между Мишелем Жобером и Генри Киссинджером вызвал вопрос о создании «Агентства по энергии» («Agence de l'energie»). Пресса сообщала о несдержанных выражениях, которые поочередно допускали по отношению друг к другу оба министра иностранных дел. Франция отказалась войти в «Агентство по энергии»; участие или неучастие — я не видел смысла ни в том, ни в другом решении. Предметом другого схоластического спора стали формы совместной дипломатии европейцев по отношению к Соединенным Штатам. Следовало ли консультироваться с американцами перед принятием Девятью членами ЕС общей позиции? Соединенные Штаты не хотели оказываться перед лицом европейского блока, прежде чем голос американцев не был бы предварительно услышан их партнерами по Североатлантическому пакту. В 1974 году, если не ошибаюсь, чиновники Госдепартамента пригласили меня выступить в «Secretary of State Club» [301]. Секретарь клуба попросил меня назвать тему моего сообщения. Немного подумав и посовещавшись с «ответственным лицом», я предложил формулу: «Why has the Secretary of State forgotten the ideas of the professor Henry Kissinger?» («Почему государственный секретарь забыл идеи профессора Генри Киссинджера?») В самом деле, г-н Киссинджер не боялся писать в своей книге, которая во французском переводе называлась «Malentendu transatlantique» («Трансатлантическое недоразумение»), что Соединенные Штаты не могут рассчитывать на одобрительное отношение к ним, автоматическую услужливость объединенной Европы. Госсекретарь плохо переносил попытки отстоять свою независимость, которые он, будучи профессором, предвидел и заранее объявлял неизбежными и здравыми. Лучше иметь верного и трудного союзника, чем какого-то сателлита, внутренне бунтующего.

Администратор клуба предупредил, что меня придут слушать несколько десятков человек; меня ожидали примерно сто — двести чиновников, сидевших или стоявших. Вероятно, некоторым из них доставили удовольствие те непринужденность

и ирония, с которыми я говорил, противореча их шефу. Вероятно также и то, что мои слушатели походили на всех других американских слушателей, к которым мне доводилось обращаться: аудитория выражает свою добрую волю, склонность согласиться в данный момент с оратором — даже если с той же благожелательностью отнесется затем к оратору, излагающему противоположное мнение. Это заседание — доклад и вопросы — оставило у меня приятное воспоминание.

Меня мало взволновали сами по себе эти дипломатические бури. Что касается отказа европейцев предоставить свои базы американской авиации для снабжения Израиля, то я представил его как ответ на дипломатию, сосредоточенную на диалоге с Москвой и Пекином, без согласования с европейцами. Презрение госсекретаря, обоснованное или необоснованное, не подобает ученику Меттерниха или Бисмарка. Более того, он упрекнул европейцев за подписание общего заявления — то был способ вмешаться в дело, их касающееся, но в котором они вольно или невольно остались зрителями. Я считаю, что проявил чрезмерную снисходительность по отношению к европейцам, не одобряя все-таки высокомерия Киссинджера.

К восхищению деятелем, урегулировавшим кризис Судного дня, примешивалась доля беспокойства относительно значения разрядки. Конечно, не команда Никсона начала диалог с Москвой, первой заговорила о разрядке. Тем не менее в период с 1969 по 1973 год общественное мнение приписало этой команде ответственность за разрядку. Американская дипломатия возобновила отношения с Пекином, улучшила отношения с Москвой, подписала первый договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-I) и документ 302, явно закреплявший дух, в котором Москва и Вашингтон будут действовать на международной арене. Два выражения передают главное в этом своде правил хорошего поведения: *restraint,* что переводится как умеренность или сдержанность; *односторонние преимущества,* от поиска которых для себя каждая из сторон воздержится. Этот акт при буквальном его понимании означал, что Соединенные Штаты и Советский Союз скоро положат конец своему планетарному соперничеству. Никто, по крайней мере в среде профессиональных комментаторов, не стал думать в 1972 году, после поездки Никсона в Москву, что Советский Союз откажется от поддержки «национально-освободительных» движений или от манипулирования ими.

Война Судного дня по меньшей мере показала тем, кто питал какие-то иллюзии, двусмысленность разрядки. В ноябре 1973 года мы не знали, уговорил ли Л. Брежнев египетского президента

двинуть свои войска через Суэцкий канал. «Что нам известно, так это то, что А. Брежнев не поскупился на поставки снаряжения, на танки, пушки, ракеты „Сам-3“ и „Сам-6“, противотанковые ружья. <…> Как только битва завязалась, Л. Брежнев стал подталкивать арабов к действиям (если, по крайней мере, письмо президенту Бумедьену является подлинным) и организовал воздушный мост для снабжения своих союзников через пару дней после начала военных действий, когда Соединенные Штаты еще воздерживались от снабжения Израиля. Не отошел ли в результате Советский Союз от духа разрядки, не нарушил ли он принцип умеренности, не попытался ли получить „одностороннее преимущество“ в ущерб своему сопернику? Конечно же да. Но следовало быть очень наивным, чтобы понимать буквально обязательство данного рода» (статья в «Фигаро» от 5 ноября 1979 года). Но тогда что же оставалось от этого свода правил хорошего поведения, подписанного в Москве в прошлом году? Европейцы, в особенности Мишель Жобер, обличали одновременно сговор и столкновение. Как выразился французский министр иностранных дел, две великие державы протягивали друг другу руки поверх воздушных мостов.

В то же самое время общественное мнение в Европе, быть может в той же мере, что и в Соединенных Штатах, медленно обретало какое-то половинчатое сознание того, что соотношение сил изменяется в пользу Советского Союза. В рамках договора ОСВ-I Соединенные Штаты пошли на то, что у Советского Союза будет больше, примерно на 40 %, ракетоносителей, чем у них самих; это компенсировалось американским превосходством в численности ядерных боеголовок (благодаря технологии MIRV (multiple independently targetable reentry vehicles) 303, которую Советский Союз тогда еще не освоил). Когда три года спустя переговоры во Владивостоке позволили наметить общие положения договора, Советский Союз уже обладал ракетами «MIRV», превосходившими американские по подъемной силе и по мощи ядерных боеголовок. Когда проект договора ОСВ-II, окончательно разработанный при президентстве Картера, был представлен в Конгрессе, оппозиция возбудила вопрос о соотношении сил. И Никсон и Форд согласились с принципом равенства в области стратегических вооружений. Однако не являлось ли американское превосходство на самом высоком уровне в шкале применения силы необходимым элементом американской политики сдерживания, необходимым не для безопасности территории Соединенных Штатов, но для Западной Европы?

В течение тех лет, когда Киссинджер слыл суперменом,

Советский Союз впервые стал сверхдержавой, державой планетарной, способной употребить свою военную силу в любой точке Земли. Когда Форд потерпел поражение на выборах, Г. Киссинджер, вернувшийся к частной жизни и занимавшийся своими «Мемуарами», сохранял в Соединенных Штатах, в особенности в Конгрессе, необыкновенный престиж. Но как не задаться вопросом, не скрыл ли он или не преобразил своим талантом отступление американской дипломатии, упадок имперской Республики?

В начале января 1977 года я опубликовал в «Фигаро» аналитическую статью, в которой стремился справедливо оценить итоги и наследие. Первоначально — несколько замечаний о триумфе благодаря медиа: «Ни от одного другого государственного секретаря профессионалы новостей и сенсаций никогда не получали столько пищи; никто другой не уделил им столько внимания. Личность оттачивала свой персонаж. Он ослеплял своим знанием дел, он поражал своими физическими достижениями, его рассчитанные импровизации и мастерские удары ошеломляли. Он был то обольстительным, то жестким, одерживал верх над своими партнерами благодаря выносливости. Израильтяне и египтяне менее поддавались его очарованию, чем его физической стойкости, тому, что он сохранял присутствие духа после бессонной ночи. <…> Но у этого актера, в двух значениях данного слова, имелись две тетивы для лука, два меча с наковальни. Когда фортуна обманывала его надежды, он обвинял ее под именем Истории. Когда терпел поражение Сайгон и четырехлетние усилия превращались в прах, он вновь обращался к тому, что читал в молодости, размышлял о декадансе Запада, и верный Дж. Рестон рассказывал о мрачных рассуждениях этого „стихийного философа“, перемещенного в окружение Ричарда Никсона и Джералда Форда, — этой невероятной звезды, завоевавшей Вашингтон. <…>»

Затем признавалось неоспоримое достоинство Г. Киссинджера: управление кризисами. «Как бы ни оценивали его взгляды в целом, он был несравненным в деле урегулирования кризисов. Во всяком случае, его макиавеллистским (определение, используемое здесь в его двойственном смысле) шедевром останется война Судного дня, которая застала израильтян врасплох и которую египтяне и сирийцы морально должны были выиграть, без того чтобы их враг ее действительно проиграл». Управление кризисом Судного дня позволило создать исходную позицию, отталкиваясь от которой египетский президент начал свое мирное наступление и поразил мировое общественное мнение, предприняв визит в Иерусалим.

Затем я перешел к главному: «То, что в конечном счете более всего значит для него и что определит его оценку историей, это понимание целого, которое, как считают, его вдохновляло и которое находит выражение одновременно в разрядке и в отказе от установления контакта с итальянскими коммунистами. В интересах прямых отношений между Москвой и Вашингтоном он смиряется с русским господством над Восточной Европой. Для поддержания равновесия между соответствующими зонами двух сверхдержав он пошел даже на оказание помощи противникам президента Альенде в Чили или на обнародование заявления о неприемлемости исторического компромисса в Италии. Один поляк, комментируя эту политику, иронически заметил: поддерживать коммунистов там, где к ним питают отвращение, бороться с ними там, где они пользуются некоторой популярностью. На что Киссинджер мог бы ответить: а как лишить их власти там, где к ним питают отвращение?»

Курс Киссинджера, если не считать сближения с Пекином, вписывается в рамки политики, которую Соединенные Штаты проводили начиная с 1947-го, и особенно после 1953 года. Комбинирование соглашений с Москвой по частным вопросам с сопротивлением продвижению Советского Союза в отдельных местах определяет не столько манеру Киссинджера действовать, сколько неписаный закон американской дипломатии, действующий уже тридцать лет. Тем не менее я подчеркнул нововведения «разрядки» или, скорее, изменение соотношения военной мощи между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Одновременно, в данном контексте, как можно было не задаться вопросом о том, что же в конечном счете вдохновляло эту игру в равновесие?

«Между книгами профессора Киссинджера и идеологией разрядки я не вижу логической связи, хотя самолюбие государственного секретаря помогает мне понять, как ему удалось преобразить в своих собственных глазах прагматическое действие в долговременное видение. Профессор предостерегал против иллюзий относительно возможности обращения благодаря переговорам революционной по своим идеям державы в державу консервативную. <…> Слишком сильно подталкивая к сближению с Советским Союзом, Генри Киссинджер, несмотря на манипулирование кризисами, несмотря на вето по отношению к итальянской компартии или благодаря этому вето, создавал риск морального разоружения Запада». Когда Р. Рейган, а вместе с ним и самое антикоммунистическое крыло республиканской партии вновь пришли к власти, Г. Киссинджер показался новой команде человеком разрядки и договоров ОСВ, в гораздо большей степени

голубем, чем ястребом, в своем подходе к ведению дел, когда он брал на себя ответственность за них.

Были ли упреки (или дифирамбы со стороны некоторых) хорошо обоснованными? Ответить не так просто. Киссинджер произвел впечатление человека, существенно отличающегося от окружения президента, от американского политического класса благодаря своим личным качествам, способности к четкому, *articulated,* как говорят американцы, выражению своих мыслей, аналитическому дару, оттеняемому юмором, который американским журналистам (да и любой американской аудитории) столь сильно нравится. Упрощая, можно было бы сказать, что его интеллектуальное превосходство само заставляло себя признавать.

Отличается ли по существу оценка 1982 года от оценки, сделанной в 1977-м? Вот уже полвека я сам ограничиваю свою свободу критиковать, ставя вопрос: а что бы я стал делать на его месте? Мог ли Р. Никсон принять «коалиционное правительство» в Сайгоне? Если он не мог этого сделать, то продолжение войны было неизбежным. Почти необходимым следствием этого было свержение принца Сианука и распространение военных действий на Камбоджу. Когда я читаю «Мемуары» Киссинджера, меня не всегда убеждают аргументы деятеля, ставшего автором воспоминаний, но мои зрительские впечатления становятся более глубокими. Президент и его советник, зажатые между врагами внутри страны и врагами вне ее, пытались вырвать мир путем переговоров. Ради успокоения американской общественности они постепенно выводили экспедиционный корпус; ради спасения Республики Южный Вьетнам они укрепляли ее армию; ради того, чтобы склонить руководство Северного Вьетнама к компромиссу, они применяли свою авиацию. Парижские соглашения спасали видимость; во всяком случае, падение Никсона сократило срок жизни этой видимости.

Шаги по отношению к Пекину и Москве не связывались исключительно с поиском выхода во Вьетнаме. В любом случае Соединенные Штаты когда-нибудь восстановили бы дипломатические отношения с Пекином, отношения тем более нормальные и полезные, что спор между двумя столицами марксизма-ленинизма, преданный начиная с 1963 года гласности обеими партиями, предоставлял дипломатии Соединенных Штатов очевидные шансы. И Москва и Пекин помогали Северному Вьетнаму, что, однако, их не примиряло друг с другом. Американский диалог с Пекином мог повлиять на позиции Москвы по отношению к Соединенным Штатам и Вьетнаму.

Глядя назад, не кажется, что эта дипломатия, которая и

сегодня остается полностью понятной, изменила ход событий во Вьетнаме. Коммунистический режим Севера не испытывал в 1972 году недостатка ни в артиллерии или в ракетах, поражающих бомбардировщики, ни в танках или снаряжении, необходимых, чтобы начать весеннее наступление. Договоры ОСВ закрепляли паритет между Соединенными Штатами и СССР; записанные на бумаге требования хорошего поведения не запрещали Москве оказывать «братскую помощь» «национально-освободительным» движениям. Разрядка несколько изменила стиль, но не суть соперничества между двумя великими державами. Если бы Р. Никсон и Г. Киссинджер не сами руководили дипломатией Соединенных Штатов, они изобличили бы иллюзии разрядки. И потому в книге, которую Р. Никсон опубликовал в 1981 году, — «Третья война», он развивает философию международных отношений, мало соответствующую тому энтузиазму по отношению к разрядке, который проявлял в Пекине или в Москве.

Верил ли сам Киссинджер в разрядку, в сеть соглашений, при помощи которых он надеялся стреножить, а затем приручить революционное чудовище? Быть может; но он добавлял, что эта политика требовала сильной, бдительной Америки, полной решимости ответить на любую попытку Москвы совершить агрессию или предпринять подрывные действия. Начиная с того момента, когда эта политика стала казаться выражением раскола Америки, уставшей от своего имперского бремени, она была обречена. Однако с 1973 по 1976 год, во время и после уотергейтского скандала, Сенат контролировал вплотную любую операцию за рубежом. Он отказался выделить средства, которые Киссинджер хотел потратить на то, чтобы не допустить победы в Анголе партии, связанной с Москвой и поддержанной кубинскими войсками.

Даже после отставки Никсона, продолжая проповедовать твердость, Киссинджер сохранил курс на разрядку. Он посоветовал президенту Форду не принимать Солженицына. Когда я упрекнул Киссинджера, сказав, что он стремится не задевать чувства кремлевских олигархов, то сначала услышал от него: «Что бы мы подумали, если бы они принимали наших диссидентов?» Я ответил ему, что у нас нет диссидентов, равных советским, и он больше не спорил. В сущности, Киссинджер, будучи у власти, колебался между двумя позициями, которые он считал совместимыми или мечтал видеть таковыми: с одной стороны, продолжение политики *containment* в самой решительной ее форме — не допустить прихода к власти коммунистов в Чили, в Италии, в Анголе, с другой — договоры об ограничении стратегических вооружений, соглашения в области торговли,

техники, двустороннего сотрудничества с Москвой. Советский Союз как революционную державу следовало сдерживать; Советский Союз как одна из двух великих военных держав стремился занять в мире место, соответствовавшее его мощи, и следовало давать ему удовлетворение, в котором к тому же Соединенные Штаты не имели возможности ему отказать. Противостоять идеологически-военному империализму, с одной стороны, интегрировать это *alter ego* Соединенных Штатов в мировой концерт — с другой, ни одна из этих ведущих идей не вызывает критики. К несчастью, каждая из названных идей требует своего языка — слабость, может быть, неустранимая в демократическом обществе; и в силу обстоятельств — Вьетнам, Уотергейт, внутренние распри — Киссинджер лишь частично преуспел в тех или иных из этих дел.

XXIV
ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ КРИТИКЕ

Мои книги «Имперская республика. Соединенные Штаты в мире (1945–1972)» и «Осмысление войны. Клаузевиц» («Penser la guerre, Clausewitz») имеют мало общих черт, хотя обе родились из курсов лекций, прочитанных в Коллеж де Франс — первый в 1970/71 учебном году, второй — в 1971/72-м. Но даже и в этом отношении между ними есть различие. Я прочитал курс, посвященный внешнеполитической деятельности Соединенных Штатов, потому что подписал контракт с одним американским издательством. Напротив, мой курс лекций о Клаузевице подтолкнул меня в конечном счете к попытке интерпретации знаменитой книги стратега «О войне» и теорий его последователей.

С одной стороны, историческое повествование, с другой — реконструкция чужой мысли; в одном случае Соединенные Штаты третьей четверти XX века, в другом — размышление о прусском офицере, глубоко переживавшем катастрофу своей родины, ликовавшем при ее возрождении, зачарованном ненавистным для него врагом — Наполеоном. Объединение этих двух книг иной связью, кроме случайной и личной, кажется на первый взгляд искусственным. Мне думается, однако, что связь тут есть и что она знаменательна.

Первоначально мне хотелось назвать эту главу «Взгляд в прошлое». Внешнюю политику Соединенных Штатов я комментировал по ходу событий, начиная с конца Второй мировой войны и вплоть до заключения мирного договора с Северным Вьетнамом в 1973 году. Поэтому в книге я критиковал себя самого или, точнее, сопоставлял свои тогдашние оценки с целостным восприятием, которому способствовали временное расстояние и частичное открытие архивов.

Моя работа о Клаузевице представляет собой исследование истоков (или одного из истоков) современной стратегии. Войны XX века, атомная бомба ниспровергают, по крайней мере по видимости, классические идеи, побуждают пересмотреть искусство дипломатии, как и искусство вести войну. Со времен Наполеона военачальники всех лагерей были одержимы идеей победы-уничтожения, разгрома сил противника как прелюдии к миру, самовластно продиктованному победителем. Наполеоновская диалектика вела Европу от Сараева к Хиросиме, от бомб террористов, предназначенных для одного человека, к

атомной бомбе, дыхание и огонь которой убивали, не выбирая, десятки тысяч мирных жителей. Уже в 1951 году я написал по поводу корейской кампании статью «О мире без победы» и немного позже другую — в «Буллетин оф атомик сайентист» («Bulletin of atomic scientists») — «A half century of limited war»[247].

Таким образом, вопреки всем различиям, существует родство — касающееся не столько истоков, сколько характера авторской любознательности, — между двумя исследованиями, одно из которых посвящено дипломатам имперской Республики, а другое — теоретику войны. Прусский стратег лучше, чем кто-либо, понял, что такое безудержная эскалация, и, чем старше он становился, тем охотнее признавал, что война редко развивается согласно своему чистому концепту. В течение четверти века Соединенные Штаты избегали безудержной эскалации, несмотря на смертельный конфликт с Советским Союзом и на огромность ставки. Нужно ли полагать, что безмерная мощь ядерного оружия положит конец фазе тотальных войн? Помогает ли Клаузевиц осмыслить войну, единую в своем концепте и многообразную в своих исторических проявлениях?

«Имперская Республика»

«Имперская Республика» была моей первой попыткой написать книгу по *истории*, более того — *повествование.* Но как рассказать о внешнеполитической деятельности Соединенных Штатов на протяжении четверти столетия? Первая трудность — это разбивка на части. Можно ли отделить этот период от двух предшествующих веков? Это первое препятствие я преодолел в прологе из полутора десятка страниц под заголовком «Остров-Континент», который снискал похвалу французского издания «Таймс литэрари сапплемент» («Times Literary Supplement»).

Понятие Острова-Континента принадлежит одному знаменитому английскому геополитику, оказавшему влияние на немецкую школу К. Хаусхофера, а именно Х. Дж. Маккиндеру, который в своих книгах, в частности в «Democratic Ideas and Reality», изучал борьбу между сушей и морем, между сухопутной державой и державой морской. Морская держава удерживает свое господство только при условии обладания экономической базой, обеспечивающей ее достаточными ресурсами. Рим одержал победу над Карфагеном, потому что завоевал господство на морях. Англия завоевала господство на морях после того, как стала действительно островом; у нее не стало больше потенциально враждебного соседа, когда Шотландия оказалась

включенной в состав Соединенного Королевства.

Тринадцать колоний, восставших против английской Короны, преобразовались в Остров-Континент поэтапно. Но я охватил эти этапы одним периодом — с 1783 года, когда был заключен Парижский договор, по 1898 год, когда разразилась война с Испанией. В течение этого столетия колонисты достигли своей цели — занять, населить, возделать североамериканское пространство, чтобы вывести его из-под воздействия постоянного соперничества, характерного для старой Европы. Колонии добились своего без большой войны. Уже в 1831 году Гегель констатировал, что Соединенные Штаты пользуются положением островной страны: «Свободные государства Северной Америки не имеют никакого соседнего государства, по отношению к которому они находились бы в той же ситуации, в которой находятся государства европейские по отношению друг к другу, то есть такого соседнего государства, которое вызывало бы их недоверие и против которого они должны были бы держать наготове постоянную армию. Канада и Мексика не внушают им опасений. <…>»

Я принял 1898 год за окончание одного периода и начало другого, завершившегося в декабре 1941-го Перл-Харбором и вступлением США в войну. Любопытный, разнообразный и противоречивый период. Победа над Испанией выразила и в то же время поддержала робкие империалистические устремления в европейском стиле; вмешательство 1917 года, отказ Сената ратифицировать Версальский договор, законы о нейтралитете не укладываются в систему, не обнаруживают никакого проекта. Соединенные Штаты выполнили свое «очевидное предназначение», создали в Америке большую англоязычную империю — что же предпримут они теперь для осуществления своих амбиций? Они приступают к колонизации в европейском духе (Пуэрто-Рико, Филиппины) — и отказываются от нее. В 1917–1918 годах оказывают решающее влияние, определяют исход Великой войны [304] и англо-французскую победу, а затем выходят из игры. В течение 30-х годов Конгресс принимает законы, направленные на предупреждение вступления Республики в войну, которую все предвидят. Так что и американцы в данном случае вошли в будущее пятясь.

Эти два периода, предшествующие тому, о котором мне предстояло рассказать, различались в главном. Если развитие идей и событий с конца XVIII по конец XIX века приводит к порядку, о котором думали и который желали установить *founding fathers*, отцы основатели [305], — а именно, к суверенной Республике, занимающей большую часть североамериканского

пространства и, вследствие этого, геополитически островной, — то в конце второго периода наблюдатель не различает ни логики интриги, ни целей актеров. Период преобладающего влияния в планетарном масштабе (1947–1972) скорее похож на первый, чем на второй период. Соединенные Штаты принимают имперскую ношу с такой же решимостью, с какой они несли свое «очевидное предназначение» в прошлом веке, однако задача стала теперь совершенно другой.

Втянутые ходом событий в мировую политику, США имеют дело уже не с индейскими племенами, не с переживающей упадок Испанской империей, не со смирившейся и готовой к компромиссам империей Британской, а с государствами, столь же решительно защищающими свои права или свои интересы. Заклеймив когда-то порочность европейской системы, США теперь участвуют в системе планетарной, ничем не уступающей той, которую создал Старый Континент. Американцы не ощущали родственной связи между своим территориальным экспансионизмом XIX века и европейским империализмом; они и вообразить не могли, что распространение свободы торговли может быть уподоблено империализму. Они входили в мировую политику — почти не изведанную для них область — с грузом жизненного опыта и предрассудков своего прошлого: с одной стороны, морализмом и ригоризмом, с другой — привычкой к господству, зачастую грубому, над малыми государствами Карибских островов и Центральной Америки.

Англия была гарантом европейского равновесия или, другими словами, врагом любой европейской страны, способной расшириться и аккумулировать ресурсы, которые позволили бы ей бросить вызов островному государству, владычице морей. Подобно Великобритании, Соединенные Штаты возвысились по мере того, как сухопутные державы ослабили себя и друг друга в вооруженных конфликтах. Но какое равновесие мог установить или поддерживать Остров-Континент? В Европе он защитил свой плацдарм на мировом Острове, пользуясь словарем Маккиндера, и сдержал натиск континентальной державы по направлению к маргинальным областям, к береговым зонам. Но Европа представляет собой всего лишь фрагмент мировой сцены, все аспекты которой не освещаются геополитикой.

Вторая трудность: какое единство может найти историк в массе событий, происходящих на земном шаре? Объединены ли они общим сюжетом, и в чем он состоит? Я выбрал удобную, но, возможно, спорную разбивку на периоды. В послевоенные годы соперничество с Советским Союзом явно доминировало в поведении вашингтонских руководителей. Взяв за основу систему

концептов, которую я уже применял в своих книгах, я рассматривал, с одной стороны, межгосударственную систему и дипломатически-стратегическую деятельность Соединенных Штатов, а с другой — торговый обмен и финансовые потоки на мировом рынке, усилия США обеспечить зону стабильности и расцвет либерального режима внутри нее. Первая половина книги представляла собой повествование, так сказать отвлеченное резюме, поскольку оно обозревало на ста тридцати пяти страницах двадцать пять бурных лет, ознаменованных кризисами и даже войнами. Я хотел, чтобы мое повествование было идеологически нейтральным, выявляя вместе с тем вероятные мотивы главных участников событий. Одновременно я определял свою позицию в дебатах, развернувшихся в США в конце 50-х годов по поводу политики Трумэна и начала так называемой «холодной войны».

В главе I, названной «В поисках виновного, или Истоки „холодной войны“», мне довелось высказаться в качестве историка о периоде, который я пережил почти как активный участник или, во всяком случае, как комментатор. Представляются ли мне события в другом свете двадцать лет спустя? «Ревизионисты» — так прозвали историков, возлагающих на Соединенные Штаты главную ответственность за «холодную войну», — принадлежат к американской традиции. В США возникали ревизионистские школы после войны с Мексикой, после войны с Испанией, после вмешательства в мировую войну в 1917 году. Отношение к двум первым войнам не было единодушным уже в тот момент, когда они велись; то же можно сказать о вмешательстве в 1917-м. Критика — с нравственной или политической точки зрения — использует задним числом аргументы, выдвигавшиеся в свое время против президента или партии у власти, а также находит другие, по мере того как раскрываются тайные пружины игры и ставятся под вопрос официальные истины. Переход от Великого Альянса к «холодной войне» встретил лишь нестройные и слабые возражения. Сопротивление советскому экспансионизму сопровождалось вначале антикоммунистическим неистовством, из которого родился маккартизм, принявший отвратительные формы «охоты на ведьм», преследований, не сопоставимых с советскими чистками, однако недостойных демократии; это было безумие, мания — причем не столько преследования, сколько подозрительности.

В целом повествование не порывало с интерпретацией событий, содержавшихся в моих комментариях к ним, написанных в свое время. Я решительно опровергал тезис,

согласно которому Трумэн нес главную ответственность за «холодную войну», но вместе с тем я отметал и сам вопрос. Если свести «холодную войну» к шести годам — между 1947-м — провалом Московской конференции по Германии и созданием двух зон [306] — и мартом 1953-го — смертью Сталина, — то именно последний был ее главным творцом. Если же распространить понятие «холодной войны» на весь послевоенный период, по меньшей мере до осени 1962 года (кубинского кризиса), то искать «виновного» не приходится. Советский Союз и англо-американцы совместно боролись против Третьего рейха; они подозревали друг друга в предательстве (сепаратном мире) и ставили перед собой разные цели. Столкновение между американской и советской сторонами не было вызвано отдельными конкретными решениями, например бомбардировками Хиросимы и Нагасаки, или внезапной приостановкой американской помощи союзникам (ленд-лиз), а явилось логическим результатом постепенного и неуклонного воцарения советского образа действий, советских ставленников и идеологий в «освобожденных» странах.

Распад Великого Альянса был неизбежным, но детали событий могли оказаться и другими. В двух пунктах историку надлежало поправить обозревателя: в том, что касалось войны в Корее и китайского участия. Сегодня мы знаем, что инициатива нападения на Южную Корею принадлежала скорее Ким Ир Сену, чем самому Сталину; последний дал на нее добро. Когда проконсультировались с Мао Цзэдуном, тот ответил, что не верит в американское вмешательство; в ноябре он дважды — я уже писал об этом в предыдущей главе — предостерег американцев от продвижения их войск в направлении к Ялуцзян. Взрыв враждебных народному Китаю страстей среди американцев, как руководителей, так и общественности, произошел на почве недоразумений и незнания.

Как только лозунг *containment* (сдерживания) завладевает умами людей, правящих Американской Республикой, дипломатия Вашингтона следующей четверти века становится внятной, взгляду зрителя открывается единство действия пьесы. После «боя чести» 1945–1948 годов Соединенные Штаты избирают оборонительную стратегию: если не считать публичных собраний и партийных программ, историку не удается отыскать признаков стратегии «освобождения».

Эта интерпретация — похожая на отказ от какой-либо интерпретации — ставит проблемы историографического характера[248]. Охватывая взглядом долгие годы, в течение которых Джи-Ай сражались и погибали (более 40 000 убитых) в

рисовых полях Вьетнама, ищешь причины, цели, смысл, которые были бы соразмерны событию. Но где их найти? Экономические цели? Совершенно очевидно, что это смехотворно. Стратегическая ставка в игре? Действительно, Ханой после своей победы должен был распространить свое господство на Лаос и Камбоджу, восстановить единство Индокитая под своей эгидой. Но чему именно хотели воспрепятствовать Соединенные Штаты — коммунизму как таковому? Или империализму Советского Союза? Народного Китая? Вьетнама? Чем больше проходило времени, тем труднее становилось точно определить врага и тем хуже общественность понимала смысл всего происходившего, смысл американской вовлеченности в дела Вьетнама. Понятность происходящего подразумевает либо существование какого-то *намерения* у актеров, либо *детерминизм* причин. В моем повествовании говорилось о первоначальном намерении сдерживания и о последовавшей за ним неспособности правителей найти почетный выход. Вначале Кеннеди делает свободно свой выбор (во всяком случае, с большой долей свободы); затем Л. Б. Джонсон и его советники ищут рациональных оправданий войны, не зная, ни как ее кончить, ни как ее выиграть.

Вторая часть книги, «США в мировом рынке», ставила передо мной другие, и в целом более значительные, трудности интерпретации. Соединенные Штаты оказывают давление на прочие экономики мирового рынка столько же самим своим существованием, сколько своими действиями. Не все последствия их действий желанны для них. С одной стороны, анализ облегчается обилием вех. Осуществив план Маршалла, США ускорили подъем европейских экономик, помогли Японии восстановить ее города. Затем японцы снова взяли свои дела в собственные руки. Оказавшись в благоприятном положении из-за незначительности своего военного бюджета, они надели семимильные сапоги и побили все рекорды экономического роста. Лет через пятнадцать после притока долларов в Европу дефицит платежного баланса Соединенных Штатов заменил тему «структурного» дефицита долларов. Внешнеполитическая и внешнеэкономическая деятельность США в первые послевоенные годы — план Маршалла, создание международных институтов — по прошествии времени уже не вызывает споров — она была одновременно великодушной и прозорливой. Можно охарактеризовать ее как «просвещенный эгоизм», если кому-то так больше нравится.

Менее очевидны ответы на вопросы, касающиеся влияния доминирующей экономики на остальной мир и зависимости

американской дипломатии от экономических интересов отдельных групп или всего сообщества. Объяснение отдельных, конкретных дипломатических решений экономическими причинами кажется мне невозможным, почти абсурдным. Разумеется, некоторые крупные фигуры в Вашингтоне, особенно выступая перед сенатскими комиссиями, настаивали на богатствах, таящихся во Вьетнаме, которые будут потеряны в случае поражения. Этот довод настолько лишен здравого смысла, что явно сводится к простому логическому обоснованию. Однако нет ничего абсурдного в том, чтобы объяснять политику сдерживания стремлением властвовать, природой американского общества. Можно также спросить себя, отвечала ли экспансия американского капитала потребностям внутренней экономики и потерпели ли другие страны экспансию американского капитала, поддерживали ли они так долго доллар, если бы не военное превосходство США.

Есть школа историков, специалистов по международным связям, которая не отделяет межгосударственную систему от мирового рынка и определяет понятие империализма без ссылок на территориальные завоевания и колонизацию. С этой точки зрения Соединенные Штаты как таковые становятся империалистической страной, поскольку составляют центральную экономику мирового рынка, господствующую экономику в одном точном смысле: она определяет мировой рынок в большей степени, чем он определяет ее или оказывает на нее принудительное воздействие; она больше влияет на другие экономики, чем испытывает влияние с их стороны. Она устанавливает правила мирового рынка, помещает за границей капиталы, реинвестируя на месте либо ввозя обратно в США проценты или прибыли от этих вложений, потребляет в огромном количестве сырье, добываемое в развивающихся странах. Достаточно воспользоваться марксистским словарем, чтобы построить теорию империализма, подсказанную ленинской теорией, но в корне отличную от нее: империализм отныне не состоит ни в политическом господстве, ни в колонизации (понимая ее в европейском смысле); эпитета «империалистическая» заслуживает экономико-монетарная система как таковая, она откачивает прибавочную стоимость, созданную рабочей силой и сырьевыми ресурсами периферийных стран. Богатые увеличивают свое богатство за счет бедных.

Мои анализы приводят к неоднозначным выводам. В самом деле, как проникнуть в чьи-либо мотивировки, а тем паче в мотивировки такого коллективного действующего лица, как США? Любая страна, ставшая сторонницей московского

марксизма-ленинизма, выходит, по крайней мере частично, из мирового рынка; историк всегда может перевести формулировку В. Вильсона *a world, free for democracy* (мир, свободный для демократии) как *a world free for free trade* (мир, свободный для свободной торговли). Свободный мир и мир *free trade* в известной степени совпадают. Однако нужны странное извращение ума или невероятный догматизм, чтобы утверждать, будто американцы защищали Европу или сражались в Корее с единственной целью — расширить открытую зону торгового обмена. Соединенные Штаты проводили имперскую деятельность, которую я определю следующим образом: *деятельность, не направленная исключительно на защиту узко понятых национальных интересов; доминирующее государство старается сохранить равновесие, порядок системы в целом, как если бы оно сознательно взяло на себя ответственность за эту систему.* Именно в качестве ответственных за мировую экономико-политическую систему Соединенные Штаты разместили гарнизоны в Берлине и в Сеуле и были в конце концов вынуждены дважды совершить военное вмешательство на Азиатском материке.

Что касается экспансии американского капитала, то она исходит, естественно, от предприятий и банков доминирующей экономики. Стала ли бы неизбежной стагнация последней при отсутствии этих рынков сбыта? Вряд ли это правильная постановка вопроса. Капиталы, инвестированные за границей, вообще приносят больший доход, чем капиталовложения в стране головной фирмы. При капиталистическом строе капиталы нормально идут туда, где обеспечен более высокий доход. Поток капиталов в Европу частично объяснялся завышенным курсом доллара; этот поток поменял направление на противоположное в 70-е годы, когда курс американской валюты оказался временно заниженным.

Объяснение внешнеполитической деятельности Соединенных Штатов экономическими причинами или моделями показалось мне в конечном счете менее интересным, чем одновременный охват межгосударственной системы и мирового рынка, образующих вместе «американский империализм» или «империалистический порядок», центр которого — Соединенные Штаты. Несколько выше я вкратце останавливался на лексической эволюции, ведущей от Ленина к сегодняшним авторам. В той книге я спрашивал себя, способствует ли система, окрещенная ее противниками «империалистической», началу подъема бедных, или так называемых развивающихся стран, или же мешает ему, и в какой мере мешает либо способствует. «Империалистическая система» прошлого века с центром в Великобритании не

помешала началу экономического подъема Японии, и та же система, ставшая американской, не воспрепятствовала Японии выйти на одно из первых мест. Целый ряд стран — Южная Корея, Тайвань, Сингапур — показывают пример ускоренного развития в контексте мировой экономики и либеральными методами.

Филиппики в адрес «американского империализма» делают обычно упор на Латинской Америке. Тому есть две причины. Именно в этой зоне «империализм янки», в военном смысле слова, продержался долее всего. Морские пехотинцы ушли из Никарагуа только в 1934 году, когда Ф. Д. Рузвельт провозгласил «политику добрососедства». Л. Б. Джонсон послал на Карибские острова, в Доминиканскую Республику, морских пехотинцев, чтобы остановить революцию: он опасался ее сползания к кастризму. Дж. Ф. Даллес снарядил экспедицию в Гватемалу для свержения президента левого толка — Арбенса. Что это — применение к Западному полушарию стратегии *containment*? Я вижу здесь, скорее, продолжение политики канонерок [307], которую Американская Республика бессовестно практиковала в прошлом и даже в нынешнем веке по отношению к нескольким испаноязычным странам. Обвинение в экономико-политическом империализме оказывается наиболее обоснованным, когда речь идет об этом регионе мира.

Латиноамериканские интеллектуалы охотно возлагают на Соединенные Штаты ответственность за все беды своих стран. Между тем до 1945 года северная Республика мало интересовалась своими южными соседями. Аргентина в XIX веке получала капиталы из Лондона, а не из Нью-Йорка. В Бразилии интеллектуальное влияние Франции преобладало над американским. Зато Куба (которую уже Франклин намеревался аннексировать), маленькие республики Центральной Америки, хотя формально суверенные и независимые, не избегли нажима — постоянного экономического, а при случае политического и даже военного. Мне кажется неверным утверждение, что низкий уровень развития Юга стал условием или компенсацией сверхразвитости Севера. Ни Аргентина, ни Бразилия не принесли американской экономике необходимого сырья или рынка. Янки не создали и не поддерживали политическую нестабильность государств Южной Америки; постоянные колебания между очередным каудильо и хрупкими олигархическими демократиями коренятся в социальной структуре этих стран. После 1945 года Соединенные Штаты осуществляли военную подготовку вооруженных сил большинства этих государств, независимо от того, были ли их режимы деспотическими или нет. Этим они продлили жизнь некоторых режимов, которые им самим,

вероятно, внушали отвращение. В частности, во многих странах Центральной Америки события привели к дилемме, быть может неразрешимой: либо сохранение власти мелких тиранов, либо возникновение еще одной разновидности кастризма.

Ни в той, ни в другой части книги я не формулировал простых суждений и в обеих воздерживался, насколько возможно, от суждений оценочных. Что касается дипломатической стратегии, то я показывал ее такой, какой она представала по ходу событий, старался сделать ее понятной, исходя из намерений участников, логики ситуаций, а также (меньше, чем следовало бы) — из политического строя и общественного мнения Соединенных Штатов. Во второй части я попытался таким же образом проанализировать события минувших лет, решения, принятые американскими руководителями на мировом рынке, и, что важнее, воздействие на внешний мир самим фактом существования американской экономики. Я стремился не столько судить, сколько понять; такая позиция сравнительно редка в повествованиях о прошлом, она разочаровывает и даже возмущает в тех случаях, когда историк вспоминает события настолько близкие, что эмоции, пережитые актерами и зрителями, еще не угасли.

Прием, оказанный книге прессой и публикой во Франции, был почти нейтральным, в общем — скорее благожелательным с оговорками; исключение составила диатриба Клода Жюльена, которую нетрудно было предвидеть. Рецензия Мишеля Татю вызвала у меня раздражение. Не потому, что он упомянул в примечаниях несколько ошибок в датах (я писал, не пользуясь записями, по памяти). Эти поправки справедливы. Но заголовок рецензии — «Дурны они или милы?» [308] — показался мне примером недобросовестности, которая порой отличает газету «Монд». Почему надо было выбрать в качестве темы вопрос, который я как раз отказывался ставить?

В своем архиве я обнаружил две рецензии (может быть потому, что они благосклонны ко мне). Луис Хирен на страницах «Таймс» вначале резюмирует мою книгу или, во всяком случае, обрисовывает основные контуры ее содержания.

«В 1973 году американцы вывели свои войска из Вьетнама, однако судьба Южного Вьетнама оставалась неопределенной. Сегодня, когда их поражение болезненно и очевидно, строго логичные выводы Арона впечатляют своей силой. <…> Политика сдерживания имела успех в Европе, потому что американцы ответили должным образом пожеланиям большинства европейцев. Кроме того, они соблюдали там осторожность. Так, Трумэн предпочел технический триумф —

снабжение двух миллионов берлинцев по воздуху — форсированию блокады военными эшелонами. <…> Корея изменила все это, как и многое другое. <…> „Холодная война“ приняла глобальные размеры, она была институционализирована до такой степени, что США начали политику массированного перевооружения, имея в виду как Западную Европу, так и себя самих. <…> Арон, выполнивший, несомненно, свое домашнее задание *(home work),* с выразительностью и силой воображения, которые должны пристыдить его американских современников, исследует все опубликованные документы и все тайники; ясность его письма восстановила мое доверие — врожденное, однако сильно подорванное — к французским эрудиции и логике». Конечно, критик «Таймс», с которым я не знаком, приписывает мне гораздо больше заслуг, чем я сам признаю за собой.

Рецензия Дэвида Уотта в «Обсервере» («Observer») более сдержанна и нюансированна; в ней рассматривается центральная проблема, на которую намекает ее заголовок — «A whiff of anaesthetic» («Вдохнуть обезболивающего»). «Вот очень хорошая книга, однако странным образом неуловимая. Когда она вышла два года тому назад на французском языке, один критик заметил, что в ней присутствует небольшая доза обезболивающего; ее можно вдохнуть и из английского перевода. <…> От истории послевоенной внешней политики США, написанной одним из самых выдающихся французских обозревателей, ждешь, естественно, чего-то виртуозного, блистательных ясности и иронии. Вместо этого г-н Арон солидно и неспешно написал сложную книгу, в которой говорит с читателем холодным, отстраненным тоном. Да, конечно, эти люди вели себя неразумно, но, в конце концов, кто же иногда не бывает слегка неразумным? А ведь им приходилось преодолевать тяжкое наследие прошлого и упорное давление с разных сторон в настоящем. Впрочем, в конечном счете все обернулось не столь уж плохо, верно?.. Трудно удержаться от чувства, что такой вывод после трехсот страниц, включающих начало „холодной войны“, корейскую эпопею, Вьетнам (и еще много другого), <…> несколько чересчур добродушен. Сам Арон с величайшим *достоинством* отмел всякие упреки этого рода, объявив себя первым, кто написал в точном смысле слова историю данного периода».

Я никогда не приписывал себе подобной заслуги. Во введении я объявил свои намерения: «Насколько могу судить, я не стремлюсь ни оправдать Соединенные Штаты, ни осудить их. <…> Поскольку межгосударственные отношения внутри гетерогенной системы есть то, что они есть, воля Сталина распространить свой строй до тех пределов, до которых

продвинулись его армии, вполне согласуется с обычной практикой. Нет нужды перекладывать ответственность за это на Соединенные Штаты, чтобы обелить Сталина, который никогда не витал в эмпиреях и ничуть не претендовал на ангельскую чистоту. <…> Разумеется, те, кто привык представлять себе современный мир на манихейский лад и толкует о народах, порабощенных такими чудовищами, как капитализм, империализм или ревизионизм, — дружно нападут на книгу, которая не порождает никакого возмущения, не клеймит предателя и не превозносит героя. Случаев для возмущения в наше время достаточно; да простит меня читатель за то, что я экономно расходую товар, спрос на который превышает предложение».

Дэвид Уотт признает за мной больше заслуг, чем я мог бы ожидать. «Книга Арона — почти несомненно самая сбалансированная критика, какая была написана о послевоенной американской дипломатии. <…> Особенно хороши страницы, посвященные модной теме: Трумэн начал „холодную войну“, а последующие маневры Советского Союза — всего лишь отклик на американскую агрессию. <…> Настоящая проблема — это Корея и Вьетнам, и хотя, я думаю, Арон прав, говоря, что действия Ачесона в одном случае и президента Кеннеди в другом были вызваны в целом оборонительными мотивами, все же это утверждение не продвинет нас далеко. <…> В этом пункте книге недостает важного нравственного измерения. Хорошо, когда историк избегает чрезмерного морализма, однако если бы Фукидид рассказал о сицилийском походе тоном, который Арон избрал для описания сайгонской экспедиции американцев, мы едва ли могли бы считать его историческое сочинение „книгой на все времена“».

Уотт совершенно прав, раздавив меня тенью Фукидида, но он ошибается относительно разницы в тоне грека, когда тот повествует о сицилийском походе, и моем, когда я рассказываю об американской экспедиции во Вьетнаме. Фукидид гораздо более, чем я, пренебрегает «нравственным измерением», об отсутствии которого в моем повествовании сожалеет Уотт. Я не вложил в уста президента Кеннеди тех слов, которые произносят афинские послы, обращаясь к магистратам и знати Мелоса: Природа хочет, чтобы могущество всегда царило, чтобы другим приказывал сильнейший. Афинский историк именно потому непревзойденно велик, что его безжалостный взгляд проникает внутрь, мимо видимостей и уловок, достигая обнаженной человеческой действительности. Я бы оскорбил чувства Уотта, если бы вздумал соперничать в аморализме с Фукидидом;

недоставало же мне — помимо, разумеется, таланта, — не нравственного, а трагического измерения. Когда вы читаете о смерти Никия 309, сопровождаемой единственным комментарием — «человек, менее любого другого заслуживший свой позорный конец», у вас перехватывает горло. На полях сражений Вьетнама пали сорок тысяч молодых американцев — едва ли меньше погибают ежегодно на дорогах Соединенных Штатов. Сотни тысяч, возможно миллионы, вьетнамцев нашли свою смерть в этой братоубийственной войне, однако в 1975 году, когда пал Сайгон, оба наконец воссоединившихся Вьетнама насчитывали больше жителей, чем в тот декабрьский день 1946-го, когда занялся пожар, которого не смогла потушить победа Во Нгуен Зиапа.

Однажды на завтраке у госпожи Понсо я слышал, как Анри де Монтерлан говорил, что ему не удается заинтересоваться состязанием планетарного размаха между Советским Союзом и США, тогда как его по-прежнему страстно увлекает борьба Афин и Спарты, Рима и Карфагена. У войн, которые ведутся между народами, исчисляющимися в десятках или сотнях миллионов, уже не человеческий масштаб. Статистика вытесняет личности. Противостоят друг другу массы — даже убийство Кеннеди в Далласе мне кажется менее трагичным, чем убийство Никия. Последний был казнен победителями после военного похода, от которого он пытался удержать соотечественников; Кеннеди погиб под пулями некоего анонимного, ничего не значащего Освальда. Если бы мое повествование рисовало не абстрактных участников событий — Соединенные Штаты, Советский Союз — и не чуть менее абстрактных участников — Р. Никсона, Г. Киссинджера, — а народы и бойцов, то, может быть, трагическое измерение и возникло бы. Деятельность США на внешнеполитической сцене свидетельствует скорее о безумии, чем о трагизме человеческого бытия.

Критику по поводу «обезболивания» принимаю; я и в самом деле очищаю, стилизую полную шума и ярости историю, запечатлевая лишь контур; опускаю всяческую суматоху, скандалы и перепалки. Так, я не уделил внимания разъяренным студентам. Сам того не желая, я в конечном счете создал впечатление, что Соединенные Штаты стремятся играть свою роль на мировой сцене, основываясь на разуме, но при этом время от времени ошибаются. Мне, пожалуй, следовало хотя бы наметить тему кулис Белого дома, таких, какими их описывают журналисты или государственные деятели в своих мемуарах.

Возможно, я к тому же злоупотребил, во имя обязанностей историка, правом неангажированного наблюдателя. Во второй

части книги — «Соединенные Штаты на мировом рынке» — я анализирую ряд проблем, но не высказываюсь категорически в пользу того или иного из антагонистических тезисов. Андре Мальро говорил: «Всякая политика окрашена манихеизмом, но не надо перебарщивать». Пожалуй, я переборщил по части антиманихеизма.

Клаузевиц

Курс из тринадцати лекций предоставил мне случай перечитать «О войне» и подробно ознакомиться с литературой о прусском стратеге. Несколько французских и иностранных офицеров приходили слушать меня и пожелали иметь текст, которого не существовало. И снова меня охватили колебания относительно использования моего конспекта и машинописи, воспроизводящей запись лекций. Я решил не возобновлять прецедент с «Восемнадцатью лекциями», то есть не передоверять кому-либо задачу исправления машинописи. Не сразу я выбрал род своей будущей книги — должно ли это быть эссе или солидный том, претендующий на всестороннее толкование Клаузевица? Я выбрал второй вариант. Со времен «Мира и войны» я публиковал только эссе. Пришла пора взяться опять за серьезный труд. Решение удивительное: я приближался к семидесяти годам, и какой-нибудь «Маркс» или другое исследование по философии истории лучше соответствовали бы логике моей жизни и моего творческого пути.

Чтобы оправдаться, я процитировал фразу Б. Кроче из статьи, помещенной в «Ревю де Метафизик э де Мораль»: «Только узость и скудость философов средней культуры, их неумная специализация и, скажем прямо, провинциализм мыслительных привычек могут объяснить безразличие и отчужденность, которые они испытывают по отношению к таким книгам, как труд Клаузевица». Самый знаменитый и, возможно, наименее изученный трактат по стратегии закономерно вызывает любопытство философа.

Я поставил перед собой четыре основных цели: прежде всего — ознакомить читателя с биографическими и историческими данными, помогающими понять человека, с тем общественным и духовным контекстом, в котором он сформировался; затем — осветить философский метод Клаузевица; далее — попытаться решить самую трудную и самую важную исследовательскую проблему — уяснить, что хотел сказать Клаузевиц, когда в предисловии 1827 года объявлял о пересмотре текста в свете двух

тем: первая — различие между двумя войнами, одна из которых имеет целью полный разгром врага, а другая ведется только для того, чтобы вырвать несколько завоеваний и расширить свои границы; вторая тема — война как продолжение государственной политики иными средствами; и наконец — анализ отношений между наступательной и оборонительной войнами вывел меня на тему вооружения народа и народной войны. В конце курса я уделил внимание наследникам Наполеонова врага и почитателя, одни из которых остались верны его идеям, другие — нет, и указал на некоторые модификации, которые ядерное оружие неизбежно вносит если не в аналитическую теорию, то, во всяком случае, в праксеологические выводы Клаузевица. Два курса лекций, прочитанные мной в последующие годы — «Теория политического действия» и «Игры и ставки в политике», — продолжали ту же тематику. Многое из этих двух курсов было также включено в книгу.

В первой главе я кратко изложил жизнь стратега, которому судьба не предоставила случая одержать блестящую победу или выступить с историческим начинанием. Но, будучи близким другом Шарнхорста 310, а потом Гнейзенау 311, он оказался причастным к великим событиям революционного и имперского периода. Как большинство его современников, он был поражен контрастом между ограниченными конфликтами и маневренными кампаниями, характерными для XVIII столетия, и теми почти не ограниченными войнами, которые начались вслед за падением монархии и введением массового рекрутского набора. Перипетии истории поставили Клаузевица перед фактом, который стал исходным пунктом и средоточием его размышлений: связью между военными делами и политикой. Связь эта двояка: во-первых, существует соответствие социологического порядка между политикой (режимом, отношениями правителей и теми, кем они правят, принципом легитимности и т. д.) и способом организации армий или методом боя; во-вторых, почти очевидной нормой является подчиненный характер ведения военных операций по отношению к политическим целям. Война обладает своей собственной грамматикой, но не собственной логикой. Подчиненность военного инструмента политической воле приобрела в глазах Клаузевица настолько важное значение, что он собирался, пересматривая рукопись, еще ярче подчеркнуть эту мысль.

Резюмируя свой курс лекций, я предложил такую схему первой главы книги «О войне», помогающую выявить метод Клаузевица: «Вначале — самая простая модель, модель поединка, подсказывающая первое определение войны: состязание воль с

применением физического насилия. Анализ модели приводит к теории безудержного разрастания *(Steigerung bis zum Äussersten)* и абсолютной войны, полностью соответствующей своему концепту. На втором этапе Клаузевиц снова вводит основные элементы, которыми пренебрегла модель: пространство (государство, в отличие от участника поединка, обладает территорией, населением); время (судьба войны, битвы, государства не решается в одно мгновение); асимметрию между нападением и обороной, обусловливающую прекращением военных действий; наконец, политику, которая определяет цель войны и в зависимости от всего комплекса обстоятельств, предполагаемых намерений противника и наличных средств намечает ее план и необходимую меру усилий». Первая глава, представляющая собой резюме философии всего трактата, подводит ко второму определению, или скорее сочленению внутренней структуры феномена войны: «странная триада, включающая страсть (народ), свободную деятельность души (военачальник) и понимание (политика, олицетворенный разум государства)».

Я работал над этой книгой между 1972 и 1975 годами, работал с радостью, почти с энтузиазмом. Посещал Национальную библиотеку, читал немецких и французских комментаторов «Трактата»; мне доставило удовольствие ознакомиться с полемикой, которую вызвали мысли Г. Дельбрюка по поводу двух стратегий или двух родов войны. Я не претендовал на то, чтобы поставить точку в споре, моей целью было реконструировать ход рассуждений Клаузевица, изучая последовательные редакции его *maximum opus,* главнейшего произведения. Я погрузился в схоластику Клаузевица с убеждением, а возможно, иллюзией, что мне удалось доказать: пересмотр книги VIII предшествовал написанию главы I, наиболее законченному выражению мысли стратега. Сознательно я, конечно, не ставил перед собой политической задачи, мне и в голову не приходило зачислить Клаузевица в идеологи свободного мира. Моя книга стала предметом научно-межпартийной полемики в Федеративной Республике Германии (в узких кругах).

Мысль Клаузевица может быть интерпретирована двумя способами, не противоречивыми, однако различными. Либо мы ставим в центр его размышлений битву на уничтожение, презрительные фразы в адрес генералов, боящихся пролить кровь, понятие абсолютной (или идеальной, или соответствующей своему концепту) войны, неизбежное безудержное разрастание ее, слова, что армия никогда не бывает слишком многочисленной и т. д. Либо мы сосредоточиваем наше внимание на другом аспекте

его мысли: войне как продолжении политики другими средствами или с добавлением других средств, а следовательно, главенстве государственного деятеля над военачальником; неоднократном утверждении, что абсолютная, или идеальная, война — редчайшее явление в истории, что большинство войн — всего лишь полувойны, если мерить их меркой абсолютной войны.

Большая часть немецких военных, интересовавшихся Клаузевицем, склонялись к первому подходу. Победы 1870–1871 годов стали иллюстрацией к теории битвы на уничтожение. Некоторые толкователи с обоих берегов Рейна оспаривали утверждение Клаузевица, согласно которому оборона представляет собой наиболее сильный способ ведения войны. Ф. Жильбер, французский офицер, переживший свой час славы в начале века, счел, что превосходство обороны над наступлением находится в противоречии со всем содержанием труда немецкого стратега[249]. Мне показалось легким опровергнуть мнимое противоречие между положением о благодетельных свойствах обороны и похвалой прямому, внезапному, массированному наступлению. Тексты позволяют проследить ход мыслей Клаузевица: в молодости он был доктринером наступления во что бы то ни стало, открыл ресурсы оборонительной тактики во время наполеоновских кампаний, в частности российской, и с этого момента все упорнее настаивал на историческом характере войны, на различии войн в разные эпохи и, соответственно, на различии стратегий. Два вида войн, одна из которых ведется с тем, чтобы полновластно продиктовать условия мира после разоружения врага, а другая имеет целью добиться выгодного мира сообразно военным результатам, представляют собой, так сказать, два идеальных типа, причем каждый из них определяется политическими целями и влияет на ведение операций.

Если сосредоточиться на этом втором аспекте мысли Клаузевица, то мы отходим от точки зрения Лиддела Харта, называвшего немецкого автора «махди масс и массовых побоищ» и употреблявшего выражение «прусская „Марсельеза“»; мы отходим также и от господствующей концепции прусского или германского Генерального штаба, требовавшей для военачальника полной свободы действий во все время военных операций между объявлением войны и прекращением огня (текст «Трактата» был фальсифицирован таким образом, что ему придавали прямо противоположный смысл). Но, мне думается, я уделил достаточно внимания поклоннику Наполеона и тому почти эстетическому воодушевлению, которое вызывали в душе прусского генерала образ битвы на уничтожение или мысль о

войне, соответствующей своему концепту. Он восхищался как профессионал настоящей войной и, казалось, порой презирал полувойны, предпочитая тяжелый меч рапире. Как стратег, он не устает подчеркивать преимущества, которые обеспечивает слабейшей стороне оборона. Как наставник, он не рекомендует ни абсолютную войну, ни полувойну. Он рекомендует главам государств не ошибиться относительно природы войны и особо обращает этот совет к тем, кто игнорирует волю противника в достижении успеха. Но Клаузевиц пишет также и о том, что абсолютная война никоим образом не является идеалом, к которому государственный деятель либо стратег должен стремиться или с которым он должен сообразовываться. С одной стороны, природа войны, ее интенсивность предопределены политическим контекстом конфликта; однако если бы эта предопределенность совсем не оставляла места для решений главы государства, то тогда Клаузевиц имплицитно утверждал бы абсолютный детерминизм войны, что плохо согласуется с тем, как он превозносит человеческую волю и героя.

Во втором томе я набросал историю «прочтений» Клаузевица, равно как истолкование войн XX столетия в свете его концептов. Первая глава, «От уничтожения к изматыванию», показывает, как Первая мировая война, которую генеральные штабы обеих сторон надеялись закончить полным разгромом противника, была в конце концов выиграна более богатой ресурсами коалицией в результате истощения центральных империй. Вторая глава анализирует в том же стиле Вторую мировую войну 1939–1945 годов. Ленин изучал «Трактат» в Швейцарии и извлек из него несколько уроков. Благодаря ему Клаузевиц стал и до сих пор остается в советском мире сакральным автором, которого цитируют и о котором спорят все военные писатели. Исходный момент третьей главы — вооружение народа (заголовок главы 26-й, книги VI); я рассматриваю последовательные этапы войны, которую ведут бойцы без военных мундиров.

Во второй части второго тома я пытался проанализировать современную обстановку, используя некоторые темы Клаузевица. «Векселя устрашения»: Клаузевиц учил, что военное сражение — это как бы окончательная плата по «кредитным операциям» дипломатии и маневрирования. Может ли устрашение при наличии ядерного оружия оставаться действенным без развязывания войны, без осуществления угроз? «Война — это хамелеон»: в самом деле, в нашем столетии сосуществуют самые различные виды военных операций, начиная с террористического акта и кончая бомбардировкой обширного пространства, — никогда еще война не была столь многообразной и вездесущей. В

сравнении с XX веком революционный и наполеоновский периоды кажутся всего лишь бледной репетицией нынешней, с размахом поставленной пьесы ужасов.

Мой друг Бертран де Жувенель, внимательный читатель литературы по вопросам стратегии, одарил меня комплиментами как вежливо-обязательными, так и подлинными («мне очень понравилось, как вы представили Клаузевица-человека, это лишний раз подкрепило мое убеждение: жаль, что Вы так редко даете пробиться наружу напору Вашей эмоциональности»), и высказал, с большим тактом, свои оговорки по поводу второго тома: «Призн*а*юсь Вам, что не „принимаю“ второй том так, как „принимаю“ первый — открыто и во всеуслышание, „loud and clear“. Ваш Клаузевиц получил воспитание в XVIII веке. Он воевал в культурно однородном мире, ибо в действительности оказалось, что „санкюлотство“, изобретенное буржуа, не продержалось долго. <…> Глупая война 1914 года выламывается из правил только торпедированием судов и заключением мира без мирных переговоров. Но вторая! Лагеря смерти! Здесь видно проявление ненависти, которая кажется мне совершенно чуждой войне времен Клаузевица. И презрение к человеку: это нечто совсем иное, чем слова, которые якобы произнес Уилсли (или, как полагают некоторые, еще раньше Фридрих II), бросая в огонь войско, отказывавшееся повторно идти в атаку: „Эти ублюдки хотели бы жить вечно…“ Клаузевиц совершенно справедливо делает упор на воле, но это воля, которая подчиняет себя правилам. <…>»

Переход от первого тома ко второму — удачный, по мнению одних читателей, искусственный или трудный для восприятия, на взгляд других, — спорен. Однако я считаю чрезмерным утверждение, будто ненависть была чужда наполеоновской войне. Сам Клаузевиц замечает, что сражение вызывает ненависть в душах сражающихся. Правда, Гнейзенау, ненавидевшему французов, не пришло бы в голову казнить пленных, женщин и детей, но он желал, чтобы Наполеон предстал перед трибуналом. Французская оккупация Европы несопоставима с гитлеровской оккупацией во Второй мировой войне. Тем не менее Клаузевиц призывал к вооружению народа, хотя предвидел, к каким жестокостям с обеих сторон это приведет. В книге я неоднократно упоминал о том, насколько наполеоновские войны остаются все еще цивилизованными, если сравнивать их с войнами XX столетия.

Публика, к которой я в глубине души обращался, была немецкой; разумеется, для книги такого рода речь могла идти не о широкой публике, а о коллегах — историках, специалистах по

международным отношениям, политологах, возможно, даже философах. Успех у критики, который книга имела во Франции, горячие поздравления друзей значили не много. По эту сторону Рейна мало людей, действительно изучавших данную тему. Исключение составляет П. Навиль, так как он — автор предисловия к книге «О войне». Насколько мне известно, ему моя работа не понравилась, однако он не нападал на нее. В Германии обстоятельствам предстояло сложиться менее благоприятно. Во Франции мой возраст начинал служить мне щитом. Что касается стилистических достоинств, которые кое-кто из читателей, уж не знаю, заслуженно или нет, находил в этом толстом и не располагающем к приятному чтению труде, то они в любом случае не сохранились бы в переводе.

Три письма ободрили меня. Прежде всего, от Карла Шмитта, с которым я встретился однажды в Тюбингене в мою бытность *Gastprofes*sor'ом в 1953 году. Жюльен Френд, который в предисловии к своей диссертации воздает должное своим двум учителям, Карлу Шмитту и мне, стал посредником между нами. Мы поддерживали нерегулярную переписку. Я посылал Карлу Шмитту некоторые из своих книг, и он всегда отвечал мне. Я поздравил его с семидесятипятилетием. В эпоху Веймарской республики Карл Шмитт был исключительно талантливым юристом, пользовавшимся всеобщим признанием. Он принадлежит к великой школе немецких ученых, которые выходят за рамки своей специальности, охватывают все проблемы общества и политики и могут быть названы философами — как был, на свой лад, философом Макс Вебер.

Карл Шмитт никогда не состоял в национал-социалистской партии. Человек высокой культуры, он не мог быть гитлеровцем и не был им никогда. Но, твердо придерживаясь правых убеждений, будучи националистом и презирая Веймарскую республику, противоречия и агонию которой он безжалостно анализировал, Карл Шмитт истолковал с юридической точки зрения приход к власти Гитлера и становление нацистской тирании. В частности, он рассматривал события 30 июня 1934 года, «ночь длинных ножей», изображая фюрера как «верховного судью». Он перестал быть *persona grata* для режима еще до начала войны. После 1945 года он признал свои ошибки и удалился в деревню в Вестфалии, где живет и сейчас.

Вот начало его благодарственного письма: «На предыдущей неделе, 13 февраля, посылка от Галлимара с Вашей новой книгой „Осмысление войны. Клаузевиц“ дошла до меня. С этого момента я не переставал читать ее, черпать из нее и увлекаться ею. Эта захватывающая книга, в ее совершенной двухчастной структуре,

представляет собой вполне удавшееся произведение. Это неслыханное деяние, книга, которая от начала до конца берет читателя в плен и остается увлекательной даже в „Примечаниях“». Не принимая эти похвалы буквально — речь шла о личном послании, — я ощутил моральную поддержку справа: итак, книга была приемлемой для консерваторов или реакционеров.

Профессор Вернер Хальвег, осуществивший последние издания книги «О войне», — я встречался с ним на коллоквиуме по военной истории в Мюнстере, и он сообщил мне некоторые сведения, — поблагодарил меня любезным письмом: «На меня произвели большое впечатление глубина и новизна развития Вашей мысли и такого толкования Клаузевица, которое выявляет структуры и аспекты его мысли, не замеченные прежде. <…>» Эти формулировки не шли дальше обычной учтивости профессоров, занятых одними и теми же исследованиями.

Мой друг Голо Манн, вместе с которым я присутствовал в 1933 году на аутодафе книг в Берлине и которого вновь встретил в Париже, когда он преподавал в Школе Сен-Клу, помог мне поверить, что я не проиграл свое пари и не потерял годы, посвященные прусскому стратегу: «Эта книга — без сомнения, самая прекрасная из написанных Вами; Ваши достоинства, известные нам из предыдущих работ, здесь повторены и усилены. К этому добавляется нечто неповторимое: связь между двумя умами, соединенная с биографическим элементом. Биография превосходна; знание всего, относящегося к северной Германии, безупречно, то же следует сказать о такте, понимании (я не люблю слово *einfühlen*[250]). <…> Мост, перекинутый от первого тома ко второму, от анализа текстов Клаузевица к современности, — смелое предприятие, которое мне кажется полностью удавшимся. <…>»

Понятно, что я был просто ошеломлен неистовой атакой на сорока с лишком страницах[251], направленной против моей книги и против меня неизвестным мне социологом Робертом Хеппом. Критика, зачастую схоластическая, сочеталась с отнюдь не научными нападками: намек на отсутствие у меня боевого опыта (факт сам по себе верный, но несущественный, когда дело касается размышлений о стратегии: тот же упрек был адресован Дельбрюку), намек на мое еврейство, не дозволяющее мне объективно анализировать Гитлера и т. д. Я ответил на научную критику и воздержался от какого бы то ни было ответа на выпады *ad hominem*[252]. Научный спор не может найти себе место в данной книге, однако мне не кажется невозможным или неуместным остановиться на главных темах дискуссии, которой

не следовало бы выходить из академических рамок.

Вдохновлена ли диалектика Клаузевица Гегелевой диалектикой? Р. Хепп не приводил никакого аргумента, который смог бы изменить мое отрицательное мнение на этот счет. Определение «понятия в его пределе», определение войны в тот момент, когда она достигает своей крайней точки, ни в коей мере не кажется мне гегельянским. Мое собственное толкование остается в моих глазах наиболее близким к текстам, по крайней мере к тексту первой главы, который сам Клаузевиц считает единственно законченным. Первоначальное определение войны как поединка — силой подчинить своей воле другого — содержит двойное испытание силы: нравственное и материальное. Поединок, сведенный к абстрактной схеме, закономерно стремится к своему пределу. Однако на следующем этапе Клаузевиц переходит от простого представления о поединке к конфронтации государств и народов, конфронтации, которая, в зависимости от целей и страстей, либо доходит, либо нет до предельной точки. Идеальная, теоретическая, абстрактная война не есть ни идеальный тип в смысле, какой придает ему Вебер, ни Гегелев концепт войны; она есть сущность враждебности, сведенной к себе самой, отвлекаясь от обусловливающих ее обстоятельств и от целей, придаваемых ей противниками.

Я воспользовался полнее, чем большинство толкователей, тем, что я назвал тройственным определением и что мог или должен был бы назвать триадой: реальная, или конкретная, война включает страсть (народ), свободную деятельность души (военачальник) и понимание (политика, олицетворенный разум государства). Я не опустил ни одного из текстов, в которых Клаузевиц повторял, что война, высвободившаяся из своих обычных пут, вряд ли с легкостью вернется в те тесные формы, в которых она существовала в прошлом (XVIII) веке, и что будущие войны станут, вероятно, войнами национальными — с участием народных страстей и тенденцией к безудержному разрастанию. Упрекнуть меня можно в том, что я чрезмерно настаивал на роли разумного понимания и сделал все выводы из подчинения военачальника главе государства — во времена Клаузевица монарху. Но каждый, кто внимательно читает тексты немецкого стратега, ничуть не сомневается в том, что он действительно придавал все большее значение двум идеям, которые раздражают приверженцев упрощенного Клаузевица, — а именно, примату политики и различию между двумя родами войн.

Другой критик, Г. И. Арндт, в учтивом стиле упрекнул меня за то, что я не беру в расчет войны, не являющиеся средством политики; порожденные враждебностью в чистом виде, они не

могут не перерасти в схватку не на жизнь, а на смерть. Мне кажется, что ссылка на несколько строк Клаузевица (кн. VIII, гл. 6 *Б)* не противоречит моей интерпретации. Вся фраза звучит так: «Исчезновение политической точки зрения с началом войны было бы вероятным только в случае, если бы войны, порожденные враждебностью, были войнами не на жизнь, а на смерть; в том виде, в котором они существуют, они не что иное, как выражение политики как таковой». Из этой фразы, взятой изолированно, в самом деле можно вывести тезис, согласно которому войны, вскормленные чистой враждебностью и переросшие в смертельные схватки, не имеют уже ничего общего с политикой. Дело обстоит иначе, если мы учитываем контекст. Намерение Клаузевица оказывается прямо противоположным: он хочет доказать, что прерогатива ведения войны принадлежит суверенному правителю, а не военачальнику. В главе 1 он ясно пишет, что войны между цивилизованными народами возникают только по политическим мотивам. В той же главе (§ 25 и 26) он объясняет, что в войне тем больше войны и тем меньше политики, чем шире мотивы конфликта. Величина ставки увлекает войну в бездны неистовства; цель войны все больше смешивается с политической целесообразностью. Но в смертельной схватке не меньше политики, чем в смягченной форме войны: в обоих случаях вид войны определен мотивами и политическим контекстом. Не думаю, что я преуменьшил риск безудержного разрастания — возможность войны до последнего предела, увлекаемой своей собственной динамикой, уже не повинующейся разумной воле, иначе говоря, пониманию, которым обладает глава государства. Этот риск возрос в ядерную эпоху.

С тем, что мое толкование может быть спорным, я охотно соглашаюсь, но в чем и почему оно принижает Клаузевица? Разве я делаю из него, как пишет Р. Хепп, безобидного, безвредного *(harmlos)* мыслителя? Совсем напротив, это опасный автор, как Фукидид и Макиавелли, с которыми я его сравнил. Разумеется, Клаузевиц, теоретик войны по преимуществу, писал о военных вопросах, сражениях, тактике гораздо больше, чем о политике. Разумеется, он отмечает место политики в стратегии, не анализируя самоё политику. Но вот что создает его своеобразие и не позволяет спутать его даже с таким автором, как Жомини: всю свою жизнь Клаузевиц бился над сложной взаимосвязью между военной грамматикой и политической логикой, не пренебрегая ни мрачным ужасом сражений, ни выкладками разумного понимания. Представить его не доктринером, но теоретиком, человеком, который изучает войну, не обладая секретом победы,

который поднимается на самый высокий уровень абстракции и рекомендует чтение газет или рассказов участников войны, не значило, конечно, принизить его. Может быть, некоторые — Р. Хепп и другие — хотят видеть Клаузевица более грубым, представляют его себе не столь мучительно разрывающимся между различными тенденциями своей мысли. Выражение лица схватывает взгляд художника. То, что видят в человеке другие, никогда не кристаллизуется в сокровенную человеческую сущность.

Второй том (или вторая часть) книги кажется мне значительно уязвимее первого. Некоторые замечания Р. Хеппа (по поводу Людендорфа или связующей нити между Гитлером и Клаузевицем) уместны. Однако его самые ядовитые нападки направлены против нескольких фраз, касающихся Второй мировой войны. Например, он обращает внимание на следующие строки: «При том что чудовищами были и Гитлер и Сталин, один из них преступлениями предавал свои идеи, другой осуществлял на практике свои. Оружие решило спор в пользу того из чудовищ, чьей целью не была победа чудовищной доктрины, — справедливость восторжествовала». Р. Хепп упрекает меня в распространенной ошибке — подходе с разными мерками к левым и к правым, убеждении, что преступления первых весят меньше на чаше весов и т. п. Поступил ли я правильно, написав «справедливость восторжествовала»? Я неоднократно задавал себе этот вопрос, так и не найдя однозначного ответа.

Что означает слово «справедливость» в этих смертельных схватках? Изначальную ответственность тех и других? В таком случае Гитлер несет большую ответственность, чем Сталин, хотя последний разделяет ее вследствие пакта 1939 года. Лучше ли сталинские идеи, нежели гитлеровские? Первоначальные идеи Маркса, несомненно, лучше. Менее ли они опасны? Об этом можно спорить. Были бы последствия победы Гитлера хуже, чем последствия победы Сталина? Еврей не может колебаться с ответом. Немец, допустим Э. Юнгер, ответил бы, что Гитлер не долго удержался бы у власти, что немецкий народ пробудился бы от нацистского опьянения и одновременно освободил бы Европу. Каждый волен гадать, что могло бы произойти. По зрелом размышлении, я, несмотря на двусмысленность слова «справедливость» в данном контексте, не чувствую стыда за эту свою фразу.

Я посвятил одно из примечаний, помещенных в конце книги, критике Хансеном У. Болдуином американского метода ведения войны. Этот журналист ставит в упрек руководителям США их «прагматическую доктрину безусловной капитуляции и тотальной

победы», бомбардировки городов, совершаемые без какой-либо избирательности. Р. Хепп укоряет меня в том, что я недостаточно сильно обличаю «преступления» Запада. Он возмущенно цитирует следующую фразу: «Когда в августе 1945 года две атомные бомбы опустошили Хиросиму и Нагасаки, принцип уничтожения, применявшийся ранее лишь к вооруженным силам врага, был, по-видимому, распространен на мирное население». Само собой разумеется, что речь здесь идет не о видимости, а о действительности; я не стал бы защищать редакцию фразы, но слово «по-видимому» определяло само проявление неизбирательного насилия. Это тем очевиднее, что следующая фраза гласит: «Атомные бомбардировки явились продолжением действий англо-американской авиации, обративших в руины германские города»[253]. В этой главе я анализировал безудержное разрастание чистого насилия и снимал с Клаузевица всякую ответственность: принцип уничтожения направлен скорее против живой силы, чем мертвой, хотя автор и упоминает, в главе 2, об опустошении страны как способе вынудить врага к сдаче. Р. Хепп негодует на отсутствие нравственного негодования в моем аналитическом тексте, после того как попенял мне за придание Клаузевицу безобидного характера (*Verharmlosung*).

Оставим эти подробности и перейдем к краткой статье Армена Моле, доктринера «Консервативной революции» в 30-е годы. По его словам, во всем западном мире, в том числе и в Федеративной Республике Германии, моя книга была принята почти единодушно как единственное имеющее ценность истолкование Клаузевица. С этим общим мнением, продолжает он, не согласились два университетских профессора — Г. И. Арндт и Р. Хепп. Оба критика стремились доказать, что я смягчаю Клаузевица, дабы адаптировать его к потребностям западного либерализма и дать отпор использованию Клаузевица советским миром. А. Моле воздержался от того, чтобы принять чью-либо сторону — по правде говоря, это потребовало бы от него больше страниц, чем ему отвела редакция, — но, судя по всему, он был доволен, столкнув лицом к лицу коммунистов и либералов, братьев-врагов в его глазах.

Лично я не думаю, что Р. Хепп критикует меня с точки зрения коммунистов; совсем напротив, он вдохновляется национализмом, происхождение и устремленность которого мне неизвестны. Еще довольно молодой человек, он получает удовольствие, нападая на старого профессора, который вдобавок сует свой нос в стратегию и не без самоуверенности прикасается к национальной славе — славе прусских войск. То обстоятельство, что я ему пространно ответил, наверняка явилось для него

успехом. Годом позже журналист Г. Машке повторил аргументы Хеппа в рецензии на страницах «Франкфуртер альгемайне цайтунг» («Frankfurter Allgemeine Zeitung»).

Мое истолкование Клаузевица в первой части подходит как Советскому Союзу, так и Западу: и там и здесь примат политики над военной сферой приобрел в наше время сакральный характер. Если я не согласился безоговорочно с ленинской интерпретацией Клаузевица, то причина этого очевидна: прусский автор предполагает национальное единство, воплощенное в короле, Ленин же исключает это единство, разрушаемое в досоциалистическую эпоху классовой борьбой. Ничто не мешает Ленину заменить нацию классом и использовать «Трактат» в своих собственных целях. От этого он не становится истинным учеником того, кто был учеником Шарнхорста.

Я охотно призна*ю* недостатки второго тома, о которых мне говорили Эрик де Дампьер и Бертран де Жувенель, хотя Карл Шмитт и Голо Манн считали, что мне удался опасный переход от наполеоновских войн к нашему времени. Лично я испытываю сомнения, главным образом относительно последней части второго тома, где я пытался воспользоваться концептами «Трактата» для освещения современной обстановки. Еще и теперь я склонен защищать главу «Векселя устрашения». Я рассматриваю там одну из самых трудных проблем, с которыми встретился: чт*о* осталось от многократно высказанной, начиная с критической статьи Г. фон Бюлова, мысли, что сражение в сравнении с маневрами есть то же самое, что уплата наличными в сравнении с долгосрочными коммерческими операциями? Этой уплаты наличными американцы хотят и надеются избежать, ибо в их представлении сдерживание, в форме угрозы применения ядерного оружия, должно продолжаться неопределенно долго, так что угроза никогда не будет осуществлена. Думает ли так же советская сторона? Специалисты спорят об этом. Советский Союз надеется выиграть историческое состязание, не прибегнув к ядерному оружию.

Вряд ли, однако, простые осечки или ошибки в деталях, допущенные в анализе современной обстановки в свете «Трактата», вызвали такое раздражение Р. Хеппа или Г. Машке. Мне кажется, что враждебность, по крайней мере первого из них, в той мере, в какой она вызвана теоретическими разногласиями, берет начало в политических последствиях некоторых, по видимости научных, идей. Вопреки господствующему мнению, я настаиваю на том, что «холодная война» не является войной в понимании Клаузевица, что Советский Союз не находится в состоянии войны с Соединенными Штатами или с западным

миром. Я не отрицаю того, что отношения между великими державами остаются далеко не мирными с момента окончания последней войны и что государства позволяют себе совершать в отношении друг друга поступки, которые в иную эпоху были бы сочтены воинственными. Я не ставлю также под сомнение отсутствие в наше время четкого водораздела между войной и миром. Но я согласен с советским толкованием понятий: отличительная черта войны по сравнению с классовой борьбой или межнациональным соперничеством — явлениями постоянными — есть *преобладающее* применение физического насилия. А Клаузевиц — согласны мы с этим или нет — определил специфическую особенность войны как насилие (*Gewalt*), выступающее в качестве продолжения или дополнительного метода межгосударственной политики. В этом пункте я разделяю точку зрения советских авторов, которые проводят различие между классовой борьбой и гражданской войной, между воинственным миром и войной государств. Советские авторы постоянно повторяют — и я настаиваю на этом, именно как верные ученики Клаузевица[254], — что «вооруженная борьба есть главный метод, специфический элемент войны». Это концептуальное различие не обязательно подразумевает отсутствие в мирное время действий, совершаемых государствами с целью повредить своим потенциальным, или действительным в настоящий момент, или постоянным врагам.

Я попытался опровергнуть тезис, неявно заключенный в том, что я называю перевернутой формулой: правильно ли будет сказать, что мир есть продолжение войны другими средствами?

Опять-таки я не отрицаю того, что террористические сети КГБ, стремящиеся дестабилизировать демократические страны Европы, действуют как враги и далеко выходят за рамки существующей с незапамятных времен шпионской практики (которую Гоббс 312 не преминул упомянуть в своем описании межгосударственных отношений, взятых за образец естественного состояния). Клаузевиц хранил воспоминание о европейской Республике государств, какой ее описали Вольтер и Монтескьё 313, хотя он и предчувствовал последствия национальных войн или вооружения народа. Вольно же современному теоретику не признавать, что специфический характер войны заключается в насилии или преобладающем применении насилия. Как бы там ни было, но различие между войной и миром, которое советские авторы усматривают в применении (преобладающем) насилия, восходит по прямой линии к Клаузевицу.

Мой отказ перевертывать Формулу явно раздражает моих оппонентов. Формально я отвергаю эту инверсию по очень

простой причине: Формула не исключает того факта, что, когда пушки молчат, государства продолжают свое соперничество вне поля боя и иными средствами; но утверждение, будто мир есть продолжение войны иными средствами, лишено смысла в универсуме Клаузевица, поскольку война характеризуется применением оружия. Если кто-то хочет сказать, что противостояние государств в нашу эпоху окрашено враждебностью, отличающейся по своей природе от той, которая существовала между европейскими государствами в прошлом, я с этим охотно соглашусь. Что думал бы и что писал бы Клаузевиц сегодня, никому не известно. Мои суждения о современной обстановке принадлежат только мне одному, и я признаю, что, опираясь на другие мысли Клаузевица, можно прийти к выводам, не совпадающим с моими.

Возьмем за исходную точку две идеи: величину ставки и силу страстей. Нет сомнения, что соперничество между советским режимом и западными демократиями создает политический контекст, делающий вероятной войну первого типа, войну, которой суждено разрастись до крайних пределов. Приходится также констатировать, что конфликт охватывает всю планету, что вооруженная борьба постоянно вспыхивает то там, то тут и что, следовательно, война уже началась; не следует ли из этого заключить, что «малые» войны, которые, с точки зрения СССР или США, относятся ко второму типу, но сами по себе, в местном масштабе, порой принадлежат к первому (Южный Вьетнам исчез с лица земли), в один прекрасный день увлекут воюющие стороны к крайнему, катастрофическому развитию событий? Да и как, добавит некий последователь Клаузевица, фанатик радикального решения, могла бы столь непримиримая вражда, порожденная стремлением господствовать над всей Европой, не вызвать взрыва, соразмерного величине ставки и накалу страстей?

Мне кажется возможным иное суждение, но высказываю его я, а не Клаузевиц. Я опираюсь на то толкование мыслей стратега, которое делает акцент на разумном понимании, на верховенстве олицетворенного разума — политики. Этот подход разделяют восточные немцы, но, перетолковывая Клаузевица на марксистский лад, они утверждают, что радикальное решение спора между капиталистическим миром и миром социалистическим неизбежно. Тем не менее сохраняется надежда, быть может иллюзия, что соперничество между Востоком и Западом постепенно истощится и сойдет на нет без большой войны и применения ядерного оружия. Теоретики на Востоке не исключают того, что к радикальному решению можно прийти без помощи ядерного оружия, однако я был неправ, изображая

последнее как предназначенное исключительно для сдерживания и непричастное к радикальному решению. Такова была его функция в течение последних тридцати пяти лет, но это не значит, что такова вообще функция ядерного оружия. Против врага, не обладающего этим оружием, оно гарантировало бы успех радикального решения. Когда речь идет о столкновении великих держав, это оружие может стать причиной коллективного самоубийства. Можно, однако, вообразить сценарии, при которых ядерное оружие, доставленное до цели ракетами точного попадания, обеспечило бы радикальное решение без апокалиптических последствий для победителя или для побежденного.

Итак, я согласен с тем, что последователь Клаузевица, одержимый принципом уничтожения и убежденный, что любые столкновения не на жизнь, а на смерть требуют радикального решения, решил бы совершенно иначе, нежели я, загадку мира, в котором я живу и в котором готовлюсь умереть. Что я отвергаю, это обвинение в том, будто я принизил Клаузевица, сделал из него безобидного мыслителя, не осознающего историю как трагедию. Эту трагедию я вижу, ощущаю и от первой до последней страницы старался дать почувствовать ее присутствие. Израиль порожден насилием, продолжает существовать лишь благодаря насилию и рискует погибнуть завтра в результате насилия. То, что великие державы не станут искать решение своего спора в оргии ядерного насилия, — всего лишь надежда или пари, в котором мы делаем ставку на разум. Клаузевиц не дарит нам никакой уверенности, но и не приговаривает нас к смирению и фатальности. Клаузевиц, или либеральная мягкотелость? Нет, конечно. Клаузевиц, сознающий трагизм истории и оставляющий долю инициативы мужеству народов и героев, кажется мне выше, чем «махди масс и массовых побоищ», чем молодой офицер, презиравший Фабия Кунктатора, и даже чем предполагаемый учитель Мольтке, Шлиффена или Фоша.

Скажу в заключение о двух статьях, из которых одна — честная критика, а другая — чрезмерно восторженна. Хотя Вильфрид Кунстман ошибочно полагает, будто моим главным намерением было освободить теоретика войны из когтей марксистской интерпретации, он проводит четкую границу между первым и вторым томами. «Если рассматривать книгу как целое, то труд Арона становится необходимым при исследовании творчества Клаузевица, прежде всего благодаря систематической реконструкции теории войны в первом томе». Но, продолжает критик, «книга теряет композиционную стройность, по мере того как Арон приближается к современности: здесь текст изобилует

отступлениями, обходными путями, повторениями, примечаниями, зачастую ненужными».

Статья Вильфрида фон Бредова содержит строки, о каких я простодушно мечтал заранее; я воспроизвожу их, рискуя вызвать у читателя улыбку. «Умение с блеском выразить свою мысль, узнаваемое даже в немецком переводе (хотя перевод часто оплощает стиль), завидная эрудиция автора и, наконец, совершенное мастерство, позволяющее увязать науку и опыт, делают книгу Арона бесценной кульминацией в истории встречи французской и немецкой культур».

Вслед за тем рецензент отмечает несовпадение своих позиций с моими. Он ставит мне в укор в моих предыдущих книгах склонность пассивно принимать как данность самые чудовищные факты, вместо того чтобы стремиться изменить их. «В этой книге я не нашел ничего подобного; сопоставляя ее с предшествующими работами автора, признаем, что книга о Клаузевице, произведение зрелого возраста, безупречна».

Я опускаю комментарий к моим двум томам и перехожу сразу к заключительной части статьи, упоминающей о полемике, которую вызвала книга. По поводу немногочисленных участников дискуссии Вильфрид фон Бредов пишет: «Некоторые рецензенты, которых я не назову, писали об этой книге, не прочитав ее. Некоторые другие — и это для меня тревожный симптом — отвергли трезвый взгляд Арона из неонационалистской озлобленности. Вызывает беспокойство уже то, что рациональный консерватизм Арона, которому надлежало бы занять гораздо большее место в этой стране, ныне отторгается адептами германской политологии; видя эту эволюцию, я опасаюсь худшего».

Надеюсь, что это беспокойство преувеличено. Столкнувшись с разновидностью германского неонационализма, я был немало удивлен.

XXV
УПАДОК ЗАПАДА

Я вспоминаю о 70-х годах — вплоть до апреля 1977-го — как о периоде интенсивной деятельности и душевного покоя, не нарушенного никакой полемикой, сравнимой с теми, которые были вызваны событиями мая 1968-го или Шестидневной войной. Коллеж де Франс поглощал лучшую часть моих трудов и моего времени. Разочарование высших слоев интеллигенции в марксизме-ленинизме, начавшееся после речи Н. Хрущева на XX съезде КПСС, усиливалось. Постепенно, по мере того как события мая 1968-го отодвигались в прошлое, а главные действующие лица тех героических недель возвращались в безвестность, из которой их вырвала судьба, мне простили занятую тогда позицию. На сцену вышло новое поколение интеллектуалов, сразу снискавших известность; им, в свою очередь, благоприятствовала парижская мода, на которую сильнейшим образом воздействовали советские диссиденты, особенно Солженицын.

Избрание в Сорбонну в 1955 году помогло мне наговорить или написать мои книги об индустриальном обществе, о международных отношениях, о великих учениях в области исторической социологии. Благодаря избранию в Коллеж, я помолодел, почувствовал в душе новый пыл; если бы не желание заслужить место в этом прославленном учебном заведении, у меня, может быть, и не хватило бы мужества продолжать свои ученые изыскания о Клаузевице.

Я замыслил свои лекции в Коллеж де Франс как попытки, которые надеялся реализовать (если пользоваться словарем регби), иначе говоря, создать на их основе книги. Две из них — «От германского историзма к аналитической философии» («De l'historisme allemand à la philosophie analytique») (1972/73) и «Построение исторического мира» («Edification du monde historique») (1973/74) — являлись составной частью проекта, который я набросал в предисловии к «Истории и диалектике насилия» («Histoire et Dialectique de la violence»). В 1970/71 и 1971/72 годах один из моих лекционных курсов назывался «Критика социологической мысли». Я уповал на то, что он станет хотя бы предварительным наброском будущего, третьего, тома книги «Main Currents of Sociological Thought» (во Франции «Этапы социологической мысли» вышли в одном томе). Этот курс мне решительно не удался; единственная польза заключалась в том, что я понял, какой должна быть подобная «Критика».

Ни одна из этих «попыток» (кроме двух — «Имперской республики» и «Клаузевица») не заслуживала того, чтобы их реализовать. Этим подготовительным трудам не суждено было когда-либо завершиться. Вероятно, я написал бы книгу по материалам курса «Марксизм Маркса» (1976/77), если бы сразу по его окончании меня не подкосила эмболия [314]. Курс 1977/78 года стал продолжением «Эссе о свободах» и назывался «Свобода и равенство» — эта тема в моих размышлениях занимала больше места, нежели ей отведено в данной книге.

В 1973/74 году я озаглавил свой курс «О постиндустриальном обществе». Почему я остановился на этом названии? Возможно, потому, что понятие постиндустриального общества пользовалось в то время некоторой популярностью, и в особенности потому, что все другие названия, лучше отвечавшие моим намерениям, были мне по той или иной причине заказаны. На то, которое мне нравилось больше всего, Александр Дюма навсегда наложил свою печать: я имею в виду «Двадцать лет спустя». В сущности, я собирался перечитать в свете истекших событий три маленькие книжки, посвященные сравнительному изучению обществ Востока и Запада.

В 1974–1975 годах, через девятнадцать лет после «Восемнадцати лекций», первый нефтяной шок в сочетании с псевдонаучными пророчествами Римского клуба смущал умы, едва оправившиеся от лихорадки 1968-го. Речь шла не столько о самокритике, сколько о возвращении через двадцать лет к тем же проблемам.

Слово «индустрия» восходит к XVII веку; оно означало тогда изобретательность, искусность, сноровку, умение. Малый словарь Робера приводит выражение Фенелона: «могущество и индустрия (изобретательность) Минервы»; словарь Литтре цитирует Мольера: «Потише, эта речь — плод моей индустрии»; у Расина в «Ифигении»: «Но вскоре, со своей жестокой индустрией, со мной заговорил про родину и честь». От «сноровки» и «умения» происходит более широкое значение, получившее распространение в XVIII веке: совокупность видов деятельности, связанных с производством богатств, переработкой сырья и других материалов. Литтре приводит фразу Вольтера, которая любопытным образом отвечает *Zeitgeist,* духу времени, конца XX века: «Индустрия исправила тот ущерб, который природа и небрежение нанесли нашим краям».

Сенсимонисты ответственны, по-видимому, за исторический или идеологический смысл, приданный индустрии. Вероятно, сам Сен-Симон изобрел существительное «industriel» (промышленник), противопоставив это понятие «рабочему» или

«чернорабочему»; он отличает его также от собственника, который, не будучи управляющим, не работает. Зато сенсимонисты отнюдь не противопоставляют индустрию сельскому хозяйству, коммерции и банкам. В «Изложении доктрины Сен-Симона» я нашел выражение «банковская индустрия». Термины «индустриализм», «банковская система» приобретают историко-философское содержание: они обозначают общественное устройство, являющееся антитезой другого устройства — «военной системы». Эпоха, когда люди сообща эксплуатируют природу, приходит на смену эпохе, когда люди эксплуатировали друг друга.

В «Разочаровании в прогрессе»[255] я напомнил о сравнении, которое Огюст Конт проводил между военным и индустриальным обществами. Мы знаем, что применительно к нашему времени сенсимонисты и Огюст Конт ошибались: частичное господство, приобретенное людьми над природой, предоставляет им больше средств для взаимного истребления, чем оснований для взаимопонимания. Но стоит только устранить соблазнительную альтернативу «индустриальное или военное общество» — и индустриальная система в том виде, в каком Анфантен и Базар излагают ее в «Доктрине Сен-Симона», оказывается предвосхищающей во многих пунктах марксистскую мысль. Оба пророка обличают эксплуатацию человека человеком, которой индустриальная система должна положить конец; оба воспевают благодетельные свойства организации, а не рынка. Их социализм можно назвать организаторским, поскольку они осуждают наследование и ставят труд на службу благосостоянию большинства.

Хотя сенсимонисты тоже констатируют существование социальных противоречий, они никогда не приходят к основным положениям марксизма, каковыми являются мессианская роль пролетариата и коренная противоположность между капитализмом и социализмом. Сенсимонисты остаются в некотором роде поборниками элитизма, заключающегося в том, чтобы действовать для масс, а не при помощи масс; а главное, они не разработали теории, эквивалентной критике капитализма и классической экономике. Маркс воспользовался идеями Рикардо 315, чтобы создать научную теорию эксплуатации и обосновать теорию о двух радикально противоположных общественных устройствах, одно из которых неизбежно уступит место другому.

В 1974 году я обращался уже не к настороженной, а то и враждебной аудитории, но к такой, которая была заранее расположена в мою пользу. Судя по парижской моде, обстановка

изменилась совершенно, по крайней мере на поверхности. В 1955-м французы еще не были уверены в своем экономическом прогрессе и барахтались среди последних всплесков деколонизации. Третий курс лекций, прочитанный в 1957/58 учебном году, совпал с возвращением к власти Генерала. Моя последняя лекция состоялась в мае 1958-го, в последние дни существования Четвертой республики. В 1974 году сомнения первых послевоенных лет уже принадлежали к прошлому; исчез и чрезмерный оптимизм, вскормленный рядом «чудес», произошедших одно за другим или одновременно в европейских странах. Теперь мировая капиталистическая экономика страдала от небывалой болезни — «стагфляции». Она страдала одновременно от двух зол, которые, согласно общепринятой мудрости *(conventional wisdom),* взаимоисключаются — инфляции и стагнации. Механизм роста заело, и попытки вновь привести его в движение благодаря дополнительной дозе инфляции оказывались безуспешными. Обычное лечение не помогало. Искали нового Кейнса. Увеличение в четыре, пять, десять раз цены на горючее задним числом показало Западу, каким огромным и необоснованным преимуществом он пользовался в течение предыдущей фазы. Дороговизна нефти (дороговизна лишь относительная — в сравнении с недавним прошлым) придавала некоторое вероятие тезисам Римского клуба. Из всего этого вытекала совершенно новая проблематика.

Я кратко изложил причины, по которым неохотно употребляю термин «постиндустриальное общество». Несомненно, бурно развивающиеся отрасли индустрии зависят ныне более непосредственно от науки, чем старые отрасли, хотя химическая промышленность конца прошлого (XIX) века уже может считаться примером индустрии, непосредственно питаемой наукой, что характерно для постиндустриальной эры. Следовательно, если термин «индустрия» означает не так называемый вторичный сектор, а систематическое использование знания с целью увеличения производительных сил, то общество, именуемое постиндустриальным, продолжает принадлежать к индустриальному типу, даже если современная фаза представляет некоторое своеобразие по сравнению с предыдущими.

В 1955 году французы едва осознавали, что находятся на подъеме, в начале своего «чуда». Я без колебаний поместил экономический рост в центр экономического анализа. Разумеется, феномен роста или его эквивалент под другим названием был известен классическим экономистам. Но скромное место, которое они уделяли ему в своих работах, находится, на наш взгляд, в

противоречии с его значимостью[256]. Лишь в одной из глав «Трактата» Рикардо говорится об увеличении богатства благодаря искусности работников, машинам или организации. Теорию экономического роста создала на Западе книга Колина Кларка «The Economic Progress» — фундаментальный труд, даже при том, что вся статистика позднее была оспорена, опровергнута или исправлена.

Эта теория предполагала статистику национального продукта, которая восходит к периоду, непосредственно предшествующему Первой мировой войне, но которая не сразу вошла в повседневное употребление (по крайней мере во Франции) даже и после Второй мировой. Макроэкономика, на которую опирается общая теория Дж. М. Кейнса, также приводит к теории экономического роста, к необходимости сравнивать между собой все национальные экономики, абстрагируясь от соответствующих им социально-политических режимов. Пятилетие планы Советского Союза подтолкнули Запад к поиску цифр, которые соответствовали бы цифрам Госплана. В 1955 году я подчеркивал научную ценность, которую усматривал в теории экономического роста; я делал также упор на материальных и политико-этических следствиях самого факта роста, то есть постоянного увеличения пирога, предназначенного для дележки.

В 1974–1975 годах моя задача была противоположной: усиленно настаивать на точном значении понятий, касающихся совокупных доходов и расходов государства — как, например, валовой национальный продукт — на границах точности глобальных цифр. Мы все знаем, какие условности повелевают расчетом национального продукта в разных странах и какие уловки, какая сомнительность цифр отсюда проистекают. Статистические исследования охватывают рыночную экономику; домашний труд в основном не относится к рыночному сектору. Достаточно того, чтобы некоторые виды деятельности не рыночного характера стали рыночными, чтобы в цифрах появился рост национального продукта, не отражающий реального приумножения богатства.

Еще больше, чем достоверность количественных характеристик, которыми оперирует теория экономического роста, была поставлена под вопрос после 1968 года ценность самого роста. Еще до моего курса лекций 1974 года, в «Разочаровании в прогрессе», написанном в 1965-м и опубликованном в 1969-м, я постарался четко уточнить, чего именно можно ожидать от возросшего объема товаров и услуг и чего ожидать не следует. Эта переоценка, *reappraisal*, не выливалась в «мучительный пересмотр позиций». Экономический

рост был желателен сразу после войны, и он остается таковым сегодня, хотя обстоятельства вынуждают отказаться от упрощенного взгляда на него, не позволяя видеть в нем панацею против социальных конфликтов. Будучи желательным, экономический рост остается по-прежнему и возможным за пределами нынешнего спада; гипотеза о какой-то радикальной перемене, способной парализовать экономики вопреки научно-техническому прогрессу, ни на чем не основана. Разумеется, неплохо напомнить, что обогащения сообщества недостаточно для устранения неравенства, которое общественное мнение считает чрезмерным. Но было бы достойно сожаления, если бы на смену идеально-типическому представлению о человеке, находящемся в постоянной погоне за максимумом удовлетворения, пришло еще более отталкивающее представление о человеке завистливом, который чувствует себя менее удовлетворенным, если доходы других людей растут быстрее, чем его собственные, даже при том, что его доходы тоже растут.

От кризиса 70-х годов — нормальное, но внезапное увеличение цен на нефть, эндемическая инфляция, распад международной валютной системы — я перешел к тезисам Римского клуба. Первый отчет Клуба показался мне вопиющим примером псевдонауки и облеченного в цифры милленаристского катастрофизма. Великой Надежде 60-х возразил, в 1974–1975-м, Великий Страх 2000 года. Я попытался дать разумные, умеренные ответы на вопросы, которые вдруг стали задавать себе люди на Западе по поводу загрязнения окружающей среды, истощения естественных ресурсов, численности населения.

Данные относительно общей цифры населения планеты и его распределения между континентами и странами если и вызывают споры, то второстепенного порядка. Зато вокруг перспектив, связанных с численностью людей и их пропитанием, кипят страсти. Стоит взглянуть на человечество как на единое целое — и вот уже западные общества, высокоразвитые и богатые, превращаются в каннибалов, настолько велико число калорий, которые потребляет гражданин Европы или США и которых лишены массы на юго-востоке Азии. Рискуя, что меня сочтут циником, я не подписываюсь под этим обвинительным актом.

Миллионы детей еще умирают от голода в некоторых регионах мира. В этих же самых регионах отсутствие гигиены, условия жизни продолжают миллионами косить детей, не достигших десяти лет, молодых людей, не доживших до двадцати. Такой демографический режим, если пользоваться специальным жаргоном, существовал в Европе в течение многих

веков. Двое из детей моего дедушки Фердинана умерли ранее пятилетнего возраста. Фермеры Соединенных Штатов, крестьяне Европы не станут преобразовывать свои хозяйства по призыву христиан или моралистов, дабы производить больше калорий для третьего мира. Эти изменения в западном сельском хозяйстве кажутся мне особенно неразумными потому, что в них нет даже нужды: зерна производится до сих пор достаточно, чтобы обеспечить необходимый минимум самым обездоленным. Но за него надо заплатить, его надо перевезти; человечество в целом больше страдает из-за условий жизни на местах, чем от абсолютного дефицита пищи. Впрочем, если угодно указывать виновных, то почему бы не вспомнить руководителей советских режимов, которым удается, вследствие бесхозяйственности или догматизма, сделать бесплодным труд своих крестьян? Если бы последние пользовались теми же свободами, что и крестьяне Запада, они бы обеспечили русских, поляков и немцев ГДР всем необходимым питанием и даже сверх того.

Против чего я решительно выступал — это глобальный подход к проблемам, шла ли речь о народонаселении или о зерновых культурах. Люди Запада, говорят нам сторонники диеты, едят слишком много и неправильно, в то время как в Сахеле или Бангладеше агонизируют голодающие дети. К 2000 году на Земле будет больше семи миллиардов ртов: следовательно, следует снизить рождаемость. Все люди равны перед лицом Бога; они не равны в отношении физического или умственного потенциала. Снизить рождаемость на Западе не значит внести вклад в борьбу с перенаселенностью, это значит, напротив, усугубить кризис. Уменьшение населения Европы и Соединенных Штатов не высвободило бы пищу для голодных в Африке или на юге Азии. Оно снизило бы число эффективных производителей; возник бы риск, что станут бесплодными богатые народы, являющиеся вместе с тем новаторами, пионерами в области науки и техники, элитой, которая в настоящее время, возможно в результате случайного стечения обстоятельств, увлекает за собой все человечество и способна смягчить страдания обездоленных масс.

Методико-философская идея, которую я стремился выявить, была следующей: в каких случаях надлежит включать в анализ весь человеческий род, а в каких — изучать отдельно те или иные страны или группы стран? Когда речь идет о народонаселении, ответ очевиден. Желать снижения численности народов, которые едят слишком много (и неправильно), под тем предлогом, что нужно накормить умирающих с голоду, — значит выказать полное невежество, не извиняемое добрыми чувствами. Так же ли

обстоит дело, когда предметом исследования является отставание в развитии или третий мир? Разумно ли говорить о третьем мире, включая туда и древнейшую в истории цивилизацию — китайскую империю, и племена Африки? Можно ли вообразить доктрину развития, годную для столь различных стран? Насколько действенной можно считать помощь извне? Подтверждается ли опытом общепринятое представление о том, что планирование обязательно на первых фазах развития? В какой мере промышленно развитые страны могут помочь развитию третьего мира?

Последние лекции подводили к историческому в*и*дению. Социологический образ мышления склонен к различению ступеней развития, типов общества. Чтобы понять современную обстановку, нужно увидеть, что своеобразие исторического момента заключается во вр*е*менном завершении двоякого процесса — европейской экспансии и отступления. С европейской цивилизацией соотносит себя и сам Китай, по крайней мере в своей идеологии. Таким образом, главная ставка в настоящее время — это опять альтернатива: «либеральные промышленно развитые общества или деспотические промышленно развитые общества». Противопоставление Север — Юг, как его назвали, не пришло на смену противопоставлению Восток — Запад. Если говорить о сущности нашей цивилизации, именно в Европе разыгрывается решающая партия: какая из двух частей Европы обратит в конце концов в свою веру или подчинит себе другую?

Все эти вопросы привели меня к написанию «Слова в защиту Европы в упадке».

Тридцать лет отделяют «Великий раскол» от «Слова в защиту». Первая книга отвечала моей потребности проанализировать в общих чертах ситуацию в мире, как я ее видел, обрисовать обстановку, в которую должны были вписаться мои статьи в «Фигаро». «Слово в защиту» родилось из некой слабости или оплошности; я заключил с Робером Лаффоном договор на популяризаторскую книжку, где должен был осветить почти очевидные истины: превосходство свободной экономики над экономикой плановой, управляемой централизованной бюрократией, превосходство Западной Европы над Восточной. Я понадеялся, что напишу книгу в сотрудничестве со своими друзьями. На самом деле я написал ее почти один; Жан-Клод Казанова деятельно помог мне разработать и проиллюстрировать статистическими данными главы, посвященные советской экономике.

Полувеком раньше мое обращение в социологическую веру

началось с изучения марксизма. Я даже подумывал об исследовании на тему об интеллектуальных и политических последователях Маркса, где применил бы марксистский метод. Я объяснил бы социально-экономическим контекстом марксизм II Интернационала, и прежде всего социал-демократии, а также показал бы влияние, оказанное на поведение последней тем толкованием мысли Маркса, которое дали Ф. Энгельс и К. Каутский. Я быстро оставил этот проект, настолько обескуражила меня марксистская литература, особенно написанная до 1914 года. Лешек Колаковски в известной мере осуществил этот проект, однако он использовал методику не марксизма, а истории идей.

В 1977 году меня поразил, определив содержание первой части «Слова в защиту», диалог между советскими диссидентами и западными левыми более или менее марксистского толка. Марксизм остается непревзойденной философией нашей эпохи, повторяет Сартр даже в то время, когда порывает с коммунистической партией. Александр Солженицын отвечает тому, кого иронически именует духовным учителем Запада: «Марксизм пал так низко, что просто-напросто вызывает презрение; ни один серьезный человек в нашей стране, да даже ни один школьник, не может говорить о марксизме без улыбки». Отсюда возникал вопрос, на который я хотел ответить в первой части книги: с кем соглашаться — с русскими изгнанниками или с западными (французскими, итальянскими) интеллектуалами? На чем основаны столь противоречивые суждения, которые каждая сторона выносит с одинаковой уверенностью в своей правоте? В чем состоит эта доктрина или эта совокупность идей, на которую ссылаются, поочередно или одновременно, палачи и жертвы, Бухарин перед судьями, которые пошлют его на смерть, и Сталин, затаившийся в своем коварстве, философ свободы Сартр и охранитель марксистско-ленинской ортодоксии Суслов? Диссиденты используют в отношении западных интеллектуалов аргумент *ad hominem*: мы, говорят они, знаем, потому что пережили примененный на практике, прошедший испытание жизнью марксизм. Для вас же, здесь на Западе, мысль Маркса, его слова и его мечты — предмет теоретизирования. Опыт научил нас тому, что вы отказываетесь допустить.

На это можно бы возразить: марксизм играет противоположную роль на Западе и на Востоке. Там он служит оправданию власти, здесь — ее критике. Одни нападают на доктрину, во имя которой они угнетены, другие извлекают что-то для себя из той же самой доктрины, представляющейся им наилучшим разоблачением капиталистического строя как

такового. Одна и та же доктрина служит фундаментом для законченного тоталитаризма и оружием против самых эффективных экономик, против самых либеральных обществ. Не несет ли марксизм Маркса хотя бы часть ответственности за свою судьбу в нынешнем веке?

В те годы молодые философы восходили от Сталина к Ленину, от Ленина к Марксу, от марксизма-ленинизма к марксизму, то стремясь оправдать «учителя» социализма, то вынести ему приговор. Не углубляясь в споры о незаконном присвоении наследия, я предложил несколько тезисов для размышления. Маркс ответствен за то, говорил я, что объединил анализ — он же приговор — капитализма, с одной стороны, и пророчество, или утопию, социализма — с другой. Инструменты его анализа — прибавочная стоимость, эксплуатация — одинаково относятся к любому доныне известному общественному строю, независимо от того, является ли собственность частной или коллективной, проходит ли прибавочная стоимость через предприятия и личные доходы или через бюрократический класс.

Пророчество, опровергнутое как эволюцией капитализма, так и опытом так называемых социалистических стран, остается таким же безосновательным, как в момент своего появления. Каким образом пролетариат может стать господствующим классом? Почему коллективная собственность вдруг обнаружит небывалую эффективность? Не по взмаху ли волшебной палочки авторитарное и централизованное планирование примирится с личными свободами и демократией? Какой имеется заменитель товарной формы, или рынка, помимо бюрократического планирования? Мистификация началась уже тогда, когда Маркс объявил наукой свои пророчества.

Переведем эти идеи на более абстрактный язык. Марксова критика капитализма совпадает с критикой сам*о*й политической экономии, как, впрочем, явствует из подзаголовка «Капитала». Осуждение прибыли видно уже в том, что она определяется не как законное вознаграждение — денежное или в виде временного пользования деньгами, — а как часть прибавочной стоимости. Маркс именует товарной формой то, что мы называем рынком, следовательно, дает понять, что рынок исчезнет. При социализме, предшествующем коммунизму, каждый получает вознаграждение соответственно своим достижениям; что же измеряет вклад каждого в общее производство — рынок? Если нет, то кто же будет выполнять эту функцию, кроме самого сообщества, чей произвол превысит произвол рынка?

Можно ли сделать заключение, что советский социализм

логически вытекает из мысли Маркса? Что он является подлинным осуществлением марксистско-социалистической идеи? Мы с трудом представляем себе такого человека, как Маркс, всю жизнь выступавшего за свободу печати, бунтовщика по складу характера, в роли апологета деспотического государства. Однако Ленин, находясь в оппозиции, выдвигал требование всех свобод — и с корнем уничтожил их, придя к власти. В распрях внутри I Интернационала Маркс проявил авторитаризм и сектантство, показал себя беспощадным к своим соперникам полемистом. Главный вопрос заключается в другом. Не приводит ли неизбежно или, по крайней мере, закономерно к режиму советского типа социалистическая идея, доведенная до своего логического завершения, до отрицания товарной формы и включающая в себя равенство в качестве поставленной цели? Этот тезис защищает А. Зиновьев, и я тоже сегодня готов его защищать.

Во втором разделе книги я сравниваю экономики двух частей Европы, анализирую специфику роста и неэффективность советской системы; спорю с идеологией социализма, переходя от советской модели к различным формам социал-демократии; анализирую теорию или терминологию, согласно которым Запад как таковой оказывается империалистическим, поскольку образует центр, очаг мировой экономики и покупает у третьего мира часть сырья, которое перерабатывает и без которого сразу оказался бы парализованным. «Внутри международной политической или экономической системы взаимозависимость государств не обходится без асимметрии в пользу сильных и богатых. Но если называть империализмом самый факт зависимости экспортеров сырья по отношению к конъюнктуре промышленно развитых стран, то мы придем к смешению в одном термине этой неизбежной зависимости и отправки советских танков в Прагу (или, если угодно, морских пехотинцев в Сан-Доминго). Пропаганда умело использует эту путаницу, чтобы советская система не выглядела империалистической, а европейские страны — включая Швейцарию — продолжали выглядеть таковыми, невзирая на деколонизацию. Среди этой шумихи люди забывают в конце концов, что судьба третьего мира по-прежнему связана с атлантическим сообществом, а не с советским блоком. Слаборазвитые страны продают свое сырье в Европе, в Японии, в Северной Америке и там же покупают промышленные товары; от высокоразвитых капиталистических стран они получают почти половину той помощи, которую громко требуют для себя. Что берут они от Советского Союза, кроме идеологии империализма, обвинений в адрес тех, от которых

требуют всего, и апологии тех, от которых не получают ничего?»

В одной из глав третьей части я анализирую — с несколько избыточным оптимизмом — «новый расклад» мировой экономики; другая глава представляет собой обзор специфических кризисов трех западноевропейских стран — Великобритании, Италии и Франции; в третьей я вплотную подхожу к главному вопросу, определяющему и проясняющему всю книгу: верно ли, что Западная Европа, богатая, блистательная, творческая, захвачена в то же время непреодолимым движением к упадку? Что над ней нависла угроза гибели в результате внутреннего распада или под ударами тысячелетней империи, растянувшейся до середины бывшей территории рейха?

Заглавие книги, «Слово в защиту Европы в упадке», удивившее и не удовлетворившее Робера Лаффона, странно звучит только в эпоху, пронизанную марксизмом или, шире, прогрессизмом. Типичный человек левых убеждений не порвал с великими предшественниками XIX века и отвергает, так сказать, инстинктивно гипотезу о существовании противоречия между ходом Истории и устремлениями людей доброй воли.

Уже с начала столетия социологи и экономисты задумывались о том, какой государственный строй соответствует общественной собственности на средства производства и планированию. Макса Вебера не занимали проблемы плановой экономики, но И. Шумпетер многократно касался их, пытаясь измыслить рациональное планирование, ориентирующееся на цены предметов потребления на свободном рынке. Ни одна из моделей плановой экономики не содержала, в качестве *необходимого следствия,* равенства доходов или же свободы граждан. Иначе говоря, связь между некапиталистической экономикой и ценностями гуманного социализма существует только в идеологии.

В эссе[257], озаглавленном «Об упадке: французская самокритика столетие тому назад и сегодня» («De la décadence — L'autocritique française il y a un siècle et aujourd'hui»), я сравнивал состояние французского сознания до и после поражения 1870 года, в обстановке общенациональных дебатов 1957-го, в последние годы деколонизации. Книга «Новая Франция» Прево-Парадоля, этюды Ренана о современной истории напоминали нам о частичной слепоте умов, претендовавших на свободу от предрассудков.

Сразу после битвы при Садовой 316 Прево-Парадоль понял, что впереди война и поражение. Он наблюдал разрыв между ростом населения во Франции, с одной стороны, и в

соперничающих с ней странах — Германии, России, Великобритании — с другой. А ведь в споре между народами одного интеллектуального уровня все решает в конечном счете численность. Он не верил в главенство Германии в долгосрочной перспективе: даже добившись гегемонии в Европе, немцы должны будут столкнуться, считал он, с коалицией русских и англо-американцев, которая закроет им доступ в мировую политику. Прозорливо предвидя грядущую трагедию Германии, страны, с запозданием занявшей место в первых рядах европейских государств, Прево-Парадоль увлекается мечтой, которая превратится в кошмар столетие спустя: колонизованному Алжиру предстоит гарантировать Франции пространство и численность населения, без которых она неизбежно скатилась бы к посредственности или незначительности. «Туземцы», оттесненные, но не истребленные, освободят место для поселенцев.

Эрнест Ренан защищал дело колонизации с наивностью, которая сегодня нам кажется циничной: «Колонизация в крупных масштабах является абсолютно первостепенной политической необходимостью. Нация, не занятая колонизацией, бесповоротно обречена на социализм, на войну между богатыми и бедными. Нет ничего шокирующего в том, что высшая раса завоевывает страну, населенную низшей расой, и обосновывается в ней, чтобы ею управлять. Англия практикует этот вид колонизации в Индии, к великому благу Индии, человечества в целом и к своему собственному благу. <…> Насколько завоевания равных себе народов заслуживают осуждения, настолько возрождение низших или выродившихся народов высшими провиденциально для человечества. Человек из народа у нас — почти всегда деклассированный дворянин; его тяжелая длань лучше приспособлена для меча либо шпаги, чем для рабского орудия труда. Вместо работы он выбирает войну, то есть возвращается к своему первоначальному состоянию. *Regere imperio populos,* управлять и властвовать народами, вот наше призвание. <…> Природа создала расу рабочих — китайцев, у которых чудодейственно проворные руки и почти ни малейшего чувства чести; управляйте ею справедливо, собирая с нее, взамен благодеяний такого управления, обильную дань в пользу завоевателей — и она будет довольна; расу людей для работы на земле — негров; проявите к ней доброту и человечность и все будет хорошо; расу господ и солдат — европейцев. Заставьте эту благородную расу работать в эргастуле 317, подобно неграм и китайцам, и она взбунтуется. <…>».

Через два десятка лет после «Надежды и страха века», в

1975/76 учебном году, я посвятил полный курс лекций в Коллеж де Франс «Упадку Запада». Даже после окончательной отделки он не заслуживал публикации, однако я использовал его местами в «Слове в защиту». В лекциях я попытался уточнить условия, необходимые для объективного употребления термина «упадок». Жак Шардон видел в «счастье городка Барбезье» 318 шедевр веков, идеал человеческого существования. В его глазах наше время — это падение, возможно окончательное. Тысячи и тысячи книг, выпускаемых в спешке необразованными издателями для читателей, неспособных наслаждаться духовными благами высшего порядка, ввергают наши общества в грубое состояние, независимо от цифр ВНП (PNB) 319.

Исходя из иных ценностей, историки усмотрели в имперском Риме упадок по сравнению с республиканским Римом и его суровыми добродетелями. С точки зрения Шпенглера, сама «цивилизация» — распухание городов, меркантилизм, утилитаристская философия, умирание верований — есть упадок, последняя фаза культуры, обреченной созреть и состариться, подобно всем живым существам. Я не оспаривал положений Шпенглера, они не поддаются обсуждению, отвергают заранее всякую полемику. Я привел примеры интуитивных прозрений, сближений, которые поражают, просвещают или раздражают. Как бы ни судить о Шпенглере, но его главное произведение, написанное в основном до 1914 года, уже предвещало великие войны и образование огромных империй, а также широкое распространение критической, позитивистской, материалистической мысли и реакцию на нее — мистические настроения, пока еще маргинальные.

Арнольд Тойнби[258], не обладавший ни гениальностью, ни высокомерием, ни яростью Шпенглера, вдохновился соответствием между Пелопоннесской войной и войной 1914 года. Из этой основополагающей идеи родились одиннадцать томов его «Study on History»; своеобразие этой книги, продолжающей огромный список литературы о падении Римской империи, в том, что рассуждения в традиционном стиле на историческую тему переходят в размышление о судьбе всех цивилизаций. А. Тойнби тоже пытается обнаружить схему становления, присущую цивилизациям, хотя и оставляет им некоторую свободу. Он создал или ввел в широкий обиход концепты, ныне ставшие обыденными: крушение, или слом (*breakdown*), смутное время, воинственные государства, внутренний и зарубежный пролетариат, всемирная империя, всемирная религия и т. д. Если принять параллель: 431 год до Р. Х., начало Пелопоннесской войны — 1914 год, начало распада

Европы, то за двумя великими войнами должен следовать длительный смутный период.

Не забывая об этой исторической перспективе, я ограничил свою задачу тем, что в курсе лекций и особенно в «Слове в защиту» задавал себе вопрос о соотношении между утратой былого значения и упадком. Первое явление, определяемое как уменьшение относительной мощи государства или нации или как уменьшение вклада сообщества в великие дела человечества, поддается строгому измерению, в предельном случае — количественному. Утрата Францией своих позиций в XIX веке стала результатом сравнительно (с другими странами) невысокого коэффициента рождаемости. Подобным образом Англия 1860 года, имперский, финансовый, индустриальный центр мира, не могла сохранить свое уникальное положение, которое должно было ухудшиться само по себе, не из-за порчи имперской метрополии, а потому что секреты ее превосходства уже не принадлежали ей одной. Точно так же Соединенные Штаты не могли сохранить экономическое, финансовое и военное превосходство, которым обладали в 1945 году, когда их конкуренты на мировом рынке еще не поднялись из развалин, а их соперник в межгосударственной системе еще не пытался распространить свою мощь за пределы Старого Континента. С чем мы имеем дело в этих трех случаях — с потерей былого значения или упадком? И что означает «упадок»? Макиавелли ответил бы: утрата доблести, *virtu*, или утрата исторической витальности; понятие, конечно, неопределенное, однако социологический анализ позволяет уточнить и обогатить его.

В лекциях я критиковал литературу об упадке Франции, близкую по времени к поражению 1870 года. Я отметил некоторые блестящие формулировки, например: «Франция искупает Революцию» (Ренан). Да, верно: начиная с 1789 года Франция ни разу не нашла для себя суверенного правителя или режима, который был бы уверен в своем будущем и чья легитимность была бы признана большинством населения; никто из них не чувствовал себя защищенным от трагической случайности или тем паче от военного поражения. Однако то обстоятельство, что французы опередили других европейцев в отношении контрацепции, никак не связано с превратностями гражданских разногласий. Франции угрожала опасность быть раздавленной численностью немцев в 1914 году, но отнюдь не в 1870-м. Тогда имперская армия была уничтожена за несколько недель: она уступала немецкой и в численности[259], и в качестве артиллерии, и в уровне компетентности высшего командования. Почему произошла эта порча военного инструмента Франции?

Историки дают нам сегодня по крайней мере материал для ответа: виной были особенности комплектования офицерского состава, презрение к «интеллектуалам», распространившееся в армии; память о наполеоновских победах, питавшая самоуверенность; разрыв с революционной и имперской практикой призыва в национальную армию. Поражение, понесенное на поле битвы, будь то в 1870 или в 1940 году, объясняется прежде всего военными ошибками или недочетами. Утверждать, что причина кроется в упадке воинской доблести французского народа, как это делает Э. Ренан, — значит отдавать дань скверной литературе. В другом случае он оказывается более проницательным и попадает в точку: война действительно стала в нашу эпоху делом науки. Генералы, завоевывавшие Алжир, и маршал Макмагон не подозревали об этом.

Военные причины поражения не дают исчерпывающего объяснения, а отсылают наблюдателя к более общим соображениям. Почему прогресс военной мысли в последней трети XVIII века сменился ее закатом в XIX, продолжавшимся вплоть до ее возрождения после 1870 года? Почему французская наука пришла в упадок после первой трети XIX века? Почему на протяжении всего XIX столетия отсутствовали настоящие университеты? Высшие школы, юридические и медицинские факультеты давали хорошее, но чрезмерно ориентированное на практику образование. На каждый из этих вопросов социологический анализ мог бы дать хотя бы основные элементы ответа; обобщив их, можно предложить такую, скорее литературную, чем строго научную, краткую формулировку: сообщество показало себя неспособным принять вызовы времени, реформировать институты, не отвечающие новым требованиям. Утрата численного преимущества не делала катастрофу 1870 года неизбежной; и мне кажется, что она не была ответственна ни за научный, ни за военный упадок страны.

После 1918 года, несмотря на победу, тревожное сознание упадка продолжало мучить французов, во всяком случае наиболее прозорливых. В 30-е годы фасад, который еще сохранял импозантность сразу после войны, облез, растрескался и понемногу рассыпался; экономика не выходила из кризиса; французы ненавидели друг друга; многие члены тех или иных партий ориентировались на иностранные образцы — Москву, Берлин или Рим; Лига Наций в Женеве начиная с 1933 или 1934 года не значила больше ничего. Упадок 30-х нами пережит, мы ощутили его характерную особенность — бессилие сообщества ответить на угрозу извне из-за отсутствия внутреннего единства. Правящий класс не сумел понять мировой кризис и справиться с

ним. Он пассивно смотрел на то, как Гитлер идет к завоеваниям и войне. Французам недоставало Макиавеллиевой *virtù,* той, которая создает великие империи и без которой погибают государства.

В первой из трех передач, прошедших на «Антенне-2» в октябре 1981 года, я упоминал об «упадке» 30-х годов. После этого я получил прекрасное письмо от Андре Фермижье; он тоже говорил о 30-х годах, о которых у него осталось ослепительно светлое воспоминание: «В иные моменты я слушал Вас с некоторым удивлением, а именно, когда Вы поведали о неотступном ощущении упадка, которое преследовало Вас в предвоенные годы. Быть может, причина в моей тогдашней крайней молодости, но я сохранил об этом времени скорее ослепительно светлое воспоминание, и мне часто случается повторять: кто не знал Франции до 1940 года, тому неизвестно, что такое сладость бытия! Приветливость людей, легкость жизни (я не сын архиепископа), необычайная красота всего и присутствие повсюду цивилизации. Разумеется, драма существовала, и здесь трудно было что-то поделать, но при этом — такое стремление к счастью, такая реальность счастья; и, конечно, именно оттого французам не хотелось сражаться (немцам же было почти нечего терять). Уж не говоря о том, что довоенный Париж оставил по себе воспоминание непрерывного культурного праздника: Ренуар, Жуве, „Нувель ревю франсез“, Опера Жака Руше, французское кино (*heu! quantum mutatus ab illo!* [260]), Лейрис, Жид, Монтерлан (да!), включая даже тех людей, которые потом немало действовали мне на нервы, — можем ли мы сегодня предложить что-либо подобное? Даже на выставке 1937 года 320, которую так разругали, было больше хорошей архитектуры, чем во всем, что построили во Франции (и в Европе) за последние тридцать лет. Я думал обо всем этом на выставке Мартен дю Гара в Национальной библиотеке: ведь последний период его жизни приходится на Ваши годы. Повторяю: я вижу драму, но где же тут упадок?»

А. Фермижье справедливо напоминает мне о неоднозначности понятия «упадок». Говоря о «реальности счастья», он забывает о трудности положения рабочих в 1933–1936 годах, о том, как после ликования 1936-го 321 в страну вернулись горечь, забастовки и социальная напряженность, не оставлявшие места для счастья. Иначе ли обстояло дело с культурой? Возможно, сравнение «омолодившейся» послевоенной Франции с Францией периода «упадка» 30-х годов окажется не в пользу первой. Да, мы знаем, роман, живопись, творения мысли и искусства не всегда расцветают под солнцем военных побед, как и

не всегда чахнут в тени поражений. Французская живопись в XIX веке пережила ряд режимов, испытав, быть может, влияние славы или беды, но всегда оставаясь творческой, яркой. Доктринеры упадка большей частью склонны приписывать одинаковую судьбу государству и его культуре. Единственный народ, который можно сегодня назвать имперским, — великорусский — уж конечно не переживает свой Периклов век. Может быть, Париж времен Жуве блистал ярче, чем Париж Патриса Шеро (хотя я в этом не уверен). Может быть, абстрактная живопись в свою очередь исчерпает себя, а что до современной архитектуры, то никто не станет ее защищать. Но эта Франция 30-х не интересовалась внешним миром. Много ли было книг, из которых она могла бы узнать о своем месте в мире, о загнивании своей экономики, об устарелости университетов, об отставании науки (за исключением нескольких великих имен)? Пресса — политическая и экономическая — была в 30-е годы на удивление убога.

После 1945 года, вопреки колониальным войнам и потере империи, французы продемонстрировали совершенно иную жизненную энергию, чем в довоенные годы. Несчастье стало лучшим учителем, нежели кратковременное опьянение победой, за которую было слишком дорого заплачено. Разумеется, наша страна участвовала в «чудесах» европейского процветания, хотя и не вышла на первые места в ходе тех «тридцати славных лет». Во всяком случае, книга швейцарского историка «Франция живет по часам своей колокольни», казавшаяся несколько карикатурной уже при своем появлении три десятка лет назад, рассказывает об исчезнувшей Франции. К добру или к худу, мы стали наравне с нашим веком: современная индустрия, разросшиеся города, конец крестьянства, информатика. Математика оттесняет на второй план гуманитарные науки. В 80-е годы мир перестал быть неизвестным для французов — молодежи, высших государственных служащих, побывавших в американских университетах, журналистов. «Frankreichs Uhren gehen nicht[261] anders»[262].

В 1975–1976 годах я набросал анализ процесса утраты Великобританией своего былого значения, попытавшись уточнить роль, сыгранную каждым из расплывчатых, однако очевидных зол, каковы гордость достигнутым успехом, усталость наследников и помехи развитию, создаваемые опережением. Конечно, строгое разграничение здесь невозможно, тем не менее последствия каждого зла сами приходят на ум. Трудно ликвидировать промышленную отрасль (судостроение), у которой славное прошлое. Получившие титул предприниматели пристрастились к образу жизни аристократов и уже не

завоевывают рынки так рьяно, как их отцы. Правящий класс, возвысивший свою страну, не сразу замечает первые признаки упадка.

В «Слове в защиту» я рассматривал только последнюю фазу утраты Англией своих позиций. В последней четверти XIX века лидером в бурно развивавшихся промышленных отраслях — химической индустрии, производстве электроэнергии — стала Германия. В период между двумя войнами управление экономикой (с 1919 по 1931 год), дипломатия перед лицом гитлеровской опасности (с 1933 по 1939 год) свидетельствовали об ослеплении и слабости. После 1945-го деколонизация, проводимая англичанами, казалась нам, по эту сторону Ла-Манша, образцовой. Но темпы роста, наполовину уступавшие главным странам континента, повлекли за собой умаление Соединенного Королевства по сравнению с его партнерами и традиционными соперниками.

Утрата былого значения *или (и)* упадок? Заслуги сообщества не измеряются темпами роста; качество жизни, межличностных отношений не страдает от относительной медленности экономического роста — напротив. Все так, но при этом — пусть сколько угодно проклинают наш стальной и компьютерный век те, кто тоскует по Барбезье и деревушкам в тени колокольни, — экономические достижения сделались в нашу эпоху одним из самых надежных показателей *virtù* народа, его способности к совместным действиям. Если завтра валовой продукт Соединенного Королевства в пересчете на душу населения упадет до уровня Испании, то сможет ли британская цивилизация, очарование которой мы испытываем, едва ступив на землю Острова, выстоять вопреки классовым распрям и эмиграции своих лучших представителей?

Парадокс заглавия — слово в защиту упадка — объясняется контрастом между двумя Европами. Если бы западным свободам противостояла эффективность в советском мире, то обстановка соответствовала бы лубочным картинкам всемирной Истории: свободная Европа изображала бы собой Афины, а Европа марксистская — Спарту (или же первая — Грецию, а вторая — Рим). Но производительность труда — на стороне свободы; другая сторона, исповедующая идеологию изобилия, держит свои народы на скудном пайке. У советской Европы превосходные результаты лишь в вооружении, да и то надо бы уточнить, что это касается накопления оружия и огромной доли национального продукта, поглощаемого оборонным бюджетом. Таким образом, неоднозначность заголовка и книги сливается с неоднозначностью судьбы Европы, судьбы Запада.

Хотя каждый из народов Западной Европы продолжает жить своей собственной жизнью, мне кажется закономерным считать их неким целым, которое может быть предметом анализа. Культурное родство, определяющее, по Марселю Моссу, цивилизацию, бесспорно наблюдается между странами Сообщества, странами Шестерки или Десятки. Этнические различия, различия в формах семьи сохраняются, однако социальные институты (профсоюзы), институты экономические (предприятия и роль государства) и политические (партии и народное представительство) оказываются, в главных чертах, сходными в разных странах, хотя в каждой из них несут отпечаток собственной традиции.

Это целое, именуемое Европой, ныне ограниченное советской империей, некогда стало очагом западной культуры, которую Европа распространила по всему миру. Морские державы, созданные одна за другой испанцами, португальцами, голландцами и англичанами, принадлежат прошлому. Отлив оказался стремительнее, чем прилив. На востоке империя Романовых, ставшая Советским Союзом, отбрасывает тень на вчерашних завоевателей, лишенных своих завоеваний; на западе европейцы оставили на земле двух Америк государства, которые можно сравнить с колониями, основанными в Средиземноморье греческими городами. Соединенные Штаты, которым благоприятствовали размеры и рельеф территории и отсутствие враждебно настроенного соседа на севере и на юге, остаются главным представителем этих американских колоний. Оказавшись между поверхностно европеизированной военной империей и колонией, ставшей наследницей как своей метрополии, так и всей Европы, сообщество, состоящее из народов, еще недавно великих и до сих пор глубже сознающих особость призвания каждого, чем общность судьбы всех, переживает, после «тридцати славных лет», трудную фазу — оно неспособно защитить себя, зависит от источников энергии и сырья, ввозимых из-за морей, которые ему больше не подвластны.

Европа как целое нашла себе место на мировом рынке, но не в межгосударственной системе. Вопреки Римскому соглашению [322], несмотря на успехи в экономическом сотрудничестве и даже в согласовании дипломатии, европейские страны не пытаются действовать сообща там, где дело идет о первейшей задаче государства — обороне. Возможно, Европа наций, обязанная своим возвышением многообразию составляющих ее государств, не способна более, после краха, вызванного мировыми войнами, вернуть себе статус полноценного субъекта истории. Интегрироваться в имперскую зону, где доминируют

Соединенные Штаты, или быть порабощенной, если не поглощенной, советской военной империей — такой мне представилась историческая альтернатива для Европы, когда я размышлял об упадке в своем курсе лекций или когда писал «Слово в защиту».

Умаление значения Соединенных Штатов, происшедшее между 1945 и 1975 годами, — результат действия неодолимых сил. Экономическое превосходство, ядерная монополия не могли существовать долго. Подъем европейских экономик — это то, чего вашингтонские лидеры желали и чему они помогли; выход на передний план Японии также является частью мировидения, которым руководствовалась американская дипломатия. Каким образом последняя могла бы помешать московским олигархам накапливать вооружения и манипулировать своими клиентелами, более того — своими террористическими сетями? Начиная с 1975 года я наблюдал угрозу распада американской имперской зоны, которую Арнольд Тойнби уподоблял, по-видимому, всемирной империи.

Для Соединенных Штатов, точно так же как для европейских государств, вопрос упадка — это вопрос *способности к коллективному действию,* а следовательно, экономико-политических институтов и образа действий. Воздержавшись от какого бы ни было категорического суждения, я отметил симптомы болезни, которую теперь называют английской, но которая, в большей или меньшей степени, поражает все западные демократии: это чрезмерная власть лобби, групп давления, профсоюзов; ослабление идей или предрассудков, сплачивающих сообщества, трудовой этики, считавшейся душой американского успеха; преувеличенно тщательное соблюдение законности, приводящее к бесконечному затягиванию судебной процедуры; предпочтение, которое университеты и ученые отдают фундаментальным исследованиям, и их относительное безразличие к превращению научных открытий в коммерческий козырь. Во всяком случае, отцы основатели Американской Республики не позаботились о том, чтобы снабдить Республику инструментами мировой дипломатии; по мере того как запас их военного превосходства над Советским Союзом и экономического превосходства над партнерами-конкурентами уменьшается, Соединенные Штаты теряют способность гарантировать безопасность стран, входящих в имперскую зону. Правящий класс восточного побережья, проводивший послевоенную политику, раскололся и совершил самоубийство в связи с вьетнамской войной. Центр США перемещается на запад и удаляется от Старого Континента.

В заключение курса я противопоставил два видения, две панорамы истории человечества, которые приводят к двум различным диагнозам обстановки. Согласно первому видению, два века тому назад в Англии произошел самый коренной переворот в жизни человеческих обществ со времен неолитической революции; мы входим в третий век индустриальной эры; более или менее быстро, более или менее болезненно к нам присоединится остальное человечество; Соединенные Штаты пока еще идут впереди, но они рискуют утратить свою роль авангарда, как это случилось с Великобританией более века назад. И то, что люди делали, вопреки войнам, в течение последних двухсот лет, они будут продолжать делать. Через одно-два столетия они остановятся на этом пути и поищут иного смысла жизни.

Согласно другому воззрению, существование европейского Запада в тени военно-идеократической империи хрупко, он лишен воли, не имеет своей стратегии. Американский Запад удаляется от своих европейских истоков, теряет убеждения, объединявшие пестрое по этническому составу население. В ближайшем будущем нас ждет не атлантическая цивилизация, а объединение Европы под имперской властью, которой суждено исказить ее культуру и дух.

По правде сказать, прямой противоположности между этими двумя в*и*дениями нет: одно из них охватывает континенты и века в перспективе истории человечества, другое распространяется только на небольшую часть человечества и на несколько десятилетий. Оптимизм а-ля Герман Кан не исключает исчезновения некоторых народов или распространения тоталитаризма. Со своей стороны, пессимизм относительно выживания западной цивилизации не исключает продолжения научно-технической затеи. Понятие умаления, которое я использовал, весьма относительно; даже понятие упадка, примененное к нынешней Англии, означает неспособность нации стряхнуть с себя апатию или реформировать свои институты, свои привычки; однако средний англичанин живет сегодня лучше, чем во времена имперского великолепия. Распад американской имперской зоны лишь отдаленно походил бы на падение Римской империи. Обособившись от Европы, американский Запад не вступил бы в варварскую эру. Обособившись от Соединенных Штатов, Западная Европа подпала бы под русско-марксистско-ленинское иго. На какой срок? В какой форме? Является ли советизм отклонением от прямого пути или неизбежным исходом индустриальных или сциентистских обществ, в которых умирают и трансцендентные религии, и даже традиции цивилизованного

общения?

Будучи книгой, написанной к случаю, из-за того что я необдуманно подписал контракт, «Слово в защиту» не внесло ничего нового в уже исследованные мною темы. Поэтому я согласился, даже без внутреннего протеста, с замечаниями, приблизительный смысл которых был таков: «мы все это уже знаем» или «он все это уже объяснял»[263].

Молодой норвежский профессор Рихард Синдинг[264], с которым я не знаком, внимательно прочел все отклики прессы на книгу и выбрал из них следующие пассажи: «В чем причина того, что такое множество европейцев ослеплены <…>, видя прибежище в марксизме <…>? А что, если есть сильнейшая потребность веры в будущее, в нечто иное, нежели реальность; если люди жаждут пророчества?» (Макс Галло, «Экспресс»). «Это слово для защиты попросту забывает представить суду присяжных — читателям — основания для веры в будущее европейской цивилизации» (Ален Жоаннес, «Репюбликен лоррен» («Républicain lorrain»)). «Несостоятельность — это в конечном счете отсутствие веры. <…> Свобода не самоцельна, она обретает смысл, только когда служит великому замыслу, которого у нас еще нет или память о котором уже утеряна» (Этьен Борн, «Репюбликен савуайар» («Républicain savoyard»)). «Что касается третьей части, то в ней трагическим образом недостает метафизического, следовало бы даже сказать религиозного, измерения» (Марсель Клеман, «Л'ом нуво» («L'Homme nouveay»)). «Действительно ли из сравнения между „пороками советского социализма“ и нашими „мелкими неприятностями“ можно вывести некое правило жизни? Раймон Арон не открывает дискуссии по этому поводу: можно подумать, что экономист постепенно заглушил в нем философа» (Жильберт Конт, «Монд»). «В таком случае не может не тревожить, что „превосходящая“ система не оставляет внутри себя места надежде. Разве человек жив только экономическим ростом, процветанием, деньгами — одним словом, „уровнем жизни“ (впрочем, весьма неравным)?» (Ив Флорен, «Монд дипломатик»). «Эта книга остается книгой *homo œconomicus'a»* (Жан-Мари Бенуа, «Нувель литтерер»).

Этот обзор прессы поразил меня так же, как норвежского философа. Относились ли претензии критиков — будь они враждебно или дружески настроены — к книге, к автору или к той реальности, которую я хотел понять, будущее которой пытался предощутить?

Большинство пеняло мне за то, что я писал как *homo oeconomicus,* и упрекало капиталистическое общество в том, что оно повинуется требованиям меркантилизма. Позволю себе

сначала одно ироническое замечание. Двадцатью пятью годами ранее те же самые люди обвиняли Запад за его неспособность выдержать экономическое соревнование с «советским социализмом» и планированием. Сегодня, когда Запад выиграл состязание в темпах роста, они и слышать не хотят об этой победе, полагая ее незначительной и смехотворной. Как гневно обличал мальтузианство французских хозяев предприятий великий жрец Жан-Поль Сартр, всегда отважно уверенный в своей правоте! На мой «Опиум интеллектуалов», который Жильбер Конт в «Монд» характеризует в 1977 году как «незабываемый» и который Морис Дюверже в той же самой газете втоптал в грязь в 1955-м, Жан Пуйон возразил в свое время на страницах «Тан модерн», что «подлинное освобождение» рабочих благодаря экономическому прогрессу и свободным профсоюзам невозможно во Франции: собственники якобы отвергнут развитие, заботясь лишь о своем положении, дающем им власть и престиж. Мой вчерашний оптимизм, тогда осмеянный, считается теперь — и справедливо — банальностью, известной всем и подтвержденной цифрами. Ив Флорен спрашивает меня: *И что же из этого следует*? Согласен, человек жив не темпами экономического роста; однако трудящиеся, на выражение чьих интересов претендуют интеллектуалы, не пренебрегают теми крохами результатов этого роста, которые им достаются.

Другие писатели, чувствительные к настроению эпохи, идут дальше, вплоть до того, что принципиально осуждают современные общества Запада, (их) меркантилизм и абстрактный рационализм. Все подсчитывается, все имеет свою цену. Эти характерные черты западного общества они охотно записывают в дебет Соединенным Штатам; отказ мыслить экономическими категориями приводит порой к расцвету «литературного кретинизма». Ж.-М. Бенуа, ничтоже сумняшеся, воспевает величие самолета «Конкорд»: он-де достоин сравнения со «все более высокими башнями, которые воздвигала аристократия Сан Джемениано». Можно, если угодно, восхищаться аристократами, которые тратят не считая (а откуда у них берутся деньги?..); менее позволительно восхищаться хозяйственниками, которые должны считать, считают плохо и смешивают техническое достижение с коммерческим успехом. «Конкорд» летает на средства налогоплательщиков или не летает. Похваляться здесь нечем.

Если мои критики и соглашаются неохотно с экономическим превосходством Западной Европы над Европой советской, то стараются обесценить этот успех, не уставая подчеркивать его ограниченность. Жильбер Конт сомневается, что из сравнения

двух Европ можно вывести «правило жизни». Но какой же круглый глупец станет ждать от исторического анализа правила жизни? Все эти читатели обвиняют, на тот или иной лад, Запад в том, что он утратил веру в свое будущее, а автора книги — в том, что он не несет Западу какой-либо веры или великого замысла.

Заглавие «Слово в защиту Европы в упадке» как раз и намекало на то обстоятельство, которое торжествующе обнаруживают эти критики: Европа индустриальной эффективности, изобилия и свобод сомневается в себе самой, наполовину завороженная Советским Союзом, который она ненавидит. Или эти мои собеседники хотят, чтобы я тоже говорил о смерти Бога, чтобы вслед за Арнольдом Тойнби проповедовал возрождение христианства или католицизма? Пусть они обратятся к моему другу Андре Фроссару — он-то нашел Бога. Возможно, что западная цивилизация действительно страдает в глубине своего существа — в сфере, далекой от социально-экономической, — от упадка своих религий (или своей религии). Если и предположить, что это так, какой аналитик мог бы похвастаться тем, что способен утолить жажду абсолюта своих современников или хотя бы, проявив больше скромности, счел себя вправе разыгрывать пророка?

Этьен Борн в своей статье, впрочем дружеской, утверждает: «Свобода не самоцельна, она обретает смысл, только когда служит великому замыслу, которого у нас еще нет или память о котором уже утеряна». Токвиль же писал: «Тот, кто ищет в свободе чего-то иного, кроме нее самой, создан для рабства». Либеральные общества иногда исполняют великие замыслы; они не знают их наперед. Давая людям право выбирать себе правителей, оставляя им личную самостоятельность и благоприятствуя тем самым политическому и духовному плюрализму, они заключают пари на самих себя; я, как могу, помогаю им выиграть это пари. Не думаю, что метафизика помогла бы им лучше, чем политическое размышление.

Я охотно допускаю, что читатель испытывает чувство неудовлетворенности, дойдя до конца «Слова в защиту», одновременно слишком длинного и слишком краткого; но я, в известном смысле, и желал этой неудовлетворенности. Моя мысль вдохновляется сразу двумя философиями (или в*и*дениями) истории, хотя и считается, что они противоречат друг другу: с одной стороны, демократическая и либеральная вера, убежденность в том, что либерально-демократические общества со смешанной экономикой представляют собой в нашу эпоху наилучшее или, если угодно, наименее худшее решение; с другой стороны, сознание того, что эти самые общества могут порождать

нечто вроде постоянной гражданской войны, их граждане — превратиться в чистых потребителей, группы давления внутри них — непременно расплодиться и парализовать государство. Не соглашаясь с точкой зрения Шпенглера, согласно которой городская, утилитаристская, демократическая цивилизация как таковая является фазой упадка культур, закономерно спросить себя, вслед за Парето и многими другими, не ставят ли расцвет свобод, плюрализм убеждений и индивидуалистический гедонизм под угрозу сплоченность обществ и их способность к действию.

Из-за этой двойственности питающих мою мысль истоков я то утверждаю, то сомневаюсь. Что касается средств, которые увеличили бы наши шансы выжить, я не обхожу их молчанием и не говорю о них туманно, хотя, конечно, аналитик не владеет секретом, как сцементировать единство распадающихся обществ. По поводу будущего Европы я не делаю заключений и не пророчествую — я задаю себе вопросы.

Часть пятая
ОТСРОЧКА КОНЦА
(1977–1982)

XXVI
ЭМБОЛИЯ

В мае 1977 года я распростился с «Фигаро», однако не счел бы эту дату началом «отсрочки конца», если бы в предыдущем месяце меня не изменила навсегда эмболия. Едва закончив свой курс лекций — «Марксизм Маркса» — в Коллеж де Франс и накануне ухода из «Фигаро», нетерпеливо ожидая нового старта, ничуть не озабоченный своим возрастом, я в одно мгновение почувствовал себя «жизнью, устремленной к смерти», *Dasein zum Tode*. Из абстрактного понятия смерть стала для меня повседневным горизонтом.

Со мной внезапно случился удар, и меня быстро перевезли в многофункциональный центр реанимации больницы имени Кошена. Я утратил способность говорить и писать; находясь в сознании — хотелось бы сказать: в полном сознании, но как быть в этом уверенным? — не мог общаться с людьми; попросив жестом листок бумаги и карандаш, я с большим трудом написал левой рукой три слова: *умереть не боюсь*. Дежурный интерн, сын бывшего директора Института политических исследований Ж. Шапсаля, ответил мне с улыбкой: «Об этом и речи нет». Было ли это с моей стороны актерством? Не думаю. Мгновенно став зрителем, наблюдающим мое тело и парализованную речь, мое *я* — мое «бытие-для-себя», моя «душа» — сопротивлялось всему, оставаясь, по видимости, невредимым (несомненно, это было иллюзией). Глава центра, доктор Монсалье, друг Жан-Клода Казанова, приехал в тот же вечер, прервав свой отдых за городом, и заверил меня, что дар речи ко мне вернется, по крайней мере в основных чертах. Тем же вечером я слышал, как трое или четверо врачей рассуждали: перекошено мое лицо или нет? Они никак не могли решить, перекосило ли его направо или налево; их беседа забавляла и успокаивала меня. Ближе к ночи я произнес несколько слов. Доктор Монсалье рассказал мне позднее, что, уже засыпая, я проговорил немецкие слова. Утром я сколько-то секунд говорил, как будто ничего не произошло. Это был краткий миг благодати. Потребовалось несколько недель, чтобы способность говорить и писать восстановилась — однако не полностью.

По мнению врачей, сгусток крови образовался в одном из предсердий из-за очень замедленного (от 50 до 55 ударов) пульса и сердечной аритмии. Приступ не явился следствием разрыва мелких артерий мозга; сосуды были не более поражены или стары, чем это обычно для моего возраста. При условии, что

удастся справиться с сердечной аритмией, от которой я уже страдал раньше, и принять предосторожности против повышенной свертываемости крови, я смогу, считали медики, вести нормальную жизнь. Что касается дара речи, то он вернется сам по себе, понемногу; последствия болезни останутся, но не будут слишком серьезны.

Вспоминаются некоторые эпизоды первых дней в больнице. Ко мне приходил невропатолог. Показал два предмета: *колпачок*, закрывавший бутылку минеральной воды «Эвиан», затем *горлышко* бутылки. Я не вспомнил ни одного из этих слов, которые никогда не забуду. Затем он предложил мне произнести «экстерриториальность» — полагаю, одно из самых трудных слов французского языка. Несмотря на три мои неудачи, он заявил, что настроен оптимистично: я смогу в будущем году читать свой курс в Коллеж де Франс.

Всякий раз, как вспоминаю этот короткий день афазии 323 и долгие дни затрудненной речи, я задаюсь вопросом, почему страдал от этого меньше, чем мог бы вообразить заранее. Когда я рассказывал о пережитом опыте друзьям, все замечали: «Наверное, это было ужасно». А я совершенно искренне отвечал: «Нет». Из кокетства? Или это была нечувствительность? Гордость? Сила воли? Мне не верится ни в одну из этих причин. Мое *я* внезапно оказалось вне моего тела и спрашивало себя — проявляя больше любопытства, чем ясности духа, — какими инструментами будет отныне располагать. Добавлю, что уже через день наполовину вернувшаяся ко мне речь позволяла минимум общения.

В каком-то смысле мне было труднее адаптироваться к частичной и окончательной неполноценности, чем к первоначальному шоку. Уже осенью 1977 года я заставил себя выдержать испытание импровизацией на телевидении. До болезни я не давал согласия участвовать в передаче «Человек, о котором спорят». Шла она, если не ошибаюсь, один час, иногда на несколько минут дольше: сначала автопортрет минут на двадцать, затем дискуссия; обычно присутствовали два обвинителя и два защитника. Порой обвинители превращались в защитников, а бывало — защитники в обвинителей. Анна Синклер, сочтя, что я смогу защититься самостоятельно, собрала против меня Мориса Дюверже, Никоса Пулантцаса, Филиппа де Сен-Робера и Алена де Бенуа. Автопортрет, записанный в профессорском зале Коллеж де Франс, свелся к монологу. Работа была закончена в один день, за несколько послеполуденных часов. Бернар Бонилаури и Анна Синклер, сидя рядом со мной, должны были задавать мне вопросы. Им не представилось случая

это сделать. В тот период я задумывался больше над формой, чем над содержанием. В течение этого тридцати- или тридцатипятиминутного монолога я споткнулся на слове всего лишь три или четыре раза.

Дискуссия с четырьмя моими собеседниками не оставила во мне приятного воспоминания. Пулантцас не упустил возможности произнести антиароновскую тираду, необходимую в подобных обстоятельствах для человека левого лагеря, — хотя бы для того, чтобы его товарищи простили ему участие в этой передаче. Филипп де Сен-Робер написал обо мне, несколькими годами раньше, статью, состоящую из оскорблений, в духе Леона Доде, за исключением стилистической яркости и таланта последнего. Его личность вызвала у меня еще более сильную антипатию, чем его писания. Я нашел в нем типичного представителя «Аксьон франсез» — образ, внушающий мне отвращение, — и лишний раз почувствовал, что националисты или реакционеры принадлежат к миру, в котором я никогда не мог бы дышать. Ален де Бенуа разыграл свою партию без чрезмерной агрессивности. Мне плохо запомнились замечания Мориса Дюверже, критичные, но любезно-учтивые.

На протяжении импровизированной дискуссии я только дважды остановился из-за «осечек». Слово «окарикатуренный» отказалось сойти с моих губ, я не стал настаивать и удовольствовался выражением «это карикатура». Мои близкие и интересовавшиеся мной врачи ловили на лету типичные дефекты — то перестановку слогов, то оговорку, то плохо проартикулированное трудное слово. Испытание принесло мне некоторое облегчение: итак, мне не заказано говорить публично. Конечно, прошло то время, когда, после конкурса на звание агреже, председатель комиссии предостерег меня от манеры быстро говорить, которая могла помешать учащимся хорошо понимать меня. Легкость речи отчасти устояла против возраста. В конце концов, «Восемнадцать лекций», «Этапы развития социологической мысли» и даже «Бесподобная революция» первоначально возникли в устной форме. Что остается теперь от этой удачи, позволившей мне, среди других моих обязанностей, выступать с многочисленными лекциями на французском, английском, немецком языках, без написанного текста, имея перед собой только несколько заметок или краткий план?

В 1977/78 учебном году я окончил, не завершив, свое преподавание в Коллеж де Франс. Впервые вместо двадцати шести лекций я посвятил половину регламентарных часов семинару на тему «социальная справедливость», тогда как курс, охватывавший остальные тринадцать часов, носил название

«Свобода и равенство». Я выдержал свою программу до конца, не без того чтобы констатировать: в течение часа я регулярно спотыкался на нескольких словах, и это не всегда были трудные слова, которых я заранее боялся — причем этот страх очень часто и вызывал данное злоключение, — но порой какое-то обыкновенное слово вдруг заставало меня врасплох.

Я дал согласие прочесть в London School of Economics, точнее, студентам, издававшим журнал по международным отношениям, лекцию, повторявшую тему той, которую я прочитал двадцать лет назад в рамках «Контовских чтений» в том же самом театре, расположенном в полуподвале, — а именно: «War and Industrial Society» («Война и индустриальное общество»). Я не взял на себя риск импровизировать лекцию. Ралф Дарендорф возглавлял аудиторию, столь же, а может быть еще более многочисленную, чем двадцать лет тому назад. Оратор же переменился; лекция на ту же тему с добавлением *a reappraisal,* переоценки, была неравноценна прежнему тексту; вместо импровизации и частных шуток (*jokes*), которые сами слетали у меня с языка, особенно когда передо мной была английская или американская аудитория, я прочитал свой текст, написанный сразу по-английски; мне так и не удалось освободиться от рукописи. В довершение несчастья я охрип, и через несколько минут создалось впечатление, что я отчаянно борюсь с полной потерей голоса. До моей эмболии хрипота часто мешала мне в Коллеж де Франс; теперь к этому добавилась новая неприятность — насморки, которые сказывались на голосе. Осенью того же, 1978 года я выступил с «Alastair Buchan Lecture», лекцией, посвященной памяти Аластера Бьюкана, основателя Institute for Strategic Studies, который занимал в Оксфорде кафедру международных отношений. И там, в Международном институте стратегических исследований, я также прочитал охрипшим голосом текст, предварительно написанный по-французски. Это оказалось тяжким испытанием — для меня, думаю, еще более тяжким, чем для слушателей. Подготовка этих двух лекций отняла у меня много недель, что было несоизмеримо с результатом.

Что же сегодня, пять лет спустя, остается от той временной афазии? По очевидным причинам, я сам — плохой судья, склонный в разные моменты жизни то драматизировать словесные осечки или ляпсусы, то, напротив, убеждать себя, будто легкость речи, поражавшая друзей дома в мои юные годы, сохранилась, несмотря на возрастные изменения и на бродячий сгусток крови. Я бы подвел следующий итог.

Когда я говорю на публике, это меня мобилизует. Я делаю больше ошибок, находясь в семейном кругу, чем вне дома;

монолог для меня легче диалога. Через несколько месяцев после случившегося в 1977 году, поскольку последствия удара не проходили, я пошел проконсультироваться к логопеду, молодой, красивой, очаровательной женщине; она дала мне прочитать трудный текст, полный малоупотребительных слов (кажется, Боско или Жионо). К моему собственному удивлению, я прочел несколько страниц без «осечки». Беседа продолжалась полчаса — и всего два незначительных «происшествия». Логопед отсоветовала мне предпринимать курс реабилитации. Люди, выполняющие реабилитационные упражнения, сказала мне она, даже не мечтают об уровне, которого вы уже достигли. Возможно, мой успех ввел ее в заблуждение — сам экзамен меня мобилизовал.

Понемногу я вернул себе былое знание — естественно, ограниченное — английского языка. В 1981 году я прочел в Оксфорде лекцию, посвященную Маккаллому; говорил, не глядя в записи. В предшествующем году я таким же образом сымпровизировал в Ирландской королевской академии лекцию о советской дипломатии, причем никакая ошибка не призвала меня к скромности. Зато я смущенно вспоминаю, как не нашел выражения «четыре шестых» или «две шестых», чтобы уточнить свое место в теннисной иерархии; я сказал «четыре процента», и Анна Синклер не поправила меня[265] — она не была знакома с методом классификации.

Самой тяжелой потерей остается для меня немецкий язык: мне редко представляется случай говорить по-немецки, и из-за недостатка тренировки я, возможно, уже ранее 1977 года не был больше способен импровизировать лекцию на этом языке. Я все еще не без удовольствия вспоминаю о лекции, прочитанной в 1965 году в Тюбингене по случаю столетия со дня рождения Макса Вебера. Немецкое социологическое общество, желая избежать возможных ссор между своими членами, доверило три больших доклада трем иностранцам: Тэлкоту Парсонсу, Герберту Маркузе и мне. Т. Парсонс учился в университете Тюбингена и знал немецкий язык; каждое слово в отдельности он произносил правильно, но музыка фразы, распределение тонических ударений настолько ускользали от него, что доклад в его чтении оказался совершенно непонятным как для иностранцев, так и для немцев. Газета «Дер Монат» («Der Monat») в своем отчете похвалила качество моего немецкого по контрасту с неудачей Т. Парсонса, который хотел оказать честь пригласившим его коллегам, говоря на их языке; приветствуя этот жест, аудитория слушала его в молчании, не моргнув глазом и ничего не понимая, около полутора часов.

Я могу обойтись без немецкого языка; однако мне не раз довелось почувствовать горечь этой потери. В 1974 году меня избрали в члены «Ордена за заслуги в области наук и искусств» («Orden pour le Mérite für Wissenschaften und Künste»), и я сумел ответить по-немецки без подготовки на приветственную речь канцлера. В 1977 году мне выпало произнести речь на ежегодном собрании членов «Ордена». Мне пришлось извиниться в последний момент; приглашение было возобновлено; в 1979 году я принял его и прочитал свой текст, не без труда, но все же не поставив себя в смешное положение. Я споткнулся несколько раз на трудных и длинных словах. Когда в том же, 1979-м году я получал во Франкфурте премию имени Гёте, моя речь унизила меня; по размышлении, текст показался мне посредственным, и прочел я его еще хуже, чем опасался. Почему мне не удалось вернуть себе знание немецкого, которым я овладел раньше, чем английским, и который знал глубже? Из-за недостатка практики? Ведь реабилитация, переобучение состоит в том, что человек говорит. Или есть какая-то связь между пораженной частью моего мозга и хранением информации, относящейся к немецкому языку? Этого я не знаю — и не знаю даже, может ли вторая гипотеза быть принята всерьез.

Слишком ли остро чувствую я свое унижение из-за этого частичного «расстройства речи», если употреблять лексикон, которому меня обучили в мою бытность студентом? Неправ ли я, не оставляя работу? Сколько, надо полагать, моих «дорогих коллег» шепчут друг другу на ухо: «Если бы под статьями не было подписи Раймона Арона, оценили ли бы их читатели так же, как теперь считают своим долгом ценить их?» …Да, я испытал искушение последовать примеру Ромена Гари, однако для журналиста подобная попытка — взять псевдоним, чтобы узнать, какой прием встретят твои сочинения, подписанные неизвестным именем, — не имела бы, мне кажется, никакого смысла. Автор передовиц или *columnist* не может снискать признание благодаря одной или двум статьям, в отличие от писателя, которому один-единственный роман приносит порой уважение критиков или любовь читателей. Хотя мне в «Комба» удачная серия статей о политических партиях позволила сразу получить статус автора передовиц, все-таки журналисту требуется время, чтобы завоевать положение, приобрести читателей и обратить на себя внимание правящих классов. Что касается моего сотрудничества в газете «Экспресс», то, пожалуй, несколько помещенных в ней статей — о «новых правых», о газете «Монд», о покушении на улице Коперника — принесли мне больше удовлетворения, чем еженедельные передовицы.

Когда я пишу, у меня тоже случаются «осечки», ляпсусы, замена одного слова другим, даже орфографические ошибки, так что читатель ничего не заподозрит. Описки вызывают у меня любопытство. Случайны ли они или поддаются фрейдистскому толкованию? В письмах самые частые описки касаются притяжательных местоимений: «наш» вместо «ваш», «мой» вместо «твой». Мне редко удается разглядеть в этом подавленное желание, скрытое намерение или нечистую совесть. Думается, что в данном случае сам создатель психоанализа допустил бы некоторое правдоподобие физиологического объяснения.

Испытал ли я по выходе из больницы ужас непоправимой деградации? Тревогу я чувствовал, конечно, но ужас — нет, не думаю. Приписать ли это известной силе воли, склонности к эгоцентризму или наивному тщеславию? Полагаю, что мое поведение несколько недель спустя после удара объяснялось абсолютной непрерывностью моего сознания, моего «я»; ранен был мой мозг, но не я; задет центр речи, но не центр мышления; моя правая рука стала неловкой, но недостатки инструмента не распространялись на работника. В одном конкретном пункте у меня имелась причина для беспокойства. Мой стиль, в большей степени абстрактный, чем это обычно бывает даже в тех жанрах, которые я практикую. Абстрактный стиль склоняет к бедности словаря. Приходилось опасаться, как бы эта бедность не усугубилась.

Мне так и не вспомнились до нынешнего дня стихи, которые я знал наизусть. Я не сохранил свою спонтанную память — на слова или на жизненные эпизоды. Напротив, интеллектуальная система, в которую интегрируются идеи и события, система, выработанная на протяжении сорока последних лет, прочная до 1977 года, в основных чертах пережила, мне кажется, зловредное действие сгустка крови. Я попытался однажды припомнить несколько стихов из «Юной Парки» («La Jeune Parque»): 324 «О властительные чужестранцы, неминуемые светила, вы, что удостаиваете нас своим сияньем…» — и должен был свериться с текстом (его когда-то списала от руки Симона Вейль и подарила эту рукопись моей жене). До сих пор от меня иногда ускользает какое-нибудь идиоматическое выражение.

При всем том я в некотором роде заставил себя жить как прежде. Но в глубине души я изменился.

Хорошо помню 1976–1977 годы. Мой лекционный курс «Марксизм Маркса» («Le marzisme de Marx») в Коллеж де Франс, несмотря на его очевидные несовершенства, обещал дать материал для основательного эссе о том, что я, в результате

многолетних исследований, рассматривал как ядро, сердцевину столь же неоднозначной, сколь плодоносной мысли. Утром того апрельского дня я разговаривал с Жозефом Фонтане так, как если бы в свои семьдесят два года я мог еще посадить дерево, принять участие в рискованном предприятии. Убежден, что в любом случае я отказался бы от этой неразумной попытки, но сам факт, что я серьезно ее рассматривал, говорит мне о моем тогдашнем настроении. В ту пору я не исключал возможности написать два тома в продолжение «Истории и диалектики насилия» и вдобавок завершающий том о самом Марксе. Я считал, что еще располагаю необходимыми для этого временем и силами. После апреля 1977 года я стал задаваться вопросом, сколько у меня в запасе времени и сколько сил оставил мне проклятый сгусток крови.

Во мне произошла неуловимая перемена. Хотя в своей «Вступительной лекции в Коллеж де Франс» я и написал, что для меня игра уже сыграна, сомневаюсь, что я думал так безо всяких оговорок. Эта слова не были сказаны из лицемерия или кокетства. В шестьдесят пять лет, разумеется, игра сыграна — или *почти.* Разум не задерживался на *почти,* мое же, так сказать, эмоциональное сознание ощущало только это *почти.* Конечно, я не собирался возобновлять философское размышление на тему «теория истории», но этим двум томам предстояло завершить цикл. От «Введения в философию Истории» к «Историческому бытию человека» («La Condition historique de l'homme»). Вместо суммарных изложений марксистской мысли, вместо полемики с парижскими марксизмами я собирался дать синтетический анализ не самой марксистской мысли, но *различных тенденций* этой мысли, которые легли в основу ссылающихся на нее исторических движений.

В течение 1978/79 года, моего первого года без университетских обязанностей, помимо разных статей, которые я обещал или которые заставил себя написать, я начал снова размышлять над продолжением «Истории и диалектики насилия». Я еще не решил, на каком из своих проектов остановиться. Летом 1979-го я написал первые главы для каждой из трех книг, о которых думал: марксизм, философия истории, воспоминания. Эти три опыта доказали мне, что либо я должен сделать огромное усилие над собой или, скорее, против самого себя, либо выбрать третий вариант. Движимое не сознательной волей, а спонтанно, мое *я,* отпущенное на свободу, стремилось воссоздать мое прошлое.

К тому же из всех проектов этот требовал меньше всего интеллектуального напряжения. Я не стал себя спрашивать, доподлинно ли моя нелюбовь говорить о себе превратилась в

потребность исповеди. Близкие мне люди не были уверены, что я смогу писать в совершенно новом для меня регистре. Итак, я начал вспоминать далекое прошлое без твердого намерения довести дело до конца. Я дал прочитать первую часть Бернару де Фаллуа, и тот заверил меня, что эти картины былого, воссоздающие события и мнения, заинтересуют читателей, быть может даже молодых, которым последние полвека известны лишь из книг по истории, так или иначе искажающих истину, и из легенд, распространяемых победителями. Благодаря ему я и закончил начатое[266].

XXVII
«ЭКСПРЕСС»

Слух о моем уходе из «Фигаро» уже ходил по Парижу, когда я оказался временно выведенным из игры. Беседа, которая должна была у меня состояться с сэром Джеймсом Голдсмитом в тот апрельский день, произошла тремя неделями позже, после моего пребывания в больнице. Я снова говорил достаточно свободно для того, чтобы создать о себе обманчиво благоприятное впечатление. Из нашего разговора мне запомнилось слово «мегаломания» — или «мегаломан», — которое упорно не хотело сходить с моих губ. Сэр Джеймс, Джимми, как его все зовут в «Экспрессе», поражает прежде всего своим умом. Я не согласен с мыслью — ее любил комментировать Ален, — что каждый в конечном счете проживает ту жизнь, которую хотел прожить; но охотно поддерживаю смягченный и очевидный, несмотря на возможную парадоксальность выражения, тезис: *успех всегда заслужен.* Или можно еще сказать, что успех не объясняется только удачей[267]. Если сэр Джеймс стал крупным капиталистом, то это потому, что он поставил себе цель заработать много денег, и потому, что обладал первоклассным инструментом — своим умом. В первые месяцы моего пребывания в газете он почти еженедельно собирал сотрудников и разбирал предыдущий номер. Ошибался он так же часто, как другие, хотя бы из-за своей неопытности в делах прессы, но его критические замечания, его советы были часто дельными, редко — лишенными интереса.

После опыта, приобретенного в «Фигаро», я более всего опасался всяких сборищ, шушуканья, кланов, могущественных группировок, ссор. Я мог бы, после «Фигаро» и апрельского физического потрясения, подвести черту под тридцатью с лишком годами журналистской работы и всецело посвятить себя книгам. Так как мы никогда не меняли нашего стиля жизни среднего государственного служащего, то статей, публиковавшихся в провинциальных газетах при посредстве «Опера Мунди» («Opera Mundi»), было достаточно для пополнения моих доходов. Даст ли мне этот уход из публичной жизни время и храбрость для написания той или иной из обещанных мною книг? Я не был в этом уверен. Гораздо вероятнее, что уход усилил бы безразличие, к которому склоняла меня близость смерти. Знаю, что это безразличие можно было бы иначе именовать безмятежностью или мудростью. Я думал тогда и продолжаю думать, что в моем случае это безразличие приняло бы вид отречения.

Я мог поздравить себя с тем, что выбрал «Экспресс». Была ли бы приятнее и плодотворнее моя жизнь в «Пуэн»? Не знаю. Скажу лишь, что, как только моя роль в газете была точно определена и границы ее очерчены, все сложилось для меня наилучшим образом. Сэр Джеймс сам дал мне понять, что мне нет надобности присутствовать на редакционных совещаниях, которыми отмечен каждый этап создания газеты; постепенно пришли к соглашению, что понедельничные заседания редакционного комитета редко будут касаться содержания или направления предшествующего или следующего номера. Став автором передовых статей, я нес часть ответственности в качестве председателя редакционного комитета; но эта ответственность, за исключением нескольких инцидентов, не создавала проблем для моей совести.

Накануне выборов 1978 года сэр Джеймс поручил мне неблагодарную задачу: перечитывать тексты и обсуждать их в том случае, если они покажутся несовместимыми с официальной линией. При этом он забыл мне сказать, что Оливье Тодд отстоял свое право писать передовые статьи социалистической направленности и получил письменное разрешение. В результате произошла словесная стычка ночью, прерываемая телефонными разговорами с Джимми, который с Карибских островов угрожал запретить выход номера. «Канар аншенэ» прокомментировала эпизод в своем обычном стиле; я был изображен не с лучшей стороны.

Через несколько месяцев после моего прихода в «Экспресс» Франсуаза Жиру выразила желание вернуться в газету. Ее просьбу долго обсуждали; я взял на себя часть ответственности за отказ.

Франсуаза Жиру берет в плен и убеждает своим очарованием, умом и, быть может, еще больше — своим голосом. Раньше мы несколько раз встречались, она даже пригласила меня однажды на прием в узком кругу, где праздновалась не помню какая годовщина газеты «Экспресс». Там были Франсуа Миттеран и Гастон Деффер, а также один из директоров Парижско-Нидерландского банка — он бросил вскользь ироническое замечание в адрес социалистической партии, «которой, как всякому известно, больше не существует». В ответ Гастон Деффер осыпал его оскорблениями. Что касается появлявшихся время от времени резких статей, направленных против того или иного из моих текстов или против моих политических взглядов, то я приписывал их истинное авторство Ж.-Ж. С.-Ш., а не Франсуазе Жиру. Во время парижских выборов мои симпатии склонялись на ее сторону, что не мешало мне повторять про себя: «И зачем ее понесло на эту галеру?» С тех пор многое изменилось: она не простила мне, что я воспрепятствовал ее возвращению в

«Экспресс» (или, вернее, взял на себя ответственность за отказ).

Вопрос встал перед редакционным комитетом в начале 1978 года. Филипп Грюмбак тогда еще был директором издательства. Дж. Голдсмит не хотел возвращения Франсуазы Жиру. Жан-Франсуа Ревель, входивший в старую команду, проработал рядом с Франсуазой Жиру много лет, его связывала с ней настоящая дружба, и он не мог высказаться против своей прежней директрисы. Все мы оказались в затруднительном положении по очевидным причинам, как политического, так и нравственного порядка. Газета «Экспресс» обязана своим существованием в равной или почти равной степени Ж.-Ж. С.-Ш. и Франсуазе Жиру; отказать ей в этой трибуне казалось нам всем несправедливым, можно сказать жестоким.

С другой стороны, мы хорошо видели трудности или, вернее, почти полную невозможность ее возвращения. Часть старой команды покинула «Экспресс», воспользовавшись щедрой компенсацией, полагающейся по закону журналистам в подобных обстоятельствах. Некоторые из них, приближаясь к пенсионному возрасту, охотно воспользовались случаем, чтобы уйти, сделав это с тем более легкой душой, что могли найти работу в другом издании. Пригласив в газету одновременно Оливье Тодда из «Нувель обсерватер» и меня — из «Фигаро», Дж. Голдсмит ставил себе целью обозначить разрыв между газетой Ж.-Ж. Серван-Шрейбера и новым «Экспрессом». Перед этим я несколько раз настоятельно спрашивал его, можно ли считать уход Ж.-Ж. Серван-Шрейбера и Франсуазы Жиру окончательным и бесповоротным. Ответ не оставил у меня и тени сомнения. Я не имел никаких претензий к личности ни того, ни другой — я хотел, в согласии с замыслами нового владельца, разрыва с последней фазой «Экспресса», обложкой, на которую вынесена «История О» («Histoire d'O»), и в особенности с распространением тысяч экземпляров газеты в парижском округе, от которого баллотировалась Ф. Жиру. Отныне «Экспресс» должен был перестать служить орудием удовлетворения личных, пусть и законных, амбиций.

Во время обсуждения вопроса редакционным комитетом я не был единственным, кто высказался против возвращения Ф. Жиру в качестве автора редакционных статей. На место главного редактора она, насколько мне известно, не претендовала. Остальные члены комитета предложили промежуточное решение: она будет писать редакционные статьи о проблемах общества, а не о политике. Я указал на нелепость подобной идеи — взять на работу бывшего министра, поставив ей условие не касаться политики. Думаю, что Дж. Голдсмит передал ей отрицательный

ответ, приписав его, возможно, мне одному… Я беру на себя эту ответственность. У нас существовала договоренность, что в период избирательной кампании 1978 года «Экспресс» будет поддерживать тех, кто сегодня находится в оппозиции; враждебность бывшего министра к президенту обострила бы внутриредакционные противоречия. Дж. Голдсмит был благодарен мне за то, что я облегчил ему решение, и рад, по его словам, что удалось полюбовно уладить спорный вопрос, который мог осложнить отношения нового владельца газеты и его бывшего главного редактора.

Несколько недель спустя после ухода Ф. Грюмбака сэр Джеймс дал, к счастью, убедить себя и назначил главным редактором Ж.-Ф. Ревеля. Уход Ф. Грюмбака представлялся мне неизбежным. Этот человек был частью наследия прежнего «Экспресса», держал себя отстраненно и отдавал распоряжения повелительным тоном, что журналисты переносили все хуже. Ж.-Ф. Ревель пользовался доверием и дружбой всех (или почти всех) журналистов; работая в издательстве уже давно, он тем не менее не скомпрометировал себя причастностью к ошибкам Серван-Шрейбера, совершенным в последний период, когда политическая карьера редактора-издателя или Франсуазы Жиру влияла решающим образом на еженедельник. Не знаю, в какой мере мои настоятельные советы помогли Джимми сделать свой выбор, да и помогли ли вообще, но, в любом случае, я мог только радоваться этому назначению. Июньский кризис 1981 года не меняет моего суждения.

Мы едва были знакомы с Ж.-Ф. Ревелем, когда я пришел в «Экспресс». Я прочел и оценил его бестселлеры — «Ни Маркс, ни Иисус» («Ni Marx ni Jésus»), «Искушение тоталитаризмом» («La Tentation totalitaire»), Просмотрел его памфлеты против философов (там он мимоходом задевал и меня) и не испытал каких-либо сильных чувств — ни положительных, ни отрицательных — в адрес «Кабалы ханжей». В этом авторе меня поражало сочетание подлинной культуры с искусством полемики, доступным всем читателям. Являясь упрощенным — но без вульгаризации — изложением больших дискуссий, его книги, вдохновленные антикоммунизмом, который он сам называл утробным, находили широкую аудиторию по обе стороны Атлантики, что свидетельствует о его успехе в этом нелегком жанре. В то же время меня удивляли — и я сказал об этом Жан-Франсуа, когда мы сблизились, — упорство, с каким он называл себя социалистом, и тот прыжок в утопию, который он совершал, выступая против национальных суверенитетов — зла по преимуществу или первопричины всех зол, как он полагал.

Насколько могу судить, никакое соперничество самолюбий ни разу не восстановило нас друг против друга. По утрам в понедельник мы договаривались о темах наших с ним редакционных статей. Может быть, иногда он считал, что я беру себе более интересную тему; впрочем, не думаю; один раз из двух по меньшей мере именно он мне ее и подсказывал. Я же действительно вменил себе в долг служить коллективным интересам и не уклонялся от обязательств газеты в целом. Правда, сожалел, особенно вначале, об утрате свободы, какая была в «Фигаро»: свободный выбор дня, темы, размеров статьи. Однако после нескольких недель тренировки я уже неплохо адаптировался к шести машинописным страницам, или трем колонкам. Поскольку, невзирая ни на что, я сохранил свой обычный стиль, мне пришлось утверждать какие-то положения или свою трактовку, еще менее, чем прежде, подкрепляя их доказательствами. Две редакционные статьи — Жан-Франсуа и моя — не спорили между собой, а выявляли плюсы каждой: в одной содержалась полемика, иллюстрированная и подкрепленная фактами, в другой — анализ, подводящий к изложению позиции автора или критике.

Кроме того, Жан-Франсуа проявил по отношению ко мне приветливость и такт, к которым я оказался тем чувствительнее, что они не характерны для журналистского (как, впрочем, и профессорского) мира. Я свыкся с тем, что уже «старик» — «дед», как меня, кажется, называют, — но все же не без некоторой досады; я действительно стар и знаю это с апреля 1977 года, но предпочел бы, чтобы другие не давали мне этого почувствовать, пусть даже внешними знаками почтения. Мы сблизились и с Оливье Тоддом. Он дал мне прочесть гранки своей книги о Сартре, и я подсказал ему несколько исправлений. Как-то мы пообедали вчетвером, с Анн-Мари и Сюзанной. Кризис разразился 11 или 12 мая.

Вечером 10 мая я пришел в газету со своими внуками Лорой, Аленом и Полиной, собираясь продиктовать уже написанную редакционную статью, где комментировал победу Франсуа Миттерана. Джимми обсуждал что-то с Жан-Франсуа и другими журналистами. Я не почувствовал приближения грозы. Коммюнике Жискара д'Эстена о «предумышленной измене», сбор бывшего большинства по инициативе Ширака не позволили мне опубликовать статью, которую я подготовил. Во вторник, 12-го, мне нужно было ложиться в больницу Кошена на операцию (ничего особенно серьезного — удаление дивертикула [325], от которого я страдал несколько месяцев, может быть лет, но который все больше мне мешал). 11-го во второй половине дня я

встретил Оливье, взволнованного, вне себя, обрушившего на меня новость, что Джимми его выгнал. Мне плохо были известны глубинные и побочные причины столкновения между владельцем и редакционным руководством, которое он сам выбрал. Из больницы я сразу же позвонил в «Экспресс» — удостовериться, что моя статья не будет опубликована; это обстоятельство не имело ничего общего с внутригазетным кризисом. Я убедил своего друга Монсалье, что мое пребывание в больнице во вторник не обязательно, так как все анализы предстояло делать на следующий день, в среду. Вернулся в «Экспресс» и два с половиной часа беседовал с Жан-Франсуа и Джимми. Я сделал все, что мог, чтобы умерить страсти.

Джимми без особого труда согласился, что «Экспресс» не может и не должен стать чем-то вроде правого «Нувель обсерватер». По двум причинам, причем обе — кардинальные. Во-первых, левые взгляды принимают так, как принимают религию; между тем в настоящее время не существует правого движения, сравнимого с левым, кроме «новых правых», отвергнутых политическим классом. Во-вторых, многие редакторы пришли с левого фланга и не стали бы делать боевой еженедельник, направленный против социалистической власти. Во время нашей беседы Джимми пришел к выводу, что Оливье мог бы остаться в «Экспрессе», но только уже не в качестве редактора номер один, ближе всех стоявшего к главному редактору, с кем он тесно сотрудничал и на кого, несомненно, оказывал влияние.

Что до меня, то я не был доволен последними номерами газеты, вышедшими в период избирательной кампании. Жан-Франсуа нападал в своем обычном тоне на коммунистов, но редко — на Миттерана. Особенно раздосадовали меня четыре статьи накануне первого тура, напечатанные каждая в две колонки и помещенные параллельно; две из них — за Миттерана, и две — за Жискара, фактически же статья Жан-Франсуа была скорее против Марше, чем за Жискара. Мы поспорили, почти поссорились с Жан-Франсуа, когда он попросил меня сократить с трех до двух колонок статью, озаглавленную «Объяснение результатов голосования» («Explication de vote»). Еще раньше на одном из заседаний редакционного комитета я был удивлен, услышав из его уст сожаления о том, что в газету пришли я и Макс Галло; последний работал в группе поддержки Ф. Миттерана, я — в группе поддержки Жискара. Незачем, говорил Жан-Франсуа, вмешиваться в президентскую кампанию; все, что мы пишем в течение многих лет, должно бы, скорее чем недавние тексты, повлиять на выбор наших читателей.

Номер с четырьмя статьями встревожил меня сильнее, чем

Жан-Франсуа смог понять в тот момент. Издание, претендующее на объективность, но отнюдь не на нейтральность или неангажированность, роняет, дискредитирует себя в общественном мнении, демонстрируя свою неспособность занять определенную позицию. Я намеревался покинуть после выборов место председателя редакционного комитета. Никакого третейского суда для разбирательства разногласий между главным редактором и председателем редакционного комитета не было предусмотрено. Когда Жан-Франсуа и я разошлись во мнениях о книге Бернара-Анри Леви, мы нашли компромисс в виде двух взаимодополняющих статей. Позднее Ив Кюо напомнил мне, что он критиковал, просто с профессиональной точки зрения, параллельное расположение двух редакционных статей в поддержку Миттерана и двух — в поддержку Жискара. В телефонном разговоре я уступил; не смог в присутствии Макса Галло привести свои возражения против неожиданного предоставления книжному обозревателю статуса автора политических редакционных статей. Мы тогда не знали — Макс Галло нам этого не сказал, — что его целью был Бурбонский дворец 326 (а может быть, он сам еще этого не знал).

Несмотря на мои сомнения относительно ориентации «Экспресса» в последние месяцы, я доверял Жан-Франсуа, однако твердо решил оставить свой фиктивный пост председателя. 12 мая моим единственным намерением было предупредить разрыв между Джимми, с одной стороны, и Жан-Франсуа и Оливье — с другой.

Во вторник вечером мы расстались со словами: «Будем думать ночью». Мне казалось невероятным согласие Оливье Тодда на то, чтобы к нему применили *diminutio capitis*[268], оставив в «Экспрессе» в качестве автора редакционных статей и ответственного за *cover story*[269]. А Жан-Франсуа, конечно, последует за Оливье — в этом я не сомневался. Что именно произошло в среду утром? Я позвонил в «Экспресс» из больницы. Мне ответил Жан-Франсуа, явно взбудораженный: «Я здесь больше не работаю», — и повесил трубку.

О событиях утром в среду, 13 мая, у меня имеются две версии. Джимми рассказал мне следующее: «Я пришел в редакцию в половине одиннадцатого — у меня было свидание в городе в девять часов. Нашел все вверх дном: Жан-Франсуа подал в отставку, Тодд выставлен за дверь, а журналисты совещаются группами, все предельно взвинченные. Мне не оставалось сделать ничего иного, как отправить два письма: одно с увольнением, второе — с принятием отставки». Другие же утверждали, что оба письма были получены утром и вызвали суматоху. Хотя мы

втроем закончили нашу беседу, не придя ни к какому решению, все же, по всей вероятности, новость об увольнении одного и подаче заявления об уходе другим распространилась среди сотрудников, и Джимми, прибыв в редакцию и оказавшись перед свершившимся фактом, сделал неизбежные выводы.

В течение трех дней, 13, 14 и 15 мая, Жан-Франсуа Ревель и Оливье Тодд делали одно заявление за другим — мне они остались неизвестными; на них ответили Ив Кюо и Ян де л'Экоте. Публицисты выступили против журналистов, ушедшие из газеты — против оставшихся. Все эти дни мое состояние после операции не позволяло мне участвовать в событиях или самому справляться о них. Джимми через мою жену держал меня в курсе происходящего. Ни Жан-Франсуа, ни Оливье не дали о себе знать, не спрашивали обо мне, не выразили желания повидать меня. Подобное поведение мне показалось странным. Либо они считали, что я должен морально солидаризироваться с ними; почему же, в таком случае, не связаться со мной? Либо они полагали, что я стою вне распри и свободен в своем выборе; тогда зачем было Оливье Тодду отзываться филиппикой на страницах «Матен» («Matin») на редакционную статью, написанную мною сразу по возвращении на работу?

Итак, из-за неудачной обложки Джимми выходит из себя и выгоняет старшего редактора, чем провоцирует уход главного. Если ограничиться этими голыми фактами, то, совершенно очевидно, Джимми не прав. Размеры ошибки — если это была ошибка — и санкций кажутся несопоставимыми. Пусть так, но то, что сделано, — сделано, так чего же хотят двое пострадавших? Заставить Джимми капитулировать? Они его знают — им его не сломить; он скорее ликвидирует газету, чем сдастся. Но если они бессильны взять над ним верх, они могут, во всяком случае, поставить его в затруднительное положение, подстрекнув к уходу как можно большее число редакторов, преимущественно самых высокопрофессиональных. В этих обстоятельствах становится очень важным, какое решение приму я: ведь если все четверо авторов редакционных статей уйдут, то отважатся ли на риск их возможные преемники? Несколько дней кряду газеты и устная пресса ожидали решения «госпитализированного Раймона Арона». Я сообщил его через Ива Кюо, которого пригласил зайти ко мне в больницу Кошена.

Пресловутая обложка, появившаяся накануне второго тура президентских выборов — изображение постаревшего Жискара и помолодевшего Миттерана над ним, — давала повод по меньшей мере к недоразумению. Лучшим доказательством этого явилась заметка в «Канар аншене», утверждавшая, что владелец

«Экспресса» уже думает, как бы ему приблизиться к новым хозяевам. Возможно, вспышка гнева сэра Джеймса была отчасти связана с этой инсинуацией «Канар аншене». Люди, ответственные за появление обложки, написали Джимми — он показал письмо мне, — что следовали полученным указаниям.

Я не думаю, что Джимми издавна питал вражду к Оливье, хотя ему как радикальному консерватору был ненавистен или, скорее, казался заслуживающим презрения вялый социал-демократизм последнего. Глубинная причина представляется мне ничуть не таинственной. Джимми, как и некоторые другие деловые люди, занялся газетным бизнесом с убежденностью и каким-то простодушным энтузиазмом, не для того чтобы заработать деньги, но чтобы защищать и разъяснять свои идеи.

«Экспресс» был в свое время левым еженедельником, выступал против войны в Индокитае, против алжирской войны, против голлизма и Государства ЮДР [327]. В 1974 году Ж.-Ж. С.-Ш. объявил себя в последнюю минуту сторонником Жискара, и Франсуазе Жиру пришлось объяснять на страницах «Провансаль» («Provençal»), почему она отдала свой голос Франсуа Миттерану. Редакционный же коллектив, вопреки всем извивам и поворотам линии руководства, оставался скорее «левым». И годы спустя продолжала сохраняться глухая напряженность между владельцем, желавшим, чтобы еженедельник был решительно «либеральным» (в европейском смысле), и журналистами, которые, за исключением некоторых авторов редакционных статей, колебались между двумя лагерями.

Победа Миттерана, собственно говоря, не удивила Джимми, но он потерял самообладание. До выборов он вел переговоры с властями о будущем группы Эрсан, финансовое положение которой требовало, по его словам, сильнодействующего лекарства. Джимми надеялся получить контроль над «Фигаро» и одновременно решить некоторые из человеческих и экономических проблем «Экспресса».

После 10 мая проект, состоявший в том, чтобы перевести в «Фигаро» часть людей из разбухшей редакции «Экспресса», лопнул. К тому же Джимми поддался чрезмерному пессимизму и предвидел уменьшение на 25 % доходов от рекламы. Логически не было никакой связи между ролью Оливье Тодда и грозящими финансовыми трудностями. Но в уме Джимми существовала связь между вероятными убытками предприятия и политическим содержанием издания: если уж нужно потерять деньги, чтобы выжила газета, рассуждал он, то пусть, по крайней мере, она защищает мои идеи, а не те, которые ненавистны мне. Обложка компрометировала Джимми, представляла его неким *turncoat*,

перебежчиком, готовым сотрудничать с социалистами, тогда как он рвался в бой против них. Все эти чувства, одни — вызванные потрясением 10 мая, другие — остававшиеся подавленными в течение ряда лет, вызвали взрыв, детонатором которого явился Оливье Тодд вкупе с обложкой; он же стал и жертвой. Добавлю к этому, что Джимми уже давно подумывал о продвижении Ива Кюо и Ян де л'Экоте (последний покинул «Фигаро» одновременно со мной).

Мне остается сделать признание, которое не увеличит моей популярности среди журналистов. Лично я не испытываю никакой симпатии к самоуправлению печатного органа. На моих глазах произошел непоправимый упадок «Фигаро», когда не стало его «патрона» и тот был заменен фантомом, при котором образовывались кланы, появлялись «бароны» со своими вассалами, а редакторы не из числа лучших профессионалов суетились во внутренней политике издательства. Юбер Бёв-Мери со вздохом вспоминал (когда бывал в хорошем настроении) Ассоциацию редакторов и ее тогдашнего президента Жана Швебеля. «Монд» перешла от Юбера Бёв-Мери к Жаку Фове и едва не попала в руки Клода Жюльена. Робер Эрсан не возродил «Фигаро»; но, по крайней мере, он знал, какие подписи под статьями имеют значение. Знал это и Джимми. А кто при самоуправлении пришел бы к власти, или кто стал бы принимать окончательное решение?.. Я предпочитаю руководителя типа Бриссона или хотя бы типа Джимми.

«Сразу виден правый», — ворчит про себя читатель. Что ж, мое чувство равенства не заходит так далеко, чтобы отвергать всякое различие между теми немногими, кто выделяется на фоне большинства, и прочими, вполне уважаемыми людьми, которые мирятся — затаив, кто больше, кто меньше, досаду и горечь, — с положением, по их мнению не соответствующим их заслугам. Зачем разыгрывать комедию равенства, в которое никто не верит? Правые против левых? Я отсылаю читателей к книге Жана Даниеля «Время разрывов». Главный редактор «Нувель обсерватер» сочувствовал бунту студентов против профессоров, бунту рабочих против патронов. Ему самому пришлось столкнуться с бунтом, вдохновленным теми же идеями и настроениями и направленным не столько против него лично, сколько против иерархической структуры редакции. И главный редактор яростно, зубами и когтями, защищал свою власть, казавшуюся ему вполне законной. Позволю себе привести несколько фрагментов книги, в которых Жан Даниель рассказывает о своих спорах с редакционным коллективом и с Жан-Полем Сартром: «Я замечаю главному редактору „Тан

модерн“, что, не имея желания ссылаться на его собственный образ действий, я, тем не менее, согласен с ним в том, как он осуществляет в журнале принцип кооптации. В искусстве и в политике можно полагаться только на тех, кого выбрал в силу несомненной духовной близости. Сартр ничего на это не отвечает. Я продолжаю: можно ли представить политические или литературные статьи на суд сотрудников, исполняющих административные функции, занимающихся вопросами розничной продажи и подписки? Следует ли консультироваться с теми, чьи мнения заведомо расходятся с линией газеты? Согласился ли бы он, Сартр, представить на рассмотрение своей секретарше и, тем паче, своему издателю и типографским рабочим линию, выработанную в таком-то месяце в „Тан модерн“? Короче говоря, можно ли разделять с другими то, что относится к сфере убеждений или творчества, так же как мы пользуемся сообща услугами и имуществом?» В другом пассаже Жан Даниель честно признает противоречие, существующее между его горячим сочувствием майскому движению 1968 года и защитой своей власти главного редактора, защитой единого центра принятия решений. Читая эти страницы, я спрашивал себя, почему он не выразил никакого сочувствия университетским преподавателям, подобно ему защищавшим власть, которую считали необходимой для исполнения своих профессиональных обязанностей? Почему ему не показалось несколько абсурдным участие административных работников в выборах Совета университета?

Университет не принадлежит к той же категории, что журнал или газета? Безусловно. Но преподавательская работа сравнима с работой журналиста; во всяком случае, это интеллектуальная деятельность, оценку которой могут дать только компетентные судьи. Мнение студентов о профессорах очень важно, так же как мнение читателей о журналистах и литераторах, однако оценка, даваемая, если можно так выразиться, потребителями, не является непреложным вердиктом. Бывает, что преподавателя или писателя отвергают по уважительным причинам, а бывает — по никуда не годным. В 1968 или 1969 году студенты, которыми верховодило меньшинство, отвергали не столько посредственных преподавателей, сколько тех, кто не принимал модных идей. Жан Даниель пишет: «Один мой друг указал мне на парадокс, состоящий в том, что я прославляю наследие Мая 1968-го на тех же страницах, где рассказываю о своем противостоянии внутри газеты энтузиастам Мая. Согласен, в этом есть противоречие. Если только здесь не следует искать иной последовательности. <…> Я так много говорил о „криках“, о посланиях, подлежащих

расшифровке, о плодотворных преувеличениях, о поучительных крайностях». Это было примирение с французским народом, заключает Жан Даниель, полюбивший наконец французский народ в дни, когда тот выламывал булыжники из мостовых. «В мае 1968 года, при виде бурного творческого порыва французской молодежи, я полюбил этот народ менее книжной любовью, не делая больше над собой усилия. Когда же мне довелось противостоять бунтарям внутри газеты, я, считая своим долгом поколебать их позиции, в то же время невольно испытывал по отношению к ним — по крайней мере к некоторым — самое горячее уважение. Как сумел я оказать им сопротивление, до такой степени понимая их?» Но что же загадочного в этом «сопротивлении бунтарям»? Рискуя впасть в несколько вульгарное упрощение, скажу, что в эти дни всеобщего возбуждения каждый участвовал в выступлениях против власти вообще, но реже — в тех случаях, когда ставилась под вопрос его собственная, по его мнению обоснованная, власть. Что касается меня, то я не обладал никакой властью, которую стремился бы сохранить.

XXVIII
ЗАКАТ ОДНОГО ПОКОЛЕНИЯ

В 1977 году споры 50-х (о коммунизме, о природе советского общества) и 60-х (критика индустриального общества) уже принадлежали к прошлому; они утихли сами собой, за неимением борцов. Нельзя сказать, чтобы не стало приверженных марксизму-ленинизму интеллектуалов — они по-прежнему многочисленны в коллежах и даже в университетах. Но среди «высшей интеллигенции» Парижа их больше нет. За последние годы успех завоевали молодые эссеисты, заново открывшие антикоммунизм недавних или несколько более давних лет. Осуждение техники, загрязнения окружающей среды, городов из бетона, атомных электростанций не прекратилось и не было опровергнуто. Совершенно очевидно, что хулители современной цивилизации не собираются сложить оружие. И они действительно указывают на реальные бедствия или опасности. Однако «высоколобые интеллектуалы», более или менее близкие к этим протестующим, не возводят «экологизм» на уровень философии. Гошизм 60-х жив, однако гошисты пошли разными путями: одних захватил в свою орбиту коммунизм, других — социализм, третьи перенесли свою непримиримость на защиту прав человека, и очень немногих еще соблазняет, быть может, прямое действие.

Борьба мнений внутри парижской интеллигенции тем не менее продолжается. Споры, правда, ограничены узким кругом еженедельников и журналов, но все же они прямо или косвенно показательны. Здесь мне приходят на ум прежде всего «новые правые» с их вождем, вдохновителем и, несомненно, лучшим представителем Аленом де Бенуа (автором бесчисленных статей, подписанных разными псевдонимами). Главная премия, которой Французская академия удостоила одну из его книг — «Мир, увиденный справа» («Le Monde vu de droite»), привлекла внимание к двум журналам, пропагандирующим его идеи: «Нувель Эколь» («Nouvelle École») и «Элеман» («Eléments»).

Приверженцы Алена де Бенуа не скрывают своей цели: отвоевать идеологическую власть у левых, принадлежащую тем даже тогда, когда страной управляют так называемые правые. И в этом пункте я с ними согласен. За исключением тех, кто еще остался от «Аксьон франсез», и почти невидимых для глаза фашистов или национал-социалистов, все партии провозглашают в общих чертах так называемые левые, то есть либеральные и

демократические, идеи. Социалисты бросают правым правительствам упрек в том, что они не стараются уменьшить неравенство (в основном речь идет о неравенстве доходов); однако люди, выступающие от имени правых, не говорят в ответ (а если говорят, то как-то сконфуженно), что экономическая и политическая иерархия неизбежна и вместе с тем необходима для общественного блага. «Новые правые» категорически осуждают либерально-демократический конформизм, одним из доктринеров которого я был — признаюсь в этом без угрызений совести. Разумеется, я не отвергаю некоторых авторов, которых Ален де Бенуа любит комментировать, — Макиавелли или Парето. Я не изображаю западные общества в стиле, которым охотно пользуются истинные верующие в демократию. Мною снят покров поэтичности и романтики как с соперничества партий, так и с борьбы между государствами. Ален де Бенуа часто ссылается на некоторых философов, например, сэра Карла Поппера, к которым я в некоторых отношениях очень близок. Но в том, что касается главного — идей, вдохновляющих политику, — Ален де Бенуа неудержимо напоминает фашистов или национал-социалистов. (Я не обвиняю его в том, что он — один из них, а просто говорю, что он часто думает так же, как они.)

Беру, например, последнюю статью Алена де Бенуа о Соединенных Штатах и Советском Союзе. Из нее вытекает совершенно определенное кредо автора: лучше советский комиссар, чем бруклинский гамбургер. Подобное предпочтение не может подразумевать ничего иного, как то, что американизм есть абсолютное зло. Чтобы это кредо обрело смысл, нужно допустить, что американизм растворяет, вытесняет, подавляет, стирает своеобразие обычаев и верований, тогда как советское господство привело бы всего лишь к потере государствами их независимости. Первый отнял бы у народов их культуру, второе оставило бы им шанс сохранить ее.

В эссе, подписанном другим именем, Ален де Бенуа клеймит Соединенные Штаты как воплощение бунта против власти. Из этого бунта проистекают типические черты американской антикультуры: принципиальный эгалитаризм, способствующий господству денег, игнорирование высших ценностей, утрата формы и стиля. «Новые правые» ненавидят «меркантилизм» — понятие, сохранившее мало общего с одноименными учениями XVI и XVII веков [328]. Во всех современных обществах производство, а тем самым и потребление предстают одной из главных забот правителей и граждан (или подданных). Правители-венценосцы прошлого тратили на свои удовольствия и на прославление своей особы более значительную часть

национального излишка, чем потребляют сегодня «элиты» демократических обществ. Но Государь, порой выставлявший свои богатства напоказ с риском унизить своего Брата, основывал свою легитимность на непрозаических принципах — таких как традиция, происхождение, меч, Бог. Разумеется, аристократическое общество презирало на словах коммерцию и ценности, связанные с производством и обменом; на деле же никакого презрения к материальным благам, к роскоши в нем не замечалось. Аристократы пользовались богатством, не создавая его и не делясь им ни с кем. Что представляло бы собой в наш век немеркантильное общество, в котором культ воинских доблестей оттеснил бы на задний план расчеты лавочника и мелочной науки?

Режимы, претендующие на тоталитаризм, дают нам поучительный образ общества, где правит «героическая» элита, которая служит «великой цели». Безразличие к благам мира сего? Коррупция процветает в фашистской Италии, в гитлеровской Германии, в сталинском или брежневском Советском Союзе в еще большей степени, чем в «плутократиях». Члены партий, осуществлявших идеологическую монополию, подчас действительно обнаруживали высокие качества, носителями которых себя объявляли, но оппозиционеры или подпольщики не уступали им в мужестве. Аристократический порядок имел смысл только в те времена, когда война была уделом «лучших людей»; ныне, когда в ней участвует весь народ, а воины, нередко разделенные десятками, сотнями, тысячами километров, запускают в атмосферу ракеты, притягиваемые своей мишенью, трусы и храбрецы по-прежнему существуют, но нет героической элиты, которая была бы достойна властвовать. Зато в наш век сохраняется угроза осуществляющих насилие меньшинств, в немалой степени состоящих из бандитов и сутенеров, которые любят потолковать о величии; идеологии, поносящие демократию и коммерцию, открывают этим меньшинствам дорогу.

Будучи врагами меркантилизма, торгашеского духа, мыслители «нового правого» направления обличают заодно и эгалитаризм. С этой целью они подхватили дарвиновские или, шире, биологические идеи, пользовавшиеся огромным доверием в конце прошлого века. При современном состоянии научных исследований никто не может точно определить долю наследственности и долю среды в становлении личности и творчества индивида. Те, кто в порыве эгалитарных страстей отрицают роль наследственности и пытаются представить человека простым продуктом общества, несут вздор. Исключительный талант, все равно — физический,

художественный или интеллектуальный, запрограммирован в генотипе, хотя может развиться, расцвести только в благоприятной среде. То, что индивиды внутри данной популяции различаются между собой своим генотипом, — факт, не вызывающий у меня сомнений. А эти различия влекут за собой неравенство. Разве не очевидно неравенство умственных способностей, измеряемое тестами? Чтобы избежать словесных перепалок, скажем, что тесты обнаруживают неравенство способностей, по крайней мере частично обусловленное генотипом.

Неопределенность возрастает, если мы переходим от неравенства между индивидами внутри популяции к предполагаемому неравенству между социальными классами или этническими группами. Общие сопоставления дают повод к двум возражениям, несут в себе двоякую двусмысленность. Когда измеряют средний коэффициент умственного развития (или вычерчивают кривую коэффициента умственного развития) какого-либо класса, то тесты не могут охарактеризовать ум человека в чистом виде, вне влияния среды; кроме того, тесты выявляют способности, не определяющие личность в целом; наконец, они, как правило, пренебрегают разнообразием стилей мышления.

«Новые правые» охотно используют данные биологии, делая это с плохо скрытыми идеологическими намерениями. Демократы склонны смешивать правовое равенство с равенством прирожденных дарований индивидов; этот тезис легко поддается научному опровержению. Впрочем, достаточно привести факты: социальное неравенство между индивидами не совпадает с неравенством умственных способностей, измеряемым тестами; обладатели самых высоких коэффициентов умственного развития не всегда занимают самые престижные или хорошо оплачиваемые посты; наконец, социологические прерогативы элиты (или меньшинства, занимающего стратегические позиции) не связаны с какой-то генетически обоснованной иерархией.

Третья тема — многообразие народностей и культур — сочетается у Алена де Бенуа с двумя первыми. Судя по всему, в его представлении этническое и фольклорное многообразие зиждется не на различиях генотипов — это, по преимуществу, исторически сложившееся, независимо от его истоков, многообразие приводит нас к язычеству.

Отношение ли Алена де Бенуа к эгалитаризму отвратило его от монотеизма евреев и христиан, виновных в том, что исповедуют равенство душ перед Богом? (Хотя христиане долго проявляли терпимость к существованию рабства, и еще сегодня

южноафриканские христиане мирятся с апартеидом 329, подразумевающим неравенство рас.) Ностальгия по язычеству, уничтоженному христианством, возникала время от времени на протяжении двух последних веков. Одни с сожалением вспоминают о богах, потому что утратили своего Бога; другие грезят об имперском Риме, принимавшем в свой пантеон идолов покоренных народов. И все же — можно ли в нашем столетии, два тысячелетия спустя после рождения Христа, желать быть язычником? Историки размышляют о том, что чувствовали римляне по отношению к своим богам, о природе их верований. Какая магия могла бы вызвать к жизни богов, похороненных в своем пурпурном саване?

Вооруженный язычеством, Ален де Бенуа поносит религии спасения, которые стирают своеобразие культур и одновременно питают ярость крестоносцев. Во имя своего единого Бога, возмущается он, эти верующие осуждают на смерть еретиков — из презрения или из ненависти, в гибельной уверенности, что обладают исключительной истиной. Евреев на протяжении веков преследовали как виновных в богоубийстве. Ранее они подвергались преследованиям со стороны римлян — но по собственной вине: упрямые пленники своего единобожия, они отвергали имперский экуменизм. Этот окольный путь приводит Алена де Бенуа к терпимости, от которой его, видимо, отвращали другие грани его мышления.

«Новые правые» пока еще воздерживаются от провозглашения собственно политических взглядов, от открытых суждений относительно демократического режима. Антиэгалитаризм по определению ориентирует их в правом направлении, но это совершенно другая правая направленность, чем у Жоржа Помпиду и тем более у Жискара д'Эстена. Увиденное с его собственной точки зрения, либерально-демократическое правое движение является всего лишь смягченным вариантом эгалитарного социализма и таким же вариантом американского меркантилизма. В этом смысле «новые правые», подобно фашистам и национал-социалистам, ненавидят в равной мере либеральную демократию и нивелирующий социализм. Повторяю: «новые правые» предпочитают в конечном счете Москву Вашингтону.

Следует ли сделать отсюда вывод, что их идеология, став господствующей, закономерно привела бы к более или менее авторитарному, во всяком случае недемократическому, режиму? Я испытываю искушение ответить утвердительно, хоть и не без колебаний. Лично я отказываюсь предвидеть логические последствия метафизической доктрины. Переход от метафизики к

политике редко повинуется строгой логике. Ален де Бенуа ответит, что его языческая терпимость исключает идеологический монополизм, к которому стремятся тоталитарные партии. Как бы то ни было, пристрастие к фольклору, ненависть к эгалитаризму, обвинения в адрес Соединенных Штатов, культ героизма на фоне демократической цивилизации, весь этот комплекс биологических тем, придуманных ностальгией, исторических образов не ведет ни к чему иному, кроме секты — смотря по обстоятельствам, безобидной или опасной.

Некоторые евреи, а также официальные организации еврейского сообщества энергично выступают против «нового правого» движения Алена де Бенуа, обвиняя его в наклонности к национал-социализму. При этом они подчас пытаются внушить властям, что необходимо заставить замолчать «новых правых», поскольку те подпадают под действие закона, запрещающего устные или письменные высказывания, способные разжечь расовую ненависть. Те евреи, которые требуют цензуры, совершают ошибку. Является ли Ален де Бенуа антисемитом в душе? Не знаю, и мне это не так уж важно; во всяком случае, доказательств этого я не нашел в написанном им за последние годы. Сам он возражает против такого предположения. Он — за выживание региональных культур во имя обогащающего культурного многообразия; почему же не сохранять среди других и еврейскую самобытность? Так или иначе, Ален де Бенуа слишком осмотрителен, чтобы не понимать: нацисты навсегда дискредитировали себя газовыми камерами. Чем больше он культивирует некоторые идеи, близкие к идеям немецких правых революционеров или национал-социалистов 20–30-х годов, тем решительнее он отмежевывается от антисемитизма[270].

На другой день после покушения на улице Коперника журналист с «Антенн-2» забросал меня вопросами о причинах события и о том, кто несет за него ответственность; он пытался подтолкнуть меня к обвинению в адрес «новых правых» интеллектуалов. Я резко ответил, что не поддамся на подобное смешение понятий. Те, кому ненавистны идеи Алена де Бенуа, должны бороться с ними посредством своих идей, а не при помощи палок или соляной кислоты. Да, идеи убивают, сказал я, но тем и прекрасен и потому и хрупок либерализм, что он действительно не заглушает никакие голоса — даже опасные.

Уточнение моих позиций относительно «новых правых» близко подводит меня к другому трудному вопросу совести: какова сейчас, в конце жизни, моя точка зрения не на мое еврейство, которое я признаю без колебаний, а на еврейские

организации, на молодое поколение, на движение, носящее название Еврейского возрождения? В одной из предыдущих глав, посвященной Шестидневной войне и пресс-конференции генерала де Голля, я объяснился со всей возможной искренностью. Однако история не остановилась после 1967 года. Еврейское сообщество разрослось и трансформировалось после алжирской войны за счет североафриканских сефардов. Дети или внуки «французских израильтян» презирают сдержанную корректность своих родителей или дедов — корректность, которую они называют осторожностью, если не трусостью. Аналитический опрос Доминики Шнаппер устанавливает типологию современных французских евреев согласно их отношению к Израилю, к принимающей их стране (как выражаются евреи Израиля) и к различным политическим движениям.

Лишь однажды мне довелось высказаться по поводу конкретного случая, а именно книги Бернар-Анри Леви «Французская идеология» («Idéologie française»). Лично меня «новые философы» не волнуют. Им не присущ оригинальный стиль философского мышления; их нельзя сравнить ни с феноменологами, ни с экзистенциалистами, ни с психоаналитиками. Они пишут эссе, не укладывающиеся в университетские нормы. Успеху этих авторов способствовали СМИ и отсутствие в сегодняшнем Париже справедливой и признанной критической инстанции. Эти философы-агреже не принадлежат к течению Сартра или Мерло-Понти; некоторые из них прошли через увлечение Альтюсером, потом отошли от него, хотя необязательно от него отреклись. Они произвели сенсацию прежде всего своим осуждением советизма и даже марксизма.

У меня не было ни малейшего повода затевать с ними полемику. Тот, кто уже заканчивает свою жизнь, бывает довольно смешон, нападая на молодых или сравнительно молодых людей, верящих или заставляющих других верить, что они несут с собой нечто новое. Впрочем, это не заблуждение: они действительно выражают свежее жизнеощущение, самобытную реакцию на несчастья эпохи — вчерашние, пережитые человеком моего возраста, и сегодняшние, которые они переживают вместе со мной. Как бы то ни было, пылкое участие Ж.-М. Бенуа, А. Глюксмана или Б.-А. Леви в политических дебатах вокруг советизма не пробудило у меня интереса. Ни «Маркс умер» («Marx est mort»), ни «Кухарка и людоед» («La Cuisinière et le Mangeur d'hommes»), ни «Варварство с человеческим лицом» («La Barbarie à visage humain») не сказали мне ничего, что я не знал бы о Марксе, о марксизме-ленинизме или о Советском Союзе. Несмотря на мою симпатию и мое уважение к А. Глюксману, мне совсем не

понравились «Духовные учителя» («Maîtres-penceurs») — памфлет на немецкую философию, которая вскормила и самого автора сочинения.

Не стал я спорить и по поводу «Варварства с человеческим лицом» (не считая цитаты оттуда с моими ироническими замечаниями в статье на страницах журнала «Коммантер»). Затем последовало «Завещание Бога» («Le Testament de Dieu»), Претенциозность названия, как и книги в целом, категоричные суждения об Иерусалиме и Афинах, основанные на поддельной эрудиции, помешали мне оценить блеск риторики, заимствовавшей у стиля Мальро некоторые из достоинств, как и некоторые из недостатков.

Обстоятельства побудили меня выступить с критикой «Французской идеологии». Перед этим я сказал по телефону Жан-Франсуа Ревелю, что эта книга, по-моему, лучшая из трех, но в то же время не посоветовал выбрать ее «книгой месяца» «Экспресса». В самом ли деле она лучшая из трех? Возможно, я ошибался. Возможно, «Завещание Бога», несмотря ни на что, более значительное произведение. Мне следовало тогда сказать, что эта книга прикасается к болезненной струне французской совести и что, в отличие от двух предыдущих, она рассматривает актуальную, нестареющую историческую проблему: предшественники и потомки Виши.

Вишистское правительство поставило Францию в особое положение во время последней войны; единственное из всех правительств оккупированных стран, оно до конца отстаивало свою легитимность, яростно боролось против вмешательства в свои прерогативы оккупационных властей — вплоть до того, что брало на себя ответственность за самостоятельное осуществление позорящих его действий (например, депортации евреев). Независимо от дипломатического выбора 1940 и 1942 годов, вишисты провозгласили специфически французскую доктрину, не продиктованную оккупантами. Как сформировалась идеология Виши? Интересы каких кругов она выражала? Как можно охарактеризовать ее в сравнении с итальянским фашизмом, национал-социализмом, франкизмом, салазаризмом?

Здесь не место отвечать на эти вопросы. Я посвятил «Французской идеологии» статью, уступив настоятельным просьбам друзей, в основном евреев, которые возненавидели эту книгу именно из-за чрезмерности ее выводов и опасались возможного недоразумения. Они не хотели, чтобы Б.-А. Леви, разоблачитель определенной французской идеологии, общей для Мориса Тореза и маршала Петена, был сочтен выразителем мнений еврейского сообщества. Много ли нашлось бы французов,

не подпадающих под обвинения этого Фукье-Тенвиля 330 из литературного кафе?

В своем ответе на мою статью Б.-А. Леви поднимает серьезный вопрос. Проявляют ли евреи малодушие, если соблюдают то, что применительно к некоторым государственным чиновникам именуется обязательством сохранять осторожность в высказываниях? Я уже рассказывал, что один из моих друзей, нисколько не антисемит, призывал меня в 1937 или 1938 году к «сдержанности» во французских спорах о том, как Франции надлежит вести себя по отношению к гитлеровской Германии. Существование Государства Израиль также, хотя и иначе, нежели предгитлеровская Германия, ставит проблему двойного «подданства».

Евреи, не пережившие 1933–1945 годы, зачастую смотрят сверху вниз, этак снисходительно, на своих родителей или дедов, которые по-прежнему заботятся о том, как бы не «спровоцировать антисемитизм»; подобная озабоченность кажется этим молодым людям тщетной, более того — достойной презрения. Антисемитизм, как писал Жюльен Бенда, возникает из потребности ненавидеть, из агрессивного стремления, а не вследствие поведения самих евреев. Считать необходимым для себя соблюдать сдержанность, все равно при каких обстоятельствах, — значит признать различие между собой и другими. Если твой выбор — быть французом, если ты и *есть* француз, такой же, как все твои соотечественники, то почему ты должен колебаться, прежде чем высказаться по какому бы то ни было вопросу?

Довод мог бы убедить, если бы сегодняшние евреи еще только стремились к воссоединению, если бы их еврейство оставалось чисто духовным. С тех пор как совесть связывает евреев с Израилем, государством среди других государств, хотя и представляющим некоторые особенности, французы-неевреи вправе спросить их, к какому политическому сообществу они принадлежат. Пока человечество останется разделенным на более или менее «могущественные государства», евреи диаспоры, свободно определяющие свою судьбу, должны выбирать между Израилем и «принявшей их страной», которая стала их родиной. Являясь гражданами Французской Республики, они на законных основаниях поддерживают духовную или нравственную связь с израильтянами, но если эта связь с Израилем становится *политической* и оказывается для них важнее французского гражданства, этим людям нужно бы по логике вещей выбрать для себя израильское гражданство.

Б.-А. Леви обличает, скорее пылко, нежели обоснованно, всех

мыслителей или писателей, которые так или иначе развивали идеи, близкие к вишистским, а именно контрреволюционные, антисемитские, общинно- или корпоративно-доктринерские и т. п. Он ополчается на всех тех, кто прославлял Францию телесную, историческую, созданную ее землей и всеми, кто в ней жил и умер. Для него самого приемлема только Франция 1789 года с ее символом — Праздником Федерации, общей и свободной клятвой, которую все провинции дают единой и неделимой Республике. Всеобщее равенство в правах и обязанностях — такова Франция, рождающаяся из согласия своих детей, единственная Франция, которую любит Б.-А. Леви, столь же абстрактная, сколь абстрактна его любовь к ней. Да, родина прав человека, родина Революции оспаривалась на протяжении всего XIX века многими французами, возможно большинством из них; антисемитизм процветал в нашей стране так же, как в Германии. Именно дело Дрейфуса пробудило от спячки ассимилированного еврея Теодора Герцля и вдохновило его на сионизм. Да, институты и даже нравственные основы либеральных демократий были безжалостно раскритикованы, отброшены, растоптаны модными публицистами в 30-е годы. Робер Арон, Арно Дандье, Эмманюэль Мунье ненавидели плутократические демократии на свой лад, отчасти родственный фашистскому. Вишизм первого периода позаимствовал свой дух у «Аксьон франсез», а также у мелких групп, «мыслительных обществ», которые оказывали довольно значительное влияние на умственную жизнь, но до войны сохраняли маргинальное положение, не выходя на собственно политическую деятельность.

Для Франции характерен не только тот факт, что на ее почве расцвели многие идеи, родственные идеям итальянского фашизма и германского национал-социализма, но также и то, что они ни разу не привели к возникновению подлинного фашизма или национал-социализма, не породили хотя бы серьезной опасности правого авторитаризма, если не считать исключительных обстоятельств оккупации. Во Французской академии антисемитизм облекался в форму негласно соблюдаемой квоты; «Аксьон франсез» и Моррас были духовными наставниками морских офицеров, провинциальных дворян и хорошего буржуазного общества Парижа; но ни партия полковника де Ла Рока[271] — преемница «Огненных крестов», — ни партия Жака Дорио не приблизились к критической массе. Дело Дрейфуса свидетельствует о сопротивлении французов опасной болезни антисемитизма и «патриотической фальшивке». Что касается 30-х годов, то и они, как мне кажется, говорят об аллергии нашего народа к правым революциям: наши учителя

начальных школ — и современники Жюля Ферри, и те, кто жил в годы Второй мировой войны, — держались стойко. В начале века их патриотизм был укоренен в идеях Революции, в доктрине прав человека и в рационализме. Во Франции не было недостатка в фашистских или околофашистских идеологиях, но этим идеологиям не хватало толп, готовых их принять и сражаться за них.

Ни у Эмманюэля Мунье, ни у Юбера Бёв-Мери не возникло в 1940 году деголлевской реакции, то есть простого убеждения, что война продолжается и поражение в битве за Францию не решает исхода борьбы; нужно сражаться, момент же реформировать Францию не наступил — реформа под наблюдением оккупантов была бы заведомо дискредитирована. Как и большинство французов, эти «новые философы» 30-х годов не сразу заняли позицию, которая нам ретроспективно представляется наилучшей. Молодому и красноречивому инквизитору, который предает суду всех подозрительных — тех, кто немедленно не отверг Маршала, или тех, кто ушел в маки только в 1943 году, — следовало бы, по крайней мере, понять, какую роль сыграли протест против пришедшей в упадок Третьей Республики и стремление иметь другую Республику, где было бы меньше радикалов с бородкой и брюшком.

Книга Б.-А. Леви не заслуживает вызванной ею обширной полемики, однако отклик, который она нашла в некоторых кругах, наводит на размышления. Не имеет особого значения злоупотребление цитатами, переходящими из одного сочинения в другое. Что меня поражает, так это чувства, которые выказывают евреи по отношению к «принявшей их стране», приходящие в восторг от этого памфлета, этой обвинительной речи в адрес большой части Франции и ее культуры. Неужели некоторые евреи молодого поколения зашли так далеко, что ненавидят родину, которую выбирают?

Оставим эту книгу, я уже слишком долго задержался на ней. Я думаю сейчас о молодых евреях, организованных в боевые отряды, которые избили палками Фредериксена, главаря одной из неонацистских сект, и облили серной кислотой мирного гражданина, однофамильца того, кого искали; случайность погубила человека, не имевшего ничего общего с антисемитизмом. То обстоятельство, что по ошибке пострадал невинный человек, ярко выявило недостойность боевых групп и их методов; однако действия экстремистов были бы столь же мало извинительными, если бы изуродованным оказался действительно виновный. Меня упрекнут в смешении понятий: с одной стороны, неприятие пласта французской культуры, с

другой — применение насилия против антисемитов. О том, чтобы смешивать эти два вида протеста, один — интеллектуальный, другой — силовой, не может быть и речи, однако возможно, что у них общий источник. Франция, несмотря на дело Дрейфуса, была для евреев первой страной, которая их освободила; в 1940 году она стала единственной из западноевропейских демократических стран, которая самостоятельно, а не под давлением оккупационных властей, приняла статус евреев, близко следующий своему национал-социалистскому образцу.

Потрясенное геноцидом, большинство евреев всего мира вновь обрело сознание своего еврейства, утраченное в результате ассимиляции. Для евреев Франции дополнительным потрясением стало Виши, даже при том что французская община физически пострадала меньше других, отчасти[272] благодаря свободной от оккупации зоне. Еще более травмирующей, чем сам статус, оказалась реакция или, скорее, отсутствие реакции юридических и нравственных инстанций общества. Государственный Совет прокомментировал и применил статус евреев, как если бы речь шла о законе, сравнимом с другими, как если бы нарушение принципов Республики могло быть принято юристами подобно любому другому решению властей.

Мне встречаются евреи, старые и молодые, которые, так сказать, не простили Франции и французам статуса евреев и облавы на Зимнем велодроме, учиненной французской полицией (по приказу то ли Виши, то ли оккупационных властей). Если они не простили Франции, то и Франция уже — не их родина, а страна, где они с приятностью проживают. Это нормальная позиция для стариков, неспособных начать новую жизнь. Но почему же не выбирают Израиль те молодые люди, которые стали равнодушны к судьбе «принявшей их страны», их родины? Предвижу ответ: кого люблю, того и бью. Не хранят ли самые строгие судьи Франции в своей душе более глубокую привязанность к ней, чем французы, не задающие себе вопросов? Возможно, но если эти чувства упорно подавлять, они в конце концов угаснут.

«Большие интеллектуалы», или интеллократы, контролирующие СМИ, ко второй половине 70-х годов отреклись от своего полусоветизма; иногда они продолжают поддерживать единство левых сил, но уже не практикуют культ революции и зачастую делают ставку на социалистическую партию, которая одна способна заменить правое большинство левым большинством. В такой атмосфере я в последний раз встретился с Жан-Полем Сартром.

Клодина и Жак Бруайель выступили с лозунгом «Корабль для Вьетнама». Мне хочется сказать несколько слов об этой чете бывших маоистов, которых я глубоко уважаю и считаю своими друзьями. Их книга «Второе возвращение из Китая» («Le Deuxième Retour de Chine») тронула меня искренностью тона. Я написал им об этом. Следующая книга, «Вера камней» («La Foi des pierres»), поразила меня еще сильнее как личный вклад двух людей в разъяснение тайны, именуемой верой. Что это значит — «верить во что-то»? Во что верит сталинист или маоист? Что знает он о фактах, на которые будет ссылаться завтра, когда отречется от своей веры? Бруайели, оглядываясь назад, бросают свет на пленное сознание, на уловки умолчания, на самокалечение активиста. Мы встретились вчетвером; Сюзанна и Клодина почувствовали взаимную симпатию. Оливье Тодд, Андре Глюксман немедленно оказали содействие и поддержку гуманитарной акции спасения некоторого числа вьетнамцев, бежавших от режима, который Север навязал Югу. Я примкнул к движению без малейших колебаний. Можно сказать: что такое один корабль и несколько достойных восхищения «врачей без границ» в океане горя? Но такое рассуждение побудило бы нас всех ничего не делать. Имела ли данная «операция» и политическое значение? Да, несомненно. Ведь так называемый социалистический режим заставлял тысячи и тысячи мужчин, женщин и детей рисковать жизнью, пускаясь в лодках и баркасах по кишащему пиратами морю на поиски свободы.

Речь шла прежде всего именно о гуманитарной акции, находившейся, так сказать, в компетенции Красного Креста. Как мне передали, Глюксман убедил Жан-Поля Сартра. Организовали пресс-конференцию; пришел и я. Несколькими минутами позже показался Сартр, поддерживаемый Андре Глюксманом. Я уже сидел и повернулся к нему; Глюксман сказал ему мое имя; мы пожали друг другу руки, и я произнес наш былой пароль: «Здравствуй, дружище». Он ничего не ответил — кажется, только «Здравствуй». Фотография этого рукопожатия была куплена более чем в ста странах.

Клод Мориак так рассказывает об этой встрече: «Глюксман говорит Сартру на ухо несколько слов, в то время как Раймон Арон протягивает руку, которую Сартр берет; его лицо не выражает ничего — ни враждебности, ни тепла; на лице же Арона читаются напряженность, замешательство, беспокойство и радость одновременно. Я слышу, как Раймон Арон говорит несколько приветственных слов, но могу разобрать только „товарищ“ или, может быть, „старый товарищ“. И это выражение, после столь долгого разрыва отношений, кажется условным,

недостаточным, неловким и, пожалуй, трогательным». Я прочитал это описание до того, как оно появилось в книге «Смех отцов в глаза детям», и послал автору следующее письмо, которое он приводит там же без каких-либо комментариев: «Дорогой Клод Мориак, я прочел отрывок из Вашего дневника, повествующий о моей встрече с Жан-Полем Сартром на пресс-конференции по случаю акции „Корабль для Вьетнама“.

Позвольте сделать несколько замечаний. Когда я пожал руку Жан-Полю Сартру, я сказал ему: „Здравствуй, дружище“, а не „старый товарищ“. Таким образом я как бы стирал прошедшие тридцать лет и возвращался на полвека назад — когда-то студенты нашей группы в Эколь Нормаль именно так обращались друг к другу: „дружок“, „дружище“. И если Сартр услышал мои слова — в чем нет уверенности, — он счел, что я сказал как раз то, что мог и должен был ему сказать; и это не было ни недостаточно, ни трогательно.

Что касается моих чувств, думаю, они были гораздо проще, чем Вам показалось. Если бы мы сидели рядом, ни он, ни я не испытали бы замешательства или досады; по правде говоря, когда я увидел его слепым, почти парализованным, меня захлестнуло безграничное сочувствие, безграничная жалость. Перед тем я не видел его много лет, и он произвел на меня впечатление умирающего. Примите заверение в моей дружбе».

Было ли правильным мое суждение о его здоровье? Сартр умер менее чем через год, в апреле 1980-го, но сохранял ли он годом раньше мощь своего разума и своей воли, без которых он не был бы уже самим собой? Этим вопросом задаешься в связи с беседами Сартра с Бенни Леви, которые «Нувель обсерватер» опубликовал незадолго до его смерти.

Несколько недель спустя после описанного эпизода Валери Жискар д’Эстен принял в Елисейском дворце делегацию движения «Корабль для Вьетнама». Больше всех говорили два члена делегации — Андре Глюксман и Клодина Бруайель, они высказывались за увеличение квоты принимаемых Францией вьетнамцев и за принятие срочных мер. Жан-Поль Сартр произнес несколько слов в ответ на прямой вопрос Президента, начинавшийся обращением «мой дорогой мэтр»; он подтвердил свое полное согласие с Глюксманом. Я, насколько помню, не сказал ничего, что стоило бы процитировать. Одна фраза Президента, пересказанная членами делегации, дала повод к ироническим комментариям. Он спросил: «Но почему они уезжают?» или, может быть, «Почему они хотят уехать?». Казалось бы, этот вопрос выдавал полное неведение относительно того, что такое советский режим. Не думаю, однако, что вопрос так уж

наивен: не у всех беженцев были одинаковые мотивы. На пресс-конференции в Коллеж де Франс, состоявшейся экспромтом после визита в Елисейский дворец, Жан-Поль Сартр говорил несколько минут; ни его голос, ни дикция не изменились — голос был чистым, почти молодым, дикция отчетливой; никакой напыщенной риторики, никаких переходов между фразами: ничего от оратора или профессора. Я узнал того Сартра, каким его помнил.

Совершенно очевидно, что наше рукопожатие не положило конец — ни в его, ни в моих глазах — нашей тридцатилетней размолвке. Какое значение следует придать этой встрече, молчаливой и в то же время выставленной напоказ? В конце концов, «рассорившиеся» друзья не исчезают один для другого. Сартр написал нелицемерно хвалебные слова в адрес Камю и Мерло-Понти — эти некрологи были чужды условностям жанра. Несколько строк о Камю затрагивают самое существенное: «Он являлся в этом столетии, вопреки тенденциям истории, наследником длинной череды моралистов, произведения которых составляют, быть может, наиболее самобытный пласт французской литературы. Его упрямый гуманизм, гуманизм узкий и чистый, аскетически суровый и чувственный, вступал в бой с неизвестным исходом против массивных и бесформенных событий нашей эпохи. Но упорством своих отказов он вновь и вновь утверждал — бросая вызов макиавеллистам и золотому тельцу реализма, — существование нравственного фактора».

По словам Сартра, находиться в ссоре с Камю было способом сохранять близость с ним. Думаю, то же самое касалось и Мерло-Понти. Размолвка с ним произошла после «Приключений диалектики». Спор, одновременно политический и философский, не приобрел, как в случае с Камю, личностного звучания. Мерло-Понти ставил Сартру в упрек то, что он называл ультрабольшевизмом, иначе говоря, подмену воли пролетариата волей партии. В политическом аспекте спор велся вокруг отношений между классом и партией. С философской точки зрения, по мнению Мерло-Понти, недоставало промежуточной инстанции между классом и партией, между обстоятельствами и решением. Абсолютная и безусловная свобода, свобода картезианского Бога, перенесенная на бытие-для-себя, переходила к партии, на которую тем самым возлагалась историческая миссия, доверенная Марксом рабочему классу. Симона де Бовуар ответила на это, что критик пренебрег различием между онтологическим и онтическим: онтологический тезис абсолютной свободы не исключает возможности для бытия-для-себя или для партии попасть в ловушку исторических обстоятельств, вне

которых воля проявляется не в чистом *fiat* («да будет так!»), подобном решению картезианского Бога, а в длительном усилии бытия-для-себя или класса освободиться от своих отчуждений.

Камю с его «упрямым, узким и чистым гуманизмом» и Мерло-Понти, некоммунист, озабоченный восстановлением опосредованной связи между обстоятельствами и действием, обрели в музее Гревен 331 почетное место философа. Он не пощадил ни гуманиста, ни некоммуниста при их жизни, но умерших похвалил искренне — скажем лучше, не превысив меру недобросовестности, допускаемую в надгробных речах. Не думаю, что он предоставил бы мне место, хотя бы посмертное, в своей галерее современников. Оливье Тодд рассказывает: уже после того как состоялось наше эффектное и мнимое примирение, Сартр в последнем разговоре с ним повторял, что я — буржуа и враг рабочего класса. Я действительно буржуа и по происхождению, и по образу жизни — это бесспорно. Но формула «враг рабочего класса» мне кажется лишенной смысла. Довольно-таки глупое замечание Сартра не оставляет никаких сомнений относительно его чувств ко мне, во всяком случае там, где дело касается политики. С другой стороны, я мог бы упомянуть следующий забавный эпизод. Андре Мальро заставил Гастона Галлимара отделаться от «Тан модерн» после оскорбившей его статьи Мерло-Понти. «Он называет меня трусом, он, никогда не сражавшийся нигде, кроме своего кабинета», — сказал мне Мальро. Я сообщил Сартру, что непричастен к сему инциденту. Он передал мне, что никогда и не подозревал меня в этом.

Имеет ли наше рукопожатие, несмотря ни на что, символическое значение для историков? Я в этом не уверен; Симона де Бовуар без колебаний отвечает: «Нет»[273]. Сартр, по своей сути моралист, пришел к признанию правомерности крайних форм насилия, если насилие служит правому делу. В течение долгого времени он отождествлял революцию с коммунистической партией, а следовательно, с Советским Союзом. Начиная с 1968 года молодые подхватили другую тенденцию сартровской мысли — единение толп, спонтанность индивидуальной или коллективной деятельности; сам он отошел от революции, кристаллизующейся в бюрократии и культе личности. Он нашел свое истинное место, поверив в анархию, не анархию партий, именующих себя анархистскими, а анархию индивида, который срывает с себя любые кандалы и восстает против общества. С этих пор Сартр не принимал мерзостей, творимых во имя высокой цели. Он больше не высмеивал «нежные души» либералов и согласился сочувствовать жертвам деспотизма, пусть даже марксистско-ленинского. В этом пункте

мы могли с ним встретиться, не отрекаясь от самих себя, ответив на призыв Бруайелей и врачей без границ.

Когда Сартр умер, я свел к минимуму свои устные и письменные отклики. Статья в «Экспрессе», участие в телепередаче «Апострофы» — вот и все. Мне было нелегко немедленно отозваться на случившееся. Столько надо было сказать, что я предпочел бы молчание.

Когда Жан-Поль Сартр получил Нобелевскую премию, Пьер Бриссон настаивал, чтобы я написал для «Фигаро литтерер» несколько страниц воспоминаний о наших годах в Эколь Нормаль, о наших тогдашних беседах. Я отказался — Сартр ненавидел академические восхваления; политика нас развела; событие не давало повода ни к сведению счетов, ни к заключению в скобки наших разногласий. Я предложил Пьеру Бриссону длинную статью о «Критике диалектического разума»; «Да это лекция для Сорбонны», — воскликнул главный редактор «Фигаро литтерер», разочарованный и почти с отчаянием. А между тем разве прочесть и обсудить книгу философа — не достойный способ почтить этого мыслителя, мощью ума которого ты восхищаешься, не одобряя при этом ни его тезисов, ни его позиций?

Лет пятьдесят тому назад мы в шутку приняли взаимное обязательство: тот из нас двоих, кто переживет другого, напишет некролог в бюллетень бывших студентов Эколь Нормаль. Обязательство уже недействительно — слишком много времени прошло между студенческой дружбой и рукопожатием, которым мы обменялись на пресс-конференции, посвященной акции «Корабль для Вьетнама», — и все же что-то от нашего договора сохранилось. Я оставляю другим неблагодарный и необходимый труд — воздать хвалу творчеству, поражающему современников богатством тем, разнообразием, широтой; по достоинству оценить человека, великодушие и бескорыстие которого никогда и ни в ком не вызывали сомнения, пусть он и участвовал не раз в сомнительных сражениях.

Мне вспоминается одна наша беседа на бульваре Сен-Жермен, между улицей дю Бак и Военным министерством. Сартр тогда уже был вполне убежден в своей гениальности. Я поведал ему о своих сомнениях, своей неуверенности в будущем. Он ответил (точных слов не помню, передаю только смысл), что ему не кажется таким уж трудным делом достичь уровня Гегеля. В той же беседе мы коснулись другой темы — революции. Я привел ему банальные, прозаичные возражения: угнетенные или, вернее, их представители охотно берут на себя роль тех, у кого они отняли власть. И, как писал Маркс в «Немецкой идеологии», старая

гнусность возобновится. Что ж, ответил он мне, возможно, после революции установится та же самая или похожая несправедливость; однако если революции суждено произойти, я с радостью послужил бы ей в качестве школьного учителя.

Эта беседа произошла после окончания нашей учебы — значит, нам было приблизительно по двадцать пять лет; она не раз вспоминалась мне. До Мюнхена Сартр совсем не интересовался политикой. Симона де Бовуар рассказывает, что ни он, ни она ничего не ждали от реформ, от постепенных улучшений; только революция, грубая, тотальная, могла изменить ход вещей, изменить жизнь. Ибо Сартр был, и остался до конца дней, в глубине души моралистом, хотя, побуждаемый логикой революционного абсолюта, писал подчас такие тексты о насилии — например, предисловие к книге Фанона, — которые могли бы найти себе место в антологиях фашиствующей литературы.

Как философ всем главным в своей мысли он обязан самому себе. Конечно, он изучал Гуссерля и Хайдеггера в 1933–1934 годах в Берлине; я познакомил его однажды, на террасе кафе, с феноменологией, и из книги Симоны де Бовуар известно, до какой степени его потрясло это откровение — метод, отвечавший его потребностям, духу его творчества. Однако и феноменология, и «Sein und Zeit» («Бытие и время») дали ему не много, если не считать терминологии, самое большее — подхода. Он разработал для себя *Weltanschauung,* мировидение, структурированное посредством «бытия-в-себе» и «бытия-для-себя»: с одной стороны, вещь в своей инертной материальности, в своей бессмысленности, с другой — сознание в постоянных поисках себя самого, никогда не совпадающее с самим собой и, однако, являющееся первопричиной смысла и творящее этот смысл. В отсутствие сознания все лишено смысла, а между тем оно само — в некотором роде ничто.

Бытие-для-себя, это наполовину прозрачное сознание, эту свободную волю, подобную воле Бога, Сартр не вычитал из книг, а обнаружил в себе. Следуя Декарту, он, по крайней мере в молодости, не думал, что психоанализ способен сказать ему что-либо новое о нем самом. Сартр хочет, чтобы это гордое бытие-для-себя несло безусловную ответственность как за себя самого, так и за всех других. Запертое в своем одиночестве, утомленное тщетными поисками бытия, бытие-для-себя стремится установить с другими подлинную связь, вне социальной комедии, так, чтобы ни одна сторона не объективировала другую и, следовательно, не подвергала отчуждению свободу другой.

«Бытие и ничто» мне еще и сегодня кажется вне сравнения, лучшей из его философских работ, самым точным отражением его

мировоззрения; эта книга рассматривает многочисленные антиномии человеческого существования, изобилует экзистенциальными темами, дающими простор для литературных вариаций. «Критика диалектического разума» только по видимости отрицает «Бытие и ничто»; однако в этом сочинении Сартр заново помещает бытие-для-себя в социальную действительность, переосмысливает его на марксистский лад, окрестив *praxis,* заполняет пустоту свободы, которой наделено бытие-для-себя, способами существования и действия, вытекающими из социализации, и при этом пытается, посредством не столько убедительной, сколько изощренной диалектики, сохранить то просвечивающее, приговоренное к свободе, бытие-для-себя, о котором говорило «Бытие и ничто».

Почему Сартр испытывает потребность уверенно заявлять, что марксизм (который он вряд ли основательно изучал) являет собой непреложную истину, исторический момент в развитии мысли? Оставим в стороне многочисленные психологические и социальные истолкования, приходящие на ум. Пусть читатель задумается о том Сартре, который, не питая иллюзий, готов посвятить себя делу образования народа, если революция даст человечеству возможность нового старта. Достигнув славы благодаря «Тошноте», «Стене» («Le Mur»), пьесам «Мухи» и «За запертой дверью», он на другой день после войны оказался во Франции и в мире, раздираемых, помимо соперничества великих держав, еще и философскими распрями, как предсказал некогда Ницше. Ненавидя нутром буржуазию, Сартр не мог выбрать западный, американский, капиталистический лагерь. И он то делал ставку на другой лагерь, то мечтал о некоем третьем. Этот поиск партии или стран, посвятивших себя революции и свободе, привел его в Москву и в Гавану, заставил совершить странные паломничества, хотя он и не переступал при этом порога дома. В течение нескольких лет, худших лет сталинизма, Сартр стоял на позициях попутчика. Еще в «Критике диалектического разума», то есть в начале 60-х, он колебался между советским марксизмом-ленинизмом и гошизмом.

Тексты, которые недавно опубликовал «Нувель обсерватер», не относятся к сочинениям, написанным самим Жан-Полем Сартром. Тем не менее некоторые содержащиеся в них личные признания совпадают с моими воспоминаниями. Он никогда не смирялся с социальной действительностью, какой ее видел и судил, действительностью, недостойной его представления о человеческом предназначении. Что это — утопия? Милленаризм? Скорее, надежда на другие отношения между людьми или требование других отношений. Когда-то мы оба читали «Религию

в границах простого разума» Канта и размышляли над выбором самого себя, который каждый человек совершает однажды и навсегда, сохраняя, однако, при этом постоянную свободу «обращения». Сартр так никогда и не отказался от надежды на некое обращение всех людей. Но о промежуточной инстанции между индивидом и человечеством, об институтах, он никогда не задумывался и не включил их в свою систему. В этом была драма моралиста, затерявшегося в джунглях политики.

«Почему ты интересуешься политикой, — спрашивал он меня во время все той же беседы, — если не веришь в революцию, если соглашаешься жить в этом обществе, зная об его мерзостях?» Он, пожалуй, употребил другое слово, которое я заменил более умеренным, но дело не в слове. Возможно, на меня повлияла фраза, которую любил цитировать Ален: «Цивилизация — это тонкая пленка, которую легко прорывает любой удар, а в прорехи проглядывает варварство. Революция, как и война, рискует прорвать пленку цивилизации, медленно образовавшуюся за долгие века»[274].

Что касается телепередачи «Апострофы», имевшей некоторый резонанс, то она не показалась мне удачной. Как говорить о Сартре вчетвером, в течение одного часа десяти минут? Кое-что оттуда мне запомнилось. Я не реагировал на колкости, которые время от времени адресовал мне Б. Пуаро-Дельпеш, вероятно, чтобы отмежеваться от «правого» собеседника. В данном случае он напрасно старался. Большинство левых были мне благодарны за мои возражения Бенни Леви и за категорическое утверждение, что последние тексты — беседы, опубликованные в «Нувель обсерватер», — нельзя причислить к написанному другом моей юности. Я спорил с Глюксманом, который упорно сближал Сартра с Солженицыным. Этот абсурдный тезис ему подсказывала дружба. Между тем зэку Солженицыну была ненавистна роль, которую играл «властитель дум» западного мира, его неизменно терпимое отношение к партиям или движениям, похвалявшимся, что выковывают нового человека. Я говорил непринужденно, увлекаемый эмоциями. Двое из близких друзей Сартра поблагодарили меня: Клод Ланцман — по телефону, Жан Пуйон — открыткой; Анна Филип и Ромен Гари выразили мне признательность, надписав для меня свои книги.

Гари прислал мне «Бумажных змеев» («Les Cerfs-volants») с лестной надписью. Несколькими днями позже я поблагодарил его и, так как перечитывал в то время свою корреспонденцию, предложил прислать ему письмо, которое получил от него в 1945 году: в нем Гари признавался мне, что испытывает радостное изумление, читая множество получаемых им писем и статей с

выражением восхищения. Это уже был успех, который я обещал ему сразу по прочтении в Лондоне рукописи «Европейского воспитания». Гари ответил, что хотел бы перечитать это давнее послание. Вскоре, получив письмо, дубликата которого у меня не осталось, он прислал мне открытку; я воспроизвожу ее текст, «невзирая ни на что»: «Спасибо, дорогой Раймон Арон, за мое письмо, которое приводит на память дни, когда я еще верил во „все это“: литературную славу, известность и т. д., и т. п. Ныне все превратилось в „и т. д., и т. п.“. Я с восхищением слежу за великолепной работой Вашей мысли: Ваш ум так удачно выделяется на фоне нашего безвременья, что, читая Вас, иногда начинаешь верить в возможность выхода, в существование пути. Редко сила мысли сочетается с силой характера. Итак, я говорю Вам (обожаю это простонародное выражение): „Продолжайте в том же духе!“ Преданный Вам Ромен Гари».

Открытка помечена 29 ноября 1980 года. Он покончил с собой 2 декабря 1980-го.

Недавно я перечитал беседы Сартра с Бенни Леви, которые в телепередаче «Апострофы» исключил из числа его произведений. Это не Сартр, заявил я тогда категорически. Возможно, эти резкие слова продиктовала антипатия, которую мне внушил Бенни Леви. По зрелом размышлении и возвращаясь к тексту этих бесед, я спрашиваю себя: следует ли отвергнуть раз навсегда эти *ultima verba*[275]? Их тон не напоминает мне моего дружка. Он говорил совсем иначе еще пять лет тому назад, когда отвечал Мишелю Конта. С другой стороны, Симона де Бовуар, близкие друзья Сартра отрицают, что его умственный упадок достиг такой стадии, когда человека приходится считать не отвечающим за свои слова. В 1975 году, беседуя с Конт*а*, он утверждал, что его разум не пострадал от болезни и остается таким же ясным, как прежде; единственный признак старости — иногда выпадает из памяти какое-нибудь слово.

Как рассказывает Симона де Бовуар, состояние здоровья Сартра сильно ухудшилось за последние (1975–1980) годы. Ноги, плохо орошаемые кровью, постепенно отнимались. Мне кажется вероятным, что и мозг тоже страдал от недостаточности сердечно-сосудистой системы. Эти недуги, возможно, не дали бы ему продолжить творческую работу, закончить «Критику диалектического разума» и «Флобера», даже если бы он не ослеп. Но из этого, конечно, еще не следует, что слова Сартра были навязаны ему собеседником и полностью искажают его мысль.

В некоторых пунктах противоречие между сказанным им в 1975 и в 1980 годах таково, что остается предположить нечто

вроде «обращения». Так, отвечая Конт*а*, он заявлял, что мысль по природе своей одинока. Чтобы думать, нужно быть одному. Нет иной мысли, кроме мысли одинокого человека. Когда речь зашла о музыке, он без колебаний признался, что не любит концертов и наслаждается музыкой только в одиночестве. Вот что он говорил пять лет спустя: «Я был вынужден вести диалог, потому что не мог больше писать. Тогда я предложил тебе быть моим помощником, но быстро понял, что ты не сможешь стать просто моим секретарем. Необходимо, чтобы я принял тебя в свое размышление, иначе говоря, чтобы мы размышляли вместе. И это совершенно изменило мой метод поиска, потому что до сих пор я всегда работал только один, один за своим столом, с ручкой и бумагой перед собой. А теперь мы вырабатываем мысли вместе. Иногда мы не соглашаемся друг с другом. Но возникает духовный обмен, возможности которого я не предполагал до прихода старости».

Моя непосредственная, немедленная реакция на приведенные строки: это не Сартр. Впервые он соглашается с «множественной» мыслью, в которой выражает себя более чем один человек; она пришла на смену обращенной ко всем мысли одного, мысли всеобщей хотя бы в своем призвании. Впервые Сартр оправдывает размышление сообща, к которому его вынуждает старость; он убеждает самого себя и пытается убедить своих читателей в том, что вынужденное обстоятельство становится благословением: с помощью другого человека он будет критиковать свое прошлое и набросает контуры своей этики, которую не смог разработать ни после того, как написал «Бытие и ничто», ни после «Критики диалектического разума». Или возьмем его высказывания о прогрессе, о приближении человечества к своей конечной цели через частичные поражения. В молодости Симона и Жан-Поль верили только в тотальный переворот; в семьдесят лет он видел свою ошибку в недостатке радикальности, а отнюдь не в ее избытке; и вот в семьдесят пять он говорит: «Я предполагаю, что эволюция через действие — это ряд поражений, из которых неожиданно выходит нечто положительное, уже содержавшееся в поражении, однако не узнанное теми, кто желал успеха своему предприятию. И что эти частичные, локальные победы на пути от поражения к поражению, победы, которые трудно распознать людям, проделавшим работу, осуществят прогресс. Именно так я всегда понимал Историю». Может быть, он так ее «понимал», но уж конечно он не всегда ее так «объяснял».

С другой стороны, я не вижу ничего неподобающего в том, чтобы привязать некоторые из последних высказываний Сартра к его личности и тем или иным тенденциям его мысли. Когда он

говорит, что никогда не «отчаивался», он говорит правду, судя по более ранним свидетельствам. Будучи счастливым человеком по своей природе, он к тому же осуществил большинство своих честолюбивых замыслов. В 1975 году он чувствует удовлетворенность своей жизнью и признается в этом. А почему бы ему чувствовать иначе? Философ Сартр отвечает человеку Сартру: человек есть бесполезная страсть. Сартр первого периода не был лично отчаявшимся, но метафизик в нем не питал никакой надежды. Он признался мне полвека или более тому назад, что не хочет ребенка, потому что человеческое существование кажется ему безысходным.

Свое экзистенциальное отчаяние и презрительную иронию по отношению к большинству «второй» Сартр преодолевает после войны; отныне он ищет выхода из-за «закрытых дверей» не столько в индивидуальной этике, сколько в коллективном действии. В «Критике диалектического разума» отчаяние сочетается с необходимой революционерам надеждой. Свобода по-прежнему остается конечной целью, однако спад бунта, этого «начала человечества», оказывается, по-видимому, неизбежным. (Быть может, второй том, будь он написан, показал бы, что этот спад не неизбежен?)

Мне кажется, что в этих беседах я различаю сартровские темы, но в более или менее оплощенном, утратившем своеобразие варианте. Если договаривать до конца, там тщетно ищешь твердости тона, оригинальности мысли или выражения, которые были ему присущи, даже когда он повторялся либо ошибался. Лет тридцать тому назад он любил говорить, вспоминая свою юношескую жесткость: «Теперь я стал слащавым, благодушным». Таким Сартр стал в своих последних высказываниях — раньше он не был таким никогда.

Когда этот старый человек опровергает отчаяние, отрицает, что когда-либо пережил экзистенциальную тревогу, он, возможно, раскрывает какую-то часть самого себя. Но если это и правда, то как же бедно она выражает себя, какой становится обескураживающе заурядной! «Заметь, что с этого времени в моих произведениях не найдешь больше никакого отчаяния. Это было в какой-то момент, недолго. Я вижу то же самое у многих философов, касается ли это отчаяния или какой-нибудь философской идеи; они говорят о ней понаслышке, когда начинают заниматься философией, придают ей большое значение, а затем понемногу перестают о ней говорить, потому что понимают: содержание этой идеи не существует для них, они взяли его у других. Никогда не испытывал я и экзистенциальной тревоги. Это были ключевые понятия философии с 1930 по 1940

год. Вдобавок это шло от Хайдеггера. Этими понятиями все пользовались на каждом шагу, но для меня они не соответствовали никакой реальности. <…>»

Читать эти беседы тяжко, порой невыносимо из-за давления, которое Бенни Леви, сознательно или нет, оказывает на старика, чью способность к сопротивлению возраст пощадил еще меньше, чем силу ума. Так, Сартр всегда хвастался, будто не знает, что такое чувство вины. Молодой ученик напоминает ему годы — с 1952-го по 1956-й, — в течение которых «властитель дум Запада», как его назвал Солженицын, стоял на позициях попутчика сталинизма. Бенни Леви безжалостен к Сартру: «Итак, твой попутчик отдал Богу душу. Мне бы хотелось, чтобы ему выписали свидетельство о смерти. Кто именно умер? Гнусный негодяй, дурачок, простофиля или очень добрый человек?» Сартр отвечает: «Скорее, я сказал бы, неплохой человек. <…>». И извиняется: «Он не долго был попутчиком, для него это было второстепенно, партия делала его положение невозможным; когда он сопротивлялся партии, у него это получалось не так уж плохо».

И вот Сартр уже говорит о своем творчестве как о поражении; подобно дюжинному гуманисту, заявляет, что нужно верить в прогресс; ищет в братстве без террора основополагающее начало левого движения и нравственности. «Чтобы построить нравственность, нужно расширять идею братства, пока она не станет единственным и очевидным отношением между всеми людьми. <…>»

Он отрекается от своего предисловия к книге Фанона, от своего культа насилия; мысленно переписывает эссе о евреях. «Там недоставало как раз реальности еврея. Заметь, что этот тип реальности, который, в общем, метафизичен, как, впрочем, и реальность христианина, занимал очень мало места в моей философии. От самосознания я отсекал все специфические особенности, рождающиеся изнутри, после чего сталкивал его с ними, пришедшими извне. Лишенный, таким образом, метафизических и субъективных черт, еврей как таковой не мог присутствовать в моей философии. Теперь я вижу людей иначе».

В «Еврейском вопросе» он действительно проявил незнание евреев, независимо от того, метафизична их судьба или нет. Увидеть в этих диалогах нового, неизвестного Сартра мне мешает то обстоятельство, что он кажется мне жертвой своего более молодого, более решительного собеседника, который заставляет его отступать не только в тех пунктах, где он ошибался, но и там, где обнаружил свою гениальность, пусть даже в сфере причудливого.

Заключительная часть этих бесед, о которых еще будут

размышлять историки, не лишена некоторого величия, даже если там нет ничего похожего на Сартра ни первой, ни второй манеры. «Революционеры хотят построить общество, которое было бы человечным и удовлетворяло людей, но они забывают, что общество такого рода — это не просто общество, существующее *de facto;* это общество основано на праве, то есть такое, в котором отношения между людьми нравственны. Так вот, это представление о нравственности как конечной цели революции не мыслится всерьез вне некоего мессианизма». Всю свою жизнь, несмотря на зигзаги своего политического пути, Сартр был анархистом в отношении институтов и моралистом в отношении людей. Незадолго до смерти, под пыткой, которой его подвергает Бенни Леви, он, вопреки всему, провозглашает одну из своих истин — мессианическое упование на Историю.

В 1975 году «Нувель обсерватер» опубликовал беседы с Жан-Полем Сартром под заголовком «Автопортрет в семьдесят лет». Годом позже Жан Даниель (или Бернар-Анри Леви) попросил у меня интервью, на что я охотно согласился. В течение нескольких часов я непринужденно, с полным доверием беседовал с Б.-А. Леви. Естественно, речь зашла о двух «дружках». В тексте, напечатанном в номере от 15 марта 1976 года, читаем: «Чье же воздействие на историю нашего времени окажется в конце концов сильнее — Сартра или Арона?» Я ответил: «Вопрос об этом не сто*и*т. Уже сейчас очевидно, что воздействие Сартра куда больше моего. Прежде всего потому, что его творчество гораздо богаче и разнообразнее, чем мое; в его палитре — романы, пьесы для театра, философские сочинения, политические эссе. Затем потому, что часть из сделанного мной как-никак осуждена на очень скорое исчезновение. Моруа однажды сказал по поводу одной из моих книг: „Он был бы нашим Монтескьё, если бы согласился оторваться от действительности“». Одна половина этой формулы верна: да, я недостаточно отрывался от действительности.

Далее я говорю о себе как об аналитике или критике. Литераторы же этого рода могут оказывать на современников довольно значительное влияние, но их творчество, привязанное к эфемерной ситуации, стирается из людской памяти быстрее, чем произведения авторов, которые, рискуя ошибиться, с храбростью, дарованной воображением, возводят соборы из концептов. Здесь Б.-А. Леви прерывает меня: «Даже когда ошибаются?» На что я отвечаю: «Интеллигенция не прощает мне того, что я бываю прав раньше, чем истина становится ясна другим. Как и того, что я не указываю путь к лучшему обществу, не пытаюсь обучать способу

его построения». Реплика моего собеседника: «А как вы сами думаете — лучше ли быть, в таком случае, Сартром или Ароном? Сартром — победителем, но ошибающимся, или Ароном — побежденным, но тем, на чьей стороне правда?» Сначала я отказываюсь отвечать: «Не вижу большого смысла в этом вопросе». Б.-А. Леви настаивает: «Можно поставить его иначе: какая польза от Сартра, который ошибается? Какой толк от Арона, который прав?» На этот раз я неохотно объясняюсь: «Самое, на мой взгляд, ужасное, и это однажды будет поставлено ему в укор: он использовал свое виртуозное владение диалектикой и благородные чувства, чтобы оправдать то, что не имеет оправдания. Применил, если угодно, сокровища изобретательности, пытаясь доказать, что нельзя быть против Сталина[276], нужно стоять по меньшей мере близко к нему. А обо мне, возможно, когда-нибудь скажут — если еще будут интересоваться им или мной, — что я никогда не оправдывал диалектикой не подлежащее оправданию. Я никогда не оправдывал Пиночета. Никогда не оправдывал Сталина или Гитлера».

Из данного диалога многие левые вынесли только один любопытный тезис: лучше было ошибаться вместе с Сартром, чем разделять правоту Арона. Но я никогда так не думал и не говорил. В крайнем случае объяснял, почему некоторые люди не отрекаются от этого безрассудного предпочтения. Даже и теперь, оглядываясь назад, я не вижу никакой заслуги в том, чтобы следовать за Сартром в его заблуждениях, хотя восхищение, которое вызывал этот человек, до некоторой степени извиняет доходившую до ослепления верность его сторонников. Я не имел никакого отношения к разглагольствованиям философа свободы. Если кто-то отказывался от роли попутчика, это совсем не означало, что он последователь Арона, он мог даже и не соглашаться со мной. Достаточно того, что время от времени наши с ним мнения совпадали по тому или иному вопросу, когда, по счастью, я был прав. Формула «Лучше ошибаться вместе с Сартром… и т. д.», сочиненная экспромтом в насмешку, рискует оказаться хуже чем нелепой — отвратительной, как будто подразумевая, что позорно находиться в одном лагере с Ароном. Надо ли добавлять, что моя заслуга не велика? Много других людей сказали до меня правду о Советском Союзе. Бертрану Расселу она открылась уже в начале 20-х годов, после путешествия в СССР; Суварин написал все основное, что можно сказать о сталинизме, в 30-е годы. Подлинная проблема заключается в том, что столько незаурядных умов и благородных душ упорствуют в своих иллюзиях или заблуждениях. Нет

оснований воскурять фимиам тем, кто ошибался вместе с Сартром; если им не хотелось встретиться на своем пути со мной, то они могли найти других спутников — выбор был более чем широк.

Два года спустя после смерти философа появился пастиш «Завещание Сартра», который мог бы послужить поводом к возобновлению дискуссии. Автор, Мишель-Антуан Бюрнье, был приглашен как почетный гость на передачу «Апострофы», однако говорил мало; другие участники встречи воздержались от комментирования блистательной книжки, которая вызывает почти одинаковое чувство неловкости у противников и друзей духовного учителя. Что и говорить, странный духовный учитель — в этом убеждаешься, перечитывая цитаты, иллюстрирующие его последовательные позиции. Сначала — статья в «Тан модерн» от января 1950 года: «<…> Если узников концлагерей насчитывается десять миллионов, <…> то количество переходит в качество, то есть вся система поворачивает в другом направлении. <…> Не следует проявлять снисхождения по отношению к коммунизму, но ни в коем случае нельзя заключать пакт с его противниками <…>», затем — «Коммунисты и мир»: «Если бы однажды СССР утратил всякую надежду избежать войны, он сам развязал бы конфликт, и кто бы смог осудить его за это?»; ответ на письмо Альбера Камю — «Главному редактору „Тан модерн“»: «Существование лагерей может нас возмущать, вызывать у нас ужас, сделаться нашей неотвязной мыслью, но почему оно должно ставить нас в затруднительное положение?»; дело Розенбергов: «<…> Внимание, у Америки бешенство. Обрубим все узы, связывающие нас с ней, иначе мы окажемся, в свою очередь, укушенными и заразимся бешенством»; по возвращении из Советского Союза в 1954 году: «Я встретил там людей нового типа, которые подчас удивляют нас, западных людей, однако невозможно представить иных отношений с ними, кроме дружеских. И какой бы путь ни был сужден Франции, он не может быть противоположным пути Советского Союза. <…> В СССР полнейшая свобода критики»; венгерское восстание и его подавление Советским Союзом: «Самой огромной ошибкой стал, видимо, доклад Хрущева, так как, по моему мнению, торжественное политическое разоблачение, старательное выставление напоказ всех преступлений священного лица (Сталина), которое так долго было воплощением режима, является безумием, если предварительное заметное повышение уровня жизни населения не сделало возможной подобную откровенность»; дружеские чувства к Фиделю Кастро: «Кастро — это все вместе: остров, люди, скот, растения и земля. <…> Его

нужно понять, он отнюдь не *владеет* Кубой, как крупные землевладельцы при Батисте, нет — он сам *есть* весь остров целиком, потому что не снисходит до того, чтобы взять его в свое владение или хотя бы оставить за собой клочок его земли. <…> Либо кубинцы должны победить, либо мы — потерять все, даже надежду» (лет через десять после этих слов — разрыв с Кастро из-за того, что заключили в тюрьму поэта); предисловие к «Проклятым душам земли» Фанона: «На первом этапе восстания нужно стрелять; убить европейца — значит одним махом достичь двух целей: уничтожить угнетателя и одновременно угнетенного; в результате — один мертвый человек и один свободный человек <…>»; новая поездка в Москву в 1962 году, на Всемирный конгресс сторонников мира: «Между советским писателем и его читателями происходит постоянное общение, и ценность произведения измеряется откликами на него…» И так далее: 1968 год, «социализм с человеческим лицом», недели Мая, осуждение советского коммунизма, гошизм.

«Нувель обсерватер» замолчал книгу Бюрнье, «Экспресс» — тоже. Ни тому, ни другому еженедельнику нечем здесь похвалиться, однако они вправе защищать свою позицию умолчания. Я скрежетал зубами, читая книжку бывшего последователя Сартра, это сведение счетов со своим умершим кумиром, написанное в форме самокритики человека, утратившего иллюзии и осознавшего безысходность своих идеологических блужданий. Из собранных вместе противоречивых высказываний я не узнал ничего нового — мне давно были известны эти тексты Сартра, повороты и изгибы его политического пути, ухищрения идеологической диалектики, колебания между гуманизмом и склонностью к насилию (или культом ее). Даже в своих полемических статьях я редко обращался к его суждениям, привязанным к конкретным обстоятельствам, — они всегда страдали преувеличениями, порой бывали безрассудны и часто — непоследовательны. Мне не доставил никакого удовольствия пастиш, ставший самоэкзекуцией философа, между тем как Сартр отказывался заниматься самокритикой и комментировать свое прошлое. И все же — надо ли добавлять это? — ни сегодняшние адепты Сартра, ни завтрашние историки не смогут уклониться от вопроса: почему этот выдающийся ум породил подобные бредовые идеи? Почему он взял на себя роль политического и нравственного судьи людей и событий? Почему привлек столько молодых сердец на сторону Москвы или Гаваны, не испытав потом ни малейших угрызений совести?

Продолжавшийся тридцать лет диалог двух «дружков» лег в известной мере в основу трех телевизионных передач, показанных в октябре 1981 года; их полный режиссерский сценарий вышел книгой под заголовком «Вовлеченный зритель». Авторы передач задались вопросом, почему я пошел по иному пути, нежели самые знаменитые мои сверстники. Чтобы это выяснить, они решили учинить мне допрос с пристрастием.

Итак, в 1980 году я подружился с двумя молодыми университетскими преподавателями, принадлежащими к поколению 1968-го; один из них состоял тогда в троцкистской партии, другой не был активистом, но приветствовал всем сердцем тот праздничный бунт. С Домиником Вольтоном я встретился в своем рабочем кабинете «Дома наук о человеке», чтобы дать интервью газете «Монд» (для воскресного приложения). Вместе с Бруно Фраппа он задавал мне вопросы и под конец спросил, соглашусь ли я возложить на себя бремя трех телепередач, посвященных моей жизни и моей мысли. Я не раздумывая принял предложение. «Телевидение меня забавляет, — ответил я, — так почему бы нет?»

Доминик пришел ко мне со своим другом Жан-Луи Миссика, в основном для того, чтобы договориться относительно плана передач и тем для обсуждения. Раза два они изложили мне структуру целого, темы, отобранные для каждой передачи. Я слушал рассеянно и в каждом случае отвечал: «Согласен», «Это ваше дело». Я предоставил в их распоряжение свой архив — главным образом письма от читателей моих книг. Мы говорили обо всем, и очень мало — о будущих передачах. Меня они не заботили — не люблю заранее готовиться к интервью, особенно к беседе на радио или телевидении. Я дал разрешение задать мне любые вопросы, на которые им хотелось получить ответ; но не пожелал подготовить свои ответы. Я не актер: когда меня заставляют повторить какой-то эпизод выступления, второй вариант чаще всего получается хуже первого.

Почему Доминик и Жан-Луи покорили нас с Сюзанной? Вопрос, пожалуй, наивен или лишен смысла. Кто может сказать, почему возникает или не возникает душевная близость? Все же попытаемся понять, в чем тут дело, не затрагивая области нематериального, которое не выносит ни прикосновения, ни яркого света. Они пришли ко мне из интеллектуального любопытства — так сказал мне Жан-Луи. В течение более чем тридцати лет, с момента окончания войны, я ни разу не поддался ни одной из интеллектуальных мод Парижа. Исходя из какой логики я занимал ту или иную позицию? Какая политическая философия диктовала мне мои «нет» и мои «да»?

Тронуло ли меня их любопытство? Скорее, меня тронул их тон, их манера говорить со мной. В «Экспрессе», даже до ухода Жан-Франсуа Ревеля, я чувствовал себя изолированным от других своим возрастом, почтительностью или уважением, которые проявляют ко мне, по крайней мере внешне, большинство журналистов. А Доминик и Жан-Луи болтали со мной как с приятелем или другом, со своим сверстником, в то же время избегая фамильярности, которая вызвала бы неловкость у всех троих. Будучи разными, но близкими по духу, они обожают разговаривать вдвоем и с другими. Доминик говорит больше, но дает и Жан-Луи сказать свое слово; он производит ложное впечатление человека, легко приспосабливающегося к людям и ситуациям; Жан-Луи не чужд иудейского беспокойства, которому я в глубине души симпатизирую. У нас установился обычай продолжать на пороге квартиры или на крыльце дома никогда не иссякавший разговор. Мы стали друзьями — и притом на давно забытый (вот уже полвека) лад. Радость сердечных дружеских отношений, питаемых и возобновляемых частыми беседами, в которых болтовня перемежается признаниями, была возвращена мне Домиником и Жан-Луи вопреки всякому вероятию.

Они попросили меня дать им две недели — десять рабочих дней — на запись. Однако в пятницу первой недели мне пришлось отбыть в Валонь: я не смог отказать Алену Перфиту в его просьбе произнести похвальное слово Давиду Рисману, которому жюри присудило премию имени Токвиля. Вернулся я на вертолете, чтобы не пропустить целиком короткий рабочий день. Но лучше бы мне было проявить меньше совестливости. Я схватил насморк и всю вторую неделю сипел, так что мои слова становились иногда невнятными. Именно поэтому в передачу не вошли важные куски, где я говорил о своем еврействе.

Доминик и Жан-Луи взяли на себя монтаж; эта работа растянулась на много недель. И в этом деле я полностью доверился им. Запись длилась свыше двадцати часов; в трех передачах примерно по сорок пять минут каждая (из которых по крайней мере пятнадцать минут отводилось на иллюстрации) было оставлено не больше полутора часов моих слов. Когда режиссерский сценарий отпечатали на машинке, Доминик и Жан-Луи предложили мне сделать из него книгу. Сначала я отказался: зачем публиковать эти беседы, когда я уже пишу мемуары? Ради чего увековечивать импровизированные интервью, подготовленные Домиником и Жан-Луи, а не мной? С другой стороны, мне показалось несправедливым лишить молодых людей книги, которая явилась бы отчасти их произведением и еще ярче выявила бы их заслуги. (Они прочитали не только мои

главные книги, но и многие статьи.) Нас рассудил Бернар де Фаллуа, который счел, что правы мои друзья. Когда я преподавал в классе философии гаврского лицея в 1933/34 году, там учился Альбер Паль, с которым мы сохранили впоследствии дружеские отношения. Это он взялся отредактировать мои слова, не отходя, однако, от разговорного стиля, — и превосходно справился со своей задачей. Книга «Вовлеченный зритель» получила радушный прием у критиков, у моих друзей и у широкой публики. Она переведена на немецкий, испанский, итальянский, португальский и английский языки, хотя англо-американцы сдержанно относятся к жанру книги бесед.

Впервые вся пресса (за исключением коммунистической) отнеслась ко мне благожелательно. Вот отклик газеты «Монд», подписанный Мишелем Конт*а*, близким другом Сартра, ответственным за публикацию его романов в серии «Плеяда». Статья эта — в целом сочувственная, под конец агрессивная — подводит в некотором роде итог тридцати годам диалога: «<…> Левая интеллигенция, для которой он так долго был пугалом, ненавистным противником, оказалась вдруг думающей как Арон — или почти так же. <…> Эту книгу необходимо прочесть. Она возвращает достоинство жанру интервью с выдающейся личностью, который часто дискредитируют из-за раболепства перед интервьюируемым. <…> Диалог (между Сартром и Ароном) никогда не прекращался. Не то чтобы они писали свои книги ради ответа друг другу. <…> Но эти два образа мыслей, антагонистические, несмотря на общность культуры (феноменология, марксизм), представляют собой два полюса, между которыми идет напряженный — вплоть до разрыва — интеллектуальный спор столетия <…>. Два по-братски враждующих голоса <…> вступают в борьбу в наших собственных головах — это наши два голоса: один, который говорит о желательном, о том, к чему нужно стремиться, и предлагает неопределенный проект, и другой, который противопоставляет желательному разумно-возможное, упрямую действительность, и предостерегает. <…> Левые остаются его родной семьей, и в некотором смысле они оставались ею всегда, даже когда он пребывал в стане противника, ибо его аргументы направлены против них, как будто для того, чтобы раскрыть им глаза. <…> Это холодный аналитик, у которого есть своя позиция, человек определенных убеждений, не одержимый страстями. <…>» Затем идут нападки на меня: «Может ли это геополитическое в*и*дение предпочтительного и неприемлемого оправдать явную слепоту Арона — несмотря на его антиколониалистские выступления по поводу Индокитая и

Алжира — в вопросе отношений между Севером и Югом, носящих характер холокоста посредством голода <…>?» Отвечу на это, что врачи без границ несомненно лучше меня, а также лучше Конт*а* и самого Сартра. Но помог ли бы я голодным в Бангладеше и Сахеле, если, подобно учителю Мишеля Конт*а*, свалил бы вину за их беды на американское изобилие?

Миную «либеральный пессимизм», который, «поистине в традиции его учителей, Бенжамена Констана и Токвиля, несет в себе что-то деморализующее, убийственное». За этим следует фраза, которая могла бы оскорбить, не будь она просто глупой: «<…> С ней (установкой на реальность) можно было бы только согласиться, так же как соглашаешься с Раймоном Ароном по всем пунктам, кроме главного: если угнетенные восстают, то у них есть на это право, которое никто не может у них оспорить, не признав себя самого угнетателем, — право на справедливость, с каким бы риском для всех это ни было сопряжено». Конта переходит здесь в другой регистр и подхватывает обвинение, которое без устали бросают мне прекраснодушные люди. Нет, я не был прав во всех пунктах (напротив, много раз ошибался), но почему «восстание угнетенных» — это та суть, которая ускользнула от меня? Что такое «восстание угнетенных» *вообще,* одинаковое под всеми широтами, во всех странах? И кто определит ту справедливость, на которую имеют право угнетенные? «Признать самого себя угнетателем» — согласен; это относится ко мне так же, как ко всем нам, привилегированной части общества, включая и Конта. Встретившись с ним в июне 1982 года, я поблагодарил его за статью и прибавил: «Почему у вас возникла потребность написать последнюю, дурацкую, фразу, где вы возлагаете на меня несуществующую вину?» «Сиоран тоже упрекнул меня за этот пассаж», — ответил он, потом стал защищаться от моих упреков (я смешал две его фразы — одну о голоде, другую о восстании) и под конец признался с милой улыбкой: «Нелегко расстаться со своей семьей». Я мог бы ответить: «Мне об этом кое-что известно».

Статья в еженедельнике «Котидьен» («Quotidien»), написанная журналистом Жераром Леклерком, роялистом то ли по происхождению, то ли по воспитанию, ставила мне в укор не «либеральный» или «убийственный пессимизм», а совсем напротив — *абсолютную веру* в прагматизм производящего общества. «В этом климате отдыхают нервы, тем более что у интеллигенции не много подобных оазисов». Итак, по мнению этого автора, моя вина не в том, что я отнимаю у своих читателей надежду, а в том, что напрасно успокаиваю их. «Но вот беда: этот идеально честный, порядочный и справедливый человек является

одновременно безоговорочным защитником внутренне противоречивой, несущей в себе самой свое отрицание цивилизации».

Выбор, определяемый в моем «Введении» как самый первый, изначальный, а именно выбор общества или строя, который мне представляется наилучшим для всех людей, походит на научную гипотезу в том смысле, в каком употребляет это понятие сэр Карл Поппер; эта гипотеза обосновывает позицию *социального инженера,* предпочтение, отдаваемое реформизму перед революцией, по крайней мере в нашем историческом контексте. Противоположны ли наши с Сартром пути в этом вопросе? Когда я вернулся из Лондона, он подарил мне «Бытие и ничто» с такой надписью: «Моему дружку это онтологическое введение во введение в философию истории». Выбор своей позиции определяется на онтологическом уровне как проектирование будущего, как ответ на вызов ситуации. Он не является следствием рассудочного взвешивания всех «за» и «против». Он отрицает настоящее, но ничего не знает о будущем, которое созидает.

В некотором смысле, если угодно на онтологическом уровне, выбор жизненной позиции, каким его анализирует Сартр, отражает условия человеческого существования, ограниченность свободы действий человека: ведь тот никогда не знает, каковы окажутся следствия его поступка. Однако если от размышлений над человеческим бытием мы спускаемся к политическому размышлению, то здесь уже нельзя сказать, что человек выбирает не обдумывая и не взвешивая; приступая же к такого рода обдумыванию, необходимо обладать знаниями о нашем и о других возможных мирах. Историчность современного человека подразумевает по меньшей мере осознание множественности возможных в нашем столетии политико-экономических режимов, в которых народы нашли свой дом и смысл своей жизни.

Мишель Конт*а* приписывал мне некоторую слепоту по отношению к «холокосту посредством голода». Жерар Леклерк полагает, что «в нигилистическом мире свобода на фоне всеобщего отречения и пассивности не содержит более ничего разумного». Жаль, пишет он, «что столь рассудительный человек не отдал себе отчет в ограниченности либерального мира». Если верить ему, мне следовало бы «через голову Токвиля и Макса Вебера обратиться к Ницше и Хайдеггеру» и допустить, что данное общество — дитя желания в еще большей степени, нежели разума; однако я будто бы чересчур рассудочен, чтобы допустить это. Критики «Слова в защиту Европы в упадке» также упрекали меня за то, что я говорю как *homo œconomicus* там, где, по их

мнению, должен был взять слово метафизик.

Признаюсь, мне мало помогают философы или метафизики, особенно слывущие за таковых во Франции. Проясняют ли они судьбы нашей «либеральной цивилизации», «ограниченной», как и все цивилизации вообще? Под пером этого молодого журналиста возникает слово «нигилизм», а затем — имя Ницше. Говорят, мы живем в эпоху нигилизма. Бог умер; за нашими мировоззрениями и убеждениями скрывается воля к власти. Каждый выбирает свою веру в соответствии со своими иллюзиями или честолюбивыми стремлениями. Истины больше нет: каким образом мы могли бы распознать ее?

Западные общества, особенно европейские, и в самом деле страдают от так называемого нигилизма; думающие люди ощущают себя неспособными строго обосновать свою веру и свой культ; многие признаются, что их выбор веры и культа диктуется только чувством, настроением или привычкой. Подобный образ мыслей, свидетельствующий о подрыве доверия к разуму, господствовал в интеллектуальном мире последних лет Веймарской республики. Некий скептицизм разъедает сознание европейцев с тех пор, как упадок постиг сначала трансцендентные, а затем и мирские религии. Те, кто хотят быть и считают себя католиками, чаще всего интерпретируют основные догмы Церкви на собственный лад. Огромное большинство европейцев отошло от христианства.

Социально-экономический прогресс умножает число мелких буржуа, озабоченных своим статусом, сосредоточенных на себе самих, замкнутых в узком круге семьи и нескольких друзей. Ницше заранее ненавидел явление, предсказанное Токвилем, — «опекунский деспотизм». Быть может, Токвиль заменил бы слово «деспотизм» выражением «государственный патернализм», хотя бы для того, чтобы обозначить разницу между мягким социал-демократическим деспотизмом и жестоким, беспощадным деспотизмом однопартийных режимов.

Этот довольно-таки банальный анализ страдает бессознательным евроцентризмом. Нигилизм не распространился на все человечество. Народы третьего мира, освободившиеся от европейского ига, раздираемые голодными бунтами или межрелигиозной враждой, не задают себе вопросов — даже устами своих интеллектуалов — по поводу нигилизма. Зато часто задают себе вопросы, касающиеся их самоидентичности, сопротивления западной культуре или того, какую долю этой культуры им нужно ассимилировать, чтобы выжить. Нигилизм европейцев есть отчасти следствие гибели Бога и в такой же или еще большей степени — следствие их исторического сознания,

понимания того, какое место занимает Европа в сегодняшнем мире.

Что касается ограниченности либеральной цивилизации, она бросается в глаза. В Организации Объединенных Наций демократические — в европейском смысле — государства составляют отныне ничтожное меньшинство. Однако Индия, самая многонаселенная страна мира после Китая, сохраняет часть политического наследия, оставленного ей бывшими хозяевами. Либерализм не завоевал всю Землю подобно машинам и идеологиям. Маркс предугадал, выражаясь современным языком, «технизацию» планеты, но главным образом он предвидел, что капитализм совершит победное шествие по земному шару, разрушая на своем пути вековые обычаи, святыни, драгоценную утонченность человеческих отношений. Тем не менее Маркс принимал, да что там, приветствовал это неизбежное и жестокое шествие. Он предсказывал, что капитализм, воплощением которого служили британцы, уничтожит азиатский способ производства, более или менее самодостаточные и эксплуатируемые имперской администрацией деревни. Хайдеггер подчеркивает в Марксовом проекте именно «технизацию». Да, «технизация» в него включена, однако обратитесь к совокупности марксистских текстов — 90 или 95 процентов из них трактуют о способах производства, об экономических механизмах и экономических противоречиях. Европейцы отчасти завершили миссию, которую, судя по всему, предначертал им философ Истории. Они мастерски научились применять науку к технике. Возможно, правильнее сказать, что они разработали метафизику, несущую в себе науку, которая призвана преобразить природу посредством техники. Еще и поныне Запад, включая Соединенные Штаты, находится на взлете знания и могущества. Именно потому, что их историческая миссия кажется законченной, европейцы обеспокоены своей судьбой и спрашивают себя, на что им следует пенять.

Чем больше научная истина находит себе подтверждение в применении, которое ей дают инженеры, тем чаще эпистемологи и даже сами ученые задаются вопросом относительно подлинной сущности истин, поскольку все истины носят временный характер и их торжество происходит в условиях порабощенной природы. Чем многочисленнее становятся способы производства и разрушения, чем более удивительные, превосходящие всякий художественный вымысел коммуникационные, вычислительные и «умные» устройства оказываются в распоряжении человечества, тем сильнее опасаются творцы, что стали учениками чародея. Со всех сторон нас осаждают пророки: адепты Римского клуба, люди,

чьим наваждением стало ядерное оружие, люди, которых ужасает загрязнение окружающей среды, и те, кому не дает заснуть многомиллиардное население планеты конца столетия — все они предсказывают нам апокалипсис. Провозвестников дурной новости достаточно. Я не нуждаюсь ни в Ницше, ни в Хайдеггере, чтобы знать: становление человечества не повинуется разуму.

Ни одна из упомянутых тревог не лишена оснований. Европейцы страшатся то одного, то другого; вчера — поборники нулевого роста, сегодня — возмущенные замедлением темпов развития, они потеряли чувство общего проекта. Большинство западноевропейцев пользуются (кто — довольный своей жизнью, а кто — не прекращая социальной борьбы) относительным изобилием, которое требуют от патерналистского государства. Так что же происходит с этим Старым Континентом, непрерывно стареющим, ибо он не возобновляет своих поколений, и оставляющим иммигрантам самую грязную и плохо оплачиваемую работу? Покоряется ли он уже идеократической империи или являет образ обществ, наполовину примиренных с самими собой?

Кто они, жители Старого Континента, — мудрые европейцы, ненавидящие войну и говорящие «прощай» оружию? Или европейцы, разочаровавшиеся во всех приключениях — крестовых походах, колониальных завоеваниях, нескончаемом научном поиске, — по привычке дорожащие своими свободами, не способные объединиться ни для самозащиты, ни для созидания? Переживут ли они без жестоких распрей и не опустив руки годы экономического спада или стагнации, которые, возможно, еще ожидают их до окончания этого столетия? В разные дни и в зависимости от настроения я склоняюсь то к одному, то к другому ответу.

Ницше, этот последний метафизик Запада, по определению Хайдеггера, и сам Хайдеггер, ищущий смысл нашей эпохи по отношению к истории философии, добавляют новое измерение к нашим историческим диагнозам. Но много ли мы узнаём от них о нашем будущем? От чего больше зависит судьба Западной Европы — от гибели богов или от падения рождаемости? Я сохранил достаточно вкуса к философским размышлениям, чтобы не давать категорического ответа на эти вопросы.

Но зато если речь идет о возможных апокалипсисах, об угрозах, нависших над человечеством, я знаю, где искать веру и надежду. У меня нет чудодейственных лекарств против болезней индустриальной цивилизации, ядерного оружия, загрязнения окружающей среды, голода или перенаселения. Но я знаю, что ни милленаристские верования, ни концептуальные умствования

ничему не помогут; я предпочитаю опыт, знание и скромность.

Если цивилизациям, которые все честолюбивы и хрупки, суждено в отдаленном будущем осуществить мечты пророков, то какое всеобщее призвание могло бы объединить их, кроме Разума?

ЭПИЛОГ

Мне повезло иметь в молодости трех друзей, чье превосходство надо мной я не мог скрыть от себя: это Жан-Поль Сартр, Эрик Вейль и Александр Кожев. В отношении первого у меня, в течение нескольких лет, были сомнения; реакция Мальро на «Легенду истины»[277] внушила мне опасение, что это богатство ума, эта творческая мощь, ставшие очевидными уже в начале 30-х годов, не сумеют выразить себя в гениальном произведении и окажутся растраченными в промежуточном, полуфилософском и полулитературном, жанре. Наш диалог тем не менее сохранил свою непринужденность. Безусловно, Сартр был прав, упрекая меня за то, что я слишком боялся «сморозить глупость». Даже в науках, именуемых точными, совершаются ошибки в ходе исследований, и они небесполезны. Зато Сартр широко воспользовался правом на ошибки, особенно в политике.

Эрик Вейль, имя которого известно лишь нескольким тысячам человек, обладал исключительной, почти безупречной, культурой. Несколько раз мы с ним крупно спорили, но скорее по поводу текущих событий, чем на философские темы. В тех же случаях, когда наши беседы затрагивали философию, я почти физически ощущал интеллектуальную силу, которая превосходила мою, способность идти дальше, проникать в глубину, выстраивать систему. Уже тогда он лучше, чем я, знал великих философов.

Когда я говорил с Александром Кожевым, у меня всегда появлялось чувство, что любая мысль, которую я отважился бы высказать, ему уже приходила в голову. Если же не приходила, то могла прийти. Он тоже импонировал мне обширностью и основательностью своей философской культуры, о которой свидетельствуют его посмертные книги. В 1938 году и он тоже ошибался относительно текущей Истории: не верил в возможность войны еще за несколько месяцев до (гитлеровского) вторжения в Польшу. В одной из предыдущих глав я уже ставил вопрос: в каком смысле был он, судя по его словам, сказанным в 1939 году, правоверным сталинцем?

Общение с этими тремя исключительными людьми, один из которых стал «священным чудовищем», а двое других провели жизнь почти в безвестности, уберегло меня от иллюзий. Я никогда не мечтал помериться силами с титанами прошлого; напротив, находил удовольствие в том, чтобы их цитировать, истолковывать, продолжать. Я испытал зависть к Сартру, который в возрасте двадцати пяти лет полагал без тени тщеславия, что

достичь высоты Гегеля ему вполне по силам; к другому члену нашей группы, убежденному, что превзошел бы Макса Вебера, если бы посвятил себя социо-экономическим исследованиям, я отнесся скептично; позавидовал, не без улыбки, Эрику Вейлю, который однажды серьезно сказал мне, что труд, который он собирается в скором времени написать, поставит точку в развитии философии. Что касается работ самого Кожева, которым, по его словам, было суждено завершить цикл человеческой мысли и Истории, то я читаю их сегодня с теми же, а может быть еще более смешанными, чувствами, чем полвека тому назад.

Разумеется, восхищение этими незаурядными умами боролось во мне с сомнением. Но восхищение помешало мне ставить перед собой чрезмерно высокие цели, а значит, страдать от несоответствия между честолюбивыми замыслами и творческими результатами. Уже через несколько недель или месяцев после написания своих книг я дистанцируюсь от них. Пожалуй, наиболее длительное авторское удовлетворение мне принесли «Введение в философию истории», «Опиум интеллектуалов», «Мир и война» и «Клаузевиц».

Ни одна из моих книг не удовлетворяет меня вполне. Несовершенство моих произведений, даже относительно уровня, к которому я стремлюсь, не слишком тяготит меня теперь, когда настало время подвести итоги. Чтобы «Введение» мне действительно удалось, следовало бы потратить на него еще год; требовалась менее напряженная, менее эллиптическая, более непринужденная манера письма. Книга «Мир и война» была тоже написана чересчур быстро, хотя я и обдумывал ее в течение десятка лет; не все ее части одинаково вызрели. Что до отзывов, появившихся в Англии и Соединенных Штатах по поводу сборника моих статей[278], то ни самые снисходительные, ни наиболее суровые не влияют на мое представление о себе самом. Я не верю на слово профессору Бернару Крику, аттестующему меня не как ученика, а как ровню Токвиля; но меня не подавляет и довольно строгое суждение, вынесенное Феликсом Жильбером, историком, которого я уважаю.

Я солгал бы, сказав, что мнения других людей обо мне и моих сочинениях отныне стали мне безразличны; моя кожа не настолько затвердела из-за проклятого тромба, чтобы стрелы отскакивали от нее, как от брони. Но если в двадцать лет я страдал обостренной чувствительностью, то теперь она у меня ниже нормальной. Мне было бы больно потерять дружбу или уважение нескольких людей, старых или молодых, составляющих теперь мою вселенную. Что касается других, они имеют полное

право похоронить меня. Один из немногих оставшихся в живых людей моего поколения, Жорж Кангилем, заслуживает мир, которым наслаждается; уединенный образ жизни, скромность, редкие достоинства его книг для немногих выключают этого мыслителя из борьбы, которую ведут парижские интеллектуалы за престиж или духовную власть. Я же, то ли по случайному стечению обстоятельств, то ли из какой-то испорченности, упрямо отказываюсь погрузиться в молчание. Я имею право получать удары, ибо время от времени сам их наношу — стараясь делать это как можно реже, потому что время полемик для меня закончилось. Но — кто знает, почему? — иногда я испытываю потребность разоблачать те или иные мистификации и продолжать схватку, для которой уже не хватает сил. Я охотно передам факел другим.

«Что не дает успокоиться Раймону Арону?» — писал когда-то Виансон-Понте в газете «Монд», на полосе, отведенной разбору «Этапов развития социологической мысли». Успокоиться в прежние времена мне не давала миссия, завещанная мне потерпевшим жизненный крах отцом. Эта миссия отнюдь не подразумевала никакого стремления к почестям. Правда, отец был бы счастлив получить орден Почетного легиона, который отчасти компенсировал бы неудачу в достижении истинной его цели. Я не искал ни «почестей», ни общественного успеха. Пьер Бурдан настоял на том, чтобы я подписал бланк с ходатайством; и вот я кавалер ордена Почетного легиона в течение целых двадцати восьми лет — своего рода рекорд. Другие ордена нашли меня сами. Никогда их не просить, никогда от них не отказываться, никогда их не надевать — это изречение, приписываемое Уинстону Черчиллю, вполне подходит и мне. Что касается дюжины докторских степеней *honoris causa,* у меня не было никаких оснований отвергать их; отказ свидетельствовал бы о неуместной гордыне. Революционные мотивы Сартра, отказавшегося от Нобелевской премии, для меня не имеют смысла. Я не остался равнодушным к присужденной мне городом Франкфуртом премии имени Гёте, которой за три года до меня был награжден Д. Лукач, а тремя годами позже — Э. Юнгер.

Может быть, журналистская деятельность, несколько повредившая мне во мнении коллег по университету, привлекла ко мне, больше чем следовало, внимание зарубежных жюри. Если бы не мои статьи, то, возможно, мои книги были бы лучше оценены профессорами, а иностранные университеты меньше занимались бы мною. Не важно. Я отдал моим родителям все, что они ожидали от меня, и вхожу с ясной душой в последний период своей жизни, уже без мучительной боли вспоминая их последние

годы.

Наилучшим ли образом распорядился я своими возможностями? Общаясь с философами высокого уровня, я знал, что никогда не стану одним из них. Конечно, если бы я вернулся к университетскому преподаванию в 1945 году, если бы меня избрали в Сорбонну в 1947-м, если бы я отказался от журналистики, я написал бы другие книги. Вот пример, наименее подлежащий сомнению: вместо трех книг в серии «Идеи» я написал бы один толстый том, который нашел бы не столь многочисленных читателей, но лучше отвечал бы моему стремлению к строгой научной логике. Жалею, что не появился на свет этот том, сравнимый с «Введением в философию истории» и «Осмыслением войны». Моя работа обозревателя-аналитика и активиста, послужившего делу свободы, возмещает эти потери.

О каких ненаписанных книгах мне стоило бы сожалеть? Возможно, некоторые мои читатели ответят, что это прежде всего книга о Марксе. Так думают многие, но я не уверен, что могу с этим согласиться. Марксизм, превратившийся в марксизм-ленинизм, не интересует ни одного серьезного человека, скажем: ни одного ученого или просто образованного человека, *scholar*. Как сказал мой друг Ион Эльстер: при каких условиях можно быть одновременно марксистом-ленинцем и умным, честным человеком? Можно быть марксистом-ленинцем и при том умным, но в таком случае не приходится говорить о честности (интеллектуальной). Есть немало искренних марксистов-ленинцев, но они недостаточно умны. И. Эльстер пишет сейчас книгу, цель которой — *make sens of Marx;*[279] это будет не духовная биография Маркса, а толкование марксизма, основанное на текстах; это, так сказать, краткое изложение всего того в марксизме, что доныне сохранило ценность или, во всяком случае, может найти практическое применение.

Мой замысел — совсем иной (вернее, был таковым несколько лет тому назад): выявить главное в философских размышлениях молодого Маркса, в его экономической теории, какой она представлена на страницах «Критики» («К критике политической экономии»), «Grundrisse» и «Капитала», и затем, на основе этих двух частей моей работы, показать, как по-разному можно толковать Маркса; в заключение дать характеристику этого революционера-пророка. Сомневаюсь, что я еще успею написать этот очерк, наброском которого является курс лекций 1976/77 года в Коллеж де Франс. Он заполнил бы лакуну в моих сочинениях. Но, в конечном счете, я не вижу здесь большой потери, даже для себя самого.

Сейчас, когда я пишу эти строки, ширится новый

марксологический спор. Он возник из-за того, что английские аналитики вдруг заинтересовались марксистской философией истории. Они заново обращаются к знаменитому тексту «Предисловия», которое Маркс предпослал своей работе «К критике политической экономии»; по мнению самого автора, там заключена основная суть его концепции истории. Марксисты II Интернационала бесконечно комментировали этот текст, так и не исчерпав его содержания, Лукач же и вслед за ним экзистенциалисты пренебрегли им. С другой стороны, остаются еще неопубликованными некоторые работы по экономике, написанные между «Grundrisse» и «Капиталом». Чтобы понять Марксову экономическую мысль в целом, потребовались бы еще годы занятий марксологией. Специалистам известен экономист Маркс, который намного богаче идеями, тоньше, интереснее, чем автор одного лишь «Капитала». Однако Маркс, имеющий, если можно так выразиться, прикладное значение или практическую пользу, Маркс, который, возможно, изменил историю мира, — это тот, кто распространил ложные концепции. Норма прибавочной стоимости, которую он имеет в виду, наводит на мысль, что национализация средств производства позволяет вернуть трудящимся огромные ценности, присвоенные собственниками средств производства; социализм или, во всяком случае, коммунизм отменяет категорию «экономического» и самое «мелочную науку». Как экономист Маркс, пожалуй, богаче мыслями, увлекательнее всех своих современников. Как экономист-пророк, как предполагаемый прародитель марксизма-ленинизма он — проклятый софист, несущий свою долю ответственности за ужасы двадцатого столетия.

Мне следовало бы пожалеть о том, что я не написал продолжения «Введения» и «Истории и диалектики насилия», не развил их темы, как собирался сделать. Обсуждение книг аналитиков меня уже не слишком увлекает. Две особенно затянувшиеся дискуссии, одна из которых известна как спор Хемпеля с Дреем, а другая касается природы (или реальности) «общественного факта», кажутся мне в некотором роде исчерпанными. Я уже не раз намекал на первую из них. Она связана с разногласием по поводу дилеммы: *объяснение* или *понимание*. С одной стороны, историческое объяснение, соответствующее идеальному типу научного объяснения, требует одного или нескольких общих положений, из которых можно было бы вывести единичное заключение. Эта схема весьма часто встречается, в наполовину имплицитном виде, в работах историков-социологов. Но когда речь идет о каком-либо решении, о человеке в уникальных обстоятельствах, историк проясняет это

решение логикой ситуации, дополненной характером действующего лица. Истолковывать исходя из честолюбивых стремлений и личности Гитлера его решение напасть на Советский Союз в июне 1941 года мне кажется и чересчур легким, и сомнительным делом; объяснять его так же, как объясняют эмболию, грозу или землетрясение, мне представляется логически и экзистенциально ошибочным.

Второй спор интересует меня больше. Его объект — *societal facts,* природа «общественных фактов», которые не следует смешивать с социальными фактами. Правомерно ли уподобить, например, почтовую связь, систему железных дорог или Церковь некой целостной сущности или попросту субъекту, который способен принимать решения и которого можно охарактеризовать эпитетами, как человека? Это тонкий, сложный и, вероятно, неисчерпаемый спор. Почтовая связь или, в архаическом обществе, система обмена дарами — это не Петр или Павел, не человеческая личность, не существо из плоти и крови, наделенное страстями. «Общественный факт» включает в себя индивидов, устоявшиеся, ритуализированные или организованные отношения и поведение, обеспечивающее постоянство системы. Действует ли, отдает ли распоряжения эта система таким же образом, как индивид? Я испытываю искушение повторить ответ одного из самых проницательных аналитиков: «и да, и нет» или «либо да, либо нет» — как вам больше нравится. Различные целостности, составляющие общество, будь оно узким и архаичным или широким и современным, существуют — социолог не создает их во время наблюдения; однако они существуют иначе, нежели биологически ограниченный определенными рамками и наделенный только ему присущими чертами индивид. Внутри этих «общественных фактов» многие индивиды, разумеется, взаимозаменяемы: почтальон-заместитель исполняет функции штатного работника, когда тот в отпуске.

Анализы такого рода завораживают меня, хотя и кажутся мне порождающими фрустрацию. Они связаны с дискуссией о методологическом индивидуализме[280] и другой дискуссией — о холизме[281]. Мне бы хотелось привести в систему свои разрозненные заметки об общественных целостностях, *Zusammenhänge,* по выражению Дильтея, в которые мы все включены.

Спор, конечно, уже не нов, он находился, лишь облеченный в иную терминологию, в центре диалога между Дюркгеймом и Тардом, между теми, кого сэр Карл Поппер именует *холистами,* и сторонниками методологического индивидуализма (например, Фр. Хайек). Спор этот принимает другую форму, когда социологи

рассматривают общество как функционирующее само по себе, а индивидов — в качестве винтиков огромной машины, пленников неумолимого детерминизма.

В своих лекционных курсах, прочитанных в Коллеж де Франс, я стремился прояснить природу как общественных целостностей, так и особенностей объяснения в духе методологического индивидуализма либо холизма.

Одновременно я хотел бы продолжить «Введение» и «Историю и диалектику насилия». Когда социолог изучает *функционирование* какого-либо общества (или сектора общества), он, так сказать, останавливает свой объект — не изымает его из процесса становления, но схватывает в определенный момент. Чем пристальнее он рассматривает застывшую, как того требует методология, целостность, тем меньше его интересуют изменения, которые происходят в ней незаметно, а иногда приводят к внезапным потрясениям. Мне хотелось бы связать воедино систему и историю. В «Имперской Республике» я выявил скорее относительную независимость международной политики, игры межгосударственных интересов, от мирового рынка, нежели их взаимосвязь. Возможно, что школьные и университетские успехи каждого определены более чем на три четверти принудительными для индивидов социальными обстоятельствами. Но человек, живущий в век Гитлера и Сталина, должен быть безнадежно слеп к истории, чтобы отрицать роль «героев» и видеть только поступь всеохватного, неумолимого, предвидимого детерминизма там, где современник слышит шум, видит ярость и ищет смысл.

В нашу эпоху, в которой доминируют экономика и война, мне следовало бы набросать (и, может быть, я еще сделаю это) нечто подобное «Jahre der Entscheidung», «Решающим годам», Освальда Шпенглера или, пожалуй, эскиз философии, вопрошающей историю конца XX века. Две великие войны столетия, первая из которых подготовила вторую, должны были привести к третьей. Эту, по видимости логичную, последовательность прервало техническое новшество — ядерное оружие. Быть может, великие державы никогда не применят его друг против друга, ибо вероятные разрушения неизмеримо превосходят возможный выигрыш от победы.

Оставим в покое мои сожаления о несделанном. Если предположить, что кто-то завтра даст себе труд прочитать меня, он найдет в написанном мною анализы, стремления и сомнения, заполнявшие сознание человека, проникнутого историей. Этот человек — французский гражданин, но еврей, которого одно полусвободное французское правительство лишило родины

согласно закону, основанному на расовых критериях; гражданин Франции, входящей в Европейское сообщество, страны — одного из четырех очагов мировой науки и экономики, страны, неспособной самостоятельно защитить себя и колеблющейся между американским покровительством и *pax sovietica,* который Москва предлагает ей в обмен на свободу; живущий в более либеральной, более либертарной, чем когда-либо, Европе, раздираемой бунтом против неумолимой реальности индустриального общества; Европе, возможно находящейся в упадке, ибо цивилизации расцветают в условиях свободы и хиреют, когда их уделом становится неверие; Европе — части человечества, которое, невзирая на замедление экономического роста в конце столетия, не может избежать дальнейшего развития науки и производства.

Более, чем обо всех своих неосуществленных замыслах, я сожалею, что не исследовал подробнее вопрос, сформулированный, но не получивший ответа во «Введении»: так как же обстоит дело с историзмом? Являемся ли мы пленниками некой системы верований, которую усваиваем с раннего детства и которая руководит нами, когда мы отличаем добро от зла? В некотором роде я остался человеком эпохи Просвещения. Разумеется, я не перечеркиваю одним-единственным словом «суеверие» догматы Церкви. Я часто симпатизирую католикам, которые верны своим религиозным убеждениям и при этом проявляют полнейшую свободу мысли в любой светской области. Отвращение к светским религиям возвращает мне некоторую приязнь к религиям трансцендентным.

Отличаются ли светские религии по своей природе от социальных верований вообще? Общество, в котором мы живем, всегда учит нас судить о людях, поступках, произведениях; светские религии претендуют на монопольное обладание высшими ценностями. Они означают, на мой взгляд, отход назад по отношению к дифференциации порядков, идей и систем. Своим величием и плодотворностью мысли Запад обязан, по крайней мере отчасти, разделению духовной и светской властей; в Советском же Союзе псевдоверующие сохраняют псевдорелигию, мнимую социальную истину, которая якобы вбирает в себя или возглавляет все второстепенные истины. Для нас, европейцев, людей Запада, утверждение марксизма-ленинизма в качестве государственной истины означало бы даже не просто отступление, а хуже — отречение. Запад жил и продолжает жить только плюрализмом.

Марксизм-ленинизм заслуживает названия «суеверие» в полном смысле этого слова. Догматы религий спасения не

поддаются опровержению, поскольку утверждают реальности или истины, которые по своей сути недоступны исследованиям, проводимым в соответствии с правилами рационального познания. Напротив, догматизм, претендующий на обладание конечной истиной в подвластной научному анализу области, не в силах устоять против критики.

Некоторые люди воспринимают меня как воплощение последовательного антикоммунизма. Да, я исповедую антикоммунизм, и совесть моя чиста. Коммунизм для меня не менее отвратителен, чем нацизм. Тот аргумент, к которому я не раз прибегал в прошлом, желая разграничить мессианизм класса и мессианизм расы, больше не производит на меня впечатления. Наружный универсализм первого оказался на поверку иллюзией. Придя к власти, мессианизм класса объединяется с национальным и имперским мессианизмом. Он освящает конфликты и войны и отнюдь не сохраняет хрупкие связи общей веры, протянувшиеся через границы.

Интеллектуальный или духовный плюрализм не притязает на истину, сравнимую с истиной в математике либо физике; но он и не спускается на уровень какого-то одного из многих мнений. Он укоренен в традициях нашей культуры; он получает свое оправдание и, в некотором роде, подтверждение в ложности верований, пытающихся его опровергнуть. Иранские шииты и марксисты-ленинцы принадлежат к одной и той же семье, поскольку шиитское духовенство желает управлять гражданским обществом так же, как это делает КПСС. Человек Запада одерживает верх над последователем Ленина или сторонником имама Хомейни, потому что знает разницу между научными, пусть и временными, истинами и религиозными верованиями; потому что оспаривает себя самого, сознавая, что наша культура является в некоторых отношениях лишь одной среди многих. Отказ от сомнения, возможно, разжигает пыл сражающихся бойцов, но исключает умиротворение. Имам Хомейни и марксисты-ленинцы напоминают нам, что «действенная вера» еще и в нашу эпоху выливается в крестовые походы. Сегодняшние люди Запада, сознающие, насколько законна множественность нравственных авторитетов, сознающие особый характер нашей культуры, — единственные, кто открывает путь для такой истории, которая обрела бы смысл.

Секуляризация политики тоже закономерно влечет за собой плюрализм. Не в том смысле, что межпартийную конкуренцию можно поставить на одну доску с духовным плюрализмом. Логическим следствием нынешней исчерпанности унаследованных непреложных истин мне представляется тот

факт, что социальный порядок и политический строй ставятся под вопрос. Было бы неразумно утверждать, что лучше постоянно оспариваемое общество, чем общество, спаянное общими убеждениями. (Лучше для кого?) Я говорю только, что за пересмотром религиозных ценностей неизбежно следует политический протест. А последний либо подавляют, душат, дают ему отпор, применяя больше или меньше насилия или хитрости, либо относятся к нему терпимо, зачастую организуют его, чтобы управлять им.

Отсюда не следует, что режимы, которые я назвал конституционно-плюралистическими, могут всегда считаться наилучшими, что им надлежит распространиться по всему миру. Они отвечают ментальности тех, кого Огюст Конт назвал бы авангардом человечества. Право всех участвовать в политическом диалоге по поводу общей судьбы вытекает из отказа от абсолютных истин, однако некоторые общества не могут дать своим членам это право, не распавшись при этом.

Согласно классической философии, для демократии требуются граждане, и граждане добропорядочные, то есть соблюдающие законы. Демократия в индустриальных обществах сталкивает между собой производителей и потребителей, лобби и партии. Власть, возникшая как результат всех этих неизбежных соперничеств и ограниченная ими, всегда рискует деградировать, пренебречь требованиями коллективной безопасности.

Вполне возможно защищать точку зрения, согласно которой люди предпочитали и предпочли бы еще и теперь монарха, отстраненного от ему подобных воплощенным в нем прошлым и чувством, которое подданные привыкли за истекшие века проявлять к нему. Если хладнокровно сравнить недостатки и преимущества всех существующих и теоретически возможных режимов, то не знаю, отдал ли бы я первое место демократиям Европы или Америки. Но какой другой строй на Западе был бы легитимен? Однопартийные режимы смогли бы долго продержаться только благодаря едва прикрытому насилию и угрюмому смирению населения. Подтверждение этому мы видим в странах Восточной Европы.

Даже в политической области спор об историзме сохраняет абстрактный, почти искусственный характер. Если спросить: нужно ли жалеть, что человечество не остановилось на стадии неолитических обществ или греческих полисов, то ответ мне кажется невозможным, а вопрос — бессмысленным. Животное человек было генетически запрограммировано на культурную эволюцию. На разных этапах этой эволюции устройство общественной жизни предстает в разных формах. В этом

разнообразии как таковом нет никакой проблемы. Проблему «истористы» усматривают в следующем: то, что в одном обществе является злом, в другом становится добром. Давно сказано: то, что считается истиной по эту сторону Пиренеев, оказывается заблуждением по ту сторону их.

Социолог воспевает многообразие языков и обычаев, богатство самовыражения человечества. Во имя какой ценности, какого критерия можем мы сделать выбор между этими «обществами», дать каждому из них место на том или ином уровне иерархии, остановиться на одном из них как на лучшем или образцовом? В таком же духе Макс Вебер спрашивал: какой культуре следует отдать предпочтение — немецкой или французской? Я отвечаю: к чему задавать этот вопрос? Чтобы выбрать одну из двух культур? Или поставить одну выше другой?

Многообразие рискует, правда, увлечь нас на тропу скептицизма, если добро и зло меняются местами в разных обществах. Я далек от мысли, что это так. Честность, правдивость, великодушие, нежность, дружелюбие не меняют знак с плюса на минус в другом веке, на другом материке или пересекая границы. Разумеется, одно и то же поведение может быть сочтено агрессивным в одном сообществе и спортивно-здоровым — в другом. Ни деятельность, ни успехи людей не оцениваются повсюду согласно одинаковым критериям. Внутри одного и того же общества не существует какого-то единого идеала человека. Рыцарь, священник, ученый стремятся усовершенствоваться на разные лады. Все, что относится к культуре, какой ее определяют этнологи, не поддается универсальному суждению. Человек, который составил бы такое суждение, неизбежно принадлежал бы к одной из культур. Не существует наблюдателя «над схваткой».

Множественность культур отчасти подобна многообразию искусства: это явление достойно восхищения, а не упреков в анархии. Мы, люди Запада, более чем кто-либо, осознали это разнообразие — и мы же стремимся к универсальным истинам или ценностям. Это противоречие терзает, раскалывает наше историческое сознание, и все же мы способны преодолеть его или по меньшей мере сжиться с ним.

Надо ли проклинать завоевание Галлии римлянами или прославлять его за то, что оно положило начало Франции? Каждый ответит на этот вопрос в соответствии со своим настроением или своими познаниями. Оставим исторические суждения подобного рода эрудитам, если им это интересно, полемистам или даже такому философу, как Фихте, одержимому демоном пропаганды. Эти исторические суждения волнуют нас только тогда, когда становятся политическими мнениями.

В наше время в душах миллионов людей происходит мучительная борьба между двумя культурами — той, которая умирает, и той, к которой они испытывают одновременно ненависть и тяготение, ибо она открывает им путь к могуществу и изобилию. Около полувека назад я писал, что Запад уже больше не знает, предпочитает ли он то, что несет миру, тому, что он разрушает. Со времени утраты европейцами империй на них уже не лежит былая ответственность; возможно, они еще совершают этноцид, но это результат не столько их действий, сколько самого их существования. История человечества усеяна мертвыми культурами, порой даже стершимися из памяти живущих людей.

История оказалась трагедией для индейцев, инков, ацтеков? Кто же сомневается в этом? Она шествует по трупам культур, как и по трупам людей. Куда она идет? Оправдает ли когда-нибудь будущее страдание павших в пути? И на эти вопросы никто не может ответить. Сейчас, сегодня, в этом столетии, мы освободились от провинциализма, свойственного всем культурам прошлого, от наивной веры в прогресс, как и от поверхностного релятивизма. Уважение к научной истине, признание достоинства всех людей, независимо от происхождения и культурного уровня, лежат в основе наших убеждений. События этого века рассеяли наши иллюзии: прогресс науки не делает лучше людей и необязательно способствует улучшению обществ. Ужасы гитлеровского и сталинского режимов избавили нас, наперекор распространенному мнению, от примитивной веры в прогресс. Нам известно, что возможно все, в том числе худшее, но мы знаем и то, что худшее не является нравственно неотличимым от достойного.

При таком подходе я сумел бы глубже разработать теорию «исторического сознания в мышлении и в деятельности»[282]. Как мысленно примирить право на существование всех культур и решительную приверженность к своей собственной? Как примирить на практике мое французское гражданство и верность моим еврейским предкам? Как принять разумом потенциальную возможность применения ядерного оружия против городов, иначе говоря — уничтожение миллионов ни в чем не повинных людей? Отнесу ли я к самому себе последнюю фразу моего «Введения»: «Существование диалектично, а значит, оно — драма, ибо человек действует в хаотичном мире, вовлекается в нескончаемую борьбу, ищет ускользающей истины, полагаясь всего лишь на фрагментарную науку и формальное мышление»?

Сейчас я четче разделил бы общественные ценности и нравственные качества, укрепил бы фундамент научной истины и человеческой всеобщности. Что касается деятельности человека,

то я описал бы наше историческое бытие более конкретно, но, по сути, теми же словами. В спокойные периоды истории, внутри современных демократических обществ, гражданину не приходится переживать муки, принимая рискованное решение. Когда благополучие общества в опасности, когда мы размышляем о возможности сдерживания агрессора и о ядерном оружии, когда мы колеблемся между американским покровительством и советским протекторатом, мы вовлекаемся в хаотичный мир, выбираем одно общественное целое в ущерб другому, причем оба они несовершенны, смиряемся с вероятным кошмаром, который, возможно, должны бы были категорически отвергнуть.

Когда-то, около полувека тому назад, я написал, что наше историческое бытие драматично. Не вернее ли сказать: трагично? В некоторых отношениях — да. Трагична необходимость основывать безопасность на угрозе ядерных бомбардировок; трагичен выбор между накоплением обычных видов оружия и ядерной угрозой; трагично разрушение древних культур индустриальной цивилизацией. Однако слово «трагедия» прозвучало бы как окончательный вывод только в том случае, если счастливый исход после всех трагедий человечества был бы совершенно непредставим. Я по-прежнему считаю возможным счастливый конец, далеко по ту сторону политического горизонта, как утверждение Идеи Разума[283].

Жалел ли я о том, что мне не довелось быть Киссинджером какого-либо главы государства, как пишут, развлекаясь, некоторые, например Жан д'Ормессон? Я дружески отвечу им, что они ошибаются. Роже Мартен дю Гар в своих еще не изданных мемуарах набросал мой, слишком лестный, портрет и объяснил на свой лад, почему мне не «суждено править»[284].

Я же просто-напросто считаю, что никогда не обладал качествами, необходимыми для человека, находящегося у кормила власти, пусть даже на уровне советника. Будучи осторожным на бумаге, я плохо контролирую себя, когда говорю. Увлекаясь, под влиянием обстоятельств или настроения, прибегаю к чрезмерно заостренным формулировкам, которые не выражают сути того, что я думаю, и могут только дискредитировать мою мысль. Политик должен следить за своим языком не меньше, чем за пером. Нельзя сказать, чтобы я не был способен приспосабливать свою речь к собеседнику, однако дипломатический язык тяготит меня. Я люблю говорить, не взвешивая свои слова, и ложь, даже самая банальная, требует от меня усилий: чтобы отказаться от какого-нибудь обеда или конференции, мне не хватает воображения.

Есть, впрочем, более важное обстоятельство: я никогда не полагал, что обладаю компетентностью профессионального экономиста. Правда, большинство министров финансов тоже менее сведущи, чем профессора экономики или хозяйственники. Но чего ради министр, если бы уж он решил искать советника вне хозяйственного аппарата, выбрал бы такого человека, как я, чуждого любой дисциплине, с независимым складом ума и подверженного страстям, плохо совместимым с обязанностями советника?

Обозревателям не дает покоя пример Генри Киссинджера. Причина тому отношения, которые я поддерживаю с ним, и чувства, которые он ко мне питает, не делая из этого тайны даже в мое отсутствие. Мои внуки с гордостью будут хранить экземпляр его «Мемуаров» с посвящением *To my teacher*[285] (разве что историки к тому времени свергнут Киссинджера с пьедестала и я разделю с ним немилость непостоянной Фортуны). Возглавлять Государственный совет безопасности в Вашингтоне, каждое утро сообщать Президенту Соединенных Штатов о положении в мире, вести от его имени переговоры в Пекине или в Москве — такие функции показались бы мне весьма соблазнительными, будь я американским гражданином. Тем более что Макджордж Банди, У. У. Ростоу, Г. Киссинджер, З. Бжезинский — профессора в Гарварде, сравнимые со мной по своему уровню, — получили, каждый в свое время, эту должность без предварительной избирательной кампании, без какой-либо осады главы государства. Да, если бы я был американским гражданином, у меня, конечно, возникло бы желание попробовать себя во власти — но, надеюсь, я бы вовремя понял, что во мне нет задатков Киссинджера.

Ума, осведомленности, верности суждений здесь недостаточно. Нужны поступки, на которые я, судя по всему, был бы неспособен: утвердить свой авторитет в джунглях вашингтонских распрей между отдельными лицами и между учреждениями; понравиться прессе или хотя бы избежать ее враждебности; принимать или подсказывать решения, зачастую необходимые, которые посылают юношей в огонь и на смерть. Нельзя сказать, что я отвергаю, в теории или на практике, применение силы. Но одно дело — отвлеченно допускать применение оружия, и другое — *hic et nunc*[286] убедить президента прибегнуть к нему. Склонность терзаться нравственными сомнениями, ненависть к насилию помешали бы мне на посту, который занимал такой интеллектуал исключительных качеств, как Киссинджер.

Оставим эти признания, касающиеся области нереального.

Вообразим во Франции пост, сравнимый с должностью советника по вопросам дипломатии и обороны. Ни один из президентов Пятой республики не нуждался в таком советнике, и каждый отверг бы его. Но если бы даже такой пост существовал, в нем было бы мало привлекательного. Значительная часть дипломатии генерала де Голля не выходила за пределы театральных постановок. Что осталось от его вояжей в Латинскую Америку, Румынию, Польшу, кроме воспоминаний о шумных приветствиях? Несколько принятых им решений продолжают действовать: выход из объединенного командования НАТО, попытка создать франко-германский — неудавшийся — альянс, с тем чтобы избавить обе страны от «американской гегемонии», возобновление отношений с Москвой (однако за разрядкой напряженности не последовало ни взаимопонимания, ни сотрудничества). С тех пор во французской дипломатии различаются два направления: постоянные переговоры с партнерами по Европейскому сообществу и активные действия в остальной части мира.

В Африке Франция пытается сохранить свою зону влияния, поддержать связи с франкоязычными странами. Время от времени вспыхивают кризисы в Чаде, в Центральной Африке, в Киншасе. Решения, удачные или неудачные, не требуют ни особой прозорливости, ни выдающегося мужества. На Ближнем Востоке французская дипломатия, за неимением средств, необходимых для прямого влияния на события, не идет дальше заявлений. Французское присутствие сохраняется повсюду в мире, однако президенты Пятой республики, хотя они и желают, по примеру американских президентов, быть одновременно и своими собственными министрами иностранных дел, питают иллюзии. С момента смерти Генерала французская дипломатия, если не считать вступления Великобритании в Европейское сообщество, идет по проторенной тропе. Не ей обязана Франция своим местом в мире, а самим французам, качеству их труда и их культуре.

Я не мечтал ни о министерском посте, ни о ранге посла и еще меньше — о кресле в каком-либо престижном совете (лишь от меня самого зависело занять одно из кресел «девяти Мудрецов» 332). А не давал мне успокоиться и сейчас еще временами пробуждает тревогу и надежду вопрос, который я никогда не переставал задавать себе: принесло ли мое преподавание какую-то пользу молодежи, которая слушала меня? Сослужило ли поучение, содержавшееся в моих статьях, службу моей стране, воспитывало ли оно моих читателей, способствовало ли доброй репутации французской журналистики за границей? Принесла ли какие-нибудь плоды моя деятельность за три десятка лет, в течение которых я писал — плохо ли, хорошо ли — по меньшей

мере по статье в неделю?

За двенадцать лет моего преподавания в Сорбонне я не испытывал никакого беспокойства по поводу своего возможного влияния на умы. Я нес своим студентам, марксистам и немарксистам, теорию индустриального общества, политическую философию Спинозы, социологическое истолкование Монтескьё, анализ международных отношений. Быть может, для некоторых из них, собиравшихся посвятить себя карьере социолога, эти познания были в известном смысле не столь полезны, как те, что дал бы им специалист по вопросникам. Но для студенческой аудитории тех переходных лет между Сорбонной моей юности и Сорбонной, взорвавшейся в 1968 году, преподаватель более классического склада, который прозаически, с неумолимой логикой расставлял бы вехи на пути от анализа к социологическому объяснению, не выполнил бы свою задачу лучше меня. Профессионалы тем настойчивее подчеркивают важность специальной подготовки социолога, что им известна ее ограниченность и, в конечном счете, поверхностность.

Вопрос, который я не раз задавал себе, касается нравственного или политического содержания моего преподавания в самом широком смысле. Я вкратце упоминал о своих контактах со студентами Высшей педагогической школы Сен-Клу. Несколько месяцев тому назад, когда данная книга была уже почти закончена, я получил от одного из бывших студентов этой школы несколько страниц из небольшой книги воспоминаний, в которой фигурирую и я; публиковать ее он не собирался. «И вот по совету Ориака — для нас равнозначному приказанию — мы очутились в темноватом, обшитом панелями зале Сорбонны, где идет заседание Французского философского общества под председательством Леона Брюнсвика, настоящего олимпийца с огромным лбом и таким проницательным взглядом, как будто он проникает вглубь, пренебрегая видимостью вещей. Раймон Арон — тело, словно лишенное суставов, лицо, карикатурное, как маска: оттопыренные уши, горбатый нос, ироничный, с горькой складкой, рот — только что изложил с холодной отстраненностью свои взгляды на относительность в истории, на хрупкость демократии, на неопределенность будущего, которое ждет человечество, — взгляды, возмутившие массивного, представительного Виктора Баска. Весь дрожа от волнения, тот провозглашает голосом трибуна свое непоколебимое убеждение: свобода, родившись в Греции, никогда не переставала освещать путь человеку, она — свет, который вовек не угаснет, и она победит. Докладчик отвечает ему с ледяной[287] учтивостью, что ничто не предрешено, не достигнуто

окончательно и в лучшем случае можно предположить — но это допускается как-то нехотя и устало, — что когда-нибудь в очень-очень отдаленном будущем разум и нравственность смогут взять верх, поскольку они более последовательны, более действенны и устойчивы, чем страсти и насилие. <…> Разумеется, прав в этом споре Раймон Арон»[288].

Заседание Французского философского общества, о котором повествует мой слушатель, состоялось в июне 1939 года. Я рассказывал о нем со смешанными чувствами в одной из предыдущих глав. Безусловно, я был прав, говоря о неопределенности будущего, об угрозе войны, о хрупкости демократии. Виктор Баск жил своей верой, сохраняя безмятежную ясность духа вопреки буре, собиравшейся на горизонте. И был убит — потому что был евреем и потому что верил во все ценности, которые хотели разрушить нацисты вкупе со своими французскими выучениками.

Бывший слушатель Сен-Клу вспоминает о своих преподавателях философии: «Мы посещали лекции двух преподавателей, которые оба читали философию в Школе; оба были евреи, но предельно несхожие. Добросовестнейшего Дрейфуса-Лефуайе всегда можно было найти на месте; его чрезвычайно полный, даже исчерпывающий, курс, не содержавший ни вопросов, ни сюрпризов, оставлял нас равнодушными. В лекциях же тонкого и проницательного Раймона Арона, в которых он, далеко выходя за рамки программы, сообщал нам свои размышления о философах истории — начиная с Макиавелли, переходя к Гоббсу и кончая Сорелем и Парето — было что-то провоцирующее; они производили яркое впечатление. Идеалистическому оптимизму Арон противопоставлял практику политиков, либо замаскированную речами, либо откровенную, — Realpolitik, ту, которую проводил Бисмарк, ту, которую вдохновлял Гитлер. Раймон Арон недавно провел в Германии несколько лет и мог наблюдать подъем нацизма, который был ему несомненно отвратителен, но вместе с тем гипнотизировал его. Прежде Арон был социалистом и глубоко изучал Маркса, в котором ценил строгого критика экономической науки, отвергая Маркса-пророка, его манихейство, чреватое не подлежащими обжалованию приговорами. Во имя трезвости и реализма Арон наносил смертельный удар по иллюзиям. Я не хотел отказываться от моей веры, но признавал значимость его взглядов. В то время как нам так горячо хотелось продолжать жить в девятнадцатом веке, хотелось, чтобы свет рассеял тучи, строгая логика Раймона Арона устраняла эти мифы, и все мы оказывались голыми и

безоружными на краю пропасти. Мы чуть ли не сердились на него, как будто это он подвел нас к опасной черте. И в самом деле, в нем было что-то пугающее, когда он говорил о нацистской опасности и угрозе войны, исходящей от нацизма, и одновременно что-то демобилизующее, когда он показывал всю бесперспективность революционного кредо. <…>»

Пугающим был не я; таким представал передо мной мир между 1935 и 1939 годами, и таким он действительно был — мы теперь знаем это. «Ледяным» я не был никогда, но часто создавал о себе такое впечатление. Почему? Было ли это целомудрие? Или отказ смешивать разные жанры? Или следование Спинозе: «Не высмеивать человеческие поступки, не сожалеть о них и не проклинать, но понимать их?» Было понемногу от всего этого и еще — нечто более таинственное. В моих высказываниях 30-х годов, когда я был молод, сквозила, возможно, некая интеллектуальная радость, сознание того, что я раздвинул облака и приблизился к истине. Если бы ностальгия по верованиям, которые я сокрушал, пробилась сквозь мои отрицания, то, быть может, в моем голосе ощущался бы не лед анализа, а жар бунта, пусть тщетного, — бунта сознания против действительности.

Когда я написал «Алжирскую трагедию», Франсуа Мориак не замедлил употребить тот же эпитет, что и мой слушатель из Школы Сен-Клу. Почему? Ведь тогда требовалось сделать выбор между войной и миром, между сохранением французского суверенитета и правом алжирцев на независимость; эту дилемму следовало поставить беспощадно. Анализ не был ни горячим, ни холодным, он был либо верным, либо неверным. Будем справедливы: как-то в другой раз Франсуа Мориак сердечно поблагодарил меня письмом за лекцию, прочитанную нескольким сотням студентов-католиков. Я произвел на Франсуа Мориака благоприятное впечатление, и, выступая с телеэкрана, он противопоставлял меня В. Набокову, чтобы жестоко разбранить последнего.

Остается гораздо более серьезный упрек: мое демобилизующее влияние. Было ли во мне это демобилизующее свойство на протяжении всей моей жизни? Видимо, нет, поскольку я не посвятил себя исключительно строгой науке. Возможно, я сыграл демобилизующую роль между 1935 и 1939 годами для моих слушателей Школы Сен-Клу[289]. Но была ли какая-нибудь возможность избежать этого? Фоконне оставлял мне альтернативу: «отчаявшийся или одержимый»; слушатель, приславший мне свои воспоминания, вместе со своими товарищами находил во мне что-то пугающее. Я расшатывал уверенность в окружающем мире, показывал, насколько близка от

нас смертельная опасность. Я защищал дело демократии, которая, даже одряхлев, остается лучше тоталитарных режимов. «Мы боремся за „Пари-суар“ против „Фёлькишер беобахтер“», — сказал однажды в гостях у Леона Брюнсвика Жан Кавайес, один из самых чистых героев Сопротивления, — сказал не в приступе отчаяния, а насмешливо. Я не открывал моим слушателям путь революционного спасения — был ли я неправ, когда это спасение звалось Сталиным?

Сыграл ли я «демобилизующую» роль в послевоенный период? Именно это и было нужно: демобилизовать «верующих», активистов и попутчиков Сталина, Хрущева и Брежнева. Этой операции умственного оздоровления я отдал много времени. Ныне уже не мои доводы, а факты и изменившаяся мода подрывают доверие к революционной надежде, которую якобы воплощает коммунизм. Но то, что говорил мой слушатель Школы Сен-Клу в 30-е годы — «За что же нам ухватиться?» — Мишель Конта не имеет права писать в 1982 году. Со времени последней войны западные демократии достигли успехов, на которые они, по мнению их хулителей, были неспособны: это касается и экономического роста, и личных свобод, и улучшения общественных отношений. Кто же распространял «смертоносные» идеи — люди, искавшие свою Мекку поочередно в Москве, Белграде, Пекине либо Гаване, или люди, освободившиеся от сотериологических верований и трудившиеся, насколько хватало сил, для процветания и реформирования либеральных режимов — наименее плохих режимов нашей цивилизации, а быть может, и наименее плохих в истории?

Критика светских религий содержала в себе и некие утверждения, общую позицию, которую кое-кто заклеймил бы как конформистскую. Я принимаю особенности существующих либеральных, демократических режимов. В «Эссе о свободах», к которому у меня сохранилась слабость, я пытался выявить необходимый синтез двух форм свободы: сферу независимости, оставленную индивидам, и средства, которые государство дает наиболее обездоленным гражданам, чтобы те могли осуществлять признанные за ними права. В современных демократиях имеется и свобода выбора, и свобода-способность; одну из них обеспечивает ограничение полномочий государства, другую гарантируют социальные законы. В свои лучшие моменты западные общества достигают, мне кажется, образцового равновесия, золотой середины.

Сегодня светилам мысли не пришло бы в голову назвать меня «одержимым или отчаявшимся». Гораздо вероятнее, что они изобличили бы во мне консерватора, равнодушного к неравенству

между людьми и между нациями, смирившегося с режимами, несовершенства и пороки которых не видны только слепому. По-прежнему существуют богатые и бедные, сильные и униженные. Никакая социодицея не оправдала бы убедительно наши режимы, как ни одна теодицея не сумела убедительно оправдать допускающего зло Создателя. Те, кто ставят равенство превыше всего, выше свободы, упрекают меня за то, что в своих статьях и книгах я уделяю мало места «возмутительному факту» неравенства.

Читая свои курсы в Сорбонне, я часто обращался к теме неравенства. Был год, когда я посвящал ей два часа в неделю. Из этих устных эссе я ничего не опубликовал, настолько они меня не удовлетворили.

Я всем сердцем эгалитарист в нравственном значении этого слова; мне ненавистны те, чересчур многочисленные, общественные отношения, в которых иерархия статусов заглушает чувство человеческого братства. Унаследовал ли я этот взгляд от религий спасения, проповедующих равенство всех людей перед Богом? Меня коробят высокомерие или авторитаризм многих моих коллег, в том числе — и нередко — левых, по отношению к их студентам. Но если оставить в стороне чувства, я, признаюсь, не знаю, что именно предполагает социальная справедливость и какое распределение доходов, или богатства, или престижа, или власти отвечало бы требованиям справедливости. Философы права в Соединенных Штатах уже несколько лет дискутируют на эту тему. Они склоняются к тому, чтобы рекомендовать наибольшее равенство, какое совместимо с сохранением свобод. Но как бы ни были блестящи эти философские рассуждения, они не уничтожают ни очевидности некоторых мнений, касающихся частных случаев, ни неопределенности относительно целого.

Вне общества, эгалитарного со всех точек зрения — что невозможно иначе как в условиях тотального деспотизма, — распределение социальных благ не подчиняется никакому простому принципу. Отрицательные суждения легче завоевывают популярность, чем суждения позитивные. Преимущества, как денежные, так и иные, которыми пользуются некоторые группы людей, профессии или лица, не могут быть обоснованы ни сами по себе, ни в сравнении с другими группами, профессиями или лицами. Легче заклеймить несправедливое положение вещей, нежели определить, какой должна была бы быть справедливость общества в целом. Рассуждая отвлеченно, для каждой профессии нужно было бы учесть стоимость образования, тяжесть труда, вклад в общее дело, эффективность или производительность труда, не говоря уже о нравственных заслугах каждого (и я еще

далеко не все упомянул). Исходя из этих соображений, ни один человек и даже ни один самый хитроумный компьютер не дал бы категорического ответа на наш вопрос. Распределение индивидов между профессиональными занятиями и должностями в значительной мере есть дело случая, и тот, кто потерпел неудачу, волен обвинять судьбу и отрицать собственную ответственность.

Все, кто писал о политике из стремления к истине, были в некотором роде демистификаторами. В эпоху, когда господствуют идеалы свободы и равенства, социологи более чем когда-либо принадлежат к школе подозрительности. Они не верят на слово речам общественных деятелей о себе самих. Наиболее смелые или наиболее пессимистичные, не имея уже перед собой образа хорошего общества или утратив надежду на него, судят свое общество с беспощадной строгостью. В самом деле, общество, провозглашающее равенство возможностей, тем не менее передает из поколения в поколение свою структуру, свои классы, своих власть имущих и своих подчиненных; люди этих классов сменяются в ходе времен, но семейная преемственность остается. Благодаря дипломам наследники получают дополнительное подтверждение своей легитимности.

На основе одних и тех же фактов социологи составляют себе несхожие представления о наших либеральных обществах. Неудивительно, что у детей из привилегированных семей больше возможностей преуспеть, чем у сына заводского или сельскохозяйственного рабочего. Чем последовательнее образовательная система объединяет детей в одних и тех же школах, создавая для них условия равенства по видимости, тем очевиднее становится неосуществимость равенства возможностей. Иллюзии, связанные с единой школой, рассеялись; но следует ли возмущаться тем, что шансы неравны, или радоваться тому, что шанс есть у многих, если уж не у всех?

Либеральное общество, как и любое другое, готовит молодых людей для жизни в обществе, внушает им некие ценности, некое понятие о добре и зле. В этом смысле люди, обладающие властью, занимающие видное положение, также навязывают свои символы. Надо ли возмущаться тем, что моральный авторитет законов или государства укрепляет власть правящего класса, придавая ей легитимный характер? Или стоит восхищаться относительной широтой выбора, которую Запад, неверующий и, возможно, находящийся в упадке, предоставляет каждой личности? Научная культура, универсалистская по своей природе, занимает сегодня первенствующее место в образовании молодежи. А ценности, распространяемые образовательной системой, склоняют скорее к критике существующего строя, чем к почтению перед ним.

Марксизм не выполняет больше задачу дискредитации либеральных, демократических режимов посредством утопии бесклассового общества или примером советской действительности. Но он способен питать некую разновидность нигилизма. Когда люди упорно настаивают на произвольном характере ценностей и неравенстве межличностных отношений в сравнительно наименее тиранических сообществах, они в конце концов перестают признавать самые очевидные факты, а именно: если современное общество воспроизводит себя — а оно не было бы обществом, если бы не воспроизводило себя, — то оно и изменяется быстрее, чем все общества прошлого. И либеральный порядок по своей природе сильнее отличается от тиранического порядка, который нам являет Советский Союз. Тот, кто считает, что между государственной идеологией в Москве и «символическим насилием» в Париже существует лишь разница в степени, в своем ослеплении социологизмом вводит людей в заблуждение относительно размеров ставки в споре нашего столетия.

Философы истории, являющиеся последователями А. Тойнби, утверждают, что Европа вновь обретет свой жизненный порыв только благодаря вере — христианству, или даже более узко — католицизму. Я, признаюсь, в этом не компетентен. Если бы я был верующим — иудеем или христианином, — я прилагал бы силы для распространения своей веры или своей истины. Не принадлежа к верующим никакой Церкви, я оставляю пустым место для трансцендентной веры и, что касается лично меня, держусь веры философа: исповедовать скорее сомнение, нежели отрицание. Многочисленные попытки согласования христианских догматов с современной наукой интересуют, но не убеждают меня. Однако если космология Ветхого Завета и нынешние космологии и не стыкуются, они могут сосуществовать, не противореча друг другу. Наука никогда не принесет людям ничего сравнимого с Заветом еврейского народа или с Откровением Христа.

Следуя своему методу, социология религий абстрагируется от сверхъестественного измерения. Может ли она ответить на вопрос: будет ли религиозным XXI век? Вероятно ли возрождение Католической Церкви, и в какой форме оно может произойти? Примет ли оно направление, которое хотели бы дать ему интегристы, или то, которое стремятся сообщить ему теологи Освобождения? Не чувствую себя вправе что-либо утверждать. Я больше верю в католицизм, проповедующий спасение каждой души, чем в Церковь как духовную помощницу революционных

движений (хотя этот второй вариант мне кажется почти неизбежным во многих странах Латинской Америки).

Оставив в стороне традиционные религии и сосредоточив свое внимание на светских религиях, прошел ли я мимо главного? Совершил ли я ошибку, или мне случайно не повезло, когда я взял экономику и войну в качестве тем для своих размышлений, в качестве главных характеристик нашей эпохи? Допускаю и собственную ошибку, и невезение. Но какой другой выбор я мог бы в действительности сделать? В период, когда сформировалось мое историческое сознание, Великая депрессия обостряла немецкий национализм и толкала Гитлера к власти, а Европу — к катастрофе. Марксизм, стоящий у власти в Москве, и антипролетарская революция в Берлине — вот исторические обстоятельства, продиктовавшие направление моих исследований. Я хотел стать историком современных мне революций и войн.

Что же, мне в самом деле не повезло? Вдохновившись германским историзмом Карла Маркса и Макса Вебера, я сошел с правильного пути — пути Дюркгейма и Тарда? Мое поколение, «зараженное» германскими идеями, которые Жан-Поль Сартр преобразил с несравненным блеском, уже принадлежит к прошлому? Возможно; и это не вызывает у меня никакой горечи. Тем не менее лучшие из социологов обращаются одновременно к Марксу и Веберу, очищенным от политических страстей, маскирующих их научную взаимодополняемость.

Что касается меня, то я не думаю, будто погружение в немецкую культуру и последующее увлечение аналитической мыслью англо-американцев увели меня в сторону от Франции. До 1939 года Германия была нашей судьбой. Вплоть до поражения Третьего рейха в 1945 году идеи, пришедшие из Германии, пронизывали мировую историю. Расизм принадлежал Германии не более, чем другим европейским странам, но Гегель, Маркс и их последователи, как и Ницше с его критикой идеологий, облекали смыслом, поясняли и освещали великие схватки за мировое господство.

После заката германских богов демократия в американском стиле, прагматичная, не склонная ни к какой метафизике, стремящаяся к семантической точности, оказалась лицом к лицу всего лишь с выродившимся вариантом гегельяно-марксистской традиции. Технизация планеты ускорилась. Марксистские мифы растаяли в конце концов почти сами собой, в свете фактов. Даже изменение экономической обстановки начиная с 1973 года (или, может быть, несколько раньше) не заставляет взглянуть по-новому на будущее человечества.

Глядя вперед, я не вижу оснований для оптимизма. Европейцы совершают самоубийство, сокращая рождаемость. Народы, чьи поколения не воспроизводят себя, обречены на старение и в связи с этим подвержены настроениям «конца века» и отречения. Они могут заполнять пустоты иностранцами, как и делали это во время «тридцати славных лет», но рискуют тем самым обострить напряженность между иммигрантами и своими трудящимися, которым грозит безработица. Синтез демократии и либерализма, смешанная экономика могут — вероятно, еще до конца этого века — подвергнуться испытаниям вследствие замедления роста, инфляции, расстройства денежной системы, высокой доли социальных дотаций в национальном продукте. Франция после подъема, на который уже почти не было надежды, теряет свое место в мире, не умея приспособиться к суровым требованиям конкуренции, полупарализованная внутренними распрями и живучестью анахроничных идеологий.

Соединенные Штаты утратили свое военное превосходство. Советский Союз накапливает оружие — для запугивания, но также и для вмешательства, когда представляется случай. Политический класс Американской республики, ее восточного побережья, вдохновлявший дипломатию и руководивший ею в течение четверти века, совершил самоубийство; будучи ответственным за войну во Вьетнаме, он свалил вину на Ричарда Никсона, который не покончил с ней достаточно быстро. Президенты Дж. Картер и Р. Рейган бросаются из одной крайности в другую. Консенсуса в отношении внешней политики больше не существует. Страна отныне недостаточно богата, чтобы финансировать одновременно социальное законодательство и перевооружение. Она еще сохраняет научное первенство, уникальный производственный аппарат, но стала непредсказуемой как для своих врагов, так и для своих союзников.

В Европе Федеральная Республика Германии, являющаяся более чем когда-либо краеугольным камнем Атлантического союза, кажется поколебленной. Находясь на передней линии, гранича с советской империей, она пытается сохранить на своей территории американскую армию, не раздражая при этом людей в Кремле. Пацифизм миллионов немцев снижает способность правительства принимать решения; выражает ли он закономерный страх перед страшным оружием или отказ от раздела, с которым немецкий народ мирится все хуже? Примирение между французами и немцами остается прочным, подлинным. Но пришел ли тот день, о котором упоминалось в спорах 50-х годов? Боннский канцлер, будь он социалистом или

консерватором, смотрит и в сторону угрожающего Востока, и в сторону защищающего Запада. Какое направление он изберет в конце концов?

Если бы я поддался мрачному настроению, то сказал бы, что все идеи, все цели, за которые я боролся, оказались, по-видимому, в опасности в тот самый момент, когда со мной задним числом соглашаются и допускают, что в большинстве моих сражений я не был неправ. Но я не хочу поддаваться унынию. Режимы, которые я защищал и в которых кое-кто видит уже только способ маскировки власти, по своей сути произвольной и насильственной, эти режимы непрочны и беспокойны; но до тех пор, пока они останутся свободными, в них сохранятся неожиданные возможности. Мы будем продолжать жить, жить долго, под сенью ядерного апокалипсиса, разрываясь между страхом, который внушает чудовищное оружие, и надеждой, которую пробуждают в нас чудеса науки.

Мне не хотелось бы закончить эту слишком длинную ретроспективу размышлениями о текущей истории. По определению, она продолжается; точка, в которой она останавливается для меня, ничего не значит ни сама по себе, ни для других людей. Профессиональная деятельность — статьи, книги, преподавание — не заполняли всей моей жизни. Моей жене, моим детям, внукам, друзьям я обязан тем, что живу свои последние, подаренные мне (после 1977-го) годы не в тоскливом предчувствии смерти, а в состоянии душевного покоя. Благодаря им я принимаю как должное смерть (что нетрудно), но сначала — последствия эмболии и возрастные изменения (что тяжелее). Мне вспоминается выражение, которое я, двадцатилетний, употреблял иногда в беседах с однокашниками и с самим собой: «достичь духовного спасения вне религии». С Богом или без Бога, никто в конце жизни не знает, спас он себя или погубил. Благодаря моим близким, о которых я так мало рассказал и которые так много мне дали, я вспоминаю эту формулу без страха и без щемящей тревоги.

Комментарии

[1] *…о деле Дрейфуса.* — Альфред Дрейфус (1859–1935), офицер французского Генерального штаба, еврей по национальности, в 1894 г. был приговорен к пожизненному заключению военным судом города Ренн по обвинению в передаче военных секретов Германии. Истинным виновником предательства был Эстергази, венгерский аристократ, служивший во французской армии и пользовавшийся покровительством французских генералов и парижской аристократии. Дело Дрейфуса вызвало раскол во французском обществе. В защиту Дрейфуса выступили известные политики и деятели культуры, в том числе писатель Эмиль Золя, лидер социалистов Жан Жорес и др. В результате ожесточенных столкновений дрейфусаров и антидрейфусаров Франция оказалась на грани гражданской войны. В конце 1899 г. дело Дрейфуса пересматривалось в суде Ренна. Дрейфус был вторично осужден и приговорен к 10 годам лишения свободы, но через 10 дней помилован президентом Лубе, а в 1906 г. полностью реабилитирован Кассационным судом и восстановлен в воинском звании. Впоследствии награжден орденом Почетного легиона. Службу закончил в звании подполковника.

[2] *…в эпоху четырех мушкетеров…* — В конце 20-х годов во Франции «четырьмя мушкетерами» называли четырех лучших теннисистов страны — Жана Боротра, Анри Коше, Жана Бруньона и Рене Лакоста. В 1927–1932 гг. они выигрывали Кубок Девиса — награду неофициального первенства мира. Наиболее известен из них Жан Боротр — неоднократный победитель первенства Франции и основатель Международного теннисного клуба.

[3] *Коллеж де Франс* — первый во Франции светский университет с преподаванием гуманитарных и естественно-математических наук, основан в 1530 г. В Коллеж де Франс нет экзаменов, вход на лекции свободный. Он не выдает дипломов и не присваивает ученых степеней.

[4] *Ланча* — итальянская автомобильная фирма, выпускавшая в 20-х — 30-х годах XX в. престижные автомашины. Ныне входит в концерн «Фиат».

[5] *Поражение Франции подвело черту…* — Имеется в виду поражение Франции в войне с Германией в 1940 г. В Компьене 22 июня 1940 г. правительство Петена подписало договор о перемирии, кабальные условия которого превратили Францию в фактического вассала фашистской Германии. По условиям договора, 2/3 французской территории было оккупировано

фашистскими войсками. Неоккупированная зона на Юге Франции находилась под управлением прогитлеровского режима, названного *правительством Виши,* т. к. местом своего пребывания оно избрало курортный город Виши. В соответствии с договором о перемирии Франция формально вышла из войны, но фактически продолжала ее на стороне Германии, поскольку вишистское правительство предоставило экономику и промышленность Франции в распоряжение гитлеровцев и ежедневно перечисляло на содержание войск оккупантов 400 млн. франков. В ноябре 1942 г. после высадки американских войск в Северной Африке германские войска полностью оккупировали территорию Франции, лишив правительство Виши даже видимости самостоятельности. Окончательная ликвидация власти Виши произошла в августе 1944 г. в результате действий войск антигитлеровской коалиции.

[6] *Высшая коммерческая школа* — высшее учебное заведение в Париже, где преподается маркетинг, финансы, общий менеджмент, международный менеджмент, бухгалтерское дело.

[7] *Высшая нормальная техническая школа* — высшее учебное заведение в Париже, которое готовит преподавателей технических институтов.

[8] *Ален* (наст. имя Эмиль-Огюст Шартье; 1868–1951) — французский писатель, философ и социолог, сторонник традиционного образования. Приверженец идей гармонии человека и природы. Преподавал философию в провинциальных и столичных лицеях. Автор моралистических эссе («Суждения»), книг по философии и эстетике.

[9] *…как выразился бы Зигфрид…* — Андре Зигфрид (1875–1959) — известный французский экономист и политолог, профессор Коллеж де Франс. Автор книг «Канада, два народа, современные политические проблемы», «Англия сегодня, ее экономические и политические проблемы», «Кризис Европы», «Путешествие в Индию», «Пути Израиля», «От Третьей республики к Четвертой» и др.

[10] *Эколь Нормаль* (Ecole normale superieure) — Высшая педагогическая школа. В тексте Арон употребляет студенческое выражение Эколь Нормаль или Эколь (Школа).

[11] *…honoris causa…* (лат.) — Ученая степень, присуждаемая за научные заслуги, без защиты диссертации.

[12] *…диалоги Горация и Куриация…* — Гораций и Куриаций — действующие лица трагедии П. Корнеля «Гораций». Гораций — римлянин, женат на сестре Куриация. Куриаций — гражданин города Альба-Лонга, находящегося во враждебных отношениях с Римом. Жених сестры Горация Камиллы.

[13] *Камеди Франсез* — старейший театр Франции, субсидируется и контролируется государством. Директор театра, именуемый «генеральным администратором», назначается декретом Совета министров.

[14] *«…Ты — отныне мне чужой»…* — Цитата из трагедии П. Корнеля «Гораций» (д. 2, сц. 3). Пер. Н. Рыковой.

[15] *…играли Поль Муне и Эскан*д… — Жан-Поль Муне (1847–1922) — французский актер, брат известного актера Муне-Сюлли; Морис Эскан (1898–1973) — актер и продюсер театра Комеди Франсез, киноактер.

[16] *…«Я обвиняю», брошюру Жореса.* — Речь идет о письме французского писателя Эмиля Золя в защиту Дрейфуса (см. примеч. 1), адресованном президенту Франции и напечатанном в газете «Орор», которое начинается словами «Я обвиняю», и о брошюре Жана Жореса «Доказательства. Дело Дрейфуса».

[17] *Я записался в Колониальную морскую лигу…* — Морская колониальная лига — юношеская организация, культивировавшая имперские настроения и ультрапатриотические идеи.

[18] *…воспел величие «маленького капитана».* — Вероятно, речь идет о Дике Сенде, герое романа Ж. Верна «Пятнадцатилетний капитан».

[19] *«Аксьон франсез»* — крайне реакционная католическо-монархическая организация, возникла в 1898 г. Выступала за восстановление во Франции монархии во главе с потомками Бурбонов и усиление роли Церкви в делах государства. В числе ее руководителей были писатель-монархист Шарль Моррас, Леон Доде, сын писателя Альфонса Доде, исповедовавшего республиканские взгляды, Жорж Валуа, который впоследствии отошел от этой организации. «Аксьон франсез» принимала активное участие в фашистском мятеже 6 февраля 1934 г. Поддерживала правительство Виши. В 1944 г. была запрещена. Морраса приговорили к пожизненному заключению. В 1952 г. вскоре после помилования он умер.

[19а] *…режим… «фишек».* — «Фишками» называли сторонников генерала Андре, военного министра в 1901–1904 гг., который попытался ввести в систему продвижение офицеров по служебной лестнице в зависимости от их политических и религиозных взглядов, вписанных в особые карточки («fiches»). Дело о «фишках» породило яростную полемику в армии, общественном мнении и парламенте, что вызвало отставку генерала Андре.

[19б] *Я, как мог, спорил с учителем…* — В споре с преподавателем истории, грубо отозвавшемся о радикалах, которые выступали за пересмотр дела Дрейфуса (см. примеч. 1) и в то время не однажды возглавляли правительства (кабинет

Мелина и кабинет Бриссона), Арон справедливо указал на фальсифицированный характер вторичного процесса над Дрейфусом.

[20] *…припомнив все: и телеграмму, и патриотическую фальшивку…* — Речь идет о сообщении, полученном по пневматической почте (le petit bleu), которое было адресовано Эстергази германским военным атташе Шварцкоппеном. Кроме того, на вторичном процессе в г. Ренне (см. примеч. 1) в качестве доказательства вины Дрейфуса фигурировало письмо итальянского военного атташе Паниццарди своему немецкому коллеге, в котором содержались сведения, уличающие обвиняемого. Это письмо оказалось фальшивкой. Полковник Анри, офицер секретной осведомительной службы, написал его из ложного чувства патриотизма, стремясь сохранить престиж армии. Невиновность Дрейфуса была окончательно подтверждена в 1930 г., после опубликования «Записок» германского военного атташе Шварцкоппена.

[21] *…от священного единения.* — Арон имел в виду сплочение французской нации в годы Первой мировой войны.

[22] *В момент подписания Версальского договора…* — Версальский договор подписан 28 июня 1919 г. Предусматривал возвращение Франции Эльзаса и Лотарингии, которых она лишилась после франко-прусской войны 1870 г. Левый берег Рейна и 50-километровая полоса по правому берегу подлежали демилитаризации и оккупации союзными войсками. Франция получала на 15 лет угольные копи Саара. Германия теряла свои колонии и должна была оплатить убытки, понесенные странами-победительницами в результате Первой мировой войны. К началу Второй мировой войны гитлеровская Германия нарушила все основные условия Версальского договора, в частности, уже в 1936 г. возвратила себе территории, оккупированные союзными войсками, — Рур и Рейнскую область.

[23] *Он голосовал… за Национальный фронт…* — Имеется в виду Национальный блок, созданный в 1919 г. перед выборами в Палату депутатов на основе идеи «республиканского, национального и социального объединения». В него вошли почти все буржуазные организации Франции. На выборах 1919 г. Национальный блок одержал победу.

[24] *…за объединенных левых…* — Речь идет о Левом блоке, образованном в 1924 г. перед выборами в Палату депутатов на основе отошедших от Национального блока левых партий — радикал-социалистов, республиканских социалистов, социалистов и «радикальной левой» группы. Левый блок выступал под лозунгами демократии и пацифизма во внешней и внутренней

политике. На выборах 11 мая 1924 г. одержал победу, получив большинство мандатов — 328.

[25] *…не был приверженцем Р. Пуанкаре…* — Раймон Пуанкаре (1860–1934) — французский государственный деятель, президент Франции в 1913–1920 гг., неоднократно назначался премьер-министром и министром. Известен как сторонник жесткой, милитаристской политики, в результате чего заслужил прозвище «Пуанкаре-война». Один из организаторов интервенции против Советской России в 1918–1920 гг.

[26] *Леон Брюнсвик* (1869–1944) — французский философ, представитель критического рационализма. Выступал за применение в философии научного метода, который рассматривал как независимую от объективного мира активность разума.

[27] *Агреже* — ученая степень во Франции, дающая право преподавать в лицеях и на естественнонаучных и гуманитарных факультетах университетов (в качестве ассистента).

[28] *Жан-Поль Сартр* (1905–1980) — французский философ, писатель и публицист, глава французского экзистенциализма (см. примеч. 143). Стремился к переосмыслению марксизма в духе экзистенциальной антропологии. Автор книг «Бытие и ничто», «Критика диалектического разума», незавершенной трилогии «Дороги свободы», пьес-притч «Мухи», «Дьявол и Господь Бог» и др. В 1934 г. Сартру была присуждена Нобелевская премия по литературе, от которой он отказался.

[29] *Эммануэль Мунье* (1905–1950) — французский философ, один из основоположников персонализма, сторонник христианского социализма.

[30] *Даниель Лагаш* (1903–1972) — выдающийся французский психолог и психоаналитик. Автор трудов по социальной психологии, психиатрии и психоанализу.

[31] *Башляр* — Гастон Башляр (1882–1962), французский психоаналитик, философ и литературовед, профессор Сорбонны. Основатель психоаналитического метода во французском литературоведении. Основоположник школы психокритиков. Автор книг «Земля и грезы о покое», «Грезы о воздухе», «Вода и грезы». Занимался исследованиями характеристик научно-познавательной деятельности и структуры научного знания. Автор трудов по теории познания и проблемам воображения. Оказал большое влияние на французскую школу «новой критики».

[32] *…маргинальным… преподаванием.* — Очевидно имеется в виду преподавание в не слишком престижных учебных заведениях.

[33] *…оригинальным толкованием пари.* — Имеется в виду

аргумент Паскаля: заключая пари на то, что Бог существует, человек ничего не теряет, а приобретает все.

[34] *Реформа Леона Берара* — реформа среднего образования во Франции в 1921–1923 гг., предусматривала монополизацию государством «классического образования». Вскоре была отменена.

[35] *дуар Эррио* (1872–1957) — лидер французской партии радикалов. С 1916 г. неоднократно занимал министерские посты, трижды был премьер-министром Франции. В 1924 г. правительство Эррио установило дипломатические отношения с СССР, а в 1932 г. подписало советско-французский договор о ненападении. В 1947–1954 гг. Эррио был председателем Национального собрания Франции, в 1905–1955 гг. неоднократно занимал пост мэра города Лион.

[36] *…(о Лабрюйере)…* — Жан де Лабрюйер (1645–1696) — французский писатель-моралист, мастер афористичной публицистики. Автор книги «Характеры, или Нравы нашего века», содержащей сатирические портреты представителей высших сословий.

[37] *Поль Валери* (1871–1945) — французский поэт и мыслитель. Долгое время преподавал в Коллеж де Франс. Автор сборников интеллектуальной поэзии и философско-эстетических эссе о Малларме, Бодлере, Леонардо да Винчи и др., а также размышлений о природе творчества (Тетради, 1894–1945).

[38] *Марсель Мосс* (1872–1950) — французский этнограф и социолог, племянник и ученик известного французского социолога Э. Дюркгейма. Разделял идеи Жана Жореса. Автор работ об архаических обществах.

[39] *Низан* — Поль-Ив Низан (1905–1940), французский писатель и журналист левого направления.

[40] *«Сент-Анн»* — название психиатрической лечебницы в Париже.

[41] *…в программу включили Малларме…* — Стефан Малларме (1842–1898) — французский поэт, основатель символизма. Автор драматических поэм «Иродиада», «Удача никогда не упразднит случая», сборников стихов, филологических трудов и литературно-критических статей.

[42] *ЭНА тогда не существовала.* — École Nationale d’Administration — высшее учебное заведение, готовящее с 1945 г. высшие кадры для государственной службы.

[43] *…синерубашечников Жоржа Валуа.* — Члены «Аксьон франсез» (см. примеч. 19) носили синюю форму.

[44] *Гуссерль* — Эдмунд Гуссерль (1859–1938), немецкий философ, основоположник феноменологии. Автор трудов

«Логические исследования», «Идеи чистой феноменологии и феноменологической философии», «Кризис европейской науки и трансцендентальная феноменология» и др.

[45] *Хайдеггер* — Мартин Хайдеггер (1889–1976), немецкий философ, один из основоположников немецкого экзистенциализма. Ученик Гуссерля. Автор работ о бытии («Бытие и время») и о происхождении метафизического способа мышления.

[46] *Степень лиценциата* — ученая степень, присуждаемая в университетах после 2-го цикла высшего образования по общей специальности.

[47] *Э. Леруа* — Эдуар Леруа (1870–1954), французский математик и философ, последователь Бергсона, представитель католического модернизма. Дружил с Тейаром де Шарденом, известным французским философом и католическим богословом.

[48] *Дельбос* — Виктор Дельбос (1862–1916), французский философ, профессор Сорбонны, член Академии моральных и политических наук. Автор работ «Проблемы морали в философии Спинозы и в истории спинозизма», «Основы метафизики морали по Канту», «Личности и доктрины философии», «Французская философия».

[49] *Огюст Конт* (1798–1857) — французский математик, философ и социолог, основатель школы позитивизма и социологии. Выдвинул теорию трех стадий интеллектуальной эволюции человечества (теологической, метафизической и позитивной, или научной), определяющих развитие общества. Разработал классификацию наук по степени уменьшения их абстракции. Автор сочинений «Курс позитивной философии» и «Система позитивной политики».

[50] *«Новые философы»* — созданное в середине 70-х годов объединение молодых философов, социологов, историков и журналистов Франции, приверженцев леворадикальных идей, которые стремились осмыслить уроки событий мая — июня 1968 г. (см. гл. XVIII). Выступали за нетрадиционное понимание истории и места человека в ней, проблем социальной революции и общественного прогресса. В центре внимания «новых философов» были проблемы механизма власти и угнетения, связь власти с наукой, идеологией и знанием, возможность протеста личности против отчуждающих систем. Наиболее известны Б.-А. Леви, А. Глюксман, Г. Лардро, К. Жамбе.

[51] *«Китайские мандарины».* — Так в шутку называли университетских администраторов высшего ранга.

[52] *Александр Койре* (наст. имя Александр Владимирович Койранский; 1892–1964) — французский философ, занимавшийся

философией науки, историей науки и философии. Автор трудов по истории философии, мистики и естествознания XVI–XVII вв.

[53] *Габриель Марсель* (1889–1973) — французский философ, драматург и литературный критик, основоположник христианского экзистенциализма, призывавший к возврату к античной философии и рассматривавший философию как синтез мудрости, поэзии и религии. Подлинный мир бытия он противопоставлял миру обладания, интуитивное постижение — рациональному познанию. Автор книги «Быть и иметь». В основе его драм «Расколотый мир», «Жажда», «Рим больше не Рим» лежат религиозно-моральные конфликты.

[54] *Жан Валь* (1888–1961) — французский философ, драматург и литературный критик. Преподавал в университетах Безансона, Нанси, Лиона, затем в Сорбонне. Автор работ «Плюралистические философии Англии и Америки», «Роль мгновения в философии Декарта», «Беда сознания в философии Гегеля», «На пути к конкретному», «Философии существования» и др.

[55] *Альфред Фабр-Люс* (1899–1983) — французский писатель и публицист. Автор книг «Бенжамен Констан», «История европейской революции», «Завтра в Алжире», «Самый знаменитый француз» и др.

[56] *Эли Алеви* (1870–1937) — французский политический писатель и философ, профессор Свободной школы политических наук. Автор книг «Платоновская теория наук», «Формирование философского радикализма», «История английского народа в XIX веке».

[57] *Андре Моруа* (наст. имя Эмиль Эрцог; 1885–1967) — французский писатель, автор романизированных биографий Шелли, Байрона, Бальзака, Тургенева, Жорж Санд, Гюго и др., психологических романов «Превратности судьбы», «Семейный круг» и «Мемуаров».

[58] *Люсьен Эр* (1864–1926) — французский ученый-эрудит. Директор библиотеки в Высшей нормальной школе. Оказал большое влияние на французскую интеллигенцию, увлек Жореса и Блюма (см. примеч. 108) идеями социализма. Защищал невиновность Дрейфуса.

[59] *ВКТ* — Всеобщая конфедерация труда. Создана в 1895 г. на съезде профсоюзных организаций в Лиможе. В 1921 г. в ВКТ произошел раскол. Большая часть ее организаций находилась под влиянием коммунистов.

[60] *Пьер Анри Симон* (1903–1972) — французский писатель и публицист, член Французской академии. Работал в газете «Монд», журналах «Ревю де Пари» и «Эспри». Автор книг «Люди не хотят умирать», «Франция больна», «Портрет офицера», «Сомнамбула»,

«История французской литературы XX века» и др.

[61] *СФИО* — Французская социалистическая партия. Создана в 1905 г., до 1969 г. называлась Французская секция Рабочего интернационала. Играла важную роль в политической жизни Франции. В 1920 г. от СФИО откололось большинство, организовавшее коммунистическую партию. В период между двумя мировыми войнами СФИО входила в Народный фронт, а ее лидер — Леон Блюм (см. примеч. 108) возглавлял правительство. В 1940 г. партия практически распалась. Часть ее поддержала правительство Виши. После Второй мировой войны партия была воссоздана, а ее лидеры неоднократно возглавляли правительства при Четвертой республике. С начала 60-х годов СФИО находилась в оппозиции к режиму Пятой республики. В 1969 г. прекратила свое существование, а в 1971 г. на объединительном съезде в Эпине на ее основе была создана Социалистическая партия Франции. Лидером ее стал Франсуа Миттеран.

[62] *…в секцию Пятого округа.* — Пятый округ расположен на левом берегу Сены, в пределах исторического центра Парижа.

[63] *Кэ д'Орсе.* — Так обычно называют французское Министерство иностранных дел, которое находится в Париже на набережной Орсе.

[64] *«Пустыня любви», «Поцелуй, подаренный прокаженному», «Дневник Салавена».* — «Пустыня любви», «Поцелуй, подаренный прокаженному» — рассказы, написанные писателем Франсуа Мориаком (1885–1970), «Дневник Салавена» принадлежит перу писателя Жоржа Дюамеля (1884–1966).

[65] *…обоих Лабриола…* — Антонио Лабриола (1843–1904) — итальянский философ, теоретик и пропагандист марксизма. Автор Атомного труда «Очерки материалистического понимания истории»; Артуро Лабриола (1873–1959) — один из лидеров и теоретиков революционного синдикализма в Италии.

[66] *Народный фронт* — союз левых партий Франции. Создан в 1935 г. после попытки фашистского переворота 6 февраля 1934 г. для борьбы с фашизмом и реакцией. В Народный фронт вошли ФКП, СФИО, партия радикалов и радикал-социалистов и 45 других организаций. Программа Народного фронта предусматривала разоружение и фактический роспуск полувоенных фашистских организаций; отмену законов и чрезвычайных декретов, ограничивающих свободу печати; проведение демократической реформы налоговой системы с перенесением тяжести обложения на крупные состояния; принятие мер против возраставшей утечки капиталов за границу; борьбу с последствиями аграрного и торгового кризиса; реформу законов, касающихся банков; национализацию военной

промышленности; обеспечение коллективной безопасности посредством автоматического и солидарного применения санкций в случае агрессии; укрепление франко-советского договора и т. д. На выборах в Палату депутатов в апреле — мае 1936 г. Народный фронт одержал убедительную победу, получив большинство голосов. Сформированное вслед за этим правительство возглавил лидер социалистов Л. Блюм. Оно находилось у власти до 1938 г. и провело ряд законов, улучшающих положение трудящихся во Франции. Благодаря движению Народного фронта во Франции было предотвращено установление фашистской диктатуры. Однако французской реакции удалось расколоть Народный фронт, и в 1938 г. он практически распался.

67 *«Ночь длинных ножей».* — Так нацисты назвали кровавую расправу, учиненную 30 июня 1934 г. над штурмовиками и их руководителем Ремом, которых заподозрили в желании убрать Гитлера. По официальным данным, вероятно приуменьшенным, в эту ночь погиб 401 человек.

68 *Нюрнбергские законы* — расистские законы, устанавливали различие между «государственной принадлежностью» и гражданством. Гражданином Германии мог быть только ариец.

69 *Эмиль Дюркгейм* (1858–1917) — французский социолог, основатель французской социологической школы. Автор сочинений «О разделении общественного труда», «Самоубийство», «Элементарные формы религиозной жизни», «Метод социологии» и др.

70 «*Кнок*» — пьеса Жюля Ромена, представляет собой сатиру на человеческое легковерие. Была экранизирована.

71 *Левый берег Сены.* — Эта часть Парижа считается его интеллектуальным центром. Там расположены Сорбонна, Французская академия, различные научные учреждения, библиотеки, книжные магазины.

72 *…не очень юных выпускниц Севра…* — В Севре под Парижем прежде находилась женская Высшая нормальная школа.

73 *Мюнхенское соглашение.* — Подписано в 1938 г. премьер-министрами Великобритании (Н. Чемберленом) и Франции (Э. Даладье) и фашистскими диктаторами Германии (А. Гитлером) и Италии (Б. Муссолини). Предусматривало отторжение от Чехословакии и передачу Германии Судетской области и ряда других районов, а также передачу некоторых территорий Польше и Венгрии. Правительство Чехословакии даже не было осведомлено о подготовке такого соглашения. Мюнхенское соглашение стало кульминационным пунктом в политике «умиротворения» фашистских агрессоров, которая

проводилась правительствами Великобритании и Франции накануне Второй мировой войны, стремившихся отвести от себя угрозу путем соглашения с фашистскими государствами за счет малых европейских стран, направляя германскую агрессию на восток, против Советского Союза.

[74] *«Укоренение»* — книга Симоны Вейль, опубликованная посмертно в 1950 г.

[75] *Начиная с февраля 1934-го…* — Речь идет о провале фашистского путча во Франции 6 февраля 1934 г. В этот день парижане вышли на улицы, чтобы оказать сопротивление фашистским мятежникам.

[76] *…бывший президент Республики…* — Бывший президент Франции Г. Думерг, уже отошедший от дел и живший в своем имении, возвратился в Париж и 10 февраля 1934 г. сформировал правительство, куда вошли Петен (военный министр), Лаваль (министр колоний), Фланден (министр общественных работ) — те, кто через несколько лет возглавили профашистский режим Виши.

[77] *…главные представители Франкфуртской школы* — Франкфуртская школа немецкой философии и социологии возникла в 30-х годах XX в. Ее центром стал Институт социальных исследований во Франкфурте-на-Майне. Основные представители — М. Хоркхаймер, Т. Адорно, Г. Маркузе, Э. Фромм, Ю. Хабермас. В философско-социологической «критической теории общества» пыталась сочетать почерпнутый у К. Маркса критический подход к буржуазной культуре с идеями гегелевской диалектики и психоанализом З. Фрейда. Франкфуртская школа оказала влияние на развитие социально-философской мысли в США и ФРГ. Углубление противоречий внутри этой школы привело к ее распаду в начале 70-х годов.

[78] *Rector magnificus* (лат.) — великолепный правитель — почтительное наименование ректора университета, употребляемое в торжественных актах, юбилейных адресах и т. д.

[79] *РПФ* — «Объединение французского народа» — политическая организация, которую создали генерал де Голль и его сторонники с целью ликвидации «режима партий» и коренной реформы государственного строя Франции. Вело активную политическую деятельность до 1953 г. В дальнейшем практически себя не проявляло. В 1958 г. его роль перешла к новой партии голлистов — Союзу за новую республику (ЮНР).

[80] *Генерал.* — Имеется в виду генерал де Голль. Следует сказать, что Арон относился к нему достаточно неприязненно еще со времен Второй мировой войны, когда сотрудничал в издававшемся в Лондоне журнале «Франс либр», считая де Голля

авторитарной личностью. Впоследствии в своих работах Арон резко критиковал его за антиизраильскую позицию во время арабо-израильской войны 1967 г.

[81] *«Критика чистого разума»* — работа Канта, *«Феноменология духа»* — Гегеля, *«Бытие и время»* — Хайдеггера, *«Бытие и ничто»* — Сартра.

[82] *Ему не понадобилось ни Кронштадта, ни Будапешта.* — Речь идет о подавлении большевиками Кронштадтского мятежа (март 1921 г.), поднятого матросами и рабочими. Восстание проходило под лозунгами «Советы без коммунистов», «Профсоюзы без коммунистов», с требованиями свободы слова. На подавление мятежа были направлены части Красной Армии под командованием М. Н. Тухачевского. Во время разгрома погибли тысячи людей как с той, так и с другой стороны. Упоминание Ароном Будапешта связано с волнениями в Венгрии, вызванными неприятием сталинской модели социализма, которые переросли в народное восстание против коммунистического режима. В октябре — ноябре 1956 г. новый руководитель страны И. Надь выступил за нейтральный статус Венгрии и выход страны из Варшавского договора. В результате вторжения советских войск восстание было подавлено, а к власти в Будапеште пришло просоветское правительство Я. Кадара.

[83] *…в далекой Тартарии…* — Имеется в виду Советский Союз. Арон соединил слова Татария и Тартар — в древнегреческих мифах часть подземного царства, где находился ад.

[84] *…он уже думал… о встрече Гёте с Наполеоном.* — Встреча Наполеона с Гёте состоялась во время пребывания Бонапарта в Пруссии в сентябре — октябре 1808 г., куда он прибыл для переговоров с Александром I (Эрфуртское свидание 1808 г.). Наполеон специально ездил в Веймар навестить Гёте, которого считал величайшим писателем Европы.

[85] *…о посещении Шатобрианом Карла X…* — Встреча французского писателя Шатобриана с Карлом X произошла в мае — июне 1833 г. в Праге, где французский король жил после своего отречения. Писатель был принят также герцогиней Беррийской, матерью бывшего монарха. Упав перед ней на колени, Шатобриан воскликнул: «Мадам, ваш сын — до сих пор мой король!» Когда об этом стало известно во Франции, с публичной карьерой Шатобриана, властителя дум в ту эпоху, было покончено. Отныне и до своей кончины в 1848 г. он остался только автором «Замогильных записок».

[86] *…цитируют его книгу «Введение в чтение Гегеля»…* — Переведена на русский язык: *Кожев А.* Идея смерти в философии Гегеля: Введение в чтение Гегеля. М.: Логос, 1998. — 208 с.

[87] *Оливье Вормсер* (1913–1985) — французский банкир, дипломат, президент Французского банка. Был представителем ФКНО (Французский комитет национального освобождения) в Лондоне, советником французского МИД, начальником управления по делам экономики и финансов МИД, постоянным представителем Франции при Европейской организации экономического сотрудничества (ОЕСЕ).

[88] *Отец Жозеф* (1577–1638) — монах ордена капуцинов, занимался миссионерской деятельностью в Канаде, Ливане и Марокко. После знакомства с кардиналом Ришелье сделался его приближенным, доверенным лицом и главным советником в международных делах, за что заслужил прозвище «серый кардинал». Отличался острым умом и ловкостью в улаживании особо сложных дел. Именно поэтому Ришелье давал ему наиболее деликатные поручения. Участвовал в составлении текстов ряда международных договоров, в частности договора об окончании Тридцатилетней войны.

[89] *…после заключения германо-советского пакта…* — Советско-германский пакт о ненападении подписан 23 августа 1939 г. В соответствии с этим договором обе стороны обязались воздерживаться от агрессивных действий в отношении друг друга. В случае нападения третьей державы на одну из сторон другая сторона не должна была оказывать поддержки нападающей державе. Стороны обязались не участвовать в группировках держав, направленных против одной из сторон, и разрешать все споры между собой мирным путем. К договору прилагался секретный протокол, официально обнародованный только в начале 90-х годов, по которому Латвия, Литва и Эстония, часть территории Финляндии (Корельский перешеек), восточные области Польши (Западная Украина и Западная Белоруссия) и Бессарабия были признаны «сферой интересов» СССР.

[90] *ОЭСР* — Организация экономического сотрудничества и развития, объединение промышленно развитых государств, созданное в 1960 г. для согласования общей экономической и торговой политики стран-участниц.

[91] *Салазар* — Антониу ди Оливейра Салазар (1889–1970), глава правительства Португалии в 1932–1968 гг., основатель партии Национальный союз. Установил в Португалии режим фашистского типа, став фактическим диктатором страны.

[92] *…книги… Робера Арона…* — Речь идет об однофамильце, а не брате автора.

[93] *Апории* (греч.) — в античной философии — логические затруднения, непреодолимые противоречия при разрешении проблемы. Особенно известны апории древнегреческого

философа Зенона Элейского (V в. до н. э.), обнаруживающие диалектическую противоречивость понятия движения.

[94] *…повторялась фраза Валери…* — См. примеч. 37.

[95] *Социодицея* — слово образовано по аналогии с «теодицея» — богословское сочинение, посвященное доказательству благости Бога.

[96] *Правительство «национального единства».* — Сформировано в 1931 г. лейбористом Д. Макдональдом. Предприняло действенные меры по преодолению последствий для Англии мирового кризиса 1929–1930 гг., в результате чего удалось приостановить упадок экономики страны и консолидировать ее политические силы.

[97] *Дело Ставиского* — афера биржевых спекулянтов в 1933 г., которой руководил русский эмигрант авантюрист А. Ставиский. Подлогов и махинаций было совершено на 12 млн. долларов. В деле оказались замешаны французские министры, депутаты и журналисты. Когда афера раскрылась, Ставиский бежал в Швейцарию и там покончил жизнь самоубийством. Дело Ставиского использовали реакционные силы во Франции для проповеди идеи «сильного государства».

[98] *…переводы крупных чиновников из Префектуры полиции в Комеди Франсез…* — В 1934 г. на сцене Комеди Франсез был поставлен «Кориолан» Шекспира. Театр стал местом ежевечерних бурных столкновений из-за спектакля, который был поднят на щит французскими фашистами-кагулярами. В результате правительству пришлось снять его из репертуара и заменить администрацию театра чиновниками из Префектуры.

[99] *«Боевые кресты»,* или «Огненные кресты» — праворадикальная группировка — создана в 1927 г. из бывших участников Первой мировой войны, награжденных Военным крестом. В 1931 г. организацию возглавлял полковник де Ла Рок. «Боевые кресты» участвовали в неудавшемся фашистском путче 6 февраля 1934 г. В 1936 г. декретом правительства Народного фронта группировка была распущена. На ее основе де Ла Рок создал Французскую социальную партию, которая поддерживала режим Виши, тем не менее в 1942 г. была распущена оккупационными германскими властями. Де Ла Рока арестовали и вывезли в Германию.

[100] *…в комитет бдительности интеллигентов-антифашистов…* — Имеется в виду Антифашистский комитет бдительности. Созданный в марте 1934 г. по инициативе физика Поля Ланжевена, этнографа Поля Риве и философа Алена, он объединил демократически настроенную часть французской интеллигенции.

[101] *…совместной декларации двух правительств…* — Речь идет о советско-французском коммюнике, подписанном во время визита министра иностранных дел Франции Лаваля в Москву 13–15 мая 1935 г. В коммюнике говорилось, что усилия обеих стран «направляются к одной существенной цели — к поддержанию мира путем организации коллективной безопасности». Подчеркивалось также, что Сталин «высказал полное понимание и одобрение политики государственной обороны, проводимой Францией в целях поддержания своих вооруженных сил на уровне, соответствующем нуждам ее безопасности». Была особо отмечена необходимость «безотлагательного осуществления регионального восточноевропейского пакта в составе ранее намечавшихся государств и содержащего обязательства ненападения, консультации и неоказания помощи агрессору».

[102] *…символизируют величие и неволю политики.* — Автор перефразирует заголовок книги Альфреда де Виньи «Неволя и величие солдата».

[103] *…по случаю убийства… канцлера Дольфуса…* — Энгельберт Дольфус (1892–1934) — австрийский государственный и политический деятель, с 1932 г. федеральный канцлер Австрии, один из лидеров Христианско-социальной партии. В 1934 г. подписал Римские протоколы, поставившие политику Австрии в зависимость от Италии, что противоречило планам Гитлера. В том же году убит сторонниками присоединения Австрии к Германии.

[103а] *…называли… «Аксьон франсез»…* — Здесь речь идет о периодическом издании — газете «Аксьон франсез».

[104] *…против ратификации франке-советского договора.* — Советско-французский договор о взаимной помощи подписан в Париже 2 мая 1935 г. Предусматривал немедленные консультации обеих стран в случае угрозы нападения какого-либо европейского государства на одну из них для принятия мер согласно статье 10 Устава Лиги Наций. В случае, если одна из договаривающихся сторон явилась бы предметом неспровоцированного нападения со стороны какого-либо европейского государства, они обязались оказывать друг другу немедленную помощь и поддержку, включая меры военного характера. К сожалению, положительное значение договора умалялось тем, что он был лишен автоматизма и не был дополнен военной конвенцией. После заключения договора с Советским Союзом французское правительство, ссылаясь на то, что хочет придать этому документу большее значение, решило провести его ратификацию парламентом, хотя это мог сделать президент республики. Французская Палата депутатов ратифицировала

договор 27 февраля 1936 г., а Сенат — 12 марта того же года, т. е. только через 10 месяцев после его заключения.

[105] *…«На протяжении двух недель Бенвиль…»* — Жак Бенвиль (1879–1936) — французский писатель и историк, член Французской академии. Находился под влиянием Шарля Морраса (см. прим. 19), примкнул к монархическому движению и к «Аксьон франсез». Автор книг «Удар по Агадиру и война на Востоке», «История двух народов», «Диктатор», «Политические последствия мира», «Наполеон», «Третья республика, 1870–1835». В своих работах предсказал Первую и Вторую мировые войны.

[106] *…синонимов Шотана и Зея…* — Речь идет о двух радикал-социалистах, не раз входивших во французские правительства.

[107] *Стреза* — город на севере Италии, где в 1935 г., после восстановления в Германии обязательной военной службы, состоялась конференция, на которой представители Италии, Великобритании и Франции договорились противостоять общими силами дальнейшим нарушениям Версальского договора.

[108] *Леон Блюм* (1872–1950) — лидер французских социалистов, неоднократно возглавлял правительства Франции. В 1936–1938 гг. занимал пост премьерминистра правительства Народного фронта. В 1940 г. был арестован немцами. В 1942 г. над ним и другими деятелями Третьей республики маршал Петен по требованию Гитлера организовал судебный процесс в городе Риоме. Однако процесс был прекращен под предлогом необходимости продолжить расследование, а подсудимых отправили в Германию. После войны, с декабря 1946 г. по январь 1947 г. Блюм в последний раз возглавлял кабинет министров.

[109] *Пьер Лаваль* (1883–1945) — политический деятель Франции крайне правого толка. Дважды был премьер-министром в годы Третьей республики. Сторонник сотрудничества с нацистской Германией, возглавлял правительство Виши. Казнен как предатель в 1945 г.

[110] *Эдуар Даладье* (1884–1970) — лидер французской Республиканской партии радикалов и радикал-социалистов. Неоднократно занимал министерские посты и был премьер-министром в период Третьей республики. В 1938 г. подписал Мюнхенское соглашение, а в 1940 г. передал власть маршалу Петену. Вместе с Блюмом, Рейно, генералом Гамеленом и другими деятелями был обвиняемым на Риомском процессе. После Второй мировой войны активного участия в политической жизни страны не принимал.

[111] *Морис Торез* (1900–1964) — генеральный секретарь Французской коммунистической партии с 1930 г. Один из организаторов движения Сопротивления. В 1945–1947 гг. был

членом французского правительства. Автор трудов по вопросам коммунистического и рабочего движения.

[112] *Каудильо* — титул испанского диктатора Франко. Употреблялся в испаноязычных странах Латинской Америки.

[113] *…ужинали вместе с Мальро…* — *Андре Мальро* (1901–1976) — французский писатель и политик, активный деятель голлистского движения. В 1959–1969 гг. министр культуры Франции. Автор романов «Завоеватели», «Условия человеческого существования», «Годы презрения» и др., эстетического труда «Психология искусства». Его романы навеяны революционным подъемом на Востоке, размышлениями о кризисе западных цивилизаций, борьбой против фашизма. По настроению и тональности близки к экзистенциализму.

[114] *Спаги* — вид легкой кавалерии во французских колониальных войсках в XIX–XX вв. Формировались в Северной и Западной Африке из местного населения.

[115] *«Господин Европа»* — прозвище одного из идеологов европейской интеграции Жана Монне (1888–1979), французского экономиста и политического деятеля. Монне занимал пост министра торговли во Временном правительстве Франции в 1944–1945 гг. С 1952 по 1955 г. первый председатель Верховного органа Европейского сообщества угля и стали. Возглавлял ряд организаций, действовавших в пользу объединения Европы (Комитет «Мудрецов», Комитет за Соединенные штаты Европы и др.). Автор «плана Монне» — первого плана модернизации и оснащения Франции (1947–1953), который предусматривал восстановление базовых отраслей французской промышленности и достижение уровня производства предкризисного 1929 г.

[116] *Аспирант* — здесь: воинское звание во Франции.

[117] *Коронер* — следователь, ведущий дела о насильственной или скоропостижной смерти.

[118] *Жан Мулен* (1889–1943) — герой Движения Сопротивления. В 1942–1943 гг. представитель Французского национального комитета, возглавляемого де Голлем, на территории Франции. Назначен де Голлем председателем Национального совета Сопротивления, объединившего в мае 1943 г. практически все организации, боровшиеся с гитлеровскими оккупантами во Франции, в том числе и коммунистические, которых было большинство. В 1943 г. Жан Мулен, выданный немцам предателем, погиб под пытками в гестапо.

[119] *…посвящены статусу евреев…* — Этим актом вишистский режим лишал евреев целого ряда прав, устанавливал для них ограничения на профессии.

[120] *«Национальная революция».* — Так деятели вишистского режима называли изменение политического устройства во Франции в 1940–1941 гг. в результате ликвидации Петеном Третьей республики. В первых «конституционных» актах новой власти отменялась должность президента республики, вся власть передавалась Петену, были отложены заседания Сената и Палаты депутатов. «Национальная революция» предполагала ликвидацию «засилья трестов», возврат к земле, прекращение борьбы трудящихся за свои права, «моральное и духовное обновление нации». Наименование «Французская республика» было заменено на «Французское государство», а лозунг «Свобода, Равенство, Братство» — на «Труд, Семья, Родина».

[121] *Коллаборационисты* — сторонники активного сотрудничества с немецкими оккупантами во время Второй мировой войны.

[122] *…отстраненно глядеть на законы… Виши…* — Правительство Виши провело ряд дискриминационных мер по отношению к лицам нефранцузской национальности, в частности к евреям (см. примеч. 119). Они были лишены гражданских прав, а их имущество конфисковывалось. Был создан генеральный комиссариат по еврейскому вопросу, который экспроприировал принадлежавшие евреям промышленные и торговые предприятия.

[123] *…презирая «израэлитов»…* — Имеются в виду французы еврейского происхождения.

[124] *После того как было подписано перемирие…* — Речь идет о Компьенском перемирии 1940 г. (см. примеч. 5).

[125] *…самоубийство флота в Тулоне.* — Вскоре после высадки союзников в Северной Африке, в ноябре 1942 г. гитлеровские части ворвались в Тулон, где базировался французский флот, подчинявшийся правительству Петена, с целью захватить французские военные корабли и тем самым предотвратить захват их союзниками. Однако командующий флотом Лаборд, ранее отказавшийся вывести его в Алжир, отдал приказ о его затоплении. В результате практически весь французский флот был затоплен. Лишь четыре подводные лодки отказались подчиниться приказу Лаборда и ушли из порта.

[126] *Деа* Марсель (1894–1955) — лидер французской фашистской партии «Национальное народное объединение», один из идеологов коллаборационизма. Был министром труда в правительстве Виши и инициатором создания антибольшевистского легиона, сражавшегося на советско-германском фронте на стороне гитлеровцев. После окончания Второй мировой войны участия в политической жизни Франции не принимал.

[127] *Дорио* Жак (1898–1945) — лидер Французской народной партии фашистского толка. Поддерживал Петена, выступал за гитлеровский «новый порядок» и сотрудничество с немецкими оккупантами. В 1945 г. был предан суду и расстрелян как предатель.

[128] *… 18 июня 1940 года генерал де Голль совершил жест…* — Речь идет о знаменитом призыве генерала де Голля, прозвучавшем по лондонскому радио 18 июня 1940 г. и обращенном к французам, оказавшимся за пределами Франции. Генерал призывал установить с ним контакт для продолжения борьбы с германским фашизмом. «Что бы ни произошло, — заявил он, — пламя французского сопротивления не должно погаснуть и не погаснет». В то время генерал был второстепенной фигурой на политической сцене Франции. В последнем правительстве Третьей республики он занимал лишь пост заместителя министра национальной обороны и осуществлял связь между английским и французским правительствами.

[129] *…привела в Национальное собрание роялистское большинство…* — Имеются в виду выборы в Национальное собрание 8 февраля 1871 г., когда большинство получили монархисты — бонапартисты, орлеанисты и легитимисты, что произошло по причине поражения Франции в войне с Пруссией и из-за страха правящего класса перед подъемом революционного движения, который завершился провозглашением (18 марта 1871 г.) Парижской коммуны.

[130] *Журнал «Франс либр» не являлся голлистским…* — Журнал «Франс либр», по свидетельству Ш. де Голля *(Голль Ш. де* Военные мемуары: В 2 т. М.: Иностранная литература. 1957. Т. 1. С. 181), издавался во время Второй мировой войны в Лондоне по инициативе французского журналиста Андре Лабарта и Раймона Арона. Идею издания поддержало и деголлевское движение «Свободная Франция». Однако вокруг журнала группировались французы, позиция которых не во всем совпадала с позицией генерала де Голля. На его страницах часто появлялись статьи, обвинявшие де Голля в «бонапартизме», а главный редактор журнала Лабарт был тесно связан с американцами, которые в то время пренебрежительно относились к движению де Голля и поддерживали официальные отношения с Виши.

[131] *Национальный комитет Свободной Франции.* — Создан 24 сентября 1941 г. как руководящий орган движения Свободная Франция. Сразу же был официально признан британским и советским правительствами, а затем (до конца 1941 г.) находящимися в Лондоне эмигрантскими правительствами Бельгии, Чехословакии, Польши, Югославии, Греции,

Нидерландов и Норвегии.

[132] *…с духом и принципами Сражающейся Франции.* — В середине июня 1942 г. движение Свободная Франция было переименовано в Сражающуюся Францию, а ее Национальный комитет стал называться Французский национальный комитет (ФНК).

[133] *…а после его устранения [убийства]…* — *О* смерти генерала А. Жиро Р. Арон сообщает неверные сведения. На самом деле генерал не был убит, а скончался из-за болезни (1949). Незадолго до этого он действительно был ранен, но следствие не смогло установить — в результате покушения или случайности. (Подробнее см.: *Смирнов В. П.* Де Голль и Жиро // Новая и новейшая история. 1982. № 1, 2.)

[134] *…пригласил чехов, в том числе Рипку.* — Губерт Рипка (1895–1958) занимал пост министра иностранных дел чехословацкого эмигрантского правительства, находившегося во время Второй мировой войны в Лондоне.

[135] *…ни уничтожение в Катыни… более десяти тысяч польских офицеров.* — Катынь — место захоронения нескольких тысяч польских офицеров, которые были помещены в лагеря после присоединения к Советскому Союзу Западной Украины и Западной Белоруссии и расстреляны НКВД весной 1940 г. Советские власти долгое время отрицали свою причастность к этому злодеянию, обвиняя в нем нацистов. Независимая комиссия, на создании которой настаивало польское эмигрантское правительство, не была создана, т. к. требования поляков не поддержали другие эмигрантские правительства.

[136] *Бенеш* Эдуард (1884–1948) — государственный деятель Чехословакии. В 1918–1935 гг. министр иностранных дел Чехословакии, а в 1935–1938 гг. — президент Чехословакии. В годы Второй мировой войны возглавлял Эмигрантское чехословацкое правительство, находившееся в Лондоне. В 1946–1948 гг. снова президент Чехословакии. Один из создателей Малой Антанты — блока Чехословакии, Румынии и Югославии, существовавшего перед Второй мировой войной.

[137] *Этот человек, блиставший в прекрасные женевские дни…* — Очевидно, Арон имеет в виду деятельность Бенеша в 1927–1938 гг. на посту председателя Комитета Безопасности Лиги Наций в Женеве.

[138] *…когда передал Сталину «информацию»…* — С целью ослабления военной силы СССР перед Второй мировой войной немцы через Бенеша передали советским властям дезинформацию о шпионской деятельности Тухачевского и других видных руководителей Красной Армии, которых в результате этого

расстреляли.

[139] *…советские правители захватили власть в Праге…* — После попыток установить буржуазный строй в Чехословакии со стороны сил, поддерживавших президента Бенеша, к власти пришло (25 февраля 1948 г.) правительство во главе с лидером чехословацких коммунистов К. Готвальдом, которое объявило о социалистической ориентации страны и укреплении дружбы с Советским Союзом.

[140] *…ее режим был «нормализован» войсками Варшавского пакта…* — Речь идет о событиях в Чехословакии в конце 60-х годов, когда войска Организации Варшавского договора пресекли попытку части чехословацких коммунистов во главе с первым секретарем ЦК КПЧ Александром Дубчеком (1921–1992) осуществить в стране демократизацию и реализовать идею социализма с человеческим лицом. Дубчек был исключен из КПЧ и арестован, а новое правительство Чехословакии объявило о своей солидарности с СССР и продолжении строительства в стране социализма по советской модели.

[141] *«Электрисите де Франс»* — крупнейшая компания во Франции и в Европе по производству электроэнергии.

[142] *…не только межпартийная борьба, но в той же мере и чистка.* — Речь идет о чистке административного аппарата во Франции от сторонников Виши и наказании коллаборационистов после окончания Второй мировой войны. Правые деятели старались любой ценой оградить их от справедливого возмездия и сохранить основной костяк государственного аппарата, служившего правительству Виши. Суды, разбиравшие дела по обвинению в коллаборационизме, состояли в основном из старых судейских чиновников, которые всячески стремились смягчить приговоры. Всего было вынесено 2071 смертный приговор и 39 900 приговоров о лишении свободы. Однако 2/3 смертных приговоров не было приведено в исполнение. Расстреляны были только Лаваль, шеф вишистской милиции Дарнан, журналисты Люшер, Бразийяк, Дрие Ларошель. Смертный приговор Петену генерал де Голль заменил пожизненным заключением. К 1950 г. в заключении оставалось всего 4791 человек (впоследствии они были амнистированы). Из 20 тысяч чиновников, виновных в сотрудничестве с гитлеровцами, лишь 5 тысяч были отстранены от должности.

[143] *…мода на экзистенциализм и на кафе вокруг Сен-Жермен-де-Пре.* — Экзистенциализм (или философия человеческого существования) возник после Первой мировой войны. Различают атеистический экзистенциализм, который рассматривает бытие человека вне его связи с божественным началом, и христианский

экзистенциализм, определяющий феномен человека через его причастность к Богу. В России экзистенциализм был представлен Л. Шестовым и Н. Бердяевым, в Германии — М. Хайдеггером, К. Ясперсом, М. Бубером. Во Франции наибольшее распространение получил в 40-е — 50-е гг. В число самых известных его представителей вошли Ж.-П. Сартр, С. де Бовуар, А. Камю. Экзистенциализм оказал большое влияние на «новых философов», «новых левых», художественную культуру Запада в целом. Представители этого направления в философии обычно собирались в многочисленных литературных кафе, расположенных в квартале Сен-Жермен-де-Пре. Особенной известностью пользовались «О Де Маго» и «Флора».

[144] *…закоренелый «ванситтартист»* — Ванситтартисг — приверженец ванситгартизма, крайне германофобской доктрины, автором которой являлся английский дипломат барон Ф. Ванситтарт (1881–1957).

[145] *Анри де Монтерлан* (1896–1972) — французский писатель, член Французской академии. Автор книг «Ссылка», «Холостяки», «Девушки», «Прокаженные», «Хаос и ночь», пьес «Мертвая королева», «Малатеста», «Пор-Руаяль», «Испанский кардинал», «Гражданская война».

[146] *Альбер Камю* (1913–1960) — французский писатель и философ-экзистенциалист. Автор романа «Чума», философских сочинений «Миф о Сизифе», «Бунтующий человек», пьесы «Калигула» и др. В 1957 г. награжден Нобелевской премией по литературе.

[147] *«Пье-нуар»* — букв.: «черноногие» (фр.). Так арабы называли французов, живших в Алжире, поскольку многие из них носили высокие черные сапоги.

[148] *…я высказывал робкое предпочтение поименному голосованию…* — Имеется в виду голосование не по спискам партий, а за каждого кандидата в отдельности.

[149] *…был предложен второй вариант Конституции…* — Первый проект был отвергнут на референдуме 5 мая 1946 г.

[150] *Жорж Дави* (1883–1976) — французский социолог, член Академии моральных и политических наук. Преподавал в лицеях и высших учебных заведениях Франции. Был директором Фонда Тьера, вице-президентом Международной социологической ассоциации и Международного совета по социальным наукам. Автор работ «Право, идеализм и опыт», «Политическая социология», «Социология вчера и сегодня».

[151] *…враждебна по отношению к Атлантическому альянсу…* — Имеется в виду Организация Североатлантического договора (НАТО).

[152] *…вяло соглашалась с европейским объединением…* — Речь идет о создании в Европе интеграционных объединений. Первым из них было Европейское объединение угля и стали (ЕОУС) (1951). Затем (1957) одновременно были созданы Европейское сообщество по атомной энергии (Евратом) и Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). Первоначально в них было по шесть членов: Франция, Италия, ФРГ, Бельгия, Нидерланды и Люксембург.

[153] *Сириус.* — Под этим псевдонимом писал Ю. Бев-Мери.

[154] Проект Европейского оборонительного сообщества *(ЕОС)*. Выдвинут в конце 1950 г. премьер-министром Франции Р. Плевеном (план Плевена). Договор о создании ЕОС подписали в Париже (май 1952 г.) шесть стран — Франция, Италия, ФРГ, Бельгия, Нидерланды и Люксембург. Согласно договору, ЕОС должен был стать наднациональной военной организацией с общими органами управления, объединенными вооруженными силами и общим бюджетом. Договор о ЕОС являлся нарушением решений Потсдамской конференции 1945 г., принятых с целью не допустить возрождения германского милитаризма. Однако план создания объединенной военной организации в Европе не был тогда осуществлен. В августе 1954 г. после ожесточенных дискуссий договор о ЕОС был отвергнут Национальным собранием Франции.

[155] *…предложил мне «освещать» конференцию в Сан-Франциско…* — На конференции в Сан-Франциско в 1951 г. был подписан мирный договор с Японией. В соответствии с ним Япония лишалась всех территорий, захваченных ею в 30-е — в начале 40-х годов. Договор подписало 51 государство. Советский Союз, участвовавший в работе конференции, мирный договор с Японией не подписал из-за несогласия с некоторыми положениями договора. В связи с этим территориальные изменения между Японией и СССР не были закреплены юридически, и вопрос о «северных территориях» до сих пор является камнем преткновения в отношениях между Токио и Москвой.

[156] *Рейтинги Теда Кеннеди рухнули…* — Имеется в виду Эдвард Кеннеди, американский политический деятель, сенатор, брат погибшего в 1963 г. президента Джона Кеннеди. Выдвигал свою кандидатуру на выборах в президенты, но проиграл Дж. Картеру.

[157] *Чаппаквиддик* — остров у побережья американского штата Массачусетс. Очевидно, автор имеет в виду произошедшую там в 1969 г. драму: автомобиль, в котором Э. Кеннеди ехал вместе со своей секретаршей, упал в воду, женщина погибла.

[158] *В 1956 году, когда суэцкая экспедиция завершилась… фиаско…* — 26 июля 1956 г. правительство Египта заявило о национализации Всеобщей компании Суэцкого морского канала, 45 % акций которой принадлежали Англии, а 50 — Франции. Правительства Англии и Франции объявили это решение угрозой судоходству и миру и начали готовить военную акцию против Египта. К ним присоединился Израиль. Особую активность проявляла Франция, обеспокоенная возможной потерей своих позиций в Северной Африке. Находящееся в то время у власти правительство социалиста Ги Молле решило нанести поражение Египту, который оказывал поддержку алжирскому народу в борьбе за независимость от Франции, и таким образом покончить с войной в Алжире. Израильская армия вторглась на египетскую территорию в ночь с 29 на 30 октября 1956 г., а англо-французская авиация бомбардировала Каир и другие египетские города. Высадка англо-французских войск в Порт-Саиде началась 5 ноября 1956 г. Однако суэцкая операция закончилась буквально на следующий день в результате вмешательства Советского Союза, который направил резкую ноту протеста правительствам США, Англии, Франции и Израиля. 6 ноября 1956 г. о своем решении вывести свои войска из Египта объявила Англия, 7 ноября — Франция.

[159] *…в коломбейском изгнании.* — Речь идет о периоде с 20 января 1946 г. по май 1958 г. (время существования Четвертой республики во Франции), который генерал де Голль, удалившись от активной политической деятельности, провел в своем имении Коломбе-ле-дез-Эглиз.

[160] *Эдуар Корнильон-Молинье* (1898–1969) — французский военный и политический деятель, дивизионный генерал воздушных войск. В годы Второй мировой войны командовал французскими воздушными силами на Ближнем Востоке, в Англии и на Атлантике. Был депутатом Национального собрания Франции, сенатором и министром в нескольких правительствах при Четвертой республике.

[161] *Уловка разума* — гегелевская формула, означающая, что вся деятельность человека и его решения есть выражение «абсолютного духа», хотя человек считает их своими собственными.

[162] *…не верил в успех «объединений»…* — Речь идет о тактике голлистов на предстоявших в июне 1951 г. выборах в Национальное собрание. В апреле 1951 г. во Франции был принят новый избирательный закон, который предусматривал отказ от пропорциональной системы выборов и вводил голосование по мажоритарной системе с правом аппарентирования —

предоставления различным партиям возможности заключать соглашения и суммировать полученные голоса при подсчете результатов выборов для получения дополнительных парламентских мандатов. Будучи принципиальным противником любых соглашений с политическими партиями де Голль сразу же отказался от аппарентирования. Его поддержал и Сустель, хотя некоторые голлисты выступали за такого рода соглашения.

163 *Несмотря на инфляцию и министерскую нестабильность…* — За 12 лет существования Четвертой республики во Франции сменилось 17 правительств. Особенно нестабильными в этом отношении были конец 40-х и начало 50-х годов.

164 *План Маршалла* — программа восстановления и развития Европы после Второй мировой войны с предоставлением американской помощи в виде товаров на основе займов и безвозмездных субсидий. Идею выдвинул в своем выступлении (1947) госсекретарь США Дж. К. Маршалл. Одна из главных экономических целей этой программы — создание новых рынков для американских товаров. Только в течение 1948–1951 гг. на реализацию плана Маршалла было ассигновано свыше 12 млрд. долларов. Американскую помощь получили 17 европейских стран. Советский Союз, Албания, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Чехословакия, Югославия, а также Финляндия от участия в плане Маршалла отказались.

165 *Мишель Дебре* (1912–1996) — французский политический деятель, соратник генерала де Голля по борьбе против фашистской Германии в годы Второй мировой войны, активный деятель голлистского движения, один из основных идеологов голлизма. Первый премьер-министр Пятой республики и главный разработчик ее Конституции. Член Французской Академии. Незадолго до прихода к власти генерала де Голля опубликовал книгу «Князья, которые нами правят», в которой выступал против «системы партий», против слабости исполнительной власти, неспособности и продажности лидеров Четвертой республики. Ратовал за сохранение Алжира в составе французского государства. В то время голлисты стремились использовать недовольство алжирских французов политикой лидеров Четвертой республики, чтобы подготовить приход к власти де Голля. Дебре даже примкнул к «Союзу за спасение и обновление французского Алжира», который был создан с целью распространения идеи интеграции Алжира с Францией среди французов метрополии.

166 *…как обратились они за помощью к Раймону Пуанкаре в 1926 году и к Гастону Думергу — в 1934-м.* — В конце 1925 г. и в

первой половине 1926 г. во Франции происходила острая политическая борьба, вызванная кризисом государственных финансов. Отставки министров финансов следовали одна за другой. 18 июня 1926 г. формирование кабинета было поручено радикалу Эррио. Когда об этом стало известно, на бирже резко упал курс франка, а среди населения распространилась паника. Страна оказалась на грани краха. Правые партии и консервативная печать убеждали общественное мнение страны, что в такой обстановке Францию может спасти только Пуанкаре, на которого и было возложено формирование очередного правительства.

В феврале 1934 г., в обстановке острого политического кризиса во Франции, вызванного фашистскими выступлениями и попыткой фашистского путча 6 февраля 1934 г., правительство было поручено создать 72-летнему Думергу, уже практически отошедшему от дел.

[167] *…не было ни заговора, ни базуки…* — Очевидно, имеется в виду «история с базукой» — обстрел из противотанкового ружья в январе 1957 г. кабинета генерала Салана, командующего французскими войсками в Алжире. Заговорщики (оставшиеся безнаказанными) хотели расправиться с генералом, проявлявшим, по их мнению, недостаточную решимость в защите французского Алжира.

[168] *…капитуляция Национального собрания в 1957 году перед лицом мятежа вооруженных сил…* — Речь идет о том, что власть генералу де Голлю была передана лидерами Четвертой республики под давлением французской армии, воюющей в Алжире против национально-освободительного движения. В рядах армейской верхушки и среди алжирских ультраколониалистов укрепилось мнение, что правительство вообще неспособно решить «алжирский вопрос». Армия и «ультра» начали открыто возлагать ответственность за неудачи в алжирской войне на правящие круги в Париже. К концу 1957 г. они заняли по отношению к правительству крайне враждебную позицию. Перед лицом угрозы военного путча французские власти обратились к генералу де Голлю с просьбой сформировать правительство.

[169] *…в пределах «французского шестиугольника»…* — Имеется в виду форма территории Франции, которая на географической карте выглядит как шестиугольник — пентагональ.

[170] *Institute for Advanced Study* — Принстонский институт перспективных исследований — учебное и научно-исследовательское учереждение — располагается в зданиях Принстонского университета.

[171] *…египетская армия переправилась через Суэцкий канал…* —

Речь идет о начале второй (Октябрьской) арабо-израильской войны в октябре 1973 г.

[172] *…не допустит исчезновения республики, созданной под эгидой ООН…* — После Второй мировой войны Советский Союз и США не смогли договориться о принципах формирования освобожденной от японской оккупации Кореи. В результате в мае 1948 г. при поддержке американцев и ООН на территории южной части Корейского полуострова была создана Республика Корея, а в сентябре того же года на севере полуострова — Корейская Народно-Демократическая Республика. Границей между ними стала 38-я параллель. 25 июня 1950 г. войска КНДР перешли границу и вторглись на территорию Республики Корея. На первом этапе войны армии Северной Кореи взяли под контроль большую часть юга страны, однако вскоре были отброшены. Корейская война фактически превратилась в многосторонний конфликт, т. к. вместе с северными корейцами воевали китайские добровольцы (им оказывали помощь советские военные специалисты), а на стороне южных корейцев — армии западных стран и США. Соглашение о прекращении огня было заключено лишь в июле 1953 г.

[173] *Фидаин* (араб.) — дословно: жертвующий собой во имя веры. В ср. века — террорист-смертник из секты исламистов. В XIX в. — участник вооруженной освободительной борьбы в мусульманских странах.

[174] *В следующем году произошла Шестидневная война…* — Имеется в виду первая арабо-израильская война, начавшаяся 5 июня 1967 г. и длившаяся шесть дней. За этот период Израиль нанес Египту, Сирии и Иордании сокрушительное поражение, оккупировав значительную часть территорий этих стран. Причиной войны стало стремление арабских стран ликвидировать государство Израиль, а также упорное противодействие последнего справедливому решению палестинской проблемы и созданию независимого палестинского государства, решение о котором было принято ООН еще в 1948 г.

[175] *Вооруженные столкновения между китайцами и индийцами…* — Пограничо-территориальный вопрос — одна из ключевых спорных проблем в индийско-китайских отношениях. В конце 50-х годов Китай предъявил Индии территориальные претензии на пограничные районы общей площадью около 130 тыс. км^2. Индия в свою очередь заявила, что Китай занял свыше 19 тыс. км^2 индийской территории в ходе строительства дороги от Синьцзяна до Тибета. В августе и сентябре 1959 г. на индийско-китайской границе произошли вооруженные столкновения. Однако под воздействием мировой

общественности конфликт был приостановлен. Проводившиеся вслед за этим переговоры между двумя странами результатов не принесли, и в 1962 г. положение на индийско-китайской границе вновь обострилось. Китайские войска продвинулись на 80–100 км к югу от «линии Макмагона» — разграничительной пограничной линии на восточном участке между Тибетом и Британской Индией, установленной в 1914 г. Впоследствии Китай отвел свои войска за «линию Макмагона», оставив за собой некоторые районы. На западном участке китайцы закрепили контроль над территорией в 37,5 тыс. км^2, а на центральном — над горными перевалами и проходами. Несмотря на проходившие в последующие годы переговоры, вопрос об урегулировании этого погранично-территориального спора остался открытым.

[176] *…франко-русский союз…* — Русско-французский союз сложился в 1891–1893 гг., когда Германия стала угрожать Франции, в ответ на образование агрессивного военного блока (Тройственный союз), возглавляемого Германией. Просуществовал до 1917 г. По соглашению 1891 г., оформленному в виде обмена письмами, стороны условились консультироваться по всем вопросам, могущим «угрожать всеобщему миру», а в случае, если бы одно из государств оказалось под угрозой нападения, договориться о принятии совместных мер. В 1892 г. представители русского и французского Генеральных штабов подписали военную конвенцию, по которой стороны обязались оказывать друг другу военную помощь в случае нападения Германии. В 1893 г. обе стороны ратифицировали этот документ. Политическое сближение между Россией и Францией привело к более щедрому финансированию экономики России французским капиталом.

[177] *…великий союз англо-американцев и русских…* — Имеется в виду антигитлеровская коалиция, сложившаяся в годы Второй мировой войны.

[178] *…создания бизонии, затем тризонии…* — В соответствии с решениями Потсдамской конференции 1945 г. Советский Союз, США, Англия и Франция получили зоны оккупации на территории Германии, чтобы установить четырехстороннее управление Германией. В обход этих решений США и Англия начали переговоры об экономическом и административном слиянии своих зон и 2 декабря 1946 г. подписали соглашение о создании так называемой объединенной зоны (Бизонии). В первой половине 1948 г. по инициативе американского правительства в Лондоне прошел ряд совещаний представителей США, Англии, Франции, Бельгии, Голландии и Люксембурга, на которых было принято решение о создании Федеративной Республики Германии

(Лондонские соглашения), а 1 августа 1948 г. к Бизонии была присоединена французская зона, в результате чего возникла Тризония. 8 мая 1949 г. была принята Конституция ФРГ.

[179] *…После того как Франция вышла из НАТО…* — Франция вышла из военной организации блока в 1966 г., в декабре 1995-го она заявила о возобновлении своего членства в соответствующих военных органах НАТО.

[180] *…коммунисты завладели Запретным городом…* — Имеется в виду Гугун — ансамбль императорских дворцов в Пекине.

[181] *Первый толчок делу европейского объединения…* — Речь идет о декларации французского правительства 9 мая 1950 г., в которой был изложен план Шумана. В декларации говорилось, что «объединенная Европа» способна внести решающий вклад в дело поддержания мирных отношений, но объединение европейских государств возможно только после устранения векового противоречия между Францией и Германией. Для этого французское правительство предлагало передать все французское и германское производство угля и стали в ведение высшего органа в рамках организации, в которой могут принять участие и другие государства. Далее указывалось, что создание такого производственного объединения заложит реальный фундамент экономического союза заинтересованных европейских государств и позволит повысить жизненный уровень их населения. Эта декларация предваряла заключение договора о создании Европейского объединения угля и стали (ЕОУС).

[182] *Гаагская конференция 1948 г.* — Речь идет о Конгрессе, состоявшемся 8 мая 1948 г. в Гааге. Он был организован Международным комитетом Движения за объединение Европы для обсуждения стратегии и тактики будущего общеевропейского строительства.

[183] *…в связи с договором…* — Имеется в виду Парижский договор 1952 г. о создании Европейского оборонительного сообщества (см. примеч. 154).

[184] *…не подавил бы «атлантические котлы»…* — Речь идет о ликвидации французскими частями под командованием генерала де Лармина немецких укрепленных пунктов на побережье Атлантики в ходе операций по освобождению территории Франции в августе 1944 г.

[185] *…не принесет в жертву Панков…* — Речь идет о квартале в Берлине, где в то время находилась резиденция правительства ГДР.

[186] *«Рейтовские чтения»* — названы, вероятно, в честь Джона Рейта (1889–1971), основателя Британской радиовещательной корпорации и крупного специалиста в области коммуникаций.

[187] *Ханна Арендт* (1906–1975) — немецкий, а впоследствии американский философ и политолог. Покинула Германию после прихода к власти нацистов. Сначала эмигрировала во Францию (Париж), затем, в 1941 г., — в США. Автор широко известного труда «Происхождение тоталитаризма».

[188] *…путем… просвещения можно было бы устранить войны.* — Устав ЮНЕСКО содержит следующие формулировки: «…мысли о войне возникают в умах людей, поэтому в сознании людей следует укоренять идею защиты мира; …мир, основанный лишь на экономических и политических соглашениях правительств, не может завоевать единодушной, прочной и искренней поддержки народов; он должен базироваться на интеллектуальной и нравственной солидарности человечества».

[189] *…первые две войны XX века…* — Имеются в виду англо-бурская война 1899–1902 гг. и русско-японская война 1904–1905 гг.

[190] *ГАТТ* — Генеральное соглашение по тарифам и торговле (вступило в силу в 1948 г.), которое регулировало торговые отношения между странами-участницами. Действовало на основе принципа наибольшего благоприятствования. После 1995 г. преобразовано во Всемирную торговую организацию (ВТО).

[191] *…не мог принять план Барука-Лилиенталя…* — Речь идет о плане контроля над атомной энергией в целях закрепления в первую очередь за США монопольного обладания атомным оружием. В 1946 г. был внесен на рассмотрение комиссии ООН по атомной энергии представителем США в ООН Б. Баруком, но не получил одобрения.

[192] *…разумными положениями Кодекса коллективного труда…* — Очевидно, речь шла не о коллективном *(collectif)*, а об исправительном (*correctionnel*) труде.

[193] *…который обозначил Мунье…* — Эмманюэль Мунье (1905–1950) — французский философ, представитель одного из течений современной философии — персонализма, в центре внимания которого личность, чья волевая активность и духовный мир руководствуются высшим божественным началом. Сторонник христианского социализма, основатель журнала «Эспри».

[194] *…мощные дирижистские методы…* — Методы государственного управления экономикой.

[195] *…для триссотенов XX века.* — Триссотен — персонаж комедии Мольера «Ученые женщины», тщеславный педант и лицемер.

[196] *…в книге «Ноль и бесконечность»…* — В русском переводе: *Кестлер А.* Слепящая тьма. М., 1989. Главный герой книги — старый большевик Рубашов, погибающий в сталинских застенках.

[197] *…значительная часть сежетистской…* — т. е. близкой к коммунистам Всеобщей конфедерации труда (CGT).

[198] *…сыграет ли г-н Арон роль Луази…* — Альфред Луази (1857–1940) — французский католический ученый, автор трудов, посвященных толкованию библейских текстов. Был отлучен от церкви за модернистские идеи.

[199] *…опровержение производных не убивает до смерти остатки…* — *Производные* «представляют собой эквивалент того, что обычно именуют идеологией или оправдательной теорией»; *остатки* «суть общие корни большинства видов поведения или экспрессивности» *(Арон Р.* Этапы развития социологической мысли. М.: Прогресс-Универс, 1993. С. 424, 436).

[200] *«Силлабус»* — Приложение к энциклике Пия IX (1864), где перечислялись и осуждались движения и принципы, противоречащие католическим догматам.

[201] *…или занимаются в докторантуре…* — Обучение во французских университетах делится на три цикла; по завершении цикла студенту выдается соответствующий диплом и присваивается соответствующая степень.

Степень лиценциата, дающую право преподавать в лицее или коллеже, студент получает в течение второго цикла (3-й — 4-й курсы). Эта процедура предполагает сдачу экзаменов по трем-четырем профильным дисциплинам, что подтверждается свидетельствами (сертификатами).

Третий цикл подводит к исследовательской деятельности. Год обучения (с элементами научной работы) в рамках этого цикла дает право на диплом «углубленных знаний». Обладатель его может готовить докторскую диссертацию. Степень государственного доктора позволяет претендовать на должность штатного профессора университета.

[202] *Большинство государственных докторских диссертаций…* — Государственная степень доктора наук во Франции присуждается по решению специального жюри после публичной защиты докторской диссертации. Подготовка диссертации длится обычно пять лет под контролем научного руководителя. Соискатель должен иметь степень магистра, углубленного образования или другой равнозначный диплом.

[203] *Объектом критики являлась … степень агреже…* — Для получения степени агреже (см. примеч. 27) необходимо было предварительно написать обширную работу, а затем пройти конкурсные экзамены.

[204] *…или обладателей КАПЕС…* — Для получения звания дипломированного преподавателя, имеющего право работать во всех средних учебных заведениях, лиценциату необходимо было

дополнительно сдать экзамен на КАПЕС — «Свидетельство о пригодности к должности преподавателя среднего учебного заведения».

[205] *ЮЕР (UER)* — учебно-научное объединение, структурная единица университета, объединяющая студентов, преподавателей, научных работников и административно-технический персонал. Введена вместо факультетов после 1968 г. (см. гл. XVIII). Объединение вырабатывает правила и направление учебной и научной деятельности университета, контролирует успеваемость студентов. Возглавляется Советом, в который входят профессора, преподаватели, научные сотрудники, студенты и представители администрации. В многодисциплинарных университетах создаются несколько учебно-научных объединений.

[206] *ИЮТ (IUT)* — университетские технологические институты, обеспечивающие сокращенную общую и специальную подготовку для работы в промышленности или сфере услуг.

[207] *…портреты которых я набросал…* — Отдельные главы книги Р. Арона «Этапы развития социологической мысли» посвящены мыслителям Шарлю Луи Монтескьё, Огюсту Конту, Карлу Марксу, Алексису де Токвилю, Эмилю Дюркгейму, Вильфреду Парето, Максу Веберу.

[208] *Он не ограничился свержением маршала…* — В 1945 году Сталин стал не просто маршалом, а Генералиссимусом Советского Союза.

[209] *…событий марта 1936 года и июля 1956 года…* — В марте 1936 г. немецкие войска вступили в демилитаризованную после Первой мировой войны зону Рейнской области; в июле 1956 г. правительство Египта национализировало Всеобщую (фактически — англо-французскую) компанию Суэцкого морского канала.

[210] *…вернуть султана … в Рабат…* — Султан Сиди Мухаммед бен Юсуф, требовавший предоставить Марокко полный суверенитет, в августе 1953 г. был низложен властями протектората и сослан на Мадагаскар. В ноябре 1955 г. вновь вступил на престол, в 1957 г. стал королем Марокко — Мухаммедом V.

[211] *Альбер Сарро* (1872–1962) — глава французского правительства в 1936 г.

[212] *Бардо* — предместье тунисской столицы, бывшая резиденция беев.

[213] *…с Европой Шести…* — Речь идет о первых европейских интеграционных объединениях (ЕОУС, Евратом, ЕЭС), в состав которых входили Англия, Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды и Люксембург (см. примеч. 152).

[214] *…труды Симоны Вейль и … Жувенеля, Жанны Эрш, …*

Эрика Вейля. — Корреспондент Р. Арона называет имена представителей консервативной общественной мысли Франции своего времени.

215 *Ферхат Аббас* (1899–1985) — алжирский политический деятель, возглавлявший в то время умеренно националистические организации, выступал за федеративные отношения Алжира с Францией.

216 *ОАС* — Секретная вооруженная организация — создана группой правых ультраколониалистских деятелей в начале 1961 г. для борьбы за идеи французского Алжира. Состояла из алжирских ультра, военных, дезертиров Иностранного легиона и уголовных элементов. Руководил организацией генерал Салан. Главное внимание уделяла террору против сторонников самоопределения Алжира не только в нем самом, но и во Франции: покушения организовали даже на президента де Голля. После подписания Эвианских соглашений ультра из ОАС начали новую кровавую вакханалию в Алжире и во Франции, чтобы сорвать реализацию этих соглашений и возобновить войну. К июлю 1962 г., потерпев ряд поражений в борьбе против правительственных войск, ОАС практически прекратила существование.

217 *…и в колонном зале.* — Очевидно, имеется в виду Бурбонский дворец, где заседал парламент.

218 *…к выражениям Гульельмо Ферреро и генерала де Голля.* — Итальянский историк Г. Ферреро (1871–1943) рассказывает в одной из своих книг об уличных шествиях в Женеве двух политических соперников. Шествия проходили в одно и то же время, но их участники не помышляли о том, чтобы ринуться друг на друга. Их как бы разделяли «почти невидимые шелковые нити». Таким образом, «шелковая нить» — символ добровольного следования нормам либеральной демократии. «Лезвие меча» — название книги Ш. де Голля, опубликованной в 1932 г. Излагавшиеся в ней военно-политические воззрения были далеки от демократизма.

219 *…Четвертая республика не устояла перед мятежом армии…* — Мятеж, о котором идет речь, вспыхнул 13 мая 1958 г. 15 мая генерал де Голль публично заявил о своей готовности взять власть «перед лицом вновь возникающих перед страной испытаний».

220 *Дефенестрация* — выбрасывание из окон, по примеру протестантов, поступивших подобным образом в 1618 г. в Праге с королевскими советниками.

221 *…для клошардизации?* — т. е. обнищания (от clochard — нищий, бродяга (фр.)).

[222] *…после речи 16 сентября о самоопределении…* — В этот день генерал де Голль, выступив по радио и телевидению, заявил о признании права алжирского народа на самоопределение.

[223] *…после кризиса баррикад…* — Имеется в виду «неделя баррикад» — вооруженный мятеж экстремистов в Алжире.

[224] *…«Единственный человек, одинокий человек»…* — «Одиноким человеком», который не смешивается ни с одной партией, ни с одной организацией, назвал себя сам де Голль в мае 1958 г.

[225] *После заговора «кучки» генералов…* — Французские генералы Салан, Жуо, Зеллер, Аллар, Массю, Гарди и др., многие из которых служили в Алжире, приняли активное участие в серии антиреспубликанских заговоров и путчей. Ликвидация колониальной системы ставила под вопрос само существование многочисленной офицерской касты французской армии. В связи с этим верхушка армии считала «делом чести» удержать Алжир. Поворот в алжирской политике де Голля буквально потряс военно-колониалистские круги, считавшие генерала своим союзником. С этого времени в армии зреет новый заговор, на этот раз против главы государства. На пресс-конференции 11 апреля 1961 г. де Голль подтвердил свою решимость предоставить Алжиру независимость при условии уважения «особых интересов» Франции. «Прекращение огня и самоопределение — это предварительные условия, которые должны открыть перед Алжиром его дорогу», — сказал он. Это выступление стало своеобразным сигналом к подготовке генералами нового путча. 22 апреля 1961 г. в Алжире вспыхнул мятеж под руководством Салана, Массю, Жуо и Шалля. Однако мятежники смогли продержаться только четыре дня. Генералы были арестованы и преданы суду. Салана приговорили к смертной казни (заочно), других генералов — к различным срокам тюремного заключения.

[226] *…случившееся в Бизерте…* — В 1961 г. Франция еще продолжала сохранять свою военную базу в тунисском порту Бизерта. Упорный отказ французских властей эвакуировать базу привел в июле этого года к вооруженному конфликту.

[227] *…от слов «Я вас понял»…* — 4 июня 1958 г. де Голль прилетел в Алжир, желая потушить мятеж, не присоединяясь, однако, к программе ультра. Процитированными словами он начал в этот день свое выступление на митинге в алжирской столице.

[228] *…до референдума в апреле 1962 года…* — 8 апреля 1962 г. во Франции состоялся референдум по вопросу о самоопределении Алжира. 90 % проголосовавших французов высказались за самоопределение. 1 июля 1962 г. подобный референдум был

проведен в Алжире. В нем участвовало более 6 млн. алжирцев. 99,7 % высказались за независимый путь развития, и только 16,5 тыс. человек — не успевшие уехать в метрополию алжирские французы и местные коллаборационисты — проголосовали против. Спустя два дня после референдума президент де Голль от имени Франции формально признал независимость Алжира.

229 *…заключения соглашений в Эвиане…* — 18 марта 1962 г. в местечке Руссе близ Эвиана в обстановке полной секретности Временным правительством Алжира и правительством Франции были подписаны соглашения о прекращении огня, об условиях самоопределения Алжира и основах будущих франко-алжирских отношений (Эвианские соглашения). Соглашения предусматривали проведение референдума о независимости Алжира и его ассоциации с Францией. После референдума предполагалось в определенные сроки (3 года) вывести французские войска из Алжира. Временное правительство Алжирской республики гарантировало личную безопасность и неприкосновенность имущества европейских поселенцев, которые должны были сделать выбор между алжирским и французским гражданством. Военные базы сохранялись за Францией на правах аренды. В обмен Франция обязывалась оказывать Алжиру техническую и финансово-экономическую помощь в размере прежних вложений.

230 *Пфлимлен* Пьер (р. 1907) — председатель Народно-республиканского движения.

231 *Вилайя* — административно-территориальная единица в Алжире.

232 *…когда покушения оасовцев достигли предела…* — Только в течение полутора месяцев после подписания Эвианских соглашений (см. примеч. 229) жертвами оасовцев как в Алжире, так и в метрополии стали 4,5 тыс. человек: 1,5 тыс. — были убиты, 3 тыс. — ранены, в т. ч. женщины, старики и дети.

233 *Либерман* Евсей Григорьевич (1897–1981) — советский экономист, доктор экономических наук, профессор Харьковского инженерно-экономического института и Харьковского университета. Разработал концепцию управления промышленностью, идеи которой были частично использованы при проведении в СССР хозяйственной реформы 1965 г. Автор трудов по вопросам планирования производственной деятельности промышленных предприятий.

234 *…выдвигает свои условия в Брюсселе…* — т. е. в организациях Общего рынка.

235 *…на знаменитой пресс-конференции 8 января 1963 года…* — На пресс-конференции 8 января 1963 г. де Голль заявил

о решимости Франции не допустить присоединения Англии к Европейскому экономическому сообществу. Такая позиция диктовалось опасениями генерала, что внутри Общего рынка Англия будет играть роль «троянского коня» США и может поставить под вопрос лидерство Франции в «шестерке».

[236] *«Полярис»* — американская баллистическая ракета 70-х годов. Устанавливалась на подводных лодках. В настоящее время снята с вооружения.

[237] *… и англо-американского соглашения на Багамах…* — Речь идет о переговорах 18–21 декабря 1962 г. между президентом США Дж. Кеннеди и премьер-министром Великобритании Г. Макмилланом. На переговорах были подтверждены существующие между обеими странами «особые отношения». Центральное место заняло обсуждение вопроса о сотрудничестве в ядерной области. В результате было выработано соглашение, которое предусматривало поставку Великобритании ракет «Полярис» (без ядерных боеголовок), строительство ею атомных подводных лодок, переход под командование НАТО бомбардировочной авиации Великобритании, США и некоторых других членов Альянса, а также создание «многосторонних ядерных сил» НАТО.

[238] *Master колледжа* — звание, присуждается особо отличившимся в учебе, имеющим «супердиплом» с подтверждением трехлетней подготовки на 2-м цикле обучения в высшем учебном заведении (см. примеч. 201).

[239] *…великий проект Кеннеди…* — Речь идет о программе обеспечения мира в ядерный век, изложенной президентом Дж. Кеннеди во время выступления в Вашингтонском университете 10 июня 1963 г. «Мы можем попытаться ослабить напряженность, не теряя бдительности. Мы не хотим навязывать нашу систему ни одному народу, но мы хотим и можем вступить на путь мирного соревнования с любой другой системой на земле», — сказал он. Дж. Кеннеди закончил свое выступление, объявив о двойной инициативе. С одной стороны, СССР, Великобритания и США решили начать в Москве переговоры по запрещению ядерных испытаний. С другой — США будут воздерживаться от них, если другие страны поступят таким же образом.

[240] *Франко-германский* (или Елисейский) *договор* — договор о сотрудничестве, подписанный 23 января 1963 г. в Париже президентом Франции Ш. де Голлем и канцлером ФРГ К. Аденауэром. Предусматривал согласование на различных уровнях позиций обеих стран в области внешней политики, вопросов обороны, образования, обмена молодежью, а также

проведение ежегодных встреч ответственных руководителей Франции и ФРГ (глав государств и правительств не реже двух раз в год, министров иностранных дел — четыре раза в год и т. д.). Договор явился основополагающим документом франко-германского примирения после Второй мировой войны и важным звеном в осуществлении европейской интеграции как в экономике, так и в политике.

[241] *Замена … принципа «массированного возмездия» на «гибкое реагирование»…* — Американская стратегия «массированного возмездия» (изложена Дж. Даллесом в январе 1954 г.) предполагала применение США (в случае конфликта с СССР) всех средств ведения боевых действий, в первую очередь ядерного оружия. В 1961 г. администрация президента Дж. Кеннеди признала эту стратегию ошибочной и разработала стратегию «гибкого реагирования», которая предусматривала ведение как тотальной ядерной войны, так и ограниченных войн с применением и обычного и ядерного оружия. В соответствии с этой стратегией ракетно-ядерные силы должны применяться не сразу и не во всех случаях возникновения военного конфликта.

[242] *…решение об изъятии французских войск…* — На пресс-конференции 21 февраля 1966 г. де Голль заявил, что, оставаясь верной Североатлантическому союзу и сотрудничеству с США, Франция тем не менее твердо намерена добиться коренной перестройки военной организации НАТО и обеспечить подчинение французским властям всех иностранных частей на территории Франции. 7 марта он направил письмо президенту США Л. Джонсону с предложением начать франко-американские переговоры о будущем НАТО и о статусе войск и баз США на территории Франции. Встретив негативную реакцию партнеров по НАТО на свое предложение, французское правительство сообщило о решении изъять из-под контроля органов НАТО свои сухопутные и военно-воздушные силы, находящиеся на территории ФРГ, а также отозвать своих представителей из объединенных штабов на территории Франции. 1 июля 1967 г. французские части в Западной Германии прекратили подчиняться союзному командованию.

[243] *…позицией, занятой по отношению к Шестидневной войне…* — Франция, в отличие от других западных стран, заняла антиизраильскую позицию в период Шестидневной войны 1967 г. и наложила эмбарго на поставки французского вооружения в страны Ближнего Востока.

[244] *Жан Лесаж* (1912–1980) — франко-канадский (квебекский) политический деятель. В 1960–1966 гг. был премьер-министром канадской провинции Квебек. Архитектор «тихой

революции» — передачи большей части власти провинциальным правительствам. Активно боролся против американского экономического и культурного влияния.

[245] *…неприятие режима Дюплесси…* — Морис Дюплесси (1890–1950) — франко-канадский политический деятель. Был лидером Консервативной партии Квебека. В 1936 г. основал Партию национального союза. Дважды был премьер-министром Квебека. Сторонник провинциальной автономии. Находясь у власти, поощрял развитие Квебека. Выступал за сотрудничество с США в экономической области. Был обвинен в коррупции.

[246] *…в момент заключения Парижского договора…* — Парижский мирный договор 1763 г. между Англией (с одной стороны), Францией и Испанией (с другой), завершил Семилетнюю войну 1756–1763 гг. По этому договору Франция уступала Англии всю Канаду, левый берег Миссисипи, острова Доминика, Сент-Винсент, Гренада и Тобаго, почти всю территорию Сенегала и почти все французские владения в Индии.

[247] *…явился договор с Советским Союзом…* — Имеется в виду советско-французский договор о союзе и взаимной помощи, заключенный 10 декабря 1944 г. в Москве. В договоре предусматривалось, что стороны будут продолжать борьбу до окончательной победы над фашистской Германией, оказывать друг другу поддержку и не вступать в сепаратные переговоры с Германией. После окончания войны стороны обязались предпринимать все меры, для устранения любой новой угрозы со стороны Германии, не заключать союзов и не участвовать в коалициях, направленных против одной из них. Однако уже в 1954 г. Франция подписала Парижские соглашения об образовании Западноевропейского союза, которые предусматривали создание западногерманской армии и вступление ФРГ в НАТО. В связи с этим СССР в мае 1955 г. денонсировал советско-французский договор.

[248] *…требования относительно долины Аосты…* — В отличие от городов Брига и Танда, перешедших после окончания войны к Франции, долина Аосты осталась под итальянским суверенитетом.

[249] *…нашло выражение в Хельсинкских соглашениях…* — Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе был подписан 1 августа 1975 г. главами 33 европейских государств, США и Канады. В этом документе закреплены договоренности по широкому кругу вопросов, касающихся безопасности в Европе, а также сотрудничества государств в различных областях. Наиболее важная его часть — декларация принципов взаимоотношений между государствами.

Участники совещания обязались руководствоваться принципами суверенного равенства, неприменения силы или угрозы силой, нерушимости границ, территориальной целостности государств, мирного урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела, уважения прав человека, равноправия и права народов распоряжаться своей судьбой, сотрудничества между государствами и добросовестного выполнения обязательств в соответствии с международным правом. Важная роль принадлежит зафиксированным в Заключительном акте договоренностям о мерах по укреплению доверия между государствами. Документ предусматривает также дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества в области экономики, науки, техники и охраны окружающей среды.

250 *…о возвращении в объединенное командование в обозримом будущем не может быть речи…* — Арон оказался неправ. Во второй половине 90-х годов Франция практически возвратилась в военную организацию НАТО.

251 *…«выдал патент на благородство» антиамериканизму.* — Речь идет о том, что в политике генерала де Голля антиамериканизм присутствовал еще со времен Второй мировой войны, когда американцы прилагали немалые усилия, чтобы свести на нет движение «Свободная (Сражающаяся) Франция» и заменить де Голля своими ставленниками.

252 *Праксиология* — наука о практической деятельности.

253 *Священный союз* — объединение европейских монархов (1815–1833), возникшее после падения империи Наполеона I. В «Акте Священного союза» было записано, что его участники обязывались «подавать друг другу пособие, подкрепление и помощь». Цель объединения — сохранить европейские границы, установленные Венским конгрессом 1815 г., и вести борьбу против «революционного духа». В конгрессах Священного союза участвовали Россия, Австрия, Пруссия, а также Франция и Англия. Ведущую роль в нем играли Александр I и Меттерних.

254 *…отмены псевдоультиматума Хрущева…* — По-видимому, речь идет о заявлении Н. С. Хрущева 27 февраля 1963 г. (после разрешения Кубинского кризиса), что в случае нападения Соединенных Штатов на Кубу СССР придет на помощь Ф. Кастро, даже если это закончится войной с Америкой.

255 *«Ночь баррикад»* — события, происшедшие в ночь с 10 на 11 мая 1968 г. в Париже и свидетельствовавшие о наступлении социально-политического кризиса во Франции. Первыми признаками его стали студенческие выступления за изменение системы образования. Баррикады в Латинском квартале появились 6 мая 1968 г., а 10 мая произошли столкновения

студентов с полицией, в результате которых ранения получили тысяча человек. В ответ на это 13 мая 1968 г. была объявлена всеобщая забастовка. Забастовки и демонстрации продолжались до середины июня.

256 *…речь Генерала по телевидению 24 мая…* — 24 мая 1968 г. в выступлении по телевидению генерал де Голль сообщил о своем решении провести 16 июня референдум по вопросу об участии трудящихся в управлении. Предпринимая этот шаг, генерал де Голль рассчитывал снизить накал политической борьбы, переключить внимание на подготовку к референдуму, а также укрепить основы созданного им режима. В конце выступления де Голль заявил: «В случае, если вы ответите „нет“, само собой разумеется, я откажусь нести бремя власти».

257 *…слушали… выступление Генерала.* — Де Голль объявил о роспуске Национального собрания и проведении досрочных парламентских выборов, заявил, что не уйдет со своего поста.

258 *…книги «Наследники».* — Книга «Наследники» написана П. Бурдье и Ж.-К. Пассероном.

259 *…перед собранием в Шарлети.* — Речь идет о митинге, организованном 27 мая гошистами на стадионе Шарлети. Его участники осуждали ФКП, профсоюзы и де Голля.

260 *…приведших к гренельским переговорам и к соглашению…* — В результате майских выступлений трудящихся французское правительство и предприниматели были вынуждены пойти на переговоры с профсоюзами, которые завершились подписанием 27 мая 1968 г. Гренельских соглашений. Они предусматривали повышение гарантированного минимума заработной платы в промышленности почти на 35 %, в сельском хозяйстве — на 56 %, общее повышение уровня зарплаты в среднем на 13 %, повышение пенсий, сокращение рабочей недели до 40 часов без уменьшения зарплаты. Были приняты обязательства по мерам ликвидации безработицы и улучшению профессионального образования, а также по подготовке законопроекта о правах профсоюзов на предприятиях.

261 *Биянкур* — парижский пригород, где находились предприятия государственной автомобильной фирмы «Рено».

262 *CRS* — республиканские роты безопасности. Специальные полицейские подразделения, входящие в состав внутренних войск. Созданы в 1948 г. для борьбы с бастовавшими шахтерами. Особенно одиозную роль сыграли в ходе майско-июньских событий 1968 г. при подавлении студенческих волнений.

263 *…жаждали повторения Ночи 4 августа [1789 года]…* — На заседании Учредительного собрания Франции 4 августа 1789 г., затянувшемся до поздней ночи (отсюда название — «ночь

чудес»), дворянские депутаты, испытавшие страх перед поднимавшейся волной крестьянских выступлений, первыми поставили в порядок дня аграрный вопрос. Представители высшей аристократии в своих выступлениях рисовали устрашающую картину бунтующей деревни и призывали дворянство пожертвовать своими правами в интересах справедливости. Однако практические предложения дворян совершенно не соответствовали громким словам о «приносимых жертвах» и «братстве нации». Мимолетным оказался и «единодушный порыв» 4 августа.

[264] *«…он стоит всех, его стоит любой»…* — Цитата из книги Ж.-П. Сартра (см.: *Сартр Ж.-П.* Слова / Пер. с фр. Зониной Л. М.: Прогресс, 1966. С. 174).

[265] *Дос Пассос* Джон (1896–1970) — американский писатель, представитель «потерянного поколения». Автор социальной эпопеи «США», трилогии об Америке первой трети XX в. («42-я параллель», «1919», «Большие деньги»), книги «Округ Колумбия» и др.

[266] *Экстернат* — больничная практика для студентов-медиков.

[267] *«Маркузианство»* — социологическая концепция немецкого и американского философа и социолога, представителя Франкфуртской школы Герберта Маркузе (1898–1979). В 60-х годах он выдвинул идею о революционной роли «аутсайдеров» (люмпены, преследуемые национальные меньшинства и пр.) и радикальных слоев студенчества и интеллигенции. Оказал большое влияние на идеологию левоэкстремистских элементов на Западе.

[268] *Пужадизм* — движение мелких и средних собственников правой ориентации (июль 1953 г.). Названо по имени Пьера Пужада, основавшего «Союз защиты торговцев и ремесленников», который стал пристанищем фашиствующих элементов. Пужад требовал пересмотра конституции 1946 г., сохранения колониальной империи Франции, передачу национализированных предприятий частным владельцам, ограничения социального страхования и контроля над профсоюзами. Пужадисты причастны к ликвидации Четвертой республики. Впоследствии часть из них вошла в Национальный фронт Ле Пена.

[269] *…СМИТ (превратившийся в СМИК) низок скандально…* — СМИТ — гарантированный межпрофессиональный минимум зарплаты; СМИК — межпрофессиональный минимум роста зарплаты.

[270] *«Закон об ориентации» Эдгара Фора* — закон о высшем

образовании. Принят после майско-июньских событий 1968 г. Согласно этому закону получали расширение автономии высших школ, были учреждены выборы руководителей вузов, а также выборные органы этих школ, на которые возложили обязанности распределения бюджетных ассигнований и определения программ обучения. Увеличился также перечень учебных специальностей, были введены государственные дипломы и отменено деление университетов на факультеты. Их функции стали осуществлять учебно-научные объединения (ЮЕР) (см. примеч. 205).

271 *«Первородный грех» израильского государства…* — Имеются в виду претензии Израиля на обладание всеми историческими территориями, на которых ныне расположены арабские государства.

272 *Метеки* — иноземные поселенцы в древнегреческих городах; были политически бесправны.

273 *…с цензурой улицы Итальянцев…* — На этой парижской улице размещалась редакция газеты «Монд».

274 *ОПР (RPR)* — Объединение в поддержку Республики — политическая партия последователей голлизма. Образована в 1976 г. на основе Союза демократов в поддержку Республики (ЮДР). Необходимость изменения названия партии и ее перестройки возникла после поражения на президентских выборах в 1974 г. и отставки Ж. Ширака с поста премьер-министра в 1976 г. Лидером партии стал Ж. Ширак.

275 *СЕРЕС (CERES)* — Центр по изучению, исследованию и пропаганде социализма.

276 *…акт против Совместной программы…* — Речь идет о «Совместной правительственной программе», принятой в июне 1972 г. ФСП и ФКП. В ней излагался перечень мер, которые эти партии в случае прихода к власти намеревались провести в жизнь.

277 *…битва была проиграна в 1981 году…* — Президентские и внеочередные парламентские выборы принесли тогда крупный успех левым силам, ФСП сформировала правительство.

278 *…со стороны различных «баронств»…* — Имеются в виду различные «группы давления», которые стояли за политическими деятелями, соперничавшими на президентских выборах во Франции после смерти Ж. Помпиду в 1974 г.

279 *ОРТФ (ORTF)* — Служба французского радиовещания и телевидения, созданная в 1964 г.

280 *…одним из актов, создавших Государство Израиль.* — В Декларации британского министра иностранных дел А. Д. Бальфура (1917 г.) подтверждалось право евреев на создание

своего национального очага в Палестине.

[281] *…покушения на улице Коперника…* — Речь идет о взрыве в синагоге на улице Коперника в Париже, повлекшем жертвы среди ее прихожан. Эту акцию совершили фашиствующие элементы с целью еще более осложнить напряженные отношения между Францией и Израилем в период пребывания у власти президента Валери Жискар д'Эстена.

[282] *…Франция и Советский Союз находились в противоположных лагерях…* — Имеется в виду различное отношение Франции и Советского Союза к режиму М. Каэтану, пришедшему в Португалии на смену диктатуре А. Салазара после его смерти в 1968 г. и фактически продолжившему его политическую линию. Несмотря на все попытки, Каэтану не удалось модернизировать режим, созданный Салазаром.

[283] *…излияния чувств в Рамбуйе…* — В декабре 1974 г. в Рамбуйе проходила советско-французская встреча на высшем уровне.

[284] *ЮДФ (UDF)* — Союз за французскую демократию, создан в феврале 1978 г. при поддержке Жискара д'Эстена, в качестве предвыборного блока, «партии президента».

[285] *…для путча полковников…* — В апреле 1967 г. в Греции был осуществлен государственный переворот, в котором участвовал средний офицерский состав греческой армии. Переворот произошел накануне выборов, которые могли принести победу левоцентристским силам. Во главе нового режима встал полковник Г. Пападопулос. Пришедший к власти режим, названный режимом полковников, запретил политические партии, ввел цензуру и отменил те статьи конституции, которые гарантировали демократические права. Пападопулос пытался проводить курс на либерализацию, но в июне 1974 г. был свергнут сторонниками жесткой линии. К власти пришло гражданское правительство К. Караманлиса.

[286] *…переворота, совершенного чилийскими генералами.* — 3 октября 1973 г. чилийские генералы во главе с Пиночетом и при поддержке США свергли в Чили законное социалистическое правительство Сальвадора Альенде.

[287] *…отстаивал… Лузитанскую империю…* — Имеется в виду Португальская империя. Лузитана по-португальски — Португалия.

[288] *«Революция гвоздик»* — государственный переворот, совершенный 25 апреля 1974 г. группой молодых, просоциалистически настроенных офицеров, ранее воевавших в Анголе. На смену правительству Каэтану пришло переходное правительство К. Гомеша. В 1975 г. был создан Революционный

комитет во главе с В. Гонсалвишем. В стране начались демократические преобразования. Португалия отказалась от своих африканских колоний, начала вовлекаться в европейские структуры. В португальской экономике произошли позитивные преобразования.

289 *Милленаризм* — учение, которое распространилось в конце I — начале II тыс. н. э. В его основе — толкование Апокалипсиса о наступлении конца света через тысячу лет. Последователи милленаризма — современные секты адвентистов, свидетелей Иеговы и мормонов.

290 *Систола* и *диастола* — сокращение и расслабление сердечной мышцы.

291 *Бреттон-Вудсская валютная система* — Бреттон-Вудсская валютно-финансовая система принята в 1944 г. на Бреттон-Вудсской конференции. Соглашения, подписанные на этой конференции, предусматривали введение золотовалютного стандарта, фиксированные валютные курсы, создание Международного валютного фонда и Всемирного банка. Завершила свое существование в 1971–1973 гг., с прекращением обмена доллара на золото и введением плавающих курсов валют.

292 *АФП* — Агентство Франс-Пресс. Создано в 1944 г., считается одним из пяти крупнейших информационных агентств мира.

293 *«Остполитик» Вилли Брандта* — «Восточная политика» Вилли Брандта, канцлера ФРГ в 1969–1974 гг. Начала проводиться в жизнь с 1969 г. Была направлена на развитие отношений с Советским Союзом и социалистическими странами Восточной Европы. Первый крупный успех на этом пути — заключение договора между ФРГ и ГДР в 1972 г. После ухода Брандта с поста канцлера проводилась последующими руководителями ФРГ.

294 *…на улицу Риволи…* — На улице Риволи находилось Министерство финансов.

295 *Верил ли он в теорию домино*? — Согласно теории домино, сформулированной Даллесом, утрата Южного Вьетнама Соединенными Штатами и их союзниками привела бы к утрате ими других стран Юго-Восточной Азии.

296 *…поражением у бухты Свиней…* — Имеется в виду провал высадки отрядов кубинских эмигрантов на южном побережье Кубы в заливе Кочинос (17 апреля 1961 г.), подготовленных американцами. Кубинские войска взяли в плен 1189 человек, 114 эмигрантов были убиты. На следующий день на пресс-конференции президент Кеннеди признал свою вину за происшедшее.

[297] *…униженный… беседой с Хрущевым в Вене…* — В июне 1961 г. в Вене проходили переговоры Н. С. Хрущева и Дж. Кеннеди, касавшиеся обстановки в мире, в частности судьбы Берлина, и советско-американских отношений. Беседа велась в напряженной атмосфере. Советский лидер разговаривал с молодым президентом США в очень жесткой манере. После завершения переговоров Кеннеди признался журналистам: «Это был наихудший момент в моей жизни. Он меня просто сразил». В 1962 г. встреч между Н. С. Хрущевым и Дж. Кеннеди не было. В эту наиболее острую фазу развития Кубинского кризиса главы обоих государств обменивались посланиями.

[298] *…26 января 1973 года.* — В этот день в Париже было подписано Соглашение о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме.

[299] *Тарпейская скала…* — С Тарпейской скалы в Древнем Риме сбрасывали преступников.

[300] *…выдвинули на первый пиан энергетический кризис.* — Временное эмбарго в качестве санкции было наложено нефтедобывающими странами на США после Октябрьской арабо-израильской войны 1973 г., в которой американцы поддерживали Израиль.

[301] *«Secretary of State Club»* — клуб госсекретарей США.

[302] *…и документ, явно закреплявший дух, в котором Москва и Вашингтон будут действовать…* — Имеется в виду Протокол к Договору ОСВ-I, который был подписан 3 июля 1974 г. в Москве. В Протоколе уточнялось, что каждая из сторон вместо двух районов размещения систем ПРО будет иметь лишь один — либо в районе размещения шахтных пусковых установок межбаллистических ракет, либо вокруг своей столицы.

[303] *MIR V* — многоэлементная боевая часть баллистической ракеты с индивидуальным наведением каждого элемента на заданную цель.

[304] *…исход Великой войны…* — Имеется в виду Первая мировая война.

[305] *…к порядку … который желали установить… отцы основатели…* — Речь идет о создателях американского государства, первых президентах США — А. Линкольне, Дж. Вашингтоне, Т. Джефферсоне и др.

[306] *…провалом Московской конференции по Германии…* — Московская конференция по Германии проходила с 31 июля по 30 августа 1948 г. при участии представителей СССР, США, Англии и Франции. Цель конференции — урегулирование положения, сложившегося на территории Германии, в частности в Берлине, в результате многочисленных нарушений западными союзниками

решений Потсдамской конференции и других договоренностей. Конференция была по существу сорвана, поскольку западные державы взяли курс на создание отдельного западногерманского государства на территории американской, английской и французской зон оккупации (см. примеч. 178).

[307] *…продолжение политики канонерок…* — Дипломатия канонерок — использование Соединенными Штатами силовых методов для распространения своего влияния на различные государства Латинской Америки.

[308] *…«Дурны они или милы?»…* — Автор рецензии перефразирует заглавие комедии характеров Дидро «Хорош он или дурен?» (1781).

[309] *Никий* — афинский политический деятель и военачальник, участник Пелопонесской войны. Заключил в 421 г. до н. э. Никиев мир. В войне Афин против Сиракуз был взят в плен сиракузянами и жестоко казнен.

[310] *…близким другом Шарнхорста…* — Герхард Иоганн Шарнхорст (1755–1813) — прусский генерал. Возглавлял военное ведомство Пруссии и ее генеральный штаб. Один из инициаторов реорганизации прусской армии.

[311] *…а потом Гнейзенау…* — Август Вильгельм Гнейзенау (1760–1831) — прусский генерал-фельдмаршал, главнокомандующий прусской армии. Провел реорганизацию прусской армии. Дружил с Клаузевицем.

[312] *…которую Гоббс не преминул упомянуть…* — Томас Гоббс (1588–1679) — английский философ, создатель первой законченной системы механистического материализма. Автор трудов «Левиафан», «Основы философии».

[313] *…о европейской Республике государств, какой ее описали Вольтер и Монтескьё…* — Вольтер (1694–1778) в своей книге «Республиканский дух» проповедовал идеал республики как наиболее разумной формы государственного устройства. Преимущество республики перед другими формами правления признавал и Монтескьё (1689–1755), считая, что она основана на добродетели. Взгляды Монтескьё по этим вопросам изложены в его трактате «О духе законов», который произвел на современников огромное впечатление.

[314] *Эмболия* — закупорка сосудов.

[315] *…воспользовался идеями Рикардо…* — Давид Рикардо (1772–1823) — английский экономист, один из крупнейших представителей классической буржуазной политэкономии. Занимался исследованиями в области распределения богатств.

[316] *…после битвы при Садовой…* — Садовая — название деревни в Богемии, при которой пруссаки одержали 3 июля

1866 г. победу над австрийцами.

[317] *Эргастул* — подземная тюрьма в Древнем Риме.

[318] *…видел в «счастье городка Барбезье»…* — Т. е. в патриархальной жизни, изображенной в одноименном романе этого писателя.

[319] *ВНП* — Валовый национальный продукт — обобщающий экономический показатель, выражающий совокупную стоимость конечных товаров и услуг, созданных как внутри страны, так и за ее пределами.

[320] *…на выставке 1937 года…* — Всемирная выставка открылась в Париже 28 мая 1937 г. Ее открытие едва не было сорвано из-за саботажа привлеченных к строительству и оформлению павильонов крупных фирм, которые стремились подорвать авторитет правительства Народного фронта.

[321] *…после ликования 1936-го…* — Речь идет о приходе к власти во Франции в 1936 г. правительства Народного фронта.

[322] *Вопреки Римскому соглашению…* — Имеется в виду Римский договор 1957 г. о создании Европейского экономического сообщества.

[323] *Афазия* — полная или частичная утрата способности устного речевого общения вследствие поражения головного мозга.

[324] *…несколько стихов из «Юной Парки»…* — «Юная Парка» — поэма Поля Валери.

[325] *Дивертикул* — мешковидное выпячивание стенки кишечника, пищевода или мочевого пузыря.

[326] *…его целью был Бурбонский дворец…* — Т. е. депутатский мандат в Национальном собрании.

[327] *…против голлизма и Государства ЮДР.* — UDR (Union des démocrates pour la V^{e} République) — название, которое приняло с ноября 1967 г. голлистское движение.

[328] *«Меркантилизм»* — первая школа буржуазной политической экономии; экономическая политика эпохи первоначального накопления капитала. Выражалась в активном протекционизме, поддержке экспансии торгового капитала и поощрении развития отечественной промышленности, в особенности мануфактурной.

[329] *Апартеид* — политика расовой дискриминации, проводившаяся правящими кругами ЮАР (Южно-Африканская Республика) в отношении чернокожего населения, а также переселенцев из Азии. Предусматривала обособленное существование различных расовых групп, сохранявшее неравенство по расовому признаку.

[330] *Фукье-Тенвиль* (1746–1795) — общественный обвинитель в

Революционном трибунале при якобинцах, символ суровой беспощадности.

[331] *Музей Гревен* — музей восковых фигур в Париже.

[332] *(…одно из кресел «девяти Мудрецов»).* — Вероятно, речь идет о 9 членах Конституционного совета Франции, который осуществляет предварительный контроль за конституционностью законопроектов, предварительное рассмотрение подлежащих ратификации международных договоров и соглашений, контроль за проведением референдумов и выборов президента республики. Кроме того, Конституционный совет является верховным арбитром в спорах между парламентом и правительством.

Избранная библиография

Все, написанное мною, я разбил на пять периодов. Эта библиография не является ни полной, ни научной[290]. Она поможет читателю, которого заинтересуют «Мемуары», ознакомиться с моими работами.

I. 1928–1940

Aron R. La Sociologie allemande contemporaine. P.: Alcan, 1935. — 176 p. (Reeditions: 1950, 1957, 1981).

Aron R. Introduction à la Philosophie de l'Histoire: Essai sur les limites de l'objectivité historique. P.: Gallimard, 1938. — 335 p. (Reedition: 1981).

Aron R. Essai sur une théorie de l'histoire dans l'Allemagne contemporaine: La philosophie critique de l'histoire. P.: Vrin, 1938. — 351 p. (Reedition: 1950).

Aron R. La Philosophie critique de l'Histoire. P.: Seuil, 1970.

Aron R. Crise sociale et les idéologies nationales // Inventaires. P.: Alcan, 1936.

II. 1940–1955

1940–1945

Aron R., Szymonzyk S. L'Année cruciale: juin 1940 — juin 1941. L: Hamish Hamilton, 1944.

Aron R. L'Homme contre les tyrans. N. Y.: Maison française, 1944. — 400 p.

Aron R. L'Homme contre les tyrans. P.: Gallimard, 1945.

Aron R. De l'armistice à l'insurrection nationale. P.: Gallimard, 1945. — 373 p.

Aron R. L'Âge des empires et l'avenir de la France. P.: Tribune de la France, 1945. — 373 p.

1945–1955

Aron R. Le Grand Schisme. P.: Gallimard, 1948. — 338 p.

Aron R. Les Guerres en chaîne. P., 1951. — 497 p.

Aron R. L'Opium des Jntellectuels. P.: Calmann-Lévy, 1955. — 334 p.

Aron R. Le pacte de l'Adantique // Liberté de l'Esprit. 1949. Avril.

Aron R. Imposture de la neutralité // Liberté de l'Esprit. 1950. Septembre.

Aron R. Réflexion sur la guerre possible // Liberté de l'Esprit. 1951. Decembre; 1952. Janvier.

Aron R. En quête d'une stratégie // Liberté de l'Esprit. 1953. Mars. P. I: Le partage du monde; Avril. P. II: Les Fausses alternatives.

Aron R. Messianisme et sagesse // Liberté de l'Esprit 1950. Decembre.

Aron R. Séduction du totalitarisme // Liberté de l'Esprit. 1952. Mai — juin.

Aron R. Polémiques. P.: Gallimard, 1955.

III. 1955–1969

Aron R. Dix-huit leçons sur la société industrielle. P.: Gallimard, 1962. — 378 p.

Aron R. La Lutte de classes. P.: Gallimard, 1964. — 378 p.

Aron R. Démocratie et totalitarisme. P.: Gallimard, 1966. — 384 p.

Aron R. Espoir et Peur du siècle: Essais non partisans. P.: Calmann-Lévy, 1957. — 343 p.

Aron R. La Tragédie algérienne. P.: Plon; Tribune libre, 1957. — 76 p.

Aron R. L'Algérie et la République. P.: Plon; Tribune libre, 1958. — 146 p.

Aron R. La Société industrielle et la guerre: Tableau de la diplomatie mondiale en 1958. P.: Pion, 1958. — 182 p.

Aron R. Immuable et changeante, de la IV^{e} à la V^{e} République. P.: Calmann-Lévy, 1959. — 265 p.

Aron R. Dimensions de la conscience historique. P.: Plon, 1960. — 335 p.

Aron R. Paix et Guerre entre les nations. P.: Calmann-Lévy, 1962. — 793 p.

Aron R. Le Grand Débat (initiation à la stratégie atomique). P.: Calmann-Lévy, 1963. — 274 p.

Aron R. Essai sur les libertés. P.: Calmann-Lévy, 1965. — 285 p. (Reedition: 1977).

Aron R. Les Etapes de la pensée sociologique. P.: Callimard, 1967. — 659 p.

Aron R. Trois Essais sur l'âge industriel. P.: Plon, 1966. — 242 p.

Aron R. La Révolution introuvable. P.: Fayard, 1968. — 187 p.

Aron R. De Gaulle, Israël et les Juifs. P.: Plon; Tribune libre, 1968. — 186 p.

Aron R. Les Désillusions du progrès. P.: Calmann-Lévy, 1969. — 375 p.

IV. 1969–1977

Aron R. D'une Sainte Famille à l'autre: Essais sur les marxismes imaginaires. P.: Gallimard, 1969. — 308 p.

Aron R. De la condition historique du sociologue (leçon inaugurale au Collège de France). P.: Gallimard, 1970.

Aron R. Études politiques. P.: Gallimard, 1972. — 562 p.

Aron R. République impériale, les États-Unis dans le monde, 1945–1972. P.: Calmann-Lévy, 1972. — 338 p.

Aron R. Histoire et dialectique de la violence. P.: Gallimard, 1972. — 271 p.

Aron R. Penser la guerre: Clausewitz: En 2 t. P.: Gallimard, 1976. T. I: L'âge européen. — 472 p.; T. II: L'âge planétaire. — 365 p.

Aron R. Plaidoyer pour l'Europe décadente. P.: Laffont, 1977. — 511 p.

V. 1977–1982

Aron R. Les Elections de mars et la V^{e} République. P.: Julliard, 1978. — 511 p.

Aron R. Le Spectateur engagé / Entretiens avec Jean-Louis Missika et Dominique Wolton. P.: Julliard, 1981.-339 c.

Aron R. Mr. X. régie ses comptes avec son passé: L'isolationnisme de Georges Kennan // Commentaire. 1978. T. I. № 2.

Aron R. Pour le progrès: Après la chute des idoles // Commentaire. 1978. T. I. № 3.

Aron R. De l'impérialisme américain à l'hégémonisme soviétique // Commentaire. 1979. T. II. № 5.

Aron R. Existe-t-il un mystère nazi? // Commentaire. 1979. T. II. № 7.

Aron R. L'hégémonisme soviétique An I // Commentaire. 1980. T. III. № 11.

Арон Р. Имперская республика США в мире: 1945–1972. М.: Прогресс, 1973. — 339 с.

Арон Р. Пристрастный зритель. М.: Прогресс, 1982. — 280 с.

Арон Р. Демократия и тоталитаризм. М.: Текст, 1993. — 303 с.

Арон Р. Мнимый марксизм. М.: Прогресс, 1993. — 384 с.

Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М.: Прогресс-Универс, 1993. — 608 с.

Арон Р. Эссе о свободах: Универсальной и единственной формулы свободы не существует (заключительная часть книги «Эссе о свободах») // Полис. 1996. № 1. С. 128–137.

Арон Р. Избранное: Введение в философию истории: Пер. с фр. М.: ПЭР СЭ; СПб.: Университетская книга, 2000. — 543 с.

Арон Р. Мир и война между народами. М.: Nota bene, 2000.

Р. АРОН
МЕМУАРЫ
Эта книга – повествование о встрече, встрече жестокого Века и могучего Ума, жаждавшего познать его. Ее автор, французский философ и журналист-политолог, живя в 30-е годы в Германии, одним из первых разглядел в социально-политических процессах этой страны надвигающуюся всемирную катастрофу. С тех пор стремление понять политическую жизнь людей стало смыслом его существования. Тем, кто откроет книгу, предстоит насладиться «роскошью общения» с Ш. де Голлем, Ж.-П. Сартром и другими великими личностями, которых хорошо знал автор, этот «Монтень XX века», как его окрестили соотечественники.
50 лет размышлений о политике
ЛАДОМИР
А
МЕМУАРЫ
Р
МЕМУАРЫ
О
МЕМУАРЫ
Н

notes

Примечания

1

Арон Р. Демократия и тоталитаризм / Пер. с фр. Г. И. Семенова. М.: Текст, 1993. — 303 с.

2

Арон Р. Критическая философия истории: Эссе о немецкой теории истории // Избранное: Введение в философию истории / Пер. с фр. М.: ПЭР СЭ; СПб.: Университетская книга, 2000. — 639 с.

3

Арон Р. Введение в философию истории // Избранное: Введение в философию истории / Пер. с фр. М.: ПЭР СЭ; СПб.: Университетская книга, 2000. — 639 с.

4

От *греч.* επιστήμη — знание, наука.

Aron R. Ma carrière // Commentaire. 1983. № 28, 29. P. 517–519.

Bloom A. Le Dernier des libéraux // Commentaire. 1983. № 28, 29. P. 174–181.

Aron R. La définition libérale de la liberté // Archives européennes de sociologie. 1961. T. II. № 2; *Aron R.* Études politiques. P., 1972. P. 195–215.

Hayek F. A. The Constitution of Liberty. Chicago, 1960.

9

Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М.: Прогресс-Универс, 1993. — 608 с.

10

Aron R. Le développement de la Société industrielle et la stratification sociale. P., 1956. P. 25.

11

Aron R. Trois essais sur Γ âge industriel. P., 1966. P. 64.

Aron R. Les désillusions du progrés. P., 1969. P. 191.

13

См: *Guillaumé B.* Aron // Encyclopaedia Universalis. P.: EU-EB, 1998. P. 112–122.

Я мыслю *(лат.)*.

15

Игра слов с фамилией Арон: les trois petits marrons — три каштанчика, mes petits m’Aron — три маленьких Арончика *(фр.)*.

16

Меня назвали Раймон Клод Фердинанд.

«Боже, покарай Англию» *(нем.)*.

18

Судить каждый случай в его единичности, а не выводить из общего концепта подходящее к случаю решение.

19

Один из моих друзей уверяет, что прилагательное «макиавеллистический» непонятно непосвященному. Каждый знает обыденный смысл слова «макиавеллевский». Макиавеллист — это человек макиавеллевского склада, но без уничижительного смысла. Он делает то, что нужно делать в мире, каков он есть.

20

Я ее не обнаружил. Возможно, речь идет о статье под заголовком «О реалистической политике» в «Либр пропо».

21

Дословно: Французский академический дом *(нем.)*.

22

Подходящий человек на подходящем месте *(англ.)*.

23

После того как эти строки были написаны, я встретился с Могюэ, который в прекрасной книге «Оскомина» («Les Dents agacées») рассказал о своей жизни, своих разочарованиях и неудачах. Автобиография, похожая местами на самоанализ, помогающий освободиться от пережитого.

24

Я, пожалуй, был больше тронут «признанием» Сартра и Низана, чем щедрой похвалой Л. Брюнсвика по поводу доклада об онтологическом аргументе у святого Ансельма и Канта.

25

Герой одноименного романа Низана, прототипом которого послужил, как считалось, его отец.

26

От *греч.* ephēbos — юноша.

27

Он с уважением относился к моей технике сдачи экзаменов и просил у меня совета.

28

После того как это было написано, госпожа Лотман нашла в своих старых бумагах второй, неисправленный, экземпляр моей дипломной работы. Мне еще не удалось прочитать его.

29

Леон Брюнсвик остался непоколебимым в этом вопросе: на непомерный ультиматум Сербия дала умеренный ответ. Австрия не приняла этот ответ и подвергла бомбардировке Белград. После этого должно было случиться чудо, чтобы игра альянсов не вызвала всеобщего пожара. В те годы я прочел первую книгу Альфреда Фабр-Люса [55] «Победа», книгу скандально-еретическую: автор пытался разложить ответственность за войну между обоими лагерями.

30

Эта книга Сартра вышла в той же серии «Карманная энциклопедия» («Petite encyclopédie»), что и «Современная немецкая социология».

31

«Этой дамой». Сначала П. Гий, потом Ж.-П. Сартр давали частные уроки сыну женщины, которую мы называли «эта дама». Г-жа Морель была очаровательна в забытом ныне смысле: она чаровала своим умом, непосредственностью, любезностью.

32

Он организовал обеды для нашего выпуска.

33

Я со стыдом перечитал свой выпад против Бенда в конце статьи: намек на его недавнее награждение орденом Почетного легиона. Впрочем, «стыд» слишком сильное слово, я, скорее, смеюсь над собой.

34

Жорж Лефран уверяет, что я никогда не вступал в СФИО, а только в организацию «Студенты-социалисты». Но я вспоминаю себя на собрании среди пожилых людей, из чего заключаю, что посещал секцию, хотя и не имел никогда партийного билета.

35

Приглашенный преподаватель *(нем.)*.

36

Основные положения *(нем.)*.

«История снова пришла в движение» *(англ)*.

Мы не понимали также и того, что Брюнинг, по всей вероятности, хотел главным образом доказать невозможность платить репарации, чтобы добиться их отмены — и действительно добился этого.

39

Диань — французский депутат, африканец из Сенегала.

40

Я получил премию Гёте, присуждаемую каждые три года городом Франкфуртом, в 1979 году. В 1982 году она была вручена Э. Юнгеру.

Деа покорил в свое время и Жан-Ришара Блока.

42

В письме Марселя Мосса от 6 ноября 1936 года к датскому коллеге С. Ранульфу содержатся следующие строки: «Дюркгейм, а вслед за ним и мы являемся, я думаю, создателями теории власти коллективного представления. Того обстоятельства, что великие современные общества, впрочем вышедшие — более или менее — из Средневековья, могут стать объектом суггестии, подобно пляшущим австралийцам, и приведены в движение, как детский хоровод, мы, в сущности, не предвидели. Это возвращение к первобытности не было предметом наших размышлений. Мы удовольствовались несколькими намеками на возможные состояния толпы, тогда как речь идет совсем о другом.

Мы ограничились также доказательством того, что индивид может найти в коллективном духе основание и пищу для своей свободы, независимости, для своей личности и своей критики. В сущности, мы рассуждали, не учитывая новых чрезвычайных средств».

В другом письме, от 8 мая 1939 года, М. Мосс разрешал публикацию предыдущего. И добавлял: «Думаю, все это — трагедия для нас, слишком сильное подтверждение реальности, на которую мы указали, и доказательство того, что нам следовало бы ожидать этого подтверждения скорее злом, нежели добром».

«Хозяйство и наука» *(нем.)*.

Государственная библиотека *(нем.)*.

«Трехгрошовая опера» *(нем.)*.

«Девушка в униформе» *(нем.)*.

47

Относительно города я могу ошибаться.

Строительство автострад и других объектов государственного значения занимает трудящихся непосредственно, увеличивая тем самым покупательную способность населения. Но прямое воздействие на занятость и покупательную способность «умножается» на дополнительные рабочие места, возникающие благодаря заказам, которые получают предприятия, вовлеченные в эта работы. Множителем называют соотношение между *прямым* эффектом этих государственных строек, или бюджетным дефицитом, и их *глобальным* воздействием на экономику.

Обращенную к немецким студентам *(нем.)*.

«Бытие и время» *(нем.)*.

51

Цитируя, часто забывали слова «прежде всего». Произнес ли он их? Он несколько раз подтвердил мне это. Лично я не помню, но верю ему на слово.

52

Защитная зона у границ какой-либо страны *(фр.)*.

53

Эта международная организация, General Agreement on Tariffs and Trade [Генеральное соглашение по тарифам и торговле], созданная сразу после войны, устанавливает правила торгового обмена, условия, в которых могут быть образованы общий рынок или зона свободной торговли.

Commentaire. 1980. № 9.

55

В 1938 или 1939 году мы вчетвером — Кожев, Вейль, Полен и я — читали тексты Канта. Кожев и Вейль иногда углублялись в бесконечные споры; и тот и другой — а другой был явно неправ — без устали находили все новые аргументы.

Sternhell Z. Ni Droite ni Gauche, l'idéologie fasciste en France // Le Seuil. 1983. Janvier.

В Италии были опубликованы «Этапы развития социологической мысли». Этот обширный том понижает интерес к «Немецкой социологии».

Цивилизация нравов (La Civilisation des moeurs. P.: Calmann-Lévy); Динамика Запада (La Dynamique de l’Occident. P.: Calmann-Lévy).

59

Порядочный человек *(англ.)*.

Общество и общность *(нем.)*.

61

Это слово переводят обычно как *мировоззрение* или *мировидение; я* сохраняю немецкое слово — оно не такое книжное и богаче оттенками смысла, чем французский эквивалент.

«Философия истории».

«Границы естественнонаучного образования понятий».

«Нищета историцизма» *(англ.)*.

«Открытое общество и его враги» *(англ.)*.

«В этой книге я пытаюсь показать, что мудрость пророков чревата бедами и что метафизика истории затрудняет постепенное, поэтапное применение *(piecemeal*) научных методов к проблемам социальных реформ. И наконец, в этой книге я утверждаю, что мы сможем стать хозяевами своей судьбы, только когда перестанем считать себя ее пророками» *(англ.)*. (Перевод дается по изданию: *Поппер К.* Открытое общество и его враги. М., 1992. С. 33.)

Rickert H. Science and History: A critique of positivist epistemology. Princeton: D. Van Nostrand Company, 1962.

Темы Риккерта или, скорее, некоторые из них получили распространение и были популяризированы только благодаря употреблению, которое сделал из них Макс Вебер. Выступил ли последний как ученик Риккерта, желавший подвергнуть испытанию идеи философа, или он взял *die Grenzen* («Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung») за исходную точку? Я не могу высказаться категорически по этому вопросу. Думаю, что М. Вебер, сам не считавший себя профессионалом в области философии, охотно ссылался на философа, который также принадлежал к последователям Канта. В том, что он глубоко трансформировал риккертианские идеи, нет сомнения. То, что он исповедовал бы те же самые теории, не будь Риккерта, возможно, но трудно доказуемо.

Rosci P. Lo Storicismo tedesco contemporaneo (Современный немецкий историцизм), 1956; 1971.

Собрание сочинений *(нем.)*.

71

Подготовительные материалы *(англ.)*.

Я уже давно не употребляю слово «диктатура» в этом смысле, оставив его для римского института абсолютной, законной и временной власти.

Точнее, пожалуй, в 1931 году.

Счастливая вина *(лат.)*.

Британский военно-морской флот *(англ.)*.

Это фактическое замечание выдает «прогрессистскую» философию истории.

Слова, слова, слова *(англ.)*.

Это неточно: на заседании Совета министров речь шла об ответных военных действиях.

79

Группа экономических исследований, созданная выпускниками Политехнической школы Ж. Кутро, Ж. Юльмо, А. Сови.

80

Мадам Поре была секретарем директора Эколь Нормаль. Одна из первых машинисток, работавшая еще до 1914 года, она отпечатала для студентов и выпускников бесчисленные дипломные работы и диссертации. Она знала о Школе все и пользовалась популярностью, граничившей со славой.

Поль Ланжевен, Андре Жид, Поль Риве.

Но говорил ли он так до Мюнхена? Я в этом не уверен.

83

Эдуар Эррио и Эдуар Даладье.

Себастьян Хаффнер в своей прекрасной книге «Bemerkungen zu Hitler» [«Замечания к Гитлеру»] талантливо развивает этот тезис.

Пизар С. Оружие мира.

Неимущие, обделенные *(англ.)*.

87

Перед самым отпуском я встретился с Марком Блоком и Марселем Моссом. Первый из них с впечатляющей убедительностью доказывал, что война разразится через несколько месяцев. Мосс вполголоса заметил, что «генеральный штаб ждет, когда будет собран урожай». Мы должны были бы заметить многочисленные признаки того, что московская дипломатия совершает поворот: замена Литвинова Молотовым, отдельные фразочки («Мы не будем таскать каштаны из огня для других»).

В нашем распоряжении были лишь конспекты лекций, написанные самим Алеви, а также записи, сделанные его студентами.

После окончания войны этот человек приехал повидаться со мной; он руководил небольшим заводом, изготовлявшим водопроводные краны, показывал мне бесчисленное множество видов своей продукции; ему с трудом удалось выпутаться из положения накануне стандартизации 60-х и 70-х годов.

90

Тогда я почти ничего не знал о предложении франко-английского сообщества, представленном французскому правительству, эвакуированному в Бордо. Поэтому у меня не было возможности сразу же обдумать этот документ.

91

Они были вывезены из Дюнкерка.

Разве что он стал таким агентом после войны, в досаде на свои неудачи. Но и в этом я сомневаюсь.

93

Этот коммунистический деятель сыграл большую роль в организации на Западе советской пропаганды и левых движений, которыми манипулировали коммунисты.

94

Ж.-П. Сартр познакомился с подборкой номеров издания за шесть месяцев, за второе полугодие 1941 года. В тот период Робер Маржолен регулярно выступал на его страницах. Он ушел из журнала, движимый наилучшими намерениями, после кризиса, который вызвал Мюзелье. (Маржолен состоял при штабе адмирала.)

«Человек против тиранов», «От капитуляции к народному восстанию».

96

Социалистическая партия, созданная польскими евреями.

97

Так называлась книга, ставшая ныне классикой. В ней американский дипломат рассказывал о выдаче всех советских военных и гражданских лиц, находившихся на Западе. Данное обязательство американцы и англичане взяли на себя в Ялте.

Стало привычным употребление слова *холокост,* имеющего религиозный оттенок, слово *геноцид* мне представляется более точным.

В своей статье, опубликованной в этом номере, Рене Кассен осуждал перемирие и ставил под сомнение законность и легитимность правительства маршала Петена.

100

Во всяком случае, в первый день [начала военной кампании в Северной Африке].

101

Полностью было забыто обещание, данное добровольцам 1940 года, — не обращать оружия против французов.

Langer W. The Vichy Gamble.

103

В предисловии, написанном мною в 1982 году к «Военным запискам» Сент-Экзюпери, я попытался объяснить позицию этого писателя-летчика, отдавшего свою жизнь за родину.

104

La France libre. 1944. Octobre; 1945. Août.

105

В действительности число жертв составило 300 тысяч человек. Англичане с тех пор осуждают этот бесчеловечный акт, который не диктовался военной необходимостью.

106

Я безуспешно пытался ознакомиться с архивными материалами по «чистке», они все еще закрыты для исследователей.

107

По просьбе П. Пиа я написал одну статью для «Комба» уже в октябре 1944 года.

Думаю, речь шла о сокращении бюджета национальной обороны.

109

Передовая статья от 20 марта 1947 года, написанная после дебатов в Национальном собрании по вопросу об Индокитае, не содержит ничего нового по сравнению с предыдущими. В ней подчеркиваются противоречия политики правительства Рамадье: с кем намерено оно вести переговоры? Сколько времени будет длиться «умиротворение»?

«А как же поступать иначе?» — возразил один мой друг.

Эта исключительность объясняется многими причинами: газете признательны административно-судейские крути; она представляет собой трибуну, открытую для всех политических деятелей; ей придают определенное значение преподаватели и студенты.

112

Я чувствую угрызения совести, когда рассказываю о событиях университетской жизни. На вакантную должность фактически претендовали три кандидата — Ж. Гурвич, Ж. Стёцель и я; Ж. Стёцель заявил, что не выставляет свою кандидатуру против моей, но к нему был расположен руководитель философской секции Ж. Лапорт. Голоса, полученные Стёцелем в первом туре, должны были бы во втором туре при нормальных обстоятельствах достаться мне. Но переданные Дави слова заставили, очевидно, нескольких человек изменить свою позицию, их голоса обеспечили успех Гурвичу.

Конечно, я передаю дух его речи.

114

Директор газеты был убит женой Кайо в 1914 году. На ее страницах против этой женщины велась гнусная кампания (публиковалась частная переписка). Г-жа Кайо была оправдана судом.

115

Целую полосу номера газеты от 19 декабря 1940 года занимал текст под заголовком «Шесть месяцев Истории Франции. Политическое, экономическое и социальное творчество маршала Петена». Краткое содержание этого творчества излагалось в следующих параграфах: реформа государства, суды, государственные служащие, франкмасонство и тайные общества, национальная промышленность, борьба с безработицей, сельское хозяйство, контроль французского гражданства, профессиональные статусы, акционерные общества и Французский банк, экономическая и денежная политика, охрана расы, реформа образования, наследование, семья, хозяйственная дисциплина, кино, помощь военнопленным, союз участников войны, молодежь и спорт. В параграфе «Контроль французского гражданства» содержание основных статей статуса евреев излагалось следующим образом: «Евреи исключены из сфер администрации, преподавания, военной, печати, радио, зрелищ, за исключением лиц, имеющих заслуги перед страной. Иностранные подданные еврейской расы могут быть интернированы в специальные лагеря (18 октября). Евреи, являющиеся жителями Алжира, лишаются политических прав».

Несомненно, речь шла о подведении какого-то итога. Но Пьер Бриссон подписал инициалами П. Б. краткое вступление к статье, не оставлявшее сомнений относительно чувств, которые испытывал в те времена директор «Фигаро»:

«17 июня 1940 года маршал Петен пришел к власти. Мы сочли полезным представить в этой таблице перечень реформ, осуществленных в течение шести месяцев под его руководством. Все они вдохновлены реалистическим чувством необходимости. Все они отражают волю к очищению и моральному возрождению, сила которой остается достойной самых решающих испытаний нашей Истории. На протяжении ста восьмидесяти дней, ежечасно подвергая себя опасности, Маршал посвятил свои силы, не отступая, спасению страны. Отдавать ему должное было бы делом излишним. Он понял, что условия соглашения с победителем будут связаны со взаимным уважением и что первым залогом этого соглашения могут быть лишь духовный союз и доверие всех французов».

116

«… „Фигаро“, орган разума в изгнании, гордится тем, что без устали ведет кампанию против угроз» (De la capitulation a l'insurrection nationale (От капитуляции к национальному восстанию) // Culture et société. 1941. 15 juin. P. 91–102).

117

Представители четырех стран-оккупантов собирались в Берлине. Они попытались создать центральные административные органы, компетенция которых распространялась бы на четыре зоны. Французский представитель наложил вето на все эти проекты. Может быть, в данном случае его действия послужили интересам Запада в целом.

118

Андре уверяет меня в том, что не входил в группу. Он рассказал об этой истории своим родителям, и я напрасно подумал, что юноша присоединился к скандалистам.

119

Судя по его мемуарам, я неверно оценил чувства Помпиду по отношению ко мне. Ошибки в прогнозе, который он приписывает мне, относятся, вероятно, к 1948–1949 годам, к успеху экономической стабилизации при правительстве Кэя. Я выиграл пари у Гастона Палевски: генерал де Голль не будет у власти ни первого января 1950 года, ни первого января 1951-го. Жак Сустель не верил в успех «объединений» 162 [списков кандидатов на выборах]; я напрасно поддержал противоположное мнение.

Материалы двух последних встреч опубликованы. Вторая из них была посвящена теме «История между этнологией и футурологией» и не имела никакой связи с политическими проблемами.

121

Сегодня я сожалею об этом.

См.: Commentaire. Été 1978. № 2.

123

Caute D. Les compagnons de route.

За исключением Уолтера Липпмана.

125

Так генерал Макартур назвал наступление, которое должно привести к окончательной победе в войне.

В следующей главе читатель найдет отрывки из этой статьи.

127

Figaro. 1962. 21 novembre.

То есть осуществлять связь человека с мировой историей.

129

Заявление от 9 июня 1948 года.

Сегодня, более тридцати пята лет спустя, эта фраза кажется еще более нелепой, чем тогда, когда она была написана.

131

Liberté de l’Esprit. 1950. Septembre.

Автор письма, очевидно, имеет в виду Германскую Демократическую Республику.

133

Мальро находился в тот момент в Конкарно.

Эта фраза шокировала Пьера Бриссона.

135

См.: *Aron R.* Republique imperiale, les Etats-Unis dans le monde, 1945–1972. P.: Calmann-Lévy, 1973. Перевод на русский язык: *Aron R.* Имперская республика США в мире. 1945–1972. М.: Прогресс, 1973.

Однако Дина Ачесона упрекали в том, что он поощрил агрессию, не упомянув Корею, когда перечислял позиции, которые Соединенные Штаты должны были бы защитить в Азии.

137

В заявлении, сделанном 17 августа 1950 года, генерал де Голль выразился следующим образом: «Нам предстоит собрать Европу. Нынешний Страсбургский совет этого не сделает, у него нет действительных европейских полномочий. В качестве основы для этого необходимо практическое франко-германское согласие, ибо на нашем старом континенте именно здесь сосредоточены главным образом реальные стратегические и экономические возможности. Нужны также европейские институты, создаваемые путем прямого голосования граждан Европы и обладающие в сферах экономики и обороны долей суверенитета, которая будет им доверена государствами-участниками. Необходима, наконец, общая система обороны, при этом Франции следует в нормальных условиях наметить ее план и назначить ее руководителя, точно так же, как эта прерогатива принадлежит Соединенным Штатам на тихоокеанском театре, а Англии — на восточном театре…»

138

В своих «Воспоминаниях» Хрущев утверждает, что его приятно удивили предложения ПМФ. На такое он не надеялся. Эта версия событий меня не убеждает.

139

Герилья — партизанская война (*исп.*).

Эту формулировку следовало бы сопроводить многими оговорками и уточнениями.

141

В книге было написано или в типографии набрали: умеренно*й* власти, тогда как, по мысли, слово «умеренный» должно было относиться к режиму.

142

Для ученого, но не для приверженца партии.

Так назывался сборник, появившийся незадолго до того, включавший статьи К. Авелина, Ж. Фридмана и др.

С этим замечанием я не согласен.

145

В которых эпоха осознает самое себя.

Monde. 1951. 21–22 octobre.

Все эти статьи вошли в сборник «Политические этюды», выпущенный издательством «Галлимар».

Положение это в некотором роде очевидное, но, как кажется, способное привести к ложному выводу, что путем психологического воздействия, просвещения можно было бы устранить войны [188].

149

Советский представитель при ООН.

150

Довоенное положение *(лат.)*.

Добавлю, что Роже Стефан быстро избавился от своих заблуждений, что он достойно участвовал во французской дискуссии о деколонизации. Я цитирую этот текст именно по причине его несхожести с автором.

152

Laure M. Révolution, dernière chance de la France. Paris: PUF, 1954. P. 48.

153

Что он об этом знал?

Одновременно с Лоре ту же самую проблему советского производства и советской производительности исследовал другой выпускник Политехнической школы — Морис Алле. Его выводы были в основном верными и никоим образом не походили на выводы М. Лоре.

155

После выхода в свет «Опиума интеллектуалов» в газете «Прёв» появились две мои статьи, отвечавшие на те критические отзывы о книге, к которым я отнесся серьезно: «Приключения и злоключения диалектики» и «Фанатизм, благоразумие и вера».

156

См.: *Sartre J.-P.* La Cérémonie des Adieux (Прощальная церемония) P.: Gallimard. P. 354.

157

Один из моих лекционных курсов в Высшей школе администрации так и назывался — «Демократия и революция».

158

См.: *Sartre J. P., Rousser D., Rosenthal G.* Entretiens sur la Politique (Беседы о политике). Процитированный пассаж принадлежит перу Д. Руссе.

159

Отцом Леноблем.

160

Некоторые интеллектуалы, бывшие коммунисты, утверждали, что «Опиум» их поколебал.

161

Здесь: ученый, сведущий человек *(фр.)*.

Сартр же заимствовал его у Альфреда Сови, не особенно понимая мысль последнего.

163

Жан-Клод Казанова напомнил мне мои слова: «Такого блестящего сообщения я не слышал с того времени, когда Ж.-П. Сартр выступал перед Леоном Брюнсвиком». Думаю, Казанова точно передал мои слова. В действительности, сообщение Сартра предвещало будущее, но не было блестящим; я хотел подчеркнуть похвалу, выразить свой энтузиазм.

«Восемнадцать лекций об индустриальном обществе», «Борьба классов», «Демократия и тоталитаризм», «Этапы развития социологической мысли» (соответствующий курс назывался «Великие учения в истории социологии»).

Суждение о Э. Дюркгейме, вероятно, слишком сурово. В своих «Лекциях по социологии» он развивает на основе представления о промежуточных телах идеи, весьма созвучные с токвилианскими.

Вспоминаю о письме одного капитана дальнего плавания, разоблачавшего этот миф: навигация по каналу не представляла никаких трудностей.

167

Если бы я прибег к идеологическим аргументам, то никого бы не убедил.

168

Текст дается в обратном переводе с английского, французский оригинал у меня не сохранился.

169

Он обращается к правителям.

170

Не раз отношение ко мне Франсуа Мориака оказывалось совершенно другим.

См.: Actuelles III. P.: Gallimard, 1958.

172

В книге «Иллюзии, обретенные вновь» («Illusions retrouvées») (1982) Клодина и Жак Бруайель включают эту фразу в контекст и освещают позиции, которые занимал Камю.

Был еще четвертый, посвященный странам третьего мира, который я не счел достойным публикации. У меня сохранилась машинописная рукопись.

174

Предисловие к «Капиталу».

175

Моя дочь Доминика Шнаппер внесла исправления и улучшила текст «Сорбоннских лекций».

Современные социологи охотнее используют тройственное деление: высший, или доминирующий, класс, средние классы, низшие классы.

177

Игра слов: *tartare* — татарский; *sauce tartare* — пикантный соус *(фр.)*.

Deutscher I. Russia after Staline. London, 1953.

В сущности, этот анализ повторяет тот, что сделал Ленин полувеком раньше.

Обобщающие вводные статьи *(англ.)*.

Waxman C. I. The «End of Ideology» Debate. N. Y., 1968.

Первый очерк, озаглавленный «Теория развития и современные идеологии», написан в 1962 году, по возвращении из поездки в Бразилию. Второй — «Теория развития и эволюционистская философия» — написан также в 1962 году для коллоквиума, организованного ЮНЕСКО и Практической школой научных знаний. Третий — «Конец идеологий и возрождение идей» — относится к 1964 году; он продолжает спор об индустриальном обществе и конце идеологий.

183

«Контовские чтения. Война и индустриальное общество» *(англ.)*.

Trois essais sur l’age industriel (Три очерка об индустриальной эре). P., 1966. P. 200–201.

«Конец идеологий и возрождение идей» («Fin des ideologies et renaissance des idées»).

См.: Trois essais sur l’age industriel. P., 1966.

One-dimensional man. Boston, 1964. P. 48.

188

Дж. Ф. Кеннеди упразднил проект «Скайбоулт» («Skybolt») (создания ракеты «воздух — земля»), на который рассчитывали британцы, чтобы сохранить свои силы устрашения, состоящие в то время из самолетов-бомбардировщиков.

189

В мае 1971 года, накануне решающей встречи Помпиду и Хита, я написал статью, конец которой звучал так: «Вероятное вступление Великобритании в Общий рынок предоставляет возможность нового старта, но при условии, что наши государственные деятели не будут тешить себя иллюзиями относительно интересов наших будущих британских партнеров: они еще более, чем интересы наших германских партнеров, расходятся с положениями, которые защищали до нынешнего момента французские участники переговоров».

190

Англо-американская конференция, на которой было заключено соглашение относительно ракет «Полярис».

Lippmann W. L'Unité occidentale et le Marché commun. P.: Julliard, 1962.

Он предостерегал ФРГ от риска оказаться вовлеченной в деголлевскую затею.

193

Я считал в легких (старых, до денежной реформы 1960 года) франках.

Это суждение спорно. Будь политика иной, она бы также содействовала росту советского влияния в Западной Германии.

195

Профессор-исследователь *(англ.)*.

Я говорю «относительный», потому что эта книга была прочитана и поныне читается в Соединенных Штатах, а еще больше — в находящихся под американским влиянием университетах Латинской Америки и Азии.

Foreign Affairs. 1959.

Или, в системе «два ключа», президенту Соединенных Штатов и главе исполнительной власти той европейской страны, где находилось бы тактическое ядерное оружие.

Kahn H. On Escalation. Hudson Institute, 1965. P. 23.

См.: Le Grand Débat. P.: Calmann-Levy, 1963. P. 163.

201

См.: *Aron R.* La Revolution introuvable (Бесподобная революция). P.: Fayard, 1968. — 187 p.

«Студенты за демократическое общество» *(англ.)*.

203

Tour aine A. Le mouvement de Mai ou le Communisme utopique. P., 1968. P. 9.

204

Своих врагов я забываю. И все же…

Некоторые друзья говорят мне: он знал, что вы правы, вот в чем дело. Скажу со всей откровенностью: я не верю этому объяснению, которое предложили мне также мои польские знакомые.

206

«Raymond Aron is that ultimate inconvenience: the man who stays sober at your saturnalia and who will afterward give everybody else an intellectual hang-over» (*Leonard J.* New York Times. 1969 № 11, 12).

Aron R. De Gaulle, Israël et les Juifs. (Де Голль, Израиль и евреи). P.: Plon, 1968. 186 p.

208

Немецкая поговорка: «Мне бы ваши заботы».

Сравнение, во всяком случае, нелепое: прусская дисциплина, строгая иерархия прусской армии и прусского государства нисколько не похожи на Цахель и израильскую демократию. Армия Израиля — это армия граждан.

Анри де Монтерлан, Альфред Фабр-Люс, Жак Шардон.

211

Почему не с 1948-го? Я еще не был тогда дипломатическим обозревателем «Фигаро»; арабо-израильский конфликт еще не связывался с соперничеством между Востоком и Западом — в 1948 году это был лишь эпизод британского ухода из региона.

212

«Я читаю прессу: вчера 23 погибших, позавчера 34, сегодня 18. Но вам придется уходить».

213

Новая школа социальных исследований *(англ.)*.

Они получили, что хотели *(англ.)*.

215

Статья, написанная 6 июня, появилась в печати 7-го. В примечаниях к книге я обвинил себя в излишней строгости к президенту США.

216

Следующий пассаж воспроизводит текст «Времени подозрений».

Это неточно; я тоже разглядел чрезмерность этих манифестаций и двусмысленность произраильских настроений.

218

Это последние слова моего «Введения в философию истории».

219

Ж. Амелен являлся руководителем отдела рекламы.

Они ссылались на статью о свободе совести, и апелляционный суд признал их правоту.

221

Никто не думал в 1974 году, что соцпартия может собственными силами обеспечить себе абсолютное большинство в Национальном собрании.

Возможно, речь шла о книге «Цепные войны»; в таком случае диалог имел место в 1951 или 1952 году.

223

Позднее меня уверили, что поле боя, по наущению Мишеля Понятовски, выбрал сам президент.

Судя по письмам ряда читателей.

225

Л. Альтюсер спросил Пьера Мусс*а*, своего товарища по подготовительному курсу в Эколь Нормаль, какие книги ему стоит прочитать, чтобы ознакомиться с реальностью современной экономики. П. Мусса порекомендовал ему «Восемнадцать лекций».

226

Во французском переводе — «Fondements de la critique de l'économie politique» («Экономические рукописи 1857–1859 годов»).

227

Английские аналитики, интересующиеся марксизмом, обращаются, вслед за социал-демократами II Интернационала, к этому «Предисловию».

Введение в основы возможной исторической науки.

229

Совокупность причин, определяющих переход от одной целостности к другой.

Одного из самых суровых критиков «Опиума».

Вероятно, ему было известно о Дильтее только то, что он узнал из моей дополнительной диссертации.

232

Теория, утверждающая, что всякое объяснение в общественных науках требует ссылки на поведение индивидов.

233

Я прочел в философском коллеже Жана Валя лекцию о всеобщности. Мне рассказывают, что Сартр в лекции на ту же тему намекнул на мою концепцию доступных пониманию фрагментов и подверг ее критике: если понятность существует, то она должна быть всеобщей. Этот заочный диалог относится, видимо, к 1966 или 1967 году.

234

Слова Симоны де Бовуар.

235

От *гр.* daimōn — божество, дух *(миф.)*.

Никогда не забуду, как в 1977 году получил от него в больнице огромный букет чудесных цветов.

237

Выражение принадлежит Леону Брюнсвику.

238

Альенде ввел в правительство генерала Прада в качестве министра внутренних дел.

С.-К. Кольм посвятил небольшую книгу «Социалистический переход» сравнительному опыту Португалии и Чили.

240

После всего происшедшего в Чили я занялся изучением этой страны.

241

Названия двух статей. Последняя намекала на коалицию армии (сабля) и революционных идеологий (кропило).

242

Через сорок восемь часов после занятий я получил из одной военной школы приглашение выступить по той же теме: соотношение сил и дипломатия. Пример быстроты коммуникаций в Соединенных Штатах.

243

В рецензии на страницах «Нью-Йорк таймс».

Поскольку цены в принципе одинаковы во всех странах Сообщества, страна, девальвировавшая валюту, должна облагать налогом свой экспорт в соответствии с процентом этой девальвации. По отношению к другим странам механизм работает в обратном направлении: они субсидируют свой экспорт.

Иностранным банкам достаточно было отказаться от покупки долларов, от их накапливания, чтобы вызвать падение обменного курса доллара, равнозначное девальвации марки или иены.

В некотором смысле они демонетаризировали золото, но у обладателей данного металла не было оснований бранить тех, кто отвечал за эту демонетаризацию.

«Полвека ограниченной войны» *(англ.)*.

См.: *Aron R.* [Article] // Archives européennes de sociologie. 1974. № 2.

249

Жан Жорес, выступая против доктрин французского Генерального штаба, использовал положение Клаузевица об обороне как самом сильном стратегическом методе.

250

Сопереживать.

251

Статья появилась в журнале «Цайтшрифт фюр политик» («Zeitschrift für Politik»). Поскольку я вхожу в издательский комитет, его руководители спросили меня, возражаю ли я против публикации статьи. Разумеется, я не высказал никакого возражения.

Дословно: против человека, здесь: личные *(лат)*.

Эти бомбардировки были, несомненно, военным преступлением, однако, в отличие от газовых камер, не исходили из стремления к тотальному уничтожению.

Утверждение, не противоречащее критике ленинского прочтения Клаузевица (ср. выше).

255

А также в другом тексте: «Auguste Comte Memorial Lecture. War and Industrial Society».

Это замечание, пожалуй, неверно в отношении Адама Смита.

257

Вошедшем в книгу «Надежда и страх века» (1957).

Тойнби называет «цивилизацией» то, что Шпенглер называет «культурой». По Шпенглеру, «цивилизация» — это предпоследняя фаза становления всех «культур».

За это были ответственны государственные институты, а не разница в цифрах народонаселения Пруссии и Франции.

Увы! сколь изменившееся с тех пор! *(лат.)*

261

Не *(нем.)*.

262

Книга Г. Люти, получившая во французском переводе заглавие «Франция живет по часам своей колокольни», по-немецки называлась «Frankreichs Uhren gehen anders» — «Часы Франции идут иначе».

Добавлю, что отзывы были в целом благожелательными как во Франции, так и за рубежом. «Энкаунтер» напечатал резюме книги, которое произвело впечатление на Генри Киссинджера.

Sinding R. Qu'est-ce qu'une crise? (Что такое кризис?) P.: PUF, 1981. (Автор не разделяет этой инвективы в адрес Запада. Напротив, он рассматривает западную философию как критическую и творческую по своей сути.)

265

В телепередаче «Нам не всегда двадцать лет».

266

В то время я еще не думал о книге-интервью «Вовлеченный зритель» («Le Spectateur engagé»).

267

То же самое я писал по поводу Р. Эрсана.

268

Лишение или ограничение гражданских прав *(лат.)*.

269

Это выражение обозначает еженедельную статью, глубоко исследующую какую-либо тему и составляющую главную привлекательность номера.

270

Мне пришлось написать статью на две полосы о «новых правых». (См.: Express. 1979. 21–27 juillet.)

Вопреки видимости, он никогда не был фашистом. Полковник де Ла Рок был несправедливо обвинен в сотрудничестве с оккупантами и по возвращении из депортации в Германию подвергся тюремному заключению. Генерал де Голль послал его семье письмо, в котором воздал должное гражданину и патриоту.

Я не хочу вдаваться в полемику относительно того, чем объясняется более низкий процент жертв геноцида во Франции по сравнению с другими западноевропейскими странами — Нидерландами, Бельгией. Явилось ли причиной этого наличие зоны, свободной от оккупации? Произошло ли это благодаря Виши или вопреки Виши? Я не вижу, почему нельзя провести различие между двумя исходными данными проблемы: с одной стороны, неоккупированная зона как таковая дала евреям ряд преимуществ; с другой — эти преимущества не всегда проистекали из постановлений вишистского правительства.

273

В «Церемонии прощания».

Express. 1980. 25 avril.

Последние слова *(лат.)*.

Мне следовало сказать: против коммунизма.

277

Рукопись, отвергнутая издательством «Галлимар», которая скоро будет опубликована вместе с другими неизданными текстами Сартра.

Aron R. History and Politics. N. Y.: Free Press, 1978.

Трудноперевoдимое выражение: обнаружить у Маркса разумные высказывания, извлечь из его текстов смысл, согласно нашему пониманию.

Методологический индивидуализм заключается в утверждении, что все социальные факты вытекают в конечном счете из поведения индивидов и что все объяснения в общественных науках должны восходить к поведению индивидов.

281

Этим термином обозначают теорию целостностей, или систем, которые не могут быть сведены к составляющим их элементам.

Так я озаглавил две серии моих лекций в Абердине в рамках «Джиффордовских чтений» *(«Gifford Lectures»)*.

283

В кантианском смысле.

«Когда читаешь написанное Раймоном Ароном, сразу настолько с ним соглашаешься, что хотелось бы иметь возможность облечь этого человека неограниченной властью и положиться на него в деле управления государством. Это „добрый диктатор“, которого люди втайне ждут с тех пор, как умер Солон. Но когда представлю его себе на этом посту… Нет, он чересчур умен, чтобы править! <…> Ум обезоружил бы его перед лицом противников, он слишком хорошо понимал бы любую оппозицию, чтобы устранить ее, бороться с ней <…>». Эти строки датированы летом 1957 года. Вероятно, когда Роже писал их, он думал главным образом о моих выступлениях по поводу Алжира.

285

Моему учителю (*англ.)*.

Здесь и сейчас *(лат.)*.

Уже тогда (!).

Я представил этот свой портрет на суд другого слушателя Школы Сен-Клу, ставшего с тех пор профессором университета. Он не присутствовал ни на защите моей диссертации, ни на заседании Французского философского общества, но меня, своего преподавателя, помнит. Вот что он пишет мне: «В Сен-Клу, до, во время и после лекций, Ваша внешность и манера держаться были именно такими, но имелось нечто, недостающее в этом портрете, — улыбка, любезность, хорошее настроение. Правда, в Философское общество Вы приходили не с тем, чтобы быть любезным, а чтобы защищать Ваши убеждения. Как бы то ни было, если я согласен с „ироничным“ ртом, то решительно опровергаю его „горькую складку“. Не знаю, чем бы следовало заменить это выражение, но горечи я никогда не видел на Ваших ироничных (не всегда) губах, даже когда случайно зашел к Вам домой вечером того дня, когда Сорбонна предпочла Вам Гурвича; правда, порой я видел на Вашем лице — Вы не рассердитесь на меня за эти слова — некоторую грусть, но ведь, простите, и было из-за чего». Этот второй слушатель стал моим другом в те предвоенные годы; я не выглядел одинаково в глазах людей, воспринимавших меня издалека, и в глазах друга, который посетил нас на мысе Брен, в маленьком доме, где я заканчивал свою диссертацию, и с которым мы вдвоем обсуждали журнал «Эспри».

289

Не для всех, в частности не для католиков.

290

Английский профессор Роберт-Френсис Колкхаун (Robert Francis Colquhoun), написавший диссертацию «Raymond Aron: an intéllectual portrait», составил единственную, существующую научную библиографию. Она не опубликована, но доступна для читателей.